

ТОЛСТОЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ МИР

Литературное наследство

Задача этого тома «Литературного наследства», выходящего в двух книгах,— дать основанное на первоисточниках представление о непосредственном, живом восприятии творчества и личности Толстого, о мощном звучании его имени во всем мире на протяжении почти целого века.

Литература на тему «Толстой за рубежом» начала складываться давно и занимает в толстоведении немалое место. Настоящий том продолжил то, что было сделано в данной области, далеко раздвинув границы темы — как хронологические, так и национально-государственные и географические.

Документальные материалы тома охватывают период от 1856 до юбилейного 1960 года и представляют более шестидесяти стран мира и множество голосов людей из этих стран.

Как всегда в «Литературном наследстве», иллюстрации в томе имеют не только служебное, но и самостоятельное значение. Они средством графического искусства и документальных изображений разрабатывают ту же тему мирового значения Толстого и дают со своей стороны представление о характере восприятия за пределами нашей страны его творчества и личности. Все помещаемые в томе иллюстрации к толстовским произведениям, а также портреты писателя и оформление его книг, изданных за рубежом, исполнены иностранными художниками.

За единичными исключениями, литературные и графические материалы тома воспроизводятся в нашей стране впервые.

Книга вторая настоящего тома, как и первая,

Литературное наследство

ТОЛСТОЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ МИР

КНИГА ПЕРВАЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ

В ДВУХ КНИГАХ

РЕДАКЦИЯ
И. И. АНИСИМОВ (ГЛАВ. РЕД.), Д. Д. БЛАГОЙ,
А. С. БУШМИН, В. В. ВИНОГРАДОВ, А. Н. ДУБОВИКОВ,
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, С. А. МАКАШИН,
К. Д. МУРАТОВА, Р. М. САМАРИН, Л. И. ТИМОФЕЕВ,
Н. А. ТРИФОНОВ, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 6 · 5

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

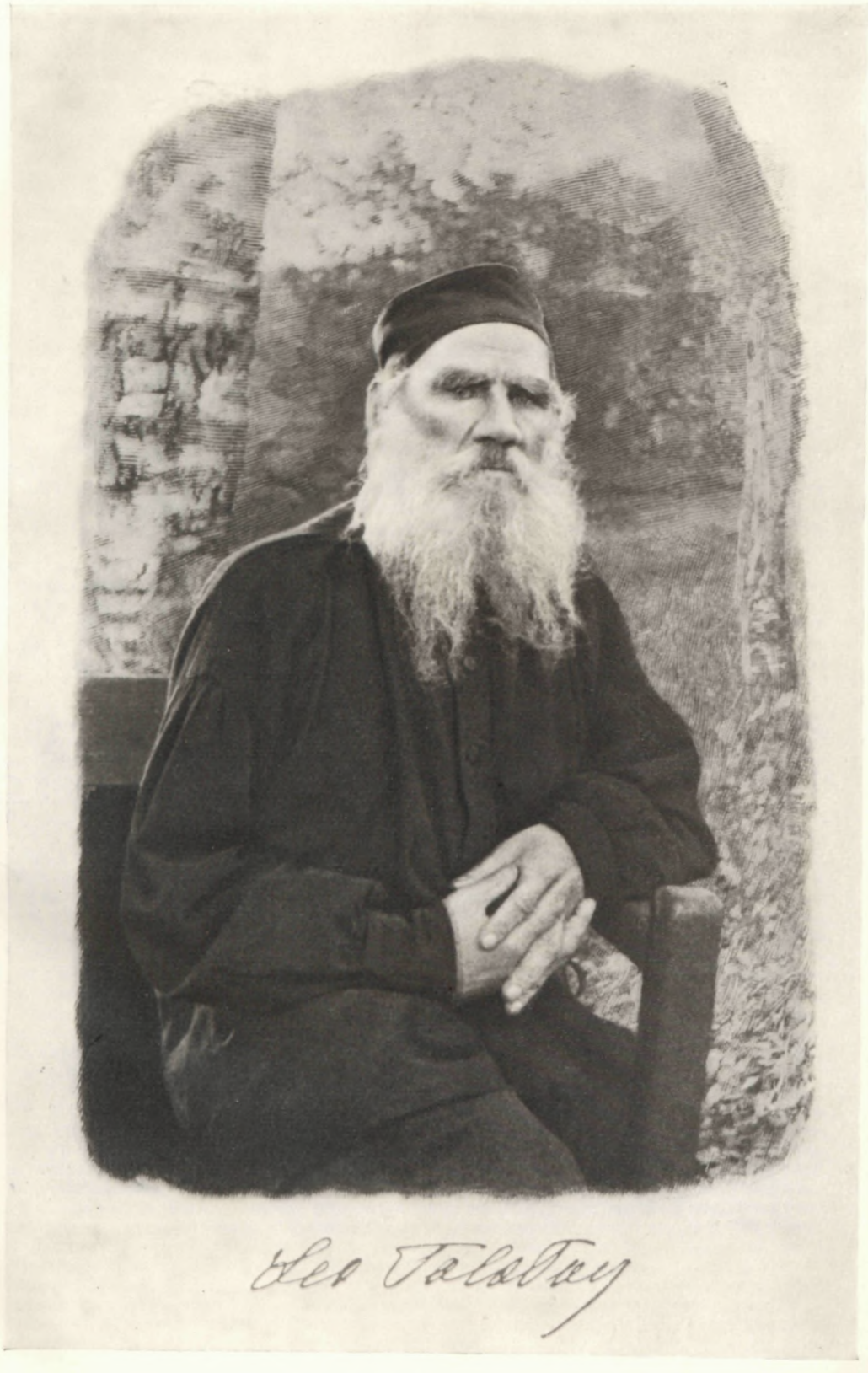
ТОЛСТОЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ МИР

КНИГА ПЕРВАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 6 · 5

7—2—2
1169—65

ГОД ИЗДАНИЯ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ



Л. Н. ТОЛСТОЙ

Цветная гравюра

фронтиспис английского издания «Что такое искусство?».

Лондон, 1898.

ОТ РЕДАКЦИИ

Задача этого тома, выходящего в двух книгах,— дать основанное на первоисточниках представление о непосредственном, живом восприятии творчества и личности Толстого, о мощном звучании его имени во всем мире на протяжении почти целого века.

Литература на тему *Толстой за рубежом* начала создаваться давно и занимает в толстоведении немалое место. Еще при жизни писателя, к его восьмидесятилетию, была сделана попытка собрать голоса мира о Толстом. На разосланные обращения откликнулось двадцать шесть писателей и общественных деятелей из пятнадцати стран; высказывания их собраны в изданном тогда же «Международном толстовском альманахе» (1909). Впоследствии появились и до сих пор продолжают появляться обзоры и сообщения по разным странам, книги и статьи о взаимоотношениях и творческих связях Толстого с отдельными писателями, о влиянии творчества Толстого на национальные литературы Запада и Востока и на мировую литературу в целом, а также об общественном интересе к Толстому в различных уголках земли.

Настоящий том «Литературного наследства», продолжая то, что было сделано в данной области, далеко раздвигает границы темы — как хронологические, так и национально-государственные и географические. Материалы тома охватывают период от 1856 до юбилейного 1960 г. и представляют более шестидесяти стран мира и множество голосов людей из этих стран.

Разнообразные вопросы, затрагиваемые в публикациях, как радиусы к центру, сходятся к одной проблеме — *всемирного авторитета Толстого*. Освещению этой проблемы, выяснению вопроса об истоках и основах мировой известности и мирового значения Толстого — художника и мыслителя, посвящена вводная статья К. Н. Ломунова.

Материалы, помещенные в первой книге, распределены на три раздела.

В первый раздел — *Статьи и речи* — входит, прежде всего, публикация выступлений о Толстом тридцати трех выдающихся писателей Запада, от Ромена Роллана и Бернарда Шоу до Анны Зегерс и Альберто Моравиа. В переводе на русский язык эти материалы, за малыми исключениями, появляются впервые, а иные из них не напечатаны и на языке подлинника. Выступления снабжены комментариями, характеризующими творческие связи каждого писателя с Толстым, а для современников Толстого — также и их личные взаимоотношения. Вступительная статья Т. Л. Мотылевой обобщает материалы этой коллективной публикации, а также дополняет их обзором высказываний о Толстом еще ряда видных зарубежных писателей разных общественных направлений. В том же разделе публикуются речи и высказывания многочисленных иностранных писателей, общественных и государственных деятелей, принявших в той или иной форме участие в «толстовских днях» 1960 г. в Москве, когда отмечалось полвека со дня смерти Толстого.

Второй раздел — *Письма*. Он занят обширной публикацией Э. Г. Бабаева и Т. Н. Волковой «Иностранная почта Толстого». В ней печатается сто двадцать пять писем иностранцев к Толстому, из двадцати пяти стран и шестидесяти семи городов и селений земного шара. Письма охватывают период с 1878 по 1910 г. Они сгруппированы по темам, относящимся к наиболее значительным и острым вопросам идейной и социально-политической жизни «эпохи Толстого». С такими вопросами и обращались в далекую Ясную Поляну корреспонденты из всех стран света. Каждая из эпистолярных групп образует документальное ядро самостоятельного этюда или очерка. В приложении к публикации помещена справка о всем фонде зарубежных писем к Толстому, хранящемся в архиве писателя (Москва) и насчитывающем их около девяти тысяч. Материалы «Иностранной почты Толстого» занимают в томе особое место. Это уникальные документы, дающие представление о содержании и характере непосредственного общения Толстого с современным ему западным миром — и не только с «мастерами культуры», но и с простыми людьми.

В разделе *Сообщения*, завершающем первую книгу, помещено несколько разнотемных публикаций, каждая из которых вводит в «толстовиану» неизвестные ранее или

забытые и не учитывавшиеся исследователями документы. Среди других материалов здесь печатаются: тулузская речь Жана Жореса о Толстом, две статьи о нем С. М. Степняка-Кравчинского, написанные для англо-американцев, забытый очерк Георга Брандеса в русской газете, выступление японского социалиста Котоки Сюсуя, записанные Е. Ф. Юнге высказывания Толстого во время бесед с П. Деруледом, письмо французского переводчика и корреспондента Толстого Шарля Саломона и др.

Вторая книга открывается разделом *Воспоминания, дневники, корреспонденции*. Мемуарная литература о Толстом, в том числе зарубежная, огромна. Но из иностранных источников многое до сих пор остается неучтенным даже библиографически, еще больше не переведено на русский язык, а кое-что и вовсе не издано. Публикации мемуарного раздела содержат материалы всех этих рубрик. Здесь помещены записи о встречах и беседах с Толстым десяти иностранцев — шести французов, двух англичан, словака и японца. В их записях запечатлено немало высказываний Толстого о литературе и искусстве, об отдельных писателях — русских и иностранных, об актуальных общественных, идеологических вопросах современности, о событиях и деятелях текущего века, о философии, религии, педагогике и т. д. Материалы содержат также новые штрихи для характеристики личности Толстого.

Как уже упомянуто выше, существует немало трудов, в которых освещена история восприятия Толстого в национальных культурах Запада и Востока. Статьи, помещенные в разделе *Обзоры*, значительно углубляют разработку этой темы применительно к шести странам — Болгарии, Германии, Польше, Румынии, Китаю и Японии. Более широкие интернациональные рамки имеет обширная обзорная публикация Л. Р. Ланского «Уход и смерть Толстого в откликах иностранной печати». Она знакомит со многими новыми материалами, относящимися к этой теме. Материалы эти извлечены автором из периодических изданий всех основных стран мира.

Завершающий раздел тома носит название *Мир отмечает пятидесятилетие со дня смерти Толстого*. После сообщений о международных толстовских конференциях 1960 г. в Венеции и Париже, следует информация о том, как откликнулись отдельные страны на эту дату в календаре мировой культуры. За малыми исключениями, в этой хронике собраны сведения о всех примечательных книгах, статьях, собраниях, выставках, спектаклях, которыми была отмечена эта годовщина за пределами Советского Союза. Вместе с группой документов из первого раздела эти материалы образуют довольно полный свод мемориальной зарубежной «толстовианы» 1960 г. Они дают также представление о чрезвычайно сложной идеологической борьбе, продолжающейся и в наши дни вокруг наследия Толстого на Западе и Востоке.

Как всегда в «Литературном наследстве», иллюстрации в томе имеют не только служебное, но и самостоятельное значение. Они средствами графического искусства и документальных изображений разрабатывают ту же тему мирового значения Толстого и дают со своей стороны представление о характере восприятия за пределами нашей страны его творчества и личности. Все помещаемые в томе иллюстрации к толстовским произведениям, а также портреты писателя и оформление его книг, изданных за рубежом, исполнены иностранными художниками. За единичными исключениями, графические материалы тома воспроизводятся в нашей стране впервые.

Решение отдельных задач, стоявших перед этим «международным» томом, было бы затруднено, а то и вовсе невозможно без помощи зарубежных исследователей, писателей, художников, а также научных и библиотечных учреждений. Такая помощь «Литературному наследству» была оказана. Точно определить долю и значительность вклада каждого отдельного лица и учреждения затруднительно. Редакция приносит благодарность следующим зарубежным учреждениям: редакции газеты «Humanité» (Париж), дирекциям Фонда Чини (Венеция), Музея-библиотеки Толстого (Париж), Национальной библиотеки (Париж), Британского музея (Лондон), Библиотеки им. Э. Сабо (Будапешт), Муниципальной библиотеки г. Тулузы, а также Б. Бялокозовичу (Варшава), Н. Вейсбейну (Париж), Р. Кенту (штат Нью-Йорк, США), С. Колафе (Прага), Софи Лаффит (Париж), Жаклин де Пруайяр (Париж), М. Морикава (Нара-Ши, Япония), Э. Пехштедту (Эрфурт, ГДР), А. Тобиашу (Будапешт), В. Фиала (Прага).

Редакция приносит также живейшую благодарность сотрудникам Музея Толстого (Москва), в особенности работникам архива, библиотеки и отдела иллюстративных фондов, а также сотрудникам Музея-усадьбы «Ясная Поляна» — за содействие, оказанное ими в разыскании материалов для этого тома.

На всем протяжении работы редакция пользовалась советами и указаниями известных исследователей Толстого Н. Н. Гусева, Э. Е. Зайденшнур, К. Н. Ломунова и Т. Л. Мотылевой, за что выражает им свою признательность.

* * *

Редактор тома — С. А. Макашин. Редактировали и научно-организационную работу вели также Л. Р. Ланский и Н. Д. Эфрос.

Переводы с иностранных языков редактировали М. Е. Михелевич, Е. М. Шишмарева и др. Иллюстрации подобраны и подписи к ним составлены Т. Г. Динесман и Н. Д. Эфрос.

ВСЕМИРНЫЙ АВТОРИТЕТ

Статья К. Н. Ломунова

ВВЕДЕНИЕ.— ТОЛСТОЙ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.— ПОБОРНИК МИРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ.— «ГРАЖДАНИН ВСЕЛЕННОЙ».— БОРЕЦ С САМОДЕРЖАВИЕМ, КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ СТРОЕМ, КОЛОНИАЛИЗМОМ И МИЛИТАРИЗМОМ.— ЭПОПЕЯ НАРОДНОГО ГЕРОИЗМА И ГУМАНИЗМА.— «ТЕПЕРЕШНЯЯ РЕВОЛЮЦИЯ МНОГО ДУХОВНО ПОДВИНЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО».— ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДОВОГО НАРОДА ОТ «РАБСТВА НАШЕГО ВРЕМЕНИ».— ТОЛСТОЙ И ПРОГРЕСС.— «ВЫСШАЯ МУДРОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕ ЗА ТЫСЯЧИ ЛЕТ ДО НАС, А ТЕПЕРЬ, СЕЙЧАС».— «„ЗАГАДКА" ТОЛСТОГО».— ТОЛСТОЙ-МЫСЛИТЕЛЬ.—«ТЕОРИЯ „РАЗДВОЕННОСТИ"» ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ.—РОМЕН РОЛЛАН И ТОЛСТОЙ.— ЛЕНИН О ТОЛСТОМ. — ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Ни один из писателей минувшего века не приобрел такой международной славы и такого влияния, как Толстой. Вместе с ростом его мирового значения, как художника, и мировой известности, как мыслителя и проповедника[1] — рос и беспримерный его авторитет, крепли и ширились его всемирные связи.

Еще в начале нашего века М. Горький писал о Толстом:

«Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити...»[2]

Что значили эти связи для Толстого, хорошо объяснил он сам. В один из весенних дней 1910 г., знакомясь, как обычно, с обширной почтой, доставлявшейся в Ясную Поляну, писатель сказал: «Мне совестно говорить это, но я радуюсь авторитету Толстого. Благодаря ему, у меня сношения, как радиусы, с самыми далекими странами: Дальним Востоком, Индией, Америкой, Австралией»[3].

Авторитет Толстого! О том, что в мире давно существует и продолжает действовать эта могучая сила, имеется неисчислимое множество свидетельств и доказательств, зарегистрированных международной толстовианой. И если проблема всемирного авторитета Толстого вызывала и продолжает вызывать и теперь острые идеологические споры, то не по вопросу о том — существует ли такой авторитет (это ни у кого не вызывает сомнения), а по вопросу о его истоках и основах, о том, кому он служит, кто и в каких целях использует его сегодня, кому ныне принадлежит наследие Толстого и каково его значение в нашем современном мире.

В самом деле, почему и «мастера культуры» и простые люди зарубежных стран *именно Толстого* выбрали своим советчиком и открывали ему души в письмах, которые стекались в Ясную Поляну со всех концов нашей планеты? Что их влекло к Толстому? Что находили они в его произведениях — художественных и публицистических?

На страницах настоящего тома «Литературного наследства» читатели найдут много новых, совершенно неизвестных или не публиковавшихся на русском языке суждений, высказываний, признаний людей «эпохи Толстого», позволяющих отчетливо представить — чем привлекал Толстой

умы и сердца своих современников. Наряду со статьями, речами и письмами видных писателей, общественных и политических деятелей, здесь помещены также письма простых, ничем не примечательных людей, присланные в Ясную Поляну из многих стран мира.

Трудно переоценить значение этих документов. Иностранная «почта Толстого» представляет серьезный интерес для характеристики духовной жизни зарубежного мира в предреволюционную эпоху. Она имеет огромное значение и для летописи жизни Толстого, для изучения его трудов и мыслей. Только познакомившись с голосами живой жизни, запечатленными в тысячах писем на десятках языков народов мира, с голосами, услышанными Толстым, начинаешь понимать, что бóльшая часть его поздних произведений — художественных и публицистических — возникла как прямой или косвенный отклик на эти голоса, до глубины души взволновавшие писателя.

«Почта Толстого» несла к сердцу писателя такие сильные токи, что он не мог обрести спокойствия до тех пор, пока из-под его пера не появлялись «Исповедь», «Одумайтесь!», «Не могу молчать» и другие произведения, возникавшие как «совокупные письма» Толстого, обращенные к его современникам. Вспомним, что и роман «Воскресение» Толстой называл «совокупным письмом». Вспомним также, что в годы создания этого произведения писатель высказывал надежду на то, что его роман будут читать миллионы.

«Совокупные письма» Толстого — его художественные и публицистические произведения — вызывали живейший отзвук в глубинах мирового общественного мнения, а иные и в глубинах народного моря. А письма, приходившие к Толстому из этих глубин, нередко заставляли его немедленно и страстно откликаться.

Переписка Толстого с его зарубежными корреспондентами, принадлежавшими к социальным «низам» общества, касалась таких наболевших вопросов времени, как эксплуатация труда, расовая и национальная дискриминация, колониальный гнет, милитаризм, разорение крестьянства и рост крупной земельной собственности, обострение классовой борьбы, разрушение семьи и падение морального уровня общества, борьба против эксплуататорского строя и пути общественного переустройства.

Знакомясь с «почтой Толстого», приходишь к выводу, что великий писатель был не только «адвокатом 100-миллионного земледельческого народа», как он называл себя (т. 76, стр. 45), но и адвокатом всего угнетенного трудового человечества.

Если в одном из своих первых писем к Толстому (1887 г.) юный Ромен Роллан спрашивал: для одного ли только русского народа пишет Толстой[4], то позднее он уже не сомневался в том, что деятельность великого писателя была направлена на служение труженикам всей земли.

Книгу «Жизнь Толстого», впервые изданную в 1911 г., Роллан закончил словами: «Толстой никогда не обращался к привилегированным мыслителям, он говорил для простых людей — hominibus bonae voluntatis*. Он — наша совесть. Он говорит именно то, что мы, обыкновенные люди, думаем и в чем боимся признаться самим себе. Он для нас не преисполненный спеси учитель жизни, один из тех надменных гениев, которые, замкнувшись в кругу своего искусства и мысли, вознесли себя над бренным человечеством. Он, как он сам любил называть себя в своих письмах, наш „брат". Так повторим же за ним самое прекрасное и человечное из всех слов — „брат"»[5].

---

* для людей доброй воли (лат.).

Роллан указал здесь на едва ли не самые важные основы всемирного авторитета Толстого — народность его творчества, подлинный демократизм общественной и литературной позиции, гуманизм.

В начале своей книги Роллан отмечает, что для него, как и для всех его соотечественников, прочитавших Толстого («а таких много во Франции»), «он был больше, чем любимым художником... он был другом, лучшим, а то и единственным, настоящим другом среди всех мастеров европейского искусства...» [6]

Прославленный художник, подлинный друг простых тружеников, Толстой был непримиримым и страстным противником угнетателей и поработителей, деспотов и насильников. Безбоязненная критика несправедливого общественного устройства, стремление до конца исследовать причины социальных зол снискали Толстому огромное уважение со стороны всех, кто стоял на стороне трудящихся.

Борьба Толстого против самодержавия и помещичьего землевладения, против капитализма со всеми его порождениями приобрела в последние десятилетия жизни писателя поистине титанический и героический характер. Она в огромной степени способствовала росту его всемирного авторитета.

«В Толстом,— писал в 1908 г. голландец Лод ван Миероп,— я вижу прежде всего „героя“ — человека-великана, созданного жизнью ⟨...⟩ Во всем, что он говорит, во всем, что он делает, я всегда вижу в нем великого, героического человека». Развивая эту характеристику, Миероп продолжал: «Он предпринял борьбу, восстановил разум и совесть против всепринижающей власти предания, денег, церкви и государства. Он был великан и боролся как великан» [7].

Восхищаясь мужеством великого русского собрата, Бернард Шоу писал в 1911 г. о том, что Толстой, вступив в борьбу за счастье народа, был готов обрушивать «громовые удары на двери самых страшных тюрем» и класть голову «под самые острые топоры», а тюрьмы не смеют его поглотить и топоры не смеют на него опуститься».

Шоу, как и Роллан, полностью разделял толстовскую критику «общества и искусства привилегированных» [8]. В рецензии на трактат Толстого «Что такое искусство?», написанной в 1898 г., Шоу заявил: «Все высказанные им обвинения по адресу современного общества полностью обоснованы» *.

Всех честных людей, живших в эпоху Толстого, восхищала его стойкость, моральная высота и чистота его побуждений. Они видели в нем неподкупного, бескомпромиссного борца против социальных зол, против общественной лжи и фальши. Нравственная чистота Толстого также принадлежит к важнейшим основам его всемирного авторитета.

Когда началась первая мировая война и многие из тогдашних социалистов, входивших во II Интернационал, превратились в социал-шовинистов, Роллан с глубокой горечью писал в дневнике: «В Европе нет ни одного крупного морального авторитета с тех пор, как умер Толстой» [9].

И Роллан, и Шоу, и другие видные современники Толстого ревностно оберегали его авторитет.

Так, например, Шоу, высказав свое несогласие с толстовской оценкой Шекспира, в то же время писал В. Г. Черткову: «Частным образом я не боюсь высказываться свободно о том, в чем, по-моему, Толстой ошибается. Но я хочу, чтобы для публики было вполне ясно, что я на стороне Толстого и что я приписываю большое значение и авторитетность всякому его мнению» [10].

---

* Цитаты без указания источников приводятся из текстов, публикуемых в настоящем томе.— *Ред.*

Вступая с Толстым в спор, Шоу не хотел, чтобы его замечаниями по поводу статьи Толстого о Шекспире воспользовались буржуазные критики. Он превосходно знал, что последние не упускали случая для «сведения счетов» с писателем, которого они, подобно его «отечественным» врагам, считали опаснейшим революционером.

* * *

На страницах настоящего тома переплетаются и сталкиваются две большие темы — «*Толстой вчера*» и «*Толстой сегодня*».

В «толстовские дни» 1960 года, когда отмечалось пятидесятилетие со дня смерти русского писателя, десятки книг и тысячи статей и разного рода выступлений во всех странах мира образовали как бы международный референдум, участники которого стремились ответить на следующие вопросы:

Какие мысли и чувства будит Толстой у наших современников?

Какие перемены в оценку его всемирного авторитета внесла наша эпоха по сравнению с «эпохой Толстого»?

В чьих руках находится ныне наследие писателя и кому оно служит?

Об этом говорили и делегаты Венецианской международной конференции, посвященной памяти Толстого, и участники дискуссии «Толстой и писатели современности», прошедшей на страницах парижского еженедельника «Lettres Françaises», и участники международного Толстовского симпозиума в Индии, и многочисленные зарубежные гости, приезжавшие в нашу страну в дни годовщины, и делегаты генеральной конференции ЮНЕСКО, и многие общественные и государственные деятели, и представители различных союзов и обществ трудящихся, и зарубежная печать, радио и телевидение.

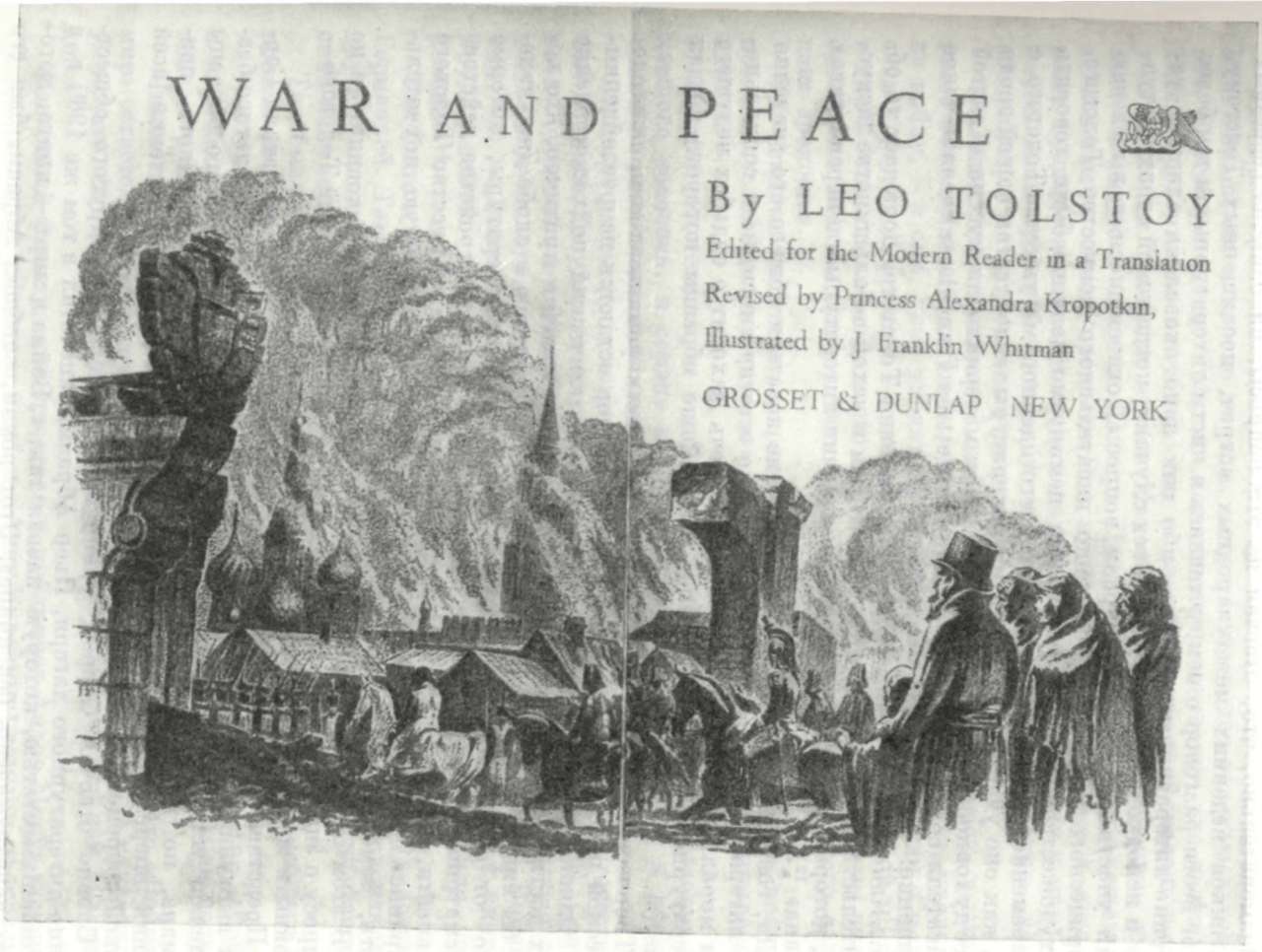
За три года до толстовской годовщины журнал Организации Объединенных Наций «Курьер ЮНЕСКО» опубликовал данные об иноязычных изданиях книг писателей-классиков. Из сравнительной таблицы этих изданий видно, что Толстой в наше время занимает *первое место среди писателей всех стран* — и по числу переводов его книг на другие языки, и по количеству языков, на которые они переведены, и по числу переведенных произведений [11].

Так статистика подтвердила, что Толстой по-прежнему принадлежит к числу наиболее «читаемых» писателей-классиков. Бесстрастным языком цифр она показала современный уровень всемирного авторитета Толстого. Но она не объяснила и не могла объяснить — на чем же базируется в наши дни этот авторитет.

На страницах настоящего тома, как мы уже отмечали выше, сталкиваются «век нынешний и век минувший». Здесь выступают представители не только разных стран, но и разных общественных классов и групп, нередко придерживающиеся прямо противоположных взглядов и убеждений.

Вчитываясь и вдумываясь в эти противоречивые суждения о Толстом, мы видим, с какой отчетливостью отражаются в них две главные тенденции общественного развития, приведшие в наше время к образованию двух противостоящих друг другу мировых систем — социалистической и капиталистической.

Пестрота и противоречивость оценок и характеристик мировоззрения и творчества Толстого в международной толстовиане вызваны острейшей идейной борьбой, начавшейся едва ли не с той поры, как он вступил в литературу, и продолжающейся до наших дней. И не случайно в центре всех современных дискуссий о Толстом оказался вопрос о причинах, основах и самом содержании и значении его авторитета и влияния, вопрос



«ВОЙНА И МИР». АМЕРИКАНСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ (НЬЮ-ЙОРК, 1949 г.)
Художник Дж. Франклин Уитмен
Титульный лист

о том — как, какими путями осуществляется «проникновение» Толстого в нашу эпоху, что «дает» он людям нашего века, так не похожего на век минувший.

Знаменательно, что, отвечая на эти вопросы, ни один из серьезных участников недавних международных встреч, посвященных Толстому, не мог вести разговор о нем, оставаясь в чисто литературных и тем более историко-литературных рамках, ибо они явно оказались слишком узкими и неподходящими. И даже в тех случаях, когда темой своих выступлений участники встреч избирали вопросы, относящиеся к выяснению исторического значения собственно писательского искусства Толстого, его художественного мастерства, они неминуемо должны были говорить о современном значении и влиянии всего идейного могущества Толстого, о том, как оно участвует в развитии литературы и искусства нашей эпохи и в ее духовной жизни в целом. Публикуя материалы дискуссии «Толстой и писатели современности», редакция «Lettres Françaises» сделала такое признание:

«...Какова бы ни была современная оценка Толстого, поражает то обстоятельство, что он является ориентиром и вехой в большинстве дискуссий, которые ведутся в наши дни о значении литературы и о перспективах романа» [12].

Да, говоря о Толстом, невозможно не касаться общего его значения для литературы наших дней — не только эстетического, но и социального и морального, в особенности когда речь заходит о судьбах ведущего литературного жанра — романа, величайшие образцы которого создал Толстой.

Творческие достижения Толстого в области романа-эпопеи, психологической повести, народной драмы до сих пор остаются непревзойденными. Однако *только* литературный, чисто эстетический подход к оценке этих достижений характерен лишь для тех писателей и критиков, кто хотел бы видеть в Толстом художника, равнодушного к злобе дня, далекого от современности. Для тех же деятелей литературы, которые рассматривают ее в качестве одного из средств переустройства действительности, а значит и совершенствования человека, искусство Толстого сохраняет и в наше время всю свою живую общественную поучительность, замечательный пример служения народу.

В этом отношении весьма показательна борьба мнений, возникшая по вопросу о значении для нашей эпохи величайшего из созданий Толстого — «Войны и мира».

Представительница французской школы «нового романа» Натали Саррот выступила в 1960 г. с заявлением, что это произведение Толстого безнадежно устарело. Видеть в наше время в творчестве Толстого образцы романа, по ее мнению, «значит протестовать против всякого движения вперед, парализовать все искания, идти против течения всей живой современной литературы».

Словно отвечая Саррот, французский писатель из другого общественно-литературного лагеря, Пьер Абраам, напечатал в том же 1960 г. в «Humanité» статью, которую назвал так: «„Война и мир“ — книга, которую перечитываешь без конца». Этот роман, сообщал Абраам, был его настольной книгой в дни первой мировой войны.

А писатель Луи Арагон рассказал об исключительном интересе, который был проявлен французами к роману Толстого в годы второй мировой войны. «В течение некоторого времени,— вспоминал Арагон,—всякий, кто во Франции ехал по железной дороге, обязательно встречал людей, читавших „Войну и мир“ Толстого. Этот роман, быть может, величайший из всех, какие когда-либо были написаны, стал предметом страсти французов в 1942—1943 гг. <...> Ибо все происходило так, будто

Толстой не дописал его до конца, и будто Красная армия, дающая отпор носителям свастики, наконец, вдохнула в роман его подлинный смысл, внесла в него тот великий вихрь, который потрясал наши души...» [13]

Такие же признания делает французский публицист и критик Клод Руа: «Французы и другие народы, находившиеся под властью захватчиков, обретали в эпопее Толстого исторические основания для надежды... Гитлер продвигался в глубь России со своей армией, и ей желали той же участи, какая постигла армию Наполеона. Наши подпольщики укрывались в „маки“,— и тогда Денисов, Долохов, Тихон Щербатый представлялись нам не только предками Зои и чапаевцев 1944 г., но и отдаленными предшественниками наших партизан... Читая „Войну и мир“, мы поддавались чудесной мечте, будто читаем самую прекрасную, самую ободряющую из нелегальных газет...» [14]

Участник второй мировой войны писатель Морис Дрюон высказал такое пожелание: «Я хотел бы, чтобы все юноши во всем мире, уходящие на войну,— а они, увы! уходят на нее каждый день к другим Смоленскам и другим Дордоням, — чтобы все эти юноши уносили с собой „Войну и мир“. Эта книга прежде всего помогает нам узнать тех, с кем мы вместе сражаемся, а затем тех, против кого мы сражаемся. После этого наступает зрелость».

Так видные писатели современной Франции ответили на попытки представителей «нового романа» объявить «Войну и мир» устаревшей книгой!

Жизнь свидетельствует о том, что роман «Война и мир» остается для каждого человека, в сердце которого живет чувство любви к родине, одним из самых вдохновляющих произведений.

В обзоре писем фронтовиков, присланных в годы Великой Отечественной войны в Государственную публичную библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, мы читаем: «...ни одно из произведений не вызывает сейчас такого живого отклика в сердцах читателей-бойцов, как „Война и мир“ 〈...〉 „Война и мир“ стала в наши дни поистине народной книгой. Трудно сейчас учесть все влияние, всю мобилизующую силу этого романа» [15].

Так было в нашей стране в самые трудные дни борьбы с гитлеровской Германией. Так было во Франции, Польше, Болгарии, Чехословакии и других европейских странах, народы которых боролись против фашистских оккупантов.

Так было в странах Азии, Латинской Америки, народы которых боролись за свое освобождение.

Как отмечал видный кубинский писатель Алехо Карпентьер, «Война и мир» была включена революционным правительством Кубы «в первый список рекомендуемых произведений».

Число подобных примеров, свидетельствующих о том, что «Война и мир» остается одной из самых *современных по своему значению книг*, легко умножить. Но каковы корни этой живой актуальности, на чем она зиждется?

Известный французский писатель и публицист Андре Моруа говорит: «Я всегда считал „Войну и мир“ и „Анну Каренину“ самыми прекрасными романами, вообще когда-либо написанными». Это суждение разделяют многие английские писатели. Для Чарлза Перси Сноу «Война и мир» — лучший из написанных по сей день романов; по мнению Сомерсета Моэма, «Война и мир» является самым значительным романом из написанных когда-либо [16]. То же самое, как это увидят далее читатели, утверждают многие другие писатели самых различных стран.

Совершенно очевидно, что *эстетический авторитет* «Войны и мира» как непревзойденного художественного шедевра мирового значения и в

наши дни остается таким же громадным, каким он был при жизни Флобера, Франса, Драйзера, Роллана, Т. Манна и других крупнейших зарубежных мастеров, исключительно высоко оценивших роман Толстого.

Но, кроме высочайшей эстетической оценки «Войны и мира», утвердившейся давно и остающейся незыблемой, в наши дни все более ясными становятся и другие основы всемирного авторитета этого великого произведения и его автора.

«...сегодня уже никто не сомневается в гражданской роли литературы, особенно если речь идет о романе,— говорит польский романист Ярослав Ивашкевич.— Быть может, именно поэтому в Толстом-писателе мы видим индивидуальность, соответствующую нашему пониманию роли литературы, видим писателя такого нам близкого и так нами любимого. Для нас Толстой в полном смысле слова — живой писатель».

Восхищаясь изображением в «Войне и мире» народа как творца истории, Ярослав Ивашкевич восклицает: «Можно только удивляться, сколь современен был Толстой в своем взгляде на историю...»

Схожие мысли высказал в свое время румынский критик Т. Виану, указавший, что, введя в литературу «человеческие массы», Толстой превратил «Войну и мир» в «эпопею современных демократий».

Эпопея народного героизма — вот верная оценка «Войны и мира», раскрывающая причины ее успеха у «простых» читателей всего мира. В наше время исключительное значение приобретает и другая сторона этого великого произведения — его гуманистическая направленность. Прославляя подвиг народа в национально-освободительной войне, Толстой в то же время сурово осуждает войны несправедливые, захватнические.

Ниже мы остановимся на этом моменте подробнее.

Известно, что и при жизни Толстого и много позднее иные из его критиков склонны были «признавать» лишь художественные произведения, созданные писателем до начала 1880-х годов, когда он в своей «Исповеди» объявил о полном разрыве с господствующими классами и переходе на сторону трудового народа. Некоторые критики утверждали, что крутой перелом в мировоззрении, пережитый писателем, не только не способствовал укреплению его мирового авторитета, а, напротив, подорвал и ослабил его. Буржуазная печать поспешила тогда объявить, что Толстой как писатель «кончился», что он уже неспособен создать ничего истинно великого.

Иные из критиков писали в ту пору, что все свое внимание «новый» Толстой устремил, с одной стороны, к религиозным вопросам, а с другой — к чисто русским делам. Они уверяли, что по этим причинам интерес к Толстому в зарубежных странах быстро падает и скоро сойдет на нет.

Действительность не подтвердила подобных прогнозов. Перелом в мировоззрении, пережитый Толстым, еще больше обострил его интерес ко всему происходившему в мире. «*Я очень занят современностью...*» (т. 73, стр. 57) — вот признание, которое с тех пор все чаще появляется в письмах и дневниках Толстого. И эти его занятия приводили к тому, что он ставил в своих новых художественных и публицистических произведениях наболевшие вопросы жизни с не виданной прежде силой и остротой.

И можно утверждать, что та работа, которую выполнил Толстой во вторую половину своей творческой жизни, нисколько не уступает по своему значению созданному писателем в первую ее половину. И эта гигантская работа укрепила и расширила его всемирный авторитет, упрочила его мировое значение.

* * *

Русская литература, как отмечал Горький, особенно поучительна и ценна своей широтой: «Нет вопроса, который она не ставила бы и не пыталась разрешить. Это по преимуществу литература вопросов:

Что делать?

Где лучше?

Кто виноват? — спрашивает она» [17].

Толстой продолжил и развил эту замечательную традицию русской литературы. Он «сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе» [18].

Ленин очень высоко ценил «безбоязненную, открытую, беспощаднорезкую *постановку* Толстым самых больных, самых проклятых вопросов» своего времени и подвергал суровому обличению буржуазных либералов за «обход тех *конкретных* вопросов демократии и социализма, которые Толстым *поставлены*» [19].

Как и в эпоху Толстого, нынешние буржуазные либералы, обращаясь к его наследию, обычно обходят эти вопросы или пишут о них, как о давно утративших значение и имеющих лишь историко-литературный интерес.

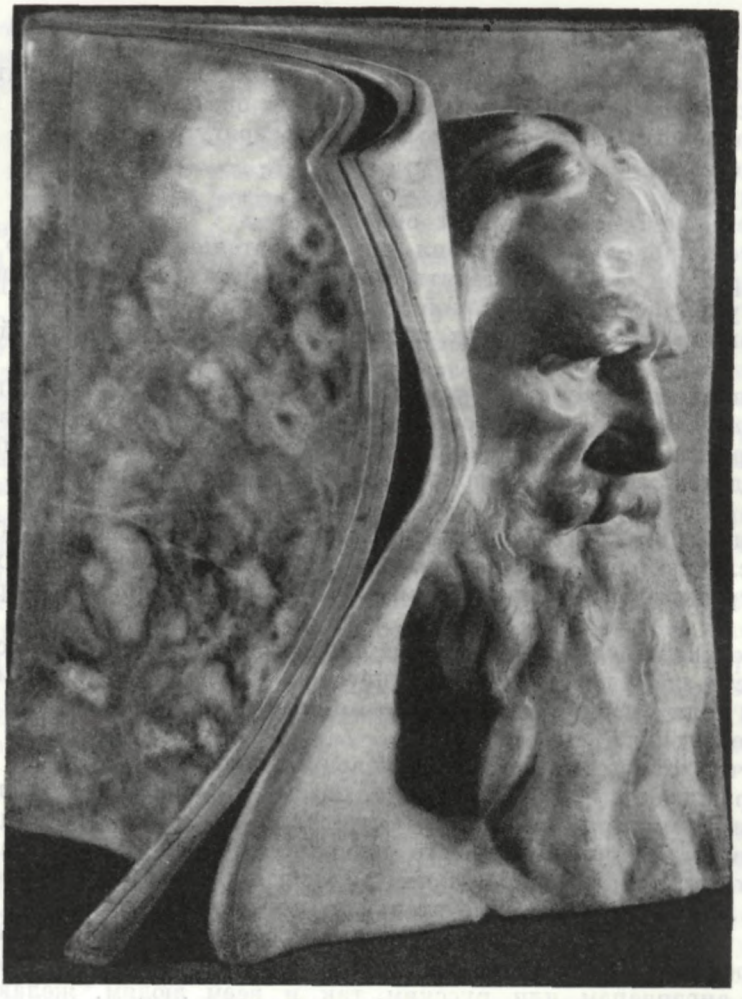
В противоположность им, наши прогрессивные зарубежные современники часто заявляют, что очень многое из сказанного Толстым звучит так, как если бы оно было сказано не десятки лет назад, а лишь вчера или даже сегодня.

Вот что, например, по этому поводу пишет Шон О'Кейси: «Иногда меня спрашивают: как вы думаете, почему произведения Толстого по сей день остаются такими же современными, как и тогда, когда они были написаны, почему его идеи находят путь к сердцам и умам стольких людей и, главное, в чем заключается „секрет" бессмертия его книг? 〈...〉 Такова уж замечательная способность великих людей — они не только приносят славу своей собственной стране, но к тому же щедро дарят свои духовные богатства как своим соотечественникам, скажем, англичанам или русским, так и всем людям, желающим получить их».

Но главное все же состоит в том, продолжает О'Кейси, что и в наши дни миллионы людей живут в тисках нищеты и невежества и что это имеет место «не только в Азии, Африке и Латинской Америке, но и совсем под боком〈...〉 Отсюда явствует, что эпоха Толстого мало чем отличается в этом отношении от нашей и все сказанное тогда сохраняет злободневность поныне».

В этих словах ирландского писателя заключена суровая правда социальной жизни современного нам буржуазного мира. Действительно, многие из поставленных Толстым вопросов о положении людей труда остаются и поныне нерешенными в странах капитализма. Обращение Толстого к этим вопросам определило в свое время тот огромный интерес к его социально-обличительному роману «Воскресение», который проявили простые люди буквально во всех странах мира (см. об этом ниже в публикации «Иностранная почта Толстого»). Теми же обстоятельствами в значительной мере было обусловлено триумфальное шествие драмы «Власть тьмы» по театральным сценам Франции, Италии, Германии и других стран, где с нею познакомились десятки тысяч зрителей из демократической среды.

Современные Толстому демократические читатели и зрители стран Запада и Востока видели в русском писателе художника, который не



ТОЛСТОЙ

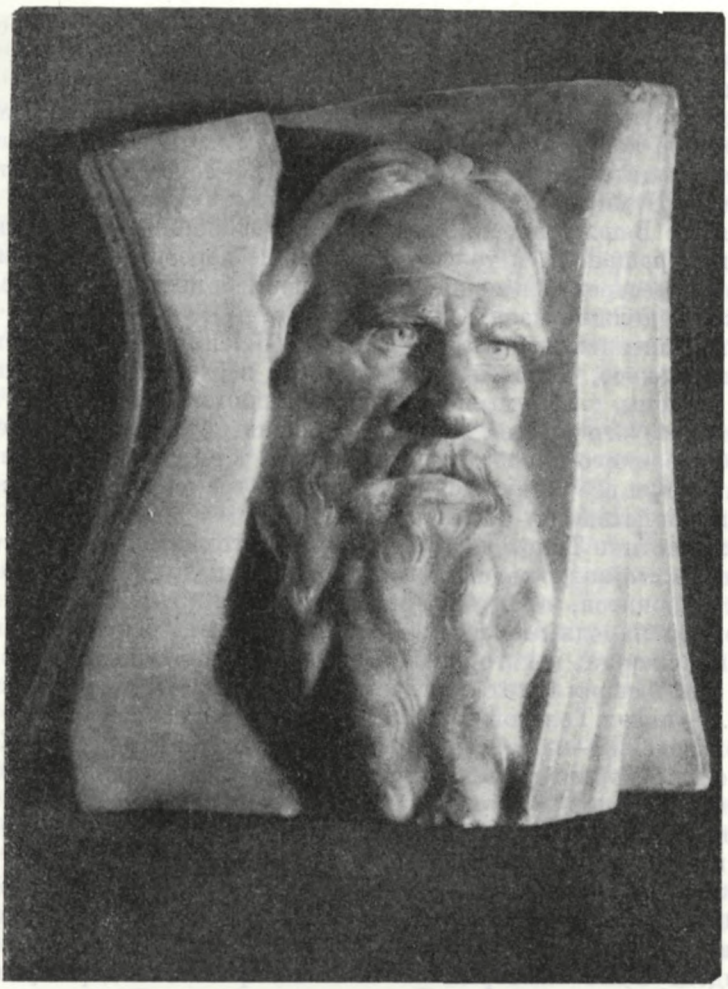
Горельеф работы итальянского скульптора Трапасси (мрамор). 1910-е годы (профиль)
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ограничивался сочувствием к угнетенным и обездоленным, а выступал их страстным защитником, борцом против социальной несправедливости.

«Власть тьмы», «Воскресение» и другие произведения Толстого о русской предреволюционной жизни воспринимались зарубежными читателями и как произведения *об их* жизни. Это и дало основание писателю Людмилу Стоянову, переведшему «Воскресение» на болгарский язык, заявить:

«Как художник и истолкователь своей эпохи Толстой занял одно из первых мест в историческом развитии не только России, но и всего человечества... Его значение как обличителя и художественного истолкователя жизни не уменьшается и остается таким же живым и действенным, каким было и при его жизни» [20].

Современный немецкий писатель из Федеративной Республики Германии Вольфганг Кеппен очень удачно назвал Толстого «человеком, чувствующим ответственность за весь мир» [21].



ТОЛСТОЙ

Горельеф работы итальянского скульптора Трапасси (мрамор). 1910-е годы (фас)
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Да, Толстой был именно таким человеком. Это становится особенно ясным, когда знакомишься с тем, что он писал и говорил о судьбах русского народа и всего человечества, об угрожавших им опасностях.

Из большого круга социальных проблем и вопросов, страстно обсуждавшихся Толстым и его современниками, остановимся лишь на нескольких,— но таких, которые и в наше время принадлежат к числу наиболее острых и волнующих, затрагивающих судьбы миллионов людей.

* * *

«Самая жгучая проблема нашего времени — проблема войны и мира»[22], сказано в Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, состоявшегося в 1960 г. в Москве. На пути человечества к свободе, миру и счастью самой тяжелой и страшной преградой была и остается война.

Эпоха Толстого была эпохой почти непрерывных войн — больших и малых. Особенно частыми и кровопролитными они стали с тех пор, как буржуазный строй вступил в период империализма.

Характеризуя этот строй, Толстой писал в статье 1896 г. «Патриотизм или мир?»: «За какое хотите время откройте газеты, и всегда, в каждую минуту вы увидите черную точку, причину возможной войны: то это будет Корея, то Памиры, то Африканские земли, то Абиссиния, то Армения, то Турция, то Венецуэла, то Трансвааль. Разбойничья работа ни на минуту не прекращается, и то здесь, то там не переставая идет маленькая война, как перестрелка в цепи, и настоящая, большая война всякую минуту может и должна начаться» (т. 90, стр. 47).

В другой антивоенной статье «Carthago delenda est», написанной двумя годами позднее, Толстой указывал: «Во всех конституционных государствах Европы <...> умышленно усложняются все больше и больше международные отношения, долженствующие привести к войне, разграбляются без всякого повода мирные страны, каждый год где-нибудь грабят и убивают, и все живут под постоянным страхом всеобщего взаимного грабежа и убийства» (т. 39, стр. 198—199).

В публицистике Толстого 1890-х и 1900-х годов большое место заняли разоблачение «тайны рождения войны», беспощадное обличение агрессоров и их адвокатов, правдивое изображение горя и страданий, приносимых войной народным массам. «Что может быть безумнее и мучительнее того положения, в котором живут теперь европейские народы, тратя большую часть своих богатств на приготовление к истреблению своих соседей...» — писал Толстой в одном из сильнейших своих антимилитаристских произведений — «Царство божие внутри вас» (т. 28, стр. 314).

Толстой прозорливо предостерегал своих современников: «Всеобщие вооружения государств друг перед другом неизбежно должны привести их к бесконечным войнам или всеобщему банкротству, или к тому и другому вместе» (т. 36, стр. 102).

Он указывал на опасность, которую заключали в себе реакционные идеи пангерманизма, панамериканизма, панславянизма и японского реваншизма. Он открыто и резко обличал носителей подобных идей, будь это президент США «империалист и милитарист» Теодор Рузвельт, или «жалкий, ошалевший от власти» прусский кайзер Вильгельм, или «самый видный виновник»—Николай II, или «божественный» микадо, или любой другой деспот (т. 28, стр. 395) [23].

Считая этих главарей «разбойничьих гнезд» прямыми преступниками перед человечеством, Толстой превосходно понимал, что войны возникают не только по их злой воле. Причина возникновения войн лежит в насильническом характере государств и их правительств — «будет ли это правительство русского царя, или турецкого султана, или правительство английское со своим Чемберленом и колониальной политикой, или правительство Северо-Американских Штатов со своим покровительством трестам и империализмом» (т. 36, стр. 180).

Исключительной силой обличения отличались выступления Толстого, вызванные такими войнами, как итало-абиссинская («К итальянцам», 1896), испано-американская («Две войны», 1898), англо-бурская («Письмо к Г. М. Волконскому», 1899), русско-японская («Одумайтесь!», 1904) и др.

Толстой был преисполнен сочувствия ко всем народам, находившимся под игом колониализма и милитаризма. Он выражал сочувствие кубинцам и филиппинцам, жестоко страдавшим от испано-американских поработителей, возмущался зверствами, совершаемыми английскими колонизаторами в порабощенной Индии, гневно бичевал агрессоров, терзавших Китай и Индокитай, выступал в защиту польских и сербских патриотов, которые вели борьбу за национальную независимость.

С ростом известности Толстого, расширением его авторитета и влияния он все чаще и решительнее стал возвышать свой голос против милитаризации государств, против колониальных грабежей и захватов, против империалистических войн.

В сознании людей и на родине Толстого, и в странах, находящихся на расстоянии многих тысяч километров от Ясной Поляны, при каждом новом факте агрессии, произвола, насилия все чаще возникал вопрос: «А что сказал бы об этом Толстой?»

Переписка Толстого с иностранцами свидетельствует, что в 1890-е и 1900-е годы многие американцы обращались в Ясную Поляну с просьбой помешать милитаризации их страны, повлиять на правительство и общественное мнение США в духе миролюбия и гуманности. Эти письма шестидесятилетней давности производят впечатление написанных только вчера или даже сегодня.

Как к «гражданину мира» [24] — к Толстому обращались за советом и помощью не только частные лица, но и многие общественные организации, в первую очередь те, которые выступали против войны. В самом начале 1890-х годов, в Европе был проведен ряд международных конгрессов мира. Их устроители считали своим долгом сообщать Толстому о своих целях и приглашали его принять участие в деятельности сторонников мира. Так, например, организационный комитет Лондонского Международного конгресса мира письмом от 2 июня 1890 г. пригласил Толстого прибыть на конгресс и «оказать честь быть его вице-президентом» [25]. Вскоре состоялись международные конгрессы мира в Париже и Риме. Толстой внимательно следил за их работой.

В трактате «Царство божие внутри вас» он привел многочисленные выдержки из речей, произнесенных на заседаниях конгрессов и содержавших обличение милитаризма, а также высказывания против конгрессов, с которыми выступали такие апологеты войны, как немецкий фельдмаршал Мольтке, французский академик Мельхиор де Вогюэ и др. В самых резких выражениях Толстой осудил Мольтке, утверждавшего, что «война есть один из священных законов мира» и что она «поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость». С гневным сарказмом обрушился Толстой на «утонченного» беллетриста и критика академика Вогюэ, писавшего о том, что мир «хуже» войны, так как он-де приведет общество к развращенности и упадку, что война оправдана законами истории, природы и бога. Люди, подобные Мольтке и Вогюэ, писал Толстой, «страшны, ужасны своей нравственной извращенностью» (т. 28, стр. 129).

Широко используя материалы первых международных конгрессов мира, Толстой в трактате «Царство божие внутри вас» прозорливо предостерегал от чрезмерных надежд на силу и значение «деклараций» и «заявлений». А из писем своих зарубежных корреспондентов он знал, что такие надежды питали в те годы многие искренние сторонники мира. «Ученые люди,— писал Толстой,— собираются в общества (таких обществ много, более 100), собираются на конгрессы (такие были недавно в Париже и Лондоне, теперь будет в Риме), читают речи, обедают, говорят спичи, издают журналы, посвященные этой цели, и во всех доказывается, что напряжение народов, принужденных содержать миллионы войск, дошло до крайних пределов и что это вооружение противоречит всем целям, свойствам, желаниям всех народов, но что если много исписать бумаги и наговорить слов, то можно согласовать всех людей и сделать, чтобы у них не было противоположных интересов, и тогда войны не будет» (т. 28, стр. 115). Опасность положения заключалась в том,— и это раньше других уловил Толстой,— что руководители крупнейших держав кричали о мире, продолжая подготовку к войне.

«...мир проповедуют священники и пасторы в своих церквах, и общества мира в своих собраниях, и писатели в своих газетах и книгах, и представители правительства — в своих речах, тостах и всякого рода демонстрациях,— писал Толстой.— Все говорят и пишут о мире, но никто не верит в него и не может верить, потому что те самые священники и пасторы, которые нынче проповедуют против войны, завтра благословляют знамена и пушки, приветствуют, восхваляя их начальников, войска; члены обществ мира, их ораторы и писатели против войны, как только им приходит черед, спокойно поступают в военное сословие и готовятся к убийству; императоры и короли, которые вчера торжественно уверяли всех людей, что они заботятся только о мире,— на другой же день упражняют свои войска в убийствах и хвастаются друг перед другом своими приготовлениями и вооруженными к убийству скопищами, и потому раздающиеся среди этой всеобщей лжи голоса людей, которые действительно хотят мира и не на словах только, а и на деле показывают, что они точно хотят его, не могут не быть услышаны» [26].

В 1899 г. по инициативе такого «миротворца», как русский император Николай II, была созвана мирная конференция в Гааге. Американская газета «New York World» попросила Толстого высказать свое мнение о конференции. И писатель ответил телеграммой: «Гаагская мирная конференция есть только отвратительное проявление христианского лицемерия» (т. 72, стр. 117). Черновая редакция этого ответа начиналась утверждением, что вопрос о сохранении мира «может быть решен людьми, которые не только болтают, но которые [принуждены сражаться] сами идут на войну» (стр. 116).

Так уже в самую раннюю пору возникновения движения сторонников мира Толстой увидел в нем два «потока»: либеральных пацифистов (среди которых было немало людей, искренне веривших в действенность своих обществ, конгрессов, съездов) и народ, тяжко расплачивавшийся за губительную политику империалистических правительств.

Толстого радовало, что взгляд на войну как на зло «все более проникает в общественное сознание», и это вселяло в него надежду, что недалеко то время, «когда войны станут невозможны — никто не станет воевать» [27].

Но чтобы это время пришло — в борьбу за мир должны вступить широчайшие народные массы. К ним-то в поздние годы своей жизни и обращался Толстой. И от их имени он гневно говорил воинствующим правителям и тем, кто служит им: «Да идите вы, безжалостные и безбожные цари, микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты, и как там вас называют, идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдем. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кормить... вас же, дармоедов» (т. 36, стр. 143).

Толстой горячо верил, что мир победит войну, и заявлял (в докладе 1909 г. для Стокгольмского конгресса мира): «...победа наша ⟨над зачинщиками войн.— *К. Л.*⟩ так же несомненна, как несомненна победа света восходящего солнца над темнотою ночи» (т. 38, стр. 119—120).

Проблема войны и мира занимала Толстого в течение всей его долгой жизни. Противоречивость взглядов писателя осложняла предлагавшиеся им решения больших идейных вопросов. Нужно, однако, не забывать о главном: Толстой стремился решать вопросы войны и мира с гуманистических и демократических позиций. Став идеологом и защитником «земледельческого народа», он эти вопросы, как и другие конкретные вопросы демократии и социализма, рассматривал «по-мужицки», по-народному, основываясь на кровных интересах миллионов людей труда.

Конечно, в антивоенной публицистике Толстого, наряду с суровым обличением поджигателей войны, наряду с потрясающими картинами

народных страданий, мы наталкиваемся и на такие «рецепты спасения человечества», которые были рождены догмами толстовского вероучения и, прежде всего, его теорией непротивления злу насилием. Полвека, протекшие со дня кончины Толстого, показали всю беспочвенность и наивность этих рецептов. Но время не только не ослабило, но еще более отточило острие могучего толстовского оружия социальной критики.

Смело выдвигая на первый план борьбу за мир как важнейшую проблему современности и стремясь найти реальные способы ее решения, Толстой завоевал признательность и уважение всех искренних сторонников мира. Его смелые выступления против империализма были высоко оценены передовыми писателями Запада.

Еще в 1898 г. Бернард Шоу писал о том, что Толстой-гуманист «возглавляет Европу», высоко поднявшись «над всеми нашими чемберленами, и китченерами, и германскими императорами, и лордами-канцлерами, и другими рабами фальшивых идей и ложных страхов!».

Один из крупнейших английских писателей второй половины прошлого века Томас Харди горячо поддержал выступление Толстого против русско-японской войны. В его статье «Одумайтесь!», опубликованной в Англии летом 1904 г., Харди усмотрел «образцовый обвинительный акт против войны как современного принципа со всеми его бессмысленными и нелогичными преступлениями» [28].

Анатоль Франс в речи, произнесенной в Париже 12 марта 1911 г. на митинге памяти Толстого, назвал русского писателя «яростным врагом войны». Следуя примеру Толстого, Франс призывал добиваться мира «постоянным напряжением всех сил». Он говорил, что войны исчезнут не потому, что они жестоки, а потому, что перестанут действовать причины, их вызывающие: буржуазный строй и его социальные противоречия. Писатель закончил свою речь словами: «Будем же работать по мере наших слабых сил для того, чтобы приблизить эти лучшие времена, смутное и высокое предчувствие которых жило в великой душе Толстого».

Десятью годами позднее немецкий драматург Г. Гауптман писал о Толстом: «Образцом должны служить его гуманность, его кристально-чистый голос, и голос его был бы услышан, как ничей другой. И голос этот звал бы к миру, звал бы с огромной силой к подлинному миру!».

Мужественная борьба Толстого против агрессивной войны служит вдохновляющим примером для всех писателей-гуманистов нашего времени. «Толстой говорил языком борца за мир не потому, что он был пацифистом и толстовцем, но потому, что он был великим реалистом»,— пишет Анна Зегерс [29], подчеркивая глубочайшую жизненность и действенность борьбы Толстого против войны.

Автор известной книги «Человек добр», Леонгард Франк, называл «Войну и мир» «величайшей книгой из всех написанных о войне». Отмечая, что Толстой «был величайшим борцом за новый гуманизм, за гуманизм нашего столетия, за гуманизм, который раз и навсегда заставит войну превратиться в явление прошлого», Франк называл Толстого «величайшим борцом за те условия человеческого существования, при которых человек действительно может быть добр...»

Старейший американский писатель Эптон Синклер в толстовские дни 1960 г. обратился с волнующими словами к советскому народу и ко всем людям доброй воли. Заключая свое слово о Толстом, Синклер писал: «И сейчас он взывает ко всем людям в Советском Союзе и в моей стране и во всех других странах избежать ужасной трагедии ядерной войны, которая низвергнет на нас проклятия всех жертв будущего».

Эти от сердца идущие слова убеждают нас в том, что Толстой и теперь рядом с теми, кто борется за мир и справедливость, за равноправие и дружбу народов всех континентов и стран.

* * *

«Существующий строй жизни подлежит разрушению,— писал Толстой еще в 1895 г.— В этом согласны как те, которые стремятся разрушить, так и те, которые защищают его. Уничтожиться должен строй соревновательный [30] и замениться должен коммунистическим; уничтожиться должен строй капиталистический и замениться социалистическим; уничтожиться должен строй милитаризма и замениться разоружением и арбитрацией ⟨...⟩; уничтожиться должно насилие и замениться свободным и любовным единением людей» (т. 68, стр. 64).

Толстой не принимал революционного метода переустройства и преобразования общества, но в то же время он был охвачен страстным желанием «поторопить наступление нового века». Знакомясь летом 1904 г. с книгой Ипполита Тэна «Происхождение общественного строя современной Франции», Толстой сделал в дневнике следующую запись: «Читая историю франц⟨узской⟩ революции, становится несомненно ясно, что основы революц⟨ии⟩ (на к⟨оторые⟩ так несправедливо нападает Тэн) несомненно верны и должны быть провозглашены...» (т. 55, стр. 81).

Высоко оценивая значение «большой французской революции» 1789 г., Толстой называл «несомненными и истинными» выдвинутые ею принципы свободы, равенства и братства. Он писал в 1905 г.: «Принципы эти, так же, как и вытекавшие из них меры, как были, так и остались и останутся истинными и до тех пор будут стоять как идеалы перед человечеством, пока не будут достигнуты» (т. 36, стр. 195).

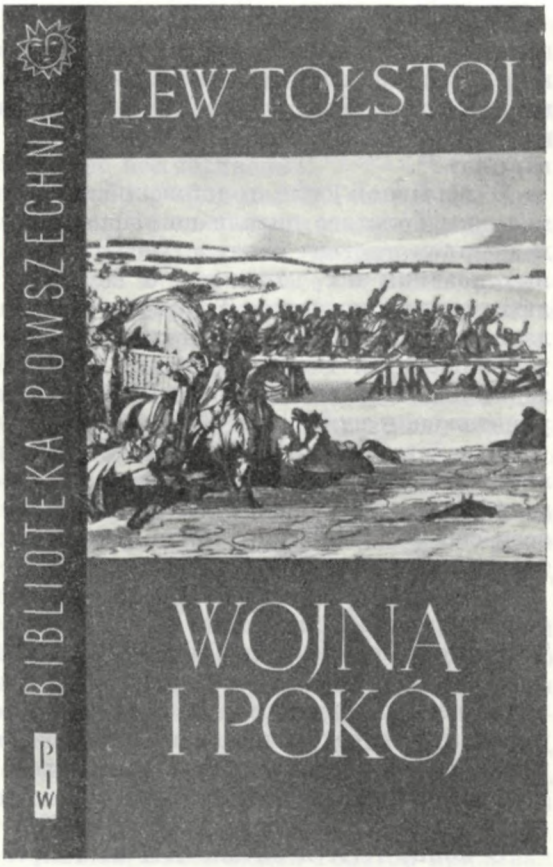
В той же статье Толстой называет разумными и благодетельными практические меры, вытекавшие из «выставленных революцией несомненных, истинных принципов равенства, свободы, братства». Какие же это меры? Толстой их перечисляет одну за другой: «Уничтожение сословий, уравнение имуществ, упразднение чинов, титулов, уничтожение земельной собственности, распущение постоянной армии, подоходный налог, пенсии рабочим, отделение церкви от государства, даже установление общего всем разумного религиозного учения» (т. 36, стр. 194—195).

Одобряя меры, проводившиеся в жизнь французскими революционерами, Толстой был уверен в том, что русская революция явится новым шагом в осуществлении идеалов свободы, равенства и братства. «Современное движение в России,— говорил он в июле 1905 г.,— движение мировое, важность которого еще мало понимают. Это движение, которое, как французская революция когда-то, может быть, даст своими идеями толчок на сотни лет. Русский народ обладает в высшей степени способностью к организации и самоуправлению» [31].

Толстой был уверен и в том, что революция одержит верх над реакцией. В разгар событий 1905 г. он обратился к защитникам старого строя со следующими словами: «...вам не устоять против революции с вашим знаменем самодержавия, хотя бы и с конституционными поправками, и извращенного христианства, называемого православием, хотя бы и с патриархатом и всякого рода мистическими толкованиями. Все это отжило и не может быть восстановлено» (т. 36, стр. 304).

В дни первой народной революции в России Толстой нашел нужным ясно определить перед «власть имущими» свою позицию в борьбе. В письме к одному из близких родственников царя, великому князю Николаю Михайловичу, посланном осенью 1905 г., он заявил: «Я человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом» (т. 76, стр. 32).

Эта твердая и определенная позиция непримиримого борца против самодержавия и помещичье-капиталистического строя снискала ему огромное уважение и любовь трудящихся масс России и зарубежных стран.



«ВОЙНА И МИР». ПОЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ (ВАРШАВА, 1962)
Обложка. Рисунок Александра Стефановского

Любовь и уважение миллионов — это был единственный щит, спасавший Толстого от расправы, которую давно хотели, но боялись учинить над ним реакционеры.

О могуществе Толстого, перед которым была бессильна самодержавная власть, рассказывает в своем дневнике издатель реакционной газеты «Новое время», А. С. Суворин: «Два царя у нас: Николай второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост» [32].

В 1902 г. Святейший синод с одобрения царя все же отлучил Толстого от православной церкви. Волна негодования, вызванная действиями «темных инквизиторов», прокатилась по всему миру. И несмотря на то, что Толстой как бы в ответ на решение Синода «щедро множит свои смелые, пылкие полемические и религиозные высказывания, неустанно участвуя в социальных битвах» [33], царские власти не осмеливаются тронуть его.

Величайший авторитет был завоеван Толстым тем, что он с годами не только не отстранялся от острейших вопросов своего времени, а, напротив, все более смело участвовал в социальных битвах.

Проповедуя отстранение от политики, Толстой на деле глубочайшим образом «вмешивался» в нее, страстно откликаясь на все главные общественно-политические события времени.

В книге «Три певца своей жизни» Стефан Цвейг писал о Толстом: «Не надо поддаваться обману евангелической кротости его братских проповедей, христиански смиренной окраске его речи, ссылок на Евангелие по поводу враждебной государству социальной критики ⟨...⟩ Толстой больше, чем кто-либо из русских, вскопал и подготовил почву для бурного взрыва» [34].

О взрывной силе толстовской критики, «колебавшей троны», современники Толстого писали по-разному: одни с восхищением, другие с раздражением, третьи с ненавистью. Это, разумеется, всецело зависело от идейных позиций тех, кто писал о Толстом. Но многие из них, в том числе люди, сочувствовавшие Толстому, не видели, что его критика вдохновлялась не только разрушительными, но и созидательными целями. Об этом хорошо сказал Ромен Роллан: «...у Толстого критика всегда имеет созидательную ценность. Он стремится построить заново; уничтожение ради уничтожения чуждо духу Толстого» [35].

И действительно — Толстой совсем не похож на христианских или иных анархистов, меньше всего интересовавшихся тем, каким будет на деле то царство «абсолютной свободы», за которое они ратовали. При всем своем социальном утопизме он ставил конкретные вопросы демократии и социализма.

«Существующий строй жизни отжил свое время и неизбежно должен быть перестроен на новых началах...» (т. 28, стр. 289) — таков вывод Толстого. Для него это была непреложная аксиома, основанная на анализе реального положения вещей и на законах исторического развития человеческого общества. Изучая эти законы, писатель пришел к мысли о том, что «переход людей от прежнего, отжитого общественного мнения к новому неизбежно должен совершиться. Переход этот так же неизбежен, как отпадение весной последних сухих листьев и развертывание молодых из надувшихся почек» (т. 39, стр. 73).

О конце XIX и начале XX в. Толстой писал как о времени великих социальных потрясений: «Это времена революции» (т. 36, стр. 275).

* * *

Отстранившись от прямого участия в первой народной революции в России, Толстой тем не менее признал, что революция содействовала воспитанию и укреплению чувства солидарности и единения.

«...теперешняя революция много духовно подвинет человечество, которое становится все более и более солидарно», — писал Толстой в 1906 г. (т. 76, стр. 103). Мы поймем все значение этих слов, если вспомним, что Толстой считал «благотворным все то, что содействует единению людей»,— как заявил он в одном из писем 1909 г. (т. 79, стр. 215), выразив едва ли не главнейшую из основ своей жизненной и творческой позиции. Сколь ни различны были формы его служения народу и человечеству, они определялись стремлением содействовать единению людей, помешать процессу их разобщения и раздробленности, в котором писатель видел важнейшую причину всех бедствий рода человеческого.

Что же более всего способствует единению людей, их солидарности, взаимному уважению и пониманию? Толстой так отвечал на этот коренной вопрос: «Ведь бедствия людей происходят от разъединения. Разъединение же происходит оттого, что люди следуют не истине, которая одна, а лжам, которых много. Единственное средство соединения людей воедино есть соединение в истине. И потому, чем искреннее люди стремятся к истине, тем ближе они к этому соединению» (т. 28, стр. 270—271).

В дневнике Толстого за 1889 г. мы встречаемся с мыслью о том, что основой согласия самых разных людей служит само *искание истины*.

«Достоверность знания как получить? — спрашивает Толстой.— Всегда говорят: разум? Но разум у каждого свой. Нужен авторитет: откровение, закрепленное чудом. Какой ужасный вздор. И какой софизм! Предполагается, что нужно иметь истину такую, в к〈оторой〉 все бы были согласны. Но такой истины, в к〈оторой〉 все бы были согласны, нет, не от того, что нет истины, но от того, что не все согласны».

Откровение, закрепленное чудесами, говорит далее Толстой, не приводит к согласию, а наоборот, ведет к еще большему разладу людей. «Нет истины, в к〈оторой〉 бы все были согласны, но есть постоянное движение и мое, и всех людей к той истине, в к〈оторой〉 все согласны, не могут не быть согласны. Все люди верят в такую истину и идут к ней. И в движении к истине всегда согласие. Несогласие только в предполагаемой неподвижной истине» (т. 50, стр. 82).

Трудно переоценить значение этих мыслей Толстого не только для его эпохи, но и для нашего времени! Действительно, люди всегда стремились и будут стремиться к познанию истины... Значит ли, однако, что одна часть человечества может силой навязать другой его части ту истину, в которую она верит? Толстой отвергает это в принципе, ибо такой путь никогда не приводил людей к добру и согласию. Основой согласия человечества должно быть признание права всех людей на поиски истины, ибо «в движении к истине — всегда согласие».

Люди хотят и должны знать, где им искать истину. В статье «Как и зачем жить?», написанной в 1905 г., Толстой говорил: «Обыкновенно мудрость старчества приписывают древности, т. е. временам, отдаленным от нас в прошедшем, и религиозным выражениям древности. Но это несправедливо. Точно так же, как отдельный человек, подвигаясь в жизни, все более и более освобождаясь от страстей, все более и более умудряется, так точно и человечество. Высшая мудрость человечества не за тысячи лет до нас, а теперь, сейчас» (т. 36, стр. 398).

И писателей, и художников, и ученых, и всех людей Толстой призывал понять, что современность — это главная сфера настоящей жизни. «Искусство,— писал он в дневнике 1896 г.,— есть одно из проявлений духовной жизни человека 〈...〉 И потому в каждый данный момент оно должно быть — современное — искусство нашего времени. Только надо знать, где оно. (Не в декадентах музыки, поэзии, романа.) Но искать его надо не в прошедшем, а в настоящем. Люди, желающие себя показать знатоками искусства и для этого восхваляющие прошедшее искусство — классическое и бранящие современное, — этим только показывают, что они совсем не чутки к искусству» (т. 53, стр. 81).

Только искусство, обращенное к современности, может содействовать исканию истины, которая объединит людей, поможет им решить самые сложные вопросы их жизни. Отвечая Ромену Роллану на его первое письмо, Толстой так определил значение истинной морали и настоящего искусства: «Все, что соединяет людей, есть добро и красота; все, что разъединяет их, есть зло и безобразие». И там же: «Добро и красота для человечества есть то, что соединяет людей» (т. 64, стр. 95).

В трактате «Что такое искусство?» Толстой назвал служение делу «братского единения» людей главной задачей художника. «Искусством будут считаться только те произведения, которые будут передавать чувства, влекущие людей к братскому единению, или такие общечеловеческие чувства, которые способны соединять всех людей». В обществе, которое придет на смену капитализму, «только это искусство будет выделяемо, допускаемо, одобряемо, распространяемо» (т. 30, стр. 179).

В том же трактате Толстой предсказывал, что искусство будущего станет всенародным, но для этого необходим социальный переворот. ...Наше утонченное искусство,— писал он,— могло возникнуть только

на рабстве народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока будет это рабство (...) Освободите рабов капитала, и нельзя будет производить такого утонченного искусства» (там же, стр. 82). Так величайший из художников минувшего века связывал судьбы искусства с судьбами народными, с освобождением трудового народа от «рабства нашего времени», как называл он капиталистическую эксплуатацию.

Толстой страстно осуждал проповедников расовой и национальной розни, видя в них прямых пособников тех правителей, кто строил свою политику по принципу «разделяй и властвуй».

Близкий знакомый Толстого, учитель его детей, В. И. Алексеев писал в своих воспоминаниях: «К национальной розни Лев Николаевич относился отрицательно. Он говорил: „Для меня равенство всех людей — аксиома, без которой мыслить нельзя“»[36]. И когда Толстой узнавал о том, что эта «аксиома» кем-то не признавалась или нарушалась,— он весь свой гнев обрушивал на головы ее «нарушителей».

Так, например, Толстой не раз высказывал осуждение той дискриминации, которой с давних пор подвергается негритянский народ в Соединенных Штатах Америки. Еще в 1903 г. он выразил негодование по поводу действий «самого передового государства Америки с ее поступками на Кубе, Филиппинах, отношением к неграм» (т. 35, стр. 209).

Годом позднее в предисловии к биографии американского общественного деятеля Уильяма Ллойда Гаррисона (1805—1879) — борца против невольничества негров — Толстой утверждал, что гражданская война в Америке за отмену рабства решила негритянский вопрос лишь «внешним образом», «сущность же вопроса осталась неразрешенной, и тот же вопрос, только в новой форме, стоит теперь перед народом Соединенных Штатов» (т. 36, стр. 97).

Шестьдесят лет прошло с тех пор как написаны эти слова, но с какой силой и злободневностью звучат они сегодня. Действительно, не с меньшей, а с еще большей остротой тот же самый вопрос стоит теперь перед народом Соединенных Штатов Америки.

В 1909 г. в Ясную Поляну пришло из Америки письмо, авторы которого Лиззи Уолкер и Марта Тайлер обращались к Толстому от лица трех тысяч негров, живших в Нью Ольбени (штат Индиана). Письмо и приложенная к нему статья «Что сказал бы Толстой о расе негров?», опубликованная в журнале «Alexander's Magazine», содержали вопли и мольбы чернокожих людей, вызванные жестоким преследованием со стороны расистов.

В ответном письме Толстой осудил и «преступность грубой толпы, совершающей эти ужасы, и еще бо́льшую бессовестность правительства, допускающего и потворствующего этим преступлениям...» (т. 79, стр. 196).

Колониализм, расизм, национальный гнет перешли из эпохи, в которую жил Толстой, в нашу эпоху, и в борьбе против них писатель выступает и сегодня как наш союзник.

Еще один из героев Толстого, Пьер Безухов, говорил в эпилоге «Войны и мира»: «...Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто!» (т. 12, стр. 293—294).

Можно сказать, что и «вся мысль» самого Толстого состояла в том же самом: соединить, сплотить всех честных людей для борьбы со «злом», какие бы формы и обличья оно ни принимало.

«Ведь как просто!» — выражая чувство самого Толстого, восклицал Пьер. Но мы видим в «Войне и мире», что и для самого Пьера дорога к этой мысли оказалась и не близкой и не простой. Такой же она была для большинства людей «эпохи Толстого». Такой же остается она и для большинства наших зарубежных современников.

* * *

Толстой принадлежал к тем художникам и мыслителям, в натуре которых, как говорил Белинский, лежит все, чем живет человечество. «Как бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человека (...), — писал Белинский,— она не полна, если не усвоит в свое содержание интересов внешнего ей мира, общества и человечества» [37].

Личность, общество, человечество — на сопряжении этих высоких понятий и вырос толстовский гуманизм. «Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям»,— говорил Толстой (т. 54, стр. 94). Формы его служения обществу и человечеству были многообразны. Сам он указывал на устройство школ для крестьянских детей, на исполнение обязанностей мирового посредника в пору проведения реформы 1861 г., на помощь крестьянам в голодные 1890-е и 1900-е годы, а также на «религиозную помощь» людям. В этом перечне своих «добрых дел» Толстой не назвал писательской деятельности. В действительности же именно эта форма служения людям была главной — и потому, что она связывала Толстого со многими миллионами современников, и потому, что, как никакая другая, она соответствовала масштабам его одаренности, его гению.

Еще при жизни Толстого многие современники называли его титаном, повелевавшим громами и бурями. Но в те же годы стали создаваться мифы и легенды о нем, как о святом старце-затворнике из Ясной Поляны, которая уподоблялась Оптиной пустыни или другому монастырю. Церковники же не только не пытались его канонизировать, но, напротив, объявили Толстого антихристом, «исчадием адовым». Саратовский епископ Гермоген в своем «архипастырском обращении» накануне восьмидесятилетия Толстого призывал верующих не «торжествовать юбилейный день анафематствованного безбожника и анархиста, революционера Льва Толстого» [38].

Вокруг Толстого еще при его жизни образовался такой водоворот идейной борьбы, что многие из его современников просто терялись, то и дело сталкиваясь с полярно противоположными оценками взглядов и творчества писателя.

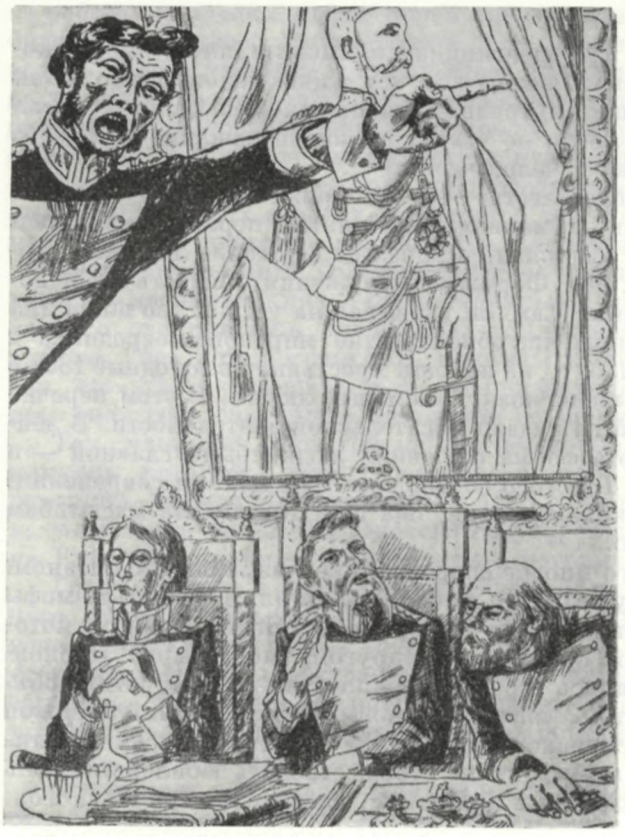
Критики, литераторы, ученые, деятели освободительного движения долгие годы вели споры о том, *какой же* Толстой больше всего влиял на народные массы — художник или социальный реформатор. Эти споры продолжаются и поныне.

Кроме социально-политических причин, вызывающих бурные дискуссии о Толстом, существуют причины теоретического, а точнее сказать, методологического характера. Мы имеем в виду разный подход спорящих сторон к решению большой проблемы взаимосвязей мировоззрения и творчества. Это различие в подходе читатель найдет и во многих высказываниях о Толстом, собранных в настоящей книге. Толстой и его наследие были и остаются подлинным «полем боя», на котором и поныне скрещиваются мечи тех, кто, решая названную проблему, отстаивает противоположные идейные позиции.

* * *

Далеко не всегда и не все споры о Толстом их участники доводили и доводят, как он любил говорить, «до последней степени ясности». Нередко они велись для того, чтобы окружить имя писателя ореолом легендарности, создать вокруг него атмосферу загадочности.

Известный австрийский драматург и прозаик Артур Шницлер, находившийся под сильным влиянием фрейдизма, сторонник импрессионизма и субъективного психологизма в искусстве, назвал Толстого «гением миро-



«ВОСКРЕСЕНИЕ». ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЧЕШСКОГО ХУДОЖНИКА ЯНА ЯВОРСКОГО

Из книги: L. N. Tolstoj. Vzkříšení. Praha, 1951

вой загадки». Идя вслед за Шницлером, современные фрейдисты и психоаналитики уже полностью «переключили» «проблему Толстого» в мир подсознательного, в «тайны гениальности», трактуемой ими, как анормальное явление.

Предтеча модернистских романистов Марсель Пруст, восторженно прославлявший Толстого-художника, в то же время утверждал, что его произведения построены на основе иррациональных законов, которые «остаются необъяснимыми для нас» [39].

В сущности то же самое недавно повторил близкий к модернизму французский романист Клод Мориак. Уподобив Толстого гениальному химику, Мориак заявил, что «главные секреты» автора «Войны и мира» и других великих произведений разгадать невозможно, и они безнадежно утрачены. Стало быть, заключает Мориак,— «в наше время меньше, чем когда бы то ни было, можно чему-нибудь научиться у Толстого. Толстой — это уже музей. Пруст еще лаборатория» [40].

Однако и некоторые из видных писателей-реалистов Запада искренне признавались, что многое в Толстом оказалось для них загадочным.

Крупнейший из английских романистов и драматургов XX века Джон Голсуорси, испытавший большое и благотворное влияние Толстого, начал предисловие к английскому изданию «Анны Карениной» словами: «Толстой — пленительная загадка». В творчестве великого классика Голсуорси находил «духовную двойственность», видя ее в том, что в нем своеобразно сочетались художник и реформатор. Все творчество Толстого представлялось Голсуорси огромным «полем сражения», такого сражения, которое, с его точки зрения, закончилось победой моралиста над художником.

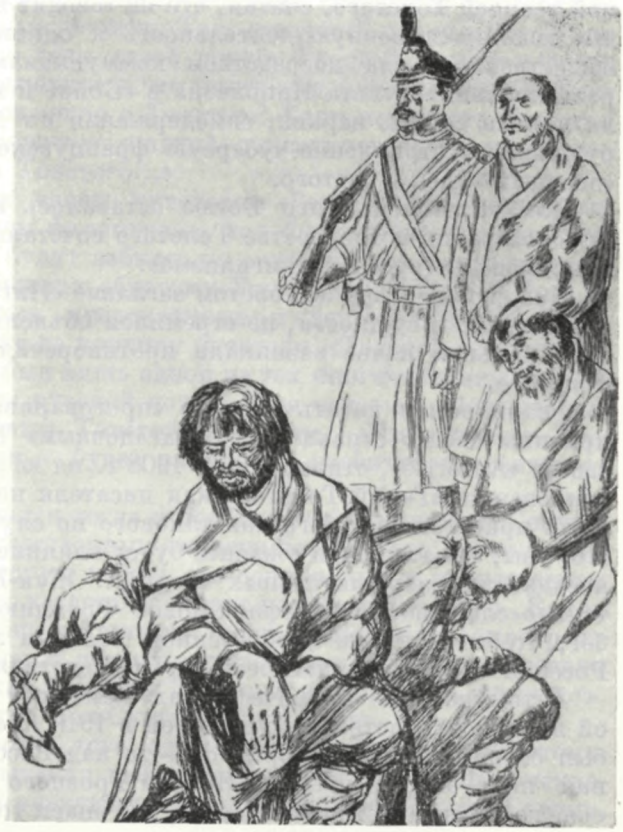
По мнению современного исландского писателя Г. Гуинарсона, для многих зарубежных почитателей Толстой и доныне остается «загадочным единством многогранности» [41].

Как и Голсуорси, многие из зарубежных писателей видели в Толстом «загадочное» соединение художника и моралиста, действовавших в совершенно противоположных направлениях, совершенно различными способами и в абсолютно разных целях.

Итальянская романистка Грация Деледда в статье «Последний путь», опубликованной в декабре 1910 г., писала, что весь последний период жизни Толстого «был великим бредом апостола и провидца, путника, идущего в край света и мира...» В ее представлении «поздний» Толстой был «евангельским пахарем, возделывающим жесткие земли человеческого духа, выжигающим ненужные заросли и бурьян и сеющим Добро».

Но, отдавая дань уважения «Учителю», автор статьи более всего восторгался «Художником». Толстой, заключала Деледда, «любим нами именно так, — не как „последний из пророков", а как самый великий из современных художников».

Те же мысли и чувства выразил в статье-некрологе о Толстом будущий классик румынской литературы Михаил Садовяну. Испытав на себе огромное влияние художественного творчества Толстого и отдав дань увлечению его религиозной проповедью, Садовяну в те годы считал «позднего» Толстого апостолом-отшельником, отрекшимся от искусства. Как и у Грации Деледда, мы находим здесь прямое и резкое противопоставление Толстого-художника и Толстого-мыслителя. Откуда оно возникло, на чем основано, что за ним кроется—вот вопросы, которые непременно возникнут у читателей многих материалов, помещенных в настоящей книге.



«ВОСКРЕСЕНИЕ». ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЧЕШСКОГО ХУДОЖНИКА ЯНА ЯВОРСКОГО

Из книги: L. N. Tolstoj. Vzkříšení. Praha, 1951

* * *

Как утверждал Горький, «Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия» [42]. Надо ли удивляться, что, встретившись с одной из основных проблем толстовианы — проблемой мировоззрения и творчества Толстого,— многие зарубежные писатели, исследователи, критики испытали серьезные затруднения?

Столкнувшись с этой проблемой, одни из них закрывали глаза на противоречивость Толстого и старались представить его монолитом, отлитой из металла цельной, огромной, но, в сущности, очень простой фигурой; другие не отворачивались от толстовской сложности, но объясняли ее по-своему; третьи совсем не пытались ее объяснить, предпочитая создавать мифы о загадочности великого художника.

Еще в середине 1880-х годов некоторые зарубежные критики попытались «расщепить» загадочное единство Толстого. Такая попытка была сделана, например, автором известной в свое время книги «Le Roman Russe» Э. М. де Вогюэ. Едва ли не первым в международной толстовиане Вогюэ высказал мысль о том, что существуют два Толстых — художник и социальный реформатор. Их достоинства и недостатки он предлагал оценивать порознь.

Сравнивая Тургенева и Толстого, французский критик увидел в первом писателя, «дисциплинированного западным воспитанием», а во втором — выразителя коренных черт русского национального характера. Каких же? «Он,— писал Вогюэ о Толстом,— прежде всего и больше, чем кто-либо другой, является одновременно выразителем и пропагандистом того состояния русской души, которое называют нигилизмом» [43].

Критик «предостерегал» французских читателей от увлечения социальной теорией Толстого, считая, что он «сводит все обязанности, все надежды, всю нравственную деятельность к одному предмету: уничтожению общественного зла посредством коммунизма» [44]. Далее Вогюэ осудил развенчивание культа Наполеона в «Войне и мире», выступления писателя против войны, церкви, самодержавия и т. д. Во всем этом ясно обнаруживалось стремление «уберечь» французское общество от воздействия «опасных» идей Толстого.

Для читателей книги Вогюэ оставалось неясным, каким образом в мировоззрении и творчестве Толстого сочетались христианский гуманизм и проповедь «русского нигилизма».

Дав своему этюду о Толстом заглавие «Нигилизм и мистицизм», Вогюэ не смог, да, в сущности, не стремился объяснить, на какой исторической и социальной почве возникали противоречия во взглядах и творчестве Толстого.

Реакционная печать нередко «проговаривалась», открывая истинные причины своего страха перед «загадочным» Толстым. Так, французская газета «Autorité», откликаясь в 1908 г. на юбилей Толстого, высказалась откровенно: «Гений Толстого как писателя неоспорим, и мы почитаем за честь приветствовать его как такового по случаю его 80-летнего юбилея. Но, увы, тем глубже и ужаснее будет влияние его как философа-учителя, насадителя разрушительных теорий!.. Жан-Жак Руссо своей чувствительно слащавой философией довел Францию до ужасов 1793 года. Дай бог, чтобы доктрина изобретенной Толстым любви не разразилась над Россией столь же трагическими последствиями» [45].

В том же духе «пророчествовал» немецкий публицист М. Гарден в своей лекции о Толстом, прочитанной в 1910 г. «Если бы толстовский идеал был осуществлен,— говорил он,—то над Россией развернулась бы ужасная ночь, как во времена Иоанна Грозного и Павла. У нас нет ничего общего с сектантством Толстого, мы знаем только художника Толстого».

Страх перед Толстым-обличителем был так силен, что на Западе, как и в России, возникла специальная антитолстовская литература, цель которой состояла в том, чтобы противодействовать влиянию его социальной проповеди на народные массы.

Добровольный адвокат немецкого юнкерства Фридрих Дукмайер выпустил в 1891 г. брошюру «Толстой, пророк или пугало?», в которой во всеуслышание и нисколько не смущаясь заявил, что произведения великого классика русской и мировой литературы «отравляют нравственную атмосферу мира». А издатель этого пасквиля в приложении добавил от себя, что он хотел с помощью Дукмайера помешать «тлетворному» влиянию Толстого на некоторые стороны немецкого народного характера.

Подобные же обвинения в 1900-е годы предъявлял Толстому президент США Теодор Рузвельт. В раздраженном тоне он писал о том, что Толстой... вмешивается во внутренние дела Америки и что русский философ и моралист «не годится» для «деловых людей» буржуазного общества [46].

Таким образом, трубадур прусского юнкерства и герольд американского империализма в одинаковой мере ненавидели социально-политическую критику Толстого и страшились ее влияния на народы своих стран.

Любопытно отметить, что Рузвельт также «отделял» Толстого-мыслителя от Толстого-художника. Отвергая и браня первого, он признавал второго великим и гениальным.

Как видим, теория «раздвоенности» Толстого вполне устраивала даже таких реакционных деятелей, как один из самых агрессивных американских президентов.

* * *

Обеспокоенных охранителей старого порядка «утешали» состоявшие у них на службе литературные деятели. Так, немецкий критик Гуго Ганц утверждал, что в последние годы своей жизни Толстой предстал перед миром в «ненадлежащем освещении» и что многие получили о нем «ложное представление». Что же произошло с Толстым? Ганц поясняет: «Апостол покаянной проповеди, „обновитель жизни“, коммунист почти отодвинул на задний план художника Толстого...»

Однако скоро,— обещал своим читателям Ганц, — все изменится: «Политико-этические причуды филантропа, как бы глубоко они ни срослись с его существованием, будут забыты, но создания его фантазии займут место рядом с возвышенными образами Гомера, Шекспира и Гете...»

В сущности то же самое предсказывал и венгерский публицист А. Шепфлин в своем отклике на кончину писателя. «Толстой — религиозный философ,— писал он,— был лишь одной из тех многочисленных странностей, которые возникли на русской почве. И он исчез со смертью Толстого». Никогда не умрет лишь Толстой-художник. «Именно этот Толстой, — утверждал Шепфлин,— будет влиять на развитие человеческой мысли».

В том же духе высказывался тогда и бельгийский журналист Спадий. Предрекая бессмертие художественным творениям Толстого, он выражал откровенную надежду на скорую гибель его социальных и нравственных идеалов. Он писал: «Что же касается социальных утопий автора „Войны и мира“, его мечты о всеобщем братстве, справедливости и самоотречении, то боюсь, что не пройдет и нескольких лет, как они будут преданы забвению <...> и химерические мечтания Толстого постигнет та же участь, что и благородные чудачества Сен-Симона или Фурье».

Другие «оракулы», напротив того, предсказывали забвение Толстому-художнику. Например, румынская либеральная газета «Vitorul» в некрологе о Толстом высказала следующее предположение: «Толстой велик,

в первую очередь, как апостол или основоположник новой веры», а его книги «полежат еще некоторое время на прилавках магазинов, наследники заработают еще немного денег〈...〉, а затем все кончится». Газета обещала своим читателям «закрыть» Толстого-художника и увековечить Толстого-проповедника.

Французские, английские и немецкие «толстоисты», которых во всем наследии писателя интересовало лишь религиозное учение, старались приспособить его к требованиям буржуазного «здравого смысла». Их деятельность, основанная на противопоставлении Толстого-проповедника Толстому-художнику, в конечном итоге служила одной из форм неприятия его обличительства и его демократизма.

Иные из охранителей буржуазного строя старались уверить своих современников в том, что социальная проповедь Толстого никакой «опасности» не представляет, ибо она устремлена в прошлое. «Нам нечего бояться толстовских идей», — писал в 1887 г. критик Вильгельм Графф в журнале «Gegenwart». — *Являясь в наше время, «покрытое мраком нигилизма и социализма, они только кажутся революционными и опасными; на деле же они не что иное, как применение к нашему времени и современным жизненным отношениям древних этических основных положений чистого христианства...»* [47].

Надо отметить, что эта мысль о раннехристианском характере социальных и нравственных взглядов Толстого нашла широкое распространение и в русской и в зарубежной критической литературе. Графф принадлежал к тем критикам, которые сводили все взгляды Толстого к отвлеченному христианскому анархизму.

Многие из зарубежных последователей Толстого-вероучителя делали то же самое. Так, немецкий «толстоист» Эуген Шмидт причину громадного влияния Толстого на современников видел в «том глубоко захватывающем перевороте, который совершился в его мировоззрении».

Смысл этого переворота в трактовке Шмидта состоял в том, что Толстой *«отрешился от основных догматов нашего просвещенного мира и примкнул к основным воззрениям первых времен христианства»* [48].

Ни у буржуазных зарубежных критиков и литературоведов, ни у «толстоистов» мы не найдем верного ответа на вопрос о том, чем увлек Толстой миллионы простых людей России и всего мира? Вот, например, что писал французский журналист и ученый А. Леруа-Болье, считавшийся в свое время знатоком России: «Громадную, всеобщую славу Толстому создал Толстой-мечтатель, теоретик, отважный реформатор, давно уже явившийся и постепенно убивший в нем могучего романиста прошлых времен». На смену великому художнику явился «пророк нового времени, апостол будущего града господня». Он возвестил народам о близящемся обновлении земли, о конце всех бедствий, которое наступит в евангельском царстве любви. «Вот какой Толстой вызывал глубокое поклонение и был предметом культа у современных народных масс», — заключал Леруа-Болье.

Нужно сказать, что и весьма видные писатели Запада были близки к такой же точке зрения, когда искали причины феноменальной популярности Толстого в народной среде. Правда, они не отвергали, подобно Леруа-Болье, влияния Толстого-художника, но считали, что роль художника сводилась к тому, что он помог пророку и проповеднику завоевать признание. «...если бы не колоссальный талант художника, — писал польский романист Г. Сенкевич, — разве принципы, проповедуемые Толстым, находили бы такой широкий отклик, разве стали бы проблемами, над которыми задумываются величайшие умы Европы? 〈...〉Толстой не только великий писатель, он глашатай свободы, великий защитник угнетенных и страстный поборник общечеловеческих идеалов».



«АННА КАРЕНИНА». ИРАНСКОЕ ИЗДАНИЕ (ТЕГЕРАН, 1954)
Суперобложка

Резкое противопоставление Толстого-художника и Толстого — социального мыслителя характерно для публикуемых в настоящем томе высказываний Грации Деледда, Герберта Уэллса, Михаила Садовяну, а также Арнольда Цвейга, Лиона Фейхтвангера и др.

И лишь немногим из писателей Запада удалось преодолеть этот глубоко ошибочный подход к Толстому. Одним из них был Ромен Роллан, испытавший на своем сложном творческом пути плодотворное воздействие ленинской трактовки взглядов и творчества Толстого.

* * *

Чтобы понять, что значило для Ромена Роллана обращение к статьям Ленина о Толстом, достаточно сопоставить такие работы французского писателя, как «Жизнь Толстого», «Толстой — свободный мыслитель» и «Ленин. Искусство и действие».

Статью «Толстой — свободный мыслитель» Р. Роллан написал в мае 1917 г. [49] Поводом для нее послужил дневник Толстого, опубликованный тогда в Женеве П. И. Бирюковым. Автор статьи славил Толстого как «свободную совесть», далекую от «классовой, кастовой, национальной, религиозной» или какой бы то ни было иной догмы. «Душа, осмеливающаяся свободно и искренно смотреть на все своими собственными глазами, любить собственным сердцем, судить собственным разумом, осмеливающаяся быть не тенью, а человеком»,— таков Толстой. Как ни возвышенны эти слова, но за ними вырастает фигура не Толстого—социального

критика и протестанта, а пророка, одиноко стоящего «над схваткой» [50], христианского анархиста, далекого от «толпы», порвавшего всякие связи с людьми, в том числе и с теми, в защиту которых он поднимает голос[51].

Здесь, как и в других работах о Толстом, Роллан говорит о его сложности. «В гении Толстого,— пишет он,— заключен гений нескольких человек: в нем живет великий художник, великий христианин, и вместе с ними уживается существо необузданных страстей и инстинктов. Но по мере того как движется жизнь и расширяются границы ее царства, начинаешь яснее видеть то, что управляет ею,— это свободный разум. Свободному разуму хочу я воздать здесь хвалу» [52].

Роллан ставит здесь знак равенства между понятиями «свободный разум» и «свободная совесть» и провозглашает Толстого ее «самым ярким примером».

Итак,— великий художник, великий христианин, человек необузданных страстей и, наконец, свободная совесть — вот слагаемые, из которых в ту пору Роллан лепил образ Толстого. Нельзя отказать этому образу ни в красочности, ни во впечатляющей силе. Но нельзя не увидеть и его условности, его полной оторванности от национальных, исторических и социальных корней, создавших и питавших «оркестровую» сложность Толстого — художника и мыслителя.

Увидеть эти корни помогли Роллану ленинские статьи о Толстом. «Для историка литературы,— писал Роллан в своей работе „Ленин. Искусство и действие“ (1934),— интересно было бы точно понять, что̀ именно в таких людях, как Руссо, Дидро, Вольтер, во всех великих художниках-предтечах опережает их самих, что̀ в них принадлежит (хотя они сами об этом и не подозревают) грядущему, от которого, если бы они могли его предвидеть, они бы отреклись. Именно эту работу с присущей ему стремительной и ясной прямотой начал Ленин в отношении писателя, которого он особенно любил...» [53]

Роллан прозорливо указывает здесь на те истинно новаторские пути, по которым Ленин смело повел изучение мировоззрения и творчества Толстого, раскрывая истинный смысл и корни его противоречивой сложности. Понадобился гений Ленина для того, чтобы сложнейшая проблема толстовского наследия получила свое истинно научное объяснение.

* * *

Ленинскую концепцию Толстого от всех предшествовавших ей трактовок наследия писателя отличают глубокий историзм, масштабность, цельность и полная определенность суждений и оценок. Исполинская фигура Толстого была впервые осмыслена исторически: все сложное и противоречивое многообразие идей писателя взято и объяснено Лениным в его истоках и диалектическом единстве развития.

В отличие от Плеханова и многих других авторов, писавших о Толстом, Ленин не делит его на художника и мыслителя и не противопоставляет одну «половину» другой. Он видит действительно «кричащие противоречия» не только в толстовском учении, во взглядах, в «школе», но и в произведениях Толстого [54]. По Ленину, не только Толстой-проповедник, учитель жизни, а весь Толстой соткан из противоречий. И эта противоречивость не «раздваивает» писателя, а образует сложное единство.

Вот что Ленин говорит о мировом значении Толстого: «Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции» [55].

А вот как Ленин определяет характер связей Толстого с эпохой подготовки первой народной революции в России: «...Толстой поразительно

рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость» [56].

Определяя исторические рубежи эпохи Толстого, Ленин пишет: «Эпоха, к которой принадлежит Л. Толстой и которая замечательно рельефно отразилась как в его гениальных художественных произведениях, так и в его учении, есть эпоха после 1861 и до 1905 года» [57].

В другой статье Ленин указывает, что слабость и бессилие дореволюционной России «выразились в философии, обрисованы в произведениях гениального художника» [58].

Характеризуя эпоху Толстого как эпоху быстрой, тяжелой и острой ломки всех старых «устоев» старорусской жизни, Ленин говорит, что эта ломка «и отразилась в произведениях Толстого-художника, в воззрениях Толстого-мыслителя» [59].

И это единое, целостное восприятие характеризует весь цикл ленинских работ о Толстом. Все, что в них сказано о Толстом — о его противоречиях, о сильных и слабых сторонах, о его национальном и мировом значении, о связях с эпохой, о его отношении к освободительному движению, об исторической роли его наследия и т. д.— сказано так, что нам виден *весь* Толстой — и художник, и мыслитель, и публицист, и философ.

Ленин учит нас брать наследие Толстого в целом. Но это вовсе не значит, что он учит нас уравнивать, уравновешивать все стороны этого наследия. Однако разграничительные линии между ними Ленин проводил совсем иначе, чем это делали его предшественники и современники. Ленин различает, разграничивает сильные и слабые стороны как в художественном творчестве Толстого, так и в его мировоззрении, отделяет то, что в произведениях и взглядах писателя отошло в прошлое, от того, что в нем принадлежало будущему.

Ленин видит величие Толстого в том, что он стал голосом трудового земледельческого народа, выразителем «тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России» [60]. Первостепенное значение крестьянской темы в художественном творчестве и публицистике Толстого Ленин подчеркивает в итоговой оценке мировоззрения писателя: «...совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как *крестьянской* буржуазной революции» [61].

В статьях Ленина о Толстом с предельной ясностью обрисованы сильные и слабые, революционные и противуреволюционные стороны взглядов писателя, в которых с зеркальной верностью отразилась кричащая противоречивость крестьянской идеологии.

Очень важно указать здесь на то, как определял Ленин главные, решающие черты крестьянской идеологии. Важно потому, что это имеет прямое отношение к ленинской оценке наследия Толстого.

В статье «Пересмотр аграрной программы рабочей партии» (1906 г.) Ленин писал: «Реакционные элементы есть во всем крестьянском движении и во всей крестьянской идеологии, но это нисколько не опровергает общего революционно-демократического характера всего этого движения в целом» [62].

Эта характеристика крестьянского движения и его идеологии полностью приложима и к Толстому. Ни наивность, ни утопизм, ни апелляции к «духу», ни наличие иных «реакционных элементов» в постановке и решении Толстым острых и больных вопросов своего времени не «отменяют» ни того, что они входили в круг конкретных вопросов демократии и социализма, ни того, что в них нашел отражение революционно-демократический характер крестьянского движения.

Ленин решительно осуждал тех, кто пытался свести идейное содержание произведений Толстого к отвлеченному «христианскому анархизму». Разоблачая народников, буржуазных либералов, меньшевиков, «толстовцев» — всех, кто, искажая подлинное содержание творчества Толстого, превращал в догму самые слабые стороны его учения, Ленин указывал: «Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян,— это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному „христианскому анархизму“, как оценивают иногда „систему“ его взглядов» [63].

Ленин учит нас судить о значении великих людей прошлого не по слабым и ошибочным сторонам их взглядов и творчества, а по тому истинно великому, что было ими создано. Ленин указывает, что «исторические заслуги судятся не по тому, чего *не дали* исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они *дали нового* сравнительно с своими предшественниками» [64].

Ленин показал в статьях о Толстом, насколько различно было отношение к наследию писателя со стороны различных общественных групп, классов и партий. Он разоблачил попытки буржуазных дельцов «примазаться» к авторитету великого имени Толстого и заработать на нем «политический капиталец».

Всемирное значение Толстого Ленин видел в том, что, благодаря его гению, эпоха первой русской народной революции выступила как шаг вперед в художественном развитии всего человечества.

Установив неразрывную связь мировоззрения и творчества великого писателя с народной революцией, Ленин показал, в чем состояло значение Толстого и для его эпохи и для будущего.

* * *

Шесть десятилетий протекло с тех пор как в России произошла «генеральная репетиция Октября» — первая народная революция, зеркалом которой Ленин назвал творчество Толстого.

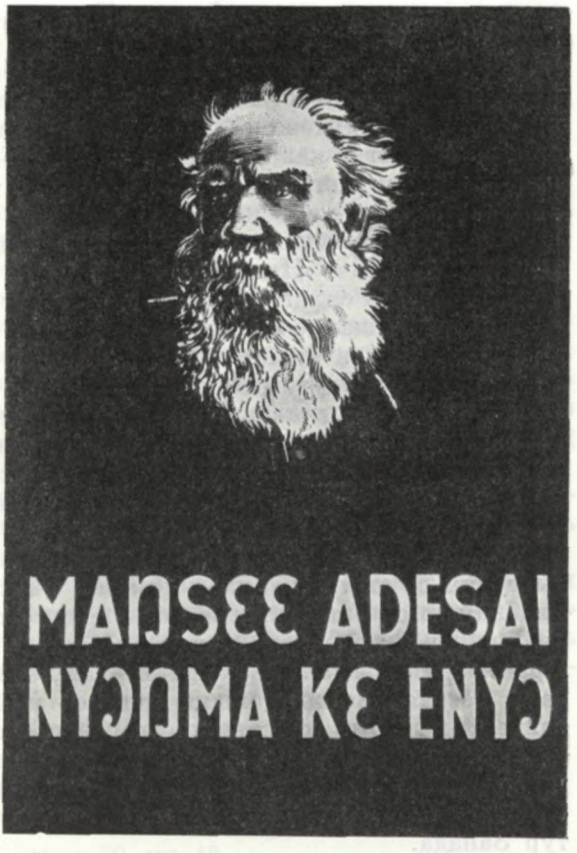
Октябрь придал процессу революционного преобразования мира стремительный и неудержимый характер. С его развитием связан громадный рост престижа и влияния нашей Родины.

Рост известности и влияния Толстого, упрочение его всемирного авторитета неразрывно связаны с этими великими динамическими процессами.

Глубоко прав известный негритянский писатель и ученый Уильям Дюбуа, подчеркнувший, что и в дальнейшем слава и авторитет Толстого будут «расти и шириться вместе с размахом социализма». Как бы развивая эту мысль, старейший немецкий писатель Арнольд Цвейг говорит, что Толстой помогает поколениям уяснить главное — движение от настоящего к будущему, освещенное светом социализма.

Сегодня, как полвека и более назад, наследие Толстого всеми сильными сторонами связано с борьбой передовых людей за гуманизм и прогресс, за мир и демократию, за переустройство общества на социалистических и коммунистических началах.

Нет сомнения, что в наше время влияние Толстого стало еще более многозначным и многообразным, чем при его жизни. Это и не могло быть иначе, ибо к проблемам и вопросам, волновавшим современников писа-



СБОРНИК РАССКАЗОВ ТОЛСТОГО, ИЗДАННЫЙ НА ЯЗЫКЕ ГА (КЕЙП-КОСТ, 1958)
Обложка

теля и во многом сохранившим значение до наших дней, прибавилось немало новых, не менее острых и сложных.

С рождением атомного века человек стал властелином могущественных сил. Но эти же силы, если они попадут в руки безумцев, могут привести мир к катастрофе.

Опасность термоядерной войны — самой большой из всех бед, когда-либо угрожавших человечеству,— накладывает свою печать и на все аспекты нынешней жизни, в том числе и на отношение наших современников к великим духовным ценностям, созданным в прошлые эпохи. Одни из людей видят в них средство для утешения от всех бедствий и зол современности. Другие пытаются произвести их девальвацию, доказать, что они устарели и не могут служить духовной пищей для людей атомного века. Третьи берут эти ценности на вооружение, ведя самоотверженную борьбу за лучшее будущее человечества.

В международной толстовиане, как заметит внимательный читатель настоящего тома, встречаются все три типа этого отношения к наследию писателя. Нам остается добавить, что преобладающим из них является третий, и это вполне соответствует масштабам значения Толстого в современном мире.

Международная толстовиана содержит множество свидетельств жизненности могучей традиции великого русского писателя, ее органической связи с передовой литературой и искусством нашей эпохи.

Тридцать лет назад Ромен Роллан писал в статье, посвященной успехам советской литературы: «...В своей основной линии лучшие новые произведения (как шолоховские) идут от большой реалистической

традиции предшествующей эпохи. Традиция эта, по-моему, является сущностью русского искусства, и обессмертил ее Толстой. Те же обширные картины человеческих масс в окружающей их природе, та же объективность взгляда, который отражает, не искажая, всю широту поля зрения автора; так же художник отступает на задний план перед объектом своего творчества, тогда как на Западе искусство слишком часто бывает гримом, покрывающим лицо реальности...»[65]

Своеобразие советской литературы — передовой литературы нового века — Роллан видел в ее необычайной целеустремленности, в четкости ее идейных задач: «Новый век знает, куда он идет, и идет страстно» [66].

К выводам Роллана о значении и силе традиции толстовского реализма охотно возвращаются многие зарубежные писатели и исследователи литературы. Так, в «толстовские дни» 1960 года индийский литературовед Шивдан Сингх Чаухан выступил в Москве с речью о влиянии Толстого на литературу и общественную мысль Индии. Он подчеркнул, что влияние реализма Толстого сказалось в произведениях многих крупнейших писателей мира. «Реалистическая традиция Толстого 〈...〉,— отметил Чаухан,— несомненно составляет основное течение мировой литературы сегодняшнего дня».

В те же дни упомянутый выше кубинский писатель Алехо Карпентьер выступил со статьей «Значение Льва Толстого для Латинской Америки». Главная мысль этой интересной статьи состоит в том, что молодая литература Кубы, а вместе с нею и молодые литературы других государств Африки, Азии и Латинской Америки, завоевавших или завоевывающих свою независимость, должны учиться у Толстого тому, как в больших эпических полотнах запечатлеть подвиги своих народов.

Так говорят представители молодых литератур, история которых начинается со времени завоевания их народами независимости. Но о своей «приверженности» к Толстому говорят и представители «старых» литератур Запада.

Французский писатель — академик Андре Моруа в «толстовские дни» 1960 года заявил, что ныне «более чем когда-либо нам нужен Толстой». Это признание Моруа обосновывает чисто эстетическими доводами: никто еще не превзошел Толстого в искусстве слова. А его соотечественник, писатель-коммунист Пьер Декс, кроме эстетических доводов, для обоснования этого вывода приводит нравственные и политические доводы.

Заключая дискуссию «Толстой лицом к лицу с писателями наших дней», проведенную на страницах «Lettres Françaises», Декс так ответил литераторам-модернистам, «отвергающим» Толстого: «Признавать лишь исключительное, индивидуалистическое, патологическое и начисто отрицать великодушие, братство людей, этическое начало — не значит ли это предавать человека?» [67]

Таково, по мысли Декса, главное значение «уроков Толстого» для современных писателей. Следовать Толстому сегодня—значит с такой же, как он, самоотверженностью служить человеку и человечеству, защищая их от всех угрожающих им зол и опасностей.

Великолепную характеристику и оценку «уроков Толстого» дал в свое время Анатоль Франс, подчеркнувший, что и творчество великого писателя, и его общественная деятельность, и его личность достойны глубочайшего уважения. «Толстой,— говорил Франс,— это великий урок. Своим творчеством он учит нас, что красота возникает живою и совершенною из правды, подобно Афродите, выходящей из глубин морских. Своей жизнью он провозглашает искренность, прямоту, целеустремленность, твердость, спокойный и постоянный героизм, он учит, что надо быть правдивым и надо быть сильным 〈...〉 Именно потому, что он был полон силы, он был всегда правдив! Слабость не может проповедовать истину...»

В своей речи о Толстом Франс подчеркнул близость его русской души людям Запада. Его соотечественник, поэт и драматург Жан Ришпен, наоборот, усиленно подчеркивал отличие «славянского гения» Толстого от «латинской души». В статье о Толстом, написанной в 1910 г., противопоставляя латинскую (западную) и славянскую (восточную) культуры, Ришпен проводил мысль о том, что «наши души в настоящее время непроницаемы друг для друга».

Мы помним, что подобные «идеи» сослужили пагубную службу и в годы первой и в годы второй мировых войн. Их опасную сущность неизменно разоблачали те, кому дороги судьбы мира.

Прямой полемикой с утверждениями Ришпена прозвучал некролог Толстого, написанный известным французским критиком Ж. Эрнестом-Шарлем. «Благодаря Толстому,— говорил он,— мы соприкоснулись с русской душой. Благодаря владычеству его творений мы сумели лучше понять владычество нашего собственного искусства. Творчество Толстого одновременно национально и общечеловечно; вот почему оно царит над всеми умами во всем мире».

Мы знаем, что и в наше время враги мира пытаются использовать старое отравленное оружие расизма и национализма и противопоставить славянские и западные народы.

В «толстовские дни» 1960 года красной нитью через все высказывания зарубежных представителей о Толстом прошла мысль о том, что его творчество и сегодня служит могучим средством единения людей. Эта мысль является лучшим свидетельством незыблемости его всемирного авторитета.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 19.
[2] М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 14. М., 1951, стр. 280.
[3] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II. М.— Пг., 1923, стр. 17.
[4] «Лит. наследство», т. 31-32, 1937, стр. 1007—1008.
[5] Ромен Роллан. Собр. соч. в четырнадцати томах, т. 2. М., 1954, стр. 359—360.
[6] Там же, стр. 219.
[7] «Международный толстовский альманах». М., 1909, стр. 112—113.
[8] «Л. Н. Толстой». Сборник статей. М., 1955, стр. 464.
[9] Т. Мотылева. О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957, стр. 441.
[10] «Лит. наследство», т. 37-38, 1939, стр. 631. Письмо от 19 ноября 1905 г.
[11] «Курьер ЮНЕСКО», 1957, II, стр. 9.
[12] «Lettres Françaises», 1—7.IX 1960.
[13] Louis Aragon. Littératures Soviétiques. Paris, 1955, p. 16.
[14] «Europe», 1947, № 6, p. 89.
[15] Е. Привалова и К. Муратова. Културният рост наших фронтовиков.— «Звезда», 1943, № 4, стр. 89—90.
[16] «Tolsztoj Emlékkönyv». Budapest, 1962, o. 422—423.
[17] М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 4—5.
[18] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 19.
[19] Там же, стр. 23.
[20] Л. Н. Толстой. «Възкресение». Преведе от русски Людмил Стоянов. София, 1947, стр. 18.
[21] «Tolsztoj Emlékkönyv», Budapest, 1962, o. 431.
[22] «Правда», 19 июля 1964 г.
[23] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки (запись от 3 мая 1905 г.).— Сб. «Творчество Толстого». М., 1954, стр. 395, 399.
[24] Так назвал Толстого американец Уильям Ллойд Гаррисон. См. «Международный толстовский альманах», стр. 23.
[25] Текст письма (на английском языке) за подписью членов Организационного комитета конгресса Дерби и Грина. (Не опубликовано. — *АТ.*)
[26] «Лит. наследство», т. 37-38, стр. 600.
[27] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 146.

[28] «История английской литературы», т. III. М., 1958, стр. 228.
[29] Предисловие к кн. «L. N. Tolstoj. Bibliographie». Leipzig, 1959.
[30] «Соревновательным» Толстой называл буржуазный строй, имея в виду конкуренцию как один из его главных принципов.
[31] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 167.
[32] Дневник А. С. Суворина. М.—Пг., 1923, стр. 263.
[33] Ромен Роллан. Собр. соч. в четырнадцати томах, т. 2, стр. 326.
[34] Стефан Цвейг. Собр. соч., т. 6. Л., 1929, стр. 98.
[35] Ромен Роллан. Собр. соч. в четырнадцати томах, т. 2, стр. 296.
[36] Гос. литературный музей. «Летописи», кн. 12, «Л. Н. Толстой», т. II. М., 1948, стр. 267.
[37] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, стр. 488.
[38] «Братский листок», 24 августа 1908 г.
[39] «Лит. наследство», т. 69, кн. 1, 1961, стр. 166.
[40] «Lettres Françaises», 28.IX 1960.
[41] «Tolsztoj Emlékkönyv», Budapest, 1962, o. 407.
[42] М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 14, стр. 307.
[43] Vicomte E. M. de Vogüe. Le Roman Russe. Paris, 1888, 2me édition, p. 281.
[44] Ibid., p. 336.
[45] «Русская литература», 1960, № 4, стр. 62.
[46] «Русское слово», 19 мая 1909 г.
[47] «Немцы о Л. Н. Толстом». — «Новое время», 2/14 июля 1887 г.
[48] «Международный толстовский альманах», стр. 401.
[49] Статья вошла как восьмая глава в книгу Роллана «Предтечи», изданную в 1919 г.
[50] Напомним, что так назывался сборник статей Роллана, написанных в годы первой мировой войны.
[51] Ромен Роллан. Собр. соч., т. XVIII. Л., 1935, стр. 125.
[52] Там же.
[53] Ромен Роллан. Собр. соч. в четырнадцати томах, т. 14. М., 1958, стр. 567.
[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 209.
[55] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 19.
[56] Там же, стр. 20.
[57] Там же, стр. 100.
[58] Там же, стр. 23.
[59] Там же, стр. 39.
[60] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 210.
[61] Там же.
[62] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 253.
[63] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 211.
[64] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 178.
[65] Ромен Роллан. Эпоха ждет своих выразителей. — «Комсомольская правда», 17 августа 1934 г.
[66] Там же.
[67] «Lettres Françaises», 10—16.XI 1960.

СТАТЬИ И РЕЧИ

СЛОВО ПИСАТЕЛЕЙ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ТОЛСТОМ Ж. Р. БЛОКА, К. ВАРНАЛИСА, Х. ГАРЛЕНДА, Г. ГАУПТМАНА, ДЖ. ГОЛСУОРСИ, Г. ДЕЛЕДДА, Т. ДРАЙЗЕРА, М. ДРЮОНА, А. ЗЕГЕРС, Я. ИВАШКЕВИЧА, А. МАЛЬЦА, Р. МАРТЕН ДЮ ГАРА, А. МОРАВИА, А. МОРУА, Э. ОЖЕШКО, Ч. ПЕТРЕСКУ, Б. ПРУСА, Г. ПЬОВЕНЕ, Р. РОЛЛАНА, М. САДОВЯНУ, Г. СЕНКЕВИЧА., Л. СТОЯНОВА, А. СТРИНДБЕРГА, Д. ТАЛЕВА, Г. УЭЛЛСА, Л. ФЕЙХТВАНГЕРА, Ж. М. ФЕРРЕЙРА ДЕ КАСТРО, А. ФРАНСА, Т. ДЕ ФРИСА, Э. ХЕМИНГУЭЯ, У. Д. ХОУЭЛСА, А. ЦВЕЙГА и Б. ШОУ

Вступительная статья Т. Л. Мотылевой

Комментарии М. Н. Ваксмахера, В. Велчева (София), И. В. Волевич, Б. А. Гиленсона, З. Т. Гражданской, В. Н. Злыднева, Л. А. Зониной, Ю. И. Кагарлицкого, И. А. Кашкина, Ю. А. Кожевникова, М. Д. Моричевой, Л. Л. Николаева, И. Б. Овчинниковой, Р. Д. Орловой, З. М. Потаповой, С. А. Розановой, Д. С. Спатиса и Е. З. Цыбенко*

Изучая любой частный вопрос, связанный с международной ролью Толстого, мы должны исходить из основополагающего тезиса, высказанного В. И. Лениным в статье «Л. Н. Толстой»: «Его мировое значение, как художника, его мировая известность как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции»[1].

---

* Статьи, речи и другие высказывания иностранных писателей о Толстом, собранные в этом разделе, разумеется, и в малой мере не исчерпывают того, что было написано и сказано об авторе «Войны и мира» даже самыми известными литературными деятелями за рубежом.

Задача настоящей публикации — познакомить читателей лишь с теми из наиболее важных выступлений крупных писателей Запада, которые до сих пор вовсе не появлялись в русской печати или известны только в форме кратких пересказов, извлечений и упоминаний. За пределами публикации остались поэтому работы выдающихся зарубежных прозаиков, которые вошли в русские собрания их сочинений и, следовательно, знакомы нашим читателям. Таковы, например, статьи Р. Роллана и его биографический очерк «Жизнь Толстого», эссе Т. Манна «Гете и Толстой» и его биографический очерк в американском издании «Анны Карениной», статья-некролог А. Франса «Лев Толстой», книга С. Цвейга и др.

С другой стороны, в публикацию входят материалы, еще не бывшие в печати и на языке подлинника. Это статья Анны Зегерс, написанная специально для «Литературного наследства», и речи А. Моравиа и Г. Пьовене, произнесенные в 1960 г. в Венеции на Международной конференции, посвященной Толстому. Возможностью полностью опубликовать последние два выступления «Литературное наследство» обязано любезности гг. У. Мора и В. Бранка — представителей администрации Фонда Чини, одного из устроителей Венецианской конференции.

Собранные здесь выступления иностранных писателей о Толстом печатаются в хронологической последовательности (внутри же одного года — в алфавитном порядке). Однако выдержки из воспоминаний, дневников и писем Р. Роллана, в которых запечатлены все этапы сложного многолетнего восприятия им Толстого, даются нами, как исключение, в одном месте.

Материалы, собранные здесь, при всей их неизбежной неполноте и разнородности, представляют, по мнению редакции, серьезный литературный и научный интерес. Они дают возможность ближе узнать литературную судьбу Толстого за рубежом и лучше понять закономерность и особенности творческого влияния его на виднейших писателей — как современных ему, так и принадлежащих к другим поколениям. — *Ред.*

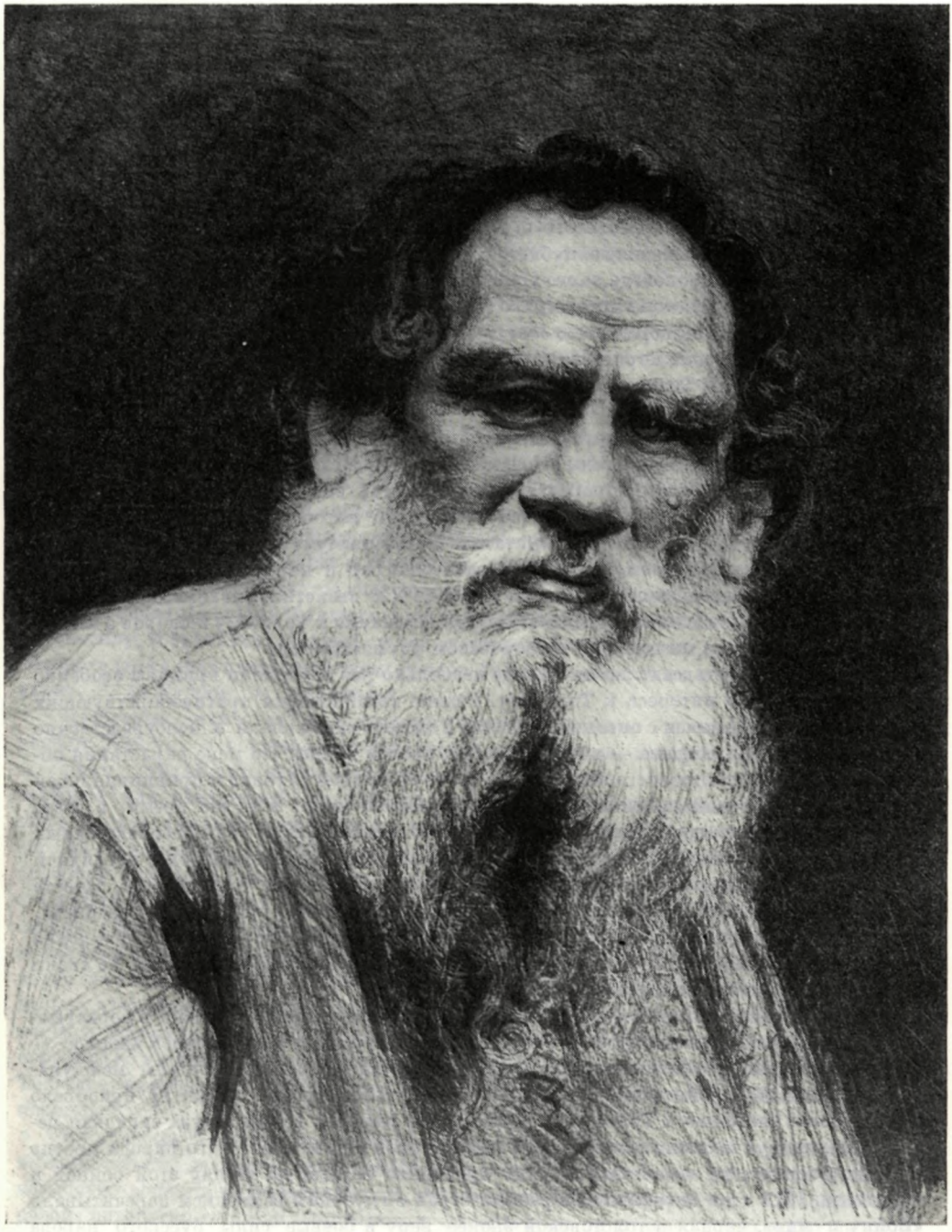
Громадное большинство зарубежных писателей XIX и начала XX в., восхищавшихся Толстым или даже учившихся у него, не отдавало себе отчета в том, насколько тесны и прочны внутренние связи, соединявшие гениального художника с русской крестьянской революцией. В представлении многих, даже очень просвещенных и проницательных зарубежных сверстников и младших литературных современников Толстого он был скорей непостижимым по своей мощи одиноким гением или выразителем «таинственной души» русского народа, чем зеркалом русской революции,— с ленинским пониманием Толстого стали знакомиться за рубежом лишь в 1920-е годы (не в малой степени благодаря пропагандистским усилиям таких видных коммунистических литературных деятелей, как Ю. Фучик в Чехословакии и Ж. Фревиль во Франции). Однако наиболее крупные западные писатели стихийно ощущали в Толстом не только необычайную силу, широту, свежесть новаторского реалистического искусства, но и непривычную для Запада смелость мятежной, ищущей мысли, острую и прямую постановку всех коренных проблем современного социального бытия, и даже шире — человеческого бытия вообще. В этом смысле можно сказать, что восприятие Толстого за рубежом с самого начала выходило за рамки чисто литературных явлений и отношений,— оно было и осталось по сей день фактором общественной, идеологической жизни в широком международном плане.

Можно (лишь в самой общей, поневоле схематической форме) наметить основные этапы восприятия Толстого на Западе.

Толстой достиг широкой международной известности в середине 1880-х годов: первоначальный триумф «Войны и мира» во Франции, подготовленный многолетней посреднической деятельностью Тургенева, с другой стороны — книгой М. де Вогюэ «Le Roman Russe» («Русский роман»), повлек за собою стремительно быстрое ознакомление западной читающей публики со всеми остальными произведениями Толстого (а вместе с тем и с произведениями Достоевского, Гоголя, Гончарова), выходившими одно за другим в переводах на иностранные языки. На протяжении нескольких лет Толстой завоевал широкую мировую славу и авторитет. Ранние отклики зарубежных писателей на книги Толстого проникнуты радостью первоначального освоения громадных эстетических и моральных богатств, которые принесли с собою эти книги. Перед зарубежными читателями Толстого как бы открывался новый мир образов, мыслей, чувств, поражавший их своей красотой и могуществом: эта радостная взволнованность, вызванная первым знакомством с Толстым, отражена и в дневниковых записях молодого Р. Роллана, и в статьях американского романиста У. Д. Хоуэлса.

Вместе с романами и рассказами Толстого на Запад стали проникать и его статьи и трактаты,— и уже через несколько лет после того, как роман «Война и мир» привлек к себе удивленное внимание читающей публики Западной Европы и Америки, в печати ряда стран начались оживленные споры вокруг Толстого как мыслителя и проповедника. Чем более конкретными и резкими становились нападки Толстого не только на царское самодержавие, не только на эксплуататорский строй в целом, но и на международный империализм,—тем более страстные полемические отклики вызывала публицистика Толстого на Западе. К концу XIX в. споры о Толстом за рубежом приняли характер острой, непрекращающейся идеологической борьбы: явственно обозначились противники Толстого в лагере международной реакции и вместе с тем — в среде декаденствующей интеллигенции; выявились друзья и пропагандисты произведений Толстого среди наиболее прогрессивных, демократически настроенных литераторов, в рабочей прессе, в социалистическом движении ряда стран. Отлучение Толстого от православной церкви, а также бурный всемирный успех романа «Воскресение» вызвали особенно широкий прилив симпатий к Толстому со стороны международной демократической общественности.

Таким образом, еще при жизни Толстого развернулись сложные процессы идейной дифференциации в отношении представителей разных общественных лагерей к Толстому. Его творчество, особенно после появления «Воскресения», становится в центре многих общественно-политических споров на Западе. Реакционеры всех стран нападали на Толстого как на бунтовщика, подрывающего основы существующего строя; представители зарубежной клерикальной реакции солидаризировались



ТОЛСТОЙ

Литография французского художника Анри Лефора, 1896

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

с русскими «жандармами во Христе» в травле автора «Воскресения» как врага церкви; при этом в буржуазной печати конца XIX — начала XX в., особенно в связи с восьмидесятилетием Толстого, уже обнаруживались и тенденции либерального лицемерия (которые, применительно к русскому либерализму, обличал Ленин): иные буржуазные журналисты охотно и многословно прославляли Толстого как апостола милосердия, обходя те конкретные вопросы демократии и социализма, которые были Толстым поставлены. После революции 1905 года в зарубежной социалистической печати был сделан ряд попыток всесторонней оценки Толстого как художника и мыслителя; отдавая дань могучему реализму Толстого и социально-критическим сторонам его мировоззрения, передовые иностранные публицисты критиковали Толстого слева — за его антиреволюционную проповедь, за его христианские утопические иллюзии. Однако никто из зарубежных марксистов, писавших о Толстом, включая и Розу Люксембург, не смог дать целостного *исторического осмысления* Толстого, раскрыть с полной ясностью характер и исторические корни его кричащих противоречий. Это было сделано Лениным. Но статьи его о Толстом, как было упомянуто, стали проникать на Запад лишь в 1920-х годах.

Знакомство иностранной читающей публики с художественным творчеством Толстого становилось в последние годы его жизни все более глубоким и полным благодаря многочисленным переводам и переизданиям; Толстой еще при жизни, а тем более после смерти, стал признанным классиком мировой литературы. Его произведения вошли, так сказать, в обязательный «читательский минимум» западного интеллигента. Проникли они и к «низовому читателю» разных стран и народов. Молодые литераторы, вступавшие в сознательную жизнь в начале XX столетия, знакомились с произведениями Толстого в юности, росли в атмосфере внимания к Толстому и споров о нем,— все это участвовало в их идейном и творческом формировании.

За последние пятьдесят лет на Западе несколько раз возникали приливы особенно бурного, всеобщего интереса к Толстому. Резкие столкновения противоборствующих общественных сил в связи с оценкой наследия Толстого вспыхивали и непосредственно после его смерти, и позднее — в годы первой мировой войны. По мере нарастания общего кризиса капитализма становилась все более очевидной глубина и принципиальная важность толстовской критики старого буржуазного мира; в то же время, в свете политического опыта трудящихся, необычайно обогатившегося за годы революционных встрясок, последовавших за первой мировой войной, становилась еще более наглядной несостоятельность толстовских утопических рецептов спасения человечества. Вместе с тем мировой авторитет Толстого как гениального художника и великого гуманиста, авторитет, который подкреплялся возраставшей дистанцией во времени, неуклонно вырастал и приобретал все бо́льшую бесспорность для читателей, различных по своим общественным симпатиям и взглядам.

После Октябрьской революции Толстой стал восприниматься на Западе в неразрывной связи с новой, революционной Россией, ее культурной и общественной жизнью, ее социалистическим строительством,— и это обострило, углубило процессы международной идейной борьбы вокруг Толстого. Остро политический характер приобрело общественное внимание к Толстому в годы второй мировой войны, когда западная печать, анализируя события на фронтах Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков, часто проводила параллели между этой войной и событиями 1812 г., а антифашисты разных стран с глубоким волнением перечитывали «Войну и мир», черпая в толстовской эпопее веру в боевые силы русского народа и надежду на победу советских вооруженных сил. Полувековая годовщина со дня смерти Толстого, снова привлекшая внимание народов всего мира к наследию и личности писателя, была отмечена в обстановке весьма сложной идеологической борьбы (о чем дает представление хроника годовщины, помещенная в конце книги 2-й настоящ. тома).

История издания, распространения, изучения Толстого и история идейных столкновений в связи с ними в каждой из зарубежных стран имеют свои особенности, определяются национальными условиями исторического развития этих стран. Об этом говорили в своих речах и сообщениях иностранные участники памятных тол-

стовских заседаний 1960 г. в Москве, например Я. Дрда, в выступлении которого была дана содержательная и острая характеристика споров о Толстом в Чехословакии.

Нас интересует здесь, прежде всего, непосредственно литературный аспект международной идеологической борьбы, связанной с наследием Толстого. В орбиту этой борьбы были вовлечены многие видные западные писатели разных поколений. В публикации «Литературного наследства», естественно, представлены, прежде всего, выступления тех писателей, которые относились к Толстому — будь то при его жизни или после его смерти — с глубоким уважением и любовью, и проявили серьезное понимание его творчества. Но в рамках настоящей статьи есть основание вспомнить и о высказываниях тех зарубежных литераторов, которые Толстого и не поняли, и не сумели полюбить.

Некоторые из известных прозаиков и публицистов из реакционного лагеря, по разным поводам, нередко весьма открыто, выражали свою неприязнь к Толстому — протестанту и обличителю. Так, П. Бурже еще в 1900 г. в романе «Этап» постарался предостеречь французскую публику от «вредоносного влияния» Толстого, изобразив в устрашающе пасквильной манере некий «Толстовский союз» молодежи как сборище опасных анархистов; после смерти русского писателя Бурже выступил с резко полемической статьей о нем, которую он в последующей книжной публикации озаглавил крайне необычно для некролога: «Заблуждения Толстого» [2].

Литераторы модернизма с полным основанием видели в Толстом своего противника и относились к нему, как правило, враждебно и предвзято. Это отразилось, например, в анкете, предложенной в 1899 г. журналом «Grande Revue» по поводу трактата «Что такое искусство?»: большинство участников анкеты — а их было свыше сорока — пыталось опровергнуть мысли Толстого о народности искусства, его взгляд на искусство, как на силу, соединяющую людей, и на деятельность художника, как на выполнение высокого долга перед человечеством; против Толстого выступили, в частности, С. Малларме, Р. де Гурмон, А. де Ренье [3].

Отдельные, наиболее талантливые мастера близкие к модернизму высоко ценили Толстого и восхищались им, но это восхищение, которое шло от непосредственного, стихийного восприятия творчества Толстого, нередко сопровождалось неверной или обедненной его интерпретацией. Так, М. Метерлинк трактовал Толстого в духе туманного мистицизма и христианского милосердия [4]. Взволнованные строки, написанные Р. М. Рильке по поводу ухода и смерти Толстого, отразили и глубокое уважение поэта к нему, и отвлеченное, иррационалистическое понимание его личности и судьбы [5]. Дж. Джойс в 1905 г.— в пору своей работы над циклом рассказов «Дублинцы» — именовал Толстого «великолепным писателем», возмущался нападками буржуазной печати на него, разделял его антивоенные взгляды,— а тридцать лет спустя отозвался с особой похвалой не о романах и повестях, а о проникнутых христиански-этической проповедью «народных рассказах» Толстого, в частности о рассказе «Много ли человеку земли нужно?», который он назвал «величайшей повестью во всей мировой литературе» [6]. М. Пруст, восторгаясь изобразительной силой Толстого, вместе с тем толковал его творчество с чуждых реализму субъективистских позиций [7].

Восприятие Толстого писателями разных общественных лагерей представляет в высшей степени пеструю, многосложную картину. Даже в наши дни, когда Толстой незыблемо вошел в круг величайших, повсеместно читаемых и чтимых классиков мировой литературы, среди зарубежных литераторов то и дело вспыхивают острые разногласия по вопросу о трактовке его публицистического и художественного наследия.

Эти разногласия по-своему преломились в «Памятной книге о Толстом», изданной в Венгрии Библиотекой имени Э. Сабо («Tolstoj Emlékkönyv», Budapest, 1962) *. Библиотека разослала писателям разных стран анкету, состоявшую из вопросов: «Какое влияние оказал Толстой на ваше творчество? Какая книга Толстого вам нравится больше всего? Чем дорого вам творчество Толстого?» На анкету ответило двести

* Подробнее об этом издании см. в кн. 2-й настоящ. тома.— *Ред.*

писателей и литературоведов (некоторые из наиболее содержательных и интересных ответов включены в настоящую публикацию). Известный французский писатель-коммунист В. Познер писал в своем ответе, выражая мысли многих: «Не могу себе представить писателя, который не был бы в какой-то мере под влиянием Толстого. Собственно говоря, речь идет даже не о влиянии. Как невозможно считать физику после Ньютона такой же, какой она была до него,— то же относится и к физике до и после Эйнштейна,— так же нельзя изучать природу человека, что является главным предметом литературы, не принимая во внимание Толстого». В противовес Познеру и другим прогрессивным писателям, сумевшим, каждый по-своему, оценить великое значение реализма Толстого для развития мировой литературы,— некоторые литераторы модернистского или полумодернистского толка ограничились вежливыми отписками, определили свое отношение к Толстому в общих, ничего не говорящих выражениях — или даже вовсе «отмежевались» от русского классика и его влияния. «Творчество Толстого не имело влияния на мою литературную деятельность», — заявил один из главарей французской школы «нового романа» А. Роб-Грийе. «...Со стыдом признаюсь, что очень мало знаю Толстого», — сообщил близкий к экзистенциализму романист П. Буль. Разные оттенки отчужденности, уклончивой манерности, поверхностное или превратное понимание Толстого можно найти в ответах Ж. Кокто, А. де Монтерлана, Ж. Ромена, О. Хаксли и некоторых других известных буржуазных писателей, принявших участие в этой анкете.

Авторы статей и высказываний о Толстом, публикуемых ниже,— писатели очень различные и по творческим склонностям, и по занимаемой ими общественной позиции. Естественно, что наиболее серьезные статьи о Толстом принадлежат писателям-реалистам, писателям демократической или, по меньшей мере, антибуржуазной ориентации. Собранные здесь выступления многочисленных писателей из *двадцати трех стран*, взятые вместе, много дают для понимания тех черт Толстого — художника и человека, которые обусловили его всемирную популярность, эстетический и нравственный авторитет; они много дают для познания активной роли Толстого в духовной жизни зарубежной творческой интеллигенции и его влияния на мировую литературу. Эти выступления дают также немало ценного материала для опровержения ложных, ненаучных взглядов на Толстого, которые до сих пор бытуют в буржуазном литературоведении.

В противовес тем западным исследователям, которые сосредоточивают главное внимание на религиозно-моральной проповеди Толстого или на тех или иных сенсационно поданных фактах его биографии,— писатели-реалисты разных стран, исходя в анализе Толстого не из предвзятых концепций, а из собственной творческой практики и из непосредственных наблюдений над живым литературным процессом,— выдвигают на первый план как самое важное и привлекательное в Толстом — его художественное творчество, присущую ему необычайную полноту, последовательность, правдивость, бесстрашие постижения реального мира в искусстве. Они считают важными и поучительными для себя, вместе с тем, кардинальные особенности творческой личности Толстого: неразрывную связь эстетического и этического, непримиримость и стойкость в обличении зла, неутомимое искание истины.

В этом смысле характерно предисловие У. Д. Хоуэлса к «Севастопольским рассказам» (1887). Оно отражает сравнительно ранний этап знакомства Запада с Толстым, когда не только широкие круги читателей, но и многие из профессиональных литераторов узнавали великого художника впервые. Хоуэлс, называя известные ему произведения Толстого, ссылается и на трактат «В чем моя вера?»; он еще до предисловия к «Севастопольским рассказам» написал рецензию о книге «Так что же нам делать?»; он относился с громадным уважением к Толстому-моралисту, к тем его убеждениям, которые привели его «к отречению от общества». Хоуэлс говорит в конце предисловия, что к Толстому нельзя подходить с традиционными эстетическими критериями: его книги заставляют думать, прежде всего, «об этической их стороне». Однако самим ходом своего анализа Хоуэлс убеждает читателя в том, что нравственное величие Толстого проявляется наиболее прямо и непосредственно в великой художествен-

ной правде его произведений. «...никто из известных мне писателей,— заявляет Хоуэлс,— не рассказывал так правдиво о человеческой жизни в ее всеобщем значении и, в то же время, в ее наиболее интимных и индивидуальных проявлениях». Мощь Толстого-художника прежде всего «в его беспощадной совести». В статье Хоуэлса звучит искренний голос западного литератора, стремящегося работать честно и с пользой для людей и до глубины души потрясенного силою реализма Толстого.

Многие буржуазные литературоведы и публицисты сводят идейное наследие Толстого к утопическим рецептам всеобщей любви и непротивления злу насилием. Писатели-реалисты, наоборот, отмечают как самое существенное и ценное в идейном наследии Толстого — критические элементы его мировоззрения, смелость и беспощадность его осуждения капитализма, всех форм эксплуатации человека человеком.

В этой связи заслуживают внимания статьи Б. Шоу, в особенности — его рецензия на английское издание книги «Что такое искусство?» (1898). Принципиальное значение этой работы Шоу далеко выходит за пределы вопросов эстетики. Рецензия появилась в момент необычайно острых споров вокруг Толстого на Западе. К концу 1890-х годов широкие круги читателей в разных странах уже довольно полно познакомились не только с художественным творчеством Толстого, но и с его религиозно-философскими и публицистическими произведениями. Буржуазные литераторы и журналисты либо прославляли Толстого как современного евангелиста, основателя новой религии (прославляли чаще всего с теми или иными оттенками настороженности и недоумения), либо открещивались от него, как от опасного мятежника. Шоу поступает иначе. Оговаривая несогласие с отдельными, и немаловажными, положениями эстетики Толстого, он принимает и прославляет Толстого именно как мятежника. Он утверждает, что не только трактат «Что такое искусство?», но и другие «дидактические» (т. е. публицистические) произведения Толстого подобны «замаскированной мине взрывного действия»; сочинения Толстого — не только художественные, но и религиозно-философские — по сути дела глубоко враждебны ортодоксальному христианству. «...позиция Толстого, с точки зрения евангелистов, столь же оригинальна, сколь и богохульна». Шоу рассматривает толстовскую критику «господского» искусства прежде всего как составную часть критики всего буржуазного общества, основ современной капиталистической цивилизации — и без колебаний солидаризуется с этой критикой: «Все высказанные им обвинения по адресу современного общества полностью обоснованы».

Не призывы к смирению, не евангельская проповедь, а смелое и страстное обличение господствующего зла,— вот что привлекло горячие симпатии передовых писателей всего мира к Толстому — человеку, мыслителю, общественному деятелю. Это сказалось и в наиболее ярких писательских откликах на смерть Толстого (см. в кн. 2-й настоящ. тома обзор Л. Р. Ланского «Уход и смерть Толстого в откликах иностранной печати»). Во многих некрологах, траурных речах, интервью, информациях, заметках, которыми откликнулась на эту смерть буржуазная печать всего мира, сильно чувствовалась тенденция — использовать религиозно-философское наследие умершего великого писателя в охранительных целях, окружить его гигантскую фигуру туманом абстрактно-либерального разглагольствования. Этой тенденции за рубежом по сути дела противостояли не только статьи видных социалистических деятелей — таких, как Роза Люксембург, Ф. Меринг, Ж. Жорес,— но и некоторые выступления крупных деятелей культуры.

Характерно, что Р. Роллан, работая над книгой «Жизнь Толстого», сознательно противопоставлял ее пошлой болтовне буржуазных журналистов. Он рассматривал эту работу, как «священный долг». «Тем более я хотел бы его выполнить,— писал он 3 декабря 1910 г. С. Бертолини Герьери-Гонзага,— что меня поразила посредственность и подлость почти всего написанного в газетах и журналах о великом человеке».

Показательна речь А. Франса, произнесенная на большом собрании памяти Толстого в Сорбонне. Различные участники этого собрания подошли к Толстому с весьма неодинаковых позиций (так, Ф. Пасси, упоминаемый Франсом в начале речи,

попытался оспорить идею Толстого о переходе земли в общее владение, могущем, по словам Пасси, привести лишь «к росту страданий и нищеты») [8]. Речь Франса проникнута глубочайшим уважением к Толстому — не только как к гениальному художнику, но и как к смелой, непокорной личности. «Когда он убеждает нас верить, страдать, терпеть,— говорил Франс,— его героическое самоотречение принимает форму такой пылкой борьбы, принимает такой решительный, я бы даже сказал, сокрушительный характер, что он заставляет нас мыслить, сомневаться — и силы наши возрастают».

«Кричащие противоречия» Толстого по-своему осознавались каждым из зарубежных писателей, ценивших и любивших его произведения. Им далеко не всегда удавалось разобраться в социальных и исторических причинах этих противоречий, но чаще всего удавалось понять главное — то, о чем сказал Франс в той же речи: «творческий гений» великого и беспощадного реалиста говорит громче его «проповеди», его «евангелия». В статье Л. Фейхтвангера «Еретические мысли о Льве Толстом» художественное творчество русского писателя, несомненно, слишком прямолинейно, механически противопоставлено его философско-публицистическим сочинениям: Фейхтвангер как бы не заметил ни проявлений «толстовщины» в некоторых образах романов и рассказов Толстого, ни той острой социальной критики, которая содержится в его статьях и трактатах. Но есть основание согласиться с Фейхтвангером, когда он утверждает: «Квинтэссенция учения позднего Толстого содержится в самом опасном тезисе Евангелия: „Не противьтесь злу“. Но почти все созидательное, живое творчество Толстого — это единый, жгучий, захватывающий призыв: противьтесь злу!» Под аналогичным углом зрения дан в статье выдающегося румынского писателя Ч. Петреску разбор «Крейцеровой сонаты»,— итог этого разбора отчетливо выражен в подзаголовке: «Книга, более сильная, чем догматические заблуждения автора». О торжестве трезвого реализма и мятежной мысли Толстого над его религиозно-утопической доктриной говорит и другой наш современник, крупный польский прозаик Я. Ивашкевич: его «проповедь непротивления злу насилием, случается, раздражает нас и обезоруживает. А то и вселяет эдакое недоброе чувство подозрительности. Но ведь ересь Толстого, его противопоставление человеческой личности окостеневшим формулам и готовым установлениям как нельзя более красноречиво свидетельствует о его революционности».

В мировоззрении и литературной деятельности Толстого есть одна важная сторона, которая привлекала и привлекает к себе особое внимание писателей всего мира. Это — осуждение милитаризма и военной агрессии, утверждение идей мира, взаимопонимания и братства народов.

Еще в июне 1889 г. студент Эколь Нормаль в Париже Ромен Роллан записал в своем дневнике: «Виктор Гюго, Мопассан, Толстой высказались против войны 〈...〉 Во имя Всеобщей республики будущего, во имя Разума, во имя Любви надо задушить Ненависть и тех, кто живет за ее счет. Убийц гильотинируют. Чего же заслуживают убийцы народов?— Гюго сказал: „Опорочим войну!“ Пусть так. Но сделаем больше: убьем ее!» [9]. В последующие годы антивоенные идеи Толстого приобрели для Роллана еще большее значение, нежели высказывания французских классиков против войны. Вся деятельность Роллана-антимилитариста в годы первой мировой войны прошла под знаком идей Толстого, его заветов и примера. Роллан писал Т. Л. Сухотиной 23 февраля 1915 г.: «Никогда еще я так не любил и не уважал память вашего отца, как теперь. Уверяю вас, его образ был со мной в эти месяцы. Он мой советчик, мой руководитель; он вдохновляет меня» [10].

Т. Харди, художник, во многом творчески близкий Толстому, выступил в поддержку его антивоенной публицистической деятельности, обратившись 28 июня 1904 г. с письмом к редактору газеты «Times». Харди признавал, что «философская проповедь графа Толстого о войне» может вызвать немало частных возражений у разных лиц. «Но, несомненно, все эти оппоненты должны быть удовлетворены его замечательной аргументацией, и каждый изъян в его частных доводах скрывается в блеске славы, которым в целом сияет его мастерской обвинительный акт против войны как современного принципа, со всеми его бессмысленными и нелогичными преступлениями» [11].

СБОРНИК РАССКАЗОВ ТОЛСТОГО НА ТАМИЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ (МАДРАС, 1959)

Обложка. Рисунок индийского художника Ишварана



Э. Золя, расходившийся с Толстым в понимании многих общественных и литературных вопросов, с сочувствием встретил его антивоенные выступления. В 1901 г. он высказался о Толстом в краткой заметке: «Помимо его писательского гения, отмечу его доброту и его ненависть к войне, которую я разделяю» [12]. А. Франс в своей речи в Сорбонне особо отметил заслуги Толстого как «яростного врага войны».

Тема борьбы с войной занимает центральное место в публикуемой здесь статье-некрологе выдающегося шведского прозаика и драматурга А. Стриндберга. Он вовсе не касается антимилитаристской публицистики Толстого. Толстой, в первую очередь, интересует Стриндберга именно как гениальный художник слова, боровшийся силою своего искусства против отживших общественных устоев. Наивысшее выражение антимилитаристских взглядов Толстого шведский писатель видит в «Войне и мире». В этом романе, по его словам, Толстой «разоблачает тайные пружины войны». Война возникает тогда, когда господствующий класс начинает ощущать угрозу своему существованию. Тогда наступают «золотые времена для высшего сословия, в особенности для военных и в первую очередь офицеров 〈...〉 Тем временем низшему сословию приходится еще хуже, чем обычно». «Итак,— заключает Стриндберг,— война тоже учреждение господствующего класса!»

В такой трактовке «Войны и мира» есть оттенок односторонности: Стриндберг как бы оставляет без внимания патриотическую героику, носителями которой становятся во второй половине романа-эпопеи и Кутузов, и князь Андрей, и солдаты Бородина.

Но Стриндберг безусловно прав в своем утверждении, что Толстой «полностью разоблачает тайные пружины войны» — выявляет своим реалистическим анализом истоки войны, скрытый механизм ее возникновения, дает возможность яснее

разглядеть те исторические, общественные пружины, которые движут поведением и судьбами людей из разных социальных слоев в военное время.

Непреходящую ценность «Войны и мира» именно как произведения, направленного «против уничтожения человека человеком», отмечал в дни юбилея 1960 г. и один из старейших немецких писателей-антимилитаристов Л. Франк.

В советской критике уже говорилось о том, насколько важен для писателей-реалистов XX в. опыт Толстого как мастера батального искусства (показательно, например, что Э. Хемингуэй высоко ценил безупречную достоверность толстовских описаний войны и, по собственным словам, учился у Толстого «писать как можно правдивее, честнее, объективнее и скромнее»). Замечания Стриндберга помогают лучше понять другую существенную сторону влияния Толстого как военного писателя на реалистическую прозу XX в. Именно в нашем столетии особую, насущную важность — не только для передовых политических деятелей и публицистов, но и для художников слова — приобрела проблема, о которой говорил В. И. Ленин в 1922 г. в «Заметках о задачах нашей делегации в Гааге»: «Надо объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается...»[13] Для толстовского реализма не существовало тайн. Его творческий опыт неоценимо поучителен для прогрессивных писателей мира — и тогда, когда они рисуют без прикрас страшные будни походов и сражений, и тогда, когда они, вслед за автором «Войны и мира», разоблачают «секреты войны», безбоязненно исследуют логику социального поведения некоронованных королей империалистического мира, военачальников, министров, финансовых магнатов, повелевающих народами и армиями. Уроки реализма Толстого сказались и в этом смысле во многих выдающихся произведениях антиимпериалистической литературы нашего века, от трилогии Г. Манна «Империя» до «Базельских колоколов» и «Коммунистов» Л. Арагона.

Стоит учесть свидетельство Р. Олдингтона (1957): «...вы найдете много признаков русского влияния на тех писателей, которые порвали с буржуазными викторианскими традициями лжи и фальши и шовинистическими традициями Редьярда Киплинга». Называя ряд русских писателей, широко известных в Англии, Олдингтон добавляет: «В общем, я думаю, что Толстой пользовался в Англии наибольшим влиянием»[14]. Показательно, что выдающийся английский писатель — автор «Смерти героя» и других популярных у нас антивоенных произведений — связывает русское и, в частности, толстовское, влияние на английскую литературу XX в. с преодолением апологетических по отношению к империализму традиций Киплинга, т. е. — с правдивой, свободной от лжи и фальши трактовкой военной и колониальной тематики. Само собой понятно, какое громадное, духовно раскрепощающее значение имеют для современной английской читающей публики книги, создающиеся *вразрез* с теми живучими, чрезвычайно вредоносными идеями и навыками, какие утверждались в английской литературе на протяжении десятилетий и талантливым Киплингом, и его менее талантливыми последователями.

Толстой осознавался и осознается писателями разных поколений и стран как великая сила, противостоящая националистической и милитаристской идеологии в ее различных проявлениях и оттенках. Г. Гауптман, который, как известно, в годы первой мировой войны поддался господствующим шовинистическим идеям, а после военного разгрома Германии пережил тяжелое отрезвление, в 1920 г. с горечью и тоской вспоминал о Толстом: «О, если бы в наши дни зазвучал подобный голос! О, если б Толстой мог воскреснуть, чтоб открыть людям путь к самопознанию и всеобщему миру!».

О значении наследия Толстого для современной борьбы против зачинщиков новых войн говорят видные писатели наших дней — активные участники движения народов в защиту мира. «Он говорил языком борца за мир»,— пишет Анна Зегерс о Толстом, имея в виду далеко не только военную тему: защита Толстым достоинства и счастья человека, реалистическое разоблачение врагов человечества — все это помогает сегодня делу мира, за все это Толстого любят и чтут «белые и желтые и черные люди»[15]. Н. Хикмет, много поработавший в тюрьме над турецким переводом «Войны и мира», особо ценил «гуманизм великого художника, его призывы к миру и братству между

народами». В стихотворной эпопее Хикмета «Человеческая панорама» упоминается сцена братания солдат из рассказа «Севастополь в мае», которая видится поэту «как символ будущего мира без оружия, как образ дружбы, братания всех народов земли» [16].

Естественно, что в большинстве высказываний и статей зарубежных писателей о Толстом много внимания уделяется литературным, художественным проблемам. Писатели-реалисты — и в особенности писатели тех поколений, которые формировались в условиях широкого развития модернистских, декадентских течений,— противопоставляют покоряюще мощный, эстетически совершенный в своей кажущейся безыскусственности, толстовский реализм изысканным и худосочным творениям литераторов декаданса: в этом смысле есть немало общего или родственного в высказываниях писателей разных стран — Дж. Голсуорси, например, перекликается с Б. Прусом. Среди материалов, публикуемых здесь, мы находим ценные свидетельства и признания о роли Толстого в развитии отдельных писателей и целых национальных литератур. Х. Гарленд вспоминает о том, как литераторы США еще в 1880-е годы обращались к Толстому, «ратуя за реформу общества», и вслед за Хоуэлсом понимали, что великий моралист был прежде всего художником; Ж. Р. Блок очень взволнованно и тонко анализирует характер влияния Толстого на нравственное и эстетическое сознание молодой французской интеллигенции, вступившей в жизнь в начале нового века; М. Садовяну и Л. Стоянов с большой искренностью рассказывают о том, какое важное место занимал Толстой в их духовной и творческой жизни, начиная с молодых лет.

Следует особо отметить публикуемые ниже большие фрагменты из воспоминаний Р. Роллана, страницы его студенческого дневника, выдержки из писем. Как известно, Роллан — один из наиболее тесно связанных с Толстым западных писателей XX в. Глубина и сложность его многолетних творческих взаимоотношений с Толстым — взаимоотношений, включавших не только притяжение, но и отталкивание,— кратко охарактеризованы самим Ролланом в той важной итоговой самооценке, которая содержится в его книге-воспоминании «Путешествие в духовный мир». Публикуемые здесь материалы Роллана представляют не только историко-литературную, но и литературно-теоретическую ценность: они позволяют уяснить *скрытый механизм влияния* гениального писателя на его высокоталантливого младшего современника; они показывают сложность, подчас извилистость тех путей, какими творческий опыт Толстого проникал в сознание Роллана, реализуясь в произведениях и образах, подчас весьма мало похожих на толстовские, однако носящих отпечаток толстовского гения, толстовской мятежной мысли. Мы яснее видим теперь, какую громадную роль сыграл Толстой в становлении личности Роллана как художника и гражданина, в кристаллизации его первых творческих замыслов. Тяготение к исторической теме, к монументальной героике и вместе с тем к психологически углубленной и достоверной «истории душ», поиски новой, необычной формы большого романа и, наконец, идея ранней драмы «Настанет время», во многом предваряющей проблематику всей антиимпериалистической, антиколониалистской литературы XX в.,— все это возникало у Роллана в тесной связи с чтением книг Толстого и раздумьями над этими книгами.

В иных случаях знакомство с творчеством Толстого становилось для его молодых литературных современников первым стимулом к самостоятельной творческой деятельности. Т. Драйзер увидел в прочитанных им повестях Толстого «Крейцерова соната» и «Смерть Ивана Ильича» образец художественных произведений, которые «не только дают правдивое изображение действительности», но и будят общественное сознание: именно эти повести впервые вызвали у него желание стать писателем, чтобы писать, как Толстой, и «заставить весь мир прислушиваться». Толстой возбуждал в молодых зарубежных литераторах жажду творчества, наталкивал их на большие темы и проблемы, способные встряхнуть общественное сознание, подсказывал новую постановку или новое решение конкретных творческих вопросов,— и вместе с тем *учил взыскательности*, побуждал младших собратьев предъявлять к себе большие нравственные и эстетические требования. «Читаю Толстого — от этого чтения делаюсь умнее и учусь рвать собственные произведения» [17],— признавался, например, С. Жеромский.

Творчество Толстого нередко становилось для зарубежных писателей поводом к размышлениям над сложными вопросами литературного мастерства. Очень часто эти размышления связаны с искусством романа. В западной критике романы Толстого вызвали не только много восторженных отзывов, но и немало критических замечаний. Не только «Война и мир», но и «Анна Каренина», и «Воскресение» нарушали многие установившиеся традиции романического сюжетосложения. Критики сетовали по поводу того, что большим повествованиям Толстого не хватает четкости структуры, сюжетной цельности, что чрезмерное обилие персонажей, разветвленность и даже разбросанность действия способны утомить читателя. Такого рода замечания в адрес романов Толстого делали не только литераторы, идейно враждебные ему (такие, как П. Бурже), но и писатели прогрессивного общественного лагеря. Отголоски консервативных литературных пристрастий и вкусов слышатся — как ни неожиданным это может показаться — в статье о «Воскресении», написанной Г. Уэллсом. Как известно, Уэллс отнюдь не был слепо привержен к традициям английского романа XIX в., сам он в своем творчестве шел во многом новыми путями; но его писательские поиски шли в ином, чем у Толстого, направлении, общественно-нравственная проблематика «Воскресения» мало интересовала его,— и он высказал не только явно несправедливые суждения об этом романе (объявив, что образы Нехлюдова и Катюши после сцен суда утрачивают «человеческую подлинность»), но и поставил под сомнение некоторые коренные принципы русского реалистического романа. По мысли Уэллса, в «изумительном обилии увиденных в самой жизни фактов» заключена не голько сила, но и слабость великих русских романистов: «И как только мы обнаруживаем, что окно-то, собственно, не окно, а проем, в который просматриваются неясно движущиеся силуэты, мы теряем всякий интерес к происходящему».

Убедительные опровержения этих замечаний Уэллса можно найти в статьях, письмах, дневниках других выдающихся зарубежных писателей, которые задумывались над секретами мастерства Толстого-романиста. Примечательно, что даже столь далекий от Толстого по своим воззрениям писатель, как О. Уайльд, сумел (в статье о Достоевском, написанной в 1887 г.) мимоходом высказать меткое суждение о толстовском искусстве романа. Толстой, говорит Уайльд, может «выводить толпы на своем гигантском полотне и в то же время не перегружает его. Вначале его произведения не дают нам того единства художественного впечатления, в котором заключена главная прелесть Тургенева, но когда мы осваиваемся с деталями, перед нами раскрывается целое, обладающее величием и простотой эпоса»[18]. Гораздо более чутко реагировал на художественное новаторство Толстого молодой Р. Роллан. В отступлении великого русского писателя от привычных романических приемов, в многосложности и многоплановости структуры «Войны и мира» он увидел не слабость повествователя, а громадную его заслугу. «В лучших французских романах, известных мне до тех пор, события развертывались вокруг одного действия, одной определенной интриги. А здесь их пять, шесть, десять: это сама жизнь. Персонажи показаны не только в один какой-то момент духовного перелома, но во все моменты жизни, во всех аспектах. Образы, оставаясь правдивыми, часто исполнены противоречий, они незаметно изменяются 〈...〉 Меня поражает, как при столь бережном отношении к фактам, при всей заботе о скрупулезном отражении действительности, Толстой сумел так страстно привязать нас к некоторым своим героям, в тайну характера которых он проник тонким инстинктом глубокого сердцеведа...» Высокая достоверность основных исторических фактов в «Войне и мире», органически связанная с большой художнической свободой, смелостью вымысла,— эти качества толстовской эпопеи покоряли не только Роллана, но и скептика Уэллса. Ставя подлинный документ выше созданий фантазии художника, Уэллс в то же время признавал: «...Если в чем-то и можно найти оправдание тому, чтобы оживлять историю и придавать ей очарование при помощи вымышленных сцен и состояний души, то это оправдание доставляет „Война и мир“». Необычайно высокое мастерство воспроизведения исторического прошлого у Толстого отметила и итальянская писательница Г. Деледда. Толстой, утверждает она, «смог уничтожить историю и воссоздать ее заново, более правдоподобной, чем сама действительность...»

Если несколько десятилетий назад Толстой мог смущать иных зарубежных писателей и критиков новизною, неожиданностью построения своих романов, если он вызывал сопротивление своим новаторством — то в наши дни на Западе подчас высказывается мнение, что Толстой как художник устарел и что его традиции ничего не дают или не могут дать современным романистам. Тезис об «устарелости» Толстого отстаивался некоторыми участниками анкеты, организованной французским еженедельником «Lettres Françaises» в ознаменование пятидесятилетия со дня смерти писателя,— отстаивался, в частности, Натали Саррот и другими сторонниками школы «нового романа». В более развернутой форме этот тезис был выдвинут на Международной конференции «Лев Толстой» в Венеции известным писателем А. Моравиа, выступление которого здесь публикуется впервые.

В аргументации Моравиа и Саррот немало общего. Толстому, будто бы не имеющему учеников в современной западной литературе, они противопоставляют Достоевского. «Из Достоевского,— напоминает Моравиа,— вышло целое течение в прозе, которое доходит до Кафки и Бернаноса». Саррот (в книге которой «Эра подозрений» обрисован путь новейшего — по преимуществу модернистского — романа от Достоевского к Кафке) ставит Толстому в упрек, что его картина мира отличается чрезмерной гармонической завершенностью и дана под углом зрения нормального человека. По мысли Саррот и близких ей по духу писателей, здоровое в человеке равносильно старомодному, а современное — патологическому.

По мнению литераторов-модернистов (с которыми в данном случае солидаризируется и Моравиа — писатель реалистический по основному характеру своего творчества), Толстой недостаточно современен потому, что слишком оптимистичен, потому что его произведения утверждают веру в человека, в его нравственное здоровье и созидательные силы. За разногласиями в понимании Толстого встают разногласия более серьезного, социально-философского порядка: Моравиа в какой-то мере идет навстречу воззрениям тех буржуазных философов и социологов, которые рассматривают современную эпоху как эпоху «крушения гуманизма». Такой взгляд на современность неприемлем не только для марксистов, но и для несравненно более широкого круга людей, стоящих на позициях мира, демократии, прогресса. Да, наша эпоха богата трагическими и страшными событиями. Но она богата и событиями радостными, ободряющими — великими успехами социалистических стран и народов в строительстве нового, справедливого общественного порядка, возвышенными примерами человеческого героизма и благородства, проявляемого в революционной борьбе, в национально-освободительных войнах, в созидательной работе и научном творчестве. Духом гуманизма, болью за человека, поруганного в мире эксплуататоров, доверием к возможностям, заложенным в человеке, и утверждением его достоинства проникнуто все наиболее талантливое и жизнеспособное, что создается современным искусством,— включая и лучшие страницы, написанные Моравиа. И уже в этом самом общем, самом широком смысле творческие принципы Толстого, основанные на гуманистической концепции человека, не устарели и не могут устареть.

О непреходящем значении искусства Толстого для современных писателей говорили не раз, по различным конкретным поводам, такие большие художники наших дней, как Т. Манн, Э. Хемингуэй, Р. Мартен дю Гар. Воззрениям тех западных писателей, которые, подобно Саррот, опираются далеко не на лучшие стороны творчества Достоевского и считают толстовскую картину мира слишком «закругленной», спокойной, не заключающей в себе, по словам Саррот, «никаких страстей» [19],— противостоит, в частности, та характеристика Толстого, которая была дана Р. Мартен дю Гаром в его речи при вручении ему Нобелевской премии. Автор «Семьи Тибо» определил свою главную творческую задачу как «выражение трагизма жизни» — художественный анализ человеческих судеб, отмеченных глубокими переживаниями и жизненными потрясениями. Именно в этом смысле он с благодарностью отметил «бессмертный пример Толстого», которого назвал «великим Учителем». Творчество Толстого, по мысли Мартен дю Гара, не только не чуждо трагизму, но и помогает познавать и воплощать в искусстве самые сложные и острые конфликты человеческого бытия. Все герои Толстого, говорит Мартен дю Гар, «более или менее смутно одержимы неотступными

философскими заботами, и каждый из человеческих опытов, историком которых он стал, несет в себе не только и не столько исследование человека, сколько тревожное вопрошение о смысле жизни». Мартен дю Гар не без цели противопоставляет «тревожное вопрошение» натуралистически бесстрастному «исследованию»: он тем самым дает понять, что философское начало в творчестве Толстого имеет *практический*, гуманистический смысл: размышления великого писателя о коренных проблемах бытия были продиктованы не склонностью к абстрактному созерцанию, а желанием помочь своим современникам в их тревогах, стремлениях и поисках. Таким желанием был обуреваем и сам Мартен дю Гар. Из его рассуждений неопровержимо вытекает, что именно в нашу бурную эпоху, насыщенную драматическими столкновениями и резкими поворотами исторических событий,— в эпоху, когда ответственность писателей особенно велика, ибо от них требуется служение «не только делу литературы, но и делу мира»,— им в высшей степени поучительно и полезно вдумываться в творческие заветы Толстого, чтобы «воспользоваться уроками его гения».

Сопоставляя речь Моравиа с речью Мартен дю Гара, мы тем живее ощущаем противоречивость позиции итальянского писателя. Моравиа вначале сравнивает Толстого то с Гомером, то с Рафаэлем, который, в противовес трагически суровому Микеланджело, воплощал в себе «эллинскую красоту и ясность», и в силу этого оказался особенно пригодным для «иконографической пропаганды» католической церкви; тем самым Моравиа как будто бы склонен выдвигать в Толстом на первый план ту внутреннюю гармоничность, эстетическую завершенность, которая отдаляет его от современной литературы, проникнутой острым драматизмом и тревогой. Но во второй части своей речи Моравиа очень резко (пользуясь такими явно неточными терминами, как «нигилизм», «экспрессионизм», «червь сомнения») говорит о суровом критицизме, свойственном творчеству Толстого, о глубоком и всестороннем осуждении им предреволюционного русского общества. Уже в «Войне и мире», где так очевидна любовь художника к изображаемой им среде, «эту совершенную действительность подтачивает червь сомнения»; в позднем творчестве художника это сомнение переходит в предельно безжалостное отрицание, доходящее до самых основ, далеко превосходящее рамки обычной «социальной полемики». Но если так — причем же тут рафаэлевская мягкость и успокоенность, причем же «иконографическая пропаганда»? Если Мартен дю Гар справедливо считал критицизм Толстого и философскую проблемность его творчества актуальными и глубоко поучительными для современных писателей, то Моравиа, на свой лад отмечая в Толстом те его свойства, которые так импонировали Мартен дю Гару, считает, что Толстой-художник «не имеет более отношения к современной литературе», т. е. что современным писателям нечему у него учиться.

На тему «Толстой и современность» выступил в Венеции и другой крупный итальянский писатель, Г. Пьовене. В противоположность мнению Моравиа, Пьовене убежден, что «Толстой — один из тех, кто своим творчеством более всего способствовал выявлению подлинного пути и подлинных задач современного романа». Связь Толстого-художника с современностью — прежде всего в глубокой социально-философской содержательности его творчества. Толстой стоит у истоков современного «романа идей» — романа, в котором герои не только живут, но и открыто выражают и проявляют свои воззрения, свою нравственную концепцию мира. Толстой, говорил в своем выступлении Пьовене, «не боится перебить свое повествование, чтобы ввести в него исторический, социологический, философский или психологический очерк...». Продолжая это наблюдение Пьовене, мы можем вспомнить в этой связи таких писателей, как Р. Роллан и Р. Мартен дю Гар, Т. Манн и Л. Фейхтвангер, А. Цвейг и Л. Арагон,— каждый из них по-своему воспользовался опытом Толстого и осуществил в своих романах то сопряжение художественных образов с документально-познавательными публицистическими элементами, которое Пьовене справедливо считает характерным свойством романа подлинно современного.

В речи Пьовене реализм Толстого весьма аргументированно противопоставляется модернистской литературе современного Запада. Эта антитеза сама по себе не нова — она не раз уже возникала в выступлениях крупных зарубежных писателей, рассматривавших Толстого как своего рода противоядие против влияний формализма и де-

«ВОЙНА И МИР». ИСПАНСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ (БАРСЕЛОНА, 1960)

Художник Бернал Маньес
Обложка первого тома



каданса. «Перечитывать его ⟨...⟩,— писал Т. Манн еще в 1928 г.,— значит уберечься от всех искушений изощренности и нездоровой игры в искусстве...»[20] В статье А. Зегерс, написанной в 1953 г., мы находим любопытное сопоставление принципов психологического анализа у Толстого и у Пруста. Толстой задолго до мастеров модернистского психологизма умел передавать во всей непосредственности поток смутных, полуосознанных мыслей героя, но у него это не шло в ущерб цельности картины мира: он воссоздавал душевный хаос, овладевающий тем или иным персонажем в те или иные остро драматические моменты жизни, но сам не поддавался этому хаосу. Зегерс вспоминает в этой связи, как рисуется в «Анне Карениной» душевное состояние героини перед самоубийством. «Когда Анна в отчаянии едет по городу, все впечатления в ее голове распадаются на воспоминания и отдельные ощущения. *Времени*, этого непреложного фактора, предпосылки всякого развития, для нее в ее муках не существует. Для нее действительность распадается. По ходу романа это логично. У Пруста же этот распад на ассоциации и ощущения с игнорированием времени стал основным в его методе»[21]. (Это сопоставление кратко повторено в новой статье Зегерс, печатаемой ниже.) Раздумья Пьовене над мастерством Толстого идут в аналогичном направлении. Пьовене признает, что искания модернистов в области анализа душевной жизни человека и те отдельные находки, частные открытия, которые были ими сделаны, имели и еще имеют немалую привлекательность для многих писателей Запада. Однако «расшифровка всех фибр и переплетений человеческой психики», отрываемая от общественной реальности и превращаемая в самоцель, легко вырождается в шаблон и эпигонство, «утрачивает свою эффективность». Все более очевидным становится превосходство мощного реализма Толстого над экспериментами ультрасовременных романистов. Ведь именно Толстой, справедливо утверждает Пьовене, дает самые высокие образцы

последовательности и бесстрашия в исследовании внутреннего мира человека. «Никакая стыдливость, никакая предвзятость, никакое стремление доказать тезис или добиться цели не удержат его от проникновения в глубь персонажей, и он выскажет о них все, что узнает». Герои Толстого «всегда значимы и в политическом отношении, и их действия всегда имеют также и социальную оправданность»: именно это позволяет ему объяснять многое из того, что на первый взгляд кажется таинственным, «сводит к минимуму область произвольного и необъяснимого в психологии». Не следует отказываться, по верной мысли Пьовене, от того, что добыто в области психологического анализа писателями XX в., но надо учиться у Толстого искусству постижения человека в его целостности и связях с окружающим миром — тому искусству, которое утрачено модернистами. Нужно — в противовес распаду характера в искусстве декаданса — «восстановить человеческий характер в повествовании». Задача современных романистов, по словам Пьовене: «не аналитическое и релятивистское разложение человека — мы из этого уже получили все возможные результаты — а воссоздание характеров, причем, разумеется, ничего не утрачивается из приобретенной аналитической остроты, которой нужно вернуть ее роль как орудия». В этом смысле, говорит Пьовене, «Толстой и его уроки являются для нас не прошлым, а будущим».

Чему могут, чему должны учиться у Толстого писатели, борющиеся за лучшее будущее своих народов? Передовые художники нашего времени, каждый по-своему, ищут ответа на этот вопрос.

Связь Толстого с современностью заключается в первую очередь в народности его творчества, в утверждении им роли народа как решающей силы исторического процесса. К такому выводу приходит Я. Ивашкевич: «Можно только удивляться, сколь современен был Толстой в своем взгляде на историю, сколь соответствует сегодняшнему состоянию науки все то, что он рассказал о самых глубинных ее процессах, а еще больше то, что он представил всем содержанием, развитием действия своего литературного творения». Толстой учит понимать, насколько бессильна изолированная личность по сравнению с «медленным, упорным, постоянным напором массы, толпы, войска и, наконец, народа, и являющегося истинным творцом истории». Именно в этой глубокой народности, которую одухотворяют поиски правды и определение свободы человека,— источник непреходящей силы Толстого. Его романы, драмы, рассказы, очерки, по словам Ивашкевича,— это «оружие в его борьбе с предрассудками, с отсталостью, со всем, что ⟨...⟩ задерживает всестороннее развитие человека». Все это делает Толстого близким другом и учителем писателей наших дней.

О народности творчества Толстого как поучительном образце для западных писателей наших дней говорит и английский литературовед-марксист А. Кеттл: в Толстом, отмечает он, «не было ничего от психологии избранных, ни капли той классовой исключительности, социальной или интеллектуальной, которая так часто снижает ценность современной литературы ⟨...⟩ Мне кажется, что главное в поразительном таланте Толстого — это его умение найти в искусстве точку зрения, подлинно народную в своей основе».

«Демократизм Толстого», который восхищал еще полвека назад художников, тяготевших к прогрессивным социальным идеям, подобно А. Стриндбергу, приобретает тем большее значение для тех современных писателей, которые тесно связаны с революционным авангардом своих народов. «Ни один из русских писателей, быть может за исключением Горького,— говорит о Толстом первый пролетарский писатель Мексики Х. Мансисидор,— не был так близок к народу, как этот граф, порвавший со своим классом, кожей почувствовавший все раны, наносимые социальной несправедливостью, всю горечь жизни крестьянских масс, среди которых провел немалую часть своей жизни и которые он лучше, чем кто-либо в литературе своей страны, был способен воплотить без какой-либо идеализации» [22]. Толстой не только направляет творческие усилия лучших писателей современности к демократической теме, побуждает их обращаться к повседневной жизни народа, его труду и борьбе — но учит их изображать народ со всей реалистической трезвостью, без приукрашивания и упрощения. Изучение творческой лаборатории Толстого, утверждает А. Зегерс, «великолепный урок, предостерегающий против схематизма и механичности всякого рода» [23].

А. Зегерс принадлежит глубокая и верная мысль (высказанная ею еще в статье 1953 г., цитируемой выше) о том, что Толстой существенными сторонами своего творчества выходит за пределы критического реализма в привычном понимании этого термина — ибо он умел видеть и раскрывать крупным планом положительное, героическое в повседневных делах простых людей. Современные крупные мастера реализма, полностью отдавая себе отчет в идейно-эстетической дистанции, отделяющей их от Толстого, глубоко продумывают его писательское наследие под углом зрения своих собственных насущных задач. Об этом свидетельствуют статьи и речи Ш. О'Кейси, А. Мальца, Л. Стоянова. Эпическое искусство Толстого, утверждает венгерский литературовед М. Сабольчи, «особенно необходимо нам сейчас, когда мы строим социалистическое общество и стремимся изображать в литературе глубокие социально-психологические процессы, сопутствующие его строительству». «...совсем недавно,— говорит известный кубинский прозаик А. Карпентьер,— я рекомендовал молодым кубинским писателям роман „Война и мир" как прототип эпического романа, создание которого настоятельно диктуется ходом нашей революции с ее многочисленными темами, которые должны быть раскрыты в своей взаимосвязи...»

В свое время В. И. Ленин предсказывал, что произведения Толстого станут «действительно достоянием *всех*» после победоносного социалистического переворота, что произведения эти «всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов...» [24] Это предсказание сбывается ныне во всемирном масштабе, во всех странах, входящих в мировой социалистический лагерь. «Война и мир» был одним из первых романов, изданных массовым тиражом для самых широких читательских кругов после победы кубинской революции. Участники юбилейного заседания в Москве приводили факты, свидетельствующие, что произведения Толстого стали в наши дни любимым чтением и для болгарских земледельцев, и для монгольских скотоводов. Всюду, где народы строят социализм, широкие круги трудящихся читают, знают, любят Толстого.

Зарубежные писатели, выступавшие в дни юбилея 1960 г., с полным правом говорили о том, что всемирная слава Толстого будет возрастать по мере дальнейших успехов в борьбе трудящихся за социалистическое переустройство жизни. По словам известного писателя и ученого У. Дюбуа, популярность Толстого «будет расти и шириться вместе с размахом социализма».

Старейший литературный деятель Германской Демократической Республики, А. Цвейг сказал: «...если говорить о родоначальниках нового восприятия жизни, творческого преобразования мира 〈...〉, Толстой, истолкованный Лениным, стоит 〈...〉 в первом ряду. Ибо тот, кто умеет обнажить внутренний мир своих современников, тот затрагивает самую суть и загадку человека, и таким путем — а это наилучший путь — помогает поколениям достичь понимания и усвоения того, что им необходимо,— внутренне связанного, общественно преобразующего, освещенного светом социализма движения от настоящего к будущему».

Писатели, участвующие в строительстве нового общества, учатся у Толстого не только литературному мастерству, но и умению постигать действительность в ее неодолимо поступательном движении.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 19.

[2] В этой статье (см. выдержки из нее в кн. 2-й настоящ. тома) Бурже атаковал Толстого одновременно и в плане идейно-философском, и в плане эстетическом. Пренебрежение Толстого к иерархии фактов, как считал Бурже, проистекало из того же источника, что и отрицание им иерархии общественной и церковной. «Неужели непонятно, к какому ужасному бреду гордыни неизбежно приводит апелляция к индивидуальной совести?». «Никогда не было, никогда не будет религии без церкви»,— заключал Бурже, наглядно демонстрируя своим оригинальным некрологом, что и споры в западной критике вокруг чисто художественных проблем творчества Толстого имели под собой весьма существенную социально-политическую основу (см. Paul Bourget. Pages de Critique et de Doctrine, t. II. Paris, 1912, p. 161—162, 164, 170).

[3] С. Малларме, споря с Толстым, утверждал: «Искусство объединяет людей,— пусть так; но оно в той же мере и разъединяет их...» Необходимая художнику, по Малларме, социально-психологическая позиция, — «одиночество, изолированность». «Искусство,— писал Р. де Гурмон,— имеет свою цель, вполне эгоистическую: оно само себе довлеет. Оно не берет на себя никаких миссий — ни религиозных, ни социальных, ни моральных. Оно — высшая игра человечества 〈...〉 Оно хочет быть свободным, бесполезным, абсурдным». А. де Ренье, как и некоторые другие участники анкеты (как и, например, Ж. К. Гюисманс), пытался опорочить эстетические идеи Толстого, рассматривая их как причуду, как порождение больного ума. Идеи, высказанные в трактате «Что такое искусство?», по словам Ренье, «принадлежат старику, правда, прославленному, но впавшему в манию гуманно-морального апостольства 〈...〉 Это лишает его последнюю книгу какого бы то ни было значения» («Grande Revue», 1899, № 2-3).

[4] В предисловии к трехтомному изданию своих драм Метерлинк говорил о задаче поэзии — «преобразовать в мудрость и прочную красоту те слишком смутные силы рока, которыми полна жизнь». Именно в этой связи рассматривал он «Власть тьмы» Толстого вместе с «Привидениями» Ибсена. «Появляется, например, „Власть тьмы" Толстого, как плавучий островок, скользящий по течению обыкновенной низшей жизни, как островок великолепного ужаса, весь окровавленный испарениями ада, но в то же время окруженный громадным огнем, белым, чистым и чудодейственным, который вырывается из простой души Акима 〈...〉 Сколько бы мы ни избегали страха перед непонятным, в этих двух драмах действуют высшие силы, давление которых на жизнь мы чувствуем в поэме Толстого» (Морис Метерлинк. Соч. в трех томах, т. I. СПб., б. г., стр. 21, 28). В заметке, написанной для специального «толстовского» номера французского журнала «Plume», Метерлинк почтительно отзывался о Толстом-моралисте, о высоте его нравственного идеала, обходя реализм Толстого и социально-обличительное содержание его творчества (см. «Hommage à Tolstoï». Librairie de la *Plume*. Paris, 1901, p. XX).

[5] В письме к жене от 18 ноября 1910 г. Р. М. Рильке писал: «... Для меня все заслонила смерть Толстого на этой маленькой неизвестной станции; сколько простора для действия есть еще и в наши дни, сколько путей, чтоб уйти, и как внутренняя жизнь этого человека опять и опять претворялась в сфере видимого, непосредственно переходя в свою собственную легенду. Становится все труднее выразить во внешнем действии то, что творится в душе. Ибсен из упрямства выявил это в своем искусстве, а Толстой, честолюбец перед лицом правды, невыразимо одинокий, снова и снова принуждал жизнь приходить в соответствие с состоянием его души. Но необычайный нажим, под которым это проходило, гнал жидкий столбик действия далеко за пределы шкалы совести, в область непознаваемого,— а теперь он завершил себя сам как художник, стал своим собственным поэтическим образом, доведя его до конца в его наивысшем смысловом значении, — в смысле заложенного в нем глубокого устремления и рока» (Rainer Maria Rilke. Briefe aus den Jahren 1907—1914. Berlin, 1933, S. 115).

[6] См. об этом: Д. Г. Жантиева. Эстетические взгляды английских писателей конца XIX — начала XX века и русская классическая литература. — Сб. «Из истории литературных связей XIX века». М., 1962, стр. 217.

[7] См. об этом в «Лит. наследстве», т. 69, кн. 1, 1960, стр. 166—168.

[8] Это отмечено Б. Мейлахом в кн.: «Уход и смерть Льва Толстого». М.— Л., 1960, стр. 325.

[9] «Le Cloître de la rue d'Ulm» («Cahiers Romain Rolland, 4»). Paris, 1952, p. 304.

[10] Ромен Роллан. Из дневников и писем.— «Иностранная литература», 1955, № 1, стр. 140.

[11] См. Ю. М. Кондратьев. Гарди.— «История английской литературы», т. III. М., 1958, стр. 228.

[12] См. «Hommage à Tolstoï». Librairie de la *Plume*, p. XI.

[13] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, стр. 318.

[14] Цит. по ст. Д. Г. Жантиевой. Указ. соч., стр. 192—193.

[15] «Sinn und Form», 1953, № 5, S. 49.

[16] Цит. по кн.: А. И. Шифман. Лев Толстой и Восток. М., 1960, стр. 430.

[17] См. Bazyli Białokozowicz. Stanisław Witkiewicz wobec Lwa Tolstoja.— «Przegląd humanistyczny», 1961, № 4 (25), str. 168.

[18] Oscar Wilde. Reviews. London, 1908, p. 157—158.

[19] См. «Lettres Françaises», 22—28.IX 1960.

[20] Томас Манн. Собр. соч., т. 9. М., 1960, стр. 623.

[21] «Sinn und Form», 1953, № 5, S. 46.

[22] См. В. Н. Кутейщикова. Творчество Л. Н. Толстого и общественно-литературная жизнь Латинской Америки конца XIX — начала XX века.— Сб. «Из истории литературных связей XIX века», стр. 235.

[23] Из интервью Анны Зегерс берлинскому радио к пятидесятилетию со дня смерти Толстого. Цит. по рукописи, предоставленной Толстовским юбилейным комитетом Германской Демократической Республики.

[24] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 19—20.

РОМЕН РОЛЛАН

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ И ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА»

...Перед самым поступлением в Эколь Нормаль весною 1886 года я открыл нового Шекспира — наконец-то! — и среди живых... Я прочел «Войну и мир» Толстого. Заметки в моих тетрадях говорят об изумлении, которое возрастало от страницы к странице, о том, как, сломив первое мое сопротивление и покорив, победитель влечет меня в жгучий сон наяву, не давая вздохнуть, преисполненного любви и восторга,— пока я не споткнусь, как Флобер (о чем я узнал позже), о многословные рассуждения третьего тома, о его философские и исторические теории, о его quandoque bonus dormitat Homerus...* Меня смущали также некоторые особенности архитектоники романа, магическое величие которой я уяснил себе позднее: боковые входы и выходы — и оставленная открытой последняя дверь... Начало и эпилог казались мне не соответствующими величию задания... Потом я понял... При первом чтении я это смутно ощущал: произведение, как жизнь, не имеет ни начала, ни конца. Оно — сама жизнь в ее вечном движении.— Это было гениальным воплощением того, что сам я, юный мыслитель, наделенный творческой силой (еще скрытой и терпкой, как незрелый виноград), бессознательно мечтал осуществить.

В Эколь Нормаль на улице Ульм, куда я был принят 31 июля 1886 года, вошел со мной вместе и русский роман. И я вправе сказать, что именно я внес в это Хранилище классического духа дыхание той необъятной и далекой земли, на которой тридцать лет спустя возник новый мир. Я снабжал книгами университетскую молодежь. Как только мы обосновались в нашем новом жилище, меня избрали в комитет по приобретению книг, состоявший из пяти членов. Первые книги, мною купленные, были «Бесы» Достоевского и один из романов Толстого. За ними последовали другие великие творения: «Идиот», «Братья Карамазовы» Достоевского, «Обломов» Гончарова и произведения Толстого. Мой экземпляр «Войны и мира» передавался из рук в руки, и книга зачаровала всех, но каждого по-своему: жатва была столь богатой, что мы набрали полные горсти, хотя на долю каждого пришлось всего по несколько колосьев. Мы даже создали небольшой кружок из трех-четырех студентов, чтобы в свободное время переводить с немецкого рассказ Толстого «Люцерн» для издания его на французском языке...

* * *

...Мною задумано было не совсем обычное историческое сочинение, проникнутое реалистическим мистицизмом — в духе «Войны и мира» Толстого. Я собирался написать психологическую историю Франции второй половины XVI века, времен Лиги и религиозных войн ⟨...⟩

«Я хочу,— писал я,— воссоздать психологическую и верную действительности историю душ, но душ, облеченных в плоть. Это будет огромное произведение, так как я хочу показать душу не в отдельный, изолированный момент ее бытия, а представляю себе ее только в развитии: потеряв несколько звеньев, рискуешь утратить остальные звенья. Конечно, в этой последовательности фактов есть основные сцены (правда, они могут казаться второстепенными), и эти сцены будут изложены у меня

---

* «И славный Гомер иногда охвачен дремотой» (лат.).— Выражение из «Поэтического искусства» Горация.— *Ред.*

обстоятельно. Для иных мгновений человеческой жизни нужна целая страница анализа. Для иных месяцев достаточно одной строки.

«Война и мир» является для меня одним из образцов, но с оговоркой, что у Толстого исторические сцены далеко не самые правдивые и не лучше всего написанные. Я же хочу попытаться на историческом материале воссоздать вместо вымышленных образы лиц, действительно живших несколько веков назад. Мне кажется, что от этого впечатление живой жизни будет еще более острым...»

* * *

...Русские романы, мое любимое чтение под северным небом,— в сиянии Юга меня не привлекали. Я готов был отречься от Толстого за то, что он, как старый монах-фанатик, проклинает плоть и музыку в своей мрачной «Крейцеровой сонате»...

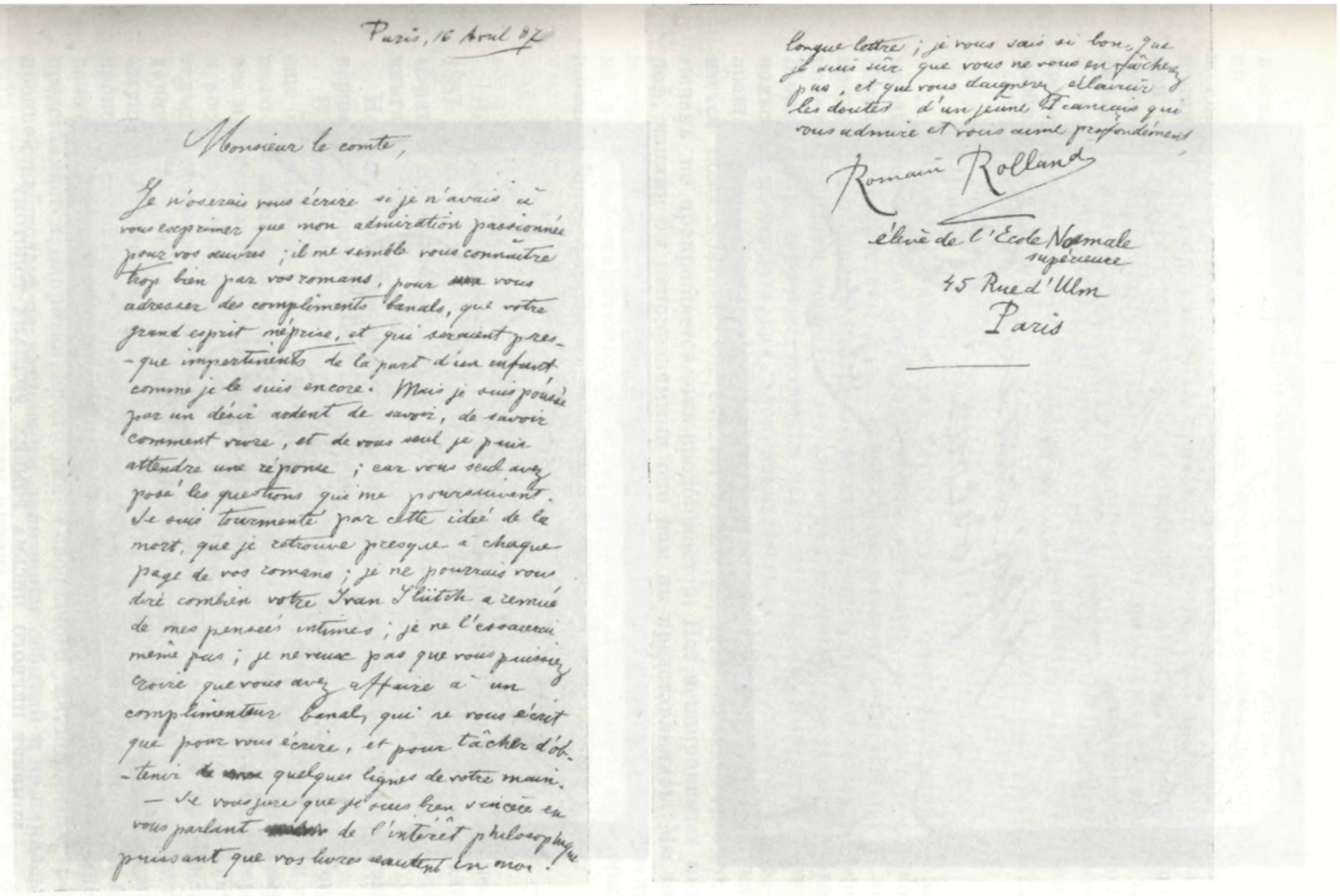
* * *

В конце марта 1886 года я открыл Толстого.

Я читал «Войну и мир» со страстью и изумлением, о чем говорят мои тетради, исписанные весной того года. Первый том я начал читать с тайным предубеждением против автора, и первые страницы меня совсем не заинтересовали. Но постепенно души героев овладели мною. Правдивость их образов меня потрясла. Я был схвачен некоторыми из них, связан и брошен вместе с ними в водоворот могучей жизни. Начав читать второй том, я уже не отделял себя от них: они были мною, и я был ими. Я даже не в силах был больше судить о них. Ни одно произведение не одерживало такой полной победы надо мною... Я оказался связанным по рукам и ногам...

Я как художник был восхищен. В лучших французских романах, известных мне до тех пор, события развертывались вокруг одного действия, одной определенной интриги. А здесь их пять, шесть, десять: это сама жизнь. Персонажи показаны не только в один какой-то момент духовного перелома, но во все моменты жизни, во всех аспектах. Образы, оставаясь правдивыми, часто исполнены противоречий, они незаметно изменяются, видишь, как развиваются их хорошие или дурные склонности. (Далее следует подробный анализ характера Наташи, и я выступаю страстным защитником его эволюции; она разочаровывает, но правдива. Я также тщательно проанализировал последние месяцы жизни старого князя Болконского, который с каждым днем все заметнее тает, все более ожесточается, тиранит свою превосходную дочь, утрачивает память, а порой внезапно вспоминает свою молодость, победы России, являющиеся жестоким контрастом настоящему времени с его вторжением французов.)

К концу второго тома я был настолько во власти Толстого, что ставил его рядом с Шекспиром по тонкости и широте кисти, так как он создает картины одновременно и великие и правдивые. Затем (здесь уместно об этом сказать) я потерял ориентир. Я не мог разобраться в эволюции некоторых характеров. Философские рассуждения и повторы (пережевывания) выводили меня из себя. Я не совсем улавливал ход мыслей Пьера Безухова и даже князя Андрея. Наконец, эпилог и зачин произведения мне казались слишком ничтожными для начала и завершения такого величественного здания. Быть может, так и происходит в жизни. Но разве не мог Толстой найти в жизни другие эпизоды, более характерные, чем разговор Анны Шерер в начале романа и бессвязный сон юного Болконского, которым заканчивается произведение? Был ли скрытый смысл



Paris, 16 Avril 87

Monsieur le comte,

Je n'oserais vous écrire si je n'avais à vous exprimer que mon admiration passionnée pour vos œuvres ; il me semble vous connaître trop bien par vos romans, pour vous adresser des compliments banals, que votre grand esprit méprise, et qui seraient presque impertinents de la part d'un enfant comme je le suis encore. Mais je suis poussé par un désir ardent de savoir, de savoir comment vivre, et de vous seul je puis attendre une réponse ; car vous seul avez posé les questions qui me poursuivent. Je suis tourmenté par cette idée de la mort, que je retrouve presque à chaque page de vos romans ; je ne pourrais vous dire combien votre Ivan Ilitch a remué de mes pensées intimes ; je ne l'essaierai même pas ; je ne veux pas que vous puissiez croire que vous avez affaire à un complimenteur banal, qui ne vous écrit que pour vous écrire, et pour tâcher d'obtenir de vous quelques lignes de votre main.

— Je vous jure que je serais bien vexé en vous parlant de l'intérêt philosophique puissant que vos livres excitent en moi ! Longue lettre ; je vous sais si bon, que je suis sûr que vous ne vous en fâcherez pas, et que vous daignerez éclaircir les doutes d'un jeune Français qui vous admire et vous aime profondément.

Romain Rolland

élève de l'École Normale supérieure
45 Rue d'Ulm
Paris

ПЕРВОЕ ПИСЬМО РОМЕНА РОЛЛАНА ТОЛСТОМУ

Автограф. 16 апреля 1887 г., Париж

Листы первый и последний

Архив Толстого, Москва



КОНВЕРТ ПЕРВОГО ПИСЬМА РОМЕНА РОЛЛАНА ТОЛСТОМУ
16 АПРЕЛЯ 1887 г.

На оборотной стороне — помета С. А. Толстой

Архив Толстого, Москва

в заключительных словах? Я его искал, но тогда не нашел. Роман не имеет ни начала, ни конца, как и сама жизнь. По меткому немецкому выражению, он находится «в становлении», в состоянии постоянного видоизменения. Меня поражает, как при столь бережном отношении к фактам, при всей заботе о скрупулезном отражении действительности, Толстой сумел так страстно привязать нас к некоторым своим героям, в тайну характера которых он проник тонким инстинктом глубокого сердцеведа, и в чем, на мой взгляд, его никто не превзошел, даже Шекспир. Шекспир превосходит Толстого правдивостью драматизма, но не правдивостью изображения деталей.

* * *

...В Эколь Нормаль я дал читать друзьям свой экземпляр «Войны и мира». Все находят это произведение чудесным, но каждый по-своему. Книга эта богатством своего содержания говорит душе каждого. Сюарес предпочитает первый том: он сокрушается, видя, что его любимые героини нелепым образом попадают впоследствии в самые тривиальные истории. Жорж Миль, напротив, особенно ценит третий том. Ему доставляет удовольствие наблюдать, как герои, романтические и страстные вначале, превращаются в обывателей. Ему нравится сон мальчика, которым заканчивается повествование. Он считает очень здравой мысль Толстого, что «жизнь не прекращается: она продолжается. Нет непоправимых катастроф, какими бы непоправимыми они нам ни представлялись. Мы видим женщин, подавленных страданиями, страстями, казалось бы, смертельными, а они излечиваются от них и всё забывают. Даже смерть не прерывает жизни. Князь Андрей возрождается в сыне. И всё — благо...»

* * *

Во время первого семестра в Эколь Нормаль (с ноября 1886 по май 1887 года) я открыл великие романы Достоевского: «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы» и т. д. Мой дневник заполнен заметками об этих книгах ⟨...⟩

Но болезненному гению этого писателя я во многом предпочитаю совершенно здоровый гений Толстого.

В ту же пору состоялась и моя первая встреча со Стендалем. Тогда я еще был далек от того, чтобы признать в нем мастера, впоследствии ставшего для меня столь дорогим. Толстой меня ослепил: он в корне изменил все мои суждения. Тем не менее, меня заинтересовало «Красное и черное» и восхитила «Пармская обитель», которым я посвятил довольно обстоятельные заметки. Но меня смущало тогда у Стендаля, что при анализе характеров у него всегда остается нечто невыясненное. А читая Толстого, ощущаешь почти полную невозможность, чтобы изображаемое им могло происходить иначе. Стендаль же всегда предоставляет простор для воображения; и в его выборе я усматривал тогда произвол, а теперь мне это представляется, напротив, проявлением свободного ума, который с трезвой иронией наблюдает за капризным движением событий и не накладывает узды на неожиданное.

* * *

Летом 1887 года, после путешествия по Фландрии, Бельгии, Голландии и прирейнской области, распахнувшего мне окно в мир, я конец каникул провел в Кламси, в старом доме над каналом. Я неистово предался там чтению книг, пользуясь литературой из библиотеки научного

и артистического общества Кламси, основанного моим дедом. Я прочитал множество русских книг, и это показательно для интереса, пробудившегося во французской провинции к русской литературе. Среди многого другого я прочел «Тараса Бульбу» Гоголя, повести Александра Герцена, «Записки охотника» Тургенева, «Записки из мертвого дома», «Преступление и наказание» Достоевского, «Обломова» Гончарова, не говоря уже о романах и повестях Джордж Элиот и Диккенса, о французских романах и даже о таких старинных китайских романах, как «Две кузины» в переводе Абеля Ремюза́... (Не следует ли отдать дань уважения интеллектуальной любознательности маленького провинциального городка, предоставляющего такую духовную пищу своим обывателям?)

«Преступление и наказание» меня зачаровало. Я ставил его почти на один уровень с «Войной и миром». «Я предпочитаю Толстого, потому что мастерство и темперамент Толстого, склад его ума и его ви́дение мира более близки моему „я“ и моим стремлениям. Но как великие гении — Толстой и Достоевский равноценны. „Война и мир“ мне напоминает безграничную жизнь, океан душ: чувствуешь, что сам превращаешься в божественный Дух, парящий над волнами. „Преступление и наказание“ — это буря одинокой души, и тебя, как чайку, уносит в брызгах пены на гребне гигантской волны...»

Но в запутанной нагроможденности эпизодов «Идиота» и «Бесов» я угадываю досадное влияние Эжена Сю.

* * *

...Я обнаружил вдруг «мощное клокотанье, которое во всей Европе возвещало и подготавливало приход Революции. Ибсен, Толстой, новые писатели Германии и Франции участвовали в этом лихорадочном возбуждении, предшествовавшем решительному перелому. Действие выковывалось в этих мастерских искусства и мысли — действие разрушительное и роковое, которое подрывало старый мир и пролагало путь к созданию нового общества. Но гордиться этим никому из нас не придется». Ибо я предвидел, что при этом все мы погибнем — и друзья и враги. «Но главное, — добавлял я,— не в том, чтобы жить. Главное — как прожить жизнь. Главное — в час, выпавший на нашу долю, в упоении слиться с могучим дыханием, увлекающим за собой мир!»

В моем дневнике 1895 года с особой силой звучит протест против общества и подчеркиваются факты, оправдывающие этот протест. В июле 1895 года я отмечаю, что «социалистические идеи проникают в меня, вопреки моей воле, вопреки моим интересам, вопреки моим антипатиям, вопреки моему эгоизму. Хотя я не хочу об этом думать, они каждый день проникают в мое сердце» ⟨...⟩

«Каждому — все необходимое для существования: таков основной принцип. И работа для всех. И все для работы... Работы по силам и по способностям» ⟨...⟩

«Следует, чтобы люди искусства, как и все остальные, занимались ручным или умственным общественно-полезным трудом и только за него получали бы вознаграждение. А за свое творчество они получать его не должны. Для меня так же неприемлем художник, продающий свою картину за сотни тысяч, как и банкир, спекулирующий на биржевых операциях. Настоящий художник никогда не перестанет служить искусству, даже без выгоды для себя, даже если будет ограничен временем. Искусство, подчиненное профессии, станет только более высоким. Пусть социальный порядок, более справедливый, и большее равенство заставят каждого заниматься общественным трудом и освободят нас от паразитирующих

лжехудожников и никчемных литераторов, жиреющих за счет проституирования искусства».

Этот мотив вновь звучит у меня в «Жане-Кристофе» и в «Предисловии» к письму Толстого, опубликованному в «Cahiers de la Quinzaine». Я писал предисловие, вдохновленный идеями Толстого. Оно не имеет практической ценности. Это протест одиночки против паразитов умственного труда и спекулянтов от искусства...

* * *

После моего письма 1887 года *, на которое мне отечески ответил Толстой, прошло десять лет, прежде чем я снова решился написать ему. Десять лет спустя после первых битв против Ярмарки на парижской площади, 24 января 1897 года, я послал Толстому еще до выхода в свет корректурные листы моего первого произведения — «Святой Людовик», печатавшегося в «Revue de Paris». Сопроводительное письмо свидетельствовало о стиле более зрелом, чем письма 1887 года, и о личности, уже сформировавшейся. Я позабыл точный смысл моих первых писем. В 1897 году я уже не помышлял о том, чтобы бежать от жизни и ее печалей. Я не представлял себе даже, как мог об этом думать в 1887 году. Я искренно верил, что искусство — это благодетельный свет, который помогает жить и действовать. Я энергически высказывался против себялюбивого равнодушия, отравлявшего литературный мир, среди которого я жил. Мне казалось, что мой самый настоятельный долг в данное время — вырвать человека из апатии и во что бы то ни стало вдохнуть в него энергию, веру, героизм. Это был дух «Аэрта», дух будущего пролога к «Жизни Бетховена»: «Воздух сгущен вокруг нас. Оживим его дыханием героев!..» Толстой мог бы с гораздо бóльшим основанием ответить на это письмо, чем на предыдущие. Он не ответил... Больше он не отвечал.

Тем не менее не прошло и недели, как 29 января 1897 года я послал Толстому четвертое, короткое, взволнованное письмо, встревоженный преследованиями, которые угрожали писателю. В этом письме с еще большей силой выражено чувство, каким исполнен пролог к «Жизни Бетховена». Видно, что я был потрясен резней в Армении, и я бичевал ханжество идеализма, надругательства над великими идеалами — верой, свободой и т. д., преданными и проданными.

Последующие два письма (пятое и шестое) были написаны четыре года спустя, в 1901 году. В первом, от 21 июля, я выражал больному писателю свое беспокойство о состоянии его здоровья и желал ему скорейшего выздоровления. Я говорил ему о том, как необходим его могучий дух для всего мира. «Борьба за разум человечества — это также борьба за счастье человечества».

Следующее письмо, от 23 августа 1901 года, я отправил из Моршаха в Швейцарии, где в то время писал предисловие к «Жану-Кристофу», обращенное к свободным душам всего мира. В этом письме речь шла о духоборах, о существовании которых я узнал из статьи Толстого. Отсюда идея моей драмы «Наступит время».— Более всего я восхищался у Толстого «одной из редчайших добродетелей: правдой».

Но я упрекал его за то, что он в своих суждениях слишком опирается на авторитет Христа. Я говорил, что следует полагаться не на авторитет

* Собственно говоря, я написал Толстому в 1887 году два письма. Всего мною написано семь писем между 1887 и 1906 годами. Я бы о них совсем забыл, но Павел Бирюков, друг Толстого, сделал копии с оригиналов, хранящихся в московском Музее Толстого, и переслал их мне.

человека, а на разум. «Правда создает величие человека, а не человек — величие правды».

Последний раз я писал Толстому 27 августа 1906 года. Я послал ему мою книгу «Жизнь Микельанджело», только что вышедшую в свет. К тому времени я уже почти наполовину закончил «Жана-Кристофа».

Но из Ясной Поляны я не получил больше ни слова. Мне сказали потом, что «Жизнь Микельанджело» Толстому не понравилась.

Итак, мне пришлось одному продолжать свой путь. Утратив великого спутника жизни, я создал себе неплохих попутчиков: моего Жана-Кристофа и моего Кола. Я не нуждался больше в опеке своих великих старших современников.

Но должен признаться, что прежде чем «durch Leiden» * я достиг тих внутренних побед, мне очень не хватало их дружбы.

Печатается по кн.: Romain Rolland. Mémoires et fragments du Journal. Paris, 1956, p. 34—35, 55, 57, 122, 177—178, 179—181, 244, 245, 320—322.— Перевод с французского И. Б. Овчинниковой.

ИЗ КНИГИ «МОНАСТЫРЬ НА УЛИЦЕ УЛЬМ»

17 октября 1886 г.

...С восхищением читаю «Госпожу Бовари», что возмущает моего деда. Я же нахожу, что эта книга чудесна по своему реализму. Это единственный французский роман, который я могу сопоставить с Толстым по глубокому ощущению жизни, всей жизни. Со всех пяти чувств взимается дань, чтобы заставить нас интенсивнее жить жизнью героев. Впрочем, они затрагивают гораздо больше наш ум и любопытство, чем сердце. Мы испытываем к тем или иным персонажам не более пристрастия, чем в жизни к посторонним людям, чьи дела не тревожат наш эгоизм. Они эгоисты, и мы тоже...

9 августа — 7 сентября 1887 г.

...О романе «Адам Бид». Персонажи Толстого — это неведомый мир, в который погружаешься с головой. Вначале ощущаешь неловкость и скуку, затем любопытство, интерес и, наконец, глубокую привязанность, закрепляемую силой привычки. Персонажи Элиот — это друзья, которых вы не знаете. Подобное чувство я часто испытывал среди друзей, о характере которых составлял себе предвзятое мнение, опровергавшееся впоследствии повседневными наблюдениями. Человек благожелательный охотно представляет себе других лучшими, чем вынужден их видеть в дальнейшем. Так и в романе «Адам Бид»: лишь прочтя множество страниц, мы, наконец, обнаруживаем ошибки Артура и слабости самого Адама.

У Элиот мы наблюдаем похождения героев вдвоем с автором. Толстой же стушевывается; он появляется только в редкие промежутки — в философских главах, в форме этических теорем, в непоколебимых законах, управляющих миром, но не как живая личность.

Cf **, как Толстой и Элиот по-разному создают картины. У Толстого нет двух точек зрения в отношении изображаемого, а только одна: таковы

---

* «через страдание» (нем.).

** Ср⟨авни⟩ (лат.).





ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Фотографии В. Г. Черткова, 1908 (см. стр. 84)

Музей Толстого, Москва

вещи, у них нет другого аспекта. А у Элиот они таковы, какими вы их увидите, если станете рассматривать. Если Элиот хочет нам показать интерьер, она входит с нами; она с порога глядит на вещи и описывает их не такими, какие они есть, но такими, какими она их видит с порога ⟨...⟩

Толстой заставляет нас превращаться в своих героев. Элиот сохраняет и нашу и свою личность: вместе с нами она видит и постигает вещи и души ⟨...⟩

У Толстого и Элиот любовь носит различный характер. Любовь Толстого обращена ко Всему, к Миру; отсюда его огромная беспристрастность. У Элиот любовь направлена к человеческой личности, пусть самой скромной; отсюда всепонимающая, но трогательная нежность к каждому герою ⟨...⟩

«Давид Копперфильд». Я постоянно думаю о «Детстве» Толстого, и сравнение не в пользу Диккенса. Мне не нравится, что Диккенс наделяет маленького мальчика романтической сентиментальностью восемнадцатилетней девушки. Меня коробят фразы, подобные следующей: «Мне показалось, что я ощутил, как содрогается могила, и это страшным ударом отозвалось в моем сердце» (когда мальчик узнал, что его мать снова выходит замуж). И насколько ослаблен, притуплен реализм в описании чувств, когда речь идет о смерти матери. Диккенс не хочет видеть действительность такой, какая она есть на самом деле: у него нет такой горячей любви к правде, как у Толстого; он не лишен пристрастий, и это мешает ему правильно видеть...

...— «Евангелистка» Доде ⟨...⟩ Язык Доде не годится для реалистического романа. Толстой пренебрегает стилем, его учителем является природа. Толстой часто плохо пишет, самое главное для него — быть точным и верным. Доде отделывает, оттачивает, шлифует. Его стиль весь в блестках, вымученный, нервный, декадентский. Это — аппарат, разлагающий свет, лишающий природу ее целостности, подвергающий ее химическому анализу: это работа аналитика и умозрительный труд психолога, но не романиста, который отражает чувства своего героя, по большей части самые обыкновенные, цельные и непосредственные...

Легко заметить, насколько все, что я читал, приводит меня к Толстому — как к критерию сравнения. Это, несомненно, период в моей жизни, когда я больше всего ощущал влияние Толстого и воздействие на себя его мысли.

Я ему писал два раза: впервые под Троицу 1887 года, когда, исполненный новой веры в Чувство (Бог — Чувство), я не мог понять отрицания искусства автором «Так что же нам делать?».— Второй раз — из Кламси, после возвращения из Голландии, в момент, когда, почти до тошноты пресытившись художественными впечатлениями, я впервые ощутил эгоизм, который есть в искусстве, и красоту, которая есть в жертве. Безнадежные мысли Герцена проникали в мой ум, подготовленный для их восприятия, и заставляли меня думать, что Толстой прав ⟨...⟩

Толстой мне ответил длинным письмом на двадцати восьми страницах.

Я нашел письмо вечером, в пятницу, 21 октября 1887 года, собираясь к Сюаресу в Эколь Нормаль (он вернулся туда раньше меня, чтобы подготовиться к новому экзамену на лиценциата), и мы вместе прочли письмо.

16 декабря 1887 г.

Новый кризис, менее сильный, но более длительный. Возможно, он был вызван спором о Толстом, возникшим у нас перед сном. Я говорил, что «Люцерн» (который мы теперь переводим с немецкого) мне кажется

очень слабым произведением. А Миль, одолживший мне книгу, и Дальмейда со своим тупым верхоглядством заявили, что это самый прекрасный рассказ Толстого и что им кажется очень слабой страница, которой заканчивается рассказ «Севастополь в мае»: «Герой же моей повести ⟨...⟩— правда». — Она меня как обухом ударила,— сказал Дальмейда, превзойдя в резкости Миля. А я отношу эту страницу Толстого к тем, которые доставили мне наибольшее наслаждение. Я хорошо понимаю, что те, кто ее не любит, видят в этом слове «Правда» абстракцию на французский манер. В то время, как для Толстого (как и для меня) Правда — это Бытие, самое Бытие, и провозглашение ее есть исповедание веры в буквальном смысле этого слова. Что бы там ни было, но из-за Толстого я около часа находился в сильном нервном волнении...

22 февраля 1888 г.

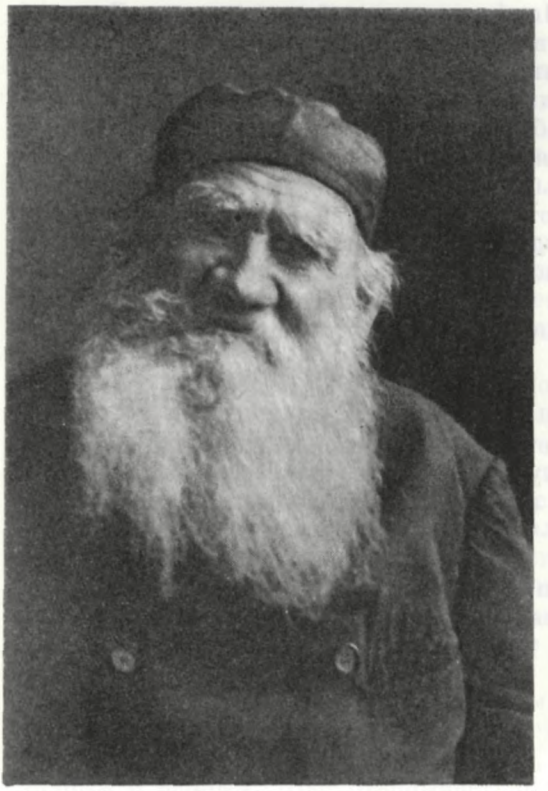
...Даже Толстой меня покидает. Вернее, я его покидаю. Он такой же, как и другие. И его реформа искусства — повторение реформы Руссо, но в той было больше искренности, и она была создана человеком, лучше к тому подготовленным.

У Толстого интересы морали преобладают над интересами искусства. Я не могу принять его мысль полностью. Теперь мне не к кому обратиться. У меня только моя Идея. Она меня поглощает. Я ее опасаюсь. Считают причудами, капризами, даже злостью то, что по сути является у меня тоской и болезнью ⟨...⟩

Четверг, 22 марта 1888 г.

...Что меня восхищает, чего я ищу в искусстве? — Толстого, Вагнера. То есть наиболее точного реализма в литературе, наиболее галлюцинирующего импрессионизма в музыке ⟨...⟩

Удивительно, что я так поздно заметил, как в творчестве Толстого вырисовывается исключительная личность самого автора. Я даже считал его воплощением безличности. Поскольку Толстой глубоко отражал мою душу (некоторые ее стороны) — душу среднего человека, я заключил, что он проникал в душу каждого. Однако он проникал только в меня, а не в Миля, Дальмейда и других. К примеру, навязчивая мысль о смерти. Она меня угнетала в годы моего детства, но я не осмеливался в этом признаться окружающим. Но вот мне в руки попадает книга Толстого. В ней я увидел свое сердце, лучше разгаданное автором, чем мною самим. Очевидно, природа человека одинакова повсюду, если русский из Тулы испытывал ту же тревогу, что и француз из Кламси? Одно время я в это верил. Только потом я понял, как много на свете людей, равнодушных к судьбе Ивана Ильича и не видящих в ней судьбы, которая ждет и их. Я не говорю о верующих католиках, в смерти прозревающих рай. А вот Миль и Мелинан утверждают, что не верят в смерть и даже не могут себе представить ощущения своего исчезающего «я». Какое же впечатление может произвести на них Толстой? Впечатление человека с болезненным состоянием ума, неспособного здраво мыслить. А что сказать обо всех этих скептиках, которые, пресытившись своим неведением, умрут с таким же равнодушием, с каким и жили! А деловые люди, чувствуя приближение смерти, будут думать о том, что они еще успеют сделать и что будут делать их дети... И так до последнего вздоха!..— Нет, чтобы мучиться при мысли о смерти, надо быть, как я,—одновременно и страстным реалистом (убежденным в относительной реальности жизни и смерти) и человеком, глубоко чувствующим непосредственное присутствие вечного Существа, надо быть влюбленным в божественное, надо быть художником. Смерть



ТОЛСТОЙ
Фотография В. Г. Черткова, 1907
(см. стр. 84)
Музей Толстого, Москва

я воспринимаю как факт; но смерти я не хочу.— Это трагическое противоречие мне почти удалось примирить при помощи веры, которую я для себя создал и которая не является ни верой Толстого, ни верой Ренана, но, как и я сам, наследует заветы обоих.

1 ноября 1888 г.

В зале Menus Plaisirs труппой Свободного театра Антуана была показана «Власть тьмы» Толстого. Антуан был восхитителен в роли Никиты. Чудесное искусство Толстого. С первого взгляда поражает только реализм изображаемого и чудовищность фактов. Но по мере того, как развертывается огромное полотно драмы, все с большей убедительностью выявляется и предстает нравственная сила автора!—Презренная парижская публика! Большинство было подавлено безграничной печалью драмы. Некоторые негодовали, что просчитались и потеряли вечер. Другие ломали голову над смыслом заглавия. А при каждом грубом слове, резком выражении — приглушенные, игривые и конфузливые смешки. Иногда даже волна возмущения. Тем не менее, вся эта публика, скучающая и скандализованная, аплодировала довольно горячо в конце каждого акта,— ведь это из России — союзницы Франции! И это разыгрывается на Севастопольском бульваре!

10 марта 1889 г.

...Мою молодость озарило сияние Вагнера и Толстого, но мне не суждено было увидеть оба солнца моей жизни...

2—10 апреля 1889 г.

Я прохожу стаж преподавателя в лицее Людовика Великого ⟨...⟩

Я пропагандирую русскую литературу. В конце занятий я читал Толстого ученикам. В третьем классе «Севастопольские рассказы». Мы беседовали о Толстом: некоторые смутно знали, что это русский писатель, и лишь один слыхал про «Детство» и «Отрочество». (Я читал им также из Огюстена Тьерри — о сражении при Гастингсе.) — На уроках риторики я прочел отрывки из «Холстомера», «Войны и мира», «Севастопольских рассказов».— На уроках философии — отрывки из «Обломова» Гончарова (и смерть Талейрана из Сент-Бева). Больше всего увлекли моих слушателей «Севастопольские рассказы» ⟨...⟩

Печатается по кн.: «Le Cloître de la rue d'Ulm. Journal de Romain Rolland à l'Ecole Normale. 1886—1889». («Cahiers Romain Rolland», 4). Paris, 1952, p. 6—7, 148—149, 150, 152—153, 154, 155, 157, 164, 187, 197, 199—200, 259, 285, 290—291, где опубликовано впервые.— Перевод с французского И. Б. Овчинниковой.

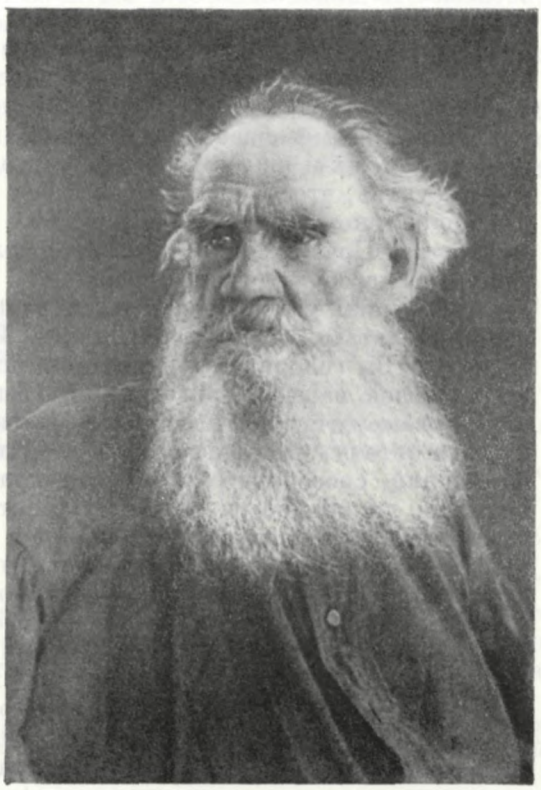
ПИСЬМА

ТОЛСТОМУ

Париж, 16 апреля 87 г.

Глубокоуважаемый граф!

Я не посмел бы писать вам только для того, чтобы выразить свое страстное восхищение вашими произведениями; мне кажется, я вас слишком хорошо знаю по вашим романам, чтобы обращаться с банальными комплиментами, презираемыми вашим великим умом, и что было бы почти



ТОЛСТОЙ
Фотография В. Г. Черткова, 1906
(см. стр. 84)
Музей Толстого, Москва

дерзостью с моей стороны, так как я еще очень молод. Но меня побуждает к этому жгучее желание знать — знать, как жить, а только от вас одного я могу ждать ответа, потому что вы один подняли вопросы, которые меня преследуют. Мысль о смерти мучит меня, и эту мысль я нахожу почти на каждой странице ваших романов; я не могу и не пытаюсь даже выразить вам, насколько ваш «Иван Ильич» всколыхнул самые сокровенные мои мысли. Не хочу, чтобы вы думали, будто имеете дело с пошлым льстецом, который пишет вам лишь бы только писать вам, домогаясь получить от вас несколько строк.— Могу заверить вас, что я совершенно искренно говорю об огромном философском интересе, который пробуждают во мне ваши книги.

Я убедился, что светская, деловая жизнь не есть истинная жизнь, поскольку она кончается смертью; Жизнь может стать благом только если мы уничтожим смерть. Истинная жизнь вся в отказе от эгоистического противопоставления себя ближним, в стремлении стать живою частью Единого Бытия. Итак, будем жить в Единении, которое одно только и есть настоящая жизнь. Уничтожим смерть, слив наше существование со всемирным бытием.

Мне кажется, милостивый государь, что именно это вы и хотели сказать — но ведь это и моя мысль! Я понимаю, что подобное самоотречение достигается наибольшим умалением, сведéнием на нет собственного нашего сознания, всего того, что заставляет чувствовать нашу порочную индивидуальность, наше ненавистное «я». Ваши пять правил самоотречения мне кажутся очень верными, хотя я и думаю, что для француза следовало бы прибавить и другие. Но это не имеет значения. У каждого народа свои формы Морали. Меня интересует самая суть вашего учения.— Итак, вы хотите сказать, что следует избегать суетных привязанностей, следует работать для всех не из любви к людям (этим мы только еще больше превознесли бы свою личность, переполнили бы свою душу всеми человеческими страстями), но следует работать, чтобы перестать думать; только Добрые Дела, практическое милосердие, физический труд отрывают нас от мрачных мыслей о нашем эгоистическом «я» и дают нам единственное благо, умиротворение ума и успокоение сердца.

Вот этого самозабвения, этой целительной умиротворенности я и жажду всей душой, их и ищу и надеюсь достичь; но почему вы хотите, милостивый государь, чтобы средством к этому был ручной труд? Тогда я задам вам вопрос, который меня больше всего волнует,— почему вы осуждаете Искусство? Почему, напротив, не воспользуетесь им как наиболее совершенным способом достичь требуемого вами самоотречения! Я только что с большим увлечением прочел ваше новое произведение «Так что же нам делать?» Разрешение проблемы Искусства в нем отложено до другого раза. Вы говорите, что осуждаете искусство, но вы не приводите пока всех доводов вашего приговора. Разрешите же мне, не дожидаясь (ибо я молод), самому спросить вас о них. Насколько я понял, вы осуждаете Искусство потому, что видите в нем эгоистическое желание утонченных наслаждений, способное только во стократ усилить ощущение нашего «я», повышая до крайности нашу Чувствительность. Увы! я хорошо знаю, что даже для большинства художников в этом и заключается предмет Искусства: аристократический сенсуализм, сенсуализм людей, органы чувств которых достигли исключительной утонченности. Но нет ли в нем, милостивый государь, и чего-то другого, чего-то такого, что для некоторых — Всё? А именно — самозабвения, исчезновения Индивида, растворившегося в Ощущении, которое под конец он перестает даже чувствовать, когда это ощущение достигает такой, например, бесконечной сложности, как в Музыке. Тебя больше нет—ты ничего не помнишь, не сознаешь— есть только океан бесконечно малых ощущений. Это небытие, это полное

исчезновение в Едином, экстаз, гипнотическое состояние слуха и зрения, я бы сказал, всего духовного твоего существа. Но разве мы не достигаем таким путем спокойствия духа, о котором вы говорите? Смерть над нами не властна! Мы ее уничтожили, отрешившись от жизни.

Я знаю, вы меня будете упрекать в забвении того, что Искусство — только цветок зла, венец всех социальных несправедливостей. Другие трудятся, страдают от нищеты для того, чтобы мне была предоставлена возможность, оставаясь бесполезным, заботиться только о собственном счастье, которого я мог бы с тем же, если не с бóльшим успехом, достичь ручным трудом, работая для блага ближних.

Но почему вы хотите, чтобы я действовал, работал, страдал для счастья других и своего счастья? В конце концов зачем стремиться продлить нашу жизнь? В труде я нахожу забвение, но жизнь моя продолжается, и я даю жизнь другим; у меня будут дети, которые будут страдать, как и я, пока не поймут, подобно мне, что счастье в забвенье — в отказе от мыслей. Но почему не покончить с этим сразу? Вы уничтожаете смерть, сохраняя жизнь, вся ценность которой только в том, что она не подвластна смерти, почему заодно со смертью не уничтожить и жизнь? А именно это и дает мне Искусство — смерть действия, смерть мысли и одновременно смерть смерти. Почему бы экстаз не мог быть высшим состоянием скорее, чем пустое действие?

Если вы считаете, что я неправ, скажите же, милостивый государь, в чем именно? Ни в одном из ваших романов, прочитанных мною, вы не затрагиваете этот вопрос. Я влюблен в Искусство потому, что оно освобождает мою жалкую, маленькую личность; в нем я исчезаю, сливаясь с бесконечной гармонией звуков и красок, в которых растворяется мысль и уничтожается смерть. Если бы я захотел трудиться, обрабатывать землю, я продолжал бы мыслить. Вспомните, что есть стареющие народы; они не смогут вернуться к привычкам, забытым в течение веков. Не полагаете ли вы, что даже в вашем учении Искусство могло бы сыграть огромную роль для этих народов, которые погибают от изощренности своих чувств и избытка своей цивилизации?

Простите, милостивый государь, мое длинное письмо; зная вашу доброту, я уверен, что оно не вызовет у вас неудовольствия и вы соблаговолите рассеять сомнения молодого француза, который вами восхищается и глубоко вас любит.

Ромен Роллан,

студент Эколь Нормаль
Rue Ulm № 45. Париж.

На конверте:

Графу Льву Толстому, писателю.
Москва. Россия*.

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *АТ*. В русском переводе полностью публикуется впервые.— Перевод с французского И. Б. Овчинниковой.

МАТЕРИ

〈Рим.〉 Среда, вечер 〈11 июня 1890 г.〉

Вчера я отправился во дворец Фарнезе. Там я нашел роман Толстого 〈«Крейцерову сонату»〉. (Горячо поблагодари за него от моего имени дядю.) Я с жадностью перелистал его. Он вызвал у меня чувство отвра-

* Приводим эту надпись на конверте в подлиннике: «Monsieur le comte Léon Tolstoï, homme de lettres. Moscou. Russie». *На обороте конверта рукой С. А. Толстой*: Это письмо прелесть!

щения, возмутил и огорчил меня. Судя по названию, я думал, что Толстой захочет изобразить, как музыка — благотворно или тлетворно — действует на человеческие души — в частности на слабые души, на женские души. Я тоже в свое время обращался к этой теме и думаю еще вернуться к ней когда-нибудь. Но Толстой не должен был делать из нее основу целого романа — по той простой причине, что он — совсем не музыкант и почти совсем не художник (что не мешает ему быть гением); он мог использовать эту тему только как побочную, построить на ней какую-нибудь одну главу целого произведения, в основе которого лежала бы обязательно та или иная большая социальная проблема, например проблема любви и брака...

Печатается по кн.: «Printemps Romain. Choix de Lettres de Romain R o l l a n d à sa mère. 1889—1890» («Cahiers Romain Rolland», 6). Paris, 1954, p. 308—309, где опубликовано впервые. — Перевод с французского М. Н. В а к с м а х е р а.

[ЕЙ ЖЕ]

〈Рим.〉 Воскресенье, утро 〈30 ноября 1890 г.〉

...В Лондоне вышла новая книга Толстого: «Ходите в свете, пока есть свет». Вначале это произведение печаталось в «Fortnightly Review» (октябрь, ноябрь), а затем было опубликовано отдельным изданием Уильямом Хейнеманном в Лондоне. Это дополнение к «Крейцеровой сонате», которую я теперь полностью принимаю. В «Сонате» Толстой говорил: *Брак скверен, если...* В новой книге Толстой добавляет: *Брак хорош, если...* Любопытно, что действие романа происходит в Римской империи, в эпоху Траяна, но это совсем неплохая рама для диссертаций о нравственности: никогда столько не морализовали, как в эту эпоху; притом эта книга повествует о язычнике, который становится христианином.

Я вас очень прошу, как только вам попадется в Париже полный перевод, пришлите его мне...

Печатается по кн.: «Retour au Palais Farnèse. Choix de Lettres de Romain R o l l a n d à sa mère. 1890—1891». («Cahiers Romain Rolland», 8). Paris, 1956, p. 91, где опубликовано впервые. — Перевод с французского И. Б. О в ч и н н и к о в о й.

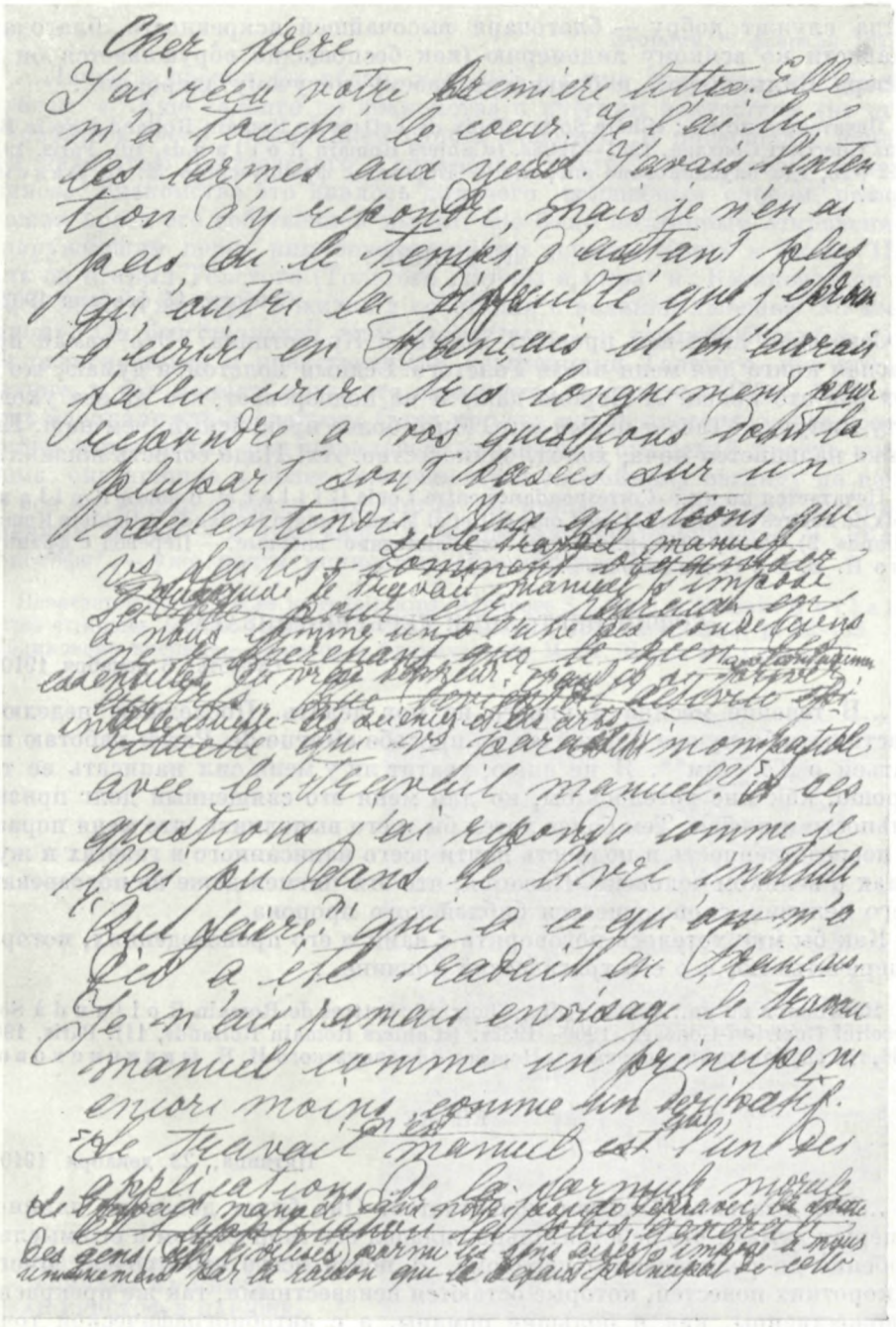
СОФИИ БЕРТОЛИНИ ГЕРЬЕРИ-ГОНЗАГА

〈С.-Мориц.〉 22 августа 〈1901 г.〉

...Я читаю сейчас две только что вышедшие книги Толстого — «Лучи зари» и «Речи свободного человека» (названия даю по французским переводам, изданным Tress et Stock *). Здесь собраны его статьи последних трех лет, посвященные важнейшим мировым событиям: войне на Филиппинах, Трансваальской войне, Гаагской конференции, убийству короля Умберто и т. д. Думаю, что мы с вами любим Толстого одинаково горячо. Я считаю его единственным поистине великим человеком современности (даже более великим, чем Вагнер; во всяком случае, лично я отдаю предпочтение Толстому). Что касается двух этих книг, я мог бы его упрекнуть в том, что он — и, пожалуй, иногда сознательно — закрывает глаза на современную действительность, что он ослеплен своей верой. Но его слово

---

* Речь идет о сборниках философских и публицистических статей Толстого, вышедших во Франции под названием: «Les Rayons de l'Aube (Dernières études philosophiques)», traduit du russe par J. W. Bienstock. Quatrième édition. Paris, P. V. Stock (Ancienne librairie Tress et Stock), 1901 и «Paroles d'un Homme Libre (Dernières études philosophiques)». Traduit du russe par J. W. Bienstock. Paris, Stock, 1901.— *Ред.*



ПИСЬМО ТОЛСТОГО РОМЕНУ РОЛЛАНУ ОТ 3 <?> ОКТЯБРЯ 1887 г.
Черновой автограф, лист первый
Архив Толстого, Москва

всегда служит добру — благодаря высочайшей искренности, благодаря ненависти ко всякому лицемерию (как беспощадно обрушивается он на кайзера Вильгельма!) и благодаря своему могучему здоровью...

Печатается по кн.: «Chère Sofia. Choix de Lettres de Romain Rolland à Sofia Bertolini Guerrieri Gonzaga. 1901—1908». («Cahiers Romain Rolland», 10). Paris, 1959, p. 12—13, где опубликовано впервые. — Перевод с французского М. Н. Ваксмахера.

ЛУИ ЖИЙЕ

Суббота, 15 февраля 1902 г.

Советовал ли я вам прочесть мемуары Кропоткина? Это самая прекрасная книга для меня после Толстого. Бедный Толстой, я думаю, что на этот раз это конец. А Европа даже и не подозревает, кто от нее уходит в эту минуту. Угасает целый мир. Мир, более прекрасный, чем наш. Еще ближе надвинется ночь, холод, одиночество. Ах! Надо согреть жизнь...

Печатается по кн.: «Correspondance entre Louis Gillet et Romain Rolland. Choix de Lettres établi par M-me Louis Gillet et M-me Romain Rolland». («Cahiers Romain Rolland», 2). Paris, 1949, p. 176, где опубликовано впервые. — Перевод с французского И. Б. Овчинниковой.

СОФИИ БЕРТОЛИНИ ГЕРЬЕРИ-ГОНЗАГА

Суббота, 3 декабря 1910 г.

...В течение месяца я ничего не мог делать. Последнюю неделю я чувствую себя лучше * и сейчас по просьбе «Revue de Paris» работаю над статьей о Толстом**. Я не знаю, хватит ли у меня сил написать ее так хорошо, как мне хотелось бы, но для меня это священный долг признательности и любви. Тем более хотел бы я его выполнить, что меня поразила посредственность и подлость почти всего написанного в газетах и журналах о великом человеке. Кажется, что эти пигмеи даже не подозревают всего величия скончавшегося библейского пророка.

Как бы мне хотелось поговорить с вами о его произведениях, которые я перечитываю, и о его трагической кончине...

Печатается по кн.: «Chère Sofia. Choix de Lettres de Romain Rolland à Sofia Bertolini Guerrieri-Gonzaga. 1909—1932». («Cahiers Romain Rolland», 11). Paris, 1960, p. 86, где опубликовано впервые. — Перевод с французского И. Б. Овчинниковой.

ЕЙ ЖЕ

Пятница, 23 декабря 1910 г.

...Моя статья о Толстом подвигается. Она будет довольно длинной. Теперь я думаю, что действительно овладел его творчеством и его мыслью, особенно до религиозного перелома. Я почти всего его прочел. Многие из коротких повестей, которые остаются неизвестными, так же прекрасны, художественны, как и большие романы, а с автобиографической точки зрения еще интереснее. Впрочем, чем больше узнаёшь Толстого, тем больше убеждаешься, насколько во всем, что он написал, он запечатлел себя и своих близких...

Ibid., p. 88.— Перевод с французского И. Б. Овчинниковой.

* В конце октября 1910 г. Роллан попал под автомобиль и получил тяжелые повреждения, надолго приковавшие его к постели.— *Ред.*

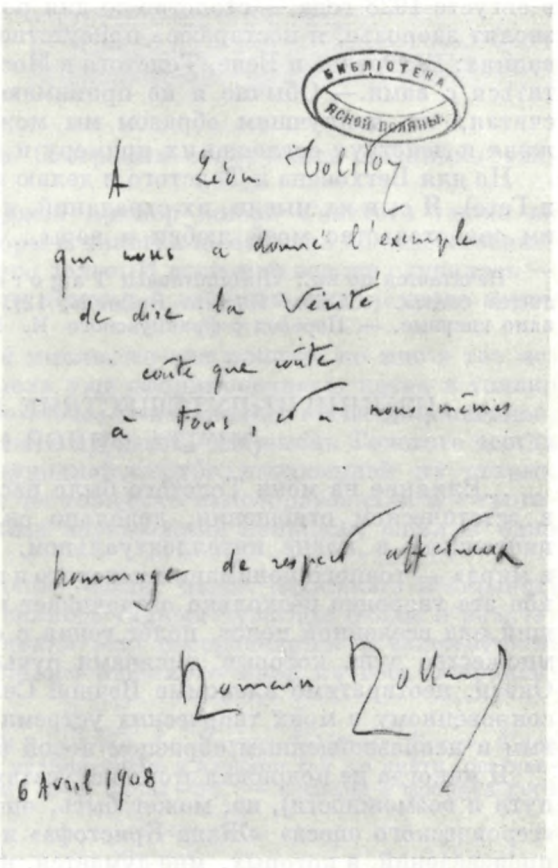
** Статья появилась под названием «Толстой» в «Revue de Paris», 1911, № 4—7. Впоследствии вышла отдельной книгой под заглавием «La Vie de Tolstoï» («Жизнь Толстого»).— *Ред.*

АЛЬФОНСУ СЕШЕ

Вторник, 6 февраля 1912 г.

...Лично я прочел бы абзац, который вы мне прислали, следующим образом: «...Еще задолго до знакомства с русским искусством (не ограничивайтесь здесь упоминанием одного Толстого. Я поглощал с неменьшей жадностью Достоевского, Гончарова и других), его глубоко поразил Спиноза. Знакомство это явилось для него волшебным словом, распахнувшим врата его собственной мысли, оно было подлинным откровением, обнаружившим перед ним божественность жизни. Когда в Эколь Нормаль он открыл Толстого (Толстого „Войны и мира“ и „Казаков“), он нашел в нем ту же веру в жизнь в сочетании с великой любовью ко всему живому. Он был захвачен этим искусством — в гораздо большей мере, чем религиозными и нравственными воззрениями Толстого, ибо эти последние, в тот момент, когда это знакомство состоялось (1888—1889 гг.), лишь начинали утверждаться. С тех пор его мысль претерпела эволюцию: пройдя через целый ряд моральных кризисов и сражений против пессимизма, она пришла к более доверчивому и спокойному взгляду на вещи. Но все же можно сказать, что, когда он пришел к Толстому, его нравственный облик — в том виде, в каком он обнаруживается в „Жане-Кристофе“,— уже почти полностью сформировался»...

Печатается по кн.: «Ces jours lointains. Alphonse S é c h é et Romain R o l l a n d. Lettres et autres écrits». («Cahiers Romain Rolland», 13). Paris, 1962, p. 62—63, где опубликовано впервые.—Перевод с французского М. Н. В а к с м а х е р а.



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ РОМЕНА РОЛЛАНА НА КНИГЕ «ЖАН-КРИСТОФ В ПАРИЖЕ»

(R. R o l l a n d. Jean Christophe à Paris. I.— La Foire sur la Place.— 1. Paris, s. a. Cahiers de la Quinzaine. Treizième cahier de la nouvelle série):

«Льву Толстому, показавшему нам пример того, что надо говорить правду всем, и себе самому, чего бы это ни стоило. В знак любви и уважения Ромен Р о л л а н. 6 апреля 1908 г.»

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

ЖАНУ РИШАРУ БЛОКУ

〈Вильнёв.〉 1 сентября 1917 г.

...Я не такой уж толстовец, каким кажусь. Толстовство было для меня в течение ряда лет лишь формой моей мысли, которую я таким образом мог выразить с наибольшей полнотой и с наименьшей опасностью для тех, кто читает и слушает меня. Людям, которые, как я, сознают свою ответственность, представляется морально невозможным печатать теперь целиком все, что они думают. Я должен был ограничиться словами любви и братского единения, потому что это всегда хорошо, здорово и очищает. Но я таю в себе множество пламенных мыслей, которым не позволяю вырываться наружу, ибо они дали бы слишком много пищи опустошенным душам...

Печатается по кн.: «Romain Rolland. Journal des Années de Guerre 1914—1919. Notes et documents pour servir à l'histoire morale de l'Europe de ce temps». Paris, 1952, p. 1293, где опубликовано впервые. — Перевод с французского М. Н. Ваксмахера.

РАБИНДРАНАТУ ТАГОРУ

Вильнёв. Вилла Ольга, четверг, 11 ноября 1926 г.

...В ближайшие два года Европа будет отмечать столетнюю годовщину двух из самых прославленных своих сыновей (третьего — Гете — через несколько лет): 26 марта 1927 года столетие со дня смерти Бетховена, в августе 1928 года — столетие со дня рождения Толстого. Если мне позволит здоровье, я постараюсь присутствовать на обоих основных чествованиях: Бетховена в Вене, Толстого в Москве. Мне бы хотелось там встретиться с вами.— Обычно я не принимаю участия ни в каких юбилеях, считая, что наилучшим образом мы можем почтить великих умерших, живя и действуя согласно их примеру и следуя начертанному ими пути.

Но для Бетховена и Толстого я делаю исключение (присоединяю к ним и Гете). Я сын их мысли, их страданий, их борьбы. И я должен принести им свидетельство моей любви и веры...

Печатается по кн.: «Rabindranath Tagore et Romain Rolland. Lettres et autres écrits». («Cahiers Romain Rolland», 12). Paris, 1961, p. 77, где опубликовано впервые. — Перевод с французского И. Б. Овчинниковой.

ИЗ КНИГИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДУХОВНЫЙ МИР (МЕЧТА ОДНОЙ ЖИЗНИ)»

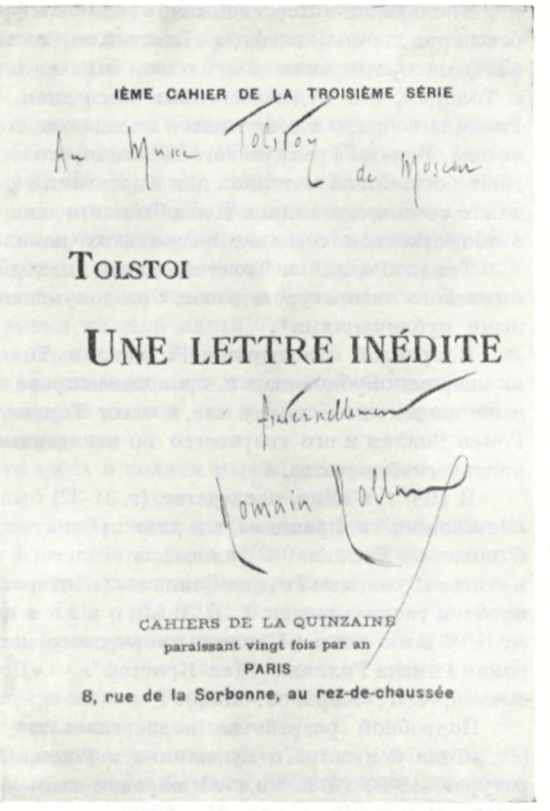
...Влияние на меня Толстого было расценено неверно. Очень сильное в эстетическом отношении, довольно сильное в моральном, оно было ничтожным в плане интеллектуальном. Величайшее искусство «Войны и мира» — точного понимания которого я не нашел ни у одного француза, ибо это творение несколько озадачивает наш галльский ум,— этот парящий над вселенной полет, полет гения с орлиным взором, это несметное множество душ, которые тысячами ручьев сбегаются к реке по имени Океан, неотвратимо влекомые Вечной Силой,— все это отвечало самому сокровенному в моих творческих устремлениях и явилось для меня первым и непревзойденным образцом новой эпопеи.

Я никогда не подражал этому искусству (слишком различны были наши пути и возможности), но, может быть, оно явилось стимулом к созданию «героического эпоса» «Жана-Кристофа» и последующих книг — всех тех произведений, в которых, мне думается, ни один критик не догадался под

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ РОМЕНА РОЛЛАНА НА ПУБЛИКАЦИИ ПИСЬМА К НЕМУ ТОЛСТОГО (ПАРИЖ, 1902)

«Московскому музею Толстого братски Ромен Р о л л а н»

Музей Толстого, Москва


IÈME CAHIER DE LA TROISIÈME SÉRIE

TOLSTOI

UNE LETTRE INÉDITE

CAHIERS DE LA QUINZAINE
paraissant vingt fois par an
PARIS
8, rue de la Sorbonne, au rez-de-chaussée

оболочкой романа, драмы или биографии обнаружить подлинно эпическое начало.

С другой стороны, благородный пример жизни Толстого также не прошел для меня даром: с той поры я никогда не забывал об ответственности искусства перед людьми, о его долге. И если мне все же случалось — и даже не раз — пренебречь этим долгом, я это знаю сам и сурово осуждаю себя.

Что же касается толстовской мысли, то она пришла ко мне в тот момент, когда моя собственная мысль уже сформировалась, когда я только что соорудил для себя отличное credo, новехонькое, свежепокрашенное, сшитое по мерке. К тому же должен добавить, что мысль Толстого всегда представлялась мне весьма заурядной, грубо выкроенной из старых лоскутьев, которые он подобрал на толкучке самообразования и с трогательной старательностью, толстыми неуклюжими пальцами сшил в одно целое.

Такая уничижительная оценка была даже несколько несправедливой с моей стороны, что объяснялось тайным чувством обиды и разочарования, которое я испытал, поняв всю несоразмерность философской мысли и творческого гения у самого любимого мной из всех современников...

Печатается по книге: Romain R o l l a n d. Le Voyage Intérieur (Songe d'une Vie). Paris, 1959, p. 41—43. Впервые опубликовано в издании той же книги, озаглавленном: «Le Voyage Intérieur». Paris, 1942, p. 52—54. — Перевод с французского М. Н. В а к с м а х е р а.

В большой и интересной теме «Толстой и французская культура» центральное место, бесспорно, занимает раздел «Толстой и Роллан». Творчество Ромена *Роллана* (1866—1944) на протяжении долгих лет отмечено глубокими и многосторонними связями с Толстым, его художественным наследием, его идеями, его личностью; творчество Роллана вобрало в себя многое из заветов Толстого, его взглядов и художественного метода. Романы французского писателя, его мемуары, дневники, письма, высказывания дают богатейший материал для выяснения того, какими конкретными путями доходил до его соотечественников голос Толстого, как отражались мысли и образы Толстого в общественном сознании нескольких поколений во Франции.

Тема «Роллан и Толстой» давно находится в сфере пристального внимания советского литературоведения. Она документирована и иллюстрирована многочисленными публикациями*.

Вопрос об отношениях Роллана и Толстого исследовал Л. П. Гроссман; он впервые опубликовал и прокомментировал отрывки из писем Роллана к Толстому, ныне широко известные у нас, и ответ Толстого (см. его книгу «Собеседник Толстого. Ромен Роллан и его творчество по неизданным материалам». М., 1928, и статьи в периодической печати).

В 1937 г. в «Лит. наследстве» (т. 31-32) была напечатана статья М. Чистяковой «Лев Толстой и Франция», где дана публикация некоторых писем Роллана к Толстому. Отношение Роллана к философии Толстого рассмотрено Е. Л. Гальпериной в статье «Гуманизм Ромена Роллана» («Литература в школе», 1940, № 6). Сходный круг проблем рассматривают Т. В. Вановская (в кн.: «Ромен Роллан». Л.— М., 1957), А. В. Чичерин («Влияние творческого метода „Войны и мира“ Л. Н. Толстого на роман Ромена Роллана „Жан-Кристоф“».— «Доклады и сообщения Львовского ун-та», вып. 4, ч. 1, Харьков, 1953).

Подробной разработке подверглась эта тема в трудах Т. Л. Мотылевой (ст. «Тема искусства и художника у Ромена Роллана».— «Интернациональная литература», 1940, № 1; кн.: «О мировом значении Л. Н. Толстого». М., 1957, и «Творчество Ромена Роллана». М., 1959).

Вместе с тем, круг идейных, философских, эстетических проблем, связанных с отношением Роллана к Толстому, так велик, что изучение этих вопросов нельзя считать завершенным. Помочь в дальнейших исследованиях может публикация новых материалов.

До сих пор у нас оставались неизвестными обширные дневниковые, мемуарные, эпистолярные и иные материалы Роллана, опубликованные в последние годы во Франции.

Эти публикации освещают многие стороны идейной и творческой эволюции писателя, показывают, в частности, критическое отношение Роллана — уже в молодые годы — к некоторым произведениям и взглядам Толстого. Очень важны в этом отношении два фрагмента, напечатанные по-русски в журнале «Иностранная литература», 1955, № 1 и 1959, № 10 — это фрагменты из письма Роллана к Жану Ришару Блоку от 1 сентября 1917 г. и из книги Роллана «Путешествие в духовный мир». Ввиду особого интереса обоих отрывков, они введены и в настоящую публикацию. Однако многие яркие страницы ролановских мемуаров, дневников и писем, напечатанных во Франции, до сих пор неизвестны советскому читателю. Настоящая публикация в какой-то мере восполняет этот пробел.

В 1956 г. в Париже вышла книга Роллана «Воспоминания и отрывки из дневника». В нее входят воспоминания Роллана, написанные в 1939 г. и освещающие его детство, отрочество и студенческую юность. В свои мемуары Роллан включил и многочисленные отрывки из дневников 1886 и последующих лет (Romain Rolland. Mémoires

---

* Подробные сведения о литературе на тему «Толстой и Роллан» можно найти в книге: «Ромен Роллан. Биобиблиографический указатель». Изд. Всесоюзной книжной палаты. М., 1959. В нее включены библиографические материалы на французском и русском языках по 1958 г. К этой книге мы и отсылаем читателя, ограничиваясь здесь лишь ссылками на некоторые основные работы и позднейшие публикации.

et fragments du Journal). Эти материалы показывают, как глубоко понимал молодой Роллан сущность толстовского мастерства, реалистическую основу его творчества, своеобразие толстовского стиля. Отрывки из этой книги Роллана составляют *первый* раздел нашей публикации.

Студенческие дневники Роллана, напечатанные в книге «Монастырь на улице Ульм. Дневник Ромена Роллана в Эколь Нормаль. 1886—1889» («Le Cloître de la rue d'Ulm. Journal de Romain Rolland à l'Ecole Normale. 1886—1889». Paris, 1952), показывают, как студент Эколь Нормаль, сопоставляя книги Толстого с романами Стендаля, Флобера, Доде, Диккенса, Элиот, каждый раз убеждается, что всякое чтение «неизбежно приводит его к Толстому». Толстой для него — высший образец, высший критерий подлинного искусства, жизненного, правдивого и человечного. *Второй* раздел нашей публикации образуют отрывки из этой книги.

Третий раздел открывается письмом Роллана к Толстому от 16 апреля 1887 г. Хотя переписка Роллана с Толстым, как мы указали выше, неоднократно привлекала внимание советских исследователей, некоторые письма Роллана к Толстому печатались в русском переводе только фрагментарно.

Это побудило редакцию опубликовать здесь в полном переводе первое обращение Роллана к русскому писателю.

Отметим, что и оригинальный французский текст письма также оставался до последнего времени неизвестным и появился в печати лишь в 1960 г. вместе со вторым письмом Роллана от сентября 1887 г., в специальном номере журнала «Europe», посвященном Толстому («Europe», 1960, № XI—XII, p. 23—27). В том же журнале напечатан и широко известный по русским и французским изданиям ответ Толстого на эти письма от 3〈?〉 октября 1887 г.

Приводим следующие строки из предисловия Роллана к первой публикации письма Толстого, незнакомые русскому читателю:

«Мы бережно сохранили орфографию письма, написанного Толстым по-французски. Надеюсь, что никому не придет в голову улыбнуться, обнаружив кое-какие погрешности в стиле: даже в некоторой его неуклюжести читатель ощутит что-то трогательное, когда он подумает об этом великом старце, не пожалевшем усилий, чтобы ответить на чужом языке охваченному отчаянием безвестному юному французу. Что касается меня, то я уже очень давно получил это письмо, но моя сердечная привязанность к тому, кто написал его, благодарность за его отеческую доброту сильна, как и в первый день» («Cahiers de la Quinzaine», 1902, 11, p. 14. — Сообщено И. Б. Овчинниковой).

Экземпляр этой брошюры с дарственной надписью Роллана Музею Толстого хранится в библиотеке Музея.

Письма Роллана к матери опубликованы во Франции в двух томах, в 1954 и 1956 гг. Они относятся также к юношеским годам писателя. Письмо, рассказывающее о первом впечатлении Роллана от «Крейцеровой сонаты», свидетельствует о критическом отношении Роллана к своему кумиру, о той непримиримости, с какой он требует от литературы большой социальной проблематики, и о юношеском нежелании и неумении судить о художественном произведении, исходя из задач, поставленных перед собой его автором. Однако вскоре, прочтя другую книгу Толстого: «Ходите в свете, пока есть свет», Роллан изменил свое суждение о «Крейцеровой сонате». В письме к той же корреспондентке он пишет, что теперь «полностью принимает эту повесть».

Переписка Роллана с его итальянской приятельницей и долголетней корреспонденткой Софией Бертолини Герьери-Гонзага издана во Франции в двух томах в 1959 и 1960 гг. Роллан рассказывает в этих письмах о крупнейших политических событиях современности, делится своими впечатлениями о прочитанном, рисует широкую картину интеллектуальной жизни Европы первых десятилетий нынешнего века. Во многих письмах к «дорогой Софии» (французское издание публикации называется «Дорогая София»), даже и не относящихся непосредственно к Толстому и его творчеству, Роллан неоднократно вспоминает в той или иной связи имя и высказывания Толстого. Примечательно, что Толстой всегда оказывался для Роллана союзником и

старшим советчиком, когда речь шла о защите искусства с большим общественным звучанием и о демократических устремлениях писателя. Так, в письме от 27 января 1902 г. Роллан писал своей римской корреспондентке: «...Может быть, лишь одна вещь на свете не подпадает под действие закона вечного изменения. Одна лишь вещь остается доброй всегда и везде; определение ей дал Толстой: это то, что объединяет людей». 8 января 1902 г. Роллан замечал: «Когда расстаешься с мечтательным дилетантизмом отрочества, когда устремляешься в реальную жизнь, в каждодневную деятельность, в социальную битву, начинаешь понимать то, что Толстой называет „нелепостью искусства для искусства", начинаешь понимать нелепость культа собственного „я". Мы живем не вне мира, не в смутном идеале эгоистической красоты...»

В двух помещаемых отрывках из писем к Софии Бертолини Герьери-Гонзага 1910 г. Роллан делится мыслями и чувствами, вызванными смертью Толстого и работой над статьей о нем, завершить которую он считал «священным долгом признательности и любви». В дальнейшем статья разрослась в книгу «Жизнь Толстого».

Взволнованные строки, в связи с болезнью Толстого в 1902 г., мы находим в письме Роллана к Л. Жийе, его товарищу по Эколь Нормаль и близкому другу.

А. Сеше, издатель журнала «Revue d'Art Dramatique et Musicale», был долгие годы связан с Ролланом дружескими и деловыми отношениями. В 1912 г. Сеше готовил предисловие к сборнику статей Роллана «L'Humble Vie Héroïque». Pensées choisies. Introduction par A. Séché. Paris, 1912. Наша публикация представляет собой отредактированный Ролланом абзац из этого предисловия, рукопись которого Сеше ему послал. Роллан дает здесь четкое определение места и значения Толстого для формирования своего мировоззрения.

В письме к Р. Тагору, переписка с которым вышла в свет в 1961 г., Роллан упоминает о намерении приехать в Москву для участия в столетнем юбилее со дня рождения Толстого. Побывать в 1928 г. на родине любимого писателя Роллану не удалось. Не приехал на юбилей и Тагор.

В заключительном, *четвертом*, разделе публикации печатается отрывок из книги «Le Voyage Intérieur (Songe d'une Vie)» («Путешествие в духовный мир.— Мечта одной жизни», Paris, 1959), в котором Роллан подробно характеризует свое отношение к Толстому и влияние его творчества и личности на свой жизненный и творческий путь. Эти строки, представляющие собой итог почти шестидесятилетних размышлений Роллана о Толстом, имеют, как мы уже указали выше, исключительный интерес.

Публикуемые новые материалы еще раз показывают, что Роллан видел в искусстве Толстого прежде всего огромную реалистическую мощь и благотворную воспитательную силу, ценил в нем превыше всего демократизм, подлинную народность — «то, что объединяет людей».

М. Н. Вакс махер

К иллюстрациям на стр. 69, 72 и 73.

Из «Дневника военных лет» Р. Роллана:

«Четверг, 27 апреля 1916 г. Мы с сестрой едем к Бирюковым в Оне — это в окрестностях Женевы ⟨...⟩ Бирюков показывает нам свой маленький толстовский музей ⟨...⟩ Значительная коллекция фотографий: почти все они интересны. Многие сделаны Бирюковым, другие — Чертковым. Я обратил внимание на фотографии: ⟨...⟩ Толстой на лугу около лошадей, доверчиво окруживших его ⟨...⟩; Толстой один, шагающий пустым полем ⟨...⟩; Толстой смеющийся (редкое явление) ⟨...⟩ или снимок, на котором его волосы, его борода, развеваемые ветром, и выражение могучей и гневной печали напоминают облик Микеланджеловского Моисея». (Печатается по наборному экземпляру перевода «Дневника военных лет», подготовленному к печати Государственным издательством «Художественная литература»).

УИЛЬЯМ ДИН ХОУЭЛС

ПРЕДИСЛОВИЕ К «СЕВАСТОПОЛЬСКИМ РАССКАЗАМ»

Когда я читаю в замечательном очерке г. Эрнеста Дюпюи *, что «граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года в Ясной Поляне, деревне неподалеку от Тулы», у меня появляется ощущение, будто нас разделяет с ним космическое пространство, будто эти географические названия относятся к каким-то точкам Луны, которых даже в справочниках не отыщешь. И, тем не менее, этот русский аристократ, живущий где-то за тридевять земель,— самое близкое мне на свете существо. Не потому вовсе, что я с ним лично знаком. Причина в том, что он помог мне познать самого себя; в том, что никто из известных мне писателей не рассказывал так правдиво о человеческой жизни в ее всеобщем значении и, в то же время, в ее наиболее интимных и индивидуальных проявлениях. Это качество, в известной мере, вообще присуще русским писателям. Но Толстой обладает им в наибольшей степени. Поэтому чтение «Войны и мира», «Анны Карениной», «В чем моя вера?», «Детства», «Отрочества» и «Юности», «Севастопольских рассказов», «Казаков», «Смерти Ивана Ильича», «Кати» ** и «Поликушки» составляет целую эпоху в жизни каждого мыслящего читателя. На мой взгляд, в этих книгах, впервые в художественной литературе, вы отчетливо видите живых людей. Во всех иных литературных произведениях временами проглядывает вымысел, и только книги Толстого всегда воспринимаются как сама правда жизни <...>

Немногое известно относительно уединенной жизни, которую ведет ныне этот истинно великий человек. Но, по свидетельству одного американского путешественника, пробывшего недавно у него один день ***, Толстой остался непреклонен в своем убеждении, приведшем его к отречению от общества,— убеждении в том, что Христос пришел в этот мир, чтобы научить людей жить в нем, и, запрещая роскошь, войны, сутяжничество, прелюбодеяние и лицемерие, он имел в виду буквальный смысл своих слов. Последняя книга Толстого «Так что же нам делать?» — это беспощадное и вдумчивое изложение обстоятельств и причин, которые привели его к этому убеждению. И весьма печально характеризует современных христиан то обстоятельство, что подобное восприятие учения Христа в его прямом смысле кажется им чем-то эксцентричным и даже безумным. Но именно эта «высшая цель» и пронизывает все произведения Толстого — от первого до последнего. Она поднимает его над всеми другими мастерами художественной прозы всех эпох и народов. Совершенно неважно, с какого из произведений Толстого вы начинаете знакомство с ним, — в первое же мгновение вы ощущаете его мощь и понимаете, что мощь эта — в его беспощадной совести; что он отнюдь не собирается ошеломить или озадачить вас своим мастерством; что его намерение — заставить вас глубоко продумать и пережить те насущные жизненные вопросы, к которым прежнее «искусство» относилось с жестоким безразличием или даже недоброжелательством.

---

* Английский перевод книги Э. Дюпюи (Ernest D u p u y. «Les Grands Maîtres de la Littérature Russe du dix-neuvième siècle» («Великие мастера русской литературы XIX в.», Paris, 1886) был напечатан в американском журнале «Literary World», 1886, 2.X.— *Ред.*

** Под этим названием в Нью-Йорке (1887) вышел роман Толстого «Семейное счастье», переведенный с французского издания (так же озаглавленного). Под названием «Катя» этот роман был издан также в Германии, Италии, Швеции и других странах.— *Ред.*

*** Имеется в виду Дж. Кеннан. См. заметку «Американец в гостях у Л. Н. Толстого».— «Неделя», 1887, № 28.— *Ред.*

Не знаю, как другие, но лично я не могу думать о сочинениях Толстого как о произведениях художественной литературы в обычном значении этого понятия. Когда я восторгаюсь его книгами, некоторые выражают неудовольствие, говоря, что они непомерно длинны, многословны, беспорядочны, что имена героев слишком трудны для произношения и что изображенная в них жизнь чрезмерно печальна и не содержит ничего забавного. В ответ на такую критику я могу лишь сказать, что нахожу ее совершенно безосновательной, что каждая история, рассказанная Толстым, предельно ясна, логична и кратка. Что касается имен, то они не могут не быть русскими. Когда же меня начинают уверять, что его произведения «пессимистичны»,— я по-настоящему прихожу в отчаяние. Я всегда считал пессимизм выражением той точки зрения, согласно которой в мире торжествует зло. Книги же Толстого, напротив, настойчиво убеждают меня в том, что добро побеждает и будет всегда побеждать всюду, где человек, забыв о своекорыстии, смиренно и просто стремится к тому, чтобы быть добрым. Мы настолько одурманены иллюзиями и тщеславием, что уже привыкли думать, будто торжество добра придет само собой и выльется в яркие, эффектные формы. Толстой же заставляет нас убедиться в том, что так не бывает никогда. Он учит тех, кто хочет и умеет слышать, что Добро, Справедливость — это совокупность скромных усилий каждого отдельного человека, направленных к добру и справедливости, и что ради их успеха необходимо постоянное, ежедневное, ежечасное самоотречение и самоуничижение, полное смирение гордыни во имя долга. Все это, конечно, малопривлекательно. Героический идеал праведности гораздо более живописен и заманчив. Но разве истина не на стороне Толстого? Поразмыслите и проверьте! Я не в состоянии припомнить ни одного случая, когда художественная литература оказала бы человечеству услугу, равную той, которую оказал ему Толстой, изобразивший Каренина в тот драматический момент, когда этот жестоко оскорбленный человек видит, что не может совместить добро с чувством собственного достоинства. Перед этой сценой бледнеют любые ухищрения фантазии, любые эффектные приемы искусства. И действительно, своим творчеством так же, как и примером своей жизни, Толстой возвращает нас к идеалу Христа. «Будьте как дети»,— говорит он каждым своим произведением. И его творчество, столь совершенное, на мой взгляд, в смысле эстетическом, еще более совершенно в смысле этическом. Толстой не навязывает вам свои уроки, как не навязывает их вам сама жизнь. Он не расставит ни одной сюжетной ловушки, рассчитанной на то, чтобы поразить читателя; не станет направлять луч прожектора на те или иные кульминационные моменты; не будет выставлять вам напоказ порок или добродетель. Но если есть у вас уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, то слушайте и глядите, и вам передастся ощущение бесконечной, огромной значимости всего, что происходит на страницах его произведений.

Мое знакомство с творчеством Толстого началось с «Казаков», этого вдохновенного описания природы и смутных, не вполне осознанных порывов юноши, стремящегося достичь гармонии с божественным идеалом истины и добра. Потом я прочел «Анну Каренину» — исполненную трагизма историю утрат и страданий, перед которыми меркнут и блеск и красота, и остается нетленным только Добро. Вслед за тем я перешел к «Войне и миру», этому великому произведению, утверждающему силу и стойкость простых людей при всех потрясениях и несостоятельность так называемых героев. Мне довелось прочесть несколько «Севастопольских рассказов», которые также пронизаны этой мыслью.Трилогия «Детство», «Отрочество» и «Юность» была первым произведением литературы, познакомившим меня с подлинной сутью юного человеческого существа. А «Смерть Ивана Ильича» выразила ужас, страдания, которые являются

уделом простого смертного, и конечное блаженство, ожидающее его, и с невиданной дотоле силой показала, что человек — это частичка мироздания. «Поликушка» — беглая зарисовка, фрагментарный, почти незавершенный рассказ, обладает совершенством, силой и неисчерпаемым запасом милосердия и сочувствия к человеку.

Я сознаю, что говорю обо всех этих книгах в несколько неумеренном тоне. Но я обязан им столь многим, что не могу и не хочу предъявлять какие-либо претензии к их автору. Не намерен я делать это и ради того, чтобы угодить читателю. Каждый раз, как я предпринимал подобные попытки, эстетическая сторона выпадала из поля моего зрения. Мне было неловко приклеивать к ним обветшалые хвалебные эпитеты, и я ловил себя на том, что думаю об их этической стороне. Но поскольку эти книги публикуются на английском и французском языках во все возрастающем количестве, то лучший и единственный способ составить о них правильное представление — это прочесть их.

Печатается по кн.: William Dean H o w e l l s. Prefaces to contemporaries (1882—1920). Gainesville (Florida), 1957, p. 3—10. Впервые опубликовано в книге: L. T o l s t o y. Sebastopol. Translated from the French by Frank D. Millet. With introduction by W. D. Howells. New York, 1887. Текст статьи в дальнейшем был несколько переработан и дополнен автором. — Перевод с английского Б. А. Г и л е н с о н а.

Известный американский романист, публицист и критик Уильям Дин *Хоуэлс* (*Гоуэллс*, 1837—1920) был первым в США пропагандистом Толстого, который оказал влияние на художественное творчество Хоуэлса (см. ст. Б. А. Г и л е н с о н. У. Д. Хоуэлс и Л. Н. Толстой.— Сб. «Л. Н. Толстой». Горький, 1963, стр. 282—295).

Толстому Хоуэлс был обязан тем, что в его мировоззрении с середины 1880-х годов произошли глубокие перемены. Самый взгляд его на жизнь стал более «трагическим». Признание буржуазных кругов, известность, богатство — все это не помешало ему серьезно задуматься над «злом» окружающего мира. Даже в лучших, социально значимых книгах Хоуэлса заметны черты либерализма, умеренности. Мягкая ирония, спокойное, несколько однообразное повествование, множество верных, хотя не всегда достаточно выразительных или ярких деталей — отличали его художественную манеру. Но в том, что, связанный с буржуазными литературными кругами, он сумел в последние десятилетия своей жизни многое увидеть и о многом сказать достаточно смело и проницательно,— есть заслуга русской литературы и, в первую очередь, Толстого.

10 декабря 1898 г. переводчик и друг Толстого Э. Моод сообщал ему о своей встрече в Нью-Йорке с Хоуэлсом: «Он рассказывал мне о том глубоком впечатлении, которое произвело на него ваше творчество, и о том, что он старается перестроить жизнь по вашему образцу. Однако он опасается, что осуществить это намерение ему не удастся» (Перевод с английского.— *АТ*). Публикуемое выше предисловие Хоуэлса к американскому изданию «Севастопольских рассказов» (1887) было одним из первых его критических выступлений о Толстом. Оно совпало с волной интереса к русской литературе, который проявлялся в Америке в середине 1880-х годов.

Хоуэлс характеризует в своей статье произведения Толстого как качественно новое явление в современной литературе. Высказав мнение, что творчество Толстого, совершенное в эстетическом, еще более совершенно в смысле этическом,— Хоуэлс в последующих своих критических выступлениях (например, в предисловии к повести Толстого «Хозяин и работник», 1895) подчеркивает исключительную художественную силу толстовских созданий. Х. Гарленд следующим образом охарактеризовал деятельность Хоуэлса как пропагандиста и истолкователя творчества Толстого: «Хоуэлс,— писал он,— горячо одобряя Толстого-реформатора, не забывал напоминать нам о том, что он был прежде всего художником. Хоуэлс неустанно подчеркивал красоту стиля, которая делала сочинения великого русского писателя не только проповедью того, как надо жить и как мыслить, но и произведениями искусства» (стр. 162 настоящ. тома).

Б. А. Г и л е н с о н

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

«ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?» ТОЛСТОГО

Как и все дидактические сочинения Толстого, эта книга подобна замаскированной мине взрывного действия. Она написана с таким явным пренебрежением к любому возражению, которое способен выдвинуть против нее рутинер, что многие поверхностные критики увидели в ней нечто вроде мишени, созданной самим провидением для того, чтоб они смогли продемонстрировать свою меткость в стрельбе. Ведь, право, немудрено разделаться с простаком, рассуждающим о Троянской войне как об историческом событии.

Тем не менее Толстого можно гораздо легче понять в этой книге, чем в его христианских посланиях, потому что искусство в настоящее время является темой, значительно более популярной, чем христианство. У большинства людей сложилось ошибочное представление, будто Толстой-христианин — это какой-то свихнувшийся евангелист.

На самом же деле, позиция Толстого, с точки зрения евангелистов, столь же оригинальна, сколь и богохульна. То, что евангелисты объявляют откровением, нисходящим на беспомощного человека в результате божественного промысла, Толстой считает лишь проявлением здравого смысла, столь очевидным, что, по его мнению, упоминание об этом в Евангелии попросту излишне.

«...мало того,— говорит он,— мне теперь кажется, что если бы и не было Христа и его учения, я бы сам открыл эту истину,— так она мне теперь кажется проста и ясна...» С точки зрения слепых приверженцев Библии трудно представить себе большее богохульство. И снова он говорит: «Душа моя, пожалуйста, ради бога истины, которой вы служите, не торопитесь, не горячитесь, не придумывайте доказательств справедливости вашего мнения прежде, чем не вдумаетесь не в то, что я напишу вам, а в Евангелие, и не в Евангелие, как слово Христа или бога и т. п., а в Евангелие, как самое ясное, простое, всем понятное и практическое учение о том, как надо жить каждому из нас и всем людям».

Что делает подобную точку зрения *особенно* устрашающей для христиан, чувствующих, что она несет осуждение их вечному противлению злу? Да тот факт, что сам Толстой обладает богатым и разнообразным опытом мирской жизни, весьма далекой от праведности. Было бы глупо тратить время на то, чтобы доказывать с чувством собственного превосходства, что идеи Толстого нереальны, неосуществимы, короче говоря — безрассудны.

Мы не можем не ощутить жалящей силы, с которой Толстой бросает нам вызов, вопрошая: чего вы достигли и до чего дошли, придерживаясь противоположных принципов?

Без сомнения, кое-кого этот вызов может и не затронуть. Но не оттого ли происходит это, что Толстой видит мир как бы со стороны, находясь вне сцены, на которой разыгрываются политические страсти и общественная жизнь, тогда как многие из нас варятся в самой ее гуще и потому слепы? Ибо — увы! именно те, кто стал жертвой иллюзий нашей цивилизации, склонны считать безумцами провидцев, проникших в сущность этих иллюзий.

Если Толстой так досадил обществу, критикуя его с позиций человека, живущего жизнью этого общества, то вряд ли он стал ему более приятен, когда выступил, будучи сам первоклассным художником, с критикой искусства. Любимых публикой литературных божков Толстой буквально



The New Order Supplement.

No. 4. JUNE, 1898.

WHAT IS ART?

Take up any one of our ordinary newspapers, and you will find a part devoted to the theatre and music. In almost every number you will find a description of some art exhibition, or of some particular picture, and you will always find reviews of new works of art that have appeared, of volumes of poems, of short stories, or of novels.

Promptly, and in detail, as soon as it has occurred, an account is published of how such and such an actress or actor played this or that rôle in such and such a drama, comedy, or opera; and of the merits of the performance, as well as of the contents of the new drama, comedy, or opera, with its defects and merits. With as much care and detail, or even more, we are told how such and such an artist has sung a certain piece, or has played it on the piano or violin, and what were the merits and defects of the piece and of the performance. In every large town there is sure to be at least one, if not more than one, exhibition of new pictures, the merits and defects of which are discussed in the utmost detail by critics and connoisseurs.

New novels and poems, in separate volumes or in the magazines, appear almost every day, and the newspapers consider it their duty to give their readers detailed accounts of these artistic productions.

For the support of art in Russia (where for the education of the people only a hundredth part is spent of what would be required to give everyone the opportunity of instruction) the Government grants millions of roubles in subsidies to academies, conservatoires and theatres. In France twenty million francs are assigned for art, and similar grants are made in Germany and England.

In every large town enormous buildings are erected for museums, academies, conservatoires, dramatic schools, and for performances and concerts. Hundreds of thousands of workmen,—carpenters, masons, painters, joiners, paperhangers, tailors, hairdressers, jewellers, moulders, type-setters,—spend their whole lives in hard labour to satisfy the demands of art, so that hardly any other department of human activity, except the military, consumes so much energy as this.

Not only is enormous labour spent on this activity, but in it, as in war, the very lives of men are sacrificed. Hundreds of thousands of people devote their lives from childhood to learning to twirl their legs rapidly (dancers), or to touch notes and strings very rapidly (musicians), or to draw with paint and represent what they see (artists), or to turn every phrase inside out and find a rhyme to every word. And these people, often very kind and clever, and capable of all sorts of useful labour, grow savage over their specialised and stupefying occupations, and become one-sided and self-complacent specialists, dull to all the serious phenomena of life, and skilful only at rapidly twisting their legs, their tongues, or their fingers.

But even this stunting of human life is not the worst. I remember being once at the rehearsal of one of the most ordinary of the new operas which are produced at all the opera houses of Europe and America.

I arrived when the first act had already commenced. To reach the auditorium I had to pass through the stage entrance. By dark entrances and passages, I was led through the vaults of an enormous building past immense machines for changing the scenery and for illuminating; and there in the gloom and dust I saw workmen busily engaged. One of these men, pale, haggard, in a dirty blouse, with dirty, work-worn hands and cramped fingers, evidently tired and out of humour, went past me, angrily scolding another man. Ascending by a dark stair, I came out on the boards behind the scenes. Amid various poles and rings and scattered scenery, decorations and curtains, stood and moved dozens, if not hundreds, of painted and dressed up men, in costumes fitting tight to their thighs and calves, and also women, as usual, as nearly nude as might be. These were all singers, or members of the chorus, or ballet-dancers, awaiting their turns. My guide led me across the stage and, by means of a bridge of boards, across the orchestra (in which perhaps a hundred musicians of all kinds, from kettle-drum to flute and harp, were seated), to the dark pit-stalls.

On an elevation, between two lamps with reflectors, and in an arm-chair placed before a music-stand, sat the director of the musical part, *bâton* in hand, managing the orchestra and singers, and, in general, the production of the whole opera.

The performance had already commenced, and on the stage a procession of Indians who had brought home a bride was being represented. Besides men and women in costume, two other men in ordinary clothes bustled and ran about on the stage; one was the director of the dramatic part, and the other, who stepped about in soft shoes and ran from place to place with unusual agility, was the dancing master, whose salary per month exceeded what ten labourers earn in a year.

These three directors arranged the singing, the orchestra, and the procession. The procession, as usual, was enacted by couples, with tinsel halberds on their shoulders. They all came from one place, and walked round and round again, and then stopped. The procession took a long time to arrange: first the Indians with halberds came on too late; then too soon; then at the right time, but crowded together

«ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?» ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
«The New Order Supplement», 1898, № 4, июнь

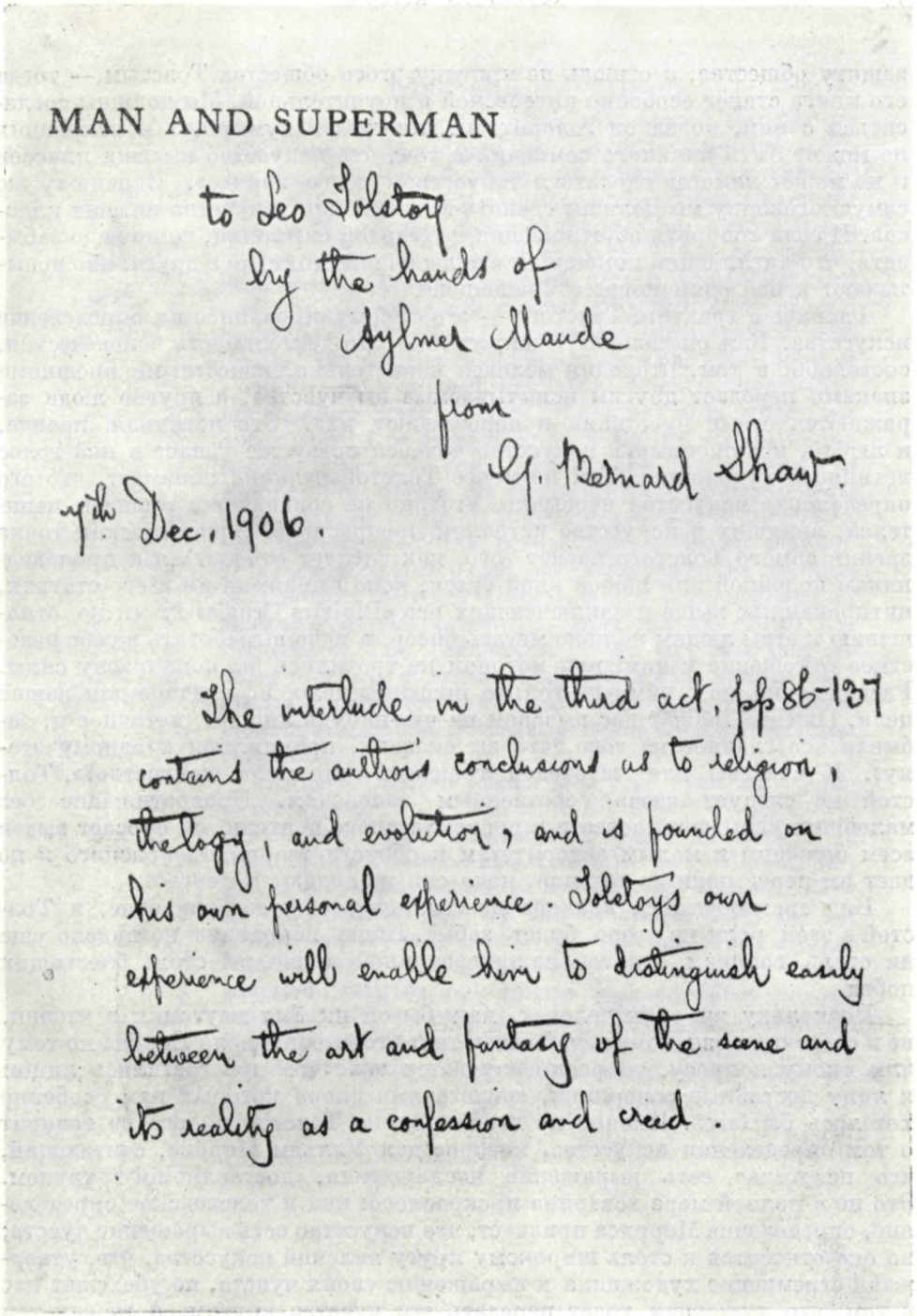
сжигает в испепеляющем пламени. Естественно, что он не дает спуска и тому огромному потоку полубредовой литературы, который захлестнул нашу страну.

Он не терпит чепухи, особенно беззастенчивой чепухи, как бы тщательно и пышно она ни была зарифмована или аллитерирована. Будучи безжалостным к самому себе, он никого не оставляет в покое, разделывается с Редиардом Киплингом и с французскими декадентами, высмеивает Вагнера. Конечно, ценность этого труда Толстого — не в конкретных критических суждениях, многие из которых, говоря по правде, лишь свидетельствуют о консерватизме во вкусах и взглядах на искусство. Чтоб оправдать эти вкусы и взгляды, свойственные человеку в преклонном возрасте, Толстой предлагает критерий, в высшей степени характерный для него как русского дворянина. Истинное произведение искусства, утверждает он, всегда будет распознано неискушенным восприятием крестьянина. Следовательно, Девятая симфония Бетховена, не будучи

популярна среди русского крестьянства, не является истинным произведением искусства!

Но предоставим Девятой симфонии самой постоять за себя. Вместе с тем, нельзя не подивиться тому, что все русские революционеры дворянского происхождения проявляют безграничную, на наш взгляд, веру в добродетели бедняка. Ни у одного английского помещика никогда не возникнет сомнений относительно того, как поступит английский батрак, если ему предоставят выбирать между ноктюрном Шопена, любимым Толстым и признаваемым им за истинное произведение искусства, и какой-нибудь из мюзикхолльных новинок. Мы прекрасно понимаем, что простота, которая свойственна быту крестьян, объясняется только бедностью и что стоит только кому-нибудь из них получить солидное наследство, как простота эта немедленно исчезнет. Мы знаем и что равенство, которое, как полагают богатые, существует среди трудового люда (ибо сами они не видят между ними никаких различий),— не более, чем иллюзия, и что социальные различия, к сожалению, еще более остро воспринимаются в низших слоях общества, чем во всех других, если не считать самого дна, где у людей не хватает самоуважения даже для того, чтобы быть снобами. Итак — либо неграмотное, темное русское крестьянство вовсе не испытало на себе влияния европейской цивилизации (в отличие от нашего, которое такому влиянию подвергалось), либо же дистанция между крестьянами и дворянством в России столь велика, что два этих класса не имеют понятия друг о друге и заполняют пробел в своих представлениях, дав волю самой безудержной фантазии. Как бы то ни было, ясно одно: русские аристократы, Кропоткин и Толстой, выступающие как защитники народа, склонны считать, что трудящиеся классы полностью избавлены от пороков, безумств и предрассудков, присущих буржуазии.

Без этой весьма спорной предпосылки было бы очень нелегко полемизировать с толстовскими оценками произведений искусства, не ощущая одновременно с тревогой того, что ты даешь ему в руки дополнительные примеры падения эстетического вкуса, о чем он так сожалеет. Но когда его возражения против того или иного шедевра основываются исключительно на неспособности крестьянина восторгаться им или понять его,— тогда наши опасения рассеиваются. Все высказанные им обвинения по адресу современного общества полностью обоснованы. Но если верно то, что трудящиеся классы, составляющие, примерно, четыре пятых всего населения земного шара, полностью лишены пороков цивилизации и находятся в состоянии столь естественном и блаженном, что Бетховен оказывается осужденным, поскольку они равнодушны к его симфониям,— тогда все обвинения Толстого, направленные против цивилизации, лишаются всякой почвы, ибо если такое подавляющее большинство людей причастно к добру, то уж это одно оправдывает любую социальную систему. Во всяком случае, мы, англичане, считаем, что, перевоплотись Толстой в крестьянина, он воочию убедился бы в том, что пресловутая простота жизни бедняка, в которую Толстой уверовал, есть не что иное, как мораль его собственного класса, да еще, по большей части, ухудшенная в результате невежества, тяжелого труда, недоедания и антисанитарных условий. Верно, конечно, что паразитирующему классу присущи свои специфические недостатки — ничтожество, тщеславие и что этот класс тратит огромные средства на поддержание лжеискусства. Но в количественном отношении этот класс весьма незначителен. Спрос же со стороны интеллигенции и буржуазии достаточно велик для того, чтобы содержать большую армию служителей искусства, недостатки которого уже нельзя объяснить бездеятельностью, паразитизмом его покровителей. Если иметь в виду все эти соображения, которые, напоминаю, ослабляют


MAN AND SUPERMAN

to Leo Tolstoy
by the hands of
Aylmer Maude
from
G. Bernard Shaw.

7th Dec. 1906.

The interlude in the third act, pp 86-137 contains the author's conclusions as to religion, theology, and evolution, and is founded on his own personal experience. Tolstoy's own experience will enable him to distinguish easily between the art and fantasy of the scene and its reality as a confession and creed.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БЕРНАРДА ШОУ НА КНИГЕ «ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК»

(G.-Bernard Shaw. Man and Superman. London, 1906):

«Льву Толстому через Элмера Моода от Дж. Бернарда Шоу. 7-е декабря 1906. Интермедия в третьем акте, стр. 86—137, содержит в себе выводы автора относительно религии, богословия и эволюции и основана на его личном опыте. Собственный опыт Толстого легко поможет ему обнаружить под художественным вымыслом подлинную сущность интермедии как исповеди и изложения символа веры»

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

защиту общества, а отнюдь не критику этого общества Толстым,— тогда его книга станет особенно интересной и поучительной. Мы должны согласиться с ним, когда он говорит: «...для людей думающих и искренних не может быть никакого сомнения в том, что искусство высших классов и не может никогда сделаться искусством всего народа». Однако ту же самую оговорку мы должны сделать в отношении искусства низших классов. И если говорить об отношении к Девятой симфонии, то не надо забывать, что английский помещик и его лесничий стоят друг друга, ибо испытывают к ней одинаковое отвращение.

Главное в трактате Толстого — это сформулированное им определение искусства. Как он говорит, «искусство — это деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их». Это истинная правда, и любой, искушенный в искусстве человек сразу же узнает в ней голос истинного художника. Тем не менее Толстой отлично понимает, что его определение искусства необычно, что оно не совпадает с мнением ценителей, видящих в искусстве источник прекрасного. Христианская точка зрения самого Толстого насчет того, как следует относиться к проповедникам подобной или любой иной ереси, ясно выражена им в его статьях, цитированных выше и заключающих его «Plaisirs Cruels» *: «...по отношению к этим людям не надо метать бисер, а надо выработать в себе известное отношение к ним, при котором не тратились бы понапрасну силы. Рассуждение же с ними не только праздное дело, но вредное для нашей цели. Они раздражат вас вызовом на что-нибудь лишнее, неточное и, забывая все главное из того, что вы сказали, привяжутся к одному этому». К счастью для читателей трактата «Что такое искусство?», Толстой не следует здесь собственным заповедям. Превратившись без малейших угрызений совести в первоклассного воителя, он бросает вызов всем большим и малым авторитетам в области теории прекрасного и не дает им передышки до тех пор, пока они не падают замертво.

Вид сражающегося квакера доставляет особое наслаждение, и Толстой в этой роли не скоро будет забыт. Наше поколение не видело еще ни столь горячих схваток на литературной арене, ни столь блестящих побед.

Поскольку ни один человек, как бы он ни был неутомим в чтении, не в состоянии ознакомиться со всем тем, что высказывала Европа по тому или иному вопросу, то редко случается так, чтобы встретились лицом к лицу достойные соперники, свидетелями спора которых нам особенно хотелось бы быть. Именно по этой причине Толстой ничего не говорит о том определении искусства, которое дал Уильям Моррис, считающий, что искусство есть выражение наслаждения, доставляемого трудом. Это не в полной мере доктрина прекрасного: как и толстовское определение, определение Морриса признает, что искусство есть выражение чувств; но оно относится к столь широкому кругу явлений искусства, что, утверждая стремление художника к выражению своих чувств, не убеждает нас в том, что художник хочет передать эти чувства другим. А между тем история знает множество художников, изо всех сил стремившихся к выражению себя в произведениях искусства, чьи поступки (связанные с популяризацией собственных произведений) были продиктованы скорее любовью к славе или к деньгам, чем желанием эмоционального общения с ближним. Конечно, легче всего сказать, что произведения таких людей не являются истинным искусством. Но если они заражают своими

---

* «Злые забавы» (франц.) — название сборника статей Толстого против мясоедения и охоты, выпущенного парижским издательством Charpentier (1895).— *Ред.*

good, against the instinct in me that looked through my eyes at the world and saw that it could be improved. I tell you that in the pursuit of my own pleasure, my own health, my own fortune, I have never known happiness. It was not love for Woman that delivered me into her hands: it was fatigue, exhaustion. When I was a child, and bruised my head against a stone, I ran to the nearest woman and cried away my pain against her apron. When I grew up, and bruised my soul against the brutalities and stupidities with which I had to strive, I did again just what I had done as a child. I have enjoyed, too, my rests, my recuperations, my breathing times, my very prostrations after strife; but rather would I be dragged through all the circles of the foolish Italian's Inferno than through the pleasures of Europe. That is what has made this place of eternal pleasures so deadly to me. It is the absence of this instinct in you that makes you that strange monster called a Devil. It is the success with which you have diverted the attention of men from their real purpose, which in one degree or another is the same as mine, to yours, that has earned you the name of The Tempter. It is the fact that they are doing your will, or rather drifting with your want of will, instead of doing their own, that makes them the uncomfortable, false, restless, artificial, petulant, wretched creatures they are.

THE DEVIL [*mortified*] Señor Don Juan: you are uncivil to my friends.

DON JUAN. Pooh! why should I be civil to them or to you? In this Palace of Lies a truth or two will not hurt you. Your friends are all the dullest dogs I know. They are not beautiful: they are only decorated. They are not clean: they are only shaved and starched. They are not dignified: they are only fashionably dressed. They are not educated: they are only college passmen. They are not religious: they are only pewrenters. They are not moral: they are only conventional. They are not virtuous: they are only cowardly. They are not even vicious: they are

ПОМЕТЫ ТОЛСТОГО НА КНИГЕ БЕРНАРДА ШОУ «ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК»

(G.-Bernard S h a w. Man and Superman. London, 1906)

Книга была прислана Толстому Бернардом Шоу в декабре 1906 г.

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

чувствами других людей — порою даже более успешно и интенсивно, чем иные произведения, подпадающие под определение Толстого, то, следовательно, это определение практической ценности не имеет. Дело в том, что определения, исходящие из принципа: все, что не белое — есть черное, никогда не имеют практической ценности. Самый безошибочный путь состоит в том, чтобы положить на чаши весов все побудительные мотивы художника, определить, какие из них перевешивают, и судить о каждом данном произведении в зависимости от его истинного веса. Даже в этой книге Толстого, являющейся, согласно его определению, произведением искусства, есть множество страниц, которые, вне всякого сомнения, были написаны либо для того, чтобы дать выход воинственным чувствам автора, либо же из желания пошутить, выразить свои пристрастия или даже просто блеснуть интеллектом. И вполне возможно, что эти страницы были бы написаны, даже будь их автор самым язвительным из пессимистов, когда-либо взиравших на род людской и считавших его неисправимым.

Совершенно ясно, чем оправдывает Толстой свое пренебрежение к возможным упрекам в неточности и субъективности оценок, которые он дает в своем трактате. Искусство необходимо обществу (и, следовательно, заслуживает того, чтобы писать о нем книгу), но лишь в той степени, в какой оно обладает силой эмоционального воздействия на людей, способностью заражать их чувствами, что и является для Толстого мерилом подлинного искусства. Нелегко вдолбить эту истину в головы британцев. Мы признаем необходимость общественного мнения, которое в стране, лишенной привычки мыслить (например, в нашей), всецело зависит от общественных настроений. Тем не менее вместо того, чтобы понять огромное значение, которое приобретает вследствие этого театр, концертный зал, книжная лавка,— эти теплицы, где взращиваются чувства,— мы все еще рассматриваем их только как места увеселений. И продолжаем упрямо верить в то, что палата общин и банальности нескольких устаревших литературных корифеев и являются теми основными источниками, которые питают духовную жизнь англичан.

«Посмотрите внимательно,— говорит Толстой,— на причины невежества народных масс, и вы увидите, что главная причина никак не в недостатке школ и библиотек, как мы привыкли думать, а в тех суевериях как церковных, так и патриотических, которыми они пропитаны и которые, не переставая, производятся всеми средствами искусства. Для церковных суеверий — поэзией молитв, гимнов, живописью и ваянием икон, статуй, пением, орга́нами, музыкой и архитектурой, и даже драматическим искусством в церковном служении. Для патриотических суеверий — стихотворениями, рассказами, которые передаются еще в школах, музыкой, пением, торжественными шествиями, встречами, воинственными картинами, памятниками. Не будь этой постоянной деятельности всех отраслей искусства на поддержание церковного и патриотического одурения и озлобления народа, народные массы уже давно достигли бы истинного просвещения...»

И пусть то, что Толстой называет предрассудками, многим кажется выражением здорового энтузиазма и плодотворных убеждений. Это вовсе не умаляет значения толстовского тезиса. Еще меньшее значение имеет и то обстоятельство, что некоторые суждения Толстого об отдельных художниках — это суждения раздражительного старца, который не знает и не желает знать ничего о произведениях искусства, слишком новых для того, чтобы прийтись ему по вкусу. Самое существенное — в его утверждении, что наши художественные учреждения являются жизненно важными частями общественного организма и что с прогрессом цивилизации они неуклонно приобретают (в особенности при наличии демо-



ЛОНДОН. КЛУБ «АТЕНЕУМ». ХОЛЛ

Гравюра Д.-Б. Моора с рисунка У. Рэдклифа.
Из книги: London Interiors with their Costumes and Ceremonies. V. I, London, s. a.

7 марта 1861 г. находившемуся в Лондоне Толстому был вручен билет на право посещения «Атенеума» в течение всего времени пребывания его в английской столице

кратических институтов и обязательного обучения) значение большее, нежели те политические и церковные институты, престиж которых, в силу установившейся традиции, пока еще высок. Мы всё еще слишком глупы, чтобы извлечь уроки из метких изречений. В противном случае, предложение Флетчера из Салтоуна разрешить любому, кто пожелает, сочинять для народа законы при условии, что он сочинит для народа и песни *, избавило бы Толстого от необходимости излагать то же самое на протяжении двадцати глав. Во всяком случае, мы уже не можем теперь ссылаться на то, что у нас нет наставников. Поставив на полку наших библиотек рядом с прозаическими сочинениями Вагнера в переводах Эштона Эллиса и работами Рёскина этот содержательный и остро написанный том Толстого, мы должны будем пенять только на самих себя, если в будущем не проявим об искусстве больше заботы, чем о всех остальных психологических факторах, определяющих судьбу нации.

Печатается по кн.: Aylmer M a u d e. Tolstoy on Art and its Critics. — Oxford University Press, 1925, p. 3—11. Впервые опубликовано в газете «Daily Chronicle», 10.IX 1898. Перевод с английского Б. А. Г и л е н с о н а.

---

* Шотландскому политическому деятелю и писателю Флетчеру (1655—1716) принадлежит следующее известное высказывание: «Я знал одного очень умного человека ⟨...⟩, который был убежден, что если бы каждому индивидууму позволили сочинять баллады, то он не стал бы беспокоиться о том, кто станет сочинять законы».— *Примеч. переводчика.*

Джорджа Бернарда *Шоу* (1856—1950) нельзя назвать последователем Толстого в области философии или эстетики. Но, не соглашаясь с религиозными и эстетическими концепциями Толстого, Шоу следил за развитием его взглядов с напряженным вниманием и мысленно ставил его во главе борцов за гуманность и жизненную правду в искусстве. Шоу был убежден, что Толстой «возглавляет Европу», возвышаясь «над всеми нашими чемберленами, и китченерами, и германскими императорами, и лордами-канцлерами, и другими рабами фальшивых идей и ложных страхов!» (Ellen T e r r y and Bernard S h a w. A correspondence. London, 1949, p. 311—312, письмо от 8 августа 1899 г.). Шоу противопоставлял Толстого официальным кумирам и повелителям Европы, уже тогда толкавшим ее в бездну мировых войн. В толстовском гуманизме он видел мощное оружие борьбы за мир и справедливость.

В 1890-е годы фабианское общество, одним из вождей которого был Шоу, проявляло большой интерес к русской литературе*. Основным информатором в этой области выступал С. М. Степняк-Кравчинский. В 1890 г. фабианское общество организовало ряд лекций, посвященных «представителям социализма в литературе». Были прочитаны лекции о Золя, Ибсене, Тургеневе и Толстом. В отнесении всех этих писателей к лагерю социалистов сказалась характерная для фабианства нечеткость идеологических представлений, но здесь проявилось также и справедливое признание громадной общественной роли прогрессивной литературы. Лекцию о творчестве Ибсена подготовил и прочел Шоу, Степняк-Кравчинский взял на себя обзор новейшей русской литературы (см. ниже в настоящ. томе публикацию статей Степняка-Кравчинского о Толстом).

В 1898 г. (одновременно с русским изданием) в Англии был опубликован перевод трактата Толстого «Что такое искусство?». Шоу откликнулся на него публикуемой выше рецензией, в которой подчеркнул громадное значение блестящей критики декадентства и признания Толстым социальной роли искусства. Однако с рядом положений Толстого Шоу не соглашался. Расхождение Шоу с Толстым касалось, прежде всего, религиозно-философских вопросов. Убежденный противник христианства с его культом мученичества, Шоу отвергал выдвинутое Толстым требование христианского искусства. Если Шоу и поддавался нередко идее непротивления, то она принимала у него иной, фабианский, а не христианский оттенок.

В своей рецензии Шоу выражает несогласие и с тезисом народного искусства, также выдвинутым Толстым. Народность, доступность народным массам Шоу здесь ошибочно отождествляет с примитивизмом. Это идет от того неверия в народ, которое было характерно для фабианцев.

При всей противоречивости суждений Толстого в книге «Что такое искусство?», его требование ориентации искусства на народ было прогрессивным и гуманистическим требованием, открывавшим перед искусством новые пути. В 1890-е годы Шоу этого не понял — он был отгорожен от широкого мира своим фабианством.

Но позднее, разочаровавшись в фабианстве, Шоу пытался идти по пути, сходному с тем, на который указывал Толстой. Он учился преодолевать камерность и интеллигентскую ориентацию своих пьес, и примером ему стала драматургия Толстого.

Полемика Шоу с Толстым по эстетическим вопросам продолжалась и в дальнейшем, в частности по вопросу о Шекспире (см. «Лит. наследство», т. 37-38, 1939, стр. 617—632). Отрицательное отношение к Шекспиру Толстого и Шоу было совершенно различным, как различна была и идеология обоих писателей, несмотря на их близость в ряде вопросов. Толстой, стоявший на позициях патриархального крестьянства, с суровой прямолинейностью обрушивался на всю западную буржуазную цивилизацию,

* *Фабианское общество* — английская социал-реформистская организация, основанная в 1884 г. Для фабианцев характерны неверие в пролетариат, боязнь революции и стремление идти по пути постепенных реформ, которые якобы должны привести к социализму. Общество было названо так в честь римского полководца III в. до н. э. Фабия-Максима, прозванного Кунктатором (Медлителем), так как он применял на войне тактику замедленных действий. Шоу был активным членом фабианского общества в первые десятилетия его существования; потом, под влиянием общественных событий (русской революции 1905 г., войны 1914—1918 гг. и Октябрьской революции), значительно охладел к фабианству.

ниспровергал все ее кумиры во имя идеала простой и чистой патриархальной жизни. К этим кумирам он относил и Шекспира. При всей своей ненависти к буржуазии, Шоу был страстным поборником цивилизации и отрицал Шекспира во имя новой проблемной драмы, во имя новых идей, которые он считал последним словом прогресса. К этому у него примешивалась изрядная доля бравады, желания поразить читателей. Шоу силился отрицать Шекспира, но, в сущности, страстно любил его — вот почему он не выдержал и бросился защищать великого английского драматурга от критики Толстого (в ряде случаев также признававшего обаяние и силу Шекспира).

Самая переписка с Толстым, о которой Шоу мечтал и которую он начал, послав русскому писателю свою философскую пьесу «Человек и сверхчеловек»*, приняла оттенок полемики (см. т. 78, стр. 201—204).

Главным недостатком Шоу Толстой считал шуточную трактовку важнейших жизненных вопросов, а также «желание удивить, поразить читателя своей большой эрудицией, талантом и умом».

В 1910 г. Шоу послал Толстому свою пьесу «Разоблачение Бланко Поснета»**, отметив в сопроводительном письме, что эта «жестокая мелодрама» принадлежит к тому роду пьес, которые Толстой пишет так необыкновенно хорошо. «Я не могу припомнить ничего во всех видах драмы, что поразило бы меня больше, чем старый солдат в вашей „Власти тьмы"...— писал Шоу,— и в „Бланко Поснете" я использовал по мере сил эту золотоносную жилу драматического материала, которую вы открываете для современных драматургов» (Бернард Ш о у. Разоблачение Бланко Поснета. М., 1911, стр. 10). Так Шоу делает попытку создать народную драму в духе Толстого.

Если говорить о непосредственных связях драматургии Шоу с творчеством Толстого, то особенное влияние Толстого ощущается именно в пьесе «Разоблачение Бланко Поснета», а также в пьесах о браке и семье, написанных Шоу в период между 1905 и 1914 гг. Отголоски «Крейцеровой сонаты», «Анны Карениной» и «Живого трупа» постоянно звучат в этих пьесах. Так, многие ситуации пьесы «Вступающие в брак» (1908) напоминают «Анну Каренину», а рассуждения некоторых героев близки к рассуждениям Позднышева в *«Крейцеровой сонате»*. Не *без влияния Толстого* создалась пьеса «Дом, где разбиваются сердца» (1913—1917). Назвав свою пьесу «фантазией в русской манере на английские темы», Шоу в предисловии, написанном в 1919 г., прямо называет в числе русских источников пьесу «Плоды просвещения» Толстого, который, в отличие от Чехова, не питал никаких симпатий к обитателям Дома разбитых сердец и стремился обрушить этот дом на головы приятных и любезных празднолюбцев.

Но не прямые параллели между пьесами Шоу и произведениями Толстого определяют подлинное значение для него русского писателя. Гораздо важнее та общая настроенность, которая сближала Шоу с Толстым,— ненависть к капитализму и войне, отвращение к декадентству. Борьба с декадентской литературой, с ее эротической и патологической направленностью, которую Шоу вел всю жизнь, не только отражала наиболее прогрессивные тенденции эпохи, но и развивалась по пути, намеченному Толстым в его трактате «Что такое искусство?».

З. Т. Гражданская

---

* В яснополянской библиотеке эта книга сохранилась: «Man and Superman», London, 1906 со следующей дарственной надписью на форзаце:

«To Leo Tolstoy by the hands of Aylmer Maude from G. Bernard S h a w. 7th De<cember> 1906. The interlude in the third act, p. 86—137, contains the author's conclusions as to religion, theology and evolution, and is founded on his own personal experience. Tolstoy's own experience will enable him to distinguish easily between the art and fantasy of the scene and its reality as a confession and creed» («Льву Толстому через Элмера Моода от Дж. Бернарда Ш о у. 7 декабря 1906 г. Интермедия в третьем акте, стр. 86—137, содержит в себе выводы автора относительно религии, богословия и эволюции и основана на его личном опыте. Собственный опыт Толстого легко поможет ему обнаружить под художественным вымыслом подлинную сущность интермедии как исповеди и изложения символа веры». Т. 78, стр. 203. См. стр. 91 настоящ. тома).

** Эта книга также сохранилась в яснополянской библиотеке: B. S h a w. The Shewing up of Blanco Posnet. London, 1909, со следующей дарственной надписью: «To Leo Tolstoy from G. Bernard S h a w. 23 March 1910» («Льву Толстому от Дж. Бернарда Шоу. 23 марта 1910 г.»).

ЭЛИЗА ОЖЕШКО

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

...Великий художник и великий мыслитель, Лев Толстой возвышается над всею областью искусства и мысли как апостол чувства междучеловеческой любви. Среди разнородной злобы и ненависти, которые до дна пронизывают современный мир, Лев Толстой есть представитель того величия сердца, которое стремится расторгнуть цепи, осветить мрак, перековать мечи в сошники. Великие умы правят миром, но только великие сердца спасают его. Всякий, кто верит в эту, как кажется, несомненную истину, хотя бы он и не был согласен вполне с постулатами Льва Толстого, должен признать, что он — один из немногих, которые ведут мир к спасению. Пусть он живет как можно долее и ведет свой народ к спасению, — великий среди ненависти и неправды, поборник любви и мира!

2/15 сентября 1908 г. Гродно

Печатается по тексту «Русских ведомостей», 6/19 сентября 1908 г., где опубликовано впервые в переводе с польского. Ср.: Eliza O r z e s z k o w a. Pisma krytycznoliterackie. — Wrocław — Kraókw, 1959, стр. 490—491 (видимо, перевод с перевода).

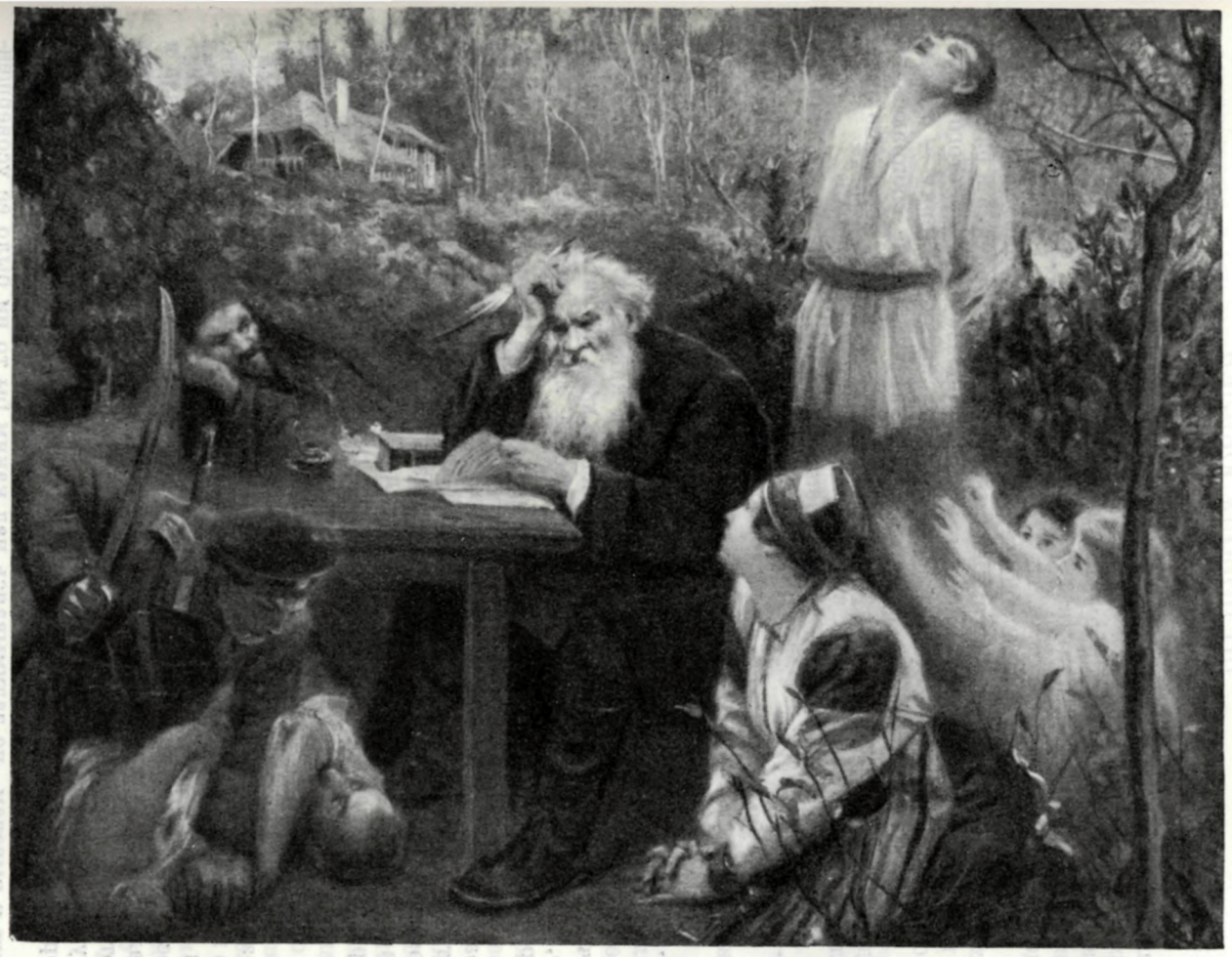
В августе 1908 г. редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский обратился к известной польской писательнице Элизе *Ожешко* (1842—1910) с просьбой прислать хотя бы несколько слов о Толстом для юбилейного номера газеты, посвященного восьмидесятилетию Толстого. Это письмо не застало Ожешко в Гродно, где она постоянно жила. Ко времени возвращения писательницы номер «Русских ведомостей», посвященный Толстому, уже вышел (28 августа). Тем не менее Ожешко сочла своим долгом ответить редакции. Письмо ее, датированное «2/15 сентября 1908 г., Гродно», было помещено в № 207 «Русских ведомостей» от 6/19 сентября под заголовком «Лев Толстой (Письмо в редакцию. Перевод с польского)». Многие польские газеты («Kurier Warszawski», «Kurier Polski», «Kurier Litewski», «Tygodnik Mód i Powieści») тогда же опубликовали польский перевод письма под заглавием «Ожешко о Толстом».

В публикуемой заметке отразились как слабые, так и сильные стороны мировоззрения писательницы. В Толстом Ожешко привлекают, прежде всего, его этические искания, понимаемые в духе абстрактного гуманизма. Вместе с тем, ей близко стремление Толстого «расторгнуть цепи» социальной «злобы и ненависти», сковывающие мир.

Об интересе к творчеству Толстого свидетельствуют и другие высказывания Ожешко (см. ее письмо к Л. Мейе от 26 июня 1896 г. и к И. Барановскому от 30 июля 1901 г.— Eliza O r z e s z k o w a. Listy Zebrane, t. II, Wrocław, 1955, str. 98 и t. IV, 1958, str. 72). «Высоким примером для себя» называла Ожешко отношение к работе Толстого, «который иногда переписывает свои произведения буквально по двадцать раз» (ibid., t. III, 1956, str. 260). Большое впечатление произвело на писательницу «Воскресение». 4 февраля 1900 г. она писала профессору Барановскому: «Читала это время на русском языке „Воскресение" Толстого, и если вам выпадет минута для чтения беллетристики, я эту вещь, оригинальную, и, смею сказать, гениальную, рекомендую вам, хотя о выраженных в ней доктринах можно было бы и поспорить» (ibid., t. IV, str. 68).

Многими сторонами своего творчества Ожешко перекликается с Толстым. Для ее лучших произведений характерны критика господствующих классов, внимание к нравственным проблемам, стремление найти «правду жизни». Ожешко восприняла и слабые стороны творчества Толстого. Его теория непротивления злу насилием сказалась в таких произведениях Ожешко, как «Хам» (1888), «Анастасия» (1900) и др. Влияние Толстого на Ожешко отмечает и польская критика. См.: Mieczysława R o m a n k ó w n a. Orzeszkowa a literatura rosyjska.— «Lódzkie Towarzystwo Naukowe. Sprawozdania z czynności i posiedzeń za 1 półrocze 1947 r.». Lodź, 1947, № 1. Ср. также на стр. 197 настоящ. тома любопытное сопоставление Ожешко и Толстого, сделанное известным современным польским писателем Я. Ивашкевичем.

Е. З. Цыбенко



«ТОЛСТОЙ, ОКРУЖЕННЫЙ ПРИЗРАКАМИ БЕДСТВИЙ, ТЕРЗАЮЩИХ ЕГО РОДИНУ»
Фототипия с картины польского художника Яна Стыка, 1900-е годы
Музей Толстого, Москва

БОЛЕСЛАВ ПРУС

ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ

Определить ценность человека — это значит ответить на множество вопросов, касающихся его *происхождения*, *положения*, эпохи, его характера, верований, знаний, симпатий и антипатий, страстей, происшествий, благополучных и неблагополучных, даже состояния его здоровья. Добросовестный биограф и критик должен ответить на все эти вопросы — и еще на многие другие.

Я не обладаю ни надлежащими данными, ни способностями, ни необходимым материалом для принятия на себя роли критика и биографа. Я принадлежу к обыкновенным читателям произведений Толстого и поклонникам его благородных стремлений, но — делаю оговорку — отнюдь не к его сторонникам или слепым последователям. Я не собираюсь ни судить, ни защищать его. Я только просто скажу, почему я уважаю этого человека и причисляю его к величайшим людям нашей эпохи.

Я ставлю три вопроса: «Что делал Толстой?», «Как он это делал?», и «Каков идеал его?»

Существуют люди, которые вопрос: «Что делал Толстой?» встретят с изумлением.

Толстой писал, был литератором, но ведь писать не так уж трудно, да, кроме того, эта работа не так уж полезна. К счастью, большинство культурных людей прекрасно сознает, что душа наша, как и тело, нуждается в пище, свете, тепле и, наконец, в каком-нибудь направлении, и что эту пищу, свет, тепло и направление дает ей литература,— понятно, великая литература, плод творчества людей возвышенного ума и сердца.

Что знали бы мы о звездах, сияющих над нашими головами, о далеких краях, которых не видали наши глаза, или об истории Земли за миллион лет, если бы не существовало научной литературы, этой пищи для души? Появились ли бы новые течения в жизни человечества без Лютера или Маркса и их учеников? Не зажгла ли «Хижина дяди Тома» в тысячах сердец чувства сострадания к неграм? А Аристотели, Канты, Спенсеры не открыли ли нам множества тайн духа, жизни и мира?

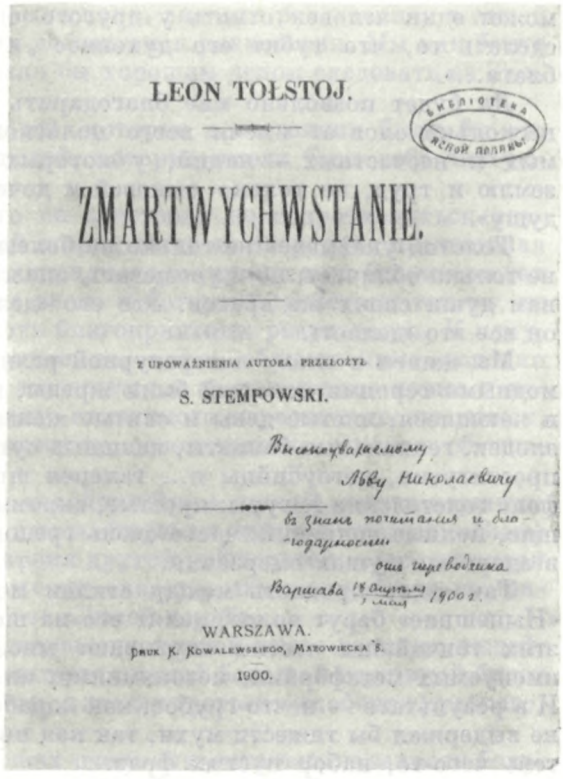
То, что философы, ученые и реформаторы совершают для развития духа на наивысших его ступенях, великие писатели-беллетристы, в меньшем размере, дают нам для повседневной жизни. Я не хочу никого этим обидеть, но мы, люди обыкновенные, не умеем ни вглядываться, ни вслушиваться, ни даже думать об явлениях окружающей жизни. Мы не замечаем вокруг нас характеров, не видим явлений, особенно новых, не слышим плача и жалоб, раздающихся вокруг нас, не умеем определить своих новых потребностей и обдумать средства для их удовлетворения. Наша жизнь с утра до вечера, из года в год, течет по одним и тем же проторенным дорожкам.

Мы называем жизнь хорошей, когда она соответствует нашему стремлению к выгодам, не задумываясь над каким бы то ни было ее усовершенствованием.

Поэтому мы, как и наши отцы и деды *, говорим, что война прекрасна и славна, а потому и желательна, что женщина предназначена для ласк, что мужик глуп, ленив и бессовестен, что работник обязан жертвовать собой своему хозяину, что попавшие в тюрьму являются развратниками,

---

* В газетном тексте опечатка: «дети».— *Ред.*


LEON TOŁSTOJ.

ZMARTWYCHWSTANIE.

Z UPOWAŻNIENIA AUTORA PRZEŁOŻYŁ
S. STEMPOWSKI.

Высокоуважаемому
Льву Николаевичу
в знак почитания и бла-
годарности
от переводчика.
Варшава 18 апреля/1 мая 1900 г.

WARSZAWA.
DRUK K. KOWALEWSKIEGO, MAZOWIECKA 8.
1900.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ С. СТЕМПОВСКОГО НА ПОЛЬСКОМ ИЗДАНИИ РОМАНА «ВОСКРЕСЕНИЕ»

«Высокоуважаемому Льву Николаевичу в знак почитания и благодарности от переводчика. Варшава. 18 апреля/1 мая 1900 г.

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

не заслуживающими никакого снисхождения... Только классы образованные, богатые и титулованные вмещают сокровища прекрасных чувств, мудрости, чести, обязанностей и т. д.

И вот неожиданно является Толстой и провозглашает иные взгляды. Для него война страшна, она — произвол наиболее диких страстей, источник неправды и страданий... Если будешь обращаться с женщиной, как с самкой, ты развратишь ее и сам превратишься в преступника... Мужик такой же человек, как и мы, но он несчастнее, хотя полезнее нас... Случается, что и хозяин жертвует собою для своего работника, но это бывает очень редко... В тюрьме сидят не только злодеи, но и невиновные люди, попавшие в нее или случайно, или по злобе людской, или вследствие... судебной ошибки.

И, наконец, среди богатых, титулованных и образованных классов нередко встречаются глупцы, эксплуататоры, изверги и даже странные сентименталисты, глаза которых сухи, когда над ними реет ужас людского горя, но которые рыдают, слушая проповеди сухих пиетистов...

Эти особенности жизни Толстой показал своему народу, вернее — его образованным классам.

Удалось ему этим реформировать или исправить свое общество?.. Не знаю... Если он только открыл глаза некоторым людям, если он тронул их сердца, если он призвал к «воскресению» хотя бы несколько людей, то и тогда его имя следует произносить с благоговением и молитвой за него.

Часто в словах романиста слышится голос ветхозаветных пророков: «Возмутительно, — говорит он,— когда один человек может отнять у другого его труд, деньги, корову, лошадь, может отнять даже его сына, дочь,— это возмутительно, но насколько возмутительнее то, что

может один человек отнять у другого его душу, может заставить его сделать то, что губит его духовное „я", лишает его его духовного блага...».

Да будет позволено мне благодарить тебя, великий человек, за эти несколько слов от имени всего польского народа и всех тех — гонимых и несчастных — наций, у которых хотели бы отнять не только землю и труд, не только сыновей и дочерей, но даже «уничтожить их душу».

Толстой указывает не только на болезнь, но и на приемы лечения; он не только обличает, но и увещевает, апеллируя к сердцу и лучшим сторонам души своих же врагов. Это его «дело». А теперь припомним «как» он все это «делает».

Мы живем в эпоху литературной разнузданности. Было время, когда модными героями повестей были жрецы, полководцы, рыцари, грешники и кающиеся, чистые девы и святые жены. Теперь их заменили лукавые злодеи, гениальные бандиты, изящные сутенеры, поэтичные развратники, проститутки, детоубийцы и... галерея шпионов... Как странны на этом фоне толстовские фигуры: простые, скромные люди, герои долга, страдающие, полные волнений, часто очень грешные, но никогда не вызывающие в здоровых душах омерзения.

Такая же пропасть между стилем модернистов и стилем Толстого. «Нынешние» берут волос, делят его на шестнадцать частей и каждую из этих тончайших частиц опутывают множеством риторических тряпок, именуемых метафорами, метонимиями, аллегориями, гиперболами и т. д. И в результате — нечто грубое, как корабельный канат, который, однако, не выдержал бы тяжести мухи, так как внутри он пуст... В результате — тень чего-то, набор пустых фраз...

А теперь посмотрим, каким образом «описывает» Толстой.

Беру первую попавшуюся книгу и читаю:

«...писарь дал одному из солдат пропитанную табачным дымом бумагу и, указав на арестантку, сказал: „Прими"... Солдат — нижегородский мужик с красным, изрытым оспою лицом — положил бумагу за обшлаг рукава шинели и, улыбаясь, подмигнул товарищу, широкоскулому чувашину, на арестантку».

Всего несколько строк, а сколько в них чувства и мысли!

Сколько раз судьба человека зависит от пропитанной табаком бумаги? Сколько раз с человеком обращаются, как с вещью, о которой говорят: «Прими»?.. Сколько слез и крови понадобилось, чтобы скуластый чувашин мог стать товарищем мужика нижегородского?..

А ведь в описании этих солдат и пропитанной дымом бумаги нет никаких метафор, никаких риторических украшений; каждая вещь названа просто своим собственным именем. Нет ни одного выражения, которое можно было бы назвать плевелами, излишним орнаментом, зато много здоровых семян, из которых вырастают все новые и новые растения <...>

Есть люди, которые осуждают Толстого за нерелигиозность, а между тем М. Герберт и У. Джемс называют его в числе тех гениев, души которых являются источниками религиозных чувств!..

У. Джемс, один из знаменитейших современных психологов, характеризует Толстого такими словами:

«Толстой, несмотря на то, что он писатель, принадлежит к тем непосредственным людям, которые не могут быть удовлетворены роскошью, ложью, страстями, осложнениями и жестокостью нашей утонченной цивилизации, но которые ищут вечной правды в других, более глубоких источниках природы... Желание ввести порядок в собственной душе, открыть новое истинное свое признание и уйти от всякой лжи — вот что

создало перелом его жизни. Это была воля, вначале раздвоенная в самой себе, медленно, с большим трудом добившаяся равновесия. Мы как будто бессознательно чувствуем, что было бы хорошим делом следовать за Толстым.

Но мало среди нас таких людей, которые в состоянии были бы это сделать, это потому, что мало людей, которые имели бы в себе чистую, ничем не испорченную кровь».

Толстого упрекали за то, что он советовал не сопротивляться злу. Насколько мне помнится, великий старец когда-то энергично протестовал против такого толкования его взглядов, которое чуждо ему. Он утверждал только, что те средства борьбы со злом, к которым прибегают теперь, не соответствуют цели и не могут дать благоприятных результатов. К чему, например, смертная казнь преступника, когда общественные условия таковы, что при них в изобилии засеваются и созревают все новые и новые преступления?.. На месте одного казненного вырастает десять новых, еще более изощренных в преступлениях, освоившихся с мыслью об эшафоте.

Любуясь цепью гор, человек, находящийся в долине, видит вершины разной высоты, а когда заметит высочайшую из них, он скажет: «Выше всего „Белая" гора...», а в то же время другой наблюдатель, рассматривая горную цепь с другой стороны, может сказать, что высочайшая вершина — «Ледяная», а третий назовет ее «Лысой горой».

То же самое происходит и в немногочисленной семье великих людей. В глазах одного критика или читателя самой большой вершиной будет Гомер, в глазах другого — Шекспир, в глазах третьего, особенно русского, им может быть Толстой.

Наши суждения о людях и вещах очень относительны и зависят больше от нашего положения, знаний, симпатий, верований и желаний, чем от действительной ценности их. Еще более разнятся между собою суждения поколений.

Мы часто равнодушны к людям, перед которыми благоговели наши отцы; наоборот, немало было таких, которые не пользовались славой среди современников, а потом оказались героями и образцами для следующих поколений.

Толстой принадлежит к тем творцам, которым, кажется, не грозит забвение потомства. Доказательством этого служит не только любовь к нему в России, не только огромнейшая популярность в цивилизованном мире, но и... ненависть к нему со стороны врагов.

Кого так проклинают, тот сумел затронуть душу человеческую,— это и является залогом его бессмертия.

Толстой не принадлежит к непогрешимым, и нередко его противникам нетрудно бороться с ним.

Он ошибался, во-первых, потому, что он — человек, а человека ошибка сопровождает на всем жизненном пути от колыбели до гроба. Но более важной причиной его ошибок было его стремление собственным трудом, если не разумом, то сердцем проникнуть в тайники человеческой души и мироздания.

Спросите Ливингстонов, спросите Нансенов, не блуждали ли они среди африканских пустынь или полярных снегов? И если легко заблудиться на такой мировой пылинке, как наша планета, то как найти верные пути тому, кто хочет проникнуть в необъятную бесконечность?

Печатается по тексту газеты «Речь», 11/24 сентября 1908 г., где опубликовано впервые в переводе с польского.

В связи с восьмидесятилетием со дня рождения Толстого Болеславу *Прусу* (1847—1912) петербургской газетой «Речь» была заказана статья, опубликованная 11/24 сентября 1908 г. с примечанием от редакции: «Статья эта, любезно присланная нам известным польским писателем Болеславом Прусом, по случайным причинам не могла быть напечатана своевременно». Скромно называя себя «обыкновенным читателем произведений Толстого», замечательный польский писатель причислил его «к величайшим людям эпохи», к высочайшим вершинам мировой культуры, наряду с Гомером и Шекспиром. В отличие от авторов других юбилейных статей о Толстом, помещенных в этой кадетской газете, Прус ценил русского писателя не за его учение, которое он не разделял, а за защиту простого народа и критику «богатых, титулованных и образованных классов». Ему, конечно, были известны выступления Толстого против колониализма в Африке и национального угнетения на Балканах.

Статья в «Речи» была не единственным выступлением Пруса о Толстом. Еще в 1899 г. он написал статью «Что такое искусство?», в которой, критикуя польских теоретиков «чистого искусства», ссылался на Толстого. Показав несостоятельность высказываний С. Пшибышевского и других польских модернистов в защиту лозунга «искусство для искусства», он противопоставил им взгляды Толстого. «Есть на эту тему небольшая книжка, написанная великим человеком,—указывал Прус.— Книжка называется „Что такое искусство?", автор ее—граф Лев Толстой, художник огромного масштаба и незаурядный мыслитель». Приведя многочисленные выписки из трактата Толстого, Прус сделал вывод: «По мысли Толстого, который создал больше ценных произведений, чем разного рода „модернисты", искусство, когда оно служит „возбуждению общественных стремлений", нисколько не унижает себя. Наоборот, только таким образом оно выполняет свою роль» («Kurier Codzienny», 18/30.IV 1899).

Так опыт и пример Толстого помогли замечательному польскому писателю в его борьбе против модернизма, в утверждении тезиса о служении искусства обществу.

Резкое противопоставление реализма Толстого творчеству польских модернистов чрезвычайно характерно для всех работ Пруса о Толстом.

Два других его выступления связаны с «Воскресением». В 1900 г. Прус опубликовал рецензию на «Воскресение» («Kurier Codzienny», 28.V/10.VI 1900), в которой писатель очень высоко оценил этот роман, относя его к числу «самых возвышенных произведений, на какие только способен человеческий дух». Записи в дневнике Пруса, опубликованные И. Хшановским, свидетельствуют о том, что он придавал большое значение своему участию в полемике, вызванной последним романом Толстого.

«Для критики нет места,—записал Прус, — я только хочу отметить необыкновенное произведение и воздать почести человеку, которого не все понимают» (J. Chrzanowski. Studia i szkice, rozbiory i krytyki, t. II. Kraków, 1939, str. 220).

Другая запись в дневнике свидетельствует о том, что Прус своеобразно понимал проблематику этого романа Толстого, связывая ее с национальным вопросом. Это было характерно вообще для польского читателя, которого привлекла в «Воскресении» критика системы царского самодержавия, угнетавшего и Польшу. «„Воскресение",— пишет Прус, — произведение не только национальное, но и общечеловеческое, произведение, которое наш народ по-особому понимает и чувствует» (ibid.).

Рецензия Пруса была задумана как полемическое выступление против реакционного лагеря. «Глубочайших религиозных и общественных достоинств романа не способны оценить только павлиньи мозги»,— записал он в это время в своем дневнике (ibid.).

«Кто ищет в романе красивых и невинных девиц, честолюбивых и героических юношей, взглядов глаз с поволокой, брильянтовых слез, шелеста шелка, чистой любви, увенчанной столь же чистым супружеством...— заявлял он в рецензии,— тот пусть не читает „Воскресения". Ибо он найдет там (...) тюремные камеры с их

спертым и влажным воздухом, с вонючими парашами, с квадратными окошечками в запертых дверях, камеры, заполненные убийцами, ворами, поджигателями... найдет крестьянские избы, в которых дети умирают с голода... суды, которые по рассеянности приговаривают невинных людей к каторге» («Kurier Codzienny», 28.V/10.VI 1900).

Современный польский исследователь Антони Семчук, замечая, что полемический тон этой рецензии Пруса направлен против русских реакционных критиков и их польских союзников, предполагает, в частности, что Прус мог знать брошюру «Возрождение или упадок», вышедшую в Москве в 1900 г., автор которой, Михаил Москаль (псевдоним М. М. Митрофанова), пытался скомпрометировать в глазах читателя новый роман Толстого (см. A. S e m c z u k. Prus o Lwie Tołstoju.— «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego», 1954, № 3, str. 146). Прус пишет в дневнике, размышляя о судьбе «Воскресения»: «Когда автор хвалит привилегированные классы и их взгляды, это называют „чистым искусством", а когда защищает бедняков — „тенденцией"» (J. C h r z a n o w s k i. Op. cit., str. 220). М. Москаль нападал на Толстого именно за «тенденциозность», которая якобы заменила в его романе жизненную правду.

Еще более полемически заострено второе выступление Пруса в защиту романа «Воскресение» — статья «Выступление одного из наших периодических изданий против Толстого», опубликованная в 1901 г. также в «Kurier Codzienny» (7/20 III). Поводом для выступления Пруса была опубликованная в польской прессе заметка, автор которой пытался очернить Толстого, упрекая его в безнравственности, неряшливости стиля и т. д.

Неизвестный польский автор солидаризировался, таким образом, с реакционной русской прессой, которая именно в это время готовила общественное мнение к решению Синода об отлучении Толстого от церкви.

Прус пишет, цитируя автора заметки, что тот хотел бы «предостеречь нашу молодежь и наших переводчиков от губительного и разлагающего яда, проникающего в умы из произведений этого автора». Черня роман «Воскресение», автор заметки, с которым полемизирует Прус, особенно ополчился против «Крейцеровой сонаты». «Вся прославленная „Крейцерова соната", — приводит его слова Прус, — это не что иное, как безобразная, неумная и развратная книжонка, рассчитанная на то, чтобы привлечь незрелых юнцов и институток» (ibid.). Прус излагает содержание «Крейцеровой сонаты» и делает вывод: «Что здесь „развратного и чувственного...", ейбогу, я не знаю... Зато я уверен, что люди, знающие жизнь, глубоко задумаются не над одной страницей этой книги» (ibid.).

Выступая против подобных обвинений в адрес Толстого, Прус дает оценку его взглядам на искусство и вновь знакомит польского читателя с трактатом Толстого «Что такое искусство?».

«Прошу мне сказать,— пишет Прус,— сколько писателей так благородно и возвышенно понимают свою роль в обществе? Кто из них не только провозглашает, но и действует согласно принципу, что „искусство не есть наслаждение, утешение, как забава; искусство есть великое дело"» (ibid.).

Многое во взглядах и творчестве Пруса сближало его с русским писателем: беспощадный, трезвый реализм, критика паразитизма господствующих классов, разоблачение морали буржуазного общества, защита интересов народа, стремление изображать жизнь как бы глазами простого человека, человека труда, требование, чтобы искусство активно служило народу и было понятно ему. Некоторые герои Пруса — например, Вокульский из романа «Кукла» — отличаются такой характерной для толстовских героев чертой, как правдоискательство, стремление к самокритической оценке своей жизни и деятельности. Мастерство Толстого в создании многопланового романа, вероятно, послужило Прусу примером для его «Куклы» и «Эмансипированных женщин».

Современная польская критика отмечает влияние, оказанное на творчество Пруса романом «Анна Каренина» (см. H. M a r k i e w i c z. Wstęp do «Lalki» B. Prusa, t. I. Warzsawa, 1959, str. 2. D. B r z o z o w s k a. Wstęp do «Emancypantek», t. I. Warzsawa, 1960, str. 21).

Е. З. Цыбенко

ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ

О ТОЛСТОМ

Толстой — самое высокое дерево в могучем лесу русского литературного творчества. Ум такого рода мог быть взращен только на русской почве,— целые века вашей * истории и общественной жизни отложились в нем. Устами Толстого заговорила, да так, что весь мир услышал, сама душа вашего ** народа, придавленная тягчайшим бременем нужды и неволи, душа мистическая, ушедшая от жизни материальной в жизнь внутреннюю и потустороннюю, ищущая утешения в религиозных сектах.

Обычно говорят, что литература — цветок жизни. У вас, в России, она, скорее, стон жизни. Но в стоне Толстого, особенно в последний период его творчества, слышен еще и мотив смирения. В Толстом есть нечто такое, чего нет ни у одного другого писателя: в его голосе звучат и протест — протест, настолько мощный, что заставляет содрогаться общественные и духовные основы государства,— и признание неизбежности зла.

«Все мирское, все, кроме этики Христовой, — зло, проклятье, суета сует,— словно говорит Толстой.— Всякий догмат — фальшь, а общественно-политический строй, при котором вы живете, есть насилие над естеством человеческой натуры. Но все это — внешнее, преходящее зло, с которым не следует бороться, потому что, несмотря на это зло, человек, в особенности русский человек, имеет возможность пахать землю, чинить старые лапти, любить ближнего и читать Евангелие — то есть жить так, как единственно жить стоит».

Таким образом, идея переворота (по мысли Толстого, она исключает физическое насилие) сочетается у него с христианской утопией. Он и себе пытается уяснить эту утопию и страстно хотел бы создать ее на земле.

Толстой — это, в известной мере, русский Руссо, но Руссо с примесью славянского мистицизма, склонного верить, что истинная действительность начинается лишь за границами земной жизни. Однако Толстой, в сущности, чище, благороднее Руссо.

Различие их в том, что Руссо — космополит, а Толстой лишь хочет стать им.

Руссо сформулировал, осознал и высказал идеи, которые уже зрели как реакция на бренность земной жизни не только в умах философов, но и в умах всех образованных европейцев.

В Толстом же заговорила душа народа, причем именно русская душа. Поэтому Толстой, более чем кто-либо другой, воистину ваш национальный писатель.

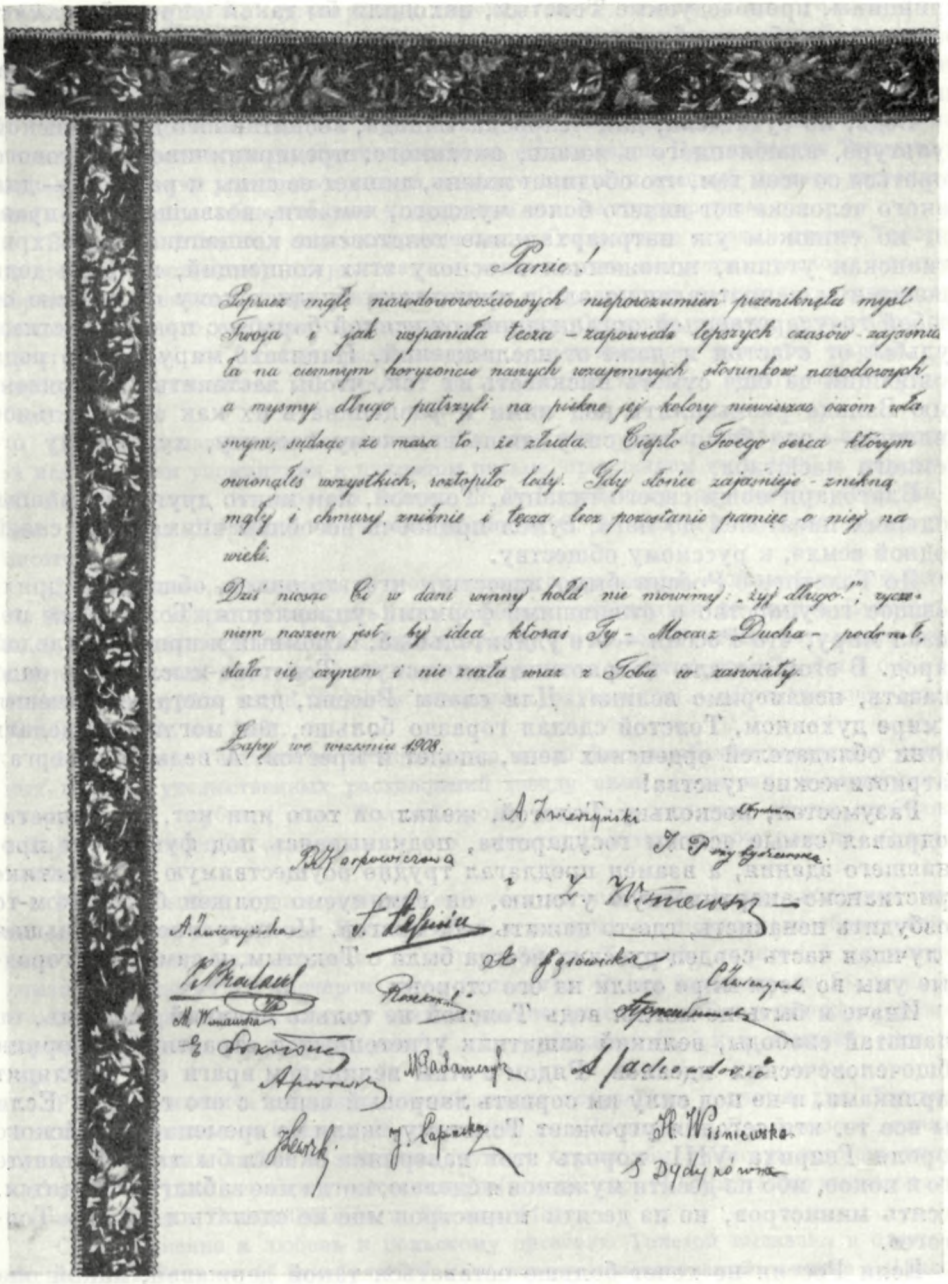
Его русско-славянский характер проявляется также и в том, что, обладая дарованием великого художника, он предпочитает быть апостолом.

Это отнюдь не означает, что Толстой подавлял в себе художника. Нет, он стремился познать свои возможности в этом смысле, но относился к этой стороне своей творческой жизни как к чему-то второстепенному, не взирая на то, что именно талант в сочетании с необычайным даром наблюдательности, глубокого проникновения в психологию героев, принес ему мировую славу.

---

* В источнике опечатка: «нашей».— *Ред.*

** В источнике опечатка: «нашего». — *Ред.*



Panie!

Poprzez mgłę narodowościowych nieporozumień przeniknęła myśl Twoja i jak wspaniała tęcza – zapowiedź lepszych czasów zajaśniała na ciemnym horyzoncie naszych wzajemnych stosunków narodowych, a myśmy długo patrzyli na piękne jej kolory niewierząc oczom własnym, sądząc że mara to, że złuda. Ciepło Twego serca błogim owionęło wszystkich, roztopiło lody. Gdy słońce zajaśnieje – znikną mgły i chmury, zniknie i tęcza lecz pozostanie pamięć o niej na wieki.

Dziś niosąc Ci w dani winny hołd nie mówimy: „żyj długo!", życzeniem naszem jest, by idea która Ty – Mocarz Ducha – podarowałeś stała się czynem i nie zeszła wraz z Tobą do zaświatów.

Lwów we wrześniu 1908.

A. Zwierzyński
J. Przybyłowska
K. Kozłowska
A. Zwierzyńska
S. Lepiesza
K. Wiśniewska
K. Malanowska
Romanowa
Apfelowa
Wadamecka
A. Jachimowicz
Zielińska
J. Lapiszka
K. Wiśniewska
S. Dydyńska

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС ТОЛСТОМУ ОТ ГРУППЫ ПОЛЯКОВ В СВЯЗИ С 80-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ 1908 г.

Архив Толстого, Москва

В самом деле, если бы не колоссальный талант художника, разве принципы, проповедуемые Толстым, находили бы такой широкий отклик, разве стали бы проблемами, над которыми задумываются величайшие умы Европы? В лучшем случае, они пробудили бы интерес лишь как явление оригинальное и экзотическое.

Ведь, по сути дела, для человека Запада, воспитанного на латинской культуре, влюбленного в жизнь, активного, предприимчивого, готового бороться со всем тем, что обедняет жизнь, лишает ее силы и радости,— для такого человека нет ничего более чуждого, чем эти, возвышенные, правда, но слишком уж патриархальные толстовские концепции. Ведь христианская утопия, положенная в основу этих концепций, по сути дела сводится к непротивлению злу и прямо-таки буддистскому отречению от любой государственной организации, от всякой борьбы с превратностями судьбы, от счастья и даже от наслаждений. Навязать миру такого рода концепции да еще суметь высказать их так, чтобы заставить интеллигенцию Запада размышлять над ними и расценивать их как оригинальное явление,— это было под силу лишь великому таланту, художнику огромного масштаба.

Благодаря мощи своего таланта, Толстой, как никто другой из ваших больших писателей до него, сумел привлечь всеобщее внимание к своей родной земле, к русскому обществу.

До Толстого о России было известно, что это дикое, обширное, дряхлеющее государство с отжившими формами управления; Толстой же показал миру, что Россия — это удивительный, огромный и притом молодой народ. В этом смысле патриотическая заслуга Толстого-мыслителя, надо сказать, неизмеримо велика. Для славы России, для роста ее значения в мире духовном, Толстой сделал гораздо больше, чем могли бы сделать сотни обладателей орденских лент, эполет и крестов. А ведь он отвергал патриотические чувства!

Разумеется, поскольку Толстой, желал он того или нет, в сущности, подрывал самые основы государства, подкапываясь под фундамент прогнившего здания, а взамен предлагал трудно осуществимую на практике христианско-анархическую утопию, он неминуемо должен был в ком-то возбудить ненависть, где-то нажить себе врагов. Но несравненно бóльшая и лучшая часть сердец русских всегда была с Толстым, и самые благородные умы во всем мире стали на его сторону.

Иначе и быть не могло: ведь Толстой не только великий писатель, он глашатай свободы, великий защитник угнетенных и страстный поборник общечеловеческих идеалов. Рядом с этим великаном враги его выглядят карликами, и не под силу им сорвать лавровый венок с его головы. Если бы все те, кто сегодня угрожает Толстому, жили во времена английского короля Генриха VIII, король этот наверняка сказал бы так: «Оставьте его в покое, ибо из десяти мужиков я сделаю, когда мне заблагорассудится, десять министров, но из десяти министров мне не сделать и одного Толстого».

Если Россия не хочет больше оставаться такой державой, какой она является сегодня, и если она, к тому же, не желает претворять в жизнь толстовские утопии, значит ей предстоит искать какой-то третий, совершенно иной путь в будущее. Но при этом она должна вечно помнить и глубоко чтить своего гиганта.

Печатается по кн.: Henryk S i e n k i e w i c z. Dzieła, t. XLV. Warszawa, 1951, str. 161—164. Впервые опубликовано (по-русски): «Русские ведомости», 28 августа/10 сентября 1908 г. — Перевод с польского С. Д. Т о н к о н о г о в о й.

В ответ на просьбу редактора «Русских ведомостей» В. М. Соболевского отозваться на предстоящий юбилей Толстого, известный польский писатель Генрик *Сенкевич* (1846—1916) прислал французский перевод своей статьи «Лев Толстой», появившейся в краковской газете «Czas» и вслед за тем перепечатанной во многих польских периодических изданиях. Русский перевод был опубликован в «Русских ведомостях», 28 августа/10 сентября 1908 г.

Высоко оценивая Толстого и его вклад в мировую литературу, Сенкевич сделал попытку проанализировать противоречивость его взглядов. Противоречия Толстого не мешали Сенкевичу услышать в голосе великого писателя мощный протест, заставляющий «содрогаться общественные и духовные основы государства».

В отличие от многих своих современников, Сенкевич не отделял учение Толстого от его художественного творчества; он понимал, что искусство русского писателя неразрывно связано с его мировоззрением. Справедливо осуждая «христианскую утопию» Толстого, его идею о непротивлении злу, Сенкевич, однако, отдал дань распространенному на Западе представлению о «мистицизме» русского народа, его глубокой религиозности, которыми он объяснял генезис религиозного учения Толстого.

Другие высказывания Сенкевича о Толстом и о русской литературе неизвестны, за исключением упоминания в открытом письме, присланном им в 1899 г. редактору «С.-Петербургских ведомостей» князю Э. Э. Ухтомскому по поводу столетия со дня рождения Пушкина, и в телеграмме к С. А. Толстой в связи со смертью писателя*.

«Тем не менее,— замечает по этому поводу современный польский исследователь М. Якубец,— можно утверждать, что Сенкевич зачитывался не только Пушкиным, но и Гоголем (наверняка знал „Тараса Бульбу“) и Львом Толстым, батальные сцены которого не могли не произвести на него огромного впечатления» (M. J a k ó b i e c. Literatura rosyjska wśród Polaków w okresie pozytywizmu.— «Pozytywizm», cz. 1. Wrocław, 1950, str. 323).

Воздействие Толстого на Сенкевича не могло быть глубоким вследствие серьезных идейно-художественных расхождений между ними. Сенкевич, в частности, не понимал так глубоко, как Толстой, роли народа в истории, иначе изображал войну, что особенно сказалось в его известном историческом романе «Огнем и мечом».

Толстой высоко ценил романы Сенкевича из современной ему польской жизни («Без догмата» и «Семья Поланецких»), в которых его привлекало обличение морали господствующих классов. 18 марта 1890 г. Толстой записал в дневнике о романе «Без догмата»: «Вечером читал Сенкевича. Очень блестящ» (т. 51, стр. 30). Особенно понравилось Толстому в этом романе описание любви к женщине: «нежно, гораздо тоньше, чем у франц〈узов〉〈...〉, у англичан 〈...〉 и у немцев» (там же, стр. 53).

Роман Сенкевича послужил своеобразным творческим толчком для Толстого. В записной книжке он отметил 24 июня 1890 г.: «По случаю *„Без догмата“*, славянского толкования любви к женщине, думал: хорошо бы написать историю чистой любви, не могущей перейти в чувственную» (там же, стр. 140. См. также высказывания о романе «Семья Поланецких» в т. 84, стр. 118).

Свое уважение и любовь к польскому писателю Толстой высказал в ответе на письмо Сенкевича от 16 декабря 1907 г. по поводу преследований поляков в Пруссии (письмо Толстого от 27 декабря 1907 г. см. в т. 77, стр. 271—274).

Е. З. Ц ы б е н к о

---

* Приводим текст этой телеграммы: «Прошу вас принять выражение моей глубокой скорби и соболезнования. Великий гений и мыслитель будет жить вечно» («Русское слово», 23/10 ноября 1910 г.).

ГРАЦИЯ ДЕЛЕДДА

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Газеты рассказывали, что в последние часы своего земного бытия Толстой был охвачен радостными грезами: ему казалось, что он уже достиг того уединения, к которому устремился в бегстве, расставшись с розами и шипами своей светской обители. Любимой дочери, которая последовала за ним в бегстве и спрашивала, не лучше ли ему, Толстой отвечал: «Лучшее — враг хорошего», и в минуты просветления жаловался, что комната, в которой он умирал, обставлена слишком роскошно. «Крестьянину не подобает так умирать»,— говорил он.

Не только последний день, но и весь последний период его жизни был великим бредом апостола и провидца, путника, идущего в край света и мира и задержанного против воли коварной болезнью на станции, переполненной другими странниками, которые смеялись над ним и слушали, любили его и тщились идти за ним по светлому пути. В своей божественной мечте он поистине был евангельским пахарем, возделывающим жесткие земли человеческого духа, выжигающим ненужные заросли и бурьян и сеющим Добро; он стремился также искоренять плевелы, выраставшие, как ему казалось, из его посева, и отрекался от самых прекрасных своих созданий, вырывая в бреду цветы и колосья, которые, к счастью, уже созрели, и их семя, вместо того, чтобы подвергнуться уничтожению, будет плодоносить, быть может, более, чем все остальное.

Теперь крестьянин умер в неподобающей ему комнате, на обочине одной из тех больших железных дорог, что прорезают поля и равнины и несут с собою не только грохот и блеск цивилизации, но также и ее потемки, ее жестокость и довершают разрушение той древней простоты, того земного уединения, к которому Толстой-человек бежал, усталый и испуганный, словно старый крестьянин, после неурожая желающий стать отшельником и жить одиноко, среди трав и плодов, какие родит сама мать-природа.

Путник, вновь пустившись в дорогу, прибыл в край, куда направлялся: в край Уединения, где пребывает лишь одна Истина; а путешественники, оставшиеся на станции, будут по-прежнему суетиться, пить и курить, думать об охоте и женщинах, и сильнейшие останутся в убеждении, что их спасение — не в них самих, а в проявлении своей силы, в столкновении с препятствиями, в сопротивлении злу; а слабейшие всегда будут мечтать о «лучшем» — об иллюзорной цели, враждебной их собственному благу; и так будут они скрадывать часы ожидания, пока не настанет и для них миг отправления. Но прибудут другие путешественники, другие путники; станция никогда не останется пустынной; и дух Льва Толстого-художника, создателя человеческих образов, мест и событий, поэта Наташи, дух того, кто смог уничтожить историю и воссоздать ее заново, более правдоподобной, чем сама действительность,— останется среди людей, переживет свою эпоху, неся далеким поколениям, как это сделал для нас Данте, блеск и тени своего века.

О нем можно сказать, как о королях: Толстой умер — да здравствует Толстой! Мы не оплакиваем его; он остался с нами, могучий и покоряющий. Когда мы перестанем читать «Воскресение» с верой и энтузиазмом юности, когда «Царство божие внутри вас» не принесет нам более утешения, когда годы и опыт — и самое воспоминание о бегстве Учителя, изгнанного из дому преследованиями того ближнего, которого он лишь хотел научить любви,— убедят нас в том, что это взаимное преследование, гонка слабого за сильным, тщеславие, гнев, мщение, кипение великих и ничтожных

страстей присущи человечеству, как возмущение вод присуще жизни моря, тогда мы вновь прочтем «Анну Каренину», «Войну и мир» и чудесные воспоминания детства, и все вокруг нас вновь станет великим и прекрасным. Наташа пришлет нам привет, как дух жизни и красоты, а смерть Анны Карениной и мягкость княжны Марьи вновь донесут до нас забытые наставления Учителя. В тиши своей могилы он, быть может, уже радуется, что любим нами именно так,— не как «последний из пророков», а как самый великий из современных художников.

Печатается по тексту журнала «Nuova Antologia», 1.XII 1910, № 935, p. 515—516, где опубликовано впервые. Перевод с итальянского З. М. Потаповой.

Грация *Деледда* (1871—1936) — известная итальянская писательница, автор многочисленных рассказов, повестей и романов, посвященных, в основном, жизни Сардинии. Это писательница реалистического склада, воспитанная в традициях школы «веризма», открывшей для итальянской литературы конца XIX в. путь к правдивому изображению народной жизни, народной души.

1900—1914 гг.— наиболее плодотворный период в творчестве Деледда. В эти годы ее произведения получают известность и признание за пределами Италии, в частности в России. Высоко оценивал творчество Деледда А. М. Горький, который писал в 1910 г. одной из своих русских корреспонденток:

«Позвольте указать вам на двух писательниц, которым я не вижу равных ни в прошлом, ни в современности: Сельма Лагерлёф и Грация Деледда. Смотрите, какие сильные перья, сильные голоса! У них можно кое-чему научиться и нашему брату, мужику» (М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 29. М., 1955, стр. 117).

В 1926 г. Деледда получила Нобелевскую премию по литературе.

Из круга писателей-веристов Деледда выделяется интересом к морально-психологической проблематике; социальная тема подчинена раскрытию душевных конфликтов. В центре ее лучших романов — изображение борений души, которая разрывается между моральным долгом и велением страстей. Герои этих романов — выходцы из крестьян, сохранившие моральные устои и душевный склад родной Сардинии,— терзаются сомнениями, угрызениями совести. В разработке этой тематики на Деледда, несомненно, оказала влияние русская литература и, в частности, Толстой и Достоевский, которые именно в годы литературного формирования писательницы стали широко известны в Италии. В письме к Толстому от 29 апреля 1897 г. сама Деледда, тогда еще начинающий автор, говорит об этом воздействии с достаточной определенностью (см. это письмо ниже, в публикации «Иностранная почта Толстого»). Влияние идей Толстого о несправедливости людских законов, противоречащих заповедям любви к ближнему, отразилось в сборнике Деледда «Сардинские рассказы» (1894), например в новеллах «Два правосудия», «Сентиментальная новелла». В последней прямо указывается, что герой новеллы читал Толстого и разделяет его взгляды.

Некрологическая статья Деледда написана несколько приподнятым, торжественным слогом. Уход Толстого из Ясной Поляны и кончина его на станции Астапово переосмысляется как символический образ Толстого-странника на вечном пути к Правде, Толстого-пахаря, сеющего Добро. Прибегая к этой аллегорической стилизации, писательница все же довольно ясно выразила свое отношение к духовному наследию Толстого. Деледда высоко чтит и уважает Толстого-моралиста, Толстого — проповедника добра и искателя истины. Тем не менее, она считает нужным подчеркнуть, что «самые прекрасные создания Толстого» — это его художественные произведения и именно они, в первую очередь, останутся бессмертным достоянием человечества.

Величайшей похвалой в устах итальянской писательницы является сопоставление Толстого с Данте, имя которого для итальянской культуры воплощает наибольший взлет поэтического духа. В конце статьи Деледда снова четко формулирует свою основную мысль: подлинное учение Толстого — в его художественных образах, и он любим «не как „последний из пророков", а как самый великий из современных художников».

З. М. Потапова

МИХАИЛ САДОВЯНУ

ТОЛСТОЙ

Лет десять или двенадцать назад я впервые прочел шедевр Толстого — «Война и мир».

Впечатление было огромное, потрясающее, хотя и несколько смутное. Затем я долгое время не расставался с этой книгой, держал ее в изголовье и то и дело открывал наугад — прочитывал несколько страниц или целую главу, и этого было довольно; я не испытывал необходимости вспоминать, «что до этого было» или «что произойдет потом»: то немногое, что я бегло восстанавливал в памяти, казалось мне новым, благодаря жесту одного из действующих лиц, слову или новой картине природы.

Долгое время я не мог разобраться в странном впечатлении, которое произвел на меня этот роман. Я не находил в нем стилистического совершенства великих французских писателей; мне не хотелось учить наизусть, словно певучую мелодию, одну из глав, как я сделал это с пятой главой «Госпожи Бовари» Флобера: «Elle avait lu *Paul et Virginie*...» *, где слова будто навеки высечены на медной плите, насыщены каким-то особым очарованием и столь художественно выражают душевные состояния или события.

Но в книге русского писателя, казалось, не было слов; мне представлялось, что я все время получаю впечатления непосредственно от самой природы.

Обычно события и сюжетные интриги романа или повести забываются; эти впечатления хранятся в памяти лишь некоторое время, а затем стираются, угасают. Так, например, произошло у меня с романами Тургенева и Достоевского. Проходят годы — и книга читается словно впервые.

С «Войной и миром» было по-иному. Раз и навсегда я проник на страницы этой книги словно в неведомую страну. Я увидел новые пейзажи, услышал голоса, наблюдал, как живут и трудятся массы людей; я слышал вопли боли, клики радости, грохот войны, и в то же время я ощутил покой мира и вечности.

Словно сам я был очевидцем многих событий «Войны и мира» и могу даже сказать, что у меня есть личные впечатления. Зачастую я сомневаюсь: вспоминаю ли я пережитое мною самим или же происшествия, случившиеся там, в чужой стране, где я некоторое время пробыл.

Я был влюблен в Наташу, эту резвую, жизнерадостную девочку. Один мой друг как-то тоже признался мне, что он страстно любил Анну Каренину.

Однажды, в новогодние праздники, я от души веселился вместе с озорной молодежью, полной иллюзий и опьяненной жизнью. С каким удовольствием вспоминаю я смех и шутки, гонки саней, огни и искристый блеск снега, звон колокольчиков и бубенцов! В другой раз я был осенью на охоте; а после охоты дети заехали к мудрому и поэтическому *дядюшке*. Там рассказывали всевозможные истории, пили чай в уютной комнате, а потом дядюшка стал наигрывать на гитаре и Наташа пошла в легком танце, придерживая двумя пальцами платье. А в другое время, на балу, в бешеном вихре мазурки, под звон шпор, я не мог отвести глаз от Наташи! Затем эта же дорогая моему сердцу Наташа, словно в порыве безумия, бежала от родителей за человеком, которого, как ей казалось, она любит... Сколько страсти, сколько жизненной силы!

---

* «Она прочла „Поля и Виргинию“...» (франц.).— *Ред.*

РУМЫНСКИЙ ЖУРНАЛ «LUCEAFARUL» (1908, № 24, 15 ДЕКАБРЯ) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ТОЛСТОМУ РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА О. ТЭСЛЭУАНУ:

«В знак уважения от трансильванских румын. Окт. Тэслэуану»

В журнале помещены статья Тэслэуану о Толстом и портрет писателя

Личная библиотека Толстого.

Музей-усадьба «Ясная Поляна»



Я помню также моего друга, князя Андрея; он словно стоит перед глазами — обаятельный и печальный, а лицо его — как у Иисуса Христа!

Это было весной, и над землей подымался легкий парок; черные блестящие борозды простирались до горизонта, а в высоте небес распевал жаворонок. Огромный дуб в сотый раз молодел, вбирая в себя силы из земли и простирая к ясному небу свои бессчетные мощные ветви. Андрей задумчиво, как всегда, проходил под этим дубом. За ним из окошек барского особняка со смехом подглядывали какие-то бойкие девушки, но как только он поднял глаза, они спрятались за занавеской.

Всплывает передо мной и мученический облик Марьи, сестры Андрея. Вижу я их старого отца; он говорит сурово, отрывисто.

Вот и великие битвы Корсиканца. Я отчетливо вижу страшную победу французов под Аустерлицем. Я вспоминаю, как по мосту проходили полки за полками, вперемешку пехота и кавалерия и пушки, а в этой сумятице какой-то смиренный русский солдат говорил что-то; я уж не знаю — что именно, но, мне кажется, это были глубокие и необычные речи.

А как-то зимой, в боях при отступлении Великой армии, у большого костра примостился между русскими солдатами щуплый французский

пленный, парижанин, не научившийся быть печальным даже в самых тяжелых обстоятельствах. Он ел и распевал тоненьким голосом:

Vive Henry Quatre,
Ce roi vaillant,
Ce diable à quatre
Qui eut le triple talent
De boire, de battre
Et d'être un vert galant!

Какой-то русский солдат хохотал от всей души. Он под хмельком, обязательно хочет научиться петь, как француз, и что есть мочи орет:

— Виварика! Виф серувару! Сидибяка!..

Другой казак с бесцветными глазами, широко ухмыляясь, невозмутимо рассказывал, как зарубил топором французского солдата, а тот просил не убивать его и уверял, что он генеральский сын. Казак, глупо хихикая, показывал топор и передразнивал убитого:

— Говорил, что он енеральский сын.

Помню я и ту ночь, когда раненый Андрей лежал, не сводя глаз со звезд, и размышлял о величии вечности, в то время, как на поле боя среди мертвых и раненых бродил какой-то карлик. Этот карлик был Наполеон.

Как отчетливо вспоминаю я Пьера Безухова, этого неуклюжего русского, никогда не находящего себе покоя! Он словно символизирует весь славянский народ, столь своеобразный, терзаемый религиозными проблемами и устремленный к неизвестному.

А после такой яркой молодости сотен людей, переживших сотни событий, после стольких мук и волнений, после долгих лет, все утихает. Остаются лишь одни воспоминания, молодость умерла, смех угас,— люди достигли возраста, не знающего пощады, они влачат свою жизнь, как повседневную ношу, они смирились, то есть они побеждены, так и не познав смысла и цели жизни.

— Я не знаю конца более печального, чем конец романа «Война и мир»!..— говорил мне один из друзей, и он был совершенно прав.

Давно не перечитывал я этот великий роман Толстого. Сев писать эти строки, я поостерегся и не снял книги с полки, не перелистал ее — не знаю, почему я так поступил! Теперь меня гложет сомнение: быть может, я неточно вспомнил события романа? Но мне не хочется проверять себя. Возможно, что мои личные воспоминания примешались к тому, что я *увидел* в чужой стране, которую посетил, идя вслед за великим художником.

* * *

Этот великий человек, этот писатель, сумевший с подобной силой воссоздать целую жизнь с ее причудами, бурями и правдой, писатель, в творчестве которого не было ни добрых, ни злых людей, а просто настоящие, существующие в действительности люди, словно не творил литературу, а создавал, порождал жизнь.

Он подарил человечеству величайшие литературные произведения века — «Войну и мир» и «Анну Каренину», а затем стал величайшим христианином.

Уединившись в свою яснополянскую пустынь, он носил крестьянскую одежду, пытался сам тачать себе сапоги и мечтал о неохристианстве, которое повело бы мир по пути добра, сострадания и всепрощения. Его

влияние было огромно; он вызвал бури в царской империи. То, что написано им в отшельничестве, проникнуто духом апостольского подвижничества. Этот великий проповедник отрекся от писателя прошлых лет, от Толстого, который написал «Анну Каренину» и «Войну и мир». Отрекшись, он жил, как святой, проповедуя сострадание и непротивление, тачая сапоги, нося мужицкий тулуп и размышляя в роскошных гостиных своего особняка о несчастьях человечества; но, несмотря на это, Толстой-писатель проторил себе дорогу бессмертия в сердцах и разуме всего человечества. Для отшельника писатель был мертв; но, несмотря на это, писатель живет и будет жить. Отшельник не должен был умереть, и все-таки он умер, просто и по-христиански среди людей, которых ранее описывал как писатель. Его доброта и христианство ушли вместе с ним, ушел с ним и величайший творец — художник XIX века.

Но для меня он не умер. Мой друг, с которым я повидал столько людей и событий, остался жив.

Он молод, пока молодо будет мое сердце. Он со мной, когда я этого хочу; и сразу воскресает столько изумительных событий, снова возле нас та же чудесная Наташа, та же Анна Каренина, в которую влюбился мой приятель, вновь с нами все те, которые подарили мне всеобъемлющее чувство бесконечности жизни.

Писатели — наши самые идеальные друзья. Этот мой друг не умер!

Печатается по кн.: Mihail Sadoveanu. Opere vol. VI. Bucureşti, 1956, p. 258—263.— Впервые опубликовано в журнале «Viaţa Romînească», 1910, № 12.— Перевод с румынского А. А. Садецкого.

С именем Михаила *Садовяну* (1880—1961) связан весьма продолжительный и сложный период в развитии румынской литературы. Более чем полувековой творческий путь писателя как бы перекидывает мост от XIX в. в современность, от традиций прогрессивной литературы прошлого столетия к литературе социалистического реализма наших дней.

Садовяну-писатель и Садовяну — общественный деятель с самых первых шагов связал свою судьбу с народом, с крестьянством. В те времена в Румынии, стране экономически отсталой, крестьянский вопрос был и основной социальной проблемой, и главной темой художественной литературы.

В самом начале века, в 1907 г., Румынию потрясло крупнейшее восстание, жестоко подавленное правительством. В этих условиях слово Толстого-проповедника находило отзвук во многих сердцах.

Садовяну была хорошо известна философско-моральная доктрина Толстого и его просветительские взгляды. Будучи еще весьма далек от понимания действительных движущих сил истории, но искренне желая помочь трудовому народу, особенно крестьянству, Садовяну в своей общественной деятельности шел по стопам Толстого. Его цель — просвещение народа. Эту цель он преследовал и как издатель газеты «Răvaşul Poporului», и как организатор сельских библиотек и школ, и как автор книжек для народного чтения — «Клад Доробанцу» (1905), «Как можно избавиться от невзгод и приобрести землю» (1910), «Увеселительные и полезные рассказы» (1911).

В сборник «Увеселительные и полезные рассказы» Садовяну включил рассказ «Первый винокур» с пояснением: «по Толстому». Вообще в своих назидательных рассказах Садовяну перекликался с Толстым, порицая тунеядцев, прославляя «святой труд», бичуя пьянство и даже проповедуя религию. Но, вместе с тем, Садовяну никак нельзя было назвать «правоверным» толстовцем. Он не исповедовал непротивления злу насилием — наоборот, в его произведениях неприкрыто звучат мотивы народной мести.

«Назидательные» рассказы Садовяну не вошли в «золотой фонд» его литературного наследия, но остаются свидетельством искреннего желания помочь родному народу.

Садовяну испытал на себе и воздействие Толстого-художника — воздействие, гораздо более сильное и плодотворное, чем влияние Толстого — проповедника и философа. Вспоминая о «годах ученичества», Садовяну неоднократно подчеркивал роль, которую сыграла в его жизни русская литература, волновавшая его больше, чем «бескровные парламентские битвы», происходившие в Румынии. Садовяну, будущий автор романтически приподнятых исторических повестей «Соколы» и «Соколиный род», зачитывался «Тарасом Бульбой»; ему, поведавшему о «задушенных страданиях» румынских крестьян, был духовно близок Тургенев, чьи «Записки охотника» были переведены им в 1909 г.; Толстой открыл для него новый мир.

Для Садовяну Толстой — гений реалистического искусства. Говоря о «Войне и мире», он подчеркивал: «В книге русского писателя как будто не было слов, мне казалось, что впечатления я получаю все время непосредственно от природы» (Mihail S a d o v e a n u. Opere, v. 6, Bucureşti, 1956, p. 259). Садовяну указывал, что все увиденное им, благодаря искусству великого художника, настолько срослось с его личными воспоминаниями, что ему трудно отделить одно от другого. Что могло дать Садовяну-художнику подобное «слияние» с Толстым, «растворение» в Толстом? В первую очередь оно, конечно, укрепляло его на позициях реализма. Но столь мощное воздействие великого писателя не могло не оказать и идейного влияния. Толстой первым в мировой литературе с потрясающей силой показал освободительную войну как всенародный подвиг.

Для Садовяну, создателя «Рассказов о войне», посвященных именно народному подвигу, героизму румынского солдата в освободительной войне 1877—1878 гг., другого примера, кроме примера автора «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира», в литературе не было. Толстой дал Садовяну понятие о справедливой, освободительной войне, а тем самым помог ему осудить войну бессмысленную, антинародную, какой была первая мировая война, проклясть ее, как это сделал Садовяну в романе «Улица Лэпушняну» (1921).

Толстой страстно искал социальной правды. Глядя на мир глазами патриархального крестьянства, он видел социальную перспективу в искаженном виде. Но народ был для него основой всех основ, он был источником благ, не только материальных, но и моральных, очищающим и возвеличивающим началом. Подобное отношение к народу было и у Садовяну, и в этом великим примером являлся для него Толстой. Искреннее стремление помочь трудовому народу выйти на светлый путь было неизменным компасом во всей деятельности Садовяну, который, преодолевая заблуждения и иллюзии, стал в конце концов строителем социалистического общества.

В 1953 г. Садовяну написал краткое вступительное слово к юбилейному изданию Толстого («Povestiri»). И вновь дань восхищения от имени читателей, современных и будущих, звучит в этом слове: «Толстой — гений воссоздания характерных деталей, нравов, русской души. Его герои и второстепенные персонажи — одинаково живые люди. Его проникновение в душу человеческую не имеет себе равных. У читателя создается такое впечатление, что он был непосредственным свидетелем всех событий, что он лично знал всех героев. Эпизоды из „Войны и мира“, чарующий образ Анны Карениной не сотрутся никогда из памяти и из души. Благодаря романам и повестям, Толстой всегда будет присутствовать в создании людей будущего, словно сказочный демиург» (Mihail S a d o v e a n u. Mărturisiri. Bucureşti, 1960, p. 600—601).

Публикуемая статья представляет собой некролог, написанный Садовяну для ясского журнала «Viaţa Românească».

Ю. А. К о ж е в н и к о в

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ

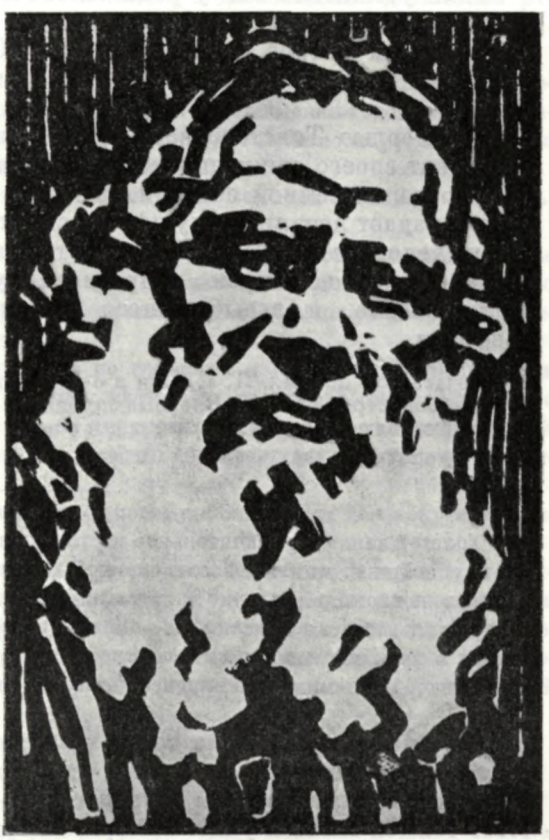
СМЕРТЬ ТОЛСТОГО

«Богатого узнают только после смерти»,— говорили древние греки. У смерти есть та благодатная особенность, что она уничтожает только видимую материю, а дух и дела, во имя которых боролся этот дух, его стремления и идеалы остаются, и чем они выше, тем сильнее скорбь и сожаление людей.

Потрясающий конец Толстого после его бегства в Оптину пустынь и смерть его на маленькой железнодорожной станции Астапово поразили весь цивилизованный мир от Востока до Запада. Все человечество в трауре, и все видят, что лишились своего верного наставника в жизни, человека, перед титаническими силами которого преклонилась бы сама природа, если бы она была разумна.

В самом деле, человечество никогда еще не рождало такого великого мужа.

Гений Толстого вобрал в себя все ипостаси человеческого могущества: он был одновременно пророком-наставником, поэтом и художником. Однако прежде всего он был именно поэтом и художником, великим мастером изображения человеческой души, толкователем событий и истории, тонким живописцем природы. Романы его — такие же бессмертные эпопеи, как поэмы слепого феосца. По своему художественному гению он превосходит Шекспира и Гете, он стоит за гранью наших понятий об искус-



ТОЛСТОЙ
Гравюра неизвестного художника
Начало 1900-х годов
Институт русской литературы
АН СССР, Ленинград

стве и красоте. Он видит то, чего мы не видим, и с его высот ему позволено отрицать и Шекспира и всю культуру. Ибо — кто знает — быть может, он и прав. Но прав он или нет — вопрос второстепенный. Важна сущность, то есть невероятная сила его творческого духа. Только два человека могли бы сравниться с ним по величию: Микеланджело и Леонардо да Винчи. Божественное спокойствие мудрости так же осеняет их, как и его.

Для нас, рабов культуры, верных сынов эфемерной цивилизации, которая завтра умрет, а может быть уже умирает, приговоренных нести иго заблуждений многих веков, для нас, еще верящих в прогресс после того, как мы перестали верить в бога, вся жизнь Толстого представляется странным анахронизмом. Но пройдет еще много дней, и в водовороте времени станет виден его подлинный подвиг, ибо такие дела помнятся долго, «до скончания мира».

Сегодня весь мир отдает дань уважения Толстому. Может быть, причиной тому послужила смерть, которая всегда была спутницей размышления, которая неотвратимо обращает мысли людей к небу и звездам, мутит стоячую воду их остывшей души.

Во всем творчестве Толстого, с начала до конца, мы видим великую любящую душу, которая исходит состраданием к бедному земному жителю, называемому человеком. Эта любовь идет из глубин подлинно благородного сердца — и разве кто-либо из бессмертных любил смертных так, как он? «Воскресение», «Смерть Ивана Ильича» — разве это не эпопеи страдающего человечества? Сама человеческая душа, оскорбленная жизнью, рыдает перед нами, она тонет в мертвом море без утешения, без ласкового слова.

Один утешитель был у рода человеческого — это Толстой. С его смертью как будто рухнула некая древняя высокая гора, защищавшая нас от холодных ветров и снежных бурь. Смерть великого человека всегда пугает нас, наш ум не может смириться с тем, что и он уйдет туда, в царство теней.

Со смертью Толстого вселенная, разумеется, ни на секунду не приостановит своего движения по предначертанному ей пути, но здесь, в тесных пределах земной обители, где бдит и царствует живой человеческий ум и страдает печальная душа, эта смерть, конечно, не пройдет бесследно, и человеческий дух остановится, как некая громадная река, встретившая на своем пути непредвиденную преграду, по меньшей мере на мгновенье, и вздыбившиеся волны его зальют новые плодородные просторы.

Печатается по кн.: Л. Стоянов. За литературата, изкуството и културата. София, 1959, стр. 439—440. Впервые опубликовано в газете «Пряпорец», 21.XI.1910.— Перевод с болгарского В. И. Злыднева.

Толстой занимает значительное место в жизни Людмила *Стоянова* (р. 1888), одного из крупнейших писателей современной Болгарии. Впервые с его произведениями Стоянов познакомился еще в детские годы. В библиотеке своего отца-учителя он обнаружил повесть «Казаки» и роман «Воскресение». Оба произведения глубоко запали в сознание юноши. «Раскрытие жизни в „Воскресении" настолько глубоко, потрясающе,— вспоминал он позднее,— что я долго не мог освободиться от этого впечатления.

Образы романа возникали передо мной днем и ночью, и я мучительно стремился понять драму Нехлюдова и Катюши; драма эта представлялась мне очень сложной» (сб. «Съветската литература в България. 1918—1944». София, 1961, стр. 152). На этом этапе Толстой вызывал у него восторг как художник слова, умевший с необычайной

силой передать человеческие переживания, душевную боль и радость, хотя сущность общественных проблем оставалась для него еще в тени. Публикуемая выше статья Стоянова «Смерть Толстого» появилась в 1910 г. в связи со смертью писателя. В ней выражено преклонение перед художественным гением, перед «божественным спокойствием мудреца», сумевшего создать «эпопею страдающего человечества». Об этом некрологе Стоянов вспоминал и впоследствии (см. кн. 2-ю настоящ. тома).

Стоянов не раз обращался к таким великим произведениям как «Война и мир», «Анна Каренина», «Хаджи-Мурат», «Севастопольские рассказы», «Крейцерова соната».

По выражению самого писателя, они помогали ему более глубоко «проникнуть в эпоху, в характеры и образы» русских людей (сб. «Съветската литература в България», стр. 153).

Именно в момент утверждения на реалистических позициях он разграничивает основную сущность творчества Толстого от одностороннего восприятия его нравственно-этического учения («Толстой и толстовство», 1928), сам переводит роман «Воскресение» (перевод этот выдержал ряд изданий — 1929, 1947 и 1956), читает о нем лекции и доклады. Особенно памятной осталась его лекция о Толстом, прочитанная в 1940 г. в связи с тридцатилетием со дня смерти Толстого.

Сам Стоянов, в ответ на запрос редакции «Литературного наследства», сообщил о ней следующие подробности:

«Лекция была прочитана в зале Народного театра в Пловдиве и, действительно, стала причиной огромной манифестации болгаро-советской дружбы, любви к русскому народу. В городе состоялась большая стачка рабочих-табачников. Зал был битком набит, большая группа заполнила лестницу, двор театра и улицу. Редко на литературную лекцию собиралось столько народу. Это объяснялось политическими событиями — вторжением гитлеровских полчищ на Балканы, опасностью вступления Болгарии в войну на стороне Германии, а также подымающимся движением рабочих табачной промышленности (Пловдив — крупный центр табачного производства).

Я выехал в Пловдив, несмотря на запрещение полиции покидать столицу. В результате последовала вторичная ссылка (в первый раз я был выслан годом ранее, в Пазарджик) в придунайский городок Сомовит, где в это время было зарегистрировано более тридцати случаев заболевания сыпным тифом».

В том же 1940 г. появилась статья Стоянова «Лев Толстой. Человек, писатель, мыслитель».

Вслед за критиком-марксистом Г. Бакаловым, Стоянов в этой статье воссоздал творческий облик Толстого, опираясь на работы В. И. Ленина, которого по цензурным соображениям он вынужден был называть «большим ученым, основателем современного русского государства».

Стоянов высоко оценил вклад Толстого не только в русскую литературу, но и в мировую культуру: «Значение Толстого настолько велико, — писал он,— что как сын великой нации он выразил ее внутренние противоречия и указал путь для развития не только своего народа, но и всего человечества» («Литературен живот», 20.XI 1940).

В 1960 г. Стоянов снова обращается к Толстому как творцу, человеку и мыслителю.

В статьях «Жизнь-эпопея» и «Мудрость тружеников земли» он говорит и о великих вопросах века, поднятых русским писателем, и о его великом, непостижимом мастерстве (см. вторую из этих статей на стр. 291—292 настоящего тома). В разные периоды своей общественной и литературной деятельности Стоянов прибегал к произведениям Толстого — неисчерпаемому источнику гуманности и художественной правды.

В. И. Злыднев

АВГУСТ СТРИНДБЕРГ

ДЕМОКРАТИЗМ ТОЛСТОГО

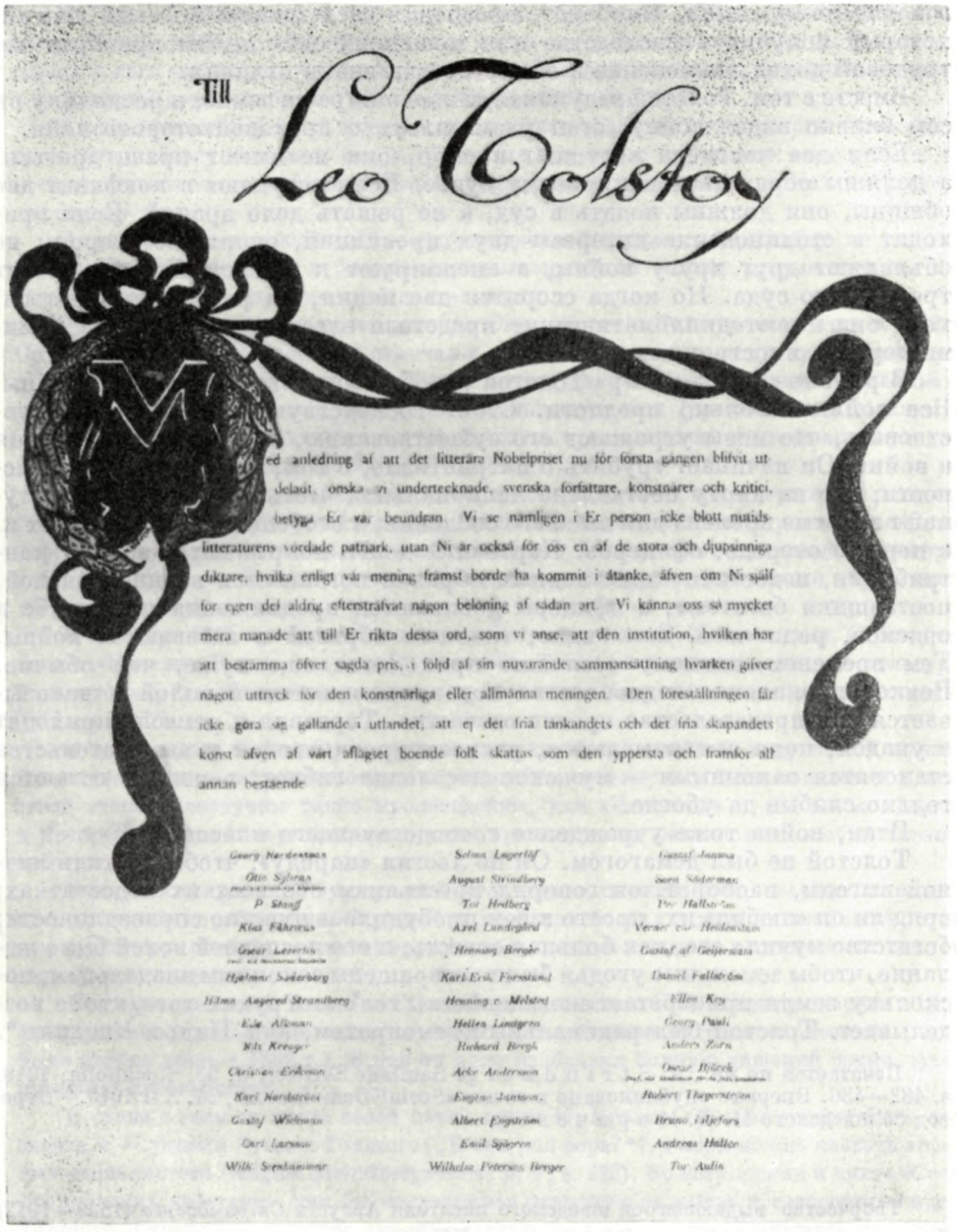
— Как мог этот граф и офицер, этот богатый помещик и знаменитый писатель быть демократом или чувствовать себя в родстве с трудовым людом?

— Дело в том, что он обладал врожденными чувствами стыда и справедливости, хотя эти лучшие качества его натуры сдерживались дурным обществом, в котором он вращался, и полученным им воспитанием. Вначале он был таким же, как и его окружение. Во время войны, будучи офицером, он кутил, несмотря на то, что солдатам приходилось туго, а в столице и за границей он, помещик, владевший семьюстами душами, растрачивал то, что в поте лица добывали его крестьяне. Но однажды, словно очнувшись, он стал размышлять о смысле жизни и устройстве общества. Он не мог допустить, что смысл его существования — только в кутежах; он сравнивал праздную светскую чернь с тружениками-простолюдинами, без которых общество обойтись не может, но которых обрекает в награду на полуголодное существование и презрение. Это презрение к людям полезного труда больше всего возмущало Толстого, и он стал сближаться со своими крепостными.

Вначале они внушали ему неприязнь, ибо у них были совсем другие нравы; их недоверие оскорбляло его, а они полагали, что он хочет добиться благожелательности народа, чтоб укрепить свою власть. В свою очередь они пытались использовать его расположение — прикидывались бедными, чтобы выманить у него чарку водки, обсчитывали его на аренде и платили неблагодарностью за благодеяния. Но эти же пороки, только еще более отчетливо выраженные, Толстой наблюдал и у бездельников из высшего общества; воровство было особенно распространено среди придворных и чиновников, военное же чиновничество сплошь состояло из казнокрадов. Зато ближе узнав своих крепостных, Толстой обнаружил в них достоинства, которых совершенно лишены были господствующие классы. Без людей труда общество существовать не могло, а без сидящих наверху паразитов, не только не нужных, но попросту вредных, оно развивалось бы гораздо лучше. А низшее сословие, кроме нравственного здоровья, которое сопутствует труду и исполненному долгу, наделено было добрыми нравами, настоящим чувством справедливости, тихой покорностью воле провидения; эти люди могли, словно дети, радоваться безделице, отдыху, танцам, чарке водки.

Тогда Толстой сам принялся за физический труд — как для того, чтобы отдать дань уважения их труду и выполнить одну из первых обязанностей человека, так и для сохранения здоровья. Он рано узнал подлинную цену салонной жизни с ее пустотой, интригами и бездельем. Теперь же он стал учителем в народной школе, писал учебники и обучал крестьян арифметике, чтению и письму. Некоторое время все шло хорошо, но когда он обнаружил, что история — это сплошной обман, сочиненный господствующим классом под цензурой двора, чтобы внушать уважение низшему сословию, Толстой принялся за летописи и стал читать их по-своему. Однако стоило ему посягнуть на священную русскую историю, как появились жандармы. История и жандармы всегда неразлучны!

Религиозный кризис, пережитый Толстым параллельно с первой стадией демократического развития писателя, имел чисто православный характер. Толстой не внес изменений в религиозное учение, но обратился непосредственно к Евангелию. Там он вычитал, что нельзя презирать человека за то, что он хуже одет, за то, что у него грубые руки и что он



АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШВЕДСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, КОНЕЦ 1901—НАЧАЛО 1902 гг.

Был послан Толстому в связи с тем, что впервые установленная нобелевская литературная премия была присуждена не ему

Среди подписей (второй столбец) — имена Августа Стриндберга и Сельмы Лагерлёф

Архив Толстого, Москва

говорит по-мужицки. Наоборот, презрения заслуживает богатый лентяй, который получил в наследство или мошенническим путем приобрел нетрудовой доход, положение в обществе или знаки отличия.

Вместе с тем, Толстой задумался также о мире на земле, и поскольку он сам близко видел войну, стал размышлять о правовой стороне войн.

Если два человека вступают в спор, они не имеют права драться, а должны обратиться к мировому судье. Если вступают в конфликт две общины, они должны подать в суд, а не решать дело дракой. Если приходят в столкновение интересы двух провинций, спорящие стороны не объявляют друг другу войны, а апеллируют к министерству и просят третейского суда. Но когда ссорятся две нации, им разрешают драться, хотя они имеют дипломатические представительства, консульства и министерства иностранных дел.

В романе «Война и мир» Толстой разоблачает тайные пружины войны. Все войны — только предлоги. Стоит господствующему классу почувствовать, что низы угрожают его существованию, как он ищет спасения в войне. Он начинает трубить о патриотизме, о том, что отечество в опасности, что на карту поставлена национальная честь и т. п. И вот наступают золотые времена для высшего сословия, в особенности для военных и, в первую очередь, офицеров. Карточные долги покрываются за счет контрибуции, недостачи таинственным образом погашаются военной казной, поставщики богатеют, а офицеры добиваются продвижения по службе и орденов, ради чего, как видно, главным образом и затеваются войны. Тем временем низшему сословию приходится еще хуже, чем обычно. Всякое проявление недовольства подавляется военной силой и наказывается как предательство против отечества. Торговля и ремесла приходят в упадок, поля вытаптываются, расквартировки войск и вымогательства становятся законными — мужское население гибнет, в живых остаются только слабые да убогие.

Итак, война тоже учреждение господствующего класса! 〈...〉

Толстой не был демагогом. Он не льстил «народу», чтобы достичь личной выгоды, наоборот, он говорил крестьянам обо всех их недостатках; вряд ли он «любил» их, просто в нем пробудилось чувство справедливости; богатство мучило его, как больная совесть, и его последней волей было желание, чтобы земельные угодья были возвращены законным владельцам, поскольку земля приобретает свою ценность только в руках того, кто ее возделывает. Толстой был радикальным демократом, как Нильс Квидинг *.

Печатается по кн.: A. S t r i n d b e r g. Samlade Skrifter, d. 53. Stockholm, 1919, s. 482—486. Впервые опубликовано в газете «Social-Demokraten», 24. XII 1910.—Перевод со шведского М. Д. М о р и ч е в о й.

Творчество выдающегося шведского писателя Августа *Стриндберга* (1849—1912) было довольно популярно в России начала XX в. Однако в нашей стране оно не подвергалось сколько-нибудь углубленному исследованию и мало разработано.

Стриндберг неизменно выступал обличителем язв и пороков современного ему буржуазного общества, страстным поборником справедливости и правды.

Начав свой творческий путь с борьбы против реакции во всех ее проявлениях, с отстаивания права народа на революционные преобразования, Стриндберг в 1890-е годы пришел к идеализму, мистицизму и подпал под влияние ницшеанской философии, своеобразно интерпретированной и нашедшей сложное отражение в его творчестве.

Однако уже в начале 1900-х годов, будучи свидетелем растущего рабочего и демократического движения и примкнув к нему, Стриндберг вновь возвращается к прогрессивным идеалам своей юности.

---

* Нильс *Квидинг* (1808—1886) — шведский социалист-утопист.— *Ред.*

М. Горький называл Стриндберга «чудесным бунтарем» (Собр. соч. в тридцати томах, т. 29. М., 1955, стр. 242). В 1899 г. он писал о нем Чехову: «Это большой человек, сердце у него смелое, голова ясная, он не прячет своей ненависти, не скрывает любви <...> Большой души человек» (там же, т. 28. М., 1954, стр. 78).

В 1880-х годах огромное влияние на духовное развитие Стриндберга оказал Толстой. Стриндбергу особенно близко было его страстное отрицание всех устоев, на которых покоилась жизнь современного буржуазного общества, и горячее сочувствие народному горю.

На разных этапах своей идейно-художественной эволюции Стриндберг по-разному воспринимал Толстого, и в разные периоды ему были близки разные стороны его литературной и публицистической деятельности.

Первые известные нам высказывания Стриндберга о Толстом относятся к 1885 г. Он с большим удовлетворением отмечал в ряде писем, что находит в трудах великого русского писателя созвучные себе мысли и чувства. Он обрел «мощного союзника в лице Толстого, который теперь в России проповедует мои (руссоистские) взгляды и оставил свое блестящее творчество, чтобы стать крестьянином и апостолом» (August Strindbergs brev, b. V. Stockholm, 1956, s. 80—81).

Высоко оценивая художественное творчество Толстого, Стриндберг в эти годы интересовался, однако, в первую очередь, социально-политическими и религиозно-философскими трактами писателя. В них Стриндберга больше всего привлекали демократические воззрения Толстого, его беспощадная критика паразитического образа жизни «верхних десяти тысяч».

В сентябре 1885 г., обращаясь к шведскому писателю В. Хайденстаму, Стриндберг писал: «Прочти „В чем моя вера?“ Толстого. Титаническое нападение на культуру. Точь-в-точь „Равенство и неравенство“, но во имя Иисуса (атеизма!). Колоссально!» (ibid., s. 170).

В этот период Стриндберг переживал сильнейший идейный и духовный кризис. Он отказался от своих религиозных верований, и поэтому ему были понятны и в известной степени созвучны такие произведения, как «Исповедь» и «В чем моя вера?», в которых Толстой пересматривал свои нравственные, религиозные и общественные взгляды.

Выступая с критикой буржуазной культуры и цивилизации, несущих народным массам полное порабощение, Стриндберг невольно впадал в другую крайность, отрицая «культуру» вообще, призывая вернуться к идеалам жизни не испорченного цивилизацией крестьянина.

Под влиянием идей Толстого Стриндберг закончил в 1885 г. книгу очерков «Среди французских крестьян» с подзаголовком «Субъективные путевые зарисовки» (книга была издана лишь в 1889 г.). В ней он ярко изобразил полную лишений жизнь французского крестьянства.

В связи с этим он писал своей переводчице М. Прагер: «Как вы, может быть, уже знаете, я — ученик Руссо и Толстого („В чем моя вера?“), и меня можно назвать аграрным социалистом» (August Strindbergs brev, b. V, s. 226). Во вступлении к книге «Среди французских крестьян», как бы подчеркивая основную ее мысль и созвучность идеям Толстого, Стриндберг подверг анализу статью парижской газеты «Figaro», посвященную русскому писателю. «Толстой, чей недавно переведенный роман „Война и мир“ привел парижан в восхищение,— писал Стриндберг,— Толстой, граф, богатый человек, заслуженный воин севастопольских сражений, блестящий писатель, порвал с обществом, отказался от литературного творчества и в полемических работах „Исповедь“ и „В чем моя вера?“ встал на сторону Руссо, объявил войну культуре и сам воплотил на практике свое учение, превратившись в крестьянина... Итак, вновь отчаянный крик против культуры» (A. S t r i n d b e r g. Bland franska bönder. Stockholm, 1914, s. 11).

Чрезвычайно показательно письмо Стриндберга к известному шведскому романисту Г. Гейерстаму от 11 января 1886 г., в котором он писал: «Я стал духовно банкротом, после того как весной прошлого года пришел к атеизму и должен шаг за шагом пересмотреть свое мировоззрение». И далее он добавляет: «Читал ли ты работу „В чем моя вера?“ Толстого? Прочти ее!» (August Strindbergs brev, b. V, s. 248).

Именно в период пересмотра своих воззрений, в период, когда, по собственному признанию, Стриндберг «духовно обанкротился», огромное воздействие на его идейное и творческое развитие оказал Толстой.

У Стриндберга, как и у Толстого, подлинный демократизм и страстный протест против угнетения и насилия сочетались с реакционными взглядами, с политической незрелостью и руссоистскими утопиями. При всей глубоко различной творческой и художественной манере обоих писателей невольно поражает схожесть духовных исканий и глубокая противоречивость воззрений. Стриндберг, как и Толстой, поставил ряд вопросов, касающихся основных черт современного политического и общественного устройства, понять и разрешить которые ему было не дано. Отсюда его увлечение руссоизмом и утопическим социализмом, затем разочарование и приход к идеализму, мистицизму и даже отчасти к ницшеанской идеологии.

Интересно отметить, что, собираясь в 1886 г. совершить поездку по крупнейшим городам Швеции с циклом лекций и докладов на современные темы, Стриндберг включил в свой план тему «Сверхкультура. Современная критика (Толстой)» (ibid., s. 298).

В эти же годы Стриндберг знакомится с романом Чернышевского «Что делать?» и находится некоторое время под его сильным влиянием. Знаменательно, что выдающийся шведский писатель связывает идейную направленность романа Чернышевского с демократическими взглядами и исканиями Толстого. Обращаясь к Б. Мёрнеру, приславшему ему свой перевод «Бедных людей» Достоевского, Стриндберг советует ему взяться за перевод романа Чернышевского «Что делать?»: «В случае, если вы найдете издателя для этой книги, я охотно напишу к ней предисловие или попрошу Толстого, с которым у меня есть связь*, сделать это. Затем прошу вас обратить внимание на произведения Толстого „В чем моя вера?“ и „Исповедь“» (ibid., s. 209).

В середине 1886 г. известный шведский издатель А. Бонье, который почти монопольно издавал тогда в Швеции произведения Толстого, прислал Стриндбергу только что переведенный на шведский язык роман Толстого «Война и мир»**. Художественных достоинств этой замечательной исторической эпопеи Стриндберг по-настоящему оценить не сумел. Роман показался ему слишком растянутым и перенасыщенным действующими лицами, но основную проблематику этого произведения он нашел чрезвычайно родственной и близкой себе по духу. Он выдвинул на первый план в романе трактовку Толстым историко-экономических вопросов. Стриндберг, испытывавший в эти годы материальные лишения и нужду, преследовавшийся реакционной прессой, с радостью убедился в близости своих воззрений со взглядами Толстого в его романе. В ответном письме к Бонье Стриндберг подчеркнул: «...общественность увидит теперь, что великий и знаменитый писатель может иметь такой же „нелепый“ взгляд, как я, на многие вопросы, на историю, ее воссоздание, на положение женщины (гениальной женщины!), на войну, землю и т. д.» И далее указывает: «Я хотел бы написать очерк о „Войне и мире“» (August Strindbergs brev, b. VI, s. 49). Намерение Стриндберга, насколько нам известно, осталось не выполненным.

Понимая, что в творчестве Толстого нашел свое отражение новый, незнакомый Западу мир чувств, настроений и мыслей русского народа, Стриндберг в статье «Что такое Россия?» советует: «Прочтите произведения Толстого, романы Достоевского, если вы уже не прочли их, и вы откроете там юную нацию, новую и целомудренную страну» (A. Strindberg. Samlade skrifter, d. 54. Stockholm, 1920, s. 321).

Когда в 1901 г. первая Нобелевская премия в области литературы была присуждена Шведской академией не Толстому, а французскому поэту Сюлли Прюдому, выдающиеся деятели шведской интеллигенции — писатели, художники и критики — послали Толстому адрес, в котором выражали свой протест против несправедливого решения

* Установить, как и через кого Стриндберг был связан с Толстым, пока не удалось.

** L. N. Tolstoy. Krig och Fred. Historisk roman från Napoleonska tiden. Öfv. af Walborg Hedberg. Stockholm, 1886. Первые переводы произведений Толстого на шведский язык осуществлены не с оригинала, а с других языков, преимущественно немецкого, и крайне неудовлетворительны. В 1920-е годы были предприняты переводы важнейших произведений Толстого — «Войны и мира», «Анны Карениной» и других непосредственно с русского языка.

Шведской академии. Они писали в этом адресе: «Мы видим в вас не только глубокочтимого патриарха современной литературы, но также одного из тех могучих и проникновенных поэтов, о котором в данном случае следовало бы вспомнить прежде всего...». И далее: «Мы тем живее чувствуем потребность обратиться к вам с этим приветствием, что, по нашему мнению, учреждение, на которое было возложено присуждение литературной премии, не представляет в настоящем своем составе ни мнения писателей-художников, ни общественного мнения» (т. 73, стр. 205).

Адрес подписали С. Лагерлёф, Г. Гейерстам, Э. Кей и др. Заметно выделялось в нем и имя Стриндберга (см. стр. 121 настоящ. тома).

А некоторое время спустя в газете «Svenska Dagbladet» (24 января 1902 г.) появилась статья Стриндберга, в которой он вновь поднял голос протеста против несправедливого акта Шведской академии. Статья написана страстно, с большим темпераментом, характерным для манеры Стриндберга-публициста. Он резко высмеивал Шведскую академию, отвергнувшую кандидатуру Толстого, и утверждал, что большинство ее членов — «недобросовестные ремесленники и дилетанты в литературе, которые призваны вершить суд, но понятия этих уважаемых господ об искусстве так детски наивны, что они называют поэзией только то, что написано стихами, предпочтительно рифмованными. И если, например, Толстой прославился только как изобразитель человеческих судеб, если он создатель исторических фресок, то он не считается поэтом только на том основании, что не писал стихов». И далее Стриндберг с горечью и гневом пишет: «Так давайте же избавимся от магистров, в особенности таких, которые не понимают искусства, берясь судить о нем. А если нужно, давайте откажемся от нобелевских денег, динамитных денег, как их называют!» (A. S t r i n d b e r g. Samlade skrifter, d. 54. Stockholm, 1920, s. 403—404).

В 1900-е годы под влиянием растущего рабочего движения Стриндберг снова возвращается к своим демократическим воззрениям. Его отношение к Толстому в этот период несколько иное, чем в середине 1880-х годов. Внимание его сосредоточивается не на этических и религиозно-философских проблемах, волновавших Толстого, а на его демократизме и горячем сочувствии народным нуждам и страданиям.

На смерть Толстого Стриндберг откликнулся двумя статьями*. Первая (перепечатанная нами выше), под названием «Демократизм Толстого», была опубликована 24 декабря 1910 г. в газете «Social-Demokraten». Основное внимание в этой статье Стриндберг сосредоточил на характеристике демократических воззрений Толстого. Статья написана с присущей Стриндбергу страстностью и полемичностью. А пять дней спустя, 29 декабря 1910 г., Стриндберг в той же газете поместил вторую статью о Толстом под названием «Толстой и просвещенный господствующий класс», где изложил взгляды Толстого на культуру высших классов, подчинивших образование целям угнетения и эксплуатации трудового народа. В этой статье Стриндберг разделяет уже далеко не все воззрения Толстого на «культуру» и с сожалением указывает, что стремление Толстого отмежеваться от господствующего класса, его культуры и образования заходило так далеко, что он считал свое художественное творчество «греховным».

Интерес Стриндберга прежде всего к демократическим идеям и мировоззрению Толстого находился в прямой зависимости от интересов и устремлений самого Стриндберга в эти годы, когда он со всей силой неукротимой страсти поднял голос против угнетения и насилия, против международной реакции, сблизился со шведским социал-демократическим рабочим движением и видел основную цель своей деятельности в защите народных прав, в отстаивании демократических свобод от всех посягательств.

Каким бы различным ни было на разных этапах творческого пути Стриндберга идейное воздействие Толстого, оно неизменно углубляло критическую направленность творчества замечательного шведского писателя.

М. Д. М о р и ч е в а

---

* См. также в кн. 2-й настоящ. тома краткое интервью Стриндберга корреспонденту «Русского слова» в связи с уходом Толстого из Ясной Поляны.— *Ред.*

АНАТОЛЬ ФРАНС

РЕЧЬ В СОРБОННЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ ТОЛСТОГО, 12 марта 1911 г.

Милостивые государыни и милостивые государи!

Мне выпала сегодня честь возглавить вместе с уважаемым господином Фредериком Пасси это столь волнующее и столь скорбное собрание. Среди тех, кто пришел сюда почтить бессмертную память Толстого, я вижу также его соотечественников и учеников. Позвольте мне обратить прежде всего к ним выражение моего горячего сочувствия, приветствовать в их лице героическую и страдающую Россию. И если в каком-нибудь уголке этого зала скрывается душа, жившая подле души Толстого, дышавшая тем же воздухом, что и он, пусть чувства мои дойдут до нее, не нарушая ее сосредоточенности и добровольного уединения.

Исполнить этот долг для меня высокая честь, и этой честью я обязан любезным организаторам собрания, на котором мы сейчас присутствуем. Они, вероятно, вспомнили, что Толстой, до самого конца своих дней с таким вниманием следивший за развитием французской мысли, благосклонно отзывался о некоторых моих работах и с удовлетворением отмечал в них столь дорогую ему простоту.

Он сам был полон ею, этой простотой, этой искренностью. Его безбрежная душа — океан искренности.

Милостивые государыни и милостивые государи!

Надеюсь, вы не думаете, что в своей речи я сумею обрисовать перед вами великого человека и его великие творения во всей их полноте. Для этого недостаточно тех нескольких минут, которые мне предоставлены; понадобились бы многие часы, чтобы измерить хотя бы один палец на ноге колосса. Постараемся все же выразить в немногих словах смысл его творчества и смысл его жизни.

Толстой — это великий урок. Своим творчеством он учит нас, что красота возникает живою и совершенною из правды, подобно Афродите, выходящей из глубин морских. Своей жизнью он провозглашает искренность, прямоту, целеустремленность, твердость, спокойный и постоянный героизм, он учит, что надо быть правдивым и надо быть сильным.

Да, надо быть сильным; надо быть сильным, чтобы не быть жестоким, надо быть сильным, чтобы быть справедливым, чтобы быть добрым, чтобы быть мягким; надо быть сильным даже для того, чтобы улыбаться. Именно потому, что он был полон силы, он был всегда правдив! Слабость не может проповедовать истину. В этом оправдание женщин, говорят мужчины, которые иной раз могли бы привести это оправдание для самих себя. Толстой призывает нас к искренности и тем самым побуждает спорить с ним, если мы думаем, что он ошибается. И этот властитель сердец, призывающий к смирению, покорности, отречению, вдохновляет также самые гордые стремления, самые высокие взлеты духа. Когда он убеждает нас верить, страдать, терпеть, его героическое самоотречение принимает форму такой пылкой борьбы, принимает такой решительный, я бы даже сказал, сокрушительный характер, что он заставляет нас мыслить, сомневаться — и силы наши возрастают.

Мертвые догмы! Живая мысль! Смотрите, вот каким изобразила его рука друга*. Взгляните на этот широкий лоб, на это лицо, отмеченное

* Франс произнес эти слова, повернувшись к бюсту Толстого работы Н. Л. Аронсона, выставленному в актовом зале Сорбонны, где происходило заседание.— *Ред.*



ТОЛСТОЙ

Бюст работы Н. Л. Аронсона, 1901

Был выставлен в Сорбонне 12 марта 1911 г. во время траурного заседания, посвященного памяти Толстого

Собрание Жака Карлю, Париж

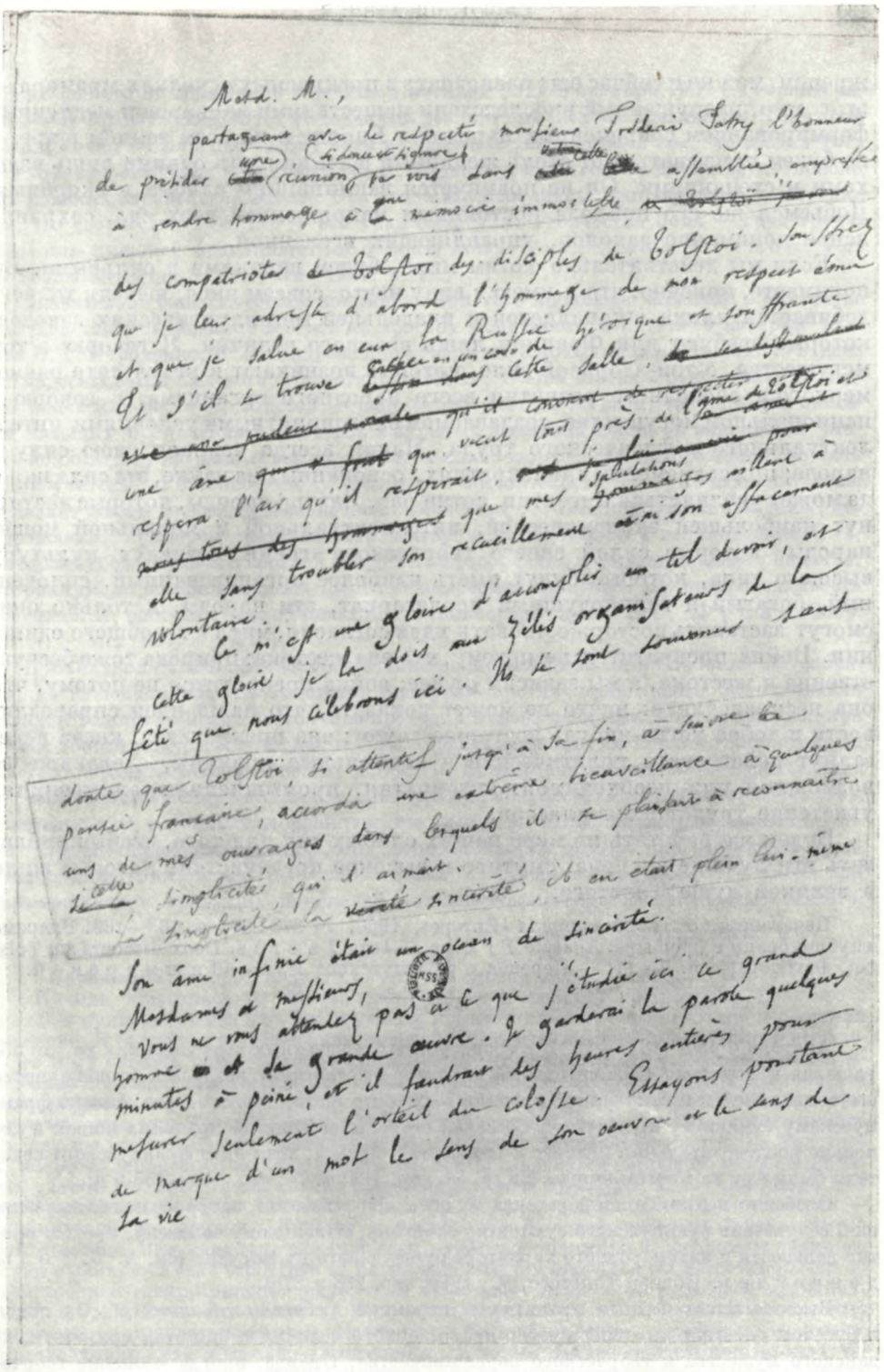
радостью и страданиями. Это — не библия, это — человек. Его сомнения, его ошибки проясняются и очищаются глубоким потоком мысли, всем строем возвышенной жизни. Нет, этот могучий художник, этот поэт не осуждает ни искусство, ни науку.

Толстой, громче твоего Евангелия, громче твоей проповеди в снежной равнине в час твоего преображения, громче твоих пророчеств и твоих притч говорит твой творческий гений, твоя щедрая жизнь и твое открытое всему, всеобъемлющее сердце. Нет, ты не воплощение неведомого, скорбного божества. Ты больше, чем какой-нибудь Мессия. Ты Гомер, ты русский Гете, ты священная река, к которой припадают жаждущие народы. Я говорил о твоих ошибках! Но ты никогда не обманывал нас, ты никогда не обманывал себя, ты всегда говорил правду, ибо ты выражал красоту, а красота — единственная правда, которую дано постичь человеку и которая полностью совпадает с человеческими представлениями и чувствами.

Нет! Толстой не осуждает искусство. Что б он ни говорил, что б он ни делал, он не только не осуждает искусство, он возвеличивает и прославляет его! Даже тогда, когда он его отрицает, он утверждает его. Он тщетно силился освободиться от него. Искусство — в нем, искусство — в самой его плоти, в каждой капле его крови. Искусство — это величие и достоинство человека. Человек становится прекрасным, великим, добрым только через творения рук своих и своего духа, только через Минерву, родившуюся из его мозга (ибо Юпитер — это сам человек!), Минерву, которая сажает оливковые деревья, прядет шерсть, обрабатывает металлы, становится геометром, физиком, законодателем, художником и поэтом и поражает варваров молнией своего копья. Искусства! Окинем их внимательным взглядом. Они порождают друг друга в непрерывном совершенствовании. Из самых скудных вырастают самые величественные. Как искусства, так и науки, ибо Музы — сестры, родившие и астрономию и музыку. Старый Буонаротти сказал как-то в одном из своих философских диалогов с Витторией Колонна: «Первый земледелец, проведший плугом первую борозду на поле, изобрел искусство рисунка, ибо он создал линию».

Так ясному проницательному взору открылась прекрасная гармония человеческого гения. От слабого пения трех струн, натянутых на щит черепахи,— до симфонии Бетховена; от изображений животных, высеченных в известняке острием кремня или вырезанных из оленьего рога пещерным человеком,— до картин Тициана и Рубенса, до статуй Фидия и Микеланджело; от песен и сказок бродячих пастухов, наивных творений, легших в основу «Илиады» и «Одиссеи»,— до трагедий Расина и комедий Мольера; от хижины дикаря — до Парфенона; от наблюдавших ход светил халдейских пастухов и опытов чародеев из Египта и Вавилона — до законов Ньютона и космогонии Лапласа; и, наконец, от времен каменного и бронзового века вплоть до новой эры, когда физика овладела неисчерпаемой энергией тончайшей материи,— во все времена искусство — это сила и радость, величие и доблесть человечества, единственный смысл существования, который находит философ для многострадального и великого племени, завоевавшего владычество над миром. Нет, Толстой не был врагом искусства.

Рассказать о том, каким яростным врагом войны был Толстой и как он боролся с ней — скорей как христианин первых веков, чем как современный философ,— это я предоставлю уважаемому господину Фредерику Пасси. Но я должен сказать еще одно слово. Ибо каждый из нас несет ответственность за решение этого важного вопроса, самого важного из всех вопросов. Всеобщий мир, который римский орел установил впервые после шести веков войны на всем известном тогда пространстве, та богиня мира, чей алтарь, воздвигнутый некогда Августом, императором и



РЕЧЬ АНАТОЛЯ ФРАНСА, ПРОИЗНЕСЕННАЯ 12 МАРТА 1911 г. В СОРБОННЕ НА ТРАУРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПАМЯТИ ТОЛСТОГО

Черновой автограф

Bibliothèque Nationale, Paris

жрецом, можно и сейчас еще распознать в прекрасных осколках мрамора,— этот мир, разрушенный впоследствии нашествиями варваров и медленным формированием современных народов в Европе и на всем земном шаре,— не будем призывать этот столь желанный всем нам мир одними лишь вздохами и стенаниями. Он не повинуется заклинаниям слабых и скорбных. Добьемся же его прихода постоянным напряжением всех сил, сохраняя ясное понимание законов, управляющих вселенной.

Если мы действительно хотим мира, будем великими и сильными. Вы понимаете, конечно, что я имею в виду нечто совсем иное, нежели то, чего добивается клика журналистов и владельцев металлургических заводов, которые требуют для Франции лишь военного величия. Я говорю о том могуществе, о той здоровой силе, которые возникают в результате равномерного и свободного развития всего народного организма, я говорю о национальном могуществе, создаваемом благоприятными условиями интеллектуального и физического труда. Нации всегда черпали свою силу в народе; при современных демократиях, основанных на науке, эта сила народа может увеличиться в десятки, сотни раз. Завтра народы, которые достигнут наибольшей экономической, интеллектуальной и моральной мощи, народы, которые силой своего творческого гения создадут культуру высшего типа, которые будут иметь наиболее организованный, сплоченный, богатый и великодушный пролетариат, эти народы, и только они, смогут заставить восторжествовать идеи согласия, мира и всеобщего единения. Война прекратится не потому, что она жестока: природа тоже бесчувственна и жестока, а мы зависим от нее; война прекратится не потому, что она несправедлива: ничто не может доказать, что наши идеи справедливости и добра когда-нибудь восторжествуют; она прекратится, когда перестанут действовать политические и социальные причины, сделавшие ее возможной или необходимой: автократия, промышленная конкуренция, угнетение трудящихся классов.

Будем же работать по мере наших слабых сил для того, чтобы приблизить эти лучшие времена, смутное и высокое предчувствие которых жило в великой душе Толстого.

Печатается по тексту журнала «Europe», 1960, № 379-380, p. 163—166. Впервые опубликовано в брошюре: Anatole F r a n c e. Jean J a u r è s. Deux discours sur Tolstoï. Paris, 1911, p. 7—11. — Перевод с французского Е. М. Ш и ш м а р е в о й.

Анатоль *Франс* (1844—1924) в своих устных и печатных выступлениях не раз обращался к Толстому. Обличительный характер толстовского реализма, беспощадность его социальной и нравственной критики — вот что было, прежде всего, близко французскому гуманисту и сатирику. Со своей стороны, и Толстой проявлял живой и довольно последовательный интерес к творчеству Франса, хотя идеи французского писателя были ему во многом чужды (см. т. 54, стр. 164; т. 74, стр. 154—155 и др.).

Особенно ценил Толстой рассказ Франса «Кренкебиль», наиболее полно выразивший сочувствие французского гуманиста забитому, маленькому человеку, протест против нелепости и антинародного характера буржуазного правосудия (см. А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 238 и 273).

Высказывания Франса проникнуты огромной любовью к Толстому*. Он видел в русском писателе высокий пример нравственного величия и чистоты, пример гражданского мужества и творческого подвижничества. Правда, иногда к оценке творчества Толстого Франс подходил несколько упрощенно и односторонне. В этом смысле

---

* В яснополянской библиотеке хранится книга Анатоля Франса [«L'Ile des Pingouins» со следующей дарственной надписью автора на латинском языке: «Tolstoi optimo, maximo ex imo Anatole F r a n c e» («Толстому — высочайшему, величайшему от смертного Анатоля Франса»). См. факсимильное воспроизведение надписи в «Лит. наследстве», т. 31-32, 1937, стр. 995.

характерно его высказывание в речи над могилой Золя 5 октября 1902 г. Характеризуя Золя, Франс сказал: «Этот убежденный реалист был пылким идеалистом. То, что он создал, может по величию своему идти в сравнение разве лишь с тем, что создал Толстой. Это два огромных идеальных града, воздвигнутых лирою на двух противоположных полюсах европейской мысли. Оба града эти исполнены великодушия и миролюбия. Но творчество Толстого — это град смирения. Творчество Золя — град труда» («Discours prononcé aux funérailles d'Emile Zola». В кн.: Anatole F r a n c e. Vers les Temps Meilleurs, t. II. Paris, 1906, p. 9).

Значительно более глубокое понимание Толстого проявлено Франсом в его статье «Лев Толстой», написанной в ответ на просьбу юбилейного комитета, в который входили В. Г. Короленко, Л. Н. Андреев и другие, и опубликованной в «Humanité» в день восьмидесятилетия Толстого, 10 сентября 1908 г.* В этой статье Франс писал: «Создатель эпических полотен, Толстой — наш общий учитель во всем, что касается описания внешних проявлений характеров и скрытых движений души; он наш общий учитель по богатству созданных им образов и по силе творческого воображения; он наш общий учитель по безошибочному отбору тех обстоятельств, которые дают читателю ощущение жизни во всей ее бесконечной сложности〈...〉 Толстой служит нам также неподражаемым примером нравственного благородства, мужества и великодушия. С героическим спокойствием и грозной добротой он разоблачил все преступления общества, которое требует от законов лишь одного — закрепить присущую ему несправедливость и насилие. И, поступая так, он оказался лучшим среди лучших» (А. Ф р а н с. Собр. соч., т. 8. М., 1960, стр. 718).

Публикуемая выше речь Франса о Толстом произнесена им в Сорбонне на собрании, посвященном памяти Толстого. Выступая против вульгарного истолкования взглядов Толстого, Франс настойчиво проводил в своей речи мысль о том, что «Толстой не был врагом искусства». Франс не дал анализа социальных причин, побуждавших Толстого отрицать современное ему искусство именно как искусство господствующих классов; но выдвижение им тезиса: «Даже отрицая искусство, Толстой утверждает его», свидетельствует о понимании французским писателем эстетических устремлений Толстого. Важно подчеркнуть также, что, подобно многим другим прогрессивным французским писателям, Франс особенно отметил огромное значение, которое имела для современников и грядущих поколений антимилитаристская деятельность Толстого.

М. Н. Ваксмахер

---

* Парижскому корреспонденту «Русского слова» Франс сообщил в марте 1908 г.: «Ко мне обратились от имени комитета по устройству чествования Толстого с просьбой принять участие во французском комитете. Я дал свое согласие и составил воззвание. Я не могу еще сказать вам, кто войдет в состав нашего французского комитета, но могу сказать одно: чем разнообразнее будут элементы этого комитета, тем лучше. Когда дело идет о таком гении, о таком светоче, о таком гиганте мысли и слова, все искусственные перегородки школ, политических взглядов,— все это должно отпасть. Такие колоссы, как Толстой, так высоко стоят над толпой, что им не возбраняется думать так, как им угодно. Это их привилегия. Я, например, не разделяю взглядов Толстого на „непротивление злу", но из-за этого я не стал бы задаваться вопросом, могу ли я принять участие в чествовании титана общечеловеческой культуры. И такими вопросами никто задаваться не будет. Все избранники французской мысли поспешат — я уверен — откликнуться на призыв. Кстати, я читал, что Толстой восстает против самого празднования. Мне кажется, что при всем глубоком уважении к желаниям великого старца в данном случае (простите за парадокс) Толстой оказался бы в противоречии со своей теорией «непротивления злу», если он считает даже злом подобный праздник. Но это не так. Русскому обществу после всех пережитых им потрясений необходимо дать своим развинченным нервам высокое духовное успокоение устройством грандиозного праздника духа и мысли,— праздника, который найдет себе отклик во всех углах вселенной. Как лишить стомиллионный народ возможности почтить одного из своих сынов, который является, в полном смысле, „мировым учителем". Не как звонкую фразу употребил я в своем воззвании слова „Эллада имела Гомера, Россия дала Толстого". Как лишить все человечество праздника, который хотя бы на один день унес его от житейской сутолоки на высокие вершины царства духа и мысли? В письме, которое я на днях посылаю Толстому, я выскажу ему эту мысль...» («Русское слово», 27 марта/9 апреля 1908 г.— Сообщено Л. Р. Л а н с к и м).— Письмо Франса к Толстому неизвестно.

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ Э. МООДА «ЖИЗНЬ ТОЛСТОГО. ПЕРВОЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ»

Эта книга представляет особый интерес для фабианцев по двум причинам. Во-первых, написанная фабианцем, она, естественно, отвечает на те вопросы, касающиеся жизни Толстого, которые мог бы задать фабианец. Во-вторых, это весьма полезная книга для тех приверженцев социализма, которые считают, что быть социалистом — значит сразу же начать действовать так, словно социализм уже наступил,— т. е. поступать подобно лунатику. А такие люди не перевелись, несмотря на настойчивую пропаганду фабианцев. Дама, которая приводит своих слуг в гостиную, представляет их своим друзьям и говорит слугам, что если они не согласятся, чтобы к ним относились как к братьям и согражданам, то они будут уволены без рекомендательного письма,— такая дама — все еще явление вполне реальное. Ибо вряд ли есть предел поистине ребяческой наивности и отсутствию социального чутья, которые существуют в благовоспитанных, «независимых» кругах нашего общества благодаря нынешней общественно-политической системе.

Наибольшее впечатление производит та часть книги Моода, в которой раскрывается, до какого предела подобного рода безрассудство владело Толстым. Толстой — гений, стоящий в первом ряду этой столь редкой человеческой разновидности. Он обладал и проницательностью, и здравым смыслом. И, тем не менее, даже английская старая дева, живущая в провинциальном городке на триста долларов в год, не сумела бы додуматься до более абсурдных способов установить идеальную общественную систему, чем додумался он. Толстой облачился в мужицкую рубаху — совершенно так же, как в свое время Дон-Кихот в рыцарские доспехи; так же, как Дон-Кихот, он игнорировал деньги. Он оставил свою творческую деятельность ради того, чтобы строить дома, которые едва держались, и тачать сапоги, которых устыдился бы даже подрядчик, поставляющий армейское обмундирование. Подобно самому ленивому из ирландских сквайров, он довел свое хозяйство чуть ли не до упадка и разорения, потому что не одобрял института собственности.

В своих чудачествах он не был ни последователен, ни достаточно честен и прибегал к различного рода увертками. Так, не желая владеть какой-либо собственностью или авторскими правами, он передал и то и другое своей жене и детям и, с превеликими удобствами проживая в их усадьбе в Ясной Поляне или в их московском доме, лишь время от времени облегчал свою совесть тем, что делал их существование возможно более тяжелым и неприятным. Он настаивал на безбрачии, как на главном условии праведной жизни, а его жена рожала тринадцать раз, и даже в семьдесят лет он оставался любящим супругом. В обычной, повседневной жизни он избегал каких бы то ни было обязанностей, ему неприятных, и в то же время пользовался всеми благами, которыми действительно дорожил. Он бранил свою жену и домашних за то, что ему позволяли жить таким образом, и считал жену существом, ниже себя стоящим в этическом отношении,— за то, что она старалась спасти семью от разорения. И так продолжалось до тех пор, пока она, наконец, не махнула на него рукой как на человека неисправимого и не стала руководствоваться по отношению к нему русской пословицей: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Вероятно, многие поклонники Толстого при его жизни отмахивались от этих фактов, как от глупых выдумок, сочиненных теми, кто его не

TOLSTOY CELEBRATION.

Chairman:
EDMUND GOSSE, ESQ.

Committee:

W. E. A. AXON, ESQ.
HON. MAURICE BARING.
J. M. BARRIE, ESQ.
JOHN GALSWORTHY, ESQ.
MRS. GARNETT.
THOMAS HARDY, ESQ.
MAURICE HEWLETT, ESQ.
LAURENCE IRVING, ESQ.
HENRY JAMES, ESQ.
THE EARL OF LYTTON.
AYLMER MAUDE, ESQ.
GEORGE MEREDITH, ESQ., O.M.
PROF. GILBERT MURRAY.
H. W. NEVINSON, ESQ.
G. H. PERRIS, ESQ.
THE LORD REDESDALE, G.C.V.O.
G. BERNARD SHAW, ESQ.
ALFRED SUTRO, ESQ.
PROF. P. VINOGRADOFF.
SIR DONALD WALLACE, K.C.I.E.
THE LORD WEARDALE.
H. G. WELLS, ESQ.

Hon. Secretary: C. HAGBERG WRIGHT,
14, ST. JAMES'S SQUARE,
LONDON, S.W.

Sept. 9. 1908

Dear Count Tolstoy

It is with the greatest emotion that I forward for your kind acceptance this Letter, which has been signed, as you will see, by the living leaders of literature in England, and which represents the feelings of many thousands whom we have not been able to reach

I remain

Dear Count Tolstoy

Yours with deep regard and respect

Edmund Gosse

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ПРИВЕТСТВЕННОМУ АДРЕСУ, ПРИСЛАННОМУ ТОЛСТОМУ АНГЛИЙСКИМИ ПОЧИТАТЕЛЯМИ ПО СЛУЧАЮ ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЯ

Написано на бланке Юбилейного Комитета по чествованию Толстого председателем Комитета Э. Госсом, 9 сентября 1908 г. Членом этого Комитета был и Бернард Шоу

Архив Толстого, Москва

понимал. Но теперь совершенно ясно, что это не выдумки. Дело, конечно, не в том, что Толстой не поддается поверке фактами. Сам он быстро, на опыте, убеждался в том, как докучны его чудачества, и уже никогда не повторял того, что раз ему показалось докучным,— хоть нередко продолжал рекомендовать это другим. И тем не менее спрашиваешь себя, как же он не предвидел неизбежного краха любой попытки уподобить свою жизнь и поведение поведению какого-нибудь ученика Христа в Иерусалиме тысяча девятьсот лет назад. Прочитав книгу Элмера Моода, я готов был ответить на это, что Толстой вообще никогда ничего не предвидел и постиг то, что он постиг, просто-напросто расшибая об это лоб. Читатель-фабианец может тут потерять терпение и воскликнуть, что если я не могу сказать ничего более вразумительного, кроме того, что Толстой был глупцом, то мне следовало бы оставить свой труд и передоверить сочинение предисловия человеку более компетентному. Иные могут резонно заметить, что все мы познаем тот или иной предмет, расшибая об него лоб. Другие же вправе сказать, что Толстой, перебрав все привычные человеческие представления, пройдя все обычные пути мышления, пришел к убеждению, что расширить наши возможности в сфере человеческого поведения (как и всего прочего) можно лишь в том случае, если неустанно стремиться преодолеть невозможное. Читая Толстого, я повторял себе все это. Но возьмем только один эпизод из книги Моода. Толстой пишет «Крейцерову сонату». Домашние и гости Ясной Поляны хотят ее послушать. Толстой отвечает согласием и передает свою рукопись для прочтения одному из гостей. Тот начинает уверенно, затем смущенно заикается и, наконец, говорит графине, что не может продолжать чтение в присутствии молодых девиц. Когда к Толстому обращаются с вопросом, прилично ли барышням слушать его книгу, он спокойнейшим образом отвечает, что для них лучше было бы отправиться спать — что они и сделали прежде, чем чтение возобновилось. Сказать, что Толстой не мог этого предвидеть, было бы равносильно утверждению, будто у него не хватало ума, чтобы понять, что выйти на улицу в дождь без зонта значит наверняка промокнуть. Однако, как свидетельствует рассказанный выше эпизод, он, действительно, не сумел этого предвидеть. И это лишь означает, что он всегда был поглощен своими мыслями и представлениями настолько, что редко снисходил до конкретных практических соображений — в том числе соображений приличия или того, не оскорбляет ли он чувства окружающих,— пока это пренебрежение не приводило к неизбежным неприятным последствиям. Стоит ли удивляться, что графиня так часто почти лишалась самообладания! Моод приводит один эпизод, который показывает, каким черствым и бессердечным делала Толстого его увлеченность своими идеями. Его неожиданные уходы из дому, сопровождавшиеся заявлениями о том, что он не может долее жить прежней жизнью, приобрели особую известность уже после того, как была опубликована эта книга,— вследствие того, что он умер во время последнего ухода. Но когда мы читаем о том, что однажды Толстой вот так же ушел из дому в тот самый момент, когда его жена почувствовала приближение родов, что, по его милости, она несколько часов провела в смертельной тревоге, отказываясь лечь в постель или даже уйти из сада; что потом, наконец вернувшись, он продолжал, несмотря на ее состояние, излагать ей свои обиды и недовольства,— мы только диву даемся, как человек, столь чуткий к созданиям собственной фантазии, мог быть так невнимателен и даже жесток к живым людям — членам собственной семьи.

Если задаться вопросом, как же домашние и близкие мирились со всем этим, то ответом (хоть и неполным) будет следующее: что касается графини, то она вовсе не мирилась с этим, а просто взяла в свои руки ведение тех дел, которыми он пренебрегал, время от времени выговари-

вая ему за это. Эта женщина, должно быть, обладает поразительной силой характера, потому что сумела вынести подобный груз и не надломиться окончательно. И даже если верно то, что сказавшиеся на ней последствия такого напряжения были одной из причин последнего ухода Толстого из Ясной Поляны, завершившегося его смертью,— все равно нельзя ее за это винить.

Но не станем больше говорить о бремени общественных обязанностей, которые Толстой прямо и решительно отказался взвалить на свои плечи.

В сущности, мы не можем всерьез его за это упрекать. Если человек совершает титанический труд на благо всего мира, то едва ли уместно сетовать на то, что он не желает выполнять обычные обязанности, налагаемые обществом и предназначенные для людей совсем иного рода. Однако необходимо сказать, что его собственный творческий труд был бы исполнен во многих отношениях гораздо лучше, если бы он сам управлял своими имениями, сам вел бы свои издательские дела вместо того, чтобы предоставлять всю эту тягостную деятельность своей жене. Кончилось же это тем, что жена превзошла его в умении разбираться в людях и в практических делах, а сам он стал направлять свой талант и влияние на то, чтобы увлечь людей неосуществимыми и опасными прожектами. Несомненно, в этом была своя ценная сторона: Элмер Моод, благодаря тому, что сам некоторое время был членом толстовской общины и принимал участие в деле духоборов, опровергает и разоблачает толстовский анархизм гораздо более действенно и убедительно, нежели он мог бы сделать, не вовлеки его Толстой в подобные авантюры. Это вовсе не значит, что мы оправдываем Толстого за то, что он сбивал Моода с толку — иначе следовало бы оправдывать любой дурной совет. По книге Моода трудно судить, искренне ли Толстой заблуждался (продолжая давать дурные советы так, как если бы они приводили к наилучшим результатам) или он просто-напросто не желал утруждать себя изменением своей точки зрения. К несчастью, Толстой был совершенно неспособен относиться к самому себе с юмором, хотя проявлял беспощадную иронию, когда дело касалось филантропических затей. Например, организуя помощь голодающим с той практической сметкой, которой могло бы позавидовать даже фабианское общество, он, вместе с тем, постоянно высмеивал эту затею, видя всю ее тщетность. Однако когда одна толстовская община стала поистине притчей во языцех — не из-за помощи голодающему населению, а потому, что даже состоятельные люди низводились в ней до уровня нищих,— тут он не дал воли своему чувству юмора. Он убедил себя,— а иной раз ему удавалось убедить и самих членов общины, будто все зло происходит от того, что они еще недостаточно понаделали глупостей. В целом, следует заключить, что в процессе формирования Толстого как личности был один серьезный изъян: ему никогда не приходилось трудиться ради хлеба насущного. Военная служба ему в этом смысле принесла мало пользы. Чему дельному может научиться человек, которого запихнули в артиллерийскую батарею, кормят на убой и заставляют палить в англичан и французов, отвечающих ему тем же! Все, за что бы он ни брался в жизни, было для него лишь игрой, забавой, быстро ему надоедавшей; все — кроме литературы. Здесь он был гигантом. В прочем — в практических делах, в знании людей — он настолько уступает своему биографу, что книга Моода представляет собой сочетание панегириков Толстому и попыток его оправдать. И, в самом деле, Элмеру Моуду пришлось сказать: «Этот человек так велик, так удивителен, что я не мог не признать его своим пастырем даже в делах, в которых он по сравнению со мной ребенок. И я по-прежнему приемлю подобное положение, хотя и обязан показать вам, как чертовски непрактичен он был».

Да и все близкие Толстому люди принуждены были пребывать в подобном положении. Был ли то Чертков, доводивший его причуды до абсурда, или Моод, тщательно проверявший их ценность на собственном опыте, либо же графиня, пытавшаяся уберечь Толстого от этих причуд своей сильной, энергичной рукой,— результат был всегда один и тот же. Главное, чтобы дитя не плакало! И действительно, если ваше дитя разговаривает накоротке с царями, если оно может заставить Европу и Америку слушать себя, затаив дыхание, если оно способно поражать безошибочными ударами самые больные места человеческой совести и сокрушать все барьеры цензуры, все языковые преграды, если оно обрушивает громовые удары на двери самых страшных тюрем и кладет голову под самые острые топоры, а тюрьмы не смеют его поглотить и топоры не смеют на него опуститься,— такое дитя надо нестовать, баловать и ласкать и не мешать ему идти своим путем, вопреки всей мудрости учителей и гувернеров. И автор предисловия здесь так же беспомощен в объяснении, как и все. Толстой — явление, о котором не скажешь: «C'est à prendre ou à laisser» *. Вы не можете не принять его — нравится он вам или нет, и должны принять таким, какой он есть.

Книгу Моода, которая, я думаю, займет место среди лучших биографических произведений нашей литературы, необходимо прочесть, как бы вы ни относились к ее герою.

Печатается по кн.: Aylmer M a u d e. The Life of Tolstoy. First fifty years. Vol. I. London, 1929, p. VII—XII. Впервые опубликовано в журнале «Fabian News», 1911, № 3. — Перевод с английского Б. А. Г и л е н с о н а.

Вниманию читателей предлагается еще одна статья Шоу — его рецензия на книгу о Толстом Э. Моода, известного переводчика и биографа Толстого. Здесь, как и в предыдущей статье, Шоу остроумно (хотя и неглубоко) подмечает противоречия и слабости в мировоззрении и особенно в личной жизни Толстого**, но в то же время восхищается его смелостью, доходящей до дерзости, независимостью его позиции по отношению к власть имущим. Это страстное восхищение Толстым принимает оттенок поэтического пафоса в заключительных словах статьи.

О безграничной смелости Толстого, о могучей силе его отрицания, о разнообразии его сатирических приемов Шоу говорит и в своей речи о Толстом, произнесенной на юбилейном вечере в Лондоне 30 ноября 1921 г. (см. «Яснополянский сборник». Тула, 1960, стр. 187—189).

Разумеется, Шоу далек от подлинного и глубокого понимания толстовских противоречий, ключ к которому дал В. И. Ленин в своих статьях о Толстом. Для Шоу эти противоречия, в сущности, необъяснимы и выводятся только из гениальности Толстого, соединенной с практической наивностью.

З. Т. Г р а ж д а н с к а я

---

* «Можете принять или не принимать» (франц.).

** Отметим следующее высказывание Шоу о С. А. Толстой в письме его к переводчице некоторых статей Толстого, сотруднице В. Г. Черткова, Ф. М. Степняк (от 16 июня 1911 г.):

«Большое спасибо за статью. Она не меняет сущности дела. Что же могла поделать эта несчастная женщина, живя в постоянном ужасе перед тем, что он разорит их всех, если она не будет все время бдительно бороться за сохранение семейной собственности. Без сомнения, она немного помешалась от длительного напряжения и многих беременностей и стала, наверное, такой же нетерпимой к нему, каким он, должно быть, бывал временами к ней; но как обвинять ее? Он был поразительно неосмотрительным человеком при всей своей гениальности.

Дж. Бернард Ш о у

Адрес: М-с Степняк.
Обломовка, Нортон, Лечворт, Хертфордшир».

Приведенный выше текст написан на обороте открытки с портретом Шоу (*ЦГАЛИ*, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 799). — Сообщено и переведено с английского М. И. П е р е р.

ГЕРХАРТ ГАУПТМАН

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Толстой тысячами корней врос в нашу эпоху. Мы чествуем его как великого человека и художника! Велика, по-человечески велика была его борьба с самим собою. Он был слишком всеобъемлющ, слишком грандиозен как художник и как человек, чтобы прийти к тому, к чему пришел Шакья-Муни и на чем стояли христиане I века. Сила, а не слабость помешала ему опростить свою жизнь, как того требует строгая последовательность в отношении его учения. Дело жизни Толстого — это его творения, и они слишком отмечены печатью гения, чтобы служить образцом! Образцом должны служить его гуманность, его кристально чистая мысль. Будь он в живых, он поднял бы свой голос, и голос его был бы услышан, как ничей другой. И голос этот звал бы к миру, звал бы с огромной силой к подлинному миру.

О, если бы в наши дни зазвучал подобный голос! О, если б Толстой мог воскреснуть, чтоб открыть людям путь к самопознанию и всеобщему миру!

Печатается по кн.: Graf Leo T o l s t o i. Die Kreutzersonate. Berlin, 1922, S. 5.— Впервые опубликовано (с вариантами) в газете «Vossische Zeitung», 21.XI 1920.— Перевод с немецкого С. А. Р о з а н о в о й.

Интерес к Толстому Герхарт *Гауптман* (1862—1946) начал проявлять еще в самом начале своей творческой жизни — в 1880-х годах. Под влиянием знакомства с романами и публицистикой Толстого и Достоевского, он в 1888 г. задумал роман об Иисусе (замысел этот остался неосуществленным). Особое значение в творческой биографии Гауптмана имело его знакомство с драмой Толстого «Власть тьмы». В автобиографическом сочинении «Приключения моей юности» Гауптман признавался: «Когда я прочел „Власть тьмы" Толстого, то увидел в нем человека, который благодаря своему природному дарованию начал там, где я хотел в старости, с помощью медленно приобретаемого мастерства, кончить» (Gerhardt H a u p t m a n n. Ausgewählte Prosa. Das Abenteuer meiner Jugend. Bd. III. Berlin, 1956, S. 674). В творчестве Толстого в целом и в драме «Власть тьмы» Гауптман находил опору для борьбы с натуралистическими тенденциями и декадентством. Толстой способствовал усилению в ранней драматургии Гауптмана общественно-критической направленности, отвращения к буржуазной действительности, стремления к правдивому освещению жизни трудового народа («Перед восходом солнца», «Ткачи» и др.). В его пьесе «Роза Бернд» наблюдается даже известное сюжетное сходство с драмой Толстого «Власть тьмы».

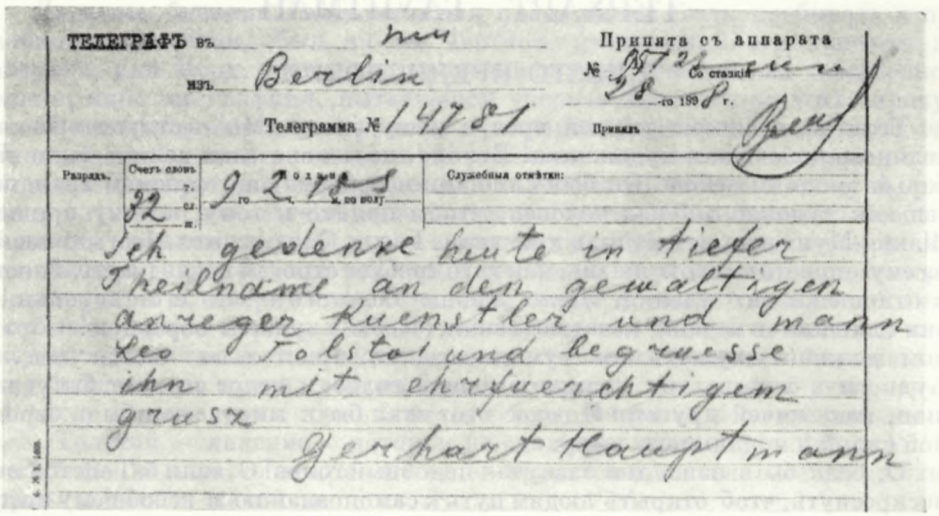
Гауптман испытал на себе влияние и религиозных взглядов Толстого. В вышедшем в 1910 г. романе «Глупец во Христе Эммануэль Квинт» заметны элементы толстовского христианства, религиозного мистицизма.

Писатель не был лично знаком с Толстым и не находился с ним в переписке, но он пользовался всякой возможностью высказать свое отношение к нему, свою любовь и признательность. Так, 28 августа 1898 г., в день семидесятилетия Толстого, он поздравил его телеграммой: «Я вспоминаю сегодня с глубоким сочувствием великого вдохновителя, художника и человека Льва Толстого и почтительно его приветствую. Герхарт Г а у п т м а н» — *АТ*.—См. след. стр.

К восьмидесятилетию Толстого он снова прислал телеграмму: «Великому человеку с глубочайшим восхищением выражаю самые теплые пожелания. Герхарт Г а у п т м а н» (Н. Н. Г у с е в. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, т. II. М., 1960, стр. 644).

Гауптман откликнулся и на смерть Толстого (см. кн. 2-ю настоящ. тома).

В день десятилетия со дня смерти Толстого, на собрании писателей и журналистов в Берлине, на котором присутствовали не только русские, но и немцы, было оглашено письмо Герхарта Гауптмана, в котором он писал: «Десятилетие со дня смерти



ТЕЛЕГРАФЪ въ ... Принята съ аппарата
изъ Berlin
Телеграмма № 14781
Разрядъ. Счетъ словъ 92 Служебныя отмѣтки:

Ich gedenke heute in tiefer
Theilnahme an dem gewaltigen
anreger Kuenstler und mann
Leo Tolstoi und begruesse
ihn mit ehrfuerchtigem
gruss
Gerhart Hauptmann

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА, ПОЛУЧЕННАЯ ТОЛСТЫМ КО ДНЮ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ 28 АВГУСТА 1898 г. ОТ ГЕРХАРТА ГАУПТМАНА
Архив Толстого, Москва

Толстого — и для нас, немцев, серьезная и важная дата, имеющая все моральные основания требовать нашего внимания» («Vossische Zeitung». Berlin, 21.IX 1920). Это письмо Гауптмана и публикуется нами выше — по несколько переработанному тексту, появившемуся в качестве предисловия к немецкому изданию «Крейцеровой сонаты», 1922.

И в последующие годы интерес Гауптмана к Толстому не угасал. По свидетельству мемуариста *И. Шапиро*, автора книги «Разговоры с Герхартом Гауптманом», немецкий драматург в своих беседах неоднократно обращался к творчеству и, особенно, к личности русского писателя. В сентябре 1928 г. Шапиро записал обстоятельную беседу о Толстом. «Прежде я видел в Толстом современного Савонаролу, слабенького Лютера, разрушителя форм, мятежника,— заметил Гауптман.— С тех пор, как он оставил свой дом, чтобы умереть в крестьянской избе, я вижу его в образе бродяги, странника, который оставляет позади огромный путь, чтобы, наконец, обрести себя самого... В молодости меня интересовал прежде всего Толстой-художник. Я любил его образы, я восхищался жизненностью его героев, мастерством создания женских портретов. Позднее я любил протестанта, который часто мне казался Дон-Кихотом, потому что он на все отзывался, на все откликался, против всего протестовал — и не только против официальной религии, правительства, современного государства и собственности,— но также и против социализма, смертной казни, школьного образования, медицины... В последнюю минуту он порвал все путы, и я увидел подлинного Толстого; с тех пор Толстой интересует меня только как человек, который сотворил чудо, приведя к единству свои склонности и идеи» (Joseph Chapiro. Gespräche mit Gerhardt Hauptmann. Berlin, 1932, S. 95, 107—108.— Сообщено директором Гауптмановского музея (ГДР) — *А. Мюнхом*).

Незадолго до смерти, в день, когда Гауптмана посетил Иоганнес Бехер совместно с группой советских военных журналистов, он написал письмо в газету «Tägliche Rundschau», в котором, как бы подводя итоги своего литературного пути, подтвердил, что роль Толстого в его литературном развитии была особенно значительна. «Мои литературные корни уходят в Толстого, я никогда не стал бы отрицать этого. Моя драма „Перед восходом солнца“ была оплодотворена „Властью тьмы“. Отсюда этот своеобразный смелый трагизм. Эпоха нашей юности была богата литературными ценностями, доходившими до нас в переводах с русского. Семена, давшие у нас всходы, были большей частью выращены на русской почве». («Tägliche Rundschau», 11.X 1945, № 129).

С. А. Розанова

ЖАН РИШАР БЛОК

ТОЛСТОЙ И ДОБРОВОЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Наука и искусство так же необходимы, как пища и питье, даже необходимее ‹...› ‹Но их› деятельность ‹...› только тогда плодотворна, когда она не знает прав, а знает одни обязанности... Если люди действительно призваны к служению другим духовной работой, то они с самоотвержением будут исполнять ее.

Л. Н. Толстой

...Когда я думаю о своей юности, мне прежде всего вспоминаются бесконечные споры по вопросам морали и эстетики. Что касается бога, должен признаться, что с этой проблемой мы покончили уже во втором классе. Думается, что с тех пор мне ни разу не пришлось обсуждать ее с кем-либо из моих товарищей по лицею, по полку, по университету. Лишь один Гюисманс с его «В дорогу!» ненадолго смутил меня — и то потому, что он смутил одного из моих лучших друзей. К тому же достаточно сказать, в ключе каких чувств звучала эта религиозность: она походила на религиозность «Парсифаля», открытие которого, примерно в те же годы, повергло нас в смятение. Нынешние последователи Фомы Аквинского не преминут здесь насмешливо улыбнуться.

Однако в основе всех наших дискуссий неизменно обнаруживалось одно имя, одна мысль, одно влияние: Толстой. Вы, конечно, можете сами догадаться, с какой беспощадностью его слова переворачивали вверх дном чуткие души западных юношей. Я думаю здесь не столько о женоненавистнике «Крейцеровой сонаты», сколько о неумолимом теоретике, авторе статьи «Что такое искусство?». То, что самый великий художник


Numéro 67 15 Juillet 1928

EUROPE

Revue mensuelle

NUMÉRO SPÉCIAL CONSACRÉ A TOLSTOÏ
A l'occasion du centenaire de sa naissance

MAURICE-PARIJANINE.. .. *L'Unité de Léon Tolstoï.*
STEFAN ZWEIG. .. .. *Le Dieu Pan.*
ROMAIN ROLLAND .. *La Réponse de l'Asie à Tolstoï.*
PAUL BIRUKOV. .. .. *Les Doukhobortsi.*

T. A. KOUZMINSKAIA, née BHERS. .. .. *Souvenirs.*
T. SOUKHOTINE-TOLSTOÏ .. *Sur la mort de mon Père.*
LÉON TOLSTOÏ.. .. .. *Lettres à sa fille Tatiana.*
SERGE TOLSTOÏ .. .. *Les derniers jours de ma mère.*

ALAIN.. .. .. *Anna Karénine.*
JEAN-RICHARD BLOCH. .. .. *Tolstoï et la servitude volontaire.*
RENÉ FULOP-MILLER .. .. .. *Tolstoï et Dostoïevski.*
ÉTIENNE BURNET .. .. *Tolstoï et la Mort.*
PIERRE ABRAHAM .. .. *La Figure humaine dans « Guerre et Paix ».*
JEAN PRÉVOST. .. .. *Tolstoï éducateur.*

Tolstoï en 1905. — Tolstoï et Tchekhov. — Tolstoï et Maxime Gork i. — Portrait de Tolstoï par Répine.

LES ÉDITIONS RIEDER - PARIS
7, PLACE SAINT-SULPICE, 7

10 fr

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ФРАНЦУЗСКОГО ЖУРНАЛА «EUROPE», ВЫПУЩЕННЫЙ К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТОЛСТОГО (1928 г., № 67. 15 ИЮЛЯ)

Титульный лист журнала с оглавлением

нашего времени мог с такой резкой грубостью говорить о музыке, о Вагнере, о поэзии, о театре,— уже это одно заставляло нас над многим задумываться. Но еще в большей мере, чем его поучительные притчи или эстетические трактаты, самую суть его учения доносили до нас «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», «Воскресение». Уроки, которые давал нам этот человек, дополнялись его враждебным отношением к франко-русскому союзу и его протестами против русско-японской войны.

Это влияние мы ощущали не только в его собственном творчестве. Оно приходило к нам от всей литературы того времени — и прежде всего от «Жана-Кристофа». Среди многочисленных причин, которые привлекали к этому произведению подростков тех лет, я хочу остановиться сегодня лишь на одной. В герое книги, Жане-Кристофе, борются между собой два элемента, которые мучат и нас и которые вечно мучили весь мир: неистовое развитие личности и смиренная, гордая верность личности всему человечеству. С одной стороны — свирепый бунт, отказ от покорности, могучие порывы к свободе, с другой — растущее вместе с ростом личности ощущение своего долга перед средой, своей принадлежности к ней. Жан-Кристоф глубоко пропитан толстовской мыслью. Вместе с Пеги, вместе с Жоресом он содействовал тому, чтобы возвести вокруг нас крепость человеческих обязательств и нравственного долга.

Я никогда не забуду один весенний вечер на террасе маленького кафе на площади Сен-Мишель. Это было в пору наших выпускных экзаменов. Весна золотила сумерки и придавала волнующую окраску окружавшим нас картинам разложения и разврата. Вокруг сладострастно мерцали тротуары, нежно струилась Сена, неистово сверкали огни ресторанов, шумела толпа Латинского квартала — как всегда, наполовину бродяжническая, наполовину мятежная. Было много девиц, и довольно красивых, а нам было по девятнадцати лет. В тот вечер мы долго спорили. Словно одержимые навязчивой идеей, что, несомненно, объяснялось нашим возрастом, мы без конца сводили разговор к одной и той же теме — к теме, которая, возможно, удивила и рассмешила бы послевоенную молодежь, потому что речь у нас шла о проститутках, об их высоком достоинстве и об уважении, с которым к ним нужно относиться. Помнится, мы дали в тот вечер клятву глубоко уважать их. Только что появилось «Воскресение». Буржуазия смеялась над этой книгой, но была под сильным впечатлением от нее. Многих из тех, кто входил в нашу группу, уже нет в живых,— но до конца своих дней они оставались верны этой клятве.

Хочется привести еще одно воспоминание, без всяких комментариев. 20 августа 1914 года наш полк получил боевое крещение и потерял на поле битвы четверть своего состава. В этом полку нас было пять человек — преподавателей одного лицея — и большое число образованных людей. Я вспоминаю, что вечером, когда все роты перемешались в беспорядочном отступлении, небольшая группа этих «интеллигентов» случайно оказалась в какой-то деревушке, в которой мы принялись готовиться к обороне. И пока мы работали, пока мы бодрствовали, одна и та же величественная картина неодолимо возникала перед всеми нами, перед людьми, несколькими часами раньше взглянувшими в лицо своей судьбе: картина «Войны и мира», образ князя Андрея, поле боя при Аустерлице. Я считаю достойным особого упоминания тот факт, что никакую другую ценность из всего завещанного нам нашей культурой не сочли мы в тот вечер способной стать вровень с испытанием, которое мы только что выдержали, способной дать нам наставление, как жить дальше.

Да, «служить» — таков был лозунг нашей юности. Жорес, Ромен Роллан, Пеги перевели его нам на французский язык, но первоначальное слово было произнесено Толстым. Первоначальное? Нет, потому что он

сам в 1846 году воспринял его от Руссо. Да впрочем, так ли уж важно, что предварительно он перевел его с французского на русский? Он придал ему современную форму. Его гениальность в том, что он сумел из «Исповеди» и «Эмиля» сделать пищу, непосредственно пригодную для нашего усвоения.

Итак, нашим идеалом было «добровольное служение». Самое тяжкое, самое тревожное, самое унизительное заключается в том, что урок трех этих великих, объявленных вне закона людей — Ла Боэси, Руссо, Толстого (впоследствии нам предстояло добавить к ним Уитмена) — способствовал превращению нас в 1914 году в примерных подданных. Человеческому духу свойственны подобные дьявольски-хитроумные уловки.

Печатается по кн.: Jean Richard B l o c h. Destin du Siècle. Second essais pour mieux comprendre mon temps. Paris, 1931, p. 61—79. Впервые опубликовано в журнале «Europe», 1928, № 67, 15.VII, p. 521—537. — Перевод с французского М. Н. В а к с м а х е р а.

В 1931 г. в Париже вышла публицистическая книга Жана Ришара *Блока* (1884—1947) «Судьба века» («Destin du Siècle»). Входящие в нее отдельные статьи и очерки посвящены разным социальным, идеологическим, историко-культурным проблемам; но книге присуща известная цельность, подчеркнутая и в подзаголовке: «Второе эссе для лучшего понимания моего времени». Важное место в книге занимает статья «Толстой и добровольное служение» («Tolstoï et la Servitude Volontaire»), написанная Блоком в 1928 г. в связи со столетием со дня рождения Толстого и частично публикуемая выше. Толстой, книги Толстого, взгляды Толстого — весь облик русского гения — помогают французскому писателю понять сущность своей эпохи, определить место художника в битвах времени (см. также «Europe», 1960, № 379-380, p. 44—55).

Блок — крупный прогрессивный писатель и общественный деятель Франции, борец-коммунист, автор романов и новелл, драматург и критик. Еще накануне первой мировой войны он основал журнал «Effort», в котором страстно и последовательно выступал за боевое, действенное искусство. Именно в эти годы Блок с огромной радостью воспринимает критику Толстым «кастового искусства, литературы, социологии, науки». Блок восторженно благодарил Ромена Роллана за книгу «Жизнь Толстого», за пропаганду толстовского неприятия искусства сытых и довольных. Однако в этот период Блок был еще во многом безоружен по отношению к толстовскому учению. Пройдя суровую школу в окопах первой мировой войны, восприняв идеи Октябрьской революции, Блок пересматривает свои взгляды, выражает критические мысли о системе философских воззрений Толстого в целом. Статья «Толстой и добровольное служение» дает яркую картину воздействия Толстого на прогрессивных французских интеллигентов конца XIX — начала XX в., прошедших путь от расплывчатого пацифизма к революционному антимилитаризму.

Отметим, в заключение, следующий, не лишенный интереса факт. Зимой 1943 г. Т. Л. Мотылева обратилась к Блоку с вопросом — как он относится к Толстому и как Толстой повлиял на него. Блок ответил: «Вы читали мою статью „Толстой и добровольное служение“? Там все самое существенное, что я могу сказать по этому вопросу». Это доказывает, что Блок и в последние годы жизни сохранил то отношение к Толстому, которое было запечатлено в статье 1928 г. (Сообщено Т. Л. Мотылевой).

«Добровольное служение», или, точнее, «Добровольное рабство» («Servitude Volontaire») — термин, заимствованный Блоком из высоко ценимого Толстым трактата Ла Боэси «О добровольном рабстве», 1578 — таков был идеал группы французской радикальной молодежи, к которой принадлежал Блок. На Блока и его друзей, решительно отказавшихся от лозунга Морраса «Прежде всего политика» и заменивших его принципом «Прежде всего социальное», особенное влияние оказал провозглашенный Толстым примат общественного назначения искусства, «ответственности искусства перед людьми». Примат этот непримиримо противостоял эгоистическим и паразитическим теориям декадентства и буржуазного политиканства.

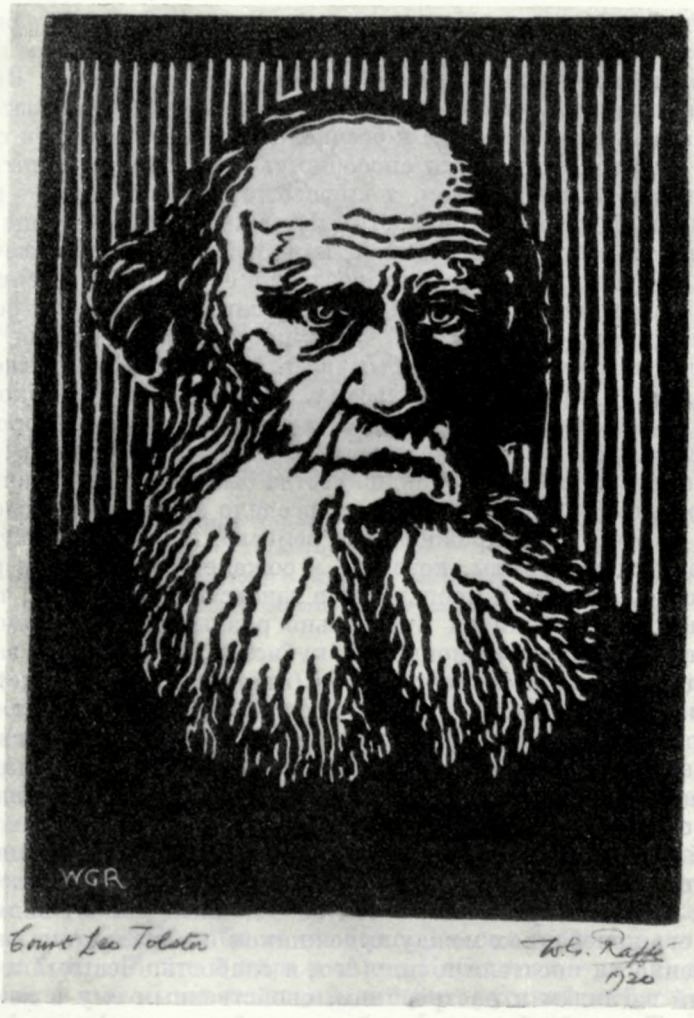
М. Н. В а к с м а х е р

ДЖОН ГОЛСУОРСИ

«АННА КАРЕНИНА»

Толстой — пленительная загадка. Не думаю, чтобы в ком-нибудь другом так своеобразно сочетались художник и реформатор. Проповедник, столь явственно взявший в нем верх в последние годы жизни, заслонял Толстого-художника уже в годы создания «Анны Карениной». Моралист дает себя знать даже в заключительной части величественнейшего романа «Война и мир». В его творчестве всегда ощущается духовная двойственность. Это поле сражения, на котором мы замечаем непрерывное усиление и ослабление внутреннего конфликта, нарастание гигантского разлада. Объяснение причин этой таинственной двойственности мы предоставим медикам, ибо, по их утверждению, человеческая индивидуальность определяется деятельностью желез, так что когда у нас чрезмерно развит гипофиз, мы становимся художниками, если же недоразвиты надпочечники — так, кажется, это называется? — мы превращаемся в моралистов.

Если бы я захотел назвать роман, к которому можно было бы приклеить этикетку «величайший из когда-либо написанных» (выражение, столь любимое велеречивыми участниками различных симпозиумов), мой выбор остановился бы на «Войне и мире». В нем Толстой мастерски справляется с двумя темами одновременно, подобно виртуозному цирковому наезднику, который умудряется скакать на двух лошадях разом и, несмотря ни на что, добирается до дверей конюшни целым и невредимым. Секрет его успеха в том захватывающем интересе, который придан его талантом, его творческой энергией каждой написанной им странице. Эта книга раз в шесть длиннее обычного романа, но она держит читателя в постоянном напряжении и никогда ему не надоедает. Поистине огромны пласты, поднимаемые ею,— тут и дела обыденные, житейские, и исторические события; жизнь высших слоев общества и жизнь всего народа. «Анна Каренина» немногим уступает этому шедевру. Тоже чрезвычайно объемистая, эта книга знакомит нас с шестью наиболее яркими толстовскими характерами — старым князем, его дочерью Кити, Степаном Аркадьевичем, Вронским, Левиным и самой Анной. Никогда не создавал Толстой более верного и блестящего образа, чем образ Степана Аркадьевича, этого законченного типа светского человека тогдашней России, подобия которого хорошо знакомы автору этого предисловия. Начальные главы, описывающие Степана Аркадьевича в один из затруднительных моментов его жизни,— поистине великолепны. Что касается образа мужа героини — Алексея Александровича, то он вызывает в нас те же чувства, что и в Анне. Первые части этого замечательного произведения наиболее сильные, ибо автору не удалось убедить меня в том, что Анна в тех обстоятельствах, в которых она изображена, могла покончить жизнь самоубийством. В начале романа она нарисована Толстым такой живой, полнокровной женщиной, что невозможно поверить, что в финале не автор расправляется с ней по собственному произволу, а она сама кончает с собой. В самом деле, Анна — человек, полный тепла и энергии, слишком жизнеспособный, чтобы кончить так, как она кончила. Финал романа кажется нам неожиданным и преднамеренным, автор словно бы восстал в нем против собственного своего создания. И приходишь к мысли, что Толстой начинал писать свою книгу свободно, с ничем не ограниченными человеческими симпатиями и широким взглядом на вещи, но годы, предшествовавшие завершению его труда, незаметно изменили его мировоззрение и дело кончилось тем, что проповедник взял верх над художником. Надо сказать, что это не такое уж редкое явление — когда писатель недооце-



ТОЛСТОЙ
Гравюра английского художника У. Раффе, 1920
Музей Толстого, Москва

нивает жизнеспособность, жизнестойкость своих созданий. Примером подобного же просчета является самоубийство Полы из «Второй миссис Тэнкерей» *. Женщины с таким прошлым обладают слишком большой волей к жизни, чтобы кончать самоубийством,— это возможно разве только в пьесах и романах. Но даже и с этой оговоркой «Анна Каренина» остается блестящим изображением русского характера, замечательной картиной русского общества,— картиной, которая оставалась верной (за малыми исключениями) вплоть до самой войны.

Метод Толстого в этом романе, как и во всем его творчестве,— собирательный; он накапливает бесконечное количество фактов и жанровых деталей. В противоположность Тургеневу, метод которого заключался в тщательном отборе и концентрации, в воссоздании атмосферы и в поэтической гармонии художественных средств, Толстой входит во все мелочи,

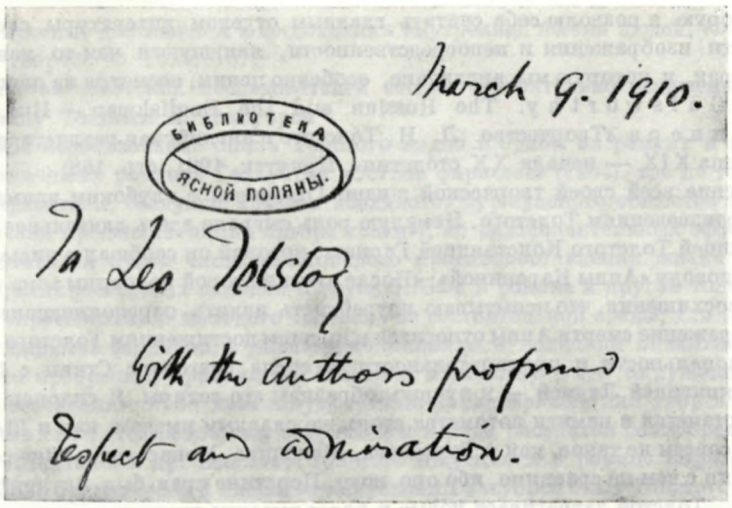
* Пьеса Артура Пинеро (1855—1934), написанная в 1893 г. — *Ред*

все договаривает до конца, почти не оставляя места воображению, но пишет он с такой силой и так свежо, что всегда интересен. Сам по себе его стиль, в узком смысле этого слова, ничем не примечателен. Во всех его произведениях видишь, что он больше озабочен тем, что́ сказать, нежели тем, как сказать. Но попробуем к бесчисленным определениям стиля прибавить еще одно: «Стиль — это способность писателя устранять все преграды между собой и читателем, а высшее торжество стиля — в установлении подлинной духовной близости». И если это определение у многих выбьет почву из-под ног, то Толстой, напротив, окажется замечательным стилистом. Ибо ни один писатель не создает в своих произведениях такого осязаемого ощущения подлинной жизни, как Толстой. Он совершенно лишен скованности, которая так часто портит произведения писателей с отточенным стилем. Толстой был всегда во власти порывов — либо творческих, либо преобразовательских. Он никогда не обходил стремнину, не осторожничал — то есть был чужд основному пороку современного искусства.

Для того, чтобы произведение искусства было живым и значительным, оно должно быть создано художником, всецело захваченным своей темой. Все прочее — это лишь упражнения в ремесле, помогающие художникам передать те высшие порывы, которые, к сожалению, слишком редко возникают в нем. С писателем происходит в точности то же самое, что и с живописцем, который полжизни мучительно размышляет над тем, кем ему следует быть,— постимпрессионистом, кубистом, футуристом, экспрессионистом, дадаистом, паулопостдадаистом (или кто там есть еще), который неустанно изобретает новую и удивительную технику, меняет свои эстетические воззрения и чье творчество (как и настроение) — искусственно и экспериментально. Только тогда, когда тема полностью овладевает писателем, разрешаются все сомнения относительно способа ее выражения, и на свет рождается подлинный шедевр.

Главной отличительной чертой Толстого-романиста является, конечно, его неизменная искренность, его непоколебимое стремление выразить самым полным образом то, в чем он в данный момент видит истину. Памятуя о его колебаниях между художником и моралистом, мы находим в этой особенности писателя и силу его, и слабость. Честный и откровенный, верный взглядам и настроениям, свойственным ему в каждый данный момент, Толстой обладал силой, которой лишено философское мышление как таковое, но зато ему недоставало гармонии стиля. Его природная сила доказывается уже одним тем, что, перечитывая после многолетнего перерыва его книги, вы вспоминаете почти каждый абзац. Только Диккенс и Дюма, пожалуй, могут сравниться с ним в этом отношении.

Образ Левина — это, вне всякого сомнения, автопортрет, или, по крайней мере, отображение тех черт характера самого Толстого, которые в тот период особенно его заботили. Совершенно очевидно, что в главах, посвященных жизни Левина в деревне, рассказывается о поисках, чувствах и настроениях самого Толстого как раз в ту пору, когда он начал глубоко задумываться над смыслом жизни и развивать свою «крестьянскую» жизненную философию. И в этой части романа мы также чувствуем, что за художественными образами стоит страстная проповедь. Вся творческая жизнь Толстого после создания этого романа была во многом посвящена доказательству того, что его чувства и его ви́дение мира совпадают с восприятием самого простого человека. И на протяжении всех этих длительных попыток мы ощущаем ту несообразность, то отклонение от правды, которое происходит всегда, когда художник и мыслитель пытаются как бы «влезть в шкуру» обычного человека или, вернее, впихнуть его в свою собственную. Наглядным примером подобного отклонения от



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ДЖОНА ГОЛСУОРСИ НА КНИГЕ «JUSTICE» (LONDON, 1910)

«Марта 9-го, 1910 г. Льву Толстому с глубоким уважением и восхищением от автора
Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

правды может служить один из ранних рассказов Конрада — «Возвращение», в котором некий весьма трезвый англичанин — совершенно в славянской манере,— долго и запутанно на многих страницах терзается из-за ухода своей супруги. В свете исторических фактов, а также работ недавних исследователей, мы вправе усомниться в том, действительно ли Толстой понимал русского крестьянина, которого он возвысил до роли арбитра в вопросах жизни и искусства. Быть может, и понимал, насколько вообще мог понимать аристократ. Но он не был столь близок к плоти и крови России и к русской душе, как Чехов, вышедший из народа и знавший его изнутри. Как бы то ни было, Россия в таких замечательных произведениях, как «Война и мир» и «Анна Каренина»,— это Россия прошлого, впрочем — это тот внешний покров русской действительности, который ныне разрушен и никогда уже не будет восстановлен. И как счастливы мы, что у нас сохранились два таких великих полотна, запечатлевших ушедшую эпоху.

Хемпстед. Апрель 1926 г.

Печатается по кн.: «Anna Karenina». A novel by Leo T o l s t o y. With an introduction by John Galsworthy. «Tolstoy Centenary Edition», vol. 9. London, 1937, p. VII—XI. Впервые опубликовано в журнале «Bookman», 1928, VIII, p. 243—245.— Перевод с английского Б. А. Г и л е н с о н а.

Джон *Голсуорси* (1867—1933) вошел в историю литературы как выдающийся представитель критического реализма. Несмотря на буржуазно-охранительные черты своего мировоззрения, особенно усилившиеся в поздний период его творчества, он создал широкие и полнокровные картины английской действительности, содержащие острую, морально-этическую по преимуществу, критику собственнического мира.

В художественном развитии писателя немалую роль сыграло плодотворное изучение творчества великих мастеров европейской и, прежде всего, русской литературы — Тургенева, Чехова и особенно Толстого. «Ваша литература,— писал Голсуорси в статье „Русский и англичанин“ (1916), обращаясь к русскому народу,—имела огромное влияние на нашу в течение последних двадцати лет. Русский роман〈...〉явился главной живительной струей в современной литературе〈...〉Ваши писатели внесли в беллетрис-

тику, которую я позволю себе считать главным отделом литературы, свежую струю правдивости изображения и непосредственности, явившуюся чем-то новым для западных стран, и которую мы, англичане, особенно ценим, несмотря на нашу рассудочность» (J. Galsworthy. The Russian and the Englishman.— Цит. по книге Э. П. Зиннера «Творчество Л. Н. Толстого и английская реалистическая литература конца XIX — начала XX столетия», Иркутск, 1961, стр. 168).

В течение всей своей творческой жизни Голсуорси с глубоким вниманием относился к произведениям Толстого. Немалую роль сыграло здесь длительное знакомство с переводчицей Толстого Констанцией Гарнетт, которой он сообщал в письме от 10 мая 1902 г. по поводу «Анны Карениной»: «После чтения второй половины тома я настолько исполнен восхищения, что испытываю потребность излить переполняющие меня чувства. Изображение смерти Анны относится к высшим достижениям Толстого с точки зрения эмоциональности и проницательности, а сцена разговора Стивы с Карениным, Ландау и княгиней Лидией — к лучшим образцам его сатиры. Я склонен думать, что Толстой останется в памяти потомства столь же славным именем, как и Шекспир. Его искусство совсем не такое, как у Тургенева, Шекспира, Мопассана,— оно совсем иного рода. Оно ни с чем не сравнимо, ибо оно ново. Поистине прав был Эдуард*, когда сказал вчера: „Толстой затрагивает новые и более высокие ступени самопознания, а следовательно и анализа“» («Letters from J. Galsworthy», 1900—1932. London, 1934, p. 36).

В письме к Э. Гарнетту от 24 апреля 1910 г. Голсуорси поделился своими впечатлениями от прочитанной им книги М. Бэринга «The Landmarks of Russian Literature» («Вехи русской литературы»). «Я согласен,— писал он,— что Толстой и Достоевский достигают таких высот, до каких не пытается подняться Тургенев» (ibid., p. 177). В письме к тому же адресату от 5 апреля 1914 г. Голсуорси уже ставит Толстого выше Достоевского, а спустя несколько дней в письме к нему же, критически оценивая роман Д. Лоуренса «Сыновья и любовники» (1913) с его эротико-фрейдистскими мотивами, делает в высшей степени важное замечание: «...Люди, именами которых мы клянемся,— Толстой, Тургенев, Чехов, Мопассан, Флобер, Франс,— знали одну великую истину: они изображали тело, и то скупо, но лишь для того, чтобы лучше показать душу» (ibid., p. 218). Голсуорси не случайно первым называет имя Толстого в той плеяде писателей-реалистов, которые противостоят литературе декаданса. И за год до смерти, в 1932 г., Голсуорси писал, что продолжает читать Толстого, причем в большей степени как «романиста-мастера, чем проповедника» («The Life and Letters of John Galsworthy», by H. V. Marrot. New York, 1936, p. 803). Он считал «„Войну и мир“ лучшим романом, когда-либо написанным» (J. Galsworthy. Works, vol. 13. London, 1935, p. 129), а «Воскресение»— одним из шедевров мировой литературы (ibid.).

Опыт Толстого-художника широко и многообразно преломлялся в творческой практике Голсуорси; к нему в полной мере может быть приложено суждение английского литературоведа Эми Круз: «Толстой в наибольшей степени повлиял на английскую мысль. Ни один литератор, писавший на социальные, религиозные или философские темы, не мог пройти мимо него» (Amy Cruse. After the Victorians. London, 1938, p. 107).

Думается, что влияние Толстого на Голсуорси осуществлялось в двух широких аспектах. Автор «Саги о Форсайтах» явился продолжателем той национальной критической традиции, которая шла от Филдинга, Диккенса и Теккерея, традиции разоблачения специфических форм английского буржуазного лицемерия. Эта традиция подкреплялась для Голсуорси опытом Толстого, срывателя «всех и всяческих масок». Недаром Голсуорси писал, что ни один романист масштаба Диккенса, Тургенева и Толстого «не может не быть критиком жизни». С другой стороны, творчество Голсуорси подняло на новую, более высокую ступень искусство психологической характеристики в английской литературе: стоит сопоставить в этой связи многогранные, разносторонние образы Голсуорси с несколько однолинейными, доходящими нередко до гротеска персонажами Диккенса. Изображая в духе реалистической литературы новой эпохи XX в. всю диалектическую сложность человеческого характера, Голсуорси опирался

* Муж К. Гарнетт, литератор. — *Ред.*

на те конкретные достижения в воссоздании внутренней жизни людей, которыми было отмечено творчество Толстого.

В работах советских исследователей весьма обстоятельно освещены творческие связи между Толстым и Голсуорси*.

Прямое использование опыта Толстого видно в одном из ранних и наиболее социально значимых романов Голсуорси «Остров фарисеев» (1904), где не только осмеивались паразитизм, бездушие «респектабельного» буржуазного общества (об этом уже не раз писали предшественники автора «Саги»), но разоблачительный эффект произведения достигался путем чисто толстовского противопоставления жизни «простой» и «высшей», великосветских салонов и трущоб. Был в романе и другой толстовский мотив, тема «просветления» молодого человека из состоятельной среды, для которого знакомство с нищетой бедняков, с ужасами колониальной политики оказывается школой морального прозрения, приводящей Шелтона к разрыву с его окружением. Эту же тему «просветления», явно навеянную такими характерными для творчества Толстого образами, как Нехлюдов, мы встречаем и в ряде рассказов Голсуорси — «Филантропия», «Шантаж» и др. Влияние Толстого ощутимо и в романе «Братство» (1910).

Особенно органически и плодотворно усвоил Голсуорси опыт Толстого в своем лучшем и самом крупном создании — эпопее о Форсайтах. Однако эти достижения Толстого преломлялись в художественной практике Голсуорси до определенного предела: английский писатель многому научился у русского романиста в трактовке «мысли семейной», но «мысль народная» оставалась ему почти недоступной.

Влияние Толстого проявлялось, однако, и в более широком смысле. Прав английский исследователь Г. Фелпс, который в своей книге «Русский роман в английской литературной традиции» (1956) отмечает, что автор «Анны Карениной» дал возможность Голсуорси с невиданной доселе смелостью поставить семейную тему (Gilbert P h e l p s. Russian Novel in English Fiction. London, 1956, p. 153).

Предисловие Голсуорси к «Анне Карениной», написанное в 1926 г. и впоследствии напечатанное в собрании сочинений Толстого («Centenary Edition»), представляет собой не только анализ романа, но и интересную оценку художественного метода Толстого. Голсуорси видит главную особенность Толстого, пафос его творчества — в безукоризненной правдивости и безупречной искренности; он отмечает особую силу воздействия Толстого на читателей, его способность передавать ощущение подлинной жизни. Толстой для Голсуорси — высокий образец правдивого реалистического искусства, полнокровного и глубокого, несовместимого с декадансом и активно ему противостоящего. Пример Толстого делает совершенно очевидной бесплодность потуг различных представителей формалистических течений в искусстве: «постимпрессионистов, кубистов, футуристов, экспрессионистов», о которых Голсуорси пишет здесь с едкой иронией.

Голсуорси, в известной мере, недооценил народные истоки творчества Толстого. Совершенно несостоятелен его тезис о том, что Толстой вряд ли «понимал русского крестьянина», что он «не был столь близок к плоти и крови России и к русской душе, как Чехов». Неправ Голсуорси и оспаривая закономерность финала романа и видя в самоубийстве Анны Карениной нарушение внутренней логики развития образа как следствия того, что Толстой-проповедник взял верх над моралистом.

В общем же, однако, Голсуорси восторженно оценил шедевр Толстого. Неуклонное стремление к истине, которым отмечены произведения Толстого, явилось благотворным примером для английского романиста в его реалистическом творчестве**.

Б. А. Гиленсон

---

* См.: М. В о р о п а н о в а. Голсуорси и русская литература. Кандидатская диссертация. М., 1951; Т. А. М о т ы л е в а. О мировом значении Толстого. М., 1957; А. В. Ч и ч е р и н. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958; Э. П. З и н н е р. Творчество Л. Н. Толстого и английская реалистическая литература конца XIX — начала XX столетия. Иркутск, 1961.

** Отметим, что в яснополянской библиотеке сохранился экземпляр драмы Голсуорси «Justice» («Справедливость», London, 1910) со следующей дарственной надписью на форзаце: «March 9. 1910. To Leo Tolstoy with the author's profound respect and admiration» («Марта 9. 1910 г. Льву Толстому с глубоким уважением и восхищением от автора»).—См. стр. 145 настоящ. тома.

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР

1

О ТОЛСТОМ

Непреходящее величие Толстого, по моему мнению, заключается не в его социальных и моральных теориях, а в его романах. В них больше, чем где бы то ни было, проявляется его величайшая гуманность и стремление ко всеобщему счастью. Однако мне хотелось бы напомнить всему миру и, в особенности, России, что именно теперь, перед лицом огромных и сложных задач, стоящих перед человечеством, уже недостаточно одной любви. Дело в том, что жизнь динамична — в ней существует материальная сторона и сторона эмоциональная, духовная; поэтому проблемы, в ней возникающие, столь же часто относятся к сфере практики, как и к сфере эмоций и духа. В этой связи, экономика, вернее — знание экономических законов, как и знания в области химии, физики, социологии и биологии,— гораздо важнее религиозных и нравственных размышлений и увещеваний. Ибо если человек хочет избавиться от нищеты и смерти, его жизнь должна протекать гладко, а залог этого — знания плюс доброта (одной доброты мало). Во всех своих романах Толстой ярко показал страдания, выпавшие на долю блуждающего в потемках человечества. Но его теории отнюдь не являются панацеей от всех бед. И я бы теперь посоветовал русским чаще обращаться за помощью и советом к своим экономистам и биологам, чем к моралистам и религиозным деятелям.

Печатается по тексту газеты «San-Francisco Californian», 29.IX 1928, где опубликовано впервые. — Перевод с английского Б. А. Гиленсона.

2

ИЗ КНИГИ «ЗАРЯ»

Читая вслух трактат «Так что же нам делать?», мы (вместе со Сатклиффом) обсуждали аргументы Толстого, несколько сомневаясь в том, насколько они практически применимы, если рассматривать человеческую природу, как она есть, и то обстоятельство, что теория Дарвина о выживании наиболее приспособленных глубоко вошла в сознание людей ⟨...⟩ В этой небольшой книжке Толстой проповедовал возвращение к простому, безыскусному труду, имеющему целью лишь добыть средство — пропитание, равно как и отказ от всякого насилия, даже в ответ на насилие: то была древняя доктрина непротивления. Сатклифф, однако, считал, что в большинстве своем люди жадны, эгоистичны, алчны, завистливы. Как же побудить их принять точку зрения Толстого, как заставить их желать того, чего они по самой своей природе желать не могут,— поистине нелегкая загадка из области химии и биологии — загадка, которую, как вы догадываетесь, ни я, ни он разрешить не могли.

Я снова усиленно занялся чтением... Дороже всех мне был тогда Толстой-художник, автор «Крейцеровой сонаты» и «Смерти Ивана Ильича». Помнится, именно Сатклифф обратил мое внимание на эти произведения не как на материал для социолога, а как на художественные творения, которые не только дают правдивое изображение действительности, но и обладают большой силой воздействия. Я был так потрясен и восхищен жизненностью картин, которые мне в них открылись, что меня вдруг озарила неожиданная мысль: как чудесно было бы стать писателем. Если бы только можно было писать так, как Толстой, заставляя весь мир прислушиваться к твоим словам! Насколько я помню, мне тогда еще не приходило в голову заняться сочинительством. Не было еще подходящего

материала или же он был еще недостаточно продуман, но желание писать, воздействовать на человеческие умы уже зрело во мне и пробивалось наружу...

Печатается по кн.: Theodor D r e i s e r. Dawn. New York, 1931, p. 397 и 555, где опубликовано впервые.— Перевод с английского Б. А. Г и л е н с о н а.

С именем Теодора *Драйзера* (1871—1945) связана одна из блистательнейших страниц в истории американской литературы XX в. В своих произведениях, сурово осуждающих волчьи законы капиталистического мира, он явил пример мужественного и бескомпромиссного стремления к жизненной правде.

Хотя Драйзер не оставил развернутых высказываний и больших работ о Толстом, творчество автора «Воскресения» имело для него первостепенное значение. На протяжении всей своей жизни Драйзер неоднократно обращался к опыту Толстого, упоминая его и в своих художественных произведениях, и в публицистических работах, и в переписке. Драйзер хорошо знал русскую литературу — Тургенева, Достоевского, Гоголя, но особенно сильное впечатление произвело на него творчество Толстого и Горького (Letters of Theodor Dreiser. A Selection. Philadelphia, 1959, vol. III, p. 846—848). В своей автобиографической книге «Dawn» («Заря») Драйзер указывает, какое огромное значение для его писательской деятельности имел пример русского гения. Образ Толстого, поборника истины в искусстве, будящего сознание людей, нередко вдохновлял Драйзера и впоследствии. Вместе с тем, Драйзер не разделял ряда специфических положений теории непротивления, считая ее абсолютно утопической. Толстой был в числе тех, кто с юных лет будил мысль американского писателя. Бесспорно, что Драйзера привлекал Толстой — беспощадный обличитель. Любопытно в этом отношении его письмо к литератору Дж. Косгрейву от 7 марта 1913 г., в котором он осуждал экс-президента США Т. Рузвельта, утверждавшего в своей статье 1909 г. «Толстой», что морально-философские работы Толстого «глупы и фантастичны» и «некоторым образом приводят к падению нравственности» (Letters of Theodor Dreiser, vol. I, p. 153. См. также стр. 478—479 настоящ. тома). В 1927 г., во время поездки по СССР, Драйзер посетил Ясную Поляну, о чем он сообщал в письме к своим друзьям, Ф. и Б. Бутсам, 27 ноября. В усадьбе Толстого он провел целый день, беседовал с его дочерью, осматривал постройки, слушал голос писателя, записанный на фонографе. «Это было восхитительно»,— вспоминал он (Letters of Theodor Dreiser, vol. II, p. 465). В статье, написанной в 1928 г. в связи со столетней годовщиной Толстого, Драйзер восторженно отзывался о его художественных произведениях, подчеркивая, что в них «проявляется огромная человечность и стремление ко всеобщему счастью», но в то же время указал на нежизненность религиозной доктрины Толстого. Несколько позднее, в 1935 г., в статье «Два Марка Твена» (1935), комментируя сцену из «Гекльберри Финна», в которой полковник Шерберн произносит речь перед готовой его линчевать толпой, Драйзер заметил, что она, по его мнению, достойна пера Бальзака, Толстого и Салтыкова-Щедрина (Теодор Д р а й з е р. Собр. соч. в двенадцати томах, т. 12. М., 1955, стр. 172). В 1936 г., в «Беседе с французским журналистом», Драйзер назвал Толстого и Достоевского создателями «великих романов», являющих собой замечательный пример для американских писателей (там же, стр. 183). В речи, произнесенной на антифашистском конгрессе в Париже (1938), призывая писателей возвысить свой голос против коричневой чумы, Драйзер в числе великих мастеров литературы прошлого, отстаивавших великие идеалы гуманизма, первыми назвал Достоевского и Толстого (там же, стр. 193). Наконец, за два года до смерти, в письме к Г. Менкену, известному литературному критику, на вопрос последнего о том, верны ли сведения о его расхождениях с коммунистами,— Драйзер открыто и смело высказал свое восхищение новой, социалистической Россией, ее народом, ее культурой, давшей миру несравненные творения Чехова, Достоевского, Толстого и Мусоргского (см. «Вопросы литературы», 1963, № 5, стр. 200).

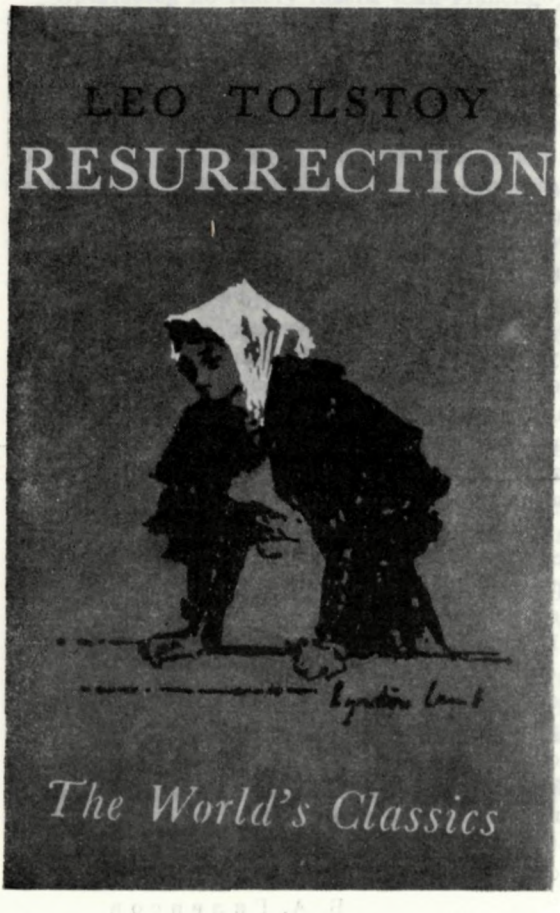
Автор «Воскресения» укрепил Драйзера в его стремлении к жизненной правде. Русский писатель — гуманист и поборник социальной справедливости — своим примером помогал Драйзеру преодолевать объективизм и содействовал его сближению с трудовым народом Америки, борцом за дело которого он стал.

Б. А. Г и л е н с о н

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

«ВОСКРЕСЕНИЕ»

Несколько лет тому назад, когда впервые возникла мысль осуществить издание произведений Толстого, так называемое «Centenary Edition», я принял предложение мистера Моода написать предисловие к роману «Воскресение». Роман этот запечатлелся в моей памяти как своего рода русская параллель к теккереевской «Мещанской истории», этой пронизанной чувством раскаяния повести о бесчестном обольщении. Но заключительная часть «Воскресения», подобно роману «Филипп, ищущий своего отца» Теккерея, оставила в моей склонной к избирательности памяти лишь слабый след. Ныне, по настоянию мистера Моода, я вновь перечитал обе эти книги. И мое прежнее впечатление о них во многом изменилось. Как и раньше, я нахожу в них ярко выраженные автобиографические черты и богатый жизненный опыт авторов, особенно в ситуациях, которыми эти произведения начинаются. Но теперь я отдаю себе отчет в том, что ощущение глубокой правдивости описываемого, возникшее у меня при первом чтении, в гораздо большей степени объясняется тем откликом, который вызвали в моей душе описываемые события, чем совершенством художественной формы этих произведений. Каждый настоящий мужчина, воспитанный в условиях XIX века, испытал свойственное



«ВОСКРЕСЕНИЕ». АНГЛИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ В ПЕРЕВОДЕ ЛУИЗЫ И ЭЛМЕРА МООДОВ (ЛОНДОН, 1956)

Суперобложка с рисунком Линдона Ламфа

«ВОСКРЕСЕНИЕ». АНГЛИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ В ПЕРЕВОДЕ ЛУИЗЫ И ЭЛМЕРА МООДОВ (ЛОНДОН, 1956)

Суперобложка с объявлением об изданиях произведений Толстого в переводах Л. и Э. Моодов

Also in the World's Classics

By LEO TOLSTOY

Translated by Louise and Aylmer Maude

A CONFESSION, AND WHAT I BELIEVE. No. 229
THE PLAYS. No. 243
RECOLLECTIONS AND ESSAYS. No. 459
'WHAT IS ART?' AND ESSAYS ON ART. No. 331
ANNA KARENINA. No. 210
WAR AND PEACE. No. 233
CHILDHOOD, BOYHOOD, AND YOUTH. No. 352
TALES OF ARMY LIFE. No. 208
THE KREUTZER SONATA AND OTHER STORIES. No. 266
WHAT THEN MUST WE DO? No. 281
ON LIFE, AND ESSAYS ON RELIGION. No. 426
THE KINGDOM OF GOD AND PEACE ESSAYS. No. 445
NINE STORIES (1855-63). No. 420
TWENTY-THREE TALES. No. 72
IVAN ILYCH. No. 432

By AYLMER MAUDE

LIFE OF TOLSTOY. No. 383

OXFORD UNIVERSITY PRESS

героям этих книг стремление к тайным наслаждениям и, как следствие этого,— сомнения, замешательство, увертки и раскаяние. И два этих великих романиста поистине увековечили подобное состояние человеческой души. Но то, чем они как бы обрамляют и дополняют увиденное, подсмотренное ими в самой жизни, меня уже не может взволновать. Если все эти добавления когда-либо и обладали какой-то силой воздействия, то теперь она навсегда утрачена. Я не стану говорить о том, как Филипп, разыскивая своего отца, все больше и больше погружался в атмосферу ранневикторианской эпохи с ее поверхностностью и измельчением души. Меня сейчас интересует паломничество Нехлюдова в глубины заново прочувствованных текстов Нового Завета.

Восхищаясь русскими писателями, я всегда проявлял известную сдержанность. Отдавая среди них предпочтение Чехову и Тургеневу, я с кротким удивлением и некоторой недоверчивостью наблюдаю за тем, как мой друг Арнольд Беннет, охваченный почти экстатическим восторгом перед Достоевским, падает, так сказать, ниц перед своим огромным, неуклюжим кумиром, раздирая на себе одежды и нещадно бичуя себя. Он расставляет писателей всего мира по ранжиру (занятие это более пристало школьному учителю, чем серьезному исследователю художественного творчества) — и русские всегда занимают у него первые места, получая в сравнении с другими наивысшие оценки. Памятуя о своем обещании мистеру Мооду, я попытаюсь проникнуть в суть и дух книги, рассмотрение которой мне поручено, не испытывая при этом ни слепого восхищения

поденщика, работающего на той же ниве, что ее автор, ни равнодушия ученика. Женщину судят за соучастие в убийстве и выносят ей несправедливый приговор. Ход процесса описан с точки зрения интеллигентного и симпатичного человека из числа присяжных. Все это изображено прекрасно. Но мистер Голсуорси мог бы сделать это ничуть не хуже — а между тем это лучшая часть книги. Сидя в зале суда, Нехлюдов какое-то время не узнает Маслову. И это вполне естественно, ибо эта женщина совершенно непохожа на соблазненную им девушку. Но затем, благодаря каким-то общим, им обеим присущим чертам — простодушию, обаянию и даже, быть может, благодаря сходству имен, на него вдруг нахлынули воспоминания и раскаяние, которые могли бы быть вполне достоверны и убедительны. Но ради остроты коллизии, автор превращает сходство в тождество, герой узнает в подсудимой свою жертву, сюжет завязывается, и грешник оказывается перед лицом совершенного им злодеяния. Он понимает, что перед ним та самая девушка, которую он погубил. И этого одного было бы уже вполне достаточно для создания драматической ситуации. За десять лет другая Маслова полностью усвоила психологию проститутки. В новом ее обличье не проскальзывает ни единого признака того духовного склада, который был ей свойствен до ее падения. Десять лет назад, когда Нехлюдов проник к ней в комнату, она была «чистым» созданьем, теперь же являет собой нескромную жрицу любви, чуть ли не гордящуюся своей профессией, и он безмерно ошеломлен своим открытием. Я тоже. Сюжет «подгоняется» к данной ситуации, при этом непоправимо страдает психологическая достоверность персонажей. Я считаю, что Маслова,— если это действительно та самая особа, которую соблазнил Нехлюдов,— и десять лет назад не могла быть чистой и невинной. И Нехлюдов выглядел бы куда привлекательней, если бы вместо того, чтобы ужасаться ее нынешней порочности, хорошенько обругал себя за то, что так сглупил, предоставив столь очаровательной грешнице одной барахтаться в грязи.

Должен признаться, что как только суд окончен, Маслова и Нехлюдов утрачивают для меня всякий интерес. Я перестаю верить в их подлинность, в их реальность. Гораздо более замечательное лицо в романе — сам Толстой. Вот он-то привлекает внимание до конца. Если уместно говорить так в предисловии к юбилейному изданию, то интерес заключается в том, чтобы наблюдать, как автор впадает во все более и более глубокие противоречия. Он погрешил против правды факта, что для романиста является бóльшим пороком, чем любое отступление от нравственности. После того как блестяще выписанные сцены суда и обольщения уже прочитаны,— остается позади и все достоверное, правдивое, что есть в этом романе. Вторая и третья части — свидетельство того, что автору так и не удается подняться после своего грехопадения — в художественном отношении «воскресения» так и не происходит.

Как и у Достоевского, сила Толстого заключается в изумительном обилии увиденных в самой жизни фактов; в такой же, как у Достоевского, щедрости повествования, в яркой, красочной передаче шумной ярмарки жизни, которую вы как бы видите сквозь настежь распахнутое окно. Насыщенность фактами, многословие — в хорошем смысле этого слова, и глубокое чувство детали — вот отличительные черты всех хороших романов. Вот то, что отличает роман реалистический от романической чепухи. И чем больше насыщен он неопровержимо достоверным и красочным содержанием, тем он лучше. Поэтому-то Генри Джеймс, несмотря на все свои старания, не может быть отнесен к числу великих романистов. Его книги бедны содержанием, и никакое совершенство формы и стиля не может восполнить этот недостаток. Насыщенность фактами, степень проникновения в сущность фактов — с этой-то меркой и нужно подходить к ве-

ликим русским писателям. Ни один из них не обладает чувством юмора не блещет легкостью и остроумием. И как только мы обнаруживаем, что окно-то, собственно, не окно, а проем, в который просматриваются неясно движущиеся силуэты, мы теряем всякий интерес к происходящему. Нехлюдов, все больше и больше уподобляющийся бесплотному призраку, совершает свое горестное путешествие в Сибирь, где встречает эксцентричного англичанина (должно быть, ближайшего родственника Филеаса Фогга * из «Клуба Реформ»), который занимается тем, что посещает тюрьмы и раздает Евангелия. И тогда, полностью отъединившись от жизненных фактов и подлинных чувств, Нехлюдов и сам Толстой как бы сливаются воедино, окончательно превращаясь в бесплотные тени с Новым Заветом в руках. Нехлюдов — богатый барин-присяжный — и Толстой — несколько грубоватый, злой и могучий, удивительный в своей реалистичности рассказчик и наблюдатель, Толстой, великий русский писатель, настоящий, подлинный Толстой — оба остались где-то там в европейской части России.

Финал книги напомнил мне холодное петроградское утро. Ночь напролет, до самой зари, шла беседа — очень умная, содержательная, но так ни к чему и не приведшая. Уже осушены бутылки, стол завален окурками и всех сковала страшная усталость. Рассказывали бесконечные анекдоты, толковали о вопросах пола, о любви, о боге, об истине и снова о вопросах пола, о преступлениях, о политике, нациях, науке и вновь о преступлениях и вновь о вопросах пола — пока все не устали и не продрогли. И вдруг кто-то мягко произносит: «Послушайте» — и, взяв томик Евангелия, начинает читать вслух несколько не относящихся к делу текстов. «Как хорошо! — раздается чье-то пылкое восклицание.— Новая жизнь воссияла надо мной. Я прозрел. Я вижу истину. Я понял всё». И тогда собравшиеся, вздохнув с сознанием умственной и духовной удовлетворенности, поднимаются, чтобы разойтись.

Печатается по кн.: «Resurrection». A novel by Leo T o l s t o y. With an introduction by H. G. Wells. «Tolstoy Centenary Edition», vol. 19. London, 1928, p. VII—X, где опубликовано впервые. — Перевод с английского Б. А. Г и л е н с о н а.

---

21 ноября 1906 г. Герберт *Уэллс* (1866—1946) писал Толстому: «Мой друг Элмер Моод сказал мне, что вы, быть может, захотите взглянуть на какую-нибудь из моих книжек. Я не посылал вам прежде своих книг, потому что представляю себе, какой поток книжных подношений от всей пишущей мелюзги Европы и Америки обрушивается на вас, и не считал себя вправе претендовать на ваше внимание.

Посылаю вам теперь свой роман „Любовь и мистер Льюишем“, сборник рассказов „История Платтнера и другие рассказы“, фантастический роман „Война миров“ и книгу на социологические темы „Современная утопия“, которую мистер Моод как раз просил не посылать, так как, по его словам, вы не любите утопий. Но, во-первых, это совсем разные вещи, а во-вторых, лучше уж вам сразу узнать меня с самой плохой стороны.

Посылаю вам также книгу моих американских впечатлений „Будущее Америки“. Хотелось бы надеяться, что этот ворох книг причинит вам не слишком много беспокойства. Я с превеликой радостью посылаю их вам — не столько в надежде, что вы их прочтете, сколько в знак моего огромного к вам уважения.

Я думаю, что прочел все ваши произведения, переведенные на английский язык. И, на мой взгляд, ваши „Война и мир“ и „Воскресение“ — самые замечательные, самые всеобъемлющие романы, какие мне когда-либо довелось прочитать.

Итак, очень прошу вас не рассматривать мои книги как дерзкое посягательство на ваше время, примите их просто как вещественные знаки того восхищения и любви,

---

* Герой романа Жюля Верна «80 дней вокруг света». — *Ред.*

которое я, вместе со всеми писателями моего поколения, испытываю к вам». (Перевод с английского. — *АТ*. Ср. «Культура и жизнь», 1960, № 11, стр. 38.)

Толстой ответил Уэллсу коротким письмом 2 декабря:

«Милостивый государь, я получил ваше письмо и книги и благодарю за то и за другое. Надеюсь прочесть их с большим удовольствием. Искренне ваш, Лев Толстой» (т. 76, стр. 252—253).

Этим исчерпывается переписка Уэллса и Толстого. Но и письмо Уэллса, и те немногочисленные материалы, которые прямо или косвенно говорят об отношении Уэллса к Толстому, по-своему весьма красноречивы. Они свидетельствуют о том, что Уэллс тоже принадлежал к числу писателей, на которых оказал влияние Толстой. Влияние, разумеется, сложное, опосредствованное очень непростым путем развития самого Уэллса.

Обращает на себя внимание то, как по-разному оценивает Уэллс «Воскресение» в письме к Толстому и в публикуемом выше предисловии. С этим романом Уэллс познакомился задолго до того, как написал свое письмо Толстому. Перевод «Воскресения» на английский язык, сделанный Луизой Моод, вышел в лондонском издательстве Хендерсона уже в 1900 г. В письме Беннету от 1 июня 1901 г. Уэллс писал, что принимается за чтение этой книги («A. Bennet and H. G. Wells». University of Illinois Press. Urbana, 1960, p. 55). Поскольку в предисловии Уэллс говорит о большом впечатлении, которое роман Толстого произвел на него при первом чтении, переоценка этого романа в сознании Уэллса произошла, очевидно, после 1906 г. До этого он ставил «Воскресение» очень высоко. Причем интересно, что эта переоценка началась тотчас же после 1906 г.— почти сразу же после того, как Уэллс написал Толстому.

Что означал этот период для самого Уэллса?

В 1901 г. Уэллс опубликовал «Первые люди на луне» — последний из романов раннего цикла, принесшего ему мировую славу и поныне остающегося классическим. За какие-нибудь шесть лет, протекших после выхода в свет его первого романа «Машина времени» (1895), Уэллс исчерпал свою раннюю фантастическую тему. Вместе с ней ушел и «преднамеренный юношеский пессимизм» ранних вещей, как он его называл. Если раньше Уэллс, понимая обреченность капитализма, склонялся к мысли, что, катясь в пропасть, буржуазия увлечет за собой все человечество, то теперь он верил в счастливое будущее. Если прежде в каждой его книге было заключено грозное предупреждение, то теперь они заключали, по его словам, призыв к переменам. Характер этих перемен представлялся Уэллсу двояким. С одной стороны, он задумывался о больших социально-политических изменениях, с другой,— о переделке сознания человека, об изживании им буржуазности. Эти две тенденции не раз брали верх одна над другой даже на протяжении тех нескольких лет, что протекли между первым чтением «Воскресения» и моментом написания письма Толстому. Пытаясь представить историю мира «как воспитательный процесс», Уэллс приближался к толстовству (в своем понимании). И напротив, делая упор на социально-политические перемены, он заметно от него отдалялся.

В 1906—1907 гг. эти очень обычные для Уэллса метания из стороны в сторону приобрели особенно наглядную, можно даже сказать драматическую форму.

В начале 1906 г. Уэллс опубликовал роман «В дни кометы», вскоре переведенный на русский язык Верой Засулич. Этого романа нет в числе книг, посланных Уэллсом Толстому, хотя нигде он не приближался настолько к его идеям. В яснополянской библиотеке Толстого, однако, этот роман впоследствии был обнаружен (см. «Культура и жизнь», 1960, № 11, стр. 37). Возможно, что внимание Толстого привлекла именно близость мыслей Уэллса к его собственным.

В романе Уэллса рассказывалась история конторщика Вилли, возлюбленная которого, Нетти Стюарт, бежала с сыном местной помещицы, Вероллом. Движимый ревностью и чувством оскорбленного достоинства разночинец Вилли с револьвером в руке настигает влюбленных — но в этот момент мимо Земли проносится комета, и всю Землю заливает зеленый газ. Этот газ очищает души людей. Очнувшись от забытья, Вилли не может вспомнить, зачем нужен был ему револьвер. Прекращается сражение на море между английским и немецким флотами. То самое правительство, которое развязало

войну, кладет ей конец и становится во главе преобразования мира. Хозяин домика, в котором жила мать героя, вооружившись молотком, сам отправляется чинить ей крышу. Человечество морально обновилось, и отныне все пойдет по-другому — и отношения между людьми будут другие, и отношения между народами, и отношения между классами...

Роман «В дни кометы» был свидетельством того, что Уэллс, начавший некогда с ожесточенных нападок на позитивизм, заметно приблизился к воззрениям своих недавних противников. Он согласен, в частности, с известным положением О. Конта о том, что все социальные конфликты должны быть разрешены в моральной сфере. Уэллс воспринимает в этот период Толстого как своего единомышленника, но смотрит на него глазами позитивиста. Легко понять, что, отойдя вскоре от позитивизма, Уэллс отходит и от толстовства, в своем понимании. «Это не социализм, это толстовство!» — воскликнул он всего год спустя, вспоминая роман «В дни кометы» (трактат «Новые миры вместо старых», 1907).

В это время Уэллс яростно нападал на оппортунизм руководителей Фабианского общества, членом которого состоял с 1903 г. Его попытка заставить общество, принявшее имя Фабия Кунктатора (Медлителя), начать широкое наступление на современный капитализм, разумеется, провалилась, но результатом борьбы Уэллса с фабианцами явился трактат «Новые миры вместо старых», в котором он занял очень радикальные политические позиции. И толстовский призыв к непротивлению злу и толстовская морально-религиозная проповедь были для него сейчас неприемлемы.

Все это, однако, не значило, что воспринятое в свете позитивизма толстовство было внутренне изжито Уэллсом. Период радикализма скоро опять миновал, и уэллсовский протест против жестокости мира все чаще выливался в форму, близкую к толстовству. Призыв к самоусовершенствованию приобретает у него религиозную окраску. Особенно заметны толстовские тенденции в таких романах Уэллса, как «Женитьба» (1912), «Страстные друзья» (1913), «Великие искания» (1914). Герой последнего из них даже проходит в своем духовном развитии этап, когда он удивительно напоминает «кающегося барина» из русского романа XIX в. Влияние Толстого в данном случае было, очевидно, поддержано и английскими параллелями этого образа, в частности воспоминаниями о духовной эволюции Уильяма Морриса — человека и художника, оказавшего немалое влияние на молодого Уэллса.

В романах 1912—1914 гг. Уэллс, впрочем, сохраняет еще заметные следы недавних социалистических убеждений. Его герои, начав с понимания несправедливости общественного устройства, приходят, подобно Моррису, к социализму или, во всяком случае, к какому-то его подобию.

В 1917 г. место социализма заступает богостроительство. В этом году появился богостроительский роман Уэллса «Бог — невидимый король». За ним последовало еще несколько романов, проникнутых той же тенденцией.

Впрочем, и этот период имел конец. Постепенный отход Уэллса от богостроительства, завершившийся критикой собственных богостроительских теорий («Мир Уильяма Клиссольда», 1926), был и новым отходом Уэллса от толстовских идей.

Уэллс отныне разграничивает Толстого-художника и Толстого-проповедника. С тем большей требовательностью относится он к художнику. Слабую сторону романа Толстого Уэллс видит в том, что во второй и третьей книгах проповедник подчиняет себе художника. Напротив, сцены обольщения и суда Уэллс называет блестящими.

Для того, чтобы подчеркнуть особую близость для англичанина этих сцен, Уэллсу не было нужды, как он сделал, ссылаться на Теккерея. Его собственное творчество конца 1890-х — начала 1900-х годов было в значительной степени посвящено критике моральных устоев уходящей викторианской эпохи с ее ханжеством, лицемерием, чопорностью. Наиболее известный из бытовых романов Уэллса, посвященных этой теме, «Анна Вероника» (1909), произвел общественный скандал. Консервативная критика отказывалась признать правдивость нарисованной Уэллсом картины и называла мир, в котором живет героиня романа, Анна Вероника, порвавшая с благопристойным буржуа, предназначенным ей семьей в женихи и сблизившаяся с любимым человеком, «миром грязного воображения автора». Ведя в этот период немало стоившую ему борьбу против викто-

рианских понятий о «чистоте женщины» за настоящую чистоту чувств, Уэллс, вероятно, не раз вспоминал прочитанный за восемь лет до того роман Толстого.

Предисловие Уэллса к «Воскресению» проливает свет и на полемику, которую Уэллс в течение многих лет вел с Г. Джеймсом и другими оппонентами относительно будущего романа как художественного жанра. Современная зарубежная критика почти единодушно рассматривает спор Уэллса с Джеймсом как спор публициста с художником. Публикуемое предисловие помогает понять, что Уэллса в романах Джеймса не удовлетворяла не только бедность социального содержания и сторонняя позиция автора по отношению к изображаемым событиям, но и бедность жизненных наблюдений, отсутствие острого чувства детали — качеств, которые он находил в творчестве Достоевского и Толстого и которые были для него отличительным признаком всех хороших романов.

Уэллс был сторонником новаторства, но он не был заражен манией литературного ниспровергательства, и Толстой, равно как и Диккенс и Теккерей, всегда оставался для него величайшим романистом мира.

Среди требований, которые Уэллс предъявлял роману XX в., была большая фактографичность сравнительно с романом предыдущей эпохи. В пылу полемики Уэллс заходил иногда так далеко, что готов был отказать роману в каких-либо преимуществах перед более «фактографичными» жанрами — например, биографией. Более того, он считал биографию правдивей и выше романа. В подобных случаях единственный художник, чей авторитет заставлял Уэллса взглянуть несколько со стороны на подобные свои построения, был Толстой. «Возвращение к документам начала XIX столетия и внимательное их изучение сделает в наших глазах „Человеческую комедию“ Бальзака чем-то весьма поверхностным. И все же, если в чем-то и можно найти оправдание тому, чтоб оживлять историю и придавать ей очарование при помощи вымышленных сцен и состояний души, то это оправдание доставляет „Война и мир“»,—писал Уэллс в «Опыте автобиографии», (H. G. W e l l s. Experiment in Autobiography. London, 1937, vol. II, p. 504).

Все это отчасти объясняет и такой поразительный, на первый взгляд, факт, что Уэллс совершенно прошел мимо социального критицизма Толстого, особенно сильного как раз в той части романа, которая, по словам Уэллса, оставила лишь «слабый след» в его «склонной к избирательности памяти» и не вызвала отклика при повторном чтении книги. Факт тем более удивительный, что именно в 1928 г. Уэллс создал свой самый значительный для этого периода творчества социально-критический роман—«Мистер Блетсуорси на острове Рempол».

Разгадка состоит, по-видимому, в том, что, вопреки всем оговоркам, художественное обаяние толстовского реализма совершенно захватывает Уэллса. Он не принадлежал к числу объективных критиков, и пристрастность (а заодно и переменчивость — в зависимости от тех задач, которые он сам ставил себе как художник в тот или иной период) его суждений не раз отмечалась исследователями его творчества. Но на этот раз Уэллс испытывает желание судить Толстого по законам, «им самим над собою поставленным»,— иными словами, с точки зрения абсолютной психологической правды. Вторая часть романа Толстого произвела на него в этом смысле недостаточно убедительное впечатление. Более того, именно она заставила его вспомнить о своих недавних богостроительских увлечениях. Вот почему Уэллс, по своему обыкновению, попросту перечеркнул эту часть романа.

Прямых свидетельств, говорящих об отношении Уэллса к Толстому, известно пока немного. В ближайшие годы число их, вероятно, увеличится. Иллинойский университет (США), в чьем распоряжении находится архив Уэллса, систематически публикует переписку писателя и другие материалы, касающиеся его взглядов, творчества и литературных связей. Однако и то немногое, что мы знаем сейчас, позволяет сделать известные выводы.

Уэллс, несомненно, дальше от Толстого, чем многие другие английские писатели. Но самая острота внутреннего спора Уэллса с Толстым показывает, что русский писатель занял существенное место в духовной жизни Уэллса.

Ю. И. К а г а р л и ц к и й

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

1

ИЗ ОЧЕРКА «ПИШЕТ СТАРЫЙ ГАЗЕТЧИК»

...Когда у вас будет побольше свободного времени, почитайте книгу Толстого, которая называется «Война и мир», и вы увидите, что все пространные исторические рассуждения, которые ему, вероятно, казались самым лучшим в книге, когда он писал ее, вам захочется пропустить, потому что даже если когда-нибудь они и имели не только злободневное значение, теперь все это уже неверно или неважно, зато и верным, и важным, и неизменным осталось изображение людей и событий.

Печатается по тексту журнала «Squire», 1934, vol. II, December, p. 26, где опубликовано впервые. Ср. Эрнест Хемингуэй. Избранные произведения в двух томах, т. II. М., 1959, стр. 644.— Перевод с английского этого и следующих ниже текстов И. А. Кашкина.

2

ИЗ КНИГИ «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ АФРИКИ»

...Подниматься обратно вверх по песчаному ущелью было трудно из-за жары, и, одолев подъем, я с удовольствием сел у дерева, прислонился спиной к стволу и открыл «Севастопольские рассказы» Толстого. Книга эта очень молодая, и в ней есть прекрасное описание боя, когда французы идут на штурм бастионов, и я задумался о Толстом и о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт. Это одна из самых важных тем, и притом такая, о которой труднее всего писать правдиво, и писатели, не видавшие войны, всегда завидуют ветеранам и стараются убедить и себя и других, что эта тема незначительная, или противоестественная, или нездоровая, тогда как на самом деле они упустили то, что нельзя возместить ничем.

* * *

...«Севастопольские рассказы» Толстого были все еще со мной, и в этом же томике я прочел повесть «Казаки» — очень хорошую повесть. Там был летний зной, комары, лес — такой разный в разные времена года, и река, через которую переправлялись татары, и я сам жил в тогдашней России 〈...〉

Люди не хотят больше заниматься искусством, потому что тогда они выйдут из моды и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей похвалы. Трудное это дело. Ну и что же? Ну и ничего — я буду читать о реке, через которую переправлялись татары, о пьяном старике-охотнике, о девушке и о том, как по-разному бывает там в разные времена года 〈...〉

Филлипс и мемсаиб вскоре заснули, и я снова взялся за томик Толстого и дочитал «Казаков» до конца. Это очень хорошая повесть.

Печатается по кн.: Ernest Hemingway. Green Hills of Africa.— New York, 1935, p. 69—70, 108—109, где опубликовано впервые. Ср. «Иностранная литература» 1959, № 7, стр. 175—176.

3

ЛЮДИ НА ВОЙНЕ

Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого, его роман «Война и мир» настолько огромен и подавляющ, что из него можно выкроить любое количество битв и сражений — отрывки сохранят свою силу и правду, и проделанное вами не будет преступлением. В сущности, книга эта могла бы быть значительно улучшена сокращением; не сокращением за счет действий и событий, но изъятием некоторых разделов, где Толстой круто обходится с правдой, чтобы подогнать ее к своим выводам ⟨...⟩

Презрение здравомыслящего человека, побывавшего солдатом, которое он чаще всего испытывает к генералитету, Толстой доводит до таких пределов, что оно граничит с абсурдом. Большинство генералов заслуживает его оценки, но он взял одного из действительно великих полководцев и, побуждаемый мистическим национализмом, попытался доказать, что этот генерал, Наполеон, на самом деле не руководил ходом своих сражений, а был попросту игрушкой неподвластных ему сил. И в то же время



«ВОЙНА И МИР»
ИЛЛЮСТРАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ХУДОЖНИКА ДЖ.-ФРАНКЛИНА УИТМЕНА
Из книги: «War and Peace by Leo Tolstoy». New York, 1949

«ВОЙНА И МИР»
ИЛЛЮСТРАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО
ХУДОЖНИКА ДЖ.-ФРАНКЛИНА
УИТМЕНА

Из книги: «War and Peace by Leo Tolstoy». New York, 1949



Толстой, изображая русских генералов, очень подробно и точно показывает, как они руководили операциями. Ненависть и презрение Толстого к Наполеону — это единственное уязвимое место этой великой книги о людях на войне.

В прошлом ⟨1941⟩ году редакторы нового издания «Войны и мира» предложили мне написать предисловие и провести в нем параллель между гитлеровским вторжением в Россию и вторжением Наполеона. Самая мысль о возможности сравнивать такие явления показалась мне столь несообразной, что я отказался. Я люблю «Войну и мир» за удивительное, глубокое и правдивое изображение войны и народа, но я никогда не доверял рассуждениям великого графа. Мне бы хотелось, чтобы рядом с ним был достаточно авторитетный для него человек, который посоветовал бы ему снять самые грузные и неубедительные рассуждения и дать простор правдивому вымыслу. Придумать он мог больше и с большей глубиной и правдивостью, чем кто-либо другой на свете. А его тяжеловесное, мессианское мышление было не лучше, чем у многих других профессоров и евангелистов истории, и на этом примере я научился не доверять своему собственному Мышлению с большой буквы и стараться писать как можно правдивее, честнее, объективнее и скромнее ⟨...⟩

Показ действий Багратионова арьергарда — это лучший и правдивейший отчет о подобных действиях из всех, какие я когда-либо читал; изображая происходящее в сравнительно небольшом масштабе, позволяющем обозреть целое, он дает такое понимание того, что собою представляет битва, какое еще никем не было превзойдено. Я предпочитаю это изображению Бородинской битвы, как бы оно ни было величественно. А затем идет удивительный рассказ о первом деле Пети и о его смерти ⟨...⟩ В нем и восторженность, и свежесть, и благородство первого участия юноши в трудах и опасностях войны ⟨...⟩, о которой ничего не знает тот, кто через нее не прошел.

Печатается по кн.: «Men at the War. The Best War Stories of All Time. Edited with an Introduction by Ernest Hemingway». New York, 1955, p. XVI—XVII, где опубликовано впервые.

Задолго до того, как упоминания о Толстом появились на страницах сочинений Эрнеста *Хемингуэя* (1899—1961), творчество великого русского писателя было ему уже отчасти знакомо. В начале 1920-х годов в Париже существовал книжный магазин экспатриированной американки Сильвии Бич. В библиотеке при магазине был обширных выбор книг русских классиков в переводе на английский и французский языки. Хемингуэй был завсегдатаем этой библиотеки. В те годы он усиленно работал в жанре рассказа, и внимание его сначала привлекли «Записки охотника» Тургенева. Однако уже в первом сборнике Хемингуэя «В наше время» (1924) есть следы его знакомства с манерой Толстого.

Такова, например, миниатюра о смерти матадора Маэры (глава XIV): «Маэра лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок, закрыв голову руками. Под ним было тепло и липко от крови. Он всякий раз чувствовал приближение рогов. Иногда бык только толкал его головой. Раз он почувствовал, как рог прошел сквозь его тело и воткнулся в песок. Кто-то схватил быка за хвост. Все кричали на быка и махали плащами перед его мордой. Потом бык исчез. Какие-то люди подняли Маэру и бегом пронесли его по арене, потом через ворота, кругом по проходу под трибунами, в лазарет. Маэру положили на койку, и кто-то пошел за доктором. Остальные столпились возле койки. Доктор прибежал прямо из корраля, где он зашивал животы лошадям пикадоров. Ему пришлось сперва вымыть руки. Сверху, с трибун, доносился рев толпы. Маэра почувствовал, что все кругом становится все больше и больше, а потом все меньше и меньше. Потом опять больше, больше и больше, и снова меньше и меньше. Потом все побежало мимо, быстрей и быстрей,— как в кино, когда ускоряют фильм. Потом он умер». (Цит. по кн.: Эрнест Хемингуэй. Избранные произведения в двух томах, М., 1959, т. I, стр. 121). Весь этот отрывок невольно вызывает в памяти «Севастополь в мае».

Приведем для сравнения только последние строки о смерти Праскухина из двенадцатой главы этого очерка:«...Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах,— и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше ничего не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди» (т. 4, стр. 49).

Во второй половине 1920-х годов постоянным редактором Хемингуэя становится М. Перкинс, который был убежденным поклонником Толстого и усиленно склонял подопечных авторов изучать «Войну и мир» и другие его книги. Но и без всяких напоминаний, Толстой всегда был с Хемингуэем и дома, на Кубе, где он критически перечитывает «Войну и мир», что видно по приведенному нами отрывку из фельетона «Пишет старый газетчик», и в своих странствиях. Томик Толстого сопровождает Хемингуэя и на охоте в далекой Африке, о чем свидетельствуют некоторые места в книге «Зеленые холмы Африки».

Говоря о книгах, которые он «предпочел бы опять прочесть в первый раз 〈...〉, чем иметь верный доход в миллион долларов», Хемингуэй в начале 1935 г. в числе семнадцати названий упоминал «Анну Каренину» и «Войну и мир» наряду с «Записками охотника», «Братьями Карамазовыми», «Пармской обителью», «Красным и черным» и некоторыми другими книгами. (Очерк «Стрельба влет» — Э. Хемингуэй. Избранные произведения в двух томах, т. II, стр. 232—233).

Оценка Толстого в фельетоне «Пишет старый газетчик» (1934) двойственна. К этой оценке Хемингуэй еще раз возвращается в предисловии к антологии «Люди на войне» (1942). Здесь он так же безоговорочно ставит на недосягаемую высоту «правдивую выдумку» Толстого-художника. И снова берет под сомнение тенденции Толстого-историка. В этом он далеко не одинок. Вот,например, что можно прочесть в одном из писем А. П. Чехова от 25 октября 1891 г.:

«... читаю „Войну и мир“ 〈...〉 Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов,— все это хорошо, умно, естественно и трогательно; все же, что думает и делает Наполеон,— это не естественно,

не умно, надуто и ничтожно по значению» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. XV. М., 1949, стр. 259—260).

Но в своих оценках Хемингуэй не вполне объективен. Быть может, даже не сознавая этого, Хемингуэй был ослеплен тем ореолом, который окружал в близкой ему Франции самое имя Наполеона. Хемингуэя коробило сделанное ему во время войны предложение в той или другой форме сопоставить «маленького капрала» с бесноватым ефрейтором Гитлером.

При всей восторженности оценки «великой книги о людях на войне», Хемингуэй обнаруживает в своем «предисловии» известную предвзятость как дань ходячему на Западе представлению о непознаваемой славянской душе и обуревающем ее некоем «мистическом национализме». Забывая о своей приверженности к «правдивому вымыслу» и склоняясь к правдоподобию, т. е. к тому, что Ключевский называл «полуправдой очевидца», Хемингуэй в данном случае воспринимает далеко не весь опыт Толстого. Он не хочет понять, что Толстой создал свой образ Наполеона не только в пылу полемики с официозными историографами (Богдановичем и др.), слепо умалявшими роль Кутузова, и не только в угоду своим взглядам о роли личности в истории — но и в силу самой логики развития художественного образа.

Наполеон у Толстого не всегда был тем самоупоенным, страдающим от насморка, озадаченным толстяком, каким он показан в день Бородина. Ореол полководца Бонапарта, каким его видели раньше Пьер и особенно князь Андрей, т. е. обе ипостаси самого Толстого, не погас и в окончательном тексте романа. А не так давно стали широко известны ранние варианты XIV главы третьей части первого тома «Войны и мира», посвященные кануну Аустерлицкого сражения.

Здесь Кутузов рисуется Андрею Болконскому «сонным, безгласным и бесславным стариком». Образ же Наполеона совсем не похож на окончательный вариант. Он показан «в свете Аустерлицкого солнца»: «Лицо его было в эту минуту прекрасно, уверенно, полно мысли и, главное, самодовольно спокойно...» и т. д. (т. 13, стр. 523).

В дальнейшем Толстой сумел отвлечься от этого субъективного преломления образа Наполеона, увиденного как бы через восприятие Андрея Болконского, при котором даже выражение: «самодовольно спокойное лицо» в данном контексте оправдано и звучит лишь как предвестие дальнейшего развития образа.

По мере того как для Толстого на задний план отходила не только правда «личная», заставлявшая его смотреть на Наполеона глазами Пьера и князя Андрея, но и правда семейная, заставлявшая Толстого идеализировать быт Ростовых,— на их место выдвигалась правда народная, дающая возможность охватить и осмыслить большие исторические процессы и народные движения. Соответственно изменялся и образ Наполеона. А в эпопее народной войны прежний образ гениального захватчика был бы оскорбителен и шел бы вразрез со всей книгой.

Уже после войны Хемингуэй, отвечая однажды на вопрос корреспондента об отношении писателя к своим предшественникам, между прочим сказал примерно следующее: «Для начала я преспокойно побил господина Тургенева. Потом усиленно тренировался и побил мсье де Мопассана. Я провел две ничьих со Стендалем, но, мне кажется, что во второй встрече я имел преимущество. Но никто не затащит меня на ринг против Толстого, разве что я сойду с ума или уж очень вырасту» (Lilian Ross. Portrait of Hemingway. New York, 1961, p. 35).

Правда, корреспонденты досаждали ему провокационными вопросами, и часто, с откровенной издевкой, Хемингуэй угощал их явными гиперболами. Такой бравадой можно считать и его шутливые упоминания о Тургеневе, Мопассане и Стендале. Однако ответ о Толстом звучит искренне. С Толстым Хемингуэй не шутил.

И. А. Кашкин

ХЕМЛИН ГАРЛЕНД

ТОЛСТОЙ-РЕФОРМАТОР

Когда я в 1884 году студентом приехал в Бостон, главой писателей Новой Англии был Уильям Дин Хоуэлс, издатель, романист и критик — первый, кто пробудил во мне интерес к сочинениям Льва Толстого.

Почти все мы в те дни были в той или иной степени реформаторами. Беллами только что закончил «Взгляд в прошлое»; «Прогресс и бедность» Генри Джорджа все еще оставались предметом ожесточенных дискуссий; Хоуэлс писал свой очень серьезный роман «Поиски нового счастья», а Марк Твен в «Янки при дворе короля Артура», увлеченный общим требованием социальной справедливости, легко наносил разящие сабельные удары по жестокостям и несправедливостям как современности, так и далекого прошлого. Вся нация обсуждала проблемы обнищания и пути избавления от него.

Мой интерес к Толстому усилился после того, как я узнал, что он относится с сочувствием к планам земельных реформ Генри Джорджа, ревностным поборником которых я был. И вскоре в статьях и очерках великого русского писателя я, действительно, нашел многие положения, совпадающие со взглядами Джорджа. Я приобрел некоторые из романов Толстого, и, хотя имена его героев своей непривычностью несколько мешали восприятию, я все же прочитал эти произведения (разумеется, в переводе), и они показались мне исполненными истинно благородных намерений, но несколько растянутыми. Его статьи и народные рассказы больше пришлись мне по душе, благодаря их глубокому этическому содержанию, а также искренности и простоте стиля.

С тех пор — время от времени (это был период с 1888 по 1900 годы) к нам в Америку приходили его статьи и письма, еще более противоречивого характера. Его высказывания с их апостольской суровостью казались нам энцикликами, исходящими от главы великой церкви — церкви человечества. Его величественный в своей простоте призыв «Будем справедливы» был созвучен моему настроению и настроениям моих друзей-реформаторов. Реорганизация общества и была темой наших бесчисленных речей, передовых статей и стихотворений. Говоря о реформе драмы, мы цитировали Ибсена, а ратуя за преобразование общества, обращались к Толстому. Мы использовали каждый аргумент, который могли почерпнуть в его письмах.

Хоуэлс, горячо одобряя Толстого-реформатора, не забывал напоминать нам о том, что тот был, прежде всего, художником. Хоуэлс неустанно подчеркивал красоту стиля, которая делала сочинения великого русского писателя не только проповедью того, как надо жить и как мыслить, но и произведениями искусства.

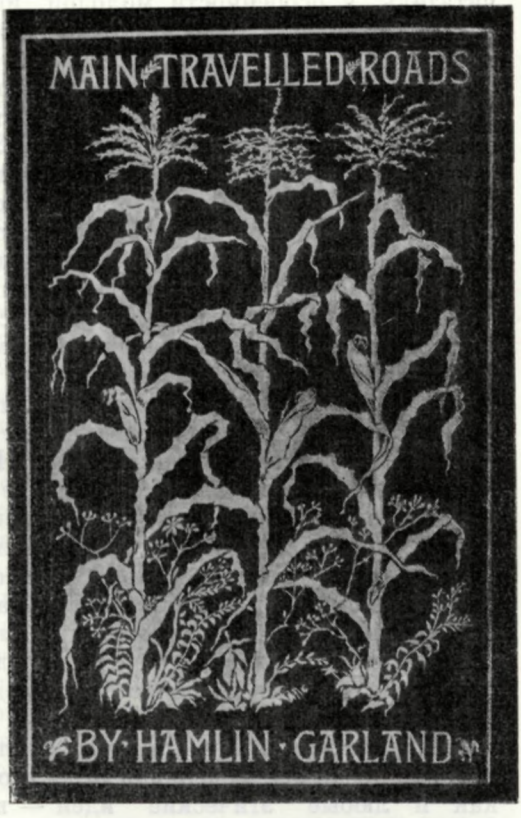
Вспоминая о тех временах, я абсолютно убежден, что не совершаю ошибки, утверждая, что Хоуэлс больше чем кто-либо другой из американцев сделал тогда для истолкования творчества Толстого. Он всегда видел в моралисте художника. Если читатель захочет выяснить роль Хоуэлса, пусть он перечитает рецензии и статьи за его подписью, печатавшиеся в «Harper's Magazine» в начале 1890-х годов. Я убежден, что мои слова найдут полное подтверждение.

Когда я теперь перечитываю статьи Толстого, они кажутся мне удивительно простыми, искренними и имеющими самое прямое отношение к людям сегодняшнего дня. Как никогда прежде, ощущаю я их мрачную суровость. Они воскрешают в моей памяти яркие картины, и я вижу вновь, как этот «русский Сократ» идет за сохой или сидит с сапожным

СБОРНИК РАССКАЗОВ ХЕМЛИНА ГАРЛЕНДА «ГЛАВНЫЕ ПРОЕЗЖИЕ ДОРОГИ» (ЧИКАГО, 1894), ПРИСЛАННЫЙ АВТОРОМ ТОЛСТОМУ

Обложка

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»



молотком в руках — ибо он стремился жить в соответствии со своим учением.

Начав с провозглашения принципа: никто не вправе съесть куска хлеба, не заработанного в поте лица своего, он в последующих своих статьях выступает против употребления табака, мяса и спиртных напитков всех видов. Современные роскошь и чувственность обличаются им так, как обличал бы их Иоанн Креститель, если бы он это видел. Без устали проповедует он милосердие, целомудрие, трудолюбие и братство. Но не останавливается на этом. Патриотизм *, утверждает Толстой, это — зло, потому что он является источником войн. Собственность на землю ведет к разорению большинства и к развращению меньшинства, а официальная церковь поддерживает и освящает все это неравенство и беззаконие.

Это страстное, проникнутое горечью обличение цивилизации теперь произвело на меня тягостное впечатление. Расстроенный, закрыл я книгу. У меня было такое чувство, словно, проходя мимо кельи старого отшельника, я услышал, как он с отчаянием и убежденностью говорит: «Все суета сует, все тщетно. Богатство означает коррупцию, власть — тиранию, любовь — это порок, роскошь — преступление, церковь — мерзость, а прогресс — заблуждение».

Короче говоря, в статьях Толстого провозглашено то, что простому смертному может показаться «недостижимым идеалом». Это проповедь старика, вкусившего от всех земных радостей, пресыщенного жизнью и ощущающего теперь лишь горький привкус. Боюсь, что современный

* Гарленд, как и Толстой, употребляет это слово в значении «национализм», «великодержавный шовинизм». — *Ред.*

читатель, в особенности молодой, не проявит особой симпатии к этим аскетическим призывам, потому что мы еще более далеки от сурового толстовского взгляда на жизнь, чем люди, жившие тридцать лет назад. Тем не менее, весьма полезно поразмыслить над словами человека, который, после беззаботно прожитой юности, сделал попытку построить свою жизнь в духе христианского идеала — в мире, исполненном несправедливости, жестокостей и войн. И пусть в юности Толстой жил плотской, чувственной жизнью, а в старости страстно осуждал тот тип молодых людей, представителем которых в свое время был сам (давая этим пищу многим злым насмешкам),— эти проповеди много повидавшего человека обладают огромной силой воздействия. Прозрачность стиля в сочетании с непоколебимой искренностью философии делают его статьи с их беспощадной логикой почти неопровержимыми.

Толстой говорит: «Если бы меня попросили дать один-единственный совет, который, на мой взгляд, является наиболее полезным для людей нашего века, я сказал бы следующее: „Ради бога, повремените. Отложите свои дела. Оглянитесь вокруг себя. Подумайте о том, каковы вы есть и какими вы должны быть. Подумайте об идеале“».

Я не знаю причин, побудивших его отрешиться от греховной жизни, которую он, по собственному признанию, вел в юности. Но он, несомненно, должен был услышать такого рода страстный внутренний призыв, ибо в стремлениях к христианскому образу жизни, свойственных ему в последующие годы, чувствуется глубокая, трагическая убежденность.

Я пишу эти строки в центре города, который считается самым языческим городом в мире, более всех предающимся роскоши и наслаждениям. И когда я гляжу на рекламы театров, танцевальных зал и отелей, настойчивый толстовский призыв к размышлению и молитве кажется мне исполненным почти средневековой страстности. Смогут ли его идеи — равно как и любые этические идеи — вернуть преуспевающих, любящих роскошь людей к идеалу, выраженному в его отчаянном призыве?

Даже лучшим из нас отнюдь не бесполезно пересмотреть свою жизнь в свете его проповеди. И если нам и не достичь тех высоких идеалов, которые в ней выражены, мы, по крайней мере, сумеем почувствовать все благородство целей, которыми был движим этот великий русский писатель в последние годы своей жизни.

Нью-Йорк

Печатается по кн.: «Recollections and Essays» by Leo T o l s t o y. With an Introduction by Hamlin Garland. «Tolstoy Centenary Edition», vol. 21. London, 1937, p. VII—X, где опубликовано впервые. — Перевод с английского Б. А. Г и л е н с о н а.

Видный американский романист Хемлин *Гарленд* (1860—1940) вошел в историю литературы США как талантливый бытописатель фермерской среды, автор широко известных книг «Главные проезжие дороги» (1893) и «Народ прерий» (1893), в которых он создал суровые картины сельской жизни и тяжелого, безрадостного труда фермеров. Вместе с С. Крейном и своими старшими современниками У. Д. Хоуэлсом и Марком Твеном, Гарленд способствовал развенчанию ложноромантической, охранительной «бостонской» школы и утверждению в американской литературе критического реализма. Расцвет Гарленда как писателя падает на 1880—1890-е годы, время подъема рабочего движения в США, а в сфере духовной жизни — огромного интереса американцев к литературе далекой России.

В 1886 г., т. е. в то время, когда переводы русских классиков хлынули на книжный рынок США, американский писатель Дж. Керкленд опубликовал в журнале «Dial» статью под характерным заголовком: «Толстой и русское вторжение в область беллетристики», в которой образно характеризовал литературную атмосферу в Америке. «Эти русские романы знаменуют собой эру в литературе,— писал Керкленд.— Романтизм и реализм вступили в бой не на жизнь, а на смерть. Это их Ватерлоо, а там, на во-

сточном горизонте, появляется некий Блюхер, сила которого должна решить исход битвы в пользу реализма...» Имея в виду длительную ориентацию американских писателей на английские образцы и вкусы, а иногда и просто зависимость от них, Керкленд добавлял: «Книги, подобные книгам Толстого, дают внимательному наблюдателю все основания предположить, что если английская беллетристика не освободится от некоторых сковывающих ее железных тенет, то она вынуждена будет расстаться со всякой надеждой удержать свое столь долговечное превосходство» («Dial», 1886, VIII, p. 81.— Цит. по кн.: Lars Åhnebrink. The Beginnings of Naturalism in American Fiction. Uppsala — Cambridge, 1950, p. 35).

Гарленд был горячим поклонником русской литературы. В своей автобиографической книге «Сын Среднего Запада» он вспоминает, как в середине 1880-х годов, следуя советам своего друга Хоуэлса, он начал читать Толстого. Имя Толстого часто встречается в его записных книжках 1880—1890-х годов, а «Анна Каренина» становится с того времени одной из его любимых книг.

В публикуемом выше предисловии к двадцать первому тому английского издания сочинений Толстого Гарленд подчеркивал, что призывы русского писателя к реформе общественных отношений, к справедливости были созвучны настроениям передовых американцев, остро ощутивших в те годы глубокие противоречия капитализма. Конечно, как видно из предисловия, Гарленд далеко не во всем был солидарен с Толстым; он не принимал, в частности, его отрицания цивилизации и требование опрощения. Но бесспорно и то, что творчество Толстого, ниспровергателя основ и протестанта, было в числе факторов, стимулировавших интерес Гарленда к социальным проблемам, что особенно проявилось именно в 1880—1890-е годы. Вместе с тем в предисловии отразилась и эволюция взглядов Гарленда, перешедшего в последние десятилетия своей жизни на консервативные позиции. Вот почему он пишет, что «проникнутое горечью обличение цивилизации» произвело на него теперь «тягостное впечатление»: толстовский критицизм, созвучный ему в пору творческого расцвета, стал для автора «Главных проезжих дорог» неприемлемым.

Пример Толстого, великого художника-реалиста, сыграл определенную роль в выработке Гарлендом его эстетической теории так называемого «веритизма», изложенной им в его книге «Разрушающиеся идолы» (1894). Выступая в ней с известным лозунгом: «Я верю в живое, а не в мертвое» — против, с одной стороны, слепого копирования английских образцов, а с другой — против «книжной» «бостонской» традиции, Гарленд ратовал за национальное своеобразие литературы, за развитие местных, «почвенных» ее элементов. Говоря, в частности, о высоком назначении писателя, Гарленд заявил: «Романисты повсюду борются с духом кастовости и привилегий, с тиранией церкви и государства» (H. Garland. Crumbling Idols. Chicago, 1894, p. 52). Первым среди романистов такого рода он назвал Толстого. Отстаивая тезис о том, что «писатель должен быть выразителем народной жизни», Гарленд также называл имя автора «Войны и мира» (см. L. Åhnebrink. Op. cit., p. 448—449).

Влияние Толстого-художника на Гарленда не было столь глубоким и сильным как на Хоуэлса. По мнению шведского исследователя Л. Онебринка, влияние Толстого, автора «Поликушки» и «Холстомера» (как, впрочем, и Тургенева, очень любимого и ценимого Гарлендом), видно на его рассказе «Дэдди Дерринг», входящем в цикл «Люди прерий». При этом нельзя забывать, что главное в упомянутых произведениях Толстого — глубокое и суровое обличение социального неравенства и несправедливости; в рассказе же Гарленда перекличка с Толстым идет по некоторым внешним сторонам сюжета.

С бо́льшим основанием можно говорить о влиянии Толстого на рассказ Гарленда «Возвращение солдата» (1890) с его фактически новой в американской литературе темой «дегероизации» войны и неприкрашенным изображением тягот солдатской жизни.

Отметим в заключение, что в яснополянской библиотеке сохранилась книга Гарленда «Главные проезжие дороги» («Maintravelled Roads». Chicago, 1894) со следующей дарственной надписью: «To Leo Tolstoi from a far-off admirer Hamlin Garland. Chicago, 1897» («Льву Толстому от далекого поклонника, Хемлина Гарленда. Чикаго, 1897 г.).

Б. А. Гиленсон

РОЖЕ МАРТЕН ДЮ ГАР

РЕЧЬ ПРИ ВРУЧЕНИИ ЕМУ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Ваше высочество, дамы, господа!

Присутствие стольких выдающихся деятелей, собравшихся под покровительством его высочества наследного принца, еще более усиливает волнение, которое я испытываю, находясь здесь и слушая хвалебные слова в мой адрес. Я немного напоминаю себе сову, внезапно спугнутую и вылетевшую среди бела дня из гнезда: ее глаза, привыкшие к сумраку, ослеплены чересчур ярким светом.

Как я ни горд исключительным и почетным отличием, которым удостоила меня Шведская академия, все же не могу скрыть от вас своего удивления. С того момента, как груз — и довольно тягостный груз — этой почести лег на мои плечи, я задаюсь вопросом, чем можно объяснить этот выбор.

Прежде всего я подумал о моей родине. Я счастлив, что высокое шведское Собрание сочло необходимым остановить в этом году свой выбор на французском писателе, воздав тем самым особую честь нашей французской литературе. Но среди моих соотечественников есть и другие поэты, есть и другие мощные и благородные умы, за которых с полным основанием можно было подать голос. Почему же сегодня именно я занимаю это почетное место?

Демон тщеславия — а его никогда не удается обезоружить до конца — услужливо нашептывал мне сначала некоторые предположения; я даже спрашивал себя, не говорит ли эта награда, присужденная человеку, чуждому предвзятости, каким я себя считаю, о желании Академии подчеркнуть, что в наш век, когда все во что-то веруют, все что-то утверждают, отнюдь не бесполезно, чтобы существовали также люди колеблющиеся, которые все подвергают сомнению, все ставят под вопрос; люди независимые, которые не поддаются очарованию воинствующих идеологий и неустанно трудятся над развитием своего индивидуального сознания для того, чтобы поддержать исследовательский дух, настолько объективный, свободный, справедливый, насколько это вообще в человеческих возможностях.

Мне было бы также приятно думать, что отличием, которым меня так неожиданно удостоили, в известной степени, я обязан некоторым дорогим мне принципам. «Принципы» — это, быть может, слишком сильно сказано для человека, заявлявшего о своей готовности постоянно подвергать пересмотру свои суждения. Тем не менее я должен признаться, что дал себе как художнику определенные установки и не переставал придерживаться их.

Я был совсем молод, когда в романе англичанина Томаса Харди наткнулся на рассуждение, относящееся к одному из его героев: подлинный смысл жизни, казалось ему, заключается не столько в ее красоте, сколько в трагизме. Это соответствовало тому, что я интуитивно чувствовал в глубине души и что было тесно связано с моим литературным призванием. С тех пор я стал считать (и продолжаю считать поныне), что основная цель романа — выражение трагизма жизни. Сейчас я могу прибавить: трагизма индивидуальной жизни, трагизма судьбы в процессе ее свершения.

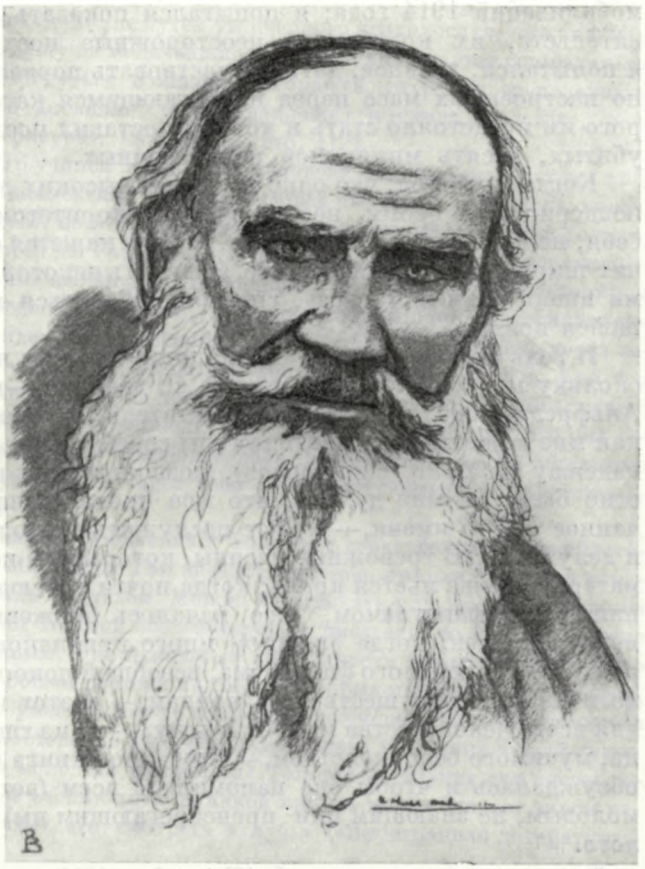
И тут я не могу удержаться, чтобы не напомнить вам бессмертный пример — пример Толстого, чьи книги оказали на меня решающее влияние.

Прирожденного романиста отличает страстное стремление как можно глубже познать человека, раскрыть в каждом из своих героев особенности

ТОЛСТОЙ

Гравюра с рисунка Бертольда Мана

Из книги «La Sonate à Kreutzer». Paris, 1922



индивидуальной жизни,— то; благодаря чему каждое человеческое существо является неповторимым экземпляром. И мне кажется, что если произведение романиста имеет какие-то шансы выжить, то лишь благодаря количеству и качеству индивидуальных жизней, которые ему удалось запечатлеть. Однако это еще не все. Необходимо также, чтобы романист понимал смысл жизни в целом; необходимо, чтобы произведение отражало его личное ви́дение мира. И в этом также Толстой — великий Учитель. Все его герои, более или менее смутно, одержимы неотступными философскими заботами, и каждый из человеческих опытов, историком которых он стал, несет в себе не только и не столько исследование человека, сколько тревожное вопрошение о смысле жизни. Не скрою, мне приятно было бы думать, что, отмечая мой труд романиста, члены Шведской академии хотели косвенным образом почтить мою преданность этому недосягаемому образцу и те усилия, которые я сделал, чтобы воспользоваться уроками его гения.

Быть может также, — и этим предположением, относящимся к обстоятельствам более серьезным, я хочу закончить, как мне ни грустно омрачать это празднество, пробуждая мучительные мысли, осаждающие нас всех,— быть может также, Шведская академия не побоялась поставить пред собой особую задачу, привлекая внимание интеллектуального мира к автору «Лета 1914 года».

Таково название моей последней работы. Чего она стоит? Не мне судить об этом. Но я знаю, по крайней мере, что́ я хотел сделать: в этих трех томах я попытался воссоздать тревожную атмосферу Европы накануне

мобилизаций 1914 года; я попытался показать слабость тогдашних правительств, их колебания, неосторожные поступки, тайные аппетиты; я попытался, главное, дать почувствовать поразительную инертность мирно настроенных масс перед надвигающимся катаклизмом, жертвой которого им предстояло стать и который оставил после себя девять миллионов убитых, десять миллионов искалеченных.

Когда я увидел, что одно из самых высоких литературных жюри мира поддерживает своим неоспоримым авторитетом мою книгу, я спросил себя, не в том ли причина этого, что она кажется ему способной, если получит широкое распространение, защитить некоторые ценности, над которыми вновь нависла угроза, способной бороться против заразы надвигающейся войны.

Я ведь сын Запада, а там бряцание оружия не дает покоя умам! И поскольку мы собрались сегодня — 10 декабря —в день годовщины смерти Альфреда Нобеля (не пустого мечтателя, а человека действия, который, как мне кажется, в последние годы своей жизни возлагал самую большую надежду на братство народов), позвольте мне признаться, сколь сладостно было бы мне думать, что мое произведение — произведение, увенчанное от его имени,— может послужить не только делу литературы, но и делу мира! В тревожные месяцы, которые мы переживаем, когда на двух материках уже льется кровь; когда почти повсюду в воздухе, отравленном нищетой и фанатизмом, уже началось брожение страстей вокруг нацеленных пушек; когда слишком много признаков уже говорит нам о возрождении трусливого фатализма, всеобщей покорности, которая одна только и позволяет существовать войнам,— в этот исключительно серьезный для всего человечества момент я хочу — не из тщеславия, но от всего сердца, мучимого беспокойством,— чтобы моя книга о лете 1914 года читалась, обсуждалась и чтобы она напоминала всем (ветеранам, забывшим его, и молодым, не знающим или пренебрегающим им) патетический урок прошлого.

Текст речи, произнесенной 10 декабря 1937 г. в Стокгольме, печатается по «Nouvelle Revue Française», 1959, № 77, p. 956—958, где она опубликована впервые.— Перевод с французского Л. А. Зониной.

Если можно говорить о «школе Толстого» во французской литературе XX в., то, бесспорно, самым ярким ее представителем следует считать Роже *Мартен дю Гара* (1881—1958).

Подобно автору «Войны и мира», Мартен дю Гар тяготел к созданию монументальной фрески, где индивидуальные судьбы неразрывно сплетены с историей человечества. Дю Гар стремился изображать людей незаурядных, живущих напряженной духовной и интеллектуальной жизнью, людей, чьи внутренние конфликты при всей их единичности и неповторимости отражают и выражают конфликты социальные. Интересно в связи с этим привести свидетельство писателя, являющегося эстетическим антиподом, противником реализма — А. Жида. В своих «Заметках об Андре Жиде» Мартен дю Гар рассказывает, как, прослушав одну из первых частей «Семьи Тибо», Жид сказал, что Мартен дю Гар напоминает ему Толстого, так как «стремится найти в людях самое общее ⟨...⟩, самое человеческое, то, что в каждом из нас единит нас со всеми» (Roger Martin du Gard. Œuvres complètes, v. II. Paris, 1955, p. 1372). Позднее Жид записал в своем дневнике: «В любом вопросе психологии Роже ⟨...⟩ охотно пренебрегает исключительными случаями ⟨...⟩, отсюда некоторая банальность его персонажей ⟨...⟩ „Один на тысячу“ не привлекает его внимания; а если и привлечет, то лишь для того, чтобы подвести этот случай под какой-либо широкий, обобщающий закон» (ibid.). Мартен дю Гар, как и Толстой, мыслит характерами. Через характеры вбирает он в роман все объективное многообразие мира. И он идет к раскрытию этих характеров не

путем описания внутренней механики, не путем утонченного психологического анализа, разымающего, разлагающего душу на мельчайшие элементы; ему удается с поразительной непосредственностью вторгнуться в жизнь персонажей, сохранив ее цельность. 8 апреля 1943 г. он записал в дневнике, что принадлежит к школе «Толстого, а не Пруста» («Иностранная литература», 1956, № 12, стр. 112).

У Толстого Мартен дю Гар учился показывать человека в его взаимодействии с обществом, учился раскрывать диалектику души, сохраняя не только результат, конечный итог психического процесса, но и противоречивый, запутанный, сложный ход его. Этой задаче подчинены у Мартен дю Гара, как и у Толстого, все элементы повествования: внутренний монолог в его неожиданных скачках и поворотах, в неповторимом разветвлении ассоциаций, недоговоренности, нелогичности; диалог, материализующийся в мимике, жесте, взгляде; проникновение в душевный мир персонажа через авторскую речь, вбирающую в себя экспрессию внутреннего монолога, и т. д. Как и у Толстого, в повествовании Мартен дю Гара нет ни одного словесного украшения, ничего лишнего, необязательного. Форма его романов столь проста и естественна, что она перестает существовать, как прием, как самодовлеющая ценность: это некий абсолютно прозрачный кристалл, пропускающий через себя и концентрирующий действительность, оставаясь невидимым.

Формулируя в конце жизни свое отношение к Толстому, свою убежденность в благотворности влияния Толстого, Мартен дю Гар писал: «Я считаю, что для будущего романиста Толстой является лучшим учителем. Можно испытывать или не испытывать на себе влияние Толстого, но если Толстой воздействует на писателя, то это воздействие может быть только благотворным. Оно исключает возможность какой бы то ни было нарочитости〈...〉Его герои в общем похожи на людей,которых мы встречаем в жизни, и, однако, в любом из них он умеет найти ту сокровенную сущность, которую мы без него не увидели бы〈...〉Так постепенно мы учимся проникать в тайники чужой души. Что может быть полезнее для молодого романиста? Толстой не научит его писать по определенному методу, но если ученик хоть в какой-нибудь мере обладает даром наблюдательности, Толстой научит его смотреть вглубь» («Иностранная литература», 1956, № 12, стр. 90).

Во французской литературе нет прозаика, который был бы по художественному методу ближе к Толстому, чем Мартен дю Гар. И если в публикуемой выше речи, в которой, по традиции, лауреат формулирует свое идейное и художественное кредо,— он счел необходимым сказать о Толстом как о своем «великом учителе», это лишний раз свидетельствует, сколь сознательным было у Мартен дю Гара на протяжении всей его жизни стремление к этому, по его собственному определению, «недосягаемому образцу». И в то же время творчество Мартен дю Гара — неопровержимый аргумент в споре против тех «модернистов», которые считают, что время Толстого миновало, что писателю XX в., если он хочетбыть на уровнезадач современности,нечему учиться у Толстого,— Мартен дю Гар не эпигон, а продолжатель традиций толстовского реализма. Он восхищается тем, что романы Толстого пронизаны мироощущением, мировоззрением автора и заставляют читателя задуматься о смысле жизни, но сам он решает эту проблему по-иному. Автор «Жана Баруа» и «Семьи Тибо» отнюдь не разделяет взглядов Толстого на философию истории. Сохраняя в своем творчестве высокий этический тонус, свойственный произведениям великого русского писателя, сочетание беспощадного реализма в изображении жизни и любовь к человеку, Мартен дю Гар вовсе отбрасывает религиозную проповедь Толстого — только в человека, его разум, его волю верит Мартен дю Гар. Материалист, убежденный в необоримости научного и социального прогресса, всем своим творчеством он требует от человека, от каждого нового поколения сознательного вклада в историю человечества, творящего свое будущее. Анализ художественных образов и ситуаций его романов убеждает, что, обогащенный историческим опытом века революций, Мартен дю Гар подчас откровенно и настойчиво полемизировал с тем, к кому относился с глубочайшим пиететом и кого не переставал считать величайшим гением и своим прямым учителем в искусстве построения романа.

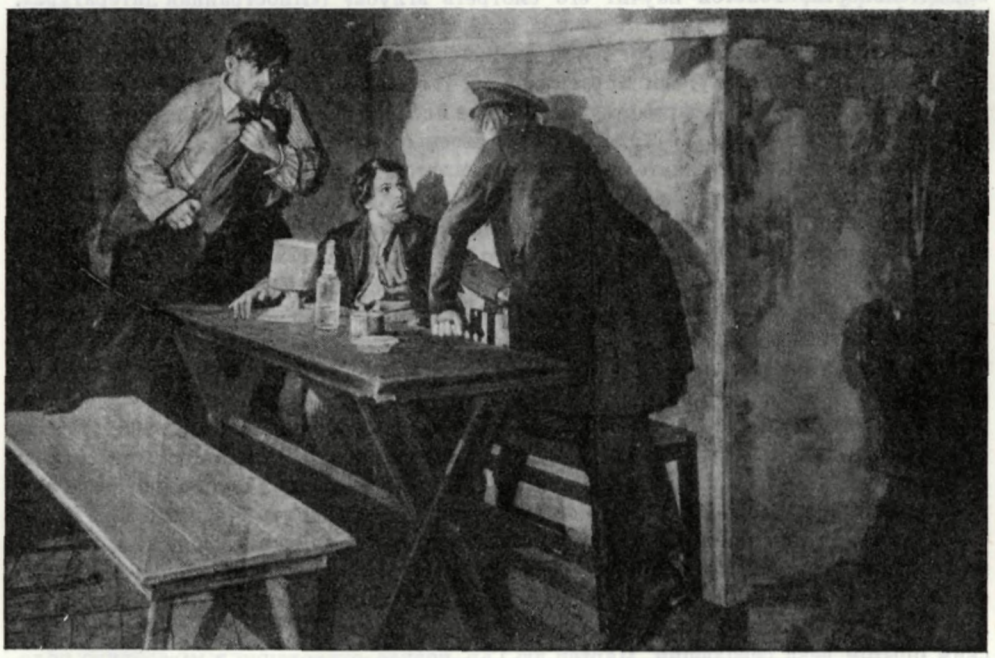
Л. А. Зонина

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Когда в конце ноября 1910 года землю облетело телеграфное сообщение о том, что граф Лев Толстой тайно покинул свое имение Ясная Поляна и умер на маленькой железнодорожной станции Тульской губернии, весь культурный мир воспринял это как трагедию, которую по-настоящему понимали лишь немногие. Этот русский аристократ, уже с ранней молодости, едва сменив офицерский китель на рабочую блузу писателя, был избалован успехом. Именно в то время началось вторжение в европейскую литературу русского реализма, неожиданно положившего конец исключительному господству немецкого романа Гете и Жан-Поля, французского — Бальзака и Стендаля, английского — Вальтера Скотта и Чарлза Диккенса. Гоголь, Гончаров, Тургенев и особенно Лев Толстой так решительно преобразовали европейский критический буржуазный реализм, что в период между 1850—1950 гг. ни одно литературное течение не могло избежать его влияния, точно так же, как в период между 1550—1650 гг. повествовательная и драматургическая литература западного мира всецело определялась и окрашивалась итало-испанским, до 1750 г.— французским, до 1850 г.— английским влиянием, что всякий раз являлось следствием военно-политических побед, обеспечивавших мощь нарастающих сил буржуазной экономики.

Ах, этот старец, с бородой, белым облаком спускающейся на крестьянскую рубаху! В наши дни лишь один Бернард Шоу сохранил до глубочайшей старости такой же ярко выраженный облик и так же откуда-то

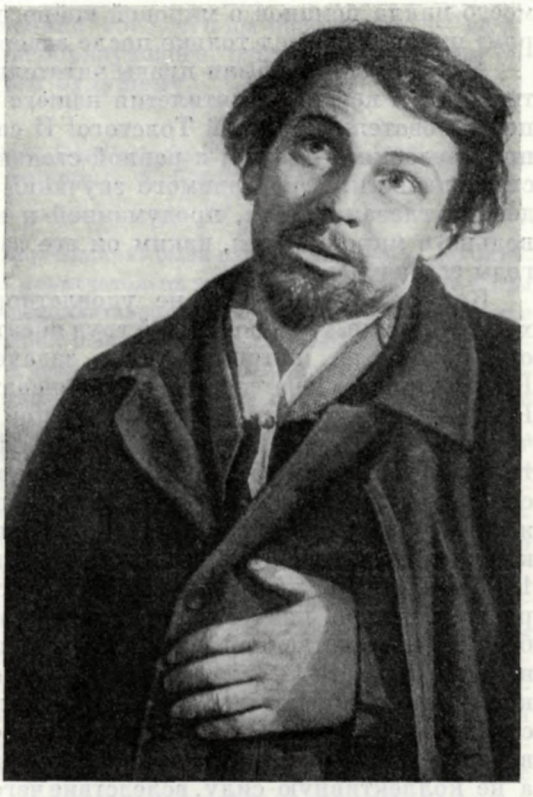


«ЖИВОЙ ТРУП» НА СЦЕНЕ «НЕМЕЦКОГО ТЕАТРА». БЕРЛИН, 1913
Сцена из третьего акта. В трактире
Федор Протасов — Александр Моисси
Из книги: «Der lebende Leichnam von Leo Tolstoi. Zwölf Bilder nach der Aufführung im Deutschen Theater von Max Reinhardt.» Berlin, 1913

«ЖИВОЙ ТРУП» НА СЦЕНЕ «НЕМЕЦКОГО ТЕАТРА», БЕРЛИН, 1913

Федор Протасов — Александр Моисси

Из книги: «Der lebende Leichnam von Leo Tolstoi. Zwölf Bilder nach der Aufführung im Deutschen Theater von Max Reinhardt.» Berlin, 1913



из деревни диктовал нам, почтительно внемлющим ученикам, свои решения общественных и художественных проблем!

Толстой оплодотворил даже сценическое искусство своей «Властью тьмы», а под конец «Живым трупом», столь изумительно поставленным Максом Рейнгардтом и столь же незабываемо сыгранным Александром Моисси.

Но всю свою первозданную силу Толстой раскрыл, написав «Войну и мир», создав «Анну Каренину», этот образ передовой дочери XIX века, и сотни других персонажей в менее крупных романах и в коротких бессмертных рассказах. Все, что волшебной силой своей фантазии он заставил засверкать, все, что увековечил свободно брошенными копнами и горами своих фраз,— все это обеспечило русской литературе мировое превосходство, которое сегодня оспаривается менее, чем когда бы то ни было.

Вот почему и могло так случиться, что, когда автор военного романа «Спор об унтере Грише» лет пятнадцать назад навестил на берегу Цюрихского озера своего коллегу по перу и эмиграции — немецкого мастера слова Томаса Манна и последний попытался запугать младшего заявлением, что «лучшим романом о войне все-таки остается „Война и мир“!», младший воскликнул: «Толстой! Но это же само собой разумеется. Кто может с ним равняться! Хотя бы потому, что он изобразил наполеоновскую войну пятьдесят лет спустя и ему, следовательно, уже не приходилось опасаться давления материала!» Тогда я лишь таким образом намекнул на преимущество, которое дает художнику свободная игра фантазии и при овладении исторической тематикой. В качестве гостя Томаса Манна я не был склонен вступать в профессиональный спор и указывать на то, что в Амстердаме только что вышел четвертый роман из

моего цикла романов о мировой войне, и сопоставление с «Войной и миром» имело бы смысл только после завершения всего сочинения.

А насколько же были правы читатели и критики последнего десятилетия XIX и первого десятилетия нашего века в своем преклонении перед повествовательной силой Толстого! И самые крупные и самые маленькие произведения его прозы в равной степени полны истинного дыхания действительности, неизгладимого звучания и аромата реальной жизни, увиденной глазами поэта, продуманной и взвешенной умом человека, недовольного миром, таким, каким он его застал, и тем, как он изменился за годы его жизни.

Конечно, его отнюдь не удовлетворяло преобразование мира одним художественным словом. Свой труд писателя и свою частную деятельность он с первых же шагов подчинил задаче улучшения русского общества. Разумеется, он не переставал бичевать общественные язвы царской России и клеймить пороки европейской цивилизации за страдания, причиняемые ею эпохе и современникам. Но потому, что последние десятилетия ему все заметнее не хватало движущей силы, здоровой мужественности и веры в лучшее будущее, а в особенности потому, что в личной жизни у него был разлад с женой и детьми — он не мог присоединиться к положительным, реорганизующим силам общества, которые уже с 1830-х годов, со времени декабристов, стремились революционизировать русскую жизнь, изменить общественную структуру применительно к требованиям нравственной и социальной справедливости. Как и многие его великие коллеги — художники прошлых веков — он обратился к некоему евангелию отсталости,—т. е. искал прибежища в первобытном христианстве, словно за две тысячи лет оно еще не доказало своего бессилия в борьбе против зол мира, противопоставляя им единичное «я» человека, а не коллективную силу, вследствие чего оставалось незыблемым господство эксплуататорских классов и слоев. «Не противьтесь злу насилием»— таково нравственное правило, которое, опираясь на свое мировое значение, хотел утвердить Толстой и которое пытался осуществить в своей деревне Ясная Поляна. Насколько неизбежно ждала его тут неудача, нас, современников 1905—1917 годов, убеждать не приходится. История давно уже перешагнула через моралиста Толстого — автора многочисленных полемических сочинений,— если бы он мог положить на чашу весов только эту часть своего внутреннего мира, он давно и по праву был бы уже забыт. Не дух формирует тело, а общественное бытие определяет сознание и средствам производства принадлежит решающая роль в нынешнем обществе.

Но, к счастью, его фантазия и творческая сила до последних лет жизни влекли его от образа к образу, переносили из одного мира в другой. Кавказ и аристократы, женское и мужское население городов, и крестьяне, снова и снова крестьяне заселяли его письменный стол, как заселяли лилипуты в свифтовском «Гулливере» столы и мебель всемирного путешественника, выдуманного Даниэлем Дефо. Анна Каренина и Пьер Безухов, Хаджи Мурат и Нехлюдов, крестьянин Поликушка и солдат Авдеев, умирающий Иван Ильич и казаки 1850 года — все они, рожденные животворной силой воображения этого гениального русского, созданные из элементов мира, его окружавшего и воспринятого в духе критического реализма, все они относятся к тем поэтическим образам, вместе с которыми мы вырастали. Наши дети и внуки еще узнают по ним счастье, доставляемое чтением. Ибо если говорить о родоначальниках нового восприятия жизни, творческого преобразования мира, то, так же как Бальзак, истолкованный Марксом и Энгельсом, так и Толстой, истолкованный Лениным, стоит среди них в первом ряду. Ибо тот, кто умеет обнажить внутренний мир своих современников, тот затрагивает самую суть и загадку

человека, и таким путем — а это наилучший путь — помогает поколениям достичь понимания и усвоения того, что им необходимо,— внутренне связанного, общественно преобразующего, освещенного светом социализма движения от настоящего к будущему.

13 июля 1949 г.

Печатается по тексту журнала: «Neue Gesellschaft», 1953, № 9, S. 677—678, где опубликовано впервые. — Перевод с немецкого Е. А. Кацевой.

Статья Арнольда *Цвейга* (р. 1887) «Лев Толстой» была написана в 1949 г., но опубликована лишь спустя четыре года. Она примечательна тем, что отражает новые черты восприятия Толстого, характерные для демократической интеллигенции, чье духовное становление происходило в годы революций и войн. Не Толстой-философ, проповедник нравственно-религиозных истин, а художник, обладающий исключительной «повествовательной мощью», автор бессмертных романов и драм, «полных неподдельного дыхания самой действительности», дорог Цвейгу. Он ценит в Толстом художника, вторгавшегося в жизнь, жаждавшего «нравственной и социальной справедливости», т. е. именно те свойства, которые Цвейг сам хотел бы позаимствовать у Толстого. Выступая в 1952 г. в Москве, в Союзе советских писателей, Цвейг с большей отчетливостью отметил, какие стороны и особенности творчества Толстого запечатлелись в его писательском сознании. Он сказал тогда: «Толстой для меня всегда значил очень много. Еще будучи школьником, я прочитал „Хаджи-Мурата". На меня произвело сильнейшее впечатление, как там описана смерть солдата Авдеева,— с какой человеческой глубиной и простотой показан человек в момент умирания. В юные годы я долго не расставался с карманным изданием „Воскресения", носил эту книгу с собой и много раз ее перечитывал. Не говорю уже о том, как взволновали меня при первом чтении и „Анна Каренина" и „Война и мир". Толстой как автор „Войны и мира" — недосягаемая вершина. Его уровня не сумел достичь никто из романистов, писавших о войне. Как-то Томас Манн сказал мне, что „Война и мир" — самое сильное в мировой литературе произведение о войне. И я вполне согласился с ним. Конечно, философских взглядов Толстого я никогда не разделял. Но именно в последние годы я пришел к мысли, что в рассуждениях Толстого об искусстве есть много правильного. Даже в его работе о Шекспире есть доля истины». (Записано Т. Л. Мотылевой и цит. в ее кн. «О мировом значении Л. Н. Толстого». М., 1957, стр. 604.)

Художественный опыт Толстого так же, как его яркая антимилитаристская и антиправительственная публицистика, оказали определенное воздействие на Цвейга. Следуя Толстому, Цвейг в своем монументальном романическом антивоенном цикле сталкивает войну с частной жизнью, с естественным стремлением живой человеческой личности к счастью и добру. Толстому в известной мере обязан Цвейг своим иронически-недоверчивым отношением к верхам, к военным руководителям империалистической армии. Толстой в какой-то степени подготовил Цвейга, как и других писателей его поколения, к проникновению в истинную сущность милитаристской и шовинистической идеологии, к утверждению искусства «трезвого реализма». Несмотря на то, что Цвейг в своей статье отрицает влияние толстовской философии, в главном образе первого из романов цикла «Большая война белых людей», унтера Гриши, проявляются черты каратаевской кротости, смирения и пассивности. В романах, созданных уже в эмиграции, Цвейг освободился от несколько абстрактного гуманизма и «правдолюбия» и стал более последовательно утверждать роль народных масс в истории.

Высоко ценя творчество Толстого, его живую и неповторимую индивидуальность, Цвейг в своей статье тем не менее допускает некоторые неточности и неверные утверждения. Так, нельзя согласиться с его объяснением причин, которые помешали Толстому присоединиться к «положительным, реорганизующим силам общества». Свести всю сложность взглядов писателя на революцию к недостатку «движущей силы, здоровой мужественности и веры в лучшее будущее» и, тем более, к «разладу с женой и детьми», разумеется, никак нельзя.

С. А. Розанова

МОРИС ДРЮОН

КАК ТВОРИЛ ЭТОТ ГИГАНТ

Назначение театральных героев — вместо нас произносить слова, которые мы сами не осмелились произнести; вместо нас совершать преступления, которые в порыве страсти мы совершаем в нашем воображении; доводить до конца наши любовные похождения, завершить которые мы не решались. Герои пьес обладают магической силой в том смысле и в той мере, в какой они являются действенными символами. Драматический спектакль — это мистерия, в которой свершаются освобождающие нас замены.

Другое дело герои романа. Мы редко видим в них своих двойников: они служат нам изображением «наших ближних». Мы можем вообразить себя Гамлетом или Береникой, но в Растиньяке, в Юло, в госпоже де Реналь или в Терезе Ракен мы узнаем своих соседей. Герои романа — это посредники между нами и нашими ближними, это существа, которых мы знаем хуже, чем самих себя, но гораздо лучше и полнее, чем огромное большинство окружающих нас живых людей. Они — наши спутники в жизни, избранное нами общество; герои романов — наши друзья. Никто, ни один писатель не населил мой духовный мир таким множеством друзей, как Лев Толстой.

Пьер Безухов, князь Андрей, все члены семьи Ростовых — мои друзья. Друзья истинные, так как они помогли мне понять других людей, друзья верные: их не видишь месяцами, а встретив вновь, убеждаешься, что они совсем не изменились; друзья, которые, как и наши живые друзья, на самом деле не умирают, а живут до тех пор, пока живы мы, и даже всегда остаются в том возрасте, в каком были, когда мы впервые с ними познакомились.

Думаю, что я стал писать романы именно потому, что мне хотелось, чтобы мои друзья не умирали, и обязан я этим почти исключительно Толстому. Ни «Красное и черное», ни «Воспитание чувств», ни «В поисках утраченного времени» не внушили мне этого желания, не пробудили воли к этому труду. Ни о чем другом, кроме пьес для театра или эссе, я и не помышлял. Пример Толстого, чтение в двадцать лет «Войны и мира» заронили мне в душу соблазн. Именно в «Войне и мире» пытался я найти тайну создания романа; читая и бесконечно перечитывая это совершенное произведение, я задавал себе вопрос: «Но как же, как творил Толстой?»

Прежде всего, разумеется, перед нами гений — необъяснимый, неподражаемый. Гений, который подавляет вас, который возвышается над вами и от которого у вас захватывает дыхание, как это бывает, когда входишь в Сикстинскую капеллу.

Кстати, сходство между Толстым и Микеланджело весьма ощутимо: у обоих скуластые лица, изборожденные глубокими морщинами, расплющенный нос и глубоко посаженные глаза. Вот они — два колосса, рожденных для того, чтобы стать выразителями вселенной. Это и есть гениальность — тот дар, который на протяжении века или эпохи выпадает на долю только единичных избранников, предназначая их тем или иным способом отображать видимый и невидимый мир.

Однако те, чьи творения возвысились над их временем,— это люди, которые, даже при равных с другими дарованиях, всегда работали больше остальных. Памятники воздвигаются мечтой и руками.

Гениальные образы Сикстинской капеллы могли бы остаться написанными на картоне; чтобы их увековечить, Микеланджело должен был

неделями, месяцами не слезать с помостов и держать голову запрокинутой, так что у него свело шею и он не мог уже смотреть вниз, и когда ему нужно было попросить кисть, еду или сапоги, он кричал вверх, в свод.

Толстой семь раз переписал «Войну и мир», и в процессе этой огромной, мучительной, каждодневной работы он довел свое мастерство до совершенства.

Я не раз пытался найти у Толстого законы этого мастерства, правила композиции, которые так же важны, как способ растирания красок у Леонардо да Винчи или решение архитектурных пропорций у Микеланджело.

Опираясь на пример Толстого, я считаю, что циклический роман, роман, стремящийся отразить целую эпоху или целое общество, должен развиваться на параллельных сюжетных линиях: только благодаря переходу от одного действия к другому читатель получает впечатление глубины во времени и в пространстве. Чередование сюжетных линий как бы приобретает значение перспективы.

Кроме того, в каждой сюжетной интриге, в каждом отсеке той же интриги Толстой расчленяет действие на главки, на сцены, в которых персонажи всегда находятся в движении, всегда представлены непосредственно, зримо.

Быть может, Толстой и не первый изобрел такую композиционную формулу, но, во всяком случае, он дает нам первый и самый совершенный образец композиции этого рода, этой техники расчленения действия, которая была в дальнейшем подхвачена и применена даже при конструкции кинематографического повествования.

Но одного расчленения еще недостаточно. Чтобы каждая сцена приобрела силу и правдивость, надо чтобы она содержала либо какой-то конфликт личности — тогда она будет написана как картина или акт театрального представления; либо она должна быть увиденной глазами одного из персонажей, чья личная судьба играет определенную роль в коллективном действии.

Внимание читателя бывает привлечено, его интерес завоеван и сохранен, его требования удовлетворены только тогда, когда изображаемое событие волнует, эмоционально задевает одного из героев романа, одного из вымышленных «друзей» читателя. Недостаточно, например, чтобы генерал Багратион, спаситель отечества, был торжественно принят в Английском клубе в Москве. Картина в музее на ту же тему дала бы нам представление более непосредственное, а страница истории — более точное изложение. И если описание события в романе нас трогает более, чем история или картина, и ярче запечатлевается в нашей памяти,— то только потому, что добрейший граф Ростов, устроитель приема, испытывает по этому случаю все треволнения и заботы хозяина дома, а в следующей главе милый Пьер Безухов смотрит на этот обед и на все происходящее как на безразличный и бессмысленный сон, будучи целиком поглощен мыслями о неверности своей жены. Другими словами, всю важность этого исторического обеда мы понимаем только потому, что на нем присутствовали знакомые нам люди.

Некоторые уверяют, что, читая Толстого, они испытывают затруднение от сложности русских имен, от множества и сходства всех этих «Николай Андреевич, Андрей Николаевич, Петр Николаевич, Анна Павловна, Анна Михайловна, Марья Дмитриевна, Михаил Иванович...»

Меня лично это никогда не смущало, и меня даже удивляет, что здесь вообще возможна какая-либо путаница.

Одно из достоинств персонажей Толстого в том и состоит, что их узнаёшь почти без помощи имени. Я убедился в этом, когда открыл однажды наугад «Войну и мир» и мне попалось имя Анны Михайловны. Я не

помнил, кто такая Анна Михайловна. Но затем я прочел: «Анна Михайловна, несмотря на поправившиеся дела, продолжала жить у Ростовых...» Этого было достаточно: я понял, что речь, идет о старой княгине Друбецкой, плаксе, приживалке, вечной просительнице и интриганке, постоянно добивающейся какой-нибудь милости. К ней одной только и могли относиться эти слова «поправившиеся дела», определяя главную заботу ее жизни.



«ВОЙНА И МИР». ИЛЛЮСТРАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ХУДОЖНИКА ЭДИ ЛЕГРАНА
Из книги: Léon T o l s t o ï. La Guerre et la Paix. Paris, 1960

В данном случае Толстой только продолжает или заново открывает гомеровский метод.

У Гомера имя персонажа всегда сопровождается эпитетом или определительным прилагательным. У Толстого отличительный физический признак героя всегде приводится рядом с его именем, если этот герой некоторое время отсутствовал,— большие уши Каренина, морщины на лбу Билибина. А иногда это какая-нибудь черточка, определяющая нравственный облик героя или его главный жизненный интерес.

Таким образом, стоит персонажу появиться, как он возникает перед нами во всей своей самобытности, с тем выражением радости или беспокойства на лице, которое ему свойственно и которое тотчас напомнит нам, что́ именно составляет основную его заботу.

И тогда может оказаться — как это нередко бывает и в жизни,— что мы не в состоянии сразу вспомнить имя героя, хотя и знаем, кто он.

Все это относится к технике — исключительно высокой и совершенной технике. Но где поистине проявляется толстовский гений — это, например, в сцене спора Пьера Безухова с женой, когда герой впадает в страшную ярость, и Толстой пишет: «Порода отца сказалась в нем». Мы ничего не знаем о старом графе Безухове, сцена кончины которого блистательно



«ВОЙНА И МИР». ИЛЛЮСТРАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ХУДОЖНИКА ЭДИ ЛЕГРАНА
Из книги: Léon Tolstoï. La Guerre et la Paix. Paris, 1960

описана на нескольких страницах в самом начале книги, мы только видели львиную голову умирающего, парализованного и окруженного духовенством, совершающим над ним обряд соборования. Нам ни разу не было сказано, что этот старик был гневным. Тем не менее все это воспринимается нами как несомненная истина, как нечто само собой разумеющееся.

Толстовский гений проявляется и в том, что всякий раз, когда толстяк Пьер, этот огромный увалень, добродушный, неловкий и совестливый, сталкивается с Долоховым — бреттером, циником, буяном, человеком вспыльчивым, готовым в любой миг схватиться за оружие, всегда терпит поражение именно Долохов, и всегда именно он вынужден расхлебывать неприятности.

Если они, забавляясь после ночного кутежа, привязывают квартального к спине медведя,— разжалован и сослан простым солдатом в пехотный полк будет Долохов. Если Пьер в припадке ревности, видя, что Долохов ухаживает за его женой, вызывает его на дуэль, то раненым окажется Долохов, хотя все, казалось, указывало на то, что жертвой должен был стать Пьер.

У любого другого писателя это показалось бы нам произвольным и упрощенным решением.

Почему же у Толстого это не только допустимо, но и восхитительно? Потому что он обладает интуитивным и безошибочным знанием того своеобразного постоянства, которое существует во взаимоотношениях между двумя личностями.

Один из секретов Толстого — это любовь к своим героям, волнение и нежность, которые он испытывает к каждому из них. Он участвует в их жизни, он никогда не остается холодным к вымышленным им персонажам. Он сам писал в одном из писем: «... ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело»*.

И, несомненно, именно по этой причине Наполеон — единственный неудавшийся характер в «Войне и мире», единственный образ, созданный лишь из чернил и бумаги. Французский император не потому не удался, что он — личность историческая, а ее всегда бывает трудно заставить жить в романе полнокровной жизнью. Кутузов у Толстого превосходен и император Александр также — они, в буквальном смысле слова, такие же живые, как и герои вымышленные. Наполеон не удался потому, что Толстой его не любит, потому что сердце русского мешает ему любить Наполеона, а, с другой стороны, он слишком им восхищается и поэтому не может ругать его или смеяться над ним так, «чтобы небу жарко было или животики подвело».

Но то, что явилось слабой стороной в изображении Наполеона, стало в какой-то степени силой и величием других образов, ибо второй секрет Толстого — в том, что он был русским в полном и глубоком значении этого слова; я хочу этим сказать, что он принадлежал к определенной среде, определенному народу, определенной стране, определенной истории и писал так, что во всех его персонажах эта история, этот народ, эта среда всегда ощутимы.

Будь он французом, испанцем или шведом, он изобразил бы нам с той же остротой скандинавские, иберийские и латинские типы; он так же придал бы своим героям характерные черты, связанные с землей, нравами и прошлым народа, те черты, которые отличают людей друг от друга не менее ярко, чем их индивидуальные склонности.

Интригана как такового нет. Есть русский князь, вельможа, приближенный императрицы-матери в первые годы XIX века, готовый женить своего сына на дурнушке, лишь бы она была богатой; покрывающий беспутство своей дочери, выкрадывающий завещание, чтобы обеспечить свою семью; и, несмотря на все это, он выходит из комнаты покойника бледный, с трясущейся точно в лихорадке челюстью и говорит тому самому молодому человеку, которого пытается обобрать: «Ах, мой друг! Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и все для чего? Мне шестой десяток, мой друг... Верь мне... Все кончится смертью, все. Смерть ужасна».

Этот интриган — князь Василий. Это универсальный тип интригана, хотя он и кажется неотделимым от своего общества. Он типичен имен-

---

* Письмо к А. А. Фету от 23 февраля 1860 г. — *Ред.*

но потому, что глубоко связан со своей эпохой, со своей средой, со своей страной, типичен потому, что не является простым рупором самого себя.

* * *

«Война и мир» — фреска, при первом взгляде на которую кажется, что здесь изображены все чувства, все возрасты жизни человека, все формы его деятельности.

Однако, рассматривая ее пристальнее, убеждаешься, что она все же неполна.

На самом деле Толстой описывал только то, что хорошо знал, и это уже немало. Он запечатлел все самое существенное в жизни своего времени. Он изобразил аристократию, к которой сам принадлежал, крупных помещиков, придворных, высокопоставленных иностранцев, дипломатов, военных, охотников и крестьян.

Он не описал духовенства, с которым был в неладах,— правда, лишь в третий период своей жизни; он вовсе не обрисовал или только очень бегло обрисовал врачей, чиновников, людей свободных профессий; не изобразил он также, за исключением нескольких крайне жестоких страниц, посвященных им, ни мещан, ни актеров.

Представители этих слоев, являющиеся основными героями произведений Бальзака, так как они играли весьма значительную роль во французском обществе XIX столетия, занимали гораздо более скромное место в русском обществе той же поры. Россия в изображаемую Толстым эпоху (т. е. в годы, протекшие без особо заметных изменений от времен князя Василия до времен Каренина) — это Франция эпохи Сен-Симона.

Несмотря на такую оговорку, творчество Толстого создает впечатление необычайной полноты воспроизведения человеческой жизни, и, когда сам берешься за перо, испытываешь порой горькое чувство, что после Толстого тебе уже нечего сказать, что все уже сказано и превосходно выражено им.

Сможем ли мы когда-нибудь обрисовать последние минуты жизни человека лучше, чем это сделал Толстой в описании смерти графа Безухова? Сможем ли мы обрисовать старость лучше, чем это сделал он в описании этого чудака, князя Болконского, этого брюзгливого, раздражительного старика, бывшего генерал-аншефа, обломка екатерининских времен. Этот домашний тиран, терроризирующий свою дочь, отравляющий ей жизнь, этот сумасброд, поставивший токарный станок в своем кабинете, называющий бездарными мальчишками командиров, пришедших ему на смену, и, охваченный страхом смерти, заставляющий ежедневно менять место своей постели — как ясно чувствуешь, что он принадлежит к другому поколению, а не к поколению героев наполеоновских войн. Но как мы любим этого старика, несмотря на все его недостатки, как уважаем, несмотря на все его старческие причуды...

Сможем ли мы когда-нибудь воссоздать образ старой девы, этого драгуна в юбке, которая засучивает рукава и режет правду в глаза всему свету, перед которой все дрожат, не переставая любить за то, что она именно такая,— сможем ли мы запечатлеть этот образ так, как запечатлел его Толстой в тетушке Марье Дмитриевне?

А юные девушки, те юные девушки, которыми так бедна французская литература,— сможем ли мы изобразить их с такой неподражаемой жизненной правдивостью?

Сможем ли мы описать сцену, подобную той, когда Соня, бедная сирота, влюбленная в своего кузена, порывисто выбегает из комнаты, услышав ласковое слово, предназначенное для нее в письме Николая,

которое читает вся семья: «Услыхав это, Соня покраснела так, что слезы выступили ей на глаза. И, не в силах выдержать обратившиеся на нее взгляды, она побежала в залу, разбежалась, закружилась и, раздув баллоном платье свое, раскрасневшаяся и улыбающаяся, села на пол».

А Наташа, Наташа, в которую мы все были влюблены, эта девочка с худенькими руками, черноглазая, с большим ртом, про которую не скажешь, дурнушка ли она или хорошенькая, но которая вся искрится жизнью, когда, едва достигнув четырнадцати лет, в день своих именин она вбегает в гостиную матери, уже влюбленная, но каждую неделю меняющая свои увлечения, невольно сея вокруг себя драмы, мечтая стать танцовщицей после того, как мечтала о тысяче других вещей, Наташа, руки которой добиваются все герои романа, плачущая, страдающая, смеющаяся, чуть было не похищенная сыном князя Василия, самоотверженно дежурящая у изголовья смертельно раненного князя Андрея и, наконец, вышедшая замуж за толстого Пьера и превратившаяся в располневшую зрелую женщину, только изредка вспоминающую о своих былых увлечениях...

О нет! Никогда не сможем мы достичь такого совершенства. И вот, перечитывая «Войну и мир», например, страницы с описанием первого бала, первого танца Наташи, когда ее, всю красную от смущения, мать посылает пригласить толстого Пьера, мы, зная все, что произойдет затем в ближайшее десятилетие, что после всех волнений, радостей, драм она станет его женой, перечитывая эти страницы, — мы испытываем почти такое же наслаждение, как вспоминая собственную жизнь.

Да, у Толстого находишь все: детство и старость, великие и простые переживания, связанные с рождением и смертью человека, все суетные помыслы тщеславия, самодовольство военных и бессилье министров, женскую красоту, властные голоса страстей, всех страстей, дочернюю преданность (княжна Марья... можно ли написать этот образ лучше!), подлость, эгоизм, надежды, беседы с богом. Все это находишь у Толстого, и все это дано во взаимосвязи, в гармонии, все это струится в великом потоке истории и проникнуто тревогой человечества перед смыслом жизни.

Можно более тщательно описать тот или иной круг общества, тот или иной оттенок чувства. Можно даже создать отдельные фрески, но никогда не удастся достичь такой целостности изображения, при которой каждая деталь поражает своей достоверностью. Нам никогда не удастся воссоздать эту полноводную реку человеческой жизни.

* * *

Этот роман, являющийся как бы родиной для стольких людей на земле, открывается обращением на французском языке, которое мы знаем наизусть, и услыхав которое, мы всякий раз испытываем такое чувство, будто перешагнули границу отечества после долгого путешествия:

«— Eh bien, mon prince, Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur, садитесь и рассказывайте.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, встречая важного и чиновного князя Василия...» и т. д.

Ослепительное, неподражаемое начало, но вот каким оно было в первой редакции первоначальной рукописи, когда произведение еще не имело названия «Война и мир», а было озаглавлено: «С 1805 по 1814 год. Роман графа Л. Н. Толстого. 1805-й год. Часть 1-я».

Глава начиналась так:

«Тем, кто знали князя Петра Кириловича Б. в начале царствования Александра II, в 1850-тых годах, когда Петр Кирилыч был возвращен из Сибири белым, как лунь, стариком, трудно бы было вообразить себе его беззаботным, бестолковым и сумасбродным юношей, каким он был в начале царствования Александра I, вскоре после приезда своего из-за границы, где он по желанию отца оканчивал свое воспитание.

Князь Петр Кирилович, как известно, был незаконный сын князя Кирила Владимировича Б. В то время первой молодости, о котором я пишу, он еще не был усыновлен отцом и в том высшем кругу общества, в котором вырос, был известен под именем только monsieur Pierre'a».

Эту первую редакцию, поражающую плоскостью, тяжеловесностью и старомодностью, это начало, под которым могла бы подписаться госпожа Крюденер, и окончательный текст отделяют пять лет работы, исторических изысканий, записей. Понадобилось семь вариантов (все они переписаны рукой графини Толстой), понадобилось около двух тысяч дней труда над двумя тысячами страниц книги, чтобы достичь такого не стареющего языка, такого совершенства стиля и мысли — и такой законченности этого творения, которое Ромен Роллан называл «грандиозным памятником, венцом романа XIX века».

Действительно, можно сказать, что гениальным Толстой стал в процессе работы, в силу вечной писательской неудовлетворенности. Не думаете ли вы, что, возводя этот монумент, подавляющий нас своей безмерностью, что, насадив этот лес жизни, все дороги и тропинки которого нам никогда не исходить,— не думаете ли вы, что он, наконец, облегченно вздохнул, радуясь завершению намеченного труда?

О нет! «Война и мир» была для Толстого не более чем фрагментом задуманного цикла, только центральной картиной широкой эпопеи, простирающейся от Петра Великого до декабристов, лишь частью величественной поэмы о России, поэмы, которой надлежало охватить не одно десятилетие, но целых два века.

Здесь мы подходим к вопросу о самой природе творчества романистов-бытописателей, к глубоким истокам их мышления.

Социальный роман — потомок, наследник, смена эпической поэмы исчезнувших цивилизаций.

«Война и мир» Толстого — это новая Илиада. Впрочем, Гомер питал его творчество, и он так страстно был им увлечен, что в середине жизни стал изучать греческий язык, чтобы читать гомеровские поэмы в подлиннике.

У романистов нового времени, писавших такие эпические полотна (это относится к Бальзаку и Золя в не меньшей мере, чем к Толстому), мы видим особую духовную устремленность, она побуждает их закреплять уже отстоявшиеся впечатления юности, осмысливать воспоминания о делах, происходивших до их рождения и известных им по рассказам, оживлять социальные события, свидетелями которых они были на пороге зрелого возраста,— она побуждает их создавать монументальные кадры и непрестанно дополнять эти кадры, размещая в них трофеи своей памяти.

Для таких писателей не только невозможно изобразить человека вне общества, в котором он живет, но и невозможно описать самое общество, если оно не включено в исторический контекст, невозможно воссоздать

самую историю, если она не рассматривается как частица всего мироздания.

Иными словами, они могут писать только тогда, когда у них есть широкое обобщающее миросозерцание и оно, безмолвное или высказанное, отражается в каждом из героев и придает единство всему творчеству автора. Мощь этих писателей, вызывающая изумление всего человечества, их самих обрекает на вечное недовольство собою. Они умирают в ореоле славы, с чувством разочарования, что оставляют незавершенным целый мир.

Печатается по тексту «Lettres Françaises», 1953, 17—24.IX, где опубликовано впервые.— Перевод с французского И. Б. Овчинниковой.

Статья Мориса *Дрюона* (р. 1918) «Как творил этот гигант» («Comment faisait-il, ce Géant») написана к стодвадцатипятилетию со дня рождения Толстого. Автора статьи, восторженного ценителя творчества русского писателя, больше всего волнует проблема толстовского мастерства. Плоды наблюдений Дрюона интересны, прежде всего, потому, что для него имеет значение не голая писательская техника, а техника как конкретное литературное выражение великой любви Толстого к людям. Дрюон ратует за такое искусство, которое правдиво изображает человека с его огромным и сложным внутренним миром,— как частицу великой общности, частицу класса, народа, человечества. Дрюон стоит за искусство, проникнутое большими идеями, основанное на «общей концепции вселенной», на четком мировоззренческом фундаменте.

Автор известных романов «Сильные мира сего» и «Проклятые короли», Дрюон был участником второй мировой войны и движения Сопротивления. Он член Национального комитета писателей Франции и выступает как критик и публицист в демократической печати, в частности, в еженедельнике «Lettres Françaises». Дрюон неоднократно обращается к характеристике творчества Толстого.

В 1949 г., будучи в Риме, Дрюон посетил Татьяну Львовну Сухотину-Толстую. Воспоминания об этом посещении он опубликовал в 1960 г. в журнале «Biblio». «Голос Толстого» — так назвал автор свою статью, проникнутую благоговейным отношением к памяти великого писателя. Дочь Толстого показала Дрюону старые семейные фотографии: «Татьяна Толстая нетерпеливой рукой перебирала воспоминания юности и черпала из былого свой собственный молодой образ, а для меня каждый документ вызывал в воображении лица героев „Войны и мира“ и „Анны Карениной“». Затем Дрюон прослушал старые фонографические записи голоса Толстого. «Мы прослушали две: одну на английском, другую на русском языке — две немного скрипевшие пластинки, с которых доносился удивительный старческий голос, сильный, неторопливый, могучий голос пророка, уверенного в своих словах. Казалось, фразы, произнесенные сорок лет назад устами, навеки сомкнувшимися через несколько месяцев, прокатились по всем горам земли, и их отголоски ударились о холмы Капитолия и Яникула, прежде чем умчаться дальше — к другим вершинам, к другим городам. „У вас нет никакого права,— говорил этот голос,— жаловаться на жизнь. Когда вы недовольны жизнью, вы на самом деле недовольны собой“. Эти слова, как никакие другие, были для меня огромной поддержкой в жизни» («Biblio», 1960, № 4.— Перевод И. Б. Овчинниковой).

В том же 1960 г., отвечая на анкету журнала «Biblio», Дрюон указал, что его любимыми писателями являются Толстой, Шатобриан и Саллюстий, а излюбленными литературными героями — герои Толстого. В 1956 г. Дрюон напечатал статью о голливудской экранизации «Войны и мира» (см. «Lettres Françaises», 27.XII 1956—2.I 1957). Анализируя сценарий Кинга Видора, он обличил идейную и художественную бедность этого произведения американского киноискусства. «Это вовсе не плохой фильм,— пишет Дрюон,— далеко не плохой. Все здесь красиво. Все сделано со старанием. В сущности, в него не внесли ничего лишнего, ничего такого, чего не было бы у Толстого. Но Толстой здесь не только предан — он принижен. Воспроизведение исторических эпи-

зодов сделано, быть может, с искусством, но душа отсутствует». О персонажах голливудской картины Дрюон говорит: «Князь Андрей, оказывается, выше Пьера и такой же мечтатель, как и Пьер. Они ничем не отличаются друг от друга. Старики, которые у Толстого играют такую важную роль, превратились в статистов... Князь Болконский дан как марионетка. А Кутузов! Среди бесцветных представителей рода человеческого он кажется грубой, кривляющейся карикатурой, он лишен благородства. В фильме отсутствуют существенно важные образы: у семьи Ростовых отняли дочь, у семьи Курагиных — сына... Декорации слишком красивы и богаты. Ни Болконские, ни Ростовы не могли жить в такой новехонькой, с иголочки, роскоши. Кажется, будто ты попал в царские хоромы. Да и вообще все это не в русском духе». Исключение Дрюон делает лишь для американской актрисы Одри Хэпберн, которую хвалит за тонкое проникновение в образ Наташи. В заключение статьи Дрюон говорит: «Итак, истрачено много денег, времени, добросовестных усилий для неудачной экранизации романа Толстого, который оказался лишенным главного: гениальности».

Заслуживает внимания и статья Дрюона «Зрелый возраст», опубликованная в «Lettres Françaises» в связи с пятидесятилетием со дня смерти Толстого (1960, № 845). В этой статье говорится:

«Чтение — это жизнь; читая, мы учимся, узнаем, понимаем, восхищаемся, любим.

Шатобриан — мое первое многолетнее увлечение. Мою молодость его проза питала и опьяняла, проза беспредельная и пронизанная солнцем, как полет Икара, мятежная, как гнев Прометея...

Так было около двадцати лет назад. Теперь моя настольная книга — „Война и мир". Должен признаться, что замена одного шедевра другим означает выбор между двумя концепциями жизни, между двумя направлениями мысли». Для Дрюона творчество Шатобриана — «поразительный памятник», который писатель воздвиг самому себе и своему гордому одиночеству. Шатобриан — это «великолепный, опасный, вечный юноша». Поведение Толстого, продолжает Дрюон,— «это поведение взрослого человека, это то состояние мысли, когда интерес обращен не к себе, а к другим людям, когда человек определяется не противопоставлением себя другим, а уподоблением или сближением, когда понимание жизни другого необходимо, чтобы понять самого себя, когда судьба индивидуума, при всей его гордости, не может оправдать себя и найти свое завершение, если она не составляет единого целого с судьбами других людей». Дрюон рассказывает о том, при каких обстоятельствах он сделал свой выбор, когда нравственный облик Толстого и его творчество покорили его. Это случилось в начале второй мировой войны, в 1940 г.:

«Я считаю милостью судьбы, если она в счастливую минуту знакомит нас с теми, кто принесет нам благо, и я был бы неблагодарным, если бы не признал, что этой милостью я щедро был оделен. Итак, я встретил Толстого — я подчеркиваю: встретил,— ни один из живущих ныне не является для меня более живым, чем Толстой. В нужный для меня момент я прочел „Войну и мир" — именно тогда, когда я сам находился на войне». Писатель рассказывает, как на дорогах горького отступления перед ордами гитлеровцев он черпал моральную силу в главах толстовской эпопеи. При чтении «аналогия с происходящим доходила до галлюцинации».

«Я хотел бы,— заключает Дрюон свою статью,— чтобы все юноши во всем мире, уходящие на войну,— а они, увы! уходят на нее каждый день к другим Смоленскам и другим Дордоням,— чтобы все эти юноши уносили с собой „Войну и мир". Эта книга прежде всего помогает нам узнать тех, с кем мы вместе сражаемся, а затем тех, против кого мы сражаемся. После этого наступает зрелость».

Творчество Толстого, произведшее столь сильное и неизгладимое впечатление на Дрюона, помогло талантливому французскому писателю сохранить верность лучшим традициям реализма.

М. Н. Вакс махер

ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ

«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» ЛЬВА ТОЛСТОГО

Книга, более сильная, чем догматические заблуждения автора

Каждый роман, написанный великим и мятущимся Львом Толстым, в свою очередь обладает собственной романической историей, как, впрочем, все романы подлинных писателей.

Это означает, что он глубоко уходит корнями непосредственно в пережитое событие в воспоминания и жизненный опыт, в духовный кризис или в решающий перелом, поворот в самой жизни автора.

Следовательно, это не повествование о выдуманных событиях, а литературное и творческое выражение человеческих терзаний; документальное свидетельство о том, что с колоссальной напряженностью пережито самым великим и самым беспокойным романистом всех времен и народов.

Вполне справедливо говорилось, что Бальзак в своей «Человеческой комедии», соперничая с природой, как истинный созидатель, вдохнул жизнь в несметный сонм героев и героинь, которые сохранились в нашей памяти дольше и ярче, чем люди из плоти и крови, знакомые читателям в действительной жизни: родные и близкие, враги или друзья. Память о реально существующих людях постепенно стирается и блекнет. Умирая, они погружаются в забвение. Надписи на их могильных плитах с прошествием времени ничего никому не говорят. Безымянные, они растворились в безвестности. А кто сможет когда-нибудь забыть Евгению Гранде и ее скупого отца, старого Горио и его эгоистичных дочерей, Люсьена де Рюбампре и Растиньяка, полковника Шабера, кузину Бетту или кузена Понса?

Но, чтобы создать эти типические, обобщающие, бессмертные образы, Бальзак-реалист собрал все составные части своего творения из окружавшей его человеческой, социальной и исторической действительности, проникая в нее своим взором извне, логически и методично, а затем, благодаря своему гигантскому творческому гению, сумел отождествиться с психологией этих героев, с их драмами и конфликтами, честолюбием, страстями, поражениями и победами.

Все эти чувства Бальзак пережил, лишь описав их с присущей ему силой писательского перевоплощения.

Толстой шел совершенно противоположным путем, в значительной степени характерным для творческого процесса всей русской классической литературы. Он вначале пережил непосредственно, лично, по-человечески, основные важнейшие события и конфликты своих произведений, и освободился от них, лишь поведав письменно о пережитом, словно в публичной исповеди или в манифесте, будящем совесть, манифесте либо социально-революционном, либо морально-революционном.

Разве не знаменательно, что первое литературное произведение Льва Толстого, снискавшее ему славу, когда автору не было и двадцати семи лет, обнимало именно человеческий, непосредственный, личный опыт молодого артиллерийского офицера, участвовавшего в боях под Севастополем в декабре 1854 года и мае и августе 1855?

Он создал тогда бессмертные литературные страницы, но ограничился не только этим! «Севастопольские рассказы» были настоящими манифестами, призывами к суровому суду совести, провозглашением веры.

Никто, ни в какой литературе еще не писал подобных страниц — глубоко человечных, прославляющих мир и в то же время высоко патриотических, —

о войне и о простом, не напыщенном, героизме народа, защищавшего землю своей родины от нашествия захватчиков. Никто не показывал так патетически и убедительно ужасов войны, как этот молодой офицер дворянского происхождения, бывший до того в значительной степени снобом, отягощенным многими грехами своего возраста и класса; трагическая, чудовищная действительность войны внезапно пробудила в нем кипение творческого гения, прорвавшегося подобно раскаленной лаве из кратера вулкана!

А десять лет спустя, в течение пятилетия между 1864 и 1869 годами, Лев Толстой написал шесть последовательных вариантов непревзойденного эпического произведения прошлого века, бессмертного романа «Война и мир», в котором живут, борются, любят, ненавидят, стонут, вздыхают, смеются и умирают сотни и сотни героев, как в новой «Илиаде» новой, близкой нам эпохи. Тогда и критики и литературоведы вынуждены были сразу признать, что реалистичность и значительность произведения, все наиболее достоверное и живое в нем, обусловлено не только тщательным изучением исторических событий на месте и по архивным материалам, но, в первую очередь, непосредственными севастопольскими испытаниями молодого артиллериста, перенесенными в соответствующую эпоху, и огромным количеством совсем недавних семейных воспоминаний, знакомых образов и характеров, существующих в действительности и лишь слегка замаскированных с помощью чужих, весьма прозрачных имен. Все произведение имело свои истоки в бесчисленных пережитых событиях, в массе героев, бытовавших и выросших в народном эпосе.

Романист вмешался лишь для того, чтобы привести в порядок хаос, выявить наиболее характерные моменты действительности, подчеркнуть пятна, тени и сияние света, чтобы вдохнуть жизнь в толпу персонажей и упорядочить бурный поток жизни, хлещущий с каждой страницы его повествования, ни о плавности, ни о стилистических украшениях которого он не заботился.

Роман населен живыми людьми, к которым словно испытываешь желание притронуться, как, по странному совпадению, выразились и Максим Горький и Михаил Садовяну; он насыщен жизнью, которая не уходит от читателя и после того, как перелистана последняя страница последнего тома романа,— именно потому, что эта жизнь была действительно пережита, а не выдумана, не просто описана автором.

Именно в этом — характерная черта, специфика художественного творчества великого Льва Толстого.

Возвращаясь теперь к «Крейцеровой сонате», в первую очередь поместим это произведение во времени, найдем его место в процессе творческого развития автора, в сплетении духовных кризисов и противоречий, так часто и мучительно переживаемых человеком и писателем еще со времен ранней юности. Только таким образом можно полностью объяснить страшную, потрясающую искренность этого произведения, такого скромного по объему, но вызвавшего такой огромный отклик в русской и европейской литературах тех лет.

Благодаря редкой и счастливой случайности читатели имеют в своем распоряжении не только текст произведения, но и две тетради дневника Льва Николаевича Толстого и его жены, Софьи Андреевны. Кроме того, мы располагаем перепиской и свидетельствами И. Е. Репина, а также многочисленными мемуарными материалами и письмами современников, присутствовавших при зарождении и создании произведения.

Таким образом, область смутных и растяжимых гипотез ограничилась сама по себе. Мы можем опираться на точные даты, подписанные и проверенные свидетельства.

Нам известен и внутренний конфликт, вечное неизжитое и неразрешенное противоречие, терзавшее совесть Льва Толстого — писателя, боровшегося с Львом Толстым — проповедником толстовства, чья диалектика всегда значительно уступала его собственному творческому гению и его изумительной прозорливости критического реалиста. Нам также известна, если можно так выразиться, и интимная, личная трагедия, тайный ключ этих противоречий, которые, терзая *человека*, придали такую патетичность *писателю* и *произведению*.

* * *

Итак, восстановим события!

К лету 1887 года большинство художественных произведений Льва Толстого, причем самых значительных, было уже создано, за исключением «Воскресения» и тех книг, которые были изданы посмертно. Слава Толстого давно вышла за рубежи его родины.

К сожалению, эта слава вышла за рубежи совместно с *толстовством*, с принципами непротивления злу и со всеми истолкованиями его учеников — некоторых просто нищих духом, других же лицемерных или циничных мистификаторов — как заклеймил их Максим Горький. Этот багаж был довольно неудобным: паразиты, балласт; антрепренеры, режиссеры и спекулянты славы, прилипалы славы.

Лев Толстой больше не принадлежал себе. Его захватило толстовство, и толстовцы взяли на него монополию.

Среди посетителей Ясной Поляны в большинстве своем толстовцев, враждебных мылу и щетке, но еще более враждебных художественному творчеству гениального писателя, оказался и весьма одаренный студент последнего курса Московской консерватории по классу скрипки, приглашенный давать уроки детям. Вечером 3 июля молодой скрипач, которому аккомпанировал на фортепьяно старший сын Толстого, Сережа, исполнил в гостиной знаменитую «Крейцерову сонату» Бетховена, давшую впоследствии свое имя не менее знаменитому литературному произведению, потрясшему миллионы и миллионы читателей.

Лев Толстой слушал музыку с глубоким волнением, а когда ритм стал убыстряться в известном Presto сонаты, он поднялся с кресла, словно не в силах переносить терзающий душу плач скрипки, подошел к открытому окну и, вглядываясь в звездную ночь, не сумел подавить стона.

На следующий день, запершись в своем рабочем кабинете, Толстой попытался продолжить книгу, над которой работал, книгу толстовской доктрины «О жизни». Но перо сопротивлялось, скрипело, не скользило по бумаге. Книга все-таки была доведена до конца, но через силу. В творческих замыслах Толстого зародилось тогда новое литературное произведение. Ибо, к счастью для русской и мировой литературы, Лев Толстой-писатель был могущественнее Толстого-доктринера.

В связи с этим нам следует остановиться на двух идейно-моральных противоречиях Толстого, весьма драматических, но столь же решающих и плодотворных. Не разобравшись в этих противоречиях, трудно было бы расшифровать генезис «Крейцеровой сонаты», как, впрочем, и генезис почти всех романов и повестей Толстого.

И на этот раз Толстому пришлось бороться с самим собой: человек и творец, с одной стороны, мистический и аскетический доктринер — с другой.

Ромен Роллан, биограф и поклонник гениального русского писателя, в своей книге «Жизнь Толстого» специально посвятил несколько страниц горячей любви к музыке, которую Лев Толстой испытывал с самого раннего детства и против которой тщетно, несправедливо и нелепо боролся,

«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ
(БУХАРЕСТ, 1891)
Титульный лист


LEV TOLSTOI

SONATA KREUTZER

Ear eŭ ţic voueĭ că tot cel ce caţă la femeea spre a o pofti pe ea, a săvîrşit adulterul cu dînsa în inima sa.

MATEIU, V, 28

BIBLIOTECA CENTRALĂ
Bucureşci

FASCICULA 1 — BANI 50.

COMPLET IN 6 FASCICULE

BUCUREŞCI
EDITURA LIBRĂRIEI IG. HERTZ
18, STRADA SMÂRDAN, 18

считая эту благородную страсть недостойной и опасной для настоящего толстовца, так как она лишает человека самообладания и отдает его во власть, как он выражался, «нездоровых чувств», развращающих и способствующих стольким падениям.

По той же причине, после того как в течение полжизни Толстой боготворил Бетховена, в своей работе «Что такое искусство?» он обрушился на «болезненное творчество глухого старца Бетховена». Резкость выражений проповедника непротивления злу возмутила великого композитора Чайковского и привела к охлаждению его дружбы с Толстым.

Таково первое противоречие самого творческого замысла «Крейцеровой сонаты». С одной стороны, стихийное, непреодолимое восхищение писателя музыкой Бетховена; с другой же — грозное, насыщенное громами и молниями, возмущение доктринера толстовства против собственного восхищения, от которого он отрекается, но может вырвать из своей души лишь внешне и временно, с помощью пера на страницах книги.

Второе противоречие, не менее странное. В «Крейцеровой сонате» писатель-реалист Лев Толстой, с присущей лишь ему одному силой и яростью, разоблачает лживость буржуазной семьи, лицемерие супружеской жизни, основанной на мещанской общности интересов и на чувственности, разоблачает унизительную ревность, взаимные терзания супругов, между которыми нет больше любви, но которые продолжают сожительствовать, смертельно ненавидя друг друга и приходя к гибели. Но к какому же выводу пришел проповедник толстовства, Лев Толстой? Не рожайте детей в семейной жизни, чтобы не осквернять шестую заповедь плодом греха! Ни больше, ни меньше! 〈...〉

Но, по существу, начиная с того вечера, 3 июля 1887 года, Толстой-творец затмил Толстого-доктринера.

Он не обрел покоя, пока не написал книгу, пока не освободился от тирании творческого гения. Все вокруг него группировалось и организовывалось по стержню сюжета. Так, например, рассказ одного из гостей, актера Андрея Бурлака, о неизвестном путешественнике, который поведал ему в поезде свои семейные несчастья, дал писателю Льву Толстому художественное и литературное решение, наиболее подходящее и реалистическое для передачи прерывистой лихорадочной исповеди Позднышева на фоне стука колес и поскрипывания вагона. Таким же образом, беря в основу банальное происшествие, самоубийство какой-то женщины на глухом железнодорожном полустанке, Толстой в 1873—1876 годы сконцентрировал огромный жизненный материал романа «Анна Каренина».

Подобно тому, как во всех романах Толстого хотя бы один персонаж олицетворяет автора в своих поисках или духовных кризисах (Пьер Безухов в «Войне и мире», Левин в «Анне Карениной», Нехлюдов в «Воскресении»), так же и в «Крейцеровой сонате» читатель легко может узнать в Позднышеве еще одну сторону, еще один вариант, еще одно воплощение Толстого в различных фазах и этапах его жизни, слившиеся и сконденсированные в одном духовном кризисе, в одном вопле боли, для облегчения которой толстовская доктрина не могла предоставить никакого утешительного бальзама. Увы — не могла, ибо вся эта доктрина основывалась на ошибочной, метафизической, мистической предпосылке, вскоре разбитой и опровергнутой материальной и социальной действительностью, подлинной человеческой сущностью, от которой нельзя уйти.

Но реалистический взгляд и творческий гений Льва Толстого в «Крейцеровой сонате», как и во всех других его литературных произведениях, раздробил ржавые, хрупкие доспехи несостоятельной доктрины, смял искусственные предпосылки, дал свободный выход жизни и вновь создал живых людей во плоти и крови, которых читатель словно видал, знавал и слышал, разделяя их страдания, тревоги и раскаяние. Исповедь Позднышева, эта беспощадная обвинительная речь против общества и эпохи, потрясла миллионы читателей. «Крейцерова соната» появилась сначала в переводах на французский, английский и немецкий языки, так как в России ее запретила царская цензура. Мракобесие Синода привело к конфискации и уничтожению тринадцатого тома полного собрания сочинений Льва Толстого, так что из всего тиража удалось спасти лишь экземпляров двадцать. Софья Андреевна, жена Толстого, добившаяся аудиенции у Александра III, получила, наконец, разрешение на выпуск книги после многих трудностей, подробно изложенных в ее дневнике. Толстой же добавил к книге разъяснительное, толстовское послесловие, которое в наши дни представляет только исторический интерес; это просто любопытный документ, не доказывающий ничего за исключением, быть может, той пропасти, которая существует между несравненным гением писателя-творца и слабостями устаревшей доктрины.

С тех пор, в течение более шестидесяти пяти лет, книга шла своим путем, выполняя свое призвание, вопреки намерениям автора, и оставаясь одним из самых распространенных шедевров мировой литературы.

Ибо в любом произведении, в которое вдохнул жизнь великий творческий гений, каждое поколение находит все новые и новые стороны, сохраняющие книге вечную молодость и человечную злободневность, перерастающую рубежи стран и эпох.

Печатается по кн.: Cesar P e t r e s c u. Însemnări de călător. Reflecţii de scriitor. Bucureşti, 1958, p. 309—318, где опубликовано впервые.— Перевод А. А. С а д е ц к о г о.

С творчеством Толстого крупнейший румынский писатель Чезар *Петреску* (1892—1961) познакомился еще в отрочестве, прочитав «Войну и мир», «Анну Каренину» и другие произведения во французском переводе.

В конце жизни, как бы подводя итог своим многолетним размышлениям о русской литературе и специально о Толстом, Петреску написал ряд статей: «Человек в русской литературе, вчерашней и сегодняшней», «Связи», «„Крейцерова соната" Льва Толстого», вошедших в сборник «Заметки путешественника. Размышления писателя» (1958), из которого взята публикуемая статья. В этих статьях Петреску осмысляет и специфику русской литературы и «диапазон» ее влияния. Он указывает, что русской литературе свойственна особая гуманность: в ней «сделан акцент на человека, на человеческое, на определенные стороны человеческого, свойственный только русской восприимчивости» (Cesar P e t r e s c u. Op. cit., p. 212). Петреску отмечает в русской литературе «высочайшее сострадание и милосердие, открытый протест; стремление к взаимопониманию, что означает также начало прощения и ободряющего оптимизма, во всяком случае надежды, веры в человека, в его способность к возрождению» (ibid., p. 213).

В связи с этим он подчеркивает, что русским писателям всегда была свойственна активная позиция по отношению к жизни, к социальной действительности, и литература была в их руках не «волшебным фонарем», предназначенным показывать какие-то картинки, но оружием за счастье людей. «Все они,— пишет он о русских писателях,— боролись своими произведениями и особенно личными прямыми действиями за то, чтобы облегчить человеку создание иных условий духовной и социальной жизни» (ibid.). «Творчество их выражало коллективное стремление. Они не писали для меньшинства, объединенного в общество по взаимному восхищению, заседавшего в кафе и имевшего символом — чашечку кофе по-турецки... Их книги всегда имели широкое хождение, широкий отклик, часто звучание манифеста... „Воскресение" Толстого приобрело размеры эпохального события, прозвучавшего далеко за пределами его родины» (ibid., p. 214).

Говоря о том действии, которое Толстой производит на читателя, Петреску приводит следующие слова Садовяну и полностью соглашается с ними: «Безусловная притягательность и влияние искусства Льва Толстого, одного из величайших творческих гениев русского критического реализма и мировой литературы, не зависит ни в коей мере от стилистических ухищрений, как, например, в случае с Флобером, о котором Теофиль Готье говорил, что он перевернется в гробу, чтобы не допустить двух дательных или родительных падежей в одной фразе; оно зависит, в первую очередь, от его невиданного по силе воссоздания действительности самыми неопределенными средствами, благодаря чему читатель ощущает, что впечатления он всегда получает непосредственно от природы.

Такова специфика русского реализма.

Таково величайшее мастерство искусства, независимо от мод и литературных школ, того искусства, которое три четверти века главенствовало в европейской литературе и выражало европейское сознание, делая ударение на то, что говорится о людях, о жизни, о действительности, не пренебрегая и тем, *как* это говорится» (ibid., p. 236). О силе реализма, превозмогающего ложные посылки писателя, пишет Петреску и в статье «„Крейцерова соната" Льва Толстого», имеющей подзаголовок «Книга, более сильная, чем догматические заблуждения автора».

Однако подчеркивая этические стороны творчества русского писателя, видя в его произведениях, главным образом, призывы к суровому суду совести, провозглашение символа веры, он почти не замечает их социально-критической основы.

Весьма характерно для взглядов Петреску на литературу чрезвычайно резкое противопоставление в публикуемой статье творческих методов Бальзака и Толстого

Ю. А. К о ж е в н и к о в

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

ЕРЕТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

К тем немногим переживаниям юности, которые я помню отчетливо, до мельчайших подробностей, относится глубокое впечатление, произведенное на меня первым чтением великих творений Толстого. Реализм этих книг, ровно ничего общего не имеющий с натурализмом, раскрыл передо мною новую действительность. С огромным интересом обратился я после этого к философским сочинениям писателя. И тем глубже разочаровал меня мистицизм этих книг, их мрачный пророческий дух, так неприятно отличающийся от осязательной ясности его художественного творчества.

Позднее я убедился, насколько часто теории великих художников бывают путаными и более отсталыми, чем мысли, содержащиеся в их поэтических творениях.

Так, многие из великих художников старались убедить своих читателей, будто главное в их произведениях вовсе не то, что захватывает читателя. Гете учил: «Твори, художник, и не говори»,— однако сам говорил очень много, говорил и великое и значительное, но и путаное и противоречивое, и не раз провозглашал эстетические принципы, убедительно опровергаемые его же творениями. Фридрих Геббель всю жизнь, не жалея труда, старался втолковать своим почитателям, что они чтут в нем совсем не то, что следует, и жаловался Эмилю Ку, последнему из своих апостолов, что нужно все время водить указкой перед читателями и слушателями, дабы они поняли, о чем идет речь. Между тем, самые живые постановки его пьес принадлежат режиссерам, опустившим именно те места, которые были наиболее дороги драматургу.

Классическим примером великого писателя, чьи художественные творения резко отличаются от его философских трудов и стоят неизмеримо выше их, остается Лев Толстой.

Стареющий Толстой, полагавший, что узрел свет во тьме, отрекся от своих прежних великих творений — от «Войны и мира» и «Анны Карениной» — ибо они не соответствовали его поздним убеждениям и, следовательно, были плохим искусством. Но и после своего прозрения он написал сочинения, ничего общего с его философией не имеющие, скорее даже противоречащие ей. Но вряд ли непредубежденный читатель сделает из «Хаджи-Мурата» идейные выводы, которые совпали бы с нравственными требованиями Толстого.

Квинтэссенция учения позднего Толстого содержится в самом опасном тезисе Евангелия: «Не противьтесь злу». Но почти все созидательное, живое творчество Толстого — это единый, жгучий, захватывающий призыв: противьтесь злу!

Прирожденный художник корректировал в Толстом то, что искажало его «озарение», и в этом его величие. Его неподкупное око, его умение чувством постичь сущность вещей и выразить эту сущность нужными словами позволили ему воссоздать действительность, познать законы которой не было дано его разуму.

Печатается по тексту журнала «Sinn und Form», 1953, № 5, S. 37—38, где опубликовано впервые.— Перевод с немецкого Е. А. Кацевой.

Публикуемая заметка написана Лионом *Фейхтвангером* (1884—1958) после того, как во взглядах писателя произошел серьезный перелом и, отказавшись от скептическо-

«ВОЗЗВАНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ». НЕМЕЦКОЕ ИЗДАНИЕ СТАТЕЙ ТОЛСТОГО «НЕУЖЕЛИ ЭТО ТАК НАДО?» и «ГДЕ ВЫХОД?» (БЕРЛИН, 1927)

Обложка. Рисунок художника Брайденштайна



го представления об истории как извечной борьбе разума и безумия, он признал объективную правомерность революционного насилия. Отсюда столь «еретический» характер его высказываний о Толстом, его демонстративное отрицание «толстовщины». Вопреки сложившейся на Западе традиции, Фейхтвангер решительно отверг религиозно-нравственную философию Толстого, совершенно игнорируя при этом ее общественно-критическое содержание. Поэтому в его высказывании отчетливо проявляется стремление полностью отделить художественное творчество Толстого, которое он любит и ценит, от его морально-религиозных и философских концепций. Мысль Фейхтвангера, что «прирожденный художник» корректировал в Толстом его «озарения», что его творчество, таким образом, совершенно свободно от влияния толстовской идеологии, в значительной мере упрощает сложную и противоречивую связь искусства писателя с его мировоззрением.

Чрезвычайно любопытно следующее высказывание Фейхтвангера в его статье «Литература — сила, сближающая народы»:

«Я прочел много теоретических трудов о царской России, но впервые она открылась мне лишь в книгах Толстого и Чехова. Я проштудировал сотни две книг о походе Наполеона в Россию, но сущность этого похода я понял только тогда, когда прочитал „Войну и мир“» («Иностранная литература», 1955, № 5, стр. 248).

О влиянии, оказанном Толстым на творчество Фейхтвангера, в частности на приемы психологического анализа в его романах, см. в работе Т. Л. Мотылевой «Толстой и современные зарубежные писатели»,—«Лит. наследство», т. 69, 1961, стр. 170—171, 174, 179.

С. А. Розанова

КОСТАС ВАРНАЛИС

О ТОЛСТОМ

Задолго до 1900 года, когда великий Толстой еще был в живых и оказывал могучее влияние на свою родину и весь мир, я учился в начальной школе.

Несколько позднее, уже взрослым человеком, я познакомился с его творчеством и понял: ничего более высокого, чем Толстой, нельзя себе и вообразить.

Я счастлив, что имел возможность прочитать почти все его произведения — романы, пьесы, повести, сказки, критические, эстетические и педагогические сочинения, так же, как его «Исповедь».

Во всех этих книгах он вырисовывался передо мною непобедимым защитником Истины и Справедливости и искренним другом народа.

Возможно, что многие из его мнений уже не соответствуют нашим современным знаниям и нынешней борьбе, но сила их ничуть не уменьшилась.

Право, мне нелегко указать, какое из произведений Толстого я сильнее всего люблю. Не скрою, что я согласен с большинством критиков, рассматривающих «Войну и мир» как самое эпическое и могучее произведение.

Идеи великого русского писателя, его непрекращавшаяся борьба с деспотизмом, его великая любовь, его сочувствие народу оказали громадное влияние на мою юношескую душу, на мои взгляды, на все мое творчество.

Печатается по фотокопии с автографа, предоставленной редакции «Лит. наследства» Будапештской библиотекой им. Э. Сабо. Впервые опубликовано (на венгерском языке) в книге «Tolsztoj Emlékkönyv». Budapest, 1962, o. 399.— Перевод с французского Л. Р. Ланского.

В формировании эстетических взглядов известного греческого писателя Костаса *Варналиса* (р. 1884) значительную роль сыграли традиции русской реалистической литературы XIX в.

В своих литературно-критических работах Варналис выступает как активный пропагандист реалистических принципов и художественных достижений русской дореволюционной и советской культуры. Глубокое влияние на него Толстого он отмечает сам в публикуемой выше заметке.

Ранние произведения писателя, уже отличавшиеся большим художественным мастерством, свидетельствовали в то же время о полной отчужденности его от общественных проблем, волновавших его передовых современников. Перелом в мировоззрении Варналиса наступил после первой мировой войны под влиянием Великой Октябрьской революции и крупных общественных сдвигов, наметившихся в Греции.

Сочетая блестящее мастерство сатирика с проникновенным лирическим даром, Варналис обличает в своих произведениях уродства капиталистического мира и утверждает идеалы правды и красоты нового общества, основанного на справедливости, торжестве идей мира и труда.

Произведения Варналиса получили всенародное признание в Греции. Они переведены и изданы в ряде зарубежных стран, в том числе в Советском Союзе, где вышли в свет переводы «Подлинной апологии Сократа» (1935), «Пламенеющего света» (1938), «Избранного» (1959) и сборника статей «Эстетика — критика» (1961). За свою общественную деятельность и активное участие в борьбе за мир Варналис в мае 1959 г. был удостоен Международной Ленинской премии мира.

Д. С. Спатис

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

СЛОВО О ТОЛСТОМ

Не впервые представляется мне случай говорить о Толстом, не одно, как у нас называют, «высказывание» о его творчестве вышло из-под моего пера, не раз выступал я и на толстовских торжествах. И всегда при этом я испытываю те же чувства: с одной стороны, великий страх — как это я, недостойный, осмеливаюсь просить слова и говорить о таком необычном человеке, таком превосходном писателе; а с другой — явное удовольствие: ибо нет для меня большего наслаждения, чем вникать в подробности этой удивительной биографии и рассуждать о толстовских шедеврах — ведь о них даже думается с удовольствием. К тому же, общение с личностью, столь незаурядной, приносит такую радость, что она вполне вознаграждает за неприятные ощущения, возникающие иной раз при общении с другими людьми.

Когда мы думаем или говорим о Толстом, мы будто думаем и говорим о ком-то очень нам близком — об отце, деде,— словом, о ком-то таком, с кем нас связывают необычайно прочные нити взаимопонимания. Мы уверены — будь с нами живой Толстой, он наверняка прекрасно понял бы наши тревоги и сомнения и укрепил бы в нас дух, объяснив, «как надо жить». Множество людей обращалось в свое время к Толстому с вопросом — как жить? И сейчас мы ищем ответа на этот вопрос, читая его книги или его биографию, тоже весьма для нас поучительную.

Вчера минуло пятьдесят лет со дня смерти Толстого. Вам, молодым, трудно даже понять, чем был этот день для России, да и не только для России. Даже такой сомнительный еженедельник, как варшавская «Mucha», пробивавшийся плоскими остротами и шуточками, которые теперь просто не доходят до нас, настолько они тяжеловесны,— поместил по случаю смерти Толстого совсем особый рисунок, нисколько не в духе этого еженедельника, и сокрушался по поводу того, что после смерти великого Толстого мрак окутал царскую Россию. Что уж говорить о тех, кто действительно любил Толстого, кто считал его совестью человечества и никак не мог примириться с мыслью о том, что его не стало. Трагизм этой «смерти в бегстве» тем более потряс нас, что мы тогда толком даже не понимали ее. Но я как сейчас помню этот день, помню траур, овладевший всей страной, и недоуменный вопрос: что же все-таки означает эта смерть, это предельное выражение протеста?

Для молодых людей, а я себя в то время причислял к таковым, эта смерть таила в себе какие-то неведомые силы, какой-то призыв высказать свое отношение к царившему вокруг бесправию, какое-то крайнее отрицание конформизма, суть которого стала нам ясной значительно позднее.

Еще одну смерть пережил я так же: смерть Стефана Жеромского, тридцать пятая годовщина которой совпала с нынешней годовщиной смерти Толстого. И Жеромский, как Толстой, ушел от нас не примиренный с окружавшим его миром, и он оставил нам свое неоконченное завещание — «Канун весны». И в его смерти было что-то от бунта, и он рвал узы...

Смерть положила конец трудолюбивой, отданной людям жизни Льва Толстого. Она, словно эпилог в романе, завершила и дополнила эту жизнь. Вместе с тем, смерть была заключительным аккордом, гармоническим выражением того, на что Толстой указывал нам как на конечную цель человеческой жизни. Разумеется, он заблуждался, но в заблуждениях и сказалось его величие. Ибо при этом он верил в нас.

Толстой настолько верил в человека, в возможности его совершенствования, что эта вера наполняла его (да и нас при чтении его книг) ощущением беспредельной, необычайной художественной гармонии. Воистину сверхчеловеческую гармонию заключает в себе Толстой — писатель и человек.

Его великую эпопею, или поэму, как ее называет Достоевский, «Война и мир», часто сравнивают с эпопеей Гомера. И не случайно. Это зрелое, законченное произведение (существует мнение, что «Война и мир» — предел возможностей, которые перед человеком XIX века открыла форма романа), действительно, освещено лучами эллинского солнца. Гармоническое восприятие жизни, пронизывающее это великое произведение, поднимает его на высоту, на которую могут быть вознесены лишь самые совершенные произведения человеческого гения.

Однако эллинизм «Войны и мира» — не более чем иллюзия. Высочайшая вершина, которой достиг роман XIX века,— одновременно отрицание его формы, и свидетельствует это не о принципиальной ошибке, а о праве природы или праве искусства облекать драматическое содержание в эпическую форму.

За спокойствием и плавностью повествования, за необычайным, казалось бы, спокойствием, с которым трактуются решающие события политической и общественной жизни, за мудростью наблюдателя судеб человеческих в их вечном переплетении — за всем этим у Толстого кроется постоянное беспокойство. Мы ощущаем его уже тогда, когда Толстой, в расцвете своих жизненных и творческих сил, описывает нам счастливую жизн своих предков, жизнь, которую даже война и революция не сумели поколебать. Да, на этих, казалось бы, эпических страницах мы уже чувствуем тот самый страх, то самое беспокойство, которые вынудили старого человека встать потихоньку до восхода солнца, поспешно одеться и бежать во мрак ноябрьской ночи, чтобы засвидетельствовать правду своей жизни, жизни, которая всегда казалась ему неудавшейся и лицемерной. Только теперь мы видим, что жизнь эта в смерти нашла развязку. Смерть полностью очистила ее от тревог, а писателя примирила с самим собой.

Помню, пятьдесят лет назад мне и моим коллегам представлялась особенно важной проблема похорон Толстого... Простит ли ему православная церковь ересь, примирится ли она с мертвым Толстым? Нет, церковь не только не примирилась с ним, она не пошла ни на малейшую уступку писателю, смерть которого болезненно отозвалась в сердцах всех людей на целом свете.

Тогда нас, помню, это поразило, но сейчас мы понимаем, что иначе и быть не могло. В молодости мы, пожалуй, недооценивали роль Толстого-еретика. А в сущности, что такое ересь? Кем были обычно многочисленные еретики православной и католической церкви? Бунтовщиками.

Революционность Толстого иной раз вызывает сомнение. Его вера в возможность совершенствования человека и проповедь непротивления злу насилием, случается, раздражает нас и обезоруживает. А то и вселяет эдакое недоброе чувство подозрительности.

Но ведь ересь Толстого, его противопоставление человеческой личности окостеневшим формулам и готовым установлениям как нельзя более красноречиво свидетельствует о его революционности. То, как Толстой понимал борьбу с церковью (и, вернее, борьба церкви с Толстым), освещает нам эпическую фигуру автора «Воскресения» заревом бунта и революции.

Толстой чувствовал жизнь во всей ее полноте, той же полноты ощущений он требует от нас в своих книгах. А при его уменье видеть жизнь во всем ее многообразии, разве мог он довольствоваться идеей гармонии с миром? Как же ему было не загореться желанием противопоставить себя этому миру и объявить ему вечную титаническую борьбу?



«ВОСКРЕСЕНИЕ» НА СЦЕНЕ ПОЛЬСКОГО «ОБЩЕДОСТУПНОГО ТЕАТРА» («TEATER POWSZECHNY»). ВАРШАВА, 1960
Сцена в суде
Фотография
Музей Толстого, Москва

Толстой подобен Фаусту, причем Фаусту из второй части гениального произведения Гете. Тому Фаусту, который счастье других людей ставит выше Красоты и стремления к личному совершенству. В смерти Фауста и в смерти Толстого в бедном домике стрелочника на какой-то заброшенной железнодорожной станции много общего во всем, даже в настроении. Оба они в смерти находят свое собственное, личное, только им свойственное примирение с миром. Примирение со смертью и с жизнью.

* * *

Для жизни, которая так необычно, так трагически завершилась пятьдесят лет назад, было характерно нечто очень важное, некая доминанта. То были беспокойные и неустанные поиски правды. Правда эта на протяжении долгих толстовских лет и зим беспрерывно меняла свои покровы, она приходила к нему то в образе подлинной природы, то в образе подлинной любви. Он искал ее повсюду. И все-таки не мог найти.

Правду человеческой жизни он искал, прежде всего, в искусстве. Роман, по мнению Толстого,— самое великое и совершенное достижение искусства XIX века — вот его первая пристань в этих поисках. Замечательный шедевр Толстого «Война и мир» явился результатом его углубленных размышлений над проблемой истории и исторической правды. Можно только удивляться, сколь современен был Толстой в своем взгляде на историю, сколь соответствует сегодняшнему состоянию науки все то, что он рассказал о самых глубинных ее процессах, а еще больше то, что он

представил всем содержанием, развитием действия своего литературного творения. А представил он человеческое деяние,— в единоборстве личности, которой кажется, что она движет историю и меняет облик мира, с медленным, упорным, постоянным напором массы, толпы, войска и, наконец, народа, являющегося истинным творцом истории.

Но, показывая движение великих масс, движение, которое, словно морские волны, выносит на поверхность отдельные личности, Толстой зашел, пожалуй, слишком далеко. Он так стремился найти правдивое объяснение исторических событий, так гнался за правдой, что создал противоречащие правде образы героев, которые являлись для него символами двух борющихся народов.

Как известно, образ Кутузова, такой, каким он дан автором «Войны и мира», вызывает у историков немало возражений. Что же до образа Наполеона, то даже неискушенный, мало разбирающийся в истории читатель обратит внимание на то, как зло, с каким наслаждением Толстой разоблачает Наполеона, лишает его эпопею легендарного ореола, созданного вокруг нее за годы, отделяющие время наполеоновских войн от времени написания романа Толстого.

Поиски исторической правды подвели Толстого. В этой своей «истории-искусстве», которую он ставил значительно выше истории науки, Толстой не нашел ответа на терзавшие его вопросы, не завершил мучившие его поиски. Правда, интуитивно открывающаяся в искусстве, подвела его. Может быть, именно поэтому он не стал заканчивать задуманный и начатый им роман о декабристах. Правда, которую он, казалось, уже видел в масштабах художественного эпоса, ускользала из его рук, бежала от него, как заяц. Написав «Войну и мир», великий писатель почувствовал какую-то неудовлетворенность. Мы, захваченные этим величайшим эпосом, не замечаем разочарования Толстого. Мы даже склонны благословлять его заблуждения, ведь они дали нам роман. Нам трудно судить, насколько правдив этот роман исторически, но зато мы знаем, сколько заключено в нем правды художественной, сколько совершенств, которые всегда служат утешением в печали. Именно поэтому роман «Война и мир», даже в самые тяжелые дни нашей жизни — во время первой и второй мировых войн,—всегда приносил нам утешение.

В самые трудные времена поляки читали вместе со своим «Паном Тадеушем» «Войну и мир» и находили в произведении Толстого не только отклик на свои чувства и надежды, но и великое успокоение, великое примирение с жизнью, которым веяло от каждой страницы этой книги.

В дальнейшем поиски Толстого пошли в ином направлении. Он стал правдоискателем в вопросах морали. «Анна Каренина» была задумана Толстым как нравоучительный роман, об этом красноречиво свидетельствует эпиграф к нему.

Но одна важнейшая черта характера автора «Анны Карениной» помешала ему сделать из романа эдакое морализаторское чудище. Толстого отличала удивительная жажда жизни, можно сказать, даже жадность к жизни. И вот, то, что, по мысли автора, должно было явиться устрашающим примером, неожиданно привлекло его своей необычайной жизненной силой. Толстой любил жизнь, любил во всех ее проявлениях, во всех аспектах. Жадность к жизни была основной чертой его характера, можно подумать, будто все, что окружает Толстого,— природа, люди, вещи, цветы и деревья,— это ценнейшая добыча его литературной охоты.

Все мы помним описание дождя в повести «Юность», помним мы и образ молодого прапорщика в рассказе «Набег» и описание сентябрьского утра на поле боя у Бородина... Быть может, это стремление остановить мгновение (как у Фауста) и показать читателю, сколь оно прекрасно, и есть самое важное в творчестве Толстого? И, может, именно этим исчерпывается за-

дача, которую ставит перед собой писатель? Нет. Восторг Толстого перед миром таит в себе иные мотивы, иные движущие силы его деятельности. Это, прежде всего, стремление к правде во всем и особенно к правде в понятии свободы.

Из больших романов Толстого самым ценным и незабываемым для меня, и, кстати говоря, самым актуальным сегодня и наиболее интересным, с точки зрения формы, является роман «Воскресение».

Для всех наших эстетствующих критиков, а также для критиканов всех мастей «Воскресение» является прекрасным доказательством того, что можно написать совершенную вещь, создать шедевр, ставя перед собой цель установить великие нравственные истины. Толстой задумал «Воскресение» как нравоучение, как некий остов принципов и примеров, реестр обязанностей человека, весьма схематично понимаемых, а создал гармоничный шедевр, воплощение умеренности и простоты, картину тенденциозную, но полную жизни, схему, но насыщенную живыми образами людей и пластичными описаниями событий и переживаний.

Все романы Толстого, о которых шла здесь речь, все его произведения, включая пьесы, рассказы и очерки,— это оружие в его борьбе с предрассудками, с отсталостью, со всем, что по той или иной причине задерживает всестороннее развитие человека. Все произведения Толстого выросли на одной почве, на одной основе. Почва эта — поиски правды и стремление определить, что означает для человека свобода.

Если мы захотим на собственном Парнасе сравнить кого-нибудь в этом смысле с Толстым, то можно сопоставить его с Элизой Ожешко. Очевидно, и сам Толстой чувствовал что-то близкое себе в творчестве этой писательницы, раз написал вступительную статью к русскому изданию ее «Хама»*. Разумеется, я далек от мысли сравнивать их с точки зрения художественного мастерства — такое сравнение было бы не в пользу нашей писательницы. Я хотел лишь отметить однородность той почвы, на которой выросли обе эти художественные натуры.

И Толстой и Ожешко ставят своей задачей борьбу за освобождение человека. Тенденция Ожешко всем нам понятна, сегодня уже никто не сомневается в гражданской роли литературы, особенно если речь идет о романе.

Быть может, именно поэтому в Толстом-писателе мы видим индивидуальность, соответствующую нашему пониманию роли литературы, видим писателя такого нам близкого и так нами любимого. Для нас Толстой в полном смысле слова — живой писатель.

Его гуманизм и его трагические поиски, его зрелость и одновременно драматическая раздвоенность до сих пор действуют на нас, как магнит. Именно поэтому торжества, связанные с жизнью и творчеством Толстого, не имеют официального характера и никогда не бывают скучными. Мы неизменно возвращаемся к Толстому как к великому, недосягаемому в своем величии — но очень близкому другу и учителю.

Печатается по тексту журнала: «Twórczość», 1961, № 1, str. 71—75, где опубликовано впервые. — Перевод с польского С. Д. Тонконоговой.

Один из крупнейших польских писателей нашего времени, талантливый поэт, драматург, публицист, автор повестей и романов, ныне председатель Союза польских писателей, Ярослав *Ивашкевич* (р. 1894) в предисловии к советскому изданию сборника своих рассказов писал: «... я〈...〉в известной степени связан с русской культурой, так как учился в русской гимназии и окончил русский университет. В своем творчестве я старался всегда следовать примеру таких особенно ценимых мною польских писателей,

* Ошибка. Толстой вступительной статьи к «Хаму» Ожешко не писал. — *Ред.*

как Элиза Ожешко и Болеслав Прус, и вместе с тем с детства я был внимательным читателем выдающихся произведений русской прозы и поэзии. Я думаю, советский читатель в моих рассказах без особого труда найдет следы моего знакомства с русской литературой...» (Ярослав Ивашкевич. Рассказы. М., 1958, стр. 5).

Особенно близки творчеству Ивашкевича-прозаика Толстой и Чехов. Он перевел на польский язык «Смерть Ивана Ильича». Вспоминая о своей поездке в Советский Союз в 1946 г., Ивашкевич отмечал: «Из моей поездки в Москву я привез дар Союза советских писателей — полное издание художественных произведений Льва Толстого. Я теперь не расстаюсь с этими томами — перечитываю некоторые произведения уж не знаю в который раз...» (I. Iwaszkiewicz. Notatki o Tołstoju.— «Kuźnica», 1947, № 13).

О глубоком впечатлении, которое произвел на него роман «Война и мир», Ивашкевич вспоминает в статье, специально посвященной этому произведению и опубликованной в еженедельнике «Nowa Kultura» 1958 г. (№ 45). С большой теплотой говорит Ивашкевич о действующих лицах произведений Толстого, ставших близкими читателям всего мира: «К героям „Войны и мира“ читатель привязался уже давно, они для него как хорошие знакомые, как родные» (ibid.).

«Мы, поляки,— продолжает Ивашкевич,— можем сравнить „Войну и мир“ только с „Паном Тадеушем“, мы, вскормленные теми же соками и теми же тонами природы... В моем сознании как-то естественно сопоставляются эти два величайших произведения братских литератур. Я бесконечно благодарен обоим писателям за силу, с какой они воплотили для нас дорогие образы, мы любим их и любим их творчество» (ibid.).

В ответ на «толстовскую анкету» Будапештской библиотеки им. Э. Сабо Ивашкевич писал в 1960 г.:

«Лев Толстой — мой любимый писатель, он с самой юности оказывал большое влияние на всю мою писательскую деятельность. Его реализм, наблюдательность, гуманность, глубокое знание человеческой души — навсегда останутся для меня недосягаемым примером. Не только его огромный талант, но и его исполненная драматизма биография очаровали меня до такой степени, что героя своего романа „Pasje Błędomierskie“ („Блендомерские страсти“) я наделил некоторыми чертами характера Толстого *. Это, конечно, было почти невозможно, однако уже самое это желание говорит о том, насколько глубоко очаровал меня могучий автор „Войны и мира“.

Особенно дороги для меня большие романы Толстого, в первую очередь „Воскресение“, к которому я возвращаюсь вновь и вновь, а также его повесть „Смерть Ивана Ильича“, переведенная мною на польский язык.

Время от времени я с удовольствием перечитываю „Детство“, „Отрочество“ и „Юность“.

Произведения Толстого никогда не устареют» («Tolsztoy Emlékkönyv». Budapest, 1962, o. 414).

Интересны также высказывания Ивашкевича о Толстом, сделанные на II Съезде советских писателей в Москве в 1954 г. (см. «Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет». М., 1956, стр. 553), и статья его в «Литературной газете» от 17 ноября 1960 г., перепечатываемая в настоящ. томе (стр. 264).

Публикуемая выше статья представляет собой выступление Ивашкевича на юбилейном вечере, посвященном пятидесятилетию со дня смерти Толстого, в варшавском Драматическом театре 21 ноября 1960 г.

Е. З. Цыбенко

---

* Главный герой этого романа — Тадеуш Замойло, писатель с мировым именем, филантроп, мечтающий отдать крестьянам все принадлежащие ему земли. В своих начинаниях он, однако, встречает сопротивление со стороны семьи и, в особенности, жены, пани Зоси (Софии). Подобно Толстому, герой Ивашкевича перед смертью «взбунтовался» и бежал из дому. Он умирает в заброшенной лесной избушке. — *Е. Ц.*

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ

О ТОЛСТОМ

Порою жизнь и творчество одного писателя оказывают сильнейшее воздействие на творчество другого. Мне не стыдно признаться в том, что, когда я читал биографию Толстого, меня привел в восторг такой факт: уже после выхода в свет двух его шедевров («Анны Карениной» и «Войны и мира») Толстой, потратив три года на работу над романом о Петре Великом, был вынужден оставить его, убедившись в полной своей неудаче.

Утешение, которое мне как писателю принесла неудача, постигшая в данном случае Толстого, может быть понято только тем писателем, кто тоже недели, месяцы, годы тщетно бился над осуществлением одного из своих творческих замыслов.

Случилось, однако, так, что, за исключением пьес и нескольких рассказов, я впервые познакомился с творчеством Толстого, уже имея



«ВОЙНА И МИР». ИЛЛЮСТРАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ХУДОЖНИКА ДЖ. ФРАНКЛИНА УИТМЕНА

Из книги: «War and Peace by Leo Tolstoy». New York, 1949

за плечами более десяти лет писательской работы. Поначалу формирование мое как писателя проходило под влиянием Голсуорси, Лайема О'Флаэрти, Чехова, ранних романов Андре Мальро, а не Толстого. Насколько помню, в ту пору, когда я только начинал писать, единственным произведением, которое произвело на меня огромнейшее впечатление, был «Рассказ о семи повешенных» Андреева.

Ныне же именно художественное мастерство Толстого является для меня той вершиной, к достижению которой направлены все мои усилия.

Именно теперь я вернулся к «Анне Карениной», «Войне и миру» и «Воскресению», чтоб учиться у писателя, занимающего, быть может, первое место среди романистов всех времен. Думается, что прежде я просто не был достаточно подготовлен к восприятию всего того, чему могут научить писателя произведения Толстого.

Само собой разумеется, основу всякого творчества составляет то, чем полны мозг и сердце писателя, его ви́дение народа и жизни.

Можно годами изучать технику Толстого, особенности его стиля, но если твой собственный мозг и сердце бесплодны, то и творчество твое тоже будет бесплодно. Поэтому я не строю себе иллюзий, не считаю, что изучение Толстого уже само по себе может преобразить любого писателя. Однако в той мере, в какой вообще один человек может научиться чему-нибудь у другого, я изо всех сил стремлюсь проникнуть в Толстого как можно глубже,— так я отмечаю эту годовщину со дня его смерти.

Печатается по фотокопии с автографа, предоставленной редакции «Лит. наследства» Будапештской библиотекой им. Э. Сабо. Впервые опубликовано (на венгерском языке) в кн.: «Tolsztoj Emlékkönyv». Budapest, 1962, o. 351—352.— Перевод с английского М. Е. Михелевич.

Один из крупнейших современных американских писателей, романист и новеллист Альберт *Мальц* (р. 1908) сформировался как человек и художник прежде всего под воздействием всемирного кризиса и брожения, охватившего Америку в 1930-х годах, под воздействием революционной борьбы, в которой он принимал активное участие.

Писатель отмечает в публикуемой выше заметке, что в начале своего творческого пути он еще не был готов к восприятию Толстого. И действительно, творческое развитие Мальца — постепенно углублявшееся понимание людей и событий — было, в известном смысле, движением к Толстому.

Мировоззрение и мироощущение героев Мальца вырастают на твердой основе человеческой нравственности. Его творчество питают глубинные источники гуманизма, они побуждают его писать о противодействии человека насилию, о борьбе за свободу, о неисчерпаемости человеческого духа. И в этом помогает ему нравственный опыт Толстого.

Если в начале творческого пути одним из самых сильных литературных впечатлений Мальца, как указывает он сам, был «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, то чем более зрелым становился писатель, чем больше он переходил от драматизма внешних событий к драматизму души, тем больше привлекал его Толстой. Привлекал бесстрашием в постановке самых мучительных проблем жизни, стремлением дойти до корня вещей, разрушением всяческих мифов и иллюзий и глубочайшей верой в человека.

Р. Д. Орлова

ДИМИТР ТАЛЕВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ В МОЕЙ ПАМЯТИ

Первые писательские имена, которые я запомнил еще в самом раннем детстве, были имена Ивана Вазова, Пенчо Славейкова и Льва Николаевича Толстого. Следовало бы, справедливости ради, помянуть и Майн Рида, который тоже занимает какое-то место в моей памяти и в моем сердце, хранящем к нему теплую признательность. Любовь моя к Пенчо Славейкову началась с его стихотворения «Царь Самуил», но в еще большей мере с моей первой и последней встречи с ним во дворе церкви моего родного города в Македонии в сентябре 1908 года, когда мне было ровно десять лет.

Но совершенно особое место в моей памяти и в моем сердце занимает Лев Толстой. Я не помню, какое именно из его произведений я прочел первым — еще в детстве, там, в моем родном городе,— это были либо «Казаки», либо «Хаджи-Мурат», а может быть то и другое одновременно. Помню, что, кроме непосредственного детского восхищения, кроме глубокого чувства душевного удовлетворения, ясности и полноты, испытанных мной тогда, я почувствовал по-детски наивное желание стать писателем, как Лев Толстой. Я даже не сдержался и с мальчишеской самонадеянностью открыл это желание моим ближайшим товарищам. В раннем возрасте нам хочется походить на тех, кем мы больше всех восхищаемся, кого больше всех любим. И если мы не обманываемся в своей любви, эти чувства остаются неизменными до конца нашей жизни.

На этих нескольких страницах я изложу самое значительное из того, что остается, что навсегда осталось в моем сознании, в моей памяти о великом писателе земли русской; двумя-тремя штрихами я обрисую его писательский облик таким, каким он встает перед моим взором каждый раз, когда я называю его имя. Я не буду останавливаться ни на каких конкретных фактах, не буду прибегать ни к каким справкам. Добавлю лишь, что недавно я побывал в Толстовском музее в Москве, в его московском доме, и в Ясной Поляне, и эти волнующие посещения еще больше закрепили ту связь, которая создалась у меня с великим человеком, сделали ее более реальной, я бы сказал — более видимой.

Позднее, когда мое юношеское изумление мастерством Льва Толстого уступило место трезвой оценке, профессиональной заинтересованности, я установил, что особенность, которая придает его творчеству такую убедительность и такую силу воздействия, заключается, прежде всего, в его чрезвычайной добросовестности. Читатель знает, что Лев Толстой никогда его не обманет — не обманет и не введет в заблуждение даже своими собственными заблуждениями, своими ошибками. Его заблуждения и ошибки хорошо различимы и ясны, как решительно всё у него.

Толстой сказал как-то, что автор должен заботиться о том, чтобы книга с самого начала привлекла читателя. «Расчет» такого рода отнюдь не следует считать хитроумной уловкой, это — гостеприимно распахнутые двери, которые вводят читателя в подлинное содержание книги. Первыми несколькими строками, как, например, в «Анне Карениной», Толстой намекает на содержание всей книги, и это, в сущности, не что иное, как приветливое приглашение, обращенное к читателю. Хитроумие совершенно чуждо писательской природе Льва Толстого, а к хитроумию и всякого рода профессиональной ловкости прибегают даже такие писатели, как Достоевский. Я хочу сказать, что профессиональная ловкость не противопоказана и самому большому искусству, но все же толстовская добросовестность кажется мне предпочтительнее. Лев Толстой строго, фанатично добросовестен по отношению к своим героям, по отношению к событиям,

о которых он нам рассказывает, по отношению ко всему, чего он касается при создании своих произведений. Эта его подчас педантичная честность иногда надоедает или даже вызывает недовольство читателя; более того, она приводит его самого к явно ошибочным утверждениям (его оценка Шекспира, «Крейцерова соната»), но и в таких случаях читатель не сомневается, что Лев Толстой всегда искренне верит тому, что утверждает, что именно таким видит он то, что хочет нам показать. Таким образом он приобретает доверие читателя, и каждое слово получает у него огромную силу — больше той, которой может достичь самый ловкий мастер любого вида искусства. Писатель, который не может внушить к себе доверие или вызывает подозрение, сам бросает тень на свое творчество, насыщает его нездоровым духом или делает его занимательным, увлекательным, но не воинствующим, не воодушевляющим, не ведущим.

Творчество Льва Толстого отмечено и еще одной редкой и очень ценной чертой — это его ясность или, я бы сказал, просветленность. В творчестве Толстого нет ничего неясного и туманного, никаких манящих или обманчивых намеков и недомолвок, нет полутеней, являющихся у многих авторов любимым изобразительным средством, правда, примененным не всегда удачно и к месту. Лев Толстой видит мир и людей ясно, здоровыми, зоркими глазами и так и изображает их в своих книгах. У него необыкновенно острое зрение, и ясность, присущая всем его творениям, находится в прямой связи с его творческой добросовестностью. Говоря о ясности и ясном ви́дении, я упомяну здесь, чтобы моя мысль стала вполне понятна, и М. Шолохова с его удивительным зрением — он видит и показывает нам чуть ли не каждую былинку в его необъятной родной степи.

Многое во взглядах Льва Толстого я не разделяю. Я считал с давних пор, что в его «верую» по отношению к человеку, жизни, жизненной правде и во всей его нравственной философии есть что-то слишком умозрительное, кабинетное, что-то находящееся в явном несоответствии с человеческой природой. В некотором смысле и в некоторых случаях его нравственные сентенции находятся в полном противоречии и с его собственной творческой природой. Сильнее всего мы ощущаем исключительную мощь его как художника там, где он перестает быть морализатором и проповедником.

Но и в этом случае мы чувствуем силу необыкновенного человеческого духа или, быть может, возрождающую, животворную теплоту человеческого сердца. Его мысль о непротивлении злу может быть нам чужда, но нас не может не восхитить, не воодушевить его непоколебимая вера, его смелость и настойчивость, апостольская пламенность, которой пропитано каждое слово его проповеди. Мы не можем принять его веру, но мы можем поучиться у него тому, как нужно верить и как защищать свою веру.

Думал я и об основном стимуле в творчестве Льва Толстого. У каждого творца есть один или несколько основных стимулов, которые влекут его к труду и таким образом реализуют, оплодотворяют все его творческие способности и склонности. Людей, одаренных той или иной способностью, намного больше, чем творцов, создателей ценностей. Талант воплощается во что-то реальное лишь тогда, когда у одаренного человека оказывается достаточно творческой воли, чтобы вооружиться необходимой подготовкой, а главное, когда в его сердце горит живая сила, которая стимулирует его работу. Я знаю обаятельных рассказчиков, которые не написали и двух строк не только потому, что у них нет необходимой подготовки, но и потому, что у них нет стимула к творческой деятельности и они остаются лишь приятными, красноречивыми собеседниками. Могучий, глубокий стимул к деятельности особенно необходим художнику-борцу. Таким стимулом у Льва Толстого является его любовь к человеку.

Любовь к человеку у Толстого — не только основной стимул, но и господствующее чувство, которым проникнуто все его творчество. С своеобразной любовью относится он даже к своим отрицательным героям, или, точнее,— любовью здесь, в сущности, оказывается стремление к справедливости, несмотря на всю строгость его приговоров. Особенно горяча его любовь к простому человеку. Равна этой любви по силе только любовь его к родной русской земле, и именно это делает его столь глубоко русским человеком и русским писателем, русским прежде всего.

В конце своих заметок я хотел бы сказать два слова о том, чем Лев Толстой больше всего помог мне как писателю — в той мере, в какой я был способен учиться у великого учителя и мастера художественного слова. Я имею в виду деталь, характерную подробность, те живые элементы, с помощью которых строится целостный образ, целостная картина и целостное повествование (рассказ, повесть, роман). Могу сказать, что именно на примере творчества Толстого я почувствовал и понял великое значение детали, понял, как трудно найти, подобрать наиболее подходящую, наиболее нужную деталь. И в этом отношении мастерство бессмертного русского писателя исключительно. Это становится особенно ясным, когда пытаешься проанализировать любую его картину или образ, расчленить их на мельчайшие детали, из которых они составлены. Тогда видишь, как умело подобраны эти детали, как они необходимы, как они живы, и понимаешь, почему так выразительно и впечатляюще то целое, которое они составляют. Толстой описывает так, что предмет описания становится выпуклым, оживает со всеми своими особенностями и чертами, даже, я бы сказал, со свойственным ему запахом. Эта выразительность и яркость в большой степени достигается умелым подбором более характерных деталей, из которых составлено целое. Толстой часто прибегает и к еще одному приему — повторению, напоминанию наиболее важной, необходимой детали, характерной черты. Внимательному, зоркому и проницательному читателю эти повторения и напоминания могут иногда показаться утомительными, но недостаточно внимательному читателю — а таких большинство,— они нужны и полезны. В этой заботе о читателе, а тем самым в еще большей степени в заботе о самом произведении — о том, чтоб оно воспринималось во всей его силе, и раскрывается творец и писатель Лев Николаевич Толстой — великий и в самом малом своем труде.

Печатается по тексту журнала «Литературна мисъл», 1960, № 5, стр. 10—12, где опубликовано впервые.— Перевод с болгарского В. Велчева (София).

В современной болгарской литературе Димитр *Талев* (р. 1898) занимает одно из ведущих мест. Обладая обостренным видением мира и собственной творческой манерой, Талев сохраняет верность лучшим традициям болгарской и русской литератур.

Отвечая в 1957 г. на вопрос о знаниях, которые приобретаются благодаря углублению в произведения великих писателей, Талев замечал: «В этом отношении я больше всего обязан Толстому. Толстой научил меня — что очень важно — *как* начать книгу. Он научил меня, что рассказ должен быть интересным. Одна из важнейших задач — ввести читателя в эпоху. Люди и события должны быть характерными для своего времени. От Толстого я многое узнал и о чувстве меры у писателя. Я изучал его с этой точки зрения. У него я учился определять, какая деталь важна, а какая — нет, что нужно сказать и чего — не нужно. Понял я и самое важное — в произведении необходимо сохранить живую жизнь, не умерщвляя ее в литературе» («Литературна мисъл», 1957, № 2, стр. 94).

Внимательное исследование литературного наследия Талева, вероятно, дало бы возможность выявить в нем своеобразное творческое преломление некоторых особенностей поэтики романа-эпопеи Толстого и представило бы интересный материал для изучения влияния традиций Толстого на иностранной национальной почве.

В. Велчев (София)

ГВИДО ПЬОВЕНЕ

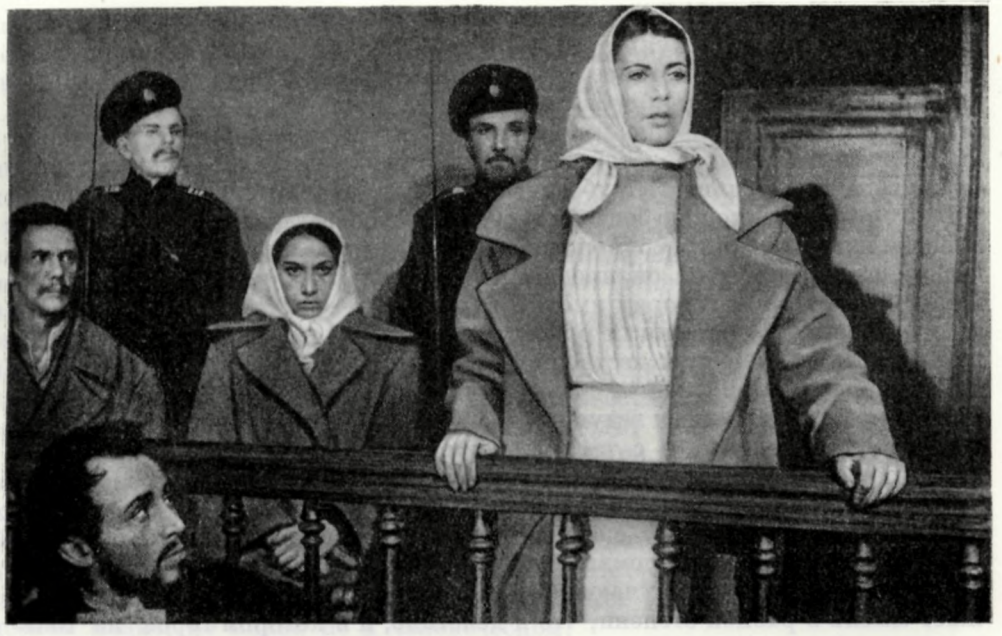
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» В ВЕНЕЦИИ

Чтобы избежать общих юбилейных речей при столь кратком разговоре о таком обширном предмете как творчество Толстого, необходимо ограничиться выбором одного-двух основных моментов, соединением нескольких наблюдений, в которых наш житейский опыт сопрягается с анализом гениального писателя.

Во все времена люди, читая произведения великих писателей прошлого, переносили их в современность и искали в них помощников для собственной деятельности. Но никогда это не проявлялось столь открыто и решительно, как в наши дни. Во времена критического пересмотра ценностей культуры в целом, литературная критика как часть культуры и особенно литературная критика, которой занимаются писатели-борцы, приняла открыто утилитарный характер. Вся культура прошлого рассматривается, прежде всего, с целью выявления того, чем она может нам служить. Каждое великое произведение уподобляется карьеру, который разрабатывают, чтобы добыть строительный материал; достоинство произведения видят в возможности применения его для создания новых творений; при чтении никогда не упускается из виду эта действенная активная ценность. Конечно, чтения, совершенно оторванного от действительности, по существу, никогда не было, но все же для наших дней характерно полное осознание этого и отказ даже от мифа, от иллюзии такой оторванности. Подобное интенсивное привлечение писателей прошлого к современной проблематике, на мой взгляд, неизбежно в такие эпохи острых проблем, как наша. Этим и объясняется то, что, например, Толстой служит для подкрепления совершенно противоположных друг другу политических, моральных и эстетических положений, причем, я бы сказал, всегда в известной степени обоснованно.

Никто из больших писателей не избежал подобного современного использования их творчества — и в особенности те из них, которые еще недалеки от нас во времени и с которыми нас связывает пока не только эстетическое восхищение. Самые великие из них помогают прояснить, проиллюстрировать и уточнить наши позиции и наши контрасты, в особенности, если их творчество, как, например, в случае с Толстым, по своему размаху и силе выразительности осталось не позади, а, пожалуй, все еще находится впереди и составляет для нас скорее будущее, нежели прошлое. Достаточно вспомнить, что только сейчас, по существу, мы выходим из периода «модернистской» литературы, которая в большей своей части, признавая художественное величие Толстого, оказывает ему лишь условное и малодейственное почтение. Русский роман XIX в. в своем многоголосии составляет единый бесконечно сложный организм, который при его рассмотрении не допускает ни схематизма, ни произвольного подхода. Однако западная критика и в особенности наиболее живая ее часть, состоящая из творческих художников, выделила из этого целого, в основном, два имени — Толстой и Достоевский,— стремясь противопоставить их друг другу. Это противопоставление служило им неким мерилом действительности. Если принять это противопоставление — пусть хоть как удобный рабочий прием,— то нельзя отрицать, что большинство западных писателей в большей степени испытали влияние Достоевского. Dostoevskiana* —

* Под термином «dostoevskiana» Пьовене подразумевает художественное ви́дение Достоевского, в частности принцип построения характера.— *Ред.*



«ВОСКРЕСЕНИЕ». КАДР ИЗ ИТАЛО-ГЕРМАНСКОГО ФИЛЬМА. 1958
Режиссер Рольф Ганзен
Сцена в суде. Катюша — Мириам Бру
Из книги: L e o n e T o l s t o i. Risurrezione. Milano, 1959

главенствующее течение литературы нашего века. Можно с легкостью перечислить множество имен писателей первой величины, хоть и совершенно различных обликов, которые вышли из тумана dostoevskian'ы, от Кафки до Бернаноса. Но не так-то легко найти среди романистов нового поколения подлинного литературного потомка Толстого; я повторяю, что говорю о литературе Запада, оставляя в стороне русскую литературу. Потому-то я и сказал, что творчество Толстого составляет для нас скорее будущее, нежели прошлое. Dostoevskiana со своими бесчисленными ответвлениями — это наша действительность, а Толстой скорее — идеал. Написать страницу по-толстовски, не внешним образом, для нас гораздо труднее. Еще более трудное дело — достичь в нас самих такого внутреннего морального состояния, которое позволило бы написать такую страницу с искренностью.

Чем является для нас Толстой? Естественно, каждый из нас может видеть его в различных аспектах; но все же всегда требуются определения, с помощью которых мы пытаемся прояснить для самих себя сущность того, чему мы хотели бы научиться. Я говорю о Толстом в плане художественном, как о романисте и создателе человеческих характеров, но совершенно очевидно, что его манера повествовать и создавать характеры подразумевает и моральное поучение. В определенных аспектах то, что мы можем сказать о его романах, можно сказать и о других произведениях. Так, например, Толстой — один из тех, кто своим творчеством более всего способствовал выявлению подлинного пути и подлинных задач современного романа, а именно — показал в нем орудие всеобщей культуры. Толстой далек от предрассудка, согласно которому в роман, как в произведение искусства, нельзя вводить некоторые вещи, ибо они «нехудожественны», или же их можно ввести лишь косвенным путем, видоизменив, транспонировав их средствами языка, подогнав их по мерке произвольных

конструктивных правил. У Толстого ничто не «транспонировано». Он, как никто, свободен и от культа художественного преображения и от мифа чистого отображения, которое якобы только одними присущими ему средствами должно вбирать в себя и выражать концепции и суждения; на самом деле это невозможно, и мы на опыте видим, что простое отображение имеет свои пределы. Толстой, писатель, обладавший способностью отображать действительность с убедительностью и впечатляющей силой величайших рассказчиков, не боится перебить свое повествование, чтобы ввести в него исторический, социологический, философский или психологический очерк, который он предлагает читателю без малейшего переодевания и в котором говорит именно то, что ему требуется высказать. По моему мнению, современный роман возник именно с этой целью, будучи неким сопряжением художественного и научного начал, причем ни то, ни другое начало не искажается в своей природе; я считаю, что именно на этот путь роман вновь должен вступить после временных уклонений, с необходимыми уточнениями, и с тем бóльшим основанием в наши дни, перед лицом заката и распада философии как обособленной науки, которая оставляет часть своего наследия именно романистам.

Если подойти к этому с другого конца, то роман Толстого, быть может,— главный образец романа идей: под этим термином я подразумеваю не тенденциозный или поучающий роман, а такой роман, который изображает мысль в равной степени, что и действие, и в котором герои не только живут, но и являют и провозглашают свое миросозерцание. Именно здесь мы обретаем, повторяю, великий, все еще живой и неисчерпанный урок романа XIX века как жанра, в котором одним из величайших примеров было творчество Толстого; и не только его одного; мы, итальянцы, внесли свой особый вклад творчеством Ньево.

Присущую Толстому особенность, которую я считаю его величайшим достижением, я бы определил так: бесподобное равновесие между социальным и внутренним у его многочисленных героев — равновесие между тем, чем они являются, поскольку принадлежат определенному слою, роду деятельности, ремеслу, устремлению, общественному назначению, и тем, что они есть перед лицом своей души. Это может быть перенесено в произведения с совершенно иной моральной направленностью. Я хочу несколько подробнее остановиться на этом, чтобы яснее стало сопоставление с Достоевским.

Я как-то писал, что среди романистов можно различить «два противоположных метода в концепции героя, две концепции того, в чем кроется истинность персонажа. Первый метод состоит в том, чтобы рассматривать человека прежде всего в его делах и поступках, как сознательную волю во всем, что он собой представляет, в целях, которые себе ставит. Другой метод, наоборот, состоит в том, чтобы объяснить все, включая волю и действия, мотивами скрытыми в не всегда осознанных складках души, которые раскрывает психолог». Изолируя и противопоставляя эти два метода, я совершаю абстракцию. На самом деле у романиста они всегда совмещаются; но в зависимости от своей природы и культуры он в общем склоняется в ту или другую сторону. Первый метод, доведенный до крайности, создает не людей, а автоматов, полностью поглощенных социальной категорией, которую они представляют, целями, которые себе ставят, политической или профессиональной моралью. Таковы воспитательные романы, подчиненные слишком жесткому контролю политической идеологии или вероисповедания; люди в них — манекены или бессодержательные примеры добра и зла; они демонстрируют то, чем хотят или должны быть, но всегда умалчивают о том, что они есть на самом деле, порождая фальшь, которая в конечном итоге уничтожает и воспитательную цель. Другой метод приводит к иной фальши, хотя она менее очевидна и наглядна. Ана-

лиз, которому не поставлено никаких преград, обесценивает ценности воли и действия и приводит к разрушению самого персонажа, превращая его в неопределенный психологический поток.

Достоевский принадлежит, в основном, ко второй школе, которая в значительной степени и определяет собой современный роман. Уже отмечалось, что его герои хотя и обозначены по социальной принадлежности как помещики, студенты, чиновники, учителя и т. п., но эта характеристика, особенно для главных героев, имеет второстепенное значение. Все они проявляют себя почти исключительно как «души», сознания и подсознания; все они равно стремятся избавиться от функции, которая принадлежит им в сфере общественной деятельности. Ведущий персонаж Достоевского — это почти экзистенциальный поток, который автор сопровождает в его течении, не ставя ему преград; он обладает непосредственной правдивостью такого потока (он таков, каков есть), а иногда и обаянием абсурдности. И герой этот неизбежно приходит к одному нивелиру — тоске; не к тоске морального человека перед лицом зла, а к тоске того, кто, роясь в собственной душе, обнаруживает, что был игралищем противоречивых темных сил, для которых он — только маска. Другой результат — бесконечная двусмысленность; даже герой «Идиота», который по замыслу должен быть хорошим человеком, в конце предстает в неразгаданной двусмысленности. Персонаж распадается; он может быть воссоздан в мистическом плане, но никак не в человеческом.

Подобные следствия наблюдаются гораздо чаще не у самого Достоевского, а у его отпрысков, в тех результатах, которые он дает как учитель: в персонажах, густо населяющих современное искусство, многообразная и единая судьба которого, выражаясь словами одного из наших поэтов, состоит в том, чтобы терпеть крушение «в тайне собственных вод».

Не будем предаваться иллюзиям: именно в этом наша склонность сейчас, пассивная склонность современной прозы. Столь же справедливо и то, что эта современная проза, как это видно из наиболее кричащих случаев, дошла до мертвой точки. Плодотворность открытий психологического анализа, расшифровка всех фибр и переплетений человеческой психики, обновление методами повествовательного искусства психологии, понимаемой как прослушивание внутренней пассивности, словом, вся реформа самого материала и данных, которыми оперирует романист,— все это постепенно утрачивает свою эффективность: все чаще создается впечатление, что мы повторяем уже сказанное, уже известное, становимся эпигонами. Скажу больше: мы вступили в область, которая сначала показалась нам беспредельной, а теперь она обнаруживает свои границы; струйка «открытия», которая составляет ценность психологической литературы этого жанра, иссякает. И к тому же мы ощущаем, что ускользает много существенного как раз в смысле правдивости, которая нам так дорога.

Может быть, из этого ощущения духоты и пресыщенности и возникает в нас первый порыв хорошенько перечитать и проштудировать Толстого — учителя, которого почитают и превозносят, но которому — подчеркиваем — так мало (либо чисто внешне) следуют на практике и которому так чудовищно трудно следовать.

Начнем с того, что обнаружим в нем главное, основное отличие. У Толстого отсутствует это ошеломляющее, соблазнительное, но опасное растворение автора в персонаже; у него нет и намека на современную моду, согласно которой написанная страница и мозг писателя должны как бы слиться, смешаться, вместе расти и вместе идти ко дну. Персонажи Толстого всегда находятся на должном расстоянии, в достаточном историческом отрыве, и в этой верной дистанции между автором и героями кроется изначальная, предварительная и основная защита ценности человеческой

личности, защита цельности характера от опасности распада. Верная дистанция: т. е. более холодная, более рассудочная; попросту отличие персонажа от рассказчика и его опыта, от остальных героев, живущих на страницах романа, и тем самым утверждение его собственного существа. Как у всех великих гениев, здесь есть и сочетание трагичности с возвышенной иронией.

Далее: герои с самого начала расположены по своим точным местам в рамках общества, с присущими им деятельностью и функциями. Они — министры, мелкие чиновники, аристократы, рабочие, крестьяне, слуги, а не только индивидуумы вообще и ищущие души; и эти их характеристики являются их эффективными качествами, а не только анкетными данными, о которых можно забыть; они воплощены в них и частично руководят их мыслями и поступками. Следовательно, тот момент, тот аспект, который мы в общем можем назвать политическим, всегда присутствует, всегда жив в толстовском персонаже, он коренится в самой его личности; и мы знаем, что он существен для каждого человеческого характера, без чего он рискует превратиться в бесформенную психологическую материю.

Но имейте в виду: Толстой в то же время — психолог, непреклонный и тщательный, тончайший и беспощадный. Никакая стыдливость, никакая предвзятость, никакое стремление доказать тезис или добиться цели не удержат его от проникновения в глубь персонажей, и он выскажет о них все, что узнает. Но его психологичность — не рассуждающая, не интеллектуалистская; она умеет проследить все те медленные превращения, которые подготовляются в душах под прикрытием высказанных мыслей; не случайно, что никто не сумел так убедительно описать процесс нравственного обращения, с таким мужеством, без ложной стыдливости в изображении собственной душевной жизни. И если его герои всегда значимы и в политическом отношении, и их действия всегда имеют также и социальную оправданность, которая сводит к минимуму область произвольного и необъяснимого в психологии, то их психологическая толща огромна, жизненный резонанс широк, а анализ бесстрашен и непредвзят. Он охватывает и безумие, и испорченность, и гнусность. (Необходимо сделать лишь одну оговорку: беспристрастный в описании моральной жизни и вкладывавший в свой анализ ту же страстность, которая заставляла его доводить все свои идеи до крайности, Толстой сдержан до пуританства в изображении сексуальных эпизодов; над этим тоже стоит поразмыслить.) Толстой чужд примитивному толстовству, в котором педагогические цели вторгаются на сцену, населяя ее марионетками, столь же жалкими, сколь человечески непонятными.

Я хочу лишь отметить, что сочетание, равновесие, слияние социально-политического момента с внутренним, индивидуальным, создает и, я бы сказал, закрепляет персонаж как определенный характер, как организм, обладающий иммунитетом от опасности распада. Это — наиболее трудно достигаемое равновесие в романе, и я бы сказал, что никто не добивался этого с таким успехом, как Толстой. Поэтому его герои, столь сложные, противоречивые, насыщенные, полные света и теней, когда писатель в них проникает, тем не менее остаются прочными, стойко держатся на ногах.

Мы с успехом можем взять персонаж Достоевского, например героя «Идиота» или даже Алешу Карамазова, и рассказать о нем в ином ключе, сообщить ему дьявольский или ангельский колорит, используя всё те же двусмысленные характеристики, которые ему придает сам автор. Было бы невозможно совершить подобную операцию с героями Толстого: они всегда будут сопротивляться и отвергнут любую попытку манипулировать ими.

Под каким углом ни рассматривать романы Толстого, можно увидеть слияние, равновесие социального и психологического, политического и



«ВОСКРЕСЕНИЕ». КАДР ИЗ ИТАЛО-ГЕРМАНСКОГО ФИЛЬМА. 1958
Режиссер Рольф Ганзен
Сцена свидания. Нехлюдов — Хорст Буххольц, Катюша — Мириам Бру
Из книги: L e o n e T o l s t o i. Risurrezione. Milano, 1959

внутреннего. Вполне справедливо говорилось, что Анна Каренина олицетворяет безумие, гибель любви в обществе, отвергающем любовь; однако в такой же мере справедливо рассматривать это во внутреннем психологическом ракурсе: Анна Каренина олицетворяет также страсть, которая стремится к гибели, повинуясь слепому внутреннему импульсу, независимо от условий среды. Обе эти стороны сливаются, дополняют друг друга и составляют единое целое.

Сказав, что Толстой и его уроки являются для нас не прошлым, а будущим, я указал на задачу, которая сейчас встала перед нами: не аналитическое и релятивистское разложение человека — мы из этого уже получили все возможные результаты,— а воссоздание характеров, причем, разумеется, ничего не утрачивается из приобретенной аналитической остроты, которой нужно вернуть ее роль как орудия. Я считаю, что романисты, в той же мере, как и художники, стоят перед лицом одинаковой необходимости. Я знаю, что это очень трудно. Восстановить человеческий характер в повествовании, как человеческое лицо в живописи, это значит преодолеть известные психологические и формальные привычки, победить в себе сильные пассивные склонности, и прежде всего это значит — поверить в него, что является моральным завоеванием или, скорее, отвоеванием.

Здесь я хотел бы поставить вопрос — не пора ли освободиться от общепринятого мнения, которое разделяет большая часть критики и, несомненно, почти вся читательская публика, причем, по-моему, скорее по ленивой привычке, нежели по обдуманному суждению. Это мнение, согласно которому большие романы, написанные зрелым Толстым, т. е. в возрасте от сорока до пятидесяти лет,— «Война и мир» и «Анна Каренина»—

по своей художественной ценности намного превосходят произведения, созданные в старости, как «Воскресение». Это мнение, по-моему, ошибочное, проявляется также в другой форме: творчество позднего Толстого рассматривается, в основном, под одним углом — развития его социальных и религиозных взглядов, чтобы судить о них по-разному,— благожелательно или отрицательно,— но оставляя в стороне собственно художественное развитие. Мысль Толстого развивалась диалектически, идеи в «Войне и мире» не те, что в «Воскресении», но, вместе с тем, диалектически развивалось и его искусство и, конечно же, эти две линии развития тесно связаны между собой. В «Воскресении» Толстой создает нечто совершенно новое и, быть может, более близкое нам, чем то, что он написал раньше. Поэтому необходимо говорить об органической эволюции, а вовсе не об упадке и утрате силы. Разумеется, центральные произведения зрелого периода являют более живую фантазию, больше «amor vitae»*; они дают нам большее число героев, которые стали нам дороги, вошли в обиход памяти как люди из плоти и крови, похожие на близких нам людей в реальной жизни, и они, как живые существа, сохраняют в себе частичку тайны, хоть и полностью объяснены. Толстого больших романов зрелого периода больше привлекают человеческие страсти, он более склонен с сочувствием заглядывать в душу каждого (хотя юная идиллия между Нехлюдовым и Катюшей в «Воскресении» выделяется своей несравненной свежестью среди всего творчества Толстого). И, однако, в этих чудесных толстовских романах зрелых годов сегодняшний читатель может обнаружить известную растянутость, чрезмерную описательность; типично в этом отношении, на мой взгляд, описание прихода поезда в «Анне Карениной»; современный писатель ограничился бы словами: «поезд прибыл на станцию».

За двадцать — двадцать пять лет, протекших от «Анны Карениной» до «Воскресения», стиль Толстого стал мускулистее, заостреннее. Недавно я перечел «Воскресение»; что за неожиданность: я думал, что прочту устаревшее произведение Толстого, а оно оказалось самым новым и актуальным даже в смысле стиля. Сухость, жесткость этого романа проистекает не из внешней дисциплины, не из охлаждения души, а как раз из противоположного. Там совсем иной прием приближения к герою. Теперь Толстой подходит к нему с агрессивностью любви и ненависти, и любовь и ненависть становятся сторонами интеллекта, проводниками безжалостного познания, порождая целую серию различных портретов все большей и большей силы — чиновников, военных, светских мужчин и женщин, крестьян, революционеров, проституток, убийц. Словно холодный свет, ненависть «познаёт», проникает в неправедных чиновников, разоблачает их, не оставляя в тени ни малейшего уголка, запечатлевает их низость, не давая укрыться. Конечно, здесь есть противоречие между толстовской проповедью непротивления злу насилием и тем интеллектуальным насилием, которым проникнут сам метод изображения в последних его произведениях; интеллектуальное насилие столь же эффективно и действенно, как и практическое, и несет его в себе так же, как туча несет в себе молнию. Это, вероятно, ощущал Чехов, когда находил противоречие между самой книгой и ее евангельской концовкой; насилие — не в выводах, а в вещах и в том взгляде, который их видит и о них судит. А художественный результат великолепен. Мне говорили, что «Воскресение» — это почти экспрессионистский роман, и я думаю, что такое определение, пожалуй, верно.

И как психолог Толстой также усовершенствовался и достиг максимума проникновения. Я уже говорил, что он, не колеблясь, прерывает

* «жизнелюбия» (лат.). — *Ред.*

повествование, чтобы ввести в него самый настоящий психологический эссе. Я процитирую потрясающее место, которое начинается следующими словами: «Обыкновенно думают, что вор, убийца, шпион, проститутка, признавая свою профессию дурною, должны стыдиться ее. Происходит же совершенно обратное. Люди, судьбою и своими грехами-ошибками поставленные в известное положение, как бы оно ни было неправильно, составляют себе такой взгляд на жизнь вообще, при котором их положение представляется им хорошим и уважительным...» Этот отрывок и то, что за ним следует и что относится не только к ворам, убийцам, шпионам и проституткам, а приравнивает к ним лиц иного положения — судей, генералов, властителей и т. п.,— современная иллюстрация к дантовской терцине о Семирамиде:

Она вдалась в такой разврат великий,
Что вольность всем была разрешена,
Дабы народ не осуждал владыки *,—

наряду со множеством других подобных мест этой книги заключает в себе нового Толстого по сравнению с его предшествующим творчеством.

Я позволил себе высказать несколько соображений по поводу Толстого и на этом заканчиваю. Надеюсь, что мне простят попытку ввести Толстого в круг дебатов о современном искусстве, в связи с некоторыми дорогими для меня гуманистическими понятиями и оставив в стороне его политико-религиозное поучение. Я думаю, что внимательное прочтение Толстого окажется для писателей сегодня полезнее, чем вчера, ибо многие направления, которым мы следовали вчера и еще по инерции следуем сейчас, кажутся мне исчерпанными. Пусть же из творчества Толстого каждый почерпнет то, что ему лучше послужит.

Печатается по тексту стенограммы, предоставленной редакции «Лит. наследства» фондом Чини («Fondazione Cini»).— Перевод с итальянского З. М. Потаповой.

Выступление итальянского писателя Гвидо *Пьовене* (р. 1907) на международной конференции «Лев Толстой» в Венеции (1960) представляет существенный интерес, выделяясь среди остальных докладов западноевропейских участников конференции глубиной постановки принципиальных общеэстетических вопросов. Пьовене ввел проблему овладения наследием Толстого в круг современных дебатов о путях литературы и искусства, поставил вопрос об актуальности Толстого-художника в острой современной борьбе реализма против антиреалистических направлений, против всей модернистской эстетики в целом.

Пьовене впервые выступил в литературе в 1931 г. со сборником рассказов «Веселая вдова» о нравах и обычаях итальянской провинции. В последующих произведениях он обратился к жанру психологического романа нравов с отчетливой антиклерикальной тенденцией.

С середины 1950-х годов Пьовене пишет много путевых очерков, репортажей, в которых, однако, на первом месте остается социально-этический анализ. В 1960 г. он посетил Советский Союз и опубликовал ряд обширных статей о своих впечатлениях, особенно подчеркнув, в частности, органическую взаимосвязь народа с культурой в СССР.

В последние годы Пьовене очень активно выступает как критик и общественный деятель прогрессивного лагеря итальянской культуры. Он проявляет большую инициативу и энергию в организации конференций и диспутов, на которых обсуждаются насущные проблемы развития демократической культуры Италии и ее защиты от нападок реакции. Большое значение имели состоявшиеся при деятельном участии Пьовене в 1959 и 1960 гг. конгрессы, в которых приняли участие наиболее выдающиеся представители литературного и художественного мира, гуманитарных наук Италии. На кон-

---

* «Ад», песнь V, стр. 55—58. — Перевод М. Лозинского. — *Ред.*

грессах обсуждались проблемы «Ответственность писателя» и «Культура и итальянское общество». В своих докладах Пьовене поставил вопрос о той ответственности, которую несет итальянская интеллигенция за кризис культуры, подвергающейся непрерывному нажиму со стороны клерикальных и фашистствующих элементов. Пьовене призывал к сплочению всех демократических сил культуры. Успех таких объединенных действий Пьовене связывал с необходимостью для каждого писателя и художника ощутить свою моральную ответственность, занять определенную идейную позицию как в жизни, так и в творчестве.

Пьовене принял активное участие в созванном Европейским сообществом писателей в 1963 г. в Ленинграде симпозиуме «Судьбы современного романа». В своем выступлении на симпозиуме Пьовене призывал к дальнейшему развитию традиции реалистического романа как жанра, широко и многообразно раскрывающего и познающего современную действительность, современного человека.

Эти прогрессивные идейно-эстетические взгляды Пьовене нашли свое конкретное преломление и в его выступлении на Венецианской конференции. В понимании Толстого Пьовене исходит из своих воззрений писателя-реалиста, видящего в литературе средство познания и изменения мира, как он заявил об этом в лекции об итальянской литературе, прочитанной им в Нью-Йорке весной 1962 г.

Обращает на себя внимание самый подход Пьовене к проблеме изучения Толстого. Итальянский писатель подчеркивает боевой, «утилитарный» характер передовой культуры прошлого, которая может служить орудием в современной борьбе. Исходя из признания действенной роли искусства, Пьовене ставит вопрос о том, что́ именно из наследия Толстого может быть плодотворно воспринято прогрессивной культурой наших дней.

Благодаря такой постановке вопроса Пьовене приходит к выводу, что Толстой-художник — не прошлое, а будущее для современной литературы. Эту актуальность, «перспективность» творчества Толстого Пьовене видит главным образом в двух аспектах толстовского метода. Прежде всего Пьовене называет толстовский роман образцом «романа идей» в том смысле, что герои Толстого ясно и четко выявляют свое миросозерцание, свою концепцию мира. В этом, по мнению Пьовене, состоит неоценимый урок Толстого-романиста. Такая точка зрения итальянского писателя непосредственно перекликается с его требованием идейности в современной литературе. Вторым образцом для «литературы будущего» является, согласно концепции Пьовене, умение Толстого создавать многогранные человеческие характеры, в которых в правдивом жизненном соотношении сочетается социальное с индивидуальным. Уклонение в ту или иную сторону приводит к разрушению персонажа, причем основным пороком современной литературы Пьовене справедливо считает субъективистский распад характера, который превращается в «неопределенный психологический поток» подсознания. Однако Пьовене необоснованно объясняет это разрушение героя лишь влиянием Достоевского, подчиняясь в этом вопросе ложному толкованию наследия Достоевского в западноевропейской идеалистической эстетике. Туман dostoevskian'ы, о котором говорит Пьовене, есть не что иное, как декадентско-фрейдистское искажение психологизма Достоевского, проявившееся в известной мере и у Кафки и у французского католического писателя Ж. Бернаноса с его проповедью мистицизма и религиозной экзальтацией.

Тем не менее Пьовене тут же оговаривается, что противопоставление Толстого и Достоевского можно принять только как «рабочий прием» и что русский реалистический роман XIX в. «составляет единый бесконечно сложный организм».

«Возвращение» к Толстому в области глубокого и гармонического воспроизведения человеческой психики расценивается Пьовене как условие выхода современной литературы из тупика, куда завел ее модернистский психоанализ, отнявший у героя социальную определенность.

Таким образом, в докладе Пьовене о Толстом нашли отражение взгляды представителей передового лагеря итальянской культуры о путях развития современного романа, о роли и задачах литературы наших дней.

З. М. Потапова

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

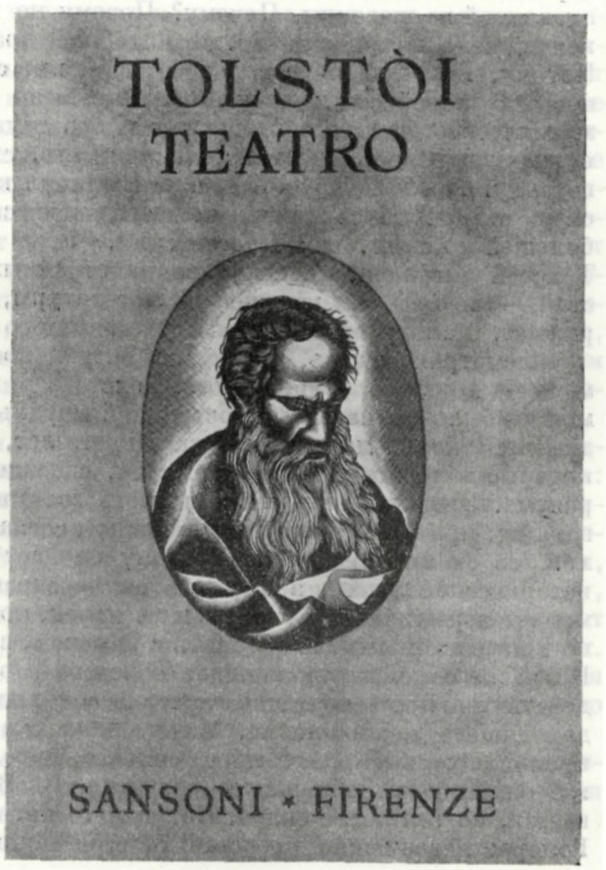
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» В ВЕНЕЦИИ

Многие из присутствующих здесь посвятили изучению Толстого всю свою жизнь; я же — всего лишь обычный читатель. Поэтому я ограничусь отдельными наблюдениями, которые сделал, читая книги Толстого на протяжении моей жизни.

Один из вопросов, которые часто вставали передо мною, это актуальность Толстого в наши дни как писателя и как религиозного и нравственного мыслителя.

Актуальность Толстого как романиста — это, безусловно, вечная актуальность поэзии; романист не может не испытывать чувства глубокого восхищения книгами Толстого, в особенности некоторыми из них, в первую очередь «Севастопольскими рассказами», «Войной и миром» и «Анной Карениной», а также отдельными повестями и рассказами.

Романиста восхищает в Толстом почти неосязаемое, неощутимое сближение с реальностью, с истиной; это умение дать картину природы почти мимоходом и изобразить ее так, словно увидел ее впервые; это умение создавать характеры, не показывая всей присущей роману механики, так что кажется, будто сама жизнь выдвинула их перед нами.



СБОРНИК ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОЛСТОГО НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ (ФЛОРЕНЦИЯ, 1952)
Суперобложка
Гравюра Бруно Браманти

Как известно, романиста преисполняет восхищением также и широта горизонтов Толстого; его способность слить природу и историю и дать нам равнозначное параллельное изображение частных жизней и общественной жизни, великих социальных и исторических драм и драм индивидуальных чувств. Все это стало достоянием мировой литературы, и, может быть, нет нужды это повторять.

Однако актуальность Толстого как писателя — это проблема, заслуживающая особого рассмотрения. Я хочу здесь поставить вопрос: влияет ли в наши дни творчество Толстого на современную литературу, как именно влияет и какое место оно занимает. И тут мы должны признать, что среди всех русских прозаиков-романистов Толстой оказывает, быть может, наименьшее влияние на современную литературу. Достоевский, например, повлиял на нее гораздо больше; из Достоевского вышло целое течение вплоть до Кафки и Бернаноса. Значительное влияние на многих европейских писателей в Англии и во Франции оказал Чехов. Толстой же являет собою почти недостижимое совершенство; это образец, которым должно скорей восхищаться, чем подражать ему. И, однако, судьба Толстого — весьма удивительна: он остается актуальным, но совсем на особый лад.

Так, например, актуальность Толстого состоит главным образом в том, что он предложен в качестве образца в великой стране — у себя на родине, в Советском Союзе. Толстой — образец для так называемого направления социалистического реализма. В России предлагают в качестве образца не Достоевского, не Чехова и не Гоголя, а именно Толстого. С Толстым произошло примерно то же, что с Рафаэлем у католической церкви: католическая церковь всегда использовала Рафаэля для своей религиозной пропаганды. Почему? Почему не взяла она Мазаччо или Микеланджело — художников, гораздо более драматичных, нежели Рафаэль? Потому, что Рафаэль бесподобно соединял в себе эллинскую красоту и ясность с библейским содержанием; это было совершенное и несравненное эстетическое достижение, которое могло служить века. И действительно, церковь доверила Рафаэлю, так сказать, свою иконографическую пропаганду. Так и Толстой в России соединил красоту с ясностью, эстетическую сторону с современным психологическим содержанием в гораздо большей степени, чем Достоевский, Чехов или даже Гоголь. Поэтому Толстой актуален, но актуален на странный манер, как демиург: Толстой — это миф. Он перешел из литературы, где ему более никто не подражает, в сферу поклонения и религиозного подражания.

Посмотрим теперь, в чем же актуальность — по крайней мере для меня — Толстого религиозного, Толстого в кризисе. Творчество Толстого можно было бы назвать пространной моральной автобиографией. Мы видим в «Войне и мире» человека в цвете лет, в расцвете могучих чувств, которые в то же время умеряются, сдерживаются постоянным усилием разума. Этот человек умеет владеть своими страстями, умеет и описывать их; притом он находится в полном согласии с историей, со своей эпохой, со своим обществом. Поэтому он дает нам великолепную картину исторической эпохи, в которую он переносит свой собственный, в этот момент переживаемый опыт. Этот человек, которого по совершенству можно в известном смысле сравнить с Гомером, все же очень далек от Гомера. В той же самой великой книге Толстого «Война и мир» эту совершенную действительность подтачивает червь сомнения, самого черного сомнения, доходящего до нигилизма. Можно даже сказать, что нигилизм Толстого проявляется в «Войне и мире» сильнее, ярче, чем в последующих книгах, где он получил дальнейшее развитие. В «Войне и мире» он подразумевается, но тем более силен. Вот этот-то нигилизм и отличает Толстого от Гомера: невозможно представить себе Гомера нигилистом.



L'Adriatico
GIORNALE DEL MATTINO

La morte di Leone Tolstoi

Gli ultimi momenti di Tolstoi

СООБЩЕНИЕ О СМЕРТИ ТОЛСТОГО В ИТАЛЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЕ «ADRIATICO» ОТ 21 НОЯБРЯ 1910 г.
Газетная вырезка

И на самом деле, через тридцать лет после смерти Толстого Европа испытала полное крушение Гуманизма, узнав концентрационные лагери, пройдя через две ужасающие войны. Поэтому можно сказать, что Толстой со своим нигилизмом предвидел и предвосхитил тот кризис, которому предстояло истерзать Запад. Ведь после «Войны и мира» на протяжении его долгой жизни мы видим прогрессирующий гигантский рост этого нигилизма. Толстой постепенно приглушает свои блистательные краски и превращается из классического писателя почти в экспрессионистского или экзистенциалистского «avant-la-lettre»*. Так, например, уже в «Смерти Ивана Ильича» мы видим, что классичность Толстого надламывается вследствие сильнейшего ожесточения, направленного, по существу, против чего-то, что от него ускользает: ибо, хотя он изображает Ивана Ильича как среднего человека, чиновника, представителя той буржуазии и того правящего класса, который Толстой ненавидит, на самом-то деле он ненавидит нечто, находящееся за пределами Ивана Ильича, и чего ему опознать не удается; и действительно, он с исключительным правдоподобием показывает нам агонию Ивана Ильича, а вот смерти Ивана Ильича, т. е. искупления, он так показать не может.

В «Воскресении» делается еще один шаг в эту сторону, по пути экспрессионизма и излома; «Воскресение» — это, разумеется, прекрасная книга: портреты русского правящего класса, нарисованные Толстым, полны такого ожесточения и беспощадности, которые никогда никем не были достигнуты. Даже Гоголь в «Мертвых душах» никогда не был так жесток, как Толстой. Но кризис главного героя, охватывающий, по-видимому, русский правящий класс, царизм, церковь, судейских чиновников,— этот кризис также, по сути дела, не удовлетворяет ни Толстого, ни читателя. Это уже выходит за рамки общества; Толстой как будто все еще борется против общества, но на самом деле он уже за пределами того, что можно назвать социальной полемикой.

Я мог бы сравнить кризис Толстого, если позволено столь смелое сравнение, с кризисом Рембо. Рембо оставил литературу, едва создав свои

* Здесь в смысле «предтечи» (франц.). — *Ред.*

шедевры; Толстой оставил литературу, проработав в ней почти всю свою жизнь; в этом — разница. Но в обоих случаях последовало продолжение кризиса в практике, т. е. Толстой в последние годы отказался от долга реализма, который заключается в том, чтобы рассказывать о кризисе и не переходить к практике. Он показал нам кризис вплоть до того момента, когда он охватил русское общество; и когда это уже касалось не только его и его отношений с действительностью, он бросил литературу и перешел к практике, т. е. пережил обращение и захотел, если можно так выразиться, основать религию; т. е. он больше не сказал нам о себе ничего, что бы нас интересовало.

Рембо, со своей стороны, бросил литературу и исчез; в Рембо была скромность, которой, разумеется, у Толстого не было. Толстой был человеком самовластным, нетерпимым, он был великим человеком и знал это; ему захотелось быть демиургом. Поэтому необходимо проводить различие между религиозным кризисом и религией. Можно пережить религиозный кризис и не основать религию. Обычно религиозный кризис — вещь интимная, тайная, и подлинно религиозные люди не рассказывают о нем ближнему. У Толстого не было религиозного кризиса, он хотел основать религию — а это совсем другое дело. Поэтому-то, повторяю, судьба Толстого странная и удивительная, и он является демиургом также и в отношении религии. Он стал мифом в великой стране — Индии, и его теории перешли к великому народу.

Таким образом, мы оказываемся перед лицом довольно странного факта: шедевры Толстого являются достоянием человечества, но не имеют более отношения к современной литературе. И наоборот, актуальность Толстого состоит в двух мифах, или, если хотите, в двух демиургических позициях: одна — литературная — в России, другая — религиозно-философская — во всем мире и практически — в Индии.

К этому я, однако, хотел бы добавить в заключение, что великая актуальность Толстого состоит именно в том, что он до самой глубины пережил моральный кризис; т. е. у него достало мужества и силы дойти до той точки, до которой обычно другие не добираются.

Толстой тем не менее всегда останется в самой интимной части своей жизни выстраданным примером, которому должны были бы подражать все.

Печатается по тексту стенограммы, предоставленной редакции «Лит. наследства» фондом Чини («Fondazione Cini»). — Перевод с итальянского З. М. Потаповой.

Идейно-творческий облик Альберто *Моравиа* (р. 1907), мастера психологического романа, одного из видных современных писателей Европы (Моравиа — председатель Пен-клуба), во многом противоречив. Антифашизм и антиклерикализм переплетены в нем с социальным скепсисом, реалистическая направленность метода часто осложняется модернистскими моментами. Моравиа — противник отрыва искусства от действительности, но в то же время он неоднократно подчеркивал свое несогласие с принципом «тенденциозного», идейного искусства.

Эта двойственность идейно-художественных позиций Моравиа сказалась и в его выступлении на толстовском конгрессе в Венеции (1960), выступлении, показательном как отражение эстетических взглядов значительного круга творческой интеллигенции Запада, захваченного идеями модернизма. Моравиа, подобно выступавшему на конгрессе писателю Г. Пьовене, также ставит вопрос об актуальности Толстого как писателя и мыслителя. Но, признавая непреходящую ценность произведений Толстого, их эстетическое совершенство, Моравиа отрицает самую возможность воздействия Толстого-художника на современную литературу. Актуальность Толстого Моравиа истолковывает как его «мифологизацию» и в качестве писателя, и в качестве религиозного мыслите-

ля. Такое понимание Толстого у Моравиа основывается на весьма натянутой концепции, полной противоречий и малоубедительных сближений.

Так, утверждение Моравиа о том, что Толстой в Советском Союзе будто бы «предложен» в качестве единственного «образца» для социалистического реализма, свидетельствует о крайней неосведомленности итальянского писателя в советской литературе и в советской эстетической мысли. Это высказывание сопровождается сопоставлением... с ролью Рафаэля в католической пропаганде — сопоставлением, подводящим к теории «мифологизации» Толстого в советской литературе. Не говоря уже о фактической несостоятельности этих утверждений, не приложимых, кстати, ни к Толстому, ни к Рафаэлю, отметим, что Моравиа ниже противоречит сам себе, утверждая, что в области литературы Толстому «более никто не подражает».

Невозможно принять и трактовку так называемого толстовского нигилизма у Моравиа. Утверждение итальянского писателя, что творчество Толстого уже с «Войны и мира» «подтачивает червь самого черного сомнения, доходящего до нигилизма», ставит великого русского реалиста в один ряд с декадентской литературой конца прошлого века. Отсюда и возникает у Моравиа сопоставление кризиса Толстого с кризисом Рембо — аналогия, крайне субъективная. Завершая свою концепцию о «прогрессирующем, гигантском росте этого нигилизма», Моравиа называет Толстого предшественником экспрессионизма и экзистенциализма, пытаясь связать идейное развитие Толстого с «полным крушением» европейского гуманизма после двух мировых войн. Утверждение Моравиа неверно вдвойне — и по отношению к Толстому и по отношению к путям гуманистической мысли на Западе за последние полвека. Толстовское гневное отрицание действительно было всеобъемлющим в области разоблачения фальши буржуазной морали, бесчеловечности социальных установлений, общественных отношений. Но Толстой, разумеется, никогда не был «нигилистом» в отношении подлинных духовных ценностей, которые он утверждал на обломках разбитых им поддельных ценностей. От безысходного скепсиса Толстого неизменно спасала вера в духовные силы народа. Что же касается современного кризиса буржуазного абстрактного гуманизма на Западе, то подлинное крушение его произошло именно в умах создателей реакционно-идеалистической философии, вроде Ясперса, пришедших к полному разочарованию во всех моральных ценностях, к неверию в возможность прогресса, к отрицанию всех начал добра и прекрасного в человеческой природе — носительнице всех пороков. Экзистенциализм явился плодом именно этого краха буржуазного гуманизма. В то же время лучшие представители буржуазной интеллигенции XX в. неизменно переходили и переходят на позиции нового гуманизма, активно борющегося против зла современной общественной жизни во имя человека и человечества, во имя демократических и социалистических идеалов. Таков был путь Р. Роллана и Т. Манна, А. Барбюса и П. Элюара и многих других крупнейших художников. Сближение толстовского отрицания с теми духовными процессами, которые происходили в среде западноевропейской буржуазной интеллигенции после первой и второй мировых войн, смещает ход исторического развития идей и представляет в неправильной перспективе тенденции развития самого Толстого.

Усматривая в моральных исканиях Толстого экспрессионистский и экзистенциалистский «нигилизм», Моравиа видит в этом единственно возможное сближение Толстого с современностью — сближение, превращающее в предтеч модернизма обоих крупнейших представителей русского критического реализма — Достоевского более прямо, как «духовного отца» Кафки и Бернаноса, а Толстого — косвенно, как предвосхитителя экспрессионизма. По-экзистенциалистски толкуются поэтому и «Смерть Ивана Ильича» и «Воскресение», в которых Моравиа усматривает выход за пределы «социальной полемики» и напряженные поиски чего-то «ускользающего», потустороннего. Религиозный кризис писателя, вызванный, как известно, непрестанным исканием истинных идеалов, Моравиа вообще отрицает, приписывая Толстому попросту притязание... основать свою религию. Это последнее заявление можно рассматривать только как нарочитый парадокс итальянского писателя, который заключает свое выступление признанием непреходящего духовного величия Толстого.

З. М. Потапова

АНДРЕ МОРУА

САМЫЙ ВЕЛИКИЙ

Говорят, что творения Шекспира, Бальзака и Толстого — три величайших памятника, воздвигнутых человечеством для человечества. Это верно.

В творчестве этих трех великанов (к которым я добавлю Гомера) есть всё: рождение и смерть, любовь и ненависть, величие и пошлость, господин и слуга, война и мир. Но Толстой пишет людей с такой простотой и естественностью, каких не достиг ни один романист. Бальзак и Достоевский всегда немного искажают. Толстой же, как совершенное зеркало, отражает всю глубину существования. Читателя уносит плавное течение полноводной реки. Это течет сама жизнь.

Чтоб увлекать и трогать сердца людей, романист должен испытывать к ним подлинную симпатию. Ему приходится создавать систему оценок. Однако книги его не должны быть нравоучительными. Напротив, наравне с ученым исследователем писатель обязан видеть мир таким, каков он есть.

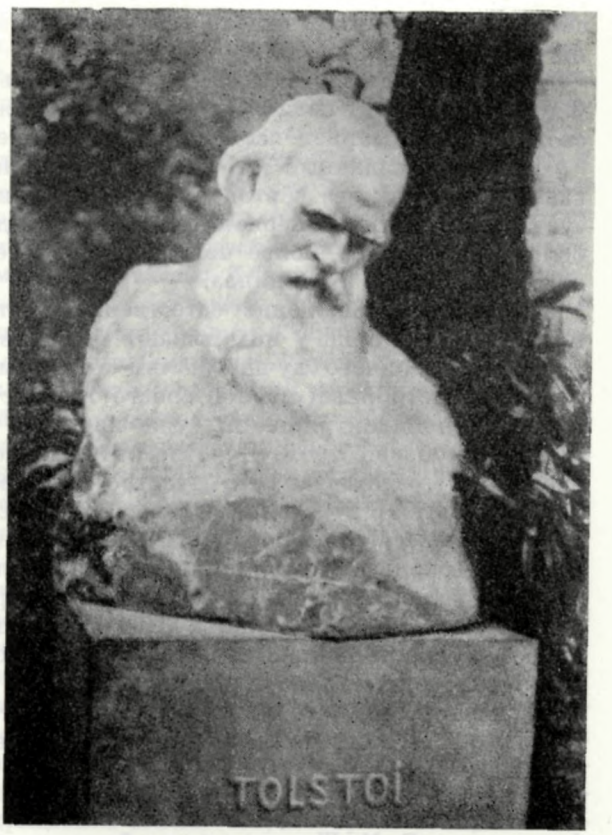
Но благородные характеры составляют часть этого подлинного мира. Беспристрастность отнюдь не значит бесчувственность и еще менее жестокость. И правда, успех всех великих писателей от Сервантеса до Толстого объясняется их умением создавать героев, которых можно любить со всеми их достоинствами и недостатками. Даже слабейшие из них



В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ТОЛСТОМУ В ПАРИЖЕ НА БУЛЬВАРЕ СЮШЕ 5 ИЮЛЯ 1955 г.

У памятника — Андре Моруа (слева), внук писателя С. М. Толстой (справа) и члены Парижского муниципалитета

Фотография. Предоставлена «Литературному наследству» г-жой Жаклин де Пруайар (Париж)



ПАМЯТНИК ТОЛСТОМУ В ПАРИЖЕ

Работа скульптора Акопа Гюрджана (мрамор). 1914

Установлен в сквере Толстого на бульваре Сюше 5 июля 1955 г.

Фотография. Предоставлена «Литературному наследству» г-жой Жаклин де Пруайар (Париж)

не опускают руки, как побежденные герои наших дней. Даже Пруст сохранил веру в некоторые ценности: в развитие искусства и в высокие и скромные добродетели, воплощением которых была его бабушка.

Романы Толстого — это гораздо больше, чем романы. На заднем плане «Анны Карениной» так же, как «Войны и мира» и «Смерти Ивана Ильича», выступает философская драма. Константин Левин, князь Андрей Болконский отражают духовную жизнь своего создателя. Толстой разделял разочарования, угрызения совести и надежды своих героев. Как и они, он учился мудрости у русских мужиков: у Федора в «Анне», у Платона Каратаева в «Войне и мире», а в «Смерти Ивана Ильича» — у чудесного Герасима, такого простого и доброго. Вот кому следует подражать. А как? Любя людей так, как они их любят. Вот и всё. Левин знает, как и Толстой, что он и впредь так же будет сердиться на Ивана-кучера, так же будет спорить... Что ж из того? «...но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее 〈...〉 имеет несомненный смысл добра...». Почему? Многие скажут, что это довольно неясно. И совсем незачем, чтобы было ясно. Незачем — потому что он уже выбрал.

Чем обязан Толстой Бальзаку, Флоберу? Он их читал, но нам не кажется, что он заимствовал у них технику письма. Русские его современники называют Толстого «реалистом», но его реализм не похож на реализм наших «натуралистов». Подробнейшие описания обстановки или женских туалетов, увлекавшие Бальзака, кажутся ему скучными. Ему чужды изысканные литературные приемы в духе Флобера. Толстой идет

своим путем, занятый только чувствами и мыслями своих героев, которых он не судит.

Бальзак осуждает Юло, а еще больше Фердинана де Мийэ... Флобер ненавидит своих буржуа и, изображая Омэ, пышет злобой. Толстой-демиург озаряет всех одинаковым светом.

Покидая созданный им беспредельный живой мир, невольно спрашиваешь себя, как эти чёртовы критики могли утверждать, будто роман — «устаревшая» литературная форма. Никогда не было написано ничего более прекрасного, более человечного, более необходимого, чем «Война и мир» и «Анна Каренина».

Я считаю совершенно естественным, что молодые романисты ищут новых форм. Порой у них бывают счастливые находки. Но никогда они не создадут ничего лучшего, чем этот самобытный творец, который в самый плодотворный период своего творчества не заботился ни о какой литературной доктрине. Мы уже находим у него все, что в наши дни объявляют новшеством. Чувство отчужденности, одиночества. Душевную тревогу. Кто испытал это чувство сильнее Левина, который, целыми днями работая с крестьянами, твердил про себя: «Что же я такое? Где я? И зачем я здесь?» А Фрейд с его теорией подсознательного — прочитайте: «Степан Аркадьевич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть,— жену». А Пруст и его книга «Под сенью девушек в цвету»? Вспомните атмосферу таинственности, окружавшую в сознании Левина сестер Щербацких и окончательно пленившую его.

Воистину, всё, что мы любим в литературе,— уже было у Толстого. Но это не значит, что молодые экспериментируют напрасно: «Ищите и обрящете».

Печатается по тексту газеты «Lettres Françaises», 1—7.IX 1960.— Перевод с французского Е. М. Шишмаревой.

Публикуемая выше статья принадлежит перу Андре *Моруа* (р. 1885), известного французского писателя и публициста, члена Французской академии, председателя Французского комитета по проведению Толстовских торжеств 1960 г.

Признанный мастер беллетризованных биографий писателей и общественных деятелей, Моруа создал в этом жанре ряд богато документированных и увлекательно написанных произведений (о Байроне, Шелли, Шатобриане, Жорж Санд, Гюго, Гете, Тургеневе, Дизраэли, Дюма и др.). Его романы «Семейный круг» (1932), «Сентябрьские розы» (1957) и другие рисуют нравы буржуазной среды. Моруа является также автором нескольких сборников новелл: «Невозможные миры» (1947), «Обед под каштанами» (1951), «Для одного рояля» (1960).

Литературовед, историк и социолог, Моруа посвятил ряд исследований творчеству французских, английских и американских писателей XX в., а также истории Англии, США и экономике Франции.

К образу Толстого Моруа обращался неоднократно — во многих своих статьях, устных выступлениях, заметках; несколько статей написал он о Толстом осенью 1960 г. в связи с пятидесятилетней годовщиной со дня смерти Толстого. Одно из последних французских изданий «Войны и мира» вышло в свет с его предисловием.

Выступая на открытии памятника Толстому в Париже 5 июля 1954 г., Моруа напомнил об огромном влиянии писателя на французскую литературу и отметил, что сам испытал это влияние.

Моруа постоянно подчеркивает, что его эстетическое кредо сформировалось под воздействием Толстого. «Творчество Толстого оказало на меня огромное влияние,— писал он в 1960 г., отвечая на анкету Будапештской библиотеки им. Э. Сабо.— Я всегда

считал „Войну и мир“ и „Анну Каренину“ самыми прекрасными романами, вообще когда-либо написанными. Я пытался, в меру своих слабых сил, следовать беспристрастности толстовской правды». Здесь же Моруа заявил, что, кроме двух названных книг Толстого, он выше всего ценит «Крейцерову сонату» и «Смерть Ивана Ильича» («Tolsztoj Emlékkönyv». Budapest, 1962, o. 344—345).

Большую статью «Пятидесятилетняя годовщина Толстого» Моруа поместил в № 5 журнала «Revue de Paris» 1960 г.

«Я хорошо помню те дни 1910 года,— писал он в ней,— когда „несчетные народы“* в тревоге ждали известий, доходивших с маленькой русской станции, название которой — Астапово — до тех пор никому не было знакомо. Я был тогда молодым человеком, страстным читателем Толстого. Некоторых из его героев — князя Андрея, Пьера Безухова, Левина — я считал своими близкими друзьями, а самого Толстого — самым великим из живущих писателей. Как и миллионы других — русских, французов, американцев, англичан, немцев, — я был глубоко взволнован тем, что человек, которому мы обязаны многими из наших сладчайших радостей и лучших мыслей, доживает последние дни. Великие художники подчас столь же заботливо и тщательно отделывают свое бытие, как и свои произведения. Безошибочный инстинкт подсказал Толстому, какую законченность придаст его лицу это последнее отречение, этот уход от того, что он всегда осуждал. Не могло быть развязки более величественной, чем эта агония изнуренного пилигрима на крошечной станции Астапово.

Он был для нас не просто гениальным писателем. Над каждой эпохой господствует несколько свободных умов, которые она почитает и которые направляют ее мысли. Толстой был одним из этих маяков, как был им Виктор Гюго. Все способствовало этому: его внешний облик, это незабываемое измученное лицо — длинная борода пророка; эти серые, светлые, проницательные глаза; эта мужицкая рубаха, подпоясанная кожаным ремнем, под который он просовывал руки. Да, то был не просто знаменитейший романист всех времен, то был человек, человек очень крупный, не способный, в отличие от большинства людей, покорно принимать жизнь такой, какая она есть,— человек, до последнего вздоха не прекращавший поиски того, как нужно жить, чтобы достичь, наконец, мира с самим собой...

Над историей человеческого духа господствует несколько вершин: Гомер, Платон, Данте, Шекспир, Гюго, Бальзак, Толстой. Среди этих гигантов Толстой выделяется своей грозной ясностью ума ⟨...⟩

Удивительно, что подобный ясный ум сформировался в обстоятельствах, на первый взгляд, неблагоприятных. Такова особенность гения — в самих своих слабостях он черпает неодолимые силы.

Есть ли необходимость говорить о персонажах „Войны и мира“? Мы знаем Ростовых лучше, чем самых близких своих друзей; мы все обожали Наташу; мы все любили князя Андрея; лежа рядом с ним на поле боя, мы глядели вместе с умирающим в небо, где тихо ползли серые облака⟨...⟩ Вместе с Пьером Безуховым мы открыли другое явление природы: доброту русского крестьянина, воплощенного в Платоне Каратаеве, человеке из народа, нравственно возвышающемся над Ростовыми, над Болконскими...» (Перевод Л. А. Зониной).

Говоря об эстетике и творческом методе Толстого, Моруа обычно выдвигает на первый план полноту, естественность и правдивость толстовского реализма: «Бальзак по-своему тоже велик, но Бальзак несколько искажает и почти всегда приукрашивает действительность. Толстой рисует именно то, что видит, рисует с удивительной свежестью и беспощадной суровостью»,— писал он в статье «Мой герой — это правда», напечатанной в журнале «Europe», 1960, № 379-380, p. 3.

Многочисленные высказывания Моруа о Толстом свидетельствуют о могучей роли русского писателя в идейном формировании целых поколений западных деятелей культуры.

М. Н. Вакс махер

---

* Из стихотворения В. Гюго «Наполеон II». — *Ред.*

ЖОЗЕ МАРИЯ ФЕРРЕЙРА ДЕ КАСТРО

ТОЛСТОЙ

Если я вам скажу, что Лев Толстой был гениальным писателем, формировавшим души моральной силой, влияние которой распространилось на весь мир, то я повторю уже устаревшее, избитое выражение. Однако неоспоримо, что избитыми становятся лишь те выражения, которые однажды явились настоящим синтезом истины. И тот факт, что они продолжают жить с неизменным постоянством мемориальных плит, означает, что эта истина продолжает существовать и теперь.

Моя литературная встреча с Толстым произошла, когда моя личность уже сформировалась, когда у меня сложилось определенное мировоззрение, идеи о людях. Я не могу, однако, забыть ту радость, ту безмятежность, даже гордость, которые я почувствовал, увидев, что между нами есть много общего. Я пришел к тем же чувствам всеобщего братства, любви к человечеству и социальной справедливости, но по дорогам, отличавшимся от его путей: я пришел к этому через все невзгоды, все голодные дни, которые я перенес в детстве и отрочестве и которые, как я видел, испытывают рядом со мной и другие; я пришел после того как понял, что человек меньше ответствен за различные свои поступки, чем это кажется в действительности. Я жил прекрасной, воодушевляющей надеждой, которую многие не разделяли; надеждой, вызывавшей больше скептицизма, чем согласия, даже у тех, кто выиграл бы от ее осуществле-



EL HERMANO SERGIO

I

HACIA la década de los años 40, se registró en Petersburgo un suceso que pasmó a todo mundo; el comandante del regimiento de los coraceros del emperador, el bello príncipe a quien todos predecían que sería el ayuda de campo del emperador Nicolás I, y que la carrera más brillante le esperaba al lado de Su Majestad, un mes antes de la fecha fijada para su matrimonio con una dama de honor, joven de notable belleza y que gozaba del particular favor de la emperatriz, presentó su dimisión, rompió con su prometida, donó su pequeña propiedad a su hermana, y se retiró al convento con ánimo de hacerse monje.

Este suceso parecería extraordinario, inexplica-

291

«ОТЕЦ СЕРГИЙ». ИЛЛЮСТРАЦИЯ НЕИЗВЕСТНОГО МЕКСИКАНСКОГО ХУДОЖНИКА

Из книги: L. Tolstoi. Cuentos Escogidos. Mexico, 1923

ния. Ведь творчество Толстого, благодаря гениальности, которой оно проникнуто, представлялось доводом в мою пользу, и оно как бы узаконивало многие из моих чаяний, придавая им больше силы. С того времени, уже такого далекого, я никогда больше не читал Толстого, но я совершенно убежден, что, сделай я это снова, я ощутил бы тот же интерес, как и некогда, ибо он принадлежит к категории бессмертных. Даже когда окончательно преобразится тот социальный мир, который он бичует на страницах своих произведений, его творчество все еще будет составлять драгоценный документ долгой, мрачной эпохи рабства, которому человечество нашего времени стремится теперь положить конец.

Ясно, что между литературным миром Толстого и моим существуют глубокие различия, но не по причинам пространства, эпохи и эстетических процессов, а главным образом в метафизической области, если так можно выразиться, поскольку я не религиозный человек. Однако среди основных элементов еще остаются многие узы, которые нас связывают.

Что же касается всемирного влияния Толстого, то мы не можем оценить его столь же уверенно, как влияние Руссо на Французскую революцию; не можем потому, что после автора «Общественного договора» не только один, но многие писатели усвоили новое эволюционное мировоззрение, трудясь во имя того, чтобы среди людей было больше справедливости и установилась коллективная мораль, отличающаяся от той, которая царила вокруг него. Однако роль, которую сыграл Толстой в эволюции чувств и идей, была, вне всякого сомнения, очень обширной и глубокой. Такая, как у него, моральная сила, однажды разбушевавшись, никогда не останется в одиночестве. Сам международный успех его книг подтверждает это в весьма убедительной форме. Писатель, обладающий таким величием, такой силой убедительности и такими благородными принципами, какими обладал Толстой, не проходит сквозь душу читателей, не оставив у многих из них неизгладимых следов.

Печатается по фотокопии с автографа, предоставленной редакции «Лит. наследства» Будапештской библиотекой им. Э. Сабо. Впервые опубликовано (на венгерском языке) в кн.: «Tolsztoj Emlékkönyv». Budapest, 1962, o. 452. Перевод с португальского Г. А. Калугина.

Жозе Мария Феррейра *де Кастро* (*ди Каштру*, р. 1898) — прогрессивный португальский писатель, автор многочисленных романов, пользующихся широкой известностью, особенно в Португалии и Латинской Америке. Его роман «Шерсть и снег» (1947) переведен на русский язык.

В своем творчестве Феррейра де Кастро следует реалистическим традициям замечательного португальского писателя Эсы де Кейроша, «призывавшего не только правдиво отображать действительность, но и содействовать ее изменению к лучшему» (см. «Шерсть и снег». М., 1959, стр. 5—7).

В публикуемой выше заметке писатель упоминает о своем тяжелом детстве, содействовавшем выработке в нем с ранних лет стремления к социальной справедливости и всеобщему братству. Де Кастро родился в бедной крестьянской семье и уже в двенадцатилетнем возрасте был вынужден эмигрировать из Португалии в Бразилию, где он провел много лет в скитаниях, работая по найму и подвергаясь безжалостной эксплуатации (эти годы описаны в его известном романе «Селва»). Только в 1919 г. Феррейро де Кастро удалось возвратиться в Португалию.

Писатель особенно подчеркивает общность своих социальных воззрений с воззрениями Толстого, но в то же время считает необходимым отметить, что религиозные искания Толстого ему остались совершенно чужды.

Л. Л. Николаев

ТОЙН ДЕ ФРИС

О ТОЛСТОМ

Я научился понимать и ценить Льва Толстого уже тогда, когда мое мировоззрение сформировалось и были творчески осознаны первые литературные влияния. Но на писателя можно оказывать воздействие даже если он входит в зрелый возраст. И я испытал на себе «глубинное» влияние не только художественной формы произведений Льва Николаевича Толстого, но и самой сущности его творчества. Живая жизнь в ее чувственных проявлениях, моральное здоровье, характеры, изображенные Толстым с такой чистотой, таким прозрачным языком, с такой могучей силой очарования, что начинаешь понимать: вот где вершина мастерства, начинаешь стремиться к тому, чтобы подняться на такую же высоту. Но, разумеется, при всем желании, никто не может сравниться с Толстым, в особенности в наше время, которое порождает скорее пигмеев, чем титанов.

Особенно большое впечатление произвела на меня драма «Власть тьмы», повести «Смерть Ивана Ильича» и «Холстомер», а из позднейших романов — «Анна Каренина» и «Хаджи-Мурат». Но больше всего захватывает меня всегда роман «Война и мир». Он неповторим. В 1930-х годах один голландский писатель старшего поколения говорил: «Если бы господь-бог захотел написать роман, он не мог бы этого сделать, не взяв за образец „Войну и мир“». Сам Толстой называл свой роман «гомеровским». Бог или Гомер — не все ли равно, когда речь идет об этой книге! Главное, что она существует. В ней заключен целый мир, и тот, кому



«ВОЙНА И МИР». ИЛЛЮСТРАЦИЯ ГОЛЛАНДСКОГО ХУДОЖНИКА ААРТА ДОББЕНБУРГА
Федосьюшка. Литография. 1949
Музей Толстого, Москва

выпало счастье войти в этот мир один раз, два, десять раз,— тот пережил множество человеческих жизней, научился понимать жизнеутверждающую сущность человека, научился его любить и ценить как меру и основу всего, что свершается на нашей планете.

Печатается по фотокопии с автографа, предоставленной редакции «Лит. наследства» Будапештской библиотекой им. Э. Сабо. Впервые опубликовано (на венгерском языке) в книге: «Tolsztoj Emlékkönyv». Budapest, 1962, o. 400.— Перевод с немецкого И. В. Волевич.

Тойн *де Фрис* (р. 1907) — известный современный голландский писатель-коммунист. Свою творческую работу он сочетает с большой политической деятельностью в ЦК Коммунистической партии Нидерландов.

Творчество де Фриса — примечательное явление в литературной жизни Нидерландов. Голландская литература 1920—1930-х годов носила преимущественно эстетический характер. Поборники искусства для искусства провозглашали принцип «европеизации» голландской литературы, призывали отказаться от изображения социальной действительности. С другой стороны, немногие голландские прозаики, искренне стремившиеся остаться «верными» реалистическим традициям прошлого века, понимали реализм чрезвычайно ограниченно, разменивая его на бытописательство, натуралистическое воспроизведение деталей. Де Фрис последовательно боролся и борется за подлинно реалистическое искусство глубокого социального анализа. В его лице голландская буржуазия встретила беспощадного обличителя собственнических устоев современного капиталистического общества.

По собственному признанию де Фриса, он обязан формированием своего революционного мировоззрения и реализмом своего творчества двум факторам: упорной антифашистской борьбе передовой части человечества и знакомству с русской литературой и советским искусством.

Влияние Толстого сказалось на грандиозном плане многотомной социальной эпопеи де Фриса «Фуга времени» («Анна Каспари», 1952; «Пан среди людей», 1954; «Свадебная песня для Сваантье», 1956; «Февраль», 1961); в этих романах, реалистически воспроизводящих социальную жизнь различных слоев голландского общества на протяжении более чем полувека, проявилось тяготение писателя к монументальным полотнам, его стремление рассматривать судьбы отдельных людей в органическом слиянии с историческими судьбами всей нации в целом. Именно у Толстого учился де Фрис показывать жизнь народа в поступательном движении, изображать героями своих произведений людей, чистых помыслами, цельных, обладающих богатым внутренним миром.

С особой силой проявилось влияние Толстого, его «Войны и мира», в романе «Февраль» (1961). Это трехтомная эпопея, посвященная всеобщей стачке амстердамских трудящихся в феврале 1941 г. в знак протеста против террора немецких оккупантов. В духе творческой манеры Толстого де Фрис расположил вокруг исторического события судьбы многих персонажей, очень типичных и ярко индивидуализированных. В эпическую ткань романа входят и элементы драмы: выразительные эпизоды, рисующие моменты уличных демонстраций, кровавых столкновений с армией оккупантов, пытки рабочих в гестапо и т. п. Искусным композиционным приемом голландский писатель добился такой расстановки основных сил, что читатель получает полное представление о героическом подъеме народных масс в момент национальной катастрофы.

Роман «Февраль», пронизанный революционным пафосом, большим человеколюбием, ненавистью ко всему отжившему, мешающему счастью людей, красноречиво подтверждает тот несомненный факт, что творения русского писателя оказывают благотворное влияние на произведения социалистического реализма современной зарубежной литературы.

И. В. Волевич

АННА ЗЕГЕРС

ТОЛСТОЙ С РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

На разных этапах жизни — я имею в виду не возраст, а обстоятельства — одни и те же люди читают Толстого совершенно по-разному. Те или другие стороны его творчества производят на людей, в зависимости от условий, в которых они находятся, различное впечатление.

Но сказанное об отдельном человеке, отдельной личности в известной степени относится и к народам,— к окружающей политической обстановке, которая может повышать или снижать их способность восприятия. Этим, например, можно объяснить некоторое возрождение в наши дни интереса к Толстому на Западе, в частности в Федеративной Республике Германии.

Почему один и тот же человек сообразно своему положению, меняющемуся с возрастом и общественно-политическими условиями, воспринимает Толстого всякий раз по-иному, предпочитая одни страницы его произведений и не замечая других, словно они и не были напечатаны,— об этом можно судить отчасти по собственному опыту.

Когда мы начинали читать Толстого, и раньше всего «Анну Каренину», мы были очень молоды. Сами еще не испытавшие любви, мы, прочитав эту книгу, влюбились в любовь, в любовь Анны к Вронскому. Сильная естественная красота Анны, появляющейся в бальном платье,— для нас столь же неожиданном, как и для Кити,— ошеломила нас.



«ХАДЖИ МУРАТ». ИЛЛЮСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО ХУДОЖНИКА ОТТОМАРА ШТАРКЕ
Из книги: Leo Tolstoi. Hadschi Murat. Frankfurt-am-Main, 1924



«ХАДЖИ МУРАТ». ИЛЛЮСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО ХУДОЖНИКА ОТТОМАРА ШТАРКЕ
Из книги: Leo Tolstoi. Hadschi Murat. Frankfurt-am-Main, 1924

Впрочем, подобно читателям времен Толстого, и мы часто пропускали страницы, посвященные Кити — Левину; для нас, новичков в чтении романов, была непривычной двуплановость в развитии действия.

В омраченности этой страсти, в некоторой — разумеется, лишь в некоторой — мере классово обусловленной, мы предчувствовали угрозу и для страстной любви вообще. (Благодаря силе и проницательности писателя роман вскрывает классовую обусловленность этой угрозы, показывает любовь разбивающеюся о законы того класса, к которому принадлежат любовники.)

Позднее, когда нас самих бурно захватила личная и политическая жизнь, в пору наступающей зрелости, учения, сомнений и раздумий, мы не раз откладывали в сторону эту книгу. Что-то утешительное мы, пожалуй, находили в «народных рассказах». Не в их религиозных тенденциях, а прежде всего в их безыскусной, человечной красоте, ибо подлинная безыскусная красота всегда человечна, всегда утешительна. Об этом часто забывают. К концу студенческих лет мы познакомились с поздними повестями — «Хаджи Муратом» и «Смертью Ивана Ильича». Быть может, они потому так захватили нас, что необъяснимый процесс *жизнь—смерть* силой искусства был здесь преодолен.

А в нас еще ничто не было преодолено. К величайшему своему изумлению, мы, дерзкие и озорные в обыденной жизни, с невыразимым почтением следили за тем, как в этих двух небольших повестях великий художник владычествует над жизнью и смертью. У него не бывает срывов. И в повестях нет срывов. Каждая строка плотно пригнана одна к другой.

«Войну и мир» я впервые поняла по-настоящему, должна сознаться, лишь в эмиграции. Мы многое пережили и в политическом отношении и

в личном. Сперва меня стесняло в романе его начало, оно и позже казалось мне неуклюжим для такой гигантской книги, захватывающей читателя в исполинские тиски. Бесконечные разговоры в салонах. Тогда они не слишком нас интересовали. Нашему пониманию в то время мешало еще и другое: отрицательная оценка Наполеона. Как известно, в Рейнской области — на моей родине — Наполеон выступал в роли освободителя.

В годы гитлеризма я поняла, что́ представляло собой такое явление, как Наполеон. В тяжелое, часто лично для меня опасное время, когда гитлеровская армия оккупировала Францию, во всем этом хаосе и смятенье, в заброшенности и беспомощности я испытывала глубокую потребность в классической, невыразимо целительной прозе Толстого.

В обстановке, казавшейся иной раз безвыходной, мы читали строгие классические строки — донесение Кутузову об оставлении Наполеоном Москвы. Необыкновенно простое, но постепенно нарастающее изложение событий, начиная от прибытия курьера до реакции старого Кутузова на привезенное известие обладало огромной притягательной силой. Однако дело было не в исторической аналогии, не в надежде на такой же поворот событий. Гораздо непосредственнее, можно сказать, гораздо эгоистичнее — как целебное лекарство, прописанное гениальным врачом — действовали на наши утомленные, преисполненные страхом сердца ясная чистота, несокрушимая, предельно выразительная сила изображения. Тут было все: ненависть к громкой фразе, к недостойной алчности и к бессмысленной шумихе.

Позднее, на другом континенте, мы находили в книгах Толстого нечто незаменимо европейское. Но ни в коем случае только русское. Описанные страдания и радости, личные и исторические проблемы — все это казалось нам возможным лишь на родном континенте. Раньше мы этого никогда так ясно не сознавали.

Но бывали и такие жизненные ситуации, когда Толстой ничем не мог мне помочь. Книги других авторов помогали мне больше. Толстой сам объясняет причину этого. Он сам в одном из набросков вступления к «Войне и миру» рассказывает, чего в этом романе нет. Он сам перечисляет стороны жизни и вопросы, которые недостаточно знал, чтобы писать о них. Тот, кого интересуют именно эти стороны, эти вопросы, напрасно будет искать их в произведениях Толстого.

Вместе с тем Толстой опередил свое время, у него есть художественные достижения, открытия, сыгравшие свою роль в литературе значительно позже. Сцена в «Анне Карениной», где автор подготавливает Анну к смерти, напоминает Пруста: когда Анна едет на вокзал, окружающий мир распадается в ее сознании на отдельные разрозненные впечатления.

У Толстого такой распад на отдельные впечатления — это расщепленное восприятие больного человека. У Пруста оно становится характерным для изображения целого класса.

Не удивительно, что молодых людей в Западной Германии, как и всех молодых людей, ищущих ясности в современности и в прошлом, влечет к себе четкое, лишенное выспренности и вместе с тем вскрывающее самую сущность вещей, образное слово Толстого.

Недавно я прочла диссертацию одного западногерманского студента о подготовительной работе Толстого к «Войне и миру». Американская экранизация «Войны и мира» делает слишком большой упор на кинотехнику, цветную фотографию и т. д., для чего роман бесспорно дает достаточно возможностей; авторов, главным образом, интересует teen-ager*

* подросток (англ.). — *Ред.*

Наташа. Великолепные находки имеются, по моему мнению, в постановке романа Пискатором. Действие протекает здесь на трехступенчатой сценической площадке, где одна ступень предназначается для изображения повседневной жизни, другая — для игры отдельных персонажей и самая верхняя — для персонажей мировой истории. Когда Наполеон спускается с верхней ступени и начинает расставлять на поле битвы оловянных солдатиков, он напоминает Гулливера среди лилипутов. В то же время он кажется одержимым манией величия, своего рода культом собственной личности.

Однако следует указать, что все три упомянутых истолкователя Толстого — и студент в своей диссертации, и Пискатор в своей постановке, и американцы в своем фильме — обратились к нему не случайно, а исходя из подлинной душевной потребности, из искренних побуждений. Они зачарованы все тем же феноменом, который, покуда люди не перестанут читать книги, будет показывать им, что́ такое подлинное искусство.

Перефразируя одно известное выражение, можно сказать: «В доме писателя этого обителей много»*.— Вот почему люди с различными духовными потребностями находят там кров и приют.

Статья «Tolstoi aus verschiedenen Aspekten» написана для настоящего тома «Литературного наследства». Публикуется впервые. — Перевод с немецкого Л. П. Л е ж н е в о й.

На протяжении всей своей творческой жизни известная немецкая писательница Анна *Зегерс* (р. 1900) проявляет исключительный интерес к наследию Толстого, которое она тщательно и серьезно изучает и влияние которого испытывает на себе. Некоторые наиболее характерные принципы реалистического искусства Толстого оказались для Зегерс особенно притягательными. Вслед за Толстым она изображает большие политические события истории своей родины, мужественную и трагическую борьбу лучших представителей немецкого народа в их «обыкновенности», без ложного пафоса, без какого бы то ни было стремления к героизации действительности. Героическое трактуется ею как естественное, органическое начало, присущее народу. Как и Толстой, она стремится показывать самые значительные события через восприятие рядовых людей. Именно так в ее романах «Седьмой крест» и «Мертвые остаются молодыми» раскрывается жизнь Германии в период фашизма, процессы, происходящие в немецкой действительности и в сознании народа, благодаря чему их общественно-критическое содержание приобретает большую силу. В характеристике своих героев, в изображении внутренней жизни Зегерс исходит во многом от толстовского психологизма, от его «диалектики души». Преемственная связь Зегерс с Толстым сказалась также в созданных ею после войны двух циклах: «Мир» и «Первый шаг». Как и ее великий предшественник, она в жанре притчи, сказа, в предельно лаконичной форме стремилась отобразить обновленное сознание демократических слоев немецкого народа, порвавшего со своим фашистским прошлым. Разумеется, народные рассказы Зегерс свободны от характерных для Толстого морально-религиозных тенденций. Искусство немецкой писательницы формировалось как в следовании традициям Толстого, так и в полемике с ним. Нельзя не отметить также несомненную связь между антинаполеоновской темой в «Карибских рассказах» Зегерс с трактовкой Наполеона I в «Войне и мире».

Первое известное нам высказывание Зегерс о Толстом относится к 1939 г., когда она в споре с Г. Лукачем по проблемам реализма ссылалась на пример Толстого как художника, который в своем творчестве неизменно исходил из законов, диктуемых самой действительностью (см. Georg L u k a c s. Essay über Realismus. Berlin, 1948, S. 171—202).

В 1942 г., находясь в эмиграции (в Мексике), Зегерс опубликовала статью «Земное наследие Толстого», в которой не только выразила протест против преступления, совершенного фашистскими варварами в родовом имении Толстого, но и подробно оста-

* Ср. Евангелие от Иоанна, гл. 14, стих 2. — *Ред.*

новилась на значении Ясной Поляны в его жизненной и писательской судьбе и высказала ряд интересных мыслей о его творчестве («Freies Deutschland», 1942, № 5). Она подчеркнула, что ей особенно близка и дорога та революционная взрывчатая общественная сила, которой проникнуто наследие этого «пацифиста и христианина», и высказала убеждение, что он «своим словом зажег больше огня, сдвинул большее число людей с насиженных мест, даже чем война». Уже в этой статье проявился особый интерес Зегерс к роману «Война и мир», охарактеризованному ею как «величайший эпос», «книга о всенародной борьбе», «роман русского поколения, уничтожившего Наполеона». Она рассматривала «Войну и мир» как произведение, особенно актуально звучавшее в годы Великой Отечественной войны, когда народы сражались против фашистских захватчиков, новых претендентов на мировое господство.

Непосредственно этой теме посвящена и другая ее статья — «Наполеоновская идеология власти в произведениях Толстого и Достоевского» («Neue Gesellschaft», 1948, № 3, S. 15—18).

О неустанных размышлениях писательницы над тем, что «является для нее наиболее важным и ценным в художественном наследии Толстого», свидетельствует записанная в 1952 г. Т. Л. Мотылевой беседа с нею (см. Т. Л. Мотылева. О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957, стр. 621—622).

В 1953 г., в связи со стодвадцатипятилетием со дня рождения Толстого, Зегерс опубликовала статью «Толстой», явившуюся в известной мере итогом длительного изучения художественных творений ее любимого писателя («Sinn and Form», 1953, № 5, S. 40—49). В этой статье она стремилась к большей полноте анализа, к серьезным обобщениям. В поле ее зрения весь творческий и жизненный путь писателя. Она вновь подчеркивает здесь, что Толстой — «выразитель своего времени», художник, овладевший «огромной темой освободительной борьбы народа». Она писала, что ей «дорог язык Толстого — язык борца за мир», язык «художника классического реализма».

В феврале 1954 г. Зегерс приехала в Москву со специальной целью, о которой она рассказала в своем интервью «О написанном и задуманном», данном ею советскому корреспонденту («Литературная газета», 25 февраля 1954 г.). «В Москву я приехала,— заявила она,— чтобы познакомиться с материалами о работе Льва Толстого над своими произведениями (...) Здесь, в Москве, в Музее и в архиве Толстого, мне хочется уяснить, насколько это будет возможно за сравнительно короткий срок, как сложился у Толстого самый замысел „Войны и мира". Уже первые дни работы показали, как много интересного может почерпнуть в ней писатель, заглянув хотя бы немного в творческую лабораторию Толстого, увидев, как он работал, от чего отказывался, что совершенствовал и развивал...». Итогом экскурса в сокровища толстовского архива явилось ее письмо, адресованное бразильскому писателю-коммунисту Ж. Амаду и названное Зегерс «Письмо друзьям на Западе о поездке в Советский Союз» (напечатано в «Tägliche Rundschau» 29.V 1954. Русский перевод опубликован в сборнике «Лев Толстой. Материалы и публикации». Тула, 1958, стр. 210—219).

В 1963 г. вышла книга Зегерс «О Толстом. О Достоевском» (Anna Seghers. Über Tolstoi. Über Dostojewski. Berlin), куда вошли все три ее названные выше статьи.

Публикуемая заметка, написанная в том же 1963 г. специально для настоящего тома «Литературного наследства», тесно связана с предыдущими работами Зегерс, посвященными Толстому. В рассуждениях об «Анне Карениной» и «Войне и мире» мы находим отголоски ее прежних выводов и мыслей. Но теперь главное для Зегерс — выяснение места Толстого в ее собственной биографии и в духовной жизни современного человека.

С. А. Розанова

ТОЛСТОВСКИЕ ДНИ 1960 ГОДА В МОСКВЕ

I. ГОЛОСА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ

1

РЕЧИ НА НАУЧНОЙ СЕССИИ ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА АН СССР И ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО АН СССР, 14—15 ноября 1960 г.

ВЫСТУПЛЕНИЯ А. ВИКСТЕНА, Я. ДРДА, Г. КАРАСЛАВОВА, А. КЕТТЛА, К. КРИПАЛАНИ, Э. ЛО ГАТТО, НАКАМУРА ХАКУЁ, М. САБОЛЬЧИ, Ч. П. СНОУ, В. ХЕРЦФЕЛЬДЕ, Ш. С. ЧАУХАНА и Ч. ЧИМИДА

АРНОЛЬД КЕТТЛ

Английский критик и литературовед, автор известной биографии К. Маркса (р. 1916)

Присутствовать на торжественных заседаниях, посвященных пятидесятилетию со дня смерти Толстого,— большая честь, и мне хочется выразить благодарность тем, кто меня сюда пригласил. Я знаю, что выражу мнение десятков тысяч поклонников Толстого в Англии, если скажу, что нет другого писателя, отношение к которому в столь равной мере складывалось бы из восхищения и любви; это Шекспир среди романистов.

Мы, англичане, гордимся тем, что именно в нашей стране в XVIII веке получил свое развитие роман — эпический литературный жанр нового времени. Дефо, Ричардсон и Филдинг расширили рамки романа, углубили его человечность, а увенчал их достижения Диккенс, величайший гений в области английского романа, чье творчество народно в самом полном смысле этого слова, потому что он писал не с позиций правящей кучки, а с позиций народных масс. «Моя вера в людей, которые правят, ничтожна,— сказал Диккенс в конце своей жизни.— Моя вера в народ, которым правят, безгранична».

Но после Диккенса английские романисты почти не развивали этой великой народной традиции. Дальнейшее развитие реалистической традиции в романе мы находим в русской литературе, и в первую очередь в творчестве Толстого. Почему это так? Прежде всего, думается, потому, что в Англии после краха чартизма в 1848 году не возникло ни одного большого народно-демократического движения, которое отражало бы чаяния народных масс и к которому мог бы полностью присоединиться

большой художник. Английские романисты после Диккенса все больше и больше отгораживались от народа.

Толстой же не отгораживался от своего народа. Классовые корни у него иные, чем у Диккенса, и ни как человек, ни как писатель он на Диккенса не похож, кроме как в одном, очень важном отношении: он был простой человек. При всей сложности его характера, при всей широте интеллектуального кругозора и огромной осведомленности в философии и литературе своего времени, о чем свидетельствует хотя бы его яснополянская библиотека,— это был простой человек. Чувства его были необычайно цельными. В нем не было ничего от психологии избранных, ни капли той классовой исключительности, социальной или интеллектуальной, которая так часто снижает ценность современной литературы. И потому, что он смотрел на мир не *сверху*, с позиций правящего класса, и не *извне*, как интеллигент, тешащий себя мыслью, что может остаться над схваткой, но *снизу*, по преимуществу, с позиций крестьянства, его человечность действенна и всеобъемлюща. Он умеет смотреть на самые страшные и постыдные стороны жизни, не убегая от них, но и не упиваясь ими; и он умеет смотреть на героизм человека, не идеализируя его и не впадая в чувствительность. Искусство его велико потому, что оно широкое, здоровое, уравновешенное. Ни один роман в мировой литературе не сравнится по эпическому размаху с «Войной и миром». Ни в одном романе того времени беспощадный анализ и глубоко человечное сострадание не слиты воедино так волнующе и благородно, как в «Анне Карениной».

Мне кажется, что главное в поразительном таланте Толстого — это его умение найти в искусстве точку зрения, подлинно народную в своей основе. От всего сердца я присоединяю свой смиренный голос к хору голосов, которые здесь поют ему хвалу.

Перевод с английского М. Ф. Лорие.

НАКАМУРА ХАКУЁ

Японский писатель, переводчик собрания сочинений Толстого (р. 1891)

Прежде всего, я прошу извинить меня за то, что я буду обращаться к вам по-японски, хоть я и изучал русский язык.

Пятьдесят лет назад, когда умер Лев Толстой, я, двадцатилетний юноша, был студентом Токийского института иностранных языков, где изучал русский язык. С тех пор вся моя жизнь не только в духовном, но, если можно так выразиться, и в материальном отношении была посвящена служению Толстому. Это служение окрасило всю мою жизнь, и для меня большая честь, что я смог сейчас приехать на юбилей Толстого в Москву.

Наследие Толстого — достояние всего человечества. Сейчас почти нет людей, которые бы не знали этого великого имени. Об этом уже достаточно говорили те, кто выступал до меня.

Поэтому позвольте мне сказать несколько слов о моей родине, Японии, и обо мне самом в связи с именем Толстого.

Впервые о Толстом в Японии узнали давно, семьдесят лет назад, когда был переведен на японский язык, еще далеко не совершенно, отрывок из «Войны и мира». Но в то время в Японии еще не существовала литература в нынешнем понимании этого слова, и поэтому опубликованный небольшой отрывок из «Войны и мира» прошел почти незамеченным.

По-настоящему, основательно творчество Толстого стало достоянием

японских читателей приблизительно пятьдесят лет назад, когда я был студентом, но, к сожалению, это было уже тогда, когда Толстой умер, умер глубоким стариком, каким являюсь сейчас я.

У многих японцев в сознании запечатлелся облик Толстого с седой бородой, как будто он уже сразу появился таким на свет; они мыслил и себе личность Толстого как личность, стоящую где-то высоко, неизмеримо более высоко, чем простые люди. Людям представлялось раньше, что у Толстого не было ни детства, ни юности, что он всегда был старым и мудрым.

Толстой до некоторой степени обожествляется японцами как личность, значительно превосходящая простых людей. Это происходит потому, что они узнали о нем тогда, когда слава его достигла зенита.

Я думаю, что такое явление может иметь место в любой стране, но в Японии в особенности есть тенденция обожествлять людей выдающихся, великих, представлять себе их чем-то вроде кумира.

Однако в настоящее время, когда прошло уже пятьдесят лет со дня смерти Толстого, японцы научились видеть в Толстом человека. Я не буду говорить от имени всех девяноста миллионов японцев, но все-таки, поскольку я сам принадлежу к этому народу, я думаю, что не ошибусь, если выражу такое мнение: мы научились у Толстого отношению к искусству, отношению к жизни.

Мы разделяем общее для всего мира мнение о том, что Толстой как художник стоит выше, чем Толстой-мыслитель.

Чем же так привлекательно прекрасное искусство Льва Толстого? Об этом можно много говорить, и вопрос этот представляется очень интересным, но я позволю себе привести здесь только один небольшой пример. В Японии есть писатель по имени Сига Наоя. Это писатель, которого в Японии даже называют божеством художественной литературы, таким успехом пользуется он у читателей. Сига Наоя не был знаком с творчеством Льва Толстого и, будучи уже знаменитым, маститым писателем, только десять лет назад прочел роман Льва Толстого «Анна Каренина», который перевел на японский язык я и который я сам ему послал. Прочитав роман, Сига Наоя сказал мне следующее:

«Мне кажется, хорошо, что я прочитал „Анну Каренину“ впервые только сейчас, потому что если бы я прочитал этот роман до того, как написал свой роман „Дороги во мраке“, я наверное неспособен был бы взяться за перо вообще, потому что в Толстом я нашел все то, что должно быть в литературе.

Так, например, если Толстой описывает течение реки, то он показывает нам все мельчайшие разветвления этой реки, все мельчайшие поры, куда проникает вода».

Мне кажется, эти слова, сказанные писателем — мастером стиля, лучше других могут подтвердить, как велико воздействие Толстого-художника.

А что касается нашего отношения к жизни, то среди людей, учивших и показывавших нам пути к жизни, указывавших, как нужно жить, были многие выдающиеся личности, и Толстой, разумеется, принадлежит к их числу.

Вы видите, что этот мир полон разнообразия, полон разных животных, разных птиц. Если смотреть поверхностно, то мы, люди, в конце концов, живем тоже отчасти жизнью животных. Толстой говорил, что человека делает человеком сознание и что жить нужно сознательно...

Сам Толстой до конца своей жизни подавал пример того, как нужно жить и как нужно искать путь в жизни.

Это был великий человек, известный всему миру. Но он не думал об этом, он чувствовал себя всегда простым, рядовым человеком, и в этом

его величие. И вот только в этом плане я полагаю, что имя Толстого может стоять в ряду таких людей, как китайский мудрец Конфуций, Будда или Христос. О них мы знаем из легенд и преданий, но о Толстом мы знаем то, что он сам писал о себе.

Во всяком случае, можно сказать, что нет человека на свете, который не знал бы его имени. Были и другие люди, столь же, может быть, великие, как Толстой, но величие Толстого заключается в том, что он обладал способностью выражать свой духовный мир, и в этой силе, в этом умении выразить свой духовный мир Толстой не имеет себе равных.

Авторизованный перевод с японского М. Л. Иоффе.

ВИЛАНД ХЕРЦФЕЛЬДЕ

Немецкий литературовед (ГДР), в 1917—1933 гг. руководитель крупнейшей книгоиздательской фирмы «Malik-Verlag», издававшей произведения Толстого (р. 1896)

Многоуважаемые гости, дорогие товарищи!

Толстовский комитет Германской Демократической Республики дал мне почетное задание передать Юбилейному комитету Толстого в СССР приветственный адрес, подписанный председателем нашего комитета Анной Зегерс, и некоторые книги Толстого и о Толстом, которые были опубликованы у нас в последнее время.

Уважаемые друзья!

Один из крупнейших и замечательных представителей мировой литературы, Лев Толстой, был близок культурным людям Германии и, несмотря на годы гитлеровского господства, остался им близок. С 1890-х годов, когда в Германии была поставлена пьеса «Власть тьмы», имя Толстого до некоторой степени стало уже известным и немецким трудящимся.



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ ТОЛСТОГО НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (МЮНХЕН, 1925)

Художник Карл Рёссинг

Титульный лист



«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» («КОВШ»). ИЛЛЮСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО ХУДОЖНИКА КАРЛА РЁССИНГА
Из книги: «Legenden von Leo N. Tolstoi». München, 1925

Но в течение долгого времени, почти тридцать пять лет, Толстого всё еще воспринимали только как святого чудака и религиозного моралиста. Лишь после того как в Германии было издано собрание сочинений Толстого, немецкие читатели смогли понять его значение как художника-реалиста, который, несмотря на свои религиозные, мистические заблуждения, беспощадной критикой уклада жизни царской России способствовал свержению самодержавия.

Произведения Толстого в течение последних десяти лет широко распространяются и популяризируются в Германской Демократической Республике. Наряду с многочисленными изданиями отдельных произведений Толстого, издательства «Aufbau», «Reklam», «Insel», «Rütten und Lening» в Берлине с 1952 года начали издавать полное собрание его сочинений. До настоящего времени вышло уже десять томов. В ближайшие годы собрание сочинений Толстого будет завершено изданием его писем и дневников.

Не только представители старшего поколения читают и уважают Толстого как великого романиста и рассказчика-художника, который служил примером нашим крупным писателям, начиная от Томаса Манна и Леонгарда Франка до Анны Зегерс,— произведения Толстого помогают молодому поколению понять и осознать те страшные условия жизни, в которых жил русский народ при царизме, и понять то, что в стране, где только в 1861 году было уничтожено крепостное право, произошло спустя пятьдесят лет, в стране, которая понесла знамя освобождения всего человечества от борьбы за существование и от страха войны.

И когда мы сегодня, собравшись здесь, обращаем свои чувства и мысли к памяти Толстого, мы верим, что Толстой одобрил бы такое собрание, потому что одновременно мы оказываем почести народу, всем народам мира, для которых Толстой был и остается примером любви к человеку, примером человеческого достоинства.

Перевод с немецкого В. И. Стриженского.

ЭТТОРЕ ЛО ГАТТО

Итальянский славист, автор многих книг по истории русской литературы, переводчик русских классиков (р. 1890)

Я не могу не выразить мои чувства любви, уважения, восторга к великому писателю земли русской, и я уверен, что это чувства всех итальянцев, которые читали Толстого. Мы знаем, какое место занимает Толстой в духовной жизни всех русских и всех людей во всем мире.

Я побывал первый раз в Москве в 1928 году на годовщине его рождения. Это было мое первое знакомство с Россией. Теперь я приехал опять — в годовщину смерти великого писателя, и надеюсь, что, несмотря на то, что я уже тогда был немолод,— не в последний раз.

Все итальянцы давно любят Толстого, а я — в течение сорока лет, что являюсь первым профессором русской литературы в университете в Италии, по мере своих сил содействовал развитию этой любви. Мне хотелось бы много говорить об авторе «Войны и мира», «Анны Карениной» и «Воскресения». Могу прибавить, что в Италии читают Толстого гораздо больше, чем принято думать, не только по-итальянски, но и по-русски. У нас тоже было много изданий книг Толстого. Я, к сожалению, не привез их с собой и собираюсь послать вам последние вышедшие у нас издания.

Конечно как гость Союза писателей я, может быть, слишком смело говорю о себе... Но я был приглашен не на годовщину Толстого. Я был приглашен в СССР, чтобы работать. Я только что, после двадцати лет работы, закончил книгу о Пушкине. Вы знаете, как Толстой относился к Пушкину, как Толстой любил Пушкина. Всю мою оставшуюся жизнь я хочу писать именно о нем. Во всех своих произведениях: «Война и мир», «Анна Каренина» и других, Толстой всегда творил, думая, как мне кажется, о судьбе героев. Он вникал в образы своих героев. Он так ясно обрисовывал их, что можно было легко представить себе всю их жизнь. Это большая лепта для всего человечества, которое должно всегда думать также о себе, но думать, как Толстой думал о себе, как думал он о своих героях.

Речь произнесена по-русски (экспромтом).

КРИШНА КРИПАЛАНИ

Секретарь Литературной академии Индии.
Был личным секретарем Рабиндраната Тагора
(р. 1911)

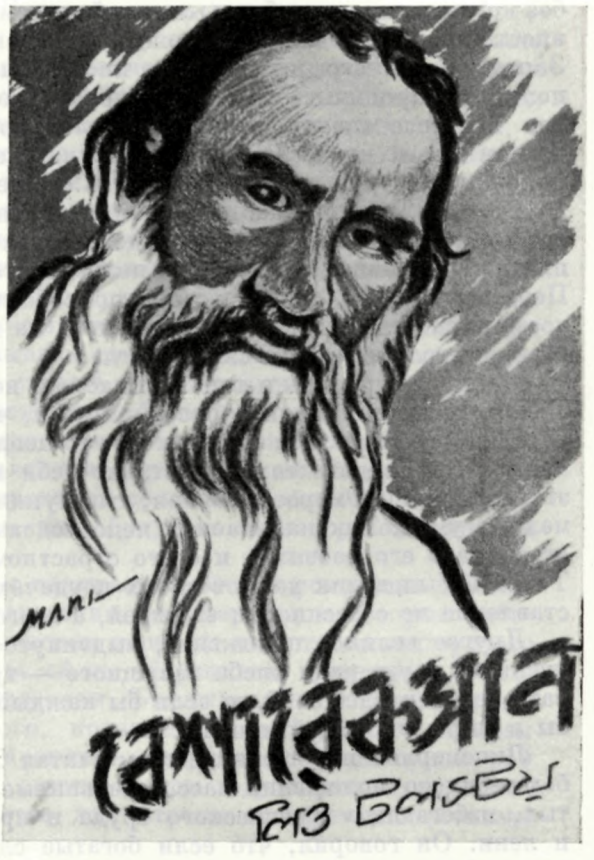
Друзья!

Это высокая честь для меня — находиться среди выдающихся людей, которые собрались в этом великом историческом городе. Эта честь кажется мне еще более высокой при мысли о том, что мы собрались здесь, чтобы почтить память великого писателя, величие которого, вчера принадлежавшее только вам, сегодня стало достоянием всего мира. Толстой раскрывает русскую душу в ее подлинной красоте и чуткости, помогающей ей вместить в себя все человечество. Я горжусь тем, что мне выпала честь участвовать в этом собрании и принести дань уважения памяти несравненного гения от имени Литературной академии Индии, от писателей моей родины и скромную лепту от себя. Мы чтим память писателя и художника, который последовательно стремился к идеалу морального совершенства человека, к тому идеалу, ценность и смысл которого может изменяться в зависимости от эпохи, но основные принципы которого навсегда останутся великим наследием человечества.

«ВОСКРЕСЕНИЕ»
НА БЕНГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
(КАЛЬКУТТА, б. г.)

Рисунок индийского
художника Мани

Суперобложка



Толстой оказал огромное влияние на развитие литературы и мысли в современной Индии, несмотря на то, что мы познакомились с его произведениями не в оригинале, а через чужой язык. Вряд ли найдется такой индийский язык,— а вам, конечно, известно, что в Индии насчитывается четырнадцать основных языков,— на который не переводились бы произведения Толстого. На один только язык хинди переведено сейчас около двадцати книг Толстого. Многие видные индийские писатели, такие, как Прем Чанд, Аннада Шанкар Рей и Джайнендра Кумар, испытали на себе сильное влияние философских идей Толстого.

Однако, даже помимо спорадического влияния Толстого на мораль, философию и литературу, которые, как мне кажется, испытал в свое время весь современный Толстому мир, я беру на себя смелость утверждать, что Индия более динамически вобрала в себя моральные принципы Толстого, чем любая другая страна мира, и даже родина писателя. Это произошло потому, что отец современной Индии, Махатма Ганди, глубоко чтил личность Толстого и его учение.

Лучше всего будет, если я процитирую собственные слова Махатмы, относящиеся к великому русскому человеку:

«Больше всего привлекает меня в Толстом то, что всю жизнь он поступал в соответствии со своими принципами и не было для него слишком дорогой цели в искании правды. Он был самым правдивым человеком своего времени. Его жизнь была постоянным стремлением, неустанными поисками правды и желанием быть правдивым, когда он правду находил. Он никогда не старался прикрыть правду или приглушить ее голос — он выставлял правду перед миром во всей ее цельности, без колебаний,

без компромиссов, не боясь никакой из земных сил... Он был величайшим апостолом непротивления, рожденным нашей эпохой. Никто другой на Западе ни до него, ни после, не писал и не говорил о ненасилии с такой полнотой, проникновенностью и прозрением, как он... Кое-кто из критиков Толстого говорил, что его деятельность была сплошной неудачей, что он так и не достиг своего идеала, не нашел мистическую зеленую палочку, которую искал всю жизнь. Я не согласен с этими критиками. Пусть сам Толстой называл себя неудачником — это говорит только о его величии. Может быть, ему действительно не удалось полностью воплотить в жизнь свой идеал, но ведь это так свойственно человеку... Поэтому сказать, что Толстой, по собственному признанию, не сумел достичь своего идеала, не значит хоть на йоту умалить его величие; это говорит только о его скромности».

Много говорилось о так называемых непоследовательностях в жизни Толстого, но они были скорее мнимыми, чем подлинными. Непрерывное развитие есть закон жизни, и тот, кто цепляется за свои догмы, стараясь казаться последовательным, ставит себя в ложное положение. Именно это имел в виду Эмерсон, говоря, что глупая последовательность — пугало мелких умов. Так называемая непоследовательность Толстого свидетельствовала о его развитии и о его страстном преклонении перед правдой. Толстой был велик даже в своих неудачах. Эти неудачи дают нам представление не о бесплодии его идей, а о его успехе.

Другое великое положение, выдвинутое Толстым, заключалось в его учении о труде ради хлеба насущного — трудом своих рук должен добывать человек хлеб свой, и если бы каждый выполнял свой долг, не было бы в мире вопиющей нищеты.

Лицемерием и мошенничеством считал Толстой все планы улучшения бедственного положения масс, основанные на благотворительности богатых, избегающих физического труда и продолжающих жить в роскоши и лени. Он говорил, что если богатые слезут со спин бедняков, то не понадобится никакой благотворительности.

Запад наводняет нашу страну литературой, зараженной вирусом потворства слабостям человеческой натуры. Внешне эта литература очень привлекательна, и наша молодежь должна быть настороже. Настоящее время для молодого поколения — это период, когда изменяются и идеалы, и мучителен путь к ним.

В этот критический период весь мир, вся молодежь, а особенно индийская молодежь, нуждается в учении Толстого, в его прогрессивном самоусовершенствовании, потому что только это может привести молодежь к подлинной ее свободе, к свободе ее родины и всего мира.

Друзья, благодарю вас за честь, которую вы мне оказали, предоставив трибуну, с которой и я принес свою скромную дань уважения памяти великого художника и великого человека.

Перевод с английского М. Л. Салганик.

МИКЛОШ САБОЛЬЧИ

Венгерский критик и литературовед (р. 1921)

Разрешите от имени Союза венгерских писателей и Института истории литературы Венгерской Академии наук приветствовать сессию, посвященную пятидесятилетию со дня смерти Толстого, и выразить нашу благодарность за любезное приглашение.

Не беру на себя смелость оценить здесь, в присутствии ученых, более сведущих в этом, все величие и значение Толстого. Скажу лишь несколько слов о значении Толстого для венгерской литературы.

Толстой давно популярен в Венгрии; начало его популярности относится еще к последним десятилетиям прошлого века. Едва ли можно назвать хотя бы одного мало-мальски значительного венгерского писателя (кроме самых реакционных), который не испытал бы этого влияния. Большую роль играло творчество Толстого и в начале нашего века, в годы нового литературного движения, способствуя развитию народного, демократического направления в нем.

Чем же покорил наших писателей и читателей Толстой? Глубокой любовью к жизни, необыкновенно тонким и богатым знанием человеческой души и общества, правдивым изображением жизни частной и общественной. В нем привлекало слияние традиционного и нового, глубоко русской проблематики с европейским кругозором. И если во взглядах его и было то, что мы теперь называем «толстовством», все же моральная требовательность Толстого, его страсть к исправлению и улучшению действительности, осуждение ее отживших форм и лживых установлений, защита чистых человеческих чувств — все это действовало революционизирующе, в прогрессивном направлении. Произведения Толстого играли большую роль не только в формировании демократических писателей, но и лучших деятелей рабочего движения, будущих членов революционной рабочей партии.

После 1945 года в нашей стране начинается «второе рождение» Толстого. Вновь переиздаются его произведения, над переводом которых работают лучшие переводчики. В прекрасном переводе известного венгерского писателя Ласло Немета появились «Анна Каренина», «Детство», «Отрочество», «Юность» и некоторые рассказы. Большим тиражом вышли все важнейшие произведения Толстого, которые стали любимым чтением венгерских трудящихся. «Анна Каренина», например, экземпляр которой находится здесь у меня в руках, вышла в этом году тиражом в двенадцать тысяч экземпляров — немалым для страны с десятимиллионным населением.

Для наших писателей Толстой — великий пример. У венгерской прозы есть свои достижения в области критического и социалистического реализма. Но все же эти успехи проявляются скорее в лирике и драме, чем в эпике с ее психологическим анализом, величайшим мастером которого в мировой литературе до наших дней остается Лев Толстой. А это искусство особенно необходимо нам сейчас, когда мы строим социалистическое общество и стремимся изображать в литературе глубокие социально-психологические процессы, сопутствующие его строительству.

Обо всем этом мне хотелось сказать в связи с сессией, посвященной памяти великого художника, и пожелать ей успешной, плодотворной работы.

Перевод с венгерского О. К. Россиянова.

ЧОЙЖЛЫМ ЧИМИД

Монгольский поэт (р. 1920)

Дорогие товарищи, дорогие друзья!

Я хотел бы, прежде всего, передать горячий привет монгольских писателей, литературоведов и переводчиков нашим радушным хозяевам — писателям и литературоведам Советского Союза, всем присутствующим здесь товарищам и друзьям.

Пользуясь случаем, хочу вкратце рассказать о работе, проделанной в нашей стране по переводу и популяризации произведений Льва Толстого.

Победа Народной революции 1921 года, совершенной под непосредственным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, открыла перед нашим народом не только путь к строительству свободной и счастливой жизни, но и путь к созиданию новой культуры. После революции Монголия покрылась сетью школ, кружков по ликбезу; революция широко распахнула перед народом двери культурно-просветительных и художественных учреждений. Это был огромный шаг вперед — ведь дореволюционная Монголия была страной сплошной неграмотности, почти не имела школ и культурно-просветительных учреждений.

В дореволюционной Монголии, если не считать перевода нескольких китайских романов, сделанных накануне революции, переводились, в основном, с тибетского, книги только религиозного содержания. Людей, знающих европейские языки, в 1920-е годы насчитывалось всего несколько человек. И все же интеллигенты Монголии уже тогда понимали, что для строительства новой культуры им необходимо ознакомиться со всеми культурными ценностями, со всем духовным богатством, накопленным человечеством. Необходимо было широкое ознакомление монгольского народа с русской культурой, о которой он так мало знал. В 1925 году группа монгольских интеллигентов обратилась с письмом к великому пролетарскому писателю Алексею Максимовичу Горькому. В этом письме они спрашивали, какого принципа им надо придерживаться при переводе произведений русских писателей. Я позволю себе почти полностью процитировать ответ М. Горького:

«Сердечно благодарю вас за ваше глубоко интересное письмо,— писал Горький тогдашнему полпреду Монголии в Советском Союзе.— Вы так ясно дали мне понять, насколько важна и трудна задача, которую монгольская интеллигенция ставит пред собою. Позвольте от всего сердца пожелать вам и вашим товарищам бодрости духа. Да не поколеблется во все дни вашей жизни крепкая вера в то, что вы начали великое и необходимое дело. Нет на земле работы, более важной и трудной, чем работа, мужественно начатая вами, монгольской интеллигенцией.

Вы пишете: „Наши силы ограниченны". Это не должно смущать вас: важно не количество, а качество сил 〈...〉

Вы спрашиваете: „Какого принципа держаться, переводя русскую художественную литературу на монгольский язык?"

Едва ли я смогу ответить на тот вопрос с точностью, которая сможет удовлетворить вас. Но, насколько я могу судить о душе монгола по книгам, прочитанным мною о Монголии, я думаю, что наиболее полезна была бы вашему народу проповедь принципа активности. Именно активному отношению к жизни Европа обязана всем тем, что в ней прекрасно и достойно усвоения всеми расами.

„Желание суть источник страдания",— учил Будда. Европа ушла вперед других народов мира в областях науки, искусства и техники именно потому, что она никогда не боялась страдать, всегда желая лучшего, чем то, чем она уже обладает. Она сумела пробудить в массах своего народа стремление к справедливости, к свободе, и за одно это мы должны простить ей множество ее грехов и преступлений.

Мне кажется, что, знакомя монгольский народ с духом Европы и современными нам желаниями ее масс, вам следует переводить именно те европейские книги, в которых наиболее ярко выражен принцип активности, напряжение мысли, стремящейся к деятельной *свободе*, а не к свободе бездействия...»*

* Письмо А. М. Горького к полномочному представителю Министерства народного просвещения Монгольской Народной Республики в СССР Эрдени Батухану из Сорренто от 19 мая 1925 г. Авторизованная копия хранится в архиве А. М. Горького (Москва). Опубликовано в монгольской газете «Унэн» 18 июня 1944 г. — *Ред.*

Этот завет Горького, мудрость которого подтвердила сама жизнь, и ныне свято соблюдается монгольскими литературными переводчиками.

Но тогда, когда это письмо было получено в Монголии,— перевод произведений русских писателей был делом хотя и недалекого, но все-таки будущего.

Все еще была неграмотной основная масса населения, была маломощной полиграфическая база, будущие литературные переводчики, окрыленные напутствием Горького, еще одолевали русскую грамматику. Но у них было самое главное: они знали, какого принципа им придерживаться в их деятельности.

Перевод произведений русских писателей начался в 1930-х годах. Именно к тому времени относится и начало перевода произведений Толстого.

Первыми переводчиками русских произведений были писатели. Выдающийся монгольский поэт — основоположник современной монгольской литературы Д. Нацагдорж переводил с русского лирические стихи и повести Пушкина, с немецкого — произведения западноевропейских писателей. Вместе с ним работали известные писатели и ученые Ц. Дамдинсурэн, Э. Оюн и многие другие.

В декабре 1935 года в переводе преподавателя одной из столичных школ — Ишидоржа, тиражом в три тысячи экземпляров вышел на монгольском языке «Кавказский пленник» Толстого. Ишидорж сопроводил свой перевод кратким послесловием.

«Ныне, когда в наших школах,— писал он в своем послесловии,— прилагаются все усилия к тому, чтобы воспитывать подрастающее поколение, всех детей, в революционном духе, активными, инициативными, волевыми и непоколебимыми героями, рассказы о таких мужественных людях, несомненно, принесут пользу, вызывая стремление подражать им».

Таким образом, уже первые переводчики Толстого искали и находили в его произведениях то, что советовал искать Горький при переводе произведений русских писателей,— проповедь принципа активности.

Страстность великой души, прямота и резкость, правдоискательство Толстого стали привлекать внимание как переводчиков, так и широких кругов читателей.

В 1941 году Ш. Уегмиидом был переведен рассказ Толстого «После бала», вошедший с тех пор в нашу хрестоматию по русской литературе.

В 1945 году была опубликована повесть «Хаджи Мурат» в переводе литератора и врача Х. Гонгоржава. В предисловии к этому изданию «Хаджи Мурата» отмечалось, что «Лев Толстой является выдающимся писателем, прославившимся на весь мир. Его произведения „Война и мир", „Анна Каренина", „Воскресение" вошли в сокровищницу мировой культуры».

В разное время были переведены рассказы «Три смерти» (перевод Д. Дашдоржа), «Поликушка» (перевод Б. Наранцацралжа), «Ходынка» (перевод Д. Лодойдамбы), «Хозяин и работник» (перевод Д. Дашдоржа и С. Бадры) и другие, объединенные в сборник «Рассказы».

Затем был опубликован роман «Воскресение» под редакцией Л. Тойво, с его предисловием, и первый том «Войны и мира».

Если в 1930-х годах был переведен только один рассказ Толстого, то конец 1950-х годов, как мы видим, ознаменовался началом работы над переводом основных произведений Толстого, в том числе романа-эпопеи «Война и мир».

Толстой дорог нам как гениальный писатель-реалист, сумевший отобразить в своих произведениях многие стороны жизни русского народа на различных исторических этапах. Мы любим его за то, что он

с большой психологической глубиной сумел показать человека со всеми его переживаниями и порывами, взлетами и падениями. Нам особенно близок обличительный пыл его произведений, беспощадность его пера ко всему, что мешает человеку в его стремлении к лучшему.

В 1953 году, когда в Монголии отмечалось стодвадцатипятилетие со дня рождения Толстого, газета «Унэн» отметила:

«Произведения великого русского писателя читаются у нас всеми. Наши писатели, художники, деятели культуры, все наши трудящиеся воспитываются на произведениях Толстого»*.

Изо дня в день растет в Монголии число почитателей Толстого и других корифеев русской и мировой литературы.

Произведения Толстого читают не только ученые и студенты, учащиеся и служащие, но и рабочие, чабаны, нефтяники, доярки, железнодорожники и механизаторы.

Ныне у нас, в Монголии, придается особое значение дальнейшему повышению культурного уровня населения. В связи с этим будет приобретать еще более широкие масштабы перевод произведений Толстого и других выдающихся мастеров художественного слова.

Нам, монгольским писателям и переводчикам, приятна и радостна такая перспектива, особенно в эти дни, когда в Советском Союзе, в нашей стране, во всем мире торжественно чествуются гениальный русский писатель, великая русская культура.

Речь произнесена по-русски.

АЛЬБЕРТ ВИКСТЕН

Романист, председатель Союза писателей Швеции (р. 1899)

Мы отмечаем пятидесятилетие со дня смерти Толстого в очень напряженные дни.

Идеологические разногласия в мире становятся все более острыми, так что порой начинает казаться, будто воздух насыщен ненавистью и страхом.

Особенно сильно мы ощущаем это теперь, когда появление новых видов оружия и возможность острых конфликтов грозят привести мир к катастрофе, могут уничтожить все живое на Земле.

Невольно спрашиваешь себя, какую позицию в этом вопросе занял бы Толстой, если б он жил в наше время. Вполне возможно, что оптимизм Толстого, его любовь к простым людям и, главное, его непререкаемый международный авторитет сделали бы свое дело и помогли бы людям понять это. Впрочем, сказать что-нибудь более определенно нам сейчас очень трудно.

Многие здесь говорили о Толстом как человеке, о Толстом как писателе, о его произведениях и их значении для всего человечества. Едва ли я смог бы добавить что-либо существенное к тому, о чем уже говорилось.

Толстой был великим знатоком души человека, его книги производят неизгладимое впечатление на всех без исключения людей, независимо от их образования, от уровня развития и классовой принадлежности. И вот в доказательство этого мне хотелось привести один небольшой эпизод, который показывает, как и когда я впервые узнал о Толстом.

Я вырос и провел большую часть своей жизни среди лесорубов в маленьком селении на севере Швеции.

---

* «Унэн», 9 сентября 1953 г.— *Ред.*

Пятьдесят три года назад там, конечно, не было никакой библиотеки. Более того, там вообще не было книг. И вот один из каменщиков, который одновременно выполнял обязанности пастора и объединил лесорубов в профсоюз, ходил по домам и беседовал с людьми.

Однажды вечером он собрал нас, лесорубов, молодежь, и прочел нам отрывок из какой-то не известной нам книги. Содержание прочитанного мы стали тут же горячо обсуждать.

Я не помню, из какого произведения был прочитан этот отрывок, но он произвел на меня неизгладимое впечатление. И это впечатление сохранилось у меня на всю жизнь. Впоследствии я узнал, что это была книга Льва Толстого.

Мне тогда было семнадцать лет. Это событие словно пробудило нас всех, жителей отдаленного поселка. С тех пор мы старались раздобывать новые книги. Нам стали близки идеи и произведения великого мастера.

Я рассказал вам этот маленький эпизод для того, чтобы показать, как захватывали произведения Льва Толстого простых людей, людей, не получивших никакого литературного образования, людей не имевших вообще никакого представления о литературе.

И разве я мог предполагать тогда, что когда-нибудь побываю на родине великого писателя и приму участие в его чествовании!

Мне снова хотелось бы теперь возвратиться к тому, с чего я начал сегодня, и сказать о том, что волнует сейчас все человечество.

Мне хотелось бы сказать несколько слов о том, что народам сейчас необходимо разоружиться. Но, кроме пушек и атомных бомб, имеется еще одно, более действенное оружие, и именно теперь необходимо было бы вооружить им все народы. Такое оружие — это те идеи, которые нам завещали великие мастера, представители литературы, музыки, живописи. Это великое наследие, которое является достоянием всей нашей культуры, это оружие духовное. Оно бессмертно. Его нельзя уничтожить. Нет на земле такой силы, которая могла бы смести, уничтожить такое наследие. Как сказал один шведский поэт,— нельзя построить плотину из льда.

Россия внесла свой огромный, неоценимый вклад в сокровищницу мировой культуры. Русская классическая литература пользуется огромным успехом у всех скандинавских народов, в частности, у шведских читателей.

За последнее время в связи с чествованием Льва Толстого во многих шведских газетах появились статьи о великом писателе.

Почти все произведения Толстого переведены на шведский язык, и не нашлось бы, пожалуй, ни одной, даже самой маленькой библиотеки, в которой не пользовались бы большим спросом книги Толстого.

С современной советской литературой скандинавские читатели, к сожалению, еще мало знакомы. Может быть, это происходит отчасти потому, что существуют еще некоторые формальные препятствия, мешающие широкому культурному обмену.

Весь мир отмечает теперь пятидесятилетие со дня смерти великого сына русского народа.

В Швеции тоже очень любят Толстого, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что чествование Толстого у нас на родине также приняло общенародный характер.

В заключение мне хотелось бы передать сердечный привет от Союза писателей Швеции всем моим русским коллегам и всему русскому народу.

Перевод со шведского.

ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ

Болгарский писатель (р. 1904)

Дорогие друзья!

Я хочу с этой высокой трибуны поблагодарить за предоставленную мне возможность сказать несколько слов о Толстом в Болгарии. Да, именно в Болгарии — в прямом и переносном смысле этого слова.

Более века тому назад молодой офицер Лев Толстой участвовал в военных действиях против турок возле болгарского города Силистрии. Его впечатления о жизни порабощенных болгарских крестьян были самыми тяжелыми.

В болгарских селах Толстой увидел мрак, невежество и страшную нищету. Да и мог ли он в то время видеть что-либо иное? Но после освобождения от турецкого ига в 1878 году, освобождения, достигнутого ценою многих жертв со стороны России, болгарский народ быстро встал на ноги. Этот народ, стряхнувший с себя пятисотлетнее рабство, жадно стремящийся к просвещению и науке, заговорил о Льве Николаевиче Толстом.

Еще при жизни Толстой становится любимым писателем болгарской интеллигенции, болгарского народа. О нем постоянно пишут наши газеты и журналы, с ним ведут переписку. В Ясную Поляну приезжает ряд страстных его приверженцев и почитателей. И самое главное, у него учились, учатся и будут учиться все без исключения болгарские писатели. Толстой всегда напоминал болгарским литераторам, что если они хотят заслужить высокое звание писателя, пусть не забывают свой долг — писать о народе, только о народе, и тем самым отстаивать его жизненные интересы. Читая произведения Толстого, написанные с поразительным реализмом и с такой глубокой страстностью, наши писатели видели и видят, что честности, искренности, любви и уважению к человеку величайший из писателей учился у трудового народа.

Можно смело сказать, что если болгарская литература носит глубоко народный характер, если она не отставала и не отстает от поступательного движения своего народа, то это в большей степени обусловлено тем простым обстоятельством, что наши писатели учились у этого великого «инженера человеческих душ». Мало сказать, что Толстой — писатель, которого много читают в Болгарии. Справедливее было бы сказать, что в Болгарии воспринимают Толстого как своего писателя.

До сегодняшнего дня в Болгарии переведено и издано триста пятьдесят отдельных книг Толстого, тиражом свыше миллиона экземпляров. Но даже эти цифры не дают достаточно полного представления о любви наших читателей к Толстому, так как только за последние шестнадцать лет в Болгарии разошлись десятки миллионов книг на русском языке, а значительную часть этих книг составляют бессмертные творения Толстого. Уже восемьдесят лет в болгарских школах изучают русский язык, так что наши читатели с юных лет в оригинале познают писательское мастерство Толстого.

Каждый год у нас в Болгарии на специальных курсах около пятисот тысяч простых болгарских граждан изучает русский язык, и поэтому нет ничего необыкновенного в том, что на животноводческих и птицеводческих фермах в целиком кооперированном болгарском селе среди настольных книг первое место занимают произведения Толстого, его собрания сочинений в четырнадцати томах, как в переводе, так и в оригинале.

Я не говорю о наших рабочих, о нашей интеллигенции, которые читают и любят Толстого, как своего родного писателя; я говорю о правну-

ках тех порабощенных крестьян, о жизни которых более века тому назад Лев Толстой сказал горькие слова.

Сейчас наши кооператоры, образованные, жизнерадостные и уверенные в своем еще более прекрасном завтрашнем дне, читают вслух во время отдыха на полях кооперативов книги Толстого и радуются, что великая русская земля родила и вскормила такого великана человеческого слова и художественной мысли, что она дала человечеству такого бессмертного верного друга и учителя — Льва Николаевича Толстого.

Перевод с болгарского М. В. Тарасовой.

ЯН ДРДА

Чешский писатель и общественный деятель (р. 1915)

Дорогие товарищи!

Позвольте мне поблагодарить вас за честь, которую вы мне оказали, пригласив меня участвовать как представителя чехословацких писателей в этом большом толстовском празднике. Это меня вдохновляет тем более, что я приехал из страны, где борьба за Толстого, которая началась в начале 90-х годов прошлого столетия, развертывалась на протяжении более пятидесяти лет не только в области литературы, но и всей нашей культурной жизни; она велась и в самом широком политическом смысле, становясь принципиальной борьбой за направление развития жизни всего чешского народа.

Толстой как писатель проник в Чехию рано. Уже в 1858 году, когда Льву Николаевичу было тридцать лет, в «Časopise Českého Musea» была напечатана первая статья о «Детстве», «Отрочестве» и «Юности». Первый перевод на чешский язык «Войны и мира», хотя и сокращенный, выходит в 1873 году. Первое отдельное издание «Анны Карениной» — в 1881 году. Это тем более закономерно, что молодое поколение писателей-реалистов 1890-х годов находит в гениальном мастерстве Толстого великий пример. Закономерно еще и потому, что наша реалистическая литература опиралась на чешскую деревню, видела своего основного героя в крестьянине и свои самые драматические конфликты находила в быстро развивающейся классовой дифференциации деревни. Именно писатель В. Мрштик, автор нашей наиболее сильной сельской драмы «Мариша», издает в 1888 г. новый перевод «Войны и мира», считающийся поистине образцовым. Он отдает этой работе всю силу своего писательского таланта, так что здесь реалистическое искусство Льва Николаевича впервые на чешском языке засверкало во всем своем потрясающем величии и красоте.

Появление Толстого так волновало писателей, что целая плеяда поэтов того времени посвятила ему свои стихи. Ярослав Врхлицкий говорит о нем, как о «современном маяке человечества». Адольф Гейдук представляет его как крестьянина-гиганта, который ногами стоит в борозде, а головой упирается в облака и над которым встает «багряно-золотая заря». Клаштерский говорит о нем, как о «солнечной душе». И хотя подход скептика Врхлицкого иной, чем подход старого взволнованного народника Гейдука, ясно, что все эти поэты постигают творческую силу Толстого-художника, его проницательное раскрытие души человека, создание им целого мира человеческих отношений и мечтаний. И хотя у нас не было человека, который мог бы правдиво раскрыть появление Толстого-художника, эти поэты, в силу своего художественного восприятия, чувствовали, в чем величие Толстого.

Одновременно в 1890-х годах под влиянием Т. Г. Масарика, который позднее сыграл немалую роль в нашей истории, начинают проникать известия, а позднее возникает и легенда о Толстом — философе и общественном реформаторе.

Масарику, человеку далекому от искусства, был совсем непонятен и безразличен Толстой-художник. Масарик, который позже, в тоге идеалистического философа, играл роль «спасителя» чешской буржуазии, увидел в учении Толстого о «непротивлении злу» средство парализовать растущие классовые противоречия в стране, где бурно развивалась промышленность и быстро рос рабочий класс.

Используя учение и моральный авторитет Толстого, Масарик пытался создать и обосновать тип рабочего-пролетария, который недавно еще пришел из деревни, в котором укоренилась особая каратаевская пассивность, способность к непротивлению, способность быть податливым материалом в руках чешской буржуазии. Мрштик с самого начала увидел, что Масарик совершенно не понимает и презирает Толстого-художника, и уже в 1890 году заявил, что «Масарик неспособен сказать ничего о Толстом-художнике и говорит только о Толстом-философе». И в лице Масарика Мрштик приобрел себе врага на всю жизнь.

В первые годы XX века борьба за Толстого обострилась до предела. Масарик прославился как гость Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне, где он был трижды, и из этого он извлек монопольное право на толкование личности Толстого. Но в 1901 году Ясную Поляну посетил Зденек Неедлы, тогда двадцатитрехлетний юноша, и написал статью,



«СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА» ЧЕШСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ (ПРАГА, 1959)
Художник Ян Достал
Обложка



«СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА». ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЧЕШСКОГО ХУДОЖНИКА ЯНА ДОСТАЛА

Фронтиспис книги: «Lev Nikolajevit Tolstoj. Smrt Ivana Iljiče». Praha, 1959.

полную проницательных наблюдений и выявившую ряд противоречий у Толстого. Он показал, что сила Толстого — в его творческом гении, и этим нанес удар ложной легенде, созданной Масариком.

Неедлы не был одинок. Именно художники-реалисты, для которых Лев Николаевич Толстой являлся великим примером, выступили против Масарика. В то время, когда Масарик в начале XX столетия навязчиво твердил, что «популяризация Толстого» не нанесет ущерба чешскому обществу, думая о Толстом-непротивленце, Антал Сташек, один из наших крупнейших писателей-реалистов, гневно ответил ему: «Оставьте нас в покое с вашей толстовщиной!»

Между тем, все творчество самого Антала Сташека озарено глубоким проникновением в творчество Льва Николаевича. И именно этот удивительный художник, когда ему было уже восемьдесят лет, открыто примкнул к революционному рабочему движению, а его сын, Иван Ольбрахт, стал в нашей литературе мастером социалистической прозы.

Борьба за Толстого между прогрессивными и реакционными силами в чешской культуре продолжалась и в последующие десятилетия.

Решающая битва произошла в 1928 году во время празднования сотой годовщины со дня рождения Толстого. Масарик был тогда уже президентом буржуазной республики, и с этой позиции он совершенно изменил свой взгляд на Толстого в соответствии с интересами господствующей буржуазии. Официальный масариковский публицист Фердинанд Пероутка писал в дни юбилея: «Европа отмечает толстовский юбилей неохотно,

словно ставит свечку перед портретом умершего дедушки». Он обвинил Толстого в том, что в нем есть нечто от самого «примитивного иконоборческого социализма» и что «в мудрости Толстого можно почувствовать враждебное отношение к жизни». И тут же утешал Масарика, говоря, что Толстого «мы читаем сегодня с таким чувством, с каким проходим по музеям».

А Масарик, обращаясь к солдатам, распрощался с Толстым, необычайно резко заявив, что «только такой глупец, как Толстой, мог призывать к непротивлению» (отмечу, что Масарик обращался к армии, которой приказывали в то время стрелять в бастующих рабочих).

И опять-таки закономерно, что именно в том же году и именно к этому юбилею двадцатипятилетний Юлиус Фучик издал книжку «Ленин о Толстом», где опубликовал все ленинские статьи о великом писателе, и сам написал предисловие к ней, создав новый для Чехии образ Толстого. Лев Николаевич предстал в этом предисловии во всем величии своего исторического значения. Чешская буржуазия тогда сказала Толстому: «Нет!» Молодая марксистская критика сказала: «Да!»

Мое поколение, которое изучало славистику в последние годы перед войной, участвовало в борьбе в университетских аудиториях даже против собственных профессоров, запутанных масариковщиной. Нашим оружием было то, что мы Толстого страстно читали, что мы вооружались в этой борьбе непосредственно произведениями Толстого. Не могу не вспомнить один эпизод, происшедший в 1938 году на семинаре по славистике.

Профессор говорил о Платоне Каратаеве как о типичном представителе характера русского человека.

Тогда выступил один из двадцатилетних студентов и спросил: «А капитан Тушин, который стрелял из последней пушки у Шенграбена, разве это не русский характер?»

— Нет, это эпизодический персонаж,— сказал тогда профессор, и в тот же момент он потерял в наших глазах свой моральный авторитет.

Николай Ростов, Пьер Безухов, Андрей Болконский и даже старый и очаровательный генерал-аншеф — именно в годы наших молодых исканий запечатлелись в наших горячих душах и удивительным образом встали рядом с героями «Тихого Дона», «Разгрома» и «Гибели эскадры».

Для писателей современной Чехии, так же, как для сотен тысяч наших читателей, Толстой жив навеки. Нас уже не волнуют дебаты о Толстом, нас волнует его правдивое проникновение в человеческую душу, его огромная жизненная правдивость, простота и активность, которыми искрится Наташа Ростова и которые можно увидеть и у современной советской девушки.

Толстой воевал не только в Севастополе, он страстно воевал на стороне прогрессивного человечества в грозной войне против фашизма: силой художника, который в творчество щедро вложил всю свою личность, знание человека, любовь к людям, мечту о жизни честной и правдивой, ненависть ко всему, что унижает и оскорбляет человека. Толстой будет так же активно влиять на грядущие поколения.

Во всей мировой литературе существуют только два гения такой силы — Толстой и Шекспир.

Разрешите мне поклониться не памяти Толстого, а той живой и вдохновляющей силе гения, которого русский народ дал человечеству.

Перевод с чешского Т. И. Мироновой.

ШИВДАН СИНГХ ЧАУХАН

Индийский литературовед (р. 1918)

Дорогие друзья!

Я очень благодарен, что мне предоставлена возможность выступить на столь торжественном собрании по такому вопросу, как «Толстой и Индия».

Влияние Толстого на Индию — на нашу литературу и идеи, а также на нашу борьбу за национальную независимость настолько велико, что в коротком выступлении невозможно полностью осветить этот вопрос.

Однако я попытаюсь рассказать вам, чем был для нас Толстой и почему его так высоко чтят во всей Индии.

Ленин назвал Толстого «колоссом», а его художественные произведения — «шагом вперед в художественном развитии человечества». Ленин высоко ценил Толстого за то, что тот, даже в те времена, когда царские репрессии заставили замолчать все другие голоса, всегда поднимал свой мощный и искренний голос протеста против социальной лжи и фальши. Ленин также высоко ценил Толстого за то, что тот в своих произведениях осуждал капиталистическую эксплуатацию, разоблачал коррупцию государственных чиновников, показал всю глубину противоречий между накоплением богатств и культурных достижений цивилизации и ростом нищеты, отсталости и страданий трудящихся масс. Ленин не менее высоко ценил Толстого за его трезвый реализм, с которым он срывал «все и всяческие маски». Такой колосс, который был также и великим художником, и реалистом, и критиком, и гуманистом, и величайшим борцом за правду, против всякой несправедливости, не мог не оказывать влияния на мировую культуру и историю. Все, за исключением некоторых декадентов и формалистов различных мастей, тщетно пытавшихся отрицать тот факт, что искусство является целенаправленной деятельностью человека, с благодарностью признали, что великий реализм Толстого сыграл немалую роль в том, что мировая литература получила свое новое направление. Влияние реализма Толстого сказалось в произведениях крупнейших писателей мира, начиная с последнего десятилетия XIX века — в произведениях Золя, Мопассана, Ромена Роллана, Бернарда Шоу, Чехова, Горького, Лу-Синя, Андерсена-Нексе, Драйзера, Томаса Манна, Рабиндраната Тагора, Шоротчондро Чоттопаддхая, Прем Чанда, Арагона, Хемингуэя, Шолохова, Алексея Толстого и многих других писателей последующих поколений.

Реалистическая традиция Толстого в целом стала мощной силой. Она, несомненно, составляет основное течение мировой литературы сегодняшнего дня, если мы, конечно, справедливо примем во внимание современные литературы социалистических стран и современные литературы стран Азии, Африки и Латинской Америки, а не будем ограничивать свои исследования только некоторыми декадентскими течениями в западной литературе и не станем ошибочно принимать их за течение, представляющее мировую литературу, как это часто делают критики на Западе.

Учение Толстого, резкое осуждение капиталистической эксплуатации и феодально-буржуазного строя, проповеди любви и правды, аскетизма и просвещения, физического труда и непротивления злу оказали огромное влияние на судьбы истории в первой половине XX столетия, особенно на национально-освободительное движение в странах Азии и Африки. Несмотря на то, что его проповеди носили ненаучный и утопический характер, они были, в основном, «социалистическими» и, как говорил Ленин, «содержали элементы критики, дающие ценные сведения для просвещения передовых классов». Многочисленные произведения Толстого, такие, как «В чем моя вера», «Так что же нам делать?», «О смысле жизни»,

«Рабство нашего времени», «Что такое религия...», «Христианство и патриотизм», «Не могу молчать» и другие, содержащие его учение и критические мысли, были мощным источником просвещения для молодой интеллигенции и патриотов Китая, Индии, Египта и других стран Азии и Африки, которые начали пробуждаться в начале этого века.

Полемические произведения Толстого были первыми, которые помогли нашим народам понять свое бесправие и нечеловеческие условия колониальной эксплуатации, пробудили патриотические чувства и вдохновили на борьбу за национальную независимость.

Если мы взглянем объективно на ход истории, в частности на особые условия, господствовавшие в начале XX века в большинстве порабощенных стран Азии и Африки, то увидим, что учение Толстого играло определенно революционную роль. Его идеология, прекрасно охарактеризованная Лениным как идеология восточноазиатского порядка, по своему истинному историческому содержанию (статья Ленина «Толстой и его эпоха») объясняет, почему его учение было воспринято с такой готовностью в Индии. Нашей интеллигенции казалось, что учение Толстого является как бы продолжением учений Гиты и Упанишад и выражает самые высокие и самые благородные мысли и чувства, проповедует жизнь, основанную на любви, правде и простоте — на всех тех принципах, которые индийцы с незапамятных времен считают высшими добродетелями человека. Наш народ, помня жестокие репрессии, которым он постоянно подвергался со стороны цивилизованного белого человека, начал относиться с большим недоверием ко всему чужеземному, хорошему и плохому, как к зловещему вызову своей древней культуре и социальным институтам. Но народные рассказы Толстого (они первыми дошли до нашего народа), его проповеди и полемические произведения были приняты у нас с распростертыми объятиями, как если бы Толстой сам являлся героем наших древних сказаний, ожившим для того, чтобы указать новый путь к спасению нашей нации. Насколько я помню, Ганди был первый, кто познакомил наш народ с Толстым. Он назвал его «Махатма» (что означает: «Великий духом»). Это самая большая честь, которую оказывают индийцы только наиболее выдающимся смертным. Таким образом, подобно Махатме Будде, Махатма Толстой стал источником света для нашего народа. Его великий дух словно поднялся из глубин индийского народа и призвал оставить страх и смело бросить вызов самой сильной империалистической державе и завоевать свободу.

Именно в 90-е годы прошлого столетия молодой тогда Ганди увлекся учением Толстого. Влияние Толстого было настолько сильно и неизгладимо, что Ганди всю свою жизнь мыслил и поступал согласно принципам Толстого. Позднее это влияние определило характер и форму национально-освободительной борьбы в Индии еще за полстолетия до того дня в 1947 году, когда, наконец, Индия, под руководством Ганди, добилась свободы. Молодой Ганди, которого также позднее начали называть Махатма и который стал отцом молодой индийской нации, находил в Махатме Толстом родственную душу и достойного учителя, которому он безоговорочно следовал в своих словах и поступках. Молодой Ганди с энтузиазмом принимал учение Толстого и начал проводить его как в личной жизни, так и в своей общественной деятельности. Молодой Ганди сам был трезвым реалистом и имел в себе все задатки великого человека. Хотя идея полной национальной независимости пришла к нему значительно позднее, все же как реалист он не мог не понимать, что учение Толстого, широко примененное на практике, может потрясти основы Британской империи.

Ганди обладал редким даром — он мог с помощью нескольких простых слов и мыслей заставить действовать миллионы людей. Молодым адвока-



«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» НА ЯЗЫКЕ ХИНДИ (ДЕЛИ, 1959)
Обложка

том он отправился в Южную Африку. Он там непосредственно столкнулся с расовыми предрассудками белых поселенцев и увидел страдания и нужду африканского населения — такие же, какие он видел и у себя на родине. Учение Толстого подсказало ему, как надо было действовать. Он организовал массовое движение против расистской дискриминации. Он назвал это движение «сатьяграха» («настаиваем на правде») — ненасильственное сопротивление и моральный протест против несправедливости и зла. Успех этого движения, несмотря на то, что оно жестоко подавлялось, убедил Ганди в том, что такая форма движения более всего подходит для Индии с ее особыми условиями, и он видел, что такой метод борьбы является наиболее гуманным.

Один великодушный друг предложил ему около двухсот акров земли для организации своего рода сельскохозяйственной коммуны. Вдохновленный учением Толстого, Ганди назвал эту коммуну «Толстовской фермой». Все обитатели этой фермы занимались различными ремеслами, никто не пользовался какими-либо привилегиями. На Толстовской ферме Ганди открыл школу (Ашрам) по типу школы в Ясной Поляне и начал проводить там на практике идеи профессионального обучения, воспринятые им у своего учителя. Позднее он положил эти идеи в основу своей знаменитой системы народного просвещения Вардха. Таким образом, учение Толстого еще раз указало путь к перестройке нашей системы просвещения, на которое англичане смотрели только с точки зрения получения клерков для своей административной машины, а отнюдь не с точки зрения воспитания полезных и активных членов общества.

Ганди начал переписываться с Толстым как раз в то время, когда в Южной Африке возникло движение «сатьяграха». Он хотел заручиться моральной поддержкой и сочувствием великого русского писателя к угнетенным народам Индии и Африки в их движении ненасильственного сопротивления.

Толстой охотно ответил на письмо Ганди, и это положило начало длительной переписке этих двух великих людей. Страстные слова Толстого, проникнутые глубоким сочувствием, поддерживали народы Индии и Южной Африки в их справедливых требованиях и еще больше вдохновляли Ганди, а через него и весь индийский народ на борьбу за свои права. Толстого можно справедливо назвать руководителем народно-освободительной борьбы индийцев.

Не менее велико влияние Толстого и на развитие современной индийской литературы. Это влияние можно проследить в новом реалистическом течении, которое начало намечаться в индийской прозе начала XX века.

Передовое, реалистическое творчество Толстого наложило свой отпечаток на прозаические произведения великого поэта Индии — Рабиндраната Тагора, с которым Толстой также вел переписку. В романах Тагора «Чар-Адхайя» и «Го́ра» влияние Толстого чувствуется особенно сильно. Романы и рассказы другого выдающегося индийского писателя, Шоротчондро Чоттопаддхая, также носят следы влияния Толстого, главным образом его романа «Анна Каренина». Все литературное направление и реализм Прем Чанда также находилось под сильным влиянием Толстого. Это влияние можно проследить и теперь во всех значительных произведениях прогрессивных писателей нового поколения всех основных литературных языков Индии — тех писателей, которые стремятся отображать индийскую действительность критически и правдиво.

Интересно отметить, что Ганди был первым, кто познакомил индийских читателей с произведениями Толстого на их родном языке. Ганди перевел на язык гуджерати два известных рассказа Толстого — «Иван-дурак» и «Много ли человеку земли нужно». С тех пор рассказы и повести Толстого часто переводились на все языки Индии. Прем Чанд в 1924 году перевел «народные сказки» Толстого, так напоминавшие ему сказания Упанишад.

Но качество переводов на индийские языки не было удовлетворительным, из-за этого многие крупные произведения великого русского писателя остались неизвестными для большей части читателей. Произведения Толстого всё еще изучают в переводах на английский язык, да и то это доступно только части нашей интеллигенции. Хорошие переводы на индийские языки являются редкостью, и далеко не все крупные произведения Толстого переводились. Не было серьезных попыток перевести такие произведения, как «Война и мир» и «Анна Каренина». Я помню, это было давно, один издатель выпустил перевод «Анны Карениной» на язык хинди в сильно сокращенном виде. Не говоря уже о преступном искажении этого великого произведения, литературное качество этого перевода было ужасно. Недавно Издательство на иностранных языках в Москве выпустило перевод на хинди романа Толстого «Воскресение», и я должен с прискорбием заметить, что литературные качества этого перевода не выдерживают никакой критики, как и большинства других переводов на хинди, выпущенных этим издательством. Так печально обстоит дело с переводами Толстого на мой родной язык хинди; насколько мне известно, не лучше обстоит дело и с переводами на другие индийские языки. В этом печальном положении повинны не только переводчики, но и издатели. Издатели в Индии избегают выпускать переводы многих произведений мировой литературы, если это толстые книги, требующие больших средств. Индийская Академия литературы, стараясь восполнить этот

пробел, предприняла перевод на различные языки Индии романа «Война и мир», самого значительного произведения мировой классики. Кто знает, будет ли этот роман достойно переведен на язык хинди, лично я очень в этом сомневаюсь. Чтобы переводить таких гениев, как Шекспир и Толстой, на должном литературном уровне, недостаточно хорошего знания иностранного языка, хотя это тоже очень важно. Совершенно необходимо, чтобы переводчик был в состоянии в той же художественной манере выразить на своем родном языке мысли и образы художественного произведения, которое он переводит. Переводчик должен понимать и сознавать всю ответственность своей работы. Поэтому мне кажется, что только зрелые писатели могут исправить существующее положение с переводами и передать бессмертные произведения Толстого в истинно художественной форме. Но опять же стоит трудная проблема с изданием переводов. Чтобы найти выход из этого порочного круга, я предложил год назад создать специальный комитет в Индии, состоящий из десяти самых опытных литераторов, пишущих на языке хинди, для того чтобы перевести на хинди наиболее важные из произведений Толстого — выпустить собрание его романов, пьес и рассказов. Позднее этот комитет может расширить свою деятельность и привлечь к работе писателей других литератур Индии, с тем чтобы перевести произведения Толстого и на другие индийские языки. Это весьма реальный план, при условии, если Издательство на иностранных языках в Москве доверит комитету эту важную работу, а не будет полагаться, как обычно, на своих не всегда достаточно квалифицированных переводчиков и редакторов, которые слишком свободно обращаются с произведением. Поэтому необходимо провести указанные мероприятия и сделать великие произведения Толстого доступными для широких масс индийского народа.

Заканчивая свое выступление, мне бы хотелось сообщить вам, что Толстовский комитет в Индии, возглавляемый заслуженным писателем и публицистом Банарасидас Чатурведи, который является другом Советского Союза и горячим почитателем Толстого, проводит в эти торжественные дни ряд общественных мероприятий. Господин Чатурведи также просил меня сообщить вам, что на торжественном митинге 21 ноября в Дели, посвященном памяти великого русского писателя, выступит премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. Господин Чатурведи также сообщает, что он направил письмо премьер-министру, в котором просит его оказать содействие в создании в Дели Дома Толстого, который должен стать культурным центром и способствовать дальнейшему расширению дружественных и культурных связей между нашими двумя великими народами.

Я уверен, что и вы поддержите это своевременное предложение и ваша ценная помощь поможет господину Чатурведи провести в жизнь эту идею. Толстой — зеркало русской революции и вдохновитель нашей революции — является также крепкой связью нерушимой дружбы наших народов в их совместной борьбе за мир и прогресс человечества.

Разрешите мне также преподнести Институту мировой литературы имени Горького переводы на хинди нескольких произведений великих русских классиков, которые мы — моя жена, г-жа Чаухан, и я,— издали в Индии.

Кроме произведений Пушкина, Достоевского, Тургенева, Чехова и М. Горького, здесь есть замечательная повесть Толстого.

Вместе с этим подарком я хочу выразить мое глубокое уважение великой русской литературе, гением которой был Толстой.

2

РЕЧИ
НА ЗАСЕДАНИИ В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Д. БОГЗА, А. ВУЧО, НГУЕН КОНГ ХОАНА и Х. Л. ЭПСЕНА

ХАНС ЛУНГБИ ЭПСЕН

Датский писатель (р. 1922)

Мне оказана высокая честь быть приглашенным в Москву в связи с пятидесятилетием со дня смерти Льва Толстого. За это приглашение, которое меня очень обрадовало, разрешите поблагодарить Союз писателей.

Я могу смело утверждать, что Толстого в Дании любят так же, как и в любой другой стране, не говоря уже, конечно, о любви к нему в Советском Союзе.

В Дании переведены и неоднократно издавались почти все произведения Толстого, начиная от «Севастопольских рассказов» с их впечатляющим и внушающим ужас изображением войны, явившимся образцом для других писателей более позднего поколения, писавших в этом жанре, и кончая его романами, из которых наибольшую известность и любовь завоевали «Война и мир» и «Анна Каренина».

Роман «Война и мир» выходил в Дании во многих изданиях. Недавно издательство «Guldendal» выпустило прекрасно оформленное трехтомное издание этого произведения. К сожалению, ни одно из предыдущих изданий не было полным, и это явилось большой погрешностью (чтоб не употреблять более резкого выражения) в отношении творчества такого классика, каким является Толстой. Но последнее издание, где сокращения доведены до минимума, дает датчанам возможность познакомиться с этим шедевром литературы почти в полном объеме. Вряд ли какой-нибудь другой роман во всей мировой литературе представляет собой столь широкое полотно и дает столь глубокий психологический анализ; вряд ли существует какой-либо другой роман, где так ярко использованы все краски палитры для изображения судеб народа и его суровой борьбы.

Если «Война и мир» пользуется в Дании и любовью и уважением, то «Анну Каренину» просто любят. Не знаю, есть ли в этом произведении нечто специфически датское (кажется, нет), но этот роман очень близок датчанам. В наших библиотеках это одна из наиболее читаемых книг. Переживания Анны, ее страдания волнуют нас глубиной и силой чувств. Толстой хорошо знал мрачные стороны человеческой души, без изображения которых литература была бы лишена искренности.

В XIX столетии, которое можно назвать веком романа — достаточно вспомнить имена Бальзака, Диккенса, Достоевского, Флобера и Толстого,— Толстой возвышается, как вековой дуб, который простирает к нам свои могучие ветви. Этот гигант щедро одаряет нас богатством своего творческого воображения.

Произведения Толстого широко известны повсюду. Нам — младшему поколению писателей — есть за что его благодарить и есть чем восхищаться. Эту благодарность и восхищение я выражаю от имени датских писателей. Благодаря своему искусству, Толстой стал одним из тех художников, которые создают тесную связь между народами. Мне кажется, что это наивысшая оценка писателя, поэтому имя Толстого мы произносим с восхищением, уважением и любовью.

Перевод с датского А. Я. Эмзиной.

НГУЕН КОНГ ХОАН

Вьетнамский писатель (р. 1903)

Дорогие друзья!

Для меня большая честь представлять Союз писателей Вьетнама на чествовании памяти Льва Толстого, великого писателя, учителя и наставника литераторов всего мира. Позвольте мне от имени вьетнамских писателей передать нашим друзьям, советским писателям, и всем друзьям, присутствующим здесь, искренний привет.

Дорогие друзья, мне, скромному ученику и поклоннику великого Толстого, трудно в нескольких словах передать все, что переполняет мое сердце.

Во многих выступлениях уже говорилось о том, какое влияние оказывают произведения Толстого на читателей и как люди во всем мире ценят и любят книги великого Толстого. Мне хотелось бы привести несколько простых примеров, рассказывающих о том, как велико влияние произведений Толстого на наших читателей и как они дорожат его бессмертными творениями.

В тяжелые дни войны против французских колонизаторов находились люди, которые, боясь трудностей и лишений, оставались во временно захваченных врагом городах,— это были, в основном, выходцы из помещичьих и буржуазных семей. В то время, когда народ боролся не на жизнь, а на смерть, эти люди искали спокойной и сытой жизни.

В одной из таких семей, пошедших в услужение к колонизаторам, был юноша, которого отдали во французскую школу. Когда он изучил французский язык настолько, что смог читать, он, не знаю, каким путем, раздобыл у своих друзей несколько книг русских авторов, хотя колонизаторы в то время всячески препятствовали тому, чтобы наша молодежь занималась чтением, а тем более читала книги писателей России, страны коммунизма. Юноша прочел книги Толстого и стал думать над смыслом жизни, над тем, какое воспитание получил он в своей семье. Он понял, что должен стать на путь духовного совершенствования и бросить праздный образ жизни человека «comme il faut», который он вел. Этот юноша связался потом с движением Сопротивления и ушел в освобожденный район, оставив родителей, сбросив иго мещанского благополучия, навязанного ему семьей. Он был счастлив, когда ему доверили работу в освобожденном районе. Он часто говорил: «Жаль, что во вьетнамском языке односложные имена, а то я взял бы себе имя Николеньки Иртеньева».

Вспоминаю другого юношу. Уже с первых дней войны он стал одним из участников Сопротивления. Трудно рассказывать обо всех тяготах, которые тогда выпадали на их долю. Приходилось носить за плечами в своем вещевом мешке буквально всё: одежду, одеяло, провизию и множество других вещей. Все это приходилось то разбирать, то укладывать снова. Так вот, в мешке у юноши, кроме всего этого, была еще целая кипа исписанных листков бумаги — переписанный от руки роман «Анна Каренина» на вьетнамском языке. Попросив на время чужую книгу, он переписывал этот роман на привалах, пока товарищи его отдыхали. Это был поистине огромный труд. Этот юноша пронес книгу Толстого по тяжелым, залитым кровью дорогам войны; эта книга прошла вместе с ним, может быть, тысячи километров.

Здесь, в день юбилея писателя, который отмечается и в моей стране, я говорю об этих проявлениях нашей любви к Толстому, и думается мне, что великий Толстой полюбил бы наших читателей, людей далекого Вьетнама, народ моей страны, любящий и почитающий все ценное в мировой культуре.

Мне вспоминается отрывок из разговора Ленина с Горьким о Толстом. Ленин спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

И сам себе ответил:

— Никого.

Я думаю, что если бы Ленин вместо слова «Европа» сказал тогда «весь мир», ответ остался бы таким же бесспорным.

Перевод с вьетнамского М. Н. Ткачева.

АЛЕКСАНДР ВУЧО

Югославский писатель и критик (р. 1897)

Трудно сказать нечто новое о Льве Николаевиче Толстом, об этом колоссе — по выражению Горького,— о силе его ума, о богатстве источников его душевных сил. Трудно сказать нечто новое после всего, что сказано и написано о Толстом и его произведениях не только под этим небом, и не только в нашу эпоху, а уже в течение целого столетия и во всем культурном мире.

Только в моей стране, по неполным данным, которыми я располагаю, опубликовано о Толстом и его творчестве свыше трех тысяч работ, эссе, критических статей, обзоров, заметок. Я думаю, что с моей стороны было бы нескромно заниматься анализом литературного творчества Толстого, этого совершенного зеркала, в котором можно увидеть всю жизнь русских людей,— заниматься анализом произведений, о которых можно уверенно сказать: вот здесь сама жизнь входит в душу и сознание читателей Толстого.

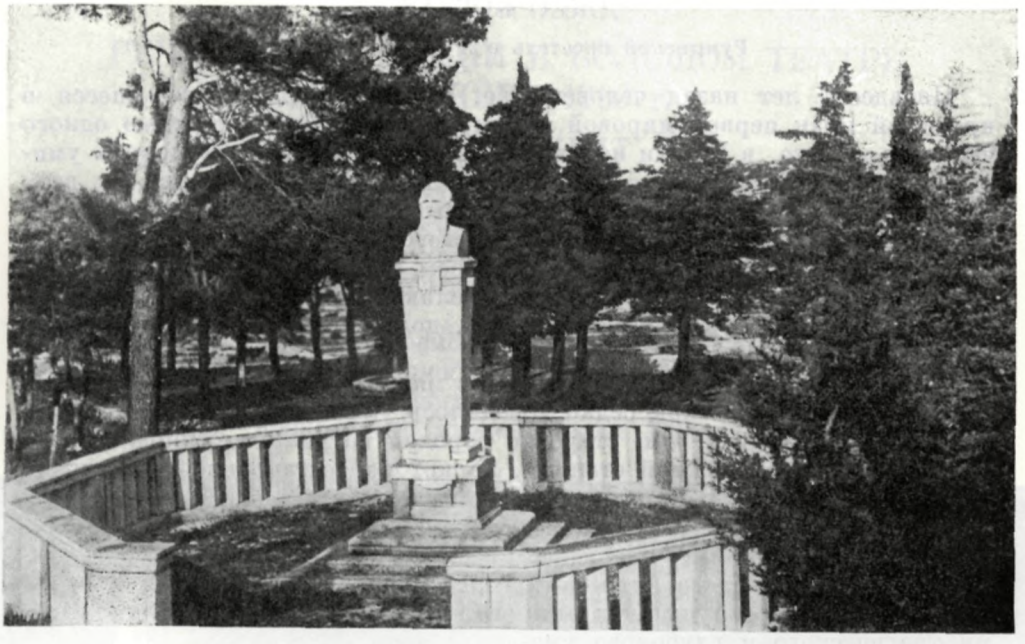
Однако я попытаюсь сказать несколько слов о значении гениального творчества Толстого для мировой и югославской литературы. Неоспоримо, что современная мировая литература определенным образом отдалилась от толстовского метода, но так же неоспоримо, что осталась надолго живой и необычайно действенной отличавшая Толстого страсть горения в искусстве и его почти пуританская приверженность к полной и неизменной правде.

Все еще актуальны и долго будут жить в мировой литературе почти все проблемы, которые с таким жаром ставил Толстой, проблемы человеческой этики, проблемы жизни и смерти, человеческого существования, человеческой судьбы. Описывая человеческую жизнь, Толстой не поэтизировал ее, а непосредственно рисовал действительность, срывал маски и снимал грим, за которым часто прячется настоящая жизнь. Толстой смело называл вещи своими именами, и поэтому его творения остаются светочем, памятником не только национальной, но и мировой литературы.

Непреходяще мировое значение Толстого — художника-психолога. Он не ограничивается в своем творчестве изображением результатов психологического процесса; его интересует сам процесс, скрытые, едва заметные явления внутренней жизни человека, явления, меняющиеся с необычайной быстротой и неисчерпаемым разнообразием.

Толстой-мыслитель также жив в наши дни. В его произведениях, как отмечал Ленин, отражается стремительная, трудная, беспощадная ломка всех старых «основ» старой России,— это волнует и многих честных современных писателей в капиталистических странах.

Необычайная долговечность Толстого не только в национальной, но и в мировой литературе объясняется также его отношением к литератур-



ТОЛСТОЙ

Бюст, установленный в местечке Селца на острове Брач (Югославия)
Коллективная работа югославских каменотесов, 1914
Первый памятник Толстому в Западной Европе
Фотография, 1964. Предоставлена «Литературному наследству» Верой Стоич (Белград)

ной форме. Форма для него — не костюм, а кожа, быть может, даже самая плоть литературного произведения. Он считал, что каждый великий писатель должен создавать свои формы и что бесконечное разнообразие присуще не только содержанию художественных произведений, но и их форме. Лучшим подтверждением этих взглядов Толстого являются его собственные произведения.

Толстой в Югославии — самый читаемый и самый любимый из иностранных писателей. И это не фраза. Начиная с 1870 года, когда в новосадском журнале «Даница» печаталось частями его «Семейное счастье», и до наших дней у нас опубликовано свыше ста пятидесяти книг Толстого общим тиражом более полутора миллионов экземпляров — цифра для Югославии весьма внушительная. После освобождения темп изданий произведений Толстого нарастал. Во всех наших народных республиках и на всех национальных языках напечатаны или готовятся к изданию книги Толстого и все чаще появляются собрания его сочинений.

О том, с какой болью воспринята была смерть Толстого в моей стране, может рассказать выдержка из статьи, которая в ноябре 1910 года появилась в литературной газете «Бранково коло», выходившей в начале века в Сремских Карловцах (это небольшой сербский городок на берегу моря, занимающий, однако, большое место по своей культурной традиции).

В этой статье говорилось:

«В лесу упал высокий и могучий дуб, и весь лес стал куда реже и беднее».

Перевод с сербского И. М. Литваковой.

ДЖЕО БОГЗА*

Румынский писатель и журналист (р. 1908)

Пятьдесят лет назад человечество, тогда еще не погрузившееся в кровавый мрак первой мировой войны, было потрясено смертью одного человека. Где-то в России на маленькой железнодорожной станции умирал величайший писатель мира, гигант человеческой мысли. На всех пяти континентах воцарилась тишина, слышались лишь всё более редкие удары сердца Льва Николаевича Толстого.

И когда пасмурным ноябрьским утром это горячее, сильное сердце остановилось, человечество охватила великая скорбь. Смерть Толстого явилась для его современников драмой, долгое время волновавшей умы и сердца...

Умирал великий писатель, человек с мятежной душой, непокорный и страстный, умирал — как редко доводилось умирать тем, у кого за плечами восемьдесят лет. Он, старец с бородой патриарха, умирал на маленькой железнодорожной станции, на которой остановился под чужим именем, бежав ночью из своего дома, как стремительный, непокорный юноша. Умирал, гонимый ненавистью царских жандармов. Умирал, вызывая слезы на глазах у русских крестьян.

Горячо желая блага ближним, Толстой порой заблуждался в своих поисках. Но его заблуждения были заблуждениями титана, заблуждениями трагического и глубокого ума.

Рыбаки, живущие на берегу моря, бывают иногда свидетелями страшных кораблекрушений. В бурном, окутанном туманом море натолкнувшийся на скалу корабль тонет, погружаясь в черную бездну. Во мраке ночи слышатся пушечные выстрелы, тщетно посылаются сигналы бедствия, затопляемый огромными волнами корабль медленно идет ко дну.

Смерть Толстого потрясла все человечество, словно оно увидело крушение невероятно огромного корабля.

С тех пор прошло пятьдесят лет. И сегодня мы с благоговением вглядываемся в лицо Толстого.

Как румынский писатель я с глубоким почтением склоняю голову перед памятью великого Толстого. Славя этого титана, мы славим гений русского народа, который в наши дни ценой величайших жертв и с легендарным героизмом решил многие из основных проблем человечества.

За последние годы, с тех пор как между румынским и советским народами установились глубоко дружественные связи, произведения Толстого получили в нашей стране самое широкое распространение. За это время было опубликовано пятьдесят четыре названия произведений Толстого, общим тиражом в семьсот — семьсот пятьдесят тысяч экземпляров. Оценка, данная Толстому Лениным, явилась для нас важным руководством в решении сложной проблемы литературного наследия. В наших журналах появились десятки исследований, сотни статей о творчестве Толстого. Внимательно присматриваясь к окружающей действительности, наши писатели всегда стремятся следовать примеру советской литературы, великих русских классиков и, прежде всего, Льва Николаевича Толстого.

Название одного из самых известных произведений Толстого выражает основную проблему современной жизни человечества — это «Война и мир».

Отмечая пятидесятилетие со дня смерти великого русского писателя, мы должны умножить свои усилия в борьбе за победу мира во всем мире.

Перевод с румынского И. Ф. Огородниковой.

* Текст речи поступил с опозданием и не был оглашен.— *Ред.*

3

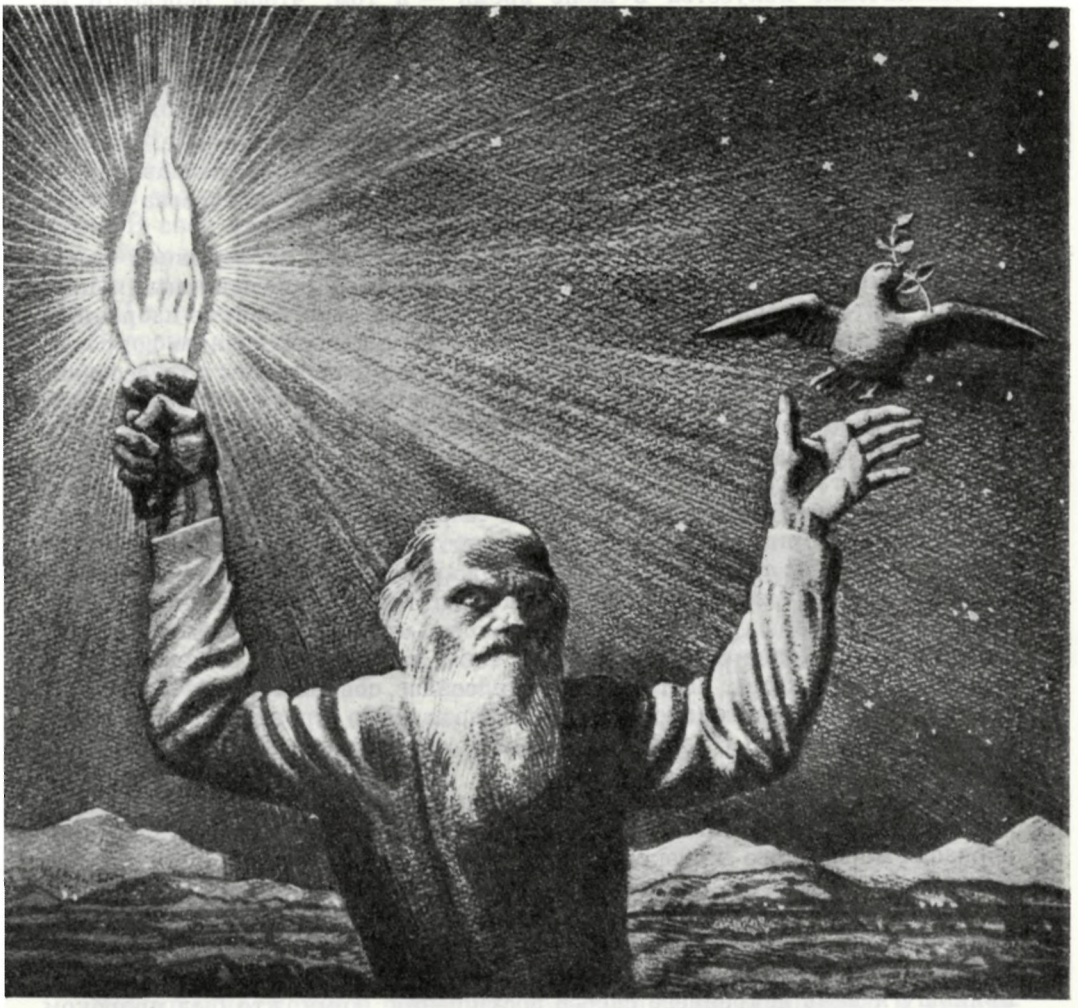
РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ 19 НОЯБРЯ 1960 г.

РОКУЭЛЛ КЕНТ

Американский художник и общественный деятель (р. 1882)

Огромное, почти в половину земного шара расстояние преодолел я, американец, для того, чтобы в коротком, но от сердца идущем слове отдать бессмертному Толстому дань восхищения, которое уже более полувека живет во мне.

Попытайтесь, если это возможно, вообразить меня таким, каким я был в те годы,— юношей, стоящим еще только на пороге совершеннолетия, целиком во власти высоких мыслей о жизни, о судьбах человеческих. Каким прекрасным представлялся этому юноше мир! Как



ТОЛСТОЙ

Рисунок Рокуэлла Кента (итальянский карандаш, белила), 1963
Выполнен для настоящего тома «Литературного наследства»

Музей Толстого, Москва

лучезарно счастливы должны были бы быть люди. А между тем как много в мире горя! Следует помнить, что молодежь особенно чувствительна к несправедливости, к страданиям своих ближних, к тем противоречиям, которые преподносит жизнь. Так как я с юных лет посвятил себя искусству, то меня уже тогда волновали вопросы о назначении, о целях искусства и даже о целях самой жизни. И вот однажды...— тут, чтобы освежить в памяти то время, я позволю себе обратиться к автобиографии, написанной мною несколько лет назад:

«Однажды... я снова взял с полки „Что такое искусство?“ и стал читать. И вдруг словно все мое существо обрело способность выражения, словно какое-то божество заговорило в моей душе, чудесным образом превратив тот хаос, которым тогда был я — мой мозг, мое сердце, душа, совесть,— в человека цельного, знающего и целеустремленного».

Не в моих привычках делать в книгах какие-либо пометки, но в книге, которую я в тот день держал, пометки есть: отчеркнуты последние абзацы. Вот они:

«Назначение искусства в наше время — в том, чтобы перевести из области рассудка в область чувства истину о том, что благо людей в их единении между собою, и установить на место царствующего теперь насилия то царство божие, т. е. любви, которое представляется всем нам высшею целью жизни человечества.

Может быть, в будущем наука откроет искусству еще новые, высшие идеалы, и искусство будет осуществлять их; но в наше время назначение искусства ясно и определенно. Задача христианского искусства — осуществление братского единения людей».

Обретя более полное понимание искусства в его неразрывной связи с условиями существования человека как общественной единицы, я продолжал учиться у моего наставника Толстого, и в двухтомнике избранных его сочинений по общественным, нравственным и религиозным вопросам находил подтверждение, в еще более углубленном виде, тем полуосознанным мыслям, которые пробудил во мне трактат «Что такое искусство?» Искренне и горячо одобрял я страстный призыв Толстого к людям жить в мире и братстве, полное и безоговорочное принятие им нравственного учения Христа, убежденность его в том, что только те, кто трудится, являются нормой и образцом для всех людей».

С той поры минуло шесть десятков лет. И пусть я за свою жизнь во многом отошел от толстовского евангелия, пусть часто — говоря словами молитвы той религии, в которой я был воспитан — «совершал то, чего не должен был совершать, и не совершал того, что совершить был обязан», тем не менее многие нравственные догматы толстовского евангелия оказались пророческими, настолько они и сейчас современны. Ибо сегодня главной задачей не только искусства, но любого проявления человеческого духа является, безусловно, именно осуществление «братского единения» людей.

И даже если отвергать «христианскую» мораль Толстого как неподходящую для революционных свершений, разве не является она прообразом морального кодекса теперь уже близкого коммунистического общества?

Таким образом, я пою сейчас хвалу не прославленному писателю с мировым именем. Нет, одинокому, порой осмеиваемому и почти забытому «христианскому» моралисту Льву Толстому, пророку Льву Толстому приношу я дань искреннего своего восхищения. Тому, кто был пророком мира, глашатаем братства людей. Народы земного шара должны, наконец, открыть свои сердца его проповеди. И да будет мир во всем мире памятником великому Толстому!

Перевод с английского М. Е. Михелевич.

II. ВЫСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

СТАТЬИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ А. ВИКСТЕНА, П. ГАСКАРА, У. ДЮБУА (ДЮ БОЙСА), Я. ИВАШКЕВИЧА, А. КАРПЕНТЬЕРА, Ш. О'КЕЙСИ, У. К. КЕККОНЕНА, В. КЕППЕНА, А. КЕТТЛА, К. КРИПАЛАНИ, К. ЛЕВИ, Э. ЛО ГАТТО, А. Н. ЛУНДКВИСТА, Ф. МОРИАКА, НАКАМУРА ХАКУЁ, З. НЕЕДЛЫ, Л. НЕМЕТА, ДЖ. НЕРУ, А. ОМРЕ, У. САРОЯНА, Э. СИНКЛЕРА, Ч. П. СНОУ, Л. СТОЯНОВА, Л. ФРАНКА, ХО ШИМИНА, Б. ЧАТУРВЕДИ, С. Ш. ЧАУХАНА и А. Л. Ф. ШВЕЙЦЕРА

АЛЬБЕРТ ВИКСТЕН

Об Альберте *Викстене* см. выше, на стр. 242 настоящего тома.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА

Значение его для мировой литературы — невероятно велико. И дело не только в его народности, в поисках правды или блестящем мастерстве стиля. В нем была какая-то волшебная сила, которая делала его произведения понятными и специалисту-литературоведу, и среднему читателю, и даже человеку, имеющему весьма отдаленное представление о литературе. В свое время Толстой овладел умами тысяч людей, стал их путеводной звездой.

Мир на земле — вопрос, который волнует сегодня очень и очень многих. И это весьма близко тому, что проповедовал Толстой.

Впервые я познакомился с книгами Толстого когда мне было семнадцать лет и я работал лесорубом на севере Швеции. Нельзя сказать, чтобы я и мои тогдашние друзья были очень начитанными. Но у нас появился тогда социалистический клуб. Там мы, кроме других занятий, изучали и обсуждали книги Толстого.

Эти традиции продолжаются и сейчас.

В Швеции есть много клубов и кружков, особенно рабочих, где занимаются русской классической и советской литературой. Их количество заметно выросло после запуска спутников, так же, как вырос интерес к русской культуре, языку и вообще всему, что связано с СССР.

Пятьдесят три года назад я впервые познакомился с Толстым и полюбил его. С тех пор я много раз перечитывал его произведения. Величие Толстого неоспоримо. Но теперешнее чествование делает его вновь очень современным. Уезжая сюда, в Москву, как представитель своей страны, я явственно почувствовал, что интерес к Толстому необычайно силен в сегодняшней Швеции.

«Советская культура», 19 ноября 1960 г.— Перевод с шведского.

ПЬЕР ГАСКАР

Французский писатель (р. 1916)

ВОСХИЩЕНИЕ

Восхищение, которое французы испытывают по отношению к Толстому (из всех русских писателей он, пожалуй, наиболее известен в нашей стране), имеет двоякое объяснение.

Я думаю, что не ошибусь, приписывая главную долю обаяния Толстого мысли писателя, исполненной великодушия и гуманизма, которые по

сей день находят отклик в умах многих наших современников. Среди других причин неувядаемой жизненности Толстого — его художественное мастерство, с моей точки зрения, достигшее наибольшего совершенства в «Войне и мире».

В то же время мы, конечно, не забываем о наивности, присущей деизму и сентиментальности великого писателя. Но во второй половине XIX века они имели свое оправдание, и Толстой, несмотря на извилистый путь его мысли, по-своему пробуждал в людях стремление идти путем «доброй воли».

Так обстоит дело с толстовской философией, отмеченной выраженным стремлением охватить всех и вся и зачастую весьма туманной. Остается искусство романиста, искусство, лишенное какого бы то ни было формализма, необычайно впечатляющее, великолепное искусство. В «Войне и мире» — книге, которую я ставлю выше всех других произведений Толстого,— он обнаруживает еще и мастерство историка. Вернее, он оживляет, обогащает искусство историка и, хотя описывает события 1812 года, создает самый яркий и близкий для французов образ русского народа.

Париж

«Литературная газета», 17 ноября 1960 г. — Перевод с французского.

УИЛЬЯМ ДЮБУА (ДЮ БОЙС)

Негритянский историк и писатель. Член Всемирного Совета Мира (1868—1963)

СЛОВО АМЕРИКАНЦА*

Творчество Толстого получило широкий, хотя и несколько противоречивый отклик в Соединенных Штатах. Сначала мы видели в нем великого мятежника, протестующего против царской тирании. Потом Толстой стал для нас русским писателем, а все русское у нас связывают с социализмом и коммунизмом. Однако мы цеплялись за его «Войну и мир», так как считали себя миролюбивой страной. Но постепенно наша страна заняла место главного защитника войны и теперь тратит чудовищные суммы денег на войну. И нашим мыслителям и писателям стало трудно поддерживать контакт с великим русским поборником мира.

Я затрудняюсь определить, какое место сейчас отведено Толстому в наших университетских программах. Я не был бы удивлен, если бы узнал, что его фашистствующим родственникам** уделяется больше внимания, чем ему — великому защитнику угнетенных русских крестьян. Сомневаюсь и в том, чтобы Толстой занимал видное место в списках литературы, рекомендуемой для чтения нашей молодежи. Но популярность его не увядает. Она будет расти и шириться вместе с размахом социализма, по мере прекращения войн и по мере того, как мы в Америке научимся правильно оценивать вашу грандиозную революцию, принявшую ныне огромный размах в стремлении навсегда покончить с войнами.

Нью-Йорк.

«Литературная газета», 19 ноября 1960 г.— Перевод с английского.

---

* Публикуемая заметка написана в то время, когда Дюбуа жил в США.—*Ред*

** Речь идет о «деятельнице» белоэмигрантского «Толстовского фонда» в США А. Л. Толстой. — *Ред.*



Les deux Retours

I

Kornéi Wassilieff avait bien cinquante-quatre ans quand, pour la première fois, il revint au village. Pas un cheveu blanc n'apparaissait alors dans sa chevelure épaisse, noire et crépue. Seule, à la naissance de sa barbe, aux tempes, quelques poils grisonnaient légèrement. Aucune ride ne creusait sa figure jeune et rose; sa nuque était large et puissante et, conséquence inévitable de la bonne vie séden-



«КОРНЕЙ ВАСИЛЬЕВ». ИЛЛЮСТРАЦИИ И. Я. БИЛИБИНА

Гравюры французского художника д'Остойя

Из книги: L. Tolstoï. Idylles paysannes. Paris, 1924

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

О Ярославе *Ивашкевиче* см. выше, на стр. 197—198 настоящ. тома.

ВЫСОЧАЙШАЯ ВЕРШИНА

Многократно доводилось мне выступать с так называемыми высказываниями на тему о личности и творчестве Льва Толстого. Писал я и более обширные статьи. Но всегда из-за своей необозримости эта тема ускользает из рук, и мне так трудно определить все свое отношение к великому писателю. И не только потому, что многолетнее творчество автора «Войны и мира» было столь необъятно и сложно, но также и потому, что наш сегодняшний день так необъятен и сложен и обычное определение отношения к такому небывалому явлению становится просто невозможным.

Мое поколение, которое так много пережило на протяжении пятидесяти лет, что отделяют нас от кончины Толстого, всегда находило в произведениях великого затворника из Ясной Поляны то, чего в данную минуту жаждало. Эти открытия в творчестве Толстого, столь монолитном, того, что нам созвучно, свидетельствуют об одном: что самым главным для писателя являлась всегда человеческая жизнь и ответы на вопросы, которые она нам задает.

Любовь Толстого к жизни и показ ее триумфов наполняли нас всегда чем-то вроде спокойствия. Толстовское приятие жизни — вечный источник оптимизма.

Быть может, поэтому и в страшную годину двух войн, которые мы пережили после его смерти, и в трагические, возвышенные и порой непостижимые для свидетеля дни революции, и во время строительства нового мира произведения Толстого не старились. Мы приходили к нему всегда, словно к источнику, чтобы вкусить прохладу, успокоение.

Не знаю, есть ли на свете другой источник, столь же необходимый современному человеку? Я лично всегда ставлю Толстого рядом с другими гигантами, пример которых помогает мне жить, а иногда и понимать то, что окружало меня эти полвека.

Я помню день смерти Толстого и то огромное впечатление, которое его кончина произвела на весь мир. В этом моменте воплощалось, кристаллизовалось одно из величайших достижений человеческой жизни: то, что было рекой, превращалось в могучую вершину. Таким мне и представляется с тех пор творчество Толстого — как одна из высочайших вершин, каких достигло внутреннее совершенство человека и виртуозность дела рук его.

Варшава.

«Литературная газета», 19 ноября 1960 г.— Перевод с польского.

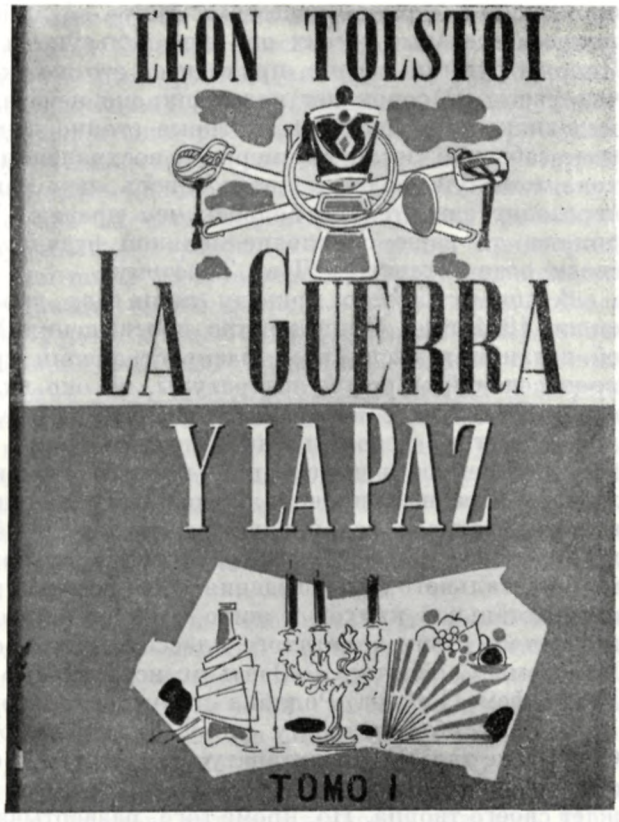
АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

Кубинский романист (р. 1904)

ЗНАЧЕНИЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Не раз высказывалось довольно легковесное суждение, будто латиноамериканец склонен безоговорочно подражать любой европейской литературной моде. По сути дела, оно, казалось бы, так и должно было бы быть. Он, потомок испанцев, всегда считал испанскую литературу своей собственной. Чутко воспринимая в дни своих освободительных войн гуманистические идеи французов — Монтескье, Руссо, энциклопедистов,— увлекаясь новаторством французской поэзии, латиноамериканец не избежал известного «офранцуживания», особенно ярко выразившегося в

«ВОЙНА И МИР»
АРГЕНТИНСКОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ
(БУЭНОС-АЙРЕС, 1957)
Художник Гори Муньос
Суперобложка



модернизме начала нашего века. Хорошо знающий английский язык латиноамериканец внимательно изучает английскую и североамериканскую литературы. В силу всего этого можно было бы предположить, что латиноамериканец подвержен влиянию космополитизма. А между тем в действительности происходит обратное: инстинктивно отталкиваясь от всего, что наложило бы чужую печать на его национальный характер, латиноамериканский писатель, художник обращаются к своему собственному миру в поисках своей, латиноамериканской темы. Лучшие произведения нашей литературы как в прошлом, так и в настоящем посвящены латиноамериканской тематике, и каждое такое произведение представляет собой все более и более удачную попытку приблизиться к нашей географической, национальной, исторической и психологической действительности.

Наша действительность мало описана, она еще ждет своего художественного воплощения; иначе говоря, мы еще не овладели искусством изображать вещи так, чтобы они предстали перед читателем как живые.

С другой стороны, океан, отделяющий нас от Европы, представляет собой своеобразный «критический фильтр», хотя книги и журналы, издающиеся в Старом свете, переплывают его с легкостью. После бурного восторга перед тем или иным литературным течением, возникшим в Париже или в Германии, у нас наступает период пересмотра позиций и разочарования, в результате чего иной прозаик или поэт, пусть даже превозносимый французской критикой, забывается у нас навсегда. Поколение 1920-х годов восхищалось некоторыми в значительной степени умозрительными романами Анатоля Франса, как, например, «Восстание ангелов» или «Таис», а в наши дни в Латинской Америке их мало читают. То же самое

произошло и с рядом известных фигур английской литературы, с драматургами, которые до сих пор еще пользуются популярностью в Европе. Положа руку на сердце, приходится это же сказать о Леониде Андрееве, чьи рассказы сорок лет назад широко печатались у нас.

Однако есть писатели, которые стойко выдерживают поверку временем, забвение после чрезмерного восхваления им не грозит. Антон Чехов, пожалуй, более понятен теперь, чем раньше. Маяковского сейчас переводят значительно больше, чем прежде. Что же касается русского романа, то наше поколение целиком отдало помыслы единственному в своем роде гиганту — Льву Толстому.

В доказательство приведу лишь два красноречивых факта. Когда около 1924 года Министерство просвещения Мексики приняло решение об издании и бесплатном распространении среди народа классических произведений мировой литературы, то оно включило в эту серию сочинения Толстого, сопроводив их биографией великого русского писателя. А в 1960 году революционное правительство Кубы, постановив создать государственное издательство, которое должно выпускать для народа лучшие образцы мировой литературы, включило роман «Война и мир» в первый список рекомендуемых произведений. Спустя почти девяносто лет после того как Толстой приступил к сбору материалов для своего монументального произведения, его роман продолжает оставаться для нас настольной книгой и живо волнует каждого из нас. «Война и мир» незыблемо стоит в каталоге классических произведений рядом с «Дон-Кихотом» Сервантеса, «Овечьим источником» Лопе де Вега, «Жаном-Кристофом» Ромена Роллана и лучшими творениями Шекспира.

Чем же объяснить эту славу Льва Толстого в Латинской Америке? Отнюдь не только его литературным мастерством. В «Войне и мире» Толстой дал образец эпического романа, который на нашем континенте еще ждет своего творца. Но, кроме того, развертывая монументальное полотно русской жизни до, во время и после наполеоновского нашествия, он раскрыл перед нами мир, который поразительно похож на наш,— мир, который мы знали, пережили или выстрадали в течение многих поколений, начиная с первых битв за независимость, возникших по капризу истории в те же годы, в которые Лев Толстой начинает свое поприще. Однако различие состоит в том, что после наполеоновского нашествия жизнь русского общества в России — и русская литература — изменились значительно быстрее, чем в странах Латинской Америки. Наше общество продолжало следовать нормам и обычаям индивидуалистического общества, которое так прекрасно изобразил Лев Толстой в первой части «Войны и мира».

Гостиная Анны Павловны напоминает салоны, которые еще в 1920 году посещались молодыми людьми из зажиточных и буржуазных, аристократических семейств Лимы, Буэнос-Айреса или Гаваны. Та же манера болтать по-французски или по-английски, то же бахвальство просвещенным космополитизмом, но лишь постольку, поскольку не приходится беседовать на чересчур серьезные или волнующие темы. (Вспомните эпизод из «Войны и мира», когда хозяйка дома резко обрывает спор Пьера с аббатом Морио о плане «вечного мира».) Беседы должны быть занимательными, но не должны рождать проблем, которые бы заставляли думать. Барышни выставляли напоказ свою красоту, ища «хорошей партии», причем брак часто заключался без обоюдного согласия будущих супругов. (Письмо княжны Марьи к Жюли Карагиной: «Как бы ни было тяжело для меня, но если Всемогущему угодно будет наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться исполнять их так верно, как могу, не заботясь об изучении своих чувств в отношении того, кого Он мне даст в супруги».)

Образ Долохова словно выхвачен из латиноамериканской жизни, какой она была лет тридцать назад. Усадьба Лысые Горы похожа — разумеется, отнюдь не по флоре — на огромные асьенды Кубы, Мексики, Венесуэлы, так хорошо знакомые нам в детстве. Шалости Наташи Ростовой с веером; слуги, подглядывающие через полуоткрытые двери гостиной, где граф Ростов пляшет «Данилу Купора», как наши слуги в прошлом подглядывали за господами, танцевавшими североамериканскую новинку — фокстрот; молодежь за пением сентиментальных романсов, стремящаяся забыть прозу жизни — тревоги о наследстве, придворной карьере, громкие титулы или позор незаконнорожденного; чудаковатый старик Болконский, преподающий своей дочке алгебру и геометрию и занимающийся физическим трудом, следуя идеям Руссо; игорные столы, тонкие вина, интриги и дуэли, обширные загородные имения с бесчисленной прислугой — весь этот мир, изображенный Толстым в первой части романа, хорошо знаком нам и перекликается с воспоминаниями детства и юности, только перенесенный на другой фон и в другие рамки. Мы отлично понимаем русскую действительность, выведенную Толстым, поскольку наша жизнь начала этого века была чрезвычайно похожа на нее. Этот мир очень похож на наш, так же, как еще совсем недавно жизнь наших провинциальных городов была похожа на ту, которую нарисовал Чехов в «Трех сестрах».

В первых главах великого творения Толстого почти не появляется народ. Но по мере того как война — фактор эпический — начинает выходить на первый план, появляется «общинная сила», все более могучая и активная, воплощенная, в том числе, и в фигуре Платона Каратаева. По мере того как растет и определяется эта «общинная сила», главные герои, те, в чьих руках, казалось, находятся судьбы масс, все более упускают из рук нити, управляющие ходом исторических событий. Наполеон и Александр — «люди, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось», были захвачены движением и увлечены массой: «Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила <...>, согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин».

Также и наша сравнительно короткая история, история испанских колоний, освобожденных полтора века назад,— а Куба освободилась каких нибудь шестьдесят лет назад,— освобожденных, чтобы иной раз попасть под иго, столь же тяжкое, каким было испанское,— знает эту вспышку народных сил, незаметных, долгое время находившихся под спудом, однако бурных и неодолимых в войнах за независимость и в революциях. До 1910 года индейцам в мексиканской литературе отводилось весьма незначительное место. Однако стоило вспыхнуть революции, как этот массовый герой растет, становится гигантом, превращается в основную действующую силу, и с тех пор роман мексиканской революции показал в полном смысле слова новое лицо индейца. То же самое произошло с аргентинским «гаучо» в прошлом веке, с венесуэльским «льянеро» после кампаний Боливара и Сукре и с негром Карибских островов после двухсотлетней полосы бесчисленных восстаний на Ямайке, в Гаити, в Гвианах.

Я провожу эту аналогию между нашей историей и ходом событий в эпопее Толстого, чтобы показать, как способствует проникновению в мир литературного произведения действительность, сходная с изображенной в нем. Вот почему в Латинской Америке великое творение Толстого доныне не утеряло своей былой популярности. Простой человек, уроженец затерянной в горах долины, житель безвестной деревушки или невзрачного городского предместья встает перед нами «вечным олицетворением

духа простоты и правды» — подобно Платону Каратаеву, который, быть может, неспособен к интимной привязанности — любви или дружбе, как их понимает Пьер Безухов, однако «любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком, — не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами». В наши дни эти простые люди вновь появились на сцене истории — они спустились с гор Сьерра Маэстры вместе с кубинской революцией.

Говоря о литературной технике, можно утверждать, что Лев Толстой был замечательным предшественником композиционной полифонии. Правда, не он ее изобрел, ибо французские беллетристы начала прошлого века, авторы «романов с продолжением», зачастую прибегали уже к этому приему. Однако интересно отметить, что этот прием, весьма действенный в авантюрном романе, где он позволял автору расширять рамки повествования, не скоро укоренился в серьезной литературе. Почти аристотелевское стремление к единству действия определяет структуру таких классических романов, как «Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств» Флобера, произведений, написанных, примерно, в то же время, что и великие творения Толстого. А писатель, который не приемлет такую композицию, как правило, никогда не сможет достигнуть широты охвата жизни в романе, где одновременно рисуется мир Александра I и мир Наполеона, европейской дипломатии и русской знати, где, подобно хору древней трагедии, выступают народные толпы и армии в походе, где мы присутствуем на военных советах и заседаниях масонской ложи, где находится место и для мессианских идей Жозефа де Местра и для картин частной жизни, контрастирующих своей ограниченностью с великим свершением эпохи.

Писатели-романтики иной раз пользовались этим методом, однако не в таком масштабе. Кроме того, восхищаешься умением Толстого показать общее через детали. Целое сражение может быть передано описанием действий одной лишь батареи, небольшой эпизод раскрывает перед нами общий смысл исторического события. Писатель дает эскиз, набросанный словно мимоходом, прозрачную акварель, которой сам, кажется, не придает значения,— а перед нашим воображением разворачивается монументальная фреска. У Толстого мы находим приемы психологической характеристики, предвещающей наш современный стиль. Вспомним восхитительную тринадцатую главу из третьей части второго тома, где Наташа в ночной кофточке шаловливо забирается в постель матери, желая поговорить с ней о Борисе, и начинает целовать ее пальцы: «Январь, февраль, март, апрель, май...» Погружаясь в мир неосознанных эмоций, ощущая цвет как характеристику, она дает блестящие психологические портреты: Борис «узкий, серый, светлый»; Пьер же «темно-синий с красным». И дальше Наташа говорит о самой себе в третьем лице: «как... она мила», «воображая,— по словам Толстого,— что это говорит про нее какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина... Все, все в ней есть,— продолжал этот мужчина,— умна необыкновенно, мила и потом хороша, необыкновенно хороша, ловка, плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать, удивительный голос!» Здесь героиня покидает собственное «я», чтобы увидеть себя со стороны чужими глазами. В этой главе виртуоз Толстой достигает непревзойденных высот художественного мастерства. У Толстого в «Войне и мире» это не просто частный прием, а строго выдержанная, последовательно проведенная техника композиции, которая помогла ему создать этот литературный *космос*, где равно значительны и микро- и макромир, где отдельный индивидуум и *общественная практика* движутся бок о бок.

В силу этого совсем недавно я рекомендовал молодым кубинским писателям роман «Война и мир» как прототип эпического романа, создание

которого настоятельно диктуется ходом нашей революции с ее многочисленными темами, которые должны быть раскрыты в своей взаимосвязи: подпольная работа в городах, партизанское движение в горах, жизнь в изгнании и заточении, разворот событий во вражеском лагере с его терроризм, разложением, роскошными отелями, игорными домами и приносящей огромные барыши грязной коммерцией, которую активно поддерживала тирания Батисты. Мне не представилось более блестящего образца для того, кто при наличии таланта захотел бы создать полотно из трех или четырех развивающихся одновременно повествований, воспроизводящих одну и ту же действительность. Я не пытался при этом утверждать, что для создания такой эпопеи мы непременно должны располагать гением, подобным гению Льва Толстого. Я лишь рекомендовал нашим писателям метод, примененный великим русским романистом для воссоздания эпохи во всей полноте ее событий, осмысленных творческим воображением.

Метод этот, прежде всего, заключается в скрупулезном сборе фактического материала, относящегося ко времени действия романа. Мы знаем, какую огромную роль сыграли изучение Толстым дневников и воспоминаний, дипломатической переписки и других подлинных документов, а также беседы с очевидцами в создании его романа, который, в частности, содержит места, взятые почти текстуально у Тьера. «Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица,— заявил нам сам Толстой в приложении к полному изданию „Войны и мира",— я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг...» Однако Толстой проводит грань между тем, как должен поступать историк, собирая факты, и между тем, как, изучив досконально эти факты, должен над ними работать художник. «Историк,— говорит Толстой,— имеет дело до результатов события, художник до самого факта события».

Иным образом не может быть создан эпический роман. И если кубинской революции рано или поздно суждено отобразиться в эпопее, то нет ничего плодотворнее для будущего ее творца, как поразмыслить над методом Толстого — историка и художника — при создании «Войны и мира», произведения, рядом с которым все другие исторические романы, сколько бы их ни превозносили, кажутся устаревшими и фальшивыми как по форме, так и по содержанию.

Гавана, июль 1960.

«Иностранная литература», 1960, № 11, стр. 226—229.— Перевод с испанского.

ШОН О'КЕЙСИ

Ирландский писатель (1880—1964)

ВЕЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Не только необъятное небо может похвастать звездными россыпями,— у человечества тоже есть свои звезды, и некоторые из них могут поспорить по яркости с любой из звезд, сверкающих в заоблачной выси. В самых различных областях искусства — в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и литературе — блистают, переливаясь разными цветами, бессмертные звезды. Среди литературных светил есть одна немеркнущая звезда, яркость которой год от года возрастает. Этот человек-светило — русский по национальности. Он известен нам под именем Льва Толстого.

Но что такое имя? Одно имя говорит так мало! Как ни назови розу, она не утратит от этого своего аромата, сказал Шекспир. Какое бы имя ни носил Толстой, он был бы так же велик. Само по себе имя мало значит.



«ВОЙНА И МИР» НА СЦЕНЕ ЛОНДОНСКОГО «ФЕНИКС-ТЕАТРА» («PHOENIX THEATRE»), 1943
Сценарий Роберта Лукаса, постановка Ю. Гельпера
Пьер спасает Рамбаля
Пьер — Д. Доусон, Рамбаль — П. Кэшинг, Макар — В. Флетчер, Герасим — Д. Уэллс
Фотография
Музей Толстого, Москва

Пусть оно даже овеяно славой и пользуется известностью чуть ли не в любом уголке мира. Просто знать имя и только — это совсем никуда не годится. Надо знать гораздо больше.

Отсюда следует, что, говоря о Льве Толстом, мы не должны ограничиваться одним повторением его имени, даже если мы будем делать это с почтением и благоговением,— Толстой ни в грош не ставил ни то, ни другое. Если бы существовала загробная жизнь и Роберт Бернс, поэт-пахарь, смог бы встретиться с Львом Толстым, они, по моему глубокому убеждению, отлично поладили бы друг с другом по одной простой причине: без лент и чинов человек может все-таки быть Человеком, каким был Робби Бернс, точь-в-точь так же, как и с лентами и чинами человек все-таки может быть Человеком, каким был Лев Толстой. И тот и другой горячо верили в братство людей, оба не покладая рук боролись за то, чтобы претворить его в жизнь, каждый из них был великим поэтом.

Иногда меня спрашивают: как вы думаете, почему произведения Толстого по сей день остаются такими же современными, как и тогда, когда они были написаны, почему его идеи находят путь к сердцам и умам стольких людей и, главное, в чем заключается «секрет» бессмертия его книг?

Так как О'Кейси не мастер раскрывать тайны, то, насколько это касается меня, «секрет» (если он вообще существует) так и останется неразгаданным. С таким же успехом можно было бы пытаться разгадать секрет бессмертной славы Шекспира. Подобные загадки никто не может разгадать, но зато факты очевидны и понятны каждому: и Шекспир, и Толстой были великими людьми, а у великих есть чудесное обыкновение жить в веках. Нам твердят, что драматург Шекспир и писатель Толстой давно умерли, и тем не менее эти великие люди, эти великие личности своего времени продолжают жить среди нас, укрепляя в наших современниках чувство собственного достоинства, мужество и любовь к прекрасному. Такова уж замечательная способность великих людей — они не только приносят славу своей собственной стране, но к тому же щедро дарят свои духовные богатства как своим соотечественникам, скажем, англичанам или русским, так и всем людям, желающим получить их.



«ВОЙНА И МИР» НА СЦЕНЕ ЛОНДОНСКОГО «ФЕНИКС-ТЕАТРА» («PHOENIX THEATRE»), 1943

Сценарий Роберта Лукаса, постановка Ю. Гельпера

Пролог: 1941 год; солдаты зенитной батареи, охраняющей Москву, вспоминают роман Толстого

Фотография

Музей Толстого, Москва

Толстой обладал на редкость глубоким и смелым умом и широчайшим кругозором. Он брался за разрешение самых сложных проблем. Разрешить многие из них оказалось ему не под силу, некоторые доставляли ему немало мучений, но он брался за разрешение каждой из них с мужеством, на которое способны немногие из нас. Его могучий интеллект отличался сложностью и многогранностью. На всем мышлении Толстого лежала печать поэтической одухотворенности. Такие умы в сочетании с поэтическим мировосприятием настолько редки, их значение для человечества так велико, что им не дано умереть. Любопытно, что все дурное и бесчестное обречено на погибель, и если его иной раз воскрешают в памяти, то делают это с содроганием, а все доброе и благородное сохраняется. Пусть это будет не абсолютное добро и не идеальное благородство,— все же это подлинное добро и подлинное благородство, которые окрыляют человека, придают глубину его мыслям и пробуждают в его груди непреклонную решимость продолжать вдумчиво и деятельно трудиться над тем, чтобы обеспечить нашему миру безопасность и сделать его более прекрасным.

Проблемы, над которыми в свое время ломал голову Толстой, ныне стоят перед нами, причем некоторые из них приняли еще более острый и угрожающий характер,— например, вопрос войны и мира. Черные дни разгула фашизма, обрушившего неисчислимые бедствия на многие страны, научили нас ненавидеть войну, и эта ненависть не угаснет никогда. Новая война привела бы к уничтожению жизни на большей части нашей планеты. Немудрено поэтому, что я, так же как и многие миллионы моих современников, разделяю страстное стремление Льва Толстого к миру и братству. Всю свою долгую жизнь Толстой искал истину так же упорно, как Петр-пахарь из поэмы Лэнгленда. Порой эти поиски проявлялись у него в форме, которая сегодня покажется кое-кому из нас странной, но, несмотря на то, что мы ищем истину иначе, мы, тем не менее, стремимся познать и отстоять ее.

Толстому была ненавистна так называемая благотворительность, вместо которой он требовал справедливого отношения к русскому крестьянину, а тем самым требовал справедливости для крестьян всего мира. Горя желанием облегчить долю русских крестьян, Толстой занимался народным образованием, делая все, что было в его силах, чтобы обучить крестьян грамоте — высокому искусству читать и писать.

Многие миллионы людей до сих пор находятся в тисках нищеты и невежества. Вполне возможно, что даже в наши дни они живут в худших условиях, чем самые бедные крестьяне во времена Толстого, причем такая картина наблюдается не только в Азии, Африке и Латинской Америке, но и совсем под боком. В Ирландии, в Дублинской и Килдерской епархиях римской католической церкви, остро нуждающимся беднякам было роздано четыре миллиона бесплатных обедов. Тысячи семей до сих пор живут в темных, мрачных и грязных подвалах, настолько непригодных для жилья, что рабочие, живущие в более сносных условиях, зовут людей, которые ютятся в этих дырах, «пещерными жителями». В Глазго есть район ужасающих трущоб — Горбелс, в живописном Эдинбурге бросаются в глаза ветхие сводчатые проходы с улицы во внутренний двор, темные и зловещие. В Лондоне и на севере Англии имеется множество таких же трущоб, где тысячи и тысячи семей обитают в конурах, в которых человеку жить не пристало. Отсюда явствует, что эпоха Толстого мало чем отличается в этом отношении от нашей и все сказанное тогда сохраняет злободневность поныне.

Придет время, и все, за что боролся Толстой и ради чего он трудился, найдет свое воплощение в честном, деятельном и разумном образе жизни, который воцарится повсеместно, как это уже произошло в Советском

Союзе и в других социалистических странах. Но даже когда наступит эта благословенная пора, Толстой останется такой же яркой звездой первой величины, как всегда...

«Литературная газета», 15 ноября 1960 г.— Перевод с английского.

УРХО КАЛЕВА КЕККОНЕН

Президент Финляндской республики (р. 1900)

О ТОЛСТОМ

Лев Толстой — один из величайших гениев мировой литературы. Широкие круги людей во всех странах мира знают его произведения, в которых он с бесподобным мастерством раскрывает перед нами душу русского народа. Как повсюду в мире, так и в Финляндии, Лев Толстой оказабольшое влияние, и его произведения пользуются широкой популярностью.

Особая черта гения Льва Толстого — это его умение сочетать свой великий художественный талант со своим интересом к истории, обществу и людям. Его глубокое сочувствие ко всем страдающим и угнетенным вызывает в нас большое восхищение.

Можно вполне обоснованно задать себе вопрос, было ли когда-либо в мире написано другое столь величественное эпическое произведение, как «Война и мир» Льва Толстого, которое с такой исключительной яркостью показывает значение народов и простых людей в ходе истории.

Трудно сравнивать значение и величие отдельных писателей друг с другом, но без малейшего преувеличения можно сказать, что ни один из русских писателей не проник так глубоко в сознание мировой общественности и не имел на нее такого большого влияния, как Лев Толстой.

«Литературная газета», 19 ноября 1960 г.— Перевод с финского.

ВОЛЬФГАНГ КЕППЕН

Немецкий писатель (ФРГ; р. 1906)

БЛАГОРОДНЫЙ ГУМАНИЗМ

Лев Толстой, его великое искусство, его благородный гуманизм и мужественная общественная позиция с самой ранней моей юности были для меня удивительным и недосягаемым примером.

Благодарный и взволнованный, посетил я дом Толстого в Москве и навсегда сохраню об этом воспоминание.

Мюнхен.

«Литературная газета», 19 ноября 1960 г.— Перевод с немецкого.

АРНОЛЬД КЕТТЛ

Об Арнольде *Кеттле* см. выше, на стр. 231 настоящ. тома.

ГЛАЗАМИ НАРОДА

Думаю, что люди, интересующиеся проблемами гуманизма, повсюду в мире любят и ценят Толстого, потому что образы и ситуации, которые он воплотил, глубоко человечны и многосторонни. Почему он смог создать такие образы? Как литературный критик я вижу причину в том, что Толстой смотрел на жизнь как реалист, и не сверху, не с позиций привилегированного класса, а снизу, с точки зрения крестьянства.

Понимание Толстым реальной жизни своего времени гораздо важнее, чем его идеи. В этом Толстого можно сравнить с двумя его великими

предшественниками в развитии реалистического романа — Бальзаком и Диккенсом. В Англии всегда любили Толстого. Англичан, привыкших считать себя монополистами «здравого смысла», особенно привлекает в писателе его уравновешенность, отсутствие чего-либо крайнего, невротического. В книгах Толстого английский читатель находит много общего со своей жизнью. Писатель считал сближение между народами одной из важнейших задач литературы, и я думаю, что его произведения с успехом выполняют эту задачу.

«Советская культура», 19 ноября 1960 г.— Перевод с английского.

КРИШНА КРИПАЛАНИ

О Кришне *Крипалани* см. выше, на стр. 236 настоящ. тома.

ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Лично для меня Толстой — это величайший из романистов. Я не встречал писателя более, чем он, одаренного гением эпического повествования, такого настоящего реалиста и в то же время идеалиста, патриота и выразителя мыслей всего человечества. Я не знаю художника, который в такой степени посвятил бы свое творчество благу всех людей земли, как Толстой. Многие пишут, чтобы заинтересовать читателя. Книги Толстого не только занимательны — они расширяют наши горизонты, будят нашу совесть. Реализм Толстого воспитывает любовь к человечеству. Все человечество, а не какая-то лишь часть его, нашло свое отражение в романах Толстого.

«Советская культура», 19 ноября 1960 г.— Перевод с хинди.

КАРЛО ЛЕВИ

Итальянский писатель (р. 1902)

БЕССМЕРТНЫЙ ОБРАЗ МОЛОДОСТИ

«Когда приходится говорить о таком человеке, как Лев Толстой, может быть дозволено только почитание»,— так писал самый крупный поэт современной Италии Умберто Саба, начиная работу над биографическим и психологическим очерком о жизни Толстого. Он добавлял, что над домом Льва Толстого «сияло солнце гения». Он называл Толстого «писателем тысячелетий».

Это восхищение, удивление перед величием и гигантской внутренней силой Толстого свойственно не только итальянскому поэту. Это свойственно всем тем, кто в его произведениях всегда ощущал творческое откровение, которое людей делает людьми, которое делает ощутимой действительность, которое сквозь мир, населенный бесконечным числом людей, сквозь мир действий, стремлений, радостей, печалей, сквозь мир национальных чувств великого народа следует за своей первой героиней — за правдой.

Конечно, Толстой является одним из немногих великих людей, которые раскрыли суть человека, расширили жизнь мира, обогатив его чем-то таким, чего раньше он был лишен. Поэтому представляется недостаточным говорить о нем в чисто литературных терминах, ибо он выходит за границы своего времени, за границы своих собственных теорий. Он раскрыл перед всеми людьми всех стран не только эпический и реалистический образ русского народа в его бесконечной сложности, он не только раскрыл мир крестьянина с его мудростью, его противоречиями,

ПАВЕЛ БИРЮКОВ И ЭДМОНДО МАРКУЧЧИ
«ТОЛСТОЙ И ВОСТОК».
(МИЛАН, 1952)
Книга на итальянском языке
Обложка



с его скрытой силой — одной из предвестниц революции,— не только свое время. Он дал миру то, что принадлежит и будет принадлежать всем временам, всем людям, всему человечеству.

В Италии Толстой стал популярным уже в начале века, когда его произведения начали переводить часто с неточных и плохих французских текстов. Однако и это не могло скрыть величия толстовского творчества. Да я и сам не могу отделить в памяти некоторые образы, созданные Толстым, от своих собственных первых впечатлений юности: энтузиазм, надежда, любовь с поразительной естественностью находили для меня свое первое выражение в образах «Войны и мира» или «Анны Карениной». Много лет спустя, в 1934 году, меня за антифашистскую деятельность посадили в туринскую тюрьму. В абсолютном одиночестве тюремной камеры, когда кажется, что жизнь течет вне времени и пространства, когда связь с действительностью кажется уничтоженной, Толстой помог мне больше, чем другой любой писатель. Случайно в тюремной библиотеке нашлось зачитанное до дыр — кто знает, сколькими поколениями заключенных,— старое издание его чудесного юношеского рассказа. И вот моя камера показалась мне местом, где возможно будущее, местом, где светлые мечты и думы живут и не умирают...

Безусловно, он дал нам бессмертный образ молодости, простое, искреннее чувство славы жизни. Он передал это людям нынешнего дня, которые в новом мире стремятся воплотить эту славу в деяния, в поступки, в братский мир сердец.

Рим.

«Правда», 23 ноября 1960 г.— Перевод с итальянского.

ЭТТОРЕ ЛО ГАТТО

Об Этторе *Ло Гатто* см. выше, на стр. 236 настоящ. тома.

НЕЗАБВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕАЛИЗМА

Впервые я приехал в Россию в 1928 году, когда отмечалось столетие со дня рождения Льва Толстого. Мне хотелось своими глазами увидеть родину писателя, чтобы глубже понять его духовный мир.

В то время на Западе многие были увлечены Толстым, но не у всех укладывалось в сознании главное свойство его как человека и как писателя. Толстой, как никто до него, умел создавать произведения, в которых брал за образец самого себя, и в то же время стремился прожить свою жизнь по образцу своих героев. Именно эту черту гения Толстого имел в виду Стефан Цвейг, когда очень удачно назвал его «певцом своей жизни». Вне России еще лишь один критик, тоже писатель, дал такую же живую характеристику двойственной природы Толстого — Ромен Роллан. В дарственной надписи на томе «Жана-Кристофа», присланном в Ясную Поляну, он особо отметил, что видит в Толстом художника, который дал нам пример, как надо «говорить правду всем и самому себе».

Прошло уже пятьдесят лет со дня смерти писателя. За это время достигнуты большие успехи в критическом изучении его произведений, накоплено много новых сведений о его жизни. Личность Толстого — человека и писателя — воспринимается нами теперь во всем ее величии.

Толстой воплотил в себе важнейшую национальную особенность русской литературы — ее привязанность к народу. Этой черте он сумел придать универсальное значение. Вот почему Толстой стал образцом писателя и после революции 1917 года. Вот почему В. И. Ленин восторженно говорил о нем М. Горькому: «Какая глыба... Какой матерый человечище!»

Беспощадная требовательность к себе как к художнику привела Толстого к тому, что он в 1880-е годы даже отрекся от всей своей предыдущей литературной деятельности. Однако, если он смог пойти на такой «великий отказ» («gran rifiuto» — выражение Данте), то это не значит, что за ним должны следовать и его читатели. В произведениях «Война и мир», «Анна Каренина» и «Смерть Ивана Ильича» мы находим образы, не менее убедительные с моральной и социальной точек зрения, чем в популярных рассказах, написанных писателем после 1880 года.

Общепризнанно, что в истории русской и европейской литератур Толстой играет роль главнейшего учителя реализма второй половины XIX века. А сказать это о русском писателе той эпохи, которая знала Тургенева, Достоевского, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, значит признать за Толстым превосходство, которого на Западе не имели ни Бальзак, ни Гюго, ни Диккенс, ни Стендаль, ни Флобер.

Произведения Толстого отличаются необыкновенной глубиной содержания, любовью к предмету и превосходной техникой. Эти качества великий писатель считал необходимыми для любого литературного труда.

С момента моего первого посещения Ясной Поляны прошло тридцать два года. За это время я неоднократно возвращался мысленно к могиле Толстого, где беспокойный дух писателя нашел свое земное спокойствие. Сейчас к Ясной Поляне снова прикованы взоры всех почитателей великого писателя. И я еще раз думаю о моем первом посещении и не могу не вспомнить слов, записанных великим писателем в своем дневнике незадолго до смерти. Смысл их примерно в следующем: чтобы верить в бессмертие, нужно прожить и на этой земле бессмертную жизнь.

Гений Толстого не только в силе его ума, глубине чувства, в художественном совершенстве его творений. Главное достоинство его как писателя-реалиста — в напряженных усилиях объяснить социальные основы зла, против которого так страстно протестуют его книги. Именно это делает его близким и понятным нам, зарубежным читателям.

«Известия Советов депутатов трудящихся СССР», 19 ноября 1960 г.— Перевод с итальянского.

АРТУР НИЛЬС ЛУНДКВИСТ

Шведский писатель (р. 1906)

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Последнее и самое сильное впечатление от Толстого я получил несколько лет назад во время посещения Ясной Поляны. Восхищение Толстым — писателем и человеком — захватило меня тогда целиком. В усадьбе все еще свежа память о нем — сильном и глубоком человеке, о его великой судьбе, постоянных исканиях и беспокойстве. Еще ярче почувствовал я там его произведения. Передо мной прошли незабываемые герои из его рассказов, широкие картины общественной жизни из «Войны и мира» и трагические судьбы отдельных людей из «Анны Карениной».

Стокгольм.

«Литературная газета», 17 ноября 1960 г.— Перевод с шведского.

ФРАНСУА МОРИАК

Писатель, член Французской академии (р. 1885)

О ТОЛСТОМ

Над гигантским массивом европейской прозы в моем представлении всегда господствовали две вершины: Бальзак и Толстой... Но нет, такой образ неточно отражает ту мысль, которую я хочу выразить: Толстой, как и Бальзак, создал целый мир, но мир обетованный, мир, в который мы входим, из которого мы выходим, куда мы вновь и вновь возвращаемся в течение своей жизни.

Я не могу сказать, что я прочел «Войну и мир»; в действительности я будто жил среди героев этого романа большую часть своей молодости. Семья Ростовых была мне ближе, чем большинство моих живых друзей, и я искал Наташу Ростову во всех девушках, в которых влюблялся в те годы.

Гений Толстого поражает мое воображение особенно тем, что, воскресив в «Войне и мире» целую историческую эпоху, он одновременно в образах своих героев отразил в этом романе судьбу России далеко за пределами той эпохи. Но его гений проявился с такой же силой и в таких чудесных коротких произведениях, как «Смерть Ивана Ильича».

Добавлю, что по своим взглядам я являюсь христианином и католиком. Толстой всегда был для меня одним из голосов моей совести. Еще в дни моей молодости он мне указал, что важно изменить человека, изменить самого себя, чтобы изменить мир.

Париж

«Правда», 21 ноября 1960 г.— Перевод с французского.

НАКАМУРА ХАКУЁ

О *Накамура Хакуё* см. выше, на стр. 232 настоящ. тома.

В ПЕРЕВОДАХ НА ЯПОНСКИЙ...

Приглашение Союза писателей СССР принять участие в толстовских днях дало мне возможность побывать в Москве, о которой я мечтал так долго.

Больше половины жизни я занимаюсь переводами произведений Толстого. Сейчас я занимаюсь переводом и подготовкой к выпуску в свет восемнадцатитомного собрания сочинений Толстого. Я стремлюсь передать на японском языке его удивительно тонкие и вместе с тем глубокие мысли. До сих пор я успел перевести и выпустить в свет шесть томов и думаю, что в ближайшие годы мой труд будет завершен.

Недавно я получил письмо от одного восьмидесятилетнего читателя. Вот что он написал: «Я горячий почитатель произведений Толстого. Я уже стар, и, возможно, смерть помешает мне увидеть ваш труд завершенным. И все же я с удовольствием приобретаю книги Толстого в вашем переводе, и если я не смогу прочесть их сам, то оставлю их как великую память моему внуку».

Для многих и многих японцев Лев Толстой — самый великий писатель.

«Литература и жизнь», 20 ноября 1960 г.— Перевод с японского.

ЗДЕНЕК НЕЕДЛЫ

Ученый, общественный и государственный деятель, президент Чехословацкой Академии наук (1878—1962)

ВЕЛИЧИЕ И ЧИСТОТА

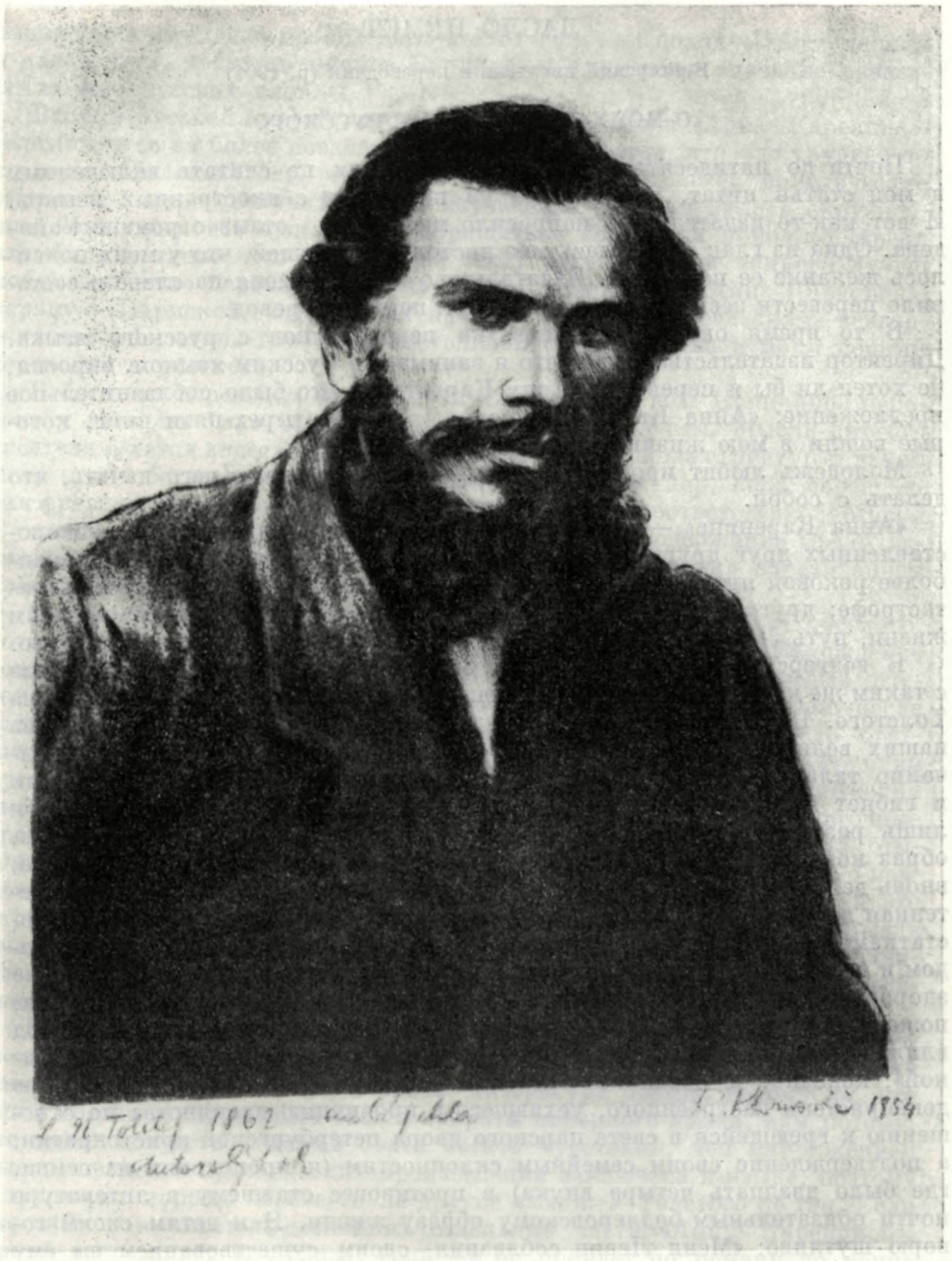
Пятидесятилетие со дня смерти Л. Н. Толстого, несомненно, вызовет большой отклик в Чехословакии как среди чехов, так и среди словаков. «Война и мир» уже почти сто лет назад стала любимой книгой самых широких слоев наших читателей и тем самым одним из основных произведений, которые богатством своего содержания — в отличие от наших «французов», тяготеющих скорее к развлекательности, парадности, пикантности в форме и содержании,— помогли создавать наш современный национальный характер. Вот поэтому-то «Война и мир» у нас значительно более популярна и имеет большее влияние, чем «Анна Каренина», при всем нашем уважении к ее художественным достоинствам и ценности.

Это убеждение и побудило меня, молодого научного работника — историка, занимавшегося в московских архивах в 1900 году, поехать в Ясную Поляну и прямо поговорить об этом с Толстым. И Толстой не только согласился, но и развернул передо мной философию истории книги «Война и мир», которую я сравнивал с тем, что было во мне от характера князя Андрея, лежащего раненым на Славковском поле у нас в Чехии и думающего о мире и его законах.

Толстовские теории и стремление преобразовать мир непротивлением злу под могучим дыханием «Войны и мира» отошли у нас на задний план, и тем самым этот шедевр, это выдающееся произведение сияет у нас во всем своем величии и чистоте.

Прага.

«Литературная газета», 17 ноября 1960 г.— Перевод с чешского.



ТОЛСТОЙ

Офорт чешского художника Рудольфа Климовича с его автографической подписью
Выполнен для издания: «Spisy Lva Nikolajeviče Tolstého», t. III. Praha, 1955
Предоставлен «Литературному наследству» художником (Прага)

ЛАСЛО НЕМЕТ

Венгерский писатель и переводчик (р. 1901)

О МОИХ ПЕРЕВОДАХ С РУССКОГО

Почти до пятидесятилетнего возраста, если не считать включенных в мои статьи цитат, я ни слова не переводил с иностранных языков. И вот как-то издательство попросило меня дать отзыв о романе Уайлдера. Одна из глав показалась мне настолько хорошей, что у меня появилось желание ее перевести. Издательство поймало меня на слове и заставило перевести весь роман. Это был мой первый перевод.

В то время ощущалась нехватка переводчиков с русского языка. Директор издательства, зная, что я занимаюсь русским языком, спросил, не хотел ли бы я перевести «Анну Каренину». Это было соблазнительное предложение: «Анна Каренина» — одна из тех четырех-пяти книг, которые вошли в мою жизнь с самой молодости.

Молодежь любит произведения; дающие ей совет, с чего начать, что делать с собой.

«Анна Каренина» — это история двух идущих рядом, но противопоставленных друг другу жизненных путей. Один — наиболее яркий, наиболее роковой путь, путь Вронского и Анны, который приводит их к катастрофе; другой — обыденный, следующий патриархальным законам жизни, путь Левина и Кити, приведший их к тихому семейному счастью.

В венгерской литературе в дни моей молодости вышло два романа с таким же композиционным построением, что и в «Анне Карениной» Льва Толстого. Первый — роман Жигмонда Морица «Трансильвания», один из наших величайших исторических романов-шедевров. Блестящий, необычайно талантливый, окруженный хороводом женщин князь Батори так и гибнет в конце концов великосветским щеголем, оставив после себя лишь развалины; трезвый же Габор Бетлен, любитель книг и ремесел, образ которого является выражением гуманистических идей автора, вновь делает Трансильванию полным ульем. Вторым романом была «Сметенная деревня» Деже Сабо; это произведение, страдающее многими недостатками, контрастными красками рисовало противоречие между городом и деревней, подчеркивая разложение городской культуры и ратуя за здоровый быт патриархально-усадебной жизни, и поэтому в свое время, пожалуй, и было особенно популярно. Однако я всю жизнь находился под влиянием двух жизненных путей, воспринятых мной из «Анны Карениной»; конечно, в поединке Вронский — Левин я искал не антипатию декабристски настроенного, уехавшего в провинцию дворянства по отношению к греющейся в свете царского двора петербургской аристократии, а подтверждение своим семейным склонностям (я происходил из семьи, где было двадцать четыре внука) в противовес ставшему в литературе почти обязательным бодлеровскому образу жизни. Я и детям своим говорю шутливо: «Меня Левин соблазнил, своим существованием вы ему обязаны».

Но помимо того, что «Анна Каренина» стала для меня подлинным учебником жизни, она стала и моим учебником языка. Я начал учиться русскому языку более тридцати лет назад, главным образом для того, чтобы читать русских классиков в оригинале. Толчок для более глубокого изучения русского языка дало семейное волнение: наш первый ребенок умер, и врачи подготавливали нас к тому, что при рождении второго придется прибегнуть к кесареву сечению. В последний месяц, возвращаясь со службы, я был не в состоянии чем-либо заниматься. И только изучение языка, поиски слов, вышелушивание из них смысла обладало для меня таким же успокаивающим действием, как для наших матерей вязанье,

вышивка; и вот (дело происходило в 1931 году) на полях «Преступления и наказания», добытого мной в Берлине, я выписывал значение неизвестных мне русских слов.

Второй русской книгой, прочитанной мною, была «Анна Каренина». Я отложил ее на более позднее время, так как думал, что она труднее по словарю. Но оказалось, что это не так. Позднее, когда политические перемены в мире увеличили число изучающих русский язык и окружающие меня люди все чаще стали обращаться ко мне за помощью (среди них были и такие, кто сейчас уже знает русский язык намного лучше меня), я обычно перечитывал с ними этот роман. Так «Анна Каренина», наряду с «Пармской обителью» Стендаля, а также произведениями венгерских авторов, стала для меня настольной книгой, стала и моим первым переводом с русского.

Работа над переводом заняла чуть ли не целый год. Принципов перевода у меня не было, я переводил так, как писал сам. Мысль другого писателя я хотел видеть воплощенной во фразы такой же структуры, какой были мои собственные. И я не успокаивался до тех пор, пока переводимая фраза не удовлетворяла той тайной гармонии, в соответствии с которой я черкал, дополнял, расширял, когда писал сам. Содержание фразы давало ее очертания, а работа инстинкта, которую я называл переливанием крови, вносила в нее живое биение.

Порядок слов в венгерском языке во многом отличается от русского, хотя он тоже не постоянный, в отличие от западных языков. Нахождение подлинно венгерского порядка слов во фразе, передающего каждый оттенок мысли, даже при наличии большой практики удается только после долгих поисков. При переводе произведений Льва Толстого дело отягчается тем, что он довольно часто использует причастные конструкции русского языка, и поэтому во время построения венгерских предложений мне приходилось делить его фразы на части (в том числе и придаточные предложения), и контрольный редактор, жалуясь, вынужден был отыскивать слова Толстого в самых противоположных концах фразы. Главные предложения, конечно, тоже приходилось расчленять. Делал я это скрепя сердце, потому что объем фразы — т. е. какого объема мысль выкапывает писатель ковшом экскаватора и на какую высоту ее поднимает,— я считаю весьма характерной особенностью писательского мышления и метода.

Есть у языка Толстого и другая особенность, над которой у венгерского переводчика были причины задуматься. У нас (потому ли, что наша литература, в первую очередь, литература поэтов, потому ли, что наши прозаики стремились спасти обороты народного языка, или потому, что наше искусство вообще более богато чувствами, чем напряжением мысли) ценность прозаических произведений заключена в языке, поэтому и трудно их хорошо перевести на другие языки. У Толстого не так. Если кто-либо как читатель вспомнит отдельные части «Анны Карениной», яркий свет зальет его глаза; если же он пройдет по роману до конца как переводчик, то увидит, что язык Толстого гораздо нейтральнее, чем он думал. Значит, свет излучает здесь не язык, а то, что автор показывает. Толстой не хотел втискивать свой стиль между изображаемой жизнью и читателями, расцвечивать, звенеть словами, как какой-нибудь Шатобриан. Толстой заботился скорее о том, чтобы вообще стереть свой стиль или сделать его прозрачным, как стекло в витрине, иногда даже он как бы находил удовольствие в том, что вносил в свою речь некий привкус поучения, это воспринимается читателем тем более легко, что он чувствует, что здесь гигант объясняет сидящим у него на ладони человечкам то из своего познания, что считает постижимым их уму и полезным для их морали.

Художественная проза, как и наука, сообщает об открытиях, но как научные открытия становятся общедоступными только на определенном профессиональном языке, так и у литературы есть некий проходящий сквозь национальные литературы «профессиональный» язык, от которого зависит судьба содержания, в том числе и возможности перевода. Толстой и другие русские писатели создавали свои творения на языке, имеющем всеобщее воздействие, и в этом заключается одна из тайн успеха русской литературы; другая тайна состоит в том, что аналитический метод, сложившийся в западном романе, они впервые применили для изображения жизни огромного народа, который в массе своей жил вне Европы.

Это объясняет (кроме исключительного таланта Толстого) второе и для меня, пожалуй, наиболее удивительное свойство «Анны Карениной». Признак совершенства социальных романов состоит в том, что с течением времени они становятся романами историческими. Тот, кто рисует широкую картину своей эпохи и в ней подчеркивает поистине существенное, в конечном итоге проделывает с настоящим ту же самую работу, что история с прошлым. Среди известных мне книг в романах Стендаля и в «Анне Карениной» более всего присутствует это исторически действенное ви́дение настоящего. Романы Стендаля рассказывают нам о невозвратно ушедшем в прошлое периоде между Венским конгрессом и революцией 1830 года; такой же полной, сверкающей миллионами подробностей исторической картиной лет, предшествующих русско-турецкой войне, является и «Анна Каренина».

* * *

У нас уже в ту пору вошла в практику советская система редактуры переводов, и моим редактором стал один из лучших переводчиков с русского языка, человек, давший венгерскому народу Тургенева и «Онегина», не только превосходный поэт, но и педантичный учитель, который наклеивал на перепечатанные страницы моего перевода бумажные ленты и на них цветными карандашами делал пометки. Часть их, конечно, была оправданной, и я принял их, однако о том, как, отшлифовывая фразу за фразой, сделать язык живым (а именно за это и боролся переводчик), его ленты не говорили. Публика же, которая вообще читала, руководствуясь лишь инстинктом, приняла перевод именно за живой язык, и, пожалуй, здесь и кроется причина того, что «Анна Каренина» стала одной из наиболее читаемых в Венгрии книг.

Успеху этой книги я обязан тем, что после ее перевода я еще почти год провел в обществе Толстого. О том, что дал мне этот год в области совершенствования техники перевода, я написал в большой статье осенью 1956 года («Подмастерье у Толстого»). Следующим моим переводом из Толстого была его автобиографическая трилогия. Эта книга тоже издавна любима в нашей семье. Молодым отцом я стремился составить библиотеку своих детей из лучших книг, и хотя это удавалось не всегда, все же несколько больших писателей, и среди них Толстой, уже в ту пору стали их друзьями. Русские имена — Сережа, Любочка, Катенька — тогда же укоренились в нашей семье, а описание смерти матери или история Карла Иваныча стали для всех нас ранним испытанием чувств.

К переводу трилогии, следуя русскому изданию, мы присоединили ту часть «Воспоминаний», в которой старый Толстой описывает изображенное там время.

Толстой, как известно, был недоволен этим своим ранним произведением и не щадил себя, разоблачая в нем писательское тщеславие, лживость. А в действительности эта несомненно автобиографическая книга в высшей степени правдива. Тем, что трилогия сама так блестяще защи-

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ». ВЕНГЕРСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ (БУДАПЕШТ, 1960)
Художник Дьорь Миклош
Суперобложка



щает себя от гнева Толстого и подчас пользуется бóльшим читательским доверием, чем поздняя реконструкция действительности, стоившая многих мучений, писатель обязан реализму, неразрывно связанному с его именем. Ибо реализм великих реалистов — это не столько извлеченное из какого-либо опыта знание, сколько внутреннее чувство, которое постоянно, шаг за шагом, занято отбором — так правдиво, так можно, так нельзя — и инстинктивным решением возводит, цементирует мир, делает его настолько крепким и убедительным, что с ним не может соперничать самое скрупулезное воссоздание действительности. Это чувство обычно проявляется в молодости, например в первом романе Томаса Манна оно чувствуется особенно сильно. В автобиографической трилогии Л. Н. Толстого оно предельно убедительно дает себя знать, то же можно сказать о «Крейцеровой сонате» и «Воскресении».

Автобиографическая трилогия дает возможность обратить внимание на руссоистскую жилку в этом великом эпике — Гомере нового времени. Левин, как мы помним, появляется в «Анне Карениной» как смущенный, попавший в дурное общество провинциал. Это смятение мы видим в маленьком герое трилогии, он живет в этом смятении, стремится подсмотреть его у других людей, разгадать их тайну; прислушиваясь к их словам, он надеется найти выход из этого смятения, побороть его.

Позднее Толстого всегда привлекали находившиеся в смятении люди (он ожидал найти истину в наиболее сложных эпизодах их жизни) и не только как романиста. Если Достоевского называют родоначальником современной психологии, то Толстой, этот человек со скуластым крестьян-

ским лицом, стал пионером нового, более богатого в оттенках биологического взгляда на человека: он показал, что между самыми мельчайшими физическими приметами личности и ее поведением существует такое строгое соответствие, природу которого наука постигла пока еще в незначительной степени. Этим объясняется также и то, что характеристики, которые Толстой дает себе и другим, в своей неожиданной простоте иной раз производят впечатление шуток.

После трилогии мне поручили переводить произведения Толстого, написанные им в преклонном возрасте: все его драмы и многие из повестей и рассказов, среди них «Крейцерова соната», «Отец Сергий», «Хозяин и работник». Из его пьес мне ближе всего та, которая изображает это борение непосредственнее всего, чуть ли не на грани смешного: «И свет во тьме светит». Что касается «Власти тьмы», то я не знаю, создал ли кто-нибудь более совершенную крестьянскую драму. Жаль, что режиссеры нашего времени не очень-то осмеливаются вторгаться в эту «тьму». У нас, где «Плоды просвещения» имели довольно большой успех, даже и не пытались поставить «Власть тьмы». Но и в Москве, где я видел эту драму и где без всяких компромиссов хранят принципы чеховского театра, тоже пытаются разжижить ее. Любимицей сцены, как я вижу, все еще является «Живой труп», драма, хотя ее писал и Толстой, носящая все же несколько сенсационный оттенок.

Из рассказов я полюбил больше всего «Отца Сергия». Разоблачение жажды славы и отчаянное внутреннее терзание героя рассказа, пожалуй, потому так захватило меня, что как художник я знаю те пути, по которым считавшееся изгнанным тщеславие возвращается вновь и вновь; как педагог я познал и то счастье, которое дает нам не ждущая награды щедрость.

Что касается «Крейцеровой сонаты», то она не вызвала бы, как мне кажется, и половины возражений и неприязненных отзывов, если бы в рассказе возбужденного попутчика видели бы не только взгляды Толстого, но и превознесение убийцы. Такому пониманию этого произведения я и стремился следовать в своем переводе...

Тихань (Венгрия), август 1960 г.

«Иностранная литература», 1960, № 11, стр. 219—225. — Перевод с венгерского.

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ

Премьер-министр Индии (1889—1964)

ТОЛСТОЙ И ИНДИЯ

Лев Толстой принадлежит к числу тех европейских писателей, чье имя и произведения пользуются в Индии, пожалуй, наибольшей известностью. Объясняется это не только высокими достоинствами произведений Толстого, но и духовным сродством между ним и нашим руководителем Махатмой Ганди, который горячо восхищался Толстым и находился под его влиянием в период своего формирования как личности.

Поэтому я рад воздать должное этому великому русскому писателю и выразить уважение к его памяти в связи с пятидесятилетием со дня его смерти. Он относится к числу очень немногих, избранных писателей мира, чья память нетленна, и, хотя со дня смерти Толстого прошло уже полвека, его учение и память о нем всё еще живут в наших сердцах.

«Литературная газета», 19 ноября 1960 г.— Перевод с английского.

ТРАКТАТ «ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?» НА ЯЗЫКЕ СИНДХИ (Пакистан, б. г.,) Обложка



АРТУР ОМРЕ

Норвежский писатель (р. 1887)

ПОЖЕЛАНИЯ НОРВЕЖЦА

Произведения Льва Толстого на протяжении десятилетий выпускаются многими норвежскими издательствами. Его романы и рассказы любит и читает большинство норвежского народа. Книги Толстого, особенно «Войну и мир» и «Анну Каренину», можно найти в любой норвежской библиотеке.

Критики в Норвегии, как и во всем мире, высоко ценят художественные произведения Толстого, отмечая их высокое мастерство и величие.

Я больше всего восхищаюсь очерками и рассказами времен Крымской войны и страницами «Войны и мира». Толстой показывает не героическую сторону войны, а как трезвый человек разоблачает ее ужасы. Наполеон не был его героем. Нет... Во время последней войны с фашистской Германией Лев Толстой был поддержкой норвежскому народу. Тайком и с радостью мы читали его в годы оккупации. Гитлер запрещал нам читать Толстого.

Лев Толстой выступал за мир и сотрудничество между народами. И в день его юбилея мне хочется передать от себя лично и от многих норвежцев сердечный привет великому русскому народу. Поверьте мне, что большинство норвежского народа хочет мира и сотрудничества между всеми народами на земле.

«Литературная газета», 15 ноября 1960 г.— Перевод с норвежского.

УИЛЬЯМ САРОЯН

Американский писатель (р. 1908)

ГЕНИЙ

Толстой представляется мне гигантом в области писательского искусства, но еще бóльшим гигантом — в искусстве гуманизма. Прежде всего он велик; это человек огромных масштабов. Своими книгами он приблизил к нам человеческую душу и показал ее в увеличенном виде, а мы знаем, что, по сути дела, она неизмерима, бесконечно изменчива и разнообразна во всех своих проявлениях.

Из книг Толстого люди — и простые и сложные — узнали свою истинную сущность, причем Толстой считал (и часто показывал), что сущность эта — у всех общая. Каждый человек — неповторимый, полный парадоксальных сочетаний, сложный индивидуум и в то же время — часть коллективной души, общей не только для рода человеческого, но и вообще для всего живого.

Его книги наводят на мысль, что каждый человек — одновременно и зверь, и ангел, существо безмозглое и мудрое.

Собственная его жизнь, после того как он отстранился от писательства, была, по существу, героической, хотя и эксцентричной; однако эксцентричность эта всегда была вдохновенной и доброй. Она вызывалась желанием, чтобы люди, мыслью о которых он постоянно был одержим и которых любил страстно, пробудились умственно и духовно, чтобы они избавились от гнета как внешнего, так и внутреннего, т. е. как от тягот мира, скверно устроенного и еще хуже управляемого, так и от ограничений, вытекающих из свойств человеческой личности. Он хотел сам расти беспрерывно и видеть беспрерывный рост всех людей.

Он стремился воплотить в себе наибольшее, что дано человеческому существу, и хотел, чтобы каждый человек в России, а значит, и во всем мире, смог действительно стать самим собой, а не карикатурой на самого себя, смог вершить свою собственную судьбу и судьбу своей нации, культуры и общества.

Толстой сыграл очень важную роль в моем формировании как писателя, но, пожалуй, он больше влиял на меня как живой человек.

Его книги, так же как и книги всех других писателей, я читал довольно бессистемно, но зато о нем самом я прочел всё, что только сумел достать, потому что мне необходимо было знать — какой он; когда же я узнал его, то полюбил еще больше. Я продолжал любить его даже после того, как прочел воспоминания Горького, который пишет, что Толстой с его непомерно разросшейся личностью — чудовищное явление. Это не испугало и не оттолкнуло меня. Мне кажется, я понял, что́ Горький имел в виду: по сравнению с другими Толстой был просто гигант, и, анализируя собственную душу (с тем, чтобы понять человеческую душу вообще), он проявил при этом жестокость и беспощадность специалиста, который несколько помешался от любви, тревоги, печали, гнева и даже ярости...

Больше всего мне нравились его дневники, ибо в них он представал передо мной как живой человек. Он никогда не был глубоким мыслителем, но это к лучшему, так как глубоких мыслителей в мире всегда было более чем достаточно. Но он обладал глубокой, извечной мудростью всего живого, словно при рождении ему уже было больше миллиона лет; в известном смысле так оно и было, и это можно сказать о всяком человеческом существе. Толстой принадлежал всему человечеству и был связан с ним тем более тесными узами, что сам он был русским до мозга костей.

Все американцы, которых я знаю, если они только вообще что-нибудь читают, непременно читали и продолжают читать и любить книги Толстого — его замечательные романы, прекрасные рассказы, его философские статьи (нередко чудаковатые, но все же очень важные, ибо они свидетельствуют о его решительной борьбе за правду, справедливость и человеческое достоинство), его дневники, письма и труды о нем.

Все американцы, которых я знаю, чтят Толстого как своего личного друга, как мудрого, старого дядюшку, временами чудно́го и резковатого, но неизменно движимого любовью. Его гений был гением всего человечества, воплотившимся в одном могучем человечище; по-видимому, он сознавал это, и потому его глубоко ранило все то, что ранило людей в любом уголке земли.

Дождется ли когда-нибудь человечество второго Толстого? Нет, конечно, не дождется. Но оно всегда будет находить свое коллективное воплощение во многих разнообразных индивидуумах, которые, подобно Толстому, будут хранить верность людям.

Париж, ноябрь ‹1960 г.›.

«Литературная газета», 24 ноября 1960 г.— Перевод с английского.

ЭПТОН СИНКЛЕР

Американский писатель (р. 1878)

ТОЛСТОЙ

Ничто не может доставить мне большей радости, чем возможность отдать дань уважения памяти Льва Толстого.

Первой его книгой, которую я прочел, было «Воскресение». Впечатление было такое, будто я сам побывал на русской земле и своими собственными глазами видел ужасы царского режима. Эта книга научила меня всему, что было необходимо мне знать для восприятия надвигавшейся революции.

Скоро я прочитал «Что такое искусство?», и у меня было такое чувство, будто я сам написал эту книгу. Мои труды по искусству были своего рода продолжением этой работы, приближающим ее к современности.

Я читал только некоторые части «Войны и мира», и сейчас, в возрасте восьмидесяти двух лет, все еще мечтаю о том, чтобы прочитать ее полностью.

Удивительное мужество Толстого в осуждении ненавистной тирании царизма — вот что привлекло меня к нему. Конечно, трудно было расправиться с аристократом, человеком с мировым именем, но тем не менее Толстой рисковал. Его слова, как удары грома, разносились по всему миру.

Он любил справедливость и он жалел людей, вслепую бредущих в поисках счастья.

Он избежал участи быть свидетелем двух самых ужасных войн за всю историю человечества. Он стал частью моей души, и он наблюдал эти события моими глазами, выстрадал их моим сердцем, взывал моим голосом и моим пером.

И сейчас он взывает ко всем людям в Советском Союзе и в моей стране и во всех других странах избежать ужасной трагедии ядерной войны, которая низвергнет на нас проклятия всех жертв будущего.

Калифорния.

«Правда», 21 ноября 1960 г.— Перевод с английского.

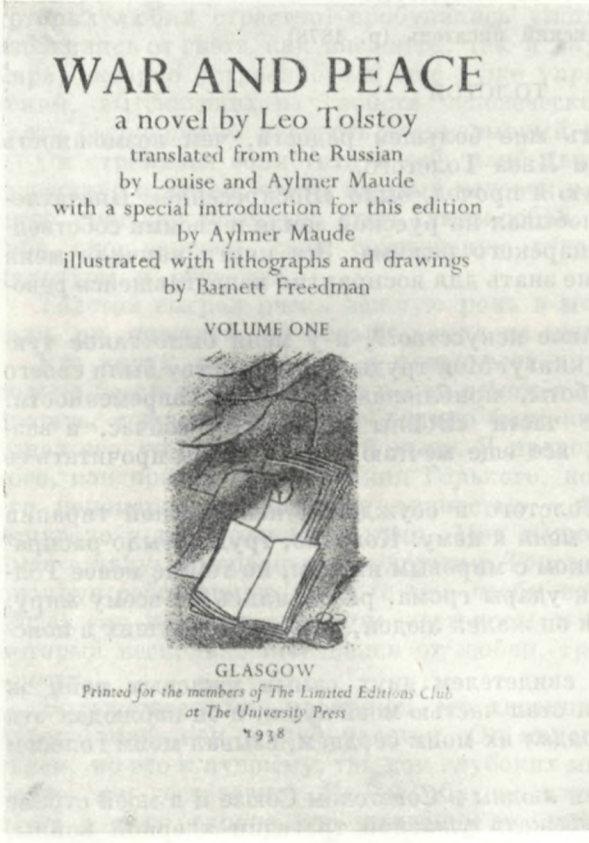
ЧАРЛЗ ПЕРСИ СНОУ

Английский писатель и ученый (р. 1905)

ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ РОМАНИСТОВ

Начну с категорического утверждения. Толстой — величайший из романистов, а «Война и мир» — лучший из написанных по сей день романов. Среди английских литературоведов и писателей эта точка зрения является общепризнанной вот уже лет пятьдесят. Для людей моего поколения это всегда было непреложной истиной. Читая романы Толстого в переводе, мы знаем их почти так же хорошо, как и вы. С понятным вам волнением входя в здание Союза советских писателей, мы вспоминали о том, как готовилась Наташа к своему первому балу*. Мы с женой специально решили путешествовать из Москвы в Ленинград поездом, а не самолетом, так как именно этой дорогой ехала Анна Каренина.

Подобные литературные ассоциации окружали нас со всех сторон, и, дав им сейчас волю, я быстро бы вам надоел. Ведь вам они хорошо знакомы, а нас они волновали, как волнует запах дыма от сжигаемой листвы в саду, вызывая воспоминания детства. С Москвой и Ленинградом у нас связано столько литературных ассоциаций, навеянных творчеством не только одного Толстого, но и других ваших великих писателей, что нам



«ВОЙНА И МИР». АНГЛИЙСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ (ГЛАЗГО, 1938)
Художник Барнет Фридман
Титульный лист первого тома

* Правление Союза писателей СССР помещается в Москве на ул. Воровского (бывшая Поварская) в доме № 52, описанном, по преданию, Толстым в «Войне и мире» как «дом Ростовых». — *Ред.*

«ВОЙНА И МИР». ИЛЛЮСТРАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ХУДОЖНИКА БАРНЕТА ФРИДМАНА

Из книги: «War and Peace. A Novel by Leo Tolstoy». Glasgow, 1938



§ 1

The battle of Borodinó, with the occupation of Moscow that followed it and the flight of the French without further conflicts, is one of the most instructive phenomena in history.

All historians agree that the external activity of states and nations in their conflicts with one another is expressed in wars, and that as a direct result of greater or less success in war the political strength of states and nations increases or decreases.

Strange as may be the historical account of how some king or emperor, having quarrelled with another, collects an army, fights his enemy's army, gains a victory by killing three, five, or ten thousand men, and subjugates a kingdom and an entire nation of several millions, all the facts of history (as far as we know it) confirm the truth of the statement that the greater or lesser success of one army against another is the cause, or at least an essential indication, of an increase or decrease in the strength of the

3

трудно увидеть эти города по-новому. Такая же история получается и с романами Толстого. Я уже писал в Институт мировой литературы о том, что, по моему глубокому убеждению, эти великие произведения не имеют себе равных*. Но, высказав это убеждение, я никак не могу приступить

---

* Сноу был приглашен участвовать в заседании научной сессии Института мировой литературы им. А. М. Горького, посвященной пятидесятилетию со дня смерти Толстого. Вследствие болезни он не смог воспользоваться приглашением. Извещая об этом директора института И. И. Анисимова, Сноу сообщил ему резюме своего предполагавшегося выступления. Вот, в переводе с английского, текст этого резюме (оно было оглашено на заседании сессии 15 ноября 1960 г.):

«О Толстом же я хотел бы сказать несколько совсем простых слов. Мне просто думается, что Толстой — лучший из романистов, а „Война и мир" — лучший из романов. Раньше я думал по-другому. В двадцать лет я был совершенно потрясен Достоевским, и „Братья Карамазовы" произвели на меня такое впечатление, какого не могла произвести никакая другая книга. Хотя я и сейчас считаюДостоевского великим романистом, но он не послужил мне в жизни так, как Толстой. Я сам не заметил, как получилось, что с каждым годом я все больше ценю Толстого и немножко меньше — Достоевского. Мне очень трудно изложить свои чувства к Толстому в строго критических терминах. Мы все знаем, сколько банальностей критики обрушили на Толстого с тех самых пор, как был напечатан его великий роман,— разговоры о том, что его мироощущение — это удесятеренное мироощущение нормального человека и т. п. Но все это не объясняет нам Толстого, и мне очень хотелось бы увидеть настоящий критический анализ его творчества, сделанный при помощи острейших современных критических средств. И еще одно — я не вполне представляю себе, до какой степени произведение искусства искажено для англичанина переводом. Кое-кто из моих русских друзей говорил мне, что Толстой теряет в переводе меньше, чем другие крупные писатели. Правда ли это?».— *Ред.*

к критическому разбору творчества Толстого или сказать о нем хотя бы что-нибудь новое.

Писать о Толстом труднее, чем о любом другом русском или английском великом прозаике. Может быть, в общей структуре и в художественных деталях его творений кроется что-то такое, что делает их недоступными критическому разбору в обычном понимании? Однако это слабая отговорка. На самом деле я, признаться, не знаю, что сказать. Если бы я писал книгу о романах Толстого, я мог бы с точностью сообщить, когда и при каких обстоятельствах я впервые прочел их, сколько раз перечитывал и какое влияние они оказали на меня. Но что касается серьезного критического исследования, то я просто не знал бы, с чего начать.

Поэтому я не стану утомлять ваше внимание повторением о Толстом истин, которые вы, наверно, слышали уже тысячу раз, и напишу в нескольких словах о том, как относятся к Толстому на Западе, в надежде, что кое-что из этих заметок будет вам в новинку.

В начале статьи я говорил, что англичане считают Толстого величайшим из романистов. Это так и есть. Но мне думается, что впервые Толстой по-настоящему затронул сердца англичан, а не только литературные вкусы, во время войны. Между 1941 и 1945 годами в Англии (с населением примерно в пятьдесят миллионов жителей) было продано около пятисот тысяч экземпляров романа «Война и мир». Этот роман стал достоянием людей, которые обычно не читают романов или вообще любой серьезной литературы. Помню, как-то в годы войны я присутствовал на заседании одного из созданных тогда комитетов. Рядом со мной сидел старший офицер военно-воздушных сил, человек приятный и простой. Я не представлял себе, чтобы он мог пуститься в дискуссию на литературные темы, и поэтому немало удивился, когда он пододвинул ко мне клочок бумаги, на котором было написано: «Ваше мнение о „Войне и мире"?» Я лаконично ответил: «Лучший из романов», на что он откликнулся с нескрываемой гордостью: «Безусловно самый лучший роман из всех, которые я читал». Но тут я должен разочаровать вас: в действительности его слова не были таким уж большим комплиментом. Как я выяснил позднее, помимо «Войны и мира», он читал всего лишь один роман — какой-то неизвестный исторический роман из английской жизни, о котором я ничего не слышал.

Но сам факт, что он, а также много тысяч похожих на него людей прочли роман Толстого, был весьма отраден. Ведь это означало, что война, которую вы вели на просторах вашей земли, война, намного превзошедшая по своему размаху войну, описанную Толстым, нашла глубокий отклик в сердцах англичан. Они сознавали тогда — да и сейчас сознают,— что́ значила эта война. Приходит мне на память и другая реплика моего офицера военно-воздушных сил, человека, как я уже говорил, славного и бесхитростного. В ответ на мой вопрос, что произвело на него наибольшее впечатление в «Войне и мире», он сказал: «Знаете, чувствуешь, что Россия ужасно просторная страна». Любопытно, что в этих безыскусственных словах он выразил основное, на мой взгляд, впечатление, которое производит Толстой на большинство английских читателей и которое не сравнимо ни с чем в литературе нашей страны. Я вовсе не собираюсь умалять значение английской литературы. Надеюсь, вы не заподозрите меня в шовинизме, если я скажу, что, по моему убеждению, ваша литература и наша литература пока что лучшие в мире. Но небольшие размеры нашей страны наложили отпечаток на английскую литературу. Наши писатели часто и с большим мастерством использовали в своем творчестве тот факт, что мы живем скученно. У нас зародилась литература города и литература густозаселенной местности. Всей английской литературе свойственно стремление вырваться из закрытых помещений. Русская литера-

тура в этом отношении — прямая противоположность нашей. Почти во всех произведениях русской литературы, и прежде всего Толстого, английский читатель ощущает дыхание необъятных пространств, бескрайних русских равнин. Интересно, а вы, читая книги ваших писателей, тоже ощущаете ветер с привольных просторов или же для вас это что-то привычное?

В заключение я хотел бы задать два вопроса. Как много теряем мы из-за того, что нам приходится читать романы Толстого в переводе? Ведь все мы знаем, насколько обедненно, к нашему великому огорчению, передает Пушкина перевод его произведений (сейчас я как раз перечитываю Пушкина, горько досадуя, что не могу читать его в подлиннике). Что можно сказать в этом отношении о Толстом?

И второй вопрос: каково ваше мнение о пространных исторических отступлениях Толстого в «Войне и мире»? На Западе обычно упоминают о них с сожалением, так как у нас распространено мнение, что без них книга стала бы более совершенным художественным произведением. Я с этим никак не могу согласиться. Эти отступления, думается мне, несут в произведении важную композиционную функцию, роль которой Толстой отлично понимал. Он добивался того, чтобы его искусство производило впечатление полной безыскусственности. На самом же деле автор «Войны и мира» был, конечно, художником, творчество которого носило глубоко сознательный характер, и только благодаря его исключительному мастерству эти длинные исторические экскурсы создают у читателя такое впечатление, будто книга писалась сама собой. На мой вкус, роман выиграл бы, если бы эти экскурсы были чуть короче и если бы значительно меньше места было уделено увлечению Безухова масонством.

Однако не в этом суть. Если нам доведется когда-нибудь прочесть книгу, написанную нашим современником и имеющую хотя бы половину достоинств «Войны и мира»,— какой огромной радостью это будет.

Лондон.

«Литературная газета», 19 ноября 1960 г.— Перевод с английского.

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ

О Людмиле *Стоянове* см. выше, на стр. 117 настоящ. тома.

МУДРОСТЬ ТРУЖЕНИКОВ ЗЕМЛИ

Пятьдесят лет тому назад, в день смерти Льва Толстого, я написал статью, которая определяла мое отношение, мое преклонение перед жизнью и делом великого писателя. И тогда, как и сейчас, Толстой был для меня поэтом и художником, великим выразителем человеческой души, толкователем событий и истории, тонким живописцем природы.

Я встретил известие о смерти Толстого с чувством непоправимой утраты. «Все человечество в трауре,— писал я тогда,— и все видят, что лишились своего верного наставника в жизни, человека, перед титаническими силами которого преклонилась бы сама природа, если бы она была разумна».

Читая романы, повести, рассказы Толстого, чувствуешь, что перед тобой бушует бурный океан жизни, который он обуздал, словно некий всесильный волшебник.

Чувство правды лежит глубоко в народном сознании, и, может быть, Толстой почерпнул его в мудрости тружеников земли, в их страданиях под гнетом помещиков, гнетом бедности, в естественном протесте народа; в рассказах, присказках, частушках чувство правды живет как неотъемлемая категоричная нравственная человеческая проблема. Толстой ощущал

эту проблему как основную задачу своей жизни. Правдивость, истина были для него руководящим началом его мыслей и поступков.

Недавно в дебрях Родоп я видел необыкновенную картину: на высоком холме, над глубокой пропастью росли стройные сосны, упираясь иглистыми вершинами в небо. Но одна сосна выросла глубоко в пропасти, достигла холма, стала расти еще выше в небо, обогнав самые высокие сосны... Не так ли, думаю я, и Лев Николаевич Толстой вырос из недр народной жизни, чтобы постигнуть мудрость и гениальность народа?

София.

«Литературная газета», 17 ноября 1960 г.— Перевод с болгарского.

ЛЕОНГАРД ФРАНК

Немецкий писатель (ФРГ; 1882—1961)

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОБР

Во время первой мировой войны я написал книгу, направленную против войны,— «Человек добр». Мне знакома великая литература, созданная другими писателями и направленная против уничтожения человека человеком. Но величайшая книга из всех написанных о войне — это «Война и мир» Льва Толстого. Я знаю эту книгу со времен моей юности. Я восхищаюсь грандиозным количеством ее образов, проницательным политическим анализом, страстным участием Толстого к страданиям, которые война принесла всем людям и, прежде всего, русским людям.

Он был величайшим борцом за новый гуманизм, за гуманизм нашего столетия, за гуманизм, который раз и навсегда заставит войну превратиться в явление прошлого.



«ХОЗЯИН И РАБОТНИК». ИЛЛЮСТРАЦИЯ БЕЛЬГИЙСКОГО ХУДОЖНИКА ФРАНСА МАЗЕРЕЕЛЯ

Из книги: L. T o l s t o i. Der Herr und sein Knecht. Berlin, 1930

Он был величайшим борцом за те условия человеческого существования, при которых человек действительно может быть добр и за которые я начал сражаться уже во время первой войны в моей книге «Человек добр».

Мюнхен.

«Литературная газета», 17 ноября 1960 г.— Перевод с немецкого.

ХО ШИ МИН

Президент Демократической Республики Вьетнам (р. 1890)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКТОРУ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Уважаемый товарищ редактор!

Вы просили меня написать несколько строк по случаю пятидесятилетия со дня смерти Льва Толстого. В связи с этим я хотел бы рассказать об одном необычном случае, как я стал учеником великого русского писателя. Это может показаться странным, не так ли? Тем не менее, это чистая правда. Вот как это было.

После первой мировой войны я работал в Париже фотографом-ретушером. Ежедневно я ходил в мастерскую, каждый вечер присутствовал на партийных собраниях или на рабочих митингах. В конце рабочего дня я прочитывал несколько страниц из романа, чтобы обогатить свои знания французского языка и немного развлечься.

Как-то один из моих товарищей по работе дал мне небольшую повесть Толстого. Я забыл название повести — ведь с того времени прошло уже почти сорок лет. Однако я все же помню основное содержание этой повести, которое сводится, примерно, к следующему:

У молодого русского офицера-аристократа была очень красивая невеста. Естественно, они любили друг друга. Однажды, на балу, молодая невеста была представлена царю. Царь воспылал к ней безумной страстью и сделал ее своей любовницей... Молодой офицер глубоко страдал. С одной стороны, его мучила любовь к своей невесте, с другой — слепая преданность повелителю-царю. В конце концов он покинул Санкт-Петербург и уехал в глухой район, чтобы больше не видеть ни царя, ни своей возлюбленной.

Вывод: осуждение феодальной морали.

Стиль Толстого был настолько прост, ясен и понятен, что он увлек меня. Охваченный юношеским порывом, я соскочил с постели, хотя в ту зиму было очень холодно, и особенно холодно в моей нетопленной комнатке в гостинице. Я произнес вслух: «Совсем не так уж трудно написать небольшую повесть. Я тоже могу писать!»

У нас во Вьетнаме есть пословица, которая гласит: «Глухим не страшен гром пушек». Это относилось непосредственно ко мне. На следующее утро я начал писать. Это было довольно трудно. Каждый день я должен был писать с пяти до шести часов тридцати минут утра, так как к семи часам мне нужно было быть в мастерской. Часто мои пальцы коченели от холода. После недели упорной работы я закончил свой труд. Я отнес его в редакцию газеты «Humanité» и сказал товарищам из литературного отдела редакции: «Я был бы рад, если бы вы смогли напечатать это; независимо от того, напечатаете вы или нет, я прошу вас исправить ошибки во французском языке...».

Товарищи охотно приняли мою рукопись, прежде всего исходя из дружеских чувств ко мне, так как они все знали меня, а может быть, еще из некоторого любопытства, поскольку я был первым вьетнамским рабочим, который попытался написать очерк на французском языке.

Представьте себе мою радость, когда несколько дней спустя, открыв утреннюю газету, я увидел, что мой очерк, мой драгоценный очерк был напечатан. Моя радость была еще сильней, когда редакция «Humanité» прислала мне пятьдесят франков гонорара. Пятьдесят франков! Этой суммы мне было достаточно, чтобы прожить десять дней не работая; это время я мог целыми днями рыться в книгах в библиотеке. Какое счастье!

В своем очерке я рассказал о том, что видел, слышал и пережил в своем квартале — крайне бедном квартале рабочих и безработных в очень богатом Париже. Первый успех вдохновил меня на написание статей о преступлениях французского правительства во Вьетнаме и других колониях.

Скажите, уважаемый редактор, имею ли я право сказать, что я скромный ученик великого писателя Льва Толстого?

Братский привет вам и вашим читателям.

«Литературная газета», 19 ноября 1960 г.— Перевод с вьетнамского.

БАНАРАСИДАС ЧАТУРВЕДИ

Индийский писатель и публицист, председатель Всеиндийского комитета по проведению 50-й годовщины со дня смерти Толстого (р. 1892).

ТОЛСТОЙ В ИНДИИ

Имя Льва Толстого широко известно миллионам индийцев и пользуется большим уважением. Еще свыше сорока лет назад на языке хинди была опубликована биография великого русского писателя, написанная Нарайяном Чатурведи. Подробная биография Толстого была издана также на языке гуджерати.

Произведения великого русского писателя переведены на все основные языки Индии. Они оказали значительное влияние на литературную, общественную и даже политическую жизнь нашей страны. Например, в свое время письмо Толстого к либералам было переведено на английский язык и широко распространено в Бомбее в виде программного документа движения «сатьяграха» в Индии.

Махатма Ганди считал Толстого своим гуру* и переписывался с ним. Высокая оценка, которую дал Лев Толстой движению сатьяграха на африканском континенте, воодушевляла Махатму Ганди и его соратников в Южной Африке.

Толстой очень близок нам по духу. Его популярность в Индии одинакова только с Горьким.

Своими искренними симпатиями к бедным и угнетенным Толстой оказал огромное влияние на наших писателей. Его высокогуманистические идеи нашли горячий отклик в сердцах моих соотечественников, стали источником вдохновения. Через Толстого мы узнали и полюбили Россию, с которой нас связывает ныне искренняя дружба.

Мне выпало счастье совершить паломничество в Ясную Поляну, где я подарил музею сто двадцать четыре листа фотокопий писем Махатмы Ганди, а также его портрет. Для меня было большой радостью узнать, что в музее Ясной Поляны есть раздел «Толстой и Индия».

Вместе со всем человечеством Индия чтит в эти дни память великого художника слова, философа, борца за светлый гуманизм.

«Правда», 21 ноября 1960 г.— Перевод с хинди.

---

* великим учителем. — *Ред.*

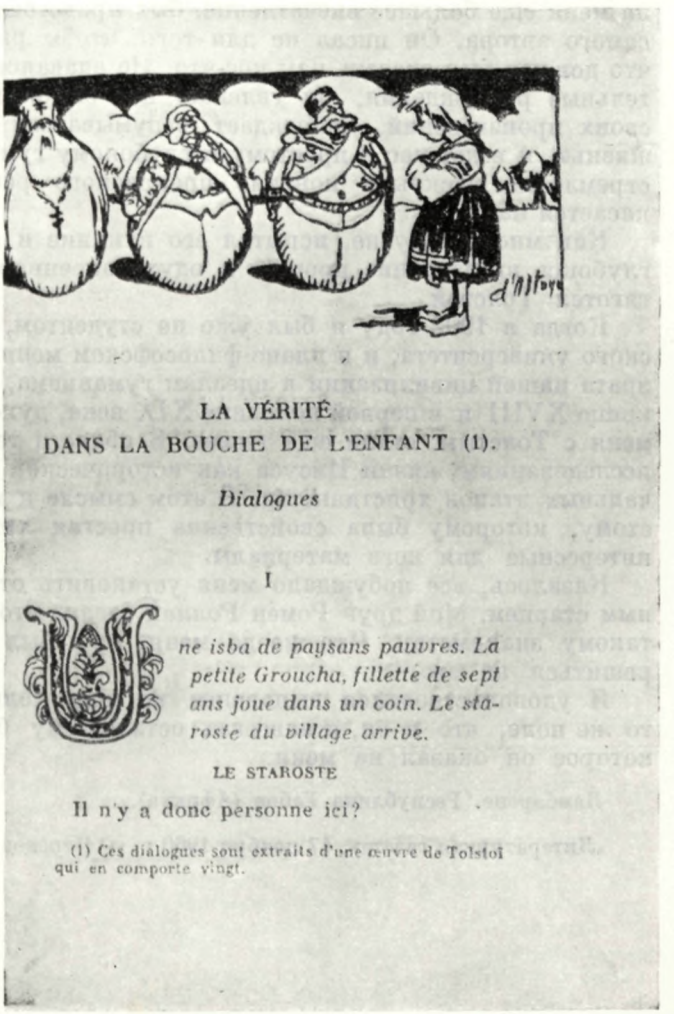
ШИВДАН СИНГХ ЧАУХАН

О Шивдане Сингх *Чаухане* см. выше, на стр. 249 настоящ. тома.

СИМВОЛ НАДЕЖДЫ

Толстой занимает одно из первых мест среди титанов мировой литературы — как среди величайших создателей эпических произведений далекого прошлого, так и среди величайших писателей нового времени: гений Толстого не только означал «шаг вперед в художественном развитии всего человечества», как это очень удачно отметил другой великий гений— В. И. Ленин, но также вдохновлял не одно поколение писателей во всех странах мира и в течение целого столетия оказывал на них большое влияние.

В наши дни, когда стало модным разглагольствовать о «кризисе культуры» (а особенно громко об этом говорят на Западе), значение Толстого все возрастает. Как яркий светоч, как символ надежды, любви и истины, возвышается он над слоем холодного тумана и облаков, которые сгустились внизу, слепя глаза и души нашего молодого поколения, затемняя его разум человеконенавистническими идеями и уродуя его чувства.



LA VÉRITÉ
DANS LA BOUCHE DE L'ENFANT (1).

Dialogues

I

Une isba de paysans pauvres. La petite Groucha, fillette de sept ans joue dans un coin. Le staroste du village arrive.

LE STAROSTE

Il n'y a donc personne ici?

(1) Ces dialogues sont extraits d'une œuvre de Tolstoï qui en comporte vingt.

«ДЕТСКАЯ МУДРОСТЬ». ИЛЛЮСТРАЦИЯ И. Я. БИЛИБИНА

Гравюра французского художника д'Остойя

Из книги: L. Tolstoï. Idylles Paysannes. Paris. 1924

Толстой призывает молодежь избавить землю от проклятия войн, империализма и эксплуатации человека человеком. Он призывает ее к истине, любви и красоте, к миру и гуманизму.

«Литературная газета», 19 ноября 1960 г.— Перевод с хинди.

АЛЬБЕР ЛУИ ФИЛИПП ШВЕЙЦЕР

Ученый-гуманист, врач, философ (1875—1965)

ГЕНИАЛЬНАЯ ПРОСТОТА

Приблизительно в 1893 году, будучи студентом Страсбургского университета, я впервые познакомился с произведениями Толстого. Это было крупным событием в моей жизни, равно как и в жизни моих товарищей-студентов.

То, что поразило меня прежде всего, была манера письма этого автора. Никогда до тех пор я не встречал такой гениальной простоты повествования, благодаря которой действующие лица представали передо мной совершенно живыми в обычном для них окружении; я проникался их мыслями, жил их судьбой. Но то, что в ходе дальнейшего чтения произвело на меня еще большее впечатление, был нравственный и творческий облик самого автора. Он писал не для того, чтобы развлекать нас, а потому, что должен был сказать нам кое-что. Не вдаваясь в какие-либо предварительные рассуждения, он увлекает нас сюжетами и самим характером своих произведений, побуждает задумываться над собственной нашей жизнью и ведет нас к простому и глубокому гуманизму. Чувствуется его стремление раскрыть понятие прекрасного решительно во всем, что касается нас.

Как многие другие, испытал его влияние и я. И на меня произвела глубокое впечатление простая и одухотворенная набожность, к которой тяготел Толстой.

Когда в 1902 году я был уже не студентом, а лектором Страсбургского университета, и в плане философском меня занимала проблема возврата нашей цивилизации к идеалам гуманизма, вдохновлявшим людей в конце XVIII и в первой половине XIX века, духовные узы, связывающие меня с Толстым, стали еще теснее. В области теологии я посвятил себя исследованиям жизни Иисуса как исторической личности и проблем начальных этапов христианства. В этом смысле я мог бы представить Толстому, которому была свойственна простая христианская набожность, интересные для него материалы.

Казалось, все побуждало меня установить отношения с этим почтенным старцем. Мой друг Ромен Роллан сделал это, и не мог нарадоваться такому знакомству. Что же до меня, то я был слишком робок, чтобы решиться на это.

Я удовольствовался выпавшим на мою долю счастьем вспахивать то же поле, что и он, и навсегда остался ему благодарным за влияние, которое он оказал на меня.

Ламбарене. Республика Габон (Африка).

«Литературная газета», 17 ноября 1960 г. — Перевод с французского.

ПИСЬМА

ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО

Очерки Э. Г. Бабаева

Подготовка текстов писем и переводы Т. Н. Волковой *

ПРЕДИСЛОВИЕ.— ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО.— «УРОКИ ВАШИХ КНИГ».— «В ПОИСКАХ НОВОГО ТЕАТРА».— ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ.— ВСТРЕЧИ.— В СПОРЕ С АВТОРОМ.— К «РАБОЧЕМУ НАРОДУ».—ТРИ ВОЙНЫ.—В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ ВЕКА.— ПРИЛОЖЕНИЕ: «ПИСЬМА ИНОСТРАНЦЕВ К ТОЛСТОМУ» (ОБЗОР Т. Н. ВОЛКОВОЙ).

ОТ РЕДАКЦИИ

Переписка Толстого с иностранными корреспондентами продолжалась несколько десятилетий. В архиве писателя (*АТ*) хранится около *девяти тысяч* писем к нему из зарубежных стран. Для их полной публикации понадобились бы десятки томов.

В настоящей работе представлено *сто двадцать пять* писем. Они отобраны редакцией «Литературного наследства» в результате ознакомления со всеми письмами иностранцев к Толстому. Это корреспонденция, полученная Толстым из Австралии, Австрии, Англии, Аргентины, Бельгии, Германии, Голландии, Дании, Испании, Италии, Канады, Мексики, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, США, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. Письма даны в переводах с английского, немецкого, итальянского, испанского, сербского и французского языков. Некоторые иностранцы писали Толстому по-русски. За единичными исключениями, публикуемые ниже письма появляются в печати впервые.

Иностранная почта Толстого — наименее изученная часть его огромной переписки. То немногое, что было опубликовано, связано, главным образом, с именами известных писателей: Р. Роллана, Дж. Б. Шоу и др. Между тем, огромный интерес представляет и переписка Толстого с «неизвестными друзьями». В ней затронуты самые острые вопросы эпохи. В последние годы заметно усилился интерес к этим документам. В печати начинают появляться адресованные Толстому письма из славянских стран, стран Латинской Америки и Востока. В большей же своей части эта переписка до последнего времени продолжала оставаться почти неизвестной.

Все письма, вошедшие в предлагаемую публикацию, были прочтены Толстым. На некоторые из них были написаны ответы — либо самим Толстым, либо по данному им указанию его близкими, друзьями и помощниками. На конвертах некоторых писем Толстой сделал пометку: *Б. О.*— «без ответа». Далеко не все письма, попавшие в эту категорию, не заслуживали ответа. Но некоторые из них «повторяли вопрос», который уже многократно задавали Толстому другие корреспонденты. В отдельных случаях именно в этих письмах можно найти то, что особенно глубоко характеризовало эпоху

* Т. Н. Волкова произвела первичное изучение и отбор писем в Архиве Толстого, а также подготовила к печати письма на русском языке и перевела письма английские, немецкие, французские. Письма на испанском и итальянском языках подготовили к печати и перевели Н. И. Горбункова и З. М. Потапова, сербско-хорватские письма — И. Д. Очак и Т. П. Попова. В комментировании отдельных писем использованы материалы, предоставленные редакции Т. Н. Волковой, Б. А. Гиленсоном, Н. И. Горбунковой, М. Д. Моричевой, М. И. Перпер и З. М. Потаповой. Редактирование переводов писем осуществлено М. Е. Михелевич (англ. и франц.) и В. К. Тарасовой (нем.). В текстологической работе принимала участие М. И. Беляева.

Толстого. Настойчивое повторение корреспондентами из разных стран и в разные годы одних и тех же вопросов воссоздает непосредственное ощущение жизненных импульсов, проникавших в творческую лабораторию писателя.

Группировка писем по наиболее значительным и актуальным темам литературы, истории, общественной и политической жизни ясно очерчивает круг вопросов и проблем, занимавших Толстого в его переписке с современниками. Редакция отнюдь не могла и не стремилась сделать публикацию исчерпывающей ни по тематическому охвату, ни по материалу. Публикация должна показать на наиболее характерном материале, какой отклик пробуждала у современников во всем мире деятельность Толстого—художника, публициста и моралиста. Печатаемые письма наглядно свидетельствуют о том, как складывались и росли мировая известность и мировое значение Толстого—художника и мыслителя. В Ясную Поляну прибывали тысячи писем из всех уголков мира. Многие из этих писем явились ответом на те конкретные вопросы демократии и социализма, которые, по словам Ленина, были поставлены Толстым и явились отражением мирового значения русской революции.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Переписка была для Толстого живой формой общения с «большим светом»—народом (т. 57, стр. 89). Это общение — от начала литературной известности Толстого и до последних дней его жизни — становилось все более значительным, по мере того как переписка постепенно расширялась и охватывала не только Россию и Европу, но и отдаленные страны Азии, Африки и Америки. «Живешь в деревне,— говорил Толстой о Ясной Поляне в 1910 г.,— и получаешь со всех концов, как по сходящимся радиусам, сведения о самом дорогом для тебя...» [1]

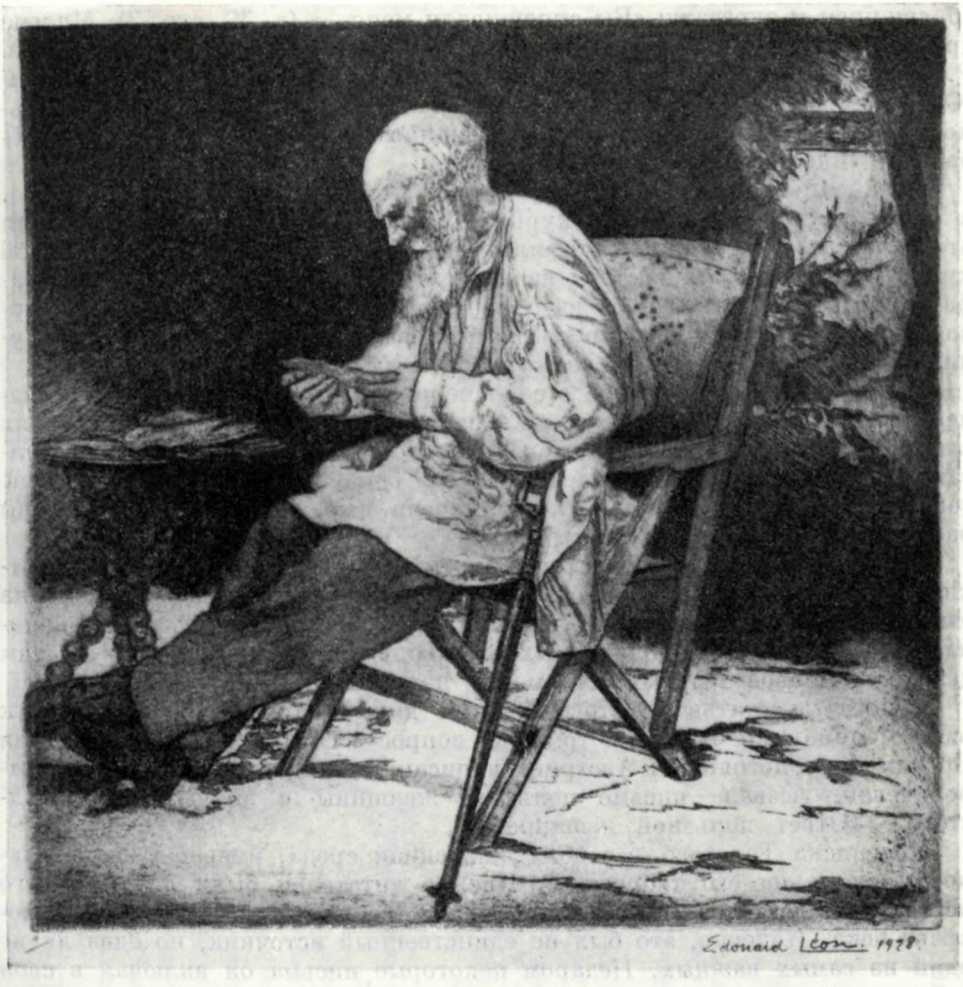
Толстой считал самым дорогим для себя «братское общение с людьми». Именно в этом, по его мнению, и состоит высшая цель и назначение искусства. «Мне всегда особенно радостно чувствовать,— писал Толстой,— свое братское общение с людьми, которые географически, и этнографически, и политически, казалось бы, так отдалены, как только могут быть отдалены люди...» (т. 80, стр. 107).

Среди корреспондентов Толстого были видные писатели, ученые и общественные деятели его времени; были среди них и малоизвестные и совсем неизвестные люди. Во многих письмах были «заявлены требования» — выдвинуты современные задачи, которые он не мог не учитывать, даже в том случае, когда не считал возможным ответить на них письмом.

Некоторые письма особенно привлекали его внимание. «Я иногда по конверту узнаю, которое из писем будет интересно,— говорил Толстой.— Если конверт написан большими красивыми буквами: „Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому“, то я уж знаю, что это будет, по меньшей мере, бессодержательное письмо. Но если на конверте написано мое имя неправильно и дрожащей рукою, вроде того, что „Льву Миколаевичу Толстову“, то я знаю, что письмо будет интересно, и открываю его раньше других. И зачастую мои ожидания оправдываются» [2].

Конечно, это последнее замечание относилось к письмам крестьян в его русской переписке. Но нельзя не видеть, что и в письмах иностранцев Толстой искал и находил именно то, что было наиболее значительным по смыслу. Поразителен неиссякаемый интерес Толстого к людям. В письмах корреспондентов, которые обращались к нему за советом и поучением, он словно искал поучения для самого себя. «Был рад возможности вступить с вами в общение»,— эти слова повторяются в письмах Толстого как лейтмотив его огромной переписки.

«Отец просил передать,— писала Т. Л. Толстая одному из корреспондентов,— что ответы на ваши вопросы изложены им в его сочинениях и он очень рад бы был, если бы они удовлетворили вас» (т. 68, стр. 289). До тех пор пока такие ответы были возможны, Толстой мог сохранять уверенность, что он остается «с веком наравне».



ТОЛСТОЙ
Офорт французского художника Эдуарда Леона, 1928
Музей Толстого, Москва

Разумеется, не всегда представлялось возможным ограничиться указанием на сочинения Толстого. В письмах содержались и новые вопросы, которые нельзя было оставить без внимания. Многие публицистические замыслы Толстого были связаны с его перепиской.

В 1893 г. Толстой получил письмо от профессора философии Берлинского университета *Г. фон Гижицкого*, который просил ответить на два вопроса: что понимать под словом религия и возможно ли существование нравственности, независимой от религии.

«Я имел намерение немедленно ответить на ваше достойное письмо,— писал Толстой фон Гижицкому.— Но так хорошо поставленные вами вопросы представляют для меня такой глубокий интерес, что я старался ответить насколько возможно обстоятельно, что отняло у меня больше времени, чем я думал, так что я только теперь покончил с моим ответом. Ответ-статью, приблизительно в один печатный лист, я написал по-русски и теперь дам ее перевести на немецкий язык» (т. 66, стр. 401).

«Ответ-статья» Толстого называется «Религия и нравственность». Это именно статья, хотя и написана она в форме письма и начинается

обращением к адресату: «Вы спрашивали меня...» (т. 39, стр. 3). Многие другие письма Толстого публиковались как статьи. Так, например, письмо Р. Роллану появилось в 1888 г. в журнале «Неделя» под названием «О ручном труде». Для печати предназначались «Письмо к китайцу», «Письмо к японцу» и другие письма-статьи, написанные в ответ на личные обращения иностранных корреспондентов.

Индийский корреспондент Таракуатта *Дас* прислал Толстому письмо, а также несколько номеров журнала «Free Hindustan». Толстой начал ответ как письмо, а написал философскую статью о судьбах восточной культуры. Статья эта состоит из нескольких глав, снабженных эпиграфами, но в ней сохранились все признаки эпистолярного жанра. И в первой главе мы читаем под эпиграфами слова личного обращения: «Получил ваше письмо и два номера журнала...» (т. 37, стр. 259).

Форма прямого разговора с современниками о самых насущных жизненных проблемах делала письма Толстого особенно опасными с точки зрения цензуры. «Письмо „О праве“... в свое время,— пишет В. Ф. Булгаков,— не согласилась напечатать ни одна иностранная газета, не говоря уже о русских,— до такой степени выраженные в нем взгляды расходятся с общепринятыми» [3].

Каждая новая книга Толстого вызывала множество читательских откликов. И нередко Толстой обосновывал свой новый замысел ссылками на эти письма. Так, например, книга «Царство божие внутри вас» начинается обзором писем, полученных по поводу сочинения «Так что же нам делать?» Это своеобразный мост между двумя книгами.

Некоторые статьи Толстого связаны друг с другом, как письма к разным лицам по одному и тому же вопросу. Статья «О присоединении Боснии и Герцоговины к Австрии», написанная в ответ на письмо А. Петровичевой, вызвала письмо польской женщины и новую статью Толстого — «Ответ польской женщине».

Переписка Толстого — особая жизненная среда, имевшая значительное влияние на его творчество. Письма читателей были для Толстого источником достоверных сведений об умственной и нравственной атмосфере века. Конечно, это был не единственный источник, но едва ли не один из самых важных. Недаром некоторые письма он включал в свои сочинения как замечательные документы исторического значения. Так, в статье «Патриотизм и правительство» приведены письма сторонников мира из разных стран Европы и Америки (т. 90, стр. 437).

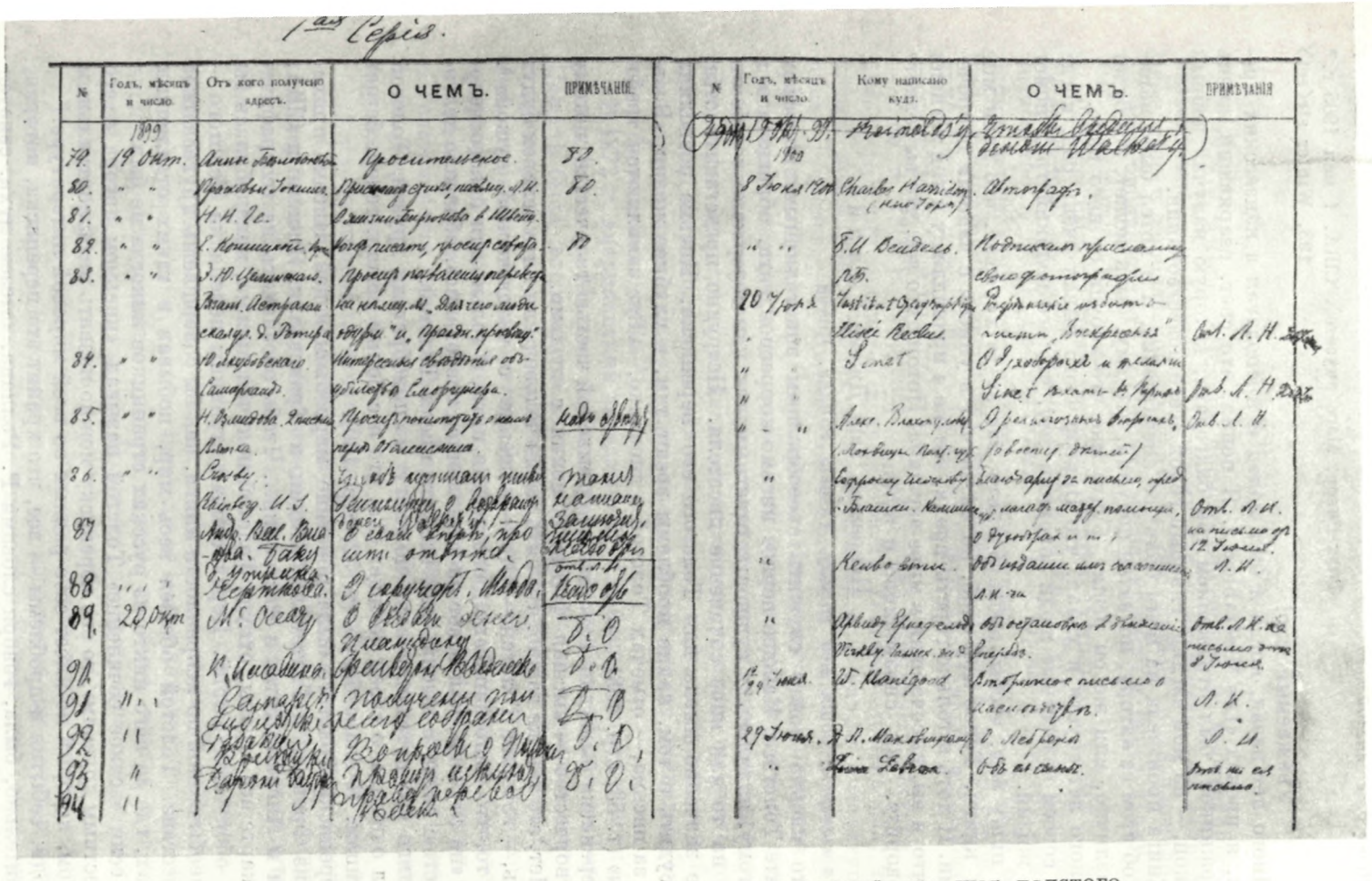
Толстой находился в самом центре современности. Его переписка — по существу злободневна и публицистична. Пожалуй, нет ни одного сколько-нибудь значительного события общественной жизни его времени, которое бы не нашло своего отражения в этой своеобразной летописи мира. Толстой испытывал необходимость в активных и злободневных жанрах, желая ответить на «заявленное требование». И он нашел эти жанры. Это были «статья-письмо» и «письмо-статья», значительно расширившие рамки и возможности эпистолярной литературы и публицистики.

«Всякое сочинение,— говорил Толстой,— est une lettre de l'auteur à ses amis inconnus» * (т. 73, стр. 282). Книга должна пройти — от автора к адресату — тем же путем, «через множество городов и деревень», каким проходят письма. Даже роман Толстой называл «письмом»: «Я всё пишу свое совокупное — многим — письмо в „Воскресении“» (т. 71, стр. 515).

Ежедневная почта приносила вести о том, что «письма» доходят по адресу. «Неизвестные друзья» вступали в общение с автором. Одну из самых важных побудительных причин, заставлявших писать Толстому, определил *Дж. Уоллис*, «неизвестный друг».

---

* это письмо автора к своим неизвестным друзьям (франц.).



1-ая Серія.

№	Годъ, мѣсяцъ и число	Отъ кого получено адресъ.	О ЧЕМЪ.	ПРИМѢЧАНІЯ.
	1899			
79.	19 Окт.	Анны Павловны	Просительное.	Отд.
80.	" "	Крестьян Тюкинск.	Прислали сумму, посвящ. А.Н.	Отд.
81.	" "	Н.Н. Гс.	О магазинѣ перевода в Швец.	
82.	" "	К. Кошелевой. Гр.	Когда писать, просит совѣта.	Отд.
83.	" "	Э.Ю. Цешковскаго.	Просит напечатать перевод.	
		Влад. Петрович	Как кончить М. Для чего любви	
		сказал Д. Петра	говорил" и "Крейц. сонат."	
84.	" "	В. Лебедевскаго.	Интересно сведѣнія объ	
		Самарской.	обществѣ Самарѣева.	
85.	" "	Н. Ключева. Ананьев	Просит помѣстить статью	Отд. А.Н.
		Плана.	перев. Толстовскаго.	
86.	" "	Розенъ.	Одобряет идущія къ нему	Отд. А.Н.
		Нейбург. И.Л.	Сочиненія. О дѣятельн.	на письмо от
87		Анд. Вас. Кисе-	О сбытѣ книгъ, про	12 Іюня.
		-ева. Баку	сит отвѣта.	
88		Успенская	О сапогахъ. Молодо.	Отд. А.Н.
		Нестерова.		
89.	20 Окт.	М. Осеару	О возвр. денег.	
			Планидалу.	
90.		К. Цихонина.	Брошюры Новосел.	
91.	" "	Самара.	Получены ли	
		Дидилия.	деньги собраны.	
92.	"	Гуревичу	Вопросы о Христѣ.	
93.	"	Гарри Бауэр.	Прошу прислать	
94.	"		прошлое письмо.	

№	Годъ, мѣсяцъ и число	Кому написано куда.	О ЧЕМЪ.	ПРИМѢЧАНІЯ
	1899			
	8 Іюня Нов.	Charles Hamilton (Нью Іорк)	Автограф.	
	" "	Б.И. Вейдель.	Подписать присланную	
		Юб.	свою фотографію	
	20 Ноя.	Institut Geographique	Разрѣшеніе издать	
		Ніеі Васіе	статью "Воскресенье"	Отд. А.Н.
		Senat	О дозволеніи издать	
			Сенат. статью Крупп	Отд. А.Н.
		Алекс. Влад.	О религіозныхъ вопросахъ	Отд. А.Н.
		(Москва Каз. ул.)	(повѣсить этикетъ)	
		Сергѣенко Петрову	Благодарит за письмо, пред	
		Благосв. Комиссіи	лагает защиту, помощи,	Отв. А.Н.
			о Духоборах и т.п.	на письмо от
		Кеннеди Англ.	Объ изданіи его сочиненій	12 Іюня.
			А.Н. за	А.Н.
		Эрвину Ураеделю	Объ отправкѣ 2 книжекъ	Отв. А.Н. на
		Berkly Calif. U.S.A.	Берклей.	письмо от
	29 Іюня.	Ф. Мангеймъ	Вторичное письмо о	8 Іюня.
			книгахъ.	А.К.
	29 Іюня.	Д.П. Маковицкому	О Лебедевѣ	А.М.
	"	Анна Львов.	Объ отъѣздѣ.	Отв. не от
				правлено.

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ПОСТУПАВШЕЙ НА ИМЯ ТОЛСТОГО.
СТРАНИЦА С ЗАПИСЯМИ ПИСАТЕЛЯ ОТ 19—20 ОКТЯБРЯ 1899 г. (85—95)

Разворот

Архив Толстого, Москва

Перевод с английского

Фолл-Ривер, Масс⟨ачусетс⟩. США. 1 мая 1905 г. *
193, Winter str⟨eet⟩

Уважаемый сэр!

Много лет назад, когда я был молод и преподавал в канзасских прериях, я прочел «Les Misérables» [4]. Я понял, что свет, озарявший жизнь каторжников, был отражением той благодати, которую излучал добрый епископ,— на мой взгляд, главный герой всего повествования.

Книга произвела на меня большое впечатление, и я хотел было написать об этом ее автору, но затем подумал, что ему, быть может, это будет безразлично, или же он решит, будто мне что-нибудь от него надо.

Много лет спустя я узнал, что Виктор Гюго бывал очень рад, когда даже совсем безвестные люди говорили ему, что его великий труд помог им в жизни.

Я пишу вам, чтобы поблагодарить вас за то хорошее, что дали мне ваши книги. Голос мой слаб, но он звучит в унисон с вашими пророчествами. И хоть я только горсть праха, все же я принадлежу к той же цепи гор, что и вы, высочайшая в мире вершина! Потому что всё, что вы делаете и говорите, так справедливо и нужно.

Искренне ваш Джемс У о л л и с

На конверте: Count Leo Tolstoy. Yasnaia Poliana. Russia

Это письмо может служить своеобразным эпистолярным эпиграфом к почте Толстого. Каждое первое письмо корреспондента, обращенное к Толстому, являлось, в сущности, ответным, так как содержало в себе отклик на то или иное сочинение писателя. Нетрудно представить себе, какое значение имела для Толстого его переписка. Письма позволяли ему судить о том, какие проблемы зреют там, в глубине жизни. «Возьмусь за письма,— отмечал Толстой в дневнике.— Тут заявляются требования» (т. 53, стр. 138).

Переписка была для Толстого неотъемлемой частью творчества, потому что творчество — высшая форма общения с людьми.

«Нет, это так же важно, что пять тысяч человек или пять человек будут читать,— говорил Толстой.— Это — общение с человеческой душой» [5].

И то, что было написано даже не для пяти, а только для одного человека, «по случаю», как ответ на «заявленное требование», обладало долговечностью слова и мысли, как все, что писал Толстой.

Книги его путешествовали по свету и приобретали друзей. Толстой сказал однажды о своем детище: «То, что я с болью рожал, теперь бегает по улицам. И слава богу!» (т. 52, стр. 130).

Переписка Толстого была поистине мирообъемлющей. Письма приходили из Франции и Гватемалы, Индии и Трансвааля, Японии и США, Дании и Англии, Китая и Австралии... Чтобы обозначить на географической карте все страны, откуда Толстой получал письма, понадобилась бы карта обоих полушарий. Перелистывая страницы переписки Толстого — этой необычайной по искренности книги, как бы совершаешь кругосветное путешествие. Толстой обошел весь мир, побывав в таких отдаленных уголках, где до него никто из русских странников никогда не был.

И если «всякое сочинение» Толстой называл «письмом автора к его неизвестным друзьям», то его переписку можно назвать интеллектуальным романом, который не имеет себе равных во всей мировой литературе.

Люди, события и проблемы — все, что хранит эта переписка, которая, действительно, была, говоря словами Р. Роллана, «стезею духа, связующей Восток и Запад» [6], имеет не только историческое, но и самое актуальное современное значение.

* Дата почтового штемпеля. — *Ред.*

I

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

1. УИЛЬЯМ РОЛСТОН

В 1878 г. в Ясную Поляну пришло первое письмо иностранного корреспондента, обращенное к Толстому как к писателю, уже заявившему свое имя в европейской литературе. Это письмо принадлежало перу бывшего библиотекаря Британского музея, критику и переводчику Уильяму *Ролстону* (1828—1889) [1].

Ролстон был довольно хорошо известен не только на Западе, но и в литературных кругах России. Он встречался с Тургеневым, поддерживал знакомство с П. Д. Боборыкиным, Н. И. Стороженко и другими русскими писателями, историками и критиками. Ролстон немало сделал для ознакомления английских читателей с русской литературой. Ему принадлежит перевод басен Крылова и фундаментальное исследование о русской народной поэзии [2].

Еще в 1866 г. Тургенев рекомендовал вниманию Ролстона целую плеяду русских реалистов и прежде всего Толстого: «Очень рад, что вы хотите познакомить ваших соотечественников с нашей литературой,— писал Тургенев.— Не говоря уже о Гоголе, я думаю, что произведения графа Льва Толстого, Островского, Писемского и Гончарова могут представить интерес и по своей новой манере восприятий и по передаче поэтических впечатлений; нельзя отрицать, что со времени Гоголя наша литература приняла оригинальный характер; хотелось бы знать только, достаточно ли выявлена эта оригинальность, чтобы возбудить к ней интерес и других наций. Ваше мнение, оценка и выражение симпатий были бы здесь бесконечно ценны» [3].

В 1872 г. американский литератор Ю. Скайлер, бывший консул Соединенных Штатов в Москве, опубликовал свой перевод «Казаков» Толстого. Повесть была встречена в Англии и Америке с огромным интересом. Ролстон решил тогда ближе познакомить читателей с Толстым. Но сведения, которыми он располагал, были очень скудны. Кроме краткой биографической справки о Толстом, приложенной к переводу Скайлера, в его распоряжении не было других материалов. В 1878 г. Ролстон судил о Толстом почти понаслышке. Даже те книги русского писателя, которые к тому времени уже появились в английских изданиях, были известны ему только по названиям.

Ролстону пришлось начать с добывания необходимых сведений о Толстом. Сведения эти он хотел получить из самого надежного источника. Скайлер посоветовал ему обратиться прямо в Ясную Поляну. По-видимому, этот совет одобрил и Тургенев. Получив столь авторитетные напутствия, Ролстон и принял решение написать Толстому.

Замысел его статьи выходил за литературно-критические рамки. В английских публикациях о России наиболее значительное место занимали политические мотивы, так что читатели не могли получить сколько-нибудь верного представления о русском народе, его быте, нравах и понятиях. Роман «Война и мир» казался Ролстону произведением, которое могло бы помочь иностранцу понять русский народ.

Истинное значение Толстого как художника и мыслителя оставалось неясным и самому Ролстону и не от недостатка проницательности, а потому что известность русского писателя в Европе еще только начиналась.

Сейчас нам кажется, по меньшей мере, странным выраженное в письме к Толстому обещание Ролстона прочесть «Анну Каренину» в том случае,

если его статья о «Войне и мире» будет иметь успех. А в 1878 г. это был деловой разговор критика о литературных новинках, исторического и художественного значения которых не понимал не только Ролстон, но и многие даже в России.

Письмом из Буживаля от 1/13 октября 1878 г. Тургенев известил Толстого, что Ролстон намерен написать статью о «Войне и мире», и рекомендовал его как вдумчивого и добросовестного критика. «Вы, вероятно, уже получили от моего приятеля В. Ролстона, английского литератора и любителя нашей словесности,— письмо, в котором он просит вас дать о себе несколько биографических заметок,— писал Тургенев.— Надеюсь, что вы ему не отказали, так как он человек очень хороший и серьезный, не какой-нибудь корреспондент или фельетонист... С своей стороны я ему послал небольшой перечень известных мне фактов из вашей литературной и общественной жизни и полагаю, что вы на меня за это сетовать не будете» [4].

За несколько дней до получения этого письма пришло в Ясную Поляну и письмо самого Ролстона.

Перевод с английского

Лондон. 4 октября 1878 г.
8, Alfred Place, Bedford Square

Милостивый государь!

Я не имел удовольствия быть вам представленным, но у нас есть общие друзья, и один из них, мистер Юджин Скайлер, с которым я сегодня виделся, сказал, что, на его взгляд, я могу обратиться к вам и без официального знакомства с вами.

Я намерен написать статью о «Войне и мире» для одного из наших журналов — «New Quarterly» — и желал бы сообщить кое-какие сведения об авторе. Г-н Скайлер дал краткую биографическую заметку при своем переводе «Казаков». Но мне хотелось бы сказать побольше, в особенности в связи с вопросами воспитания, которым вы посвятили так много времени.

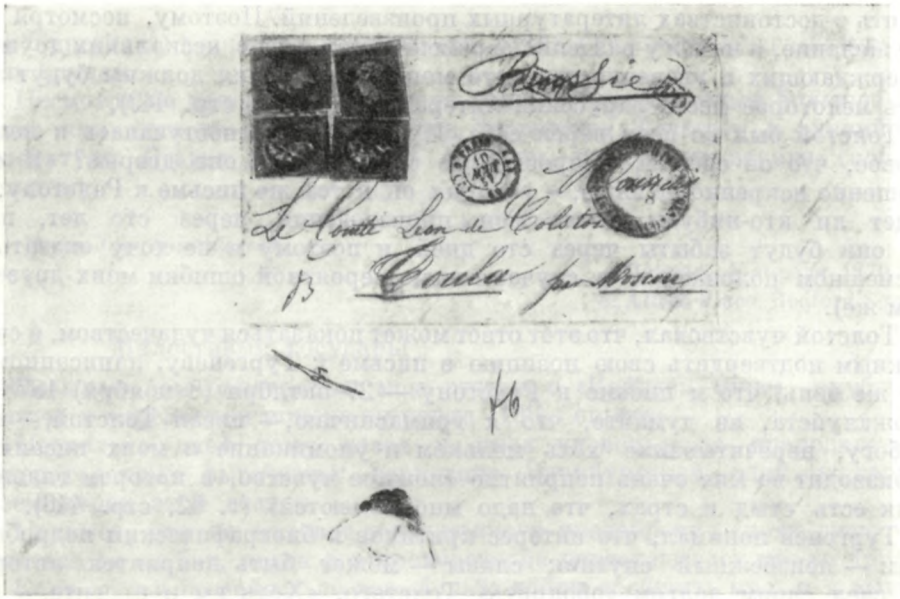
Ваше «Детство», «Отрочество» было переведено и опубликовано здесь несколько лет назад и, кажется, в Америке переведены «Военные рассказы», но сам я никогда их на английском не видел [5].

Я не читал «Анны Карениной», но хочу в своей статье просто упомянуть об этом романе. Если же статья привлечет к себе то внимание, которого заслуживает ее тема, я прочту «Анну Каренину» и вторую статью посвящу ей.

Если вышли какие-нибудь хорошие биографические статьи о вас и какой-либо полный обзор ваших произведений, будьте добры, сообщите, где они появились. Если же вы, сверх того, возьмете на себя труд прислать мне сведения о себе, я буду вам премного обязан.

Критического разбора в моей статье не будет: о произведениях, которые были переведены, читатели-англичане могут судить сами, а критических заметок о непереведенных книгах никто читать не станет. Моя цель— просто выбрать и систематизировать ряд картин русской жизни, многие из которых я почерпну в «Войне и мире», и предоставить английской публике вынести о них собственное суждение.

Я слышал о французской книге под заглавием «Катя» (или что-то в этом роде), которая является переводом вашего произведения, а также о немецкой книге, озаглавленной, мне кажется, «Семейная жизнь». Но я их не видел и не знаю, которому из ваших сочинений они соответствуют [6].



САМОЕ РАННЕЕ ИЗ СОХРАНИВШИХСЯ ПИСЕМ ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ТОЛСТОГО

Письмо парижского банкира и экономиста Э. Пегот Ожье от 10 августа 1857 г. Последний лист с адресом

Архив Толстого, Москва

Мне очень хотелось бы знать: существует ли какая-нибудь статья о «Войне и мире» или об «Анне Карениной» на французском или немецком языках.

Должен с грустью отметить, что английскую публику в настоящее время интересуют только политические статьи о России. И это достойно сожаления, потому что моим соотечественникам следовало бы быть лучше осведомленными о том, что в действительности представляют собой русские люди.

Надеюсь, вы простите мне мою бесцеремонность.

Остаюсь искренне восхищенный и почтительно преданный

У. Р. Ш. Ролстон

P. S. Мне нужно закончить статью к декабрю.

Толстой долго не отвечал ни Тургеневу, ни Ролстону.

Шла осень. Стояли отличные дни. «Я не солгу, если скажу,— признавался Толстой,— что меня не было дома, т. е. что я не находился сам в себе, а где-то ailleurs *. Ходил на охоту, учил детей, обедал, принимал гостей, когда приезжали, но если должен был от себя что-нибудь делать, то ничего не мог» (т. 62, стр. 445).

Однако написанное через месяц письмо к Ролстону оказалось кратким и точным, как тезис эстетики Толстого. «Я вполне убежден многочисленными примерами писателей, которых современники ставили сначала очень высоко, но которые затем были совершенно забыты еще при жизни,— писал Толстой,— что современники не могут правильно

* в другом месте (франц.).

судить о достоинствах литературных произведений. Поэтому, несмотря на мое желание, я не могу разделять временную иллюзию нескольких друзей, утверждающих с уверенностью, что мои произведения должны будут занять некоторое место в русской литературе» (т. 62, стр. 449).

Толстой был во всем верен себе. И когда слава постучалась к нему, первое, что он сделал,— спросил, не ошиблась ли она дверью? «Я совершенно искренно не знаю,— говорил он в том же письме к Ролстону,— будет ли кто-нибудь читать мои произведения через сто лет, или же они будут забыты через сто дней, и поэтому я не хочу оказаться в смешном положении, в случае весьма вероятной ошибки моих друзей» (там же).

Толстой чувствовал, что этот ответ может показаться чудачеством, и счел нужным подтвердить свою позицию в письме к Тургеневу, написанном в тот же день, что и письмо к Ролстону — 27 октября (8 ноября) 1878 г. «Пожалуйста, не думайте, что я гримасничаю,— писал Толстой,— но, ей-богу, перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях производит во мне очень неприятно сложное чувство, в котором главная доля есть стыд и страх, что надо мной смеются» (т. 62, стр. 446).

Тургенев понимал, что интерес критиков к биографическим подробностям — неизбежный спутник славы — может быть неприятен автору. Он счел своим долгом «ободрить» Толстого. «Хоть вы и просите,— замечал Тургенев,— не говорить о ваших писаниях,— однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось „даже немножко“ смеяться над вами; иные ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились; иные, как, напр⟨имер⟩, „Казаки“ доставляли мне большое удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смех? Я полагал, что вы от подобных „возвратных“ ощущений давно отделались. Отчего они знакомы только литераторам, а не живописцам, музыкантам и прочим художникам? Вероятно, оттого, что в литературное произведение все-таки входит больше *той* части души, которую не совсем удобно показывать» [7].

Это письмо не понравилось Толстому. Он усмотрел в нем какую-то скрытую мысль или насмешку и с большим раздражением писал Фету: «Вчера получил от Тургенева письмо. И знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный» (т. 62, стр. 453).

Переписка Толстого с Тургеневым и Ролстоном на время оборвалась. Однако Тургенев сообщил Ролстону необходимые для статьи о «Войне и мире» сведения.

Статья Ролстона «Романы графа Льва Толстого» была напечатана в апрельском номере журнала «Nineteenth Century» (1878). В статье содержится краткий обзор литературной деятельности Толстого от «Детства» до «Анны Карениной», но основное место занимает пересказ содержания «Войны и мира» (о других произведениях Ролстон упоминает лишь вскользь, ограничиваясь библиографическими заметками). Он избегает подробностей при изложении сюжета «Войны и мира», опасаясь, что они могут ослабить впечатление от картины в целом.

Ролстон, разумеется, понимал, что такого рода пересказ не может заменить самого произведения. «То, что романы Толстого обладают многими достоинствами,— писал он в статье,— доказывает единодушие и энтузиазм, с которыми они были встречены русской читающей публикой. И невозможно справедливо судить о романе по очерку его содержания: это все равно, что пытаться представить себе райскую птицу по ее костяку» [8].

Ролстон излагает только два эпизода из жизни Толстого — его службу в Севастополе и яснополянские педагогические опыты. Характерно, что к педагогической практике Толстого он отнесся (по-видимому, не без влия-

ния Тургенева) несколько скептически, отдав предпочтение его литературным трудам.

Несмотря на неполноту материала, статья Ролстона имела большое значение как один из первых очерков творчества Толстого в английской литературе. Статья пользовалась успехом, и Ролстон вскоре сообщил Толстому:

Перевод с английского

Лондон, 1 апреля 1879 г.
8, Alfred Place, Bedford Square.

Милостивый государь!

Посылаю вам бандеролью мою статью о «Войне и мире», опубликованную в апрельском номере журнала «19th Century».

Несколько дней тому назад я имел удовольствие преподнести ее императорскому высочеству герцогине Эдинбургской один из первых экземпляров этой статьи.

Надеюсь, она не вызовет у вас полного неодобрения, хотя знаю, что писатель не любит, когда его произведение пересказывает кто-то другой.

Если статья не дойдет до вас, будьте добры сообщить мне, и я вышлю вам другой экземпляр письмом.

Искренне ваш
Уильям Р. Ш. Ролстон

Ни в дневниках, ни в письмах Толстого нет упоминаний об этой статье. И письмо Ролстона осталось без ответа. Толстой молчал, оставляя похвалы на совести критиков точно так же, как он обычно не отвечал на хулу.

Ролстон бывал в России. В 1872 г. его принимал в Спасском-Лутовинове Тургенев. Но Тургенева уже не было в живых, когда Ролстон в 1884 г. вновь собрался в Россию. Он хотел усовершенствовать свои знания в русском языке, побывать на археологическом съезде в Одессе, изучить былины и собрать материал для новой книги.

О планах Ролстона рассказал Толстому профессор Н. И. Стороженко. И тогда у Толстого возникла мысль пригласить Ролстона к себе в Ясную Поляну.

Толстой попросил Стороженко передать это приглашение. В письме к Толстому Ролстон сообщил о целях своего путешествия в Россию.

Перевод с английского.

Лондон, 4 марта 1884 г.
8, Alfred Place, Bedford Square.

Милостивый государь!

Позвольте мне от всего сердца поблагодарить вас за чрезвычайно любезное приглашение, о котором я только что узнал от моего друга, профессора Стороженко. Я просто протрясен вашей добротой, тем, что вы так сердечно предлагаете гостеприимство постороннему человеку, и несколько обеспокоен мыслью, что, может быть, обременю вас. Но возможность изучить жизнь русской деревни при таких благоприятных обстоятельствах настолько соблазнительна, что я готов отбросить все сомнения и воспользоваться вашей добротой. Искренне надеюсь, что буду в состоянии хотя бы в малой степени отплатить за нее своим английским языком в обмен на русский, к которому, как меня уверяет г. Стороженко, ваша молодежь готова меня приобщить.

Осенью позапрошлого года наш покойный друг Тургенев пригласил меня провести следующее лето у него в Спасском. Его болезнь лишила меня этой прекрасной возможности ознакомиться с русской деревней, а равно и огромного удовольствия побыть в обществе одного из моих лучших друзей. В 1872 году я провел с ним в Спасском десять дней, и это было для меня чрезвычайно интересное время.

Главной целью моего посещения России в нынешнем году будет совершенствование моих познаний в русском языке. Я не собираюсь писать книгу о России, но надеюсь издать книгу о былинах, если смогу осуществить свое намерение посетить Олонецкую губернию и повидать местность, где сохранились интереснейшие следы старой русской поэзии.

Я никогда не занимался публицистикой. Но все, что свидетельствует о жизни народа в любой стране, представляет для меня чрезвычайный интерес.

Я всегда сожалел о неосведомленности моих соотечественников в отношении России и охотно сделал бы что-нибудь, чтобы ее рассеять.

Если здоровье позволит, я постараюсь пробыть в России подольше. Больше всего беспокоило меня, как я буду переносить летнюю жару. Ваше любезное приглашение избавляет меня от этой заботы. Искренне надеюсь, что не дам вам повода в этом раскаяться.

В настоящее время планы мои таковы: я предполагаю приехать в Петербург в мае, а оттуда направиться в Каргополь. По возвращении думаю на короткое время заехать в Москву. Затем, если это по-прежнему окажется для вас не слишком неудобным, я воспользовался бы вашим любезным гостеприимством. Позднее мне хотелось бы присутствовать на археологическом съезде в Одессе, а после этого поселиться на зиму в Москве.

Однако слабое здоровье не позволяет мне строить какие-либо твердые планы надолго вперед. Как буду я переносить русскую зиму — не могу сказать, пока лично с ней не познакомлюсь. Но что бы ни случилось, я навсегда сохраню чувство теплой благодарности к вам за вашу большую доброту ко мне.

Искренне ваш

У. Р. Ш. Ролстон

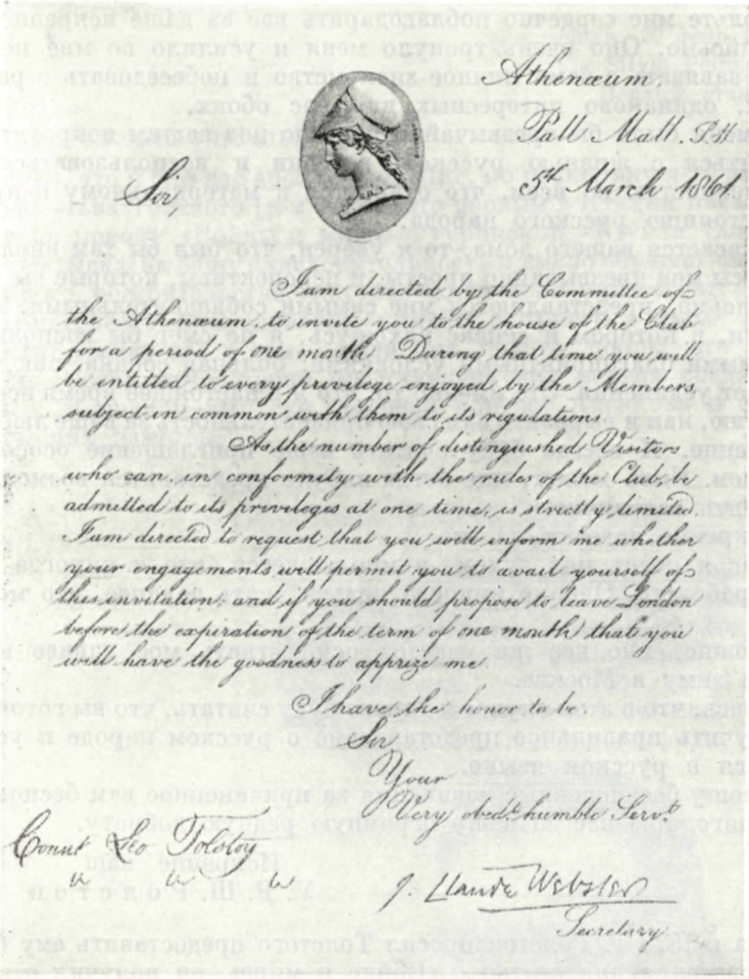
Толстой не мог не ответить на это письмо, однако в томах переписки 1880-х годов, помещенной в «Юбилейном издании», имя Ролстона не упоминается.

Ответ Толстого опубликован там как «письмо неизвестному», датированное январем — маем 1884 г. (т. 63, стр. 174) [9].

Письмо начинается обращением по-английски: «Dear sir!» Далее весь текст написан по-русски. Речь в нем идет о предстоящем визите Ролстона в Ясную Поляну. «Место у нас в деревне прекрасное, семейство, надеюсь, не неприятное, пища хорошая и вообще может быть сообразована с вашими вкусами, но семейство наше очень велико и у нас помещение, может быть, не так удобно, как бы вы желали ⟨...⟩ Если бы случилось почему-нибудь, что вам неудобно жить у меня, то прямо скажите это и мы устроим иначе» (т. 63, стр. 174).

Н. И. Стороженко, по-видимому, сообщил Толстому о слабом здоровье Ролстона. Вот почему Толстой так подробно писал об условиях жизни в Ясной Поляне.

Путешествие Ролстона в Россию, однако, не состоялось. С наступлением весны его здоровье ухудшилось, и он ответил на приглашение Толстого грустным письмом.



Athenæum,
Pall Mall. S.W.
5th March 1861

Sir,

I am directed by the Committee of the Athenæum to invite you to the house of the Club for a period of one month. During that time you will be entitled to every privilege enjoyed by the Members, subject in common with them to its regulations.

As the number of distinguished Visitors who can, in conformity with the rules of the Club, be admitted to its privileges at one time, is strictly limited, I am directed to request that you will inform me whether your engagements will permit you to avail yourself of this invitation; and if you should propose to leave London before the expiration of the term of one month, that you will have the goodness to apprize me.

I have the honor to be,
Sir,
Your
Very obdt humble Servt

Count Leo Tolstoy

J. Laurie Webster
Secretary

БИЛЕТ ТОЛСТОГО НА ПРАВО ПОСЕЩЕНИЯ ЛОНДОНСКОГО КЛУБА «ATHENÆUM». 5 МАРТА 1861 г.
Был вручен Толстому во время его пребывания в Лондоне
Архив Толстого, Москва

Перевод с английского

Лондон. 26 апреля 1884 г.
8, Alfred Place, Bedford Square.

Милостивый государь!

Я слишком задержался с ответом на ваше любезнейшее письмо. Объясняется это нерешительностью, в которой я некоторое время находился. Когда я писал г. Стороженко о своих планах на лето, мне казалось, что я вступаю в полосу хорошего здоровья. Но случилось иначе. Последний месяц я был ни к чему не годен, и пока нет никакой надежды на улучшение. Я вынужден поэтому, к величайшему сожалению, отказаться от моего намерения провести лето в России, а вместо того поеду в Экс-лэ-Бэн или на воды в Германию. Для меня это большое разочарование. Но, быть может, если здоровье мое восстановится, я смогу побывать в России осенью. Боюсь, однако, строить какие-либо планы, потому что в последние годы они так часто, почти всегда терпели крушение.

Позвольте мне сердечно поблагодарить вас за ваше искреннее и дружеское письмо. Оно очень тронуло меня и усилило во мне постоянное желание завязать с вами личное знакомство и побеседовать о различных вопросах, одинаково интересных для нас обоих.

Для меня было бы чрезвычайно полезно под вашим покровительством ознакомиться с жизнью русской деревни и воспользоваться вашей осведомленностью во всем, что относится к материальному и нравственному состоянию русского народа.

Что касается вашего дома, то я уверен, что был бы там вполне счастлив. Вкусы мои чрезвычайно просты, и перспективы, которые вы рисуете в вашем письме, представляются мне самыми соблазнительными. Но в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не смог бы воспользоваться даже самыми благоприятными условиями: больная собака, как вам известно, ищет уединения. Это именно то, что я в настоящее время испытываю.

Не знаю, как и выразить вам свою признательность за ваше любезнейшее предложение. Я всегда буду считать ваше приглашение особой честью и отличием. Быть может, мне когда-нибудь представится возможность отблагодарить вас лично.

Я искренне надеюсь на это.

Сейчас я очень пал духом, и мне кажется, что я никогда не смогу больше работать. Однако никогда нельзя знать заранее, что может случиться.

Возможно, мне все же удастся осуществить мое давнее намерение провести зиму в Москве.

Надеюсь, что в этом случае я вправе буду считать, что вы готовы помочь мне получить правильное представление о русском народе и усовершенствоваться в русском языке.

Приношу бесчисленные извинения за причиненное вам беспокойство и снова благодарю вас за вашу огромную редкую доброту.

Искренне ваш
У. Р. Ш. Ролстон

Когда в 1878 г. Ролстон просил Толстого предоставить ему биографические сведения для статьи о «Войне и мире», он получил отказ; через шесть лет ему понадобились сведения о жизни и поэтическом творчестве русской деревни, и Толстой обещал ему свое полное содействие.

Ролстону не удалось побывать в Ясной Поляне. В 1889 г. он умер, не осуществив своего желания.

Знакомя своих соотечественников с русской литературой, Ролстон изучал первоисточники, собирал библиографию и, главное, вступал в общение с крупнейшими представителями литературной жизни России. Его знакомство с Тургеневым и переписка с Толстым проложили важные пути русско-английских литературных отношений.

2. АНДЖЕЛО ДЕ ГУБЕРНАТИС

Через полгода после получения Толстым первого письма от У. Ролстона в Ясную Поляну пришло еще одно аналогичное письмо, на этот раз из Италии,— от Анджело *де Губернатиса* (1840—1913), известного в свое время итальянского литератора и ученого. Он обратился к Толстому с просьбой прислать для своего словаря биографий современных писателей «Dizionario Biografico degli Scrittori Contemporanei» [1] портрет и автобиографические сведения.

Губернатис был одним из первых итальянских критиков, писавших о Толстом. В 1869 г. в журнале «Rivista Contemporanea» появилась его статья, посвященная «Войне и миру».

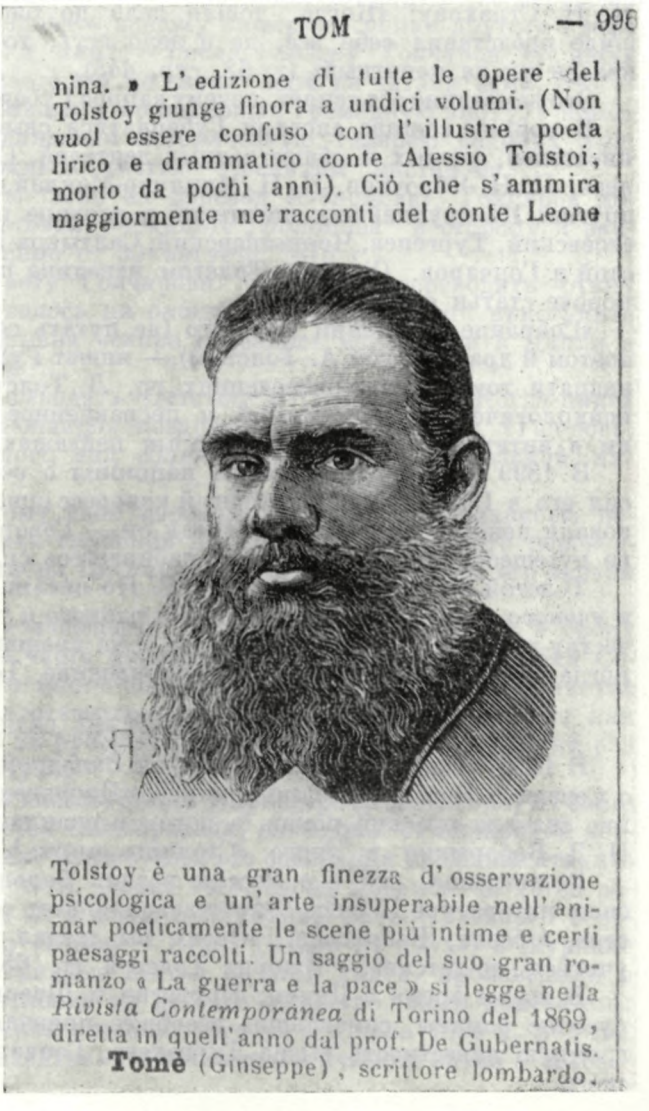
Перевод с французского

Флоренция, 20 февраля 1879 г.
Via Silvio Pellico, 1.
Первый этаж.

Уважаемый учитель!

Возможно, что я для вас абсолютный Икс, но поскольку я-то имею честь знать графа Льва Толстого (тем более, что первым в Италии писал о нем в 1869 году по поводу «Войны и мира» в туринской «Rivista Contemporanea»), рассчитываю на вашу снисходительность и смело обращаюсь к вам по поводу одного обстоятельства, которое живо меня интересует.

Мой «Биографический словарь», книжку которого я имею честь вам преподнести, убедит вас в том,— если вы будете добры его просмотреть,— что Россия там широко представлена как первая среди славянских стран. В первом выпуске помещен портрет Аксакова и с десяток биографических заметок.


ТОМ — 996

nina. » L' edizione di tutte le opere del Tolstoy giunge finora a undici volumi. (Non vuol essere confuso con l' illustre poeta lirico e drammatico conte Alessio Tolstoi, morto da pochi anni). Ciò che s' ammira maggiormente ne' racconti del conte Leone

Tolstoy è una gran finezza d' osservazione psicologica e un' arte insuperabile nell' animar poeticamente le scene più intime e certi paesaggi raccolti. Un saggio del suo gran romanzo « La guerra e la pace » si legge nella *Rivista Contemporanea* di Torino del 1869, diretta in quell' anno dal prof. De Gubernatis.

Tomè (Giuseppe), scrittore lombardo.

ТОЛСТОЙ

Гравюра неизвестного итальянского художника

Из книги: Angelo de Gubernatis. Dizionario Biografico degli Scrittori Contemporanei, t. II. Firenze, 1879

Портрет помещен при статье А. Губернатиса о Толстом

Вы, без сомнения, понимаете, уважаемый мэтр, что мы не можем обойтись без вашего портрета. Но как его получить? Вы отошлете меня к тому, который дан в начале собрания ваших сочинений. Я им располагаю, но русские, которые удостоились чести знать вас лично, уверяют, что русская гравюра так исказила оригинал, что вы сами себя там не узнали бы, ибо портрет Крамского — совершенно другое дело. Как же быть?— Набраться храбрости и обратиться к самому графу Толстому в надежде, что он согласится прислать мне свою фотографию.

Позволяю себе вложить в письмо небольшую анкету. Надеюсь, что вы напишете несколько слов в ответ на ее вопросы. Не слишком ли это много? Но ведь просьба идет к вам из Италии, а говорится, что мы — баловни Европы! Побалуйте же меня немножко и поскорее обрадуйте, если можете, исполнением просьбы вашего скромного и преданного младшего собрата.

Анджело де Губернатис

Еще в октябре 1878 г. по поводу издания своих избранных сочинений с биографией и портретом в «Русской библиотеке» Толстой писал Н. Н. Страхову: «Когда дошло дело до биографии, до портрета, я живо представил себе всё, да и дело есть, то я испугался. Ради бога, нельзя ли на попятный» (т. 62, стр. 445).

Это замечание объясняет, почему запрос Губернатиса остался без ответа.

В полном составе словаря Губернатиса свыше двухсот имен русских писателей, ученых и общественных деятелей. Среди них — Д. И. Менделеев, П. Н. Яблочков, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. М. Бутлеров и многие другие. Из крупнейших писателей в словаре представлены Герцен, Достоевский, Тургенев, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, Островский, Толстой и Гончаров. Статья о Толстом невелика по объему (она в пять раз короче статьи о Тургеневе).

«Собрание сочинений Толстого (не путать со знаменитым лирическим поэтом и драматургом А. Толстым),— пишет Губернатис,— вышло в одиннадцати томах. В произведениях гр. Л. Толстого привлекают тонкость психологических наблюдений и несравненное искусство, проявленное им в интимных сценах и некоторых пейзажах» [2].

В 1899 г. Губернатис вновь напомнил о себе Толстому. Он пригласил его в Рим на международный конгресс ориенталистов. «Вы путешествовали некогда по Европе,— писал он.— Говорят, что теперь вы больше не путешествуете и, как Антей, набираетесь силы от родной земли» [3].

Толстой не отвечал Губернатису. Но письма итальянского литератора и ученого являются свидетельствами раннего и глубокого интереса к творчеству русского писателя на Западе и по времени совпадают с той эпохой, когда складывалось европейское признание Толстого-художника.

3. ПЕТЕР ЭМАНУЭЛЬ ГАНЗЕН

В 1880-е годы в литературу стран Западной Европы стали проникать с Севера и Востока «новые веяния». «Производили свое мирное завоевание сначала русский роман, а потом и скандинавская драма»,— отмечал П. Д. Боборыкин в книге «Столицы мира» [1].

Естественно, что и в России возник большой интерес к скандинавской литературе. Успех сопутствовал новым русским переводам Андерсена, Ибсена, Бьёрнсона. «Очень бы желал удосужиться, чтобы выучиться по-датски»,— говорил Толстой (т. 65, стр. 78).

В то же время в Дании, Норвегии и Швеции усиленно переводились русские романы, снискавшие всеобщее признание на Западе. Получают громкую известность имена Тургенева, Гончарова, Толстого и Достоевского.

Эта эпоха живого обмена культурными ценностями создала замечательный тип, если можно так выразиться, «двустороннего переводчика», каким был датчанин Петер Эмануэль *Ганзен* (1846—1930). Ему принадлежат образцовые переводы с датского на русский и с русского на датский. Ганзен пользовался искренним расположением Ибсена и Гончарова, Толстого и Бьёрнсона, ценивших его не только как литератора, но и как человека.

Деятельность Ганзена была замечательна во многих отношениях. Он переменил несколько профессий, прежде чем нашел свое призвание. С 1865 по 1870 г. он был актером Королевского театра в Копенгагене — городе, где он родился и вырос. Затем Ганзен поступил на службу в Северное телеграфное агентство и в 1871 г. переселился в Россию. Сначала он жил в Сибири, а потом обосновался в Петербурге. Здесь он заведовал телеграфной школой и преподавал английский язык в Электротехническом институте.

Изучив культуру, быт и язык России, Ганзен стал пробовать свои силы в литературе и добился замечательных успехов. В 1877 г. в Копенгагене был издан роман Гончарова «Обыкновенная история» в его переводе. «Теперь позвольте рекомендовать вашему вниманию роман другого графа Толстого (Льва): „Война и мир“,— писал Ганзену Гончаров 17 июля 1878 г.,— вы, конечно, знаете его по слуху, если не читали сами. Это — положительно русская „Илиада“, обнимающая громадную эпоху, громадное событие — и представляющая историческую галерею великих лиц, описанных с натуры — живою кистью — великим мастером» [2].

Ганзену, принявшемуся было за перевод «Обломова», Гончаров довольно решительно посоветовал: «Откиньте „Обломова“ в сторону и займитесь гр. Толстым» (письмо от 30 августа 1878 г.).

Ганзен последовал совету Гончарова. Он начал переводить «Анну Каренину». Но ему не довелось ни окончить эту работу, ни приступить к «Войне и миру». Оба романа вскоре оказались изданными в Дании в переводах В. Герстенберга [3].

Тогда Ганзен взялся переводить «Детство» и «Отрочество». Когда книга была напечатана (1885), Гончаров поздравил его с успехом: «Радуюсь, что вы трудитесь так много над сближением русской и датской литератур...» [4]

Ганзен прислал Толстому свой перевод с дарственной надписью по-французски: «Автору в знак глубокой преданности от датского переводчика. С.-Петербург. 16 октября 1885 г.». Та же дата стоит и на его первом письме к Толстому [5].

«Увлекаясь чтением произведений Толстого,— писал Ганзен в своих воспоминаниях,— которые часто напоминали мне датского писателя Серена Киркегора, имеющего много общего по духу с Толстым, я захотел познакомить с ним моих соотечественников. Переводы эти, так же как переводы с датского языка на русский сочинений Киркегора, я всякий раз посылал Льву Николаевичу...» [6]

В первом письме Ганзен писал о статье Киркегора (Кьёркегора) «К самоиспытанию», в которой дается своеобразная, свободная от церковной догматики трактовка Евангелия. Ганзен имел все основания предполагать, что эта тема заинтересует Толстого. Кроме того, своим письмом он хотел обратить внимание Толстого на первую публикацию своего русского перевода сочинения Киркегора «Enten — Eller» («Одно из двух») в журнале «Северный вестник» [7]. Избранные статьи из этой книги, произведшей в свое время большое впечатление на датское общество, были напечатаны в сентябрьской — декабрьской книжках того же журнала 1888 г. под названием «Гармоническое развитие эстетических и этических начал в человеческой личности».

Подлинник по-русски

С.-Петербург. 16 октября 1885 г.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Позволяю себе при сем письме послать вам экземпляр моего датского перевода «Детства» и «Отрочества». Книга эта вышла уже месяц тому назад в Копенгагене, но прежде чем послать ее к вам, я желал узнать предварительно, какое она произведет там впечатление и насколько удалось мне передать на своем родном языке это дорогое для меня по его высоким достоинствам сочинение.

Результат оказался в высшей степени благоприятный, и я теперь с спокойной совестью могу отправить перевод к вам.

Меня не только благодарят за то, что познакомил датскую публику с таким единственным в своем роде литературным творением, где не знаешь, чему больше удивляться — гениальному изображению психической жизни детства или чисто классическому но своей простоте изложению,— но просят еще непременно перевести также и «Юность», о которой я написал краткую заметку в конце перевода.

Издатель мой на днях выразил мне то же желание, которое я, конечно, с удовольствием исполню, жалея только, что вторая, «более счастливая половина юности» автора до сих пор еще не явилась в печати. Но ввиду широкого воспитательного значения книги, смею надеяться, что вы найдете возможность исполнить когда-нибудь данное обещание.

Внимательно следя за вашей литературной деятельностью в последние годы, я не ожидаю особенно заинтересовать вас этим сообщением, но позволю себе, однако, просить вас принять эту книгу как знак той глубокой любви, которую во время моего пребывания в России (с лишком четырнадцать лет) развила во мне вообще ее прекрасная, богатая литература и ваши сочинения в особенности.

Есть у нас в Дании один замечательный поэт-мыслитель, у которого я нахожу очень много сходства с вами, многоуважаемый Лев Николаевич. Фамилия его — Серен Киркегор, и вряд ли он вам известен, если не попался вам в руки недавно вышедший первый выпуск нового журнала «Северного вестника».

Я тут начал знакомить с ним русскую публику, но не скажу, чтобы выбор редакции был вполне удачный, так как незнакомый вовсе с автором читатель вряд ли из напечатанных отрывков сумеет составить себе о нем верное понятие.

Покойный К. Д. Кавелин, прочитав уже напечатанный теперь отрывок, выразился весьма сочувственно, но прибавил притом, однако, что для русской публики, мало знакомой вообще с немецкою, а тем более с датскою философиею, тонкое изложение датского писателя наверно пропадет бесследно.

Из других сочинений того же автора, переведенных мною, но еще не напечатанных, есть одно, к переводу которого главным образом побудила меня ваша литературная деятельность последних трех лет. Сочинение это озаглавлено «К самоиспытанию» и состоит из трех статей, из которых первая трактует о том, как следует читать Евангелие.

Хотя статья написана для читателей-протестантов, я не сомневаюсь, что она и для русских читателей может служить хорошим наставлением, если переделать ее и применить к духовным потребностям русского человека.

Не знаю, будет ли такая работа мне по силам, но несомненно, что ваши указания были бы здесь чрезвычайно дороги, и я был бы вам очень благодарен, если бы вы позволили мне прислать вам этот перевод для прочтения.

В надежде, что вы удостоите меня благоприятным ответом, остаюсь глубоко преданный вам

П. Ганзен

Адрес мой: Заведующему телеграфной школой П. Э. Ганзену. Дровяной переулок, д. 4, кв. 4.

Увлечение философией Киркегора было характерным для того времени явлением. Слава пришла к датскому философу после его смерти, и скандинавская литература конца XIX столетия испытала заметное воздействие его идей. Не обошлось и без преувеличений: «Можно подумать,— писал известный критик Г. Брандес,— что Ибсен стремился стать поэтом Киркегора». Что касается самого Ибсена, то он считал подобное утверждения «чистейшим недоразумением». «Я вообще мало читал Киркегора,— признавался Ибсен в письме к Ганзену,— а понял из его сочинений еще меньше» [8].

Это недоразумение заставляет с большой осторожностью подходить к мнению Ганзена о «сходстве» Толстого и Киркегора. Это тем более важно, что в наши дни экзистенциалисты выводят начала своей глубоко пессимистической и реакционной философии не только из книги Киркегора «Понятие страха», но и из повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». По отношению к Толстому, во всяком случае, это истолкование имеет явно преднамеренный и произвольный характер.

Ганзен не был философом, и его интерес к Киркегору имел по преимуществу литературный характер.

Его внимание привлекли выступления Киркегора против официальной церкви (навлекшие на него гонения клерикальной партии), защита строгой нравственности и тезис самоусовершенствования. Он понимал, что именно это и может оказаться интересным для Толстого.

Прошло три года. Ганзен переслал через П. И. Бирюкова в Ясную Поляну свои новые переводы сочинений Толстого и Киркегора. Обширное письмо его от 9 мая 1888 г. содержит довольно подробное изложение религиозно-этических идей датского философа с многочисленными выписками из его сочинений.

Подлинник по-русски

С.-Петербург. 9 мая 1888 г.
Набережная Пряжки, д. 10, кв. 4.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Имея честь при этом прислать вам с Павлом Ивановичем последний перевод мой из двенадцатого тома ваших сочинений, я просил его также передать вам несколько новых переводов из сочинений датского писателя Киркегора.

Из двенадцатого тома помещено в настоящем переводе «Чем люди живы», «Упустишь огонь, не потушишь», «Два старика», «Где любовь, там и бог», «Статья о переписи» и «Так что же нам делать?».

Осенью выйдут: «Смерть Ивана Ильича», «Много ли человеку земли нужно?», «Крестник», «Ильяс», «Кающийся грешник», «В чем счастье?» и «Власть тьмы».

Как по отзывам датских газет, так и из частных писем от знакомых я могу заключить, что последние сочинения ваши произвели едва ли не сильнейшее впечатление в Дании, чем знаменитые ваши романы.

Особенное внимание возбудили приведенные мною в виде «Вступления» отрывки из «Исповеди». Ее называют «образцом автобиографии» и глубоко сочувствуют описанному в ней перевороту в деятельности автора.

Отдавая должное великим достоинствам главной статьи «Что же нам делать?», «не могут, однако, вполне согласиться с автором в его реформаторских стремлениях». Относительно же маленьких рассказов существует лишь одно мнение: что «нет ничего им подобного во всемирной литературе, что нет проповеди, могущей действовать более назидательно так, что ими может увлечься каждый, в ком жива любовь к человеку, все равно, называется ли он христианином, евреем или магометанином».

В Дании переведены теперь почти все ваши сочинения, из которых на мою долю выпало перевести наиболее дорогие для меня «Детство», «Отрочество», «Юность», составляющие первый том, и затем двенадцатый том ваших сочинений, из сопоставления которых ясно видно, насколько автор остался верен самому себе.

Хотя я не имею чести быть лично знаком с вами, но, читая ваши сочинения уже лет десять и занимаясь три года переводами их, невольно зарождалось во мне духовное знакомство с автором, которому я обязан столь многими дорогими и важными для моего личного развития впечатлениями.

Желая хоть чем-нибудь отплатить вам за это, я стал переводить ваши сочинения на датский язык.

Но хотя переводами и объяснительными предисловиями и удалось мне установить на родине верный взгляд на вашу авторскую деятельность, я, тем не менее, чувствую себя в неоплатном долгу перед вами.

Переводы с датского языка отдельных статей Киркегора есть новая попытка уплаты этого же нескончаемого долга, все увеличивающегося с каждым новым вашим сочинением, и я счел бы себя счастливым, если бы опыт этот удостоился одобрительного отзыва с вашей стороны.

Я очень сожалею, что первая моя попытка познакомить с сочинениями Киркегора русскую читающую публику вышла не совсем удачной. Но в этом виновата главным образом издательница «Северного вестника», которая настолько увлеклась автором, что не сочла нужным ни подвергнуть статью какой-либо обработке, ни даже показать ее кому-нибудь из компетентных лиц до ее напечатания [9].

«Афоризмы эстетика» [10] более тщательно отделаны, но так как ни та, ни другая статья не дают надлежащего понятия об авторе, я считаю долгом своим прибавить здесь несколько слов, тем более, что Павел Иванович просил меня об этом, не считая возможным припомнить и передать вам все, что я ему говорил по этому поводу.

Киркегор прежде всего религиозный писатель, и если он начал свою деятельность эстетическо-этическим произведением «Enten — Eller» («Entweder — Oder»), то лишь для того, чтобы подготовить почву для своих религиозных сочинений. При этом руководила им мысль: современное образованное общество чуждо всего истинно религиозного, живет в какой-то путанице эстетическо-этических, с легкой примесью религиозного, понятий. Следовательно, чтобы растолковать ему значение религии, нужно прежде всего помочь ему выйти из этой путаницы понятий, в которой оно живет.

Для этого нужно завлечь его именно тем, чем оно само увлечено больше всего: эстетическим.

О необходимости применения такого приема Киркегор говорит в «Ключе к моей авторской деятельности» следующее:

«Для того чтобы удалось воистину довести человека до назначенного места, нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы отыскать его там, где он находится, и там же начать действовать на него. Вот тайна умения оказывать людям помощь в чем бы то ни было. Всякий, не обладающий этим умением, лишь заблуждается, полагая, что сумеет помочь другому человеку. Чтобы воистину суметь помочь другому, я должен, конечно,

I Kamp for Lykken.

Livsbilleder

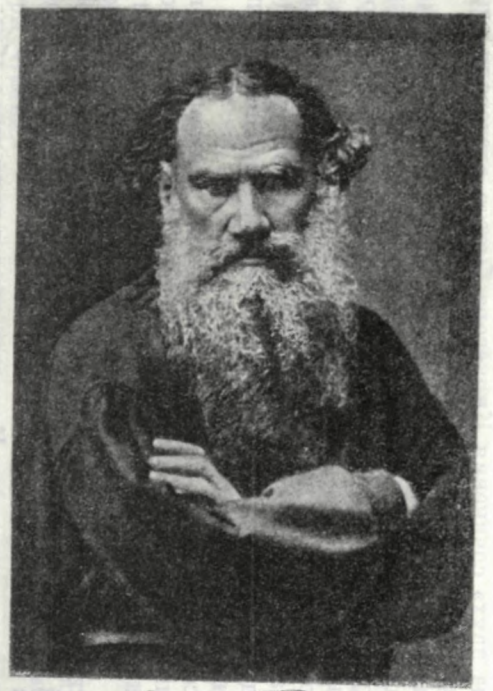
af

Grev Léo Tolstój.

Oversat fra russisk af Em. Hansen.

Med Forfatterens Portræt og Faksimile.

Kjøbenhavn.
Andr. Schous Forlag.
1888.



Leo Tolstoy.

Автору,
глубокоуважаемому
Льву Николаевичу
отъ
искренно преданнаго ему
датскаго переводчика
Петра Ганзена.
С. Петербургъ
24 февраля
1888.

«В БОРЬБЕ ЗА СЧАСТЬЕ». СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОЛСТОГО, ИЗДАННЫЙ НА ДАТСКОМ ЯЗЫКЕ (КОПЕНГАГЕН, 1888)

Титульный лист, фронтиспис с портретом Толстого и форзац с дарственной надписью переводчика:
«Автору, глубокоуважаемому Льву Николаевичу от искренно преданного ему датского переводчика Петра Ганзена. С.-Петербург. 24 февраля 1888»
Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

понимать больше его. Но прежде всего, вероятно, должен я также понимать то, что понимает он. Раз я не понимаю того, что понимает он, я не могу и помочь ему моим высшим пониманием чего-либо другого. Если же, несмотря на это, я все-таки хочу, чтобы человек подчинился моему высшему пониманию другого, то это лишь потому, что я тщеславен или горд. Следовательно, вместо того, чтобы быть ему полезным, я, в сущности, хочу лишь, чтобы он преклонился предо мною. Всякая же истинная помощь начинает самоуничижением: желающий помочь должен сначала смириться перед тем, кому хочет помочь, т. е. понять, что помогать — не значит властвовать, а служить, что желающий помогать должен быть не властолюбивее, а терпеливее всех, что желание помочь — это готовность до поры до времени смириться с тем, что тебя считают неправым и непонимающим того, что понимают другие, которым ты хочешь помочь».

Но, однако, воздерживаюсь от дальнейших выписок, так как иначе пришлось бы перевести всю книгу.

Начав таким образом эстетическо-этическим произведением, Киркегор обеспечил все-таки себя от недоразумений по поводу главной своей цели, прибавив в конце книги небольшую духовную речь: «Назидание в мысли, что перед богом мы всегда виноваты».

После «Одного из двух» сочинения Киркегора быстро следовали одно за другим под разными псевдонимами.

В этих сочинениях развивал он различные взгляды на жизнь, пока, наконец, ему не удалось, таким образом, «перенести всю жизнь в рассуждения, которые, будучи усвоены читателем, могли бы, в свою очередь, перенести его в самую жизнь».

Этот огромный труд, в котором он описывает ту «кругосветную поездку в сознании человека», которую приходится совершить каждому для достижения простоты душевной, постоянно чередовался с религиозными сочинениями под собственным именем автора.

Религиозные беседы его были «прямые сообщения», которые можно было и принять прямо. Другие же сочинения требовали от читателя «той кругосветной поездки в собственном сознании» для достижения евангельской простоты, без которой ему нельзя ни понять Евангелия, ни стать христианином в истинном смысле слова, и от которой избавлен лишь обладающий уже этой простотой и не нуждающийся, следовательно, в громадном обходе чрез знания.

В своих псевдонимных сочинениях Киркегор имел в виду лишь образованного читателя нашего времени, заблудившегося в различных областях знаний и потерявшего из-за них смысл жизни. Главная цель Киркегора была уничтожить заблуждение, в котором живет наш век, считая себя христианским веком, между тем как он не имеет даже отдаленного представления о том, что нужно разуметь под словом «христианство».

Для этого Киркегор старался прежде всего восстановить должный порядок в понятиях, воскресить в памяти людей утраченное представление об истинных идеалах человечества и побудить к искренности.

Не желая дать ничего нового, он хотел лишь «в одиночку прочесть древние письмена, оставленные индивидуальными, гуманными жизненными отношениями людей между собой, то есть все старое, знакомое и дошедшее до нас от предков, прочесть вновь и прочувствовать по возможности более искренно, чем это принято делать с давних пор».

Применение здесь выражения «в одиночку» (соло) обусловливается личным воззрением Киркегора на жизнь: масса — ложь, истина — единица.

Следуя примеру самого автора, я, чтобы ознакомить с ним русскую публику, начал переводить его сочинения под псевдонимом Виктора Эремита, но так как я не мог дать все сочинение зараз, то и нельзя было ожидать возбудить этим внимания в более широком круге читателей.

Сам автор написал свои семь псевдонимных сочинений (около двухсот печатных листов) в три года, а мне для перевода их потребовалось бы, по крайней мере, лет шесть, не говоря уже о средствах на их издание.

Видя, что таким образом не скоро удастся мне дойти до перевода религиозных сочинений Киркегора, я и решился теперь начать прямо с них, что, пожалуй, и будет вернейшим путем к ознакомлению с автором в России, где религиозное движение и потребность в здоровой духовной пище может быть теперь сильнее, чем где-либо за границей.

Сознавая всю важность этого шага и глубоко преклоняясь перед всем, что вами сделано на этом пути, я и решаюсь теперь представить на ваш суд сделанные мною переводы с покорнейшей просьбой, если труд мой встретит ваше сочувствие, помочь мне советами и указаниями.

Извиняясь за нескладность моего письма, которое приходилось писать наскоро,

остаюсь глубоко преданный вам
П. Ганзен

На конверте: Его сиятельству
графу Льву Николаевичу Толстому.

Толстой не ответил на это письмо, хотя у него уже сложилось весьма благожелательное отношение к Ганзену. Вскоре в Ясной Поляне произошла сердечная встреча Толстого с его датским переводчиком.

Узнав от В. Г. Черткова о «Крейцеровой сонате», Ганзен попросил дать ему рукопись для перевода. Толстой отвечал согласием. Обрадованный и обнадеженный этим обещанием, Ганзен писал Толстому:

Подлинник по-русски

С.-Петербург. 27 января 1890 г.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за обещание прислать мне рукопись «Крейцеровой сонаты» для перевода.

Мне очень тяжело было знать, что в городе повсюду читали это ваше новое произведение, и не иметь возможности самому присутствовать при чтении.

Зато теперь меня утешил Владимир Григорьевич, указав мне на целый клад — массу неизвестных мне до сих пор ваших сочинений. Из них особенно просятся на перевод «Ходите в свете, пока есть свет» и «Краткое изложение Евангелия».

Казалось бы, что в последнем нового ничего найтись не может, но, хотя это и так, хотя учение Христа нам всем давно известно, оказывается, все-таки, что без посредника-истолкователя нам не обойтись, и слава богу, что вы взялись за это святое дело!

Из великого множества печатных отзывов о моих датских переводах ваших сочинений последних лет присылаю вам здесь один, который привожу почти целиком как образчик отношения датской прессы к вашим трудам.

Благодарный и преданный вам Ганзен

P. S. Если Владимир Григорьевич еще не уехал из Ясной Поляны, прошу передать ему, что я сегодня виделся с его женою. Она при мне только что вернулась от знакомых и чувствовала себя вполне хорошо.

На конверте: Заказное.
Московско-Курской ж. д. ст. Ясенки.
Графу Льву Николаевичу Толстому.
Отправитель П. Ганзен. Офицерская 37/41, кв. 8.

К своему письму Ганзен приложил выписку из датского журнала «Literatur og Kritik», где помещен был отзыв на сборник повестей и рассказов Толстого, изданный под названием «В борьбе за счастье». «Достигнув такой почти беспримерной в художественном отношении высоты, какой отличается роман „Анна Каренина“,— говорится в отзыве,— великий писатель вдруг как будто совершенно отрешился от всякой художественности и всецело погрузился в строгое молчание. Результат получился поистине поразительный. Толстой воспрянул с обновленными поэтическими силами и еще более развитой художественностью».

В январе 1890 г. Толстой писал Черткову: «Список с последн⟨ей⟩ редакции „Крейц⟨еровой⟩ сон⟨аты⟩“ жена списала и отдала Стороженке, он будет хлопотать. Маша же наносит на ваш список все перемены, и мы пришлем его вам, чтобы вы отдали милому Ганзену» (т. 87, стр. 4).

Наконец рукопись была получена и Ганзен уже подготовил к печати перевод, когда узнал, что Толстой пишет «Послесловие». Он решил отправиться в Ясную Поляну и получить из рук автора заключительные страницы с тем, чтобы датский перевод «Крейцеровой сонаты» был полным.

Толстой с удовольствием ожидал приезда Ганзена, так как надеялся, что это «даст толчок к работе» и «Послесловие», наконец, будет окончено.

В дни пребывания в Ясной Поляне Ганзен продолжил разговор о Киркегоре, начатый еще в письмах. Толстой познакомился с афоризмами Киркегора, и одно из его высказываний об искусстве произвело на него сильное впечатление.

«Например,— говорил Киркегор,— на деле отречение от мира, уход от его благ и соблазнов — дело нешуточное; но отрешиться от земли вместе с поэтом, твердо сознавая в то же время, что мир со всеми его благами попрежнему остается к твоим услугам,— какое это тонкое эстетическое наслаждение!» [11]

Но если поэт заставит людей почувствовать «натиск идеала», принять его всерьез, перенести его из области воображения, поэзии, в действительность, он перестанет быть только поэтом, и на его долю выпадут все бедствия и страдания, уготованные для пророка.

Ганзен вспоминал впоследствии, что, выслушав этот отрывок до конца, Толстой несколько минут молчал, потом встал и, не сказав ни слова, ушел к себе...

«Вообще,— пишет Ганзен,— Лев Николаевич очень высокого мнения о Киркегоре, хотя находит, что датский философ молод, вследствие чего у него много задора».

Толстой советовал Ганзену «серьезно взяться за дело ознакомления русской публики с замечательным мыслителем». Он считал, что надо прежде всего написать биографию Киркегора.

Толстой знал немногие сочинения Киркегора и говорил только о тех, которые ему были известны. Вот чем, по-видимому, и объясняется важное замечание в воспоминаниях Ганзена: «Переводы с датского языка на русский сочинений Киркегора я всякий раз посылал Льву Николаевичу, но переписки по этому поводу у нас не возникло».

В Ясной Поляне Ганзен пробыл пять дней. Чтобы ускорить получение копии «Послесловия» к «Крейцеровой сонате», он сам взялся за переписку белового экземпляра.

Окончив работу, он передал рукопись Толстому для просмотра и получил ее спустя некоторое время «в неузнаваемом виде» — всю в поправках: перед ним был новый вариант «Послесловия». Ганзен приготовил новую копию текста, и ее постигла та же участь.

Сначала ему помогала разбирать рукопись М. Л. Толстая, а потом он уже самостоятельно справлялся с этой задачей и даже уверял, что



«ВЛАСТЬ ТЬМЫ» НА СЦЕНЕ КОПЕНГАГЕНСКОГО «ДАГМАРТЕАТЕР» («DAGMARTEATER»), 1891 г.
Первая постановка драмы в Дании
Литография неизвестного художника
Музей Толстого, Москва

общее мнение, будто почерк Толстого труден,— следствие сильного преувеличения. За четыре дня Ганзен пять раз переписал «Послесловие».

Просматривая очередной вариант, Ганзен как-то сказал Толстому:

«— Вот тут была у вас одна прекрасная мысль; жаль, что вы не оставили ее.

— Что одна мысль!— ответил Толстой.— Ведь одним кирпичом не выстроишь дома; надо множество их, так и тут. Одна мысль ни к чему; надо, чтобы их были сотни; тогда вытеснятся худшие и, наконец, что-нибудь да выйдет».

Приготовив пятый список, Ганзен с вечера отдал рукопись Толстому, надеясь рано утром дописать последние страницы. Но каково же было его удивление, когда он на другой день вошел в кабинет и увидел перед собой неожиданную картину: «Лев Николаевич, только что вставший с постели, еще в халате и с взъерошенными волосами, сидел уже за письменным столом, исправляя рукопись,— пишет Ганзен.— Никогда не забуду того добродушного лукавого взгляда, когда он поднял на меня глаза, точно говоря: „Больно скоро захотел!“». Толстой сказал, что это последняя переделка. Но Софья Андреевна и Мария Львовна, присутствовавшие при разговоре, советовали Ганзену не доверять этим его словам:

— Ну, на это не надейтесь! Он еще десять раз переделает!

Ганзен сумел понять и оценить своеобразную творческую атмосферу Ясной Поляны. Он уехал, увозя с собой не только «последний», как ему тогда казалось, вариант «Послесловия», но и лучшие воспоминания о встрече с Толстым. Вернувшись в Петербург, он написал письмо в Ясную Поляну, приложив к нему и письмо своей жены, Анны Васильевны Ганзен (урожд. Васильевой), которая просила Толстого ответить ей на вопросы о семейном воспитании детей.

Подлинник по-русски

С.-Петербург. 16 апреля 1890 г.
Офицерская 41, кв. 8.

Позвольте прежде всего поблагодарить вас, Лев Николаевич, за оказанный мне вами и вашим семейством ласковый прием. Затем прошу извинить меня с женой, если, только что вернувшись от вас, я позволю себе утруждать вас просьбой — разъяснить нам, главным образом, жене, некоторые вопросы, о которых мне не удалось поговорить с вами во время моего пребывания у вас.

Если я долго не приезжал к вам, зато попал как раз в такое для меня счастливое время, когда вы были заняты самой для меня близкой и дорогой работой.

Искупался я у вас, Лев Николаевич, не только в свежем деревенском воздухе или в прекрасном симпатичном семейном кружке вашем, но, главным образом, в той удивительной по своей ясности и простоте сфере мышления, в которой вы не только сами постоянно вращаетесь, но которую распространяете на всех окружающих вас.

Мало того, что я у вас перестал курить, но, бросив эту вредную привычку, я отстал и от других привычек того же рода, как-то: пить за обедом вино и после обеда кофе, обе такие вещи, которые без всякой пользы волнуют кровь и затемняют рассудок.

И удивительно не столько то, что я, пожив такое короткое время у вас, отстал от всего этого, как то, что я мог предаваться всему этому так долго, не подозревая даже, насколько все это бесполезно и даже вредно.

Владимир Григорьевич совершенно справедливо заметил по этому поводу, что важен тут факт: как можно вообще избавиться от разных дурных привычек и как, раз только мы начнем уходить из-под их власти, привычки эти сами оставляют нас одна за другой.

Как вы теперь, наверно, уже знаете, Лев Николаевич, из письма Владимира Григорьевича, я тотчас же по приезде передал ему копию, снятую в Москве с рукописи, отправленной вам обратно Поповым на другой день после того, как он с Дунаевым сняли предварительно для себя копии.

Возможные изменения и дополнения я покорнейше просил бы вас сообщить мне теперь же, чтобы я мог пользоваться ими, когда в начале будущей недели приступлю к переводу «Послесловия». Я уже держал здесь корректуру пятого листа «Сонаты», которую ждут не дождутся в Дании.

Особенно волнуется ваш хороший датский критик г. Рудольф Шмит [12], книгу которого я доставил вам. Он вновь написал мне письмо по поводу первых двух листов «Сонаты», которые прислал ему мой издатель, и видно из письма, с каким нетерпением он ждет от вас маленький отзыв о своей книге. Но я посоветовал ему вооружиться пока терпением.

Не успел я еще приступить к переводу комедии вашей «Исхитрилась», или, как я полагаю перевести по прежнему названию, «Плоды просвещения», а из Копенгагена уже сделали мне запрос о разрешении поставить ее на сцену в моем переводе. Насколько мне известно, театр этот, «Dagmartheater», пользуется хорошей репутацией, и весьма интересно посмотреть со временем, какой выйдет результат от этой попытки, которая, если состоится, является первой попыткой поставить русскую пьесу на датскую сцену.

Прилагаю портрет Серена Киркегора (фотография с рисунка карандашом 1838 года) и два его сочинения: «Enten — Eller» («Entweder — Oder») и «Stadier paa Livets Vej» («Stadien auf dem Wege des Lebens»). Во втором томе первого сочинения находится оригинал переведенной мною для «Северного вестника» статьи; в первом томе —«Афоризмы эстетика», а в послед-

нем сочинении — статья «In vino veritas», статья «О браке» и об одинокой жизни ради идеи. Эпиграф на заглавном листе первого тома: «Разве один разум крещен? Разве страсти язычники?»

Извините, Лев Николаевич, если я на первый раз после пребывания у вас напишу вам наскоро нескладное письмо, но я только что получил записку от И. И. Горбунова, известившую нас, что он едет завтра утром к вам, и так как жена написала уже свое письмо к вам, то мы не хотим упускать верного случая доставить его в ваши руки.

Вместе с моим сердечным приветствием прошу передать вашей супруге Софье Андреевне, что я не успел еще побывать у баронессы Менгден. Но должно извинить меня то, что я всю прошлую неделю был занят по утрам экзаменами, а по вечерам переводом, который все еще не окончен, а издатель между тем торопит, посылая корректуру, и больной земляк просит после 11 мая свезти его на Кавказ. Как управлюсь, то непременно постараюсь побывать у баронессы.

Экземпляр «Крейцеровой сонаты», который теперь, наконец, отпечатан на ремингтоне, оказался настолько неверным и изобилующим ошибками, что придется его перепечатать. Надеюсь выслать через две недели.

Евангелия на датском языке и датско-немецкий учебник, обещанные мною Марии Львовне, я не успею теперь отправить с Ив. [illegible]в. Горбуновым, а пошлю отдельно на днях.

Примите еще раз, Лев Николаевич, мою искреннюю благодарность и вместе с супругой и милыми детьми лучшие пожелания от вашего преданного

П. Ганзена

Толстой ответил на письмо Ганзена и его жены 25 апреля 1890 г. Между прочим, он сообщал ему: «Послесловие я опять переработывал, и кажется, что оно улучшилось. И кажется тоже, что я уже не в силах более его переделывать. Разные подробности о послесловии и комедии передаст вам Ив⟨ан⟩ Ив⟨анович⟩» (т. 65, стр. 78).

Таким образом, предсказание Софьи Андреевны и Марии Львовны сбылось. Толстой опять переделал «Послесловие», а Ганзен уже держал в это время корректуры «Крейцеровой сонаты». Наконец И. И. Горбунов-Посадов привез ему последний вариант «Послесловия».

Ганзен познакомился с новым вариантом и признал, что исправления были и необходимы, и удивительны, так как по-новому освещали тему и придавали ей большую выразительность. Об этом он писал Толстому в письме от 30 апреля 1890 г.

Подлинник по-русски

С.-Петербург. 30 апреля 1890 г.

Очень мы благодарны вам, Лев Николаевич, за ваше доброе письмо. Если и нельзя было ответить в письме, как вы это говорите, на все вопросы жены о боге и вечной жизни, зато на вопрос о воспитании вы дали такой полный ответ, что этим ее вполне успокоили [13]. Относительно других вопросов я не хотел остановить ее, раз она написала вам об этом.

Хотя она и внимательно прочла все ваши последние сочинения, но по летам своим (двадцать лет), невзирая на свое умственное развитие, она все-таки, по-моему, еще слишком молода для решения поставленных в этих сочинениях главных вопросов. Если вообще годом совершеннолетия считается двадцать первый, то я думаю, что возраст этот еще недостаточно зрелый не только для обсуждения вопроса о боге и вечной жизни, но даже об этой жизни, в которую человек такого возраста только что успеет вступить.

Полагая с Киркегором, что зрелым возрастом для человека, желающего решить для себя вопросы о жизни и смерти, придется считать средним числом тридцатый год его жизни, а что раньше этого срока нельзя и решить вопрос о религии, исповедуемой им по своему внутреннему убеждению, я и не вмешивался никогда да и еще не вмешиваюсь в так называемое религиозное воспитание детей, ограничиваясь тем чисто гуманитарным указанием, общим для всех так называемых христианских вероисповеданий нашего времени.

Мы очень рады были узнать от Ивана Ивановича, что вы здоровы, Лев Николаевич, и уже работаете в поле. Но относительно тех сведений, которые он, по вашему письму, должен был сообщить нам по поводу «Послесловия» и комедии, он отзывался полным неведением, особенно по поводу комедии.

Насчет «Послесловия» вы сами пишете нам, что вряд ли последует дальнейшая переделка, и я тотчас же приступлю к переводу. Вчера вечером нам его доставили от Владимира Григорьевича, и по прочтении его мы просто диву дались, как это вы нашли возможность еще так много дополнить и улучшить то, что уже казалось вполне оконченным.

Судя по тем отзывам, которые теперь доходят до меня от датского издателя и других лиц, уже познакомившихся с «Крейцеровой сонатой» еще до выхода ее, то успех, ожидаемый у нас, настолько чужд всяких английских и американских опасений, что «Послесловие», может, и не явится у нас необходимостью, но как предупреждающее возможные недоразумения оно, конечно, всегда будет уместным, делая, однако, излишним всякое дальнейшее истолкование с моей стороны.

Относительно комедии я на днях написал Марии Львовне. Я надеюсь окончить перевод во время поездки и надеюсь, что к сроку возвращения (середина июня) и вы, Лев Николаевич, пожалуй, окончите свои поправки.

Завтра отправляю семейство в Райвола по Финляндской железной дороге, где я нанял деревенскую избу, и по возвращении из поездки возьмусь за перевод выпущенных мест из «Что же нам делать?» для нового датского издания.

Желаю вам доброго здоровья.
Преданные вам А. и П. Ганзены

На конверте: Московско-Курской желез⟨ной⟩ дор⟨оги⟩,
ст. Козловка-Засека.
Льву Николаевичу Толстому
(в имение «Ясной Поляны»).

В 1890 г. «Крейцерова соната» вместе с «Послесловием» вышла на датском языке в переводе Ганзена.

В августе того же года Толстой получил от Ганзена письмо из Финляндии с обзором важнейших высказываний датских критиков по поводу «Крейцеровой сонаты».

Подлинник по-русски

Райвола. 3 августа 1890 г.

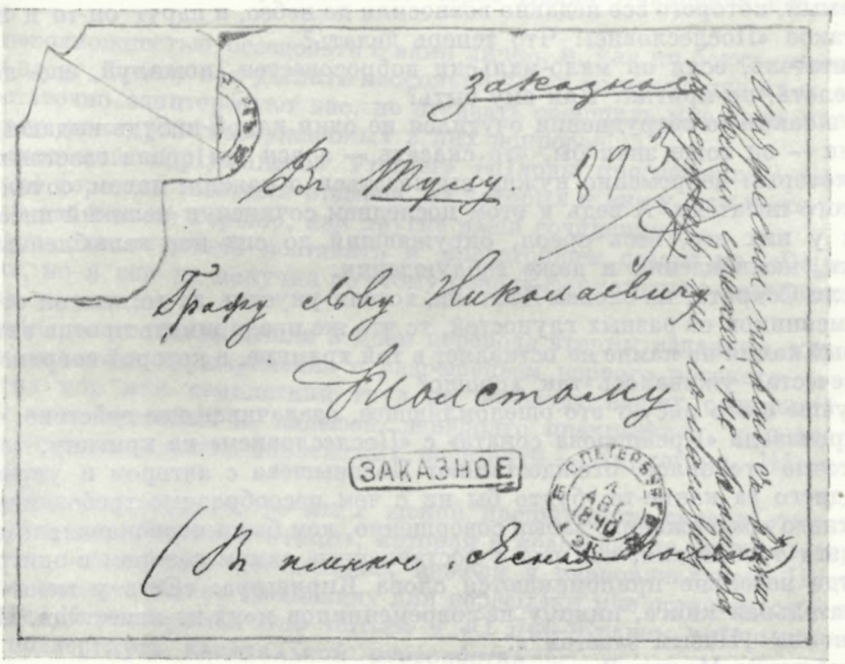
Лев Николаевич!

Присылаю вам при этом письме перевод некоторых отрывков из отзывов датских газет о «Крейцеровой сонате». Получил я до сих пор всего восемь, но только половина представляет интерес.

Скудость отзывов объясняется отчасти летним сезоном, когда вообще господствует затишье в литературе и в особенности в критике; главным же

образом, как я думаю, трудностью самой задачи критики: обсуждение такого сочинения, как «Крейцерова соната».

Одна газета, от которой я ожидал самого интересного отзыва, вдруг представила самый невозможный. Статья без подписи старается, и весьма неудачно, иронизировать над автором, причем не признаёт даже художественных достоинств сочинения.



ПОМЕТА ТОЛСТОГО НА КОНВЕРТЕ ПИСЬМА ПЕТЕРА ГАНЗЕНА ОТ 3 АВГУСТА 1890 г.: «Интересное письмо с выписками статей. Не решаются ни осуждать, ни согласиться»
Архив Толстого, Москва

Это выходит тем нелепее, что статья появляется в «Politiken» — газете, вообще претендующей на компетентность по части литературной критики. В ней сотрудничают оба брата Брандеса, но как проповедникам свободной любви «Крейцерова соната» не могла, конечно, прийтись им по вкусу, и они предпочли умолчать о ней, предоставляя бездарному сотруднику скомпрометировать газету.

Но как ни глупа и пошла эта статья, в ней все-таки нет и тени той бесшабашности, с которой, к стыду русской прессы, отнеслись к «Крейцеровой сонате» некоторые не только в газетах, но и в журналах.

Объясняется это, как я уже сказал, трудностью самой задачи критики. Не будь «Послесловия», дело не представилось бы таким трудным. Один рассказ еще можно было бы разобрать кое-как, отведя ему место в числе более или менее превосходных произведений известного писателя.

Один датский критик в «Tidens Ström» * так прямо и говорит, что «без „Послесловия“ „Крейцерова соната“ явилась бы поэмой, потрясающей драмой, рассказанной самим героем, и произвела бы свое могучее действие, приводя в движение струны, отдающиеся в сердце каждого человека».

* «Течение времени». — *Примеч. П. Ганзена.*

Но вот «Послесловие», исключив всякую возможность смотреть на сочинение с обыденной, чисто эстетической точки зрения, круто переносит читателя в совсем другую область, ставя при этом вопросы, трактуемые в рассказе, ребром и без каких-либо компромиссов.

Как тут быть? Если бы еще автор был каким-нибудь вновь выступающим писателем, тогда нетрудно было бы справиться с задачей, но вот — автор оказывается одним из самых выдающихся современных писателей, тот самый, которого все недавно возносили до небес, и вдруг он-то и написал такое «Послесловие»! Что теперь делать?

Читатель, если он мало-мальски добросовестен, пожалуй, еще знает, что делать, но критик? Как ему быть?

И в таком-то затруднении очутился не один какой-нибудь выдающийся критик — он тоже знал бы, что сказать,— а вся эта орава газетных писак, которым непременно нужно высказаться о каждом новом сочинении великого писателя. А ведь в этом последнем сочинении великий писатель отнял у них все, весь ореол, окружавший до сих пор излюбленные их пороки, наслаждения и даже заблуждения.

Если Сократа, по словам Платона, хотели укусить за то, что он отучал современников от разных глупостей, то что же предпринять против автора, который камня на камне не оставляет в той храмине, в которой современное человечество уживалось так хорошо?

Лучше всего рисует это ошеломляющее, озадачивающее действие, которое произвела «Крейцерова соната» с «Послесловием» на критику, то, что все, точно сговорясь, отождествляют Позднышева с автором и упрекают последнего за какие-то, будто бы ни с чем несообразные требования абсолютного воздержания, забыв совершенно, кем были первоначально заявлены эти требования, как раз и поставленные самим автором в эпиграфе. Вот где невольно припоминаются слова Киркегора: «Есть у меня одна замечательная книга, никому из современников моих не известная. Называется она „Новым заветом“».

Сообщение Марии Львовны о том, что вы теперь совсем поправились, Лев Николаевич, нас очень обрадовало. Представляя себе, как закипела у вас теперь работа, нельзя удержаться, чтобы не спросить: над чем вы теперь трудитесь?

На Пасхе вы мне говорили, что готовите одно облюбованное вами сочинение, куда заносите все самое лучшее [14]. Тогда вы надеялись окончить его к осени, но теперь приходится, к сожалению, опасаться, что болезнь, постигшая вас летом, вам помешала.

Примите от меня с женой сердечный наш привет и передайте его Софье Андреевне и милым вашим детям.

Искренне преданный вам П. Ганзен

На конверте: Заказное, в Тулу.
Графу Льву Николаевичу Толстому
в имение «Ясная Поляна».

На письме Толстой написал: «Интересное письмо с выписками статей. Не решаются ни осуждать, ни согласиться».

Ганзен был не только переводчиком, но и критиком. Ему принадлежат статьи о скандинавских писателях, печатавшиеся в России, и статьи о русских писателях, печатавшиеся в Дании. Ганзен стремился найти общность проблематики в творчестве писателей-современников. Особенное внимание Ганзена привлекало творчество Ибсена и Бьёрнсона.

Ганзен сопоставил «Крейцерову сонату» с пьесой Ибсена «Гедда Габлер» [15] и статьей Бьёрнсона «Единобрачие и многобрачие» [16] и нашел в этих произведениях некоторое сходство.

Подлинник по-русски

С.-Петербург, 7 августа 1891 г.
Фонтанка, 177, кв. 7.

Я все надеялся, Лев Николаевич, вновь увидеться с вами нынешним летом в Ясной Поляне. Надежда эта, к сожалению, не сбылась, и я пользуюсь случаем передать вам через Ивана Ивановича кое-какие работы.

За невозможностью беседовать с вами лично, я, как ни боюсь посягать на ваш досуг, прошу вас уделить несколько часов на прочтение их и, если они достаточно заинтересуют вас, не отказать сообщить мне ваше мнение по поводу некоторых возбужденных в них вопросов.

Перевод мой «Oplysningens Frugter» («Плоды просвещения») вызвал несколько хороших газетных отзывов, из которых я вижу, что и эта пьеса понята у нас так же хорошо, как другие ваши сочинения.

«Власть тьмы» хотели поставить в предстоящем сезоне на «Dagmartheatret», но я еще не получил по этому поводу формального извещения о решении дирекции.

«Крейцерова соната» вышла в моем переводе вторым изданием, как теперь оказывается, одновременно с разрешеньем первого русского.

С этих пор мой семилетний труд по переводу ваших сочинений на датский язык временно и, надеюсь, ненадолго прекратился, и я взялся за моих любимых датско-норвежских писателей — Киркегора, Ибсена и Бьёрнсона.

Что касается первого, то мы с женой предприняли переработку духовной речи его «Лилии и птицы», которая в новой форме, надеюсь, произведет на вас лучшее впечатление, нежели в первоначальной. Прошу при этом передать Ивану Ивановичу для пересылки мне оставшихся у вас двух статей Киркегора «In vino veritas» и «О Дон-Жуане», которые также нужно подвергнуть капитальной переработке [17].

Затем в настоящее время мы заняты переводом, вернее сказать, переработкой Бьёрнсонова призыва к северной молодежи «Единобрачие и многобрачие».

Удивительные речи эти, появившиеся уже лет пять тому назад, к сожалению, дошли до меня только недавно.

Причина отчасти та разбрасываемость, которая не позволяет мне следить, как подобает, ни за русской, ни за датской литературой, отчасти же невнимательность моих датских издателей, не приславших мне эту замечательную брошюрку.

Чтение этого воззвания просто в жар бросит, настолько оно горячо и убедительно. Местами кажется, что слышишь автора «Крейцеровой сонаты», до того оно близко к этому сочинению как по мысли, так иногда и по самой форме выражения.

Как только перевод мой выйдет в печати, я не премину тотчас же выслать вам экземпляр. Пока же не могу отказать себе в удовольствии переписать два места, произведшие особенно сильное впечатление на Ивана Ивановича еще тогда, когда я прочел ему их в переводе прямо с листа.

Я вперед знаю, что вы не сойдетесь со многими из взглядов Бьёрнсона, но останется довольно и того, что в силу вашей с ним солидарности по одному из важнейших вопросов о сохранении нравственной чистоты в молодости не может не вызвать удивления и радости.

Если бы Суворин находился на высоте своего призвания как издатель, я бы отнес эту статью к нему для напечатания, желая доставить ей возможно большее распространение в кругу читателей, но он недавно по поводу Ибсена высказал такое равнодушие, что и обратиться к нему не хочется.

Переведя «Гедду Габлер», я тотчас же предложил ему рукопись для напечатания, но, несмотря на то, что обращался письменно и к нему и затем, по указанию его секретаря, к его управляющему книжным магазином «Нового времени», я не удостоился даже ответа.

Специальный журнал драматических произведений «Артист» согласился было печатать мой перевод, но в сентябре; предложение было сделано в апреле.

Издатель же «Северного вестника», узнав о моем переводе, сам пригласил меня поместить его в этом журнале и, благодаря ему, я имею теперь возможность прислать вам печатный экземпляр.

Хотя Ибсен уже давно приобрел такую известность за границей, что издатели различных национальностей заблаговременно спешат приобрести право на перевод его новых сочинений, ни одно из его предыдущих творений за последние годы не взволновало общество до такой степени, как «Гедда Габлер».

Помимо литературных достоинств пьесы, это объясняется отчасти тем обстоятельством, что Ибсен, вообще выступавший как бы ходатаем женщин, в этой пьесе дает два страшно отрицательных типа, из которых особенно героиня Гедда ставит большинство из критиков, не говоря уже о публике, в тупик.

В Дании совершенно не поняли эту пьесу, и первое представление ее в «Королевском театре» сопровождалось даже довольно упорной борьбой между сторонниками автора и противниками вообще всего норвежского.

В берлинском «Residentstheater» ее приняли с восторгом, хотя и ожидали скандала.

Из русских отзывов о ней я видал только одну рецензию, написанную Чуйко в «Одесском вестнике»[18], и хотя автор ее, по-моему, как раз нашел ключ к разгадке «прекрасного сфинкса», как принято называть Гедду, ему все-таки недостает прозорливости или просто внимательности к указаниям, данным самим автором.

Один из пайщиков «Северного вестника» тоже сказал мне прямо, что перевод ему больше нравится, чем сама пьеса, героиня которой ему совершенно непонятна.

Мне стоило, однако, только обратить его внимание на две главные черты Гедды — стремление к полной личной свободе и отрицанию всяких нравственных обязанностей — и лицо его сразу просияло: «Вот так!— сказал он,— этого я, действительно, не сообразил. Теперь я еще раз прочту пьесу и наверное пойму ее лучше».

Мне особенно хотелось бы узнать ваше мнение об этой пьесе, Лев Николаевич. Что до меня, читая ее, я не мог отделаться от того впечатления, что перемена в обычных авторских приемах Ибсена (до сих пор он преимущественно выставлял женщин как бы образцами) произошла под влиянием чтения «Крейцеровой сонаты».

Еще несколько слов о «Перчатке», переведенной г-жой Кузминской[19]. Первое действие я прочел с удовольствием, но другие два поставили меня в совершенный тупик.

Дело в том, что перевод, по-видимому, сделан с последнего, совсем переделанного автором издания. Но если пьеса теперь и выигрывает в быстроте хода драматического действия, зато конец ее так отрывочен, что невольно ставит читателя в тупик: «А что же дальше?»

В первом издании разрыв Свавы с женихом происходит во втором действии в присутствии всех членов обоих семейств. Затем происходит борьба Свавы с окружающими и особенно с матерью, из разговоров с которой видно, что Свава именно от нее научилась не поступаться в своих требованиях относительно вопросов о нравственной чистоте.

Кончается же пьеса тем, что жених, убитый горем, уезжает в Америку. Перед отъездом он вымаливает у Свавы дать ему хоть намек на то, что вина его когда-нибудь может быть прощена, и Свава, убежденная матерью в своей чрезмерной строгости, невольно дает ему этот намек. На вопрос матери: «Ты обещала!» Свава, скрывая свою голову на груди матери, отвечает: «Кажется».

По-моему, конец этот куда вернее и человечнее.

Этим я кончу это длинное послание, в надежде, что оно застанет вас в добром здоровье. Затем прошу вас принять от имени жены и своего и передать вашей супруге и всему семейству искренний привет.

Преданный вам
П. Ганзен

Ганзен выбрал из речи Бьёрнсона отрывок, который действительно звучит как публицистический комментарий к повести Толстого.

«Сколько людей платится впоследствии роковыми ошибками при выборе жизненных путей за то, что чувство прекрасного рано загрязнилось и испортилось в их душе,— писал Бьёрнсон.— Нечистые дела и помыслы так или иначе, но всегда оставляют свой след, и нужен огромный подъем духа, чтобы стереть этот след и вновь восстановить полную душевную гармонию».

В одной из статей о Бьёрнсоне Ганзен писал о его творческих и общественных целях, определяя линию сходства с гуманистическими тенденциями русской литературы: Бьёрнсон — «горячий поборник нравственного очищения и возрождения современного общества; целомудрие, строгое единобрачие и, наконец, уничтожение войны — вот идеалы, во имя которых он живет и неутомимо трудится...» [20].

В сентябре 1891 г. Ганзен прислал Толстому еще одно письмо (не получив ответа на предыдущее).

Он был лично знаком с Бьёрнсоном и хотел передать Толстому привет от «седого чародея».

Подлинник по-русски

С.-Петербург. 6 сентября 1891 г.
Фонтанка, 177, кв. 7.

Надеюсь, Лев Николаевич, что присланные с Иваном Ивановичем письмо и переводы вами получены. При этом письме (в ценной посылке через Тулу) позволяю себе прислать вам переводы упомянутой в предыдущем письме статьи Бьёрнсона и его предисловие к сочинению Арнольдсона «Закон, а не война» [21].

На мой вопрос, где и как Бьёрнсон читал эту речь, он ответил мне прекрасным письмом, отрывок из которого помещен в рукописи вместо предисловия.

О том, насколько Бьёрнсон проникнут симпатией к вам, Лев Николаевич, свидетельствует особенно конец письма, где он трижды просит передать вам поклон: «hils (т. е. кланяйтесь), hils, hils Tolstoj!», что я и исполняю с величайшей радостью.

Он сообщает мне также, что кончил текст к оратории «Мир», которую Эдуард Григ теперь перекладывает на музыку. «Если она удастся,— пишет Бьёрнсон,— то это будет вроде призыва ко всему миру».

В настоящее время Бьёрнсон пишет еще социальную драму [22].

А вы что пишете, дорогой Лев Николаевич? Скоро ли мне опять придется взяться за перевод нового вашего сочинения? Я уж соскучился: целый год как прекратился этот труд, самый дорогой в моей жизни.

Статья «Единобрачие и многобрачие» помещена уже в извлечении в «Новом времени», а сегодня я получил разрешение из цензуры на отдельное издание, так что можно надеяться на самое широкое распространение.

Не имеете ли вы по поводу этого сказать мне кое-чего?

Очень бы обрадовался каждому вашему совету или указанию.

Преданный вам П. Ганзен

На конверте: Через Тулу.
Станция «Ясинка». В имение «Ясной Поляны».
Льву Николаевичу Толстому.

Ганзен знакомил Толстого с той общественной средой, к которой он впоследствии обратился с «Письмом» по поводу Гаагской конференции (1901 г.).

Оратория Бьёрнсона «Мир» связана с Лондонским мирным конгрессом 1891 г.

Этому конгрессу Толстой посвятил несколько иронических, но с болью написанных страниц в «Царстве божием внутри вас». Главным недостатком лондонского конгресса Толстой считал то, что конгрессмены не шли дальше благих пожеланий о мире, не ставили вопроса о социальных причинах войны. Письмо Ганзена оказалось наполненным самыми злободневными вопросами современности, которые чрезвычайно занимали Толстого.

Что касается Ибсена, то еще в 1889 г., прочитав его пьесу «Комедия любви», Толстой составил о нем резко отрицательное мнение, которое не изменилось и в последующие годы. Он усматривал в его драматургии ницшеанские тенденции. Особенно чуждой была для него склонность Ибсена к символическим образам. «У него во всех пьесах идут на гору...»,— шутливо говорил Толстой.

«Бьёрнсона я читал еще летом: „Новые веяния“,— писал Толстой Ганзену 14 сентября 1891 г.,— очень хорошая, интересная вещь. Читал тоже по-английски его роман, переведенный под заглавием „In God's Way“. Тоже хороший. Он во всем верен себе, искренне любит добро и потому имеет что сказать и говорит сильно. И я всё, что он пишет, читаю и люблю, и его самого тоже. Но не могу того сказать про Ибсена. Его драмы я тоже все читал,— писал Толстой,— и его поэма „Бранд“, к⟨оторую⟩ я имел терпение дочесть, все выдуманы, фальшивы и даже очень дурно написаны в том смысле, что все характеры не верны и не выдержаны» (т. 66, стр. 45).

Толстой решительно отдавал предпочтение Киркегору и Бьёрнсону перед Ибсеном:

«Репутация его в Европе доказывает только страшную бедность творческой силы в Европе. То ли дело Киркегор и Бьёрнсон, хотя и различные по роду писаний, но оба имеют еще главное качество писателя — искренность, горячность, серьезность. Серьезно думают и говорят то, что думают и говорят» (там же).

Толстой не принял драматургии Ибсена, как впоследствии он не принял и театра Чехова. Интересно отметить, что Ибсен также критически отнесся к драматургии Толстого. В письме к Ганзену, с которым он был хорошо знаком, Ибсен писал: «Драму „Власть тьмы“ я прочел с большим интересом. Не сомневаюсь, что она в надлежащем верном и беспощадном исполнении должна произвести сильное впечатление со сцены. Мне кажется, однако, что автор не вполне владеет драматической техникой. В пьесе больше разговоров, чем драматических явлений, и диалог во многих местах кажется скорее эпическим, нежели драматическим; вообще вся

ДРАМА БЬЁРНСТЬЕРНЕ БЬЁРНСОНА «КОРОЛЬ» (ПАРИЖ, 1897), ПРИСЛАННАЯ ИМ ТОЛСТОМУ В ФЕВРАЛЕ 1897 г.

Обложка

Личная библиотека Толстого

Музей-усадьба «Ясная Поляна»



вещь является не столько драмой, сколько рассказом в диалогах. Но главное налицо. Дух гениального поэта живет и проявляется здесь во всем» [23].

В письме от 14 сентября 1891 г. Толстой принес извинения Ганзену за то, что рукописи статей Киркегора «In vino veritas» и «О Дон-Жуане», присланные с Горбуновым-Посадовым в Ясную Поляну, пропали. «Статьи Киркегора, о кот〈орых〉 вы пишете, я знаю, что были у меня, но до сих пор мы с Машей не могли их найти,— писал Толстой.— Поищем еще. Но если не найдутся, скажите, очень ли это будет вам неприятно? Посылают мне рукописей много, а порядка заведенного нет и часто пропадают» (т. 66, стр. 45).

«Верно кто-нибудь взял их со стола, заинтересовавшись содержанием, да и унес, забыв сказать Льву Николаевичу,— так объяснял мне исчезновение статей один наш общий знакомый, хорошо знавший порядки в доме,— пишет Ганзен в своих воспоминаниях.— Мало ли народу ходит к нему? Двери всегда открыты, рукописи прямо на столе: хочешь — читай, хочешь — бери, снимай копии». «Ну, что же мне было сказать на это, раз я узнал вдобавок, что и с собственными рукописями Льва Николаевича случается нередко то же самое? Этою же „простотою нравов", вероятно, следует объяснить и распространение в публике в рукописных копиях не оконченных еще или набросанных вчерне сочинений Льва Николаевича» [24].

Ганзен был удивлен отзывом Толстого о пьесах Ибсена. Он не согласился с этой оценкой, хотя и не счел возможным вступать в спор с Толстым.

Подлинник по-русски

С.-Петербург. 21 сентября 1891 г.
Фонтанка 177, кв. 7

Дорогой Лев Николаевич!

Сердечно благодарю вас за письмо, которым вы нас обрадовали. С нетерпением будем ждать теперь присылки нам от Черткова рукописей.

Сочувственное отношение ваше к сочинениям Киркегора и Бьёрнсона — двум любимым писателям моим — меня очень радует, зато не могу сказать, как меня огорчает резкое ваше суждение, почти осуждение Ибсена.

Я глубоко уважаю ваше мнение, но тут оно выразилось таким неожиданным образом, что с первого раза просто ошеломило меня. Не может быть, чтобы в ваших словах не было правды: в этом деле нет более компетентного судьи, чем вы. Но, если так, то выходит, что я с лишком двадцать пять лет, читая Ибсена, увлекался какой-то фальшью, а этого я допустить не могу.

Огромное значение Ибсена для его родины признано даже его противниками, и, следовательно, тут что-то не так, а как — в толк не возьму.

Надеюсь, что вы теперь получили статьи Бьёрнсона «Единобрачие и многобрачие» и предисловие его к книге Арнольдсона «Закон, а не война между народами».

Согласно указаниям Ивана Ивановича Горбунова, я отправил их уже 6 сентября заказной посылкой на Тулу, так как на Ясеньку можно отправлять лишь простую корреспонденцию.

Я недавно познакомился с Н. Н. Страховым, который при первом же свидании подарил мне свою последнюю статью «Толки о Толстом» [25]. Николай Николаевич так удачно разобрался в этом хаосе, что мне остается только одно: в виде дополнения написать маленький очерк о Киркегоре. С ним ведь было то же, что и с вами: пока он писал только эстетические сочинения, его боготворили, но как только он начал свою нравственную проповедь, отношение публики к нему изменилось. Люди стали злиться, бранить его за «его» непомерные требования. Этим они, по его меткому выражению, «только выразили свой страх перед натиском идеала».

Для предполагаемой статьи я перевел одну характерную статью Киркегора, которую прилагаю. Это ответ его на сетования его противников и неразумных сторонников, которые возмущались его «резкими выражениями».

Что касается затерявшихся переводов Киркегора («О Дон-Жуане» и «In vino veritas»), прошу не беспокоиться из-за них. Найдутся — хорошо, а нет, придется вновь перевести, авось выйдет еще лучше, благо тому, что у меня теперь такая прекрасная помощница.

Жена благодарит за поклон и просит в свою очередь передать вам сердечный привет. Мой поклон Софье Андреевне и всему семейству.

Преданный вам П. Ганзен

На конверте: Через город Тулу.
Станция Ясенки. В имение «Ясной Поляны».
Льву Николаевичу Толстому.

На этом переписка Ганзена с Толстым обрывается. Девять его писем к Толстому замечательно характеризуют личность и литературные мнения критика и переводчика, который внес большой вклад в русско-скандинавские культурные связи.

II

«УРОКИ ВАШИХ КНИГ»

1. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Первые переводы сочинений Толстого появились за границей еще в 1850-х годах. Но европейская, а вместе с ней и мировая, слава пришла к нему позднее.

Есть своеобразный «тургеневский период» известности Толстого за рубежом. Именно Тургенев познакомил влиятельных критиков и писателей Запада И. Тэна, Э. Абу, Ю. Шмидта, У. Ролстона с произведениями Толстого.

Как бы завершением этого периода явился выход в 1886 г. в Париже книги М. де Вогюэ «Русский роман». Для многих читателей на Западе это сочинение стало первым знакомством с Толстым.

Тургенев сам был мэтром и придавал мнению мэтра решающее значение. Когда Флобер сравнил Толстого с Шекспиром, Тургенев воскликнул: «Не знаю, что скажут господа критики ⟨...⟩, но для меня вопрос решен: „Flaubertus dixit“ *. Остальное не имеет значения» [1].

Толстой знал, как много сделал Тургенев для того, чтобы его произведения были поняты на Западе. Но для Толстого «Flaubertus dixit» значило неизмеримо меньше, чем для Тургенева. Скорее даже именно это «Flaubertus dixit» могло вызывать у него сомнение. Толстой к этому времени уже окончил «Исповедь» и в заботах об успехе своих произведений ни в Париже, ни в каком другом месте Европы не принимал никакого участия.

С середины 1880-х годов, т. е. уже после смерти Тургенева, начинается новый период известности Толстого за рубежом. «Исповедь» и последовавшие за ней философско-публицистические и художественные произведения переводились на все европейские языки.

Русская литература воспринималась как глубоко самобытное явление, которое имеет непреходящую ценность в общечеловеческой культуре. К 1886 г. относится письмо голландского журналиста *И. Х. Хойера.*

Нужно отметить, что Хойер, говоря о художественных произведениях Толстого — о «Войне и мире» и «Анне Карениной», — большое место уделяет религии. Это объясняется не только тем, что он почувствовал определенные тенденции творчества Толстого, и не только тем, что он сам был, судя по письму, религиозным человеком. В 1880—1890-е годы в Европе заговорили о «кризисе цивилизации», и в этой сложной умственной атмосфере «отказа от духовных ценностей», как реакция на «унизительные формы моральной распущенности и цинизма», религия приобрела значение «спасительной надежды».

«Мэтры того времени,— писал Р. Роллан в своих воспоминаниях,— Тэн, Ренан — признавали этот кризис без малейшей надежды (можно даже сказать, без малейшего желания выйти из него). Бурже в своих „Очерках современной психологии“ (1883—1885), изданных в то время ⟨...⟩, констатировал во французской элите наличие „смертельной усталости от жизни, мрачного ощущения тщетности любых усилий“. И Баррес в своих „Чернильных пятнах“ (1884) отмечал у Верлена „последнюю степень нервного возбуждения истощенной расы“. „Франция умирает,— писал Ренан,— не тревожьте ее агонии“»[2]. Протест против этих настроений упадка и заключает в себе письмо Хойера, на котором лежит сильный отпечаток времени.

---

* Так сказал Флобер (лат.). — *Ред.*

Перевод с французского

Арнем. Голландия. 14 апреля 1886 г.

Граф!

Имя ваше проложило себе путь к нам. Моя родина, Голландия, с некоторых пор живет вашими книгами, ими восхищаются, их изучают, каждое новое произведение приветствуется с невыразимой радостью. Отчасти это объясняется огромным литературным дарованием, которым вы обладаете, или, лучше сказать, которое обладает вами; с другой стороны,— чистым, глубоко религиозным духом, проявляющимся в ваших романах.

Наше интеллигентное, просвещенное, может быть, следовало бы даже сказать — слишком просвещенное, общество, скептическое, насмешливое, немножко усталое и пресыщенное, с каким-то трепетом счастья обнаружило в ваших произведениях ту глубину и свежесть чувства, те акценты, мужественные и нежные одновременно, которые давно уже утеряны европейской литературой. Скажу больше: наше общество захвачено, проникнуто тем жаром, который придает вашим произведениям вера в бога и в душу бессмертную.

Я литератор, писатель, редактор большого научно-литературного журнала, издающегося в Амстердаме. Я читал ваши книги, и они взволновали меня, потрясли до самых глубин моего существа.

Я перевел из них несколько отрывков, которые и прочел, вместе с моими комментариями, перед избранной аудиторией здесь, в Арнеме, а также в Гааге и Лейдене перед голландскими студентами. Сердце мое было переполнено, я не мог молчать.

Где бы я ни рассказывал о вас и о ваших романах, это всегда производит глубочайшее впечатление. Могучая, возрождающая сила ваших книг проникала в душу людей и как бы приподнимала их над землей.

Мне хотелось бы, граф, чтобы вы могли видеть и слышать неистовые рукоплескания студентов в конце моего доклада. Эти рукоплескания молодежи предназначались не мне, я был только посредником: они предназначались вам, граф, они неслись в Россию. Я видел, как эти молодые люди, которые — увы — загрязняют свое воображение нечистотами современной французской литературы, которые хвастают тем, что ни во что не верят, были растроганы до слез вашими прекрасными, красноречивыми произведениями. Вы возродили в их душах благородные стремления к высокому и божественному, которого они, благодаря своей молодости, жаждут, несмотря на все их бравады и притворный скептицизм.

Глубокое, продолжительное молчание следовало за каждой сценой из «Анны Карениной» и «Войны и мира» и разрешалось криками восторга.

Ключ от их сердца — в ваших руках. Сердца их раскрылись, и в их криках была благодарность вам, либо же благоговение перед вечными истинами, которые глаголят вашими устами.

Так вот, граф, позвольте сказать вам, что вы сами не подозреваете, сколько добра вы делаете тысячам ваших современников. Вы апостол вечного, нетленного Евангелия, вне которого — говорю по собственному опыту — спасения нет. Вы поколебали мой скептицизм и отогрели сердце. Вы открыли мне обширные горизонты. Я человек состоятельный, вы научили меня получать наслаждение от денег, употребляя их на благо ближнего. Благодарить вас за это — значит воздать хвалу обожаемому Великому Неизвестному, вдохновившему вас. Мы, дети этого странного и печального века, больны духовно. Каждый старается скрыть свою душевную рану. Но когда видишь, как упорно стремятся люди заразить своим недугом своих близких, становится жаль наших современников. И они, действительно, достойны сожаления: мечась в пустоте, они утеряли ключ к существованию, и жизнь их бесплодна, несмотря на удовлетворенное тщеславие, несмотря на кумиры искусства и науки, которые они себе воздвигли.

Мне кажется, что с верой и религиозной жизнью происходит то же, что и с низшей, неорганизованной природой. Зимою соки дерева уходят из ветвей и стволов. Не приходит ли зима по временам и к нам? Духовная жизнь отливает к центру вселенной, покидает человечество, прекращает свое движение. И в такие периоды, что бы ни делалось, оживить ее не удается, точно так же, как не заставишь дерево раньше времени расцвести... Единственно, чего можно добиться,— это внешних форм веры, видимости, мертвых символов. С одной стороны, цепляются за букву вероучения: мы видим, как возникает сухой, нетерпимый фанатизм, тем более нетерпимый, чем меньше в нем искренности и глубины. С другой стороны, цинизм и утонченный, изящный скептицизм. И потом вдруг — неизвестно как и почему — к ветвям приливает сок и приходит новая весна, новое цветение. И это неудержимо. Поток сносит всё: высокомерную науку, всепрезирающие системы. Перед божественным дыханием, овевающим мир, склоняется всё.

Христианское учение не умерло. Оно возродится, изменившись, но все же возродится. Снова запоют вифлеемские ангелы. В России ли произойдет это? Наши взоры обращены к России, ваш голос пленяет нас, трогает, делает нас мягче и лучше.

Бог да сохранит вам жизнь и власть — самую завидную, благословенную власть — утешать своих современников и говорить им слова, которые никогда не забудутся.

Надеюсь, вы простите, что докучаю вам, излагая на дурном французском языке то, что мог бы лучше выразить на своем родном.

Да благословит вас бог, граф, и вас, и ваших близких.

И. Х. Хойер

На конверте: Russie,
à monsieur le comte Léon Tolstoï,
écrivain romancier. Moscou.

В русской литературе — и это главное — был открыт источник гуманистической веры в то, что человек «не только животное», а «существо нравственное» и «ответственное за свои поступки».

Огромное впечатление производил художественный реализм Толстого. «Нет, вы не мистик,— писала Толстому французская писательница Анжела *де Сен-Франсуа*,— мистика — не ваш жанр» [3]. Неудовлетворенность итогами натурализма выражена и в письме Р. Роллана: «Я не могу примириться с незнанием внутренней сущности вещей» [4].

Толстой — художник и мыслитель — раскрыл перед всем миром народные начала русской жизни так, что его гуманистическая мысль приобрела общественное значение далеко за пределами его родины.

Письмо Стенли *Уизерса*, английского почитателя Толстого, указывает именно на эту особенность восприятия творчества великого русского писателя за рубежом.

Перевод с английского

Поплэрс, Сэль Чешайр, Англия
28 января 1889 г.

Граф!

Не могу удержаться, чтобы не сообщить вам, с каким восторгом встречают мои соотечественники ваши книги, которые стали выходить у нас по-английски. Многие из нас имели счастье познакомиться с ними несколько лет назад во французских переводах, но теперь, когда их переводят и на наш язык, интерес, с которым читающая публика встречает каждый ваш том, ни с чем не сравним. «Утро помещика», «Казаки», «Смерть Ивана Ильича» [5] — вот пока то, что издано г. В. Скоттом.

Что бы я ни сказал, я не смогу достаточно выразить личное мое восхищение вашим творчеством, а, главное, вашей жизнью, насколько я ее знаю. Для меня особенно важны ваши религиозные сочинения, которые показывают, как мыслящий человек может в наш ничтожный век жить жизнью истинной. «В чем моя вера» и «Христианство Христа»* не могут не иметь влияния на разум религиозных людей. Англичане же, как часто говорил дорогой наш Мэтью Арнольд[6], — народ религиозный.

В наш век прежде всего гонятся за богатством, но широко распространяется и недовольство тем, какой оборот принимает дело.

Нужен могучий наставник, который своей проповедью уравнял бы бедного с богатым, чтобы существенно изменить направление жизни английского общества. Если сделать это по силам одному человеку, я не сомневаюсь, что человек этот — вы!

О, если бы у нас в Англии появился ваш последователь, достойный великого русского учителя!

Но я, кажется, заговорился: ведь единственное мое желание было — просто поблагодарить вас от всего сердца за урок, который содержится в ваших волнующих книгах.

Ничто за последнее время не производило на меня такого глубокого впечатления. Вот за это я и благодарю вас.

Хочется прибавить, хоть и совестно вас беспокоить: не можете ли вы собственноручно написать мне несколько слов, уведомляющих о получении этого письма.

Буду вам бесконечно признателен.

С глубоким уважением

остаюсь, граф, искренне преданный вам,

Стенли У и з е р с

На конверте: Count Lyof Tolstoï.
Yasnaia Poliana. Toula. Russia.

Внешним показателем успеха книг Толстого за рубежом были не только многочисленные издания и переиздания, но и тот громадный спрос на них, который отмечался повсюду. Банковский секретарь *Э. Д. Робб* по-своему, но очень точно обозначил признаки несомненного успеха Толстого. Он воспроизвел в письме к Толстому уличную сценку продажи его книг в Америке.

Перевод с английского

Эльдора. Штат Айова. 3 апреля 1894 г.

Граф Лев Толстой!

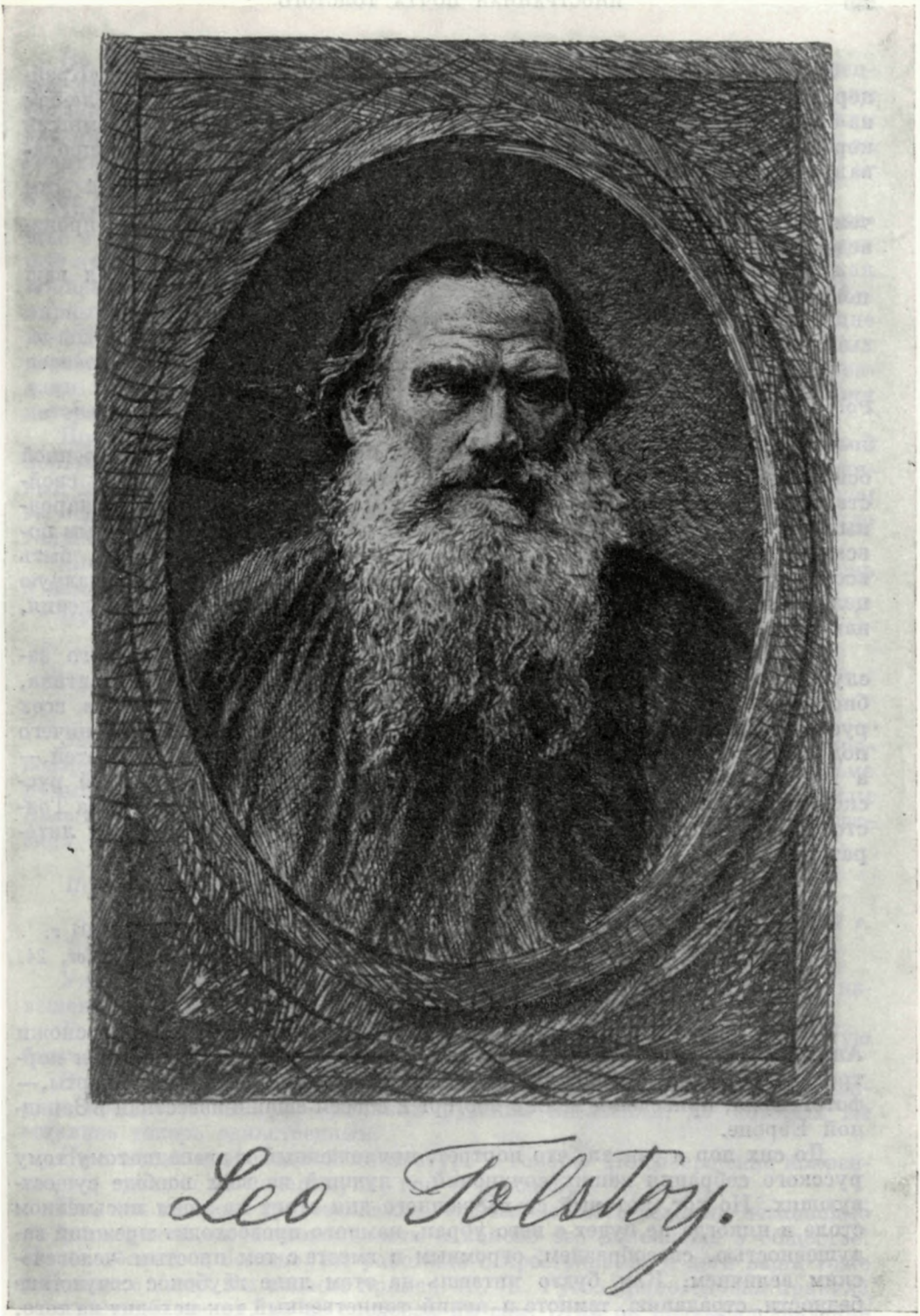
Надеюсь, вы простите меня за то, что я обращаюсь к вам. Мне хочется в нескольких словах сказать вам, как высоко мы, американцы, ценим ваше творчество и с каким страстным интересом читается здесь все, что выходит из-под вашего пера.

Мы с вами незнакомы. Но известно ли вам, что штат Айова занимал одно из первых мест в Соединенных Штатах в деле помощи вашим соотечественникам, когда в вашей стране был голод?

Итак, если даже мы и незнакомы,— я из того штата, о котором только что упоминал, и это придает мне некоторую смелость.

Помню, как я впервые услыхал о вашей «Крейцеровой сонате». Я ехал на Восток, и один попутчик посоветовал мне прочесть ее. Итак, я купил книгу в Гамильтоне (штат Онтарио), прочел ее и, как я уже говорил, очень ею заинтересовался.

* Название английского сборника религиозных произведений Толстого.— *Ред.*



ТОЛСТОЙ

Офорт немецкого художника Людвига Кюна. Отпечатан в Бреславле, 1887

Музей Толстого, Москва

Я никогда не видел прежде, чтобы книга раскупалась так, как «Крейцерова соната». В Буффало, Монреале, Бостоне, Нью-Йорке — в любом из больших городов продавцы стояли на углах улиц со своими огромными корзинами, наполненными вашими произведениями, и весь день распродавали книги, едва успевая отпускать одного покупателя за другим.

Это, конечно, всего лишь небольшой эпизод, но он подтвердит то, о чем вы уже знаете,— что мы, американцы, интересуемся вашими произведениями и восхищаемся вами.

Простите, пожалуйста, за это длинное письмо и верьте, что я ваш поклонник и доброжелатель.

Искренне преданный
Эллис Д. Робб

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Polya Naiga. Province of Tula. Russia.

Но дело, конечно, не в этих внешних признаках успеха. Внутренней основой влияния Толстого было и в высшей степени присущее ему свойство сближать средствами искусства народы. То, что было глубоко народным дома, на родине, оказалось в равной степени важным и понятным повсюду. «Искусство нашего времени,— говорил Толстой,— должно быть всемирно и потому должно соединять людей». Имея в виду эту главную цель, он с огромной смелостью рассеивал предрассудки и предубеждения, накопленные веками вражды между народами.

В ряду свидетельств современников о мировом значении Толстого заслуживает внимания письмо известного немецкого журналиста, критика, биографа Толстого Эугена *Цабеля*. «Реализм Толстого, как и всех русских писателей, вышедших из школы Гоголя, не имеет в себе ничего подражательного чужим образцам,— писал Цабель в одной из статей,— а возник совершенно самостоятельно из культурных особенностей русской жизни» [7]. Исходя из самобытности и оригинальности творчества Толстого, он говорил о его роли и значении в европейской и мировой литературе.

Перевод с немецкого

Берлин. 7 мая 1894 г.
N.-W. Kronprinzen-Ufer, 24.

Глубокоуважаемый граф!

Вчера пришло письмо моей уважаемой доброжелательницы, госпожи Анны Сейрон [8], а в письме приятный, поразительный сюрприз: ваш портрет, изумительно похожий, передающий характерные ваши черты,— фотография, приведшая меня в восторг и совсем еще не известная в Западной Европе.

До сих пор я считал, что портрет, приложенный к двенадцатому тому русского собрания ваших сочинений,— лучший из всех вообще существующих. Но тот, который со вчерашнего дня стоит на моем письменном столе и никогда не будет с него убран, намного превосходит прежний задушевностью, своеобразием, огромным и вместе с тем простым человеческим величием. Как будто читаешь на этом лице глубокое сочувствие бедности, страданию, темноте и некий таинственный ток исходит на того, кто на него глядит, и заставляет его мысль и чувства следовать за великим русским писателем и философом.

В этом драгоценном памятном подарке, которому ваша подпись придает еще большее значение, я вижу несравненную, завидную награду за мои слабые попытки пробудить и углубить интерес своих соотечественников к новейшей русской литературе.

Во второй половине нашего века соотношение между русской и немецкой литературами резко изменилось. Раньше наши писатели помогали русским в выработке их собственных литературных взглядов, служили для них образцом. Теперь же мы привозим русских писателей к себе из-за границы, восторженно их принимаем, чтобы учиться у них и узнавать от них, в чем истинная правда и красота творчества писателя.

Вы не поверите, граф, как многочисленны в Германии люди, находящие в ваших сочинениях отдохновение, душевный подъем, источник вечной красоты и мудрости. Благодаря таким глубоким произведениям, как «Война и мир» и «Анна Каренина», вы стали у нас одним из самых популярных писателей. А религиозно-философские произведения, выходящие из-под вашего пера, появляются все без исключения в многочисленных переводах, всесторонне обсуждаются и комментируются, осыпаются похвалами и подвергаются нападкам, как все подлинно выдающиеся явления литературы.

Позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что вы подарили мне свой портрет, лучше которого я не мог бы желать. Взгляну на свой письменный стол, и мне кажется, что я говорю с вами; словно своим присутствием вы освещаете мой кабинет, словно требуете от меня, чтоб отсюда исходило только одно благородное и чистое.

Мое восхищение вами как писателем беспредельно, а равно и любовь к вам — человеку, который отнесся ко мне так гуманно и благородно.

Примите, граф, мою почтительную благодарность.

Глубоко вас уважающий
Эуген Ц а б е л ь

Значение Толстого определено той гуманистической основой его мировоззрения, которую мы сейчас назвали бы интернационализмом. В письме румынской корреспондентки Толстого, начинающей писательницы Луизы *Воль* говорится о русской литературе как провозвестнице единения братских народов.

Перевод с французского

Фольтичени (Румыния). 24 ноября 1897 г.

Милостивый государь,

Уже давно хочется мне вам написать. Я медлила, медлила, а затем извещение о вашей болезни помешало мне это сделать.

Теперь я призываю на помощь всю мою смелость и приношу глубокую благодарность автору «Анны Карениной» и «Войны и мира».

В этом письме я хочу также выразить свою признательность всем вашим предшественникам — великим русским писателям, из которых вы остались теперь единственным.

Ни в одной современной литературе — говорю это совершенно искренне — я столько не почерпнула, как в русской.

Вы, как пророк, провозгласили, что человек есть человек, независимо от того, какой он национальности и каково его положение в обществе. Но вы делаете и больше: вы работаете с крестьянами, и дети ваши тоже работают с ними. Вы подаете пример. Ж. Ж. Руссо проповедовал правила естественной жизни, но не следовал им сам. Этим он подрывал значение своего учения. Вы доказываете свое человеколюбие, проводя его в своей повседневной жизни, как ⟨1 *нрзб*⟩ кровью доказал свою солдатскую доблесть.

Прошу у вас великой милости. Я пишу сама, но посоветоваться мне не с кем. Будьте добры, дайте мне совет, что мне делать, чтобы достичь цели.

Знаю, что талант не всем дается, но были же и очень способные люди, которые ничего не создали, потому что начали не так.

Еще раз прошу вас, дайте мне несколько добрых советов в моем писательском призвании.

Благодарю вас заранее.

Ваша скромная почитательница
Луиза В о л ь

На конверте: M-r le comte Leo Tolstoï.
Russie.

С середины 1880-х годов интерес к творчеству Толстого уже не ограничивался художественными вопросами, но был обращен и к философии, и к социологии. И если применительно к тургеневскому периоду можно говорить о мировой славе, имея в виду европейское признание, то, собственно, толстовский период был завоеванием славы в масштабе всех цивилизованных стран и народов.

2. «ВОЙНА И МИР»

23 января 1880 г. в парижской газете «Le XIX Siècle» было напечатано открытое письмо Тургенева к известному писателю Э. Абу. Обращаясь к нему как к редактору этой газеты, Тургенев, по существу, адресовался и к французским читателям, взволнованно и торжественно представляя им Толстого и «Войну и мир» — «великое произведение великого писателя». Роман незадолго до того (осенью 1879 г.) был выпущен в свет издательством Hachette в переводе Ирины Паскевич [1].

«Лев Толстой — наиболее популярный из современных русских писателей, а „Война и мир", смело можно сказать,— одна из замечательнейших книг нашего времени ⟨...⟩, — писал Тургенев.— Целая эпоха, богатая великими событиями и крупными фигурами ⟨...⟩ целый мир, множество типов, схваченных живьем из всех кругов общества, развертываются перед читателем».

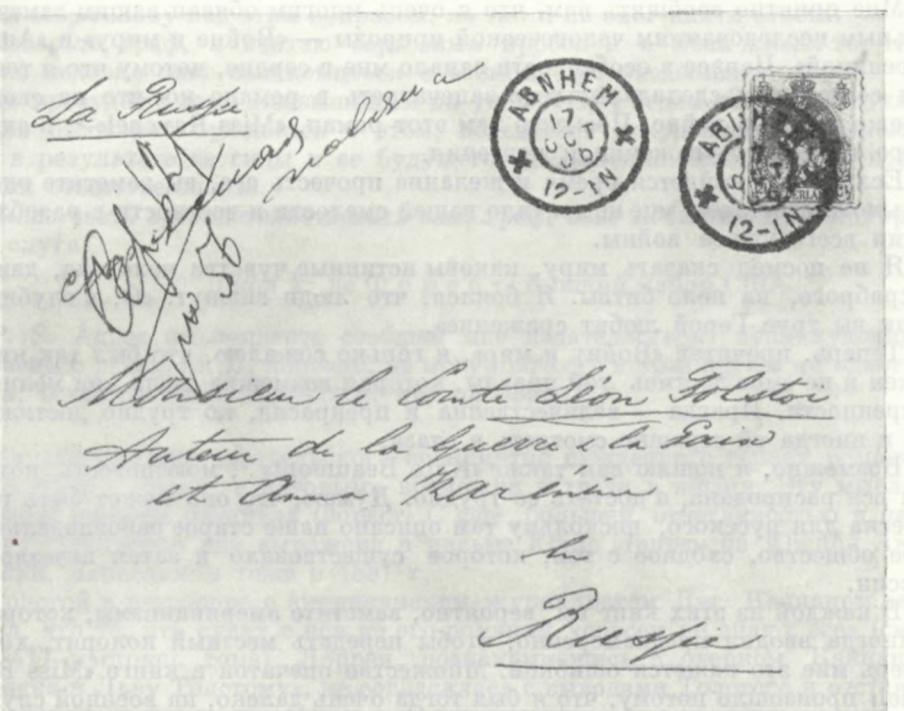
Представление об историческом романе было связано на Западе с определенными литературными образцами. Тургенев прежде всего отметил оригинальные, самобытные черты романа Толстого, не имевшие для себя образца в западноевропейской литературе. «Способ, каким граф Толстой обрабатывает свой предмет,— писал Тургенев,— столь же своеобразен, как и нов; это не метод Вальтер Скотта и, само собой разумеется, также не метод Александра Дюма. Граф Толстой — русский писатель до мозга костей; и те из французских читателей, кого не оттолкнут немногие длинноты и причудливость некоторых оценок, будут вправе сказать себе, что „Война и мир" дала им более непосредственное и верное представление о характере и темпераменте русского народа, вообще о русской жизни, чем если бы они прочитали сотни сочинений по этнографии и истории.

Здесь есть целые главы, в которых никогда не придется ничего изменить; здесь есть исторические лица (как Кутузов, Ростопчин и другие), чьи черты установлены навеки; это непреходящее ⟨...⟩ и это — подлинная Россия» [2].

Письмо Тургенева к Абу является своеобразным предисловием к роману Толстого. Надо сказать, что первые оценки «Войны и мира» были сделаны на Западе в частной переписке, которая служит наиболее непосредственным и быстрым откликом на то впечатление, которое оставляет чтение.

Так, Флобер в письме к Тургеневу говорил о «Войне и мире»: «Это пер воразрядная вещь! Какой художник и какой психолог!.. Мне кажется, что кое-где есть места, достойные Шекспира! Я вскрикивал от восторга во время чтения..., а оно продолжалось долго. Да, это сильно, очень сильно» [3].

Слова Флобера Тургенев «с дипломатической точностью» сообщил в письме Толстому.



АДРЕС НА ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ ИНОСТРАННОЙ ПОЧТЫ ТОЛСТОГО:
«*Россия*. Господину графу *Льву Толстому*, автору „Войны и мира" и „Анны Карениной". В Россию».
Конверт письма голландской корреспондентки Х. С. Хоуард от 15 октября 1906 г. Арнем
Адрес (написан по-французски)
Архив Толстого, Москва

Это было одно из первых писем с отзывом иностранного читателя (и какого читателя!) о романе. А затем, по мере того, как в разных странах появлялись свои переводы «Войны и мира», иностранная почта становилась все более обильной.

По искренности тона и непосредственности чувства отзывы читателей явились важным свидетельством того, что «Война и мир» — «подлинная Россия» — принята и в других странах как нечто «свое».

В 1887 г. Толстой получил письмо от бывшего майора американской армии Джона У. *Фореста*.

Он рекомендовался как писатель, автор романа «Мисс Равенел». Его письмо содержит размышления о войне и мире, рабстве и свободе, о мужестве солдата и писателя, о русском романе. Важно отметить его проницательную мысль о сходстве реализма Толстого и Стендаля. Толстой, как известно, испытывал к Стендалю «симпатию за смелость», как он писал об этом в письме к С. А. Толстой (т. 83, стр. 410)

Перевод с английского

Нью-Хейвен. Коннектикут. Соединенные Штаты Америки
25, College St⟨reet⟩ 30 апреля 1887 г.

Дорогой граф!

Обращаюсь к вам по-английски, так как знаю, что русские сильны в языках. А также потому, что довольно хорошо говорю и читаю по-французски, но пишу плохо.

Мне приятно сообщить вам, что я очень многим обязан вашим замечательным исследованиям человеческой природы — «Войне и миру» и «Анне Карениной». Первое в особенности запало мне в сердце, потому что я тоже был солдатом и сделал попытку запечатлеть в романе кое-что из своих переживаний на войне. Посылаю вам этот роман, «Miss Ravenel» [4], в знак моего глубокого уважения и почтения.

Если у вас найдется время и желание прочесть его, вы заметите один большой недостаток: мне не хватило вашей смелости и честности в разоблачении всего ужаса войны.

Я не посмел сказать миру, каковы истинные чувства человека, даже и храброго, на поле битвы. Я боялся, что люди скажут: «О, в глубине души вы трус. Герой любит сражение».

Теперь, прочитав «Войну и мир», я горько сожалею, что был так ничтожен и не смог достичь той правды, которая возможна лишь при полной искренности. Правда — величественна и прекрасна, но трудно достижима, и иногда ей страшно смотреть в глаза.

Возможно, я пошлю вам также «Kate Beaumont» [5], мою повесть, которая вся распродана, и достать ее трудно. Думаю, что она может быть интересна для русского, поскольку там описано наше старое рабовладельческое общество, сходное с тем, которое существовало и затем исчезло в России.

В каждой из этих книг вы, вероятно, заметите американизмы, которые я иногда вводил преднамеренно, чтобы передать местный колорит, хотя теперь мне это кажется ошибкой. Множество опечаток в книге «Miss Ravenel» произошло потому, что я был тогда очень далеко, на военной службе, и не мог сам держать корректуру.

Тридцать пять лет назад я познакомился во Франции с двумя вашими соотечественниками: Георгием и Евгенией Львовыми [6]. Их называли князьями, впрочем, кажется, они и были князья. Они настоятельно звали меня в Москву, а княжна Евгения Львова (младшая) обещала найти мне русскую жену. Интересно, нашла ли бы она для меня такую очаровательную женщину-загадку, как ваша Наташа? Я на всю жизнь влюбился в эту девушку, несмотря на свои седины. Мне кажется, она даже могла бы отвлечь меня от благородной Кити Левиной. Что касается Анны Карениной (бедная, блестящая, отчаявшаяся Анна!), увы! как разбила она свою жизнь, каким несчастным могла сделать меня! А ваша добрая маленькая Соня, которую никто не оценил по достоинству и которая не могла выйти замуж из-за отсутствия приданого! Получив отказ у Наташи, что несомненно случилось бы, я предложил бы руку и сердце ее кузине, так как не в наших правилах думать о приданом.

Из Сони вышла бы почти столь же прекрасная жена, как Кити, если бы муж ее был достоин хорошей жены и не был разрушителем своего домашнего очага.

Да, граф, ваши персонажи для меня — живые, настоящие люди, такие же, как и вы сами, и составляют столь же неотъемлемую часть русской жизни. За последние годы вы, Достоевский и Гоголь населили то пространство, которое раньше было для меня безлюдной пустыней, отмеченной лишь географическими названиями.

Приехав теперь в Россию, я стал бы разыскивать Наташу, Соню, Анну, Пьера и Левина с большей уверенностью, что встречусь с ними, чем с русским царем. И если бы мне сказали, что они умерли, я очень огорчился бы и сказал: «Как? Все?»

Почему все русские романисты пишут так искренно и правдиво? В литературе до сих пор не было ничего похожего, если не считать произведений малоизвестного Стендаля. Случаен ли реализм в России? Или он проистекает из каких-то особенностей национального характера? Я долго ломал себе голову над этим вопросом, но так и не смог найти ответа.

Поверьте, граф, я считаю серьезным пробелом в моей жизни то, что только недавно смог ознакомиться с вашими произведениями.

Да пребудет с вами Всевышний и да укажет Он России истинный путь! Россия бесспорно нуждается в этом, вследствие искушений, возникающих в результате ее силы и ее будущего, несомненно исполненного громадной ответственности.

Имею честь засвидетельствовать вам, граф, свое почтение. Ваш покорный слуга

Джон У. де Ф о р е с т, бывший майор США

P. S. Адрес на конверте сообщен мне издательством, публикующим переводы с русского. Я, конечно, не могу прочесть в этом адресе ни одного слова, остается лишь надеяться, что он верен [7].

Характерно для читательского восприятия суждение о героях романа как о живых людях, с которыми возможна встреча в жизни. Эту мысль с тонким юмором развивал Форест. С еще большей отчетливостью и непосредственностью она выражена в письме Юнис *Лоррен* из Южной Австралии, написанном тоже в 1887 г.

Толстой в разговоре с американским журналистом Дж. Кеннаном заявлял, что те, кто судит о нем по его романам, «совсем не знают его» (см. стр. 417 настоящ. тома). Лоррен, познакомившись с очерком Кеннана «Поездка к Льву Толстому», не согласилась с выводами Толстого и отстаивала перед автором достоинства его романов.

Нам ничего не известно о Лоррен, кроме того, что она жила в Аделаиде, в Южной Австралии, и сумела с замечательной искренностью выразить свои чувства, вызванные чтением книг Толстого. Ее письмо принадлежит к числу тех свидетельств, которые позволяют понять, чем был дорог Толстой для своих современников.

Перевод с английского

Аделаида. Ю⟨жная⟩ Австралия.
7 августа 1887 г.

Дорогой граф!

Я не успокоюсь, пока не поблагодарю вас за то огромное наслаждение, которое доставил мне ваш роман «Война и мир». Благодаря ему русские люди XIX века ожили для меня. Я собственными глазами увидела битву с Наполеоном; у меня такое чувство, будто я лично знакома с князем Андреем и Николаем Ростовым, с милой Наташей и Марьей Болконской, этой настоящей святой. Образ княжны Марьи заставил меня понять, как прекрасна доброта — ничего подобного я еще не встречала в художественной литературе.

Все эти люди стали для меня близкими друзьями, и я просто не в состоянии с ними расстаться.

Спасаясь от мелочных забот и трудов, составляющих жизнь женщины, я то и дело возвращаюсь к созданным вами страницам, чтобы соприкос-

нуться с той великой, грандиозной битвой, которую ведут великие умы и народы, ищущие свободы и правды.

Я читала рассказ одного американца о том, как он посетил вас в вашем имении. Вы сказали ему, что он вас совсем не знает, если прочел только ваши романы. О, нет! Я чувствую, что хоть немного знаю вас, поскольку имею возможность с любовью и вниманием следить за вашими мыслями и идеями на стольких страницах.

Как благородна, как превосходна та статья, которой вы разъясняете, почему именно жизнь ваша кажется непоследовательной по отношению к вашему учению.

Конечно, мысли и стремления каждого человека должны быть благороднее, чем его образ жизни; ведь к идеалу совершенства мы можем только стремиться. Но было бы непростительной слабостью отказаться от достижения высокого идеала только потому, что мы сознаем невозможным достичь его в жизни.

Как вы мне помогали во многих случаях, граф! Благодарю вас тысячу раз!

Далеко, далеко, здесь, в Австралии, слабая женщина, благодаря вашему учению, становится лучше. Она любит вас и благоговеет перед вашей великой душой за эту помощь.

«В чем моя вера» — это еще одна книга, которая даст мне наслаждение, послужит поддержкой и наставлением к более мужественной, чистой, христианской жизни.

Как справедливо ваше суждение о том, что различие в национальности и климате — ничто; здесь, в самой далекой южной точке цивилизованного мира, души людей имеют те же потребности, испытывают те же трудности и те же стремления, что и Пьер, Андрей Болконский или княжна Марья у себя на холодном Севере при совершенно другом правлении.

Целую с благоговением ваши руки
Юнис Л о р р е н

На конверте: Via Naples.
Count Leo Tolstoi near Yasnaya Polyana.
Tula. Russia.

Кажется, нет ничего более банального, чем утверждение, что художник открывает перед нами «целый мир, неведомый и прекрасный». И нет мысли, которая так часто, как эта, повторялась бы в письмах читателей к Толстому. Ее высказывали в разные годы разные люди с таким энтузиазмом, как будто они сами впервые открыли эту истину и спешили сообщить о ней художнику.

Важно и то, что роман воспринимался и оценивался читателями не отвлеченно, а всегда в связи с теми или иными событиями общественной жизни или личной биографии автора письма. Так, читательница Мери *Тейер* из США писала Толстому, что роман «Война и мир» не только «открыл перед ней целый мир», но и послужил ей нравственной опорой в дни англо-бурской войны.

Перевод с английского

Монэднок. Нью-Гэмпшир. 2 августа 1900 г.

Графу Л. Н. Толстому

Глубокоуважаемый сэр!

Прочитав, что вы удивлены тем, как мало американцы сочувствуют бурам, я решаюсь послать вам брошюру с данными анкетного опроса по этому поводу. И хотя большинство из нас полностью на стороне бу-

ров, мы, к стыду нашему, позволяем правительству и газетам погрязать в соображениях материального блага или того, что этим благом считается.

Наше теперешнее правительство, виновное в том же преступлении на Филиппинах, что и Англия — в Южной Африке, не смеет обвинять Англию. В самом деле, положение более чем унизительное!

Надеюсь от всего сердца, что вы всё еще верите: буры, в конце концов, победят. Ибо я чувствую, что вы понимаете лучше всех, чем решается судьба народов.

Насколько мне известно, очень немногие еще надеются на победу буров. Но и весьма немногие умеют смотреть в глубь вещей и понимают, как много значит нравственная сила. Много энергии тратится понапрасну, с единственной целью доказать, что буры находятся на очень низкой ступени и не имеют права на свободу. Как будто существуют лучшие доказательства человеческой ценности и достоинства, чем та высочайшая, героическая решимость, которую проявляют буры. Как будто цивилизация может предъявить что-либо более высокое и драгоценное, чем самоотверженность этих людей!

Не могу удержаться, чтобы не сказать вам, как много значит для меня ваша книга «Война и мир», хотя я и читала ее только в английском и немецком переводах. Она для меня выше всех известных мне книг. Это целый мир, в ней есть все, чего жаждет душа человеческая. Я никогда с ней не расстаюсь. Особенной поддержкой явилась она для меня в последние месяцы, когда началась англо-бурская война. Она открыла нам многое относительно таких вот столкновений.

Надеюсь скоро прочесть последнее ваше произведение, известное здесь под заглавием «Воскресение».

Посылаю вам еще одну-две брошюрки, кроме той, о которой упоминала выше, хотя вполне возможно, что вы уже читали их.

Я написала письмо на машинке, чтобы не затруднять вас своим дурным почерком.

С благодарностью всегда ваша
мисс Мери Т е й е р

На конверте: Count L. N. Tolstoï.
Selo Jasnaya Polyana.
Government of Tula. Russia.

В 1901 г. к Толстому обратился писатель и профессор Пизанского университета Алессандро *д'Анкона* с вопросом о том, кто был прототипом аббата Морио в «Войне и мире»:

Перевод с французского

Пиза. 3 ноября 1901 г.

Милостивый государь!

С моей стороны, конечно, большая дерзость просить у вас разъяснений относительно одного из ваших персонажей, которого вы пожелали оставить нераскрытым. Но братское чувство, объединяющее писателей, побудило меня предпринять этот шаг и послужит мне извинением за смелость, с которой я к вам обращаюсь.

Я довольно значительное время занимаюсь изучением биографии аббата Пьятоли, который играл довольно важную роль в политической жизни Польши и России конца XVIII века. Читая ваш прославленный роман «Война и мир», я узнал, мне кажется, своего соотечественника в аббате Морио, о котором вы неоднократно упоминаете. Сходство настолько поразительно, что я не сомневаюсь в правильности своей догадки. Но вы

премного меня обяжете, если соблаговолите подтвердить истинность моего предположения.

Заранее бесконечно благодарен вам за ответ, который надеюсь получить.

Желаю, чтобы хороший климат и отдых помогли восстановлению вашего здоровья, пошатнувшегося от усиленной умственной и физической работы.

С глубочайшим уважением
ваш Алессандро д' Анкона

Из университета в Пизе.

На конверте: M-r le c-te Léon Tolstoï.
Villa de la comtesse Panine à Yalta.
Station Koréiz. Crimée. Russie.

Письмо осталось без ответа. Но профессор Анкона был прав. В черновиках романа названо настоящее имя аббата: «В Петербурге жил в то время известный изгнанник Abbé Piatoli» (т. 13, стр. 176). Там же дана и его характеристика: «Экс-аббат, как и все маниаки, видимо оживленный страстным вниманием Pierre'a, в тысячный раз, без малейшей скуки, рассказывал весь свой план переустройства Европы, тот самый, который через Чарторыйского был подаваем государю» (там же, стр. 194).

Интерес к прототипам был показателем пристального внимания к роману, который все чаще становился предметом исследования историков. И в этом также проявлялось признание Толстого как художника и мыслителя.

Пьятоли, итальянец по происхождению, был приближенным польского короля Станислава. Его подозревали в «якобинстве» [8].

В 1800 г. Пьятоли переселился в Петербург. Здесь он встретился со своим воспитанником А. Чарторыйским и через его посредничество решил представить Александру I «проект вечного мира», основанный на «экилибре сил», т. е. на «равновесии сил».

Проект аббата Пьятоли был характернейшим явлением александровских времен, изобиловавших проектами. Сведения о нем Толстой мог почерпнуть в книге А. Тьера «Histoire du Consulat et de l'Empire» («История Консульства и Империи»).

«Он принадлежал к тем деятельным умам, которые, не имея возможности, в силу незначительности занимаемого ими положения, приблизиться к управлению государством,— писал Тьер,— носятся с планами, химерическими, но не всегда достойными пренебрежения» [9].

Профессор д'Анкона, не получив ответа от Толстого, счел, что его письмо не дошло по назначению и обратился за помощью к известному ученому Алексею Николаевичу Веселовскому.

Веселовский в письме от 8 января 1902 г. писал Толстому: «Один из известнейших итальянских ученых историк литературы Алессандро д'Анкона (профессор в Пизе), разузнав через меня о вашем адресе, обратился к вам несколько недель тому назад с запросом относительно одной частности в „Войне и мире", которую ему необходимо разъяснить для занимающей его теперь работы. Письмо, вероятно, не дошло — и он окольным путем, через меня, решается возобновить свой вопрос. Он хотел бы знать — „имели ли вы, изображая в своем романе итальянского аббата, скрытого под именем Чезаре, в виду аббата Piatoli, который сначала жил и действовал в Польше, а потом был в Петербурге consigliere imperiale*" ‹...›

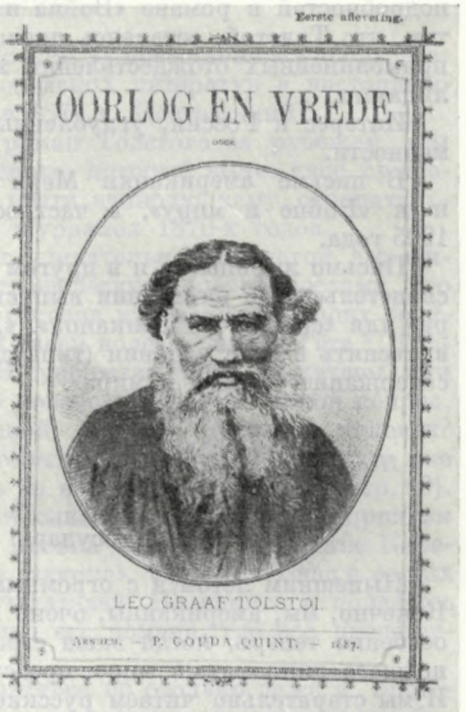
---

* императорским советником (итал.).— *Ред.*

«ВОЙНА И МИР». ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ НА ГОЛЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ (АРНЕМ, 1887)

Обложка

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»



В „Войне и мире“ мне памятен не аббат Чезаре, а аббат Morio, который в начале романа возбуждает в петербургском большом свете интерес своим проектом вечного мира. Не о нем ли идет речь?» [10]

Толстой ответил Веселовскому 18 января 1902 г. из Гаспры: «Я решительно не помню, из каких источников я почерпнул сведения об аббате; помню только, что я где-то вычитал о посещении Петербурга таким аббатом, но ни имени его, ни подробностей о нем не помню».

В этом же письме Толстой упомянул и об итальянском ученом: «От г-на д'Анкона я письмо получил во время болезни и забыл. Сейчас оно нашлось. Дурно пишу, потому что болен и в постели».

Ответ Толстого Веселовский сообщил д'Анкона.

В 1915 г. д'Анкона выпустил во Флоренции книгу «Scipione Piatoli e la Polonia» («Шипионе Пьятоли и Польша»), в которой несколько страниц посвятил аббату Морио из «Войны и мира».

В 1957 г. в Риме вышла книга Берти «Russia e Stati Italiani nel Risorgimento» («Россия и итальянские государства в период Рисорджименто»), в которой говорится: «С необыкновенной исторической прозорливостью описывает Толстой на первых страницах „Войны и мира“ обсуждение в русских салонах результатов миссии Новосильцева в Лондоне; по мнению Толстого, началась целая историческая эпоха, которая должна была завершиться столкновением в 1812 году. В образе итальянского аббата Морио („глубокий ум“, первый толстовский образ на этом широком литературном полотне, которого Толстой представляет как раз в связи с миссией Новосильцева поборником системы постоянного мира) Толстой изобразил флорентийца Шипионе Пьятоли, как это верно отметил д'Анкона» [11].

Переписка о прототипе аббата Морио интересна в том отношении, что она, во-первых, указывает на чрезвычайную точность исторических

подробностей в романе «Война и мир», а во-вторых, свидетельствует о том, что Толстой, оставаясь прежде всего художником, избегал слишком прямолинейных отождествлений художественных типов с историческими лицами.

Интерес к России, углубленный «Войной и миром», касался и современности.

В письме американки Мери Л. *Кристенсен* интерес к Толстому и к «Войне и миру», в частности, объяснялся событиями революции 1905 года.

Письмо любопытно и в другом отношении — как первое известное нам свидетельство о намерении выпустить упрощенное издание «Войны и мира» для «среднего американца». «Дивная история Наташи» должна была вытеснить в этом издании (типа современного «дайджеста») все остальное содержание «Войны и мира».

Перевод с английского

Хаустон. Техас. 25 сентября 1905 г.

Милостивый государь!

Нынешним летом я с огромным наслаждением прочла «Войну и мир». Конечно, мы, американцы, очень интересуемся всем, что касается России, особенно теперь, когда ваша страна благодаря усилиям г. Витте, крупнейшего дипломата в мире, предстает перед всеми как великая держава. И мы старательно читаем русские книги, выискивая все, что возможно, о русском народе.

Но у многих не найдется времени и — увы! — желания прочесть все исторические подробности «Войны и мира», тогда как дивную историю Наташи они бы с удовольствием прочли.

Хоть я и знаю, что это одна из ваших ранних книг и вы ею не так довольны, как вашими последними произведениями, все же роман Наташи — чистый, непорочный, увлекательный.

И вот я пишу вам, чтобы спросить: не разрешите ли вы мне переделать его так, чтобы он пришелся по вкусу моим соотечественникам?

Конечно, я вовсе не намерена менять текст вашего произведения, я только сделаю кое-какие пропуски, сокращу его так, чтобы осталось как можно меньше подробностей, не относящихся к истории Наташи. И в таком виде представлю его на ваше рассмотрение, чтобы вы решили, как лучше с ним поступить.

Миссис Мери Л. Кристенсен

Mrs Mary L. Christensen. 2400, Bagly Street.
Houston. Texas. U. S. A.

На конверте: Count L. N. Tolstoi.
St. Petersburg. Russia. Europe.

Толстой не ответил на это письмо, как, впрочем, не ответил он ни на одно из писем, приведенных в этой главе.

Критическая литература о «Войне и мире» огромна. Но сколь ни значительны сами по себе отзывы известных писателей, критиков и общественных деятелей, письма читателей разных стран должны занять свое место в ряду свидетельств современников о мировом значении великого романа.

3. «АННА КАРЕНИНА»

«„Анна Каренина“ есть совершенство как художественное произведение, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться»...— писал в 1877 г. Достоевский [1].

Чем бóльшую известность получал роман Толстого за рубежом, тем очевиднее становилась правота Достоевского, который вынес свое суждение об «Анне Карениной» в противовес почти единодушному отрицательному мнению, высказанному в русских журналах 1870-х годов.

В этом великом социальном романе с удивительной полнотой выразилась личность автора со многими биографическими подробностями его жизни. «Каждый писатель до известной степени изображает в своих сочинениях самого себя, часто даже вопреки своей воле»,— писал Гёте [2]. Толстой по-своему выразил ту же мысль: «В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: „Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?“» (т. 30, стр. 19).

В этом рассуждении сформулирован один из «законов» восприятия искусства, имеющий общее значение. И письма читателей об «Анне Карениной» являются подтверждением этого «закона». «Я люблю вас в ваших творениях»,— писал Толстому один из читателей. Но понять и полюбить Толстого — значит войти в огромный мир его романа, где все представляется достоверным, как сама жизнь.

Именно эта достоверность вызвала интерес не столько даже к прототипам, сколько к самой проблеме отражения действительных лиц и событий в романе. Юная читательница из Чикаго Хульда Б. *Блум* спрашивала у Толстого, действительно ли существовала в жизни Анна Каренина?

Перевод с английского

Чикаго. 13 января 1895 г.

Графу Толстому

Милостивый государь!

Я с таким наслаждением прочла вашу прелестную книгу «Анна Каренина», что не могу удержаться и не написать ее автору, чтобы спросить, является ли Анна только плодом вашего воображения или же существовала в действительности?

Она так заинтересовала меня, со всеми даже ее недостатками, что я много расспрашивала о ней. Никто не мог мне сказать, существовала она или нет. Некоторые утверждают, будто это целиком вымышленный образ, однако не могут ничем этого подтвердить.

Один из моих друзей посоветовал написать автору для получения желаемых сведений. Мысль эта меня не оставляла, но казалась мне слишком дерзкой. Наконец я набралась смелости написать, потому что подумала: если вы узнаете, как мне понравилось читать об Анне Карениной в вашей замечательной книге и как мне хочется узнать о ней побольше, то очень возможно, что сообщите мне необходимые сведения и простите дерзость, с которой я обращаюсь к вам.

Надеюсь, вы извините меня за это длинное письмо.

Школьница — почитательница ваша — шлет вам наилучшие пожелания.

С почтением Хульда Б. Блум

3672 Michigan Ave
Chicago, Ill. U. S. A.

На конверте: Count Tolstoi.
Jasnaya Polyana, Province of Tula. Russia.

По-видимому, Хульда Блум не сомневалась в том, что Анна Каренина – живое лицо. Наивное письмо чикагской школьницы было одним из отголосков тех бурных споров и об авторе, и о героях, и об идеалах, которые пробуждал роман Толстого не только в России, но и за рубежом.

Эти споры часто выходили за пределы литературных интересов. Американский врач Х. Стерлинг *Помрой*, автор книги «Этика брака», воспринял «Анну Каренину» не только как «сильное» художественное произведение, но и как «учение о справедливости».

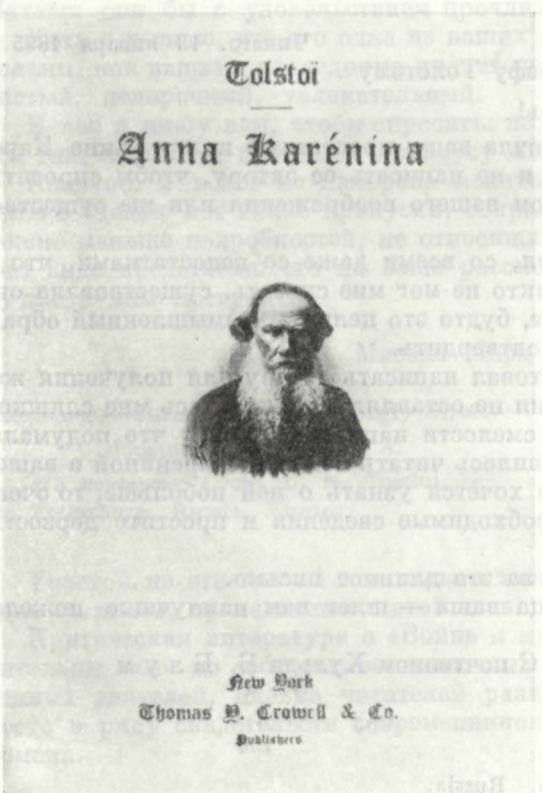
Перевод с английского

Бостон. США, 11 октября 1898 г.
University Club. 270, Beacon Street.

Глубокоуважаемый, дорогой сэр!

Много лет назад, когда появился первый перевод «Анны Карениной» на английский язык, один из моих друзей подарил мне эту книгу. Я врач, занятый и утомленный своей работой, и потому не имел ни времени, ни сил прочитать этот роман. О вашей книге много спорили, а некоторые даже сурово осуждали ее. Один из моих коллег-врачей, прочитавший ее, сказал мне однажды: «Толстой написал с точки зрения романиста то же самое, что написали вы в книге „Этика брака“ с точки зрения врача».

С тех пор мне захотелось прочитать ваш роман, но прошли годы, а я так и не мог этого сделать. Тем временем моя жена прочла книгу и не знала, как к ней отнестись. Она прочитала мне ее вслух, и мы оба пришли


Tolstoi

Anna Karénina

New York
Thomas Y. Crowell & Co.
Publishers

«АННА КАРЕНИНА». ПЕРВОЕ АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ (НЬЮ-ЙОРК, 1886)
Титульный лист

«АННА КАРЕНИНА». ИЛЛЮСТРАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ХУДОЖНИКА БОЙДА СМИТА

Фронтиспис первого издания романа: T o l s t o ĭ. Anna Karénina. New York, 1886



в восторг. Это сильный, захватывающе интересный роман. Но больше того,— это поразительный урок нравственности. Это могучая проповедь, которую никогда не забудет тот, кто прочтет ее хотя бы один раз. Для виновного она — карающий меч. Мне кажется, что великая сила вашей проповеди заключается в том, что вы пишете от всего сердца, с полной искренностью и сами испытываете глубочайшее отвращение к тем грехам, против которых восстаете.

Каждая строка «Анны Карениной» убеждает нас в том, что порок и его плоды — поистине ужасны, губительны, мерзки.

В этом вы — несомненная и благодатная противоположность многим романистам, которые внушают читателям, что грех сладок, а сами любят его в глубине души.

Беру на себя смелость послать вам сегодня же книжку «Этика брака» и брошюру «Слишком ли плодовит человек?»

По горькому опыту знаю, что тот, кто, указывая людям путь и приходя им на помощь, хотя бы на один шаг опережает своих сотоварищей, должен быть готов встретить непонимание и гонения.

С сочувствием и восхищением,
искренне ваш
Х. Стерлинг П о м р о й

На конверте: To the count Leo Tolstoi, Moscow. Russia.

В романе намечались глубокие перспективы жизни героев, и многие читатели просили рассказать о том, что случилось с этими героями после событий, описанных в романе. Это требование «продолжения» объяснялось еще и тем, что Толстой нередко, например, в «Анне Карениной» и в «Воскресении», обрывал повествование, доведя героя до порога новой жизни. Замысел завершался, сюжет романа был исчерпан, мысль брошена в мир, поскольку он считал своей задачей художника не столько «неоспоримо разрешить вопрос», сколько «заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» (т. 61, стр. 100).

Судья из Соединенных Штатов Уильям Холкомб *Томас* «со всей серьезностью» спрашивал Толстого о том, что стало с Левиным после пережитого им духовного кризиса. Это письмо замечательно как свидетельство огромной силы интеллектуального воздействия искусства Толстого.

Перевод с английского

Монтгомери. США. 29 мая 1904 г.

Дорогой граф!

Я только что прочитал вашу великолепную «Анну Каренину». Глубоко убежден, что устами Левина вы передаете свой жизненный опыт, свои взгляды. Думаю, что когда-нибудь вы поведаете нам об этом.

Можно мне спросить вас со всей серьезностью — будет ли Левин в дальнейшем реже «сердиться на Ивана-кучера», не так «некстати высказывать свои мысли», «обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом»? Сможет ли он яснее объяснить себе зачем «жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться», не будет ли она более «бессмысленна, как была прежде»? Наполнится ли она «несомненным смыслом добра»? Тем смыслом, который дает ей высшая сила.

Поверьте мне, я не собиратель автографов.

Я умоляю простить мне мою навязчивость, но мне хотелось бы узнать от вас о дальнейшей жизни Левина.

Уильям Холкомб Томас, судья

На конверте: Count Lyof Tolstoi.
Moscow (Moskwa). Russia.
Please, forward to his proper address *.

Нельзя было не угадать творца в его творении. Замысел Толстого увлекал мысль вперед — к жизни, и она выходила за пределы книги, искала приложения в действительности. «Искусство есть умение изображать то, что должно быть, то, к чему должны стремиться все люди, то, что дает людям наибольшее благо,— писал Толстой.— Изобразить это можно лишь образами» (т. 52, стр. 147). Эта мысль незримо присутствует во всех произведениях Толстого. В ней заключен один из важнейших уроков великого художника.

Письмо читателя Ганса *Натрука* из Австрии написано в 1904 г. и обращено к Толстому — автору «Анны Карениной» и «Воскресения». Но в нем есть отголоски споров, вызванных «отлучением» Толстого от церкви. Вот почему он защищает Толстого от нападок казенных «патриотов».

Все это имело самый злободневный смысл в дни, когда черносотенцы, шовинисты и фанатики «громили» Толстого как «отступника» и «безбожника». Интересно и то, что Натрук ищет разгадку личности Толстого в Левине, открывая в нем новые черты, вполне объясненные лишь поздним творчеством писателя.

* Перешлите, пожалуйста, по его адресу (англ.).

Перевод с немецкого

Имение Гейбетсборг близ Амштетена.
17 июля 1904 г.

Высокочтимый учитель!

Я читал ваши сочинения с восторгом. Я перечитывал их по три-четыре раза с истинной радостью и восхищением. Благодарю вас, великий учитель, за ту радость, которую вы доставляете своими книгами человечеству!

Какие великолепные романы «Воскресение» и «Анна Каренина», под впечатлением которых я взялся за перо и пишу вам.

Левин! В нем я узнаю вас, человек, достойный удивления!

Если б я мог последовать примеру этого героя, вызывающего во мне такую большую симпатию, в котором я узнаю вас!

Учитель, мы любим вас и вашу несчастную родину во много раз больше, чем «патриоты».

Как прекрасна ваша вера в бога! Вас, пожалуй, можно было бы назвать пантеистом, но ни в коем случае не атеистом. О, как я люблю вас в ваших творениях!

Вы, должно быть, очень хороший человек, Лев Толстой, потому что только хороший человек может мыслить так, как вы!

Должен сказать, что я вас не совсем понимаю. Для меня вы — слишком велики. Но я постараюсь выработать в себе те качества, которые вы называете «нравственностью».

Великий учитель! Примите благодарность за все вами написанное от многих и многих и простите, что я решился беспокоить вас. Но иначе я не мог. Сердце победило рассудок, запрещавший писать вам, всемирно известному писателю.

Ганс Натрук

На конверте: Graf Leo N. Tolstoj,
Jasnaja Polyana bei Tula. Russland.

«Анна Каренина» — роман философский и социальный. Его связи с жизнью сложны и многосторонни. Каждое поколение по-своему «перечитывало» роман Толстого. По мере того как «Анна Каренина» завоевывала признание читателей в разных странах мира, складывалось и общее отношение к книге Толстого, которую Т. Манн назвал «величайшим социальным романом русской и мировой литературы» [3].

4. «ВОСКРЕСЕНИЕ»

«Я не знаю, хорошо или дурно,— но очень пристально занят „Воскресением“,— писал Толстой П. И. Бирюкову в 1898 г.— Многое важно надеюсь высказать» (т. 71, стр. 469).

Чем дальше подвигалась работа, тем яснее становилось Толстому, что этот роман постигнет участь самых резких его публицистических выступлений. В письме к А. Ф. Марксу, издателю журнала «Нива», где печаталось «Воскресение», Толстой признавался, что в романе «много мест нецензурных» (т. 71, стр. 481).

И его опасения оправдались. «Прежде всего, конечно, начались придирки со стороны петербургской цензуры,— отмечал Э. Моод в статье «Как Толстой писал „Воскресение“».— Все, что „подкапывало авторитет церкви и государства“ и вообще все, казавшееся опасным цензору, исключалось. Понятно, что третья часть, в которой описывается обращение с арестантами на пути в Сибирь и в самой Сибири, пострадала наиболее.

Но вообще на протяжении всей книги целые главы, страницы и отдельные фразы попали под красный карандаш цензора» [1].

Не лучше обстояло дело и с заграничными изданиями. Невозможно было локализовать значение романа одним указанием на то, что действие происходит в России. Мысли Толстого в равной степени касались всех. И снова над страницами романа замелькали цензорские карандаши.

«Так, например, французский переводчик Визева ⟨...⟩ не довольствуясь полированием простого и прямого стиля Толстого и обращением его в чрезвычайно плавную книжную речь, выбросил описание церковной службы из боязни оскорбить католиков, и нападки на армию из боязни возбудить неудовольствие дрейфусаров», — писал Моод (там же).

Во Франции восприятие романа было обострено «делом Дрейфуса». Это, кстати, доказывает исключительную силу художественного обобщения в романе. Теодор де *Визева* (1862—1917) подробно изложил причины, которые заставили его сделать купюры в «Воскресении».

Эту апологию переводчика Толстому переслал из Женевы *П. И. Бирюков*.

20 февраля 1900 г.

Дорогой Лев Николаевич!

Wyzewa, переводчик «Воскресения» на французский язык, на разные нападки на него в газетах — зачем он сделал некоторые сокращения — написал прилагаемое объяснение для пересылки вам, что я и исполняю.

Целую вас крепко. Получили ли вы мое письмо из Англии?

П. Бирюков

На конверте: Mr. Leon Tolstoy. Moscou.
Льву Николаевичу Толстому,
Хамовнический пер., собственный дом,
Москва.

Вот что говорится в «объяснительном письме» де Визева:

Перевод с французского

Париж, 8 февраля 1900 г.

В «Echo de Paris», для которой я обязался перевести «Воскресение» в точном соответствии с текстом, высланным г. Чертковым, роман был напечатан полностью, если не считать двадцати строк о воинской службе, изъятых в последний момент редакцией газеты, и одной главы из второй части, которую г. Симон также просил меня исключить, так как подписчики жаловались на то, что «Нехлюдов недостаточно занят Масловой».

Позднее, при подготовке к изданию двух первых частей «Воскресения» отдельной книгой, мной были выпущены (помимо пяти-шести строк право, не имеющих значения) только прежние двадцать строк относительно военной службы. Это то, о чем французские читатели, в силу недавних событий, не могут рассуждать хладнокровно.

Под предлогом борьбы с милитаристским духом люди, ныне называющие себя пламенными защитниками армии, позволяли себе чернить офицеров, либо осудивших Дрейфуса, либо противившихся его оправданию.

Таким образом, критика милитаризма, даже самая отвлеченная, и теперь еще не может восприниматься во Франции сама по себе, а будет непременно использована как аргумент в той борьбе, которую две партии ведут между собой.

Пять или шесть журналистов уже писали, что «Воскресение» явно создано под влиянием дела Дрейфуса и что генералы, которых посещал Нехлюдов, списаны с генералов французского генерального штаба.

Впрочем, эти соображения не помешали бы мне напечатать место, о котором идет речь, если б я не опасался, что оно помешает всей книге быть понятой и принести пользу: ибо в настоящее время бессчетное множество французов, свято убежденных в необходимости армии, готово тем не менее поверить в безнравственность суда, в греховность эгоизма и во все те истины христианства, которые этот роман проповедует.

Если бы критика военщины занимала в романе большее место, если бы граф Толстой настаивал на ней, я, конечно, сохранил бы эти двадцать строк. Но так как они единственные и ничем не подкреплены, я счел возможным их удалить, чтоб они не помешали чтению и пониманию всей книги в целом.

То же и в отношении двух глав, где автор описывает службу в тюремной церкви. Я перевел их для «Echo de Paris» дословно. Но мне случалось встречать людей честных, доброжелательных, которые, прочитав эти главы, либо из глубокой религиозности, либо под влиянием первого чувства отказывались читать продолжение. И наоборот: книга без этих глав проникла в католические круги, где, как мне кажется, если и не сможет привести к полному обращению, то, во всяком случае, заставит призадуматься и пробудит христианские чувства.

Некоторые русские дамы, католички по вероисповеданию, прониклись христианским духом романа, и одна из них, защищая правильность утверждений автора о несправедливости любого так называемого правосудия, проявила даже больше ума, чем все свободомыслящие газеты вместе взятые.

Повторяю: если бы эти главы играли в произведении значительную роль (как те, в которых автор говорит о суде, тюрьмах и т. д.), я не стал бы их вычеркивать. Но они занимают всего три странички, а ведь этого достаточно было бы, чтобы оттолкнуть от книги многих, считающих богослужение священным, но, тем не менее, понимающих Евангелие лучше, чем те, кто считает Христа опасным шутником, а графа Толстого — вдохновенным поэтом, запутавшимся в сетях христианской мистики, которую, однако, надо ему простить.

Итак, я сделал эти две купюры исключительно в интересах учения Льва Толстого. Не для того, конечно, чтоб улучшить это учение, но чтоб оно могло оказать воздействие на большее число людей.

И если в остальных двух-трех местах я и опустил десять — двадцать строк, то только потому, что, зная вкусы французского читателя, хотел, чтобы роман соответствовал им как можно больше. Впрочем, этих пропусков немного, и они, право, незначительны. Не думаю, чтоб я сколько-нибудь урезал или же исказил основные мысли автора, как бы радикальны они ни были, как бы ни противоречили они современному мышлению. Наоборот, у меня было лишь одно желание — сохранить толстовский характер книги — и в мыслях, и в стиле, и если перевод мой не буквален, то только потому, что мысль иностранного автора невозможно перевести буквально, не рискуя исказить ее, то есть перевести неточно.

Я старался упростить, сделать более ясным и сильным свой стиль, чтобы создать по-французски нечто равнозначное несравненному стилю графа Толстого. Должно быть, это мне не удалось. Но я по-прежнему считаю, что, сделав это произведение доступным для всех — с точки зрения содержания и языка,— я, тем самым, не только способствовал литературной славе графа Толстого (все французские газеты заявляют в один голос, что он не писал никогда ничего совершеннее «Воскресения», а лично я убежден, что все предыдущие произведения — «Хозяин и работник», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната» — также считались бы «совершенными», будь они переведены хорошим французским языком), но и распространению и внедрению глубокой христианской истины, содержащейся

1899. Heft 3. Preis 50 Pfg. Vierteljährlich (6 Hefte) Preis 3 Mark.

1899

Aus fremden Zungen

Zeitschrift

für die

moderne Erzählungslitteratur

des Auslands.

9. Jahrgang.



Stuttgart und Leipzig

Deutsche Verlags-Anstalt

Preis des Jahrgangs 12 Mark.

Um freundliche Beachtung des Prospektes in diesem Hefte wird gebeten.

ЖУРНАЛ «AUS FREMDEN ZUNGEN», 1899. ЗДЕСЬ БЫЛ НАПЕЧАТАН ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ НЕМЕЦКИХ ПЕРЕВОДОВ «ВОСКРЕСЕНИЯ»

Титульный лист

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

БИБЛИОТЕКА ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Auferstehung.

Roman

von

Graf Leo Tolstoj.

Vom Verfasser autorisierte Uebersetzung aus dem Russischen

von Else Frapan und Wadim Tronin.



Leo Tolstoj.

Motto:

„Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft muß ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug siebenmal?

Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebenzigmal.“

(Evang. Matthäi. XVIII. 21—22)

„Was siehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?“

(Evang. Matthäi. VII. 3.)

„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“

(Joh. Nebenevang. VIII. 7.)

„Der Jünger ist nicht über seinen Meister, wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er vollkommen.“

(Evang. Luc. VI. 40.)

I.

Wie sehr die Menschen sich mühten, nachdem sie ihrer einige Hunderttausend auf einem kleinen Raume angesammelt hatten, die Erde, auf der sie sich drängten, zu verunstalten; wie sehr sie den Boden mit Steinen zurammelten, damit nichts darauf wüchse, wie eifrig sie ihn von jedem hervorbrechenden Gräschen reinigten, wie sehr sie mit Steinkohlen, mit Naphtha dunsteten, wie immer sie die Bäume beschnitten, alle Tiere und Vögel verjagten, der Frühling war Frühling, sogar in der Stadt. Die Sonne wärmte, das neu auflebende Gras wuchs, begrünte sich überall, wo immer man es nicht weggekratzt hatte, nicht nur auf den Rasenstücken der Boulevards, sondern auch zwischen den Steinplatten; Birken, Pappeln, Traubenkirschen ließen ihre klebrigen, duftigen Blätter sich entfalten; die Linden schwellten ihre berstenden Knospen; Dohlen, Spatzen und Tauben bereiteten schon frühlingshaft-fröhlich ihre Nester; Bienen und Fliegen summten, von der Sonne erwärmt, an den Wänden. Fröhlich waren die Pflanzen, die Vögel, die Insekten, die Kinder. Nur die Menschen, die großen erwachsenen Menschen hörten nicht auf, sich und einander zu betrügen und zu quälen. Die Menschen glaubten, daß nicht dieser Frühlingsmorgen heilig und wichtig sei, nicht diese Schönheit der Gotteswelt, die zum Heil aller Wesen gegeben ist, die Schönheit, die zum Frieden, zur Eintracht, zur Liebe geneigt macht, — sondern heilig und wichtig war das, was sie selbst ausgedacht hatten, um übereinander zu herrschen.

So wurde in dem Bureau des Gouvernementsgefängnisses nicht für heilig und wichtig gehalten, daß allen Tieren und Menschen die Rührung und die Freude des Frühlings gegeben ist, sondern für heilig und wichtig ward gehalten, daß abends zuvor ein mit Nummer, Siegel und Ueberschrift versehenes Papier eingegangen war, darüber, daß um neun Uhr

«ВОСКРЕСЕНИЕ». ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДОВ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Страница журнала «Aus fremden Zungen» (1899, № 8) с началом романа
Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

в этом романе, которая, кстати, дорога мне не менее, а, возможно, и более, чем слава человека, выше всех мною почитаемого.

Пишу все это не затем, чтобы поднять цену моему далеко не совершенному переводу, который принес мне к тому же больше денег, чем я мог рассчитывать. Пишу и надеюсь: граф Толстой, прочтя его, поверит, что я приложил все усилия, чтобы быть достойным оказанной мне им чести,— переводить эту изумительную книгу.

Ни по склонностям, ни по профессии — я не переводчик. Но ничто из написанного мною самим не доставило мне такого удовольствия, как работа над переводом «Воскресения». И теперь, когда перевод окончен, мне хочется думать, что автор не заподозрит, будто я предпринял эту работу из какого-либо иного побуждения, кроме желания быть ему полезным.

Т. Визева

Париж. 8 февраля 1900 г.

Апология переводчика написана обдуманно и красноречиво. Стремясь оправдаться перед автором, Визева, по существу, оправдывает купюры, т. е. делает именно то, что никак не могло вызвать сочувствия у Толстого.

Еще в 1895 г. по поводу одной из статей Визева Толстой заметил, что она «очень глупая или хитрая, или и то, и другое вместе» (т. 68, стр. 205). Некоторый оттенок хитроумной лести есть и в оправдательном письме Визева по поводу «Воскресения».

Письмо Визева является и само по себе красноречивым документом той ожесточенной борьбы мнений, которая была вызвана гениальным романом Толстого.

В Германии, в издании Otto Janke было исключено «все оскорбительное для церкви и армии»,— отмечает Моод. Изъятия и купюры не проходили незамеченными. Читатель *Э. Кальб* из Германии, знавший русский язык, сличил подлинник и перевод и, придя к печальным выводам, счел своим долгом сообщить о них Толстому.

Перевод с французского

Франкфурт-на-Майне. 7 ноября 1900 г.

Граф!

Поглощенный чтением вашего «Воскресения», я случайно увидел на столе у жены немецкий перевод этой книги (переводчик L. A. Hauff. Издано в Берлине у Otto Janke) и принялся из любопытства их сравнивать.

Разрешите мне обратить ваше внимание на то, что перевод этот чрезвычайно плох: выпущены целые главы — число их даже не соответствует русскому изданию,— а нравственные рассуждения, с которыми и нам полезно познакомиться, часто совершенно отсутствуют, так что страдает последовательность изложения.

Говорят, что ваши убеждения не позволяют вам ставить какие-либо преграды к изданию ваших произведений: вы разрешаете их переводить любому.

Но, в конце концов, в подобных переводах — это уже больше не настоящее ваше произведение: это просто низкопробный товар, на котором стоит ваше имя.

Хоть я читаю ваши книги по-русски, но, к сожалению, не чувствую себя достаточно сильным в вашем языке, чтобы предложить свои услуги в качестве переводчика. Полагаю, однако, вы должны позаботиться, чтобы книги ваши (идеи, в них изложенные, интересны не только для России,

они зачастую приложимы и у нас, в Германии) не искажались в переводе, а переводились так, как они того заслуживают.

Примите, граф, выражение моего глубочайшего уважения.

Э. Кальб

На конверте: Monsieur le Comte L. N. Tolstoy.
Jasnaja Poljana.
Gouvernement Tula. Russie.

«Характерно,— продолжает свой обзор иностранных изданий «Воскресения» Моод,— что не обошлось без комических эпизодов и в Англии, где также оказались добродетельные господа, нашедшие книгу Толстого «безнравственной». Один почтенный квакер, прочтя сцену падения Катюши, поспешил сжечь книгу 〈...〉 Как известно, в Америке «Воскресение» также потерпело немало в руках лицемерных редакторов. Роман был изуродован исключением мест, говорящих против милитаризма и земельной собственности». Об искажениях в тексте «Воскресения» писал и *Э. Кросби*, посвятивший переводам романа специальную статью в социалистическом журнале «Humanité Nouvelle» (см. об этом ниже в очерке «Эрнест Кросби»).

Американский журнал «Cosmopolitan» подверг текст романа такой «обработке», что Толстой вынужден был написать заявление «В редакции иностранных газет»: «Ввиду искажения, которому подвергся мой роман „Воскресение" в руках редактора „Cosmopolitan" 〈...〉 я вынужден лишить моей авторизации издание этого произведения в том виде, в каком оно появилось на страницах „Cosmopolitan"» (т. 72, стр. 115).

Толстой очень заботился о том, чтобы в руки читателей дать полный текст своих книг.

Полный русский текст «Воскресения» без цензурных купюр был, как известно, выпущен в Лондоне В. Г. Чертковым в 1900 г. «Сим удостоверяю,— писал Толстой в письме „В редакции иностранных газет",— что издание моего романа „Воскресение", в настоящее время выпускаемое в Англии по-русски В. Чертковым, печатается по самой полной, неискаженной цензурой и окончательно исправленной мною версии, которую я ему доставляю для этой цели, равно как и для издания в переводах на различных языках» (там же, стр. 110).

Огромный интерес к роману был вызван не только злободневностью и остротой проблематики, но и психологической правдой современных ситуаций и характеров. Читатели узнавали себя и своих близких в героях Толстого, как суждено всегда находить это сходство читателям всех поколений в великих произведениях литературы.

Так, пражский читатель Толстого *И. Е. Ясно* просил разрешения рассказать в письме к автору «Воскресения» о человеке «нехлюдовского образа мысли». Может быть, он имел тут в виду себя.

Перевод с немецкого

Прага. 24 марта 1901 г.*

Ваше превосходительство!

С тех пор, как я год назад прочел божественно совершенное произведение ваше «Воскресение», мне захотелось написать вашему высокородию. Но до сегодняшнего дня я не решался на такую смелость. Однако тот, кто любит людей, должен обладать также и великим всепрощением.

---

* Датируется по почтовому штемпелю. — *Ред.*

Поэтому осмеливаюсь спросить о том, что лежит у меня на душе: можно ли мне сообщить вам историю жизни одного необыкновенного, очень несчастного человека нехлюдовского образа мыслей?

Его борьба, страдания, его конец не будут напрасны, если вы, кого он так высоко чтил, узнаете о нем.

Благосклонного разрешения на это почтительно просит глубоко преданный

И. Е. Ясно

Praha p. r. Hlavni pošta.

На конверте: A son Excellence
Monsieur le comte Leon N. Tolstoi.
Moscovie. Moskva.

Толстой окончил роман указанием на то, что Нехлюдову открылся новый путь жизни.

«Многие читатели,—замечает П. И. Бирюков,— пораженные и побежденные силой художественного прозрения при чтении этого произведения, были до некоторой степени разочарованы концом романа: „Так все хорошо, глубоко, и вдруг — тексты, и — конец“»[2]. Как известно, этой точки зрения придерживался и Чехов, находивший, что роман окончен «уж очень по-богословски»: «писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия» [3], и Г. Уэллс (см. выше, на стр. 153 настоящ. тома).

Немецкий писатель Иоганнес *Зиберт* писал Толстому о тех вопросах, которые казались ему нерешенными в романе. Он ясно чувствовал, что выражает не только свои личные интересы, но и мысли многих читателей «Воскресения».

Перевод с французского

Берлин. 4 марта 1901 г.
Prinzen Allee, 21.

Граф!

Разрешите мне, прежде всего, засвидетельствовать вам мое глубокое уважение и простите, что я злоупотребляю вашим драгоценным временем.

Эти последние дни я читал ваш роман «Воскресение». Не могу передать вам, какой восторг я испытывал, читая эту книгу. Идея «Воскресения» — удивительна, божественна, и жаль, что в Германии нет писателей, которые шли бы по пути, так благородно начертанному вами.

Не хочу говорить о нескольких бездельниках, которые смеют отрицать красоту этой книги.

Цель моего письма следующая.

Последняя, девяносто девятая, глава вашего романа поставила меня перед загадкой. Я прочел следующую фразу: «И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир». Кончился ли на этом роман? Не думаю. Нужно, чтобы читатель узнал по крайней мере следующее:

1) Что делали крестьяне после раздела земли?
2) Женился ли Нехлюдов на Масловой?
3) Нашел ли он истинное счастье в новой жизни?

Думаю, что на девяносто девятой главе проблема еще не решена. Книга так прекрасна, что я закрыл ее с глубоким благоговением. Обращаюсь к вам теперь со скромным вопросом: будет ли роман продолжаться или вы считаете его законченным на девяносто девятой главе?

Так как я сам писатель, вы понимаете, какой интерес возбуждает во мне этот вопрос. Кроме того, получить несколько строк, написанных вашей рукой, было бы для меня несказанной радостью.

С глубоким уважением остаюсь, граф,
вашим покорным, преданным слугой
Иоганнес Зиберт,
преподаватель в Берлине

На конверте: Monsieur le Comte Léon Tolstoï.
15, Chamownitsheskaja, Moskau.
Russland. Faire suivre en cas d'absence:
Yasnaja Poljana chez Tula.

Надо сказать, что Зиберт несколько опережал события. Цитата, которую он приводит в письме («и он испытал чувство путешественника...») находится в последней главе II части романа (см. т. 32, стр. 361). Роман еще не был окончен, и продолжение следовало.

Горячие споры о «Воскресении» возникали всюду, где читали роман, а читали его повсеместно. Письмо г-жи Анри *Вейе* передает атмосферу таких споров, которые чаще всего касались «будущего» героев романа. Не с такой пунктуальностью, как И. Зиберт, г-жа Вейе ставит тот же вопрос: окончена ли книга?

Перевод с французского

Лозанна. 17 ноября 1901 г.
6, Rue Beau Séjour.

Милостивый государь!

Говорят, вы так добры и снисходительны, что наверное простите смелость молодой швейцарки, которая пишет вам, не будучи лично с вами знакома.

Вчера на одном дружеском обеде мы долго спорили по поводу вашего «Воскресения». Одни утверждали, что вы хотели дать продолжение и вы его напишете, что герой ваш в конце концов сломит щепетильность героини и, женившись на ней, довершит дело ее возрождения и т. д. Другие говорили, что книга окончена и что, кроме того, вы писали ее без всякой предвзятой мысли. Третьи же держались мнения, что этим произведением вы отдаете дань скептицизму нашего века, хотите доказать, что все усилия напрасны, что жизнь делает свое и мы бессильны против обстоятельств.

Как видите, милостивый государь, спор был очень горяч — столь противоположны были точки зрения. И так как в Швейцарии вас любят и восхищаются вами, мы будем счастливы и горды узнать, что́ вы сами думаете об этом и будет ли действительно когда-нибудь написано продолжение «Воскресения»?

Еще раз умоляю вас, милостивый государь, извинить мою смелость.

Если вы соблаговолите мне ответить, мы, мои друзья и я, будем вам бесконечно признательны.

Прошу, милостивый государь, верить в мое искреннее восхищение и уважение.

А. Вейе

Требование «продолжения» было связано и с авторским замыслом, который угадывался в последних строчках романа: «Чем кончится этот новый период его, Нехлюдова, жизни, покажет будущее...»

Письма читателей возвращали Толстого к этому замыслу и требовали исполнения обещания рассказать о том, что стало с Нехлюдовым в будущем. Толстой мечтал написать «крестьянский роман»: «Ужасно хочется



«ВОСКРЕСЕНИЕ» НА СЦЕНЕ ПАРИЖСКОГО ТЕАТРА «ОДЕОН». 1902
Катюша — Берта Бади
Фотография
Bibliothèque de l'Arsenal, Paris

писать художественное, и не драматическое, а эпич⟨еское⟩ продолжение „Воскрес⟨ения⟩“: крестьянск⟨ая⟩ жизнь Нехлюдова» (т. 54, стр. 27). Это продолжение Толстой представлял себе как «вторую часть Нехлюдова». Но замысел романа о «переселяющемся» остался неосуществленным.

Особенно замечательны были письма тех, кто пережил нечто подобное тому, о чем рассказывал роман. Читательница из Йоркшира Мэй *Брэдли* писала об испытанной ею «сладости воскресения», похожей на то воскресение, которое пережила Маслова. Кажется, что Брэдли о многом умалчивает, но письмо ее очень красноречиво.

Перевод с английского

Англия. 14 апреля 1904 г.
Hallgarth. Carper by Aysgarth station R. S. O.

Милостивый государь!

Не представляю себе, как напишу это письмо, ибо чтение вашего «Воскресения» пробудило во мне такое множество мыслей, что мне трудно решить, какая из них побудила меня взяться за перо.

В этих немногих строках я хочу выразить вам свою благодарность и свое благоговение перед вами. Я, женщина, боровшаяся с жизнью всеми силами сердца и разума, понимаю и чувствую, какие могучие уроки извлекает для своей души из «Воскресения» каждый человек.

Хвала господу за то, что вы показали душу Катюши во всей ее бесконечности и красоте; на примере простейших законов природы, пробуждения мертвой почвы весной, вы показали, с какой новой силой может ожить сердце, когда нежный дождь благодати господней нисходит на его детей.

Много, много раз ощущала я сладость этого воскресения, когда соприкасалась с жизнью.

Теперь я больше не отчаиваюсь ни за кого; я вижу весну во многих местах, где раньше и не искала ее.

Бог послал мне вашу книгу, чтоб я могла извлечь из нее живительный урок. Она правдива, правдива до самой сути вещей, и я благодарна вам за нее и всегда буду чтить вас как одного из моих великих наставников.

Чувствую, что, получив столь огромную духовную поддержку от человека, живущего далеко от меня, я не могу не написать ему нескольких слов благодарности.

Да продлит бог вашу драгоценную жизнь, ибо вы имеете глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать! Людям так нужна правда, а ваши книги преисполнены ею.

Нехлюдов и Катюша, рука об руку, представляются мне очаровательной картиной. Я вижу их возвращение в сады эдемские. Шаг за шагом свершают они свой обратный путь. Души их благостны и чисты, благодаря труду, стараниям, вере и любви.

Преданная и почитающая вас
Мэй Б р э д л и

На конверте: Count Tolstoi. Russia.

На протяжении многих лет, уже после того, как закончилась работа над книгой, Толстой получал письма, в которых рассказывалось о дальнейшем развитии намеченных им характеров. Кажется, что некоторые письма как бы написаны самими «героями» Толстого. И если для читателя роман Толстого был именно романом, то для автора это всегда был роман с «продолжением», которое предлагала сама жизнь.

В письмах к Толстому запечатлелись многие важнейшие моменты общественной мысли конца XIX — начала XX в. Социальный смысл романа «Воскресение» — «право справедливости» — студент-юрист из Португалии *А. Б. Брагансо-Перейра* определил как «важнейший урок Толстого».



«ВОСКРЕСЕНИЕ» НА СЦЕНЕ ПАРИЖСКОГО ТЕАТРА «ОДЕОН». 1902
Сцена в тюрьме
Литография неизвестного художника
Bibliothèque de l'Arsenal, Paris

Перевод с французского

Коимбра. Португалия, 28 августа 1906 г.
Rua de Cosme, 3.

Учитель!

Прошу вас, прочтите эти строки. Они написаны самым скромным почитателем вашего гения.

Я студент-правовед. В университете я изучаю право силы, право власть имущих. Из ваших книг я узнал истинное право — право справедливости.

Я почел бы за счастье иметь роман «Воскресение» с вашим автографом, потому что это произведение пробудило во мне целый мир новых идей.

Извините великодушно за эту просьбу.

Учитель, примите уверения в совершенном почтении от того, кто имеет честь быть вашим верным слугой.

А. Б. Брагансо-Перейра

На конверте: Monsieur le Comte Léon Tolstoï.
Jasnaja Poljana. Russie.

Если с «Войной и миром» и «Анной Карениной» зарубежные читатели знакомились через много лет после того как они были написаны, то «Воскресение» — это был в полном смысле современный роман, создававшийся «у всех на глазах». Не удивительно, что эта книга вызвала огромную литературу и весьма обильную почту как в России, так и за рубежом.

«Воскресение» читали во всех странах. Читали и в «высших сферах», и в народе,— и всюду оно пробуждало мысли и страсти, сливаясь со спорами о государстве и церкви, собственности и семье, революции и народе... «Мы 〈...〉 следили *издалека*, но с таким горячим участием 〈...〉, — писал Толстому французский ученый и переводчик Шарль *Саломон*,— за громадным, неоспоримым успехом „Воскресения". Благодаря своей красоте, эта книга заставила проникнуть (я не говорю — воспринять) в известные круги те мысли, которые никогда не проникли бы туда иным путем» (т. 72, стр. 414).

5. «ОДНА ИЗ ВАШИХ УЧЕНИЦ...»

В 1897 г., в ту пору начинающая, а впоследствии известная итальянская писательница, Грация *Деледда* обратилась к Толстому с просьбой прочесть в рукописи или в гранках ее роман «Правосудие». Она просила Толстого сообщить ей «чистосердечное мнение» об этой книге.

Деледда в письме к Толстому говорила о двух своих уже опубликованных романах: «Anime Oneste» («Честные души») и «La Via del Male» («Путь зла»). Она называла Толстого своим учителем и ссылалась на мнение итальянской критики, которая находила сходство между ее книгами и русским романом.

Перевод с итальянского

Нуоро, 29 апреля 1897 г.

Учитель!

Среди бесчисленных голосов, которые, наверно, ежедневно долетают до вас отовсюду, услышьте и мой, несущийся к вам с зеленых холмов несчастной, прекрасной, дикой Сардинии.

Не без душевного трепета пишу я эти строки, думая, что они будут прочитаны вами, что их коснется рука, написавшая «Войну и мир». Но вы — сама прямота и искренность — не подумайте, что этими словами я пытаюсь льстить вам.

Вы, учитель, олицетворение правды, апостол молодежи на Западе, молодежи, которая стремится к справедливости, истине и красоте, не подумайте, что одна из ваших учениц, самая нелюдимая, самая дикая, но может быть, и самая искренняя, способна прибегать к каким-то уловкам, пытаясь показаться вам иной, чем она есть на самом деле, лишь бы привлечь ваше внимание. Поверьте, что я преклоняюсь перед вами и особенно люблю вас как художника. Я прочла почти все ваши художественные произведения и многие из других ваших работ. Многие ваши идеи я разделяю, следую им, провожу их в жизнь.

Я еще очень молода. Я гражданка Сардинии, писательница. Родилась в Италии. Цель моего творчества — показать миру великую, удивительную, никому не ведомую душу Сардинии.

В моем романе «Честные души» я попыталась доказать, что, только работая на земле, обитатели острова добьются счастливого, честного существования. Я следовала вашему учению о земледельческом труде, проведение которого в жизнь восстановило бы мощь и величие Сардинии.

В другом, только что вышедшем романе «Путь зла» я описала жизнь одного сардинца, его ошибки — следствие обычных для нашего острова увлечений и страстей, и суровое искупление этих ошибок.

Оба романа вызвали немало откликов в печати. Критика отметила внутреннее сходство между ними и русскими романами. Говорили, что Сардиния и ее обитатели имеют нечто общее с судьбой и бытом великого русского народа. Это замечание очень поразило меня, потому что, хотя я и восхищаюсь русским искусством, я никогда ему не подражала.

Русский автор, с которым меня пытаются сравнивать,— Тургенев. А между тем, из всех произведений Тургенева я читала только рассказы, да и то так давно, что не особенно хорошо помню их. Поэтому меня одолевают сомнения: может быть, сходство между моими и русскими романами вызвано просто отдаленным и смутным сходством между характером и бытом наших народов? И вот мне пришла мысль отдать на ваш суд мою новую работу и узнать, существует ли действительное сходство, о котором говорят критики? Новый роман, который я пишу, называется «Правосудие». В нем идет речь об одном сардинском провинциальном дворянине. Это человек неплохой, неиспорченный, но безвольный и в то же время необузданный. Он убеждается на личном опыте, что правосудие может ошибаться и выносить неправильные приговоры. Тем не менее, по мотивам личной мести и повинуясь своему необузданному темпераменту, он предает в руки правосудия заведомо невинного человека, ошибочно приговариваемого к пожизненному заключению. В связи с развитием сюжета я развертываю картины жизни, нравов и обычаев сельского населения Сардинии.

Учитель! Вы при всем вашем величии такой добрый, скромный. Не окажете ли вы мне милость прочесть роман до выхода его в свет и написать мне ваше чистосердечное мнение, особенно с точки зрения сходства между жизнью обитателей Сардинии и русского народа? Этот ваш отзыв будет затем напечатан как предисловие к роману.

Если вас затруднит чтение моего романа в рукописи, то вам будут присланы гранки. Сделаем так? Мне хотелось бы, чтобы вы прочли и первые мои два романа, но боюсь слишком вас обременять. Ваша великая жизнь безраздельно отдана служению добру, и, конечно, недопустимо отрывать вас хоть на миг от вашей благородной светлой деятельности.

Я еще молода. У меня много мужества, веры в жизнь, много надежд. Мое представление о жизни высоко. Я верю в добро и еще более в истину.

Народ, среди которого я живу, глубоко несчастен, и я хотела бы немного помочь ему своими произведениями. Но я люблю и все человечество и желала бы так же, как и вы, вместе с вами увидеть возрождение общества под знаком мира, безыскусственности и первобытной чистоты.

Учитель! Если я прошу слишком многого, то хотя бы подумайте обо мне и благословите меня. Не считайте меня недостойной этого: моя юность одинока и чиста, а во мне есть то хорошее, что сохранилось еще в народах, не тронутых цивилизацией. Я счастлива и горда, что могу это сказать.

Напишите мне хоть одно слово, и оно укрепит мои мечты и светлые идеалы.

Буду счастлива хотя бы узнать, что эти строки прочитаны вами и что на миг мысль великого правдолюбивого апостола коснулась его маленькой далекой ученицы.

Желаю вам всего лучшего, о чем вы мечтаете для себя и для всех братьев на земном шаре.

Грация Деледда

Толстой не ответил на это письмо. Роман «Правосудие» в следующем, 1898 г. был опубликован в Турине [1].

Обращает на себя внимание некоторое сходство сюжета в романе Деледда «Правосудие» и в романе Толстого «Воскресение», написанном два года спустя.

Стефано Арка, герой романа Деледда,— провинциальный помещик, образованный и гуманный, но, как она сама его характеризует, «безвольный и в то же время необузданный». Ему довелось быть участником сессии окружного суда в Сардинии. В качестве присяжного заседателя он получил возможность познакомиться с нравами и бытом судейских чиновников. «Он был уверен, что человеческое правосудие заблуждается в своих приговорах» [2].

«Чистые чувства человечности и социального равенства, высокие теории правосудия» [3] уже открывались перед Стефано Арка, но предрассудки, усвоенные с детства, сделали свое дело. Он поддался личному чувству и отдал в руки полицейских человека, который и был осужден без вины.

Между романами «Воскресение» и «Правосудие» нет никаких прямых связей. И в этом отношении особый смысл приобретает замечание Деледда: «Может быть, сходство между моими и русскими романами вызвано просто отдаленным и смутным сходством между характером и бытом наших народов?»

Одно из произведений Деледда — «Сентиментальная новелла» — объясняет, в чем она усматривала это «отдаленное сходство». Серафино, герой новеллы, отбывает воинскую повинность. «Он читал Толстого,— пишет Деледда,— и каждый раз, как ему приходилось стоять на часах, он с горечью спрашивал себя, кто заставляет его делать это? Зачем он слепо повинуется нерассуждающей силе?» [4]

Пост Серафино был у тюрьмы. Он написал повесть о самом себе, о солдате, который помог заключенному вырваться на волю. Серафино прочитал эту повесть одному из своих товарищей, который сказал ему: «Можно подумать, что это русская повесть!» Особенно поразила его сцена, где солдат-часовой читает в глазах заключенного укор своей совести: «Я брат твой!» На это Серафино возразил: «Почему непременно русская? Неужели ты думаешь, что это не могло случиться хоть со мной?»

Письмо и сочинения Деледда имеют важное значение для правильного понимания сложной проблемы творческих связей и творческого влияния Толстого на писателей-современников. Плодотворность этого влияния определяется не внешним воздействием писательского мастерства, а новым пониманием современного и жизненного материала.

Деледда на протяжении всего своего творческого развития сохраняла глубокое уважение к Толстому, о чем свидетельствует и ее отклик на смерть писателя — статья «Последний путь», публикуемая в первом разделе настоящего тома.

III

В ПОИСКАХ НОВОГО ТЕАТРА

1. АНДРЕ АНТУАН

«Актеры, желающие сыграть роль независимо от условностей и банальных формул драматического кодекса,— Свободный театр открыт для вас!» — писал в 1888 г. французский писатель А. Сеар в газете «Vie Populaire».

Во главе Свободного театра стоял выдающийся режиссер Андре *Антуан* (1858—1943). Главной своей целью он считал преодоление сценической и театральной рутины. Ему нужен был новый репертуар. Антуан был «безусловным защитником сценической простоты и естественности», он стремился «приблизить общий склад игры во всех ее смыслах к впечатлениям реальной жизни» [1].

Триумф Свободного театра связан с постановкой пьесы Толстого «Власть тьмы». «В газетах напечатана на этих днях,— записывал 6 февраля 1888 г. Антуан в дневнике,— интересная анкета по поводу „Власти тьмы", появление которой вызывает у нас напряженное любопытство» [2]. Некоторые из наиболее характерных отзывов о пьесе Толстого Антуан приводит в своем дневнике.

Александр Дюма-сын писал: «С точки зрения нашей французской сцены я не думаю, чтобы постановка пьесы Толстого была возможна. Она слишком мрачна; ни одно из действующих лиц не вызывает симпатии, а язык, которым говорит, например, Аким, был бы у нас совершенно непонятен». Известный драматург В. Сарду также сомневался в успехе постановки: «Это жестоко реально и прекрасно; но пьеса создана для того, чтобы ее читали, а не смотрели, и, по моему мнению, играть ее нельзя. Всякая попытка сделать эту пьесу пригодной для театра приведет к тому, что ее испортят без всякой выгоды для нее».

Не менее решительно высказался и драматург Э. Ожье: «Это не столько пьеса, сколько роман в диалогах, длина которых была бы нестерпима на французской сцене».

Антуан продолжал свою работу. Наконец, пришел день премьеры. «Воскресенье. 12 февраля 1888 года. Спектакль „Власть тьмы" был настоящим триумфом,— записывал Антуан в дневнике,— признают, что пьеса Толстого — настоящий шедевр. Лучших и более веских отзывов прессы нельзя и придумать. Г-н де Вогюэ сказал мне в полном восхищении, что напишет статью...»

Вскоре появилась и статья М. де Вогюэ, в которой говорилось о премьере Свободного театра: «Это было сражение при Аустерлице, когда после заключительной сцены занавес опустился среди бури восхищений. Публика неистовствовала. Я не заметил никакого протеста или сомнения в течение четырех часов. Всякий раз, когда я брал под сомнение тонкость нашей французской молодежи, ее способность воспринимать даже наиболее полярные нашим вкусам произведения, я жестоко ошибался».

Это была первая постановка пьесы Толстого на сцене. (В России она была разрешена к представлению только в 1896 г.) Антуан прислал Толстому целый пакет газетных вырезок — рецензии на спектакль Свободного театра. «Некоторые из них Толстой читал вслух и был, видимо, доволен ими»,— вспоминает Г. А. Русанов [3].

Воспоминания о триумфальном начале Свободного театра Антуан сохранил на всю жизнь. В 1897 г. он посетил Россию. Мысль о возможности встретиться с Толстым не покидала его. И он написал письмо с просьбой разрешить ему явиться с визитом [4].

Перевод с французского

Москва, 12 ⟨февраля 1897 г.⟩

Учитель!

Боясь обеспокоить вас, я со дня на день откладывал исполнение намерения, которое лелеял с самого своего приезда в Москву. Я уже давно решил, что непременно попрошу дозволения посетить вас, если мне случится когда-либо побывать в России, чтобы выразить то чувство глубочайшего восхищения, которое я и мои друзья испытываем к вам.

Сегодня, накануне отъезда (в пятницу я покидаю Москву), думаю о том, какие горькие сожаления будут меня преследовать, если я уеду, не повидавшись с автором «Власти тьмы» — одного из самых прославленных спектаклей бедного моего Свободного театра. И потому решаюсь просить вас удостоить меня пятиминутной аудиенции.

Простите мою дерзость, учитель, и примите почтительные уверения в самом искреннем и глубоком уважении.

А. Антуан

Гостиница «Континенталь», Москва.

На конверте: Его сиятельству
графу Льву Николаев⟨ичу⟩ Толстому.
Хамовнический переулок, собств⟨енный⟩ дом.
Здесь.

Но Толстой еще 7 февраля уехал в Петербург и возвратился в Москву только 16 февраля. Встреча Антуана с Толстым в Москве не состоялась.

2. ЭРМЕТЕ ЦАККОНИ

С большим успехом в пьесе Толстого «Власть тьмы» выступал итальянский трагик Эрмете *Цаккони* (1857—1948). Врач по образованию, он стал актером по призванию и перенес на сцену итоги усердного изучения трудов психиатра Ломброзо [1].

Сильные страсти, физические и моральные страдания — все то, что составляло силу его сценического дарования, он нашел в роли Никиты. Труппа Цаккони выступала в Америке, Египте и других странах.

В 1908 г. Цаккони посетил Россию.

В Петербургской консерватории был дан спектакль «Власть тьмы», имевший большой успех. Гастроли шли накануне восьмидесятилетнего юбилея Толстого. Ко дню рождения Толстому была послана поздравительная телеграмма.

Перевод с итальянского

Петербург. 25 августа 1908 г.

Шесть лет назад в Италии я создал образ Никиты в замечательной вашей драме «Власть тьмы». Он не раз снискивал мне, пропагандисту вашего великого творения, огромный успех. Но особенно он порадовал меня вчера на спектакле в консерватории; этим я обязан прежде всего изумительному созданию вашего гения. Как восторженный поклонник вашего необыкновенного таланта, горячо прошу вас принять мои скромные поздравления и сообщаю вам о бурных овациях, которыми пришедшая в экстаз публика приветствовала вашу титаническую драму, а также меня — слабого итальянского исполнителя роли Никиты, преданного вам

Эрмете Цаккони и всю мою труппу.

Le comte Léon Tolstoï.

Le comte Tolstoï, dont le nom est déjà populaire en France, est l'auteur du remarquable drame dont le Théâtre libre, dirigé par M. Antoine, vient de donner une représentation si intéressante. C'est, si nous ne nous trompons, la seule œuvre dramatique que l'éminent écrivain ait donnée jusqu'ici, mais les succès qu'elle a remporté sur les scènes russes, celui qu'elle vient d'obtenir sur une scène parisienne en présence d'un public de choix, permet d'espérer que nous aurons encore l'occasion d'applaudir de nouvelles productions théâtrales du même auteur.

C'est en 1853 que le comte Tolstoï a débuté dans la littérature, après avoir fait ses études à l'université militaire. Son premier roman : *l'Enfance, l'Adolescence et la Jeunesse*, eut un grand succès. Il a été traduit en français.



LE COMTE LÉON TOLSTOÏ. — (Dessin de M. G. VUILLIER.)

Le comte Tolstoï, ayant pris du service dans l'armée, et se trouvant dans les rangs des assiégés à Sébastopol, a raconté les péripéties du siège, dans *Sébastopol en août* et *Sébastopol en septembre*.

Parmi les autres romans dus à cette plume remarquable, il faut citer : les *Deux hussards*, la *Tempête*, les *Joies de la famille*, les *Cosaques*, la *Guerre et la paix*, (Moscou, 1868-1869), *Anna Karénine* (1874), etc.

Ces deux derniers ouvrages ont eu en France le plus grand retentissement, et y ont établi la vogue du littérateur étranger que le grand succès de la *Puissance des Ténèbres* vient de nous faire apprécier sous un aspect nouveau. Les œuvres de Tolstoï se signalent par un esprit d'observation et une saveur locale d'une grande particularité. Le charme et l'imprévu des détails ajoutent encore à l'intérêt de la conception, toujours originale.

ТОЛСТОЙ

Гравюра с рисунка французского художника Гастона Вюйе «Monde Illustré», 18 февраля 1888 г.

Портрет и статья о Толстом были опубликованы в связи с премьерой спектакля «Власть тьмы» в парижском «Свободном театре» («Théâtre libre»), 10 февраля 1888 г.

3. ГОРДОН КРЕГ

В 1908 г. известная танцовщица Айседора Дункан рекомендовала К. С. Станиславскому английского режиссера, художника и теоретика театра Гордона *Крега* (1872—1944). Ей представлялось, что их совместная работа могла бы оказаться плодотворной и интересной [1].

После первых режиссерских опытов у себя на родине, не получивших там признания, Крег покинул Англию и поселился в Италии. Здесь, во Флоренции, на сцене основанной им школы-студии развернулась его экспериментальная работа.

Прежде всего, Крег мечтал о новом «театре режиссера», где и художник и актеры целиком подчинены единой воле постановщика. «Моя вера в возрождение сценического искусства,— говорил Крег,— основывается на вере в возрождение режиссера» [2].

Актер в этом новом театре Крега должен был отрешиться от всего, что может быть воспринято как «подражание жизни»: он должен стать марионеткой в руках режиссера и даже не просто марионеткой, а «сверхмарионеткой»: «Сверхмарионетка не будет состязаться с жизнью; она скорее пойдет вне ее»,— писал Крег [3].

Отказ от предметных декораций входил в общую программу «возрождения театра», как его представлял себе Крег. Он воздвигал на сцене сложные конструкции подвижных ширм, добиваясь нового решения сценического пространства.

«Крег отказался от всей этой избитой театральщины,— писал Станиславский,— и обратился к простым ширмам, которые можно было устанавливать на сцене в бесконечно разнообразных сочетаниях. Они давали намек на архитектурные формы — углы, ниши, улицы, переулки, залы, башни и проч. Намеки дополнялись воображением зрителя, который, таким образом, втягивался в творчество» [4].

В 1908 г. в России вышла книга Крега «Сценическое искусство», в которой он подробно развивал свои идеи. Станиславскому была близка новаторская одержимость Крега, и он пригласил его в Художественный театр, предложив поставить вместе с ним «Гамлета».

В то время, когда Станиславский переписывался с Дункан о предстоящем приезде английского режиссера в Россию, Толстой получил от Крега следующее письмо из Флоренции:

Перевод с английского

Флоренция. 16 апреля 1908 г.*
2, Lung Arno Acciainoli.

Милостивый государь!

Мы сочли бы большой для себя честью, если б вы взглянули на наш журнал «Memasta».

Нашего искусства больше нет. Оно ушло из театра много веков назад, и ни у кого не нашлось достаточно сильной любви, чтобы воскресить его.

Цель наша — подготовить дом для его нового рождения. Мы сооружаем для него колыбель. Это приятное и серьезное занятие.

Работаем мы одни, без сочувствия и внимания со стороны людей, занимающих высокое положение в современном театре. Они, как и все прочие, отрицают, что в наших убеждениях — истина.

Мы верим, что движение (я говорю о движении неодушевленных предметов) является превосходным выразительным средством. Мы верим, что это и есть театральное искусство.

Мы видим — театр опустился и выродился, стал отщепенцем среди искусств.

---

* Дата определяется почтовым штемпелем. — *Ред.*

Поэтому-то мы и любим его все больше и больше, поэтому-то и хотим поднять его как можно выше.

От имени группы людей, верящих в это, с почтением подписываюсь

Гордон К р е г

На конверте: Count Leo Tolstoi. Russia.

Письмо было написано Крегом от имени его учеников и единомышленников. Толстой прочитал письмо Крега и на конверте написал: «Б⟨ез⟩ о⟨твета⟩. Непо⟨нятное⟩».

Вскоре Крег приехал в Россию и начал готовить вместе со Станиславским «Гамлета» на сцене Московского Художественного театра. Однако эта постановка оказалась неудачной. Слишком резко расходились принципы Крега с реалистическими установками Художественного театра.

«Чем больше стараешься сделать обстановку простой,— писал Станиславский,— тем сильнее она кричит о себе, тем больше она кажется претенциозною и кичится своим показным примитивом» [5].

«Система» Крега противостояла «системе» Станиславского и оказалась неприемлемой для Художественного театра.

Несмотря на то, что Крег провозгласил свое отрицание реализма, встретившись с актерами Художественного театра, познакомившись со Станиславским, он поддался непосредственному чувству восхищения именно реалистическим искусством.

«Скоро и естественная игра Антуана окажется искусственной при сравнении с игрой Станиславского»,— писал Крег. «Здесь, в Москве,— продолжал Крег,— они не боятся промахов и увенчивают здесь превосходство своей наилучшей труппы актеров над всеми европейскими сценами» [6].

Многочисленные сочувственные и восхищенные отзывы Станиславского о Креге свидетельствуют о том, что он уважал в нем яркую талантливость и способность целиком отдаваться искусству. Близка была Станиславскому мысль Крега об упадке буржуазного искусства и необходимости для художника быть независимым от вкусов «законодателей моды».

В 1910 г., когда умерла В. Ф. Комиссаржевская, Станиславский вспомнил Крега, и это его воспоминание неожиданно оказалось связанным и с уходом Толстого: «Когда поймешь, на чем основаны успех и популярность, хочется бежать от людей, как это сделал Лев Толстой,— писал Станиславский к В. И. Немировичу-Данченко.— Давно ли, кажется, мы с вами смеялись над Крегом. Недавно читаю о предсмертных мечтах Комиссаржевской — уйти в лес и там основать новую школу. Тоже идея Крега...» [7]

4. «РАБОЧАЯ СЦЕНА»

«Я хотел бы, чтобы ее играли на народном театре»,— говорил Толстой о пьесе «Власть тьмы».

«Власть тьмы» и была написана для народного театра «Скоморох» в Петербурге, но по требованию обер-прокурора Синода Победоносцева ее запретила театральная цензура.

Еще до цензурного запрета пьеса была напечатана в издательстве «Посредник» и стала известной и в России, и за границей. Народные театры в поисках необходимого репертуара часто обращались к Толстому. И выбор обычно останавливался на пьесе «Власть тьмы». В этом отношении представляют особый интерес письма зарубежных актеров и режиссеров, посвященные его пьесе. Они свидетельствуют о глубокой и плодотворной основе влияния Толстого на театральную жизнь его времени.

В 1899 г. в пражском типографском клубе был создан рабочий театр. Письмо, обращенное к Толстому, подписал «за рабочий театр» председатель клуба Карел *Вейберцан* [1].

Подлинник по-русски

Прага. Апрель 1899 г.

Любезный учитель!

Ища в литературе драматической изящных плодов великих духов, мы нашли, что настоящей драгоценностью твое сочинение «Власть тьмы».

В первый раз мы исполнили сочинение это на сцене чешского театра, именно на сцене нашего рабочего театра в Типографическом клубе в Праге, и показали его глазам наших слушателей. Успех его был настолько огромный и впечатление его столь глубокое, что мы должны были повторить его, и представление прошло с тем же успехом.

Теперь в третий раз мы будем играть твою драму при юбилее рабочего союза «Юлий Грегер» в Клицперовом театре в Градце-Кралове (Königgrätz) в Богемии 23 апреля сего года, и мы уверены, что этот день будет праздником чешского народа в области Градца-Кралове, ибо возможно будет ему любоваться твоим великолепным сочинением.

Вдохновлены, великий мастер, духом твоим, мы преклоняемся пред тобой и просим, чтоб ты принял наш поклон как малое доказательство нашей привязанности и признательности, выходящей из сердца народа, который тебя понял, восхищается твоим духом и хочет продолжать в твоем направлении.

Прими, милый наш учитель, сердечный наш привет и это простое выражение нашего уважения.

За рабочий театр Типографического клуба:

Председатель Карел В е й б е р ц а н
И. Х о х м а н н, тов⟨арищ⟩ председателя
Вилем М а ч а н е к, секретарь

На конверте: Ruska,
Slovutný Lev Nikolajevič Tolstoj v Jasné Poljane.
В имение «Ясная Поляна».
Его высокоблагородию
Льву Николаевичу Толстому.

В 1900 г. пьесу поставил рабочий социалистический союз в Берлине на сцене «Свободного народного театра». «Власть тьмы» была запрещена цензурой в Берлине, и ее постановка требовала от исполнителей большого гражданского мужества. Об этом спектакле писал Толстому д-р Конрад *Шмидт*, председатель общества «Свободный народный театр».

Перевод с немецкого

Берлин-Шарлоттенбург. 26 сентября 1900 г.

Высокочтимый учитель!

Общество «Свободная народная сцена», председателем которого я в настоящее время являюсь, выполнило свой долг чести, поставив вашу исключительную по силе народную драму «Власть тьмы», запрещенную никчемной берлинской цензурой.

Спектакли для Общества идут в театре им. Лессинга, который занял в них свои лучшие силы. Пьеса имела громкий успех.

Переводчик драмы Август Шольц, присутствовавший на первом представлении, написал мне несколько любезных строк по поводу спектакля. Полагаю, вас должно больше интересовать, что представляет собою Общество, осуществившее эту постановку.

Нашей «Народной сцене» уже около десяти лет, и она образовалась из «Берлинской свободной сцены». Таким образом, это прежде всего союз, и поэтому наши постановки свободны от цензуры. Кроме того — и это



«ВЛАСТЬ ТЬМЫ» НА СЦЕНЕ ПАРИЖСКОГО «СВОБОДНОГО ТЕАТРА» («THÉÂTRE LIBRE»). 1888

Заключительная сцена: покаяние Никиты

Гравюра с рисунка французского художника Адриена Мари

«Monde Illustré», 18 февраля 1888 г.

самое главное — наше театральное предприятие является рабочим союзом, что здесь, в Берлине, означает — социалистическим рабочим союзом.

Вступительный взнос составляет шестьдесят пять пфеннигов и столько же — ежемесячный взнос. Никакого различия в оплате театральных мест по рядам не существует. Более того: они разыгрываются перед представлением между членами самым простым способом.

Литературное руководство осуществляет выбранный общим собранием комитет. Административные дела ведет платный кассир.

Обязанности председателя заключаются прежде всего в издании так называемых «Выпусков народной сцены», которые продаются перед каждым спектаклем. В них разъясняется и содержание каждой пьесы и общее направление ее автора. Таким путем стараются достигнуть более сильного и действенного впечатления от спектакля.

Подобного рода организация прекрасно себя оправдала. Наша публика может только радовать, так охотно и внимательно она смотрит все серьезные и трудные произведения, которые ей показываются. И при этом у нас нет и следа партийной ограниченности.

Последним блестящим подтверждением этого было представление драмы Бьёрнсона «О силе». Изображенная там среда еще более чужда нашим зрителям, чем среда «Власти тьмы», а религиозный элемент выдвинут на первый план еще сильнее, чем в вашей драме. И, несмотря на это, спектакль слушался с напряженным вниманием и очень охотно посещался. Вы бы тоже этому порадовались.

Общество продолжало работу и после того, как ему пришлось распустить своих членов вследствие преследований полиции. Но теперь оно заново объединилось и растет.

В настоящее время у нас насчитывается семь тысяч членов, по тысяче человек на отделение. Таким образом, каждая из десяти постановок, которые мы ежегодно осуществляем, должна идти по семь раз.

Спектакли даются попеременно в «Остенд-театре» и в «Лессинг-театре».

Беру на себя смелость послать вам выпуск нашего театра о «Власти тьмы», а также наш последний годовой отчет.

С истинным уважением
Ваш д-р Конрад Шмидт

На конверте: Graf Leo Tolstoi.
In Jasnaja Poljana. Russland.

Народный театр демократичен по своим общественным целям. Драматургия Толстого, как об этом, в частности, свидетельствуют письма Вейберцана и Шмидта, давала замечательный в своем роде материал для утверждения социалистических идеалов.

5. «ТЕАТР В ПОЛЯХ»

«Как только искусство перестает быть искусством всего народа и становится искусством небольшого класса богатых людей, оно перестает быть делом нужным и важным, а становится пустой забавой»,— писал Толстой (т. 90, стр. 150).

Толстой с большим вниманием относился к попыткам найти народные основы возрождения театра. И надо сказать, что к Толстому обращались чаще всего именно те режиссеры и актеры, которые шли новаторским путем.

Внимание Толстого привлекла деятельность драматурга Мориса Потшера (1867—1960), создавшего во Франции «деревенский театр» с целью сблизить искусство с жизнью народа.

22 сентября 1892 г. Потшер, в сотую годовщину провозглашения республики, в своем родном городе Бюссан (в Вогёзах) поставил «Мнимого больного» Мольера в переводе на местный диалект.

Через два года была подготовлена постановка пьесы самого Потшера «Чёрт, торгующий подагрой». Представлением этой пьесы было положено начало Народному театру в Бюссане.

«Сценой в его театре служила открытая площадка в пятнадцать метров шириной, у склона горы, на краю луга, окруженного тремя крытыми трибунами. Две тысячи зрителей присутствовали на первом представлении,— пишет Роллан в книге „Народный театр".— С тех пор ежегодно, в августе и сентябре, бюссанский театр устраивает по два драматических представления: одно — платное, на котором дается какая-нибудь новая пьеса, другое — бесплатное, на котором повторяется прошлогодняя постановка. Репертуар своему театру обеспечивает сам Морис Потшер, который пишет по одной, иногда по две новых пьесы в год и разыгрывает их при участии членов своей семьи и местных деревенских рабочих или буржуа» [1].

Определяя исторический смысл основания театра в Бюссане, Роллан говорил о Потшере:

«Его талант, благородство, его художественные воззрения, неутомимость и упорство доставили ему самому в истории почетное звание основателя первого во Франции народного театра».

В сентябре 1901 г., почти через десять лет после первого спектакля в Бюссане, Потшер обратился с письмом к Толстому.

Перевод с французского

Бюссан, Вогёзы. 19 сентября 1901 г.

Прошу писателя, которым восхищаюсь больше всех, прошу человека, к которому моя совесть часто обращается в поисках пути, как к руководителю и отцу, почтительно прошу его принять в знак уважения мои произведения, которые г. Николай Попов взялся доставить.

Я основал во Франции деревенский театр, желая уйти от нравов и обычаев театра, которые были решительно не по мне, и с мыслью — быть может, менее эгоистической — сблизиться и слиться с народом моей страны.

Вот уже семь лет продолжаю я начатое дело, надеясь когда-нибудь, если хватит времени и сил, осуществить задачу, полезную тем, кому я ее посвящаю.

Я знаю, что пьесы, до сих пор игравшиеся на этой сцене, еще очень далеки от идеала, и расцениваю их только как предварительные наброски, поиски, которым несколько актеров и естественные, природные декорации смогли придать чуточку жизни.

Не говоря уже о несовершенстве таланта, у них есть существенный недостаток — тот самый, от которого страдает в душе и сам себе в этом признается их автор.

Ибо он, понимая, в чем благо и долг, не имеет сил преодолеть препятствия, отделяющие его от найденной им истины, и решительно изменить свою жизнь.

И произведения его, неясные и неопределенные, колеблются между заботами эгоцентричного искусства, которое хотел преодолеть автор, и далекой мечтой о свежих, чистых и простых творениях.

Не обладая божественным духом, который, вне всяких религий, господствует в вашем подвиге любви, мира и жизни, я надеюсь, что человеческий дух, вдохновивший мои усилия, поможет мне обрести душевное спокойствие и прозорливость, которые мы ценим в вас, в вашей деятельной старости.

Посылая вам пробы пера, свои сочинения, я не льщу себя надеждой, что они могут вам понравиться, заслужить одобрение, по сравнению с которым, однако, все остальное для меня не имеет цены [2].

И хотя вы были первым из тех, кому мне захотелось сделать это подношение, я долго медлил, пока один из моих друзей не предложил свое посредничество: переслать их вам.

Я бессилен доказать вам, что, несмотря на все мои недостатки и человеческие слабости, во мне много доброй воли и желания быть полезным. Я бы вообще отказался от намерения сообщать вам о строе мыслей человека, вам незнакомого, но знайте, что его образ мыслей близок вашему и неразрывно связан с вашим!

Я счастлив, дорогой, глубокоуважаемый Лев Николаевич, послать вам издалека этот привет. По доброте вашей примите его как благоговейное доказательство самой почтительной любви.

Морис Потшер

На конверте: Au comte
Léon Nikolaewitch Tolstoï,
aux soins de M. Nicolas Popoff.

«Я знаю ваши труды,— писал Толстой Потшеру,— одобряю их и давно ими любуюсь. Совершенно уверен, что вы достигнете успеха и будете иметь большое и благотворное влияние на возрождение театра, который изо дня в день превращается в забаву для праздных людей и все более и более отклоняется от своего истинного назначения» (т. 73, стр. 214).

Замысел крестьянского театра, близкого по духу к проекту Потшера, излагал в письме к Толстому и Жюль *Пренсэ*, французский режиссер.

Перевод с французского

Ольне-су-Буа (Сен-э-Уаз). 25 мая 1909 г.

Милостивый государь! Уважаемый граф!

Ваши произведения дошли до нашей деревни, где четыре года назад (с целью просвещения народа и децентрализации искусства) я основал «Театр в полях».

Позволяю себе обратиться к вам, знаменитый собрат мой, потому что воспользовался одним из ваших произведений для достижения своей цели.

Благодаря переводчику вашему г. Гальперину-Каминскому, я смог поставить на «Театре в полях» одну из ваших сказок «Зерно с куриное яйцо». В ней говорится о необходимости вернуться к простой жизни, ко всеобщему благу путем дорогого вам учения. Итак, деревушка Ольне-су-Буа через несколько недель станет небольшой толстовской колонией.

Представления наши на открытом воздухе посещает довольно много народу, приблизительно тысяча восемьсот — две тысячи человек. Они жадно смотрят эти спектакли, которые всегда приноровлены к их вкусам и нравам. Ничего искусственного: запряженные быки, расстеленное сено, скошенный ячмень, сжатая рожь в снопах,— вот декорация к спектаклю, а ваша сказка о трех старцах, царе и детях, нашедших зерно,— ее сюжет.

Разрешите ли вы мне поставить ее в таком виде? Пишу вам, чтоб испросить эту милость ⟨...⟩ Спектакль назначен на июль. Г-н Гальперин должен прислать вам пьесу, но мне хочется заранее заручиться вашим согласием.

Со времени своего основания «Театр в полях» доказывает, что театр не является роскошью, доступной только богатым, а общественной необходимостью и в то же время благодарным средством просвещения народа.

И я прошу вас выразить свое доброе к нему отношение, дав согласие на инсценировку.

В ожидании этого, примите выражение моего глубочайшего почтения и неподдельного уважения.

Жюль П р е н с э,

основатель «Театра в полях» в Ольне-су-Буа, близ Парижа (Сен-э-Уаз).

Г-н Гальперин-Каминский уже месяц назад должен был испросить ваше согласие на участие в Международном комитете постановки памятника Ламенне. Поль Гиацинт Луазон и я — генеральные секретари этого Комитета — сочли бы за большую честь видеть ваше имя среди участников, отдающих заслуженную дань уважения великому апостолу Ламенне [3].

Ж. П.

На конверте: Monsieur Léon Tolstoï.
Station de chemin de fer
Jassenky par Toula. Russie.
Théâtre aux Champs.
Aulnay sous Bois. S⟨eine⟩ et O⟨ise⟩.

Народность была для Толстого не только эстетическим, но и гражданским критерием истинного искусства. «Мольер едва ли не самый всенародный и потому прекрасный художник нового искусства», — говорил Толстой (т. 30, стр. 161). Слова «всенародный» и «прекрасный» употреблены здесь как понятия, между которыми существует прямая связь. Эта связь, по мысли Толстого, и определяет значение художника и указывает на цель и назначение искусства.

IV

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

1. РЕФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Толстой «сравнивал свой способ преподавания с преподаванием деревенского дьячка»,— отмечал известный американский писатель Э. Кросби в книге «Л. Н. Толстой как школьный учитель». И тут же предупреждал, что метод и позицию Толстого нельзя упрощать: «Не надо думать,— писал Кросби,— что Толстой составил свои мнения о воспитании без предварительного изучения всех методов преподавания, практиковавшихся в Европе. Он посетил школы в Германии, Франции и Швейцарии и расспрашивал учителей и учеников обо всем, что только можно было узнать от них» [1].

Толстой выработал свою в высшей степени оригинальную систему обучения и воспитания, для определения смысла и значения которой уже нельзя было ограничиться сопоставлениями со школьными методами или примитивной «педагогией» «деревенского дьячка». Для этого понадобились иные масштабы, и имя Толстого было поставлено в один ряд с именами Монтеня, Руссо и Песталоцци.

Журнал «Ясная Поляна» уже после того, как его издание прекратилось, постепенно завоевал признание в литературном и педагогическом мире. «Толстой обладает такой способностью отдаваться весь делу и вкладывать в него весь свой гений,— пишет Кросби,— что его журнальные статьи привлекли к себе всеобщее внимание. Об этом свидетельствуют

и многочисленные письма педагогов разных стран мира, обращенные к Толстому» [2].

Программная статья Толстого о педагогике имела характерное название: «Воспитание и образование» [3]. Толстой стремился в основу педагогического дела внести двуединую цель воспитывающего обучения. Его внимание было обращено не только на ученика, но и на учителя. На их взаимодействии (а не только на одностороннем влиянии учителя) он строил свою систему. Поэтому большие требования предъявлялись прежде всего к тому, кто взял на себя смелость быть учителем. «Хочешь наукой воспитать ученика,— говорил Толстой,— люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя, и науку, и ты воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния» (т. 8, стр. 245).

Московский цензурный комитет доносил министру народного просвещения по поводу реформаторских идей «яснополянской педагогии», что Толстой «силится ниспровергнуть всю систему общественного образования, принятую не только в России, но и в целом мире», и что он «не ограничивается одними теоретическими рассуждениями, но делает при них практические выводы в применении ко всем существующим учебным заведениям России» [4].

Естественно, что к Толстому обращались за советом и помощью именно те педагоги, которые у себя на родине вступали на путь борьбы за реформу школьного дела.

Испанский педагог Анхель *Буэно* выпускал для детей журнал «Revista Escolar». Главную цель свою Буэно видел в том, чтобы приблизить образование к воспитанию. И вполне естественно, что, опубликовав в Мадриде свою книгу «Lecturas Cortas» [5], он обратился с письмом к Толстому:

Перевод с испанского

Мадрид. 3 сентября 1891 г.
Espejo, 8.

Милостивый государь
и уважаемый учитель!

Я чрезвычайно восхищен вашей педагогической работой и вашими литературными произведениями. Вот уже около двадцати месяцев я провожу опыты по реформе обучения с целью приблизить его к воспитанию. Если такую работу трудно вести повсюду, то вообразите, каково это здесь: нигде я не нахожу поддержки и везде встречаю одни неприятности. Работаю в одиночестве, полный веры и энтузиазма, но с огромными трудностями на своем пути.

Теперь постепенно мои идеи начали получать признание, и в последнее время мои усилия увенчались рядом выступлений, стихийно возникших в испанской и иностранной прессе в связи с опубликованием первой книги работ моих учеников.

Она вышла два месяца назад, была встречена только благоприятными отзывами, при этом даже со стороны великого Слейса, и получила высшую премию на Брюссельской выставке.

Я с удовольствием посылаю вам с этой же почтой один экземпляр моей книги и два-три номера журнала «Revista Escolar», который я ежемесячно выпускаю для своих учеников.

В настоящее время у меня есть отзывы почти всех виднейших педагогов и литераторов о моей книге и моей воспитательной системе. Вы оказали бы мне большую честь и одолжение, если бы сообщили мне свое мнение о моей книге: 1) как документе по психологии ребенка, 2) как о практическом результате детских работ и 3) как о книге для детского чтения. Это было бы бесконечно ценно для меня, господин Толстой. Мне известно



ШКОЛА В НЕМЕЦКОЙ ДЕРЕВНЕ ГАРИЦ

«Ходил в Гариц, знакомство с молодым учителем...» (Запись Толстого в дневнике от 11 августа 1860 г.)

Фотография, 1960-е годы
Предоставлена «Литературному наследству» Экбертом Пехштедтом, Эрфурт (ГДР)

огромное значение величайшего романиста XIX века и знаменитого деятеля яснополянской школы, и не подлежит сомнению, что вы мне сообщите свой отзыв, о чем я прошу во имя прогресса в деле воспитания.

Рад воспользоваться случаем и почтительно выразить свою готовность к услугам,

с уважением Анхель Буэно

Адрес: Испания, Анхель Буэно. Espejo, 8. Мадрид.

На конверте: Russia.
M-r Comte Léon Tolstoï.
Jasnaïaa Poliana. Province de Toula.

Критическая мысль Толстого была направлена против системы обучения, приспособленной к привычкам и предрассудкам господствующих классов. «Привычка праздной жизни,— писал Толстой,— для человека хуже всех бедствий в жизни. Поэтому в высшей степени важно, чтобы дети приучались еще с юных лет работать» (т. 44, стр. 206).

Мысль о трудовом воспитании Толстой высказывал много раз, всегда находя для ее утверждения убедительные, сохранившие и до наших дней свою силу, аргументы. «Хорошо приучиться смолоду работать,— говорил Толстой.— Это дает и силу и спокойствие и свободу» (т. 70, стр. 187).

Когда во Франции возник вопрос о введении ручного труда в лицеях, Толстой получил письмо от начинающего литератора Фернана *Обье*.

Перевод с французского

Париж, 15 июля 1903 г.

Милостивый государь!

Быть может, вам известно, что в Университетской комиссии сейчас рассматривается проект о введении в лицеях Франции ручного труда.

Идеи Жан-Жака Руссо находят, таким образом, более и более полное воплощение.

По мере развития общества все сильнее утверждается мысль, что если юноша не владеет каким-нибудь ремеслом, он оказывается плохо подготовленным к жизни. Однако осуществление новой программы сопряжено с трудностями. Вот мне и подумалось, что великий русский мыслитель скорее, чем кто-либо другой, может осветить этот важный вопрос, которым озабочено много отцов семейств.

1) Прежде всего: возможно ли совместить учение в его теперешнем, уже перегруженном, объеме с ручным трудом (столярная работа, механика и т. п.).

2) В каком объеме и каким образом можно ввести ручной труд в средних учебных заведениях, чтобы он принес действительную пользу?

3) Приложимы ли на деле, вне семейного воспитания, идеи Рабле, Монтеня и Руссо, которые, по-видимому, вдохновили составителей новой программы?

Таковы, милостивый государь, те вопросы, которые вместе со многими другими такого же рода я хотел бы поставить перед вами. Но Россия еще очень далека для начинающего литератора, и я должен довольствоваться тем, что пишу к вам.

Ваша безграничная доброжелательность, которая хорошо известна французской публике, позволяет мне надеяться, что мое письмо не останется без ответа и что я буду иметь возможность сообщить ваше мнение отцам семейств во Франции.

Литератор Фернан О б ь е

Fernand Aubier, Littérateur. 3, rue Francisque Sarcey (16e), Париж.

На конверте: Russie,
Le Comte Léon Tolstoï, Toula.

Этот вопрос Толстой считал важнейшим в школьной практике: «Учить детей ремеслу считаю не только хорошим делом, но не учить детей ремеслу — преступлением...» (т. 77, стр. 105).

Образование в школе, по мысли Толстого, должно быть продолжением и развитием семейного обучения, где принцип трудового воспитания имеет еще более важное значение, так как он подкрепляется авторитетом и примером родителей.

Толстой не сочувствовал практике многих европейских школ, прививавших ученикам взгляд на труд как на средство личного обогащения. Односторонность узкого практицизма, глубоко буржуазного в своей основе, была чужда Толстому. Трудовое воспитание как средство нравственного познания и участия в жизни в самом широком смысле — так можно определить его позицию.

Обучение полезному ремеслу, по Толстому, — не самоцель, а средство приблизить ученика к народной жизни. Имея в виду систему воспитания, молчаливо исходящую из чувства презрения к труду, Толстой говорил: «Нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем мире» (т. 29, стр. 65).

Размышления Толстого не оставались без отклика. Справедливость поставленных им вопросов чувствовалась не только в России, но и во всем мире.

Для тех иностранных учителей, которым доводилось бывать в России, Ясная Поляна была особенно притягательна. Фанни *Фрэнкс*, учительница из Англии, прислала письмо, которое может служить замечательным свидетельством глубокого и, можно сказать, интимного влияния Толстого на психологию воспитателя.



ГОРОДСКАЯ ШКОЛА В ВЕЙМАРЕ, КОТОРУЮ ТОЛСТОЙ ПОСЕТИЛ 12 АПРЕЛЯ 1861 г.
Фотография, 1960-е годы
Предоставлена «Литературному наследству» Экбертом Пехштедтом, Эрфурт (ГДР)

Перевод с английского

Москва. Пятница. 2 января 1901 г.
Разгуляй. Новичков пер. 5, у г-жи Реппман.

Дорогой граф!

Я приехала в Россию впервые, чтобы провести здесь рождественские каникулы.

Меня все здесь интересует, но ничто не могло бы доставить мне такого глубокого удовольствия, как возможность пожать руку человеку, у которого я столькому научилась.

У нас в стране любят Толстого, и хоть лично мне ничто, кроме моей любви к вам и к вашему учению, не дает права обратиться с подобной просьбой, тем не менее позвольте мне, англичанке, нанести вам краткий визит.

Фанни Фрэнкс

На визитной карточке, приложенной к письму:

«Мисс Фрэнкс, усталая, старая школьная учительница (шестидесяти двух лет), которая лучшие свои уроки получила от Толстого.

Заведующая Кемденхаузской школой подготовки воспитательниц для детских садов.

Camden House. 13 York Place, W.».

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Moscow. Chamovniki. House Tolstoi.

Влияние Толстого было вдвойне плодотворным, так как оно в равной мере касалось и методов, и самого предмета обучения.

В этом смысле очень интересно письмо аргентинской учительницы Клотильды *Гонсалес*:

Перевод с испанского

Посадас. 1 ноября 1901 г.

Глубокоуважаемый
и достопочтенный сеньор!

Я желала бы познакомить учащихся наших школ с наиболее выдающимися писателями тех стран, которые особенно связаны с Аргентиной и особенно способствуют развитию нашего народа, росту его культуры и прогрессу. Поэтому позвольте обратиться к вам и просить от имени аргентинской молодежи (воспитанию и образованию которой я посвятила свою жизнь) оказать нам честь прислать какую-нибудь вашу отдельную работу для «Книги для чтения», составляемой мной из произведений различных писателей, которых я прошу о том же. Помимо ее прямого назначения, книга эта будет использоваться как сборник образцов литературной композиции и стиля.

Присылаемые работы могут быть написаны на любую историческую, естественнонаучную, литературную и педагогическую тему, в них можно говорить об искусстве, промышленности, торговле, о различных изобретениях и исследованиях; это могут быть рассказы, сказки и т. п.

Льщу себя надеждой, что одно из произведений вашего пера, создавшего столько прекрасных творений, займет достойное место среди тех, которые войдут в эту книгу для чтения.

Буду вечно вам благодарна.

Готовая к услугам
Клотильда Гонсалес

Большой интерес представляет письмо *С. Г. Комингза*, члена Лиги технического обучения в Чикаго. Он упоминает о переписке с Толстым во время переселения духоборов в Канаду. Но письма Толстого к Коммингзу неизвестны. Возможно, что речь идет о «письмах по поручению». Очень часто ответы на такие письма адресовали самому Толстому.

В годы разгула милитаризма, в эпоху подготовки империалистической войны (уже шла русско-японская война и только что окончилась англо-бурская кампания) программа трудовой школы часто получала антивоенный характер. Комингз обращался к Толстому не только как к известному педагогу, но и как к непримиримому борцу против военщины. Письмо написано на бланке Лиги с девизом: «Больше для школ, меньше для войны!»

Перевод с английского

Атланта, Штат Джорджиа, США.
1 сентября 1904 г.

«Цивилизация христианская против цивилизации языческой»

Графу Льву Толстому

Глубокоуважаемый брат мой!

Несколько лет назад мы с вами обменялись письмами по поводу духоборов, для которых я пытался найти землю на Юго-Западе.

В то время я был членом колонии «Common Weal» штата Джорджиа.

Посылаю вам книжечку о всеобщем бесплатном ремесленном обучении, которую я недавно выпустил.

Я сравниваю старый языческий идеал: «Образованному человеку незачем заниматься ручным трудом — это дело рабское и низкое» с научной теорией, провозглашенной великим Фребелем: «Труд есть частица божественной способности к созиданию, благодетельно дарованная человеку».

Я уже давно размышляю над словами Фребеля и пришел к убеждению, что эта мысль очень и очень важна для развития настоящей и прочной цивилизации.

Рад сказать, что нахожу гораздо более единомышленников, чем ожидал. Теперь мы образовали Лигу из очень энергичных людей, которые решили отстаивать свои идеалы перед всем миром.

Вам, вероятно, будет приятно узнать, что многие склонились к этому под влиянием вашего учения.

Видите! Семена, посеянные вами в вашей далекой стране, должны принести плоды и у нас, среди народа, который так кичился своим прогрессом.

Очень надеюсь, что книжка благополучно дойдет до вас и что вы будете добры написать нам несколько слов ободрения, которые мы прочитаем на наших собраниях.

Следующей зимой мы надеемся созвать ряд совещаний в различных частях нашей страны. Если бы вы написали нам несколько слов, это очень подняло бы интерес к нашим обсуждениям.

В это письмо я вкладываю листок, из которого вы увидите, как много хорошего было сказано о моей книжке, хотя вам станет ясно, если она дойдет до вас, что это очень радикальная книга, наносящая решительные удары нашим современным обычаям.

Думаю, что она сильно заденет некоторых консерваторов.

Из нескольких мест этой книги вы увидите, как я трактую вопрос о войне.

Надеюсь, если нам удастся добиться, чтобы каждый ребенок получал полное, всестороннее образование, то это явится одним из могучих средств против распространения духа войны.

Заметьте, что я ссылаюсь на вашего друга Эрнеста Кросби, когда говорю о страсти «мазаться и украшать себя перьями». Это одна из существеннейших черт, которая продолжает давнюю языческую страсть бахвалиться своей одеждой.

Я доказываю, что война теперь стала такой разрушительной, что столкновение армий, оснащенных современным оружием, неизбежно приведет к всеобщему уничтожению.

Книжку мою перевели на голландский язык; частично ее перевели и на датский, опубликовав в датских учительских газетах.

Итак, надеюсь, что наша Лига скоро станет делом международным.

Как прекрасно было бы, если бы мы могли собрать международный съезд Лиги в Москве или Петербурге! И разве нельзя на это надеяться?

Я очень хотел бы узнать, дошла ли моя книжка до вас, и получить от вас несколько добрых слов, чтобы внести их в следующее издание.

Навсегда ваш брат по работе на благо человечества

С. Г. Комингз

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Poliana. Russia.

Упомянутая в письме «Лига технического обучения» («The American League for Industrial Education») была основана в 1904 г. в Чикаго и имела целью ввести ручной и сельскохозяйственный труд в начальную школу. Пришкольные сады и фермы позволяли детям приучаться к сельскому труду. Эта идея по существу была близка Толстому.

Переписка Толстого с педагогами его времени не ограничивалась дидактическими вопросами. Как об этом свидетельствуют приведенные здесь материалы, а также письма Поля *Буайе* и Эрнеста *Кросби*, о которых

речь пойдет в следующих очерках, воспитание и образование были частью более широкого круга проблем современности, привлекавших внимание Толстого.

Статьи Толстого из журнала «Ясная Поляна», где была развернута программа народной школы и трудового воспитания, в многочисленных переводах на иностранные языки входили в круг чтения мыслящих педагогов всех стран. «Я имею, например,—писал Кросби,— в моей библиотеке четыре французских книги, вышедшие почти тридцать лет спустя после прекращения журнала и составленные, по большей части, из статей, взятых оттуда: „L'Ecole de Jasnaia Poliana", „Le Progrès de l'Instruction Publique en Russie", „La Liberté dans l'Ecole", „Pour les Enfants"»[6].

В журнале Толстого, в гениальном освещении великого художника раскрывалась повседневная жизнь яснополянской школы. И в этом описании был заключен урок Толстого, имевший огромное влияние на педагогическую мысль его времени и не утративший своего значения и до наших дней.

2. РУССКИЙ ЯЗЫК

Как известно, в поздние годы Толстой сомневался в общественной полезности своих романов и готов был отдать предпочтение написанной им «Азбуке».

«У нас завязался разговор о прежней литературной деятельности Льва Николаевича,— вспоминал П. Ганзен о своей беседе с Толстым в 1895 г.,— причем я горячо отстаивал значение „Анны Карениной" и пользу, которую роман принес обществу.

— Ну какая там польза! — воскликнул Лев Николаевич недовольным тоном.— Я ее не вижу. Вот „Азбука" моя принесла пользу, зато о ней целых два года никто не заикнулся. Но спрос на нее теперь большой, и я убедился, что она, действительно, приносит пользу»[1].

«Азбука» хронологически относилась к тому самому «прежнему периоду литературной деятельности», который так решительно осуждал Толстой. Но для этой книги он делал исключение.

В 1894 г. французская писательница Ш. Венсан опубликовала (под псевдонимом *Арвед Барин*) статью «Азбука Толстого». Она с удивлением отметила, что в детских рассказах Толстой «отступает от духа» «христианского учения» и проповедует «языческую мораль».

Венсан приняла восемнадцатое издание «Азбуки» за новую книгу Толстого[2].

Чтобы рассеять кривотолки, Толстой, в ответ на статью Венсан, приготовил специальное заявление для печати.

«Рассказы, помещенные в азбуке,— говорил Толстой,— написаны мною не 18 месяцев тому назад, как это пишет г. Арвед Барин, а 27 лет тому назад, тогда, когда христианское учение мне было совершенно чуждо, и я руководился в выборе рассказов для азбуки только их понятностью и интересом для детей» (т. 67, стр. 98—99).

Толстой таким образом признал, что ему как автору «Азбуки» «христианское учение» «было совершенно чуждо», однако от этой книги он не отрекся.

Слава русского романа в Европе пробудила интерес к русскому языку. Во многих учебных заведениях изучение русского языка было введено в качестве обязательного предмета. И к «Азбуке» Толстого стали обращаться в утилитарных целях как к учебнику.

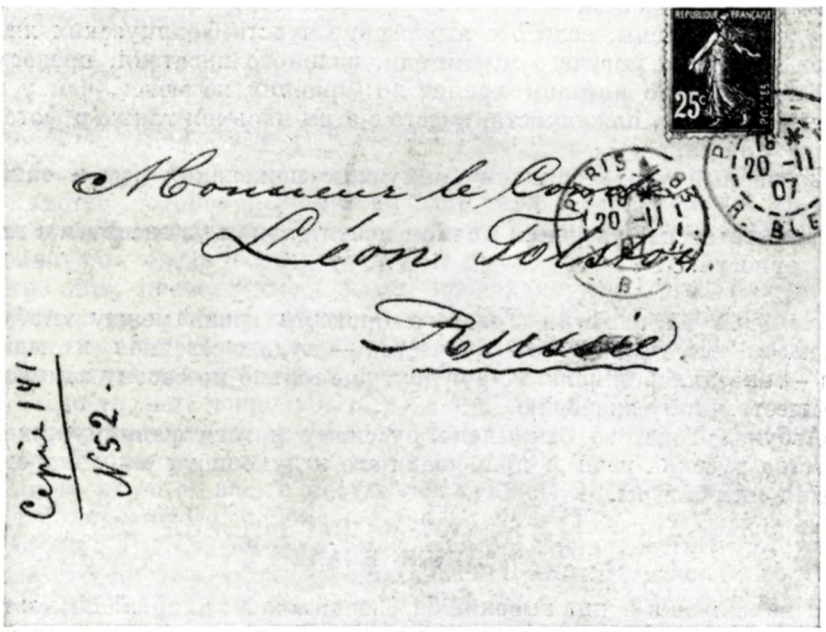
В 1898 г. Толстой получил письмо от Мишеля *Каннера*, преподавателя в парижских лицеях Людовика XIV и Карла Великого.

Перевод с французского

Париж. 27 мая 1898 г.

Дорогой учитель!

В качестве журналиста я уже неоднократно имел счастье писать во французских газетах о вашем творчестве [3]. Когда же в лицеях Парижа ввели курс русского языка, я с бесконечным удовольствием знакомил с вами своих учеников в лицеях Людовика XIV и Карла Великого, обучая их читать и писать по-русски по «Новой русской азбуке», «Первой книге для чтения» и др.



АДРЕС НА ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ ИНОСТРАННОЙ ПОЧТЫ ТОЛСТОГО:
«Господину графу Льву Толстому. Россия»
Конверт письма французского корреспондента А. Дейка от 20 ноября 1907 г.
Архив Толстого, Москва

Надеюсь, что вам доставит хоть некоторое удовольствие приветственный адрес, который они просят меня вам переслать.

Прошу вас, дорогой учитель, принять уверение в моей глубокой к вам преданности.

Мишель К а н н е р

На конверте: Monsieur le Comte Léon Tolstoï.
Yasnaïa Poliana près de Tula. Russie.
Г-ну графу Л. Толстому.
Ясная Поляна, близ Тулы.

К письму Каннера было приложено послание Толстому, которое подписали сорок четыре парижских лицеиста.

Перевод с французского

Париж. 17 мая 1898 г.

Уважаемый учитель!

Наш преподаватель г-н Мишель Каннер, с большим увлечением обучающий нас языку дружественного нам народа, рассказал нам о том,

с каким энтузиазмом готовится Россия к наступающему торжественному празднованию вашего семидесятилетия.

Позвольте и нам, изучающим русский язык в лицеях Карла Великого и Людовика XIV, почтительнейше выразить вам чувства глубокого восхищения и искренней благодарности.

Преодолев, благодаря вашим учебникам, первые трудности, некоторые из нас уже могут оценить красоты русского языка, читая и переводя отрывки из ваших замечательных произведений, помещенные в нашей хрестоматии. Мы все надеемся, что в один прекрасный день сможем прочесть в подлиннике «Войну и мир», «Анну Каренину» и много других прекрасных произведений.

Будем счастливы, если это выражение чувств французских лицеистов дойдет до сердца могучего мыслителя, великого писателя, превосходного педагога, слава о котором гремит во Франции не менее, чем у него на Родине. Примите, пожалуйста, вместе с этим письмом также и фотографию нашего класса.

Уважаемый учитель, шлем наилучшие пожелания вам и вашему семейству.

Примите от нас уверения в самом почтительном уважении и в глубокой благодарности.

Несмотря на попытки Толстого провести грань между «Азбукой» и романами, две сферы его творчества — художественная и педагогическая — оказались близкими друг другу не только по своему замыслу, но и по общественному значению.

«Азбука» Толстого открывала русскому и иностранному школьнику богатства русской речи и приобщала его к духовному миру народа и его великой литературы.

3. ПОЛЬ БУАЙЕ

«Я нахожусь в конце высокой березовой аллеи; направляюсь к площадке, окружающей дом, на которой в хорошую погоду происходят семейные трапезы, и вдруг вижу перед собой Толстого. Он поднялся с шезлонга, на котором лежал,— и вот он передо мной; он стоит, слегка опираясь на трость, протягивает мне руку, поздравляет с благополучным прибытием...»[1]

Так описывает свой приезд и первую встречу с Толстым в июле 1901 г. известный французский ученый, в ту пору преподаватель русского языка в парижской «Школе восточных языков» Поль *Буайе* (1864—1949).

Летом 1901 г. Буайе работал над учебником русского языка для французских студентов, и его беседы с Толстым неизменно возвращались к предмету, который его занимал. Особенное впечатление на Буайе произвела встреча с одним из бывших учеников яснополянской школы. «Я рассказывал Толстому,— пишет Буайе,— о своем визите к его бывшему ученику, и когда я заговорил о том, какое удовольствие я получил, слушая его живописный и сочный язык, богатый образами, с четким синтаксисом, Толстой ответил:

— Да, эти люди тоже мастера. Прежде, разговаривая с ними или со странниками, которые с котомкой за плечами ходят по нашим деревням, я заботливо отмечал все их выражения, которые слышал впервые, часто забытые нашим современным литературным языком, но всегда хранящиеся в глухих углах России. Чтобы написать „Власть тьмы", я широко использовал свои записные книжки, и поэтому немало слов в моей драме нуждается в объяснении даже для русского читателя».

В своем очерке о встрече в Ясной Поляне Буайе воспроизвел много важных высказываний Толстого о русской и французской литературах.

«Из того, что сказал мне Толстой, следовало, что в писателях своей страны, старых и новых, а также в наших писателях,— пишет Буайе,— он выше всего ставит искренность мысли, а затем искренность выражения. Именно к искренности — вот к чему всегда возвращаешься в беседах с Толстым, и о нем тоже можно будет сказать со временем: «veritatem delexit» *. Малейшее подозрение в неискренности, даже в области стиля, вызывает у него недоверие и негодование».

В августе 1901 г. очерк Буайе появился в газете под заглавием «У Толстого». Буайе прислал Толстому осенью того же года письмо из Италии с благодарностью за гостеприимство и с некоторыми объяснениями по поводу своего очерка.

Перевод с французского

Менаджио. 10 сентября 1901 г.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич,

Если бы я просто хотел выразить обычную благодарность за сердечное гостеприимство, которое было мне оказано вами и вашей семьей, то, вероятно, не стал бы писать вам. Благодарность слишком похожа на лесть, а нам, французам, очень свойственен этот недостаток.

Но три дня, проведенные с вами, преподали мне урок, которого не почерпнуть даже в ваших книгах. Этот урок — ваша повседневная жизнь, такая простая, чистая, трудолюбивая, прекрасная. И вот за этот урок я должен хотя бы сказать вам «спасибо». Вкладываю в это слово всю признательность, всю искренность, на какие только способен.

Вы, наверное, уже получили те три статьи, которые я напечатал в «Temps». Надеюсь, что не слишком исказил ваши взгляды. Из всего, услышанного мною от вас, я постарался сохранить то, что поучительно и интересно для каждого. Если мне это плохо удалось, прошу вас, добрый и дорогой Лев Николаевич, вините в том мое неумение, а не отсутствие добросовестности. В «Temps» напечатаны мои три статьи без каких-либо купюр и изменений. Они только дали свой заголовок, который, поверьте, пришелся мне не совсем по душе: «У Толстого». У меня было проще и не так фамильярно: «Три дня в Ясной Поляне». Думаю, что, кроме нескольких незначительных неточностей в указании места и часа, я ни в чем не погрешил против истины. Так мне кажется, но, может быть, я и заблуждаюсь. Поэтому-то, на случай, если я вас в чем-то не понял, заранее взываю к вашей снисходительности и умоляю простить меня.

Мне хочется, однако, сказать вам вот что еще: один из моих самых старых и верных друзей, профессор парижского университета, написал мне, что мои статьи «...явно очень искренние, заставляют любить Толстого». Это друг настоящий, который считает первым долгом дружбы — абсолютную откровенность. Поэтому его тоже «явно очень искренние» слова очень меня порадовали.

Я написал также статью о современном положении России, но, заранее уверенный в том, что ни одна французская газета ее не напечатает, я перевел ее на английский язык и послал в «Times», где она и должна появиться на днях.

Наши французские газеты, особенно в настоящее время, имеют свою предвзятую точку зрения на все, что касается политической и общественной жизни Российской империи, и любезный прием уготован только стереотипным и дифирамбическим статьям — жанр легкий и малопочтенный. Я предпочел рассказать по-английски обо всем, что собственными глазами видел и собственными ушами слышал,— и не считаю себя за это дурным патриотом.

---

* «правду избрал» (лат.).

Вакации мои подходят к концу. Хочу в ближайшие же дни поехать в Турень, где проведу недели две у матери и у сестры, а затем вернусь в Париж.

Нынешней зимой я надеюсь издать русскую грамматику, над которой работаю уже два года. Хотелось бы, чтобы она оказалась достойной замечательного языка, законы и строение которого излагает.

Со второй недели ноября я возобновляю преподавание. Хочу включить в программу этого года в числе произведений русских классиков (не правда ли, вы не сочтете меня низким льстецом, если я скажу, что вы тоже классик?) «Исповедь», «В чем моя вера?» «Письмо NN» (в женевском издании) [2], «Крейцерову сонату» (в берлинском издании, если еще можно будет найти в магазинах достаточное количество экземпляров) и, наконец, «Хозяин и работник».

Весьма возможно, что до начала занятий мне придется на несколько дней поехать в Оксфорд, куда я приглашен для участия в работе экзаменационной комиссии по русскому языку. Я воспользуюсь этим случаем, чтобы навестить В. Г. Черткова. Нужно ли говорить, что, если вы пожелаете возложить на меня какое-либо поручение, я всецело в вашем распоряжении.

Вы, может быть, читали в газетах, что в Люксембургском музее открывается зал русского искусства (живопись и скульптура). Вернувшись в Париж, я тут же повидаюсь с директором музея г. Бенедитом, с которым я немного знаком, и буду говорить с ним о возможности приобретения картины Н. Н. Ге «Распятие». Таким образом, осуществилось бы желание Николая Николаевича — картина была бы приобретена музеем и навсегда стала бы доступна для всеобщего и бесплатного обозрения.

К чему приведут мои переговоры — неизвестно. Поэтому я пока еще ничего не сказал Николаю Николаевичу, чтобы не волновать известием, которое может оказаться ложным.

Прошу вас, добрый, дорогой Лев Николаевич, передать мой почтительнейший поклон графине вашей жене, Марье Львовне и Александре Львовне. Крепко жму руку Сергею и князю Оболенскому.

Примите уверение в преданности, уважении и любви.

Поль Буайе

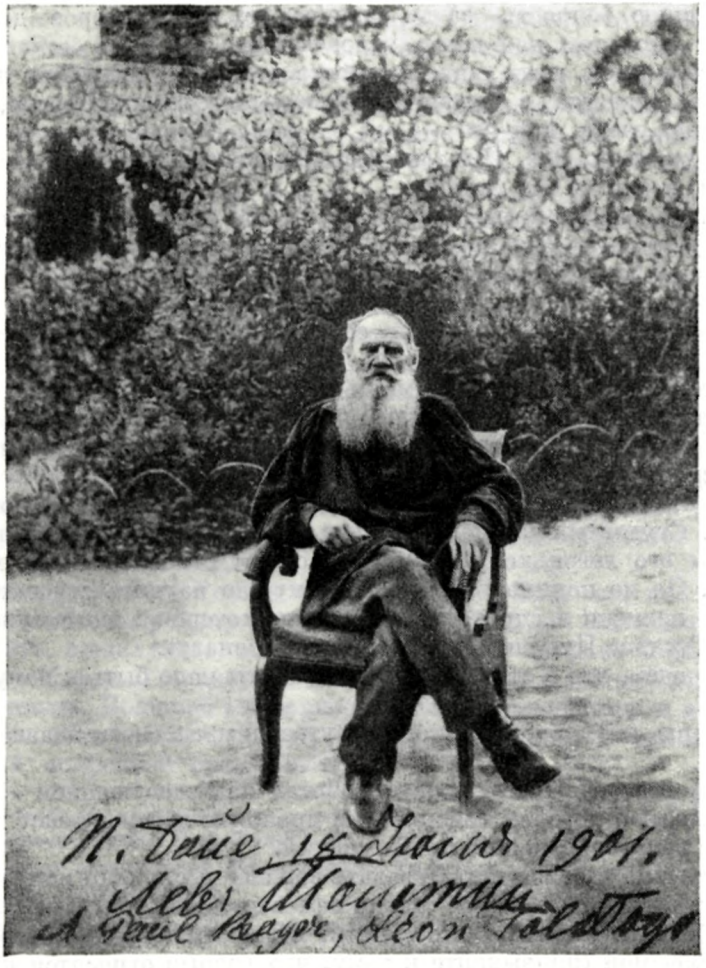
Мой постоянный адрес: Полю Буайе, 54, rue de Bourgogne, Париж.

Статьи Буайе привлекли внимание Р. Роллана. 31 августа 1901 г. он писал: «Только что (на той неделе) в газете „Temps“ появились три очень интересные статьи о посещении Толстого одним хорошо известным французом, который умело и умно вовлек писателя в беседу» [3].

В России Буайе познакомился со многими писателями, художниками и общественными деятелями, в том числе и с Н. Н. Ге, который был близок к Толстому. Когда сын художника, Н. Н. Ге-младший, переехал в Париж, Буайе предложил ему работу в «Школе восточных языков».

В 1903 г., подготовляя к изданию свой учебник русского языка, Буайе обратился к Толстому с просьбой сообщить ему некоторые факты, необходимые для комментария к рассказам, включенным в учебник [4].

Учебник Буайе построен оригинально. Все русские тексты взяты из сочинений Толстого. Они приводятся без адаптации и сокращения, с подробными подстрочными комментариями, грамматическими и лексикологическими. По типу издания этот учебник напоминает комментированные руководства по изучению античных классиков. Сюда вошли рассказы из «Азбуки» Толстого, «Три смерти». Учебник Буайе получил признание во Франции, где выдержал множество изданий, и во многих других странах [5].



ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Фотография, 1901
С дарственной надписью на французском и русском языках:
«П. Бойе, 18 июля 1901. Лев Толстой»
Institut des Etudes Slaves à Paris

Перевод с французского

Париж. 21 сентября 1903 г.
54, rue de Bourgogne.

Добрый и дорогой Лев Николаевич!

Немногим больше года тому назад я был у вас и присоединил мои поздравления и пожелания к поздравлениям и пожеланиям ваших детей и внуков, собравшихся вокруг вашего стола. Наши пожелания сбылись, потому что истекший год возвратил вам здоровье и силы.

Ваш сын Андрей, обрадовавший нас в июле своим приездом, рассказывал, что прогулка верхом за двадцать пять верст вас ничуть не пугает. Это стóит всех врачебных бюллетеней!

Если бы я не знал, как вы презираете и ненавидите глупую французскую лесть, я бы признался, что не только считаю себя вашим должником за прекрасные книги, полные любви и милосердия, которые дарованы нам вашим гением,—в равной степени я признателен вам за вашу поразитель-

ную физическую бодрость, за то равновесие сил, которое делает вас совершенным образцом для всего человечества.

Ваша неутомимая деятельная старость служит утешением для нас, людей зрелого возраста, с нашей немощью и недугами. Хорошо, что существуют такие люди, как вы!

Добрый, дорогой Лев Николаевич, полечитесь немного, поберегите себя, ведь вы стали на год старше.

Мне кажется, если вас не станет, все те, кто имел счастье встречаться с вами, почувствуют себя сиротами, которым будет всегда недоставать вашей ласковой приветливости и простоты обращения.

Итак, заботьтесь о себе, лечитесь, берегите себя ради нас и простите мне откровенный эгоизм, который содержится в этом от души идущем пожелании.

Вы знаете, что Н. Н. Ге стал моим сотрудником: я просил и добился, чтобы его назначили преподавателем русского языка в «Школе восточных языков», и мы будем работать сообща над преподаванием, приложив к нему все свои силы.

Николай Николаевич с большим усердием принялся за эту новую для него работу. Студенты благодарны ему за его старания и добродушие.

Я мог бы его легонько упрекнуть в одном отношении: в недостатке серьезности. Он не понимает, что сперва нужно научить студентов склонять: время, времени и спрягать: я хочу, ты хочешь, а потом уже давать им читать «Гусара» Пушкина и «Крейцерову сонату».

Знаю, впрочем, что в этот первый год работы надо быть к нему снисходительным.

Твердо верю, что в будущем году он утвердится в своем педагогическом призвании.

В течение всего учебного года я работал над завершением «Учебника русского языка», о котором говорил вам прошлым летом и текст для которого взял из некоторых ваших произведений.

Разрешите мне в связи с этим задать вам еще несколько вопросов в добавление к тем, которые я уже ставил вам в прошлом году и на которые вы мне так любезно ответили. Вопросы эти, незначительность которых покажется вам смешной (привыкайте к тому, что ученые относятся к вам, как к древним классикам), я дал переписать почерком, более разборчивым, нежели мой, на прилагаемые карточки. Ответы на них вам будет дать нетрудно, если, в чем я не сомневаюсь, прелестная Марья Львовна или графиня Софья Андреевна соблаговолят найти и отметить страницы, к которым они относятся. Я буду вам бесконечно благодарен, если вы надиктуете ваши ответы соответственно с номерами, которыми помечены вопросы (простите меня за их незначительность). Мне нетрудно будет объединить затем вопросы и ответы.

Моя книга уже в гранках. Я буду ждать вашего ответа, до получения которого не отправлю в типографию выправленные корректуры.

К вопросам, разнесенным на карточки, прибавлю еще один, относящийся к трем первым строкам моего первого примечания к рассказу «Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник».

Мне кажется, будто вы сказали, что слышали этот рассказ из собственных уст вашей бабки с отцовской стороны. Так ли это и верно ли воспроизведены ваши слова в примечании? [6]

Часть моих вакаций я провел в Швейцарской Юре у нашего общего друга Шарля Саломона. Мы часто говорили о вас, обо всей вашей милой семье и о добром гостеприимстве Ясной Поляны.

Но вот я уже опять в Париже и уеду отсюда, вероятно, только ненадолго к своей матери в Тур.

Говорил ли я вам когда-нибудь о том, как я жалею, что вы недостаточно знаете Францию и французов, не парижан, а провинциальных французов, крестьян и рабочих? Мне хотелось бы слышать ваше суждение об их уме, столь живом, находчивом, ясном и основательном, и, как мне часто кажется, подтверждающем парадокс Энрико Ферри: «В голове французского крестьянина больше истинного ума, чем у многих немецких профессоров».

Русские в большинстве своем знают во Франции только Париж и несколько парижан, и этим объясняется поверхностность, даже странность суждений о Франции и французах Достоевского и любого другого из писателей его поколения или предыдущего.

Некоторые из моих соотечественников поручили мне просить вас принять участие в открытии памятнику Ренану в Трикье. Это было зимой, когда ваше здоровье было еще не совсем хорошо, и я не счел возможным затруднить вас такой просьбой. Но само собой разумеется, если вы пожелаете выразить свое отношение к этому памятнику и к торжествам по его поводу, я сочту себя обязанным передать ваши слова в переводе на французский язык сначала дочери Ренана, с которой имею честь быть знакомым, а затем и всем французским читателям через посредство какой-либо из наших крупнейших газет.

Не знаю, поеду ли я в Россию в будущем году. Если же, как я надеюсь, смогу поехать, то не премину посетить ваш дорогой для меня дом.

Передайте, пожалуйста, почтительный привет графине Софье Андреевне, княгине Марье Львовне, Александре Львовне и доброй, симпатичной Юлии Ивановне. Большой мой привет князю Оболенскому, а вас, добрый, дорогой Лев Николаевич, прошу принять уверения в самом глубоком уважении и искренней преданности.

Поль Б у а й е

На конверте: Russie. В г. Тулу.
Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому.
Le comte Léon Tolstoï. Toula.
Envoyeur prof. Paul Boyer. 54, r⟨ue⟩ de Bourgogne. Paris.

На это письмо ответила О. К. Толстая по поручению Толстого. Карточки с вопросами Буайе в архиве не обнаружены. По-видимому, они были возвращены вместе с ответами. Ответ О. К. Толстой также неизвестен.

В своем письме Буайе высказал сожаление, что Толстой, по его словам, «недостаточно знает Францию и французов». Это замечание, очевидно, связано с беседами, которые Буайе вел с Толстым в Ясной Поляне. Как явствует из его очерка, Толстой весьма критически и резко отзывался о современных «кудесниках молодежи» — декадентских философах и писателях: «Это мораль и социология, предназначенные для буржуа».

Расхождение в оценках социальных явлений особенно остро выявилось, когда в 1906 г., после первой революции, Буайе вновь приехал в Россию и встретился с Толстым. Он путешествовал по России как корреспондент газеты «Temps». «Буайе ужасался нищете, невежеству, бесхозяйственности русского народа ⟨...⟩,— пишет в своих воспоминаниях С. Семенов.— Лев Николаевич не соглашался с ним».

«Поразительная самоуверенность, — говорил Толстой, — думают, что вот они сделали несколько революций, установили республиканское правление и достигли всего, что нужно людям, а загляните к ним и вы увидите, что и у них не лучше, чем у других. Та же нищета, безнравственность, суеверия, видимое разложение общества... Буайе осуждает русский на-

род, а способны ли они с их суеверными представлениями о первенстве своей нации хотя бы отчасти постигнуть дух нашего народа? Я думаю, что нет» [7].

В этот приезд Буайе застал Толстого за политическими и публицистическими работами. Он писал статьи «О значении русской революции» и «Единственное возможное решение земельного вопроса».

И. И. Горбунов-Посадов сказал в разговоре с Толстым, что каждый день отмечен новыми смертными приговорами. Лев Николаевич сразу насупился, потемнел весь и проговорил:

«Это ужасно! Какое право имеют они казнить? И что это за разгул пошел с этими казнями! Когда назначили теперешнего министра внутренних дел, у меня было явилась надежда, не выйдет ли что из этого? Я знал его отца, был приятелем с ним, играл в шахматы, его сыновей я помню мальчиками. И вдруг этот закон, умножающий смертные казни! — и у меня все надежды пропали...» [8]

«В 1906 г., в следующую годовщину Льва Николаевича,— вспоминает Семенов,— мне удалось попасть в Ясную, хотя перед этим, за сочувствие крестьянскому союзу, я два раза сидел в тюрьме и был уже назначен в административном порядке к высылке в Олонецкую губернию 〈...〉 Узнавши о моей судьбе, Лев Николаевич возмутился близорукостью и произволом местных властей, готовых гнуть в бараний рог встречного и поперечного, и все спрашивал, нельзя ли как-нибудь облегчить мое положение» [9].

В то же время в Ясную Поляну приехал Буайе. Он направлялся в Петербург и взялся доставить А. А. Столыпину письмо Семенова. Об исполнении этого дела он сообщал письмом из Петербурга Толстому.

Подлинник по-русски

Петербург. 3 сентября 1906 г.
Ул. Гоголя, 9, кв. 9

Глубокоуважаемый
и дорогой Лев Николаевич!

Очень и очень меня беспокоит известие, что вы третьего дня попросили профессора Феноменова съездить в Ясную. Это мне доказывает, что состояние здоровья Софьи Андреевны ничуть не улучшилось, чем я искренне огорчен. Позвольте мне выразить надежду, что, несмотря на теперешние тревоги, графиня скоро и окончательно выздоровеет.

Я был очень тронут ее вниманием ко мне, и я вам буду очень благодарен передать ей мои самые лучшие, самые искренние пожелания.

Как только я приехал сюда, то есть в среду утром, я немедленно отправился к А. А. Столыпину, брату премьера, и передал ему ваш привет и вашу просьбу.

Со своей стороны я прибавил от себя все, что я только мог, чтобы разъяснить дело почтенного С. Т. Семенова. На другой день после приезда я вновь явился к нему и вручил ему оправдательную записку, составленную самим С. Т. Семеновым.

Об исходе моих хлопот я ничего положительного не знаю, но вчера же вечером Ф. Батюшков, директор «Мира божьего», уверял меня, что он знает от достоверных источников, что эти хлопоты достигли своей цели.

Я очень обрадовался такому успешному результату, и как только получу официальное подтверждение его, я немедленно извещу самого Сергея Терентьевича об этом.

У меня осталось самое лучшее воспоминание о тех слишком коротких часах, которые я провел у вас в Ясной. Я не забуду, что вы мне назначили свидание на будущий год, в тот же день вашего рождения, и я непременно воспользуюсь вашим столь лестным приглашением.

Прошу вас, глубокоуважаемый Лев Николаевич, передать мой нижайший привет княгине Марье Львовне и Александре Львовне и принять уверение в моей преданности к вам

Поль Буайе

СПб. Понедельник вечером.

Я останусь здесь еще две недели, а может и больше.

На конверте: Ст. Засека, Моск⟨овско⟩-Курской ж. д.
Его сиятельству
графу Льву Николаевичу Толстому.

Хлопоты о судьбе С. Т. Семенова, в которых участвовал и Буайе, не остались безрезультатными. Назначенная Семенову ссылка в Олонецкую губернию была заменена высылкой за границу.

Условленная на 1907 г. встреча Толстого с Буайе не состоялась. В 1908 г. Буайе вошел вместе с А. Франсом, Ж. Жоресом и другими в образованный в Париже комитет по чествованию Толстого в связи с его восьмидесятилетием. Буайе намеревался вновь посетить Россию и вручить Толстому французский приветственный адрес. Но это намерение не осуществилось. Больше они не виделись.

4. ЭРНЕСТ КРОСБИ

В 1891 г. Толстой получил письмо от американского писателя Эрнеста *Кросби* (1846—1906) из Египта. А в 1894 г. они встретились в России, и между ними завязались дружеские отношения, которые сохранялись затем на протяжении многих лет.

Кросби был сыном пресвитерианского пастора. Окончив курс в университете, он занял место в суде Нью-Йорка. Его предшественником на этом посту был будущий президент США Т. Рузвельт. Перед Кросби открывалась большая политическая карьера.

Он принял участие в деятельности республиканской партии, представляя собой, как он впоследствии говорил, «смесь Наполеона и Вашингтона» в одном лице. Наконец Кросби получил назначение в международный суд в Александрии.

Большим событием в биографии Кросби стал день, когда он познакомился с книгой Толстого «О жизни». «Я хорошо помню свое первое знакомство с этой книгой,— писал Кросби.— Я жил тогда в Александрии, в Египте. Когда мне случайно попался в книжном магазине французский перевод этой книги (перевод С. А. Толстой), тогда я еще мало знал Толстого. Я читал, правда, несколько лет тому назад „Анну Каренину“, и роман произвел на меня сильное впечатление. Впоследствии я прочел собрание его практических статей о вредных привычках ⟨...⟩ Все это побудило меня приобрести эту книгу „О жизни“. Принеся ее домой, я прочел ее почти в один присест» [1].

Результаты этого чтения оказались самыми неожиданными. Кросби оставил место представителя Соединенных Штатов в международном суде, отказался от политической карьеры. И первое, что он сделал, покинув Александрию,— приехал в Ясную Поляну.

Кросби, по словам Толстого, был человеком «образованным, красивым, богатым, пользующимся хорошим общественным положением». Толстой не сразу поверил в искренность его намерений. Он писал о нем Софье Андреевне: «Crosby такой, как все американцы: приличный, неглупый, но внешний» (т. 84, стр. 218). Кросби показался Толстому «наивным», в нем было нечто, «по воспитанию и нраву» чуждое.

— Что вы мне посоветуете делать теперь, вернувшись в Америку?— спросил Кросби Толстого.

«Это был вопрос, до такой степени выходящий из обычных приемов посетителей, что я удивился,— замечает Толстой,— и все-таки не понял и тогда его совершенную искренность» (т. 40, стр. 339).

Толстой посоветовал Кросби познакомиться с Генри Джорджем и «послужить его делу».

И Кросби действительно стал вскоре ревностным «джорджистом» и основал в Америке «Лигу социальных реформ».

В 1896 г. в Америке вышла в свет книга Кросби «Count Tolstoy's Philosophy of Life» («Жизнепонимание Толстого») [2].

В 1897 г. в Лондоне он опубликовал воспоминания о поездке в Ясную Поляну: «Two Days with Count Tolstoy» («Два дня с графом Толстым»). С этого времени началась его литературная деятельность [3].

С воодушевлением новообращенного Кросби принялся излагать идеи Толстого стихами, хотя, по-видимому, прежде не испытывал тяготения к поэзии.

Стихи его были очень рассудочны и риторичны. Толстой перевел на русский язык одно из них — «Fiat lux», сохранив сентенционный характер каждой строки (т. 40, стр. 341—342). Кросби «высказал свое мировоззрение» с разных сторон, «хотя, как говорил Толстой, и, к сожалению, в стихах».

Кросби принимал самое деятельное участие в заграничных изданиях произведений Толстого. Он готовил к печати переведенный Луизой Моод роман «Воскресение» в издательстве Dodd, Mead and C°.

В письме к Толстому от 8 июня 1899 г. Кросби просил разрешения «сгладить текст самым незначительным образом, но так, чтобы вопросы пола в части повествовательной раскрывались менее откровенно»: «Хищнические фирмы напечатают роман именно ради этих сцен, в надежде на успешную продажу „пикантной" книги» (см. т. 72, стр. 143).

Толстой авторизовал издание романа, о котором говорится в письме Кросби (т. 72, стр. 142).

В 1899 г. появились многочисленные заграничные издания романа «Воскресение». Искажения и купюры оказались столь значительными, что Кросби решил выступить в печати с протестом. Он писал об этом в письме Толстому.

Перевод с английского

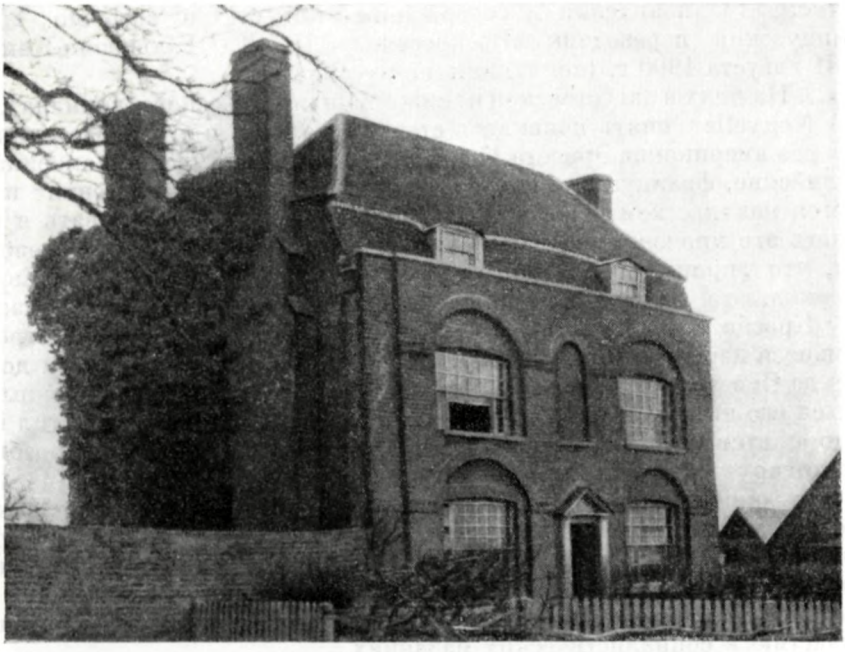
Нью-Йорк, 16 марта 1900 г.

Дорогой граф!

Наконец-то Dodd, Mead and C° выпустили «Воскресение». Изменения, на которые я согласился, очень невелики и, мне кажется, только в одном месте нарушают стройность произведения: там, где излагаются взгляды Масловой на жизнь. Они потребовали гораздо меньше изменений, чем я ожидал.

Появился еще один перевод с французского, но очень сокращенный и несовершенный. Жаль, что Додд поставил на обложке слово «полный», хотя перевод не отличается полнотой. Он уплатил мне уже триста фунтов, которые я по первому требованию передам г-же Моод. Меня совершенно не удовлетворяет бумага, на которой напечатана книга, шрифт и т. д., но Додд — один из наших лучших издателей, он знает рынок, знает, на что можно пойти при розничной цене книги в полтора доллара.

Французское издание Perrin продается здесь в двух томах. Они опустили все, что вы говорите против войны и о жизни военных. Я указал на это г. Амону, послал ему английский перевод этой главы и просил его написать об этом в «Humanité Nouvelle» [4].



ТИПОГРАФИЯ В. Г. ЧЕРТКОВА. ЗДЕСЬ ПЕЧАТАЛИСЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОЛСТОГО, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В РОССИИ
Тактон близ Крайстчерча (Англия)
Фотография, 1900-е годы
Музей Толстого, Москва

Моод говорит, что вы хотите знать, стоит ли отвечать на сообщение о том, что вы якобы «отреклись» от своего учения. Мне кажется, что это было бы благоразумно [5].

Все недоразумение вызвано вашей статьей, в которой вы говорите, что самоотвержению нет предела и что если не завшиветь и не умереть с голоду, то лучше и вовсе не вступать на путь равенства и справедливости. Это было понято так, будто вы считаете собственный опыт ошибкой. Разумеется, я понимаю, что вы не это имели в виду, но подобный вывод был не столь уж нелогичен.

Прошел также слух, что вы отказались от вегетарианства. Мне кажется, что следовало бы опровергнуть все эти домыслы.

Могу сообщить вам очень мало нового.

Вы можете увидеть Херрона [6] в скором времени.

Во время президентских выборов в ноябре поднимется вопрос об империализме и милитаризме. Боюсь, что меня одолеет искушение принять участие в голосовании — впервые за шесть лет.

От всего сердца надеюсь, что ваше здоровье восстановилось и что вы с пользою проживете еще много лет.

Любящий вас Э. Х. Кросби

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Yasnaia Poliana. Toula. Russia.

Политические мотивы протеста против империализма и милитаризма приводили Кросби к сотрудничеству в социалистических изданиях. Он написал статью «Толстой и его переводчики» и напечатал ее в «Humanité

Nouvelle». О появлении и содержании этой статьи сообщил Толстому французский переводчик «Воскресения» И. Д. Гальперин-Каминский 18/31 августа 1900 г. (подлинник по-русски):

«... На днях в августовской книжке социалистического журнала „Humanité Nouvelle" опять появилась статья „Толстой и его переводчики", на этот раз американца Эрнеста Кросби, который перечисляет американские, английские, французские и итальянские переводы „Воскресения" и возмущается нахальством переводчиков, позволивших себе урезывать и переделывать это произведение по своему усмотрению. Он говорит, между прочим, что „произвол русской цензуры превзошла не Западная Европа, а Америка, эта „страна мнимой свободы". В Германии из пяти известных г-ну Кросби переводов только в двух не выпущены главы и строки, касающиеся церкви и милитаризма. Во Франции от автора заметки достается г-ну де Визева: „В переводах г-на де Визева (Франция) мы должны подчиниться его литературному капризу. Он начал с того, что выпустил все, что было противомилитаристского в „Воскресении",— говорит Кросби и затем цитирует по моему переводу некоторые выдержки».

Есть определенная историческая логика в том, что диалог Толстого и Кросби, начинаясь с общих и философских вопросов педагогики, эстетики и этики, неизбежно приходит к злободневным темам политики, социологии и революции. Та же закономерность чувствуется и в практической работе Кросби, которого сама жизнь сталкивала с революционерами и приводила к участию в социалистических изданиях.

Кросби и сам называл себя «радикалом и революционером». В 1905 г. Кросби заговорил именно о противлении, о революции. Его письмо написано под сильным впечатлением от расстрела рабочих на площади Зимнего дворца 9 января.

Перевод с английского

Нью-Йорк, 20 января 1905 г.

Дорогой граф!

Несколько дней назад я видел новую пьесу одного нового американского драматурга. Называется она «Леа Клешма» и написана, несомненно, под влиянием «Воскресения». В ней говорится о том, что в самом ужасном преступнике можно найти и что-то хорошее и что наказание — не приносит никакой пользы.

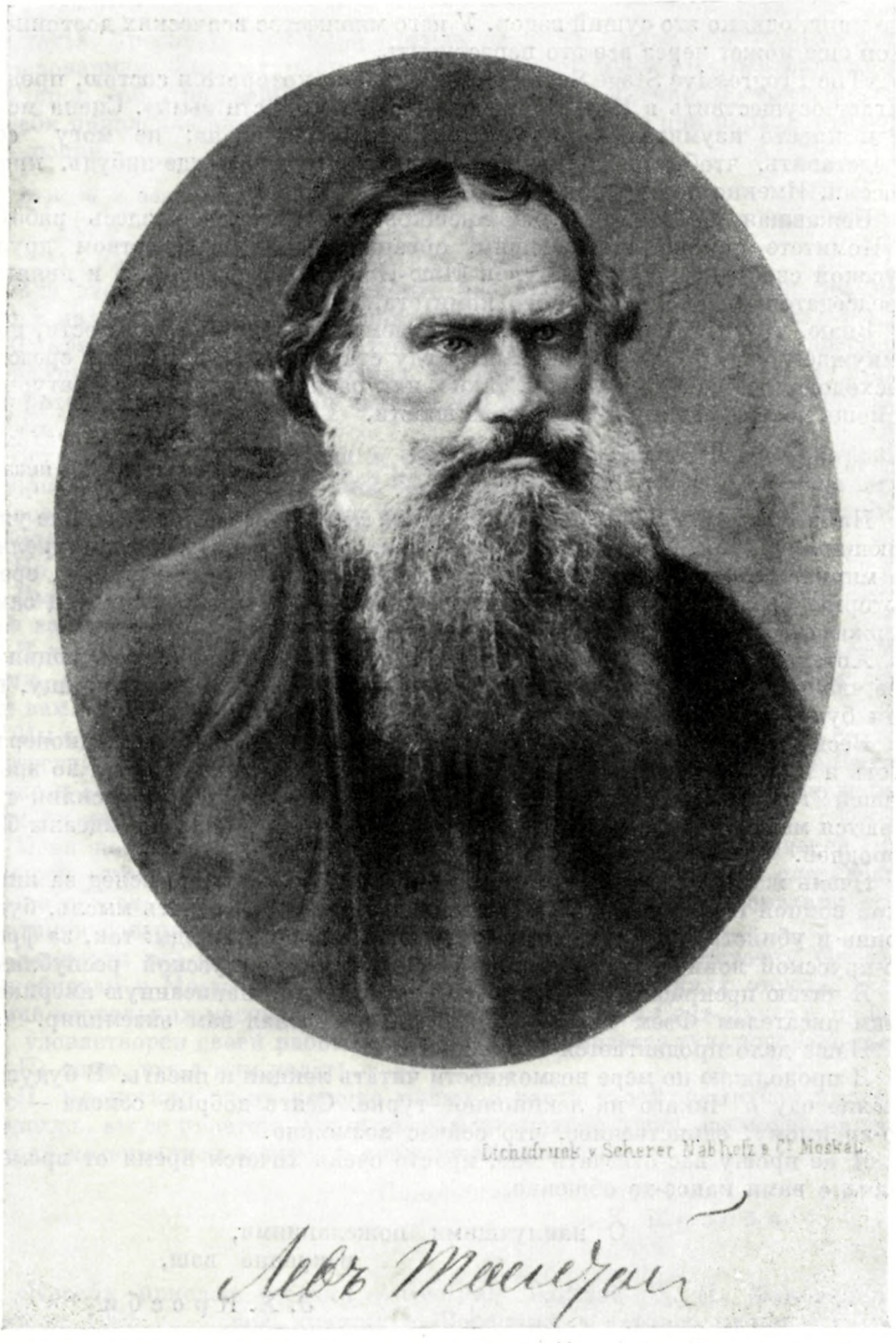
Герой пьесы застает женщину-воровку на месте преступления, вместо того чтобы ее задержать, говорит с ней по-хорошему и в конце концов наставляет на путь истинный.

Роль героини исполняет наша лучшая актриса, миссис Фиш. Театр каждый вечер в течение шести недель набит битком, и все критики отзываются о спектакле с похвалой. Это показывает, что гуманные идеи находят отклик в публике.

Посылаю вам письмо о христианстве из лондонского «Telegraph», присланное мне женой из Лондона. Оно привлекло к себе большое внимание. На протяжении месяца с лишком редакция ежедневно публиковала множество откликов на него — они занимали до пяти столбцов в день. Это также доказывает широкий интерес к серьезнейшим вопросам.

Очень сожалею, что наше правительство в Вашингтоне так реакционно: с одной стороны, они строят огромный военный флот, а с другой — готовы установить в столице позорный столб для мужей, избивающих своих жен. Г-н Рузвельт не может измыслить иного способа творить добро, как только грубой силой.

Бедный Кенворти находится в Чикаго [7]. Говорят, он все еще прекрасно читает лекции, но в частных беседах проявляется его ущемленное самолюбие. Ему кажется, что я подорвал здесь его влияние и помешал продаже



ТОЛСТОЙ

Фронтиспис финского издания рассказа Толстого «Чем люди живы» (Хельсинки, 1887)
Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

его книг, однако это сущий вздор. У него множество всяческих достоинств, и он еще может через все это переступить.

«The Progressive Stage Society», директором которого я состою, предполагает осуществить в Нью-Йорке постановку «Власти тьмы». Сцена исповеди просто изумительна! Это типично русская сцена: не могу себе представить, чтобы нечто подобное могло случиться где-нибудь, кроме России. Именно поэтому она так и сильна.

Бежавшая из Сибири г-жа Брешковская увлеклась здесь работой в Комитете помощи голодающим, организованном «Обществом друзей русской свободы». Я примкнул к Нью-Йоркскому отделению и являюсь председателем исполнительного комитета.

Знаю, что вы отнесетесь с неодобрением к подобной деятельности, но я вынужден быть более уступчивым. Буду стараться, чтобы наши средства расходовались на мирные цели, такие, как распространение литературы и помощь пострадавшим от произвола власти.

Понедельник, 23 января.

На этом месте меня прервали. С тех пор произошли вчерашние ужасающие события. Кажется невероятным, чтоб солдаты могли стрелять в мирное шествие безоружных людей, своих соотечественников, среди которых были женщины и дети. Надеюсь, что это означает конец самодержавия.

Хотелось бы, чтобы повторилась мирная бразильская революция и все члены царствующей фамилии были спокойно высланы за границу, где они будут совершенно безвредны.

Весь американский народ и печать сочувствуют революционерам. Хоть я и не являюсь сторонником насилия, но, как и Гаррисон во время нашей гражданской войны, считаю: если уж приверженцы насилия сражаются между собой, то пусть лучше победит та сторона, чьи идеалы благородней.

Очень жаль, что восстание произошло непосредственно вслед за японской войной и убийством Плеве, так как это может вызвать мысль, будто война и убийство способны приносить иногда добрые плоды: так, за франко-прусской войной последовало образование Французской республики.

Я читаю прекрасную книжку о непротивлении, написанную американским писателем Фэем Милсом. Надеюсь, он послал вам экземпляр.

Наше дело продвигается потихоньку.

Я продолжаю по мере возможности читать лекции и писать. В будущем месяце еду в Чикаго на лекционное турне. Сеять добрые семена — это, по-видимому, единственное, что сейчас возможно.

Я не прошу вас отвечать мне, просто очень хочется время от времени иметь с вами какое-то общение.

С наилучшими пожеланиями,
искренне ваш,

Э. Х. Кросби

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Yasnaia Poliana. Toula. Russia.

В октябре 1903 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «Занят теперь очень неожиданной работой, кот〈орая〉 вот уже скоро месяц отвлекла меня от моих более нужных работ. Это начатое мною предисловие к статье Crosby об отношении Шекспира к рабочему народу, кот〈орое〉 переросло статью Crosby и стоило мне большого труда» (т. 88, стр. 309).

Статья Кросби о Шекспире отнюдь не была отвлеченно-эстетическим исследованием. Литературная полемика превращалась в самый злободневный спор «об отношении к рабочему классу». Именно поэтому статья Кросби привлекла внимание Толстого в самые бурные дни первой русской революции.

Перевод с английского

Райнбек. Нью-Йорк. 1 июля 1905 г.

Дорогой граф!

Мне очень неприятно беспокоить вас своей просьбой. Если она вас хоть в малейшей степени затруднит, пожалуйста не выполняйте ее.

Файфилд хочет издать мою книгу «Шекспир и рабочий класс», поскольку в Англии она еще не выходила. Вы как-то писали мне о ней в очень одобрительном тоне. Слышал также, что вы с похвалой отзывались о ней другим.

Вступительное ваше слово к этой книге обеспечило бы ей широкое распространение в Англии. Нам бы очень хотелось получить такое предисловие, достаточно несколько строк или столько, сколько вам покажется нужным.

Но повторяю: если моя просьба докучает вам, забудьте о ней.

Высылаю вам еще один экземпляр своей книги, на случай, если вы ее уже забыли.

Я готовлю книжку о Гаррисоне и хочу вам ее послать. По-видимому, своим успехом в странах английского языка он во многом обязан вам.

Мы с острым вниманием следим за событиями в России. От всего сердца сочувствую забастовке во флоте, но не убийству офицеров и не бомбардировке и поджиганию мирных городов. Должно быть, революция не может быть ни мирной, ни благоразумной.

Меня посетил вчера очень приятный человек — артист Орленев. Он намерен остаться еще на одну зиму в Нью-Йорке и хочет в следующем сезоне создать свой собственный театр. Он и его труппа поразили всех критиков совершенством исполнения.

Кенворти все еще здесь. Вчера я получил от него весточку. Он едет к шейкерам в Маунт-Лебанон — примерно в сорока милях отсюда. В течение нескольких месяцев он выступал с лекциями в Сент-Луисе и, кажется, удовлетворен своей работой там, так как собирается туда возвращаться.

Не знаю, что с ним делать.

П. Кропоткин очень хорошо пишет о вас в своей последней книге [8]. Надеюсь, вы ее прочтете. Он человек благородной души, несмотря на свой явный материализм и веру в преимущество силы.

По-сыновнему любящий вас
Э. Х. Кросби

«Кросби прислал сегодня,— говорил Толстой Д. П. Маковицкому 5 июля 1905 г.,— свою книжку о Шекспире, в которой пишет о грубом отношении его к рабочему народу. У Шекспира clown означал мужика. Пишет, что желал бы, чтобы моя статья была предисловием к его книге. Я затем и написал ее» (см. т. 76, стр. 5).

«Я давно написал,— сообщал Толстой в письме к Кросби в июле 1905 г.,— к вашей статье о Шекспире предисловие, которое разрослось в целую книгу. Думаю, что издам ее, когда она будет переведена» (т. 76, стр. 4). То, что вначале было задумано как предисловие к статье Кросби, получило известность как трактат Толстого «О Шекспире и о драме», который начинается словами: «Статья г-на Э. Кросби ⟨...⟩ навела меня на мысль

высказать и мое, давно установившееся, мнение о произведениях Шекспира...» (т. 35, стр. 216).

В переписке Кросби и Толстого разговор о Шекспире переплетается с обсуждением новостей политической жизни мира и событий русской революции.

Перевод с английского

Райнбек. 4 августа 1905 г.

Дорогой граф!

Очень благодарен вам за то, что вы так скоро откликнулись на мою просьбу. Рад был услышать, что моя брошюра о Шекспире послужила вам поводом к тому, чтобы написать книгу. Думаю, что самое большее, чем я могу быть полезен, это давать вам такого рода побуждения.

Я попрошу Файфилда отложить издание моего исследования в Лондоне до той поры, пока не выйдет ваша работа.

Излишне говорить, как мне не терпится прочесть то, что вы написали о Шекспире.

Рад был также узнать, что вы ожидаете важных последствий от теперешней революции. Какое счастье, что вы — наш современник и можете дать революционерам совет!

Насколько я понял, ваша статья в «Times» (я еще не прочел ее!) говорит о том, что, по вашему мнению, Россия укажет всему миру путь к разрешению земельного вопроса [9]. В нескольких из своих выступлений прошлой зимой я также на это указывал. Другие ораторы утверждали, будто Россия должна достичь того, чего достигла Америка, но я отвечал: «Нет! Этого недостаточно».

Россия должна пойти гораздо дальше, а мы последуем за нею. В России, кроме того, земельный вопрос стоит гораздо острее, чем в нашей индустриальной стране, и с вашим правительством его легче разрешить.

Мирные переговоры должны вскоре начаться, и я надеюсь, что они закончатся успешно. Тем не менее как нелепо со стороны Рузвельта выступать в качестве апостола мира!

Надеюсь, что вскоре приезд в Россию без паспорта окажется возможным. Рассчитываю, что буду хорошо принят в вашей стране, так как я радикал и революционер. Теперешняя обстановка в России соблазняет меня поехать и насладиться ею.

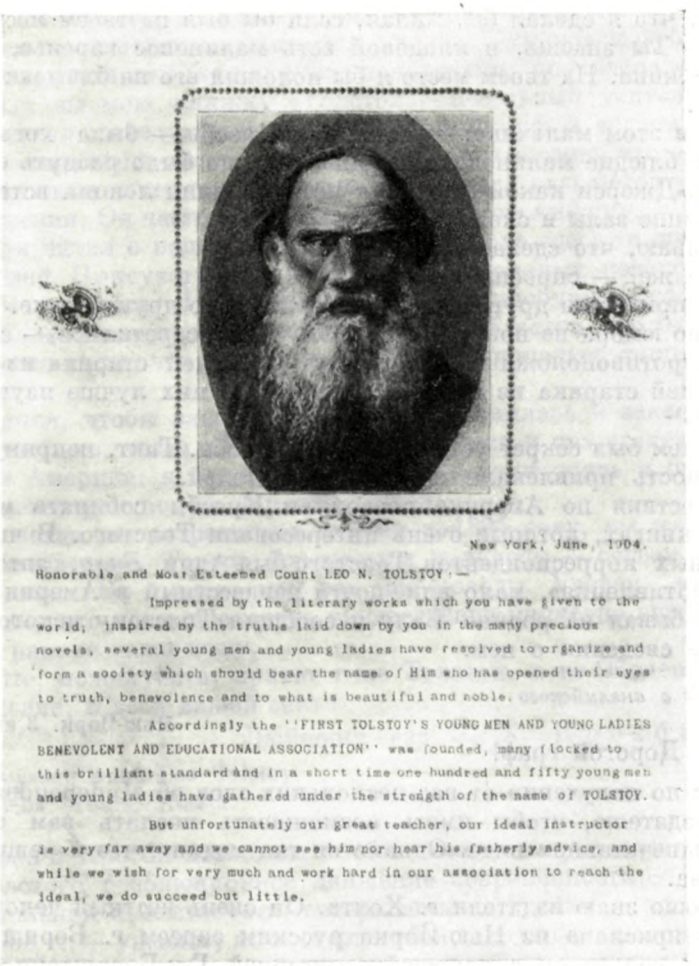
Искренне ваш Э. Х. К р о с б и

P. S. Мне было грустно узнать, что князь Кропоткин занимает в вашей нынешней войне шовинистические позиции.

В 1906 г. статья Толстого печаталась отдельными главами в газете «Русское слово» и, наконец, в 1907 г. была опубликована в Лондоне в переводе на английский язык вместе с книгой Кросби [10].

Из сочинений Кросби о Толстом наиболее удачной следует признать книгу «Толстой как школьный учитель», выдержавшую несколько изданий на английском и русском языках. Описание яснополянской школы было не только верным, но и выполненным с литературным блеском. «Ваша книга „Tolstoy as Schoolmaster“,— писал впоследствии Толстой,— переведена на русский язык, что доказывает, что она хороша» (т. 76, стр. 138).

Особенное внимание педагогов привлекала глава «Методы обучения», где рассказано о том, как Толстой открывал в своих учениках истинных художников, которых по силе творчества он готов был поставить «выше Гете».



New York, June, 1904.

Honorable and Most Esteemed Count LEO N. TOLSTOY :—

Impressed by the literary works which you have given to the world, inspired by the truths laid down by you in the many precious novels, several young men and young ladies have resolved to organize and form a society which should bear the name of Him who has opened their eyes to truth, benevolence and to what is beautiful and noble.

Accordingly the ''FIRST TOLSTOY'S YOUNG MEN AND YOUNG LADIES BENEVOLENT AND EDUCATIONAL ASSOCIATION'' was founded, many flocked to this brilliant standard and in a short time one hundred and fifty young men and young ladies have gathered under the strength of the name of TOLSTOY.

But unfortunately our great teacher, our ideal instructor *is very far away and we cannot see him nor hear his fatherly advice*, and while we wish for very much and work hard in our association to reach the ideal, we do succeed but little.

АДРЕС ТОЛСТОМУ ОТ НЬЮ-ЙОРКСКОГО ЮНОШЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЕГО ИМЕНИ. 17 ИЮНЯ 1904 г.
Страница первая
Архив Толстого, Москва

Японский педагог Секи *Насияма*, познакомившись с книгой Кросби, писал Толстому: «Вы пришли к заключению, что конечная цель воспитания есть гармоническое развитие личности, сочетание в ней правды, добра и красоты. Эта точка зрения очень близка к взглядам Песталоцци, а ваше требование естественности очень напоминает „Эмиля“ Руссо ⟨...⟩

Наибольшим откровением в ваших воззрениях является подход к ребенку с романтической прозорливостью. Чрезвычайно важны и ваши успехи, достигнутые при обучении сочинительству. Это великое педагогическое открытие — результат ваших мимолетных наблюдений — должно занять важное место в истории педагогики» [11].

Кросби ездил по городам Америки с лекциями о Толстом. Его выступления собирали большую аудиторию. Особенным успехом пользовались рассказы о яснополянской школе.

Вот один из рассказов Кросби. Однажды во время игры крестьянский мальчик обидел девочку — дочь Толстого. Он ударил ее палкой по руке, и она с плачем явилась к отцу, требуя, чтобы он наказал обидчика.

— Вот что я сделал бы, милая, если бы был на твоем месте,— сказал Толстой.— Ты знаешь, в кладовой есть малиновое варенье, оставшееся вчера от ужина. На твоем месте я бы положил его на блюдечко и отнес бы мальчику.

«Если в этом мальчике,— восклицал Кросби,— была хоть искра добра, то это блюдце малинового варенья должно было раздуть ее в пламя!»

В Нью-Джерси какой-то старик по окончании лекции встал со своего места в конце залы и сказал:

— Я знаю, что сделает этот мальчик.

— Что же? — спросил Кросби.

— Он придет на другой день и ударит ее по другой руке.

Чувство юмора не покинуло Кросби. «Мы встретились,— сказал он,— с двумя противоположными теориями — теорией старика из Нью-Джерси и теорией старика из России. Который из них лучше изучил природу человека?»[12]

Вот в чем был секрет успеха лекций Кросби. Такт, непринужденность, естественность привлекали к нему слушателей.

Путешествия по Америке позволяли Кросби собирать материалы о людях и книгах, которые очень интересовали Толстого. В числе первых иностранных корреспондентов Толстого был Адин *Балу*, автор «Катехизиса непротивления», мало или почти неизвестный в Америке писатель. Кросби побывал на родине Балу и сообщил Толстому некоторые дополнительные сведения о нем.

Перевод с английского

Нью-Йорк. 3 апреля 1906 г.

Дорогой граф!

Тотчас по получении от вас нескольких слов об «Independent» я отправился к издателю, чтобы иметь возможность послать вам его разъяснение в напечатанном виде. Однако он так медлит, что я решил написать вам сперва.

Я хорошо знаю издателя г. Холта. Он очень честный человек. Статья была ему прислана из Нью-Йорка русским евреем г. Бернштейном, талантливым человеком с хорошей репутацией. Г-н Бернштейн был у меня и уверял, что он перевел статью из русских газет, присланных ему его двоюродной сестрой из России.

Я просил г. Бернштейна написать вам об этом и надеюсь, что он так и сделал.

Я пришлю ее вам, как только она будет напечатана в «Independent» [13].

Нынешней зимой я выступал много раз, даже в таких отдаленных местах, как Сент-Пол и Сент-Луис на реке Миссисипи. Я читал лекции на разные темы, в том числе об американских писателях Гаррисоне и Уитмене. Но сейчас Комитет выбрал другую тему: «О Толстом»; эта лекция— самая удачная из всех. И хотя я выступаю перед разными аудиториями (в том числе в ортодоксальных протестантских церквах, университетах и т. п.) — они всегда с удовольствием слушают о вас и о ваших произведениях.

Надеюсь, вы получили мою книжечку о Гаррисоне. Я высказал в ней свои последние мысли о непротивлении и хочу надеяться, что они не вызовут вашего неодобрения.

На прошлой неделе я читал в Массачусетсе, и мне случилось проезжать через Хопдейл, городок, в котором жил Адин Баллу [14]. Имя его совершенно неизвестно широкой публике, но у себя на родине он глубоко почитаем. Его бронзовая статуя стоит в городском парке, и те люди, с которыми я говорил, считают, что он был благородным человеком, производил глубокое впечатление и всегда смело высказывал свои взгляды, независимо от того, были ли они популярны.

На той фабрике, где работали его колонисты, сейчас три тысячи человек. Но, к несчастью, это теперь всего лишь доходное предприятие. Кажется, они производят машины для хлопчатобумажных фабрик.

Холмистая местность эта, окруженная лесами, прекрасна.

Читали ли вы мою книжку «Толстой — школьный учитель»?

Г-н Максуелл, заведующий школами Нью-Йорка, в ведении которого находится полмиллиона детей или около того, сказал мне, что он в восторге от этой книжки и что ему особенно понравился ваш метод учить детей писать сочинения. Он часто цитирует учителям мою книжку.

Недавно я читал о вашей яснополянской школе здесь, в школе подготовки учителей. Присутствовало от 200 до 300 молодых педагогов. Очень всем им понравилось. Наши педагоги явно пробуждаются от долгой спячки. Влияние ваше проявляется в стольких областях, что вы не должны пенять на меня за то, что в поле моего зрения попадает лишь малая его часть.

Мне хочется, чтобы ваша революция поторопилась и закончилась бы скорее, потому что, когда в России все успокоится и она станет более свободной, чем Америка, я приеду повидаться с вами опять и буду с вами вместе превозносить новый порядок вещей.

Помню, когда мы встретились с вами в 1894 году, вы назвали меня «молодым человеком». Теперь борода моя и волосы — совсем седые, мне скоро пятьдесят. Но чувства мои все еще молоды. Уверен, что и у вас также, потому что ваше последнее произведение написано еще с большей силой, чем ранние ваши вещи.

Передайте, пожалуйста, привет г-же Толстой, г-же Оболенской, которая мне писала, и всей вашей семье.

Любящий вас Э. Х. Кросби

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Yasnaia Poliana. Toula, Russia.

Переписка с Кросби позволяет особенно ясно почувствовать, как волновало Толстого революционное движение современности.

«Преступления и жестокости, совершаемые в России,— писал Толстой 19 июля 1905 г.,— ужасны, но я твердо убежден, что эта революция будет иметь для человечества более значительные и благотворные результаты, чем Великая французская революция» (т. 76, стр. 5).

В 1906 г. Кросби встретился с Горьким. Во время пребывания в Америке Горький посещал летний клуб философов. По-видимому, здесь (Кросби не указывает точно места встречи) и произошла их беседа.

Перевод с английского

Райнбек. 18 июня 1906 г.

Дорогой граф!

Я только что наткнулся на две цитаты из Аристотеля, которые должны вам понравиться. Не знаю, упоминаете ли вы их в «Что такое искусство?» В книге нет алфавитного указателя. Полные указатели составляют гордость английских и американских изданий. На других языках они редко составляются. Вот эти выдержки:

«Следовательно, народ в целом судит и о музыке, и о поэзии: ибо один судит об одной какой-то части, другие — о другой, но все вместе — обо всем» (Аристотель. «Политика», III). «Следовательно, толпа является во многих вещах лучшим судьей, чем любой человек в отдельности, кем бы он ни был» (там же, III).

Аристотель считал, что афинский народ является лучшим критиком, нежели литераторы. Этим он отличается от Платона, считавшего, что лучшими судьями являются только самые образованные из философов.

На днях я обедал с Горьким, и у нас с ним был интересный разговор. Он говорил по-русски, я по-французски, а жена его переводила.

Думаю, что вам известна его точка зрения: он полагает, что любить все человечество, любить всех — невозможно. Это, по его словам, обман, лицемерие, притворство. «Невозможно любить гадких, грязных, неприятных людей»,— говорил он.

Я ответил, что восторгаюсь его рассказами именно потому, что они показывают, как он любит гадких, грязных, неприятных людей.

«Нет,— сказал он,— моя цель: с помощью моих произведений поднять людей до моего собственного уровня, чтоб я мог искренне их любить, чтоб таким путем мне стало приятно жить на свете».

Я утверждал, что это эгоизм; он возразил, что, напротив, как раз попытка любить все «человечество» есть эгоизм, удовлетворение своей личной потребности получать удовольствие.

Горький проводит здесь лето с моими друзьями. Он очень кашляет, но отказывается двигаться, быть на воздухе, хотя это весьма существенно для его здоровья. С большим трудом удается уговорить его пройтись немного по саду во вторую половину дня. Все остальное время он проводит в плохо проветренной комнате и, кроме того, курит.

Хотя мне не по душе его философия, сам он произвел на меня очень хорошее впечатление. По-видимому, он человек вдумчивый, серьезный и искренний.

Жена его — очень умная и приятная женщина.

Не помню, писал ли я вам, что прошлой осенью ездил слушать «Короля Лира». Меня пригласил один мой приятель-актер, который мечтает сыграть когда-нибудь Лира и поэтому очень им увлечен. Во время сцены бури он заснул крепким сном и долго не просыпался, а я отчаянно скучал. Прошлой зимой я как-то отправился в оперу послушать Зигфрида. Рядом со мной в ложе сидело двое мужчин. Когда свет погас, они оба заснули, а я им завидовал. Сколько лицемерия царит в вопросах искусства!

Очень хотелось бы, чтоб вы убедили Думу и познакомились с проектом Генри Джорджа по земельному вопросу. Он применим к земельной собственности и в городе и в деревне, однако ни в одной из работ я не встретил упоминания о нем.

Читая вчера «93 год» Гюго, я нашел в пятой главе седьмой книги два интересных места: «Я не хочу никаких налогов. Я хочу, чтобы общественные расходы были сведены к простейшим формам и оплачивались бы из избытков общественных средств» *. Это и есть единый налог. И дальше: «Пусть каждый человек получит землю, пусть каждый клочок земли получит хозяина» **. Вот чего хотят крестьяне. Но прирост населения сделает последнее пожелание невыполнимым, тогда как единый налог применим при любых обстоятельствах.

Н. В. Чайковский был здесь с целью достать денег на вооружение народа. Конечно, я не стал ему помогать. На этой неделе он едет через Англию в Россию.

Я не жду ответа на это письмо.

С глубочайшей любовью
ваш друг Э. Х. К р о с б и

Мне приятно, что вы называете меня «молодым». Мне пошел уже пятидесятый год!

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Yasnaia Poliana. Toula, Russia.

---

* «Je ne veux point d'impôt du tout. Je veux la dépense commune réduite à sa plus simple expression et payée par la plus-value sociale».

** «Que tout homme ait une terre et que toute terre ait un homme».

Выписки из Аристотеля и суждения о «Короле Лире» Шекспира и «Зигфриде» Вагнера по духу своему вполне соответствуют идеям Толстого, выраженным в его книгах «Что такое искусство?» и «О Шекспире и о драме», под влиянием которых и написано это письмо.

В разговоре с Кросби Горький, в сущности, повторил в более заостренной форме ту же мысль, которую он однажды высказал в разговоре с Толстым.

«Я сказал,— пишет Горький в своих воспоминаниях о Толстом,— что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу всеми способами, даже и насилием»[15].

Разговоры Горького с Толстым и с Кросби были отзвуками тех общественных настроений, которые предвещали революцию и свидетельствовали о том, что поражение 1905 г. не есть еще развязка социального конфликта.

Кросби в 1906 г. обещал Толстому приехать в Россию «после перемены». Толстой торопил его: «Не откладывайте своего приезда в Россию до окончания нашей революции. Это будет не так скоро. Что касается беспорядков, происходящих сейчас, они только предвестники великой революции, которая, надеюсь, начнется везде одновременно и будет состоять в уничтожении государственной власти. Вы еще молодой человек и, может быть, увидите эту великую перемену. Я же — нет. Поэтому чем скорее вы приедете, тем более у меня вероятий еще раз увидеть вас перед моим большим путешествием» (т. 76, стр. 138—139).

В январе 1907 г. Толстой неожиданно получил известие о смерти Кросби. Читая статью о нем в журнале «Public», Толстой не мог сдержать слез.

Письма Кросби интересны прежде всего потому, что они раскрывают перед нами характерную картину: конкретные социальные проблемы властно и настойчиво врывались в отвлеченно-религиозные спорыт о непротивлении.

Общение с Толстым и Горьким позволило Кросби почувствовать умсвенную атмосферу России эпохи первой русской революции, и «веяние времени», сохранившееся в его письмах, придает им значение важных исторических документов.

V

ВСТРЕЧИ

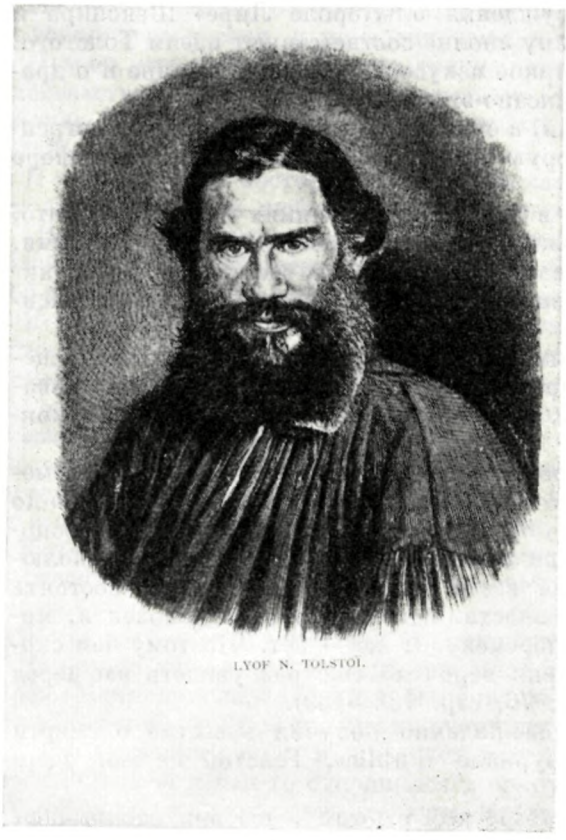
1. ИЗАБЕЛЛА ХЭПГУД

Весной 1893 г. профессор Московского университета, экономист и статистик, И. И. Янжул уезжал на Международную выставку в Чикаго. И хотя у него было вполне официальное поручение министерства финансов, он счел необходимым заручиться рекомендательными письмами Толстого.

Как вспоминал потом Янжул, письма эти, подобно волшебному «сезаму», открывали перед ним в Америке все двери.

Толстой, со своей стороны, попросил Янжула отвезти в Нью-Йорк для переводчицы Изабеллы Флоренс *Хэпгуд* (1850—1928) рукопись своей новой книги.

«Зная хорошо, что воззрения Льва Николаевича часто расходятся с существующими у нас цензурными, я решил заранее просить передать мне



ТОЛСТОЙ

Гравюра Этьенна Паннемакера

Фронтиспис первого американского издания книги: «Childhood, Boyhood, Youth. By Count Lyof N. Tolstoï. Translated from the Russian by Isabel F. Hapgood». New York. 1886

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

это сочинение закрытым пакетом для передачи Гэпгуд,— писал об этом поручении Янжул,— чтобы я мог с чистой совестью не знать, какое сочинение было привезено мною от Толстого в Америку» [1].

Профессор Янжул имел все основания для беспокойства. В синем пакете, переданном ему на Брестском вокзале, была рукопись книги «Царство божие внутри вас», одного из наиболее острых произведений толстовской публицистики.

Толстой отлично понимал, что книгу невозможно было напечатать в России. Но не просто было найти издателя и за границей. Один не согласится с идеями книги, другой «заробеет» перед цензурой. Во всяком случае, Толстой уполномочил Янжула отдать рукопись для издания «желающему и компетентному лицу, если таковое найдется».

По-видимому, у Толстого были некоторые сомнения относительно Хэпгуд. «Янжул профессор едет в Америку,— писал Толстой Черткову 17 марта 1893 г.— Я с ним посылаю Гапгуд мою рукопись всю ⟨...⟩ Удобно то, что Янжул поможет Гапгуд в трудных местах и, в случае отказа Гапгуд, даст другому» (т. 87, стр. 182).

Толстой знал Хэпгуд давно. Еще в 1886 г. в нью-йоркском издании N. H. Dole появился ее английский перевод «Детства», «Отрочества» и «Юности» [2]. Будучи секретарем русского симфонического общества в Нью-Йорке, Хэпгуд с большим увлечением знакомила своих соотечественников с литературной и музыкальной классикой России [3].

Летом 1886 г. Хэпгуд прислала Толстому первое издание перевода «Детства», «Отрочества» и «Юности», свою книгу о русских былинах [4] и письмо.

Перевод с английского

Бостон, 24 августа 1886 г.

Милостивый государь!

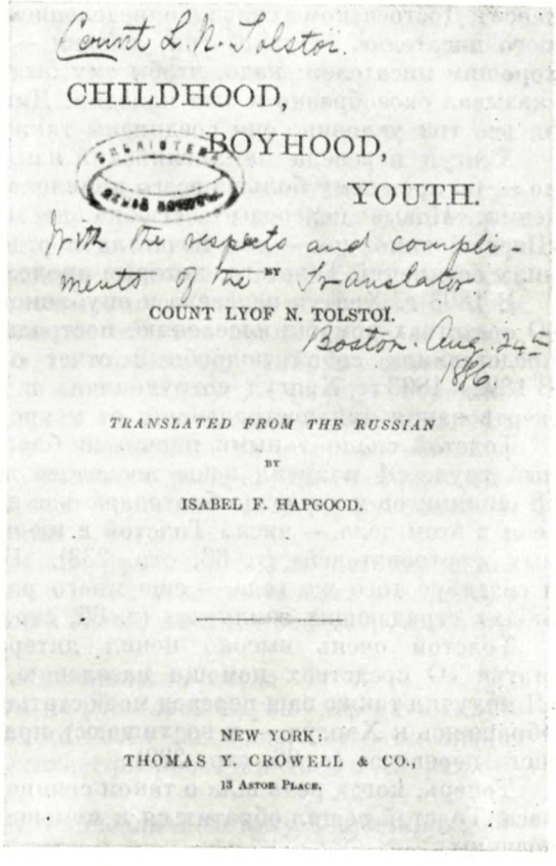
Посылаю вам сегодня почтой экземпляр вашей книги «Детство», «Отрочество», «Юность». Мне выпали счастье и честь перевести ее на английский язык. Надеюсь, что перевод вам понравится. Посылаю вам также мои «Русские былины». Думаю, что вас заинтересует попытка объединить, подобно вам, несовершенные отрывки былин в одно прекрасное целое. Когда я начала эту работу, я не знала о ваших усилиях в этом направлении [5]. Впервые мне удалось увидеть их в тот день, когда я выправила свою последнюю гранку.

Каждый американец — восторженный почитатель ваших произведений. Мы сожалеем только о том, что вы не пишете больше, и надеемся, что вы дадите нам еще роман в дополнение к вашим шедеврам — «Войне и миру» и «Анне Карениной» — чтобы составить своего рода трилогию.

Сожалею, что эти романы были так искажены, так плохо переведены с французского, а не с подлинника. Но даже и в таком виде они пробудили чувство сердечной и нежной привязанности к вам как к человеку и безграничное восхищение писателем.

Больше всего привлекают читателей те места, где, как нам кажется, мы заглядываем в душу Льва Толстого-человека.

Я не решаюсь писать к вам по-русски: мне не хватает практики, но читать на вашем благородном языке я умею.


Count L. N. Tolstoi.

CHILDHOOD,

BOYHOOD,

YOUTH.

With the respects and compliments of the Translator.

COUNT LYOF N. TOLSTOÏ.

Boston. Aug. 24th 1886.

TRANSLATED FROM THE RUSSIAN

BY

ISABEL F. HAPGOOD.

NEW YORK:
THOMAS Y. CROWELL & CO.,
13 Astor Place.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ИЗАБЕЛЛЫ ХЭПГУД НА ПЕРВОМ АМЕРИКАНСКОМ ИЗДАНИИ ТРИЛОГИИ «ДЕТСТВО», «ОТРОЧЕСТВО», «ЮНОСТЬ» (НЬЮ-ЙОРК, 1886)

«Графу Л. Н. Толстому. С уважением и приветом от переводчицы. Бостон. Авг(уста) 24-го. 1886».

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Надеюсь узнать, как вам понравились обе книги. Будьте добры, сообщите мне, какой из двух ваших портретов обладает наибольшим сходством: тот, который приложен к переводу, или же недавно опубликованный в «Les Lettres et les Arts».

Я горячая поклонница русской литературы, и никто не дал мне более сердечной радости (это точное определение), чем вы.

Искренне благодарная вам за вашу жизнь и ваши книги,

Изабелла Флоренс Хэпгуд

1, Mt. Vernon Str.
Бостон. Массачусетс. США.

Так состоялось заочное знакомство Толстого с переводчицей Хэпгуд. Вскоре, в ноябре того же 1886 г., она сама пожаловала в Ясную Поляну.

Пережив духовный кризис, Толстой, как известно, стал называть свои художественные произведения «баловством» и уверял, что «искать смысла в этом нельзя» (т. 23, стр. 40).

«— Отчего не пишете? — спросила Толстого Хэпгуд.

— Пустое занятие,— ответил Толстой.

— Отчего?

— Книг слишком много,— ответил Толстой,— и теперь, какие бы книги ни написали, мир пойдет все так же. Если бы Христос пришел и отдал в печать Евангелия, дамы постарались бы получить его автографы, и больше ничего» (т. 50, стр. 5).

Хэпгуд описала свою поездку к Толстому в очерке, который был опубликован после ее возвращения в Америку в журнале «Atlantic Monthly» [6]. Между прочим, в этом очерке сохранилось высказывание Толстого о Диккенсе и Достоевском в связи с определением того, что необходимо для «хорошего писателя». «Нужны три условия,— говорил Толстой,— чтобы быть хорошим писателем: надо, чтобы ему было о чем говорить, чтобы он рассказывал своеобразно и был правдив. Диккенс соединяет в высшей степени все три условия; они соединены также у Достоевского» [7].

Хэпгуд перевела на английский язык книгу Толстого «О жизни», но ее по-прежнему больше всего привлекали его художественные произведения. Новые переводы — «Рубка леса», «Севастопольские рассказы», «Первый винокур» — она печатала и отдельными изданиями, и в собраниях сочинений Толстого, которые продолжал издавать Н. Х. Доул.

В 1893 г. Хэпгуд перевела и опубликовала в Америке статью Толстого «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Эта статья представляла собой подробный отчет о работе Толстого «на голоде». В 1892—1893 гг. Хэпгуд сотрудничала в организациях, собиравших пожертвования для пострадавших от неурожая крестьян.

Толстой специальными письмами благодарил Хэпгуд за ее благородный труд. «Я получил ваше последнее письмо с боном на пять фунтов 18 шиллингов и сердечно благодарю вас за хлопоты, которые вы взяли на себя в этом деле,— писал Толстой в июне 1892 г.,— а также великодушных жертвователей» (т. 66, стр. 233). «Благодарю вас,— писал Толстой в сентябре того же года,— еще много раз за все ваши труды на пользу наших страдающих земляков» (т. 66, стр. 256).

Толстой очень высоко ценил литературные достоинства перевода статьи «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». «Я получил также ваш перевод моей статьи о нашем деле,— писал Толстой, обращаясь к Хэпгуд,— и восхищаюсь правильностью и изяществом вашего перевода» (т. 66, стр. 233).

Теперь, когда речь шла о таком сочинении, как «Царство божие внутри вас», Толстой решил обратиться к помощи уже известной и опытной переводчицы.

Наконец, состоялась встреча Янжула с Хэпгуд в Нью-Йорке. «Г-жа Хэпгуд,— пишет в своих воспоминаниях Янжул,— женщина, как мне показалось, по крайней мере, необыкновенного большого роста — настоящий гренадер; говорит громким, почти мужским голосом и производит вообще сильное впечатление как дама с весом и значением».

Все переговоры с Янжулом Хэпгуд вела на русском языке. «Кстати,— добавляет Янжул,— она все время говорила на ломаном русском языке и отклонила все попытки моей жены, владеющей совершенно свободно английским языком, говорить по-английски».

Хэпгуд взяла рукопись для ознакомления, и Янжул сообщил об этом Толстому.

Подлинник по-русски

Нью-Йорк. 26 апреля 1893 г.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Только вчера прибыв сюда, ваше поручение исполнено, хотя, как вы увидите на следующей странице, и не совсем, так как г-жа Hapgood пожелала предварительно прочесть рукопись. Как только получу от нее решительный ответ, немедленно вам сообщу, надеюсь, на этой же неделе.

Искренне преданный
Ив. Янжул

Мой глубокий поклон Софье Андреевне.

К письму Янжула приложена расписка переводчицы:

Рукопись Л. Н. Толстого от проф. Янжула получила, условия выслушала и дам ответ на этих же днях письменно.

Isabel F. Hapgood

На конверте: Russia. Moscow.
Москва. Долгохамовнический пер.
близ Девичьего поля, собств⟨енный⟩ д⟨ом⟩.
Его Сиятельству Льву Николаевичу Толстому.

Противоцерковные идеи Толстого, его новое, чисто этическое толкование религиозных вопросов должно было произвести на Хэпгуд, которая искала в русской музыке и литературе именно «церковный, религиозный дух», самое неблагоприятное впечатление. Вместе с тем нужно отметить, что Хэпгуд не приняла не только антицерковные, но и политические идеи Толстого. Это обстоятельство решающим образом повлияло на ее ответ. Недаром она, мотивируя свой отказ, назвала книгу «анархической».

«Спустя несколько дней,— рассказывает Янжул,— фигура огромной г-жи Хэпгуд опять появилась на пороге нашего скромного жилища. Мы, разумеется, ее приветствовали очень любезно, но на этот раз нашли ее в самом дурном настроении духа. С большим раздражением, можно сказать, гневом, она бросила мне на стол огромный сверток рукописи, ей врученной ранее, и быстро заговорила:

— Я удивляюсь, как мне подобная рукопись могла быть прислана для перевода! Я хорошая христианка и не могу сочувствовать распространению этого анархического сочинения! Знаете ли вы, профессор, что в нем заключается? Читали ли вы его?

Янжул заверил Хэпгуд, что он этой книги не читал.

— Ну, вот это и видно, иначе вы не решились бы мне передать такую рукопись, которая никем уважающим себя не может быть одобрена. Она не должна быть переведена и не может распространяться в Америке!— кричала она резким, сердитым тоном.

Хэпгуд тогда же, не откладывая, написала Толстому о причинах, заставивших ее отказаться от перевода.

Перевод с английского

Нью-Йорк. 28 апреля 1893 г.

Милостивый государь Лев Николаевич!

Профессор Янжул передал мне рукопись вашего «Царства божия». Сердечно благодарю вас за то, что в выборе переводчика вы остановились на мне. Это доказывает, что вы очень добры ко мне и оценили добросовестность, с которой я работаю.

Я в несколько дней прочла книгу — не всю, но столько, сколько могла прочесть, столько, сколько было необходимо для того, чтобы принять решение.

Мне очень жаль, но мои убеждения не позволяют мне переводить эту книгу.

Я не стану говорить о ней в печати и вообще ни словом не обмолвлюсь о ней, даже если она будет кем-нибудь опубликована, за исключением того, что сказала вам сейчас: я не могу по совести согласиться с ней и поставить на ней свое имя.

Я порекомендовала проф. Янжулу человека, который сможет ее хорошо перевести.

По чувству долга я предостерегла его от г-на Н. Х. Доула, который берется за переводы русских произведений, когда у него есть французский перевод, которым он и пользуется для работы. Он не может читать непереведенного русского текста, не говоря уже о рукописях. Во всяком случае, он работает недостаточно добросовестно.

Я окажу профессору и его жене необходимую помощь и дам советы, чтоб они могли устроиться удобно и повидать все, что им нужно видеть для их работы. Я очень благодарна вам за то, что вы направили их ко мне.

Рада была услышать от них, что вы в добром здравии. Передайте мой сердечный привет вашей жене и дочерям. И повторите им мою признательность за костюмы [8]. Я уже благодарила их в письме, посланном с последним пароходом.

Еще раз горячо благодарю вас за ваше доверие ко мне; искренне сожалею, что не могу выполнить вашего желания.

Преданная вам
Изабелла Хэпгуд

P. S. Недавно одна богатая женщина прислала ко мне спросить, как ей переслать деньги на помощь голодающим крестьянам в Перми, о которых она читала в одной из ваших газет. Я посоветовала ей послать их вам, зная, что вы сможете и захотите распределить их, если только это возможно сделать.

На конверте: Москва, Долгохамовнический переулок, дом 15,
Его Сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому.
Moscow. Russia.

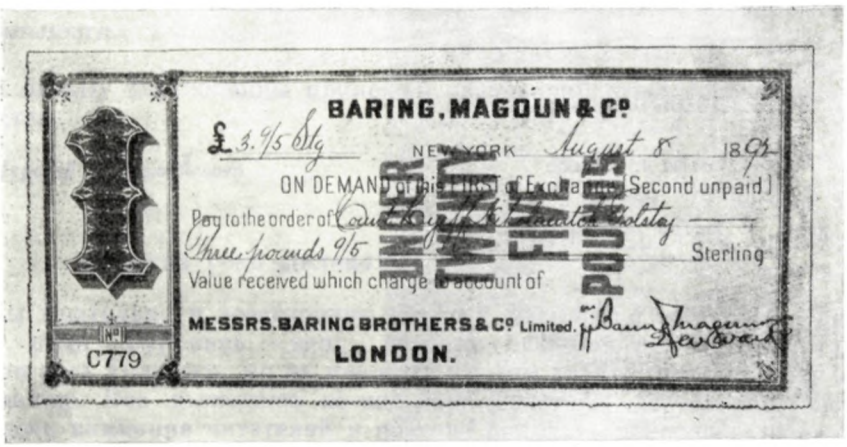
Толстой воспринял отказ Хэпгуд как поступок, продиктованный убеждениями и заслуживающий уважения. «Я получил ваше письмо и очень пожалел о том, что вы не взялись за перевод моей книги»,— писал Толстой 6 мая 1893 г. (т. 66, стр. 314). В этом письме он выразил благодарность и согласие принять и распределить деньги между крестьянами.

Вопрос о переводе книги и ее издании остался нерешенным. Янжул пережил много неприятных минут, когда вез рукопись в Америку. Теперь его еще больше беспокоила перспектива возвращения в Россию с тем же синим, но уже распечатанным пакетом.

«Очень благодарен вам, дорогой Иван Иванович,— писал Толстой Янжулу 30 апреля 1893 г.,— за исполнение моего поручения и за уведом-

ление⟨...⟩ Г-жа Гапгуд уведомляет меня, что совесть ее не позволяет ей переводить мою книгу и что она укажет вам переводчика, так что я принужден еще злоупотреблять вашей добротой. Я тоже думаю, что Доул плохой переводчик и потому лучше передать другому» (т. 66, стр. 313).

Толстой согласился с той характеристикой Доула, которую высказала Хэпгуд. Кстати сказать, это отрицательное суждение не помешало ей продолжать сотрудничество с Доулом и даже в соавторстве с ним перевести в последующие годы «Войну и мир» и «Анну Каренину».



ЧЕК (ДУБЛИКАТ) НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕГ ДЛЯ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ от 8 АВГУСТА 1892 г.

Прислан Толстому переводчицей его произведений Изабеллой Хэпгуд

Архив Толстого, Москва

Пользуясь разрешением Толстого и не получив обещанной рекомендации от Хэпгуд, Янжул вступил в переговоры с другой переводчицей. Наконец, у Янжула в руках оказалась расписка: «Рукопись Льва Николаевича получила, условия его выслушала и на них согласна Александра Д е л а н о», — и он избавился от злополучного пакета.

Aline *Delano* — Александра Павловна *Делано* — русская по происхождению — жила в Бостоне. Она была известна как переводчица Тургенева и других русских авторов.

Ей не сразу удалось найти издателя для книги «Царство божие внутри вас». Она сообщала Толстому, что никто не отваживается напечатать это сочинение.

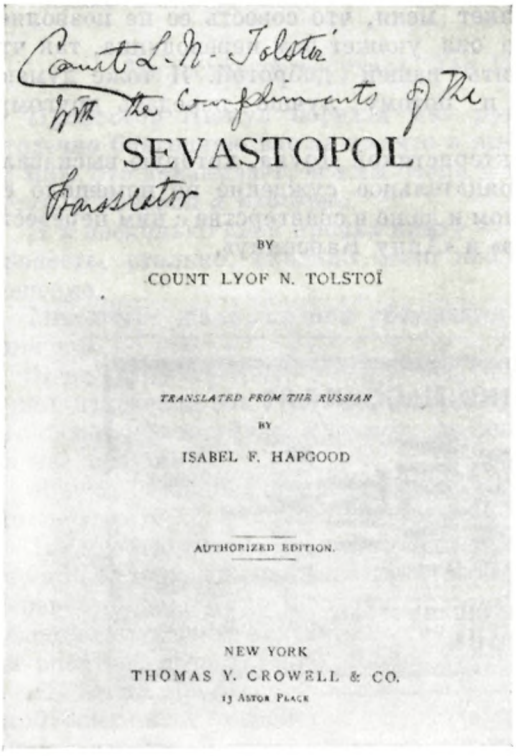
Подлинник по-русски

Бостон, 23 августа 1893 г.

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Хотелось бы начать с того, чтобы сказать вам: издатель найден и книга выйдет тогда-то — да теперь еще не приходится. Однако же, чтобы доказать вам, что я не сплю,— в отношении себя могу сказать, что работа моя оканчивается. Предлагала я уже «Царство божие» трем издателям, и вот какие получила ответы.

Не знаю, писать ли вам их имена, да думаю, что для большей аккуратности все-таки следует дать вам полный отчет, хотя бы имена их и были вам незнакомы.


Count L. N. Tolstoï
With the compliments of The
Translator
SEVASTOPOL
BY
COUNT LYOF N. TOLSTOÏ
TRANSLATED FROM THE RUSSIAN
BY
ISABEL F. HAPGOOD
AUTHORIZED EDITION.
NEW YORK
THOMAS Y. CROWELL & CO.
13 Astor Place

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ИЗАБЕЛЛЫ ХЭПГУД НА ПЕРВОМ АМЕРИКАНСКОМ ИЗДАНИИ «СЕВАСТОПОЛЬСКИХ РАССКАЗОВ» (НЬЮ-ЙОРК, 1888)

«Графу Л. Н. Толстому от переводчицы»

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Итак, Roberts (Бостон) просто «ничего Толстого не хочет». Он печатает Бальзака! Houghton и Mifflin, где участвует один из сыновей известного вам Гаррисона [9], прислали следующее письмо, которое я и прилагаю при сем; оно написано г-ном Гаррисоном.

Фирма «Литтл и Броун» «чураются» Толстого и советовали обратиться к издателю журнала «Century», того самого журнала и компании, которые посылали Кеннана в Сибирь [10]. Но такой совет непрактичен, так как такое сочинение едва ли может быть издано выпусками, да и не соответствует своим содержанием ежемесячному и более или менее популярному изданию.

Однако я не теряю еще надежды на фирму «Литтл и Броун». Их так называемый reader, или критик, в настоящее время отсутствует, и когда он возвратится (может быть через неделю), то они «will give this subject due consideration» *.

Английская фирма Walter Scott желает иметь ваш труд, если бы они могли купить «the plates at the usual rates»**, и назначают им такую низкую цену (сорок центов), что едва ли найдется американский издатель, который продал бы и за эту цену.

Все это я расписываю вам, чтобы вы не думали, что я сплю или небрежничаю. Voila où j'en suis***, но ведь не клином же мир сошелся, и я не допускаю и мысли, чтобы не нашелся издатель. Mr Lewis Wilson'y [11] я писала и от него получила ответ, что он не знает так называемого катехизиса Баллу, а что если бы я перевела для него несколько фраз, то он постарается найти его. Я уже послала ему начало.

---

* уделят этому должное внимание (англ.).
** печатные формы по обычной цене (англ.).
*** Вот как обстоят дела (франц.).

От г-на Smith, издателя «Revue des Revues», ничего еще не получала. Ну, да это все мелочи, и я надеюсь, что вскоре все уладится.

Простите за длинные объяснения и не думайте, что я сижу сложа ручки и жду у моря погоды, что вы имели право предполагать, не получая от меня до сих пор положительных сведений о судьбе рукописи.

Глубоко вас уважающая
Александра Д е л а н о

Мы, конечно, все читали статью «Century» в августовской или июльской книге и только удивляемся и не нарадуемся вашей и семейства вашего деятельности.

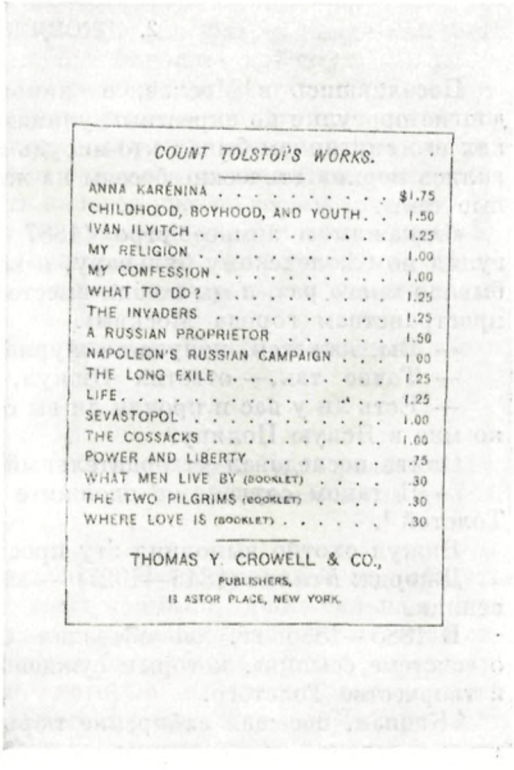
К письму переводчицы приложен следующий ответ бостонского издательства:

Перевод с английского

Бостон. 15 августа 1893 г.
Boston Office. 4, Park Street.

Дорогая г-жа Делано!

Мы тщательно и всесторонне изучили, насколько возможно, присланную вами рукопись — ваш перевод сочинения «Царство божие внутри вас» Толстого, но не уверены, что нам следует принять эту книгу к изданию. Все вышедшее из-под пера Толстого, безусловно, способно привлечь внимание читателей и поэтому получить некоторое распространение. Но, в общем, его взгляды на войну и христианство достаточно хорошо известны, и мы опасаемся, что эта довольно большая книга не



COUNT TOLSTOI'S WORKS.

ANNA KARÉNINA	$1.75
CHILDHOOD, BOYHOOD, AND YOUTH	1.50
IVAN ILYITCH	1.25
MY RELIGION	1.00
MY CONFESSION	1.00
WHAT TO DO?	1.25
THE INVADERS	1.25
A RUSSIAN PROPRIETOR	1.50
NAPOLEON'S RUSSIAN CAMPAIGN	1.00
THE LONG EXILE	1.25
LIFE	1.25
SEVASTOPOL	1.00
THE COSSACKS	1.00
POWER AND LIBERTY	.75
WHAT MEN LIVE BY (BOOKLET)	.30
THE TWO PILGRIMS (BOOKLET)	.30
WHERE LOVE IS (BOOKLET)	.30

THOMAS Y. CROWELL & CO.,
PUBLISHERS,
13 ASTOR PLACE, NEW YORK.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОЛСТОГО, ВЫПУЩЕННЫХ НЬЮ-ЙОРКСКИМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ THOMAS Y. CROWELL & CO ДО 1888 ГОДА

Фронтиспис книги: «Sevastopol by count Lyof N. Tolstoï. Translated from the Russian by Isabel F. Hapgood». New York, 1888

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

найдет покупателей среди того круга людей, на которых мы можем рассчитывать.

Вот почему мы не видим возможности издать эту книгу. Должны ли мы отправить вам рукопись или же вы пришлете за ней?

С глубоким сожалением, искренне преданные
Houghton, Mifflin and C°

Перевод книги «Царство божие внутри вас» был опубликован английской фирмой Walter Scott в 1894 г., после того как уже появились французское, немецкое и итальянское издания.

Хэпгуд обещала Толстому и Янжулу не предавать гласности переговоры об издании «Царства божия внутри вас», но обещания своего не выполнила. «Я просил ее,— свидетельствует Янжул,— без нужды не распространяться о поручении Льва Николаевича, о моем посредничестве, что, впрочем, впоследствии, как оказалось, Гэпгуд резко нарушила, разболтав всю эту историю, под влиянием, вероятно, обиженного самолюбия, в американской газете, когда появился чужой для нее перевод» [12].

Это последнее замечание объясняет некоторые психологические мотивы, которые влияли на Хэпгуд, и вместе с тем очень ясно определяет позицию самого Янжула. Либеральный профессор с рекомендательными письмами Толстого ни на минуту не забывал, что он приехал в Америку с официальным поручением министра финансов, и поэтому очень заботился о сохранении своего инкогнито в деле издания книги Толстого. Даже через двадцать с лишним лет после всех этих событий, приготовляя к печати свои воспоминания, Янжул счел необходимым заметить, что он «и до настоящего дня не удосужился прочесть „Царство божие внутри нас“ ⟨!⟩».

2. ДЖОРДЖ КЕННАН

Поселившись в Москве, в хамовническом доме, Толстой полюбил долгие прогулки по окрестным улицам и переулкам. Часто в этих прогулках его спутником бывал кто-нибудь из друзей или знакомых. И завязывались перипатетические беседы на житейские, философские и литературные темы.

«Однажды в зимнее утро ⟨1887 г.⟩,— вспоминал И. И. Янжул,— гуляя по Смоленскому бульвару, я встретил Льва Николаевича, как это бывало много раз, и мы пошли вместе усердно маршировать по обширным пространствам города Москвы».

— Вы, кажется, получаете журнал «Century»?— спросил Толстой.

— Точно так,— ответил Янжул.

— Есть ли у вас и прочли ли вы статью известного Кеннана о поездке ко мне в Ясную Поляну?

Опять последовал утвердительный ответ.

— В таком случае, не одолжите ли вы мне ее прочитать?— сказал Толстой [1].

Янжул охотно выполнил эту просьбу Толстого.

Джордж *Кеннан* (1845—1927) — американский журналист и путешественник.

В 1885—1886 гг. он объездил Сибирь и написал серию очерков о «системе ссылки», которым суждено было получить мощный отголосок в творчестве Толстого.

«Кеннан, посещая сибирские тюрьмы и каторги, потом им описанные в его известной книге,— указывает Янжул,— получил от многих полити-

чески ссыльных горячую и настойчивую просьбу передать на обратном проезде в Америку, посетивши специально для этого Ясную Поляну, Льву Николаевичу Толстому о тех <...> страданиях и лишениях, которые они выносят».

Кеннан согласился с мнением «политически ссыльных», что «Толстой есть единственный человек в России, который может безопасно для себя вступиться за ссыльных перед высшим правительством».

Летом 1886 г. Кеннан приехал в Ясную Поляну.

— Читали вы мои книги? — спросил его Толстой.

— Да, все ваши романы,— ответил Кеннан.

— А мои последние произведения?

— Они вышли в то время, когда я находился в путешествии, и я не имел еще времени их прочесть.

— Так вы меня не знаете, но мы скоро познакомимся,— сказал Толстой [2].

По-видимому, Кеннан и в самом деле проглядел переворот, пережитый Толстым, и теперь, застав его в «новой фазе», он был ошеломлен проповедью «непротивления злу».

«Когда Кеннан <...> обратился по поручению политических ссыльных с их просьбой к Льву Николаевичу,— пишет Янжул,— то он долго во время его печальных описаний молчал, а затем, когда Кеннан категорически стал спрашивать, окажет ли он им свою защиту, то граф Толстой отвечал отрицательно, что он-де ничего не может сделать для них, ибо они сами силою зла боролись с такою же другою силою и сами виноваты в происходящем».

Тогда Кеннан спросил:

— Что бы вы сделали, если бы вас повели в рабство?

— Стал бы работать на своих гонителей,— ответил Толстой,— так как труд, во всяком случае, святое дело.

Кеннан не нашелся что ответить.

Толстой сказал также, что, по его мнению, для уничтожения «системы ссылки» нужно, чтобы все вообще отказались от солдатской службы и уплаты налогов. «Я с удивлением выслушал предложение почтенного Льва Николаевича,— пишет Кеннан,— и скромно указал ему, что едва ли такой способ может привести к благоприятному для политически ссыльных результату, ибо невозможно ждать, чтобы сразу все отказались от рекрутчины и сразу все согласились не платить налогов уже по весьма многим причинам. Лев Николаевич с некоторым раздражением в голосе повторил на это, что других способов, вполне допустимых и действительных, он не видит, что лишь этим способом можно и должно бороться с насилием, не усугубляя зла» [3].

Вернувшись из России домой, в Соединенные Штаты, Кеннан написал письмо Толстому.

Перевод с английского

Вашингтон. 21 декабря 1886 г.
1318, Massachusetts Avenue.

Дорогой граф!

Мне уже давно хотелось написать вам. Я намеревался это сделать тотчас по возвращении в Америку, но жена моя была тяжко больна в течение почти двух месяцев, а потом и я сам заболел истощением нервной системы. Непосредственной тому причиной было беспокойство за жену, а косвенной — трудности и лишения, которые выпали на мою долю во время недавнего моего продолжительного путешествия по Сибири. Вот почему я с таким промедлением исполняю свое намерение написать вам.

Я не забыл, однако, ни приятных часов, проведенных в вашем гостеприимном доме в июле нынешнего года, ни продолжительной беседы с вами во время прогулки по полям, обвеваемым свежим, прохладным ветром. Мне хочется выразить вам, хотя бы и с опозданием, свою благодарность за сердечность, с которой вы меня — совершенно чужого вам человека — встретили, и за то доверие и сочувствие, с которыми вы ко мне отнеслись.

Не многие эпизоды из моей последней поездки в Россию вспоминаю я с таким удовольствием, как посещение вашего дома.

С огорчением узнал я из получаемых мною русских газет, что вы были тяжело больны. Надеюсь, что теперь вы уже совершенно поправились и в своем стремлении помогать окружающим руками, головой и сердцем не станете в дальнейшем слишком перенапрягать свои силы.

Книги ваши продолжают возбуждать в Америке большой интерес и вызывают много разговоров. Особенно это касается ваших последних религиозных и философских сочинений 〈...〉

В наших газетах появилось много отзывов на ваши книги, а позавчера один из самых выдающихся проповедников Нью-Йорка посвятил значительную часть своей проповеди вашим сочинениям и вашим мыслям.

После моего возвращения из России я прочел английский перевод «Детства», «Отрочества» и «Юности». Перевод сделан мисс Хэпгуд и как будто очень хорош. Я еще не успел тщательно сверить его с подлинником, но он, судя по всему, верен и читается так легко, как если бы это был не перевод, а произведение, написанное по-английски.

Посылаю вам с этим письмом статью, которую вы, возможно, не видели: «О высшем образовании среди женщин» английской писательницы Э. Линн Линтон [4]. Ее взгляды на этот предмет не отличаются от ваших. Направляю также через своих издателей экземпляр другой биографии Уильяма Ллойда Гаррисона, которой, мне кажется, у вас не было, когда я виделся с вами [5].

Если вы не возражаете, я напишу статью для нашего журнала «Century» о моей поездке к вам нынешним летом и о нашем разговоре относительно ваших религиозных убеждений. Это было бы интересно широкому кругу ваших читателей и друзей в Америке. Но я не хочу писать эту статью, не испросив у вас на то разрешения.

Если чем-нибудь могу быть вам полезен, прошу вас — приказывайте; остаюсь искренне уважающий и преданный вам

Джордж К е н н а н

Мой адрес: 1318, Massachusetts Avenue. Вашингтон. Округ Колумбия. США

Толстой не ответил на это письмо. Статья Кеннана под названием «Посещение графа Толстого» («A Visit to Count Tolstoy») появилась в июньском номере ежемесячного иллюстрированного журнала «Century». Этот номер журнала и передал Толстому по его просьбе Янжул.

— Верно ли Кеннан изобразил свое посещение? — спросил Янжул, встретившись с Толстым через несколько дней.

— Конечно, верно,— ответил Толстой.— Ведь Кеннан не какой-нибудь корреспондент русской газеты, который четверть часа проболтает, а потом сообщит три короба разного вздора из головы. Кеннан — истинный джентльмен и человек своего слова.

На Толстого большое впечатление произвели и сибирские очерки Кеннана. По поводу одного из этих очерков он записал в дневнике зимой 1888 г.: «Мне стыдно бы было быть царем в таком государстве, где для моей безопасности нет другого средства, как ссылать в Сибирь тысячи и в том числе 16-летн〈их〉 девушек» (т. 50, стр. 5).

В августе 1890 г. Толстой написал большое письмо Кеннану, в котором высказался и о «сибирских очерках»:

«С тех пор, как я с вами познакомился, я много и много раз был в духовном общении с вами, читая ваши прекрасные статьи в „Century", который мне удалось доставать без помарок ⟨...⟩ В последнее же время вспоминал о вас по случаю ваших, произведших такой шум во всей Европе, статей о сибирских ужасах. Часть этих статей, незамаранная, дошла до меня в журнале Стеда, не помню каком — „Pall Mall Budget" или „Review of Reviews". Очень, очень благодарен вам, как и все живые русские люди, за оглашение совершающихся в теперешнее царствование ужасов» (т. 65, стр. 138).

«Статьи о сибирских ужасах» Кеннана были изданы в 1891 г. в Лондоне в двух томах под заглавием «Siberia and Exile System» («Сибирь и система ссылки»). В России это издание было запрещено цензурой. В русском переводе книга увидела свет только после первой революции, в 1906 г.

Статьи Кеннана вновь привлекли внимание Толстого в период работы над романом «Воскресение». Толстой считал свидетельства Кеннана неопровержимыми документами, и не случайно в романе «Воскресение» есть ироническое замечание о некоем англичанине, «стороннике России», который «объезжал ⟨...⟩ Сибирь с тем, чтобы написать книгу, отрицающую Кеннана» (т. 33, стр. 312).

В 1901 г. Кеннан вновь приехал в Россию и направился в Ясную Поляну. Но встреча с Толстым не состоялась. О том, что помешало этой встрече, Кеннан рассказал в письме к Толстому из Англии.

Первое письмо было написано Кеннаном на отличной бумаге и на пишущей машинке, а второе — на клочке измятого листка и карандашом. По-видимому, оно писалось в страшной спешке и было отправлено из Лондона только потому, что Кеннан не успел сдать его на почту в России. Все эти чрезвычайные обстоятельства объяснены в его письме.

Перевод с английского

Лондон 1 августа 1901 г.
15 Lincoln Street. Sloane Square.

Дорогой граф!

В России никогда не знаешь, что с тобой может случиться. В прошлый четверг, днем, меня неожиданно арестовали по распоряжению министра внутренних дел и после тридцатичасового заключения в моей комнате выслали под охраной за пределы империи как *неблагонадежного* * иностранца.

Глубоко сожалею, что я, таким образом, был лишен возможности вас посетить и лично выразить вам свою искреннюю любовь и уважение.

Мне о многом хотелось поговорить с вами и передать вам приветствия и наилучшие пожелания сотен американцев, которые давно уже вас знают и любят.

Рад был узнать, что вы оправились от своей последней, опасной болезни, и надеюсь, что мы еще встретимся с вами в этой жизни, несмотря на царей и сипягиных [6].

Искренне ваш Джордж К е н н а н

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Yasnaya Poliana. Gubernia of Tula.
Russia.

---

* В английском тексте письма слово неблагонадежный написано по-русски. — *Ред.*

«Встреча» Толстого с гостем из Сибири — Кеннаном навсегда запечатлена в романе «Воскресение». Толстой, несмотря на свои религиозно-этические идеалы непротивления, создал такое мощное обличение «системы ссылки», что книга Кеннана, «произведшая такой шум во всей Европе», оказалась частным эпизодом, получившим свое настоящее значение именно потому, что она попала в поле зрения автора «Воскресения».

3. ИОНАС СТАДЛИНГ

«Была страшная метель все эти дни. Вчера ездил опять в Рожню, опять не доехал. Был в Колодез‹ях› и Катараеве, о дровах и приютах»,— писал Толстой в дневнике 29 февраля 1892 г. (т. 52, стр. 63). В этот день в «главный штаб» организованной Толстым работы «на голоде» — в рязанское имение Раевских Бегичевку приехал шведский писатель и путешественник Ионас *Стадлинг* (1847—1935).

Статьи и письма Толстого о средствах помощи крестьянам, пострадавшим от неурожая, вызвали горячий отклик не только внутри страны, но и за рубежом. Во многих странах мира создавались «русские фонды», собиравшие пожертвования хлебом и деньгами для голодающих крестьян.

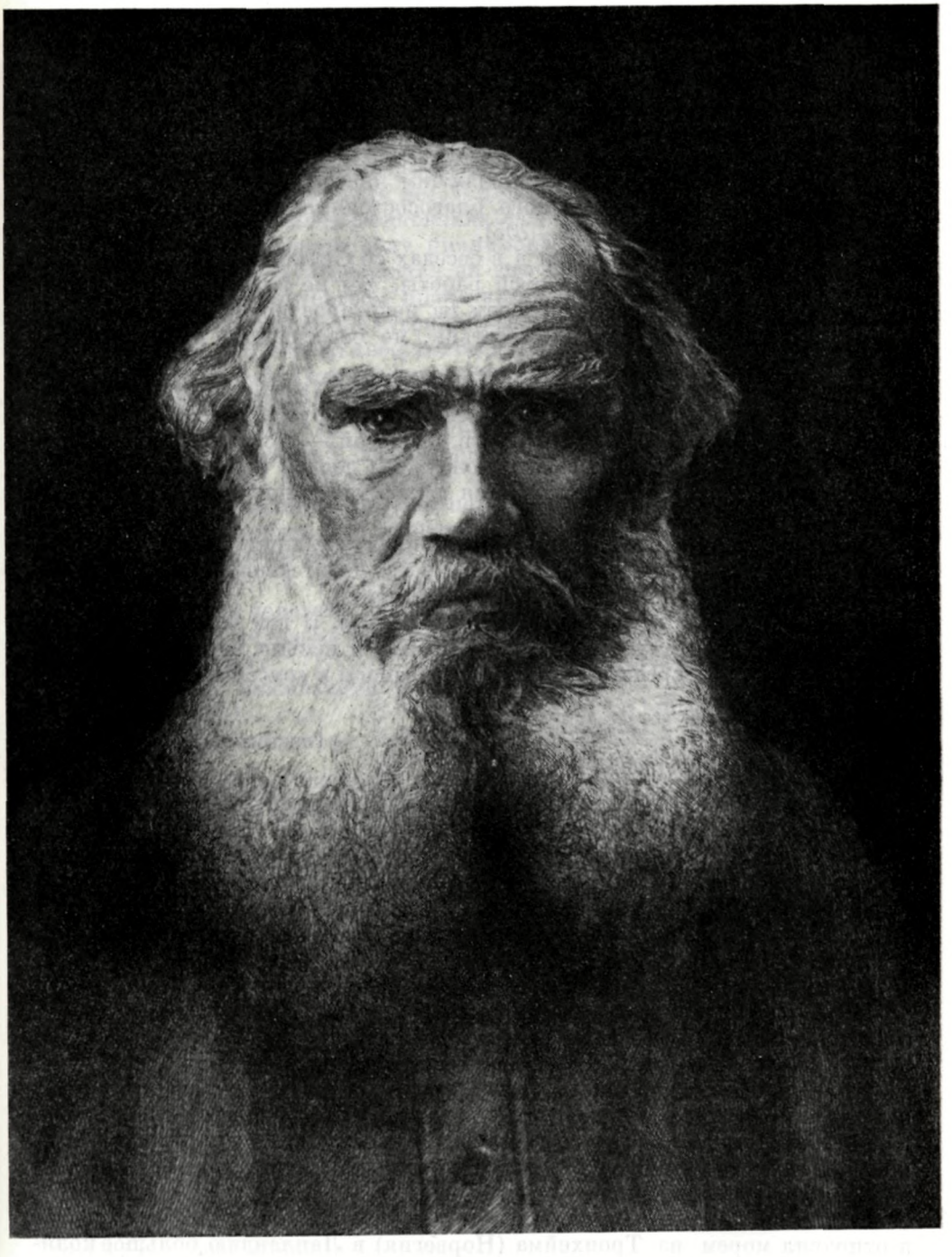
«Бедствие велико,— писал Толстой,— но радостно видеть, что и сочувствие велико» (т. 66, стр. 107). Толстой периодически публиковал отчеты о том, как были распределены средства, поступавшие в его распоряжение от многочисленных благотворительных обществ и частных лиц. По словам Чехова, «публика не верит администрации» [1], и жертвователи предпочитали обращаться к Толстому.

Стадлинг прислал Толстому из Стокгольма запрос о том, куда могут быть направлены средства, собранные благотворительными обществами Швеции и Америки. На этот запрос ответила Софья Андреевна: «Организации (частные) не дозволены в России,— писала она,— каждый делает, что может, для помощи народу. Если б кто-нибудь захотел послать крупную сумму, ее можно было бы направить или в комитет цесаревича в С.-Петербурге, или в комитет великой княгини Елизаветы Федоровны в Москве, или же, если вы предпочитаете предоставить деньги в частное распоряжение, то мой муж и все мое семейство постараются по мере сил употребить их как можно полезнее на облегчение народного бедствия» [2].

Получив письмо С. А. Толстой, Стадлинг собрался в Россию, в надежде увидеть своими глазами и дать отчет соотечественникам о работе Толстого «на голоде».

В Бегичевке Стадлинг беседовал с Толстым о средствах помощи крестьянам. «Я прибегну к маленькой иллюстрации, чтобы дать вам понятие о положении вещей»,— сказал Толстой. И он рассказал Стадлингу свою притчу о пустом сосуде, которую он в то время рассказывал многим своим сотрудникам. Жидкость испарили из сосуда, но «в холодном верхнем воздухе испарения сгустились», и вот образовались два потока, «из коих один течет в резервуар капиталистов, а другой — в резервуар казны». Мысль Толстого заключалась в том, что надо вернуть народу то, что было отнято у него.

Продолжая свое сравнение, Толстой говорил, что столовые и приюты — это маленькие «воронки», служащие для того, чтобы «жидкость не проливалась мимо». «Мы находимся в положении людей, у которых в руках находится большой сосуд,— говорил Толстой,—и из этого сосуда нам нужно разлить в стоящие перед нами крохотные пузыречки и скляночки, не разлив ни капли жидкости зря и влив в каждую из скляночек как раз сколько нужно. Это очень нелегкое дело и требует огромного, самого мелочного внимания к каждому отдельному случаю» [3].



ТОЛСТОЙ

Офорт шведского художника Акселя Тальберга, 1901

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Стадлинг наблюдал за работой Толстого и его сотрудников в Рязанской и Самарской губерниях. «Мелочное внимание к каждому отдельному случаю» не заслоняло от Толстого общие социальные причины народного бедствия. Толстой говорил, что нужно не только помочь «ограбленному», но и сделать невозможным «грабительство». «Да только перестаньте хоть на один год спаивать его, одурять его, грабить и связывать его,— писал Толстой о народе, обращаясь к правящим классам,— и посмотрите, что он сделает и как он достигнет того благосостояния, о котором вы и мечтать не смеете» (т. 66, стр. 204—205).

Эту мысль Толстой развивал и в беседах со Стадлингом:

— Право, я стыжусь всей этой работы. Мы не знаем, есть ли в ней настоящая помощь. Мы протягиваем на некоторое время существование известного числа голодающих крестьян, но бедствие их продолжается, тем не менее...

— Но вы все-таки оказываете им и материальную, и духовную помощь,— сказал Стадлинг.— Без сомнения, ваш труд полезен...

— Я не проповедую ⟨...⟩,— ответил Толстой.— Когда мы думаем, что делаем нечто очень хорошее, быть может, мы делаем как раз противоположное. Истинное добро заключается в доброй воле и мотивах наших поступков [4].

О «доброй воле» Толстого и его «поступках» Стадлинг рассказал в следующем, 1893 г.—в очерке «С Толстым на русском голоде», напечатанном в нью-йоркском журнале «The XIX Century».

Очерк был тогда же послан в Ясную Поляну. В том же 1893 г. Стадлинг прислал Толстому чек на предъявителя и письмо, в котором объяснял, как, из каких средств складывались взносы в «русский фонд».

Перевод с английского

Стокгольм. 2 марта 1893 г.

Дорогой граф!

Несколько дней назад я получил шестьдесят крон от нескольких бедных батраков из окрестностей Сундсвалля на севере Швеции в знак сочувствия голодающим русским братьям и с просьбой переслать эти деньги вам для вашей благотворительной деятельности. Добавив от себя лично тридцать семь с полтиной, чтобы составилось ровно пятьдесят рублей, посылаю вам чек «на предъявителя». Сумма скромна, но это лепта вдовицы.

Я недавно вернулся из интересной и трудной поездки по Лапландии и северной Норвегии, там, где Нордкап омывается Ледовитым океаном. Поездка была предпринята с целью исследовать угрозы голода в этих отдаленных областях и изыскать способы помочь нуждающимся.

Нынешние бедствия вызваны гибелью покосов в течение двух лет подряд, так что жители были вынуждены треть стада пустить на убой. Кроме того, рыбная ловля и охота на белых куропаток тоже оказались почти невозможными из-за холодов и наводнения. Вследствие этого беднякам весьма трудно сводить концы с концами.

Сейчас мы уже предприняли некоторые меры для оказания им помощи: я отправил морем из Тронхейма (Норвегия) в Лапландию большое количество полноценных кормов, к которым они на месте будут добавлять мох, березовые ветки и т. п., и много муки послано на север, на шведскую сторону хребта.

В прилагаемом письме от вашей соотечественницы—мисс Кирхнер — содержится просьба разрешить ей перевести ваши книги на шведский язык и издать их в пользу неимущих. В случае, если вы любезно изъявите свое согласие, я бы предложил разделить доходы от издания между нуждающимися Лапландии и России. Мисс Кирхнер [5] живет на свой заработок и

нуждается поэтому в небольшой оплате (я берусь выправить ее перевод бесплатно).

Помимо этого, потребуются лишь расходы на печатание и распространение издания, поэтому не сомневаюсь, что для бедных останется немало ⟨...⟩

Говорят, что вы сейчас пишете новую большую книгу. Если вы любезно разрешите мисс Кирхнер перевести также и ее, когда она будет закончена, вы сделаете доброе дело и для нее, и для бедных.

Мисс Кирхнер — дочь полковника фон Кирхнера, получила хорошее образование и в прошлом году принимала участие в благотворительной деятельности среди нуждающихся на юге России.

С глубочайшим интересом прочитал я отчет о вашей деятельности на голоде, опубликованный в «Русских ведомостях», а также о трогательном ее завершении [6]. Я сказал себе: голод и нужда продолжаются, люди к ним попривыкли, а граф Толстой подвергается гонениям.

Но крестьянский мальчик с «прелестными карими глазами» все еще стоит там, за дверью, «и одна светлая капля слезы уже висит на носу». Картина «fin de siècle» *, характерная не только для России, но и для всех других стран.

Будет ли так всегда? Неужто нет надежды? Неужто тщетны попытки облегчить нужду, жить для других?

Простите, дорогой граф, что я отнял у вас столько драгоценного времени!

Будьте добры передать мой почтительный, сердечный привет графине, вашим дочерям, молодому графу Льву Львовичу, г-же Кузминской и всем, кто меня помнит.

Глубоко вас уважающий и горячо любящий

И. Стадлинг

В начале 1895 г. Стадлинг выступал в Лондоне на рабочем митинге. Об этом своем выступлении он сообщил в письме из Англии.

Перевод с английского

Лондон, С.-З. 8 января 1895 г.
Sidney House, Hampstead.

Графу Л. Н. Толстому

Уважаемый и любимый граф!

Я в настоящее время нахожусь в Лондоне, куда приехал с официальным поручением изучить законы о бедных и другие подобные вопросы. На прошлой неделе я получил приглашение выступить на рабочем митинге в Ист-Энде с сообщением о вашей работе по оказанию помощи голодающим крестьянам, которую я имел возможность наблюдать лично. Я принял это приглашение.

К концу собрания многочисленная рабочая аудитория через своего председателя восторженно просила меня передать вам горячий, сердечный привет, как об этом и говорится в прилагаемом отчете о митинге. С удовольствием выполняю их просьбу.

Посылаемый отчет довольно верно передает мое выступление. И, если тут имеются ошибки, винить в них надо меня. Но за интервью, опубликованное в «Daily Chronicle», совсем неверное, я ни в коей мере не ответствен, потому что репортер исказил девять десятых из того, что было мной сказано [7].

---

* «конца века» (франц.).

В случае, если это интервью попадется вам на глаза, умоляю вас иметь это в виду. Я написал редактору газеты, чтоб он внес исправления в статью.

Горячо желаю, чтобы привет от рабочих лондонского Ист-Энда застал вас в полном здравии и благополучии и пришелся вам по сердцу как одно из многих проявлений истинного сочувствия к христианскому учению со стороны трудящихся классов и свидетельство того огромного влияния, которое ваше учение и ваша жизнь по заветам христианской любви и братства оказали и оказывают на народы западных стран.

Не подлежит сомнению, что в умах и чувствах современных людей происходят большие и стремительные перемены. Мне хочется думать, что полоса неяркого света на горизонте означает рассвет, а не закат.

Я провел в Лондоне пока только две недели и поэтому не имел времени изучить многочисленные паллиативные средства, применяющиеся здесь для борьбы с нищетой. Больше всего интересует меня широкое кооперативное движение, происходящее ныне в Англии и развивающееся, на мой взгляд, в верном направлении.

Мне хочется изучить поподробнее еще много других интересных явлений, как, например, «Sisters of the People» *, «Guilds of Poor Things» ** и т. д., а также широко распространенное движение вегетарианцев.

Я с величайшим удовольствием послал бы вам кое-какие интересные газеты и книги по этим вопросам, если бы знал, как это удобнее всего сделать, и если бы вы дали мне на то разрешение. Мне кажется, это было бы для вас интересно.

Надеюсь, что в семействе вашем все здоровы.

Хотелось бы очень узнать о Льве Львовиче. Надеюсь, что он вполне выздоровел.

Этим летом я очень страдал от ревматизма, приобретенного во время путешествия по Лапландии прошлой зимой. Но солнце вылечило меня, и теперь я верю в его целебные свойства.

Прошу вас передать мой привет всем, кто меня помнит в вашей семье.

Преданный вам
И. Стадлинг

P. S. Я пробуду в Лондоне около трех месяцев.

На конверте: Count L. N. Tolstoi.
Khamovnitchesky Pereulok.
Moscow. Russia.

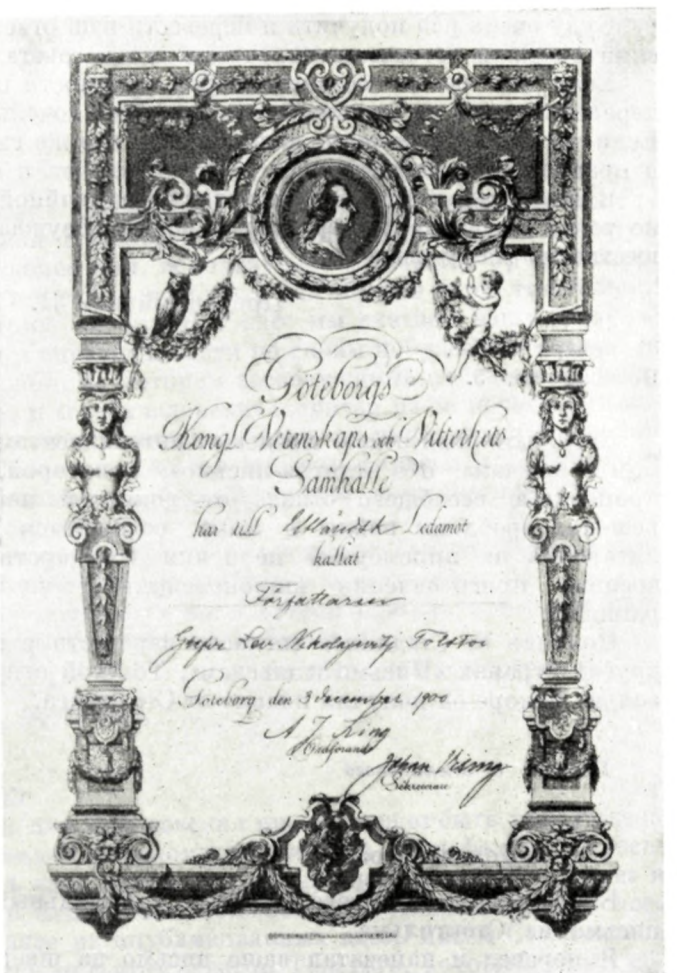
На это письмо Толстой ответил Стадлингу 14/26 января 1895 г. «Мне было совестно читать ваше описание нашей работы в Рязани,— писал Толстой,— но я понимаю, что это объяснялось только вашим дружественным отношением к нам, и очень этому рад» (т. 68, стр. 15).

В упомянутом очерке «С Толстым на голоде в России» Стадлинг использовал лишь часть своих наблюдений и заметок. Успех очерка побудил его продолжить работу. Совместно с У. Ризном он опубликовал в 1897 г. в Лондоне книгу «In the Land of Tolstoy. Experiences of Famine and Misrule in Russia» («В стране Толстого. Описание голода и неурядиц в России»).

15 февраля 1897 г. Э. Кросби писал Толстому об этих очерках: «... Наслаждаюсь чтением книги Стадлинга о России, которая напомнила мне о гостеприимстве вашей семьи... Я продолжаю сохранять глубочайший интерес ко всем русским делам...»

---

* «Сестры народа» (англ.).
** «Гильдии бедных» (англ.).



ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА ГЁТЕБОРГСКОГО КОРОЛЕВСКОГО НАУЧНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРИСЛАННЫЙ ТОЛСТОМУ В 1900 ГОДУ

Архив Толстого, Москва

«Глубочайший интерес ко всем русским делам» продолжал сохранять и Стадлинг. В 1898 г. и шведские сторонники мира обратились к Толстому с просьбой поддержать их проект разоружения.

12/24 января 1899 г. Толстой писал Стадлингу: «Передайте, пожалуйста, мою благодарность всем тем лицам, кот〈орые〉 сделали мне честь такого обращения ко мне. Письмо это очень важно и вызывает многие очень интересные соображения, которые я изложил в довольно длинном ответе, кот〈орый〉 желал бы прислать вам и напечатать сначала в шведских, а потом в иностранных газетах» (т. 72, стр. 31).

На это письмо Стадлинг ответил Толстому:

Перевод с английского

Стокгольм. 31 января 1899 г.

Дорогой граф!

Примите мою благодарность за ваше любезное письмо от 12 января, полученное мной сегодня. Я тотчас же снесусь с теми лицами, которые подписали посланное вам коллективное письмо, и *передат вашю благодарность* *.

* Слова *передат вашю благодарность* написаны Стадлингом по-русски. — *Ред.*

Буду очень рад получить и перевести ваш ответ на шведский и английский языки и тотчас же напечатаю его в газетах, здесь и за границей.

Если для вас не составит особой трудности прислать вашу рукопись перепечатанной на машинке, это, конечно, очень облегчит мне перевод. Если же это невозможно, надеюсь, что все же смогу разобрать рукопись и правильно ее перевести.

Я очень рад, что вы подняли этот чрезвычайной важности вопрос именно тогда, когда проблемы мира и войны обсуждаются во всех слоях общества по всему свету.

Преданный вам И. Стадлинг

31 января 1899 г.
Döbelnsgatan, 5.

Свой «длинный ответ» шведским интеллигентам Толстой назвал «Письмом к шведам». Это «статья-письмо», в которой, наряду с толстовской проповедью всеобщего отказа от воинской повинности как средства решения проблемы войны и мира, содержится глубокая критика милитаризма и лицемерной политики государств, прикрывающих свои военные приготовления широковещательными пацифистскими декларациями.

Получив от Стадлинга согласие перевести и напечатать в Швеции и других странах «Письмо к шведам», Толстой отправил рукопись в Стокгольм. Вскоре он получил письмо от Стадлинга.

Перевод с английского

Стокгольм. 14 марта 1899 г.
Döbelnsgatan, 5.

Дорогой граф!

Благодарю вас от всего сердца за ваш сильный ответ на коллективное письмо из Стокгольма.

Я перевел и напечатал ваше письмо на шведском в стокгольмской «Aftonblad», английском («Daily Chronicle») и немецком языках («Lokal Anzeiger»).

Верю, что это принесет пользу. Надеюсь, что вы в добром здравии. Я же сейчас болен. Ревматизм, который я схватил в Сибири, перешел внутрь. Болезнь плохо влияет на настроение, жизнь кажется лишенной смысла, когда ты не в состоянии работать. И нести бремя жизни при таких обстоятельствах тяжело.

Однако я надеюсь, что поправлюсь опять.

Искренне ваш
И. Стадлинг

На конверте: Count L. N. Tolstoy.
Chamovnitchisky Per. 21.
Moskwa. Russland.

Толстой, как известно, неизменно уклонялся от официальных почестей и наград. Современники усматривали в этой позиции одно из свидетельств духовной мощи и независимости великого писателя.

Поэтому возникшие в начале века споры о присуждении Толстому Нобелевской премии воспринимались многими современниками как попытки воспользоваться его именем в политических целях. Выражая это общественное мнение, Стадлинг писал Толстому:

Перевод с английского

Стокгольм. 14 декабря 1901 г.

Графу Толстому

Россия

Уважаемый и любимый граф!

Разрешите мне в связи с полемикой, происходящей сейчас по поводу предстоящего присуждения Нобелевской премии, полемикой, в которую втянуто даже ваше уважаемое имя, используемое в качестве орудия борьбы одной партии против другой,— сообщить вам мнение сотен тысяч моих соотечественников по этому поводу. Вот оно: мы считаем вашу деятельность поборника правды и справедливости по своим побуждениям и целям настолько выше того уровня, на котором всевозможные охотники за деньгами, «аристократы духа» и «сверхчеловеки» ссорятся из-за почетных и денежных наград, что пришли к убеждению: вряд ли чиновничья Академия присудит вам премию Нобеля, точно так же, как фарисеи и книжники и великий совет иерусалимских первосвященников вряд ли присудил бы награду Христу за его учение.

Но сотни тысяч моих соотечественников посылают вам, носителю света правды и любви, свою награду — их любовь и восхищение.

Надеюсь, что строки эти застанут вас в добром здравии и полным сил.

Остаюсь, дорогой граф, искренне и с любовью

ваш И. Стадлинг

На конверте: Count L. N. Tolstoy.
Chamovniki Pereulok.
Moskwa. Russie.

В 1906 г., узнав о том, что Нобелевская премия может быть присуждена ему, Толстой написал письмо финскому писателю А. Ярнефельту с просьбой «постараться сделать так», чтобы ему «не присуждали этой премии» и не ставили его «в очень неприятное положение — отказываться от нее» (т. 76, стр. 202). Последнее из опубликованных здесь писем Стадлинга в определенной степени связано с этим ответом Толстого, который и был обнародован в Швеции в том же 1906 г.

4. ДЖЕМС КРИЛМЕН

В 1900 г. английский журналист Эдуард Гарнет обратился к Толстому с просьбой написать «Обращение к американскому народу».

Перевод с английского

6 июня 1900 г.
The Cearne. Kent Hatch N⟨ea⟩.
Edenbridge. England.

Графу Льву Толстому

Милостивый государь!

Моей жене и мне предложили написать в «Harper's Magazine» статью о вашем романе «Воскресение», но при условии, что вы пришлете какое-нибудь обращение к американскому народу, которое будет помещено в том же номере журнала, что и наша статья. Не уверен, захотите ли вы вообще написать какое-либо обращение к американцам, но если бы вы решили это сделать, я посоветовал бы вам написать им несколько слов о лицемерии. В наше время англосаксонский мир (Англия и Америка в равной степени) довел лицемерие до тончайшего искусства, и жизнь этих народов, полити-

ческая, общественная и нравственная, вся основана исключительно на подавлении всякой правды, которая не льстит национальному самолюбию.

Нравственный смысл «Воскресения», насколько мы его понимаем, состоит как раз в обратном. Его цель — разрушить фальшь нашего общества с его самодовольством, с его деспотическим стремлением немедленно скрывать все неприятные истины.

Если мы напишем критический разбор «Воскресения» [1], то будем говорить, главным образом, о вашем поразительном умении срывать покровы с идеализации жизни и ставить перед человеком простой вопрос: что в действительности думают и чувствуют люди за завесой условностей?

Если вы пришлете обращение к американскому народу о лицемерии либо о чем-нибудь еще, что вы пожелаете сказать в связи с «Воскресением», я направлю его вместе с нашей статьей издателю «Harper's Magazine», а затем вышлю вам гранки.

Думаю, что жена моя известна вам как переводчица на английский язык одного из ваших произведений — «Царство божие внутри вас», а также повестей и рассказов Тургенева.

С искренним уважением всегда ваш

Эдуард Гарнет

P. S. Самым полным выражением широко распространенного лицемерия является, конечно, война англичан против буров. Война попросту не могла бы возникнуть, если бы современная пресса не была гигантским аппаратом для прикрытия алчности и трусости общества и объяснения его алчности и трусости возвышеннейшими из побуждений.

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Toula. Russie. Russia.

Толстой написал ответ Гарнету:

«Если бы мне пришлось обратиться к американскому народу, то я постарался бы выразить ему мою благодарность за ту большую помощь, которую я получил от его писателей, процветавших в 50-х годах. Я бы упомянул Гаррисона, Паркера, Эмерсона, Балу и Торо не как самых великих, но как тех, которые, я думаю, особенно повлияли на меня. Среди других имен назову: Чаннинга, Уитьера, Лоуэлла, Уота Уитмена — блестящую плеяду, подобную которой редко можно найти во всемирной литературе. И мне хотелось бы спросить американский народ, почему он не обращает больше внимания на эти голоса (которых вряд ли можно заменить голосами Гульда, Рокфеллера и Карнеджи)» (т. 72, стр. 397).

Конечно, Толстой говорит о тех писателях, чьи философские и религиозно-этические взгляды были ему близки. Важно, однако, что он связывает их творчество с освободительным движением, с теми общественными традициями, которые он называет «героическими». «Великая литература рождается тогда, когда пробуждается высокое нравственное чувство,— говорил Толстой в беседе с Э. Моодом.— Взять, например, период освободительных движений, борьбу за отмену крепостного права в России и борьбу за освобождение негров в Соединенных Штатах. Посмотрите, какие писатели появились тогда в Америке: Гарриет Бичер-Стоу, Торо, Эмерсон, Лоуэлл, Уитьер, Лонгфелло, Уильям Ллойд Гаррисон, Теодор Паркер, а в России — Достоевский, Тургенев, Герцен и другие, чье влияние на образованные круги общества <...> было очень велико» [2].

Действительно, почти все названные Толстым американские имена принадлежат писателям, философам и моралистам, активным участникам движения аболиционистов, отдавшим много сил борьбе с рабством в Америке.

«Последующий период, когда люди были уже неспособны приносить материальные жертвы ради нравственных целей,— развивал свою мысль Толстой,— оказался бы полностью бесплодным, если бы некоторые писатели, воспитанные и сформировавшиеся в героическую эпоху, не продолжали ее великих традиций».

Размышления об Америке стали главной темой интервью, которое получил у Толстого корреспондент газеты «New York World» Джемс *Крилмен* (1859—1915).

Толстой познакомился с Крилменом еще в 1891 г. Тогда он приезжал в Россию как издатель газеты «New York Herald». Толстой отметил в своем дневнике этот визит (см. т. 52, стр. 19). Крилмен, вернувшись в Америку, опубликовал книгу «On the Great Highway» («На большой проезжей дороге»), в которой рассказал о своей встрече с Толстым [3].

Прошло много лет. И в 1903 г. Крилмен вновь приехал в Россию. О своем намерении посетить Ясную Поляну он уведомил Толстого письмом из Берлина.

Перевод с английского

Берлин, 23 июня 1903 г.
Conrad Uhl's Hotel Bristol.
Unter den Linden 5 und 6.

Дорогой граф!

Несколько лет уже прошло с тех пор, как я посетил вас в Ясной Поляне в качестве издателя «New York Herald». Теперь я еду в Россию как представитель газеты «World». Я бы желал вновь побывать у вас, если мне дозволено по-прежнему считать себя одним из паломников Ясной Поляны.

«Воскресение» произвело сильное и прекрасное впечатление в Америке, так как ваше мастерство столь же проникновенно и глубоко, как ваше учение. Мы все надеемся, что вы дадите миру новое грандиозное поучение в новом романе.

Завтра утром я выезжаю в Петербург, а вслед затем хочу направиться в Ясную Поляну.

Буду бесконечно признателен, если вы пришлете мне на адрес «Hôtel de l'Europe» в С.-Петербурге разрешение посетить вас.

С наилучшими чувствами и искреннейшими приветствиями графине, позвольте мне заверить вас в своей преданности,

Джемс К р и л м е н

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Yasnaia Poliana. Province of Tula
Russia.

Письмо осталось без ответа, но через несколько дней Крилмен был уже в Ясной Поляне. С. А. Толстая писала: «Сейчас приехал американец-корреспондент, и стало неловко жить на свете с сознанием, что всякое наше слово и движение будет описано и напечатано» [4]. Крилмен действительно стал записывать каждое слово и движение Толстого.

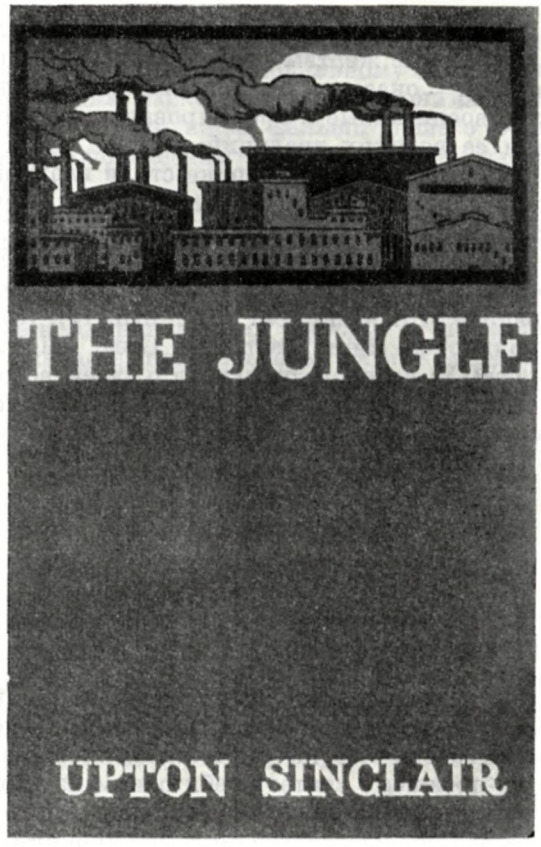
Свой очерк о встрече с Толстым, впоследствии напечатанный в газете «New York World», Крилмен начинает картиной летнего утра в Ясной Поляне.

«Глава русской литературы стоял среди полевых цветов, под сенью ароматных лип, похожий на пророка. Несмотря на свои семьдесят пять лет, он высок и прям. На нем холщовая крестьянская рубаха, прихваченная кожаным ремнем. На голове мягкая белая панама. Сапоги влажны от росы. В руке его палка» [5].

КНИГА ЭПТОНА СИНКЛЕРА «ДЖУНГЛИ» (НЬЮ-ЙОРК, 1901), ПОСЛАННАЯ ИМ ТОЛСТОМУ В МАРТЕ 1906 г.

Обложка

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»



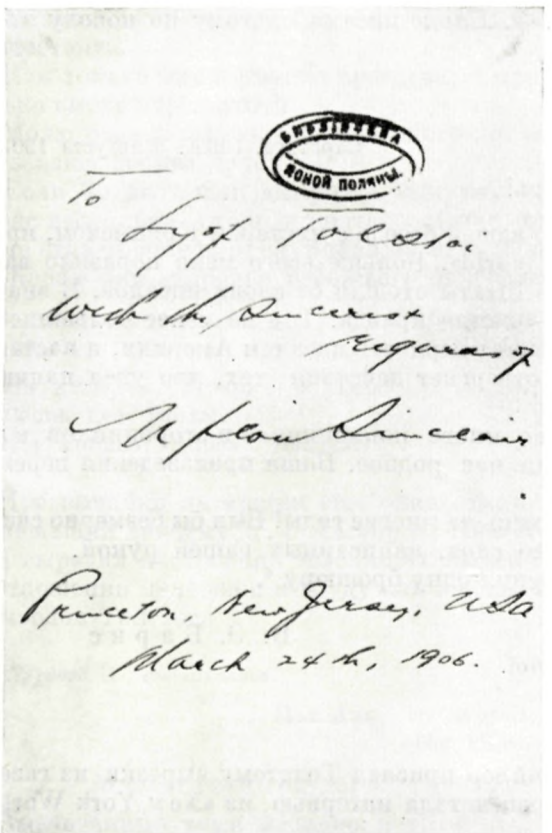
«Америка утратила свою молодость,— говорил Толстой в то утро, когда мы гуляли с ним по густому лесу в его имении. — Волосы поседели, зубы выпадают: началось старческое вырождение. Вольтер говорил: Франция сгнила прежде, чем успела созреть, но что сказать о народе, чьи идеалы погибли на протяжении жизни чуть ли не одного только поколения? Ваши Эмерсон, Гаррисон, Уитьер— никого их уже нет. Вы производите только богачей. В годы перед и после гражданской войны духовная жизнь вашего народа и цвела и приносила плоды. А теперь вы — жалкие материалисты».

Обличительные речи Толстого были направлены против «власти денег» в Америке. Господство миллионеров в общественной жизни страны было для него верным указанием на упадок нравственного сознания.

«Если человек какую-то часть земного шара сделал негодной, неужто другим из-за этого так и продолжать там жить и страдать? Ни один человек не должен работать на такого, как Рокфеллер, — продолжал Толстой.— Он должен предпочесть голодную смерть. Он должен почитать своим христианским долгом отказ от работы на капиталистическом предприятии. Лучше умереть, чем способствовать процветанию Рокфеллера и ему подобных. Это просто его долг — умереть. Ведь если бы на него напялили военный мундир и приказали идти на смерть, он бы с гордостью подчинился приказу...»

Протест против «власти денег» выражен у Толстого в духе учения о непротивлении злу насилием, но нельзя не почувствовать силу этого протеста.

«Свободу вашему народу принесет Истина,— говорил Толстой. — Если он откажется от наслаждения как цели жизни, ему не нужно будет столько денег».



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЭПТОНА СИНКЛЕРА НА КНИГЕ «ДЖУНГЛИ» (UPTON SINCLAIR. THE JUNGLE. NEW YORK, 1901):

«Льву Толстому с искренним уважением Эптон Синклер. Принстон, Нью-Джерси, США. Марта 24-го 1906 г.».

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Большой интерес представляют сохранившиеся в очерке Крилмена высказывания Толстого о «Хаджи Мурате».

«Я работаю сейчас,— сказал Толстой,— над книгой, которую начал много лет назад. Это — поэма о Кавказе, не проповедь. Центральная фигура — Хаджи Мурат — народный герой, который служил России, затем сражался против нее вместе со своим народом, а в конце концов русские снесли ему голову. Это рассказ о народе, презирающем смерть».

В речах Толстого чувствуется напряженная атмосфера кануна первой русской революции.

«— *Я скоро умру,— сказал он спокойно.— Для молодого* — естественно желание жить, для старика— естественно желать смерти.

Он немного помолчал. На сенокосе весело пели бабы: громкие голоса звучали в лад с их сильными движениями.

— Я очень старался, чтобы меня заточили в тюрьму или повесили, но мне это не удалось,— сказал Толстой.

Он наклонился, сорвал ромашку и стал вертеть ее между пальцами.

— Я делал все, чтобы добиться такой судьбы. Мечта моей жизни — умереть за веру, которую несу в себе. Распятые на кресте умерли славной смертью!»

Интервью с Толстым, опубликованное Крилменом, имело огромный успех в Америке. Из «New York World» его перепечатывали многие газеты под сенсационными заголовками: «Наша молодость прошла. Наши идеалы пришли в упадок. Толстой. Русский философ оплакивает падение американской морали. Наслаждения — обман. Специальное сообщение...»

Американский читатель *В. Э. Барнс* писал Толстому по поводу этого интервью:

Перевод с английского

Саратога. США. 8 августа 1903 г.

Милостивый государь!

Я только что прочел отчет о вашей беседе с мистером Крилменом, представителем газеты «New York World». Больше всего меня поразило ваше утверждение, что Соединенные Штаты отошли от своих идеалов. В значительной степени это — увы! — чистая правда. Тем не менее большинство нашего народа по-прежнему хранит верность идеалам Америки, и настанет день, когда это большинство отвергнет действия тех, кто увел нацию с правильного пути.

Прошу вас верить, что у вас много поклонников и сторонников в нашей стране. Имя Толстого для нас родное. Ваши произведения переживут вас.

Да продлит господь вашу жизнь на многие годы! Был бы безмерно счастлив получить от вас несколько слов, написанных вашей рукой.

Посылаю вам для ознакомления одну брошюру [6].

В. Э. Барнс

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Yasnia Poliana. Province of Tula.
Russia.

Доктор медицины Р. С. Клаймер прислал Толстому вырезки из газеты «North American», которая перепечатала интервью из «New York World».

Перевод с английского

Хэтфильд. 27 августа 1903 г.

Графу Льву Толстому

Ясная Поляна, Россия

Дорогой брат мой!

Надеюсь, вы простите меня за то, что я вам пишу. Единственным извинением служит мое восхищение вашими несравненными произведениями,— теми, которые мне удалось прочесть. Несмотря на то, что у меня еще нет ни одной вашей книги, они у меня непременно будут, как только я смогу их приобрести.

Посылаю вам вырезку из газеты «North American», издающейся в Филадельфии, штат Пенсильвания. Вы говорите, что духовная жизнь нашего народа и цвела и приносила плоды до и после гражданской войны, но что теперь мы стали ужасными материалистами. Должен, к сожалению, признать, что это правда, но кое-где можно встретить у нас и таких людей, для которых духовная жизнь важнее всего остального. Как вы догадываетесь, эти люди не богаты мирскими благами, но у них доброе сердце и благородная душа, и они всегда стремятся делать добро.

Не знаю, читаете ли вы иностранные журналы, но я постараюсь подписать вас на «Herald of the Golden Age», который выходит в Англии. Надеюсь, вы согласитесь на этот подарок от незнакомого друга. Даже если вы будете бегло просматривать этот журнал, то убедитесь, что, хотя по большей части люди безнадежно погрязли в материальном, тем не менее есть и такие, которые заботятся о спасении души и творят высокое, благородное, альтруистическое дело.

Надеюсь, что вы с одобрением отнесетесь к делу, которое мы пытаемся осуществить.

Как только мне позволят средства, я приобрету все ваши книги, какие только смогу здесь найти.

Молю бога даровать вам еще много лет жизни, дабы вы могли продолжать ваше доброе дело.

Если бы вы могли выкроить минутку — я был бы счастлив получить от вас несколько строк в подтверждение, что мое письмо получено и что вы не отказываетесь от журнала за ненадобностью.

Желаю вам здоровья и божьего благословения.

Искренне любящий вас
Р. Суинберн К л а й м е р

На конверте: Province of Tula.
Count Leo Tolstoi.
Yasnaia Poliana. Russia. Personal.

Чрезвычайно интересен еще один отклик на интервью Толстого, принадлежащий некоему *М. д'Ансону* из Нью-Арка. Он писал о том, что Толстой выразил настроения мыслящих людей Америки. В письме говорится об отношении молодежи к труду как о доказательстве правоты наблюдений и выводов Толстого:

Перевод с английского

Нью-Арк, шт⟨ат⟩ Нью-Джерси, 25 сентября 1903 г.
«The Pines», 480, Summer Avenue.

Милостивый государь!

Высказанные вами недавно в «New York World» суждения по вопросам жизненной важности для человечества и (в частности) ваше порицание присущей нам алчности к деньгам и морального упадка, несомненно привлекут самое серьезное внимание всех мыслящих людей нашей страны.

Но ваше высказывание против «патриотизма», несомненно, обеспокоит глав государств — равно империалистов и республиканцев — как высказывание мятежное и разрушительное.

Даже общий дух нашей демократической страны слишком фанатичен в своем национализме и поклонении национальному флагу, чтобы мы могли понять и одобрить ваши слова.

Тем не менее тот патриотизм, который мы знаем, употребляется злыми силами как приманка: по их зову армии патриотов-христиан, даже думающих иначе, могут быть посланы на убийство их собратьев. И не для защиты своих жилищ и свободы. но для того, чтобы отнять их у других народов, чтобы навязать им чужую власть, принести их в жертву на окровавленном алтаре «прогресса» и национальной алчности.

Увы! Долго ли ложный обман «патриотического долга» будет заставлять людей сражаться и погибать вдали от родины? Долго ли будет мир терпеть кощунственное объяснение кровопролитных трагедий национальной вражды: «Так богу угодно»?

Вы правы, милостивый государь, мы созрели преждевременно и теперь клонимся к упадку.

Мы живем в разгуле богатства и роскоши и умрем от порочных излишеств.

Наше хваленое образование и процветание все больше и больше делают молодежь негодной для трудных жизненных задач и гонят ее в водоворот города, в погоне за легким заработком и развлечениями.

Наша учащаяся молодежь относится с крайним отвращением к перспективе стать фермерами, работать у станка, вообще заниматься физическим трудом для заработка. Но, избегая физического труда, они, вместе с тем, могут до изнеможения заниматься спортом, который поистине становится теперь главной целью школьной жизни и учения, так что наши колледжи — это просто-напросто спортивные клубы, где готовятся бесчисленные футбольные команды, чемпионы бейсбола, боксеры и т. п., а вовсе не сколько-нибудь значительные умы и характеры.

Излишне, впрочем, сообщать мои наблюдения тому, кто знает типические черты американцев так широко и точно, словно он принадлежит нашей среде.

Одновременно с письмом посылаю вам книжечку стихов. Прошу вас принять эти раздумья нашего «далекого Запада».

В заключение, милостивый государь, хоть вам и очень хочется пострадать, выражаю надежду, что смерть придет к вам естественным путем, очень нескоро, когда истощатся ваши жизненные силы, а не вследствие людских законов и людской злобы.

Один из ваших скромных последователей

с глубоким уважением Майльс д'Ансон

Графу Льву Толстому. Россия

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Yasnaia Poliana.
Province of Tula. Russia.

Переписка Толстого с Крилменом продолжалась и в последующие годы. В письме от 6 сентября 1903 г. Крилмен, между прочим, писал Толстому:

«Размышляя над вашими высказываниями о частной собственности, я остался при своем неизменном убеждении, что вы не логичны, отказываясь признать высший закон природы о наших обязанностях относительно семьи как противоречащий некоей абстрактной концепции, которая, к тому же, представляет собой этическое противоречие желаниям простого человека, все равно — христианина или язычника.

Я всегда буду считать вас величайшим из правдивейших людей, но в этом одном отношении считаю, что вы идете против прямого, ясного закона вселенной» [7].

Это очень характерная для буржуазного публициста оговорка. Ему легче признать Толстого пророком, чем согласиться с его критикой частной собственности.

Но, несмотря на свое несогласие с Толстым, Крилмен верно передал его мысли.

Отвечая на его письмо, Толстой заметил: «...ваше интервью совершенно правильно и очень хорошо написано» (т. 74, стр. 176).

Многочисленные отклики, вызванные обращением Толстого к американскому народу (а интервью, напечатанное в «New York World», можно назвать таким обращением), свидетельствуют о том, что здесь были затронуты коренные социальные проблемы.

И обращение это является тем более значительным и смелым, что в речах Толстого можно услышать голос русской революции с ее непримиримым отношением к «власти денег», частной собственности, с ее высокой жаждой идеала.

VI

В СПОРЕ С АВТОРОМ

1. ОБ ИСКУССТВЕ

В 1887 г., познакомившись с книгой «Так что же нам делать?», где несколько страниц посвящено критике «господского искусства», Р. Роллан спрашивал Толстого: «Почему вы осуждаете искусство?» [1]

В ответном письме Толстой говорил, что этот вопрос «основан на недоразумении»: «Истинная наука и истинное искусство,— писал Толстой,— всегда существовали и всегда будут существовать, подобно всем другим видам человеческой деятельности, и невозможно и бесполезно оспаривать или доказывать их необходимость» (т. 64, стр. 94).

И в этом письме Толстой продолжал критику искусства «верхних десяти тысяч». Он сравнивал его с теплым капюшоном, который мешает видеть: «...надо снять тот капюшон, в котором мне тепло, но который закрывает *мои глаза*» (*там же, стр. 96*).

Критика Толстого была обдуманной по своему направлению, резкой по существу и часто выражалась в парадоксальной форме неожиданных суждений и оценок. Его мысли об искусстве вызывали бурные дискуссии. Как заметил один из современников, от Толстого спорщики отходили «с Везувием в груди». Многие из них не имели прямого отношения к искусству, но сколько горячей заинтересованности в его судьбе высказали они, вступая в спор с Толстым.

Однажды к Толстому заехал английский офицер Джон Стюарт. Завязалась долгая беседа, которая показалась Толстому даже несколько утомительной. «Ох, болтовни много...,— отмечал Толстой в дневнике 1 февраля 1889 г.— Англичанин, кавалерийский офицер, охотник до horse-flesh *. Дикий вполне англичанин. На все у него готовы évasiv-ные ** шутки и слова 〈...〉 Насчет веры: все лицемеры, а я люблю Библию и мои верования для меня, а говорить про них незачем 〈...〉 Красота тела есть душа. Whitman ему сказал это. Это его поэт» (*т. 50, стр. 32*).

Спор произвел на Стюарта такое сильное действие, что он, вернувшись в гостиницу, написал Толстому письмо:

Перевод с анелийского

Москва, 3 февраля 1889 г.
Hôtel Dussaux

Дорогой граф!

Я знаю, с моей стороны большое нахальство — писать вам, в особенности после того, как вы были столь добры, что позволили мне посетить вас и слушали мою болтовню. Конечно, взглянув на подпись в конце письма, вы можете бросить его в печку. Я ведь об этом не узнаю. Не так ли?

Пишу к вам потому, что не в силах выкинуть мысль о вас из головы. С тех пор, как я с вами расстался, я ни на минуту не перестаю думать.

Когда вы сказали, что вам не нравится Венера Милосская, я был несколько удивлен и процитировал вам Китса:

Для чистого душой — все непорочно [2].

Вы были отчасти правы, сказав, что это — лицемерие и вздор.
Вы могли сказать и почти что сказали:
«Для порочного — все непристойно».

---

* лошадей (англ.).
** уклончивые (франц.).

Но я уверен, что вы считаете: в физической красоте проявляется и душа человека.

Мы сотворены господом по образу его и подобию.

Если есть на свете что-нибудь прекраснее старой женщины с гладко причесанными седыми волосами, обветренным лицом и ласковым выражением, то это — только женщина, подобная Венере Милосской с ее духовным и физическим совершенством, с выражением спокойствия и мудрости на лице. Лично я считаю, что мужчины, и молодые, и старые, сложены красивее и пропорциональнее женщин, а также превосходят их и в умственном отношении.

Вы сказали: «Если бы русский мужик увидел Венеру Милосскую, он отвернулся бы и плюнул».

Гете считал, что мужское тело совершеннее и красивее женского. Но поскольку вы не любите Гете, вам, вероятно, его мнение безразлично.

Мне кажется, мы заговорили о Венере Милосской потому, что я спросил вас, читали ли вы Уолта Уитмена, который сказал:

Я говорю, что тело — есть душа,

а вы упомянули еще о ком-то (не помню, кого вы назвали), говорившем то же самое.

По приезде в Англию тотчас же вышлю вам сочинения Уолта Уитмена, потому что уверен, что они вам понравятся.

Я, кажется, уже говорил, что Уолт Уитмен был рабочим-печатником. Он написал книгу «Листья травы», которую никто не хотел издавать, потому что в ней, в одном-двух местах, естественно, без предрассудков, говорится о вещах, которые в приличном обществе принято скрывать, привлекая к ним тем самым еще большее внимание. Он издал свою книгу сам. Однако «несть пророка в своем отечестве»: над ним издевались, его высмеивали.

Я считаю его величайшим из наших современников. Он был участником гражданской войны в Америке, ухаживал за больными и ранеными в госпиталях. Затем он написал другую книгу, вернее, своего рода дневник под заглавием: «Памятные дни».

Им написаны всего две книги: первая, когда он был еще молод (около тридцати лет), вторая — гораздо позже. Он очень беден. Живет в маленькой, очень опрятной комнатке, где стоит кровать, умывальник и стол, на котором две книги: Библия и Шекспир.

На фотографии это красивый старик с длинной белой бородой. Он одевается, как рабочий, и все рабочие его любят.

Пожалуйста, простите, что надоедаю вам таким длинным письмом. Но я был немного взволнован, и, кроме того, мне нечем было заняться. (Вторая половина фразы звучит не очень-то вежливо!) Надеюсь, что сыновья ваши здоровы.

Искренне ваш Д. К. Стюарт

Стюарт выполнил свое обещание и прислал Толстому книгу Уитмена. 11 июня 1889 г. Толстой записал в дневнике: «Получил книги: Whitman, стихи нелепые...» (т. 50, стр. 93). Но книга его заинтересовала, и он продолжал чтение. 27 октября 1889 г. в дневнике появляется новая запись: «Читал опять присланного мне Walt Whitman'a. Много напыщенного пустого; но кое-что я нашел хорошего, например, „Биография писателя“» (т. 50, стр. 165).

Это было первое знакомство Толстого с Уитменом, которого он впоследствии высоко ценил и рекомендовал его книги для перевода на русский язык. Несомненной заслугой Стюарта остается то, что он обратил внимание

«ШЕКСПИР И ТОЛСТОЙ»

Карикатура неизвестного художника

Немецкий журнал «Ulk» от 14 декабря 1906 г. № 50

Подпись под карикатурой: «Великий Вильям: Дорогой Вольфганг, если бы я был с ним раньше знаком, в моих сочинениях было бы одним чудаком больше»



Толстого на замечательного поэта и дал ему возможность познакомиться с его произведениями.

В 1898 г. появился в печати трактат Толстого «Что такое искусство?», который вызвал, как говорил Левитан, «целый переполох» [3].

Толстой выступал против определенных направлений в искусстве, поставляющих вещи для «потехи богатых классов». Но именно те, против которых была направлена его критика, обвинили его в попытках ниспровергнуть искусство вообще.

Французский декадент Сар Пеладан печатно и публично называл Толстого «варваром» и даже «мужиком». Противники Толстого были многочисленны и активны. Их полемические статьи наполняли печать. И у многих читателей создавалось впечатление, что Толстой действительно занялся «ниспровержением искусства».

Эдмон Луи *де Маси*, бельгийский критик, автор статей о трактате Толстого «Что такое искусство?», напечатанных в брюссельском еженедельнике «Fédération Artistique», решительно отвергал поверхностные суждения о Толстом как «разрушителе искусства» [4]. Свои статьи он послал Толстому вместе с письмом, в котором объяснял свою позицию в вопросах искусства.

Перевод с французского

Брюссель. 26 июля 1898 г.
195, Rue Joseph II.

Граф!

Беру на себя смелость послать вам бандеролью мои статьи в еженедельнике «Fédération Artistique», посвященные вашему интересному трактату «Что такое искусство?» (перевод Гальперина-Каминского).

Правда, ныне господствуют совершенно ложные представления относительно великого назначения искусства в человеческом обществе, но и ваши благородные мысли вряд ли будут поняты так, как они того заслуживают. Вы сеяли в плохо подготовленную почву, но некоторые из ваших добрых семян все же дадут всходы.

Для меня лично ваша книга оказалась тем более значительной, что я разделяю ваши взгляды по многим основным вопросам: о том, что произведения искусства должны нести нравственную и религиозную идею, о настоятельной необходимости противостоять потоку произведений чисто сексуального характера, о том, что не надо придавать чересчур большого значения технической стороне дела (мастерство еще не есть искусство) и т. д.

Однако я полагаю, что и вне нравственной, христианской сферы могут быть произведения искусства, пусть второстепенного значения, но неоспоримо прекрасные эстетически.

Как бы то ни было, мне хотелось разъяснить ваши мысли, которые почти всегда бывают плохо поняты, потому что люди ограничиваются чисто поверхностным суждением. Во Франции и в Бельгии ваше имя стало синонимом отрицания искусства. Это нелепо! Ни один писатель не ценил силу воздействия искусства так, как вы. Просто у вас одного достало мужества (впрочем, вы уже обладали необходимым для этого авторитетом), чтобы поставить точки над i.

Я говорю в одной из своих статей, что ваше «Что такое искусство?» — вершина эстетики и что всем следовало бы внимательнейшим образом прочесть эту замечательную книгу. Со своей стороны, оставаясь по некоторым вопросам при собственном мнении, я отдал ей должную дань.

Вы оказали великую услугу священному делу высокого искусства, которое — увы! — часто нарушается в настоящее время.

Русские издатели просили у меня мои статьи: не знаю, для вас или нет.

Эдмон Луи де М а с и,
Главный редактор «Fédération Artistique»,
преподаватель Королевской Академии
изящных искусств в Антверпене (история искусств)

На конверте: A Monsieur le comte Léon Tolstoï
en son château de Yasnaïa Poliana.
Gouvernement de Toula. Russie.

Как известно, в трактате «Что такое искусство?» Толстой избрал критерием для определения истинного искусства «религиозное сознание». Это привело его прежде всего к отрицанию своего собственного художественного творчества до перелома в миросозерцании. Вместе с «Войной и миром» он готов был отбросить и многие другие классические произведения искусства.

Маси с большой осторожностью и тактом намекает на односторонность такого решения вопроса «о том, что есть и что не есть искусство». Толстой и сам понимал, что если взять «религиозное сознание» единственным критерием, область искусства окажется слишком узкой.

Поэтому в трактате «Что такое искусство?» он оговаривает возможность и необходимость существования «общечеловеческого искусства», для которого обязательно только нравственное содержание. Пользуясь этой оговоркой Толстого, Маси указывает и на другие области искусства, которые находятся за пределами христианской моральной области, но обладают неоспоримой эстетической ценностью.

Это был один из самых трудных вопросов и для самого Толстого. Как об этом свидетельствуют его дневники, он постоянно возвращался к вопросу непосредственной ценности прекрасного и после того, как окончил работу над трактатом «Что такое искусство?»

Филолог *И. Стоквис* из Лейденского университета писал Толстому:

Перевод с французского

Гаага. Голландия. 22 января 1902 г.
Stokvis H. Obrechtshraat 147.

Дорогой учитель!

Мне двадцать три года, я кандидат филологических наук Лейденского университета. Уже давно я изучаю, восторгаюсь, даже обожаю художественную литературу и музыку во всех ее видах.

Недавно я прочел несколько раз ваше «Что такое искусство?», и новый мир открылся передо мной, мир, виденный мною и раньше, но как во сне — далеком и туманном. Я еще не все понял, многие из ваших рассуждений причиняют мне боль, повергая в прах прежние мои кумиры, но тем не менее я вам очень, очень благодарен, потому что вы указали, как мне освободиться от ужасных, державших меня в плену предрассудков.

Можно задать вам вопрос?

Вы пишете, что большинство своих книг вы считаете плохими произведениями искусства. В том числе и «Воскресение»? Почему?

Надеюсь, что я не проявил нескромности, написав вам это письмо. Я был бы счастлив, если бы, несмотря на мой весьма несовершенный французский язык, вы поверили моей благодарности и преданности.

Ваш преданный и благодарный *
И. Стоквис

На конверте: Comte Leo Nikolaëwitch Tolstoy, à Moscou. Russie.

В письме Стоквиса еще яснее, чем в письме Маси, выражено недоумение, которое вызвали ригористические оценки Толстого. Надо сказать, что «Воскресение» Толстой выделял из всех своих романов и рекомендовал эту книгу наряду с «Кругом чтения» [5], но Стоквис мог и не знать об этом. Речь шла о другом. Его смущала резкая и отрицательная оценка тех произведений, без которых трудно было представить себе искусство, но которые никак не укладывались в жесткую и узкую раму «религиозного искусства».

Толстой чувствовал, что, преследуя свою цель, ополчившись на «господское искусство» своего времени, на декадентов, русских и иностранных, он сделал слишком односторонние выводы.

Об этом Толстой и сам сказал однажды: «И я, осердясь на блох, и шубу в печь, т. е. решил, что так называемое искусство есть огромное зло,— зло, возведенное в систему. Потом, когда я остыл немного, я убедился, что я был не совсем справедлив...» (т. 30, стр. 211).

Но в полемике с Толстым большинство его оппонентов не заметило или не хотело замечать, что в его эстетике важнейшее значение имели требования «всенародного искусства».

Одному из своих корреспондентов Толстой писал: «Вы спрашиваете меня о том, упадок ли декадентство или, напротив, движение вперед? Коротко ответить: разумеется, упадок, и тем особенно печальный, что упадок искусства есть признак упадка всей цивилизации» (т. 78, стр. 67).

Эстетическая критика Толстого становилась социальной, как только он прикасался к причинам, вызвавшим кризис современного искусства. «...Наше утонченное искусство,—писал Толстой,—могло возникнуть только на рабстве народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока будет это рабство ⟨...⟩ Освободите рабов капитала, и нельзя будет производить такого утонченного искусства» (т. 30, стр. 82).

---

* Последние четыре слова написаны во французском тексте письма по-русски. — *Ред.*

«Освободить рабов капитала» — это дело революции.

Можно отнести и к творчеству Толстого то, что он сказал о «народной мысли» в поэзии: «Поэзия народная всегда отражала, и не только отражала, предсказывала, готовила народные движения...» (т. 53, стр. 126).

2. ПОЛЬ ГИАЦИНТ ЛУАЗОН

В 1900 г. Толстой получил от молодого французского литератора Поля Гиацинта *Луазона* письмо и драму «L'Evangile du Sang» («Кровавое Евангелие») с дарственной надписью: «Толстому — великому апостолу Мира...» [1]

Луазон был сыном известного французского религиозного деятеля, отца Гиацинта, проповеди которого еще в 1860-е годы собирали огромную аудиторию в Соборе Парижской богоматери. В последующие годы отец Гиацинт снискал громкую известность своими выступлениями против догмата непогрешимости папы.

Перевод с французского

Лозанна. 2 марта 1900 г.

Я — молодой человек, испытавший сильное влияние вашего сурового учения. В прошлом году я даже выступал в Риме по поводу нравственной стороны ваших произведений. И я вступил в ряды армии мира, находящейся в вашем распоряжении.

Мое имя, возможно, вам известно, благодаря тому, кто носит его с большей честью, чем я: моему отцу, «Père Hyacinthe». Но я желал бы стать вам известным только благодаря своим собственным произведениям, как бы скромны они ни были.

Если моя небольшая драма «Кровавое Евангелие» могла бы заслужить ваше одобрение, это придало бы мне силы для творчества в будущем.

Каждый человек должен возвыситься, каждый должен сознаться самому себе в уродливости так называемого цивилизованного общества; необходимо, чтобы каждый воспарил до вершин правды.

Извините смелость, с которой я решился обратиться к вам. Но вы знаете, что великие и малые равны перед богом.

Поль Гиацинт Л у а з о н

Это письмо осталось без ответа. По-видимому, Луазон не был уверен, что оно получено. В 1903 г. он встретился и познакомился в Риме с дочерью Толстого — Т. Л. Сухотиной.

Заручившись ее рекомендательным письмом, Луазон вновь обратился к Толстому:

Перевод с французского

9 января 1903 г.
Neuilly-sur-Seine. France.

Высокочтимый господин Толстой!

Вот письмо вашей дочери как предисловие к статье, вложенной в этот конверт, и к пьесе, сыгранной в Париже («Кровавое Евангелие», против войны), которую вручит вам один из ваших друзей через некоторое время.

Для меня будет величайшей честью (после чести быть сыном отца Гиацинта) удостоиться вашего одобрения.

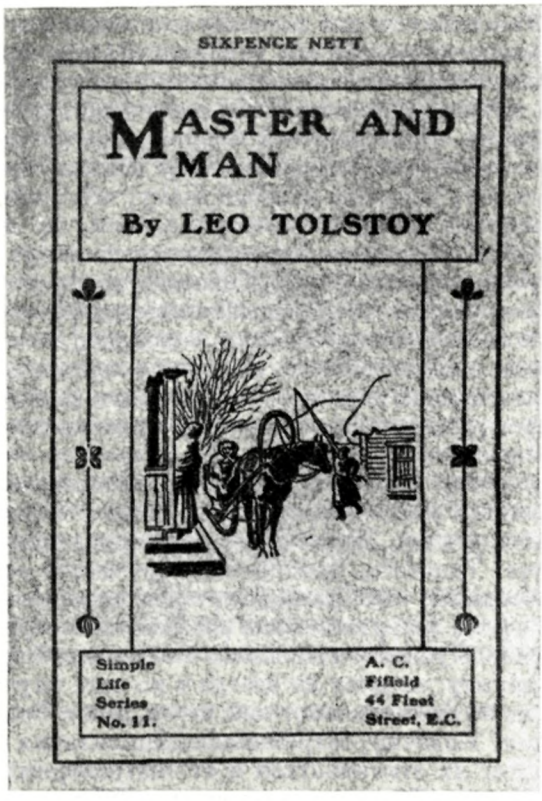
Поль Гиацинт Л у а з о н

Статья Луазона «Инвеститура Толстого» представляет собой критический очерк мировоззрения великого писателя. Она посвящена характеристике Толстого как создателя и проповедника религиозно-философского учения [2].

«ХОЗЯИН И РАБОТНИК». АНГЛИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ (ЛОНДОН, 6. г.)

Обложка

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»



Луазон считает парадоксальным признание Толстого «властителем дум» современности. Наибольшей известностью имя Толстого, по его мнению, пользуется в среде интеллигенции, «особенно у ее элиты» — писателей, художников и т. д.

Между тем, проповедь Толстого находится в полном противоречии с идеологией этих людей, которым, как правило, чужды призывы Толстого к опрощению, к отказу от «плотской любви» и проч.

Не менее чуждо учение Толстого и социалистической интеллигенции. Ее связь с Толстым временная, существующая обычно между всеми оппозиционно настроенными элементами общества. Толстой отнюдь не социалист, так как социализм, в конечном счете, признает и опирается на революционное насилие, которое Толстой отрицает.

Луазон приводит слова Толстого из его «Ответа на определение Синода...» о том, что на свете «едва ли есть сотня людей», разделяющих его взгляды [3]. Эти слова вполне справедливы, продолжает Луазон, но, тем не менее, Толстой останется в памяти потомства как духовный вождь XIX в.

Значение Толстого и его влияние на современников несомненно. Это влияние представляет собой «странный феномен». Чтобы понять его, Луазон обращается к личности Толстого, к его «нравственному облику».

Здесь Луазона прежде всего привлекают и поражают противоречия Толстого. Несмотря на свой явно выраженный антиклерикализм, Толстой является человеком религиозным. Луазон связывает «доктрину совести» у Толстого с идеей «анархии». Единственным, основным, непреложным законом, руководство которым Толстой предписывает и себе, и другим, является «закон совести». «Отсюда анархизм Толстого»,— пишет Луазон, т. е. непризнание законов «общественных».

Толстой, говорит далее Луазон, одержим идеей добра, стремлением уничтожить господство зла на земле. Он причисляет Толстого к тем проповедникам, которыми во все времена не оскудевал мир и которые в годы бедствий человечества выступали в его защиту. Толстой похож на сурового апостола по страстности и беспощадности проповеди. По разрушительной силе своей речи он напоминает Павла. Он проходит по миру с опущенными долу глазами, чуждый всему, что может отвлечь его от главного дела жизни.

Статья Луазона была написана в связи с выходом в свет во Франции сборника произведений Толстого под названием «Les Rayons de l'Aube» («Лучи зари») [4]. «Каждый мыслящий и чувствующий человек, прочтя эту книгу,— пишет Луазон,— закроет ее если не с твердым решением изменить свою жизнь, то, во всяком случае, усомнившись в ее правильности. Книга никого не оставляет равнодушным. Она омрачает наше веселье, но и пробуждает в душе какие-то новые, очень благородные чувства, вселяет тревогу».

Луазон утверждал в статье, что он разделяет в главном и основном взгляды Толстого, но, вместе с тем, он подробно излагает и свои разногласия с ним. Его возражения направлены прежде всего против максимализма Толстого, против категоричности его нравственных и социальных требований, «что делает его идеи неприложимыми к жизни».

Кроме того, если бы идеи Толстого осуществились в жизни, то это, по мнению Луазона, причинило бы гораздо больше вреда людям, чем пользы. Например, следует ли всегда и во всех случаях не противиться злу? Нужно ли так безусловно, как этого хочет Толстой, отказываться от правосудия? Конечно, современная цивилизация страдает многими пороками, но следует ли отказываться и от благотворных ее достижений?

Учение Толстого, по мнению Луазона, представляет собой модернизированное христианство, взятое в его чистом, первоначальном виде. Но христианство не было так нетерпимо в своих требованиях, как толстовство.

«Трудно согласиться и с оценкой искусства у Толстого»,— пишет Луазон. Эта оценка является следствием глубокого отвращения Толстого к паразитизму, тяготеющему над всем современным обществом, что сближает его с восточными вероучителями — Христом, Буддой, Лао-Цзе.

Высказав свое несогласие с Толстым по многим вопросам, Луазон, однако, пришел к выводу, что только мысль, доведенная до крайности, выраженная с пророческой силой, может еще привлечь внимание равнодушного общества, нарушить его эгоистичное спокойствие. Упорствуя в своей «несовершенной теории», Толстой заставляет себя слушать.

Добро распространять словом труднее, чем зло. Тут нужны живые подвиги и примеры. И Толстой вырастает перед нами во всем своем величии. Он отказывается от литературы, он уходит в жизнь. Свою единственную миссию он видит в том, чтобы всеми силами «раздувать пламя правды».

Статья Луазона представляет собой попытку отвлеченно-философской характеристики Толстого. Но Луазон верно отметил противоречия во взглядах Толстого и между его учением и социализмом.

Учение Толстого действительно не имеет ничего общего с научным социализмом. Но это не значит, что в его учении вообще нет социалистических элементов или что оно по своему духу не является социалистическим.

Толстой решил отвечать Луазону. В каждом слове его письма чувствуется глубокое волнение. Он отвечал не только Луазону, но как бы и многим другим своим критикам.

«Вы осыпаете меня восхвалениями,— писал Толстой,— и в то же время упрекаете в странных пробелах в моих рассуждениях и даже в отсутствии какой-либо основы. Все мои критики, с сожалением должен сказать,

что вы не составляете исключения, упрекают меня за мои нападки либо против церкви, либо против науки или искусства и в особенности против всякого рода насилия, применяемого правительствами. Одни называют это просто глупостью или безумием, другие — непоследовательностью и эксцентричностью. Мне дают всякого рода лестные эпитеты: гения, реформатора, великого человека и т. д. и в то же время не признают за мной самого простого здравого смысла ⟨...⟩

Я не реформатор, не философ, не апостол, но самое меньшее из достоинств, которое я могу себе приписать и приписываю,— продолжал Толстой,— это логичность и последовательность». И Толстой пояснил смысл своей позиции притчей о земледельце и цветниках. «Упреки, которые мне делают,— писал Толстой, — рассматривая мои идеи с объективной точки зрения, т. е. со стороны их применимости к мирской жизни, подобны упрекам, которые сделали бы земледельцу, вспахавшему и засеявшему зерном местность, за неосторожное отношение к прежде покрывавшим ее кустарникам, траве, цветам и красивым дорожкам. Эти упреки справедливы с точки зрения тех, кто любит деревья, зелень, цветы и красивые дорожки, но упреки эти совершенно ошибочны с точки зрения земледельца, который обрабатывает и засевает свое поле для того, чтобы себя прокормить» (т. 74, стр. 16—17).

Если в трактате «Что такое искусство?» Толстой стремился выдержать во всем «точку зрения трудового человека», то притча о землепашце в письме к Луазону завершает эту тему и придает пластическую ясность позиции Толстого в вопросах искусства.

Луазон воспринял ответ Толстого как высокую честь, которой он удостоился.

Перевод с французского

Нейи-сюр-Сене. 17 марта 1903 г.
6, Rue Chanveau.

Дорогой и великий учитель!

Ваш ответ на мою статью будет мне всегда дорог не только потому, что он написан Львом Толстым, но еще и в особенности потому, что в нем содержится простое и новое изложение ваших взглядов на жизнь.

Мне хочется забыть разногласия, разделяющие вас и тех, с кем я в некоторых отношениях согласен. Я хочу видеть только самое основное, самое главное — то, в чем сходятся души всех людей, стремящихся к установлению царства Любви.

Я не из тех, кто льстиво награждает вас громкими, но пустыми словами: гений, апостол, мыслитель! Я просто принадлежу к довольно малочисленной категории людей, в сердца которых проникло зерно пламенной истины, и произошло это, хотя отчасти, благодаря вашему учению. Даже если б все ваши книги погибли, вы не зря жили на земле. Вы воплощенная совесть. Точно таким же был и мой отец. Это не приносит славы, но это утешение, венчающее страдание. А для других — пример и поддержка.

Вы видите теперь в каждом отдельном человеке совесть, готовую после кончины предстать перед вечным судьей — богом. Кто посмеет сказать, что вы неправы? Это взгляд субъективный, истинный и, безусловно, очень существенный и важный.

Только ли такой взгляд важен и существен? Разве люди, идущие сквозь века, поколение за поколением, не должны выполнить своего предназначения в создании цивилизации, то есть способствовать развитию всех сторон человеческой деятельности — науки, искусства и т. д.— так же, как религии и морали? Это взгляд объективный, который вы отвергаете. Но разве нельзя примирить обе эти точки зрения?

Надо ли защищать вас перед вами же самими? Ведь еще так недавно вы проявили себя одновременно и поборником правды, и художником, создав «Воскресение».

Но я увлекся разговором. Простите.

Пусть благословение Духа, который живет в наших сердцах, всегда сопутствует вам! Спасибо за то добро, которое вы несете миру!

Примите мой почтительный, сыновний привет.

Поль Гиацинт Л у а з о н

Г-жа Т. Сухотина заверила меня, что один из ее друзей передаст вам в собственные руки мою небольшую драму «Кровавое Евангелие», в которой я старался провести ваши идеи. Это — несовершенное произведение, но оно послужило толчком к созданию произведений более достойных, число которых, к счастью, множится. Если война не уничтожена окончательно, она стала постыдной, а это уже немало!

На конверте: Comte Léon Tolstoy.
Yasnaya Poliana. Russie.

Спустя два года, в 1905 г., Луазон решил коснуться вопроса о непротивлении.

Его по-прежнему занимает самый предмет спора «в интересах истины», а не тщеславная радость полемики с Толстым.

Перевод с французского

Париж. 4 февраля 1905 г.

Милостивый государь!

Ровно два года назад я удостоился чести получить от вас письмо в ответ на мою статью, посвященную рассмотрению философских основ вашего учения.

Разрешите мне теперь высказаться в интересах истины.

Я считаю, что основы вашего учения находятся в полном противоречии с внутренней сущностью социализма. Поскольку в настоящее время в умах царят полнейшая путаница и разноголосица по этому поводу, мне приятно вспомнить, что я был одним из первых, кто указал на это противоречие. Недавние события подтвердили мою правоту.

Вчера вечером в Париже, на собрании пяти тысяч социалистов и анархистов, французов и русских, бывший наставник Гапона торжественно опровергал ваше учение и говорил, что стачечники были одурачены вашей теорией непротивления злу насилием и что в будущем русские пролетарии должны вооружаться.

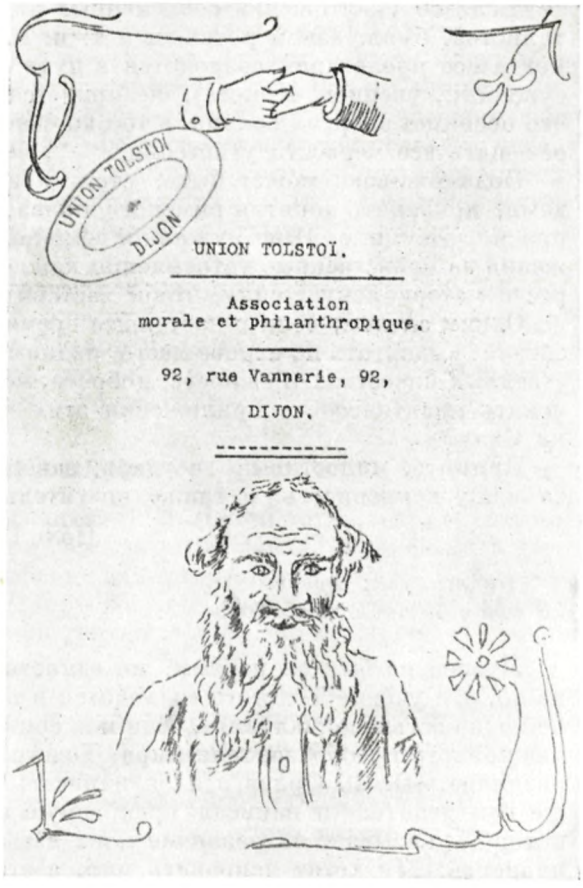
Смею сказать, что я рад был этой декларации, хотя бы только потому, что она привела все в ясность; социалисты, главным образом, говорят о правах: праве на отдых, на счастье, даже на наслаждение. Вы же говорите, главным образом, о долге: долге общественном и, в особенности, личном каждого человека по отношению к братьям, к богу, если он в него верит, наконец, к самому себе и к своему идеалу. Из этих двух воззрений ваше предпочтительнее, как более благородное и плодотворное. Но, следовательно, примирить оба эти учения невозможно? Как раз об этом я и думал, когда два года назад писал свою статью о вашем мировоззрении.

Я не рассчитываю найти истину в злосчастной золотой середине, столько раз осмеянной. С одной стороны, мне кажется, что социалисты правы, когда, возражая вам, говорят: «Если мы по-прежнему будем, как блеющие овечки, идти безоружными против хозяев, они просто-напросто будут продолжать стрелять в нас до скончания веков». С другой стороны, вы мне кажетесь глубоко правым, когда говорите им: «Победа материального нача-

УСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО «ТОЛСТОВСКОГО СОЮЗА». Г. ДИЖОН (ФРАНЦИЯ)

Был прислан Толстому 19 января 1905 г., с сообщением об избрании его почетным председателем Союза

Обложка
Архив Толстого, Москва



ла — только искушение для народа. Грубые наслаждения по примеру богатых, которых народ хочет низвергнуть, развращают и делают сердце черствым. Нравственная победа над самим собой — в этом всё».

Недостаток религиозности и обязательных норм нравственности привели к тому, что Французская революция, начавшаяся с апофеоза, закончилась в бездне кровопролития.

Пусть так! А я все же упорствую в мечте о примирении этих чувств. И мне хочется видеть это примирение в современной демократии, одновременно чистой и могущественной, сильной числом сторонников, а также и добродетелью.

Сила, опирающаяся на право, и право, подкрепленное силой. Я вижу этот идеал в реформации XVI века, сторонники которой перед сражением возносили молитвы и умели побеждать своих угнетателей так же, как собственные дурные наклонности.

Наш идеал не в том, чтобы навязывать свои требования силой, как проповедуют социалисты-революционеры. Но если враг хочет утопить наши права в крови, должны ли мы это позволить? Вопрос серьезнейший и ответственность ужасна. Как его разрешить?

О! Конечно, вы правы: не может быть великой революции без нравственного возрождения, без воскресения. Но дает ли нам история всего человечества хотя бы один пример такой идеальной революции? Вот разве восстание американских пуритан против Англии в XVIII веке, да и то они прибегли к помощи оружия.

Если об уничтожении современных видов тирании правительств, капиталистов, буржуазной роскоши и т. п. можно будет думать лишь тогда, когда все пролетарии возродятся в духе вашего учения (являющегося, в сущности, учением Христа), не придется ли нам дожидаться так долго, что иссякнет энергия солнца, а тем временем оно будет так же бесстрастно освещать все мерзости угнетения?

Подытоживаю: может быть, стоит к идеалу Христа, проповедуемому вами, прибавить понятия римского права, которое христианство так напрасно затемнило? И не нужно ли демократии быть сперва достойной уважения за нравственные устремления каждого из ее членов, а затем приобрести материальную силу, чтобы заставить себя уважать?

Одним словом, если в настоящее время — время ненависти и крови — следует выдвигать на первое место, поднимать и углублять заботу о нравственных качествах (нежность, доброта, всепрощение), не стоит ли также искать практического приложения этих качеств в Праве, опирающемся на Силу?

Примите, милостивый государь, заверение в глубочайшем уважении за вашу искренность, а также почтительную, искреннюю критику.

Поль Гиацинт Л у а з о н

На конверте: Russie.
Le comte Léon Tolstoy. Toula.

Луазон не был ни первым, ни единственным критиком, указывавшим на то, что учение Толстого «находится в полном противоречии с внутренней сущностью социализма», если под социализмом разуметь теорию революционного преобразования мира. Толстой и сам прекрасно сознавал это различие. «В. Ф. Орлов взялся написать предисловие к книге „Так что же нам делать?“ и написал прекрасную статью,— говорил Толстой,— в которой указывает на различие моих взглядов от социалистов и революционеров: „Те хотят исправить мир, а этот хочет спасти душу“» (т. 85, стр. 324).

Письмо Луазона написано под впечатлением «кровавого воскресенья»— 9 января 1905 г. Именно этим объясняется острота постановки вопроса. Но Луазон явно не разобрался в идеях ораторов, которых он слушал на митинге в Париже.

По меньшей мере, наивно было принять «наставника Гапона» за человека, выражающего точку зрения революционеров. По-видимому, Луазон или неясно слышал его речь, или спутал его с кем-то другим, так как этот оратор не мог сказать тех слов, которые он ему приписывает.

«Наставник Гапона» — это И. М. Трегубов (1858—1931), высланный из России за участие в «деле духоборов» [5]. «Наставником Гапона» его называли потому, что в 1880-е годы он был надзирателем в Полтавском духовном училище, где тогда учился Гапон. Толстой хорошо знал Трегубова. Они переписывались много лет. Трегубов никогда не был ни социалистом, ни революционером и никогда не проповедовал вооруженной борьбы пролетариата.

Но Луазон верно почувствовал настроение революционной эпохи. «Они будут стрелять в нас до скончания веков»,— это был крик гнева и боли, огласивший день 9 января.

Толстой был близок революции своим бескомпромиссным стремлением к правде.

Именно поэтому так чужда была для него концепция «золотой середины», предложенная Луазоном.

27 ноября 1910 г., вскоре после того, как мир облетела весть об уходе и смерти Толстого, в газете «Droits de l'Homme» Луазон поместил неболь-

шую заметку, не похожую на некролог или статью. Это, скорее, письмо, обращенное к читателям и навеянное мыслями о жизни Толстого.

«Перед лицом подобной смерти,— писал Луазон,— люди могут испытывать только одно чувство — благодарность за то, что им суждено было явиться свидетелями возвышенной судьбы, столь чудесно завершившейся. Когда время близилось к полуночи, он бросился, наконец, к своему идеалу, к которому были направлены столь долго его самые горячие стремления; Толстой хотел спасти свою душу, чтобы спасти весь мир, и он ушел в бурю, как Король Лир, чувствовавший себя причастным к преступлениям, от которых хотел бежать».

Луазон видел Толстого «странником среди странников», идущим вместе с «толпой угнетенных». И, может быть, только этот последний акт трагедии вполне раскрыл перед Луазоном, да и не только перед ним, смысл бесстрашного стремления дойти «до корня», стремления, запечатленного не только в жизни и в творчестве Толстого, но и в самой смерти.

3. ПРОТИВ НЕПРОТИВЛЕНИЯ

В статье «Лев Толстой и его эпоха» В. И. Ленин писал, что для Толстого «определенная, конкретно-историческая постановка вопроса есть нечто совершенно чуждое». И это особенно заметно там, где речь идет об исторических явлениях. «Он рассуждает отвлеченно,— пишет Ленин о Толстом,— он допускает только точку зрения „вечных“ начал нравственности, вечных истин религии...» (Полн. собр. соч., т. 20, стр. 101).

При этом Толстой, оставаясь в отвлеченной сфере «вечных истин нравственности и религии», стремился разрешить конкретно-исторические проблемы современного общества. Поэтому возникла острая полемика о непротивлении и в печати, и в личной переписке Толстого. Эта полемика была не отвлеченной, а очень конкретной и касалась важнейших и определенных проблем современности, хотя чаще всего велась на материале фактов и событий прошлого.

Доктор медицины *И. Т. Рид* из Канады доказывал Толстому, что принцип непротивления никогда не приносил желаемого результата и не может быть принят народом как средство избавления от «зла».

Перевод с английского

Монреаль. 28 сентября 1894 г.

Графу Льву Толстому

Дорогой друг!

Можно мне называть вас так? Я это делаю потому, что в течение многих лет вы были одним из моих лучших друзей. Мои лучшие друзья — те благородные люди, чьи книги дали мне величайшее наслаждение в жизни.

Из ваших книг я извлек не только удовольствие (я прочел все ваши сочинения, а теперь читаю последнее из них — «Царство божие внутри вас»), но и большую пользу. Благодаря вам я постиг высокие принципы учения Христа глубже, нежели в церкви, которая утверждает, будто проповедует эти принципы.

Чем больше я изучаю Его заповеди, тем яснее и яснее вижу, как их извращает церковь.

И все же я до сих пор бреду ощупью, потому что заповедь «Не противься злу» для меня не вполне ясна. Поэтому я и обращаюсь к вам за разъяснением.

В вашем последнем произведении вы учите, что противление злу никогда не может быть благом, даже если народ угнетен злом деспотического правления [1].

Я не могу с этим согласиться и примирить это с событиями истории.

1) Так, например, мне кажется, что в деле освобождения негров Соединенных Штатов Америки противление аболиционистов, которое привело к свободе рабов, было благотворным.

Правда, оно повлекло за собой кровопролитие и все ужасы гражданской войны, но зато уничтожило право рабовладельца владеть негром, как скотиной. Правда, положение американских негров в обществе все еще очень далеко от того, каким ему следовало бы быть, но все же эволюция постепенно совершается, и негры развиваются умственно и эстетически, если уж не физически и нравственно.

2) В царствование короля Иоанна английская знать путем противления получила от Иоанна или, вернее, исторгла силой Великую Хартию Вольностей, хартию свободы, которой англосаксы и пользуются с той поры. Это противление, на мой взгляд, принесло людям много хорошего.

3) В царствование английского короля Карла Первого круглоголовые (виги) также оказали противление королю. Правда, это стоило королю головы и привело многих к смерти, однако во времена правления Кромвеля Англия была свободна от деспотизма.

4) Правда, в царствование Карла Второго деспотизм ожил, но вторая революция (опять противление) приостановила его вторично.

5) В царствование Елизаветы Английской флот Англии оказал противление испанской Армаде и спас Англию от возобновления тех гонений на протестантов, которые были во времена правления королевы Марии («Марии Кровавой»). Хотя эта морская битва многим стоила жизни, зато была завоевана свобода от деспотической власти католической Испании.

6) Если бы русские крестьяне подняли революцию против деспотизма царя, как это неоднократно делали англичане против своих королей, они могли бы достичь того же, чего достигли англичане. Могли бы положить конец неограниченной власти царей, воспрепятствовать бесчеловечной жестокости к ссыльным в Сибири и предотвратить многие притеснения их самих. Не было ли б это благом для России?

При деспотической власти Англия никогда не делала успехов в науке, литературе или любом виде просвещения. То же самое в России. Англия повела другие народы за собой в отношении просвещения с той поры, как покончила с деспотизмом и к власти пришел народ.

То же самое могло бы быть в России. Но она никогда не покончит с деспотизмом, пока народ не восстанет во всей своей мощи, как это сделал английский народ, и не положит конец злу деспотизма путем противления.

Когда я читаю о прошлом, противление злу путем народных восстаний кажется мне от бога. Однако и в Нагорной проповеди сказано: «Не противься злу». Отсюда все мои затруднения. Не будете ли вы столь добры разъяснить мне это? Могу ли я просить вас об ответе? Я был бы очень рад узнать все непосредственно от вас, человека, которого я так полюбил.

Буду совершенно удовлетворен, если вы мне ответите хотя бы кратким письмом. Я был бы вам очень и очень благодарен и продолжал бы вспоминать о вас с любовью.

Смею ли просить вас прислать мне вашу фотографию? Ваше лицо — одно из тех, которые мне всегда хотелось бы иметь перед глазами.

Искренне ваш

Доктор медицины И. Т. Р и д

637, Wellington Street. Montreal. Canada.

P. S. Сейчас в Америке также существует рабство — это рабство труда в оковах капитала. С каждым годом все яснее видны зловещие признаки будущего кровопролития в результате освободительной борьбы трудящихся. По-видимому, ничто другое не освободит их от рабства.



Le Règne du Silence.

«ЦАРСТВО МОЛЧАНИЯ»

Карикатура на политический режим русского самодержавия

Литография А. Микаэля, 1901

Изображены (слева направо) обреченные на молчание под угрозой расправы — Польша, Толстой, Финляндия, студенчество, пресса

Вырезка из французского журнала «Assiette au Beurre»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Мне все же кажется, что освобождение негров доказало святость противления. Следовательно, если труд окажет капиталу вооруженное сопротивление и таким образом завоюет себе свободу, это будет также от бога.

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Yasnaia Poliana. Russia. Europe.

Толстой доказывал «святость непротивления», и против него был выдвинут антиномичный тезис «святости противления». Он знал силу аргументов истории. Но они для него не имели решающего значения. Если история свидетельствует в пользу противления, то это потому, что история, с «точки зрения вечных начал религии», отражает заблуждения и ошибки человечества. По мысли Толстого, нужно начать новую чистую страницу, которая может стать первой страницей истинной истории человечества.

Письмо из Чикаго от выходца из России, «экс-адвоката» *И. Кёнига*, содержит важное определение противоречий между «диагнозом» и «рекомендованным способом лечения» в теории Толстого.

Подлинник по-русски

Чикаго. 〈11 октября 1902 г.〉

Дорогой друг! (Не лично мой, а всех и каждого.)

Долго не употреблял я русского языка, и потому мой слог окажется, вероятно, местами шероховатым, местами неточным. Надеюсь, однако, что не исказится смысл того, что хочу сказать.

Читал я многие из ваших произведений, но мое особенное внимание обращено было на «Современное рабство» — «The Slavery of Our Times» [2], по поводу чего и обращаюсь к вам за разъяснением.

Постараюсь быть кратким, во-первых, потому, что я, как фабричный рабочий, не располагаю достаточным досугом, и, во-вторых, потому, что объемистый пакет может возбудить подозрение в глазах полиции и быть перехвачен ею.

Не могу не признать, что вы совершенно верно диагнозируете нашу социальную болезнь, но не могу согласиться с рекомендуемым вами методом лечения — «non resistance» — смирение.

Не желая впасть в односторонность, считаю за лучшее обмениваться, буде удостоюсь ответа, с вами мыслями для полного выяснения гнетущего нас вопроса.

Вы прекрасно знаете, что одна логика не служит еще ручательством в верности вывода. Всякое понятие, как бы оно ни было просто, несложно, вытекает из других предшествующих ему понятий — посылок, опускаемых, подразумеваемых, часто даже незамечаемых. Таким образом, при соблюдении самой строгой логики правильность или неправильность заключения зависит от верности или неверности первой посылки, служащей незаметно для нас точкою отправления.

Как *ex*-адвокат беру пример из судебной деятельности. Бывает, что как прокурор, так и защитник — оба искренни, правдивы (по их понятиям), а, между тем, каждый из них на основании одних и тех же фактов приходит к противоположному заключению.

Это объясняется, по моему мнению, единственно различием их положений, составляющих бессознательно для них то предвзятое мнение, с которым они подходят к данным фактам, и потому освещенным для каждого из них различно.

Не сомневаюсь, что все ваши душевные порывы, все ваше внутреннее бытие имеют своей жизненною артериею необъятную беспредельную любовь к человеку. Но любовь эта религиозная, вытекает из альтруизма, а не из эгоизма, чистого, сознательного, состоящего в том, что человек может быть

счастлив только тогда, когда все другие счастливы, и только в таком случае его собственное счастье гарантировано, полно [3].

Последняя любовь имеет, на мой взгляд, материалистическую основу в нашем сознании, уме, когда первая — эфемерная, вытекающая из одного чувства, обуявшего, поглощающего вас до того, что теряется равновесие между умом и чувством. Вы несетесь на крыльях этого чувства далеко, далеко в поднебесную высь, отрываясь от действительности, и находите пристанище только в учении Христа — «Не противься злу — смирение».

От великого до смешного один только шаг. Смирение! Вся природа своею историею развития служит отрицанием этого учения. Для того чтобы признать ваш метод лечения целесообразным, могущим дать блестящий результат в более близком или далеком будущем, необходимо принять, что все человечество до последнего индивидуума способно пройти чрез этот процесс «духовного возрождения». Но где факторы для такой метаморфозы? Ни в мире, ни в истории, ни в психологии.

У журавля — обитателя болот — могло явиться стремление усвоить себе путем естественного подбора свои высокие ноги и длинный клюв, необходимые ему в борьбе за существование. Но у волка, примерно, или того животного (я забыл его название по-русски), которое лазит вверх по деревьям, питаясь их орехами, никогда не может явиться стремление обрести оленьи рога, которые могут служить ему только помехою.

Каким же образом допустить, что и имущий класс, пользующийся всеми земными благами именно благодаря господствующей тирании и насилию, совершит над собою этот процесс возрождения,— никак не могу постичь!

Спокон веков, с того момента, когда человек воспринял понятие о боге, небесном и земном, он безуспешно борется против рабства. Изменялись формы, но сущность та же, именно благодаря только тому, что вместе с новой формой социальной жизни изменнически созидались новые условия, благоприятные для порабощения одной личности другою.

Нужны не слова, а здоровый нормальный строй жизни, чтобы явился нормальный человек.

Не удалюсь в далекие дебри нашей истории, укажу хоть на то, что две тысячи лет без малого стоит над миром это светлое, полное любви учение Христа. И что же? Злонамеренные люди злодейскою рукою вырастили из этого благодатного зерна одни плевелы, которыми и поныне кормят народ.

Мне представляется белка, запертая в клетку с колесом. Она спрыгивает с одной ступеньки на другую в надежде оказаться на свободе, но колесо делает только оборот, и она опять взаперти.

Белка может получить свою свободу только тогда, когда сразу разобьет самую клетку. Точно так же нужно и с одного размаху разрубить этот заколдованный круг, в который заперто человечество, и только тогда человек выйдет на свободу, на лоно природы и пойдет своей естественною дорогою.

Вы говорите, что всякое насилие над личностью разрушает в самом основании принципы свободы, жизненный орган анархизма. Вы правы. Но кто из нас говорит о понуждении кого-либо поступать не по своей, а по чужой воле?

Вся задача наша будет заключаться не в разрушении существующего, а во введении в жизнь того, что должно обеспечить благосостояние всех и каждого, не исключая и врагов, т. е. открыть для каждого возможность идти своей собственной дорогой, без всякого давления внешнего со стороны кого бы то ни было.

Конечно, для этого необходимо будет изъять из владения имущего класса все орудия и средства труда и не в свою исключительную пользу, а опять-таки сделать пользование ими свободным для всех: «Работай что и

сколько хочешь, пользуйся всем, чем можешь, никто с тебя ничего в обмен не спрашивает» — вот наш девиз.

Это учение наше открыто для всех, но, если наши противники, завладевшие путем грабежа и насилия богатствами мира и продуктами ⟨труда⟩ рабочего класса, не послушаются этих доводов ума, с оружием в руках встретят нас, тогда, конечно, дойдет до кровопролития, что, однако, не может и не должно остановить нас.

Нужно помнить, что вся эта пролитая кровь ничтожна в сравнении с теми бесчисленными жертвами, которые ежедневно, ежечасно, ежеминутно падали и падают от господствующей тирании и насилия. Что сказали бы, если бы хирург пред совершением необходимой и полезной операции, вдруг впал бы в сентиментальность, оплакивая тот или иной член, подлежащий ампутации, потерю крови и т. д., остановился бы в своей работе и не спас бы всего организма от неминуемой гибели?

Нужно также помнить, что не мы виновники этой кровавой расправы, что мы не имели и не имеем ни намерения, ни желания начинать с насилия, начинать с поголовного избиения противников, как в Варфоломеевскую ночь и 17 марта 1871 с коммунарами.

Знаю, что я многого не досказал, что сказанное страдает нестройностью, но мне некогда заняться изящною обработкою, пишу без оглядки, мое время продано.

Виноват, еще пару слов. Когда Наполеон спрашивал Лапласа, почему в его «Системе мира» не упоминается бог, он ответил, что не нуждался в этой гипотезе. Я ставлю вопрос обратного свойства. Зачем, к чему вы кончаете свою, во всяком случае бессмертную книгу «Современное рабство» упоминанием о боге?

Каким образом у вас укладываются рядом два понятия, одно другое исключающие? Бог — всевластный абсолютизм — и свобода личности.

Вы сами признаете, что всякая, всякая власть есть акт насилия и сами же приписываете эту черту богу, недостойную, по вашим словам, и человека.

Твердо помню ваши слова в «Ответе на постановление Синода» о наложении на вас анафемы: «Бог во мне, и я в нем» [4]. Значит, вне человека никакого бога нет.

Предупрежу ваше возражение и скажу, что сам Спиноза, восставший во всеоружии своего поистине гения против бога, совершил самоубийство, когда он, не желая расстаться с мистическим именем «бог» и стараясь примирить непримиримое, поставил пантеизм вместо монотеизма.

Скажу откровенно, что эта мистическая подкладка всех ваших идеалов скорее вредит делу, укрепляя людей в их прежнем заблуждении, тех людей, которых вы так страстно желаете просветить, не ошибусь, если скажу, готовы отдать жизнь свою за прозрение этих слепых.

Вот недавно духоборцы в Канаде выпустили весь свой скот, считая грехом употреблять его в работу или пищу. Вот до каких эксцентричностей доводит людей этот религиозный экстаз, в сущности одержимых страстным стремлением к правде и справедливости.

Жаждущий в интересах истины дальнейших разъяснений,

глубоко уважающий вас
И. Кёниг

J. Koenig. 369, W. Division st⟨reet⟩
Chicago, Ill. America.

Кёниг явно испытал влияние революционных демократов 1860-х годов. В письме к Толстому он почти буквально цитирует определение «разумного эгоизма» из книги Чернышевского «Антропологический принцип в фило-

софии». Но по своим убеждениям он был анархистом, эклектически соединяя некоторые идеи шестидесятников с «социальным дарвинизмом» и проч. Нас интересует здесь не столько мировоззрение Кёнига, которое не отличается оригинальностью, сколько его отношение к противоречиям Толстого. Кёнигу удалось выразить мнение, которое вообще характерно для революционных кругов того времени.

Революция признала правильной социальную диагностику Толстого — его «беспощадную критику капиталистической эксплуатации», но не приняла «рекомендованных им способов лечения».

История развивалась стремительно. И еще при жизни Толстого произошли «великие перемены» в настроении народа, который «так скоро научился делать революцию!» (т. 37, стр. 273).

Определяя исторический смысл «толстовщины», В. И. Ленин писал в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха»: «1905 год был началом конца „восточной" неподвижности. Именно поэтому этот год принес с собой исторический конец толстовщине, конец всей той эпохе, которая могла и должна была породить учение Толстого — не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 103).

VII

«К РАБОЧЕМУ НАРОДУ»

1. ГЕНРИ ДЖОРДЖ

«Я был нездоров с неделю и был поглощен George'ем и последней и первой его книгой „Progress and Poverty", к⟨оторая⟩ произвела на меня очень сильное и радостное впечатление ⟨...⟩ — писал Толстой в феврале 1885 г. В. Г. Черткову.— Я здесь поручил узнать его адрес и хочу написать ему письмо. Я вижу в нем брата, одного из тех, к⟨оторых⟩, по учению апост⟨олов⟩, любишь больше, чем свою душу» (т. 85, стр. 144).

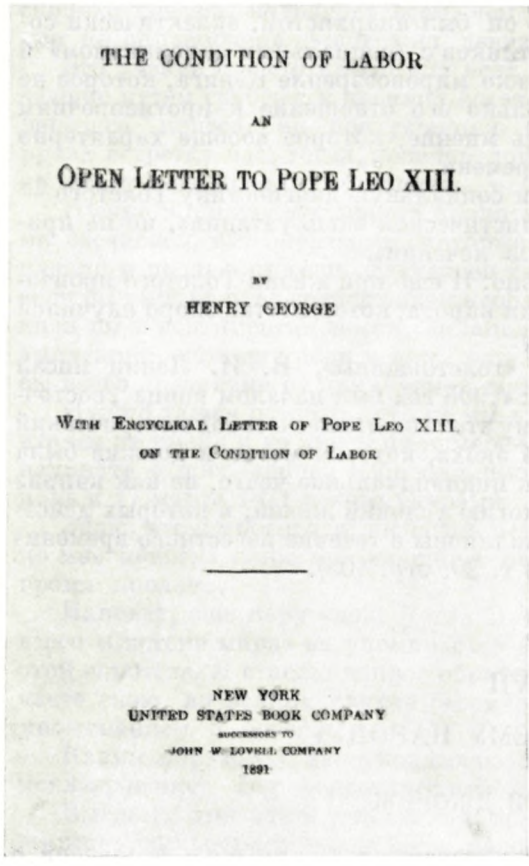
Таково было впечатление Толстого от первого знакомства с идеями американского публициста и экономиста Генри *Джорджа* (1839—1897). Упомянутая в письме «последняя книга», это «Social Problems» («Социальные проблемы»), опубликованная в 1884 г., в которой он развивал программу национализации земли и отказа от земельной собственности.

«Это важная книга,— писал Толстой жене.— Это тот же важный шаг на пути общей жизни, как освобождение крестьян — освобождение от частной собственности земли» (т. 83, стр. 480).

Толстой относился к Джорджу как к религиозному мыслителю и единственным его недостатком считал то, что он... экономист. Это очень важное обстоятельство, которое многое объясняет в позиции Толстого. Его привлекают не столько экономические, сколько социально-этические проблемы в книгах Джорджа. «Вот у Джорджа земельный вопрос,—говорил Толстой,— это — вопрос религиозный. И эта его энергия! Всегда серьезный тон» [1].

Джордж был интересен для него и как писатель. Прочитав «Речи Г. Джорджа», Толстой сказал: «Это прекрасная книга; она так хороша, что ее мог бы и не ученый написать»[2].

Уничтожение «земельного рабства» Толстой считал важнейшей задачей эпохи. «Владение землей так же незаконно,— говорил Толстой,— как владение душами. Кто держит у себя источник питания, тот держит



THE CONDITION OF LABOR

AN

OPEN LETTER TO POPE LEO XIII.

BY

HENRY GEORGE

WITH ENCYCLICAL LETTER OF POPE LEO XIII
ON THE CONDITION OF LABOR

NEW YORK
UNITED STATES BOOK COMPANY
SUCCESSORS TO
JOHN W. LOVELL COMPANY
1891

КНИГА ГЕНРИ ДЖОРДЖА «ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ...» (НЬЮ-ЙОРК, 1891), ПРИСЛАННАЯ ТОЛСТОМУ

Титульный лист

Личная библиотека Толстого

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

в своей зависимости неимущих. Для меня это теперь понятно с поразительной ясностью. А сколько нужно еще времени, чтобы эта мысль вошла в общее сознание. Я сам жил двадцать лет, не сознавая этого. Вот Генри Джордж лет тридцать как ясно и просто выяснил все, и о нем как-то не слышно» [3].

Намерение написать письмо Джорджу, возникшее при первом знакомстве с его книгами, осталось неосуществленным. Но интерес к его личности и его сочинениям не ослабевал и в последующие годы.

В апреле 1894 г. Толстой написал письмо Б. Эйленштейну, в котором определил свое понимание исторической роли Генри Джорджа. По мысли Толстого, Джордж «разбил все софизмы, которыми религия и наука оправдывали земельную собственность» (т. 67, стр. 105).

В апреле того же 1894 г. Толстой получил письмо от известной в свое время корреспондентки американских и русских газет *В. Н. МакГахан* (рожденной Елагиной, 1850—1904). Она привезла с собой книги, которые Джордж просил ее передать Толстому.

Подлинник по-русски

С.-Петербург. 20 апреля 1894 г.
33, Знаменская улица.

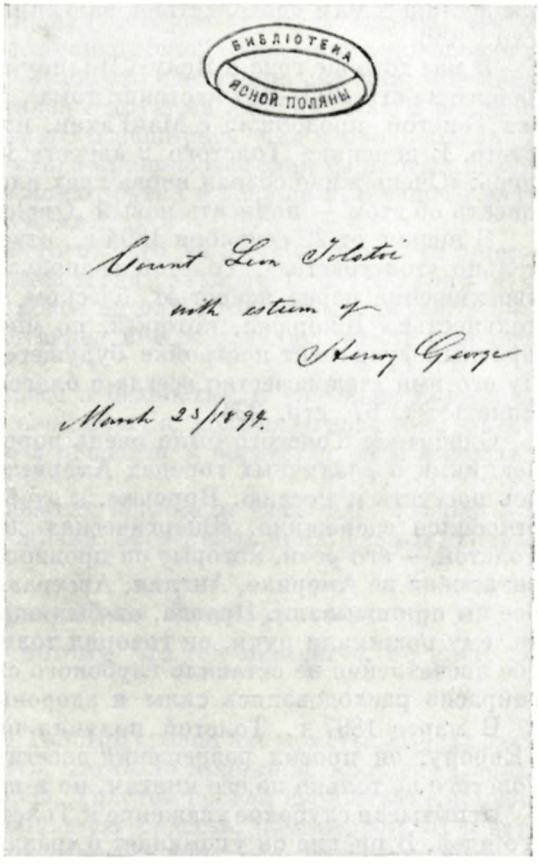
Многоуважаемый Лев Николаевич!

При отъезде моем из Нью-Йорка один из ваших многочисленных американских почитателей — известный экономист Генри Джордж — дал мне свои сочинения «Progress and Poverty» и другие с просьбой по возможности лично передать их вам и уверить вас в тех чувствах глубокого рас-

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГЕНРИ ДЖОРДЖА НА КНИГЕ «ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ...» (НЬЮ-ЙОРК, 1891)

«Графу Льву Толстому с уважением Генри Джордж. Марта 25. 1894»

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»



положения, которые он к вам питает с той поры, как ознакомился с вашими произведениями.

Зная, что вы проводили зиму в Москве, я надеялась застать вас там в мае месяце и доставить вам книги сама. Но теперь обстоятельства меня вынуждают оставаться в Петербурге до июля месяца, и я была бы очень вам признательна, если бы вы мне дали знать, как лучше, по вашему мнению, доставить вам привезенные мною книги.

В первых числах июля месяца я буду на несколько дней в Москве и затем в Туле — проездом в чернское имение моей сестры. Может быть, в том или другом городе я могла бы передать книги кому из ваших знакомых или родственников, а, может быть, и вам самим, что, само собою разумеется, было бы для меня большим счастьем, так как — равно как и все иные русские люди — я с радостью приветствовала бы случай видеть великого писателя нашего общего отечества.

С глубоким уважением остаюсь ваша почитательница

В. МакГахан

На конверте: Графу Льву Николаевичу Толстому.

В с. «Ясную Поляну» Тульского или Крапивенского у., г. Тула.

28 апреля 1898 г. Толстой писал, обращаясь к МакГахан: «Очень благодарен вам, многоуважаемая Варвара Николаевна, за чрезвычайно приятное мне принятое вами поручение Генри Джорджа и любезное письмо ваше ⟨...⟩ Я очень рад был узнать из вашего письма, что вы будете проездом в вашей и моей родине — Туле; надеюсь, что если вам будет время,

вы доставите нам удовольствие, заехав к нам в Ясную Поляну...» (т. 67, стр. 109).

В мае того же года в Ясную Поляну приехал Э. Кросби (см. о нем подробнее на стр. 395—407 настоящ. тома). Начатый с ним разговор о Джордже Толстой продолжал с МакГахан, приехавшей в Ясную Поляну в августе. В дневнике Толстого 9 августа 1894 г. появилась характерная запись: «Очень живо сознал вновь грех владения землей ⟨...⟩ Как нужно бы писать об этом — написать новый „Oncle Tom's Cabin"» * (т. 52, стр. 131).

В письме от 22 сентября 1894 г., отвечая на запрос Мак-Гахан относительно «толстовства», Толстой воспользовался случаем, чтобы высказать «восхищение перед ясностью, блеском, мастерством изложения и убедительностью» Джорджа, который, по мнению Толстого, «первый заложил прочный фундамент постройке будущего экономического строя», и поэтому его имя «человечество всегда с благодарностью и уважением будет поминать» (т. 67, стр. 226).

Одобрение Толстого было очень дорого для Джорджа. Он выступал с лекциями в различных городах Америки, собирался в Европу, намереваясь посетить и Россию. Впрочем, к этой форме его деятельности Толстой относился сдержанно. «Энергическая деятельность Джорджа,— говорил Толстой,— его речи, которые он произносит иногда по четыре раза в день, разъезжая по Америке, Англии, Австралии, не имели того значения, которое им приписывали. Правда, он был окружен атмосферой внешнего успеха, ему пожимали руки, он говорил толпе из коляски, но это поверхностное впечатление не оставило глубокого следа. На эту деятельность только напрасно расходовались силы и здоровье Джорджа» [4].

В марте 1897 г. Толстой получил письмо от Джорджа. Собираясь в Европу, он просил разрешения посетить Ясную Поляну. Джордж знал Толстого не только по его книгам, но и по рассказам МакГахан и Кросби.

Испытывая глубокое уважение к Толстому, Джордж не разделял вполне его идей. В письме он упоминает о «различных точках зрения». Важно заметить и те уточнения, которые он делает относительно своей независимой общественной позиции. Джордж понимал, что это обстоятельство имеет в глазах Толстого особенное значение.

Перевод с английского

16 марта 1896 г.

Дорогой граф Толстой!

Я никогда еще не писал вам, даже для того, чтобы поблагодарить вас за то хорошее, что вы обо мне говорили, отлично понимая, как вы заняты. Я ощущал к тому же постоянный недостаток времени, необходимого, чтоб выполнить в общем деле долю труда, которую считаю своей,— хотя мне и очень хотелось войти с вами в непосредственное общение и я чувствовал к вам огромную признательность.

Я из месяца в месяц ожидал, что поеду в Европу, и принял решение, если вы того пожелаете, непременно с вами встретиться. А так как вы говорите по-английски (к сожалению, у меня никогда не хватало времени изучить какой-нибудь иностранный язык), мне хотелось повидаться с вами и поговорить о том, в чем мы пришли, в основном, к одним и тем же выводам, хотя и с различных точек зрения.

Так как нам не дано знать, когда настанет наш час быть отозванным в мир иной, я не хочу более медлить и спешу высказать вам, как я высоко ценю то, что вы делали и делаете в жизни, и как порадовали меня ваши добрые слова обо мне.

---

* «Хижину дяди Тома» (англ.)

Сейчас я занят одной работой, над которой тружусь тщательнее, чем когда-либо. Это обзор всей науки политической экономии, в котором я излагаю полнее и систематичнее, чем мог это сделать до сих пор, мои взгляды на жизнь человека и на его связь с другими людьми. Как и все труды подобного рода, он оказался сложнее и обширнее, чем я предполагал. Но ежели мне дано будет его завершить, я пришлю вам один из первых экземпляров. А затем надеюсь посетить моих друзей в Европе и, с вашего разрешения, постараюсь повидаться с вами.

Еще одно слово в объяснение того, чего вы (как я узнал от мистера Кросби) не поняли, а он не смог вам тогда разъяснить. В 1886 году я поехал к мэру города Нью-Йорка вовсе не для того, чтобы определиться на службу. Мне хотелось поставить перед ним и обсудить некоторые очень важные вопросы.

Перед тем, как писать «Прогресс и бедность», я уже ясно понял: для исполнения того, в чем я видел свой долг, я должен отказаться от всякого стремления к преуспеванию в обществе и богатству. И я никогда не отклонялся от этого пути.

С чувством, более сильным, нежели восторг и уважение, с верой в то, что если мы не встретимся в этой жизни, есть жизнь иная, где мы увидимся непременно,

искренне ваш Генри Джордж

Р. S. Я пишу на машинке, потому что так мне легче, но пишу собственной рукой.

На конверте письма Джорджа Толстой сделал две пометы: «Б⟨ез⟩ отв⟨ета⟩». «Отв⟨ечать⟩». Трудно сказать, что было причиной появления первой пометы, но 27 марта (8 апреля) 1896 г. Толстой послал свой ответ Джорджу: «Письмо ваше доставило мне большую радость, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ я давно знаю и люблю вас. Хотя мы и идем разными дорогами, не думаю, чтобы мы разно мыслили в самом основном ⟨...⟩ Очень рад известию о том, что вы пишете критику ортодоксальной политической экономии. С нетерпением буду ждать ее. Чтение каждой вашей книги уясняет мне то, что прежде было не вполне ясно, и открывает новые горизонты. Еще больше радуюсь тому, что, может быть, увижусь с вами. Это будет для меня большая радость» (т. 69, стр. 77).

О своих расхождениях с Джорджем Толстой писал еще в 1885 г.: «Мои требования гораздо дальше его; но это шаг на первую ступень той лестницы, по которой я иду» (т. 83, стр. 481).

Встреча в Ясной Поляне не состоялась. Не дождался Толстой и новой книги Джорджа «Наука политической экономии». В 1897 г. Джордж умер. «Сережа вчера мне сказал,— писал Толстой Софье Андреевне 24 октября 1897 г.,— что Генри Джордж умер. Как ни странно это сказать, смерть эта поразила меня, как смерть очень близкого друга. Такое впечатление произвела на меня смерть Ал⟨ександра⟩ Дюма. Чувствуешь потерю настоящего товарища и друга. Нынче в „Пет⟨ербургских⟩ вед⟨омостях⟩“ пишут о его смерти и даже не упоминают об его главных и замечательных сочинениях» (т. 84, стр. 298).

Работая над романом «Воскресение», Толстой вновь обратился к вопросу освобождения земли от права частной собственности. В первоначальных вариантах романа Нехлюдов, вступив в брак с Масловой, должен был поселиться в Сибири. «Главным занятием Нехлюдова,— пишет биограф Толстого П. И. Бирюков,— в этой новой семейной жизни было составление докладной записки государю о важной предлагаемой им государственной реформе — национализации земли и учреждении единого налога по системе Генри Джорджа» [5].

Роман «Воскресение» не прошел мимо внимания «джорджистов». В этом отношении весьма примечательно письмо председателя «Манхеттенского клуба единого налога» *У. Д. МакКрекена*

Перевод с английского

Нью-Йорк, 8 января 1900 г.
Manhattan Single Tax Club.
119, East 23rd Street.

Дорогой граф!

Манхеттенский клуб единого налога, членом которого состоял Генри Джордж, считает своей целью борьбу за то дело, ради которого Генри Джордж жил и умер. Мы хотим выразить вам свою глубокую благодарность за помощь, оказанную нашему делу вашей последней книгой «Воскресение».

Сколь многих людей великая идея христианства — любовь к ближнему — приводит лишь к каким-то расплывчатым чувствованиям и неосуществимым планам о счастии всего человечества. Как отрадно видеть человека, который с той же самой точки зрения смог постичь всю экономическую важность земельного вопроса и ясно понял, в чем состоит простейший способ справедливого распределения благ природы!

Великое влияние вашего творчества распространится на тысячи читателей, которые иначе никогда бы и не услышали о земельном вопросе, едином налоге и Генри Джордже. Оно несомненно подготовит умы людей во всем мире к практическому применению идей в том направлении, в котором работает наш клуб.

Мы крайне сожалеем, что при первом же появлении вашей книги в нашей стране она подверглась произвольной цензуре одного из американских издателей.

Мы протестуем против его образа действий во имя свободы печати и элементарного гостеприимства и просим вас принять извинения от нашей страны в той степени, в какой мы имеем право говорить за нее. Нам кажется поистине непостижимым, что соотечественник Генри Джорджа счел возможным исказить ваши ясные и здравые высказывания по вопросу о земле.

С искренней надеждой, что вы еще много лет сможете бороться за дело правды и справедливости,

У. Д. МакКрекен, председатель

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Yasnaia Poliana. Toula. Russia.

По мере того как приближалась первая русская революция, земельный вопрос получал все более острое значение. Именно в 1905 г. появляются статьи Толстого «К рабочему народу», «Великий грех», «Единственно возможное решение земельного вопроса» — публицистическая защита программы Джорджа.

Нельзя сказать, что Толстой не понимал утопичности попыток убедить царя и его правительство в необходимости отмены земельной собственности. «Хотя я знаю, что никто не обратит внимания и что из этого ничего не выйдет,— говорил Толстой,— но чувствуешь непреодолимое желание сказать, написать об этом» [6].

Его письма к великому князю Николаю Михайловичу и П. А. Столыпину не оставались без ответа. Он получал неизменный ответ, что теория Джорджа «неприменима». Та же участь постигла и его попытку поставить вопрос об отмене земельной собственности в Государственной думе.

Между тем, борьба Толстого за проект Джорджа получила международную известность.

В 1908 г. Толстого приветствовал «Союз австралийских лиг земельной реформы»:

«История знает не много людей, которых бог одарил бы таким гением, каким обладаете вы, того менее — людей, которые отдавали бы свой гений на служение столь благородным целям. Как великая нравственная сила нашего времени вы возвышаетесь над королями и властителями и будете влиять на судьбы народов, когда забудутся они и дела их. Ваша любовь к людям-братьям, ваша готовность выступить в защиту всех угнетенных зажгла ответную любовь в сердцах миллионов людей, жизнь которых приобрела смысл, а стремления облагородились благодаря вашему примеру и учению...»

В марте 1909 г. Толстой писал: «Исполнение учения Генри Джорджа, т. е. освобождение земли от права собственности, или, выражаясь точнее, освобождение людей от порабощения посредством права собственности некоторых на землю, в наше время так же настоятельно необходимо, как было 50 лет тому назад освобождение людей в Америке и России от прямого рабства...» (т. 79, стр. 137—139).

1 июня 1909 г. в Ясной Поляне была получена телеграмма: «Могу ли посетить? Благоволите ответить. Генри Д ж о р д ж - с ы н». В ответной телеграмме Толстого, поданной 2 июня, говорилось: «Очень рад видеть, ожидаю» (т. 79, стр. 214).

5 июня сын Генри Джорджа, носивший то же имя, что и отец, был у Толстого.

«Вы поймете, каким чувством я был полон, подъезжая к Ясной Поляне,— писал он впоследствии,— если я скажу, что видеться с Львом Толстым было заветной мечтой моего отца. От моего покойного родителя и от близких друзей я всегда слышал благоговейнейшие отзывы о великом писателе. Как хотелось моему отцу провести хоть несколько часов в личной беседе с Толстым. Безвременная кончина лишила его этой счастливой встречи» [7].

Джордж-сын был радушно встречен в Ясной Поляне. Толстой, измученный разногласиями в своей семье, любовался сыном Джорджа, мужественно продолжавшим дело отца. Вскоре в газетах появилась статья Джорджа о поездке в Ясную Поляну — «Мой прощальный привет графу Толстому». «Мне кажется,— писал он в этой статье,— влияние Толстого на крестьян объясняется только личным обаянием, но никак не горячей проповедью его учения».

Перепечатывая отрывки из этой статьи Джорджа-сына в биографии Толстого, П. И. Бирюков сделал к этим словам характерное примечание: «При всем своем безграничном уважении ко Льву Николаевичу, он не может допустить, чтоб „дикие“ анархические идеи Льва Николаевича смогли влиять на народ» [8]. И в этом смысле Джордж оставался сыном своего отца. И он чувствовал «разницу точек зрения».

Толстой не потому изучал проект Джорджа, что поддался обаянию его личности, а потому, что чувствовал себя «адвокатом стомиллионного земледельческого народа». «Передовая же цель, к которой всегда стремился русский народ, по моему убеждению,— писал Толстой,— есть освобождение земли от права частной собственности» (т. 73, стр. 229).

И Толстой всеми силами, в том числе и пропагандой теории Джорджа, старался заставить общество «сознать» важность этой «передовой цели». Социальная критика Толстого предшествовала уничтожению земельной собственности в России, но решение этой задачи оказалось под силу только социалистической революции.

2. АЛЛЕН КЛАРК

У Толстого, по словам В. И. Ленина, «обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 21).

Толстой пристально, с глубоким сочувствием изучал положение рабочего класса в России и в странах Западной Европы. Бедствия, причиняемые капитализмом, он определил как «рабство нашего времени». Средством избавления от этого рабства он считал отказ от фабрично-заводского труда и возвращение рабочих к земледельческому быту.

Такое же решение рабочего вопроса предлагал в конце XIX в. английский писатель, журналист и издатель Чарлз Аллен *Кларк*, выступавший в печати под псевдонимом *Teddy Ashton*. Изображая фабричный быт Ланкашира, Кларк имел целью пробудить мысль — совсем в духе Толстого — о необходимости обращения рабочих к земледельческому труду. В течение многих лет Кларк выпускал еженедельник «Teddy Ashton's Weekly» и ежегодник «Teddy Ashton's Annual».

В краткой автобиографии [1] Кларк рассказывает о своей жизни:

«Родился я в 1863 г. в Болтоне, фабричном городе Ланкашира. Родители мои — рабочие. Первоначальное образование я получил в народной школе. Работал несколько лет на хлопчатобумажной фабрике, потом сделался школьным учителем.

Когда мне было двадцать лет, желая перейти на журнальную работу, я поступил в редакцию. Затем стал издавать собственную газету „Northern Weekly", выходившую каждую пятницу, и „Lancashire Annual", выходивший ежегодно в декабре. В этих изданиях, где печатались рассказы, научные и юмористические статьи, я всегда от имени редакции высказывался за демократию, за рабочих, за труд и социализм. Я основал „Ramble Club" и зимние общеобразовательные классы.

В „Labour Church" в Болтоне мне пришлось слышать выступления социалистов и со многими из них познакомиться. В 1890 г. я был выставлен кандидатом от рабочих на парламентских выборах в Рочделе, но потерпел поражение в результате борьбы между либералами, консерваторами и рабочей партией: прошел кандидат от консерваторов.

Тогда нелегко было быть социалистом: на нас смотрели как на пугало, и некоторые издатели отказывались печатать мои статьи после того, как меня выставили кандидатом от рабочих.

В 1899 году я выпустил книгу, которая, если не ошибаюсь, и положила начало моему знакомству с Толстым,— „Результаты фабричной системы". В Англии она произвела сенсацию. О ней упоминали в парламентах Англии, Австралии и других стран. О ней много говорили в печати, причем некоторые называли ее лживой, а другие превозносили как откровение. Я-то знал, что это правда, потому что писал на основании личного опыта.

Некоторые из реформ, за которые я ратовал, в особенности отмена детского труда, узаконены теперь парламентским актом. Значит, книга оправдала себя.

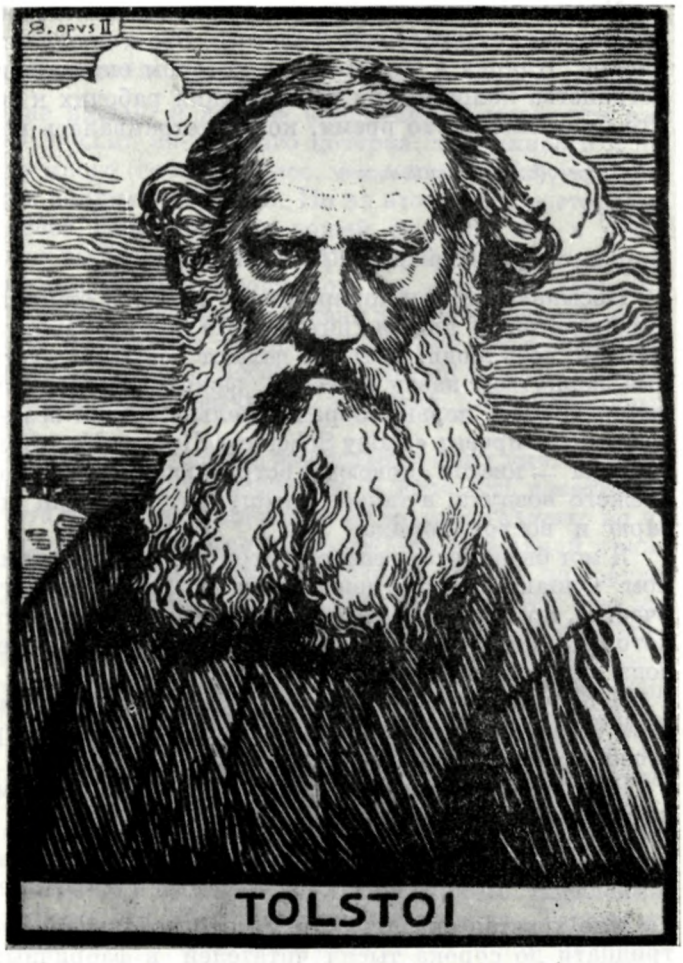
Вероятно, Толстой видел ее, потому что Элмер Моод в своей книге „Tolstoy and his Problems" („Толстой и его проблемы", 1901) пишет, что Толстой читал книгу Аллена Кларка „Factory system", хвалил ее и рекомендовал для перевода на русский язык [2].

Прочтя это, я написал Толстому и, думая, что ему может быть интересно, послал ему статьи о нашей ланкаширской колонии „Назад — на землю" („Daisy Colony"). Он ответил мне, и я очень жалею, что не сохранил его писем, а роздал их его почитателям. Он просил у меня несколько моих

ТОЛСТОЙ

Гравюра английского художника Роберта Брайдена. 1901

Музей Толстого, Москва



коротких фабричных рассказов, намереваясь дать их для перевода на русский язык. Осуществилось это или нет — не знаю.

Я никогда не был знаком с Толстым лично и никогда не был в России, но читал многие из его книг, и мне нечего говорить, как я их люблю. Об этих книгах я писал в моей газете „Northern Weekly", советуя читателям изучать их».

Автобиографическая заметка Кларка объясняет, таким образом, и историю его переписки с Толстым.

Упомянутая Кларком организация рабочих города Ланкашира («Daisy Colony») существовала очень недолго. Маленький капитал, составленный из членских взносов, был употреблен на аренду участка земли и дома в Бишеме. Несколько членов организации поселились там и приступили к обработке земли, но колония вскоре распалась.

В 1900 г. Толстой работал над статьей «Рабство нашего времени». В письме от 27 января он писал Э. Мооду: «Занят я теперь преимущественно статьей о рабочем вопросе. Я уже писал об этом, но, мне кажется, что имею сказать нечто новое, и, надеюсь, просто и ясно. Пришлите мне, пожалуйста, книжку The Effects of the Factory System, Allen Clarke, London и, если можно, поскорее, и еще новейшие книги или статьи об этом предмете, т. е. о положении рабочих теперь. Очень обяжете меня. Я же вышлю вам, что будет стоить» (т. 72, стр. 290).

Моод выполнил просьбу Толстого. Он также сообщил Кларку о том, что его книга заинтересовала Толстого. Это и послужило поводом для первого письма Кларка к Толстому, в котором он изложил свою основную идею устройства колоний для возвращения рабочих к земледельческому труду. Это было именно то время, когда устраивалась колония в Бишеме.

Перевод с английского

Болтон. 20 апреля 1904 г.
104, Mornington Road.

Дорогой друг Толстой!

Посылаю вам три номера моей газеты. Я отметил те статьи, которые могут представить для вас интерес. Из них вы увидите, что и здесь, на севере Англии, есть люди, которые делают попытки, пусть слабые и несовершенные, вернуться назад к земле, зажить честной жизнью, без купли-продажи, хотя на первых порах и нельзя совсем без этого обойтись. Мы назвали наш проект «Daisy Scheme» («Проект Маргаритка»), потому что маргаритка — цветок повсюду встречающийся и простой, цветок полей и свежего воздуха, а также потому, что он один из первых приветствует зарю и восход солнца.

Я мог бы написать еще о многом, но не хочу утомлять вас длинным письмом. Однако прежде чем закончить, хочу поблагодарить вас за доброе участие, проявленное вами к моей книжке «Результаты фабричной системы», которую, как мне сообщил г. Элмер Моод, вы рекомендовали для перевода на русский язык.

Я прочел недавно «Так что же нам делать?» и «Царство божие внутри вас». Излишне говорить вам, что я нахожу их прекрасными. Прекрасными своей правдой и справедливостью.

В нашей стране есть множество людей, которые многим обязаны вашим книгам, и я — один из них.

С наилучшими пожеланиями
Аллен К л а р к

Мне хочется сказать, что у моей небольшой еженедельной газетки от тридцати до сорока тысяч читателей в фабричных городах и поселках на пятьдесят миль кругом Манчестера — этого центра торговли, коррупции и беспорядка.

На конверте: Здесь, в Ясную Поляну.
Графу Льву Николаевичу Толстому.

«Рад был получить от вас письмо. Желаю вашему замыслу успеха,— отвечал Толстой Кларку 30 апреля/13 мая 1904 г.— Это начало большого и очень важного дела, которое будет сделано рано или поздно. Книга ваша, переведенная на русский язык, пользуется большим успехом. Теперь постараюсь перевести один из ваших романов. Я еще не читал их, но, судя по отзывам печати и моему личному мнению, основанному на известной мне книге, они должны обладать теми же достоинствами, что и „Factory System“» (т. 75, стр. 90).

Книга Кларка была опубликована издательством «Посредник» в переводе А. Коншина под названием «Фабричная жизнь в Англии». В предисловии к этой книге И. И. Янжул писал: «По частям он разбирает весь вопрос, как бы составляя обвинительный акт против английской фабричной промышленности, и одинаково во всех частях и по указанным причинам признает промышленность как бы виновной против интересов рабочего населения» [3]. Кларк, узнав о намерении Толстого перевести на русский язык некоторые из его рассказов, послал в Ясную Поляну две своих книги и благодарственное письмо.

Перевод с английского

Ланкашир. Англия. 23 мая 1904 г.
104 Mornington Road

Дорогой друг Толстой!

Благодарю вас за ваше письмо и добрые замечания. Боюсь, что вам трудно будет прочесть это письмо из-за моего почерка, торопливого и неразборчивого. Я пишу так много (гораздо более, чем хотелось бы), что приходится спешить, и оттого получается плохо. Но на этот раз я постараюсь писать не торопясь и пояснее. Как хорошо с вашей стороны, что в ваши годы и при ваших заслугах вы беспокоитесь о переводах некоторых из моих рассказов, которые, возможно,того и не стоят, хоть я и старался дать как можно более правдивую картину фабричной жизни в нашей стране. У меня для этого достаточно если не таланта, то знания, потому что я еще мальчиком работал на текстильной фабрике, восемь лет учительствовал в школе для фабричных детей, а затем стал газетчиком, журналистом в фабричных городах, в рабочей среде.

Жалею, что у меня сейчас нет ни одного экземпляра моих книг: две повести уже разошлись, но я постараюсь их достать. У меня есть повести получше, чем эти; они печатались с продолжением во многих газетах; но ни один лондонский издатель не соглашается выпустить их отдельной книжкой. Недавно я послал издателю Вальтеру Скотту одну из них под заглавием «A Daughter of the Factory» («Дочь фабрики»). Мне кажется, что это одна из лучших историй о фабричной жизни, написанных мной: наиболее полная и правдивая. Он ответил мне очень милым письмом, в котором говорил, что это хорошая повесть, превосходно задуманная и написанная, но он не рискует ее издать, потому что читателям обычно не нравятся произведения такого рода: она не модная. Так она и лежит у меня в ящике стола, дожидаясь своего времени вместе с другими, потому что у меня нет денег, чтобы самому их издать. Ну да ничего! Если книги эти нужны людям, господь поможет осуществить их издание в должное время, а если они не нужны, то пусть так и остаются в неизвестности. Во всяком случае, я не испытываю никакой досады. Когда-то я был не чужд литературного тщеславия, но скоро постиг всю суетность его. Когда-то я жаждал славы. Теперь же хочу только принести немного добра, если это в моих силах, и помочь братьям моим — людям. Повести могут и подождать. Я еще не стар, мне только сорок. Посылаю вам все же две мои книги. Одна из них — сборник рассказов, по большей части из фабричной жизни Ланкашира. Другая книга — довольно странная, родившаяся из несколько необычных личных переживаний. В сущности, это интимная книга, и она не была бы написана, если бы не многократные просьбы людей, которые читали небольшие статьи, печатавшиеся мною время от времени на эту же тему в моей газете. Ее читатели собрали средства на издание моей книги. Не знаю, как вы используете книгу «Eternal Question» («Вечный вопрос»). Но уверяю вас, что это доподлинная правда. Если вы сможете объяснить то редкое явление, которое в ней описано, я буду вам очень признателен.

Некоторые из рассказов сборника «Tales that ought to be told» 〈«Рассказы, которые нельзя было не написать»〉, может быть, и заслуживают перевода, но об этом будете судить вы, когда прочтете. Я лично начал уставать от бесконечного писания и споров. Считаю это в значительной мере просто потерей времени и сил. Мы мало делаем и слишком много говорим и пишем, а в результате — столкновения и путаница.

С наилучшими пожеланиями
Аллен К л а р к

Вам, может быть, интересно будет узнать, что я не ем мяса и не употребляю алкоголя, хотя и не прочь выкурить трубочку. Но теперь я курю мало, хотя прежде курил много.

Хочу добавить, что пьеса под заглавием «Воскресение», написанная по вашему роману, поставлена впервые в Лондоне. Ее играли здесь на прошлой неделе, как раз когда я получил ваше письмо. И я пошел ее смотреть.

Пьеса строго придерживается вашего текста. Она гораздо лучше, чем я ожидал. Некоторые сцены были просто превосходны.

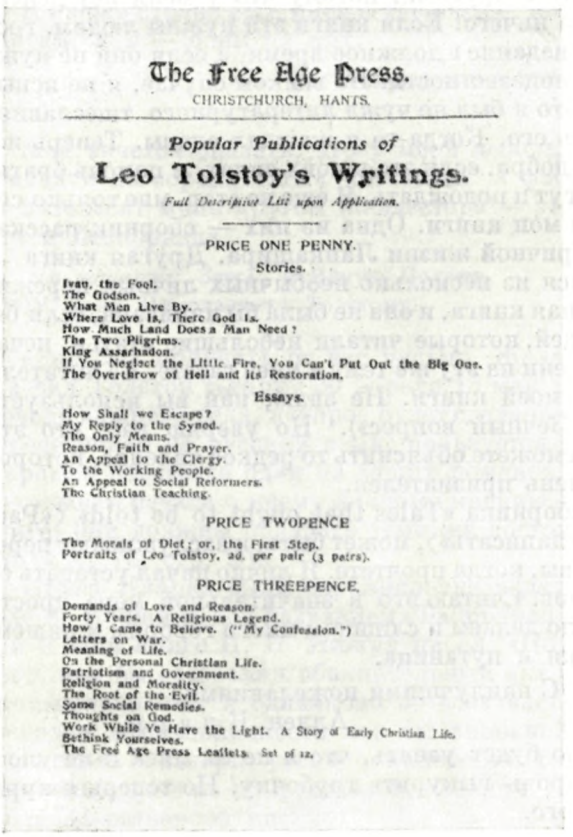
Кстати, напечатана ли по-русски моя книжка «The Effects of the Factory System» или она распространяется в рукописи? Если это книжка, то мне хотелось бы получить экземпляр.

На это письмо Толстой не ответил. Переписка прервалась и не возобновлялась. В 1906 г. издательством «Посредник» была выпущена в свет книга А. Кларка «Вечный вопрос» — о самосовершенствовании.

Что же касается книги «Factory System», то в 1906 г. она была вновь издана «Посредником» в новом переводе.

Кларк, по существу, стремился создать некое натуральное хозяйство, обособленное от всеобщего товарообмена. Интересно заметить, что Янжул в предисловии к книге Кларка указывал на утопичность этой программы.

«В жизни народов,— писал Янжул,— как и людей, существуют своего рода возрасты, которые по произволу перемещать невозможно, и как зрелого возраста муж при всем его желании не может превратиться в юношу, так и Англия, создавшая современный Ланкашир с колоссальной промышленностью, не может — увы! — вернуться опять к земледельческой идиллии доброго старого времени».



The Free Age Press.

CHRISTCHURCH, HANTS.

Popular Publications of

Leo Tolstoy's Writings.

Full Descriptive List upon Application.

PRICE ONE PENNY.

Stories.

Ivan, the Fool.
The Godson.
What Men Live By.
Where Love Is, There God Is.
How Much Land Does a Man Need?
The Two Pilgrims.
King Assarhadon.
If You Neglect the Little Fire, You Can't Put Out the Big One.
The Overthrow of Hell and its Restoration.

Essays.

How Shall we Escape?
My Reply to the Synod.
The Only Means.
Reason, Faith and Prayer.
An Appeal to the Clergy.
To the Working People.
An Appeal to Social Reformers.
The Christian Teaching.

PRICE TWOPENCE

The Morals of Diet; or, the First Step.
Portraits of Leo Tolstoy. 2d. per pair (3 pairs).

PRICE THREEPENCE.

Demands of Love and Reason.
Forty Years. A Religious Legend.
How I Came to Believe. ("My Confession.")
Letters on War.
Meaning of Life.
On the Personal Christian Life.
Patriotism and Government.
Religion and Morality.
The Root of the Evil.
Some Social Remedies.
Thoughts on God.
Work While Ye Have the Light. A Story of Early Christian Life.
Bethink Yourselves.
The Free Age Press Leaflets. Set of 12.

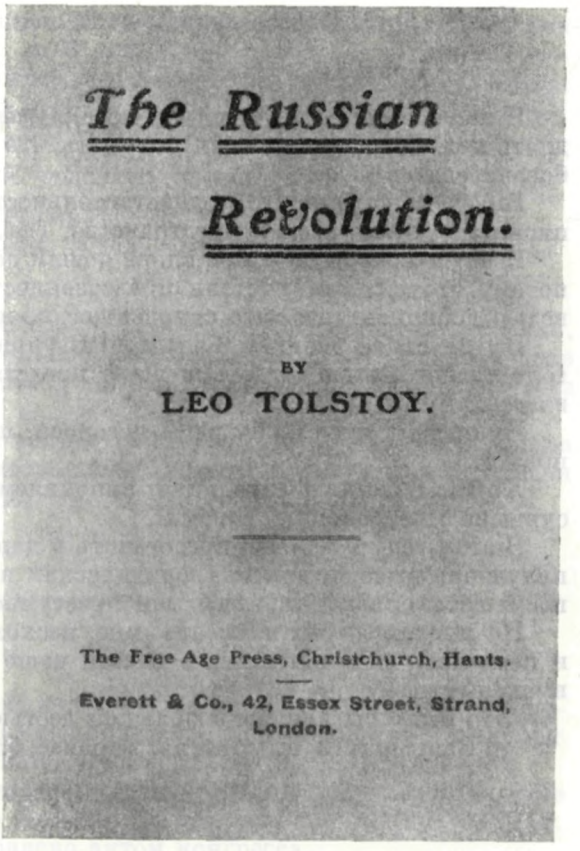
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТОЛСТОГО, ВЫПУЩЕННЫХ В. Г. ЧЕРТКОВЫМ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «THE FREE AGE PRESS» (АНГЛИЯ)

Напечатано на обложке книги «The Russian Revolution». By Leo Tolstoy. Christchurch, 1907

«Издавая так, как вы издаете, вы исполняете самое близкое моему сердцу желание — иметь своим читателем большую публику, рабочего, трудящегося человека, и подвергнуть свои мысли его решающему суду». (Из письма Толстого заведующему издательством «The Free Age Press» Ф. Файфилду.

(2 октября 1900 г.)

«О [ЗНАЧЕНИИ] РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». АНГЛИЙСКИЙ ПЕРЕВОД (КРАЙСТЧЁРЧ, 1907)
Обложка



К этим словам Янжула издательством «Посредник» было сделано редакционное примечание:

«Помещая с глубокой благодарностью это высокоинтересное предисловие уважаемого академика, издатели этой книги считают нужным оговориться, что они не могут согласиться с заключительными словами И. И. Янжула относительно невозможности возвращения или отклонения современного направления труда населения стран с преобладающей фабрично-заводской промышленностью к земледелию и что, напротив, это считается ими вполне возможным»[4].

Толстой остался в сфере теоретического «разрешения» вопроса, а Кларку суждено было увидеть крах колонии, с которой были связаны его надежды на возвращение рабочих к земледельческому труду.

3. «ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК РАБОЧИХ»

Было бы странно, если бы в иностранной почте Толстого отсутствовали письма деятелей международного рабочего и социалистического движения. Конечно, принципиальное отрицание активных форм революционной борьбы пролетариата, многократно заявленное Толстым в печати и достаточно хорошо известное в революционных кругах, ограничивало переписку.

Но все же во многих случаях к Толстому обращались с просьбами поддержать своим авторитетом рабочее движение.

В 1899 г. Толстой получил письмо из Буэнос-Айреса от молодого аргентинского студента Альфредо Ла *Паласиоса* (р. 1879).

Перевод с испанского

Буэнос-Айрес. 9 февраля 1899 г.

Брат!

Я полюбил вас пять лет тому назад. Сейчас мне едва исполнилось двадцать лет. Вы научили меня понимать, что «бедняки голодают, потому что богачи едят много».

Вы очень далеко. Но, в действительности, далеко ли? Нет! Ведь наша планета — лишь атом в пространстве, где все является центром.

И вот я хочу, чтобы мои слова дошли до вас, хочу приветствовать вас, потому что вы, как учитель нравственности, своей непрестанной проповедью добились того, что самодержец произнес слово мира[1].

Вы поистине великан, брат мой! Вы приносите хлеб в жалкую лачугу голодающего, вы в одежде мужика предстали перед троном, неся советы властелину.

Никогда я не услышу вашего голоса, прославленный брат. Мне больно это.

Хотите облегчить страдания, причиняемые мне мыслью, что никогда не суждено мне говорить с вами?

В этом году я должен представить в наш университет диссертацию для получения степени доктора юридических наук и социологии. Моя работа посвящена проблемам нищеты и преступности.

Не можете ли вы написать мне несколько слов в связи с этой темой и позволить мне поместить в печати ваше еще нигде не опубликованное высказывание?

Это было бы для меня большой честью.

Ваш брат и почитатель, заранее благодарный вам

Альфредо Ла Паласиос

Это письмо юного студента написано под впечатлением широковещательных мирных заявлений, делавшихся от имени русского царя в дни подготовки и проведения конференции в Гааге. Отдавая дань увлечению этими политическими декларациями, составлявшими «злобу дня», он, вместе с тем, видит в Толстом великую нравственную силу, с которой никто не может не считаться.

Паласиос впоследствии стал крупным социологом. Он приобрел известность и признание в политической жизни страны как один из основателей Аргентинской социалистической партии.

В 1899 г. главный редактор датского журнала «Social-Demokraten» Эмиль *Виинблад* (1854—1935)[2] просил Толстого прислать статью о борьбе пролетариата за восьмичасовой рабочий день.

Перевод с французского

Копенгаген, 7 марта 1899 г.
«Social-Demokratens Redaktion».
Broloeggerstroede 11.

Граф!

Социалистическая партия Дании намерена выпустить по случаю первомайской демонстрации праздничный иллюстрированный номер «Social-Demokraten». Нам очень хотелось бы получить для этого номера несколько строк от выдающихся людей Европы о восьмичасовом рабочем дне и празднике Первого мая.

Очень просим вас прислать небольшую статью. Нам нужно получить ее как можно скорее, потому что праздничный номер будет вы-

пущен в ста тысячах экземпляров, и печатание его начнется уже в конце марта.

В надежде, что вы не откажете нам в этой услуге,

с почтением, очень обязанный
Э. Виинблад,
главный редактор «Social-Demokraten»

На конверте: Le comte Leo Tolstoy.
Nasnaja Poljana. Gouvernement Tula.
Russia.

Выражая надежду «поскорее получить статью», Виинблад, несомненно, не был осведомлен об отрицательном отношении Толстого к такого рода просьбам. На конверте его письма Толстой сделал пометку: «Б. О.» — «без ответа».

В 1908 г. Толстой получил запрос из Америки от редакции журнала «Social-Democratic Herald», касавшийся Международного дня 1 Мая, а также национального Дня труда.

Перевод с английского

Милуоки, шт⟨ат⟩ Вис⟨консин⟩ 11 августа 1908 г.
344, Sixth st. Milwaukee.

Дорогой товарищ,

Обращаюсь к вам с просьбой: не будете ли вы добры прислать мне несколько слов о Дне труда для специального номера «Social-Democratic Herald», который выйдет в пятницу 4 сентября.

По ряду соображений социал-демократы Америки принимают участие в праздновании национального Дня труда, так же, как и Первого Мая. Празднование этих дней установлено актом конгресса.

Во главе организованного труда в нашей стране стоит Американская федерация труда, насчитывающая в своих рядах свыше двух миллионов рабочих.

Хотя Федерацию возглавляют противники социалистов, но рядовые массы, благодаря нашей постоянной агитации, становятся все более и более социалистическими. Крушение гомперсовского режима[3] и замена его другим, прогрессивным, является исключительно вопросом времени и терпения.

Мы широко используем День труда (первый понедельник сентября) для социалистической пропаганды среди рабочих. С каждым годом возрастает спрос на выступления ораторов-социалистов с трибуны торжественных собраний в честь этого дня.

Со всех концов страны поступают требования на большое количество экземпляров нашей газеты.

«Social-Democratic Herald» — издание, предназначенное для всей страны. Но существует и местное издание специально для Милуоки — города, где социалистическое движение достигло наибольших успехов во всей Америке: каждый третий избиратель подает здесь свой голос за социал-демократов.

Надеюсь, что вы найдете время (в желании не сомневаюсь) исполнить мою просьбу.

Остаюсь искренне, братски преданный

Фредерик Хис

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Yasnaia Poliana. Russia.

В апреле 1909 г. в Цинцинати намечался национальный съезд безработных Соединенных Штатов Америки. Вице-председатель и секретарь «Общества защиты безработных»(«Unemployed Protective Association»)Роберт У. *Гиллеспи* направил Толстому приглашение посетить съезд. Письмо написано на бланке: «Наш девиз: дайте нам работу, а не милостыню. Общество защиты безработных».

Перевод с английского

Цинцинати. Огайо. 27 марта 1909 г.

Милостивый государь!

«Общество защиты безработных» (Цинцинати, Огайо) выпустило Обращение к национальному съезду всех безработных Америки, имеющему собраться в этом городе 25 апреля 1909 года в помещении, которое будет определено позднее.

От всей души приглашаем вас посетить наш съезд. Уверены, что там вы соберете много ценных сведений и статистических данных относительно серьезнейшей проблемы, которая стоит сейчас перед всей нашей страной.

Заранее благодарим вас за ваше сердечное участие в нашей скромной попытке. Если вы знаете еще кого-нибудь, кто заинтересовался бы этим общественным начинанием, будьте добры передать приглашение также и ему.

Искренне ваш Роберт У. Гиллеспи
первый вице-председатель и секретарь

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Moscow. Russia.

В июле того же года Толстой получил письмо из тогдашней Австро-Венгрии от одного из представителей чешского рабочего движения, журналиста Алоиза *Шашека*.

Перевод с немецкого

Пльзень. 22 июля 1909 г.

Милостивый государь!

1 августа мы открываем в Пльзене большую рабоче-промышленную выставку. По этому случаю я набрался мужества написать вам несколько слов. В одном из зал в виде особой коллекции будут выставлены литературные документы людей, близко стоящих к рабочему движению.

Вот для этой цели и прошу вас, милостивый государь, написать несколько строк нам в подарок. Ваши произведения встречают среди рабочих горячий отклик. Среди нас есть искреннейшие ваши поклонники.

Если вы будете так добры прислать на выставку небольшой сувенир, мы сохраним его как доказательство, что у нас есть в Ясной Поляне друг, который также трудился и боролся за рабочее дело.

Социалистический привет от чешских рабочих в Пльзене.

С глубоким уважением
Алоиз Шашек, редактор

На конверте: Hochgeehrter Levi Nik. Tolstoj,
Schriftsteller in Jasnaja Poljana.
Rußland.

«Социалистический привет от чешских рабочих» не остался без отклика. В Пльзень была послана выписка из «Круга чтения».

Письма деятелей рабочего движения свидетельствуют о том, что еще при жизни Толстой получил известность и признание среди рабочих читателей Запада как писатель и мыслитель, который «трудился и боролся за рабочее дело».

4. «ОСНОВЫ РЕВОЛЮЦИИ НЕСОМНЕННО ВЕРНЫ»

В 1904 г., в самый разгар русско-японской войны, Толстой получил письмо, написанное на другой день после Ляоянского сражения, от Абэ Исо, редактора японской социалистической газеты «Хеймин симбун», что значит «Народная газета». «Мы социалисты и, вместе с тем, противники войны,— писал Абэ Исо.— Нам довольно трудно обличать войну, но несмотря на многие преследования, мы делаем все, что можем».

Вместе с письмом Абэ Исо прислал Толстому и журнал со статьей «Влияние Толстого в Японии». «Россия может справедливо гордиться тем, что она имеет такого великого человека, как Лев Толстой,— говорится в статье,— хотя он принадлежит скорее всему миру, чем одному народу...» [1]

Толстой ответил Абэ Исо письмом от 23 октября/5 ноября 1904 г. «...Я не одобряю социализма,— писал Толстой, имея в виду теорию классовой борьбы пролетариата,— и жалею, что наиболее передовая в духовном смысле часть вашего умного и энергичного народа переняла у Европы слабую, призрачную и обманчивую теорию социализма...».

«Цель социализма, — продолжал Толстой, — удовлетворение низшей стороны человеческой природы — материального благосостояния, и способами, которые предлагаются, эта цель никогда не может быть достигнута. Истинное благосостояние человечества — духовное, т. е. нравственное, включает материальное благосостояние. И эта высшая цель может быть достигнута только религиозным, т. е. нравственным совершенством всех отдельных единиц, составляющих народы и человечество» (т. 75, стр. 177). Это письмо Толстого было перепечатано во многих странах. В 1905 г. Толстой получил запрос от двух рабочих социалистов из Испании по поводу его ответа Абэ Исо.

Перевод с испанского

Альмерия. 22 октября 1905 г.

Почтеннейший сеньор!

Нам знакомы ваши убеждения и по вашим сочинениям, и по тому, что весь мир пишет о них.

Мы вполне согласны с вами, так как разум велит нам то же самое, что ваши книги.

Полагаясь на вашу доброту и отзывчивость, берем на себя смелость просить вас разъяснить нам следующее.

В журнале «Revista Socialista», издаваемом в Испании, помещено ваше письмо к одному японцу в ответ на его просьбу изложить ваши взгляды на социализм.

Вы говорите в этом письме, что не согласны с социализмом, потому что он стремится «к удовлетворению низшей стороны человеческой природы».

По этому поводу социалисты кипятятся и заявляют, что надо еще посмотреть, в каких условиях живут те, кто думает иначе, чем они.

Мы — ваши горячие почитатели — отвечаем, что они не с того бока, как говорится, подходят к делу. Но ведь мы простые рабочие без всякого образования, нам не хватает слов убедительно показать им, что́ вы хотите сказать. И поэтому мы, в надежде на ваше доброе отношение, просим вас объяснить нам эту загадку.

Благодарим вас заранее. Остаемся искренне преданные и готовые к услугам

Хуан Рубиро **Г а р с и а**
Хуан Лопес **М у н ь о с**

Если окажете нам милость прислать ответ, то мы, ваши почитатели, будем ждать письмо на Caglie del Ingles, № 28.

Толстой считал социализм «односторонним учением» и свое отношение к нему выразил в краткой и своеобразной формуле: «Социализм есть осуществление идей христианства в экономической области» [2].

«Есть социализм и социализм,— писал В. И. Ленин.— Во всех странах с капиталистическим способом производства есть социализм, выражающий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий идеологии классов, которым на смену идет буржуазия» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 103). Толстой, по мысли Ленина, выражал идеалы патриархального крестьянства, поэтому он искал их воплощения в прошлом.

Весь ход рассуждения наводил Толстого на мысль о революции, хотя сама идея «разрушения существующего порядка» мотивировалась у него требованиями «совершенства» каждой отдельной личности и народа. «Если <...> разрушается существующий порядок, не доказывает ли это только то,— писал Толстой в письме к Фойстеру,— что порядок этот ложный, противен воле бога и потому подлежит уничтожению» (т. 67, стр. 259).

В 1901 г. к Толстому обратилась редакция мадридского журнала «Revista Blanca», известного и крупного издания в Мадриде. В числе сотрудников журнала, как указано в письме, были виднейшие писатели, ученые и политические деятели конца XIX — начала XX в., в том числе великий испанский писатель Мигель Унамун, прославленная французская революционерка, участница Парижской Коммуны Луиза Мишель, теоретик права, философ и писатель Ф. Хинер де Лос Риос и др.

Перевод с испанского

Мадрид. 3 октября 1901 г.

Высокочтимый маэстро!

Восхищение перед вами, благородный проповедник высоких идеалов в России, стране тяжелейшего рабства, побуждает нас просить вас прислать одну из ваших работ для альманаха, который мы собираемся издавать и который будет составлен из оригинальных текстов виднейших писателей. Будем бесконечно благодарны, если вы пойдете навстречу нашей просьбе, потому что вы окажете этим большую поддержку молодежи нашей несчастной Испании, которой так нужна помощь великих учителей.

С искренним приветом от редакции журнала «Revista Blanca»

Т. Монье

В 1894 г. Шарль Саломон (о котором см. в кн. 2-й настоящ. тома) прислал в Ясную Поляну статью «Социализм и свобода», принадлежавшую перу А. Дежардена, издателя журнала «Union pour l'Action Morale». «Я не согласен с ним,— писал Толстой Саломону по поводу статьи Дежардена,— только в том, что читается между строк его статьи, что если программа социалистов неисполнима, то настоящее положение вещей может и должно оставаться, каким оно есть, с собственностью земли и капитализмом» (т. 67, стр. 24). Толстой выступает с социалистической программой, осуществление которой было мыслимо лишь при условии коренного, т. е. революционного, изменения «существующего порядка».

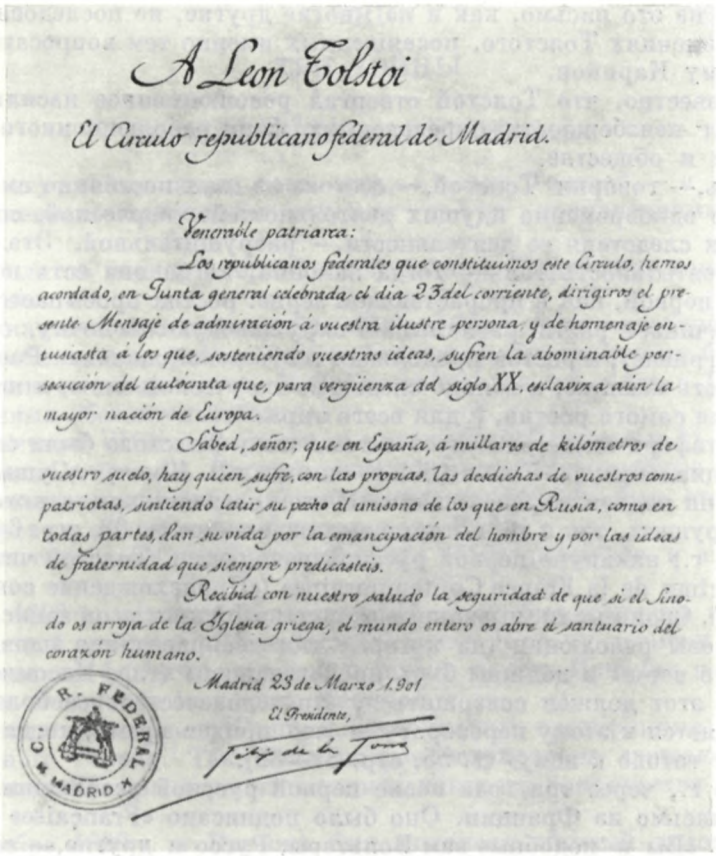
Французский журналист Поль *Карийон* писал Толстому:

Перевод с французского

Лион. 18 ноября 1901 г.

Дорогой учитель!

Позвольте мне начать с того, что я не принадлежу к числу глупых собирателей автографов, осаждающих великих людей, чтобы заполучить от них несколько строк. Я не гонюсь за этим, я хочу только, чтобы вы разъяснили мне одно затруднение в моих верованиях.



A Leon Tolstoi

El Circulo republicano federal de Madrid.

Venerable patriarca:

Los republicanos federales que constituimos este Circulo, hemos acordado, en Junta general celebrada el dia 23 del corriente, dirigiros el presente Mensaje de admiracion á vuestra ilustre persona, y de homenaje entusiasta á los que, sosteniendo vuestras ideas, sufren la abominable persecucion del autócrata que, para vergüenza del siglo XX, esclaviza aún la mayor nacion de Europa.

Sabed, señor, que en España, á millares de kilómetros de vuestro suelo, hay quien sufre, con las propias, las desdichas de vuestros compatriotas, sintiendo latir su pecho al unísono de los que en Rusia, como en todas partes, dan su vida por la emancipacion del hombre y por las ideas de fraternidad que siempre predicásteis.

Recibid con nuestro saludo la seguridad de que si el Sínodo os arroja de la Iglesia griega, el mundo entero os abre el santuario del corazon humano.

Madrid 23 de Marzo 1901

El Presidente,

C. R. FEDERAL MADRID

АДРЕС МАДРИДСКОГО «ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКАНЦЕВ-ФЕДЕРАЛИСТОВ», ПОСЛАННЫЙ ТОЛСТОМУ В СВЯЗИ С ОТЛУЧЕНИЕМ ЕГО ОТ ЦЕРКВИ 23 МАРТА 1901 г., МАДРИД

Архив Толстого, Москва

Из всех ваших прекрасных философских книг ясно видно, что вы желаете социальной революции и хотите, чтобы она совершилась без резких потрясений и без пролития крови.

Я хочу спросить вас, верите ли вы, что это осуществимо? Верите ли вы, что злые люди: священники, судьи, военщина, капиталисты позволят отнять у них все то, что они называют своей собственностью? Не думаете ли вы, что лучше было бы лет через десять или двадцать разом покончить с этим обществом путем насильственной революции, чем ждать века и века ее медленного, но верного осуществления?

Вы, я знаю, напомните мне о резне 1849 <!> и 1871 годов, скажете о том, что прежде, чем достичь успеха, восстание много раз потерпит неудачу. Вас пугает кровь, которая должна пролиться. Но, если вы не приемлете насильственной революции, не опасаетесь ли вы того, что хозяева и правительства будут продолжать свои жестокости?

В заключение письма разрешите просить вас высказаться по поводу осуждения нашего отважного товарища Лорана Тайада. Если вы против его осуждения, я поспешу передать ваше мнение редакции журнала «Plume», которая собирает отзывы по этому вопросу.

Поль Карийон

11, Place Carnot. Lyon.

Ответа на это письмо, как и на многие другие, не последовало. Ответ был в сочинениях Толстого, посвященных именно тем вопросам, которые задавал ему Карийон.

Общеизвестно, что Толстой отвергал революционное насилие, но он не отрицал неизбежности определенных форм революционного развития в природе и обществе.

«Жизнь,— говорил Толстой,— состоит из двух постоянно сменяющихся и даже одновременно идущих деятельностей: творческой, созидательной и, как следствия ее деятельности,— разрушительной. Эта разрушительная деятельность только тогда законна, когда она есть неизбежное следствие первой, как в прорастающем зерне: росток просыпается к новой жизни, начинает расти, разламывает окружающую оболочку, она сваливается и сгнивает, а росток продолжает жить новой жизнью. Разрыв скорлупы не есть насилие, а только следствие творческой силы, и потому есть благо и для самого ростка, и для всего мира» [3].

Эта метафора свидетельствует о том, что у Толстого была своя «органическая диалектика». Еще в 1895 г. он писал Э. Шмиту: «Существующий строй жизни подлежит разрушению. В этом согласны как те, которые стремятся разрушить, так и те, которые защищают его» (т. 68, стр. 64).

В 1904 г., накануне первой русской революции, Толстой читал книгу Тэна «Origines de la France Contemporaine» («Происхождение современной Франции»). Свои мысли, вызванные чтением этой книги, он записал в дневник: «Основы революции (на которые так несправедливо нападает Тэн) несомненно верны и должны быть провозглашены ⟨...⟩ Несомненно, что переворот этот должен совершиться, что человечество все более и более приготовляется к этому перевороту и что придет время, когда человечество будет готово к нему» (т. 55, стр. 81—82).

В 1908 г., через три года после первой русской революции, Толстой получил письмо из Франции. Оно было подписано «Française» — «Француженка». «Вы и подобные вам Вольтеры, Руссо и другие,— говорилось в письме,— вы вызываете революции и тем самым величайшие бедствия и преступления, которые творятся якобы на благо человечеству» (т. 78, стр. 381).

На конверте этого письма Толстой написал: «Ругательное. Интересное».

Короленко сравнивал Толстого с Самсоном, «ослепленным филистимлянами»: он сотрясал здание, которое должно обрушиться [4].

В «Слове о Толстом», сказанном уже в наши дни, Леонид Леонов раскрыл исторический смысл этой трагической метафоры. «Толстой, подобно библейскому Самсону, в конечном счете — на самого себя, на свой собственный сословный мир! — стремился раздвинуть стеснительные ему, подернутые сеткой исторического склероза, колонны» [5].

Толстой и революция неотделимы друг от друга. Не переставая призывать к отказу от политики, к устранению от борьбы, он целиком находился во власти тех освободительных стремлений русского народа, которые были направлены к коренной общественной перестройке страны. Отречение от господствующего класса, переход на сторону трудового народа, безбоязненная вера в будущее — все это было его ответом на требования века.

«Теперешняя революция,— писал Толстой в 1906 г.,— много духовно подвинет человечество, к⟨оторое⟩ становится все более и более солидарно» (т. 76, стр. 103).

Письма о рабочем вопросе, социализме и революции представляют чрезвычайно важную часть зарубежной почты Толстого. Они красноречиво свидетельствуют о том, что его слово играло огромную роль в борьбе за новое общество без нищеты народа, без эксплуатации человека человеком.

VIII

ТРИ ВОЙНЫ

1. НА ФИЛИППИНСКИХ ОСТРОВАХ

«Про эту войну знал весь мир,— писал Толстой,— и все люди с напряженным вниманием следили за ее проявлениями» (т. 31, стр. 287).

Речь шла об испано-американской войне в Карибском море и на Тихом океане.

Американский военный корабль «Maine» был отправлен к берегам Кубы, как было объявлено, для помощи кубинским повстанцам в их борьбе против испанского владычества. Корабль взорвался на рейде в Гаване при таинственных обстоятельствах.

Соединенные Штаты предъявили ультиматум Испании и 21 апреля начали военные действия. Когда испанские плохо вооруженные войска капитулировали, представитель кубинских повстанцев был отстранен от переговоров, и американцы оккупировали Кубу.

Точно такой же трагический фарс был разыгран и на Филиппинах.

1 мая 1898 г. испанский деревянный флот был сожжен и потоплен американской эскадрой в Манильском заливе. К этому времени филиппинские повстанцы фактически ликвидировали власть Испании на островах. Но им не позволили овладеть Манилой.

Условившись о сдаче Манилы, американцы предприняли штурм незащищенного города. Так была продемонстрирована «решающая» роль Соединенных Штатов в уничтожении испанского владычества на Филиппинах.

В декабре 1898 г. в Париже был подписан мирный договор, по которому Куба объявлялась независимой, а фактически попадала под американский протекторат; что касается Филиппин, то эта богатейшая испанская колония целиком переходила во власть Соединенных Штатов.

Так — перераспределением колоний — окончилась эта война. За ее событиями потому и следили «все люди» с таким «напряженным вниманием», что эта война представляла собой характернейшее явление новой империалистической эпохи.

Не прошел мимо этих событий и Толстой. Он откликнулся на них статьей «Две войны», написанной в августе 1898 г. «В христианском мире,— писал Толстой,— идут в настоящее время две войны. Правда, одна уже кончилась, а другая еще не кончилась 〈...〉 Одна, теперь уже кончившаяся, была старая, тщеславная, глупая и жестокая, несвоевременная, отсталая, языческая война,— испано-американская, которая убийством одних людей решала вопрос о том, как и кем должны управляться другие люди. Другая война, продолжающаяся еще теперь и имеющая кончиться только тогда, когда кончатся все войны, — это новая, самоотверженная, основанная на одной любви и разуме, святая война, — война против войны, которую уже давно (как это выразил В. Гюго на одном из конгрессов) объявила лучшая, передовая часть христианского человечества другой, грубой и дикой части этого же человечества...» (т. 31, стр. 97).

Следует сказать, что непосредственным поводом или толчком для этой статьи Толстого послужило письмо американки Джесси Л. *Глэдвин* [1].

Перевод с английского

Пуэбло. Колорадо. 1 августа 1898 г.

№ 440

Графу Льву Толстому. С.-Петербург. Россия.

Милостивый государь!

Беру на себя смелость обратиться к вам с частным письмом, где кратко излагаю свою несложную просьбу и ее цель. Не будете ли вы столь добры прислать мне несколько слов, написанных вашей рукой, с выражением ваших чувств и мыслей о благородной роли американской нации и героизме ее солдат и моряков в теперешнем столкновении?

Как только мы получим пятьсот ответов от лиц, к которым мы обратились, письма эти будут на несколько дней выставлены в каком-нибудь крупном центре, а доход от выставки незамедлительно поступит в Американское Общество Красного Креста для помощи больным и раненым солдатам и морякам — дело нужное и неотложное.

Пожалуйста, не прерывайте цепь номеров. Будем бесконечно благодарны за любезный и скорый ответ.

Официальное подтверждение Общества и упоминание о вашем ответе будут сделаны в печати своевременно.

Искренне ваша Джесси Л. Глэдвин

Pueblo. Colo. Box 528.

На конверте: Personal Count Lyof Tolstoi.
St. Petersburg. Russia.
Please forward.

На письме стоит цифра 440. Очевидно, это — порядковый номер запроса из числа тех, которые были сделаны Глэдвин, обращавшейся к различным выдающимся деятелям разных стран.

Это письмо так возмутило Толстого, что он даже не заметил, что оно прислано не господином, а госпожой Глэдвин. «Я на днях получил письмо из Колорадо от какого-то господина Джесси Глодвина,— гневно писал Толстой в статье „Две войны“,— который просит меня прислать ему „〈...〉 несколько слов или мыслей, выражающих мои чувства по отношению благородного дела американской нации и героизма ее солдат и моряков“. Господин этот, вместе с огромным большинством американского народа, вполне уверен, что дело американцев, состоящее в том, что они побили несколько тысяч почти безоружных 〈...〉 людей, есть несомненно благородное дело, noble work, и что те люди, которые, побив большое количество своих ближних, большею частью остались живы и здоровы и устроили себе выгодное положение,— герои» (там же, стр. 97—98).

В Ясную Поляну приходили также письма, содержавшие совсем иные мысли и настроения. Весьма примечательным среди них было послание старого английского публициста, переселившегося в Соединенные Штаты еще в конце 1860-х годов, Монтегю Ричарда *Леверсона*. Он был близко знаком в молодости с Герценом [2], Г. Джорджем и с известным итальянским революционером Л. Пианчани, который посвятил ему свой труд «Rome des Papes» («Папский Рим»).

Семидесятилетний Леверсон, сохранивший демократические убеждения своей молодости, несмотря на свой возраст участвовал в политической борьбе. Речь Леверсона, произнесенная на митинге в Филадельфии в феврале 1900 г.,— это мужественный поступок подлинного демократа. «Словами нельзя выразить то глубокое чувство осуждения жестокой войны, которую ведет теперь МакКинли и американская армия,— говорил Леверсон,— против храброго, цивилизованного и свободолюбивого на-

рода Филиппинских островов». Эта несправедливая война, по мысли Леверсона, угрожала не только Филиппинам, но и самой Америке. «О мои соотечественники,— говорил Леверсон,— вы должны сделать выбор теперь, иначе будет поздно. Вы должны выбрать теперь правду, выбрать свет, выбрать свободу, и не только для себя, но и для ваших братьев, независимо от того, какого цвета у них кожа и к какой расе они принадлежат. Вы должны сделать выбор и ради них, и ради самих себя. Иначе и вы тоже станете рабами. Да будут спасены республика и свобода!».

Речь Леверсона была выпущена отдельной брошюрой, которую он послал Толстому. В письме к Толстому Леверсон просил написать обращение к американскому народу, чтобы «разбудить спящую совесть американцев».

Перевод с английского

Форт Гамильтон. Нью-Йорк.
Соединенные Штаты Северной Америки.
Апрель 1900 г.

Льву Толстому

Милостивый государь!

Я послал вам заказным письмом текст моей речи на антиимпериалистическом митинге, состоявшемся в Филадельфии 23 февраля этого года [3].

Послал его вам в надежде, что грустные факты, о которых там говорится, побудят вас обратиться с посланием к народу Соединенных Штатов, дабы указать ему на злодеяния, совершаемые его правительством на Филиппинах, на Кубе и в Пуэрто-Рико, и призвать американцев прекратить эти преступления, заставить свое правительство вернуться на честный, человеколюбивый путь, с которого оно сбилось.

Преступления и ужасные дела, о которых я говорил в моей речи, продолжают совершаться ежедневно. Народ Соединенных Штатов прислушается к вашему голосу из уважения к вам и во имя поруганной гуманности.

Умоляю вас поднять свой голос против жестоких, испорченных людей, совершающих от имени Соединенных Штатов эти отвратительные дела, стараясь скрыть их от народа.

Вы, может быть, вспомните мое имя: я англичанин, друг знаменитого Герцена, оказывал значительную помощь эмигрантам, жившим в Англии в 1850—1864 гг. Пианчани посвятил мне «La Rome des Papes». Я был также другом покойного Генри Джорджа.

Хотя мне и неприятно хвалить самого себя, но для того, чтобы вы отнеслись с доверием ко всему мною сказанному, приведу посвящение, которое сделал Пианчани на своей книге, изданной в 1859 году (мне было тогда двадцать девять лет): «Монтегю Леверсону, смелому защитнику права. И з г н а н н и к. Верному, великодушному человеку. Другу. Свободному мыслителю. А в т о р».

Ваше обращение может разбудить спящую совесть американцев.

С чувством глубокого уважения остаюсь искренне преданный

Монтегю Р. Л е в е р с о н,
Доктор медицины. Магистр искусств.
Доктор философии.
Адвокат при Верховном суде США.

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Jasnaia Poliana, Toula. Russia.

Американский общественный деятель и публицист Герберт *Уэлш* (1851—1941) написал книгу «Other Man's Country» («Страна другого человека») об американском «умиротворении» на Филиппинах. Эту книгу Уэлш послал Толстому [4].

Перевод с английского

Филадельфия. 18 ноября 1902 г.
1305, Arch Street.

Милостивый государь!

Несколько дней назад я послал вам через моего друга, г. Хоуарда Кросби из Нью-Йорка, книжку под заглавием «Other Man's Country», которую я написал два года назад. В ней говорится о делах на Филиппинах и о только что произведенном явном захвате этих островов вооруженными силами Соединенных Штатов. Я послал вам также несколько брошюр и изданий, из которых выясняется, в частности, какими средствами этот военный захват производился. Пишу это, чтоб объяснить внутренние побуждения, которые заставили меня обратиться к вам, человеку, обремененному обширной перепиской, разными важными делами и перенесшему, к великому моему сожалению, тяжкую болезнь. Я узнал об этом от моего друга г. Кросби, когда обратился к нему с просьбой быть моим посредником. Надеюсь, что ко времени получения этого письма вы уже окончательно и совершенно выздоровеете.

Я один из тех многих тысяч мыслящих людей на земле, которых сейчас сильно беспокоит вопрос о войне, которые считают войну бичом человечества и полагают долгом каждого, кому дороги интересы человечества, разумно и терпеливо делать все, что в их силах, для ее ограничения, а, если возможно, то и окончательно изгнать войну из жизни человеческого общества.

Я много лет надеялся — по-видимому, не совсем без основания,— что народ Соединенных Штатов сможет эффективно способствовать предотвращению войны, спасению цивилизованного мира от этого бедствия.

Казалось, все вело нас к этому: географическое положение, традиции, христианское учение, исповедуемое нами, наши торговые интересы. Укрепляло эту надежду и то, что мы открыли путь для урегулирования споров, которые иначе грозили разрешиться войной — третейские суды.

Когда страдания кубинского народа привлекли внимание и возбудили сочувствие Соединенных Штатов — казалось, для нашего народа с его мощной нравственной силой открылась прекрасная возможность уладить возникшие трудности указанным выше образом, вместо того чтобы прибегать к войне. Что Испания согласилась бы на такое разрешение вопроса, а мы использованием мирных средств высоко подняли бы свой престиж — ясно теперь из многих документов, опубликованных с тех пор, и благодаря тщательному изучению исторических фактов. Но мы избрали иной путь; правильно или неправильно мы признали войну средством достижения высокой цели защиты свободы и мира на Кубе. Всем известно, что на этом пути мы были вовлечены в разрешение вопроса, не предусмотренного в момент возникновения кубинского конфликта на политическом горизонте. Мы предприняли завоевание новообразовавшейся Малайской республики на отдаленных Филиппинских островах, то есть заняли совершенно такую же позицию, какую занимала Испания по отношению к богатому острову Кубе в Вест-Индии.

В политическом отношении мы отстаивали на Филиппинах свою власть над жителями этих островов совершенно так же, как Испания на Кубе. А ведь мы провозгласили на весь мир, что жестокость и бездарность испанских правителей лишают их права на власть над Кубой.

Затем, будто по велению незримой судьбы, наша молодая и сильная республика создала до последней черточки во всех оттенках ту же картину, какую на глазах всего мира живописала своей дряхлой рукой умирающая Испания: мы совершили завоевание, употребив жестокие, отврати-

САТИРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК НА РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ

Карикатура неизвестного художника Японская социалистическая газета «Хеймин симбун», 1904



тельные, средневековые способы, применение которых стало в Испании уже более или менее привычным.

Книжка, которую я вам послал, является попыткой проследить историю наших действий в ее ранней стадии. Я убежден, что сказанное мною там — правда.

Я привожу доказательства, что в этой войне мы применяли пытки как один из видов оружия.

Пишу к вам, побуждаемый горячим желанием узнать ваше мнение об этом историческом инциденте. Я глубоко убежден в душе, что он содержит очень важный материал и для историка, и для всякого, кто честно и серьезно озабочен прогрессом человечества. Мне кажется, что случай этот поднимает спорные вопросы, касающиеся не только американцев, но всех справедливых и разумных людей, мужчин и женщин.

Сознаю вполне: многие могут счесть, что, спрашивая ваше мнение об этих вещах, я непатриотичен, что не следует выставлять напоказ иностранцу дурные деяния моей страны. Но я не могу с этим согласиться.

Мне кажется, что поднятые вопросы являются делом всех цивилизованных народов. И все цивилизованные люди должны встать заодно против разрушительных сил, которые привели нас к таким результатам. Поступая так, они способствуют прогрессу всего человечества, а, следовательно, и благополучию своего народа. Ибо, если будет установлено, что такие деяния — дурны, они будут наносить ущерб не только тому народу, против которого направлены, но также и тому, кто их совершает.

Не стану больше ничего говорить, потому что цель моего письма — не столько выразить собственные взгляды, сколько узнать ваше мнение.

Прибавлю только в заключение, что считаю себя лично глубоко вам обязанным за ваши огромные услуги делу мира и цивилизации.

Искренне ваш Герберт У э л ш

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Yasnaia Poliana. Toula. Russia.

15 декабря 1902 г. Толстой писал в ответном письме Уэлшу: «Не могу не любоваться вашей деятельностью, но преступления, совершенные на Филиппинах, именно такие, какие, по моему мнению, всегда будут происходить в государствах, управляемых посредством насилия, или в которых насилие допускается и употребляется как необходимое и законное средство» (т. 73, стр. 338).

Монополистический капитал заявлял свои притязания на политическую власть, провозглашая насилие своим правом и орудием. Натиск монополистического капитала в США был настолько яростным, что даже президент Т. Рузвельт, наиболее влиятельный идеолог империализма, один из виновников испано-американской войны, вынужден был, чтобы как-то успокоить общественное мнение, выступить против всевластия трестов.

В 1903 г. Рузвельт, в те годы еще вице-президент, заявил, что США — тихоокеанская держава. В 1907 г. семнадцать американских броненосцев отправились в кругосветное путешествие, чтобы продемонстрировать военную силу США. В 1908 г. США и Япония подписали соглашение «о равных правах в Китае». Это соглашение открывало путь для США в Китай, Корею и Маньчжурию. «Иго капитала» становилось военной силой.

В 1908 г. Толстой получил письмо от американского журналиста Джона *Тухи*, сотрудника газеты «New York World». Это письмо — примечательный документ общественно-политического быта эпохи и вместе с тем еще одно яркое свидетельство идейного могущества Толстого. Это своеобразное заявление современника, протестующего от имени демократической Америки против наступления капитала во всех сферах жизни. Тухи стремился привлечь к этому протесту и великий авторитет Толстого.

Перевод с английского

Лондон. 12 февраля 1908 г.
23 Warwick Gardens, Kensigton, W.

Милостивый государь!

Осмеливаюсь обратиться к вам с предложением, которому, как я надеюсь, посчастливится привлечь ваше внимание: мне кажется, что оно этого заслуживает.

Тресты и прочие крупные капиталистические объединения Соединенных Штатов прилагают сейчас чрезвычайные усилия, чтобы подчинить себе правительство страны, обезопасив себя таким образом от попыток простых людей развенчать власть денег, которая держит в рабстве всю страну.

Джингоисты и милитаристы в боевом порядке выстраиваются вокруг трестов. Их цель — вовлечь страну в агрессивную политику, чтобы заменить иго капитала военной силой.

Уже четверть века газета «New York World», издаваемая г. Джозефом Пулицером, ведет непрекращающуюся борьбу против трестов, коррупции и джингоизма за мир во всем мире. Наша газета неуклонно разоблачала и протестовала против перевода американского военного флота в Тихий океан, ибо в нынешних условиях это является угрозой миру. Сейчас газета возбуждает общественное мнение против страшного зла: игры на бирже и финансовых спекуляций, которые, правда, уже понесли возмездие в лице серьезной торговой и промышленной депрессии настоящего времени.

Мне кажется, что вышеизложенная программа нашей деятельности должна быть вам по душе. Вы оказали бы нам неоценимую услугу, если бы согласились изложить вашу точку зрения: что должна делать Америка для освобождения от гибельного влияния, истощающего ее, подрывающего ее силу и уводящего с правильного пути.

Не стану больше занимать ваше драгоценное время. Позволю себе лишь выразить надежду, что возможность помочь великому делу побудит вас согласиться на мою просьбу.

Честь имею быть искренне преданный
Джон Тухи

На конверте: Count Tolstoy.
Yasnaya Poliana. Tula, Russia.

Позиция Толстого в вопросах мира и войны не представляла тайны. Его отношение к испано-американской войне также было известно. Влияние социальной критики Толстого на общественное сознание современников было столь значительным, что Т. Рузвельт, главный управитель «большой дубинки», как называли политику США, счел нужным выступить против Толстого.

В 1909 г. в журнале «Outlook» появилась статья Рузвельта «Tolstoy», где доказывался тезис, что Толстой — плохой «моральный гид» для «людей дела» [5].

Рузвельт пытался отвести и толстовскую критику империалистических захватов, оправдывая их требованиями и интересами цивилизации. Толстой, прочитав писания Рузвельта, отозвался о них очень кратко: «Статья глупая» [6].

«Я знаю о нем только то, что он милитарист и империалист», — говорил Толстой о Рузвельте [7]. Эти два понятия были связаны в представлении Толстого в одно целое.

2. В ТРАНСВААЛЕ

В начале 1900 г. Толстого посетил в Ясной Поляне корреспондент московской газеты «Русский листок». Речь зашла о событиях, которые в ту пору волновали весь мир. Желание Англии подчинить себе Трансвааль и Оранжевое Свободное государство встретило упорное сопротивление буров — потомков голландских колонистов на юге Африки. Шла кровопролитная англо-бурская война.

«Утром,— взяв в руки газету,— говорил Толстой в беседе с корреспондентом „Русского листка“,— я страстно желал всякий раз прочесть, что буры побили англичан. Эта война — величайшее безрассудство наших дней. Как! Две высокоцивилизованные нации — голландцы и англичане — истребляют друг друга; Англия, страна, гордившаяся титулом свободной страны, пытается раздавить малочисленных буров, не сделавших англичанам ни малейшего вреда. Это что-то непонятное, невероятное ⟨...⟩ Трансваальская война — знамение нашего времени, но печальное знамение, говорящее, что миром управляет бездушное торгашество» [1].

Англо-бурская война, вместе с начавшейся годом раньше испано-американской и последовавшей вскоре русско-японской войнами, знаменовала собой наступление «новой эпохи мировой истории» — эпохи империализма.

Толстой судил о событиях англо-бурской войны не только по сообщениям газет, но и по письмам как из Западной Европы, так и из самой Африки. «Обстоятельства тамошние мне хорошо известны», — говорил Толстой [2].

За два дня до начала крупных боевых действий в Трансваале — а они начались 11 октября 1899 г. — издатель немецкой газеты «Deutsche Warte» *Х. фон Хорн* писал Толстому:

Перевод с французского

9 октября 1899 г.
Berlin — SW. Lindenstrasse, 26.

Граф!

Прошу помощи вашего литературного таланта в одном добром деле первостепенной важности.

Я издатель немецкой, очень распространенной газеты «Deutsche Warte», выходящей в Берлине.

С самого начала газета наша, не замыкаясь в ограниченные рамки политических партий и группировок, провозгласила высокие принципы чистой и благородной человечности и ратовала за разумные правила жизни, согласно с природой и ее наставлениями.

С чувством глубочайшей скорби видим мы возникновение войны между бурами и англичанами в Трансваале: две германские народности вступили в жестокую схватку, которая приведет к самой ужасной междоусобице.

Убедительно прошу вас, граф, напишите для нашей газеты «Deutsche Warte» статью за вашей подписью, которая послужила бы к устранению ужасов войны в Южной Африке. Я убежден, что авторитет вашего громкого имени будет много значить для пробуждения совести народов и станет добрым и могучим предзнаменованием для торжества христианского дела мира, которому вы посвятили лучшую часть вашей жизни.

Надеюсь, что ради спасения мира, которому угрожает конфликт в Южной Африке, вы исполните мою просьбу и пришлете статью. Она будет напечатана в газете, издателем которой я являюсь.

Примите, граф, уверения в наилучших чувствах.

Х. фон Хорн,
издатель газеты «Deutsche Warte»

Внимание Толстого было направлено на социальные причины войны в Южной Африке. Г. М. Волконский, внук декабриста С. Г. Волконского, прислал Толстому свои брошюры об англо-бурской войне, в которых он всю вину за события в Южной Африке возлагал на королеву Великобритании и на ее министра колоний Чемберлена. Волконский утверждал, что Чемберлен сознательно вел дело к войне, попирая международные обычаи и конвенции. «Война эта принесла пользу лишь богатейшим классам Англии»,— писал Волконский.

Толстой был согласен с тем, что война велась в интересах «богатейших классов Англии», но он не считал личную волю Чемберлена или какого-нибудь другого политика единственной и достаточной причиной войны. «Вредно видеть причину войн в Чемберленах и Вильгельмах»,— писал Толстой Волконскому (т. 72, стр. 255).

По мысли Толстого, истинной причиной войны было «бездушное торгашество», соединенное с военной силой. «До тех пор,— писал Толстой Волконскому,— пока мы будем пользоваться исключительными богатствами, в то время как массы народа задавлены трудом, всегда будут войны за рынки, за золотые прииски и т. п., которые нам нужны для того, чтобы поддерживать наше исключительное богатство» (там же). Толстой с большой точностью определил здесь сущность англо-бурской войны как войны империалистической.

Письмо Толстого к Волконскому было опубликовано за границей под названием «Кто виноват? (по поводу англо-бурской войны). Из письма Л. Толстого к Х». Волконский сопроводил его своей заметкой, в которой он полемизировал с идеями Толстого. «Мне кажется,— писал Волконский,— что бороться со злом должно не только воздействием на стороны нашего характера, но и обличая тех, которые укореняют в нас эти заблуж-

дения» (т. 72, стр. 258). Впоследствии Волконский опубликовал по-французски свои статьи в защиту буров и против империализма, приложив к ним в качестве предисловия письмо Толстого [3].

В декабре 1899 г., когда военные действия в Трансваале были в полном разгаре, Толстой получил письмо из Южной Африки от Уильяма Х. *Причарда*, сотрудника журнала «Commonweal»:

Перевод с английского

Дурбан, Нейтель. Южная Африка, 3 декабря 1899 г.

Милостивый государь,
Учитель и великий художник!

Беру на себя смелость послать вам с этой же почтой отдельным пакетом журнал «Commonweal» — ноябрьский и декабрьский выпуски. Буду очень признателен, если вы сочтете возможным написать для опубликования в журнале письмо вашим многочисленным читателям, ученика и последователям в Южной Африке, мужчинам и женщинам, которые, я уверен, в более благоприятных условиях с удовольствием зажили бы общей жизнью. Но при настоящих условиях такая жизнь недосягаема из-за почти непреодолимых преград. Это национальная вражда, о которой столь искренне сожалеют все настоящие люди, вражда неудержимая и всеобщая. Она свойственна как европейцам, так и бурам, как азиатам и туземцам, так и белому населению. Она присуща не одному классу, но всем вообще. Однако как много есть во всех классах и во всех расовых группах людей, которые искренне желают уничтожения и искоренения духа национальной вражды!

И потом — вечная жажда золота, поклонение златому тельцу. У нас, в Южной Африке, Христа, в образе человеков, распинают поистине ежедневно, *не на деревянном кресте, о нет! но на кресте из золота*. Мужчины и женщины заражены золотой лихорадкой, отравлены золотым микробом. Все приносится в жертву молоху богатства. Это явление также общее всем классам в равной степени.

В сущности, наша ужасная война и возникла из-за алчности и стяжательства.

Однако, как бы темно и мрачно все ни выглядело, я все же думаю, что Южная Африка сделала шаг вперед по пути прогресса, хотя и очень больно, что цель не может быть достигнута иным путем. В глубине души я твердо уверен, что если б наши так называемые правители на самом деле захотели, они смогли бы найти, помимо войны, иное разрешение загадки сфинкса.

Все это только показывает во всей отвратительной реальности, как капиталист правит, как он приказывает даже народному правительству.

По правде говоря, наступило время сокрушить эту систему, и я твердо верю, что она в конце концов распадется сама собой.

От всего сердца желаю, чтобы жизнь ваша продлилась еще на долгие годы. И хотя мы, быть может, никогда и не встретимся на земле, пусть встретимся мы в той Великой Вечности, куда идет все человечество.

Остаюсь, всегда преданный вам, милостивый государь, учитель и великий художник, ваш верный ученик и последователь в служении человечеству

Уильям Х. Причард

P. O. Box
50. Durban. Natal. South Africa

На конверте: Count Leo N. Tolstoi,
Yasnaia Poliana. Russia.

«Сокрушение» колониальной системы представлялось Толстому не только необходимым, но и неизбежным. «И вот теперь, когда так ясно выразилась эта всеобщая ненависть к англичанам,— говорил Толстой,— я не доживу, но мне кажется, что могущество Англии сильно пошатнется» [4].

Захватническую войну Англии против южноафриканской республики Толстой с полным основанием ставил в один ряд с такой же захватнической войной Соединенных Штатов Америки против Филиппин. «Читаю о войне на Филиппинах и в Трансваале, и берет ужас и отвращение»,— записывал он в дневнике (т. 54, стр. 7).

Соединенные Штаты Америки начали свою экспансию на Филиппинах ложным обещанием помощи филиппинскому народу, восставшему против испанского владычества. Тот же маневр они готовы были повторить и в Трансваале.

В апреле 1900 г. Толстой получил телеграмму от агентства «American Cable News» с просьбой помочь бурам «заручиться добрыми услугами Америки». Он незамедлительно послал ответ: «Добрые услуги Америки могут состоять лишь в угрозах войны, а потому сожалею, что не могу исполнить вашего желания» (т. 72, стр. 347).

Англичанам долго не удавалось сломить сопротивление буров.

Весной 1900 г. Толстой получил письмо от американского общественного деятеля *А. Дж. Веркоутерна.*

Перевод с английского

Ньюарк. 20 марта 1900 г.
338, Bowne Ave. Telushing Long Island

Уважаемый сэр!

Разрешите преподнести вам прилагаемое воззвание, которое я недавно написал, чтобы настроить общественное мнение Америки в пользу южноафриканских республик и миллионов голодающих индусов. Надеюсь, что оно будет вам интересно.

Прошу вас сделать все от вас зависящее, чтобы побудить русского царя (ему я посылаю по почте другой экземпляр воззвания) как можно скорее, объединившись с Америкой и другими странами, остановить бесполезное поголовное избиение и голод, являющиеся вечным позором Великобритании и всего цивилизованного мира, который это допускает. Кроме того, это и практически всего выгоднее для Англии при данных обстоятельствах, так как она теряет бесконечно больше, допуская разрушение бурами золотых приисков, пока ее подданные в Индии умирают голодной смертью.

Да благословит бог вашу деятельность на благо человечества. Надеюсь услышать об успехах предпринятых вами шагов.

Искренне ваш
А. Дж. Веркоутерн

На конверте: Personal Leo Tolstol,
Esqre. Moscow. Russia.

Обращение к царю было обусловлено тем, что во всех официальных документах русского правительства его называли главным устроителем и инициатором мирной конференции в Гааге. Толстой не возлагал надежд на царя. Он предвидел трагические последствия фарса в Гааге. Едва успела окончиться конференция, как началась война Англии с Трансваалем (т. 90, стр. 433).

А. Веркоутерн с большой непосредственностью выразил чувство негодования по поводу событий в Трансваале. Но его представление о соотношении сил на мировой арене было наивно. Его позиция ничем не отлича-

лась от позиции Джесси Глэдвин, письмо которой вызвало гневный ответ Толстого.

«Воззвание» Веркоутерна по своему духу перекликается с телеграммой «American Cable News». Предлагая немедленно решить южноафриканскую проблему, Веркоутерн имел в виду «добрые услуги Америки» вплоть до войны с Англией, подобную той, которая велась на Филиппинах против Испании. «Если Англия не выполнит этих гуманных требований во имя мира и справедливости, США совместно со всеми другими державами немедленно начнут помощь голодающим индусам, а также освободят буров и всех в Южной Африке от владычества англичан, объявив, что вышеупомянутые территории будут отныне „свободными независимыми государствами", и пусть будет, что будет»,— писал Веркоутерн.

Воззвание оканчивается славословием в адрес «героя манильской бухты» — адмирала Дьюи. Письмо Веркоутерна осталось без ответа.

Война в Трансваале продолжалась до 1902 г. и окончилась поражением буров. Законы, установленные англичанами после войны, были проникнуты расовым духом. Введенный в 1906 г. «черный закон» ограничивал право проживания и передвижения всех цветных народов в Южной Африке, в том числе и индусов, которых здесь было довольно много. Индусы предпочитали «заключение в тюрьму и другие наказания», но отказывались подчиниться этому закону.

Именно здесь, на юге Африки, и возникла знаменитая «толстовская ферма» и созрела мысль о «пассивном сопротивлении» и гражданском неповиновении как реакция на «черный закон».

Осенью 1909 г. Толстой получил письмо «трансваальского индуса», «в высшей степени интересное» и доставившее ему «большую радость». Автором этого письма был в те годы еще никому не известный Мохандас *Ганди*. Он писал Толстому: «Беру на себя смелость обратить ваше внимание на то, что делается в Трансваале (Южная Африка) вот уже почти три года. В этой колонии население британских индусов составляет почти тринадцать тысяч человек. Эти индусы уже многие годы страдали от различных правовых ограничений. Предубеждение против цветных людей, а в некоторых отношениях и против азиатов вообще, очень сильно в этой стране. Поскольку это касается азиатов, оно объясняется соперничеством в торговле. Это предубеждение достигло своей высшей степени три года назад, когда был проведен закон, специально предназначенный для азиатов, рассчитанный, как думаю я и многие другие, на то, чтобы унизить и лишить человеческого достоинства тех, против кого он направлен» [5].

Это письмо, датированное 1 октября 1909 г., послужило началом переписки Толстого и Ганди. Учение Толстого о непротивлении злу насилием оказало влияние на выработку методов «гражданского неповиновения» и «пассивного сопротивления», которые Ганди положил в основу своей доктрины борьбы за независимость Индии.

Важно, однако, иметь в виду и другое. В переписке Толстого и Ганди явственно проходит тема неприятия и осуждения колониальной политики крупных держав. Эта тема, возникшая в их переписке на материале событий в Трансваале, имела для каждого из них более широкое значение. Она звучала как пророчество об исторически неизбежной гибели всей системы колониализма.

3. НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

«Пророк добра! Вам отвечают пушки!» — такова основная мысль открытого письма французского писателя Жюля Кларти, обращенного к Толстому. Это письмо было опубликовано в парижской газете «Temps» в первые дни русско-японской войны [1]. «Вы воюете с войной. Вы грезите о

братстве, о мире <...> — писал Кларти.— Великое слово „разоружение" брошено в мир, а вооруженные флоты пробегают океаны и границы щетинятся штыками...»

«Вполне естественно,— продолжал Кларти,— что мы именно у вас спрашиваем, что думаете вы, дух которого возвышается над другими, что думаете вы о совершающихся событиях?» [2]

Весь мир, слышавший осуждение испано-американской и англо-бурской войн, ждал, что теперь скажет Толстой по поводу русско-японской войны.

В феврале 1904 г. филадельфийская газета «North American Newspaper» прислала Толстому запрос телеграммой: «За кого вы — за русских, японцев, или — никого?» Толстой телеграфировал ответ: «Я ни за Россию, ни за Японию, а за рабочий народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный воевать против своего благополучия, совести и религии» (т. 75, стр. 38).

В марте 1904 г. в Ясную Поляну приехал корреспондент газеты «Figaro» Ж. Бурдон.

Толстой сразу же заговорил с ним о войне. «Как же не интересоваться таким столкновением!».

Бурдон полагал, что в этой войне происходит борьба двух рас и соответственным образом сформулировал свой вопрос:

— Какие последствия, по вашему мнению, может иметь победа той или другой расы?

— Не все ли равно? — ответил Толстой.— Я не делаю различия между расами. Прежде всего я думаю о человеке, мне все равно, русский он или японец,— я за рабочего, за угнетенного, за несчастного, к какой бы расе он ни принадлежал. При всех обстоятельствах — что выиграет он от этой схватки?» [3]

Еще в феврале 1904 г. в дневнике Толстого появилась запись: «Все время пишу о войне» (т. 55, стр. 13). То, что он писал, разрасталось в большую статью, которая была окончена в мае и стала известна миру как ответ Толстого на обращенные к нему многочисленные запросы о его отношении к русско-японской войне. Это была статья «Одумайтесь!»

«Глядя на то могущество, которым пользуются люди нашего времени, и на то, как они употребляют его,— писал Толстой,— чувствуется, что по степени своего нравственного развития люди не имеют права не только на пользование железными дорогами, паром, электричеством, телефонами, фотографиями, беспроволочными телеграфами, но даже простым искусством обработки железа и стали, потому что все эти усовершенствования и искусства они употребляют только на удовлетворение своих похотей, на забавы, разврат и истребление друг друга» (т. 36, стр. 123).

Статья «Одумайтесь!» не могла появиться в русской прессе военного времени. Толстой послал статью за границу. «Я не мог не высказаться...»,— объяснял он свое решение (т. 75, стр. 117).

Появление статьи в английской газете «Times» оказалось настоящей сенсацией.

С. Кокерель, бывший секретарь Рёскина, писал Толстому: «Ваша волнующая, смелая статья во вчерашнем „Times" читается в Англии больше, чем что-либо написанное вами. Она много сделает добра для мира во всех странах» [4].

Толстой получил множество писем по поводу статьи «Одумайтесь!».

Английский общественный деятель Уильям Дент *Пристмен*, сообщая об успехе антимилитаристской пропаганды среди английских рабочих, прислал Толстому антивоенный листок и письмо.



САТИРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК НА РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ

Под карикатурой подпись: «Японская социалистическая партия пожимает руку русскому рабочему, в то время как генэралы обэих стран дерутся между собой и попирают свои народы ногами».

Японская социалистическая газета «Хеймин симбун», 17 января 1905 г.

Перевод с английского

Гулль. 24 июня 1904 г.

Милостивый государь,

Я только что прочел «Одумайтесь!» в газете «Times» от 24 июня и хочу поблагодарить вас за то, что вы вскрыли ужасы войны и все ее последствия.

Хвала господу за то, что среди мрака, который несут с собой эти страшные войны, все же есть человек, обладающий достаточной силой и смелостью убеждений, чтобы сказать народу то, что вы сказали.

Как бы то ни было, свет пробивается сквозь тучи, и, конечно, не следует приходить в отчаяние.

Прилагаю к письму листок, который мы распространяем в надежде, что он откроет рабочим людям глаза на то, как их одурачивают, о чем и вы говорите им.

Остаюсь, милостивый государь, искренне ваш

Уильям Дент Пристмен

На конверте: Count Leo Tolstoy,
Yasnaya Poliana. Russia.

Печатный листок, присланный при этом письме Пристменом, называется «Война. Что думают о войне в Англии и Америке. Для рабочих». Прямого отношения к русско-японской войне это воззвание не имеет. Здесь речь идет о физическом и моральном ущербе, который война приносит народу. Главная цель воззвания — доказать, что завоевательные войны не могут быть народным делом.

Профессор медицины из Мексики, *Д. Мехиа*, глубоко потрясенный чтением статьи «Одумайтесь!», прислал Толстому несколько экземпляров своей брошюры «Fiestas Universales de la Paz. Socorro a las Victimas de la Guerra» («Всемирный праздник мира. В помощь жертвам войны») [5].

Перевод с испанского

Мехико. 20 декабря 1904 г.

Знаменитому писателю и мыслителю
графу Льву Толстому

Многоуважаемый граф!

Вас наверно удивит это письмо из далекой страны от незнакомого врача [6].

Я знаю многие ваши замечательные произведения, и у меня возникло желание написать вам. Недавно я прочел ваши прекрасные страницы, посвященные злополучной русско-японской войне, и они меня глубоко потрясли.

Я тоже следил внимательно и с глубокой скорбью за всеми событиями этой ужасной бойни и молил небо, чтобы она поскорее кончилась.

Я хотел, чтобы наши столичные газеты выступили совместно в поддержку выдвигаемой мной идеи о воздействии на воюющие стороны. Но мой голос слаб и не встретил отклика. Ведь речь шла не о том, чтобы заслужить благосклонность власть имущих, а о том, чтобы сослужить службу человечеству. Две-три газеты опубликовали мой материал с пожеланием успеха содержащимся в нем предложениям, но тем дело и кончилось. Посылаю вам несколько экземпляров моей брошюры. Очень хотелось бы, чтобы вы отнеслись к ней одобрительно.

Если вы почтите меня ответом (на что я надеюсь), прошу вас писать по-французски: я, как и вы, хорошо владею этим языком.

Собираюсь прислать вам заказной почтой свою книгу, посвященную свободе и независимости Мексики.

Я написал ее в форме романа, чтоб она была доступной для неподготовленного читателя. Книга называется «Entre el Amor y la Patria» ‹«Между любовью и родиной»›.

Полностью разделяю ваши идеи. Кое-что я уже сделал в этом направлении у себя на родине.

Я был бы очень рад вступить в переписку с вами, если вы положительно отнесетесь к моему письму.

Примите уверение в совершенном уважении и глубокой симпатии.

Всегда готовый к услугам
профессор доктор Деметрио М е х и а

Мехиа, как многие пацифисты, предполагал, что достаточно объявить в столичной прессе о «всеобщем празднике мира», чтобы война вдруг окончилась.

В статье Толстого «Одумайтесь!» было выражено нечто большее, чем только «добрые пожелания». Здесь слышалось и грозное предупреждение, сделанное как бы от имени истории. В английском журнале «Freeman's Journal» говорилось по поводу статьи «Одумайтесь!»: «В словах Толстого есть дух, опасный для всех правительств ‹...› Когда правители отдаются безнравственному честолюбию и убивают своих братьев, увлекаясь грабительскими войнами, они не должны удивляться, если народ отрекается от них» [7].

Предупреждение Толстого прозвучало накануне «отречения» русского народа от царского правительства — того «отречения», которое было революцией.

IX

В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ ВЕКА

1. «ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ ИМЕТЬ КОЛОНИИ?»

В 1899 г. молодой французский литератор Леопольд *Ожар* обратился к Толстому с письмом, в котором просил его ответить на вопрос: «Имеет ли общество право наказывать?» (т. 72, стр. 185). Этот же вопрос Ожар задал А. Франсу, Э. Реклю и другим известным писателям и ученым. Ответы он предполагал опубликовать в специальной книге.

Ожар получил письмо из Ясной Поляны. «Ответ на вопрос, который вы мне ставите, — писал Толстой, — находится в моем романе ‹„Воскресение“›, перевод которого выходит в „Echo de Paris“. Этот вопрос давно занимал меня, и я старался разрешить его насколько мог лучше» (т. 72, стр. 185).

Письмо Толстого — важное свидетельство того, как он понимал проблематику своего романа. Ожар опубликовал ответ Толстого в газете «Figaro» (24 апреля 1900 г.). При этом произошло недоразумение, о котором огорченный Ожар поспешил на другой же день известить Толстого:

Перевод с французского

Гейдельберг, 25 апреля 1900 г.

Милостивый государь и глубокочтимый учитель! Имею честь препроводить вам «Figaro» от 24 апреля, в котором я напечатал, в ожидании появления его в книге, ваше письмо о «праве наказания». К сожалению, находясь в Германии, где я слушаю курс философии в Гейдельбергском университете, я не мог сам править корректуры, и к моей великой досаде вижу, что наборщики поместили за вашей подписью две фразы, принадлежащие мне лично и явившиеся простым комментарием.

Простите меня, пожалуйста, милостивый государь и уважаемый учитель, за эту невольную оплошность, о которой я глубоко сожалею, позвольте мне еще надеяться на ответ на мое последнее письмо, в котором я вас спрашивал: справедлива ли, человечна ли колонизация?

Примите, милостивый государь и уважаемый учитель, уверения в моем глубоком уважении и благодарности.

Леопольд О ж а р, студент-фил‹ософ›

27, Gaisbergstrasse.
Гейдельберг (в Бадене)

На конверте: Rußland. Au Comte Léon Tolstoï.
Yasnaia Poliana. Gouvernement de Tula.
Einschreiben.

Месяцем раньше Ожар послал Толстому письмо о колониализме — одно из тех «частных» и потому редко учитываемых историками свидетельств современника о своей эпохе, ее больших проблемах, которые отмечены печатью живого, личного восприятия действительности:

Перевод с французского

Гейдельберг. 28 марта 1900 г.
27 Gaisbergstrasse.

Графу Льву Толстому

Милостивый государь и уважаемый учитель!

Разрешите почтительнейше сообщить вам, что в скором времени в Париже выйдет «Равашоль» — книга, в которой я попытался объяснить, проследив шаг за шагом всю его жизнь, душу невежественного и жестокого человека, пытавшегося путем страха привести людей к состраданию.

Это исследование о знаменитом анархисте, написанное без всяких претензий на философию, появится в свет при самом счастливом стечении обстоятельств, поскольку ваше письмо, в ответ на мой вопрос «Имеет ли общество право наказывать?», будет предшествовать письмам гг. Анатоля Франса, Раймона Пуанкаре, Генрика Ибсена, Элизе Реклю и др.

Возможность представить на суд публики мою работу, поддержанную этими драгоценными письмами, доставляет мне глубокую радость.

Мне хочется сказать вам в самых безыскусных выражениях, как глубоко благодарен я за высокую честь, которую вы оказали моей первой книге.

Как ни велико мое желание не докучать вам, ограничиться лишь выражением признательности, я не в силах устоять перед искушением снова воззвать к вашей лучезарной, возвышенной доброте, отеческой по отношению к молодым писателям, находящим в ваших творениях и жизни высокий пример, которому, однако, столь трудно следовать.

Позвольте мне, милостивый государь и уважаемый учитель, поставить перед вами один из важнейших вопросов современности: следует ли иметь колонии? Справедливо ли это? Необходимо ли это?

В самом деле, как писал добрый автор «Таис»: «Еще большой вопрос, надо ли устраивать счастье людей вопреки их воле». В этой короткой фразе Анатоль Франс объединил многие вопросы социальной философии.

В дни, когда Англия «в целях цивилизации» обагряет кровью Южную Африку, когда все европейские народы целью своей политики ставят колониализм, — невольно спрашиваешь себя, действительно ли необходимо хладнокровно душить столько несчастных «нецивилизованных» людей? Как Паскаль, задаешься вопросом, не являются ли цивилизаторские намерения только лицемерной данью добродетели со стороны цивилизованных, но жадных до богатства народов?

Поле принадлежит негру, а мы его отбираем при помощи штыков или пушек, потому что, как говорят, негр дик и суеверен. В обмен на его землю мы предлагаем ему отвлеченные рассуждения и алкоголь.

Если он принимает алкоголь, но отказывается от высоких принципов, которые мы ему преподносим на кончике штыка, мы его расстреливаем.

Мы рассуждаем, как просветители, а действуем, как варвары.

Мы расстреливаем «мятежников» той земли, которую господь даровал не нам и которая нам незнакома. Мы убиваем людей, о которых ничего не знаем и которые ничего не знают о нас. Мы протягиваем им братскую руку, обагренную их же кровью.

Да, негры начинают нас узнавать... но как грабителей и убийц. Завоевание колоний — это вооруженный грабеж.

Должны ли мы иметь колонии?

Вот, милостивый государь и уважаемый учитель, тот огромный вопрос, относительно которого я умоляю вас высказать ваше авторитетное суждение. Думаете ли вы, что блага, которые несет с собой цивилизация, в самом деле компенсируют насилия, сотворенные во имя ее?

Предки французов некогда считались дикарями. Действительно, галлы боялись Луны, поклонялись Солнцу и верили, что небо в один прекрасный день рухнет им на голову. Цезарь уничтожал их и цивилизовал Галлию, которая, таким образом, стала колонией Рима. А несколько веков спустя эти галлы, цивилизованные, но уставшие от цивилизации, разрушили Бастилию и провозгласили свободу. И опять все сначала! Много ли сделал Цезарь для счастья человечества? Не знаю. Ибо Наполеон, который также насаждал колониализм, вряд ли может считаться благодетелем человечества. А впрочем, что такое наша цивилизация? Утонченное лицемерие, орудие пытки для человека независимого. Итак...

Итак, вопрос огромен. Его нельзя ни изложить, ни разрешить в нескольких строках. Но можно открыто поставить его перед обществом. Именно это я и хочу сделать.

Позвольте мне закончить пожеланием получить от вас несколько слов— тех самых слов, которые просветят людей, жаждущих света.

Поверьте, милостивый государь и уважаемый учитель, что я являюсь вашим почитателем и покорным слугой.

Леопольд Ожар,
студент-философ, корреспондент «Figaro»

На конверте: В Москву, Хамовники, д. № 21.
Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому.
Имение Ясная Поляна Тульской губ.
Au comte Tolstoï. Moscou.

Письмо Ожара не было для Толстого неожиданностью в смысле постановки какого-то нового вопроса. И он мог бы ответить так же, как ответил на его первое письмо: «Ответ находится в сочинениях».

Еще в конце 1880-х годов Толстой с чувством растущей тревоги писал о «цивилизаторской помощи» «отсталым народам», которая на деле оказывалась империалистической экспансией.

«Люди часто живут дурно только оттого, что они заботятся о том, как устроить жизнь других людей, а не свою собственную», — писал Толстой (т. 45, стр. 217). Эта идея, которая, на первый взгляд, может показаться отвлеченно-философской, лежит в основе его критики колониализма и может служить ответом на письмо Ожара.

В книге «Так что же нам делать?» Толстой говорил о судьбе «малых народцев» в Африке, в Австралии и других странах: «Завоеватели же делают всегда одно и то же: отбирают от народца все, что только могут взять у него» (т. 25, стр. 255). Вопрос, поставленный Толстым в заголовке этой книги, не мог не волновать современников. Японский писатель Кэндзиро Токутоми писал Толстому: «Мир молод и движется к прогрессу медленно. И все же он должен образумиться... „Мы должны спасти человечество, спасаясь сами“», говорил Герцен [1].

Толстой знал эти слова Герцена. В экземпляре книги «С того берега», хранящейся в Яснополянской библиотеке, они подчеркнуты его рукой [2]. Толстой включил их в свою книгу «Путь жизни»: «Когда бы люди захотели вместо того, чтоб спасать мир, спасать себя, вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать, — как много бы они сделали для спасения мира и для спасения человечества!» (т. 45, стр. 220) [3].

Толстой вкладывал в эти слова не герценовский, а свой собственный, религиозно-нравственный смысл, но от этого его отрицание колониализма не становилось, в субъективном плане, менее полным и его отношение к этому злу менее гневным.

Особенно возмущал Толстого миф о цивилизаторской миссии колонизаторов. «Какой вздор! — записывал он в дневнике в 1897 г. — Почему же людям, живущим христианской жизнью, не пойти просто, как Миклухо-Маклай, жить к ним, а нужно торговать, спаивать, убивать?» (т. 53, стр. 161).

Вопрос «должны ли мы иметь колонии?» был поставлен точно и своевременно. Столь же своевременным и точным был ответ Толстого, осудившего колониальную политику европейских великих держав.

Ненавистная Толстому колониальная система, крушение которой он предвидел, действительно рухнула, остались лишь ее «руины». Но рухнула она не сама собой, а в результате напряженной освободительной борьбы народных масс, в результате великих революционных движений новейшего времени.

2. «РАБСТВО НЕГРОВ»

«Отмена <...> невольничества в Америке, — писал Толстой в книге „Рабство нашего времени“, — хотя и упразднила прежнюю форму рабства, не только не уничтожила самой сущности его, но была совершена только тогда, когда щетина в подошвах нарвала нарывы и можно было быть вполне уверенным, что без цепи и без колодок пленники не убегут и будут работать» (т. 34, стр. 169).

Таким образом, по мысли Толстого, «отмена невольничества» еще не уничтожила «рабства». Письма, которые Толстой получал из Соединенных Штатов Америки, неизменно привлекали его внимание к этой проблеме.

В 1901 г. американский судья Арба Н. *Уотермен* (1836—1917) прислал Толстому заметку о линчевании негров и свою книгу «A Century of Caste» («Кастовый век»)[1]. В этой книге Уотермен выступал с гуманистических позиций в защиту «цветного населения Америки». Само обращение к Толстому свидетельствует о непосредственности и силе его гражданского чувства.

Перевод с английского

Чикаго. 30 июня 1901 г.

Милостивый государь!

Беру на себя смелость послать вам написанную мною книжечку под заглавием «A Century of Caste». В ней говорится о плачевном положении цветного населения Соединенных Штатов Америки в XIX веке.

Надеюсь, вы сочтете ее достойной вашего внимания.

С глубоким уважением, искренне ваш, судья Арба Н. У о т е р м е н

Прилагаю к письму небольшую заметку о линчевании негров в Соединенных Штатах.

Заметка, присланная Уотерменом, называется «Ответственность нации за три тысячи линчеваний». Приводим ее текст в русском переводе.

«Благоденствие нашей страны должно радовать и, действительно, радует всех.

Богатство — благо, к которому люди и целые народы вправе стремиться.

Но ни деньги, ни сила, ни слава не должны нас ослеплять настолько, чтоб совершать те ошибки и несправедливости, в которых мы ныне повинны.

Во многих отношениях Соединенные Штаты — самая преуспевающая в мире страна. Тем не менее бросается в глаза ее несостоятельность в деле защиты своих граждан, являющихся жертвой общественных предрассудков и расовой вражды.

Гарантия личной безопасности каждого на основе закона — вот что мы вправе требовать. Однако пока что действенная защита от насилия толпы достигается весьма редко. Со времени окончания Гражданской войны более трех тысяч человек в нашей стране стали жертвами ярости толпы.

Три тысячи свободных, ни в чем не повинных перед лицом закона и никому не сделавших зла людей преданы смерти, иногда в неописуемых мучениях на костре, с жестокостью, заставляющей нас содрогаться, когда мы читаем историю прошедших столетий. И никто не понес за это наказания, никто даже не был этим особенно огорчен.

Так поступали другие, так и они поступили по отношению к гонимым, презираемым, бедным и слабым людям.

Король умер, правит народ: он назначает и смещает президентов и губернаторов, устанавливает законы и формы правления. Могут ли они быть дурными?

Если бы правительство МакКинли[2] одобрило хоть один случай суда Линча, оно было бы сметено неодолимым взрывом общественного негодования. Но три тысячи случаев линчевания, произведенных толпой, не вы-

звали ни малейшего волнения в политических сферах. Если мы организуем тресты с капиталом в биллион долларов, если мы жертвуем ежегодно по двадцать миллионов долларов на университеты, почему же мы не желаем думать о правах и страданиях убиваемых жертв общественной ненависти, которых их убийцам угодно величать «никчемной сволочью»?

Что нам слезы детей, ставших сиротами из-за кастовой спеси и кровожадных вожделений разнузданной толпы! Ведь мы величайшая могущественнейшая из всех наций!

Если мы хотим обуздать притеснителей, обратим свои взоры к России.

Судья Арба Уотермен из Чикаго

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Yasnaia Polyana. Russia.

О линчевании негров на Юге Соединенных Штатов и «предубеждении против негров», распространенном повсюду — «как на Юге, так и на Севере», — писал Толстому американский журналист Теодор *Стэнтон* (1851—1925), представитель в Западной Европе крупного американского журнала «North American Review».

Перевод с английского

Париж. 20 июня 1903 г.
9, Avenue du Trocadéro.

Милостивый государь!

Один из самых жгучих вопросов в Соединенных Штатах Америки, как вам, несомненно, известно, — это вопрос о неграх. Две стороны этого вопроса должны представлять для вас особый интерес: обычай, распространенный во всех южных штатах Америки, линчевать преступников-негров, и общественное предубеждение против негров, которое существует почти повсеместно в Соединенных Штатах, как на Юге, так и на Севере.

Что касается линчевания, просвещенные люди в Америке на этот счет единодушны: все порицают его. Но лишь небольшая часть белого населения Америки борется против предрассудков, связанных с цветом кожи. Именно против этих предрассудков неоднократно и столь решительно высказывался президент Рузвельт.

Мне пришло в голову: если бы вы, выступающий всегда так веско и имеющий столько поклонников в Соединенных Штатах, посвятили негритянскому вопросу одну из своих превосходных статей, это принесло бы огромную пользу и очень поддержало смелых людей, мужчин и женщин, которые в области общественной и частной, не щадя сил, искореняют из сознания и обычаев американцев последние остатки черных дней рабства.

Статья может быть написана по-русски. Мы переведем ее на английский язык в Нью-Йорке. Она может быть длинной или короткой — как вы сочтете нужным. Существенно лишь одно: чтоб вы подняли ваш авторитетный голос против этой несправедливости.

Вместе с этим письмом посылаю вам один из последних номеров «North American Review», где вы найдете отличные статьи, освещающие этот вопрос. Если вы захотите ознакомиться с ним еще подробнее, я с удовольствием пришлю вам и другие материалы.

Теодор Стэнтон,
представитель журнала «North American Review»
на континенте

На конверте: Recommandée. Russie. Toula.
Ясная Поляна.
Comte Leo Tolstoy, Esq.

«Жгучий вопрос», о котором писал Стэнтон, привлекал к себе пристальное внимание Толстого. В статье, посвященной известному общественному деятелю, борцу за освобождение негров У. Л. Гаррисону, Толстой привел его слова о том, что в негритянском вопросе девиз свободы часто ограничивается приложением лишь к тем людям, «которые собраны в этой стране южными рабовладельцами как рыночная ценность, как товар, скот, хозяйственный инвентарь». «Мы будем пользоваться нашим девизом в самом широком смысле», — говорил Гаррисон (т. 36, стр. 96).

Толстой разделял точку зрения Гаррисона и считал «негритянскую проблему» частью более общего вопроса борьбы за свободу. «Гаррисон же, понимая, что рабство негров было только частным случаем всеобщего насилия, — писал Толстой, — выставил общий принцип, с которым нельзя было не согласиться, — тот, что ни один человек, ни под каким предлогом, не имеет права властвовать, т. е. употреблять насилие над себе подобными. Гаррисон не столько настаивал на праве рабов быть свободными, сколько отрицал право какого бы то ни было человека или собрания людей принуждать к чему-нибудь силою другого человека» (там же, стр. 96—97).

Именно поэтому Толстой считал, что для «освобождения негров» надо «освободить белых», т. е. уничтожить самую основу рабства и в законах, и в предрассудках общества. «Сущность же вопроса осталась неразрешенной, — писал Толстой по поводу отмены физического рабства негров, — и тот же вопрос, только в новой форме, стоит теперь перед народом Соединенных Штатов. Тогда вопрос был в том, как освободить негров от насилия рабовладельцев; теперь вопрос в том, как освободить негров от насилия всех белых и белых от насилия всех черных» (там же, стр. 97).

Стэнтон писал Толстому о нескольких «решительных высказываниях» президента США Т. Рузвельта против предрассудков, «связанных с цветом кожи». Толстой имел основания для того, чтобы не связывать надежды на решение этого вопроса с деятельностью «империалиста Рузвельта». В самом деле, выступления президента против расовой дискриминации и сегрегации, встреча с негритянским лидером Букером Т. Вашингтоном в Белом доме имели чисто декларативный характер.

Вашингтон был в юности рабом, потом рабочим на угольных копях. Ему удалось получить высшее образование, и он стал политическим деятелем. Вашингтон выступал в защиту программы экономических и культурных реформ, стремясь открыть для негров в Америке доступ к образованию. Надежды свои он возлагал на филантропическую помощь и входил с этой целью в контакт с правительством. Главным достижением Вашингтона было созданное его усилиями высшее учебное заведение для негров в штате Алабама, так называемый институт Таскиги.

23 мая 1908 г. Толстой встретился в Ясной Поляне с другом Вашингтона, профессором социологии Дж. Раймондом. В беседе с ним Толстой говорил о положении негров в Америке и высказал желание познакомиться с работой института в Таскиги.

В октябре 1908 г. Толстой получил письмо от *Б. Т. Вашингтона* и материалы о деятельности негритянского института в Алабаме [3].

Перевод с английского

〈Таскиги. Алабама.〉 17 октября 1908 г.

Графу Л. Толстому

Ясная Поляна. Ясенки. Тульская губерния. Россия

Милостивый государь!

С великим удовольствием выполняю просьбу нашего общего друга, г. Джерома Х. Раймонда (6217, Madison avenue, Чикаго, Иллинойс, США), и посылаю вам некоторые материалы, дающие представление о нашей ра-

боте здесь, в институте Таскиги. Горячо надеюсь, что эти книги будут вам в какой-то мере интересны, равно как и печатные материалы о работе школы.

Нечего и говорить, что вместе со всеми мыслящими людьми я глубочайшим образом сочувствую вашим неустанным усилиям, направленным к улучшению жизни ваших соотечественников.

Примите уверения в моем глубоком интересе к вашей благородной деятельности.

Искренне ваш
Букер Т. Вашингтон

На конверте: Count Leo Tolstoy.
Yasnaya Poliana. Yasenky.
Toula Government. Russia.

В 1909 г. к Толстому обратились от имени трех тысяч негров Нью-Олбени (штат Индиана) Лиззи Уокер и Марта Тайлер [4]. Поводом для этого письма послужила статья Дж. Стотсенбурга «What would Tolstoy say» («Что сказал бы Толстой»), опубликованная в 1908 г. [5]

Стотсенбург начинает свою статью указанием на федеральную конституцию, где было «торжественно объявлено» об «установлении справедливости».

Но действительное положение вещей далеко от того, что можно было бы назвать справедливостью. Стотсенбург приводит факты, «показывающие как мало конституция способствует защите черных граждан республики».

«Негр по имени Шоу, — пишет Стотсенбург, — был повешен толпой на площади в Тансаколе (Техас); другой негр по имени Смит сожжен на костре в Гнивиле (Техас), хотя двое судей в публичном заседании говорили, что обвиняемый человек предварительно должен быть осужден».

Ужасающие злодеяния были совершены в Иллинойсе, штате Линкольна, «великого эмансипатора», провозгласившего равенство черных и белых. «Негритянские граждане США лишены гражданских прав», — вот основная мысль статьи Стотсенбурга.

«Что сказал бы Толстой?» — спрашивал Стотсенбург. И отвечал: достаточно вспомнить то, что он уже сказал. Каждое слово Толстого является осуждением рабства и утверждением прав человека.

Уокер и Тайлер сообщали Толстому: «Статья должна отражать то, что, по мнению автора, вы должны были бы написать, как друг угнетенных, но... в ней нет достаточного внимания к воплям и мольбам чернокожих людей» (т. 79, стр. 196—197).

Толстой познакомился со статьей Стотсенбурга и письмом Уокер и Тейер. В своем ответе он писал: «Прочел присланную вами статью об исключительных жестокостях, совершаемых людьми над своими братьями только потому, что кожа их другого цвета, чем тех, над которыми они считают себя вправе совершать величайшие жестокости» (т. 79, стр. 196).

Толстой был убежден, что необходимо «обличить одинаковую преступность и грубой толпы, совершающей эти ужасы, и еще бо́льшую бессовестность правительства, допускающего и потворствующего этим преступлениям» (т. 79, стр. 196).

Переписка Толстого по негритянскому вопросу представляет собой материал большой исторической значимости, не утративший своего современного значения. И в наши дни, когда расизм оказывает давление на общественную жизнь Америки, борьба за гражданские права негров остается насущной задачей демократии. Именно поэтому так злободневно звучит сегодня то, что сказал Толстой в защиту негров, «как друг угнетенных».

3. АННЕКСИЯ

7 октября 1908 г. правительство Австро-Венгрии объявило о присоединении к империи Габсбургов Боснии и Герцеговины — славянских земель на Балканах.

После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Босния и Герцеговина, освобожденные от многовекового турецкого ига, по решению берлинского конгресса были отданы под временную оккупацию австрийской армии.

Теперь односторонним решением Вены оккупация превращалась в аннексию.

Захват Боснии и Герцеговины вызвал бурные протесты в Сербии, где эти земли рассматривались как неотъемлемая часть будущего южнославянского государства. Сербия обратилась за поддержкой к России и стала готовиться к войне.

В тот самый день, когда было официально объявлено о присоединении Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии, молодая сербка Анджа Мита *Петровичева* обратилась к Толстому с письмом, в котором призывала его «поднять голос в защиту босняков и герцеговинцев» [1].

Перевод с сербского

Его сиятельству графу Толстому, философу и писателю!

Больше всего мне хотелось бы, чтоб у вас хватило терпения дочитать это письмо до конца.

Обращаться к вам, философу и гению XX века — огромная смелость со стороны молодой сербки. Простите меня, уважаемый апостол угнетенных. Вы, умеющий прощать и учащий людей справедливости и милосердию, не откажете в просьбе вашим ученикам. Вы внушили мне отвагу — обратиться к вам с просьбой от нашей небольшой страны — к вам, поборнику христианской гуманности.

Я осмелюсь рассказать вам о ранах, которые терзают сербов, и просить слова утешения от имени всей сербской молодежи. Ваше слово явится для русского общественного мнения гласом апостола. Так провозгласите же это спасительное слово, смягчите сердце вашего народа в отношении маленькой балканской народности, находящейся в плену у захватчиков. Поднимите голос за свободу боснийцев и герцеговинцев! Это сербы, это южные славяне, это люди, веками борющиеся за сохранение своей самобытности.

Мы, сербы, лучше, чем когда бы то ни было, понимаем теперь, что стоим перед пропастью, которая таинственно влечет нас в свои глубины. На дне ее неясно мелькает луч — то ли избавления, то ли смерти; и мы должны броситься в эту пропасть с лозунгом «Свобода или смерть!» и очутиться между ужасом и спасением.

И все же, Отец, мы, словно львы, которых охотники окружили огненным кольцом, — полны отваги и готовы положить на алтарь отечества свои жизни и свое имущество, оставаясь до последнего вздоха верными родине.

Мы должны разрушить стены нашей тюрьмы, преграждающие нам путь к свободе и осуществлению наших возвышенных стремлений; силы врага больше, чем наши, враг неумолим к стонам и угрозам своих пленников, и все же мы не падаем духом. В спертом воздухе тюрьмы мы не можем бороться за благородные христианские идеалы, а все наши утешения были бы бесполезной мечтой, поисками вымышленного мира, где нет страдания и унижений.

Нынче во всей разодранной на клочки сербской земле нет ни одного серба, который бы решительно не требовал войны с Австрией и освобождения сербских областей Боснии и Герцеговины.



АНДЖА ПЕТРОВИЧЕВА
Портрет маслом работы Надежды Петровичевой, 1908
Народный музей, Белград

Сербы никогда не страшились войны, ибо они уверены, что в борьбе возрастают силы и что патриотический подъем сам указывает путь и направление всем возникающим в ходе борьбы событиям. Пусть оспаривают за сербами способность к общественной жизни, пусть приписывают нам все пороки (нам, а не Германии с ее интригами, направленными на наше уничтожение) — ни один народ не знал и не знает большего воодушевления и большей готовности к самопожертвованию, чем сербы, веками боровшиеся против вражеских интриг и нашествий.

Сейчас наступила одна из самых критических минут, когда сербы находятся в ожидании решения культурной Европы на конгрессе великих держав.

Россия молчит. Это страшное молчание может стоить жизни целому народу. Возможно ли, чтобы великая Россия стала палачом и причиной гибели невинных славян? Где же подлинный гуманизм? Где

человеколюбивые, филантропические объединения культурных народов, если ни один голос не раздается в защиту южных славян от германского нашествия?

Разве не правда, что этот гуманизм проявляется только в отношении невежественных народов Азии и Африки, проповедуя дикарям христианское милосердие, в то время как на юге Европы он спокойно допускает уничтожение целого народа, имеющего многовековую историю и культуру. Этот народ уничтожается только потому, что хищническая Европа продолжает вести тайную политику и что Россия защищает лишь интересы болгар — потомков татарских пришельцев.

Россия молчит, потому что Болгария, подопечная ей, уже получила независимость, а сербы пускай гибнут. Можем ли мы рассчитывать на помощь англичан и немцев, желающих, в сущности, ослабления славянства?

Англия больше других противится аннексии Боснии и Герцеговины, но не потому, что ущемлены интересы сербов, а потому что она хочет удовлетворить свою союзницу Турцию. Все страны, улучшившие свои отношения с Турцией, выиграли. Для Болгарии это выразилось в аннексии Румелии; Греция получила Крит; Австрия — сербские провинции, Боснию — Герцеговину. А Сербия из-за своей лояльности не получила ничего. Таковы были цели европейской политики. Турция оказалась вороной, разукрашенной чужими перьями, но на этот раз и другие хищные птицы разоделись в чужие перья. А Сербия должна была стать на сторону обобранной Турции, своего бывшего врага.

Ужасно, когда в культурный век приходится проливать кровь за свои права. Пусть Европа охраняет интересы германских народов и турок, а героическая Сербия без страха пойдет на войну.

Если дело идет о защите великосербских стремлений к воссоединению, лучше погибнуть, защищая от разбойников свои интересы. Австрийская армия на примере союзной армии Сербии и Черногории еще раз увидит, что значит защищать отечество и что значит отправляться на охоту за чужим добром.

Героическая смерть, которая поразит всех до единого, или свобода независимой сербской земли! Даже если сербскую армию на поле брани оставит милость всевышнего, врагу не удастся в Сербии легко переступить порог наших домов; неизведанные еще силы сербских женщин проявятся в мести за смерть отцов и братьев.

И пусть во веки веков останется свято воспоминание о последних днях королевства, воздвигнутого на развалинах могущественного балканского царства, достойного великих предков сербского народа.

Я открыла вам свою душу, я пишу то, что кровавыми буквами записано в сердце каждого серба; свои упования на ваши симпатии по отношению к сербам я охотно доверяю бумаге, которая, быть может, никогда не попадет в руки вашей милости.

Но если вы получите это письмо, не отвергайте его из-за того, что язык наш будет вам непонятен; не пренебрегите возникшими в моем сердце воодушевлением и восхищением, которые я испытала, обращаясь к вашему сиятельству.

Дай бог, чтобы в результате моего письма сербский народ приобрел еще одного друга в лице прославленного писателя Льва Толстого.

Пусть ваше сиятельство простит мне мою смелость и примет безграничное уважение молодой сербки, исполненной любви к отечеству и желания, чтобы весь мир проникся добрыми чувствами к маленькой Сербии.

Анджа М. Петровичева

Белград, 7 октября 1908 г. Ратарска, 32

26 октября Толстой записал в дневнике: «Начал ⟨...⟩ письмо сербке» (т. 56, стр. 152). Но письмо разрасталось, а время шло. Поэтому Толстой поручил Маковицкому написать Андже Петровичевой письмо, кратко изложив его мнение.

Подлинник по-русски

30 октября 1908 г.

Милостивая государыня!

По случаю вашего письма Лев Николаевич вспомнил изречение о том, что когда нам кажется, что все погибло, часто бывает, что тут-то все спасено.

Думает Лев Николаевич это потому, что важно не политическое положение государства Сербии, а важно духовно-религиозное состояние всего народа. И это особенно важно для народов славянского племени, которые, как думает Лев Николаевич, более других религиозны и вследствие этого призваны обновить христианское человечество новым пониманием жизни и потому призваны внести совершенно новое и иное, чем отношение других народов, отношение к политической власти.

И это новое, иное, чем обычное, отношение к политической власти может выразиться именно теперь по случаю, так сильно волнующего сербский народ, дерзкого присоединения австрийским правительством Боснии и Герцеговины.

Вопрос этот настолько заинтересовал Льва Николаевича, что он в довольно длинном письме, которое вероятно скоро будет напечатано, высказал подробно свои мысли об этом предмете.

Д. П. Маковицкий

Известие о том, что Толстой пишет для печати статью о присоединении Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии, вызвало чувство благодарности и надежды. Петровичева писала Толстому:

Перевод с сербского

Ваше сиятельство!

Не нахожу слов, чтобы выразить то, что я как сербка чувствую в связи с доброжелательностью и симпатиями, проявленными к нам русским народом и всеми северными славянами. Мы все больше убеждаемся в том, что планы, которые мы строим в отношении нашего будущего, верны и что стремления, идеи, служащие для руководства, приносят благосостояние и счастье всему народу и ведут к высшему совершенству, какое вы хотите видеть в возрожденном человечестве, когда все будут праведны.

Нужно воспринимать жизнь истинно и верно, используя опыт, полученный от познания самого себя и окружающего нас мира, уважая законы общества и религии — так, чтобы каждый умственно развитый человек мог воспринять дух вашего учения, по которому любое стремление должно являться выражением благородных побуждений. Так должен думать каждый культурный человек и народ и его властители, но, к сожалению, маленькому народу в этом деле трудно быть впереди, ибо «на чьей стороне сила, тот и прав».

Разбой угрожает теперь нашей национальной свободе, ведет к уничтожению нашей самостоятельности, нашей народности.

Под грязной вуалью скрывает германская раса свою аморальность и бесстыдство, она разжигает в наших сердцах ненависть, ибо своим эгоизмом она старается вытеснить славянские народы, за которыми будущее.

Да, ваше сиятельство, слова ваши находят отклик и в моей, и во всех наших душах. С надеждой глядим мы в нынешнее столетие, которое явится

столетием прогресса в социальном отношении. Созревшие, налившиеся силой идеи продиктуют человечеству новые законы; это будет победа и триумф справедливости и равенства и плод усилий славянских народов.

Меня осчастливил ваш ответ, а ваше открытое письмо, которое вскоре появится, превзошло все мои ожидания. Успех мой огромен, он превзошел результаты деятельности всех наших дипломатов, ибо я сумела заинтересовать нашим справедливым делом величайшего в мире гения. Письмо г. Маковицкого, в котором он соблаговолил изложить ваше мнение и сообщает, что скоро будет напечатано ваше суждение по поводу аннексии Боснии и Герцеговины, вызвало у нас самый большой интерес, и все с лихорадочным нетерпением ожидают «мнения великого Толстого о несчастной судьбе Боснии и Герцеговины и всего сербского народа».

Ваша исключительная доброта проявилась не только в этом письме, вы доставили мне огромную радость, послав ваши сочинения, по которым я буду постигать ваше учение.

Беру на себя смелость отправить вам историческое сочинение моего отца, Миты Петровича, которое познакомит вас с возрождением моего маленького отечества — Сербии,— то есть с новейшей историей сербского народа, организацией различных учреждений, развитием финансов и экономики нашей родины, которое отец написал на основании собранных им подлинных документов за период от 1804 до 1849 года.

Это сочинение должно состоять из еще девяти таких выпусков, в которых будет представлен весь исторический материал. Они вскоре поступят в печать. Я посылаю лишь первый выпуск, желая, насколько возможно, ознакомить ваше сиятельство с нашей историей. Мой отец долгие годы собирал исторические документы, и к настоящему времени у него насчитывается около одиннадцати тысяч ценных и важных бумаг и писем, среди которых находятся и псалтыри, написанные от руки несколько веков назад.

Часть, которая относится к истории женщин и их участию в нашей новой истории XIX столетия — письма, связанные с политической и общественной жизнью Сербии, я обрабатываю уже несколько месяцев, и, когда это напечатаю, буду счастлива послать вашему сиятельству.

Конечно, семнадцатилетняя девушка не в состоянии создать бессмертные произведения, подобно такому человеку, как Лев Толстой, но я буду удовлетворена, если сделаю хоть немного для сербского народа, воскрешая память о наших славных матерях, не раз жертвовавших собою во имя своей веры и народа.

Во время турецкого господства и тирании захват невинных девушек и детей в рабство называли в народе «кровавой данью». Женщина — мать и сестра, несла на себе тяжелый крест, она голыми руками защищала в своем доме малых детей и имущество, побуждая к сопротивлению, разжигая чувства любви и храбрости, а по отношению к тиранам чувство ненависти. И, принося жертвы, сербка не стонала и не требовала награды. И дома, и на поле боя, возле раненых, среди боевых кликов сербские женщины были нежными помощницами. Встретив первый, после пяти веков рабства, луч свободы на сербском небе, они были первыми, прославившими Провидение, влившее силы в их ослабевшие мышцы.

Они принесли свои женские чувства на алтарь освобождения отечества, как солдаты храбро, героически и терпеливо вынесли все, с радостью встретив кровавое солнце на нашем пылающем небосводе.

Страшны были эти пять веков черной ночи, когда миллионы сербских матерей, охваченные ужасом и отчаянием, были свидетелями несчастья, которое подстерегало их детей с первых дней жизни, обрекая их на участь рабов азиатских тиранов; небо наше и сейчас еще залито кровью, на наших сердцах и сейчас еще лежит печать истерзанного сербского народа.



ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА РУССКО-СЕРБСКОГО КЛУБА, ПРИСЛАННЫЙ ТОЛСТОМУ В 1906 г.

Обложка

Архив Толстого, Москва

Наше прошлое обагрено кровью, настоящее — еще более обагрено кровью, и будет ли когда-нибудь конец этим мучениям, возможно ли, что нет спасения от мрака и что звон цепей будет и в дальнейшем раздаваться среди дивных сербских лесов. Страдания сербов прежние, изменился только тиран — раньше это были турки, теперь — немцы.

Я полагаю, что не очень злоупотребила вашим вниманием, написав вам такое обстоятельное письмо.

Разрешите в конце добавить, что мы, сербы, верим в будущее славян, ибо, только объединившись, славяне смогут уничтожить немцев и их политику и тем самым обеспечить славянам свободу культурного развития.

Вы доставили бы мне большую радость, если б прислали свою фотографию с вашим автографом — она вечно напоминала бы мне и моим друзьям о высоком друге сербов, князе Льве Толстом.

В знак уважения разрешите мне поцеловать вашу руку — руку отца всех угнетенных.

С глубоким почтением остаюсь
Анджа М. Петровичева

Белград, 19.XI 1908 г.
Ратарска, 32.

Статья Толстого была окончена в начале ноября 1908 г. (т. 37, стр. 439). Называлась она «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии».

В первых числах декабря статья была напечатана (с многочисленными цензурными пропусками) в «Голосе Москвы» и в других русских и иностранных газетах.

«Одна сербская женщина обратилась ко мне с вопросом о том, что я думаю о совершившемся на днях присоединении к Австрии Боснии и Герцеговины, — так начал свою статью Толстой. — Я вкратце отвечал ей, но рад случаю высказать тем, кого это может интересовать, насколько я могу ясно и подробно, мои мысли об этом событии» (т. 37, стр. 222—223).

Толстой осудил аннексию, совершенную «посредством всякого рода обманов и лжи, насилия и всякого рода преступлений против самых первых требований нравственности». Он назвал захват славянских земель Австрией «грабежом», а империю Габсбургов — «разбойничьим гнездом».

Но в качестве средства «избавления от порабощения» Толстой рекомендовал боснякам и герцеговинцам, сербам и всем славянским народам одно: не готовиться к войне, отказаться от борьбы, но «освобождаться всеми силами от губительного суеверия патриотизма, государства и сознать каждому человеку свое человеческое достоинство, не допускающее отступления от закона любви и потому не допускающее ни господства, ни рабства, и требующего не делания чего-либо особенного, а только прекращения делания того, что поддерживает то зло, от которого страдают люди» (т. 37, стр. 241).

Анджа Петровичева, прочитав ответ на ее вопрос «что делать?», снова решила написать Толстому.

Перевод с сербского

Ваше сиятельство!

Считаю своим долгом поблагодарить вас за ваше благородное письмо по поводу нашего сербского вопроса.

Основной христианский принцип — люби ближнего и люби человечество — символ христианских устремлений, понятие человеческой прав-

ды и личной независимости приняло ныне иные формы, искажение благородных идей самого Христа получило санкцию власти.

Христианином теперь называется даже тот, кто, прикрываясь этим именем, проливает кровь своих братьев во имя выдуманных, укоренившихся принципов; эгоизм завладел каждым в отдельности и всеми вместе.

Цели утратили свое истинное благородство, так что вы, учитель, правы — тропа добродетели затерялась в повседневной борьбе.

Ваше учение, или возрождение современного общества, было бы, без сомнения, осуществимо, если б все люди освободились от своих традиций, убедив этот материалистский, эгоистический мир, что он заблуждается, считая ваше учение неосуществимой философией, а не истинной наукой, которую так легко воспринимают люди с чистой душой.

Ваш ответ пробудил во мне благородные мечты о правде и любви, но чтобы воспринять милосердие и благородство великого учителя, я должна была бы забыть, что я сербка, забыть о тех несчастьях, среди которых живет сербский народ. А действительность требует постоянной, реальной заботы о моем отечестве и разрешении кризиса, после которого должен быть создан хоть временный мир.

Я исполнена надежд и горячо желаю, чтобы быстрее осуществились принципы вашего благородного учения. Я льщу себя мыслью, что эра, в преддверии которой мы стоим, не позволит растоптать целый народ и что в ближайшем будущем будут осуществлены народные права.

Веря в справедливость надежды об общем счастье, поздравляю вас с Рождеством и Новым годом и шлю тысячи теплых пожеланий долгих лет жизни и успешного труда.

Еще раз примите сердечную благодарность от меня и всех сербов за участие и отклик в печати на аннексию Боснии и Герцеговины.

С горячим приветом и уважением
Анджа М. Петровичева

Белград, 20.XII 1908 г.

Толстой прекрасно понимал, что в ответ на чудовищный призыв «уничтожить сербов» может последовать призыв «уничтожить немцев». Эта мысль мелькнула в письме «сербской женщины». И Толстой вновь повторил свое слово: «Одумайтесь!»

Статья Толстого вызвала многочисленные отклики в русской и иностранной печати. Д. П. Маковицкий познакомил его со статьей М. Стевановича «Лев Толстой о аннексии» [2]. В этой статье говорилось, что Толстому вряд ли удастся убедить А. Эренталя, австрийского министра иностранных дел, в необходимости отказаться от аннексии Боснии и Герцеговины. И Толстой, выслушав это, сказал по поводу своей статьи: «Никого не убедит» [3].

Вскоре Толстой получил письмо от сербского переводчика И. Г. Максимовича, который сообщал ему, что сначала в зарубежных газетах «смеялись над утопиями великого старца», а потом все чаще и чаще стали повторять его аргументы в защиту Сербии. «Если бы убедились!» — воскликнул Толстой [4].

Когда статья была еще в рукописи, с ней ознакомился М. С. Сухотин, который часто и по многим политическим вопросам выступал в своеобразной роли оппонента Толстого. Тогда же Сухотин записал в своем дневнике: «Л. Н. пишет ответ какой-то сербке, который мне не нравится по своей бесцельности. Сербка плачет о том, что их окончательно заберут в свои руки и уничтожат их национальность швабы, а Л. Н. в утешение ей доказывает, что не нужно никакой национальности и что одинаково вредно ей, сербке, всякое государство, будь то турецкое, немецкое или сербское»[5].

Сухотин, называвший себя «реальным политиком», как бы предугадал то впечатление, которое статья Толстого должна была произвести на Петровичеву. И действительно, в ее письме чувствуется горечь не вполне оправдавшейся надежды. Ни сама Анджа Петровичева, ни ее единомышленники не могли и не хотели забыть, что они сербы, босняки, герцеговинцы, не могли допустить мысль о том, что они будут уничтожены как народ, не оказав сопротивления «грабителям».

4. СУД В МИЛАНЕ

В 1895 г. Италия начала войну против Абиссинии (Эфиопии). В начале марта следующего года война завершилась полным разгромом итальянской армии в битве при Адуа.

По горячим следам событий, в марте 1896 г., Толстой начал писать обращение «К итальянцам». Рукопись осталась неоконченной и при жизни Толстого не публиковалась.

Но статья не утратила своего значения и в последующие годы. Достаточно сказать, что отрывки из обращения Толстого «К итальянцам» были опубликованы в газете «Известия» в 1935 г., в дни новой итало-абиссинской войны [1].

В 1898 г. издатели газеты «Humanité Nouvelle» (Париж и Брюссель) и журнала «Vita Internazionale» (Милан) обратились к всемирно известным деятелям с анкетой о войне и милитаризме. Запрос был направлен и Толстому. «Требуют ли войны между цивилизованными народами история, право и прогресс?» — вот основной вопрос, на который требовалось дать ответ.

Такая постановка вопроса вызвала у Толстого «чувство отвращения, негодования и даже отчаяния» (т. 39, стр. 198). Он начал писать ответ и за двадцать дней написал двести двадцать девять страниц. Наконец, работа была окончена. Многостраничные черновики были сведены и сжаты в краткую статью — замечательный образец толстовской публицистики.

«Каждый год где-нибудь грабят и убивают,— писал Толстой,— и все живут под постоянным страхом всеобщего взаимного грабежа и убийства» (т. 39, стр. 198—199). Современный мир милитаризма представлялся Толстому воинственным Карфагеном, постоянно угрожающим миру. И Толстой взял в заголовок статьи слова Катона «Carthago delenda est»— «Карфаген должен быть разрушен».

«Верьте одному своему чувству, что вы не животные и не рабы, а люди свободные и ответственные за свои поступки и потому не могущие быть убийцами ни по своей воле, ни по воле распорядителей, живущих этими убийствами»,— писал Толстой (т. 39, стр. 199).

Окончив статью, он отправил рукопись в Англию для первого номера организованного В. Г. Чертковым сборника «Свободное слово», а также во Францию издателю «Humanité Nouvelle» Амону и в Милан, издателю журнала «Vita Internazionale» — Монета.

Имя Эрнесто Теодора *Монета* (1833—1915) — известного итальянского общественного деятеля, впоследствии получившего Нобелевскую премию мира, было знакомо Толстому. Еще в 1892 г. Толстой одобрительно отзывался о его деятельности, направленной на обоснование и защиту идеи международного мира.

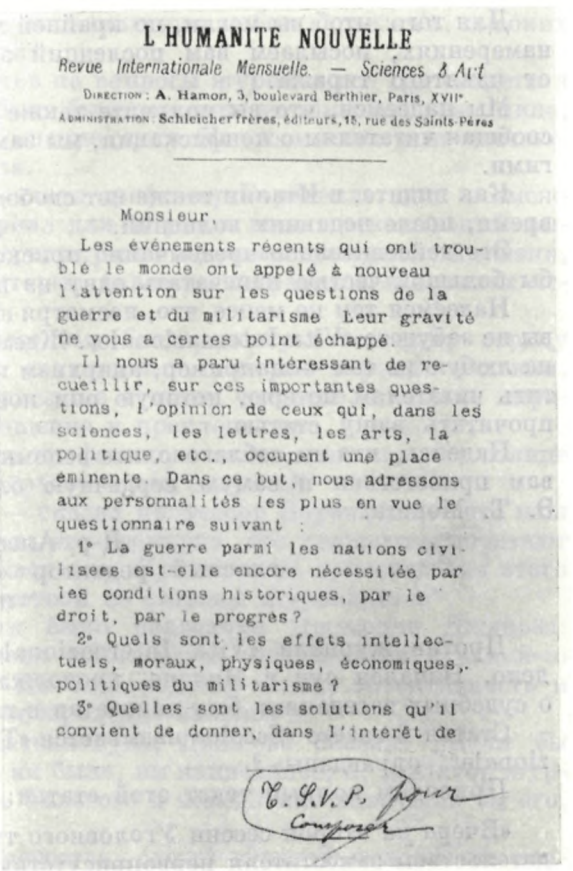
Участник «восстания пяти дней» и войны в Пьемонте, один из гарибальдийцев 1860-х годов, Монета, оставив военную службу, занялся журналистикой [2].

Получив от Толстого рукопись статьи для «Vita Internazionale», Монета обратился к нему с письмом:

АНКЕТА ФРАНЦУЗСКОЙ ГАЗЕТЫ «L'HUMANITÉ NOUVELLE», ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМЕ ВОЙНЫ И МИЛИТАРИЗМА

Была послана Толстому в марте 1898 г.

Архив Толстого, Москва



L'HUMANITE NOUVELLE

Revue Internationale Mensuelle. — Sciences & Art

DIRECTION : A. Hamon, 3, boulevard Berthier, Paris, XVII^e^

ADMINISTRATION : Schleicher frères, éditeurs, 15, rue des Saints-Pères

Monsieur,

Les événements récents qui ont troublé le monde ont appelé à nouveau l'attention sur les questions de la guerre et du militarisme Leur gravité ne vous a certes point échappé.

Il nous a paru intéressant de recueillir, sur ces importantes questions, l'opinion de ceux qui, dans les sciences, les lettres, les arts, la politique, etc., occupent une place éminente. Dans ce but, nous adressons aux personnalités les plus en vue le questionnaire suivant :

1° La guerre parmi les nations civilisées est-elle encore nécessitée par les conditions historiques, par le droit, par le progrès?

2° Quels sont les effets intellectuels, moraux, physiques, économiques, politiques du militarisme?

3° Quelles sont les solutions qu'il convient de donner, dans l'intérêt de

Перевод с французского

Милан. Июль 1898 г.

Г-ну Льву Толстому

Горячо благодарю вас за разрешение опубликовать вашу статью, написанную в ответ на анкету в нашем журнале, одновременно с публикацией ее на русском и французском языках.

Я пишу об этом Черткову на ваше имя.

Примите, милостивый государь, уверения в моем высоком к вам уважении и глубокой симпатии

Э. Монета

На конверте: M. Léon Tolstoï.
Yasnaja Poliana.
Gouv⟨ernement⟩ d'Orel. Russia.

Статья Толстого появилась в журнале «Vita Internazionale» 20 сентября 1898 г., и сразу же этот выпуск был конфискован миланскими властями.

Главный редактор журнала Алессандро *Тассони* сообщил об этом Толстому.

Перевод с французского

Милан. 22 сентября 1898 г.

Милостивый государь!

С сожалением сообщаем вам о том, что ваша статья «Carthago delenda est», которую наш журнал напечатал в номере от 20 сентября, была конфискована миланским прокурором вместе со всем выпуском журнала.

Для того чтоб вы могли, по крайней мере, убедиться в наших добрых намерениях, посылаем вам последний экземпляр журнала, оставшийся от изъятого тиража.

Мы надеемся, что вы получите также тот номер журнала, в котором, сообщая читателям о конфискации, мы заменили вашу статью двумя другими.

Как видите, в Италии также нет свободы печати, особенно в настоящее время, после недавних волнений.

Это действительно чрезвычайно прискорбно, потому что для нас было бы большой честью напечатать одну из ваших работ.

Надеемся тем не менее, что, несмотря на это неприятное происшествие, вы не забудете «Vita Internazionale». Ждем от вас хотя бы несколько строк на любую из тем — например, анархизм или дело Дрейфуса, чтоб возместить читателям потерю, которую они понесли, лишившись возможности прочитать вашу статью.

Надеясь, что вы соблаговолите вспомнить о нашем журнале, посылаю вам приветствия и самую сердечную благодарность нашего директора Э. Т. Монета.

Д-р Алессандро Т а с с о н и,
главный редактор «Vita Internazionale»
и других журналов

Против журнала «Vita Internazionale» было возбуждено уголовное дело. Начался суд в Милане, продолжавшийся несколько дней. Отчет о судебных заседаниях был напечатан в газете «Secolo».

Статья в газете «Secolo» называется «Толстой и журнал „Vita Internazionale“ оправданы» [3].

Приводим полный текст этой статьи:

«Вчера на второй сессии Уголовного трибунала в Милане, под председательством заместителя первоприсутствующего Казати состоялся объявленный процесс против журнала „Vita Internazionale“, в вину которому вменено, как известно, оправдание преступлений и подстрекательство к неповиновению законам, выразившееся в опубликовании письма Льва Толстого.

Журнал „Vita Internazionale“ начал обсуждение милитаризма, предложив высказаться по этому поводу многим авторитетным лицам разных стран и партий.

Письмо Толстого было напечатано с примечанием от редакции о принципиальных расхождениях с выраженными в письме мыслями.

Защитники ответственного редактора, Антонио Делль Орто, адвокаты Шипионе Ронкетти и Арнальдо Ангелли, пригласили в качестве свидетелей профессоров Эмилио де Марки и Карло Баравалле и писателя Джузеппе Джакоза.

Переполнившая зал суда публика, которая состояла из представителей интеллигенции и ученого мира, с восторгом выслушала показания почтенных свидетелей, не скрывая горестного возмущения тем, что такой процесс мог быть устроен.

Заметим, однако, сразу, что трибунал восстановил справедливость.

Свидетели с поразительной ясностью и очень подробно рассказывали о предпринятом журналом обсуждении, объяснив, что такие обсуждения и опросы составляют ныне необходимую часть в политических, научных и литературных органах печати.

Профессор де Марки, придерживающийся иных политических убеждений, чем редактор „Vita Internazionale“, является сотрудником этого журнала, исполненного истинно научного духа и возвышающегося над всеми враждующими партиями, представляющего, как сказал профессор

перед судом, открытое поле для высказывания любых серьезных, высоких и благородных мыслей и мнений.

По поводу публикации ответов на вопросы журнала все три свидетеля высказались в том смысле, что было бы невежливо не помещать ответ лица, приглашенного высказать свое мнение, хотя бы это мнение и не соответствовало точке зрения журнала.

Система подобных опросов, сказал профессор Баравалле, дает возможность собрать ценнейший материал для науки в виде высказываний мыслителей и философов по животрепещущим вопросам гражданской жизни, мнения выдающихся людей, которые навсегда сохранятся в архивах человеческого прогресса.

Всех взволновали хвалы высокому благородству и великому сердцу Льва Толстого, произнесенные свидетелями, которые скромно заявили, что не смеют высказать свое суждение о таком человеке, а только выражают свое беспредельное восхищение и преклонение.

„Лев Толстой,— воскликнул профессор,— сияет, как солнце; солнце иногда обжигает, но кто же дерзнет с ним спорить!"

„Это человек такой высоты,— сказал профессор Баравалле,— что наш ум едва может его понять. Слава его всемирна, его уважают и почитают даже в России, даже царь уважает его. Критиковать произведения этого великого ума было бы святотатством со стороны журналистов".

Блестящим и убедительным было показание Джузеппе Джакоза: „Всякий, кто думает о прогрессе человечества, оказывается в какой-то момент нарушителем законов. Но благородство целей, объективность и возвышенный тон исключают оскорбление законов".

Отвечая на вопрос председателя суда, Джакоза сказал: „Если бы Толстой прислал мне что бы то ни было, им написанное, я, редактор журнала, ухватился бы за творение Толстого и немедленно напечатал бы его, да еще с какой гордостью!"

„Толстой это вершина человечества, самый великий человек на земле!" — добавил свидетель и сделал очень краткий, но чрезвычайно убедительный обзор творчества Толстого, показав, что мысли, высказанные в инкриминируемой статье, повторяются в большинстве его произведений, имеющих свободное и широчайшее распространение в России, где никто, однако, никогда не пытался подать на Толстого в суд.

В заключение Джакоза сказал, отвечая на вопрос защитника Ронкетти: „Если бы состоялся суд над Львом Толстым, весь ученый мир сказал бы только, что власти, устроившие его, приобщились к бессмертной славе". (*Общий смех, аплодисменты.*)

Несмотря на это, прокурор Дзанкетта произнес яркую речь против Толстого и, за неимением доводов, пытался присоединить к материалу обвинения еще одну статью, подписанную редактором и помещенную в том же конфискованном номере „Vita Internazionale", для того, чтобы сформулировать обвинение, равно незаконное и несправедливое, против замечаний редактора, предпосланных письму Толстого. В заключение он требовал приговорить редактора к пятимесячному заключению и к штрафу в сто пятьдесят лир.

Блестящие, исполненные таланта и учености выступления защитников совершенно опровергли обвинение. Адвокат Ангелли подробнейшим образом рассмотрел дело в целом, разъяснив характер и намерения журнала вообще, цель и характер опроса о милитаризме. Адвокат Ронкетти с присущим ему красноречием доказал, что письмо Толстого не заключало в себе ничего противоречащего законам и, во всяком случае, характер журнала, свойство опроса, серьезность и добросовестность примечаний не позволяют обнаружить в поведении редактора ничего преступного.

Суд, как мы уже сообщали выше, проявил справедливость и вынес оправдательный приговор — за отсутствием состава преступления.

Редактора „Vita Internazionale“ и защитников приветствовало множество друзей, которые в зале и в коридорах суда дожидались справедливого приговора».

Если Толстой стремился поставить войну вне закона, то милитаристы ответили ему попыткой объявить его самого вне закона. В этом состоит исторический смысл суда в Милане.

О результате суда в Милане Монета сообщил Толстому в конце осени 1898 г.

Перевод с французского

Милан. 13 ноября 1898 г.

Граф!

Счастлив сообщить вам, что уголовный суд Милана, где разбиралось дело о напечатании в «Vita Internazionale» вашей статьи «Carthago delenda est», оправдал нашего ответственного редактора. Прокурор требовал для нашего бедного ответственного редактора пять месяцев ареста и сто пятьдесят франков штрафа. К счастью, суд принял точку зрения наших защитников.

Посылаю вам отчет о судебном заседании, напечатанный в миланской газете «Secolo».

Вы увидите, что прения превратились в триумф — ваш и «Vita Internazionale». Думаю, что все это будет вам очень интересно. Я счастлив за свою страну, не посрамившую себя перед цивилизованным миром осуждением идей Льва Толстого.

После того как мы выиграли сражение, прошу вас, не забывайте «Vita Internazionale» и пришлите ей в недалеком будущем одну из ваших прекрасных гуманных статей.

Мы в Италии очень мало занимаемся важными нравственными проблемами. И если вы поможете нам внедрить кое-какие из них в сознание итальянского народа, полагаю, что вы сделаете нам большое благо и будете содействовать воплощению своих высоких идеалов.

В ожидании скорых вестей от вас, заверяю вас еще раз в своем величайшем восхищении и глубокой преданности.

Эрнесто Теодор Монета, редактор
«Secolo» и «Vita Internazionale»

На конверте: Mr Comte Leone Tolstoï.
Yasnaja Poliana, gouv. d'Orel. Russia.

По решению суда запрет на журнал со статьей Толстого был отменен. и номер был раскуплен читателями.

Хотя статья «Carthago delenda est» написана через два года после окончания итало-абиссинской войны и в ней не упоминаются события этого военного конфликта, она была воспринята в связи с этими событиями. Недаром редактор журнала Тассони говорил в письме к Толстому о том, что «в Италии нет свободы печати» после «недавних волнений».

Суд в Милане, получивший огласку в печати, вопреки воле его устроителей, превратился, по словам Монета, «в апофеоз Толстого в Италии».

hanno torto quando rigettano da sè sugli altri la colpa dello stato d'inferiorità in cui si trova il paese nostro in fatto di moralità e di educazione politica.

Le cause sono molte e complesse, ma volendo, ora, per chiarezza e brevità di ragionamento, riassumerle in una sola, diremo ch'essa è nella mancanza di un alto senso morale nella massima parte dei nostri uomini parlamentari e di governo, nelle cui mani stanno le sorti del paese, la vita, la libertà e la sostanza dei cittadini.

Quando, come candidati alle elezioni fanno solennemente promesse che sanno non potranno mai mantenere; quando nella Camera danno il voto a progetti di leggi, da essi medesimi acerbamente censurati, per non disgustare il ministro da cui sperano favori; quando impongono al paese dazi protettori e tributi superiori alle sue forze economiche, per favorire l'interesse di alcuni industriali e proprietari; quando confessano che l'Italia non ha in Africa alcun interesse proprio da difendere e tuttavia mandano là i nostri soldati a farsi uccidere; quando uno di loro, fatto capo del governo, contro una folla di inermi, che un drappello di cavalleria avrebbe disperso, ordina di far fuoco seminando di cadaveri le vie di città pacifiche, e sospende di suo capriccio le leggi statutarie, e dopo avere gettato il lutto e la miseria in migliaia di famiglie, e popolate le carceri di uomini colpevoli soltanto delle opinioni che professano, trova Camera e Senato che approvano la sua politica liberticida e la continuano, - come si può sperare che un popolo così governato abbia fede nella giustizia, ed occupi un bel posto nella scala della moralità politica?

Come volete che gli uomini delle classi inferiori crescano con sentimenti di grande rispetto per la personalità umana, quando non la vedono rispettata negli atti del parlamento e del governo?

La libertà non può essere feconda senza base morale e l'esempio della moralità scende sempre dall'alto.

Ristaurare nelle classi politiche dirigenti il senso morale, trasfonderlo nella politica e negli atti pubblici d'ogni giorno, farne la principale base della pubblica educazione, dovrebbe essere lo studio e lo sforzo di quanti desiderano vedere il nostro paese incamminato seriamente sulla via del progresso, rimeritare la stima, il credito e le simpatie che raccolse dai popoli più civili nei primi anni del suo politico risorgimento.

Senza di ciò, sarà vana la speranza che l'anarchia rivoluzionaria non recluti più in Italia i suoi partigiani più pazzamente disposti a dar morte e morire.

E. T. Moneta.

Carthago delenda est

Pubblichiamo, come avemmo promesso, lo splendido articolo col quale Leone Tolstoi ha risposto alla nostra inchiesta sulla guerra e sul militarismo.

Lo pubblichiamo integralmente, sebbene l'illustre scrittore se la prenda molto ingiustamente con gli amici della pace e propagni di combattere la guerra con un metodo, secondo noi, paradossale ed anarchico: il rifiuto cioè individuale al servizio militare.

Le parole di un uomo come Leone Tolstoi, meritano sempre di essere ascoltate con somma deferenza, perchè sono il riflesso di una coscienza retta fino alla temerità, di una mente logica fino all'assurdo, di un cuore, un gran cuore di uomo e di pensatore, che solo s'inspira al bene.

Ciò però non ci impedisce di dire che l'ipnotismo belligero, a cui il Tolstoi allude e dal quale egli fa derivare ogni male, non è solo, per noi, una colpa dei governi, ma anche di tutti gli uomini, i quali con la loro incompleta evoluzione morale, l'ignoranza, la semi-barbarie, sono la prima ragione d'essere della guerra.

Lavorare quindi a sviluppare da un lato la coscienza delle masse ai sentimenti della pace e della giustizia e combattere dall'altro nei governanti i pregiudizi e gli interessi che cooperano a perpetuare la guerra, ci pare l'unico modo possibile di giungere, evolutivamente, alla diminuzione e quindi, forse, alla sparizione delle guerre.

La ribellione che consiglia il Tolstoi, condurrebbe ad una reazione peggiore d'ogni male presente, perchè appunto la coscienza universale, non essendo ancora abbastanza matura, finirebbe col perseguitare implacabilmente chi volesse farle compire dei progressi troppo radicali; e d'altra parte i pericoli di lotte cogli elementi poco civili all'interno e coi popoli semibarbari all'esterno non potranno dirsi cessati ancora per alcuni secoli, perchè si debba rinunciare assolutamente, *dall'oggi al domani, a ogni difesa con le armi.*

Del resto, perchè avvenga lo sciopero universale patrocinato dal Tolstoi, bisognerebbe che tutti gli uomini chiamati all'esercizio delle armi vi si rifiutassero per un sublime impulso della coscienza,

«CARTHAGO DELENDA EST». ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ. МИЛАНСКИЙ ЖУРНАЛ «LA VITA INTERNAZIONALE» ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 1898 г., № 18

Страница из последнего экземпляра, оставшегося после конфискации тиража журнала. Был послан редактором Толстому

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

5. КОНГРЕСС МИРА

Толстой знал войну. И не только по Севастополю, но и по событиям больших и малых войн современности, по историческим источникам об эпохе Наполеона и по семейным преданиям. Он обладал предчувствием новой «битвы народов» и уже слышал «перестрелку в цепи», которая была предвестием «большой войны». Толстой родился через семь лет после смерти Наполеона и умер за четыре года до начала первой мировой войны.

Размышляя над судьбами мира и войны в современном обществе, Толстой пришел к мысли о том, что человечество подошло к порогу новой цивилизации, которая требует уничтожения войны как пережитка варварской эпохи. «Огонь долго тлеет, но как скоро он вспыхнул, он сжигает все сгорающее очень скоро,— писал Толстой в статье „Приближение конца".— Так же и мысль долго просится наружу, не находя выражения; но стоит ей найти ясное выражение в слове, и ложь и зло уничтожаются очень скоро ⟨...⟩ Мысль о том, что человечество может жить без рабства, хотя и включена была в идею христианства, ясно была выражена, как мне кажется, только у писателей конца XVIII столетия. До этого же времени не только древние язычники — Платон и Аристотель, но люди, близкие к нам по времени и христиане, не могли себе представить человеческого общества без рабства. Томас Мур не мог себе представить и Утопию без рабства. Точно так же и люди нынешнего столетия не могут себе представить жизни человечества без войны. Только после наполеоновских войн была ясно выражена мысль о том, что человечество может жить без войны. И вот прошло сто лет с тех пор, как ясно была выражена мысль о том, что человечество может жить без рабства, и среди христиан уже нет рабства» (т. 31, стр. 84). Та же участь, по мысли Толстого, постигнет и войну: война не только не вечна, но уже наступает время поставить ее «вне закона».

На Толстого большое впечатление произвело письмо немецкого ветерана *И. Клейнпоппена*, который обратился к нему с просьбой: «Напишите хорошую книгу против войны под таким заглавием: „Война войне"». Толстой ответил ему, что «очень хотел бы» исполнить его желание — «написать хорошую книгу против войны» (т. 72, стр. 334). Письмо немецкого солдата он поместил в своей статье «Патриотизм и правительство» как важный документ эпохи.

В конце XIX в. внимание общественности стали привлекать международные конгрессы мира. Участниками конгрессов были многие видные писатели, ученые и философы.

Летом 1890 г. шла подготовка к Всеобщему конгрессу мира в Лондоне. Толстой получил приглашение принять участие в качестве вице-председателя.

Перевод с английского

Всеобщий конгресс мира 1890 г.
Лондон, 2 июня 1890 г.
47, New Road Street.

На Всеобщем конгрессе мира, состоявшемся в Париже в июне прошлого года, было решено, что подобный конгресс будет созван и в 1890 году. По единодушному мнению почти всех запрошенных обществ, он должен собраться в Лондоне. Был образован Комитет, состоящий из представителей Общества мира Великобритании и Ирландии. Ведутся необходимые приготовления для созыва конгресса, который состоится, предположительно, в Вестминстерской ратуше с 14 по 19 июля этого года.

На недавнем своем собрании Комитет единогласно решил пригласить вас в качестве одного из вице-председателей конгресса.

С большим удовольствием передаем вам это приглашение и надеемся, что вы будете добры принять его.

Прилагаем список выдающихся людей, уже давших согласие занять такой же пост.

Искренне ваши

Почетные секретари Комитета конгресса:

У. Эванс Дарби, секретарь Общества мира
Дж. Фред. Грин, секретарь

Графу Льву Толстому.

В 1891 г. Толстой получил письмо от австрийской писательницы Берты фон *Зутнер*. Тогда же он познакомился с ее романом «Die Waffen nieder!» («Долой оружие!»). Этот роман не обладал высокими художественными достоинствами, но его общественное значение Толстой считал несоизмеримым с литературным.

Перевод с французского

16 октября 1891 г.

Учитель!

Думаю, что г. Булгаков из «Нового времени» уже послал вам русский перевод моего романа «Долой оружие!» Если вы соблаговолите посмотреть предисловие, то найдете там объяснение причин, заставивших меня обратиться к вам с этим письмом.

Вам, вероятно, известно, что в Риме вскоре начинает свою работу Международный и Межпарламентский конгресс мира. В Вене формируется австрийская секция всемирной Лиги. Движение принимает благоприятные, обнадеживающие размеры.

Но велика инертность масс, велика недоверчивость скептиков, велико сопротивление сторонников войны.

И тем не менее, вопреки всему, народы движутся к Правде. Мы достигнем цели, а люди великие, добрые и могущественные могут помочь нам достичь ее быстрее.

Вы, учитель, один из тех, к чьему слову прислушивается вся Европа. Вот почему я, зачинательница движения мира в Вене, прошу вас прислать нам одну-две строки в подтверждение того, что вы одобряете цели Лиги и верите в осуществимость ее надежд.

Ваши драгоценные слова, которые я опубликую в наших газетах и прочту на собрании Лиги, привлекут к нашему святому делу неисчислимое множество сторонников. И это очень важно — именно число сторонников придает внушительность выступлениям в защиту принципа. Вы не откажете мне, учитель, не правда ли?

Примите уверения в глубочайшем восхищении.

Берта фон Зутнер

Замок Хармонусдорф. Эггенбург. Австрия.

«Я очень ценю ваше произведение,—отвечал Толстой Зутнер,— и мне приходит мысль, что опубликование вашего романа является счастливым предзнаменованием. Отмене невольничества предшествовала знаменитая книга женщины г-жи Бичер Стоу; дай бог, чтобы ваша книга предшествовала уничтожению войны» (т. 66, стр. 58).

В 1893 г. Толстой познакомился с журналом Зутнер «Die Waffen nieder!» и высоко оценил его направление: «Преинтересный и прекрасно ведомый журнал» (т. 84, стр. 202).

В 1898 г. к Толстому обратилась с письмом *Б. де Вашклевич ван Шильфгаарде*, вице-председательница Международной женской лиги за разоружение.

Перевод с французского

Голландия. Гаага. 9 октября 1898 г.
La Haye, Stationweg, 83.

Милостивый государь!

Среди поборников мира есть несколько человек, чьи имена блистают как звезды первой величины и известны всей Европе. Взоры всех, кто жаждет мира, устремлены на вас, великий апостол, и на Берту Зутнер.

Немногим больше года тому назад в Париже образовалась женская Лига борьбы за всемирное разоружение. Лига имеет многочисленные отделения, возглавляемые вице-председательницами.

Я взяла на себя попытку объединить всех женщин Голландии, ибо матери, сестры, невесты — все мы не хотим, чтоб у нас отнимали наших сыновей, братьев, мужей и делали из них убийц или убиенных.

Месяц назад я выступила с речью, призывая всех женщин присоединиться к нам. Речь моя в скором времени будет издана и распространена по всей Голландии, чтобы пробудить совесть людей, стряхнуть с них оцепенение.

Мне пришла в голову мысль: если б я могла поставить эпиграфом несколько неизвестных еще высказываний крупнейших борцов за мир, моя брошюра произвела бы гораздо больше впечатления, скорее проникла в души людей. Я прошу вас, милостивый государь: будьте добры, пришлите мне, если возможно, несколько слов о роли женщины в борьбе за великое дело мира, за дело любви.

В надежде, что моя просьба не останется без ответа, прошу вас принять выражение моего величайшего уважения и благодарности.

Б. де Вашклевич ван Шильфгаарде,
вице-председательница Международной
женской лиги за разоружение

На конверте: Его высокоблагородию
милостивому государю Лев Николаевичу Толстой.
Язная Полиана.
Via Тула. Monsieur Léon Tolstoï.
Yasnaya Poliana. Via Tula. Russie.

В 1900 г. в Париже на Всемирной выставке проходил Международный конгресс мира. Толстой получил приглашение принять участие в заседаниях конгресса. Приглашение было подписано известным общественным деятелем Франции Фредериком *Пасси* и секретарем конгресса, Гастоном *Моком*.

Письмо написано на бланке: «Всемирная выставка 1900 г. Дирекция выставки. Международные конгрессы».

Перевод с французского

Париж. 5 февраля 1900 г.

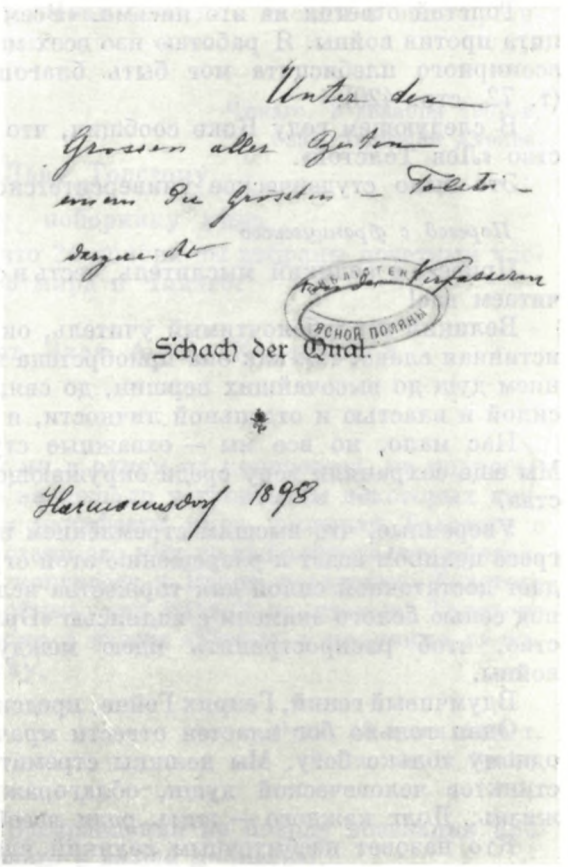
Графу Толстому

Милостивый государь!

Комитет по организации десятого Международного конгресса мира возложил на нас приятную миссию просить, чтоб вы соблаговолили войти в комитет, руководящий конгрессом.

Как вы, может быть, уже знаете, конгресс состоится в Париже, во Дворце конгрессов Всемирной выставки с 30 сентября по 5 октября 1900 г.

Так как эта мирная манифестация осуществится к концу выставки, она явится в какой-то мере венцом и завершением великого праздника



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БЕРТЫ ЗУТНЕР НА КНИГЕ «ШАХ МУЧЕНИЮ» (ДРЕЗДЕН—ЛЕЙПЦИГ, 1898)

«Величайшему из величайших всех времен — Толстому — преподносит автор. Гармониесдорф, 1898»

Личная библиотека Толстого

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Труда и Мира, на который Париж созвал весь свет. Следовательно, мы должны сделать ее как можно представительнее по количеству и значительности посланцев тех народов, которые примут в ней участие. По этой именно причине Организационный комитет решил привлечь в комитет лиц, особо заслуженных в деле Мира.

В надежде, что вы соблаговолите даровать нам поддержку своим именем, просим принять, милостивый государь, наши заверения в глубочайшем уважении.

Председатель Организационного комитета Фредерик П а с с и

Секретарь Г. М о к

P. S. Настоятельно просим вас ответить как можно скорее г. Гастону Моку, rue Favart, № 6 в Париже, с указанием, в каком виде и с какими титулами и званиями вы желаете видеть свое имя в списке членов Комитета.

В 1900 г. Толстой получил письмо от итальянского студента-юриста Жана Батиста *Коко* из Мессины (Сицилия).

«Я убежден,— писал Коко,— что вопрос всеобщего мира не может быть разрешен монархами Европы, а лишь при помощи всеобщего плебисцита, ибо „глас народа — глас божий“. Но прежде, чем распространять эту мысль, я хотел бы услышать ваше мудрое мнение ⟨...⟩

Если вы, по вашей доброте, согласитесь удовлетворить мое горячее желание, это доставит мне большую радость, если же нет, то я прошу вас простить меня, ибо мною руководит лишь великая любовь к человечеству».

Толстой ответил на это письмо. «Всем сердцем одобряю идею плебисцита против войны. Я работаю изо всех моих сил над тем, чтобы результат всемирного плебисцита мог быть благоприятен для всеобщего мира» (т. 72, стр. 420).

В следующем году Коко сообщил, что в Мессине организовано Общество «Лев Толстой».

Это было студенческое университетское общество.

Перевод с французского

Привет, о великий мыслитель, честь и слава России и Европы, мы почитаем вас!

Великий и глубокочтимый учитель, окружающее вас восхищение есть истинная слава, так как она приобретена не оружием и резней, а вознесением душ до высочайших вершин, до священной Идеи, которая является силой и властью и отдельной личности, и общества.

Нас мало, но все мы — отважные студенты Мессинского Атенеума. Мы еще сохранили веру среди окружающего обмана и скептицизма общества.

Уверенные, что высшим стремлением народов является Мир, что прогресс целиком ведет к разрешению этой огромной задачи, что школа обладает достаточной силой для торжества великого идеала,— мы сплотились под сенью белого знамени с надписью «Братство» и решили создать Общество, чтоб распространять идею международного плебисцита против войны.

Вдумчивый гений, Генрих Гейне, предсказал Европе тяжелые времена.

Один только бог властен отвести мрачное пророчество. Это доступно одному только богу. Мы должны стремиться к обузданию жестоких инстинктов человеческой души, облагораживая нравы, заставляя ценить жизнь. Долг каждого — жить ради всеобщего блага!

Кто назовет несбыточным великий идеал Мира, когда народы крикнут своим правителям: «Довольно! Довольно! Хватит крови, хватит убийств! Мы хотим Мира!»

XIX век закатился, и заря XX засверкала на горизонте народов.

Малочисленные, но решительные и отважные, мы хотим подготовить новому веку новые условия.

Если бы студенты всех университетов мира последовали нашему примеру! Как могуч был бы голос в защиту Мира!

Честь и слава вам, великий мыслитель, сумевший вдохновить на такие высокие идеи!

Теперь просим вас о милости. Можем ли мы надеяться на нее?

Мы горячо желаем, чтобы главная стена большого зала нашего нового общества была украшена вашим дорогим портретом, дабы он бодрил и вдохновлял нас во время борьбы и в минуты уныния.

Соблаговолите ли вы, граф, удовлетворить нашу просьбу и послать нам вашу бесценную фотографию с надписью?

Да хранит вас бог для человечества на долгие годы, Учитель!

Да благословит бог вашу славную жизнь и пусть он дарует вам возможность увидеть великий день, о котором мечтают гуманисты, когда народы объединятся в братском объятии и на тропе цивилизации будет реять чудесное знамя Мира.

Привет!

От имени Комитета: председатель Жан-Батист К о к о
секретарь Луи Р е д

Мессина. 27 апреля 1901 г.
Rue des Biancuzze, 25.

В 1902 г. Толстой был заочно избран почетным членом и вице-президентом Общества мира в Чикаго:

Перевод с английского

Чикаго. 2 декабря 1902 г.
6357, Ingleside Avenue.

Графу Льву Толстому

Толстому, поборнику мира

Приветствую вас и сообщаю, что 24 ноября вы избраны почетным членом и вице-президентом Общества мира в Чикаго.

С совершенным почтением
Секретарь-корреспондент Элла А. В. Хосуэлл

На конверте: Count Leo Tolstoi.
Toula. Russia.

Толстой не принимал участия ни в одном из конгрессов, не подписывал никаких документов. Но это не мешало устроителям некоторых конгрессов публиковать воззвания и манифесты мира, включая Толстого в число своих сторонников и даже ставя его имя на важнейших документах.

В 1904 г. *Ш. Куэ*, секретарь конгресса в Руане, поздравил Толстого с тем, что «воззвание против войны», как назвал он статью Толстого «Одумайтесь!», появилось 27 июня в газете «Times» и получило таким образом международную трибуну.

Перевод с французского

Руан, 18 июля 1904 г.
9 Rue de la Roche.

Дорогой гражданин!

Разрешите принести вам свои поздравления по поводу воззвания против войны, только что напечатанного с вашей подписью.

Необходимо, чтобы все, считающие войну самым большим преступлением, громко высказали это.

Нужно, чтобы сторонники мира поднялись против владычества капиталистов и военщины, для которых смысл существования — в войне.

Нужно и необходимо всем нам, без различия рас и вероисповеданий, выступить против беззакония, чтобы создалось единое международное сознание.

Вместе с поздравлениями, примите, дорогой гражданин, и братское мое приветствие.

Ш. Куэ,
секретарь XII Всемирного конгресса мира

На конверте: Monsieur le Comte Léon Tolstoï.
Yasnaia Poliana. Russie.

В 1908 г. Толстой был избран почетным членом Польского общества друзей мира.

Перевод с французского

Варшава. 11 сентября 1908 г.

Общее собрание Польского общества друзей мира, приняв во внимание большие заслуги графа Льва Толстого в деле всеобщего мира, единогласно решило избрать его почетным членом общества.

Председатель И. Поляк
Секретарь В. Р. Косторицкий
Члены комитета (*4 подписи*)

Толстой с большим вниманием следил за работой международных конгрессов мира. Он подробно изучил цели и итоги конгрессов в Лондоне («Царство божие внутри вас»), в Гааге («Письмо шведам»), в Стокгольме («Доклад для конгресса мира»).

Толстой высоко ценил идею международного мира, которую пропагандировали конгрессы. Но эти конгрессы были еще очень слабы и не пользовались поддержкой народов. Они и не обращались к народам. Поэтому Толстой не верил в их силу и сомневался в их пользе. Он считал, что пропаганду мира надо вынести на улицу, на площадь, в армию, в народ.

Для пацифистов характерна пассивная проповедь мира, вера в возможность установления вечного мира без устранения причин, порождающих войну. Толстой, которого тоже принято называть пацифистом, упрекал конгрессменов именно в том, что они ограничиваются «пассивной проповедью мира» и не стремятся уничтожить «причины войны». «Пока не будут устранены причины, никакие советы не будут действительны»,— говорил Толстой.

По существу, борьба за мир, по мысли Толстого, равнозначна борьбе за свободу. «Деспотизм производит войну,— говорил Толстой,— и война поддерживает деспотизм. Те, к〈оторые〉 хотят бороться с войной, должны бороться только с деспотизмом» (т. 55, стр. 45).

Толстой не был прямым участником ни одного из международных конгрессов мира, но, вчитываясь в его корреспонденцию, невольно приходишь к заключению, что существовал один конгресс мира, еще не отмеченный историками, огромный по своей аудитории, представительный по своему составу, долговечный по своим идеям,— это конгресс Льва Толстого.

Важно отметить, что статьи и письма Толстого о мире преследовались и запрещались наравне с революционными прокламациями.

В 1909 г. Толстой получил приглашение принять участие в Стокгольмском международном конгрессе в защиту мира. В телеграмме председателю конгресса Толстой писал: «Вопрос, который подлежит обсуждению конгресса, чрезвычайно важен и интересует меня в течение уже многих лет. Я постараюсь воспользоваться честью, которую мне оказали моим избранием, изложив то, что я имею сказать по данному вопросу перед столь исключительной аудиторией, как та, которая соберется на конгрессе» (т. 80, стр. 23).

Толстой приготовил доклад для конгресса мира и собирался ехать в Стокгольм. Его программа разоружения казалась «неудобной» с точки зрения пацифистов, потому что он обращался к народу. Устроители готовы были скорее отложить конгресс, чем допустить выступление Толстого. Они, как пишет П. И. Бирюков, «не решились вслух объявить его мнения»[1].

В докладе о мире Толстой писал, что народ обладает достаточной силой, чтобы уничтожить войну. «Победа наша так же несомненна, как несомненна победа света восходящего солнца над темнотою ночи» (т. 38, стр. 119—120).

«С каждым годом более и более учреждается обществ мира, чаще и чаще следуют один за другим конгрессы мира, на которых собираются лучшие люди Европы, обсудив стоящий поперек дороги всякого движения человечества к осуществлению своих целей вопрос вооружения и приготовления к войне, произносятся речи, пишутся книги, статьи, брошюры, со всех сторон разъясняющие и освещающие этот вопрос,— писал Толстой.— Нет уже теперь образованного и разумного человека, который бы не видел того ужасного, вопиющего зла, которое производят безумные приготовления к войне дружественно связанных между собой народов, не имеющих никаких причин для того, чтобы воевать друг с другом, и не думал бы о средствах уничтожения этого ужасного, безумного зла» (т. 39, стр. 216).



ZEBRANIE OGÓLNE
POLSKIEGO
Stowarzyszenia Przyjaciół Pokoju
w uznaniu wielkich zasług J. W. hrabiego Lwa Tołstoja dla sprawy pokoju powszechnego jednogłośnie obrało Go na członka honorowego Stowarzyszenia.
Warszawa 11 września 1908 r.
Prezes J. Polak
Sekretarz W. A. Katunek
POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ POKOJU
Członkowie Zarządu

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la SOCIÉTÉ
Polonaise des Amis de la Paix
ayant pris en considération les grands services rendus par M^r le comte Leo Tolstoy à la cause de la paix universelle, a décidé à l'unanimité Son élection comme membre honoraire de la Société.
Varsovie le 11 septembre 1908
Président J. Polak
Secrétaire général W. A. Katunek
Membres du Comité

ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА ПОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ МИРА, ПОСЛАННЫЙ ТОЛСТОМУ В СЕНТЯБРЕ 1908 г.
Архив Толстого, Москва

Некоторые из наиболее веских аргументов против войны, высказанных на европейских конгрессах мира, Толстой привел в своей книге «Царство божие внутри вас». «Современная Европа,— говорил Э. Ферри,— держит под ружьем активную армию в 9 миллионов человек, да еще 15 миллионов армии запасной, расходуя на это 4 миллиарда франков в год» (т. 28, стр. 98). «Мы разоряемся,— вторил ему Ф. Пасси,— для того, чтобы иметь возможность принимать участие в безумных бойнях будущего, или для того, чтобы платить проценты долгов, оставленных нам безумными и преступными бойнями прошедшего. Мы умираем с голоду для того, чтобы иметь возможность убивать» (т. 28, стр. 99).

К концу XIX в. бремя милитаризма стало тяжким и опасным. Разоружение приобретало значение важнейшей социальной задачи современности. Как известно, Ф. Энгельс говорил: «Я утверждаю, что разоружение, а тем самым и гарантия мира, возможно...» Этот свой вывод Энгельс обосновывал требованиями народных масс: «Во всех странах широкие слои населения, на которых почти исключительно лежит обязанность поставлять массу солдат и платить основную часть налогов, призывают к разоружению» [2].

В этом отношении особое значение имел призыв Толстого к миру: «Уничтожиться должен строй милитаризма и замениться разоружением и арбитрацией» (т. 68, стр. 64) [3].

Глас народа в творчестве Толстого звучал как голос революции. И не мешает вспомнить, что первая мировая война окончилась братанием солдат на фронте и первым декретом, принятым победившей социалистической революцией, был декрет о мире.

В 1908 г. Толстой получил письмо от двух шведов — сельского хозяина *В. А. Аксера* и почтового чиновника Эрика *Бломберга*, которые писали о своем «Открытии России».

Перевод с немецкого

Гётеборг. Швеция. 30 апреля 1908 г.

Графу Толстому

Мы оба, нижеподписавшиеся, хотим тоже присоединиться к многочисленным представителям различных стран и народов, которые почтительно выражают вам свою благодарность и глубокое уважение.

Слово «Россия» для нас, шведов, обычно означало темноту, грубость и варварство.

Это представление, вероятно, продолжает жить и по сей день в нашей стране, потому что кровавые события прошлого не так скоро изглаживаются из памяти. Ведь история, к сожалению, свидетельствует, что в прошлые времена при встрече шведы и русские вместо того, чтобы приветливо протягивать друг другу руку, сжимали кулаки.

Мы, шведы, были отчасти склонны говорить о вашем отечестве, граф, то же самое, что говорилось о презренном Назарете, где, однако, родился Иисус Христос: «Что может быть доброго из Назарета?»

Но теперь это мнение посрамлено.

Через Балтийское море и Ботнический залив, из великого русского государства прилетел к нам ныне голубь с вашей вестью о мире под крылом, и весть эта, принесенная голубем, родственна была песнопению ангелов в Вифлееме: «На земле мир и в человецех благоволение».

Поэтому так и мил всем этот вестник, и все, для кого войны и кровавые битвы — ужас и проклятие, с благодарностью принимают его весть.

Придут и пройдут века, родятся и умрут поколения, прежде чем мечи перекуют на орала, но, благодаря вашим книгам, граф, этот день придвинулся к нам ближе, чем когда-либо. Ибо, несмотря на гром пушек и грохот ружейной пальбы, весь мир вынужден внимать вашему предостерегающему и будящему голосу. В наше столь эгоистическое время вы словом и делом напоминаете о любви и милосердии. Вы уверенно показываете как на единственный путь к истинному счастью и для отдельного человека и для целого народа — на путь покорности богу и следования по его стезе.

Да будет светел и покоен вечер вашей жизни, и, когда смерть смежит ваши очи, для вас, мы в этом не сомневаемся, наступит заря нового, прекрасного дня.

Это пожелание, которое единодушно шлют вам все ваши ближние и дальние почитатели и друзья, хотим и мы — два скромных представителя шведского народа — высказать вам от всего сердца.

Почтовый чиновник
Эрик Бломберг
Сельский хозяин
В. А. Аксер

На конверте: Rekommenderas Herr Grafve Léo Tolstoj.
Yasnaja Poljana, Governementet Tula.
Moskwa (Russland).

«Мы узнали себя...», «Мы узнали вас...», «Мы узнали и полюбили Россию...» — эти три темы, как рефрен, проходят через всю переписку читателей с Толстым, свидетельствуя о великой «завладевающей» силе его искусства. Искреннее и глубокое по чувству «письмо шведов» тронуло Толстого, и он написал на конверте одно только слово: *Благодарить...*

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

[1] См. В. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1960, стр. 192.
[2] Христо Досев. Вблизи Ясной Поляны.— «Международный толстовский альманах». М., 1909, стр. 50.
[3] В. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни, стр. 349.
[4] «Les Misérables» («Отверженные») — роман В. Гюго.
[5] «Лит. наследство», т. 37-38, 1939, стр. 528.
[6] Ромен Роллан. Ответ Азии Толстому. Собр. соч., т. XIV. Л., 1933, стр. 328—329.

I

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

1. УИЛЬЯМ РОЛСТОН

[1] См. о Ролстоне в «Литературном архиве» под ред. М. П. Алексеева, вып. 6. М.—Л., 1961, стр. 25—27.
[2] William Shedden Ralston. Kriloff and his fables. London, 1868; Russian people as illustrative of slavonic mythology and russian social life. London, 1872.
[3] И. С. Тургенев. Собр. соч., т. 12. М., 1958, стр. 362.
[4] Там же, стр. 528.
[5] Библиографию первых английских изданий Толстого см. в книге «Л. Н. Толстой в переводах на иностранные языки». М., 1961.
[6] Речь идет о «Семейном счастье» Толстого, озаглавленном во многих иностранных изданиях и переводах «Katia». Самое раннее издание романа, отмеченное в библиографическом указателе «Л. Н. Толстой в переводах на иностранные языки», относится к 1884 г.
[7] И. С. Тургенев. Собр. соч., т. 12, стр. 529—530.
[8] «Nineteenth Century», 1879, № 4, p. 651.
[9] Адресат установлен при подготовке настоящей публикации Т. Н. Волковой.

2. АНДЖЕЛО ДЕ ГУБЕРНАТИС

[1] «Dizionario Biografico degli Scrittori Contemporanei. Ornato di oltre 300 Ritratti. Diretto de Angelo de Gubernatis». Firenze, 1879.
[2] Ibid., p. 996.
[3] Письмо Губернатиса 1899 г. (*AT*).

3. ПЕТЕР ЭМАНУЭЛЬ ГАНЗЕН

[1] П. Боборыкин. Столицы мира. Тридцать лет воспоминаний. М., 1911, стр. 193.
[2] И. А. Гончаров. Переписка с П. Э. Ганзеном. — «Литературный архив», т. 6. М. — Л., 1961, стр. 81.
[3] См. «Л. Н. Толстой в переводах на иностранные языки», цит. изд., стр. 230.
[4] «Литературный архив», вып. 6, М.— Л., 1961, стр. 89.
[5] Библиографию переводов Ганзена см. по именному указателю в кн. «Л. Н. Толстой в переводах на иностранные языки». М., 1961.
[6] П. Ганзен. Пять дней в Ясной Поляне. — «Исторический вестник», 1917, № 1, стр. 142.
[7] Eremita Victor. Enten — Eller. Et Tius Fragment udgivet af Victor Eremita. Kjøbenhavn, 1865. Книга сохранилась в яснополянской библиотеке. В журнале «Северный вестник» (1885, № 1) в переводе Ганзена был опубликован отрывок из книги Киркегора под названием «Эстетические и этические начала в развитии личности».
[8] Г. Ибсен. Полн. собр. соч., т. 4. СПб., 1909, стр. 371.
[9] Издательницей «Северного вестника» была Л. Я. Гуревич.
[10] «Афоризмы эстетика» — отрывок из философского трактата Киркегора «Enten—Eller» («Одно из двух»), опубликованный в переводе Ганзена в журнале «Вестник Европы» (1886, № 5).
[11] П. Ганзен. Пять дней в Ясной Поляне.— «Исторический вестник», 1917, № 1, стр. 155. Все отрывки из воспоминаний Ганзена о пребывании в Ясной Поляне приводятся по этому изданию, стр. 142—160.
[12] Рудольф *Шмит* (1836—1899) — датский писатель и критик, с 1869 по 1873 г. издавал журнал «For Ide og Virkelighed». Ему принадлежат критические статьи о Хольберге, Уитмене, Флобере и других писателях. Наибольшей известностью у современников пользовалась его драма «Den Forvandlede Konge» (1876), которая с успехом шла в Копенгагене, ставилась в Веймаре и Дрездене. Немецкий перевод этой пьесы и был передан Толстому.
[13] См. ответ Толстого о семейном воспитании — т. 65, стр. 78.

[14] Речь идет, по-видимому, о замысле трактата «Что такое искусство?».

[15] *«Гедда Габлер»* (1890) — пьеса Ибсена, была переведена на русский язык А. и П. Ганзенами.

[16] *«Единобрачие и многобрачие»* — трактат, написанный Бьёрнсоном в 1887 г. С докладами на эту тему Бьёрнсон выступал во многих городах Норвегии.

[17] По-видимому, с этими произведениями Киркегора Толстой познакомился во время пребывания Ганзена в Ясной Поляне.

[18] *В. В. Чуйко* (1839—1899) — журналист и литературный критик.

[19] Пьеса *Бьёрнстьерне Бьёрнсона* «Перчатка» была переведена на русский язык свояченицей Толстого — Т. А. Кузминской. Сохранился критический отзыв Толстого об этой пьесе в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого (запись от 10 апреля 1908 г.) — см. «Л. Н. Толстой о литературе». М., 1955, стр. 666—667.

[20] П. Ганзен. Бьёрнсон Бьёрнстьерне. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, т. 9. СПб., 1892, стр. 152.

[21] К. П. Арнольдсон (1844—1916) — известный шведский публицист и общественный деятель, один из основателей «Шведского союза борьбы за мир» (1883 г.). В 1900 г. в Норвегии была издана брошюра Арнольдсона под названием «Lov ikke Krig mellem folkene» («Закон, а не война между народами») с предисловием Бьёрнсона.

[22] Имеется в виду драма «Свыше наших сил».

[23] Г. Ибсен. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 503.

[24] Обе статьи сохранились в яснополянской библиотеке: Серен Киркегор. In vino veritas. Воспоминания. Перевод с датского П. Ганзена (рукопись). Серен Киркегор. Дон-Жуан в музыке и литературе (из сочинения «Одно из двух», изданного под псевдонимом Виктор Эремит в Копенгагене в 1843 г.), перевод с датского П. Ганзена.

[25] Статья Н. Н. Страхова «Толки о Толстом» была напечатана в журн. «Вопросы философии и психологии», 1891, № 5, кн. 9, сентябрь, стр. 98—132.

II

«УРОКИ ВАШИХ КНИГ»

1. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

[1] E. Halpérine-Kaminsky. Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis français. Paris, 1901, p. 132. См. статью Ф. Приймака в «Русской литературе», 1960, № 4.

[2] Ромен Роллан. Воспоминания и отрывки из дневника.— «Иностранная литература», 1959, № 10, стр. 24—25.

[3] Письмо от 1 апреля 1892 г. (*AT*).

[4] «Лит. наследство», т. 31-32, 1937, стр. 1008.

[5] В тексте письма: «Русский помещик», «Иван Ильич».

[6] О Мэтью *Арнольде* см. в Юбил. изд. по указателю.

[7] Цит. по книге Ф. Булгакова. «Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная». М., 1899, стр. 78.

[8] Анна *Сейрон* (ум. 1922), в начале 1880-х годов гувернантка в доме Толстого, автор известных своей недостоверностью воспоминаний «Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого». Цабель издал эту книгу Сейрон на немецком языке: «Graf Leo Tolstoi». Berlin, 1895. См. стр. 540—541 настоящ. тома. Портрет с дарственной надписью Толстого воспроизведен в кн. «L. N. Tolstoi» von Eugen Zabel. L.—B., 1901.

2. «ВОЙНА И МИР»

[1] Léon Tolstoï. La Guerre et la Paix. Roman historique. Trad. avec l'autorisation de l'auteur par une Russe ⟨I. Paskévitch⟩, vol. 1—3. Paris, 1879.

[2] «Русские пропилеи», т. III. М., 1916, стр. 260—261.

[3] И. С. Тургенев. Собр. соч., т. 12. М., 1958, стр. 541—542.

[4] De Forest J. W. Miss Ravenel's conversion from secession to loyalty. New York, 1867 («Обращение мисс Равенель от раскола к правоверию»). Роман сохранился в яснополянской библиотеке.

[5] В яснополянской библиотеке этой повести Форреста нет.

[6] О Львовых см. подробнее в Юбилейном издании, т. 47, стр. 414. Толстой был в самых дружеских отношениях с семьей Львовых и часто в 1857 г. посещал их дом в Париже. *Г. В. Львов* — либеральный деятель 1850-х годов — был женат на сестре декабриста В. Л. Давыдова. Толстой увлекался племянницей Львова, Александрой Владимировной, и даже думал о женитьбе на ней («Дневник», 1857 г., т. 47, стр. 123).

[7] Конверт письма Форреста не сохранился.

[8] См.: акад. С. Д. Сказкин. Некоторые новые данные об одном из персонажей «Войны и мира» Л. Н. Толстого.— «Вопросы истории», 1962, № 9, стр. 199—201.

[9] A. Thiers. Histoire du Consulat et de l'Empire. Vol. V. Paris, 1845.

[10] «Яснополянский сборник», Тула, 1960, стр. 141.

[11] Дж. Берти. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто М., 1959, стр. 226.

3. «АННА КАРЕНИНА»

[1] Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 г. СПб., 1878, стр. 187—188.
[2] Вольфганг Гёте. Собр. соч., т. X. М.— Л., 1937, стр. 524.
[3] Т. Манн. Собр. соч., т. 10. М., 1961, стр. 264.

4. «ВОСКРЕСЕНИЕ»

[1] Цит. по кн.: П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. III. М., 1923, стр. 324. См. также A. Maude. Tolstoy and his problems. New York, 1904.
[2] П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. III, стр. 318.
[3] А. П. Чехов. Полн. собр. соч., т. 12. М., 1958, стр. 396.

5. «ОДНА ИЗ ВАШИХ УЧЕНИЦ...»

[1] G. Deledda. La Giustizia. Turin, 1898.
[2] Цит. по изд.: G. Deledda. La Giustizia. Roma, 1929, p. 246.
[3] Ibid., p. 282.
[4] Грация Деледда. Рассказы. СПб., 1914, стр. 119, 124—126 и 133.

III

В ПОИСКАХ НОВОГО ТЕАТРА

1. АНДРЕ АНТУАН

[1] П. Боборыкин. Столицы мира. М., 1911, стр. 265.
[2] Андре Антуан. Дневник директора театра. М.— Л., 1939. Все цитаты даны по этому изданию, стр. 68—69, 71—72.
[3] Отрывки из воспоминаний Г. А. Русанова. См. кн.: Г. А. Русанов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Воронеж, 1937, стр. 162.
[4] Письмо Антуана впервые опубликовано в ст.: Н. Леонтьевский. Первые постановки за рубежом.— «Театральная жизнь», 1960, № 22, стр. 20.

2. ЭРМЕТЕ ЦАККОНИ

[1] «Enciclopedia dello spettacolo». Roma, 1962, vol. IX, p. 2067—2070.

3. ГОРДОН КРЕГ

[1] «Иностранная литература», 1956, № 10, стр. 216.
[2] Гордон Крег. Сценическое искусство. СПб., 1908, стр. 18.
[3] Гордон Крег. Искусство театра. СПб., 1912, стр. 64.
[4] К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве.— Собр. соч., т. I. М., 1954, стр. 337.
[5] Там же, стр. 347.
[6] Гордон Крег. Искусство театра, стр. 96.
[7] К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7. М., 1960, стр. 484.

4. «РАБОЧАЯ СЦЕНА»

[1] Письмо К. Вейберцана в отрывках опубликовано в ст.: Н. Леонтьевский. Первые постановки за рубежом.— «Театральная жизнь», 1960, № 22, стр. 20.

5. «ТЕАТР В ПОЛЯХ»

[1] Ромен Роллан. Народный театр. Собр. соч., т. 14. М., 1958.
[2] Maurice Pottecher. Le Théâtre du Peuple. Renaissance et Destinée du Théâtre populaire. Paris, 1899. Дарственная надпись: «Offert au c-te Léon Tolstoï en témoignage trop indigne de filial respect. M. Pottecher» («Подарено гр. Льву Толстому как совсем недостойное свидетельство сыновнего уважения. М. Потшер»). Книга сохранилась в яснополянской библиотеке. В ней разрезано только предисловие.
[3] Запрос о Ф. Р. Ламенне был послан Толстому П. Г. Луазоном (через П. И. Бирюкова). Ответ Толстого см.: т. 79, стр. 174.

IV

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

1. РЕФОРМА ОБУЧЕНИЯ

[1] Эрнест Кросби. Л. Н. Толстой как школьный учитель. М., 1906, стр. 15 и 31.
[2] Там же, стр. 4.
[3] Опубликована в июльском номере журнала «Ясная Поляна» за 1862 г. (см. т. 8 Юбилейного издания).

[4] Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828—1890. М., 1958, стр. 273.
[5] Angel Bueno. Escrituras Libres por Niños de 8 á 10 Años. Lecturas cortas. Primera serie. Madrid, 1891, с дарственной надписью на обороте титульного листа.
[6] Эрнест Кросби. Л. Н. Толстой как школьный учитель, стр. 4.

2. РУССКИЙ ЯЗЫК

[1] П. Ганзен. Пять дней в Ясной Поляне.— «Исторический вестник», 1917, № 1, стр. 141.
[2] См. Charles Salomon. L'Abécédaire de Tolstoï et Arvède Barine. Paris, 1925.
[3] Установить, какие статьи имеет в виду Каннер, не удалось.

3. ПОЛЬ БУАЙЕ

[1] П. Буайе. Три дня в Ясной Поляне.— «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1960, стр. 155. Все цитаты из воспоминаний Буайе даны по этому изданию.
[2] Под названием «Письмо к NN» в Женеве было опубликовано письмо Толстого к Энгельгардту — «Lettre à NN par le comte L. Tolstoï» (см. т. 63, стр. 112—124).
[3] «Cahiers Romain Rolland, X. Choix de Lettres de Romain Rolland à Sofia Bertolini Guerriere-Gonzaga. 1901—1908». Paris, 1959, p. 49.
[4] P. Boyeret N. Spéranskу. Manuel pour l'étude de la langue russe. Textes accentués, commentaire grammatique, remarques diverses en appendice, lexique. Les textes commentés en ce manuel sont du comte Léon Tolstoï. Paris, 1905.
[5] Paul Boyer. Chez Tolstoï. Entretiens à Yasnaia Poliana avec une introduction par André Mazon, p. 12—13.
[6] «Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник». Напечатано в книге Буайе (p. 44) со следующим комментарием: «Ce récit a bien toutes les apparences d'une histoire vraie. Tolstoï l'a entendu de la bouche même d'une de ses tantes, sœur de son père» («Этот рассказ, судя по всему, является былью. Толстой слышал его сам от одной из своих теток, сестры отца»).
[7] С. Т. Семенов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. СПб., 1912, стр. 112—113.
[8] Там же, стр. 110—111.
[9] Там же, стр. 113.

4. ЭРНЕСТ КРОСБИ

[1] Эрнест Кросби. Толстой и его жизнепонимание. М., 1911, стр. 21.
[2] Ernest Crosby. Count Tolstoy's philosophy of life.— «Arena», Boston, 1896.
[3] Ernest Crosby. Two days with count Tolstoy.— «Progressive Review». London, 1897.
[4] *А. Амон* — издатель французского социалистического журнала, в котором печатались статьи Толстого «Религия и нравственность» и «Carthago delenda est».
[5] В письме к Э. Мооду от 27 января 1900 г. Толстой писал: «На всякое чиханье не наздравствуешься. Я, например, получаю в последнее время письма из Америки, в которых одни упрекают меня, а другие одобряют меня за то, что я отрекся от своих убеждений» (т. 72, стр. 291).
[6] Джордж Девис *Херон* (1862—1925) — американский общественный деятель, один из лидеров движения «Социальный крестовый поход». К его идеям Толстой относился критически (см. т. 72, стр. 272).
[7] Джон *Кенворти* — английский проповедник и писатель, автор книги «The Anatomy of Misery» («Анатомия нищеты»). London, 1898; занимался изданием сочинений Толстого в Америке.
[8] Речь идет о книге П. А. Кропоткина «Russian Literature» («Русская литература»). 1905.
[9] Статья Толстого «Одумайтесь!» (см. т. 36, стр. 143).
[10] «Tolstoy on Shakespeare». I. Shakespeare and the drama. By Leo Tolstoy. II. Shakespeare and the working classes. By Ernest Crosby. London, 1907.
[11] Цит. по кн.: А. И. Шифман. Лев Толстой и Восток. М., 1960, стр. 359—360.
[12] Эрнест Кросби. Л. Н. Толстой как школьный учитель. М., 1906, стр. 58—60.
[13] См. примеч. 5.
[14] См. письмо Толстого к Баллу в т. 65, стр. 113—114.
[15] М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 14. М., 1952, стр. 295.

V

ВСТРЕЧИ

1. ИЗАБЕЛЛА ХЭПГУД

[1] «Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 годах», вып. II. СПб., 1911, стр. 13. Все цитируемые отрывки приводятся по этому изданию, стр. 13—17.

[2] См. «Л. Н. Толстой в переводах на иностранные языки». М., 1961, стр. 3. Там же библиография других переводов Хэпгуд (см. по именному указателю).

[3] О Хэпгуд см. в письме В. В. Стасова к М. А. Балакиреву. — «В. В. Стасов. Письма к деятелям русской культуры», т. I. М., 1962, стр. 150—151.

[4] I. Hapgood. The Epic Songs of Russia. With an introductory note by prof. Francis J. Child. New York, 1886. Книга сохранилась в яснополянской библиотеке. Дарственная надпись: «Count L. N. Tolstoi, with the respects and compliments of the author. Boston. August 24th, 1886» («Графу Л. Н. Толстому с уважением и приветом от автора. Бостон. 24 августа 1886 г.»).

[5] Имеются в виду обработки русских былин, включенные Толстым в «Азбуку» (см. тт. 21 и 22). См. также статью Э. Е. Зайденшнур. Работа Толстого над русскими былинами. — «Русский фольклор. Материалы и исследования», т. V. Л., 1960.

[6] I. F. Hapgood. Tolstoy at Home.— «Atlantic Monthly». Boston, 1891, v. 68, p. 596—620.

[7] «Исторический вестник», 1892, № 1, стр. 279.

[8] И. И. Янжул доставил Хэпгуд костюмы тульских крестьянок в подарок от дочерей Толстого и С. А. Толстой.

[9] Уильям Ллойд Гаррисон (1805—1879) — американский общественный деятель. Толстой знал о сыновьях Гаррисона и переписывался с ними (т. 63, стр. 343—344).

[10] См. об этом в главе «Джордж Кеннан».

[11] Льюис *Уилсон* — унитарианский пастор, приславший Толстому в 1889 г. книгу Балу «Христианское непротивление».

[12] Установить место публикации этой статьи Хэпгуд не удалось.

2. ДЖОРДЖ КЕННАН

[1] «Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 годах» вып. II. СПб., 1911, стр. 17.

[2] «Неделя», 1887, № 28, стр. 890.

[3] «Воспоминания И. И. Янжула», стр. 19.

[4] Э. Линн *Линтон* (1822—1898)— известная английская писательница. В очерках по женскому вопросу иронически освещала проблему эмансипации.

[5] Не представляется возможным точно установить, о какой именно книге здесь идет речь. В 1886 г. братья Гаррисоны прислали Толстому двухтомную биографию своего отца, У. Л. Гаррисона, и его краткую биографию, написанную О. Джонсоном (см.: т. 63, стр. 345).

[6] Д. С. *Сипягин* (1853—1902) — в то время министр внутренних дел.

3. ИОНАС СТАДЛИНГ

[1] А. П. Чехов. Полн. собр. соч., т. II. М., 1955, стр. 536.

[2] «Лев Толстой на голоде». Нижний-Новгород, 1912, стр. 166.

[3] Вера Величкина. В голодный год с Львом Толстым. М.—Л., 1928, стр. 20.

[4] «Лев Толстой на голоде», стр. 175.

[5] Письмо Е. В. Кирхнер осталось без ответа.

[6] Имеется в виду «Отчет об употреблении пожертвований денег с 12 апреля по 20 июля 1892 г.», опубликованный в № 301 «Русских ведомостей» от 31 октября 1892 г.

[7] О какой статье идет речь, установить не удалось.

4. ДЖЕМС КРИЛМЕН

[1] Статья Констанции и Эдуарда Гарнет о «Воскресении» была напечатана в «North American Review», 1901, v. 172, p. 504—519.

[2] Э. Моод. Разговоры с Толстым. — «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I. М., 1960, стр. 437.

[3] James Creelman. The Avatar of Count Tolstoy and Turgenijev. Tolstoy and his People. — «On the great highway». Boston, 1901.

[4] Цит. по кн.: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 126.

[5] Отрывки из интервью Крилмена даются в переводе на русский язык по тексту газетной вырезки, присланной Толстому Р. Суинберном Клаймером (перевод Э. Г. Бабаева).

[6] К письму Барнса приложена брошюра: Col. Daniel H a l l. «Protest of a Veteran on the Civil War against Expansion» («Протест ветерана гражданской войны против экспансии»).

[7] Письмо Крилмена от 6 сентября 1903 г. (*AT*).

VI

В СПОРЕ С АВТОРОМ

1. ОБ ИСКУССТВЕ

[1] См. стр. 74 настоящ. тома.

[2] «To the pure all things are pure».

[3] И. И. Л е в и т а н. Письма. Документы. Воспоминания. М., 1956, стр. 83.

[4] В яснополянской библиотеке сохранилось несколько номеров этого журнала.

[5] В 1909 г. Толстой писал румынскому студенту Брынзе, изъявившему желание перевести одно из его сочинений на родной язык: «Желал бы знать, какие сочинения вы намерены переводить. Советовал бы из следующих: „Воскресение", „Круг чтения", „О жизни"» (т. 80, стр. 301).

2. ПОЛЬ ГИАЦИНТ ЛУАЗОН

[1] В яснополянской библиотеке есть три издания книги Луазона: P. H. L o y s o n. L'Evangile du Sang. Episode dramatique tiré des présentes guerres anglo-saxonnes. Paris, 1900 (П. Г. Л у а з о н. Кровавое Евангелие. Драматический эпизод из современных англо-саксонских войн. Париж, 1900). На шмуцтитуле дарственная надпись: «A Tolstoï, le grand apôtre pratique de la Paix et le seul fidèle interprète du Christ sur cette question, l'auteur qui l'admire et le vénère. Lausanne. Mars, 1900» («Великому действенному апостолу Мира и единственному верному истолкователю Христа по этому вопросу — от автора, который им восхищается и уважает его. Лозанна. Март 1900»); L o y s o n P. H. L'Evangile du Sang. Deuxième édition modifiée. Genève 1900. (Не разрезана.) На обложке надпись: «A Tolstoï convalescent un de ses disciples» («Выздоравливающему Толстому один из его учеников»); L o y s o n P. H. L'Evangile du Sang. Episode dramatique en un acte. Troisième édition refondue. Paris. Edition de la Revue d'Art dramatique. На шмуцтитуле надпись: «A Tolstoï, apôtre de la paix, son humble disciple Paul Hyacinthe L o y s o n. 18 sept. 1902, Versoix (Genève). Suisse» («Апостолу Мира Толстому — его скромный ученик Поль Гиацинт Л у а з о н. 18 сент. 1902. Версуа (Женева). Швейцария»).

[2] P. H. L o y s o n. «L'Investiture de Tolstoï». Отдельный оттиск этой статьи сохранился в яснополянской библиотеке. Изложение статьи Луазона дается по переводу *Н. Д. Эфрос*.

[3] В «Ответе на определение Синода» Толстой писал: «Мне хорошо известно, что людей, разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространение моих писаний о религии, благодаря цензуре, так ничтожно, что большинство людей, прочитавших постановление Синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною написано о религии, как это видно из получаемых мною писем» (т. 34, стр. 246).

[4] «Les Rayons de l'Aube». Paris, 1902.

[5] Сообщено Н. Н. Г у с е в ы м.

3. ПРОТИВ НЕПРОТИВЛЕНИЯ

[1] Имеется в виду книга Толстого «Царство божие внутри вас» (т. 28).

[2] Речь идет о книге Толстого «Рабство нашего времени» (т. 34).

[3] Ср. Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Антропологический принцип в философии. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1950, стр. 276 и 286.

[4] «Ответ на определение Синода» (т. 34, стр. 251).

VII

«К РАБОЧЕМУ НАРОДУ»

1. ГЕНРИ ДЖОРДЖ

[1] А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 255.

[2] Там же, стр. 163.

[3] В. Ф. Л а з у р с к и й. Дневник. — «Лит. наследство», т. 37-38, 1939, стр. 450.

[4] А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р. Вблизи Толстого, стр. 164.

[5] П. И. Б и р ю к о в. Биография Льва Николаевича Толстого, т. III, стр. 317.

[6] А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р. Вблизи Толстого, стр. 203.

[7] Цит. по кн.: П. И. Б и р ю к о в. Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV, стр. 188.

[8] Там же, стр. 189.

2. АЛЛЕН КЛАРК

[1] Автобиография Кларка была написана по просьбе редакторов 75-го тома Юбилейного издания Г. А. Волкова и Т. Н. Волковой, но в том не вошла. Настоящий текст сообщен Т. Н. Волковой (из ее личного архива).

[2] A. M a u d e. Tolstoy and his Problems. New York, 1904, p. 200.

[3] А. К л а р к. Фабричная жизнь в Англии. М., 1904, стр. 11—12.

[4] Там же.

3. «ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК РАБОЧИХ»

[1] Имеется в виду «декларация» Николая II по поводу Гаагской конференции. Об отношении Толстого к этой «декларации» см. в кн. 2-й настоящ. тома (в воспоминаниях Ж. А. Бурдона).

[2] Эмиль Виинблад был крупным деятелем датской социал-демократии. Состоял членом I Интернационала, которому посвятил стихотворение (1873), начинающееся словами: «На борьбу! Поднимайтесь, рабочего класса сыны». Впоследствии Виинблад пошел по пути соглашательства и реформизма и стал членом датского парламента.

[3] Сэмуэль Г о м п е р с (1850—1924) — правый лидер американского рабочего движения, создатель Американской федерации труда, проводившей политику «сотрудничества труда и капитала».

4. «ОСНОВЫ РЕВОЛЮЦИИ НЕСОМНЕННО ВЕРНЫ»

[1] Письмо Абэ Исо и ответ Толстого, а также и статья «Влияние Толстого в Японии» были опубликованы в журнале В. Г. Черткова «Свободное слово» в 1904 г. (№ 16, стр. 3).

[2] Н. Н. Г у с е в. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928, стр. 127.

[3] П. И. Б и р ю к о в. Биография Льва Николаевича Толстого, т. III, стр. 221.

[4] В. Г. К о р о л е н к о. Разговор с Толстым. — «Голос минувшего», 1922, № 2, стр. 11.

[5] Л. Л е о н о в. Слово о Толстом. — «Лит. наследство», т. 69, ч. 1, 1960, стр. 13.

VIII
ТРИ ВОЙНЫ

1. НА ФИЛИППИНСКИХ ОСТРОВАХ

[1] В примечаниях к 31-му тому Юбилейного издания ошибочно указано, что письмо Гладвин не сохранилось. Нами приводится полный текст этого письма.

[2] См. адресованное Леверсону письмо Герцена от 3 марта/19 февраля 1858 г. в кн.: А. И. Г е р ц е н. Собр. соч. в тридцати томах, т. XXVI. М., 1962, стр. 162—163.

[3] Dr L e v e r s o n. Anti-Imperialistic Conference. Philadelphia. February 22—23, 1900. Speech.— Экземпляр этой речи есть в яснополянской библиотеке.

[4] H. W e l s h. The Other Man's Country. An appeal to conscience. Philadelphia, 1900. Книга сохранилась в яснополянской библитеке.

[5] Theodore R o o s e v e l t. Tolstoy. — «The Outlook», 1909, vol. 92, p. 103—105.

[6] В. К р у г л я к. Рузвельт о Толстом. — «Русское слово», 1909, 19 мая.

[7] Д. П. М а к о в и ц к и й. Яснополянские записки. Запись от 3 мая 1905 г. (*АТ*).

2. В ТРАНСВААЛЕ

[1] П. И. Б и р ю к о в. Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV. М., 1923, стр. 4.

[2] Там же.

[3] G. V o l k o n s k y. Pour les Boers. Contre l'Impérialisme. Préface du comte Léon Tolstoy. Genève, 1900.

[4] А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 60.

[5] «Лит. наследство», т. 37-38, 1939, стр. 339.

3. НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

[1] См. отрывок из этого письма в кн. 2-й настоящ. тома.

[2] П. И. Б и р ю к о в. Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV, стр. 93.

[3] См. кн. 2-ю настоящ. тома.

[4] Н. Н. Г у с е в. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910. М., 1959, стр. 487.

[5] D. M e j í a. Fiestas Universales de la Paz. Socorro a las Victimas de la Guerra. A la Prensa de la Capital de la República. México, 1904. Брошюра сохранилась в яснополянской библиотеке.

[6] Отрывок из письма Мехиа опубликован в статье В. Н. К у т е й щ и к о в о й «Творчество Л. Н. Толстого и общественно-литературная жизнь Латинской Америки конца XIX — начала XX в.» — «Из истории литературных связей XIX в.». М., 1962, стр. 233—234.

[7] П. И. Б и р ю к о в. Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV, стр. 96.

IX
В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ ВЕКА

1. «ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ ИМЕТЬ КОЛОНИИ?»

[1] Цит. по кн.: А. И. Шифман. Лев Толстой и Восток. М., 1960, стр. 352.
[2] «Яснополянский сборник». Тула, 1962, стр. 68.
[3] Толстой цитирует Герцена неточно. Последние два слова у Герцена: «освобождения человека» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. IV. М., 1955, стр. 119).

2. «РАБСТВО НЕГРОВ»

[1] Waterman, Judge, A. N. A. Century of Caste. Chicago, 1901.
[2] Уильям МакКинли (1843—1901) — президент США с 1897 по 1901 г.; один из ревностных проводников империалистической политики.
[3] В яснополянской библиотеке сохранились следующие книги Б. Вашингтона: «The Successful Training of the Negro». New York, 1903 («Успешное обучение негров»); «Twenty five Years of Tuskegee. The Building up of the Negro as shown by the Growth and Work of this School managed wholly by Negroes». New York, 1906 («Двадцать пять лет Таскиги. Рост и работа школы, которую ведут сами негры, как показатель развития их сознания»); «Up from Slavery. An Autobiography». New York, 1907 («От рабства к свободе. Автобиография»). На форзаце этой книги дарственная надпись: «To count Leo Tolstoy with high regards of Booker T. Washington, Tuskegee. Alabama, USA» («Графу Льву Толстому с глубоким уважением. Букер Т. Вашингтон. Таскиги. Алабама. США»); «„Working with the Hands". Being a sequel to „Up from Slavery", covering the Author's Experiences in industrial Training at Tuskegee». New York, 1904 («„Ручной труд". Продолжение книги «От рабства к свободе», содержащее описание опытов автора по производственному обучению в Таскиги»). На форзаце дарственная надпись: «To Count Leo Tolstoy with best wishes of Booker T. Washington. Tuskegee. Alabama». Oct. 19, 1908, USA» («Графу Льву Толстому с наилучшими пожеланиями от Букера Т. Вашингтона. Таскиги. Алабама. 19 окт. 1908 г. США»).
[4] В Юбилейном издании Лиззи Уокер названа Лиззи Уокер Пресс. Последнее слово читается как «президент», т. е. председатель, и к обозначению имени собственного отношения не имеет.
[5] «What would Tolstoy say?» by John H. Stotsenburg. — «Alexander's Magazine», 1908, p. 64—66.

3. АННЕКСИЯ

[1] В Юбилейном издании имя «сербской женщины» дается в двух транскрипциях; одна из них ошибочная — Анна Петробутеева (т. 37, стр. 439), другая — более правильная — Анджа Мита Петрович (т. 78, стр. 369). В подлиннике письмо подписано: Анджа М. Петровичева.
[2] М. Стеванович. Лев Толстой о аннексии.— «Недельни преглед», 1908, № 36 и 37.
[3] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки (Рукопись, *АТ*). Запись от 23 февраля 1909 г., стр. 4317—4318.
[4] Там же, стр. 4324.
[5] М. С. Сухотин. Толстой в последнее десятилетие своей жизни (по записям в дневнике М. С. Сухотина).— «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 208.
[6] Впервые воспроизводимый в настоящей публикации портрет Анджи Петровичевой разыскан в белградском Народном музее С. А. Макашиным при содействии Веры Стоич.

4. СУД В МИЛАНЕ

[1] «Лев Толстой об итало-абиссинской войне». — «Известия», 4 октября 1935 г.
[2] Впоследствии Монета выступал за участие Италии в первой мировой войне, отказавшись от своей прежней позиции в вопросах мира.
[3] Статья из газеты «Secolo» дается по вырезке, присланной Толстому редактором Монетой (перевод М. И. Перпер).

5. КОНГРЕСС МИРА

[1] П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV, стр. 191.
[2] Ф. Энгельс. Может ли Европа разоружиться? — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр. 387.
[3] См. сообщение М. Чистяковой «Толстой и европейские конгрессы мира».— «Лит. наследство», т 37-38, М., 1939, стр. 599—616.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМА ИНОСТРАНЦЕВ К ТОЛСТОМУ

Обзор Т. Н. Волковой

В Архиве Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве хранится около *девяти тысяч* писем из-за рубежа на русском и иностранных языках. Это основной фонд иностранной почты Толстого. Общее число зарубежных корреспондентов Толстого — около шести тысяч человек.

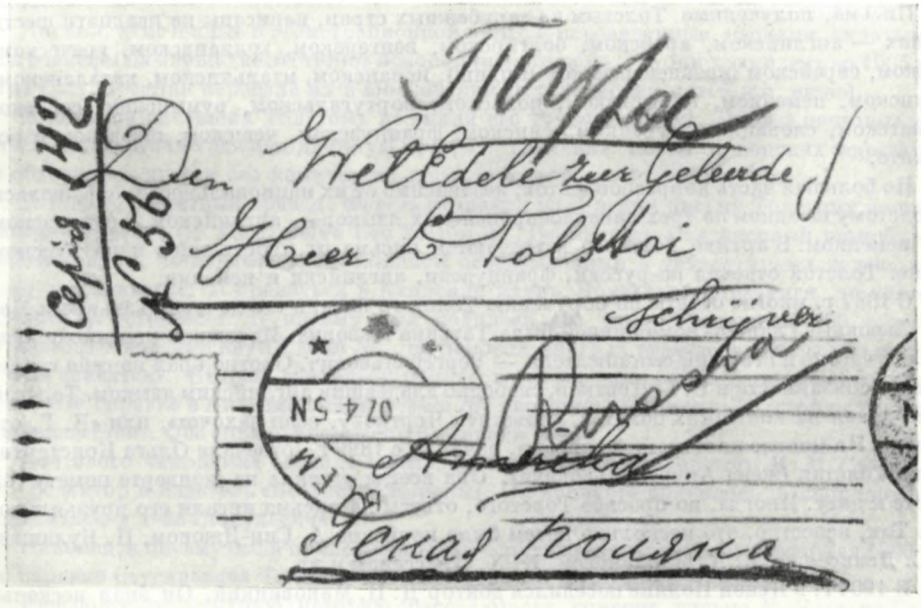
Краткие сведения об истории этого фонда, его составе и библиографии опубликованных материалов мы попытаемся представить читателям в настоящем обзоре.

* * *

В августе 1857 г. Толстым было получено первое письмо из-за границы, сохранившееся в его архиве,— от французского банкира и экономиста *Э. Пего-Ожье*, с которым Толстой познакомился случайно в вагоне поезда, на пути из Штутгарта в Баден-Баден, во время своего первого путешествия по Европе. Из Парижа в Ясную Поляну письмо это шло более двух недель.

Из второго путешествия за границу (1860—1861) Толстой привез несколько писем иностранных педагогов, с которыми он встречался в Англии, Франции и Германии. Между прочим среди них сохранилась доверенность известного писателя *Б. Ауэрбаха*, выданная Толстому в день его отъезда из Берлина для переговоров с редакцией журнала «Современник».

После 1861 г. наступает длительный перерыв в переписке Толстого с зарубежными корреспондентами.



АДРЕС НА ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ ИНОСТРАННОЙ ПОЧТЫ ТОЛСТОГО
«Глубокоуважаемому Учителю, господину Л. Толстому, писателю. Америка»
Исправления («Россия. Тула. Ясная Поляна») сделаны на почте
Конверт письма голландского корреспондента Толстого В. Нэля, 1907
Архив Толстого, Москва

В начале 1870-х годов, стремясь подыскать подходящих гувернеров своим детям, Толстой вступил в переписку с женевским педагогом *М. Перро*, с владельцем конторы по приисканию учителей в Женеве — *А. Демóном* и с гувернерами *Э. Клерком*, *М. Колиньоном* и *Ж. Ре*. Однако переписка эта, начавшаяся в ноябре 1874 г., через полгода прекратилась.

В 1878 г. Толстой получил письмо от английского литератора *У. Ш. Ролстона* и отвечал ему (см. выше). Но систематическая переписка его с зарубежными корреспондентами завязалась значительно позднее, во второй половине 1880-х годов, когда за границей стали появляться новые переводы произведений Толстого. Свидетельством растущего признания были не только статьи в иностранных журналах и газетах, но и письма от его рядовых читателей и почитателей. Крупные общественные и политические события в России (помощь голодающим крестьянам в 1891—1892 гг., русско-японская война 1904 г., революция 1905 г. и др.) вызвали мощный приток писем. Это свидетельствует о том, что Толстой — художник и мыслитель был неотделим от исторических судеб России.

Весть об уходе Толстого из Ясной Поляны в ноябре 1910 г. распространилась с огромной быстротой и в России, и за рубежом. Вскоре стало известно, что Толстой остановился в Астапове. Поток писем и телеграмм в эти дни шел на имя Толстого из всех стран мира.

На другой день после смерти Толстого, 21/8 ноября 1910 г., не зная еще о случившемся, англичанин *Ф. Деггeн* направил из Лондона в Астапово письмо, в котором писал: «И в Англии, и во всем мире миллионы сердец сочувственно бьются заодно с вашим. Россия может гордиться вами...»

Русский почтовый чиновник зачеркнул адрес на письме: «Астапово» и написал: «Ясная Поляна».

* * *

Письма, полученные Толстым из зарубежных стран, написаны на двадцати шести языках — английском, арабском, болгарском, венгерском, голландском, греческом, датском, еврейском (древнееврейском и идиш), испанском, итальянском, каталанском, латинском, немецком, норвежском, польском, португальском, румынском, сербско-хорватском, словацком, турецком, финском, французском, чешском, шведском и эсперанто.

Но большая часть корреспондентов, независимо от их национальности, обращалась к Толстому на одном из трех западноевропейских языков — английском, французском или немецком. В архиве Толстого встречаются письма от иностранцев и на русском языке. Толстой отвечал по-русски, французски, английски и немецки.

С 1887 г. многие ответы по поручению Толстого писали его дочери, Татьяна и Мария Львовны. Главной помощницей была Татьяна Львовна. Изредка в переписке принимал участие и старший сын писателя — Сергей Львович. Охотно брал на себя секретарские обязанности и В. Г. Чертков, свободно владевший английским языком. Толстой часто делал на конвертах пометы: «Ответить Черткову, если захочет», или «В. Г. ответить». На многие иностранные письма, начиная с 1899 г., отвечала Ольга Константиновна Толстая (жена Андрея Львовича). Она всегда ставила на конверте помету об ответе и дату. Иногда, по просьбе Толстого, ответы на письма писали его друзья и гости. Так, известно, что несколько писем было написано А. Син-Джоном, П. Буланже, Е. С. Денисенко, М. А. Маклаковой, К. Х. Классеном и др.

В 1904 г. в Ясной Поляне поселился доктор Д. П. Маковицкий. Он знал несколько иностранных, в том числе и славянских языков. Толстой часто пользовался его помощью и неоднократно писал на конвертах: «Душану» и «Душану отв⟨етить⟩». В этих случаях Маковицкий ставил свою помету на конверте: «Отв. Д. П. М.» и дату.

В Юбилейном издании, начиная с 64 тома (1887—1889) и кончая 82 томом (1910), при публикации переписки Толстого была введена специальная рубрика: «Список пи-

сем, написанных по поручению Л. Н. Толстого». Всего в этом издании значится около 520 писем иностранцев, на которые были посланы ответы по поручению Толстого. Однако эти списки далеко не полны.

* * *

Письма, адресованные Толстому,— русские и иностранные — бережно сохранялись в Ясной Поляне и, насколько можно судить, дошли до нас лишь с незначительными потерями. На ранних письмах, относящихся к 1860-м годам, рукой С. А. Толстой проставлены красными чернилами порядковые номера. Однако дальше первых попыток систематизации дело в ту пору не пошло.

Лишь во второй половине 1899 г. в Ясной Поляне была установлена систематическая запись получаемых писем. Первая запись датирована 27 сентября.

В архиве Толстого хранится пять переплетенных книг большого формата, в которые русская и иностранная почта вносилась вперемежку по трем следующим рубрикам: 1) имя корреспондента, 2) место отправления, 3) краткое содержание письма. Здесь же делалась помета об ответе и ставилась дата. Сто писем составляли серию. На конверте каждого письма проставлялся порядковый номер и серия. Таким образом, письма получали свой яснополянский шифр.

Записи в книгах делались не ежедневно. Дата получения часто обозначалась условно, иногда только месяцем. Регистрационные книги являются надежным источником для определения даты того или иного письма в тех случаях, когда она не проставлена самим корреспондентом, а почтового штемпеля на конверте нет. Отметим, что почти с половины конвертов иностранных писем кем-то были срезаны марки.

По записям в этих книгах можно судить о том, как постепенно увеличивалось количество получаемых Толстым писем. Например, в октябре 1899 г. Толстой получил 132 письма, а в марте 1910 г.— 326 писем (русских и иностранных). Эти цифры относятся к «спокойным» периодам жизни Толстого. Вполне понятно, что такие события, как, например, отлучение Толстого от церкви и его восьмидесятилетний юбилей вызывали поток писем, намного превышавший количество получаемой повседневно корреспонденции.

Письма, отмеченные в регистрационной книге и перевязанные пачками, складывались в шкафы на площадке лестницы яснополянского дома, где они хранились до 1905 г., когда С. А. Толстая передала их в Московский Исторический музей (см. ниже).

Многие из писавших Толстому не знали его точного адреса. Иногда почтовые пометы на конвертах отражают длинную историю скитания писем в поисках адресата. Не обходилось дело и без комических недоразумений.

В 1890 г. известный врач *А. Форель* отправил из Швеции письмо Толстому по следующему адресу: «H. Herr grefve Leo Tolstoi. St. Petersburg». Озадаченный петербургский чиновник, по-видимому, не слишком осведомленный в литературных делах, написал на конверте: «Справиться в Академии наук». Почтальон справился, но адреса Толстого не установил. К письму был подклеен его рапорт: «Справка 106 округа 9 отдела. В Академии наук в доме №... по домовой книге г. граф Лев Толстой не состоял и не значится». Второй почтальон принес в тот же день столь же неутешительные вести: «По справке в Академии наук в доме №... по домовой книге г. Толстой не значится и неизвестен». Обе справки помечены 6 февраля 1890 г.

Почтового чиновника осенила мысль: не знает ли адрес Толстого М. М. Стасюлевич, редактор и издатель «Вестника Европы». На конверте появилось распоряжение: «Справиться у г-на Стасулевича».

Наконец, к письму была приложена третья справка, датированная 7 февраля 1890 г. «По справке Стусилевича Толстой — Ясная Поляна Тульской губернии».

Еще более любопытную историю рассказывает конверт письма *В. Нэля* из Голландии, который почему-то вообразил, что Толстой живет в Америке, и написал адрес: «Hier L. Tolstoi. Schruyver. Amerika». Письмо пришло в Соединенные Штаты. Почтовый чиновник зачеркнул последнее слово и написал: «Russia». Письмо вновь пересекло океан и прибыло в Россию. На конверте есть надпись: «Получено в Варшаве 19 декабря 1907 г. в мешке из Нью-Йорка в Америке» и проставлен адрес: «Ясная Поляна».

Иногда адрес обозначался условно. *Т. Зейлер* из Цюриха написал на конверте «Herrn Schriftsteller Graf Leo Tolstoi. Petersburg oder auf seinem Landgut in Russland oder wo er sonst ist» («Г-ну писателю графу Льву Толстому в Петербург или в его имение в России или туда, где он находится»).

Э. Беннет прибавил к адресу просьбу, обращенную к тем, в чьи руки попадет его письмо: «Count Leo N. Tolstoi. Yasnaia Polyana. Moscow. Russia. Europe. Will the Moscow Post Master foreward this to count Tolstoi?» («Графу Льву Толстому. Ясная Поляна. Москва. Россия. Европа. Не перешлет ли московский почтмейстер это письмо графу Толстому?»).

Х. С. Хоуард писала Толстому из Голландии: «Мне абсолютно неизвестен ваш теперешний адрес. Но, без сомнения, письмо дойдет, если я напишу: „Графу Л. Толстому — автору „Анны Карениной" и „Войны и мира", Россия"». Она так и поступила. И письмо, разумеется, было доставлено Толстому.

Постоянное железнодорожное сообщение между Москвой и Тулой открылось в ноябре 1867 г. В трех километрах от Ясной Поляны находилась станция Козлова Засека. Сюда направлялась почти вся почта на имя Толстого. Почтовое отделение станции Ясенки находилось в семи километрах от Ясной Поляны. Сюда прибывали и отсюда отправлялись заказные письма, а также бандероли.

В 1880—1890-х годах почту из Козловой Засеки и Ясенок доставлял кто-нибудь из домашних. Иногда на станцию ездил верхом или на велосипеде и сам Толстой. В последние десять лет жизни Толстого за письмами ездил почтарь Филя. Его большая кожаная сумка ныне хранится в музее-усадьбе Ясная Поляна.

* * *

Большинство зарубежных писем, адресованных Толстому, написано от руки. Примерно десятая часть из них (главным образом, присланные американцами) напечатана на машинке. Некоторые короткие обращения к Толстому написаны на визитных карточках. Вместе с письмами Толстой получал различного рода приложения — конверты с марками и надписанным адресом для ответа, открытки, фотографии, вырезки из газет и журналов, рукописи и, наконец, книги.

Приложения большого формата и значительные по объему (прежде всего книги и рукописи) были еще при жизни Толстого отделены от писем и хранились в другом месте. Особенно часто Толстой получал книги. На многих из них есть дарственные надписи. Яснополянская библиотека пополнялась в значительной мере за счет такого рода «приложений» к письмам. «Библиотека Ясной Поляны,— писал Д. П. Маковицкий,— составляется целым миром» *. Книги и журналы, полученные Толстым от его корреспондентов, хранятся в библиотеке музея-усадьбы Ясная Поляна; статьи, трактаты и прочие рукописные приложения к письмам — в Архиве Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.

В 1912—1916 гг. В. Ф. Булгаковым было составлено описание русских и иностранных книг и журналов яснополянской библиотеки. Описание русских книг уже частично вышло в свет. Что же касается каталога иностранных изданий, то он еще не издан. Рукописные экземпляры этого описания хранятся в Архиве Толстого в Москве и в Яснополянском музее. В них воспроизведены все дарственные надписи на книгах, а также оговорены пометы Толстого. Не лишена интереса особая рубрика, которая позволяет судить о степени интереса Толстого к тому или иному произведению: «разрезано», «не разрезано», «разрезано не вполне».

Описание библиотеки Толстого, сделанное Булгаковым, является тем более важным источником при изучении и комментировании переписки Толстого с иностранными корреспондентами, что некоторые книги, описанные им, не сохранились в яснополянской библиотеке.

---

* «Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне», I. М., 1958, стр. 6.



ДОМ В. Г. ЧЕРТКОВА В ТАКТОНЕ БЛИЗ КРАЙСТЧЁРЧА (АНГЛИЯ).
ЗДЕСЬ ХРАНИЛСЯ АРХИВ ТОЛСТОГО

Фотография 1900-х годов
Музей Толстого, Москва



ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ ХРАНИЛСЯ АРХИВ ТОЛСТОГО В ДОМЕ В. Г. ЧЕРТКОВА

Тактон близ Крайстчёрча (Англия)
За столом сотрудник Черткова Э. Я. Перна
Фотография 1900-х годов
Музей Толстого, Москва

* * *

Толстой получал ежедневно так много писем, что не имел возможности ответить всем к нему обращавшимся.

Просматривая почту, Толстой обычно делал карандашом пометы на конвертах. Иногда это были краткие конспекты ответа — большей частью условные сокращения, понятные секретарям и помощникам. Толстой либо характеризовал содержание письма: «Пр⟨осительное⟩», «Авт⟨ограф⟩», либо давал указание, кому отвечать на письмо: «Тане», «Душану».

18 августа 1908 г. члены румынского клуба для чтения обратились к Толстому с просьбой прислать им какое-нибудь из его произведений. На конверте появилась надпись Толстого: «Душану отвечать, что я отдал все мои сочинения и переводы в общее пользование и не имею их».

На некоторых письмах встречаются вопросы Толстого, обращенные к секретарям и помощникам. Так, 1 сентября 1908 г. англичанин *Д. П. Куинтон* сообщал Толстому о том, что он посылает в Ясную Поляну свою драму. Толстой написал на конверте: «Б⟨ез⟩ о⟨твета⟩. Есть ли книга, которую посылает?»

Не следует думать, что Толстой делал пометы на всех письмах. На многих конвертах нет никаких надписей. Наиболее часто встречаются пометы «Б. О.» — «без ответа». Ее можно увидеть почти на половине всех писем последних лет жизни Толстого.

«Усевшись за разборку корреспонденции Льва Николаевича,— пишет секретарь Толстого В. Ф. Булгаков,— я полюбопытствовал, между прочим, какие письма он оставляет без ответа. Оказалось, что в большинстве случаев — все написанные высокопарно, патетически, с необыкновенными излияниями, одним словом, внушающие подозрение в искренности их авторов» (В. Б у л г а к о в. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1960, стр. 88).

Хотя В. Ф. Булгаков вел только русскую корреспонденцию Толстого, его наблюдение относится и к определенной категории писем иностранной почты. Но, конечно, это объяснение не охватывает всех случаев, когда появлялась на конверте пометка «Б. О.».

* * *

В 1905 г. С. А. Толстая передала на хранение в Исторический музей русские и иностранные письма, адресованные Толстому, и в последующие годы, вероятно, пополняла эту коллекцию некоторыми новыми материалами. В. Г. Чертков хранил свое собрание рукописей в Англии. Между С. А. Толстой и Чертковым возникло судебное дело за право распоряжаться рукописным наследием Толстого.

Во время разбирательства этого дела Исторический музей, по-видимому, наложил «вето» на бумаги Толстого. С. А. Толстая выразила недоверие администрации музея и, добившись признания своих прав, в 1915 г. передала рукописи в Румянцевский музей (ныне Государственная Библиотека СССР им. В. И. Ленина).

В 1926 г. В. Г. Чертков передал все свое собрание Архиву Государственного музея Толстого (в том числе и две с половиной тысячи писем иностранцев).

Разбор двух огромных фондов иностранной почты Толстого в собраниях Всесоюзной публичной библиотеки им. В. И. Ленина и в Архиве Музея Л. Н. Толстого начался в 1920-х годах, в связи с подготовкой Юбилейного издания. Е. В. Козловой, Е. Н. Рунич и Л. И. Сперанской был составлен аннотированный каталог иностранных писем. В «Записках отдела рукописей» Всесоюзной библиотеки В. И. Ленина появился краткий обзор (всего в две страницы) Е. Н. Рунич: «Корреспонденты Толстого».

27 августа 1939 г. было принято постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О Государственном музее Л. Н. Толстого» и о концентрации в нем всех бумаг писателя. 15—27 декабря того же года все толстовские материалы были переданы из Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина в Государственный музей Л. Н. Толстого.

Впервые публиковать адресованные ему письма начал сам Толстой, включивший некоторые из них целиком или в отрывках в свои публицистические работы (см., например, статьи «Приближение конца» (т. 31), «Об общественном движении в России»

(т. 36), «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» (т. 37), «Патриотизм и правительство» (т. 90) и др.).

Некоторые статьи Толстого представляли собой развернутый ответ на адресованные ему письма: «Письмо к индусу» (т. 37), «Письмо к китайцу» (т. 36), «Ответ польской женщине» (т. 38) и др. В этих случаях переводы писем делались самим Толстым.

В 1920-х годах, работая над четвертым томом «Биографии Льва Николаевича Толстого», П. И. Бирюков включил в свою книгу девять писем к Толстому зарубежных корреспондентов. Большая часть этих писем была опубликована в периодической печати еще при жизни Толстого.



КОНВЕРТ ОДНОГО ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПИСЕМ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ИМЯ ТОЛСТОГО
Письмо англичанина Фреда Деггена, 21/8 ноября 1910 г., Лондон
Архив Толстого, Москва

В 1925 г. Бирюков выпустил в Берлине книгу «Tolstoi und der Orient» («Толстой и Восток»), в которой опубликовал на немецком языке двадцать два письма к Толстому от *М. Ганди*, *Дас Шарма*, *Изо Абэ* и других выдающихся деятелей Востока. Однако представление об иностранной почте Толстого продолжало оставаться неполным, несмотря на довольно многочисленные, но разрозненные публикации.

Новый этап научного освоения всего рукописного наследия Толстого связан с Юбилейным изданием полного собрания сочинений, в котором были опубликованы все известные в то время письма Толстого. Письма иностранных корреспондентов печатались в комментариях иногда целиком, чаще в отрывках или в изложении.

Работа над полным собранием сочинений Толстого продолжалась тридцать лет (1928—1958). За это время появились некоторые выборочные публикации иностранных писем и в других изданиях. Л. П. Гроссман в 1928 г. в книге «Собеседник Толстого» опубликовал пять писем *Р. Роллана*. В 1937 г. в «Лит. наследстве» появилась статья М. М. Чистяковой «Лев Толстой и Франция», в которой приведено полностью и в выдержках сорок писем французских корреспондентов Толстого.

В «Сборнике Толстовского музея» (1937) Г. А. Волков опубликовал письма *Д. Т. Синклера* и *Э. У. Эллиса*. Н. Н. Гусев в том же сборнике поместил письмо *Л. Сарракана*.

В 1939 г. А. П. Сергеенко в «Лит. наследстве» опубликовал переписку Толстого с *М. Ганди* и *Т. Эдисоном*. Там же Э. Е. Зайденшнур напечатала переписку *Р. М. Рильке* с Толстым.

Т. Л. Мотылева включила в свою книгу «О мировом значении Толстого» (М., 1957) отрывки из писем *Р. Роллана* и *Дж. Б. Шоу*. В книге «Творчество Ромена Роллана» ею также приведены отрывки из двух писем Роллана к Толстому.

Большая публикация писем, полученных Толстым из стран Востока, была сделана А. И. Шифманом в его книге «Лев Толстой и Восток» (М., 1960). Здесь опубликовано шестьдесят два письма.

В статье В. Н. Кутейщиковой «Творчество Л. Н. Толстого и общественно-литературная жизнь Латинской Америки конца XIX — начала XX века» приведено в отрывках двадцать одно письмо из Аргентины, Венесуэлы, Гватемалы, Мексики, Перу, Уругвая и Чили (см. сб. «Из истории литературных связей XIX века». М., 1962, стр. 227—247).

Новые публикации появились в последние годы за рубежом. В пражском журнале «Československa Rusistika» С. Калафа напечатал тринадцать писем чешских корреспондентов Толстого («Československa Rusistika», 1960, № 4, стр. 226—238). В Варшаве Б. Бялокозовичем опубликованы польские письма из почты Толстого в обзоре «Польские корреспонденты Л. Толстого» в сборнике «Lew Tolstoj». Warszawa, 1961, стр. 12—40.

Для работ, появившихся в последние годы, характерно соединение публикаторских задач с исследовательскими. Переписка Толстого с его зарубежными современниками имеет для нашего времени не только историческое, но и актуальное значение.

СООБЩЕНИЯ

ИЗ БЕСЕД ТОЛСТОГО С ПОЛЕМ ДЕРУЛЕДОМ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАПИСИ Е. Ф. ЮНГЕ

Сообщение Л. Р. Ланского

Французский реакционный политический деятель, создатель и почетный президент шовинистической «Лиги патриотов», автор нашумевших в свое время воинственных «Песен солдата», Поль *Деруледе* (1846—1914) был одним из главных вдохновителей и пропагандистов франко-русского союза, направленного против Германии. Летом 1886 г. он приехал в Россию для переговоров с виднейшими представителями правящих кругов, стараясь убедить их в необходимости политической и военной коалиции.

Имя Толстого начинало в это время пользоваться широкой известностью во Франции и других зарубежных странах, и Деруледе заехал в Ясную Поляну, чтобы заручиться поддержкой влиятельного писателя.

Воинственные доводы автора «Песен солдата», разумеется, не встретили сочувствия в Толстом. Миссия агитатора завершилась полным фиаско, хотя он не мог пожаловаться на оказанный ему прием.

«Никто в этом доме не сходится со мною во взглядах, однако мне здесь нравится, очень нравится»,— говорил он С. А. Толстой [1].

17 июля 1886 г. Толстой писал В. Г. Черткову:

«Вчера у меня провел день французский писатель Déroulède и очень меня заинтересовал. Представьте себе, что это человек, посвятивший свою жизнь возбуждению французов к войне, revanche против немцев. Он глава воинственной Лиги и только бредит о войне. И я его полюбил. И мне он кажется близким по душе человеком, к〈оторый〉 не виноват в том, что он жил и живет среди людей-язычников» (т. 85, стр. 376).

С. А. Толстая в тот же день сообщала своей дочери Тане:

«Вчера после обеда я надела халат и перетащилась насилу в гостиную; хотелось мне очень француза посмотреть и поговорить о моем переводе. Француз оказался очень мил, умен, образован и начитан. Мне жаль, что я мало с ним виделась...» (*АТ*)

По-видимому, Деруледе не имел сколько-нибудь верного представления о взглядах своего собеседника, в частности о его отношении к войне. Художественное же творчество автора «Анны Карениной» он ценил высоко и предрекал, что Толстой будет оказывать сильное влияние на французскую литературу.

Визит французского гостя надолго остался в памяти обитателей Ясной Поляны [2].

Уезжая, Деруледе оставил Толстому свою драму «La Moabite» («Моавитянка», 1882) с дарственной надписью: «Мыслителю, Философу, Романисту, Великому Русскому Писателю Льву Толстому с глубоким и почтительным восхищением. Поль Деруледе. Тула. Июль

1886 г.»*. Книга эта осталась в яснополянской библиотеке почти неразрезанной.

В статье «Христианство и патриотизм», написанной семь лет спустя, в 1893 г., Толстой рассказал о посещении Деруледа, пытавшегося убедить его в жизненной важности реакционного франко-русского союза — «для восстановления прежних границ Франции и ее могущества и славы» и для «обеспечения» России «от зловредных замыслов Германии» (т. 39, стр. 49).

В окончательном тексте статьи «Христианство и патриотизм», в которой описывается визит Деруледа, мы его фамилии не найдем. Толстой вычеркнул ее в черновой рукописи, заменив словами «один известный французский агитатор» и «наш гость». Статья вскоре появилась в Париже на французском языке. Дерулед не мог не узнать себя в самодовольной фигуре «сияющего свежестью, элегантностью, хорошо упитанного француза», живого олицетворения процветающего буржуа. Мало лестный для его самолюбия эпизод он решил предать полному забвению и, насколько нам известно, нигде не упомянул о своем визите в Ясную Поляну. Между тем беседа Толстого с Деруледом не ограничивалась одними политическими темами. Значительное место в них занимали чисто литературные вопросы. Об этом свидетельствуют обнаруженные нами в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея (Москва) записи художницы и мемуаристки Е. Ф. Юнге, троюродной сестры Толстого, дочери бывшего вице-президента Академии художеств Ф. П. Толстого, приехавшей в Ясную Поляну вместе с Деруледом и пытавшейся зафиксировать ход их беседы. Записи ее датированы 16 июля 1886 г., т. е. днем посещения Деруледом Ясной Поляны. Приводим высказывания Толстого (и частично Деруледа) в той последовательности, в какой они находятся на четырех вырванных из тетради страницах:

* * *

«Бог — закон природы; разум — совесть».

* * *

«Понятие об родине, государстве, собственности есть метафизика,— а то, что я говорю,— это математика».

* * *

«Борьба за существование есть не закон природы, а тот материал, над кот⟨орым⟩ должна работать цивилизация. Чем больше цивилизации, тем менее проявляется борьба за существование, истинная цивилизация должна уничтожить ее».

* * *

«Эльзас и Лотарингия теперь именно ваши своею любовью к вам, своим духовным сопротивлением немцам; не все ли равно, какое над ними насилие, какая власть»**.

* * *

«Самоотвержение, желание жертвы так сильно в человеке, что он создал себе теории, чтоб только жертвовать собой идее».

---

* Приводим эту надпись в подлиннике: «Au Penseur, an Philosophe, au Romancier, au Grand Ecrivain Russe Léon Tolstoï hommage d'une profonde et respectueuse admiration. Paul D é r o u l è d e. Toula. Juillet 1886».

** «Взгляды Толстого эгоистичны, — отмечает здесь же Юнге, — чтоб своя совесть была спокойна, чтобы самому можно было жить — рассказ об ребенке, кот⟨орого⟩ кто-нибудь бьет; не имеем права помочь ему насилием же». — *Л. Л.*

Ce numéro est accompagné d'un supplément théâtral.

L'ILLUSTRATION

Prix du numéro : 1 franc

SAMEDI 15 FÉVRIER 1902

69e Année — N° 3677



LE COMTE LÉON TOLSTOÏ

ТОЛСТОЙ

Гравюра французского художника Анри Тириа по фотографии 1892 г.
«Illustration» от 15 февраля 1902 г.

* * *

«Когда один человек слушает и ничего не понимает, а другой говорит и сам уже не понимает, что̀ он говорит,— это метафизика».

* * *

«Немцы победили так же, как потеряли от войны: они стали самодовольны, нахальны»*.

* * *

«Впечатление войны в России: все преклонялись перед немцами, немецкой литературой, наукой, философией — после войны это как рукой сняло, разом как отрезало».

* * *

Рассказ Л. Н. о песне «Как 8 сентября нас нелегкая несла»:

«Этой песне я много обязан: если бы не она, моя вся жизнь пошла бы иначе. Меня хотели послать адъютантом к государю, но между тем вышло как-то наружу, что это я написал, ну и неловко было назначить».

Об бомбе, найденной впоследствии в Севастополе, калибер кот⟨орой⟩ только был у него одного в маленькой батарее, кот⟨орой⟩ он командовал.

* * *

Когда он поступил в университет и пошел к портному заказывать мундир, то офицер у портного разговорился с ним и спросил, на какую службу он пойдет, военную или статскую, то он отвечал: «Разве порядочный человек может поступить иначе как в военную?»

* * *

«Прямое логическое рассуждение: если я употреблю насилие, то может случиться, что и со мною его употребят».

Не может человек жить, когда он видит, что другие умирают с голоду; как же сделать, чтобы можно было жить, этот вопрос должен иметь и имеет ответ. Л. Н. получает столько просьб о помощи, что если б он удовлетворял их, то ему нужно было бы три тысячи рублей в день, и со всем состоянием Ротшильдов ничего не поделаешь. Чтобы успокоить свою совесть и быть в состоянии жить, надо поставить себя в условия жизни массы, т. е. зарабатывать свой хлеб, как она.

* * *

«La langue française se perd!»** Octave *Feuillet* хорошо пишет, «La Morte» — хорошо; но есть еще дань современному реализму. *Cherbuliez* не нравится Толстому, аффектация. Увлекался Стендалем.

* * *

«Иерархия писателей одной группы: *Тургенев* — папа, *Mérimée* — диакон. *About* — хороший; французы сами не знают, что в них лучшее — французская веселость, легкость: остроумие, esprit français***. *Alex. Dumas*, *Verne*».

* * *

«*Dumas-fils* очень хорош, он определенен, ясен, замечательно доводит свою мысль до конца, логичен, il pousse son idée jusqu'au bout****.

* Имеется в виду (здесь и ниже) франко-прусская война 1870—1871 гг.— *Л. Л.*

** «Французский язык портится!» (франц.).

*** французское остроумие (франц.).

**** он доводит свою мысль до логического завершения (франц.).

Zola есть талант, но груб, и видно, что совершенно необразованный человек. *Bossuet* слишком теолог, слишком устарел. *Montesquieu*, *Pascal*...* превосходный, чудный язык».

* * *

Дерулед об *Zola*: «Судит о своих произведениях по числу изданий, был очень удивлен, когда вещи *Ohnet* имели до двухсот изданий».

* * *

Мнение Д⟨еруледа⟩, что Толстой будет очень влиять на фр⟨анцузскую⟩ литературу, что лет через пять мы это увидим.

* * *

Т⟨олстой⟩: «*Daudet* подражает английским романам. Надо *свое* внести, чтобы быть великим художником». Случай с Ренаном. Дерулед говорит об его последнем произведении, восторгаясь им. Ренан в рассеянности отвечает: «O, superbe, tout ce qu'il y a de plus beau!»** Сам говорит, что никогда не слушает, что ему говорят.

* * *

«Т⟨олстой⟩ Ренана и Тэна ставит в одну категорию несимпатичных ему писателей, ко всему равнодушных: немцы выдумали это глупое выражение «объективность», и эти писатели из кожи лезут, чтоб быть объективными».

На этих же листках Юнге сделала следующие заметки:

«В Т⟨олстом⟩ что-то добродушное, приветливое, веселое, ласковое доброе, напомнило мне отца,— такая же ласковая улыбка» и «Толстой вообще сделал на меня более добродушное и спокойное впечатление, чем прошлый раз» (*ГИМ*, ф. 344, ед. хр. 50, лл. 23—26 об.).

Четверть века спустя, уже после смерти Толстого, Е. Ф. Юнге писала его вдове (1 октября 1911 г.):

«Дерулед был у Льва Николаевича, по моим точным соображениям, в 1886 году. Пусть только Бирюков не повторяет глупостей, которые писались в газетах по этому поводу, будто Лев Николаевич сердился, хлопал дверями и пр. Я все время была с ними, и ничего подобного не было; они спорили горячо, но дружественно, и часто прения прерывались шутками, например:

Л. Н. Я не понимаю, как люди могли дойти до мысли, что земля может быть чьей-нибудь собственностью.

Д е р у л е д. Ну, знаете, эта теория растяжима. Таким образом можно сказать, что и мой сюртук — не моя собственность.

Л. Н. Конечно, и не только сюртук, но ваши руки, ваша голова — не ваша собственность.

Д е р у л е д. Ah, mais non! Ah, mais non!*** Я не хочу оставаться без головы, я буду защищаться.

Л. Н. (*смеясь*). Ну, если это вам неприятно, я скажу, что *мои* руки, *моя* голова мне не принадлежат...

Д е р у л е д. Вот если б мне да вашу голову! Хоть на один месяц бы!

Л. Н. хохочет.

Перед отъездом, в отсутствие Деруледа, Лев Николаевич сказал мне:

---

* Пропуск одного слова в рукописи. — *Л. Л.*

** «О, великолепно, что может быть прекрасней!» (франц.).

*** Ну нет уж! нет! (франц.).

— Ведь я вполне этого человека понимаю: я сам когда-то точно так же думал. Но теперь я выше этого.

А когда мы выехали, Деруледсказал мне:

— Ведь я вполне этого человека понимаю, я благоговею перед ним, но сам я не могу отрешиться от того, что было крепче моей жизни. *Я не могу подняться на его высоту*» (*АТ*).

Таков этот малоизвестный и не лишенный интереса эпизод из биографии Толстого [3].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. об этом в кн. 2-й настоящ. тома (воспоминания Т. Бензон).

[2] О посещении Деруледом Толстого упоминает в своих воспоминаниях и сын писателя — Лев Львович (Л. Л. Толстой. Правда о моем отце. Л., 1924, стр. 82—85).

Анна Сейрон, воспитательница детей Толстого, впоследствии вспоминала о пребывании Деруледа в Ясной Поляне (ошибочно указав, что он провел там три дня):

«Никто не мог угадать, что это за человек высокого роста, в сером, доверху застегнутом сюртуке, с военной осанкой, которого привезла с собою в Ясную Поляну одна из родственниц графа.

Дерулед! Звук этого имени был чужим для нас, так как газеты читались редко〈...〉 Благодаря своей ловкости в разговоре и свободе обращения, он скорее других освоился с новой обстановкой. Но война, реванш, собирание подписей за и против того или другого, все это были предметы, не представлявшие ни малейшего интереса в глазах графа. С другой стороны, одного движения в углах губ графа и одного взгляда его стальных глаз было довольно, чтоб побудить Деруледа придать совершенно иной характер цели своего посещения, а именно в смысле желания, разумеется, „познакомиться с литературным светилом России".

Эта почва сделала возможным для Деруледа пребывание в Ясной Поляне в течение трех дней. И этого, без сомнения, было довольно ему, чтобы соскучиться. Но графа можно было видеть только в определенные часы, и Дерулед, вероятно, все-таки надеялся воспользоваться одним из них и повести если не прямо, то косвенно разговор на тему о реванше. Были минуты, когда, казалось, он был близок к цели, но едва только в речи появлялись отзвуки боевой трубы, граф становился холоден, как мрамор. Один только раз он, в свою очередь, коснулся в разговоре темы о войне и ее невыразимых бедствиях. Он видел своими глазами все это — ночное кровавое небо, опустившееся над полем битвы, и когда Дерулед вслед за тем снова заговорил о том, что „Рейн должен принадлежать французам", граф улыбнулся добродушно и сказал: „Границы между государствами должны определяться не пролитой кровью, а разумным соглашением народов, причем должна быть оказана справедливость каждому и взвешены все права и выгоды той и другой стороны". На замечание гостя, что война есть явление, свойственное природе, граф ответил, что, тем не менее, ее должно и можно избежать, и если наступят опять дни, когда брат встанет на брата и будут убивать друг друга, — пусть это будет сила рокового сцепления вещей. Но, главное, никто не должен ни вызывать, ни требовать войны. С этими словами граф встал и быстро вышел из залы». (Цит. по русскому переводу: «Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого. Записки г-жи Анны Сейрон». СПб., 1895, стр. 59—61). В своих заметках Е. Ф. Юнге приводит некоторые рассказы Деруледа о зверствах пруссаков во время франко-прусской войны.

[3] Среди бумаг Е. Ф. Юнге сохранилась авторская копия ее письма от 16 февраля 1903 г. к одной из приятельниц или родственниц. В письме этом она рассказывает о своей недавней поездке с сыном Александром в Ясную Поляну. Отметим, что Юнге передала Толстому ряд материалов для «Хаджи-Мурата» (в том числе свои собственноручные заметки о личности Николая I). «Дорогая Наташа, — писала Юнге.— Если б я только могла тебе передать всю силу моих впечатлений!.. Но начну с рассказа: Саше загорелось ехать к Толстым. Никакие рассуждения о том, что нехорошо ехать, не предупредивши, что двадцать градусов морозу, что мы приедем в Тулу к вечеру, ничего не помогло, на все он находил ответы, и я, все время чувствуя, что делаю что-то невозможное и несуразное, покорилась и поехала. Это было в прошлую среду. Приехали в Тулу в пять часов. Экипажей, кроме простых одноконных ванек, нету. Извозчики кидаются на нас, как вороны, орут, давят друг друга и нас; мы обращаемся к городовому, он усаживает нас на извозчика, который говорит, что отлично знает дорогу и довезет нас засветло. Едем. Дорога оказывается отвратительная, гололедица, так что едем почти шагом, каждую минуту останавливаемся, потому что в упряжи все что-то рвется. Делается темно; после долгого времени извозчик съезжает с шоссе, теряет дорогу и везет нас по разным кочкам, ямам, канавам неизвестно куда. Я кричу, вылезаю из саней, иду пешком, вязну по пояс в снеге, задыхаюсь; извозчик поворачивает лошадь то в одну сторону, то в другую, то взад, то вперед. Наконец, делается невоз-

можно двинуться. Я советую отпречь лошадь и поехать верхом поискать жилья, извозчик говорит, что он знает, что „помилуйте“ и пр., что он пешком пойдет искать дороги. Отправляется и исчезает. Мы стоим в открытом поле, в темную уже ночь, при двадцати градусах морозу и вьюге. У меня валенки, две шубы, Саша в низеньких калошах, без башлыка и без перчаток. Так как ему приходилось держать вожжи и поддерживать сани, то у него прежде всего замерзают руки, а потом уже ноги; мы трем руки снегом, он топчется ногами, время тянется бесконечно, мужик пропал. Мы соображаем, что мы, может быть, в десяти-двенадцати верстах от жилья, что мужика могла занести вьюга или что он может не найти нас. Саша говорит, что он не может владеть руками, что они страшно болят, что то же делается с ногами. „Смерть наша пришла, — говорю я, — или мы здесь замерзнем, или все равно простудимся насмерть“. Саша старается подбодрить меня, но это выходит слабо. Время тянется, и нам все становится хуже. „Не покричать ли?“ — говорит Саша и издает громкий, протяжный крик, на который вдали кто-то отзывается. Через несколько времени является мужик с яснополянским сторожем, оба мужика вытаскивают нас на дорогу, и мы оказываемся совсем недалеко, может быть в версте от дома. У Толстых производим всеобщий переполох, нас бранят, что мы не телеграфировали, и всячески отогревают; сашины руки и ноги отходят, но ухо оказывается отмороженным. Софьи Андреевны, оказывается, нет дома, она поехала как раз в Москву, чтоб взять меня в свой директорский вагон и привезти со всякими предосторожностями в Ясную. Находятся там два сына Льва Николаевича и две дочери: Оболенская с мужем и младшая Саша и еще всякий народ. После всех этих страхов, упреков, сожалений, начинается упоение. Лев Николаевич очень слаб, постоянно лихорадит, но голова его яснее, чем когда-нибудь, память изумительная, радушие и внимание обыкновенные. Работает он очень много: когда устает писать, диктует, но больше гораздо сам пишет; время от времени приходит в общую залу, и все как-то сейчас сосредотачивается на нем, и говорит он обо всем, и что слово — то золото. Когда он говорит об искусстве, юношеский жар в голосе и глаза светятся.

— Ведь вот Мопассан, ведь он совершенно противоположный моим взглядам, ведь он пишет такое, что, по существу, мне должно быть противно, а не могу не восхищаться, такой у него талант, такой он художник...

— Вот видите, как художественное действует на вас, — говорю я с торжеством.

— Что же делать! Это слабость... моя слабость...

...Как бы Михаила Николаевича интересовало все, что он говорил об литературе, об искусстве, об технике, как порицал современных писак, уничтожал так называемых поэтов, с каким жаром говорил о Пушкине, Лермонтове, приводил их стихи, говорил, почему это истинная поэзия 〈...〉

—„Предо мной кремнистый путь блестит“ — ведь это весь Кавказ в одной строчке! — между прочим, сказал он. — Беда в том, что теперь они все привыкли все так по верхам, по верхам скользить, работать они не хотят, а это ух, какая тяжелая работа. Спросишь у человека: „Играете на скрипке?“ — Один ответит: „Нет“, а другой: „Не пробовал, но думаю, что если возьму скрипку, то сыграю“. Если такой господин возьмет и будет водить смычком по скрипке, то публика почувствует, какой он ужас производит, а если он так же пером по бумаге водит, публика не замечает...

Но лучше не приводить каких-то крох, когда я не могу передать всего. О философских материях говорили мало, это его утомляет. Вечером он с детьми играет для отдыха в винт.

В четверг, в три часа, Саша уехал в Одессу, а я получила в руки „Хаджи-Мурата“ и с 4-х часов дня до 2-х ночи читала в совершенном упоении. Это одно из самых лучших произведений Льва Николаевича. Такое спокойное, стройное. Красота разлита по нем. И вот техника! C'est ciselé!..* И все его поправки: всегда лучше, всегда ближе к цели, к общему. Ни одного полуслова, которое можно бы изменить, чтобы вещь не потеряла. Какая наблюдательность, какая поэзия и сила картин и как все просто, как не шаржировано, никакой „красочности“ нет. Эти два дня, проведенные у этого гениального, чудного старика, оживляюще повлияли на мой дух: когда я вернулась, мне хотелось и мои записки писать, и рисовать... Но физически я, конечно, простудилась и лежала все эти дни в постели. Но что такое инфлуэнца? Дешевая цена за радость повидаться со стариком и за наслаждение прочесть „Хаджи-Мурата“...» (*ГИМ*, ф. 344, ед. хр. 50, лл. 2—6).

Отрывки из неизданных воспоминаний Юнге о Толстом см. в нашей публикации «Незабываемое» («Огонек», 1960, № 47). Отметим, что редактором в текст воспоминаний внесен ряд неоправданных искажений.

---

* Это выгравировано!.. (франц.).

РУССКИЙ ПРОПАГАНДИСТ ТОЛСТОГО

ДВЕ СТАТЬИ С. М. СТЕПНЯКА-КРАВЧИНСКОГО

Сообщение М. И. Перпер

Один из деятельных участников революционного движения 1870-х годов, вынужденный бежать за границу и прожить там много лет, Сергей Михайлович *Кравчинский* (1852—1895), выступавший в печати под псевдонимом *Степняк*, провел годы эмиграции в напряженной литературно-пропагандистской работе. В новых исторических условиях он стремился продолжать дело Герцена: знакомить Запад с народной, борющейся, революционной Россией. Этой цели служили и его выступления о русской литературе. До нас дошли печатные и готовившиеся к печати статьи и очерки Степняка, а также планы и наброски лекций о Пушкине, Тургеневе, Островском, Достоевском, Салтыкове-Щедрине, Глебе Успенском, Станюковиче, Короленко и Толстом.

Ниже публикуются два выступления Степняка о Толстом. Они относятся к числу немногих в те годы серьезных попыток разъяснить западноевропейской и американской общественности некоторые основные вопросы творчества и мировоззрения автора «Войны и мира» и представляют несомненный интерес.

Степняк начал читать публичные лекции о Толстом в 1888 г. в Англии и продолжил чтение их в 1891 г. в Соединенных Штатах Северной Америки во время лекционного тура, совершенного по этой стране. Внимание Запада было в это время привлечено к философско-этическим и публицистическим сочинениям Толстого: «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?» и другим, появлявшимся, начиная с 1885 г., одно за другим и нередко сразу в нескольких переводах. Они поразили читателей беспощадностью, с которой Толстой пересматривал свои собственные нравственные, религиозные и общественные взгляды, а также силой, прямотой и резкостью социальной критики существующего «порядка вещей», всего того, чем жило современное ему общество.

Но отклики западноевропейской и американской печати на пережитый Толстым моральный и религиозный кризис, на изменение его социальных взглядов были тогда еще немногочисленны и нередко поверхностны; значительное место среди них занимали рассказы любопытствующих путешественников или журналистов, побывавших в Ясной Поляне и спешивших поделиться с публикой своими впечатлениями.

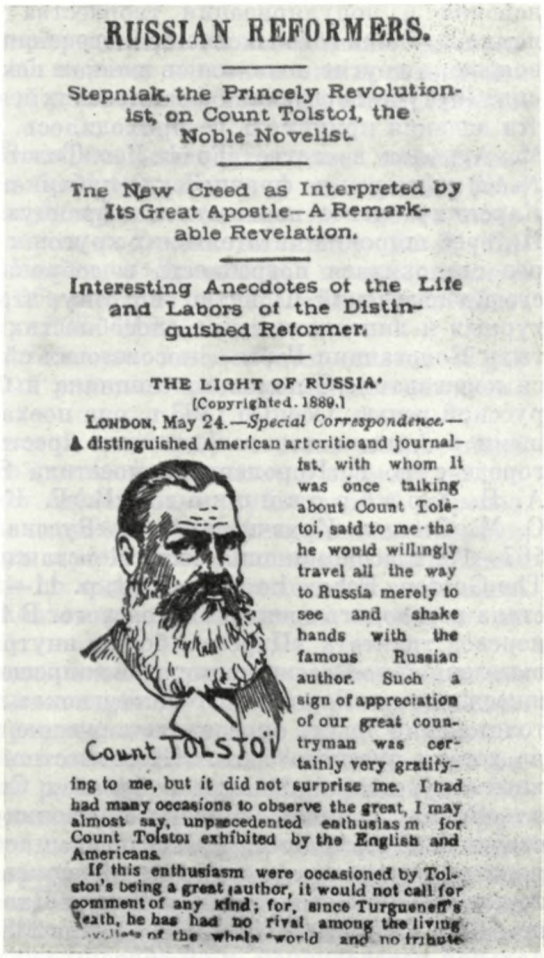
Понятно поэтому, что серьезно подготовленные, продуманные лекции Степняка вызывали пристальное внимание аудитории и часто переходили в живую и непосредственную беседу — было ли это в промышленных городах Шотландии или в студенческих клубах старинных английских университетов, в загородном доме писателя Уильяма Морриса, где собиралась передовая интеллигенция Англии конца 1880-х годов, или в каком-нибудь американском зале для собраний.

Делясь впечатлениями о лекции, прочитанной им в Вашингтоне, Степ-

СТАТЬЯ С. М. СТЕПНЯКА-КРАВЧИНСКОГО «СВЕТ РОССИИ»

Вырезка из американской газеты «Daily Inter Ocean» от 10 июня 1889 г.

Центральный архив литературы и искусства, Москва



RUSSIAN REFORMERS.

Stepniak, the Princely Revolutionist, on Count Tolstoi, the Noble Novelist.

The New Creed as Interpreted by Its Great Apostle—A Remarkable Revelation.

Interesting Anecdotes of the Life and Labors of the Distinguished Reformer.

THE LIGHT OF RUSSIA.

[Copyrighted. 1889.]

LONDON, May 24.—*Special Correspondence.*—A distinguished American art critic and journalist, with whom it was once talking about Count Tolstoi, said to me that he would willingly travel all the way to Russia merely to see and shake hands with the famous Russian author. Such a sign of appreciation of our great countryman was certainly very gratifying to me, but it did not surprise me. I had had many occasions to observe the great, I may almost say, unprecedented enthusiasm for Count Tolstoi exhibited by the English and Americans.

If this enthusiasm were occasioned by Tolstoi's being a great author, it would not call for comment of any kind; for, since Turgueneff's death, he has had no rival among the living ... of the whole world and no tribute

Count TOLSTOÏ

няк 29 января 1891 г. писал жене: «... слушали полтора часа, не уходя, и потом один час вопросы шли, пока хозяин театра не обозлился и не потушил газа. Мы продолжали некоторое время в темноте, а потом разошлись» (*ЦГАЛИ*, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 761. См. там же, в ед. хр. 581, воспоминания американской общественной деятельницы Лилли Уаймен об одной из лекций Степняка и о впечатлении, которое произвело на слушателей его толкование образа Наташи Ростовой).

Американский писатель У. Д. Хоуэлс, глубоко чтивший Толстого, испытавший сильное влияние его творчества и взглядов (см. выше, стр. 85—87 настоящ. тома), писал 27 января 1891 г. своему другу, журналисту Дж. Понду:

«Лекция Степняка о Толстом — одна из самых замечательных, которые мне когда-либо доводилось слышать; поразительна ее интеллектуальная ясность и сила. Я мог согласиться далеко не со всем в ней. В ней звучало не сочувствие, а враждебность революционера к принципу ненасилия. Да и чисто литературная критика казалась мне не вполне справедливой; но эти недостатки не обесценивали лекцию в целом. Она представляет собой широкое, смелое, основательное — в самом полном смысле этого слова — исследование» («Life in Letters of W. D. Howells», New York, 1928, vol. II, p. 13).

Лекции Степняка несомненно сыграли положительную роль в разъ-

яснении и популяризации творчества Толстого в странах английского языка, где в те годы многие произведения Толстого еще не были переведены вообще, а другие появлялись в таком искаженном и далеком от оригинала виде (будучи переделкой французских и немецких переводов), что всерьез эти издания принимать не приходилось. Крупнейший английский критик М. Арнольд в статье «Граф Лев Толстой» («Fortnightly Review», 1887, № 12) ссылался на французские публикации и даже утверждал, что «Анну Каренину» легче перевести на французский, чем на английский язык. Интерес широких читательских кругов к Толстому быстро рос, и все острее становилась потребность в доброкачественных английских текстах его произведений. Понятно поэтому, что Степняк, убедившись в литературных и лингвистических способностях молодой преподавательницы латыни Констанции Гарнет, посоветовал ей изучить русский язык и заняться переводами. С помощью Степняка и Ф. Волховского Гарнет овладела русской речью. Осенью 1893 г. она поехала в Россию с деньгами, собранными в Англии для голодающих крестьян, повидалась в Нижнем-Новгороде с В. Г. Короленко и посетила Ясную Поляну (см. публикацию А. В. Храбровицкого «В. Г. Короленко, Констанция Гарнет и С. М. Степняк-Кравчинский» — «Русская литература», 1962, № 4, стр. 167—171 и воспоминания сына Констанции Гарнет — David Garnett. The Golden Echo. London, 1953, p. 11—15). Вернувшись в Англию, она стала переводить сочинения Толстого. В 1894 г. вышла первая ее работа — перевод трактата «Царство божие внутри вас», сделанный, очевидно, по вывезенной из России копии этой запрещенной цензурой книги. Сохранившиеся письма Гарнет к Степняку показывают, что он помогал ей понять толстовский текст, определить значение трудных слов, раскрыть намеки на детали русского быта. (К совместной работе с Гарнет относится, повидимому, сохранившаяся в бумагах Степняка тетрадь с выписанными из «Войны и мира», «Казаков», «Поликушки» словами — сельскохозяйственными терминами, крестьянскими обиходными выражениями, устарелыми речениями, военными и церковными терминами, значение которых Степняк уточнял по словарю Даля и затем разъяснял переводчице.— *ЦГАЛИ*, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 238 и 134.) Гарнет стала профессиональной переводчицей, и ей обязаны англичане знакомством с важнейшими произведениями Толстого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Чехова. Ее переводы Толстого относятся к числу лучших на английском языке, хотя и уступают по точности переводам супругов Моодов. Они заслужили одобрительный отзыв самого писателя (см. A. Maude. The Life of Tolstoy. Oxford, 1953, vol. II, p. 431).

Обе печатаемые здесь статьи Степняка переведены с английского. Первая, «Свет России», была написана по заказу представителя американского газетного треста Т. Стэнтона и опубликована 10 июня 1889 г. в одном из органов республиканской партии, чикагской газете «Daily Inter Ocean», где Степняк поместил в том же году еще несколько статей.

Рукопись до нас не дошла, но в архиве Степняка оказалась вырезка из газеты, просмотренная им и в одном месте исправленная. По ней и сделан перевод (*ЦГАЛИ*, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 70).

Второй текст представляет собой статью, оставшуюся незавершенной и выросшую из лекций, читанных Степняком в Соединенных Штатах в январе—апреле 1891 г. и, вероятно, предназначавшуюся для какого-то американского периодического издания. Очевидно, Степняк, поглощенный интенсивной работой по организации Общества друзей русской свободы в США, не успел подготовить статью к печати до отъезда, а вернувшись в Англию, занялся изданием журнала «Free Russia» и другими неотложными делами, не оставлявшими времени для работы над статьей.

В журнале «Free Russia» Степняк нередко помещал сообщения о деятельности Толстого во время голода, об издании и чтении его произведений в России, о недопущенных цензурой к печати сочинениях и нелегальном распространении их.

В числе последних работ Степняка находятся две написанные по-русски статьи: предисловие к брошюре «Гонения на духоборцев», изданной «Фондом вольной русской прессы» (одним из членов которого был Степняк), и «Непротивление» — отклик на книгу Е. И. Попова «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина» и приложенную к этой книжке статью Толстого. (Обе эти статьи перепечатаны в «Лит. наследстве», т. 69, кн. 2, 1960, стр. 306—316.)

Хотя и не отделанная окончательно для печати, статья «Граф Толстой как писатель и социальный реформатор» заслуживает внимания и потому помещается ниже.

До нас дошли полный черновой автограф статьи, подписанный автором, и перебеленное ее начало (до слов «Недостаток времени не позволяет мне...»). С этих рукописей и сделан нами публикуемый перевод. Черновой текст изобилует сокращениями и недописанными словами; раскрыть и дополнить их удалось путем сопоставления с набросками и конспектами лекций и близкими по содержанию заметками в записных книжках Степняка. В переводе конъектуры не отмечены, чтобы не затруднять чтение.

Высоко ценя Толстого-художника, «чье творчество останется в веках и всегда будет вызывать восторг и восхищение», Степняк резко порицает религиозные идеалы» Толстого-пророка, «уводящего назад в далекое, уже чуждое нам прошлое», заявляет о неприемлемости его социальной философии «для всех свободолюбивых русских людей». Но, критикуя с позиций демократа, участника революционно-освободительной борьбы русского народа, воззрения, лежащие в основе философско-этических сочинений Толстого, Степняк пытается проследить их генезис и обнаруживает, что «в основе художественных произведений Толстого лежат те же понятия, какие он выразил в последние годы в форме религиозного учения, с той только разницей, что казавшееся сомнительным, односторонним, фантастическим в его религии, представлялось убедительным, последовательным и цельным в волшебном освещении искусства». Корни же этих понятий Степняк ищет в «восточном элементе» — «пассивной покорности перед бедствиями внешнего мира», присущей славянским и другим «восточным» народам и порожденной, «как видно, той особой формой зависимости от природы, которая характерна для огромных и единообразных в географическом отношении стран». (К мысли о зависимости русской истории, и даже судеб русской революционной борьбы, от беспредельности русских равнин, мысли, восходящей, вероятно, к убеждению Элизе Реклю и Л. И. Мечникова в определяющей роли географического фактора, Степняк возвращается многократно, в различных своих работах.) Этот восточный элемент, постепенно изживаемый, «но все еще преобладающий среди миллионов крестьян», нашел, по мнению Степняка, «самого полного выразителя» в Толстом.

Стремление рассматривать творчество великого писателя в целости, в органическом единстве и неделимости и, в то же время, в развитии, найти социальные причины и почву, определившую характер его развития, выгодно отличает Степняка — хотя ему и не удалось найти правильный исторически осмысленный ответ на все эти вопросы — от многих современных ему истолкователей Толстого, особенно на Западе.

Обе приводимые ниже статьи даются в переводе с английского.

СВЕТ РОССИИ[1]

Один известный американский журналист и художественный критик, с которым я как-то беседовал о Толстом, сказал, что ради удовольствия пожать руку этому замечательному русскому писателю он был бы готов предпринять путешествие в Россию. Подобное отношение к нашему великому соотечественнику, разумеется, порадовало меня, но, впрочем, не удивило. Много раз я был свидетелем огромного, можно сказать, небывалого энтузиазма, с каким англичане и американцы относятся к Толстому.

Не удивительно, если бы этот энтузиазм вызывал Толстой как великий художник слова: ведь после смерти Тургенева во всем мире не осталось писателя, которого можно было бы поставить рядом с Толстым; и никакие проявления восторга не покажутся чрезмерными по отношению к автору «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Однако всем известно, что та особенная слава, которая теперь окружает имя Толстого, началась после того, как появились его «Исповедь» и «В чем моя вера?»[2]. На одного поклонника Толстого-писателя приходится двадцать восторженных почитателей его как проповедника новой религии. Впрочем, число его последователей — как по ту, так и по эту сторону Атлантического океана — не особенно велико.

Его толкование Евангелия, безусловно, представляет собой один из самых блестящих образцов исторической критики. Историку, чтобы воссоздать прошлое, необходимо быть в какой-то степени и поэтом. Подлинно поэтическое дарование и явно восточный склад ума помогли Толстому особенно глубоко проникнуть в тьму веков и ощутить дух великого назареянина. Впрочем, если бы учение Христа,— допустим, что мы принимаем толстовское толкование его,— не претерпело некоторых изменений, оно никогда не вышло бы за пределы азиатского Востока и уж конечно не нашло бы себе приверженцев на Западе в наше время.

Однако в самом факте, что романист на вершине мировой славы, в полном расцвете творческих сил, из-за каких-то нравственных убеждений отказывается от художественной деятельности и успеха и принимается сажать картофель, тачать сапоги и возить навоз на поля своих бедных соседей-крестьян, было что-то поразительное и необычное, вызывавшее удивление, интерес, а затем и преклонение, какое редко кому выпадало на долю при жизни.

В России все оказалось наоборот. Известное изречение, что нет пророка в своем отечестве, хотя и часто опровергается фактами,— в отношении Толстого оказалось совершенно справедливым. Для русских он по-прежнему писатель, а не пророк. Как писатель Толстой пользуется такой славой, какой не знал при жизни ни один русский автор. Достоевского только после смерти оценили по достоинству, Тургенев и теперь еще не получил того признания, которого заслуживает. Толстому же — как и Виктору Гюго — выпало редкое счастье быть свидетелем собственного литературного апофеоза.

К появлению же Толстого в мантии пророка печать и общественное мнение в России остались равнодушны. Его социальная философия, столь неприемлемая для всех свободолюбивых русских людей, подверглась жестокому осмеянию, и критики с бесцеремонностью, свойственной нашим литературным нравам, советовали ему заняться лучше своим делом и «не совать свой гениальный нос в такие вещи, которых он не понимает». В пылу разгоревшейся полемики даже то, что несомненно заслуживало уважения и сочувствия,— попытки Толстого жить в соответствии с собственными убеждениями — было встречено холодно.

Мы, русские, не слишком заботимся о физических удобствах, мы видели слишком много примеров истинного самопожертвования и страдания во имя идей, и, вероятно, поэтому увлечение графа Толстого тачаньем сапог и полевыми работами оставляет нас равнодушными. В таких вещах мы очень взыскательны. Да и многое в положении графа Толстого могло показаться смешным. Он сделался мишенью для шуток, не миновали его и личные нападки врагов.

Так, в ежемесячнике «Русское богатство», где он сам иногда сотрудничает, появилось довольно забавное описание его «отказа» от личной собственности. В железнодорожный вагон входит господин, в котором нельзя не узнать графа Толстого. Он одет, конечно, по-крестьянски и сейчас же начинает рассказывать о блаженстве, которое испытывает, отказавшись от частной собственности. От него требуют дальнейших объяснений, и тогда выясняется, что этот господин — крупный землевладелец, получающий большие доходы и располагающий значительным капиталом, но не дотрагивающийся до него собственными руками, а предоставляющий ведение всех дел своему сыну. Сын покупает для него все необходимое, управляет хозяйством, платит жалованье слугам — и только что купил ему билет на поезд. Ему же до всего этого дела нет. Он живет, не пользуясь деньгами, и потому вполне доволен собой [3].

Интересно, что в том же номере журнала, где была помещена эта заметка, напечатана статья самого Толстого. Следует отдать должное широте его взглядов: он продолжает сотрудничать в этом журнале [4].

В другом случае Толстому пришлось хуже. Это произошло в 1885 году, вскоре после того, как его обращение в христианскую веру нового толка сделалось общеизвестным и когда его имя было у всех на устах. Вышел из печати очередной том собрания его сочинений, в котором находилась, между прочим, знаменитая «Смерть Ивана Ильича» и другие произведения, в какой-то мере бросающие свет на перемену в мировоззрении писателя [5]. Публика, разумеется, бросилась покупать эту книгу. Тут, к всеобщему и величайшему удивлению, стало известно, что этот том нельзя приобрести в одиночку, как продавались все прочие тома, а чтобы получить его, следует купить все собрание сочинений целиком! Это вызвало большое возмущение, особенно среди читателей в провинции, которым книгопродавцы не могли толком ничего объяснить. На несчастных книгопродавцов обрушилась лавина гневных писем: читатели обвиняли их в спекуляции популярностью великого писателя. Кое-какие из этих писем были опубликованы в русских газетах, и в ответ на них книгопродавцы заявили, что они тут ни при чем, а просто выполняют указания законных представителей писателя.

Все были поражены этим сообщением. Всех потрясло, что человек, принципиально отрицающий право на собственность, в жизни оказался беззастенчивым дельцом. К счастью, вскоре выяснилось, что сам Толстой не имел к этому никакого отношения. Это устроила графиня, которая сама ведет переговоры с книгопродавцами и имела неосторожность нарушить все традиции книжной торговли. Она скоро сняла злосчастный запрет, но это не умилостивило нападавших на Толстого. В «Новостях», одной из главных петербургских газет, известный русский критик уподобил поведение Толстого образу действий бесчестного банкрота, который, чтобы не платить долгов, переводит свое имущество на имя жены [6].

Однако нападки эти несправедливы по существу. Следует помнить, что Толстой отрицает собственность как сектант, а не как социальный реформатор. Критики, обвинявшие его в сугубой непоследовательности, приписывали ему взгляды, которых он не имел. Собственность, по Толстому, дурна сама по себе, она греховна и безнравственна, как таковая, а не

потому, что находится в руках немногих, или что обладатели собственности скверно ею распоряжаются. Деньги, этот яд, убивающий душу, губительны для всякого, кто их имеет.

В одном из своих народных рассказов Толстой выразил это воззрение со свойственной ему мужественной прямотой и тем великолепным презрением к здравому смыслу, которое встречаешь только у сектантов. Два брата находят клад — кучу золота. Один в ужасе бежит прочь. Это — мудрый герой рассказа. Другой, с житейской точки зрения, человек хороший и добродетельный, решает иначе. Он берет золото, чтобы употребить его как можно лучше для блага ближних, и тратит его на разные филантропические затеи: больницы, приюты для стариков и увечных и т. п. Но ангел, появляющийся, чтобы произнести мораль к этой притче, объявляет его глупцом и грешником, ибо он заботился только о материальных благах, не замечая духовного зла, и хвалит другого брата, бежавшего от искушения [7].

Что может быть нелепее и, если хотите, эгоистичнее? Но учение Толстого предельно четко и категорично, и Толстой во всех своих поступках неукоснительно ему следует. Отдать свою собственность другому, будь то отдельная личность или группа лиц,— все равно, что содрать с себя зараженную одежду и раздать ее друзьям. От собственности нужно просто отказаться, бросить ее, бежать от нее. Если же кто подберет брошенное богатство, тем хуже для него. В случае же с самим Толстым, брошенное им имущество, стоимость которого он, кстати сказать, сам определил в «Исповеди», примерно в шестьсот тысяч рублей (т. е. четыреста пятьдесят тысяч долларов) — подобрала его собственная семья [8].

Хотя родные Толстого не разделяют его взглядов, они продолжают его любить и уважать, так что фактически ежегодный доход в шестьдесят тысяч рублей,— свыше сорока тысяч долларов, — находится попрежнему в его распоряжении. При таких обстоятельствах его отказ от собственности приобретает фиктивный характер, а претензия зарабатывать себе на жизнь физическим трудом теряет всякую серьезность. Это странное и даже смешное положение вещей, которое так повредило его моральному престижу среди русской молодежи, может служить прекрасной иллюстрацией ограниченного и антисоциального характера его учения. Дело вовсе не в личной слабости или непоследовательности, приписываемых Толстому его противниками, при молчаливом согласии даже таких его защитников и доброжелателей, как Джордж Кеннан [9].

Толстой, безусловно, человек очень твердый и серьезный. Дело у него не расходится со словом, подчас он даже совершает более того, что обещает. Но ему не всегда удается подчинить свою мужественную страстную натуру требованиям абсолютной апатии, которая является неотъемлемой частью его учения о непротивлении злу.

В России проявляют интерес только к практическим выводам из этого учения, только их и обсуждают. К религиозным же взглядам Толстого, на которых основана его практическая философия, свободомыслящие образованные русские люди проявляют совершенное безразличие.

Им нужно другое — разрешение жгучих моральных и социальных вопросов. Толстой предлагает свое, и о нем судят, совершенно не интересуясь тем, откуда взял его Толстой: из Евангелия, или Зенд-Авесты, или сам до него додумался.

У меня был знакомый русский, который сам проповедовал новое вероучение и более всего интересовался именно теологической стороной учения Толстого. Он провел у Толстого в Ясной Поляне две недели, и почти все это время прошло в религиозных спорах. Этот мой соотечественник и большой друг, чью жизнь и героическую, можно сказать,

ТОЛСТОЙ — АВТОР «ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?» «КАКОВА МОЯ ЖИЗНЬ?»)

Карикатура Манюэля Люка из серии «Современные деятели в изображении Люка».

Журнал «Caricature» от 24 марта 1888 г.

Карикатура была воспроизведена в журнале «Будильник» (1888, № 11) с подписью: «Мода на все русское во Франции.— Рисунок из „Caricature“ после постановки „Власти тьмы“».



классическую, смерть я когда-нибудь опишу, был Уильям Фрей, энтузиаст и пропагандист «Религии человечества», которую исповедовал Огюст Конт [10].

Осенью 1885 года Фрей приехал в Россию для распространения этой своей религии. В его руки случайно попал один из рукописных экземпляров толстовского «В чем моя вера?». Увлеченный и очарованный искренностью и прямотой автора, Фрей решил попытаться обратить Толстого из последователя Христа в адепта Религии человечества. Он написал Толстому на эту тему длинное письмо или, скорее, целый трактат. В ответ пришло телеграфное приглашение приехать в Ясную Поляну для личной встречи. Телеграмма была подписана: «Ваш брат Лев Толстой» [11].

Толстой, как видно, на самом деле признал в Фрее своего брата по духу, одного из очень немногих людей, придерживающихся передовых убеждений и, в то же время, жаждущих определенной религии. Личное знакомство укрепило это чувство, хотя, само собой разумеется, им не удалось переубедить друг друга.

Встретились они самым дружеским образом. Когда экипаж, посланный за Фреем к вокзалу, остановился у ворот толстовской усадьбы, навстречу ему вышел рослый широкоплечий седоволосый крестьянин с длинной, спускавшейся на грудь бородой и воскликнул, протягивая Фрею руку:

— Вы — первый противник, встречающий меня с открытым забралом.

Тут только Фрей догадался, что старик-крестьянин, чье простое, энергичное лицо, обветренное и загорелое, так гармонировало с его одеждой, и был сам граф Толстой. Толстой повел гостя к себе в комнату, единственную, которую он считает своей. Это очень просто обставленное, но довольно большое помещение, разделенное ширмой на две половины: книжную, где находится его письменный стол и небольшая библиотека, и рабочую, где граф держит свой станок с сапожными инструментами, колодками и прочими орудиями своего нового ремесла. Толстой помог гостю снять верхнюю одежду, принес ему воды помыть руки и сам вынес потом таз. Он принципиально не признает домашней прислуги.

Они стали беседовать и спорить и проговорили до вечера. Затем Толстой повел Фрея в другую часть дома и познакомил его со своей семьей. Убранство комнат, далеко не роскошное с английской точки зрения, тем не менее резко отличалось от спартанской обстановки кабинета Толстого. За столом служили лакеи во фраках, и Толстой, вышедший к обеду в своей крестьянской рубахе, составлял удивительный контраст с окружающим.

Из всех детей Толстого только одна дочь приняла его учение и усвоила его образ жизни: не ест мяса и работает, как он, в поле у наиболее нуждающихся из крестьян [12]. Сын доводы отца выслушивал, но не следовал им. Когда молодой человек, успешно окончив курс в петербургском техническом училище, приехал домой и спросил отца, как ему лучше применить полученные знания, Толстой посоветовал ему взять лопату и помочь крестьянам расчищать дороги от снега! — Дело было зимой. Будь это летом, Толстой посоветовал бы сыну копать канавы или вспахать десятину-другую поля, отложив в сторону все, чему он выучился в институте [13].

На интеллектуальное богатство, цивилизацию и науку Толстой смотрит так же, как на материальное: для него это нечто совершенно бесполезное и даже вредное. Будучи истинно восточным человеком, он считает единственными учителями человечества только тех, кто, как библейские пророки, как Иисус Христос, как Будда, Конфуций и другие, преподают нравственные истины, утверждая, что одни они и нужны людям, стремящимся счастливо жить и хорошо умереть.

Совершенно по-разному протекает жизнь одной и другой части толстовского семейства. К графу в его собственном доме относятся как к почетному гостю. Но и гостю ведь не пристало безделье. Поэтому граф старается возместить расходы на свое содержание работой в саду, или в поле, или сапожничанием. Когда вся семья переезжает на зимние месяцы в Москву, граф колет и разносит дрова для всех печей большого дома. Таким образом он дает графине возможность сэкономить сорок копеек (примерно двадцать центов) в день, что составляет, по его расчетам, стоимость его питания. Толстой считает, что только физический труд дает человеку право садиться за стол с другими людьми. Работники умственного труда, люди «без мозолей на руках», должны питаться подаянием, «объедками» [14].

Но такой чуткий к правде и неправде, такой полный жизни человек, как Толстой, не может удовлетвориться искусственным самоустранением от зол мира сего. В день приезда Фрея в Ясную Поляну туда явился еще один посетитель — издатель, приехавший, чтобы окончательно договориться с графиней об авторском праве. Фрей ушел в комнату Толстого, но еще долго слышал доносившиеся из гостиной громкие и горячие споры — Толстой пытался, очевидно, внушить договаривавшимся сторонам свою точку зрения.

Уставший после долгого путешествия, Фрей разделся, лег на жесткий диван, укрылся пальто и, подложив под голову руки вместо подушки,

вскоре заснул. По части ригоризма Фрей перегнал Толстого. На утро Толстой признался ему, что очень удивился, когда, поднявшись к себе, увидел, что можно так сладко спать без всяких удобств. Он постоял некоторое время, глядя на Фрея, тихо спавшего, «не храпевшего и не свистевшего носом», и подумал, что у этого человека совесть, должно быть, чиста. Потом Толстой принес матрас и подушку и положил их рядом на стол, чтобы, если гость проснется среди ночи на своем жестком ложе, он мог устроиться поудобнее, бережно укрыл его одеялом и удалился, полный восхищения.

Толстой, как известно, на свою прежнюю литературную деятельность смотрит с презрением. Он прекрасно понимает, какое место принадлежит ему в рядах писателей, но, сделавшись пророком, он, как свойственно всем пророкам, стал пренебрежительно относиться ко всякой легкой литературе вообще и к своим собственным сочинениям в частности. Рассказывая Фрею о переговорах с издателем, он с недоумением и огорчением упомянул о большой сумме, выплаченной за «эту чепуху» — и указал на свои романы, стоявшие на полках у него в комнате.

Когда Фрей, будучи учеником другого пророка, признававшего образование, стал горячо утверждать великое нравственное влияние искусства, Толстой с огорчением признался, что старая закваска дает еще о себе знать и что он даже пишет повесть.

— Я не могу иначе,— сказал он,— чтобы освободиться от того, что гнетет мою душу, мне нужно все изложить на бумаге.

Впрочем, почти вся литературная деятельность автора «Войны и мира» сводится теперь к писанию небольших народных рассказов. Когда Фрей посетил его, Толстой как раз писал такой рассказ, но что-то не ладилось, и он сказал по этому поводу:

— Чтобы писать хорошо, мне необходимо, во-первых, очень ясно видеть перед собой тех, для кого я пишу, во-вторых, тех, о ком я пишу, и, в-третьих, сохранять критическое отношение к тому, что я пишу.

Как раз третье ему в то время не удавалось.

За последние несколько лет Толстой написал около двух десятков небольших рассказов для народного чтения. Не все они выдерживают сравнение с другими его произведениями. Есть среди них вещи довольно слабые, есть слишком перегруженные философией и потому малохудожественные.

Но лучшие из них — настоящие шедевры и могут служить образцами истинно народной литературы, представляя собой лучшее, что в ней создано.

Толстой сразу завоевал внимание народа. Его рассказы расходятся в сотнях тысяч экземпляров и читаются крестьянами с большой жадностью. Справедливости ради необходимо отметить, что при издании этих рассказов автор позаботился практически осуществить свои взгляды на литературную собственность. Он не ограничил права публикации этих рассказов, разрешив перепечатку их всякому, с одним только условием — извещать об этом постоянного издателя произведений Толстого, чтобы автор имел возможность контролировать литературную сторону издания.

Своим примером, которому охотно последовали многие русские писатели, своими личными усилиями, советами и помощью в издании книг для народа Толстой много содействовал и содействует развитию нашей народной литературы [15].

Это, в сущности, единственный благой и ощутимый результат духовного перелома, пережитого нашей своеобразной северной знаменитостью.

ГРАФ ТОЛСТОЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ РЕФОРМАТОР

Среди писателей всех времен лишь немногим удавалось приобрести в короткий срок такую власть над сердцами и мыслями своих современников, как графу Толстому.

Каких-нибудь пять-шесть лет тому назад он был почти неизвестен за пределами своей родины. Другой великий русский писатель — Тургенев — сумел увлечь воображение наций, опередивших нас в историческом развитии, и вызвать у них симпатию к русскому народу, показав, что он далеко не таков, каким его представляли иноземцы. Шедевр Толстого «Война и мир», появившийся во французском переводе в 1877 году, не вышел за пределы круга профессиональных литераторов [16]. Благоговейное внимание всего читающего мира Толстой завоевал сначала в качестве проповедника новой религии.

Среди всеобщей погони за чинами, богатством, известностью особенно сильное и трогательное впечатление произвело то, что писатель на вершине славы, в полном расцвете творческих сил, жертвует своей литературной карьерой ради каких-то нравственных убеждений и принимается тачать сапоги, пахать землю, возить навоз на поля своих бедных соседей-крестьян, а в свободные часы сочинять не романы, доставляющие ему громкую славу, а религиозные трактаты в виде кратких притч для народного и детского чтения.

Публика жадно искала объяснения этим необычным поступкам; поэтому этические и автобиографические сочинения Толстого, в которых раскрывалась внутренняя эволюция этого глубокого, самоаналитического ума, встретили прием, редко выпадавший на долю какой бы то ни было книги. Люди, увлеченные пророком, естественно, захотели познакомиться и с романистом, и тогда стало ясно, что в основе художественных произведений Толстого лежат те же понятия, какие он выразил в последние годы в форме религиозного учения, с той только разницей, что казавшееся сомнительным, односторонним, фантастическим в его религии, представлялось убедительным, последовательным и цельным в волшебном освещении искусства. Не удивительно, что читатели были очарованы и некоторое время видели в Толстом человека, несущего миру новые откровения. Наконец-то, казалось, великое и таинственное неизвестное, именуемое русским народом, нашло истолкователя и выразителя своих сокровенных чувств и мыслей. Толстой был объявлен русским национальным писателем, превыше всех других.

Что же касается Тургенева, столь понятного западному читателю и столь далекого по общему направлению его творчества от Толстого, почтенная публика не замедлила сообразить, что, прожив много лет в Париже, он сделался больше французом, чем русским.

На самом же деле, оба наших великих писателя национальны: они выражают две основные стихии нашей национальной жизни. Тургенев представляет западный, иначе говоря, европейский элемент, уже довольно сильный в современной России и все более усиливающийся с каждым поколением, распространяясь от высших классов к народным массам. Толстой же, наоборот,— самый полный выразитель противоположной стихии — того восточного элемента, который хоть и изживается понемногу, но все еще пока преобладает среди миллионов русских крестьян.

В чем же состоит восточный элемент?

На мой взгляд, самым характерным, хоть и внешним его проявлением является пассивная покорность перед бедствиями внешнего мира, отсутствие охоты к борьбе с ними, коренящиеся в том, что принято называть фатализмом [17].

Фатализм, бесспорно, есть черта восточного характера вообще, а не свойство какой-то определенной древней расы или религии; он так же присущ русским крестьянам, как и обитателям Аравийской пустыни. Он порожден, как видно, той особой формой зависимости от природы, которая характерна для огромных и единообразных (в географическом отношении) стран, где нет ни средств сообщения, ни разнообразия занятий, ни разделения труда, где люди влачат жалкое, нищенское существование, добывая себе хлеб насущный исключительно земледельческим трудом, и, подобно комарам и гусеницам, зависят от гнева и милости неба. В таких обстоятельствах чувство зависимости от неведомых и непостижимых сил только и может выразиться в фатализме — вере в нечто безликое, непреложное, неотвратимое, совершенно бесчеловечное, недоступное ни мольбам, ни жалости.

И вот человеческий дух в своей неистощимой находчивости обращается к самому себе и в собственных глубинах находит защиту и прибежище, развив в себе чувство превосходства и безразличия перед всеми возможными бедствиями. Вырабатывается энергия спокойной выносливости, не менее мощная, чем энергия деятельного сопротивления, возникшая в странах с более благоприятными условиями для активной борьбы. Не имея возможности защитить тело от физических страданий, лишений и неудобств, дух отделяется, так сказать, от тела и устремляется ввысь, в те горние края, где его невозмутимая ясность не может быть смущена никакими страданиями, никакими земными горестями, ни даже смертью.

Такова основа восточной философии. Это искусственное обособление духовного от телесного, создание своего рода тепличных условий для развития духа до пределов, в естественных условиях недостижимых.

Это восточное начало, привитое к крепкому полному жизненных сил стволу материалистической по своей сущности греко-римской культуры, сделалось возбудителем новой жизни, нового прогресса и придало нашей цивилизации разнообразие и глубину, которых она иначе бы не достигла. Но само по себе оно неспособно создать ничего, кроме безнадежности и мертвого застоя.

Толстой — это художник величайшей творческой силы, в котором как бы возродился дух древних восточных пророков, суровый, несокрушимый, непреклонный. Вся литературная деятельность Толстого — это восстановление и утверждение прав Востока против наступающего западного духа.

Я вынужден, к сожалению, пройти мимо его ранних произведений: «Казаков», «Поликушки», «Семейного счастья» и других. Все это — замечательные проявления творческого гения, не уступающие в художественном совершенстве, соразмерности, гармонии деталей шедеврам Тургенева; к ним не прибавишь, от них не убавишь ни слова, каждый мазок способствует успеху целого. Мы не найдем этой стройности в больших вещах Толстого, менее совершенных по художественной отделке, хотя стоящих несравненно выше по творческой поэтической силе.

В этих ранних вещах обнаруживается та же философия, которая позднее выступит на первый план. Она проявляется и в сердитых выпадах против цивилизации, и в тяге к чему-то лежащему за пределами интеллектуальных стремлений человека.

И все же непосредственные впечатления жизни были еще настолько сильны и ярки у молодого художника, что не оставляли места для мрачных нот «жизни во смерти» восточного пессимизма. Эти ноты зазвучали с полной мощью в величайшем из произведений Толстого — романе «Война и мир», на котором мы теперь остановимся, ибо в нем художник и пророк действуют бок о бок, оба во всю силу, и еще не теснят друг друга.

«Война и мир» — это огромное нескладное произведение, в котором находится, по крайней мере, три романа, слепленных в один, да еще целая масса сухой и скучной философии и военной истории, с описаниями походов и сражений и даже с настоящими картами и планами. Но при всех этих явных пороках построения, целое является, как сказал Тургенев, пожалуй, величайшим произведением русской литературы со времени Гоголя [18].

Толстой в высочайшей степени одарен самым существенным и единственно существенным качеством великого художника — способностью создавать живое, живых людей. Перо в его руке — это поистине волшебная палочка, одним взмахом, одним прикосновением своим дарующая жизнь. Тургенев превосходит Толстого тонкой и разнообразной обрисовкой персонажей, Достоевский — мастерством внутреннего портрета. Психологический анализ Толстого — да простят мне его поклонники — слаб и невыразителен, потому что раскрывает не душу действующего лица, а собственные мысли автора. Но среди величайших писателей мира мало найдется равных Толстому — и нет никого, кто бы превосходил его — по скульптурной пластичности, по чудесной способности сообщить своим героям то неуловимое нечто, которое делает их вечно живыми.

Откроем первую главу «Войны и мира» — описание вечера у Анны Шерер, фрейлины императрицы. На первых трех страницах Толстой знакомит нас с тремя из главных действующих лиц романа: хозяйкой дома — Анной Шерер, отцом красавицы Элен — князем Василием и основным героем романа — Пьером, впоследствии графом Безуховым. Каждому уделено не более четырех-пяти строк, а они так ясно стоят перед нами, что случись нам встретить их на улице, мы бы сразу узнали их.

Чем обширнее картина, тем больше в ней лиц, и чем меньше времени отпускает Толстой каждому из них, тем поразительнее общий эффект.

Картины войны у Толстого представляют собой поэтому нечто совершенно невиданное в литературе. Темные громадные толпы людей, занятых страшной работой взаимного уничтожения, вдруг словно освещаются электрическим светом, и мы видим их точно такими, каковы они в действительности — в сражении и на отдыхе, в азарте боя и в поражении. Это эпопея войны, освобожденной от всяких прикрас,— не только психология войны, но и ее анатомия. Только прочитав Толстого, мы понимаем, что такое война.

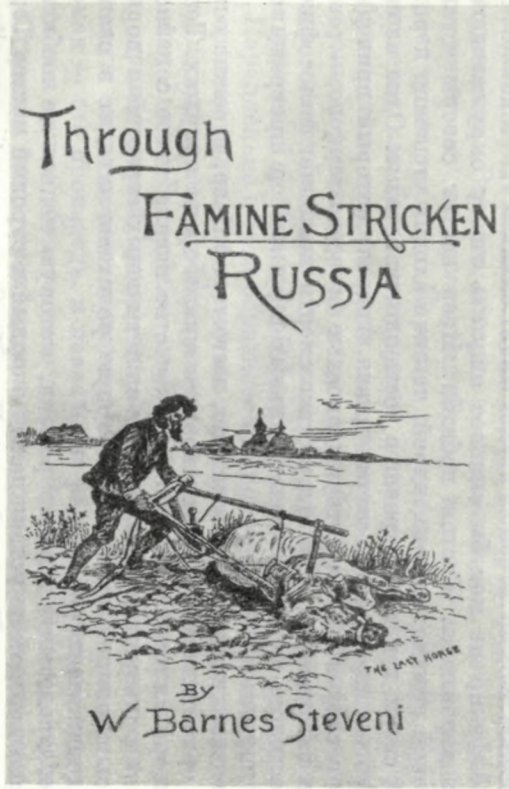
Изображение войны — самое сильное и оригинальное в этом великом романе Толстого. Но в художественном отношении — не лучшее. Каким бы трудным ни было изображение внешних действий и внутренней психологии толпы, высочайшим достижением во всяком искусстве является изображение отдельных людей, отдельных лиц и характеров.

Не на войне, а в мире, за пределами поля боя, живут и развиваются бессмертные создания Толстого: Наташа, Пьер, княжна Марья, Курагины и многие другие *.

Недостаток времени не позволяет мне остановиться на эстетической стороне этих непревзойденных по красоте и силе образов. Нам следует скорее перейти к философии Толстого, как она проявилась в этом романе, к тому восточному элементу, который столько способствовал его популярности за пределами его отечества. Этот элемент тонет в ярком блеске красок, в беспредельном богатстве жизни этой замечательной эпопеи, и его сначала можно совершенно не заметить, но в развитии характера главного героя— Пьера Безухова — он играет большую и заметную роль.

---

* На этом текст белового автографа заканчивается; продолжение статьи дается по тексту черновой рукописи, который содержит много недописанных слов, дополняемых по смыслу и на основании подготовительных набросков, сохранившихся в бумагах Степняка. — *Ред.*



THIS VOLUME

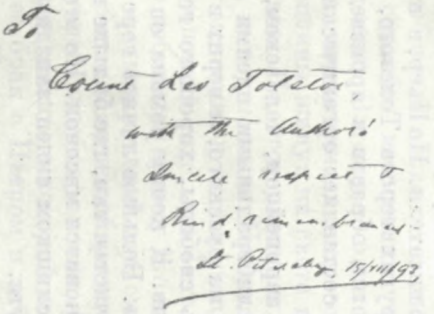
IS

INSCRIBED

TO

COUNT TOLSTOI,

THE MUZHIKS' FRIEND.



КНИГА У. БАРНСА СТИВЕНИ «ПО ГОЛОДАЮЩЕЙ РОССИИ» (ЛОНДОН, 1892)

Титульный лист, форзац с посвящением: «Эта книга посвящается графу Толстому, другу мужиков» и дарственная надпись:

«Графу Льву Толстому с искренним уважением и добрыми воспоминаниями от автора. С.-Петербург, 15/XII 93 г.»

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Устами Пьера говорит сам Толстой. Мысли Пьера, его искания и тревоги — это тревоги, искания, мысли самого писателя. Но Пьер, в отличие от Левина, князя Андрея и некоторых других героев Толстого, имеет самостоятельную жизнь, это один из немногих образов в произведениях Толстого, в которых философский элемент составляет органически необходимую часть.

Сначала Пьер является нам настоящим европейцем, человеком, который воспитывался в Париже и проникся либеральными идеями своего времени, больше походит на француза, чем на русского, и верит в действенность внешнего, верит в необходимость свободы, хорошего государственного устройства, справедливых законов. К концу романа он постепенно освобождается от этих «заблуждений». Большое личное горе заставляет его заняться самоанализом и искать счастья там, где больше восточного квиетизма и самоуглубления — он становится масоном. Но это лишь этап в его развитии. В масонстве все же слишком силен западный элемент. Пьер находит спасение на другом пути.

В занятой французами Москве Пьера схватили и арестовали как поджигателя. На глазах у него расстреляли пятерых несчастных, таких же ни в чем не повинных людей, как и сам он. Почти чудом избежав их участи, он снова оказался в заключении. Там, сидя в темном бараке, разбитый, измученный, не в силах оторваться от страшных воспоминаний, он увидел Каратаева.

Этот-то человек и обращает Пьера, перестраивая его душу по собственному образу и подобию,— насколько душа высокоодаренного и образованного человека может быть уподоблена душе дурачка. Пьер воспринимает от него полностью восточный квиетизм, безразличие ко всем внешним обстоятельствам, как физическим, так и нравственным. Одна небольшая сцена особенно хорошо рисует его новое умонастроение. Он — пленный, угоняемый прочь от родины, тащится в арьергарде отступающей французской армии, питаясь падалью, еле передвигаясь на стертых до крови и обмороженных босых ногах, измученный так, как только может быть измучен человек людьми. Но что ему этот сарайчик, в который его запирают? Он видит небесный свод и огромный город. Все это остается в его сознании, в его душе, и все это хотят запереть в деревянном балагане. Как это нелепо, как смешно! И Пьер громко захохотал.— Ха-ха-ха! — смеялся Пьер.— Ха-ха-ха!..

Восточный факир не мог бы сильнее ощутить тщету окружающего. Обращение завершилось. Восток победил. Пьер достиг совершенства.

Другой герой романа, князь Андрей, также находит утешение и разрешение всех своих душевных тревог в восточном квиетизме. Одна из самых волнующих сцен романа, смерть князя Андрея, который приводит в ужас свою сестру и невесту отчужденностью от всего земного,— тоже дань восточной философии. Но присутствие смерти заслоняет философию, и это место остается одним из самых сильных в романе, не превращаясь в наглядное поучение.

Все же Толстой делает уступку жизни, и его герой Пьер, пережив острый приступ ориентализма, вновь становится живым среди живущих. Толстой удовлетворился тем, что показал в качестве идеала тихое семейное счастье, жизнь ради жизни, где высокие полеты юных страстей и порывов сменились скромной радостью, которую родители находят в своих детях — продолжателях рода.

В Наташе, прелестной героине романа, которую нельзя не любить, против обаяния которой не устоял даже чопорный и суровый мистер Тернер, преподаватель английского языка в Петербургском университете [19],— этот идеал находит живое олицетворение. Говоря попросту, она девушка с сильным инстинктом материнства, стремящаяся стать матерью. Это зву-

чит непоэтично, даже хуже — пошло. Но вспомните, что природа соединила любовный инстинкт с высочайшими и благороднейшими чувствами, какие способен испытывать человек. Состязаясь с природой, писатель создал свою Наташу — один из самых прелестных и привлекательных образов, порожденных творческой фантазией.

Женщины живут на свете не только для осуществления материнского инстинкта. Но этот инстинкт, несомненно, играет большую роль в их жизни, и толстовская Наташа со своими девичьими капризами, причудами и мечтами, и последующим успокоением представляется нам одним из воплощений того, что Гете назвал вечной женственностью, и — необходимо добавить, потому что все на свете несет на себе печать национальности, — типом русской или, скорее, славянской, восточной женщины. Девушка англо-саксонской расы оказалась бы более терпеливой и упорной, менее увлекающейся, словом, более похожей на Соню, чем на Наташу.

Тихая гавань, в которой после долгих бурь Наташа находит успокоение,— ее брак с Пьером и заботы о детях. Толстой совершенно доволен ею, как и Пьером, которому он отпускает немалую долю радостей цивилизованного человека и даже позволяет вернуться отчасти к старым мечтам о более широком счастье: Пьер принимает участие в движении умов, подготовившем восстание декабристов. Повествование заканчивается беглыми намеками на будущее восстание — явление, несомненно, чисто западного порядка.

Толстой менее терпим в своем следующем большом романе — «Анне Карениной». Это роман «с идеей», и мораль преподана в нем двояко: отрицательно — в истории незаконной связи Вронского и Анны, заканчивающейся самоубийством женщины и изгнанием ее злополучного соучастника, и положительно — в истории четы Левиных.

Левин начинает с того, чем кончают Пьер и Наташа,— с счастливого супружества с хорошенькой простушкой Кити, которая, впрочем, становится превосходной хозяйкой и нянькой. Но он не находит ни удовлетворения, ни покоя, и прямо несчастен — до такой степени, что он, счастливый супруг и глава благополучной семьи, думает одно время о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Как потом рассказал сам Толстой, и это, и то решение вопроса, к которому пришел потом его герой,— факты его собственной жизни [20].

Левина мучат великие тайны жизни и смерти, смысла человеческого существования. Вся его история — подготовка к постижению этих тайн. Открывает ему их крестьянин Федор, который по отношению к Левину играет ту же роль, что Каратаев по отношению к Пьеру. Его решение заключается как бы в растворении индивидуальности, гордой своей обособленностью, среди народа, в принятии ею его веры, наивной этики и бездумно передаваемых из рода в род обычаев, его бесконечного тяжелого труда как необходимого условия для душевного здоровья, для подавления волнений возбужденной фантазии и умственной гордыни.

Параллельно с этой образцовой парой нам показываются другие пары, которые не только не стремятся к постижению высоких нравственных истин, но нарушают и общепринятые нормы нравственности — либо открыто, как Анна с Вронским,— либо тайно, как Облонский и многие другие. Их отрицательный пример должен служить выявлению той же морали, которую олицетворяют положительные образы Левина и его жены. Весь роман — это проповедь, и назначение каждой части его в том, чтобы внушать как можно убедительнее те или иные моральные доктрины.

Странная вещь произошла с этим романом, печатавшимся частями в ежемесячном журнале. Это было крупнейшим событием года. Вся читающая публика упивалась романом. Но никто не заметил в нем никакой назидательной тенденции. Напротив, среди критики и читателей обозначи-

лось два лагеря: одни хвалили автора за его беспристрастие и объективность, другие порицали его за безыдейность. Это могло бы показаться невероятным, если бы не подтверждалось документальными свидетельствами [21].

Лишь когда роман вышел отдельным изданием, с этим жутким эпиграфом из Ветхого Завета и с заключительной главой, такой же сухой и наполненной философией, как приложенное к «Войне и миру» рассуждение о войне, критики и читатели заметили свою ошибку и обнаружили в романе идею. Впечатление, произведенное романом, от этого не стало, разумеется, сильнее. Могучий талант Толстого оказался его врагом. Богатство жизни, сила чувств, глубокий трагизм изображенной им драмы затмили мораль, которую он хотел преподнести. Странное и поистине трагическое положение вещей для писателя, который так стремится поучать — и так не хочет попусту развлекать своих ближних! Должно быть, ему был очень горек чисто литературный успех его романов.

Раз он не смог подчинить в себе художника пророку, естественный выход был один — бросить предательское искусство и прямо выступить с проповедью, простой, без прикрас.

Некоторые люди так устроены, что вступают в борьбу сами с собой и сами себя побеждают. Такова натура и графа Толстого.

После «Анны Карениной» он молчал несколько лет, упорно размышляя над своей неудачей, ища выхода для своих новых еретических идей, и, наконец, сбросил маску и выступил в качестве апостола новой веры. На этот раз мир прислушался — с удивлением и почтительным вниманием. Прежде в учении Толстого не хватало конкретного, личного элемента, теперь этот пробел заполнился его собственной могучей личностью, и тысячи, миллионы людей обратились к нему в надежде узреть свет истины. Толстой сделался величайшей нравственной силой в России. Его имение, Ясная Поляна, стало местом паломничества, куда стекались целые толпы посетителей, всегда находивших приветливый прием.

Визит Фрея [22].

Толстой рассказал нам трогательную историю того, как дух осенил его, как он, перечитывая Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея, воспринял вдруг столько раз повторявшиеся им прежде бездумно слова «Не противься злому» как все осветившее откровение. Он утверждает, что тогда и произошло его обращение и что в основу его учения лег принцип непротивления злу [23]. Однако, вспомнив его прежние произведения, мы уже в них найдем зародыш этого мировоззрения, хотя бы, например, в той сцене, когда Пьер расхохотался при мысли, что кто-то собирается поймать, запереть его бессмертную душу.

Счастье человека в нем самом. Внешние бедствия не имеют над ним власти. Бесполезно, поэтому, стремиться к внешним благам, обеспеченности. Не нужно ни законов, ни государства, ни судилища, ни войн...

Дальше пойти в этом направлении, кажется, было невозможно. Все же Толстой сделал еще шаг, сильно поразив сначала многочисленных своих друзей и почитателей. Я имею в виду «Крейцерову сонату». Нет смысла рассматривать ее как художественное произведение. Это проповедь в форме диалога, и с этой точки зрения следует ее воспринимать. У меня нет времени, да, признаюсь, нет и желания, обсуждать ее многочисленные недостатки и немногие художественные красоты. Я буду говорить о ней, как о нравственном трактате, и начну с того, что не разделяю всеобщего негодования, вызванного этой книгой [24]. На мой взгляд, это глубоко нравственное произведение, каждая строчка которого внушена чистейшим желанием блага людям. Я читал в оригинале полный текст, без изъятий [25]. Не скажу, чтоб мне понравилось все. В книге, действительно, есть места дурного тона. Что ж, дурной тон можно обнаружить и в проповедях

Иоанна Златоуста. Пророкам, страстно увлеченным проповедью, некогда думать об угождении ревнителям хорошего тона.

Называть можно все, что существует, говорить можно обо всем, что совершается на земле. Все дело в том, с какими чувствами и мыслями, в каких целях это говорится.

В самых безобразных страстях, описываемых в этой книге, я вижу лишь творческое воображение великого писателя. В этом смысле время, конечно, восстановит справедливость. Но я понимаю, что многие из читателей «Крейцеровой сонаты» должны были испытать смущение и недоумение, знакомясь не только с аргументацией автора, но и с выводами, к которым он приходит [26]. А ведь это — условие и необходимое следствие всей его философии. Аскетизм, презрение к жизни, безбрачие — все это естественный результат того восточного мировоззрения, которое знала и Европа и от которого она покуда только наполовину успела освободиться.

Приняв это мировоззрение, Толстой лишь завершил цикл развития, совершавшегося до него. Он сам, в своей неуклонной последовательности, открыл своим ученикам глаза на слабость своего учения.

Мы не узнаём от Толстого ничего нового. Он лишь повторяет — пусть более внушительно — то, что уже было сказано задолго до него. Он представляет собой интересное явление, но отнюдь не новую силу в современной жизни.

Пройдет немного лет, и забудут Толстого-философа, провозвестника религиозных идеалов, уводящих назад в далекое, уже чуждое нам прошлое. Но Толстой-художник, создавший произведения, благодаря которым каждый из нас живет за десятерых, останется в веках и всегда будет вызывать восторг и восхищение, возбуждать вдохновение и будить мысль.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Название «Свет России», по-видимому, дано Степняком по образцу заглавия получившей в то время большую популярность книги Э. Арнольда «Свет Азии», представляющей собой стихотворный пересказ индийских легенд о Будде («Light of Asia». London, 1879; 2 изд. — 1888).

[2] На английский язык «В чем моя вера?», «Исповедь», а также упоминаемое ниже «Краткое изложение Евангелия» были впервые переведены при участии и под редакцией В. Г. Черткова и вошли в изданный им в Англии сборник философско-этических произведений Толстого «Christ's Christianity». London, 1885.

[3] Это «забавное описание» мы встречаем в первой главе романа «За идеалом», принадлежавшего перу одного из редакторов «Русского богатства», Л. Е. Оболенского, который писал под псевдонимом — *М. И. Красов* (см. «Русское богатство», 1885, № 9, стр. 41—46). Через несколько месяцев редакция сочла нужным выступить с заявлением, что вовсе не Толстой, а образчик современного мятущегося интеллигента «выведен Л. Оболенским („За идеалом") мельком, à propos, в виде случайного пассажира в вагоне, выведен не в качестве ученого, или философа, или критика, а в качестве человека, увлекшегося одним из модных учений» (1886, № 1, стр. 215—216).

[4] В тех же книжках «Русского богатства», где печатался в 1885 г. роман Оболенского (№ 9—12), были опубликованы статьи Толстого (представляющие собой отрывки из «Так что же нам делать?») «Из воспоминаний о переписи» (№ 9, 10) и «Деревня и город» (№ 12).

[5] Имеется в виду 12-й том пятого собрания сочинений Толстого (первого выпускавшегося его женой). Он вышел в свет в апреле 1886 г.

[6] Речь идет о статье А. М. Скабичевского «Литературные итоги за 1886 год». Он писал: «Прискорбная история с двенадцатым томом, обнаружившая в гр. Л. Толстом если не лицемерие мнимого бессребреничества, то, во всяком случае, такое младенческое отрешение от всех дел и забот практической жизни, при котором ничего не стоит людям торговать идеями графа, как им бог на душу положит...» («Новости и биржевая газета» 1 января 1887 г., стр. 1).

[7] Один из «Текстов к лубочным картинкам» — «Два брата и золото» (т. 25, стр. 28—30).

[8] О размерах своего состояния Толстой упоминает не в «Исповеди» в «Так что же нам делать?» (т. 25, стр. 241).

[9] О Джордже *Кеннане* см. выше, на стр. 416—420 настоящ. тома.

[10] Уильям *Фрей* (В. К. Гейнс, 1839—1888) гостил в Ясной Поляне с 7 по 12 октября 1885 г. О своих разговорах и переписке с Толстым он рассказывал в Лондоне Степняку, с которым подружился после своего возвращения из России в 1886 г. См. об этом в «Лит. наследстве», т. 69, кн. 1, стр. 533—536. См. также в неопубликованном письме Фрея к А. М. Калинниковой (*ЦГАЛИ*, ф. 258, оп. 3, ед. хр. 141) подробности о его беседе с Толстым 9 октября 1885 г.

[11] Текст этой телеграммы в полное собрание сочинений Толстого не включен.

[12] Имеется в виду Мария Львовна *Толстая* (1871—1906).

[13] Ср. С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 147.

[14] Имеется в виду толстовская «Сказка об Иване-дураке», которая заключается словами: «У кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки» (т. 25, стр. 138).

[15] Издание дешевых книг для народа осуществлялось организованным при участии Толстого в 1884 г. и руководимым его друзьями (сначала В. Г. Чертковым, затем И. И. Горбуновым-Посадовым) издательством «Посредник». Степняк внимательно следил за работой этого издательства, составлял перечни выпущенных «Посредником» книг с указанием их тиража (*ЦГАЛИ*, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 110, лл. 2—6).

[16] Первое издание «Войны и мира» на французском языке (1877 г.), осуществленное по инициативе Тургенева, вышло тиражом в пятьсот экземпляров.

[17] Рассуждая о фатализме восточных народов, Степняк полемизирует с М. де Вогюэ (см. первую главу его книги «Roman Russe», Paris, 1886; 2 изд. — 1888), писавшим: «Остаток первобытного хаоса〈...〉, беспредельная однообразная равнина 〈...〉, снега, болота и пески〈...〉, бесконечная даль, влекущая и манящая, — вот почва, порождающая смутные мечтания о небытии, характерные для русской души» (р. 11—12).

[18] Имеется в виду тургеневское письмо к редактору газеты «XIX Siècle» о романе Толстого «Война и мир», опубликованное в этой газете 23 января 1880 г.

[19] Чарлз *Тернер* — автор нескольких учебников английского языка и пособий по английской литературе для русских, писал также для англичан книги о русской литературе. Здесь речь идет о сочинении Тернера «Count Tolstoi as Novelist and Thinker» («Граф Толстой как писатель и мыслитель». London, 1886), где сказано: «Младшая дочь Ростовых, Наташа, даже совершая по легкомыслию весьма серьезные ошибки, не лишается все же нашей симпатии, и у нас не хватает духа осудить ее» (р. 70—71).

[20] См. четвертую главу «Исповеди», т. 23, стр. 12—15.

[21] «Документальными свидетельствами» Степняк называет отклики прессы на печатавшийся роман Толстого. Так, анонимный автор критического фельетона в журнале «Дело» писал: «Если роман понимать как бесцельную, хотя и занимательную сказку, в которой блестящая форма наполнена содержанием личных эстетических вожделений автора, то появление подобных произведений должно служить знамением нравственного упадка. Роман „Анна Каренина“, несмотря на все восхваления его, как раз именно принадлежит к числу подобных произведений, и его прославленный автор относится именно к числу художников, способствующих понижению нравственного уровня в обществе 〈...〉 Его художественный объективизм не смущается самою пошлою пошлостью и самою пустейшей пустотою избранного им обеспеченного мира...» («Дело», 1875, № 5, стр. 13—42). Отголоски подобных высказываний Степняк находил также в более поздних статьях М. С. Громеки — «Последние произведения графа Л. Н. Толстого» («Русская мысль», 1880, № 2—5), А. М. Скабичевского «Разлад художника и мыслителя» («Русское богатство», 1880, № 1), Р. А. Дистерло «Граф Толстой в его художественных произведениях» («Неделя», 1886, № 1, 21, 23, 25, 28, 36) и др.

[22] Рассказ о посещении Толстого Фреем, давно уже обдуманный и сложившийся, Степняк намеревался перенести сюда из своей статьи «Свет России» — см. выше, стр. 549—555.

[23] См. гл. 1 «В чем моя вера?» (т. 23, стр. 306—312).

[24] В черновом наброске Степняк писал по-русски: «Роман произвел целую бурю негодования. По-моему, самое худшее, что можно сказать, — это — что не артистичен» (*ЦГАЛИ*, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 126, л. 63).

[25] Американские и английские издатели в угоду требованиям буржуазно-пуританской морали в течение ряда лет публиковали «Крейцерову сонату», а позднее и «Воскресение» в сильно урезанном виде.

[26] В черновом наброске Степняк писал по-русски: «Благородная цель — мужская чистота, и для семейной жизни, и для будущих поколений, но Толстой пересолил и дошел до идеалов монастырских» (там же).

ЯПОНСКИЙ СОЦИАЛИСТ О СТАТЬЕ «ОДУМАЙТЕСЬ!»

СТАТЬЯ КОТОКУ СЮСУЯ ИЗ «ХЭЙМИН СИМБУН»

Сообщение Г. Д. Ивановой

7 августа 1904 г. в № 39 японской социалистической газеты «Хэймин симбун» появилась статья известного японского публициста Котоку Сюсуя (1871—1911)*, представлявшая собой ответ на памфлет Толстого «Одумайтесь!», который стал известен в Японии через несколько дней после появления его в лондонской газете «Times» от 27 июня 1904 г. Лидеры японского социалистического движения тех лет, Котоку Сюсуй и Сакай Тосихико, тотчас же перевели его на японский язык и опубликовали в своей газете, являвшейся органом антимилитаристского движения в Японии периода русско-японской войны. Через некоторое время перевод этого произведения Толстого вышел отдельной книжкой в издательстве «Буммэйдо».

Известно, что японские социалисты в этой войне занимали пораженческую позицию. Они проводили большую антимилитаристскую кампанию, устраивали митинги — не только в столице, но и в провинции, разъезжая с этой целью по всей стране. В разгар войны с Россией они послали на Амстердамский конгресс Катаяма Сэн, который произнес речь о необходимости свергнуть милитаристские правительства Японии и России и пожал руку Плеханову. Письмо с выражением солидарности они прислали в центральный орган РСДРП — газету «Искра» (см. «Искра», 1.5 1904, № 65).

Котоку Сюсуй писал в своих статьях, что если господствующим классам Японии и России есть из-за чего воевать, то пусть они и воюют, а народам этих стран делить нечего. Он поместил в «Хэймин симбун» карикатуру, на которой японский и русский солдаты пронзают друг друга штыками, а представители «высшего общества» России и Японии чокаются бокалами, наполненными кровью.

«Да здравствует русская социал-демократия, заявившая протест против войны!» — говорилось в одном из номеров газеты «Хэймин симбун».

Вполне понятно, что памфлет Толстого, в котором он резко выступил против войны, получил большой резонанс в прогрессивных кругах Японии. Толстовская критика царизма и господствующих классов вызывала восхищение. Вместе с тем японские социалисты осуждали и отвергали позитивную позицию Толстого — позицию борьбы за мир исключительно средствами моральных призывов «одуматься».

Свое восхищение силой и глубиной критицизма Толстого, солидарность с его идеями и вместе с тем неудовлетворенность предлагавшимися им мерами избавления от войн на будущее Котоку Сюсуй от имени японских социалистов и выразил в статье, переведенной автором настоящего сообщения по тексту книги: «Гэндай нихон бунгаку дзенею», т. 39. Токио, 1930, стр. 203—205.

---

* Подробно о Котоку Сюсуе см. в обзоре Н. И. Конрада «Толстой в Японии» в кн. 2-й настоящ. тома. — *Ред.*

КРИТИКА ПАЦИФИЗМА ТОЛСТОГО

I

В прошлом номере нашей газеты была опубликована статья Толстого о русско-японской войне. Какие чувства вызвала она у читателей? Нашим первым порывом было безграничное восхищение уже одним тем беспрецедентным фактом, что это произведение принадлежит перу человека, которому в нынешнем году исполняется семьдесят семь лет. А его стиль! Разве может не взволновать человека его стиль, полный энергии и блеска (мы глубоко сожалеем, что не смогли передать его слог в нашем неумелом переводе), стиль, служащий выражением возвышенной и великой идеи, стиль, в котором каждое слово идет из глубины души, каждая фраза написана кровью сердца, стиль, озаряющий все вокруг, как мощный поток лучей, стиль, подобный огню и цветку? Когда мы читали этот трактат, казалось, что мы слышим голос древнего мудреца или пророка.

II

Но что более всего в этом трактате вызывает наше благоговейное восхищение, так это смелость, с которой он критикует духовное и материальное состояние общества во время войны, смелость, с которой он прямо говорит о том, о чем до него не смели сказать сто тридцать миллионов русских и сорок пять миллионов японцев; смелость, с которой он прямо пишет о том, о чем до него никто не отваживался писать.

Посмотрите! Он пишет о разброде и шатаниях среди молодежи, о прислужничестве ученых, о лжи дипломатов, о нравственном падении верующих, о лживой пропаганде газетных корреспондентов, о спекуляциях с целью наживы, о муках и бедствиях миллионов рабочих,— словом, обо всех тех социальных опасностях, которые порождают зло и вред войны.

Кто сравнится с Толстым проницательностью взора? Кто сравнится с ним остротою пера? Кто еще способен написать так ясно, кто еще способен написать так смело? Разве не развертывает он перед нами живую картину общества военного времени? И эта картина, действительно, отражает нынешнее состояние обеих стран — Японии и России. Их действительное состояние.

Сколько бы ни воспевали войну, сколько бы ни восторгались ею, как бы ни оправдывали и ни поощряли ее, все же вряд ли найдется кто-нибудь, кто станет отрицать, что войны порождают зло, вред и бессмысленные жертвы. Потому что даже те, кто развязывает войну, сталкивается с подобными явлениями на каждом шагу. Разжигая военный психоз, они стараются усыпить свою совесть, стараются пройти мимо этих фактов, замолчать их; и, что еще хуже, стараются прикрыть и замазать их. Но факты, несмотря ни на что, властно находят четкое и бесстрашное отображение, как вот сейчас у Толстого.

Как можно после этого не осознать факты со всей отчетливостью? Как можно не одуматься, не залиться краской стыда? Мы верим, что в этом смысле трактат Толстого послужит отличным лекарством, что он пробудит уснувшую у многих совесть. Именно с этой целью мы перевели его и сделали достоянием широкой публики.

III

Однако, если мы слепо пойдем за всеми утверждениями Толстого, мы совершим большую ошибку. Когда Толстой разоблачает зло, вред и все социальные недуги, причиняемые войной, мы не можем не восхищаться. Но как только мы подходим к вопросу о том, каким образом это зло, вред



САТИРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК НА РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ

Карикатура неизвестного японского художника

Над карикатурой: «Русское и японское высшее общество пьют за здоровье друг друга». Сверху у флажка: «Манчжурия»; на столбиках справа и слева: «России вход запрещен», «Японии вход запрещен». На миске: «Блюдо простых людей». Под миской: «Корея».

Газета «Хэймин симбун» от 20 марта 1904 г.

и недуги излечить и предупредить на будущее, мы, к сожалению, расходимся с Толстым во взглядах.

Излагая причины возникновения войн и методы избавления от них, Толстой использует все свое красноречие, свой полемический дар, высокое мастерство убеждения. Но смысл его рассуждений о причинах войн сводится к тому, что человечество утратило истинную веру; и, значит, для того, чтобы избавиться от войн, надо заставить людей одуматься, заставить их жить согласно божественному велению, т. е. любить ближнего своего, делать другим то, что ты хочешь, чтобы они делали тебе.

Но ограничиться этим — значит оставить все надежды! Потому что это все равно, как если бы на вопрос о способе разбогатеть, ответили бы: «Достать денег!». Разве может такой ответ что-либо разрешить? Разве не ставит он вместо одного вопроса другой? Мы глубоко сожалеем, что для великого старца это осталось неясным.

Мы не утверждаем, что религия не нужна, что от нее вред. Но если человек жив не хлебом единым, то он не может жить и одной Библией. Человек, лишенный души, подобен мертвецу, но он не может жить и отрешив-

шись от плоти. До проповедей ли тому, у кого нет на обед горсти риса?! Современные люди — не дикари, но одним лишь призывом «Одумайтесь!», сколько бы миллионов лет он ни звучал, ничего не достигнуть. До тех пор, пока не изменятся условия жизни, пока все не будут одеты и сыты, взаимное истребление и побоище будут продолжаться, как прежде.

Мы, социалисты, тоже против войны, но наши методы избавления от нее более определенны. У нас есть на этот счет цельная теория и практический план. С нашей точки зрения, ныне международные войны происходят не от того, что, как утверждает Толстой, люди забыли учение Христа. Причину войн следует искать в обострении экономической конкуренции между державами...*

Толстой видит причину войн в нравственном падении человека. Поэтому он хочет спасти от них призывом «Одумайтесь!». Мы, социалисты, причиной войн считаем экономическую конкуренцию. Поэтому мы хотим избавиться от них путем уничтожения экономической конкуренции. В этом мы кардинально расходимся с великим старцем.

IV

Таково различие в наших взглядах. Но каждое слово старца идет из сокровенной глубины его души, каждая фраза написана кровью сердца. Он не боялся говорить прямо, не связывал себя мнением отдельных группировок. И даже сам русский царь не посмел тронуть его пальцем. Его трактат моментально был передан по телеграфу во все уголки мира. Да! Толстой — это поистине титаническая фигура нашей эпохи!

---

* Далее — большая купюра, сделанная японской цензурой. — *Ред.*

ГЕОРГ БРАНДЕС О ТОЛСТОМ

ЗАБЫТАЯ СТАТЬЯ В РУССКОЙ ГАЗЕТЕ

Сообщение М. Д. Моричевой

Известный датский критик и общественный деятель Георг *Брандес* (1842—1927) выступил в 1870-х годах глашатаем нового литературного направления, оказав большое влияние на развитие не только датской литературы, но и литератур других скандинавских стран. Его смелые публицистические выступления были проникнуты пафосом борьбы с политической и религиозной реакцией того времени. Хотя Брандес в вопросах эстетики стоял на позитивистских позициях, его критические статьи и выступления помогли становлению реалистического направления в скандинавской литературе, которая вплоть до последней четверти XIX в. развивалась под знаком романтизма.

Брандесу принадлежит большая заслуга в знакомстве скандинавской общественности с передовой русской культурой.

В 1887 г. Брандес посетил Россию, где прочитал на французском языке цикл лекций о литературе. Он побывал в Петербурге, Москве и Смоленске. Результатом его поездки явилась книга «Россия. Наблюдения и размышления» (1888), содержащая также серию очерков о русских писателях под общим заглавием «Литературные впечатления» — своеобразная краткая история русской литературы от Ломоносова до Толстого.

Хотя очерки и статьи о русских писателях не лишены присущих Брандесу ошибок позитивистского толка, они все же имели огромное значение для знакомства скандинавских стран с русской литературой и ее прогрессивными явлениями и содействовали распространению влияния русской литературы в Западной Европе.

Творчество Толстого не раз привлекало внимание датского критика. В своих «Литературных впечатлениях» он посвятил ему большую главу, называя Толстого «последним великим реалистическим бытописателем и мечтателем России» (Г. Брандес. Собр. соч., т. 19. СПб., 1913, стр. 262. См. также «Русские ведомости» от 28 августа 1908 г.).

В 1910 г., к восьмидесятидвухлетию великого русского писателя, Брандес написал статью «Лев Толстой», которая позже вошла в сборник его критических работ «С птичьего полета», изданный в 1913 г. (G. Brandes. Fugelperspektiv. Kφbenhavn og Kristiania, 1913). Эта статья, несколько переделанная и расширенная, легла в основу другой статьи, написанной Брандесом по просьбе редакции газеты «Русское слово». Под заглавием «Толстой как критик» статья была опубликована в этой газете 17(30) ноября 1910 г., в виде некролога, хотя написана она была еще до ухода и смерти Толстого.

Брандес пытался охарактеризовать в статье личность Толстого только в одном плане — как критика произведений выдающихся зарубежных деятелей литературы и культуры прошлого, но далеко вышел за пределы заданной себе темы.

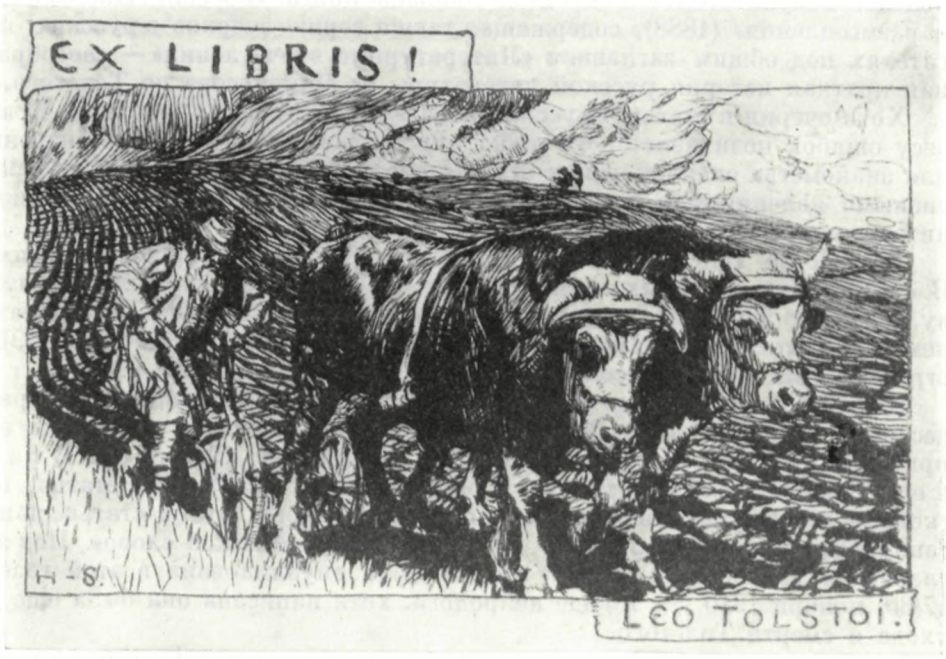
«Когда редакция „Русского слова“ оказала мне честь, обратившись с просьбой дать для нее статью о Толстом,— писал Брандес,— я думал, что напишу эту статью в несколько дней, ведь я в течение ряда лет читал почти все, что писал великий человек, часто размышлял о нем, не раз писал о нем. Однако понадобились целые недели.

Когда я начал вспоминать свои впечатления от прочитанного, они оказались не в достаточной степени яркими, и я, почувствовав необходимость освежить их в своей памяти, перечитал снова сочинения Толстого. Но по мере того, как я читал одно произведение, у меня являлось желание углубиться в другое, новое, и вот мало-помалу я очутился перед целой горой книг. Некоторые привлекали меня, другие отталкивали.

Но в целом теперь мне стало казаться гораздо более трудным, чем когда я только ограничивался смутными воспоминаниями,— выступить в роли судьи этой гигантской фигуры. Ее мощь чувствуется тем более сильно, чем более проникаешь во внутреннюю связь всей ее деятельности. Я чувствовал, насколько я мал в сравнении с ее значением.

Льву Толстому принадлежит первое место среди современных писателей. Никто не внушает такого чувства почитания, как он, может быть, можно сказать: никто, кроме него, не внушает этого чувства почитания. Когда при первом присуждении Нобелевской премии она была дана благородному и тонкому, но второразрядному поэту [1], все лучшие шведские авторы послали за своими подписями Льву Толстому адрес, в котором протестовали против такого присуждения этого отличия [2]. Само собой чувствовалось, что оно должно было принадлежать только одному — величайшему писателю России, за которым они единогласно и признавали право на эту премию.

И этот адрес вовсе не был случайностью.



ЭКСЛИБРИС ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ ТОЛСТОГО
Гравюра немецкого художника Пауля Горст-Шульце
«Искры» 1910, № 8

«ТОЛСТОЙ И ЦАРЬ»

Карикатура неизвестного художника

Шведская газета «Aftonbladet» от 29 июля 1908 г. (карикатура перепечатана из швейцарского журнала «Nebelspalter»)



Tolstoj och tsaren.

Да, Толстой внушал чувство почитания обширной деятельностью своей долгой жизни, в течение которой он никогда не отдыхал, своим почтенным возрастом, своим гением, который дал Европе и Америке живую русскую природу и живых русских людей прошлого и настоящего времени, своим сочувствием участи бедных и страждущих, наконец, независимостью своего духа, своим самостоятельным отношением к традициям и результатам, перед которыми преклоняются лишенные самостоятельной мысли, и своим мужеством, с которым он подвергал беспощадной критике всякую власть. Такое сочетание интеллектуальных и моральных данных достаточно редко, оно само по себе импонирует. Толстой внушал скорее почтительное удивление, *чем любовь*.

Толстой живет теми же чувствами, как и его народ, и, благодаря этому, по мере нашего знакомства с ним, он встает перед нами как живое воплощение духовного облика ста миллионов людей. Хотя и иностранцам прекрасно известно, что, быть может, только незначительное меньшинство образованной России разделяет основные взгляды Толстого; хотя его писания известны только незначительному меньшинству необразованной России, однако в его личности есть нечто, указывающее, что в будущем за ним будет Россия. Он так представителен. Вспомните известную картину Репина, где он идет за плугом. В нем нельзя найти ничего, что напоминало бы графа, природного дворянина. Толстый нос и массивные челюсти, это — черты русского крестьянина. Но какой это удивительный крестьянин! Это — крестьянин-мыслитель, герой, гений, цивилизатор. В рассказах Геродота о скифах далекой древности есть миф о младшем

сыне главы рода Колаксаисе — князе плуга. В былинах рассказывается о Микуле Селяниновиче с чудесным плугом. Толстой напоминает скифского принца Геродота; он — тоже князь плуга; он напоминает Микулу, героя землепашцев, ведущего свою благословенную полосу по безграничной русской равнине. Он напоминает также Илью Муромца, который вновь, через тысячу лет, в его лице возделывает русскую землю, он, который сильнее своей судьбы, шел по пути к богатству, не богатея, и совершенно слился с основной русской идеей общественности („мира").

Можно допустить, что и какое-нибудь маленькое государство могло бы произвести дух, столь же великий, как Толстой,— так и было в Норвегии, давшей Ибсена. Но последний не может казаться духовному взору столь мощным; ведь Норвегия по пространству, народонаселению и по мировому значению так мала в сравнении с Россией. Отношение между этими двумя фигурами, приблизительно, то же, что между дипломатическим представителем маленького государства и представителем великой державы при императорском дворе. Пусть первый будет лично так же одарен,— он невольно останется в тени возле второго...»

Утверждая, что Толстой «разбудил к мысли великий русский народ», Брандес закончил свою статью словами, признающими огромное воздействие Толстого на развитие всей мировой культуры: «Общий итог его жизни есть и будет: Толстой — мировая сила».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Имеется в виду Сюлли Прюдом.
[2] См. стр. 121 настоящ. тома.

ЖАН ЖОРЕС О ТОЛСТОМ

ДОКЛАД В ТУЛУЗЕ

Сообщение Н. Д. Эфрос

Доклад о Толстом, произнесенный Жаном Жоресом в Тулузе 9 февраля 1911 г., указывается французскими библиографами среди основных речей и статей знаменитого французского социалиста и трибуна (см., например, Georges Têtard. Essais sur Jean Jaurès, suivis d'une bibliographie méthodique et critique. Colombes, 1959, p. 185—187).

Текст доклада сохранился в стенографической записи, напечатанной на другой день после выступления Жореса в тулузской газете «Midi Socialiste». Стенограмма появилась затем в мартовском номере журнала «Revue Socialiste» за 1911 г.; в том же году вышла вместе с речью Анатоля Франса о Толстом (см. в настоящ. томе на стр. 126—130) отдельным изданием (Anatole France. Jean Jaurès. Deux discours sur Tolstoï. Paris, ⟨1911⟩), а в дальнейшем перепечатывалась в сборниках избранных сочинений Жореса.

Кроме доклада, прочитанного в Тулузе, известно еще одно выступление Жореса о Толстом*— статья, напечатанная в «Humanité» 18 ноября 1910 года. Это выступление связано со смертью Толстого, посвящено памяти писателя и дает сжатую характеристику его личности и творчества (см. в кн.: Б. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого. М.— Л., 1960, стр. 323—324 и в полный текст обзоре Л. Р. Ланского. Уход и смерть Толстого в откликах иностранной печати, кн. 2-я настоящ. тома).

В противоположность этому краткому высказыванию, тулузский доклад содержит развернутое изложение мыслей Жореса о Толстом. Однако он до сих пор не привлек к себе внимания наших исследователей, за исключением Т. Л. Мотылевой, сославшейся на него в статье «Мировое значение Льва Толстого» («Советская книга», 1946, № 1, стр. 41).

В переводе на русский язык доклад печатается впервые.

* * *

С сообщением о Толстом Жорес выступил в пользу тулузских железнодорожников, лишившихся работы за участие во всефранцузской железнодорожной забастовке, происходившей в октябре 1910 г. и жестоко разгромленной правительством, возглавлявшимся Аристидом Брианом.

Доклад был прочитан на литературном утреннике в помещении театра «De Variété». В программу утренника входил также показ инсценировки романа Толстого «Воскресение».

---

* Впрочем, многочисленные статьи и речи Жореса, рассеянные в периодической печати, все еще остаются не собранными, и полное собрание его сочинений до сих пор не увидело света. Не опубликована и значительная часть его переписки. Таким образом, здесь не исключены любопытные находки.

По свидетельству современников, выступление Жореса явилось подлинным событием местной жизни, вызвало самый широкий интерес и прошло с исключительным успехом. Огромный зрительный зал театра, писала газета «Midi Socialiste», был переполнен желающими «услышать мысли великого Толстого в трактовке величайшего оратора современности». Здесь можно было видеть «представителей всех классов тулузского общества — знатных аристократических дам, военных высших чинов, множество судейских, адвокатов, весь преподавательский персонал округа», и все они «наравне с рабочими аплодировали Жоресу». Послушать его съехалось много народу из Бордо, Каркассона и других, расположенных по соседству городов. Билеты были заранее раскуплены, и продажа их дала превосходный сбор («Midi Socialiste», 10 февраля 1911 г.).

Успех доклада подтверждает и другая тулузская газета. Речь Жореса, сообщает она, «неоднократно прерывалась шумными аплодисментами и возгласами одобрения» («Dépêche, 10 февраля 1911 г.).

Венсан Ориоль, будущий президент Французской республики, тогда редактор «Midi Socialiste», ученик и друг Жореса, вспоминает: «Как сейчас вижу его 〈Жореса〉 в 1910 г.* выходящим из поезда на вокзале в Тулузе, куда он приехал прочесть доклад о Толстом в пользу уволенных железнодорожников: в одной руке — маленький чемоданчик, в другой — четыре книжки, в которых пальцами были заложены страницы. Мне не удалось отобрать у него чемодан.— «Это угодливость»,— говорил он; а тем более книги — он боялся потерять отмеченные места. На другой день, во время прогулки, он занимал нас — своего юного племянника и меня — беседой о Толстом, а вернувшись к себе, в один присест набросал на десяти листах большого формата план и основные положения своего доклада. Несколько часов спустя, не пользуясь ни единой записью, он произнес свою речь — подлинный шедевр. И когда, толкуя стих псалма, весь отдавшись порыву, словно увенчанный сияющим ореолом, преображенный, он бросил свои заключительные слова, то так увлек всю громадную аудиторию, что стенографы в оцепенении остановились... Две жалкие, сымпровизированные ими строчки заменили в их тексте этот блистательный абзац.

Мне нужно было в тот же вечер напечатать речь в нашей газете, и я немедленно разыскал Жореса и попросил его восстановить заключительные слова. Он отказался, сославшись на то, что никогда не правит своих корректур. «Это уже конченное дело»,— заявил он. Затем, уступив, зачеркнул обе строчки и, не задумываясь, твердым почерком заполнил четыре больших страницы, где слово в слово оказалось воспроизведенным всё, что мы перед тем слышали» («Jean Jaurès présenté par Vincent Auriol». Paris, 1962, p. 3—4).

* * *

Известно, что Жорес славился исключительным знанием мировой классической литературы. Большой интерес проявлял он также и к творчеству современных ему писателей. «Несмотря на чрезвычайную занятость парламентской работой, на почти ежедневные статьи в „L'Humanité", на участие в многочисленных социалистических митингах, конгрессах и т. д., у Жореса оставалось время следить не только за французской, но и за всей европейской литературой»,— вспоминает М. П. Вельтман (М. П а в л о в и ч. Смерть Жореса. Из дневника эмигранта. Пг., 〈1916〉, стр. 19).

Среди писателей-современников, привлекавших внимание Жореса, его биографы рядом с Анатолем Франсом и Золя прежде всего называют Толстого. Но, причислив Толстого к любимым писателям Жореса, биографы этим и ограничиваются. В литературе о Жоресе мы не найдем анализа его отношения ни к творчеству Толстого в целом, ни к отдельным

* Описка или ошибка мемуариста. Речь была произнесена в 1911 г. — *Н. Э.*



ТОЛСТОЙ

Рисунок бельгийского художника Франса Мазерееля (тушь, белила), 1910 г.
С дарственной надписью: «Дружески Павлу Бирюкову Франс Мазереель. Май 1917 г.»
Музей Толстого, Москва

произведениям русского писателя. Отсутствуют и его оценки общественно-политических воззрений Толстого. Сам Жорес лишь вскользь касается этих вопросов в своих выступлениях, посвященных Толстому. Между тем его точка зрения как политического деятеля и социалиста в данном случае особенно интересна. Нам представляется, что материалом для суждения здесь могут до известной степени служить публикации о Толстом в газете «Humanité» в период редакторства Жореса* (см. об этом ниже в нашей заметке: «Толстой на страницах „Humanité“).

Характеризуя отношение Жореса к России, исследователи его жизни и деятельности отмечают резкое различие оценок, которые он давал русскому правительству и русскому народу. Подвергая суровой критике царя и самодержавный режим, он с неизменной симпатией отзывался о русском народе. Начиная с 1903—1904 гг., почти каждое упоминание о нем Жорес сопровождал эпитетом «великий», «героический» и т. п. и предсказывал ему «блистательное будущее» (см.: Félicien Challaye. Jaurès. Paris, 1948, p. 62; Жорес. Царизм и погромы. Неизданная во Франции речь. Перевод с французского. 2-е изд. Пг., 1917, стр. 12. Речь была произнесена весною 1903 г. в Париже на митинге-протесте по поводу Кишиневского погрома). Незадолго до смерти Жорес высказывал желание изучить русский язык (см. Louis Levy. Anthologie de Jean Jaurès. Paris, 1946, p. XVII).

Большая положительная роль, которую сыграли русские писатели, и, в особенности, Толстой, в пробуждении на Западе интереса к России,— хорошо известна. Можно думать, что и Жорес своей симпатией к России в какой-то степени обязан Толстому.

* * *

В связи с темой «Жорес о Толстом» возникает вопрос: что знал о французском социалисте автор «Воскресения».

Толстой знал о Жоресе и по его парламентским выступлениям, и по участию в деле Дрейфуса; есть сведения, что он читал его книгу: «Etudes Socialistes» (Jean Jaurès. Etudes Socialistes. Paris, 1902). Он упомянул Жореса в статье «Единственное средство» и в «Письме к революционеру», в обоих случаях назвав его имя как нарицательное, рядом с именами основоположника научного социализма и вождями международного рабочего движения. «Рабочий 〈...〉,— пишет Толстой,— знает Маркса, Лассаля, следит за деятельностью Бебелей, Жоресов» (т. 34, стр. 268), и в другом месте: «...горы книг написаны и пишутся Марксами, Жоресами, Каутскими 〈...〉, о том, каким 〈...〉 должно быть человеческое общество» (т. 38, стр. 265).

Но, причислив Жореса к виднейшим социалистам, признавая его роль и значение, Толстой относился к нему с тем недоверием, какое вызывали у него все политические деятели. Поль Буайе, французский ученый-славист, бывавший в Ясной Поляне и оставивший записи бесед с Толстым, передает следующее высказывание Толстого от 21 сентября 1902 г.: «На днях я читал статьи и речи Жореса, вышедшие отдельным сборником, чего только нет в них! Тут и рабочий вопрос, и сахарная конвенция, и Гаагская конференция. Тут решительно все и ровно ничего. Должно быть талантливый оратор этот Жорес. Мне кажутся забавными претензии социалистов провидеть будущее» («Биржевые ведомости», 1902, № 291, 25 октября. «У Л. Н. Толстого» — перевод статьи П. Буайе, напечатанный в «Temps» 4 ноября н. с. 1902 г. Цит. по т. 54, стр. 493. См. также Paul Boyer. Chez Tolstoï; entretiens à Jasnaïa Poliana. Paris, 1950, p. 55).

* Т. е. со дня основания газеты 18 апреля 1904 г. по день трагической гибели трибуна — 31 июля 1914 г.

Отрицательное суждение о Жоресе Толстой высказал более решительно два года спустя другому французскому посетителю — журналисту Жоржу Бурдону. Разговор происходил в марте 1904 г. в начале русско-японской войны. В воспоминаниях о пребывании в Ясной Поляне Бурдон рассказывает, что в одном из разговоров Толстой затронул вопрос об отношении социалистов к войне. Он утверждал, пишет Бурдон, что «социалисты не отрицают по-настоящему войны〈...〉, не освободились, как следует, от древнего воинственного инстинкта. Как только дело коснется патриотических интересов, их не отличишь от буржуа». Возражая Толстому, Бурдон говорил о неподдельном миролюбии французских социалистов, ссылался на речи Жореса, на замечательные душевные качества трибуна, его безупречную честность, на мужество, с каким он защищает дело мира, несмотря на оскорбления и нападки, которым подвергается не только со стороны правых, но и со стороны левых. Но все это не убедило Толстого. «Толстой,— продолжает Бурдон,— качает головой: „Слова, одни слова.... Стоит так называемому патриотическому вопросу завтра встать перед французским парламентом〈...〉, стоит только разгоряченному общественному мнению высказаться в пользу войны〈...〉, Жорес не устоит и будет голосовать вместе с теми, кто сегодня смешивает его с грязью“». А на реплику Бурдона, что Жорес как политик должен считаться с реальной обстановкой, сказал: «Каждый политический деятель поневоле является оппортунистом. В этом-то и главная беда»,— и безнадежно махнул рукой (Georges B o u r d o n. En écoutant Tolstoï. Paris, 1904, p. 68—71. Русский перевод см. в кн. 2-й настоящ. тома.)

* * *

Свое выступление в Тулузе Жорес посвятил преимущественно характеристике этических и социальных идей Толстого, а также общей оценке его личности и взглядов с точки зрения основных вопросов демократии и социализма. Толстой, говорит Жорес, «оказал воздействие на умы и жизнь всех народов», но сила, которой «он покорил человечество», кроется не столько «в огромном творческом его наследии», сколько «в его сложной, возвышенной личности». В Толстом, утверждает оратор, «люди чувствовали, что он «больше и лучше, чем только писатель 〈...〉, художник 〈...〉, мастер слова, непревзойденный творец человеческих образов», в нем чувствовали человека, которого «терзала мысль о судьбах людей».

Жорес останавливается на духовном— «мистическом», как он его называет, кризисе, пережитом Толстым в 1880-е годы. Он оспаривает мнение, будто этот кризис был чем-то неожиданным, внезапным. Желание «постичь смысл жизни», «сообразовать свое поведение с высшим идеалом», «страстная, непримиримая любовь к правде», указывает он, пробудилась в Толстом еще в юношеском возрасте. Элементы, определившие духовный переворот Толстого, «как соль в океане», по образному выражению оратора, всегда составляли неотъемлемую особенность душевного склада великого писателя. Кризис не внес ничего нового, а лишь наглядно выявил и обострил эти элементы. Жорес подчеркивает первостепенную роль «нравственных проблем» во всех художественных произведениях Толстого, начиная с самых ранних. Толстого «неизменно привлекала душа человека», которую он «никогда не принижает», сохраняя «уважение и веру даже к падшему человеку». Жорес обращает также внимание слушателей на «страстное жизнелюбие» Толстого, сосуществующее с «готовностью пожертвовать собою ради других».

Рядом с основной темой в докладе затронуты и некоторые частные. Так, Жорес отмечает особое место, которое занимает у Толстого изображение леса, сравнивает описание внешнего мира у Толстого и французских писателей — Бальзака, Жорж Санд, Флобера и Золя.

Переходя к анализу религиозно-философского учения Толстого, оратор прослеживает путь мучительных исканий, итогом которых явилось это учение. Однако Жорес далек от исторического осмысления взглядов Толстого. К их характеристике он подходит в основном с точки зрения личности писателя и его психологии. В основе толстовского мировоззрения лежит, по определению Жореса, «ясно выраженная идея всеобщей любви и всеобщего братства», но теории Толстого, говорит он, страдают «чрезвычайной противоречивостью». В них сочетаются «бунт и смирение», «новаторство и рутинерство», «революционное и традиционное христианство». В особенности же противоречиво отношение Толстого к народу. Несмотря на всю любовь к нему, Толстой, утверждает докладчик, «отвернулся бы от народа, если бы тот ⟨...⟩ отказался от пассивного сопротивления, которое он хочет ему навязать».

Жорес считает социальное учение Толстого нежизненным*, а его огульное, как он думает, отрицание цивилизации и науки — неприемлемым.

«В великом ораторском искусстве Жореса нет ни малейшего элемента „искусства для искусства“,— пишет французский исследователь Луи Леви.— Речи Жореса лишены всякой аффектации, литературного кокетства. Единственная цель, которую преследует оратор,—это „убедить своих слушателей“. Каждая речь для него— „реальное дело“» (Louis L e v y. Anthologie de Jean Jaurès, op. cit., p. XXIV). Ту же задачу ставит перед собою Жорес в речи о Толстом. Сказанное в ней — не только теоретические размышления и не просто дань памяти и признания любимому писателю. Жорес связывает свою характеристику личности и учения Толстого с пропагандой того дела, которому посвятил собственную жизнь,— дела «установления нового, более справедливого общества».

Наследник и продолжатель в новых исторических условиях традиций французского гуманизма, Жорес придавал большое значение моральным факторам борьбы за общественный прогресс, за торжество идей социализма. Вот почему так дорог и близок был ему Толстой, его нравственные искания. Несмотря на «попутно сделанные мною критические замечания и оговорки,— говорит Жорес,— все мы „должны быть бесконечно благодарны человеку ⟨...⟩, который напомнил нам о моральном смысле и значении жизни“, который видел этот смысл „в простоте и чувствах товарищества“». По словам оратора, проповедник мира и любви, Толстой, предсказывает неминуемую гибель современного общественного строя, который падет «не только в результате гневных требований угнетенных, но и в результате глубокого возмущения людей с благородной душой». В заключение Жорес обращается ко всей многочисленной аудитории, ко всем «людям доброй воли», как мы сказали бы сейчас, с призывом прислушаться к голосу Толстого.

Выше мы привели свидетельства современников об огромном впечатлении, которое произвело тулузское выступление Жореса. Разумеется, успеху доклада способствовало замечательное ораторское искусство прославленного трибуна. Но и стенографическая запись сохранила оригинальность его мыслей и изящество их изложения. Сказанное Жоресом о Толстом, незаслуженно забытое исследователями, должно занять свое место в литературе о великом писателе.

---

* Попутно укажем, что Жорес упомянул о социальном учении Толстого и в другой связи. В докладе на тему «Социальные идеи великих писателей-романистов XIX века», прочитанном также в Тулузе 12 февраля 1914 г., он говорит: «Романы Толстого насыщены религиозной и социальной мыслью. Но поскольку он ограничивался своего рода мистическим аскетизмом, из его мысли трудно сделать какие-либо определенные выводы». Доклад известен по отчету, напечатанному в газете «Dépêche de Toulouse» 13 февраля 1914 г. (См. также статью «Jaurès—Critique Littéraire»—«Revue Socialiste». Paris, 1964, № 175, p. 208).

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ДОКЛАД, ПРОИЗНЕСЕННЫЙ ЖАНОМ ЖОРЕСОМ В ТУЛУЗЕ 9 ФЕВРАЛЯ 1911 г.*

Милостивые государыни, милостивые государи!

Если бы я захотел раскрыть или хотя бы попытаться раскрыть в предоставленное мне ограниченное время весь смысл творчества и воззрений Льва Толстого и всю сложность его жизни, я оказался бы в крайне затруднительном положении. Творческое наследие Толстого громадно, особенно же сложна и возвышенна его личность. Этот человек, оказавший воздействие на умы и на жизнь всех народов, был и навсегда остался славянином и, прежде всего, до глубины души русским; его идеи не укладываются в рамки идей западного мира. И хотя он пробуждал в людях самые благородные чувства, ни одна религия, ни одна партия или класс не могут считать его полностью своим. Основой его учения была идея вселенской любви и всеобщего духовного единения, но вся жизнь его прошла в гордом и неприступном одиночестве. Толстой — христианин-революционер, но революционер, боровшийся против всех организованных революционных партий, христианин, восставший против чудес и против церкви. В известном смысле он дерзновенный новатор, рядом с которым даже революционер-социалист кажется иной раз робким рутинером. И в то же время по многим особенностям своего умственного и духовного склада он принадлежит к людям прошлого и невольно наводит на мысль о представителях некоторых мистических сект первых веков христианства, например, о монтанистах, которые, возвещая близость второго пришествия Христа, порывали путы обыденной жизни.

Я не собираюсь дать здесь детальный анализ сложной личности Толстого; я хочу лишь осветить главную особенность этого человека, то, что лежало в основе его духовного и религиозного стремления, и ту жажду не только лучшего, но и совершенного, которая обуревала, мучила его душу. И, если не ошибаюсь, именно этим Толстой покорил человечество. Люди чувствовали, что он больше и лучше, чем только писатель, больше и лучше, чем только художник, чем мастер слова и даже чем могучий, непревзойденный творец человеческих образов; они чувствовали в нем человека страстной души, которого терзала мысль о судьбах людей, как она терзает всякого, кто хочет глубже постичь жизнь, а не скользит бессмысленно по ее поверхности. Люди почувствовали, что последние дни великого апостола-мистика были отмечены глубокой внутренней драмой, поэтому трагедия конца его жизни так взволновала их. Но что же произошло, собственно говоря, в эти дни? Почему, каким образом Толстой, уже будучи на пороге смерти, бежал из дома, в котором прожил столько лет?

Куда хотел он уйти, что собирался делать? Здесь кроется, по-видимому, какая-то загадка, которую трудно до конца разгадать; возможно, что в силу тех самых условностей, которые так ненавидел Толстой, превыше всего ценивший абсолютную правдивость, его кончина и была окружена своего рода тайной. Быть может, этот человек, который тридцать лет проповедовал людям полное опрощение и абсолютную бедность, захотел порвать перед смертью со всем, что еще оставалось у него от прежней жизни, от былых связей и давних привычек, и этим отказом от земных благ как бы очистить себе путь к неведомому богу, к которому стремился всей душой; вероятно, это так, хотя Толстой всегда говорил, что учение, которое он проповедует, не требует от него немедленного разрыва с окружающей средой, но обязывает, не меняя обычной обстановки, жить в бедности и самоотречении. Может быть также, в эти последние дни ему прип-

* Перевод О. В. Моисеенко.

лось бороться с возраставшим сопротивлением окружающих? Француз Буланже, по-видимому, довольно близко наблюдавший в течение последних лет и даже последних дней его жизнь, рассказывает, что Толстого огорчали повседневные семейные неурядицы из-за распоряжений, которые он намеревался сделать в отношении своего имущества на случай смерти. За несколько дней до ухода он дольше обычного совершал прогулки верхом, видимо, для того, чтобы успокоиться в одиночестве. Но, как бы то ни было, какова бы ни была непосредственная, истинная причина разрыва, этот разрыв, этот уход прямо или косвенно вытекал из того идеала сурового самоотречения, который проповедовал Толстой. Как трагична, как мучительна мысль об этом великом старце, покидающем ночью тот дом, где он мыслил и любил! Он ушел из дома, он бежал из Ясной Поляны, словно узник из темницы. Услыхав ночью, когда он уже лежал в постели, что кто-то из родных роется в его рабочем кабинете, быть может разыскивая завещание, которое так беспокоило его близких, Толстой не выдержал. Он решил уйти, позвал своего врача и вдвоем с ним в темноте прошел через сад в конюшню, чтобы запрячь лошадь и ехать на ближайшую железнодорожную станцию. В саду он споткнулся о пень, упал и должен был ощупью пробираться домой за потайным фонарем и еще раз бежать. Ему, великому свободному гению, пришлось бежать тайком, как преступнику из тюрьмы. Да! В картине этого бегства чувствуется моральная, идейная, мистическая драма, ощущается трагическое противоречие между мыслью, вдохновлявшей человека, и средой, в которой он жил,— вот что привлекло внимание людей и взволновало их. Но в этой трагедии последних дней Толстого нет ничего неожиданного; она была лишь концом, лишь заключительным аккордом того глубокого морального и религиозного кризиса, который тридцать лет тому назад, около 1880 года, потряс и обновил душу и жизнь Толстого. Как же произошел этот кризис, ставший до известной степени основой жизни писателя? Ведь все предшествовавшее как бы подготовляло его, а все последовавшее явилось в некотором роде его завершением.

МИСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Толстому было тогда около пятидесяти лет. Он жил — по крайней мере, так казалось со стороны,— обычной жизнью: крупный помещик, принадлежавший к русской аристократии, воспитанный в богатой и влиятельной семье, он вел в юности довольно праздный, рассеянный образ жизни петербургской аристократической молодежи. Наскучив этой легкой искусственной жизнью, он поступил на военную службу и отправился на Кавказ, чтобы быть ближе к величественной и в то же время милой его сердцу природе, ближе к простым людям, еще не затронутым рафинированной культурой — лжекультурой, по определению Толстого. После Кавказа, проявив себя храбрейшим из храбрых, он принял участие в Севастопольской трагедии. Вернувшись в Москву, он женился и прожил пятнадцать лет спокойной и счастливой семейной жизнью. В этот период им были созданы некоторые из его величайших произведений: повести и рассказы о Кавказе и Севастополе, замечательная национальная эпопея «Война и мир». Богатство текло в его дом; он жил в полном довольстве, в ореоле славы, имел много детей. Его имя было известно всему миру, он пользовался завидным здоровьем. Кое-кто утверждал, что внезапно охватившее его мистическое настроение было следствием скрытого недуга, который поражает иногда человека, достигшего середины жизненного пути, когда жизнь уже начинает клониться к закату. Толстой утверждал, что с ним не произошло ничего подобного; он заявлял, что никогда не чувствовал себя лучше, чем в ту пору, что он мог работать за письменным сто-

лом — писать, сочинять по восемь часов подряд, не испытывая ни малейшей усталости. Писатель не хотел, чтобы умаляли значение того морального кризиса, который он тогда переживал. Что же сказал он себе в один прекрасный день?

Он сказал себе: я счастлив, я обладаю всеми благами мира, как редко кто обладает, и все же мне кажется, что до сих пор я жил, словно в дурном сне, жизнью эгоиста, искусственной жизнью, не задумываясь об истинном смысле человеческого существования, не стремясь сообразовать свое поведение с высшим идеалом. До сих пор я мог жить, не задумываясь об этом, потому что жизнь во мне кипела и опьяняла меня, но вот теперь — хоть я не болен, не устал, не разорился — я чувствую, что внезапно отрезвел,

La Conférence de Jean Jaurès sur Tolstoï

(Sténographiée par MM. Billières, Sauzac et Maury, de l'Ecole pratique de sténo-dactylographie 18, rue de Mets, Toulouse).

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СТЕНОГРАММЫ ДОКЛАДА ЖАНА ЖОРЕСА О ТОЛСТОМ
Заголовок
Газета «Midi Socialiste» от 10 февраля 1911 г.

и спрашиваю себя: что же такое жизнь? Ее поглотит смерть, и моя судьба — одна из самых блестящих и счастливых человеческих судеб — есть жалкая, ничтожная судьба. Чего стоят блага жизни, которые исчезнут вместе с нею, чего стоят богатства, которые скроет могила? Мне нужно разрешить задачу жизни. Что же говорят мне ученые и философы? Они разъясняют мне взаимосвязь вещей, но они не могут объяснить мне единственную вещь, которая имеет для меня ценность — связь моей души, моего «я», моей сокровенной внутренней жизни с бесконечной и таинственной вселенной. А это — именно то, что я хочу знать. Моя жизнь получит для меня смысл и ценность только в том случае, если я буду уверен, что она связана с чем-то высшим и вечным. А как же отвечают на это философы: в бесконечности, говорят они, происходят свои процессы, то же происходит и в нашем мире; может быть, здесь готовится нечто великое и божественное. Но я, восклицает Толстой, отвечаю им, что это пустые слова, что безграничная вселенная в моих глазах есть не более того, чем она является в глазах этих самых ученых, — то есть безмерное и беспорядочное нагромождение миров и атомов, которые соединяются и снова распадаются.

И если бы Толстому сказали: слейте, по крайней мере, вашу душу с душою человечества, которое идет по пути к новому идеалу, он ответил бы: для того, чтобы познать будущее человечества, чтобы попытаться хотя бы мельком заглянуть в него, мне надо знать о нем все, а я не знаю ничего ни о его появлении, ни о его судьбе. И, наконец, — воскликнул бы он властным тоном славянина-аристократа, — мне нужно ясное решение этой проблемы, окончательное решение, такое, какое меня бы удовлетворило! Так говорит, так вопиет этот мистик в порыве своего беспредельного эгоизма. Мистики необузданно, страстно любят жизнь вообще и свою собственную жизнь, в частности. Порой можно даже подумать, что они

готовы отдать ее, пожертвовать ею. И они действительно готовы это сделать ради идеала, который воспринимался бы ими как лучшая часть их собственного «я»; в таком случае они готовы броситься даже в бездну, но, разумеется, в бездну совершенства. Квиетист всегда склонен к крайностям, он не отступит и перед муками ада, если его пошлет на эти муки доброе божество. Итак, Толстой был охвачен эгоистическим порывом мистика, который жаждет выйти за пределы своей личности, гармонически слиться с вселенной и обрести уверенность в том, что его мысли, творения и поступки войдут в века. Не находя прямого ответа на мучившие его вопросы, Толстой был готов искать прибежища в смерти, покончить с собою и, дабы избежать этого искушения, дабы дожить хотя бы до того дня, когда он окончательно убедится, что загадка неразрешима, он убрал, чтобы не пустить себе пули в лоб, ружье и выбросил из спальни шнурок, чтобы не повеситься.

НЕОБХОДИМОСТЬ СМИРЕНИЯ

Такова была сущность кризиса, в тисках которого два или три года бился Толстой. Он вышел из него путем следующего рассуждения: я не могу жить, потому что жизнь, смысла которой я не понимаю, слишком тягостна для меня. Однако в стороне от привилегированных слоев общества, среди которого я жил до сих пор, существуют миллионы и миллионы других людей. На протяжении веков миллиарды этих людей, задавленных непосильной работой, бедностью, лишениями, болезнями, все же находили средство нести бремя жизни, не сломившись под его тяжестью и не впав в отчаяние. И, оглядываясь на массы этих людей, Толстой говорил себе: они жили и могли жить, потому что смирились, потому что верили, потому что некая великая традиция поддерживала в них всю силу христианской веры. Но я не хочу разделять их предрассудки и суеверия, я не верю и не поверю в их чудеса, не верю и не поверю в мифы, составляющие оболочку христианства. Пусть мне не рассказывают сказок о рождении Христа или о чуде его воскресения; пусть священник, причащающий меня, не уверяет, будто я вкушаю тело и пью кровь Спасителя. Это — младенческая символика и младенческая мифология, но из этих символов и мифов я хочу извлечь сущность веры, сущность смирения, единения людей в любви, единения их в боге и с помощью бога, а это и составляет подлинный дух и основу христианства; и тогда, не ставя себе более вопросов о фантастике, безумии и мифах, нашедших отражение в великом потоке христианской традиции, я погружусь в этот поток, я омоюсь в нем, чтобы снова найти в его водах чистоту, силу и жизнь. И Толстой объявил, что отныне руководящим началом его жизни становится Евангелие, но не православное Евангелие, не Евангелие церковников, а извечное Евангелие, близкое сердцу бедняков. И дабы уверовать в него, как веруют эти люди, он сказал себе: я должен стать таким, как они, я должен истолковать Евангелие в соответствии с его суровой моралью. До сих пор люди из малодушия или эгоизма приспособляли Евангелие к себе. Евангелие говорит им: будьте бедными, а они воображают, что могут быть богачами, оставаясь христианами. Евангелие говорит им: господь позаботится о людях, как заботится о птицах небесных. Евангелие несет им слова мира и любви. А миллионы людей, которые считают себя христианами, сами грабят, мучают своих братьев и побуждают людей разных классов и разных наций убивать друг друга. Так вот, я... (*Бурные аплодисменты заглушают голос оратора.*)

... Я, говорит Толстой, призываю людей, не считаясь с законами и с церковниками, жить по-евангельски. Я не говорю им: подчинитесь! но и не говорю: примените силу! Я хочу, чтобы они мирными средствами

добились мирной жизни и установили ее. Я не хочу, чтобы угнетенные проливали кровь богачей; я хочу, чтобы они ограничились пассивным сопротивлением, чтобы они ограничились отказом подчиняться несправедливым властям, и, в тот день, когда миллионы бедняков, не уподобляясь богатым и не совершая насилий, как это свойственно богатым, без трагической революции по западному образцу откажутся быть орудиями несправедливости, войн и убийств,— в этот день старые власти, опирающиеся на ложь и угнетение, падут сами собой. Вот к какой теории, к какому анархизму, проповедующему одновременно бунт и смирение, вот к какому традиционному и в то же время революционному христианству пришел Толстой. Но если вы подумаете, господа, что этот кризис был чем-то неожиданным, значит вы не поняли Толстого. В самом деле стоит перечесть, в свете той духовной, той морально-религиозной драмы, которая совершилась в душе Толстого около 1880 года, ранние произведения писателя, то, что было создано им в светский, если можно так выразиться, период жизни, и вы убедитесь, что уже тогда все написанное этим благородным, исключительным человеком клонилось к той же цели, предвещало тот же кризис. В его предшествующем творчестве вы сразу почувствуете ту же страстность, ту же необузданную любовь к жизни — эту характерную черту мистицизма.

ЕГО СТРАСТНОЕ ЖИЗНЕЛЮБИЕ

Уезжая на Кавказ, Толстой, которому едва исполнилось тогда 20 лет, уже отмечал необычайную интенсивность своей внутренней жизни. Я чувствовал, писал он, глубокую и горячую любовь к себе самому, ко всему тому доброму и прекрасному, что было во мне и могло развиться. И, наряду с этим страстным жизнелюбием, Толстой, еще ребенком и подростком, серьезно и даже трагично относился к теориям, которые могли объяснить ему смысл жизни. Для него, поверьте, они не были, как для наших бакалавров (*смех в зале*) и кандидатов философских наук, простой фразеологией, не затрагивающей ни ума, ни сердца. Читая сочинения стоиков или изложение их философии, Толстой говорил себе: мне надо научиться и самому жить, как стоики. И в течение долгих недель и месяцев — пока он находился под влиянием этих идей — он подвергал себя лишениям, испытаниям и самобичеванию. Потом в сочинениях английских или немецких философов он прочел, будто мир есть не что иное, как фантасмагория, и все, что мы якобы видим и слышим, является лишь чудовищной галлюцинацией, проекцией нашей собственной личности, что в действительности мир — только иллюзия нашего «я», которое распространяется, проявляет себя вовне. Одно время он был настолько увлечен этой идеей, что в своей детской наивности, не лишенной, впрочем, философской серьезности, иногда быстро оборачивался в надежде, что собственное «я» не успеет проецироваться вовне, и он захватит врасплох всемирное небытие во всей его наготе.

Я привел этот поступок, который может показаться ребячеством, чтобы подчеркнуть, с какой своеобразной, необычной страстностью юный Толстой стремился постичь проблему жизни. Так же рано пробудилась в нем страстная непримиримая любовь к правде, мы видим это и в его Севастопольских рассказах, и в изображении той смеси слабости и величия, которая свойственна каждому человеку. Он говорит: в моих произведениях нет героев; все люди хороши и все плохи; у меня есть и будет только один герой — правда. И тогда же в его душе проснулась страстная тяга к простоте, ненависть к светской жизни, к искусственно усложненному существованию и он отправился на Кавказ, чтобы приобщиться к примитивной простоте тамошних людей и к величественной и вместе с тем простой

кавказской природе. В его книге о Кавказе есть захватывающая, великолепная страница, которая помогает уяснить тождество того, что я называю страстным жизнелюбием и жертвенностью.

Однажды жарким летним днем Толстой, охотясь в одиночку, заблудился в незнакомом лесу и остановился под деревом. Тут на него налетели мириады мошек, они облепили его и стали безжалостно жалить, и в конце концов довели до исступления. Он готов был кричать от бешенства, но вдруг подумал: ведь местные жители переносят все это, свыклись с этим, почему же я не могу этого перенести? И укусы мошкары сразу стали для него менее надоедливыми, менее болезненными. Потом он задумался над всем этим живым миром, которым кишмя кишит лес. И ему пришло в голову: ведь каждая из миллионов мошек может сказать о себе: «я», как и он сам, Толстой, говорит о себе: «я»; их жужжание и писк означают, может быть, звук боевых фанфар всей этой армии крошечных насекомых, подающих сигнал к атаке на гигантскую дичь, заблудившуюся в лесу. И он почувствовал себя не более как атомом, одним из неисчислимых существ, крошечным, эфемерным, ничтожным «я», затерянным среди миллионов других эфемерных созданий, таких же ничтожных и ограниченных, как и он сам. Существует лишь одно средство избавиться от небытия: познать себя, возвыситься над собой. И Толстой подумал: жизнь не получит смысла, пока я не буду готов пожертвовать собой ради других. Ограниченный эгоист затеряется среди мириадов таких же эгоистов, но если он научится самопожертвованию, то станет выше всех, превзойдет их, будет главенствовать над ними и приобщится через их головы к чему-то истинному и вечному. Так, в девственном лесу Кавказа в двадцатипятилетнем Толстом уже бродили ферменты того великого мистического кризиса, который разразился лишь двадцать пять лет спустя. (*Аплодисменты.*)

Заметьте, какое огромное место занимает лес в творчестве Толстого. Почему он говорит о вдохновении, охватившем его в лесу, не только в своей книге о Кавказе, но и в «Исповеди»? Да потому, что лес, в его глазах, обладает удивительной символической мощью, потому что в нем не только кишит жизнь, но и кроется тайна. Итак, уже в ту пору великие религиозные проблемы волнуют Толстого, отсюда и его любовь к описаниям грандиозных картин войны, ибо на войне люди в расцвете лет поминутно оказываются, так сказать, на пороге, на грани величественной тайны; вот почему в его Севастопольских рассказах и в романе «Война и мир» вы видите, как переживания человека на войне неизменно претворяются в мистические порывы, в могучие порывы религиозной надежды.

СОЛЬ ОКЕАНА

Господа! Читая Толстого, нельзя не заметить, что нравственные проблемы играют первостепенную роль даже в его художественных произведениях. Неодушевленный мир интересует писателя лишь постольку, поскольку это связано с его интересом к духовному миру человека. Толстого нельзя сравнивать в этом отношении ни с Бальзаком, ни с Жорж Санд, ни с Флобером, ни с Золя. Бальзака, при идеалистическом и спиритуалистическом характере его творчества, интересуют вещи как таковые; старые дома, которые он описывает, словно существа, живущие самостоятельной жизнью, представляют для него интерес сами по себе, а не только потому, что в этих домах происходят человеческие драмы. В произведениях Жорж Санд встречаются великолепные лирические излияния, когда душа человека сливается с природой и, так сказать, забывает о своей судьбе. У Флобера на первом месте стоит забота о художественной форме, а к несчастному и серенькому роду человеческому писатель чувствует

презрительную жалость. Золя иной раз рисует яркие картины, но эти картины лишь поверхностно связаны с душевной жизнью действующих лиц. Вспомните, как в «Странице любви» молодая женщина время от времени бросает взгляд с вершины холма на громадный Париж с его крышами, похожими на застывшие морские волны. Этот образ запоминается, но не западает в душу. Изображая мутный людской поток, текущий по парижским бульварам, и глухо клокочущие в нем плотские вожделения, писатель показывает, что его герои захвачены этим потоком и не могут из него выбраться. Напротив, как я уже сказал, мир неодушевленных предметов привлекает Толстого лишь постольку, поскольку он помогает ему раскрыть души людей, жизнь каждой отдельной души. В его произведениях почти нет живописных описаний. В «Войне и мире» он рассказывает о передвижениях армий по Европе, приводит своих героев к подножью холма, где декабрьской ночью в лагере Наполеона зажигаются огни Аустерлица. Но он не задерживается на описаниях; природа появляется в его произведениях лишь тогда, когда он хочет показать душевное состояние человека. Вот юноша стоит на мосту, переброшенном через Дунай, вокруг него падают ядра; вдруг он замечает нежную окраску неба на горизонте и задумывается над контрастом между спокойным сиянием жизни и витающей над ним мрачной тайной смерти. Так и князь Андрей, тяжело раненный на Праценской горе в тот самый момент, когда в голове его роились мечты о торжестве и славе, теряет на минуту сознание, потом приходит в себя и, лежа на спине, видит словно впервые синее небо, глубокое вечное небо, небо, полное тайны и света, и удивляется, что никогда до сих пор не подозревал о таинственной сияющей глубине этого синего неба с плавающими по нему легкими облаками. Итак, внимание Толстого неизменно привлекала душа человека, и никогда, даже рисуя пустоту и суетность великосветских салонов, он не принижает эту душу. Описывая осаду Севастополя, он показывает солдат и офицеров, которые иногда, забыв обо всем, играют, пьют и ссорятся между собой. И Толстой говорит: что поделаешь, священный огонь не может вечно гореть в душах людей, но он всегда готов вспыхнуть и озарить своим светом их дела. Когда же Толстой в искусственную атмосферу светских салонов вдруг вводит детей с их наивностью и очарованием, с их льющейся через край жизнерадостностью, кажется, будто на вас внезапно повеяло свежестью лесного родника и будто душа писателя радуется вместе с вами.

Так во всех его произведениях, наряду с уважением к человеку, даже к падшему человеку, наряду с внезапными обращениями к вопросам тайны бытия, которые рождаются в людях страданиями и мыслью о смерти, бьет неиссякаемый источник веры. И творчество Толстого, столь обширное и вместе с тем столь совершенное, представляется мне лесом, где каждая травинка — зеленая или засохшая, каждый листок — свежий или увядший, каждое гнездо — населенное птицами или разоренное — окутано то нежной небесной лазурью, то таинственным светом звездных ночей. (*Аплодисменты.*)

Вот почему во всех произведениях Толстого чувствуется, предугадывается тот великий мистический кризис, о котором я говорил. Кризис этот не дал ничего нового; он лишь выявил, сделал ощутимыми те мистические элементы, которые до сих пор были растворены в великом потоке жизни, в непосредственно получаемых от нее впечатлениях. Фанатический мистицизм, который вспыхнул в душе Толстого около 1880 года, был как бы всеиспепеляющим солнцем, высушившим океан и оставившим на дне только соль.

Но, как соль всегда находится в океане, так и суровая непримиримость могучей и гордой мысли великого писателя всегда была присуща его произведениям.

ЕГО ХРИСТИАНСТВО

И вот теперь, когда этот кризис позади, какие же выводы можно из него сделать, что дает он, к чему приводит? Если мы подвергнем творчество Толстого, его религиозную и социальную философию, оформившуюся после 1880 года, строгому логическому анализу,— она вряд ли сохранится в неприкосновенном виде. В ней содержится множество противоречий и прежде всего больно и тяжко видеть, как сам Толстой, стремившийся утвердить, вопреки требованиям повседневной жизни, абстрактный и абсолютный идеал и привести нас к внутренней гармонии, был не в силах преодолеть мучительных сомнений и неразрешимых противоречий. И далее. Что представляет собой его христианство и жизненно ли оно? Оставаясь в рамках традиционного учения, он произвел внутри него отбор, но то христианство, во имя которого он требует самоограничения человеческой воли, есть не что иное, как искусственное, им самим, Толстым, созданное учение. Он лишает христианство его истоков. Он не хочет слышать о Ветхом завете, забывая, что Новый завет вырос из Ветхого завета, как колос вырастает из зерна. Он отрицает мессианский характер пророчества о царстве божьем, и его христианство существует вне времени и пространства. Да, но если суть христианства заключается в любви к людям и к богу, если в нем нет ничего другого, если евангельские книги представляют собой, как говорит Толстой, сборники зачастую нелепых и вредных россказней,— откуда ж берется у Толстого та почти сверхчеловеческая властность, с которой он повелевает нами и призывает нас принять это учение? И если христианство действительно таково, в чем же тогда его отличие от других великих религий, созданных человечеством — браманизма, буддизма, ислама? И в самом деле Толстой вынужден признать за всеми этими вероучениями одни и те же религиозные достоинства. Но как, все-таки, установить различие между ними? Как придать их догмам силу и власть над людьми? Тут уже необходимо вмешательство разума, и, таким образом, традиционное божественное откровение неизбежно должно уступить место ненадежному, недостаточному, но необходимому усилию разума, того самого разума, который рассматривается, по-видимому, Толстым как нечто низкое и недостойное.

А как противоречива любовь Толстого к народу! Его влечет к народу, он любит его, хочет помочь ему и облегчить его участь; он подражает ему в набожности и смирении. Но почему? Да потому, что в его представлении народ кроток и смиренен. Однако Толстой хорошо знает, что этот самый народ с незапамятных времен стонет под гнетом несправедливости; и он хорошо знает также, что народ не сбросит этого гнета, пока не подымется; но здесь мы сталкиваемся с вопиющим противоречием: Толстой, который любит народ, скорбит о нем, восторгается им, отвернулся бы от народа, если бы тот перестал быть покорным или отказался от пассивного сопротивления, которое он хочет ему навязать.

ЕГО ИДЕАЛ

Итак, каков же идеал, который он предлагает человечеству? В сущности это архаический идеал. Толстой был знаком с идеями Запада; он знал наших писателей и был в курсе современной науки. Из всех европейских писателей он больше всего любил и больше всего восторгался Руссо, потому что тот советовал людям вести простую жизнь и был противником всех сложностей искусственной современной цивилизации. Но, в общем, если Толстой и знал Запад, он относился к нему с недоверием и осуждением. Он отрицал демократию; в его глазах демократия означала не более чем демократизацию прежней коррупции, которая в старое время остава-

«ТОЛСТОЙ И НИКОЛАЙ II»
Карикатура французского художника Луи Морена
Литография
«Assiette au Beurre», 1901



лась в пределах олигархии. Толстой более чем равнодушно относился к науке, научным изысканиям, научным изобретениям и, что представляется нам весьма странным, в равной степени с презрением и осуждением отзывался о броненосцах, телеграфе, бомбах, электрических и железных дорогах и всех прочих столь же, по его словам, вздорных, сколь и вредных измышлениях.

Я прекрасно знаю, что нужно бороться против всех суеверий, в том числе и научных; я прекрасно знаю, что следует напоминать людям о том, как часто даже самые изумительные научные открытия искажались людскою алчностью и становились орудиями угнетения и эксплуатации, лишь увеличивая бремя нужды и несправедливости. (*Громкие аплодисменты.*) Я знаю все это, и нужно быть благодарным тем людям, которые несут в наши города, где скапливается столько нездоровых страстей, столько незаслуженных несчастий и столько беспросветной нищеты, чистое, свежее дуновение, словно долетевшее из девственных лесов, великое дуновение, некогда пронесшееся над прекрасными озерами Галилеи. Я знаю это, но я знаю и то, что, если мы хотим идти вперед, подниматься все выше и выше, мы не должны проклинать ни демократию, ни науку; их надо возвышать, преобразовывать, развивать; надо, чтобы политическая демократия превратилась в демократию социальную. (*Аплодисменты.*)

Толстой так и остался сыном Востока; он сожалел о том, что русская революция пошла по пути западных революций. Его пугал сначала подъем промышленности, затем подъем демократии; он хотел, чтобы одно только сельское хозяйство развивалось и при этом на общинной основе. Но остановить мировую революцию нельзя: промышленность растет, и даже на Востоке, даже в России, где промышленный пролетариат разбудил от долгого сна крестьянские массы, даже в Персии, в Индии, Японии и Китае — на всем дремавшем доныне Востоке кипит лихорадочная деятельность европейцев со всеми ее пороками, преступлениями и жестокостями,

но также и с ее великими делами, которые распространяются на весь мир. Повсюду народы пробуждаются и рвут свои цепи. Итак, не путем отказа от промышленного производства, а путем его организации на основе новой справедливости, сумеем мы сохранить равновесие в нашем непрерывном движении к прогрессу.

РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

Однако каковы бы ни были мои критические замечания и оговорки, попутно мною сделанные, все мы, люди борьбы, или, если позволите расширить это понятие, все мы, живые люди, должны быть бесконечно благодарны человеку, который напомнил всем нам, вне зависимости от рода наших занятий и от нашего общественного положения, о моральном смысле и значении жизни. В тесных рамках нашего жалкого существования нам легко забыть о глубоком и таинственном смысле жизни. Много раз в нашем огромном Париже я думал о том, что здесь едва ли можно увидеть звезды, но если, несмотря на узость, тесноту улиц и нависшие над ними крыши, звезды все же удается разглядеть, их далекое сияние меркнет от резкого света уличных фонарей. Так вот, почти на всех предприятиях, почти во всех отраслях промышленности, во всех классах общества хозяин поглощен делом руководства, прибылями и лежащей на нем ответственностью; рабочие погружены в мрачную бездну нищеты и поднимают голову и открывают рот лишь для того, чтобы крикнуть слова призыва и протеста; мы же, политики, захвачены борьбой и погрязли в повседневных интригах,— и все мы склонны забывать о том, что прежде всего мы — люди, то есть сознательные существа, самостоятельные и, в то же время, эфемерные, затерянные в бесконечной и таинственной вселенной; мы склонны забывать о значении жизни и с пренебрежением относиться к поискам ее смысла; мы склонны недооценивать истинные блага — душевный покой и безмятежность духа. Толстой помогает нам поднять голову к усеянному звездами небу, найти смысл в простоте, в чувстве товарищества, в глубокой и таинственной жизни. И вместе с тем он предостерегает нас. Он предостерегает консерваторов. Этот человек далек от того, чтобы быть революционером в общепринятом смысле слова, или неистовым разрушителем, каким он кажется иногда. И вот он, проповедник мира, любви, обновленного христианства, предостерегает консерваторов, говоря, что современный общественный строй не может дольше существовать, что этот строй падет не только в результате гневных требований угнетенных, но и в результате глубокого возмущения людей с благородной душой, которых подавляют низости, бедствия и нищета, свойственные нашему обществу.

Я позволю себе напомнить вместе с Толстым один псалом и сказать людям: будьте настороже, обдумывайте свои действия, трудитесь, мыслите, создавайте братские организации, чтобы социальная революция, приход которой неизбежен, прошла мирно. Псалмопевец говорит о боге: «Взойду ли на небо — ты там; сойду ли в преисподнюю — и там ты»*; ни на Востоке, ни на Западе не скроешься от его взора. Я тоже говорю вам: революция здесь, она повсюду; она в организациях тех, кто страдает, она в протестах тех, кто мыслит.

Веяния, идущие с Востока и Запада, гнев западных пролетариев, восточная мистика Толстого — все эти ветры сливаются в бурный вихрь, несущийся над старым миром, прогнившим, подточенным, как ствол старого больного дуба.

Работайте же над установлением нового, более справедливого общества. (*Продолжительные аплодисменты.*)

* Псалом Давида 138, ст. 8 и 9 (последний перефразирован).— *Н. Э.*

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТОЛСТОЙ НА СТРАНИЦАХ «HUMANITÉ» В ПЕРИОД РЕДАКТОРСТВА ЖОРЕСА

(18 апреля 1904 — 31 июля 1914 г.)

Центральный политический орган французских социалистов с самого начала своего существования (первый номер вышел 18 апреля 1904 г.) уделял серьезное внимание вопросам литературы. Из номера в номер здесь печатались произведения виднейших писателей прошлого XIX в. и современных — начала XX в. Газета систематически помещала информацию и отзывы о новинках художественной литературы и книгах социально-экономического, исторического и философского содержания, освещала наиболее важные события литературной жизни.

Естественно, что основное место предоставлялось отечественной — французской — литературе, но газета открывала свои страницы и зарубежной литературе, в том числе, и не в последнюю очередь, русской.

Кроме произведений Толстого, о чем ниже, в рассматриваемый период в «Humanité» были напечатаны переводы из Тургенева, Чехова, Короленко, Горького и Леонида Андреева. Газета знакомила своих читателей с положением русской печати, с условиями жизни и труда писателей в царской России, сообщала о цензурных репрессиях, о фактах преследования писателей, проводила кампании в их защиту и т. п.

Среди материалов, посвященных «Humanité» иностранным авторам,— материалы, относящиеся к Толстому, по количеству и разнообразию тематики, стоят на одном из первых мест. Приводим основной их перечень.

В годы редакторства Жореса в газете были опубликованы следующие сочинения Толстого:

«Не могу молчать» — в изложении и выдержках в тексте статьи Жана Лонге (1908, 16.VII, № 1551: J. L. Tolstoï dénonce l'œuvre de sang. Une lettre du grand écrivain aux bourreaux du peuple russe). «По поводу заключения В. А. Молочникова» (1908, 9.VIII, № 1574: «Tolstoï proteste. Il demande à être\éul poursuivit»). «Письмо к судебному следователю 19 участка г. Петербурга» от 27 февраля 1909 г. в тексте статьи Леона Реми (1909, 27.V, № 1866. Léon Rémy. Un jugement vraiment russe. L'éditeur de Tolstoï condamné). «Праведный судья» (1910, 28.XI, № 2416). «Воскресение» (1912, роман печатался, с краткими перерывами, ежедневно 24.VII — 9.XII, №№ 3020—3158).

Публикации о Толстом начали появляться в «Humanité» с первых же дней существования газеты. Уже во втором номере мы находим заметку о студенческих годах жизни писателя (1904, 19.IV, № 2). В том же году газета поместила: главу о Толстом и Достоевском из книги Октава Мирбо «Русская душа» (1904, 1.V, № 14, «L'Âme Russe»); сообщение о предстоящем выходе в свет на французском языке статьи Толстого «Одумайтесь!» (1904, 28.V, № 41); рецензию на книгу Ж. Бурдона «Внимая Толстому» (1904, 12.X, № 178. Georges Bourdon. En écoutant Tolstoï. Paris, 1904. Отрывок из этой книги см. в кн. 2-й настоящ. тома); заметку о подписке, открытой художественным журналом «Epreuve» на памятник Толстому в Париже, заказанный скульптору Паоло Трубецкому (1904, 18.XII, № 245) и др.

Выступления Толстого в печати в годы первой русской революции, привлекшие пристальное внимание общественности Запада, нашли отклик и в «Humanité». Газета познакомила своих читателей с суждениями Толстого о революции, которые он изложил в интервью с корреспондентом английской газеты «Manchester Guardian» («Tolstoï et la Révolution», 1905, 13.II, № 302) и в статьях: «Об общественном движении в России» («Un Article de Tolstoï», 1905, 11.III, № 328); «Великий грех» (Les Révolutionnaires et Tolstoï, 1905, 12.VIII, № 482.—Перепечатка в выдержках рецензии из журнала «Tribune Russe» — органа русских политических эмигрантов); «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу» («Un appel de Tolstoï», 1906, 21.II, № 675); «О значении русской революции» (1907, 4.XI, № 1296 — рецензия

Г. Руане на французский перевод статьи). «Humanité» подвергает суровой критике взгляды Толстого. Его категорическое отрицание всех либеральных реформ, недоброжелательное отношение к революционерам, отказ от революционной борьбы и призыв к «непротивлению злу» встретили резкий отпор газеты, а его практические предложения, в частности по земельному вопросу, характеризуются ею, как «наивные».

Особенно жесткую оценку получила позиция Толстого в статьях, подписанных инициалами J. L. и принадлежавших Жану Лонге *, в то время одному из ближайших сотрудников «Humanité». «Трудно,— пишет Лонге,— представить себе более печальное зрелище, чем то, которое являет граф Лев Толстой перед лицом огромных событий, совершающихся на его родине 〈...〉, творец стольких подлинных шедевров обнаруживает меньшее понимание современного положения, нежели самый скромный петербургский или московский пролетарий 〈...〉 Ни один из могучих гениев литературы не оставался еще столь далеким душе своего народа в трагическую для народа минуту, так глубоко не расходился с мнением, получившим общее признание» (J. L. L'Incompréhension de Tolstoï. 1906, 20.IX, № 886). Это не мешало, однако, ни автору приведенных строк, ни другим сотрудникам «Humanité» прибегать к публицистике Толстого, с ее гневными обличениями существующих порядков, как к оружию политической борьбы. Вопросы, поднятые Толстым, становились темами злободневных статей газеты, написанное им цитировалось, а иногда и целиком вводилось в текст этих статей. (См., например, статью Ж. Лонге, написанную в связи с появлением «Не могу молчать» Толстого. Текст Толстого Лонге включил непосредственно в свой.— 1908, 16.VII, № 1551.)

Взгляд, которого придерживалась в отношении Толстого «Humanité», четко сформулировал тот же Лонге. «У нас, социалистов,—писал он в статье, посвященной дню 80-летия Толстого,— есть, разумеется, серьезные возражения против учения этого кроткого коммуниста-утописта, христианина и защитника „непротивления злу“ — тому капиталистическому злу, с которым пролетариат всего мира ведет непреклонную и неустанную борьбу 〈...〉 Невзирая на это, Толстой наш; своею ненавистью к угнетению, нищете, к проституции, войне, ко всем бедствиям, неизбежно порождаемым капитализмом, он наш» (1908, 10.IX, № 1606.— Подчеркнуто мною.— *Н. Э.*).

80-летие Толстого было широко отмечено французской прогрессивной общественностью. В Париже был организован специальный подготовительный комитет для проведения юбилея, куда, в числе других лиц, вошел и Жорес (т. 78, стр. 75). Знаменательная дата послужила поводом для французских социалистов выразить через «Humanité» свое восхищение Толстым как художником и свое глубокое уважение к нему как человеку. Среди юбилейных материалов здесь впервые появилась на родном языке известная статья — приветствие Толстому Анатоля Франса. (Русский перевод см.: Анатоль Франс. Собр. соч., т. 8. М., 1960, стр. 718—719.)

Наряду со статьями «Humanité» эпизодически помещала информацию о Толстом. Так, в газете было опубликовано письмо к Толстому М. А. Стаховича, отправленное в конце ноября 1904 г. из действующей армии, где Стахович находился во время русско-японской войны, и описывающее тяготы и бедствия войны (1905, 18.III, № 335).

Здесь была напечатана рецензия на постановку «Театром Антуана» инсценировки романа Толстого «Анна Каренина» (1907, 31.I, № 1019). Газета сообщала о болезни Толстого (1908, 27.VIII, № 1592); об аресте его секретаря Н. Н. Гусева (1909, 24.VIII, № 1955); о судебном преследовании Е. В. Герцика за издание и распространение сочинения Толстого «Правда божия внутри вас» (1909, 15.XII, № 2068) и т. д.

События последних недель жизни, болезнь и смерть Толстого получили взволнованный отклик на страницах «Humanité». Эти отклики освещены в книге Б. Мейлаха Уход и смерть Толстого. М.— Л., 1960, стр. 323—324 и в обзоре Л. Р. Ланского в кн. 2-й настоящ. тома, и мы не будем поэтому их касаться.

В те же годы в газете было воспроизведено несколько портретов Толстого (см. 1907,

---

* Принадлежность Жану Лонге статей, напечатанных под инициалами J. L., подтверждена нынешним генеральным секретарем «Humanité» Мари Роз Пино, за что автор приносит ей свою благодарность.

22.IX, № 1253; 1908, 16.VII, № 1551, 10.IX, № 1606; 1910, 18.XI, № 2406, 21.XI, № 2409).

Имя Толстого не исчезает со страниц «Humanité» и в последовавшие за смертью писателя годы. Помимо материалов мемориального характера, появившихся в первые месяцы 1911 г., здесь было напечатано объявление о назначенной на 18 января 1911 г. в Париже, в помещении «Общества ученых» лекции Ленина «Лев Толстой и русское общество» (1911, 17.I, № 2466) и сообщение о подготовляемой к печати Б. Гинодо биографии Толстого (1911, 7.II, № 2487).

В 1912 г., приступая к печатанию «Воскресения», газета предпослала публикации романа большую, содержательную статью Анжели Дюк-Керси (Angèle Duc-Quercy. Résurrection. 1912, 24.VII, № 3020). Статья представляет несомненный интерес и тем более заслуживает внимания, что это единственная оценка художественного произведения Толстого на страницах «Humanité» в рассматриваемый период.

Дюк-Керси называет «Воскресение» «самым волнующим из всех сочинений Толстого». Вся книга, пишет она, проникнута «глубочайшим состраданием к человеческому горю» и многие ее страницы нельзя читать «без мучительной душевной боли».

Автор характеризует «Воскресение», как новый тип романа — в нем нет банальной интриги, сложного развития сюжета, необычайных ситуаций. Это простой рассказ о двух людях, судьбы которых столкнулись. Но рассказ развертывается на фоне огромной, многоплановой картины русской жизни, где каждый образ показан с его общечеловеческими, национальными и индивидуальными чертами. Перед нами, пишет критик, сама жизнь во всей ее сложности, со всеми ее радостями и печалями.

Дюк-Керси сближает «Воскресение» по идейной направленности с «Отверженными» Виктора Гюго. В обоих произведениях, говорит она, искусство служит «сильнейшим оружием пропаганды и борьбы».

Автор делится далее воспоминаниями о посещении Ясной Поляны *, о беседе с Толстым, в которой писатель с увлечением говорил о своей работе над «Воскресением», тогда еще не завершенной. Она знакомит с историей написания романа и т. д.

Останавливаясь на религиозных тенденциях «Воскресения», Дюк-Керси поясняет, почему социалистическая газета не ослабила этих тенденций, а напечатала роман полностью, без единой купюры: «Пусть,— пишет она,— религиозные тенденции, отнюдь не сильная сторона произведения 〈...〉, пусть даже они нарушают в ряде случаев его гармонию 〈...〉 — нельзя вычеркнуть из текста ни одной строки, ни одного слова, не погрешив против жизненной правды, здесь отраженной. Вандалы, которым пришелся не по вкусу антимилитаризм Толстого, изуродовали „Воскресение“. Мы же полагаем, что 〈...〉 этот труд должен остаться неприкосновенным, каким он был выстрадан и пережит художником, его создавшим». Дюк-Керси напоминает, что «предтечи 1848 года также злоупотребляли ссылками на Евангелие», а Толстой за свое религиозное учение был отлучен от церкви. В заключение критик предлагает рабочему-читателю «Humanité» прочесть «Воскресение» — книгу, «нравственная красота» которой «ослепляет».

Приведенная статья завершает материалы о Толстом, опубликованные в «Humanité» в период редакторства Жореса. Знакомство с ними показывает, что, не разделяя мировоззрения Толстого, резко осуждая в отдельных случаях его позиции, газета Жореса видела в Толстом не только великого художника, но и союзника в деле создания нового, лучшего социального строя и развития духовной культуры.

---

* 5 октября 1898 г. С. А. Толстая записала в дневнике: «Были интересные французы: m-r и m-me Duc de Gercy. Социалисты крайние, поджигатели стачек в Париже, люди не религиозные, но очень пылкие, дружные друг с другом; настоящие французы по живости, темпераменту, способности жить для своей цели и вне себя» («Дневники Софьи Андреевны Толстой (1897—1909)». М., 1932, стр. 85). Упоминаемые С. А. Толстой посетители Ясной Поляны, очевидно, супруги Дюк-Керси.

Дюк-Керси — социалист, один из основателей (вместе с Гедом и Лафаргом) французской Рабочей партии. Превосходный оратор, неоднократно выступавший в защиту бастующих рабочих. В 1892 г. за свою политическую деятельность был приговорен к тюремному заключению. Первоклассный журналист. До первой мировой войны был много лет генеральным секретарем «Humanité».

ФРАНЦУЗСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ТОЛСТОГО

ИЗ ПИСЕМ ШАРЛЯ САЛОМОНА

Сообщение Андре Мазона (Париж)*

Известный переводчик и пропагандист сочинений Толстого во Франции, многолетний его корреспондент Шарль *Саломон* родился в Париже 16 июля 1862 г. Это был человек благородного и деятельного характера, обладавший на редкость обширными знаниями и высокой культурой. Предки его были гугенотами. После отмены Нантского эдикта, в XVIII в., они переселились в Швейцарию. Но отец его вернулся во Францию и стал морским офицером. Мачеха Саломона (урожденная Перро), заменившая ему мать, была в юности фрейлиной Петербургского двора и сохранила близкую дружбу с графиней А. А. Толстой. Вследствие этого, ее пасынку, приехавшему в 1893 г. в Россию, удалось без особого труда завязать знакомство с Толстым.

Молодой француз вскоре стал близким человеком в доме Толстого. Как ни были редки и кратки его приезды в Ясную Поляну, он сумел завоевать здесь симпатии — и неподдельным восхищением, с которым относился к Толстому, и живым интересом к России и русской жизни.

Хочется заметить, что именно Саломону (моему близкому другу, несмотря на большую разницу в летах) обязан я счастьем личного знакомства с Толстым. «Дядя Шарль», как называли его внуки Толстого, сблизил меня с Сергеем Львовичем и Татьяной Львовной, которым удалось убедить меня увеличить своей особой и без того уже громадное число иностранных посетителей Толстого (см. русский перевод моих воспоминаний о поездке в Ясную Поляну в апреле 1909 г. в «Яснополянском сборнике, год 1960-й». Тула, 1960, стр. 214—216).

Из всех французских друзей и знакомых Толстого Саломон, без сомнения, был ему наиболее близок в духовном отношении. Он не только восторгался великими художественными произведениями Толстого, осветившими нашу молодость, но и впитал в себя революционные и благородные истины, которыми проникнуты публицистические сочинения великого моралиста.

Нельзя сказать, что взгляды Толстого полностью разделялись Саломоном. Но молодого француза пленило дыхание истины, мужественная борьба, которую вел Толстой против низости и обмана «цивилизованного» общества; так же, как и его другу Полю Буайе, Саломону хотелось, чтобы это дыхание истины пронеслось над всеми их современниками и было услышано ими. И он покинул Социальный музей, директором которого был, и целиком посвятил себя ознакомлению французского общественного мнения с той титанической борьбой против лжи, которую вел Толстой в 1894—1896 гг. в таких статьях, как «Религия и нравственность», «Христианский дух и патриотизм», «Приближение конца», предисловие к рассказам

* Перевод с французского М. И. Беляевой.

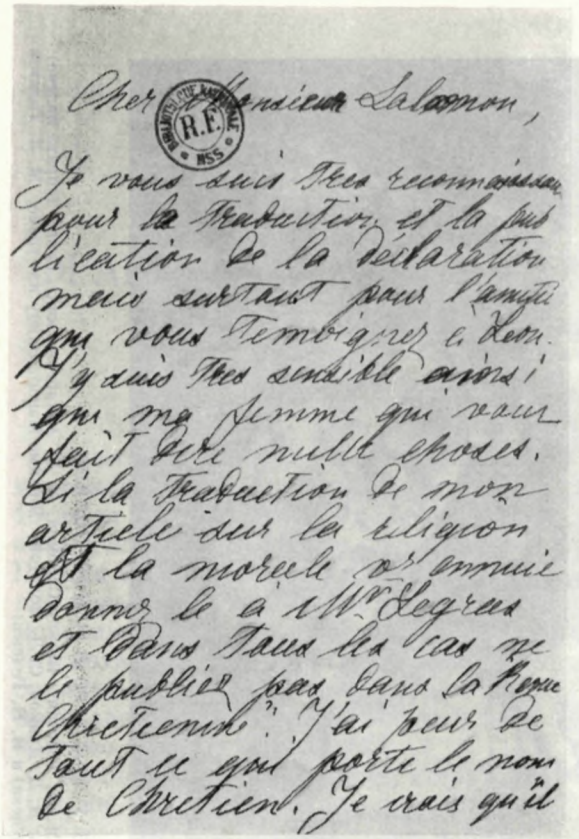


ШАРЛЬ САЛОМОН У ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Сидят на скамье (справа налево): Толстой, Т. Л. Толстая, М. Н. Толстая, Шарль Саломон, А. Д. Архангельский. Стоят (справа налево): С. А. Толстая, О. К. Толстая, А. Л. Толстой, А. Л. Толстая, Д. Д. Дьяков, С. Л. Толстой, Джеймс Мэвор. Внизу на траве: М. Л. Толстой (слева) и Н. Н. Ге (сын)

Фотография С. А. Толстой. Август 1899 г.

Музей Толстого, Москва



ПИСЬМО ТОЛСТОГО ШАРЛЮ САЛОМОНУ ОТ 5/17 МАРТА 1894 г.
Автограф. Лист первый
Bibliothèque Nationale, Paris

Мопассана и др. Переводы из Толстого, сделанные Саломоном в сотрудничестве с Буайе или редактированные им, совершенно безупречно передают дух подлинника; тем не менее ему приходилось тратить немало усилий, и зачастую без малейшего успеха, чтоб убедить издателей и редакторов публиковать на страницах газет и журналов или выпускать в виде отдельных брошюр свои переводы. В связи с этой деятельностью ему посчастливилось сблизиться с П. Дежарденом и группой его друзей, инициаторов Народного университета на улице Муфтар, а также с рядом крупных политических деятелей разных направлений.

Саломон находился с Толстым в переписке с самого начала 1894 г., подробно информируя писателя об издании его сочинений, о своих и чужих переводах, о положении дел во Франции и т. п. Ответные письма Толстого были впоследствии напечатаны Саломоном в «Revue des Etudes Slaves» (1930) и затем вошли в Юбилейное собрание сочинений. Письма же самого Саломона (число их достигает тридцати девяти), хранящиеся в Архиве Толстого, в печати еще не появлялись. Заметное место в письмах Саломона занимает семейная тематика, вполне понятная при близости его отношений с Толстым.

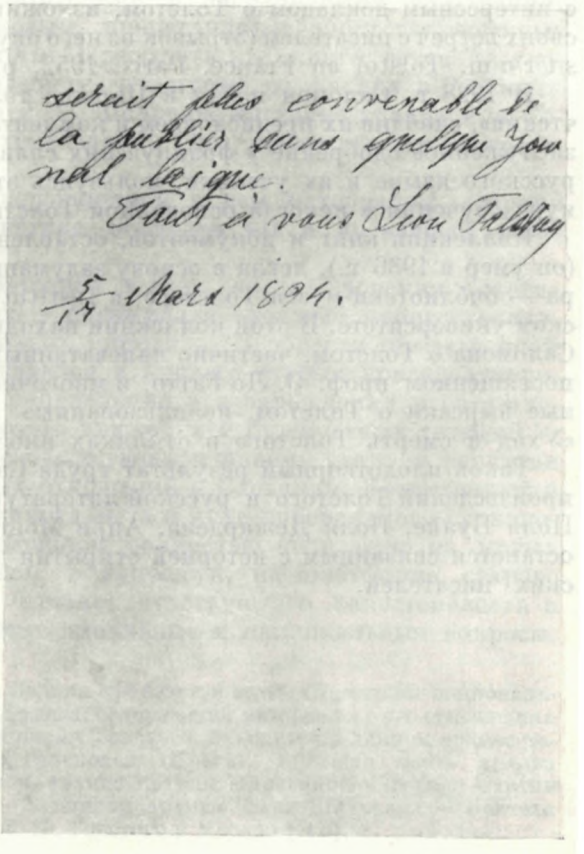
Наибольший интерес, разумеется, представляют письма, связанные с деятельностью Саломона как переводчика Толстого. Вот что он, например, писал 21 июня 1894 г.:

«Извините меня, пожалуйста, за то, что я долго не писал вам: между тем, я должен был это сделать по тысяче причин. Но еще не слишком поздно горячо поблагодарить вас за то удовольствие, которое вы мне доставили, поручив перевести ваше предисловие к Мопассану. В этом для меня

соединились различные интересы: вы написали и ведете речь о человеке, которым я восхищаюсь как литератором и к которому испытываю горячую привязанность, потому что он лучше всех других французских писателей изумительно выразил чувства и ощущения, которые я понимаю и испытываю сам. Предисловие ваше имело здесь огромный успех: это доходило до меня со всех сторон. Успех был и у тех, кто вполне согласен с вашим мнением, и у тех, кто не совсем разделяет вашу точку зрения.

А теперь я должен попросить вас о некоторой снисходительности к моей работе. Я старался в меру своих сил: но сделал я ее в условиях спешки, от меня не зависевших, погоняемый депешами главного редактора „Débats" и в полном уединении, в Бретани, без помощи своих книг и словаря. Если эту вещь придется включить в состав тома, я пересмотрю свою работу. Некоторые ошибки представляют собой опечатки по вине типографии: мне не удалось продержать корректуру. И не мной проставлен заголовок, который без моего участия придумал г. Эдуард Род.

Графиня Татьяна написала мне, что вы подумываете о публикации целого тома статей. Я, конечно, буду в вашем распоряжении с осени, когда возвращусь в Париж. Мне кажется, что „ Неделание", „Религия и нравственность" и Предисловие к Мопассану не составят книги. Надлежало бы прибавить к ним статью о Тулоне, которую переводит Легра, и, возможно, что-нибудь еще, для того, чтоб этот том приобрел достаточные размеры. Мне кажется, что можно взять что-нибудь из ваших педагогических статей: была ли когда-нибудь переведена статья „Кому у кого учиться писать"? Я с удовольствием перевел бы ее ⟨...⟩



ПИСЬМО ТОЛСТОГО ШАРЛЮ САЛОМОНУ ОТ 5/17 МАРТА 1894 г.
Автограф. Лист последний
Bibliothèque Nationale, Paris

Кажется, в некоторых местах мне частично удалось передать свежесть и силу вашего стиля. Но я еще раз прошу вас о снисхождении, заслуженном мною в том отношении, что я *делал как только мог лучше...*»

Саломону пришлось посетить Ясную Поляну незадолго до ухода и смерти Толстого. Внезапное известие о трагическом конце явилось для него, как и для всех верных почитателей Толстого во Франции, едва ли не самым большим горем в жизни. На следующий день по получении печальной новости это общее горе объединило их в старом домике, бывшем обиталище Расина на улице Висконти: на зов Дежардена собрались Алэн, Шарль Жид, Пеги, Буайе, Алеви, Саломон, еще человек десять, в числе которых был и автор этих строк; мы обсуждали причины и смысл этого таинственного конца, и у всех нас было предчувствие той правды, которую позднее сформулировала дочь Толстого, Татьяна Львовна: он хотел убежать от жизни, тяготившей его как лживый компромисс, он желал жить в соответствии со своей верой в человека.

21 ноября 1910 г. в «Journal des Débats» была напечатана некрологическая статья Саломона о его великом русском друге.

В своих «Свидетельствах о последних днях Толстого», написанных в сотрудничестве с Даниэлем Алеви и опубликованных в «Correspondance», Саломон пытался пролить свет на эту поучительную кончину. Через десять с лишним лет он снова вернулся к той же теме в своих «Свидетельствах об уходе и смерти Толстого» («Nouvelle Revue Française», 1.II 1922).

Перу Саломона принадлежит любопытное исследование об «Азбуке» Толстого и Арведе Барине («Mélanges en l'honneur de Paul Boyer», Paris, 1925).

Нельзя не отметить, что 10 января 1926 г. Саломон выступил в Сорбонне с интересным докладом о Толстом, изложив в нем отдельные эпизоды из своих встреч с писателем (отрывок из него опубликован в книге Th. L i n d s t r o m. Tolstoï en France. Paris, 1952, p. 118—120).

В 1928 г. Саломон издал в Париже толстовские «Четыре книги для чтения», снабдив их предисловием и комментариями. Это издание встретило заслуженное одобрение у французских славистов, и наши преподаватели русского языка и их ученики, пользуясь этой книгой, словно проходили курс обучения в некогда основанной Толстым яснополянской школе.

Коллекция книг и документов, оставленная Саломоном по завещанию (он умер в 1936 г.), легла в основу задуманного им нового научного центра — библиотеки-музея Толстого в Institut d'Etudes Slaves при Парижском университете. В этой коллекции находится и рукопись воспоминаний Саломона о Толстом, частично напечатанных недавно в Риме, в сборнике, посвященном проф. Э. Ло Гатто, и многочисленные газетные и журнальные вырезки о Толстом, использованные Л. Р. Ланским в его обзоре «Уход и смерть Толстого в откликах иностранной печати».

Таков плодотворный результат труда Саломона над распространением произведений Толстого и русской литературы. Имя его, наряду с именами Поля Буайе, Поля Дежардена, Анри Монго и Даниеля Алеви, навсегда останется связанным с историей открытия для Франции величайших русских писателей.

МАТЕРИАЛЫ О ТОЛСТОМ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАЖСКИЙ АРХИВ Д. П. МАКОВИЦКОГО

Сообщение Стефана Колафы (Прага)

Двое словаков тесно связали свое имя с Толстым: *Д. П. Маковицкий*, его домашний врач и помощник, и доктор Альберт *Шкарван*. Первый прожил много лет в тесном общении с великим писателем, второй был с ним в переписке и приезжал в Ясную Поляну. Каждый по-своему много сделал для распространения произведений Толстого в Словакии, Чехии, Германии, Венгрии и других странах. Их примеру последовали К. Велеминский, К. Калал, И. Галек, В. Немрава и другие чехи и словаки, которые лично или через Маковицкого и Шкарвана сблизились с Толстым, укрепляя своей деятельностью русско-чешские и русско-словацкие отношения. Так, И. Галек, сын известного чешского поэта прошлого столетия, занимавшийся медицинской практикой, был одним из посредников между русскими читателями и заграничными издателями, в первую очередь В. Г. Чертковым, пропагандировавшим запрещенные в России произведения Толстого. Пересылать эти книги через Австро-Венгрию было безопаснее и надежнее, чем прямо из Англии в Россию.

Архивы Д. П. Маковицкого и А. Шкарвана частично хранятся в Советском Союзе, частично в Чехословакии. Они представляют многосторонний интерес *.

Наиболее значителен по содержащимся в нем материалам — архив Д. П. Маковицкого, характеристике которого мы и посвящаем наше сообщение.

Молодость Маковицкого протекала в годы, когда Словакия — тогда составная часть Австро-Венгрии — переживала сложный процесс разложения полуфеодальных помещичьих порядков. В области общественной мысли он с особенной силой сказался в кризисе старых консервативно-либеральных славянофильских направлений и в зарождении и оформлении новых течений — пролетарского движения и буржуазных течений — «гласизма» и других, которые соответствовали новому этапу в развитии капиталистических общественных отношений в Словакии. Воспитанный в семье зажиточного словацкого капиталиста в духе либерального славянофильства, Маковицкий не включился полностью ни в одно из новых политических течений, оставаясь, в сущности, на платформе старого консервативного либерализма. Однако, чувствуя его закостенелость и неспособность решить назревшие социальные и национальные вопросы,

---

* Архивы К. Велеминского и К. Калала хранятся в музее «Памятник национальной письменности» в Праге. Архив И. Галека, содержащий материалы о его отношениях с В. Г. Чертковым и другими помощниками Толстого, находится в личном архиве дочери Галека — Елены Шробаровой-Галековой (Прага). Бóльшая часть архива А. Шкарвана хранится в литературном архиве Матицы Словацкой в городе Мартин в Словакии, остальные материалы — в личном архиве сына Шкарвана — Войтеха Шкарвана в Праге, а также в Музее Л. Н. Толстого в Москве (*АТ*).

он ищет выхода из тупика и находит его в учении Толстого. В 1894, а затем в 1897, 1902 и 1904 гг. Маковицкий посещает Толстого в Крыму и Ясной Поляне. Он вступает в переписку с Толстым и его близкими друзьями — В. Г. Чертковым, Е. И. Поповым, П. А. Буланже и другими, создает по русскому примеру словацкий «Посредник», издает на словацком языке произведения Толстого.

Его деятельность, однако, не находит широкой поддержки ни в консервативно-либеральном лагере, ни у представителей новых, более радикальных политических направлений. Именно поэтому Маковицкий воспользовался приглашением Толстого и переселился в декабре 1904 г. в Ясную Поляну в качестве домашнего врача, прожив там до 1920 г. Целью своего пребывания у Толстого Маковицкий считал не медицинскую практику, хотя уделял ей много времени, а литературную и общественную работу.

Материалы, содержащиеся в архиве Маковицкого, отражают его разнообразную общественную, литературную и издательскую деятельность в Словакии и России. Переписываясь с видными русскими, чешскими, словацкими, а также и иностранными писателями и учеными — в частности, с Толстым, Чеховым, Р. Ролланом, С. Ваянским, В. Шробаром, Ф. О. Масариком, К. Велеминским и другими, Маковицкий собрал много разнообразных рукописных и печатных материалов.

Часть архива, хранящаяся в Праге, составилась прежде всего из материалов, собранных Маковицким за время его жизни в Словакии до переезда в Россию и в первые годы пребывания в Ясной Поляне. Вплоть до смерти Толстого он поддерживал тесную связь со своей родиной и, периодически приезжая туда, привозил собранную им переписку, а также присылал накапливавшиеся у него документы на хранение своему брату в родной город Ружомберок.

Часть рукописных материалов, хранящихся в Ружомбероке, особенно те, которые непосредственно связаны с деятельностью Толстого, была в 1925 г., уже после смерти Маковицкого, передана на хранение в литературный архив музея «Памятник национальной письменности» в Праге. Эти материалы были частично использованы при подготовке издания Полного (юбилейного) собрания сочинений Толстого. Полностью же эта часть архива Маковицкого была обработана лишь в 1958—1959 гг. Оставшиеся в Ружомбероке рукописные и печатные материалы, касающиеся, в основном, деятельности самого Маковицкого с 1885 по 1910 г., были, к сожалению, в 1937 г. уничтожены людьми, которые, вероятно, не знали, какую ценность эти материалы представляют.

После смерти Толстого, вплоть до 1920 г., Маковицкий не выезжал из России, и все накопившиеся рукописные и печатные материалы за этот период остались на родине Толстого и были переданы в Музей Толстого в Москве, где хранятся до сего времени. Так образовалась вторая часть архива Маковицкого.

Пражская часть особенно ценна тем, что в ней сосредоточены материалы, относящиеся к деятельности самого Толстого (та часть корреспонденции, которую Маковицкий как секретарь помогал вести Толстому, а также документы, относящиеся к творчеству Толстого). В московской части самый большой интерес представляют, прежде всего, «Яснополянские записки»; кроме того, в ней содержатся документы о деятельности самого Маковицкого.

Таким образом, архив Маковицкого, независимо от местонахождения отдельных его частей, надо рассматривать как единый фонд, содержащий ценные материалы, непосредственно связанные с Толстым, и документы, относящиеся лично к Маковицкому, но в то же время имеющие некоторое отношение к Толстому.

* * *

Первую и важнейшую часть архива составляет все то, что имеет прямое отношение к Толстому и членам его семьи. Эту часть можно подразделить на три группы: 1. Корреспонденция Толстого и его семьи; 2. Рукописи произведений Толстого; 3. Различные автографы Толстого (рисунки и чертежи — например, план местности, рисунок звездного неба, сделанный Толстым, вероятно, во время урока с крестьянскими детьми в 1907—1908 гг., детские рисунки), список книг, составленный Толстым. Сюда же относятся фотографии и печатные материалы со статьями о Толстом.

Почти все эти документы находятся в пражской части архива.

Часть корреспонденции Толстого и членов его семьи попала в архив Маковицкого вследствие того, что он активно помогал Толстому в ведении его обширной переписки. Маковицкий, знавший словацкий, чешский, венгерский, польский, сербский, болгарский, немецкий, английский, французский языки и, конечно, русский, был отличным помощником для писателя, особенно в переписке с иностранными корреспондентами. Не случайно Маковицкого называли в Ясной Поляне «министром иностранных дел» Толстого (см. стр. 526 настоящ. тома).

В архиве Толстого сохранилось большое количество конвертов от полученных писем с пометами Толстого и его секретарей, в том числе и Маковицкого.

Часть таких конвертов (91) осталась в архиве Маковицкого. В списки писем, написанных по поручению Толстого, вошли не все письма, конверты от которых с пометами Толстого остались в архиве Маковицкого. Пометы на конвертах, дающие представление о содержании писем и ответов, приобретают большое значение в тех случаях, когда письмо и ответ по той или иной причине не сохранились. Так, на конверте несохранившегося письма П. П. Капивецкого от 24 февраля 1907 г. из Екатеринодара находим запись Толстого: «Очень сожалею, что не могу ходатайствовать Вашему проекту. Надо возвратить Вам рукопись?».

В пражской части архива Маковицкого находятся также черновики нескольких писем Толстого. Среди них черновик письма от 20 декабря 1908 г. студенту Л. А. Арсеньеву, приславшему Толстому вырезку из газеты «Новое время» (от 18 декабря 1908 г.) со статьей, в которой А. А. Столыпин доказывал, что «закон, влекущий смертную казнь, Христос называет словом божьим». Текст этого черновика был включен в Юбилейное издание (т. 78, стр. 293). В этой части архива находится и черновик письма Толстого к Столыпину от 20 декабря 1909 г., в котором писатель осуждает его за статью в «Новом времени». Это письмо было также опубликовано по фотографии в Юбилейном издании (т. 78, стр. 294).

В ответ на просьбу журнала «Neue gesellschaftliche Korrespondenz» высказать свое отношение к смертной казни Толстой ответил письмом от 12 октября 1909 г. Он написал сначала два варианта письма; под вторым вариантом, который был предназначен для отсылки, он поставил свою подпись. Письмо содержало резко отрицательный ответ, который мог обидеть адресата. Поэтому Толстой послал письмо в смягченной редакции. Все три варианта письма напечатаны в Юбилейном издании (т. 80, стр. 142), но текст второго варианта опубликован без подписи, так как в копии письма из дневника Маковицкого (от 12 октября 1908 г.), по которой оно публиковалось, подпись не воспроизведена. Подлинник второго варианта, написанный Маковицким под диктовку Толстого и за подписью писателя, находится в Праге, в собрании Петра Марушиака, сына близкого друга Маковицкого, которому Маковицкий подарил его (фотокопия подлинника была впервые опубликована в книге «Sbornik Národního Muzea», Praha, sv. VI, 1961, str. 79).

В Юбилейном издании опубликовано письмо Толстого К. Иеропольскому от 1 декабря 1909 г. (т. 80, стр. 224—225), в котором писатель подтверждает, что передал все свое имущество наследникам. Письмо опубликовано по копии без подписи Толстого. Машинописный оригинал за подписью Толстого находится в пражском архиве Маковицкого. (Фотокопия подлинника была опубликована в той же книге, стр. 77.)

Большую ценность представляют десять подлинных писем Толстого к Маковицкому с 1894 по 1900 г. Все они опубликованы по фотокопиям в Юбилейном издании.

Наряду с письмами Толстого в пражском архиве Маковицкого находится 306 писем разных корреспондентов к Толстому — русских, чешских, словацких и других. По большей части это письма просительные: о материальной либо иной помощи. Так, А. И. Грачева, жена крестьянского поэта И. С. Грачева, посылая Толстому 17 июля 1907 г. сборник стихотворений своего мужа, просила его содействовать включению его в список книг, рекомендованных для библиотек народных школ.

Многие письма имеют деловой характер. Среди корреспондентов находим имена *П. Буланже*, *В. Галлюнаса*, *С. Гаврилова*, *И. Горбунова-Посадова*, *В. Ламанского*, *В. Молочникова*, *А. Овсянникова*, *Е. Попова*, *С. Шаховского*, *И. Тузова* и др. Из чешских и словацких авторов здесь находятся письма *К. Дворского*, *В. Горака*, *Р. Яролима*, *Д. Маковицкого*, *А. Шкарвана*, *К. Велеминского*, *А. Ритлиха* и *Р. Явурка* *. Отметим наиболее интересные из них.

И. Горбунов в своем письме от 18 июля 1906 г. послал Толстому список произведений Рёскина и просил отметить те из них, которые следовало бы издать в «Посреднике». *В. И. Ламанский* 7 июля 1908 г., откликаясь на новую статью Толстого «Не могу молчать», привел примеры из русской истории о том, как царизм применял насильственные методы для устранения враждебных ему лиц. Альберт *Ланген*, издатель мюнхенского «свободолюбивого» журнала «März», известил 21 декабря 1907 г., что посылает в Ясную Поляну по просьбе норвежского писателя Бьёрнстьерна Бьёрнсона несколько номеров своего журнала, и предложил Толстому печатать в нем свои новые произведения. Редакция берлинского журнала «Zeit und Bild» обратилась 14 апреля 1908 г. к Толстому с просьбой разрешить перевод и публикацию «Отца Сергия», выражая готовность передать гонорар в пользу фонда, основанного для подготовки восьмидесятилетнего юбилея Толстого. Лерой *Скотт* из Нью-Йорка известил Толстого 8 июля 1907 г., что посылает для ознакомления два своих рассказа.

В архиве хранится семьдесят одно письмо из переписки членов семьи Толстого с разными лицами. Большинство из них адресовано Д. П. Маковицкому (8 писем А. Л. Толстого, 4 — А. Л. Толстой, 1 — С. Л. Толстого и др.). Кроме того, имеется двенадцать писем разных лиц к Л. Л. Толстому (все они имеют отношение к сбору пожертвований в пользу голодающих крестьян в 1891 г.). Остальные письма, адресованные А. Л. Толстой, С. А. Толстой и другим, имеют преимущественно характер чисто семейный. В нескольких письмах идет речь о литературной деятельности Толстого. Так, художник Н. А. Касаткин сообщил С. А. Толстой 12 января 1909 г. о том, что итальянские художники из Флоренции подготовляют в пользу пострадавших при землетрясении альбом «Numero Unico» и просят Толстого написать для него несколько слов.

---

* Письма А. Риттлиха (от 14 декабря 1898 г.), В. Горака (от 29 сентября 1908 г.) и пять писем и черновиков Д. П. Маковицкого были опубликованы в статье Štěpán K o l a f a. Olimpiáda Štěpanovová, Písemné Styky mezi L. N. Tolstým a jeho českými a slovenskými přáteli.—«Československá Rusistika», 1961, № 4.



ТОЛСТОЙ В МОЛОДОСТИ

Офорт чешского художника Рудольфа Климовича с его автографической подписью, 1954
Предоставлен «Литературному наследству» художником (Прага)

Среди материалов, относящихся к литературной деятельности Толстого, находим фрагменты автографов писателя, рукописные и машинописные копии его статей и печатные работы.

Большой интерес представляют сохранившиеся фрагменты рукописей: листки и даже клочки бумаги с отрывочными записями и пометами Толстого. Эти листки Маковицкий собирал и бережно хранил. Некоторые из этих фрагментов содержат интересные мысли и высказывания Толстого. Так, на обложке статьи «Старое и новое» находим следующие записи, сделанные рукой писателя: «Неизбежная революция сознания», «Новая жизнь», «Человечество вырастает из пеленок», «Революция неизбежная, непобедимая и всеобщая».

Наиболее важную часть автографов Толстого составляют, в основном, фрагменты первоначальных редакций разных статей. Переписав для Толстого исправленный текст, Маковицкий часто оставлял у себя черновики. Среди этих рукописей находится, например, одна страница второй редакции статьи «Заявление об аресте Н. Н. Гусева» (машинопись с поправками Толстого), написанной в 1909 г. в связи с арестом и ссылкой секретаря Толстого; два варианта начала третьей главы статьи «Единая заповедь». Первый вариант, по датировке Маковицкого, был написан Толстым 8-го, а второй — 15 июля 1909 г. Сравнение рукописных и печатных текстов показывает, насколько отличается первый рукописный вариант от второго, как отличается печатный текст от второго варианта (Д. П. Маковицкий переписал текст первого варианта). Его рукопись была воспроизведена факсимильно в статье: Štěpán K o l a f a. Archiv Dušana Makovického.— «Slovenská Literatura», 1959, № 3, str. 360.

Среди списков статей Толстого имеются «Послесловие» к статье «К рабочему народу» (т. 35, стр. 199—215), статья «Истинная свобода» (в копии статья озаглавлена «О перекувыркнутой телеге» и «Истинная свобода» (т. 90, стр. 77—82), и три первые главы «Пути жизни» (т. 45, стр. 19—45). Заглавия этих глав по рукописному тексту: «О вере», «О душе», «Дух божий живет во всех» отличаются от печатного: «О вере», «Душа», «Одна душа во всех». Среди копий имеются машинописные копии статей «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу» (т. 36, стр. 340—341), «Письмо к индусу» на английском языке в переводе В. Г. Черткова (т. 37, стр. 35—66). На всех рукописных и машинописных копиях следы работы Толстого, его собственные поправки, а также записи, сделанные рукой его помощников.

В пражской части архива Маковицкого находится также сто двадцать семь листов корректуры «Нового Круга чтения» и брошюра «Любите друг друга» (обращение к кружку молодежи). На обеих работах поправки и пометы Толстого и его помощников. Так, в корректуре «Нового Круга чтения» под датой 1 июля запись рукой Толстого: «Нет дела более пустого и бесполезного и более вредного для жизни, как забота об увеличении имущества». В окончательном тексте сборника «На каждый день» этого афоризма нет.

Вторую часть пражского собрания бумаг Маковицкого составляют письменные и печатные материалы, отражающие деятельность Маковицкого как помощника Толстого и другие аспекты работы Маковицкого. Эти материалы столь же разнообразны, как и документы, относящиеся к Толстому. Сюда входят: корреспонденция Маковицкого, материалы о его литературной и публицистической деятельности и документы о его медицинской практике.

Наибольший интерес представляют первые две группы материалов и прежде всего корреспонденция Маковицкого. Уже говорилось, что Маковицкий в первые годы жизни в Ясной Поляне вплоть до смерти Толстого периодически пересылал на родину собиравшиеся у него документы.

Естественно, что хранящаяся в Праге часть корреспонденции Маковицкого представляет больший интерес, чем хранящаяся в Москве и относящаяся к 1911—1920 гг. и поэтому менее связанная с Толстым. Сохранились в архиве и письма разных лиц к Маковицкому и письма Маковицкого — большей частью черновики и несколько писем, по разным причинам не отправленных адресатам.

Среди первой группы преобладают письма, полученные Маковицким из России (457). Здесь находятся письма *Н. Абрикосова*, *П. И. Бирюкова*, *В. Ф. Булгакова*, *В. Д. Бонч-Бруевича*, *И. К. Дитерихса*, *Н. Н. Гусева*, *В. А. Лебрена*, *В. А. Игумновой*, *И. И. Горбунова-Посадова*, *В. А. Молочникова*, *Д. В. Никитина*, *С. Д. Николаева*, *П. П. Николаева*, *П. А. Сергеенко*, *А. П. Сергеенко*, *В. Г. Черткова*, *А. К. Чертковой* и др. В письмах этих близких Толстому людей отражается, с одной стороны, деятельность самого писателя, с другой,— деятельность этих людей за границей и в революционные годы в России. Второе место по количеству (91) занимают письма, полученные от чехов и словаков. Среди них — письма крупного чешского художника Франтишка *Билка*, приславшего Толстому фотографии своих скульптурных работ, письма *К. Велеминского*, рассказывающие о том, как чешские и словацкие почитатели творчества Толстого подбирали по просьбе Маковицкого мысли и афоризмы писателей и мыслителей Чехии и Словакии для «Нового Круга чтения» («На каждый день»), над которым Толстой тогда работал. Здесь и письма *П. Гесса*, *Я. Малиарика*, *В. Немравы* и др. На третьем месте — письма (48), полученные Маковицким из других стран. Они посвящены в основном переводам произведений Толстого на иностранные языки.

Сохранившиеся письма самого Маковицкого адресованы русским друзьям Толстого (В. Г. и А. К. Чертковым, Н. Н. Гусеву, В. А. Лебрену и др.). Кроме того, адресатами Маковицкого были чехи, словаки и другие иностранцы. Здесь находится, например, черновик письма Маковицкого к чешскому издателю и политическому деятелю А. Хайну, написанный после 2 января 1902 г. В нем Маковицкий рассказывает о своем посещении Толстого в Крыму и о знакомстве с Горьким (в Крыму Маковицкий познакомился и с Чеховым и завязал с ним переписку). Приводим в переводе с чешского полный текст письма к А. Хайну по поводу альбома рисунков чешского художника Эмиля Холарека «Размышления о катехизисе», изданного в 1895 г. в Праге:

Милостивый государь!

Присланный вами альбом Хол⟨арека⟩ «Размышления о катехизисе» находился в петербургской цензуре и попал в мои руки только 2 января, за два дня до моего отъезда из Крыма. Я отдал его Толстому. Рисунки Толстому очень понравились, он наслаждался ими, хвалил их, даже стесняюсь написать, как. (Вы убедитесь в этом по моим запискам, которые собираюсь написать, когда будет у меня время, приблизительно через две недели.) Картины смотрел и Горький, ему они также очень понравились. Он также просил меня прислать ему один экземпляр альбома. Будьте так добры, пришлите ему такой же альбом большого формата, с чешским и французским текстом по адресу: Алексей М. Пешков, Олеиз, почта Кореиз, Крым, Россия. Прошу вас также переслать ему альбом со скидкой— он лично об этом не просил, но я проговорился, что он получит скидку в размере 25 процентов, буду очень благодарен, если мое обещание будет выполнено. Если, однако, вы на это никак не согласитесь, то пришлите ему альбом за полную цену. Посылку шлите return of post *, денежную квитанцию пришлите в особом письме.

* наложенным платежом (англ.).

Мне очень досадно утруждать вас просьбой об особых льготах, но речь идет о большой сумме, а также о больших затратах на пересылку; прошу также один экземпляр «Р〈азмышления〉» для выходящей замуж племянницы и два экземпляра для моих друзей. Не можете ли вы мне их (один, два или все три) выслать со скидкой 50 процентов?

С уважением Д. М.

Маковицкий действительно прислал А. Хайну статью «Лев Толстой по поводу „Размышлений о катехизисе" Холарека». Она была опубликована в газете «Samostatnost» 2 июля 1902 г. (№ 55), а затем перепечатана газетой «Čas» 6 июля 1902 г. (№ 184). Маковицкий рассказал в своей статье о том, как он 31 декабря 1901 г. принес Толстому «Размышления о катехизисе» и как Толстой вместе с Софьей Андреевной, Татьяной Львовной и Ольгой Константиновной рассматривал альбом: «Чем больше вглядывался он в рисунки,— говорит Маковицкий,— тем больше они ему нравились, особенно середина альбома, потом рисунки из военной жизни, о крестьянском восстании... Время от времени он говорил: „Как хорошо! Удивительный мастер! Очень интересно! Замечательно хорошо!"» 〈...〉 Кроме того, на Льва Николаевича произвели впечатление рисунки, изображающие порку крестьян-бедняков; конфискацию последней коровы; увод девушки полицейским; падшую девушку, стоящую перед церковью; расстрел стачечников и, особенно, похороны их; выражение лиц вдов; награждение военного. «Смотри, Таня, как это хорошо,— передает Маковицкий слова Толстого.— 〈Холарек〉 ничего не пропустил, изобразил все; что за выражение лиц! Наши Орлов, Касаткин не могут с ним равняться. Холарек такой же мастер, как и Пастернак. И как содержательно! Вот приложение христианства к искусству». Маковицкий сообщил писателю, что Холарек создал эти рисунки пять лет назад, как раз в то время, «когда в чешской литературе начало проявляться с большой силой влияние религиозных взглядов Толстого. Маковицкий упомянул, что



«ЖЕРТВА МОЛОХА»

Гравюра по рисунку чешского художника Эмиля Холарека

Из цикла антимилитаристических иллюстраций, изданных в Англии В. Г. Чертковым вместе с текстами Толстого и др. авторов («War. Pictures by Emil Holarek...»«The Free Age Press». Christchurch)

«ХРИСТИАНСКАЯ АРМИЯ»

Гравюра по рисунку чешского художника Эмиля Холарека

Из цикла антимилитаристических иллюстраций, изданных в Англии В. Г. Чертковым вместе с текстами Толстого и др. авторов («War. Pictures by Emil Holarek...» «The Free Age Press». Christchurch)



альбом был им показан и Горькому, который попросил у него для себя экземпляр, сказав при этом: «Славные рисунки; ведь и у меня была подобная мысль».

Кроме этой статьи, Маковицкий написал и для словацкого журнала «Hlas» о своих впечатлениях от поездки в Крым, от встреч с Толстым, Чеховым и Горьким. Рукопись эту читали его близкие друзья, и Маковицкий отослал ее в редакцию журнала. Но из-за прекращения издания «Hlas» статья не была опубликована. Местонахождение рукописи остается неизвестным.

Когда вспыхнула русско-японская война, значение картин Холарека еще более усилилось. Вот почему в 1906 г. В. Г. Чертков издал в Англии эти картины в новом альбоме с текстом из произведений Толстого и других авторов (1906). Толстой много раз возвращался к этому альбому, восхищаясь правдивостью и мастерством чешского художника.

В бумагах Маковицкого находится двадцать два письма разных лиц к разным лицам. Среди них письма *В. Г. Черткова* к *Е. И. Попову*, *В. А. Лебрена* и *И. Трегубова* к *А. Шкарвану*, *А. Шкарвана* к *А. К. Чертковой*, *Н. Н. Гусеву* и др.

В пражской части архива Маковицкого находятся отдельные черновики писем Толстого, написанные им лично или же под его диктовку (часть в виде стенограмм). Некоторые из них остались неопубликованными, другие вошли в Юбилейное издание по иным источникам (копиям, беловым текстам и т. д.). Приводим здесь краткий перечень этих материалов.

В архиве хранятся: телеграмма Толстого в Ясную Поляну из Лазарева от 27 XI 1908: «Будем к обеду троем. Толстой» (в Юбил. изд.

отсутствует); черновики и копии писем Толстого к Ни⟨колаю⟩ *А.* б/д (в Юбил. изд. отсутствует); *Л. А. Арсеньеву* от 20. XII 1908 (т. 78, стр. 293); *И. П. Балашову* от 25. II 1909 (т. 79, стр. 80—81); Ангелу фон *Балтз-Балтрберг* от III. 1910 (в Юбил. изд. отсутствует); *П. С. Будьяну* от 23.I 1910 (т. 81, стр. 74); *В. Велигоцкому* от 24.I 1910 (т. 81, стр. 71); *Ф. М. Б. Геццу* от 17.III 1910 (т. 81, стр. 151); *И. И. Горбунову-Посадову* от 5.I 1905 (т. 42, стр. 565); *А. К. Грессеру* от VII 1909 (опубликовано под условной датой 24. IV 1909 — т. 79, стр. 79); *И. С. Грушевскому* от 17.XII 1908 (т. 78, стр. 291); *Г. фон Зиболду* от 30. IV/13.V 1907 (т. 77, стр. 92); *К. Иеропольскому* от 1.XII 1909 (т. 80, стр. 224—225); *А. Ф. Кони* от 15. X 1907 и 25. III 1908 (т. 77, стр. 226 и т. 78, стр. 102—103); *А. М. Кузьминскому* от 15. X 1907 (т. 77, стр. 225); *В. А. Лебрену* от 5. II 1910 (т. 81, стр. 275); Элиасу *Леру* от 25. II 1910 (в Юбил. изд. отсутствует); *Н. М. Муравьеву* от 25. II 1909 (т. 79, стр. 90—93); *Г. А. Новичкову* от 10. II 1910 (т. 81, стр. 282); *Е. И. Попову* от 11. I 1907 (т. 77, стр. 13—15); *Президенту* Общества итальянских артистов от 27. II 1909 (т. 79, стр. 96); *редакции* журнала «Neue gesellschaftliche Korrespondenz» от 12/25. X 1909 (т. 80, стр. 142); *редакциям* газет от 13. XI 1907 (т. 77, стр. 243); *А. А. Столыпину* от 20. XII 1908 (т. 78, стр. 294); *А. Шкарвану* от 4. XII 1909 (т. 80, стр. 233—234; опубликовано по чистовому тексту с датой 6. XII 1909); *С. Л. Юргевич* от 2. VII 1908 (т. 78, стр. 173); *неизвестной* от 24.I 1909 (в Юбил. изд. отсутствует).

Кроме того, в архиве хранится письмо Маковицкого к *неизвестной* (в Чехию) от 25. XII 1908, написанное по поручению Толстого; два замечания *А. Шкарвану*, продиктованные Толстым Маковицкому 4. XII 1909 и 11. I 1910, и надпись-посвящение Толстого (в двух вариантах) *неизвестному* (на фр. яз.) от 24.II 1909. Оба документа отсутствуют в Юбил. изд.).

Отметим также хранящиеся в архиве переводы (Маковицкого) писем Толстого к *Е. Рейхелю* от 2/15.III 1907 (т. 77, стр. 47—49; ср. т. 56, стр. 11); *Г. Фрейданку* от 4/17.XI 1909 (т. 80, стр. 170); копия телеграммы Толстого *В. Е. Марсдену* от 12.II 1909 (т. 79, стр. 70).

Важны по своему значению и материалы о литературной и публицистической деятельности Маковицкого, в особенности — «Яснополянские записки», которые Маковицкий вел в течение всех лет, прожитых им близ Толстого (см. Приложение).

О Толстом издано много воспоминаний, но большая часть из них писалась не непосредственно после встреч с Толстым, а значительно позднее. Записки Маковицкого, которые он вел изо дня в день, выгодно отличаются от дневниковых записей других современников из окружения Толстого исключительной, буквально стенографической полнотой. Не мудрствуя лукаво, Маковицкий вел повседневную летопись яснополянской жизни. Отмечая все большие и малые события, приезд разных посетителей, скрупулезно записывая все разговоры Толстого с его многочисленными гостями и друзьями, суждения о текущих событиях, людях, книгах и т. п., Маковицкий запечатлел в своем дневнике многие стороны общественной жизни не только России, но и других стран.

Мысль о ведении записок возникла у Маковицкого уже при первом посещении Толстого в 1894 г., и тогда он определил для себя правило: «В своих заметках хочу быть всегда правдив, хочу записать лишь то, что я видел или слышал аутентично; что точно не знаю, не пишу, лучше оставлю пустое место («Яснополянские записки». Прага). В этом Маковицкий видел свое призвание. «Я грешен,— сказал он Толстому на третьем году своего пребывания в России,— пишу дневники и этим оправдываю свое пребывание у вас; может быть, будут полезны» («Яснополянские записки», запись от 19 апреля 1907 г.— *АТ*). По примеру Маковицкого,

начали вести систематические записи и другие друзья Толстого. В письме от 26 января 1909 г., адресованном редакции словацкого журнала «Pohl'ady», Маковицкий не без законной гордости писал: «Записки ведем теперь все... и секретари Л. Н.— Н. Гусев и Чертков. Г〈усев〉 начал лишь вследствие моих советов, а Ч〈ертков〉 пишет, как мне кажется, благодаря моему примеру, так как много раз начинал, но никогда не выдерживал» (Прага).

«Яснополянские записки» по своему объему чрезвычайно обширны. Считается, что они охватывают период с 1904 по 1910 г., т. е. время постоянного пребывания Маковицкого в Ясной Поляне. Однако начало «Записок» следует отнести ко времени его предыдущих посещений Толстого — в 1894, 1897, 1902 и 1904 гг. «Яснополянские записки» 1904—1910 гг. являются, таким образом, продолжением прежних записок.

Маковицкий постоянно имел в правом кармане своего пиджака стандартные «билетики» небольшого формата, вырезанные из плотной бумаги. Услышав или увидев что-нибудь значительное, он вынимал «билетик» и делал запись. Чтобы не нарушать течение разговора и записать как можно незаметнее, он часто писал в кармане, не вынимая «билетика». Вот почему большинство «билетиков» исписано неразборчивым почерком, прочесть который — и то лишь непосредственно после записи — мог только сам Маковицкий. Несмотря на отрывочность записей и неразборчивость почерка, все эти «билетики» — ценный источник, потому что записи на них сделаны с большой точностью и полнотой, а также потому, что при дальнейшей работе над записками не все первичные записи были использованы. Было бы весьма важно выявить местонахождение и содержание всех этих «билетиков» и дополнить окончательную редакцию «Яснополянских записок». В пражской части архива Маковицкого находится около пятисот «билетиков». Большая часть из них относится к 1910 г.

В течение дня у Маковицкого накапливалось до двадцати и более «билетиков». Поздно вечером, когда в Ясной Поляне затихала жизнь, Маковицкий принимался за их переписку. Припоминая по отрывочным записям все содержание разговоров, воссоздавая полную картину прошедшего дня, Маковицкий расшифровывал свои записи на «билетиках» и, то дополняя, то сокращая их, переписывал все на бумагу большого формата — так называемые листы. Эти «листы» Маковицкий через некоторое время (обычно через месяц) переписывал в тетради. Поскольку при переписке в тетради Маковицкий включал не все содержание «листов», было бы весьма полезно — для дополнения записок — изучить и все эти «листы». В пражской части архива их около четырехсот пятидесяти, главным образом за 1905, 1907, 1909 и 1910 гг.

В тетрадях записи Маковицкого принимали более или менее окончательный вид. По их количеству можно себе представить масштабы труда Маковицкого. За шесть лет своего пребывания в Ясной Поляне он исписал своим мелким почерком шестьдесят четыре тетради — в среднем по восемьдесят — сто страниц в каждой. Тетради эти представляют наибольший интерес, так как они содержат текст записок без сокращений и поправок, которые Маковицкий сделал позднее. А. Шкарван, В. Г. Чертков и другие настоятельно требовали исключения некоторых записей, часто имеющих, однако, существенное значение. В частности, исключены были некоторые записанные Маковицким критические суждения Толстого о Черткове и других толстовцах. В пражской части архива Маковицкого сохранились следующие тетради: с 19 декабря 1904 г. по 8 января 1905 г. (160 листов); с 7 по 25 января 1905 г. (100 листов); с 10 февраля по 20 марта 1905 г. (124 листа); с 8 ноября по 1 декабря 1905 г. (76 листов); с 21 ноября по 31 декабря 1909 г. (102 листа); с 18 апреля по



«ШУТ ПАЛЕЧЕК».
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЧЕШСКОГО
ХУДОЖНИКА КАРЛА ШТИКИ

Гравюра

Фронтиспис книги: Lev Nikolaevic Tolstoj. O bratru Palečkovi. Praha, 1947

1 июля 1910 г. (106 листов); с 13 сентября по 7 октября 1910 г. (70 листов); с 8 по 26 октября 1910 г. (56 листов).

Вначале Маковицкий вел свои записи на словацком языке: эти тетради (около семисот страниц) перевел на русский язык А. Шкарван. Текст в остальных тетрадях — русский, но так как Маковицкий плохо владел русским языком, записи его нуждались в стилистических и грамматических исправлениях. Эту работу выполнили друзья Маковицкого — Е. И. Попов, С. Д. Николаев, Н. Н. Гусев и др. В конце 1907 и начале 1908 г. начался четвертый этап оформления «Яснополянских записок» — переписка их на машинке (машинописную копию в пяти экземплярах сделала помощница Маковицкого по яснополянской амбулатории О. В. Завалиевская). По настоянию упомянутых выше лиц в машинописный экземпляр не вошли записи, не относившиеся непосредственно к Толстому, а также те, которые казались им неверными или излишними. Несмотря на некоторые сокращения, первая машинописная рукопись, законченная, в основном, в 1914 г., состояла из 6346 страниц. Она почти целиком находится в московской части архива Маковицкого (*АТ*). В пражской части архива хранится машинопись, сделанная лишь с двух тетрадей за период с 18 апреля по 1 июня 1910 г. (60 листов), и конец записок, включающий уход Толстого из Ясной Поляны (70 листов) *.

13 октября 1906 г., почти через два года после приезда Маковицкого в Ясную Поляну, сын Толстого, Андрей Львович, сказал Маковицкому:

* В пражской части архива Маковицкого хранятся также рукописные записки *В. А. Лебрена* «Первое посещение Льва Николаевича» (1900 г. — 34 листа) и «Последнее посещение Льва Николаевича» (1901 г. — 8 листов).

«ШУТ ПАЛЕЧЕК». ЧЕШСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ (ПРАГА, 1947)
Художник Карл Штика
Титульный лист



LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

O BRATRU PALEČKOVI

SFINX B. JANDA PRAHA 1947

«Папа узнал о том, что вы пишете дневник. Он знал, что пишете, только не знал, что так подробно. Одобрил, сказал, что вы одних с ним взглядов, и рассказал, что есть такая книга: „Джонсон и Босвель...“ Босвель вызывал Джонсона на разговоры — он был его друг — и записывал. И когда напечатал, то оказалось, что эти разговоры интереснее всего, что написал Джонсон» (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки.— *АТ*). Толстой и сам разговаривал с Маковицким по поводу его записок, но на вопрос Маковицкого, будут ли они полезны, ограничился кратким ответом: «Этого я не знаю, это ваше дело» (там же, запись 18 апреля 1907 г.).

Живя в Ясной Поляне, Маковицкий тяготился тем, что получает средства к жизни от Толстого. Он мечтал лечить крестьян и Толстого бесплатно, отказаться от денежного вознаграждения, а затем и от всякой материальной помощи. Для осуществления этого желания, возникшего у него вскоре после переселения в Ясную Поляну и преследовавшего его в течение всего его пребывания в России, Маковицкий решил использовать свои «Яснополянские записки». Вот почему вскоре после прибытия к Толстым он обратился со следующим письмом в редакцию газеты «Новое время»: «Я ⟨работаю⟩ врачом ⟨в семье⟩ Толстых в Я⟨сной⟩ П⟨оляне⟩. Ежемесячно я от них получаю 155 р. Мне тягостно получать от них такую сумму и надеюсь отказаться от нее. Пришло мне в голову предложить вам следующее: вы мне будете платить это жалование, и я откажусь от денег, ⟨получаемых⟩ от Толстых. Я скажу, что нашелся такой человек, который меня содержит в благодарность Льву Николаевичу за то, что он сделал для русского народа. Или же это говорить не буду, а просто

откажусь вежливо от гонорара. За то я буду еженедельно писать для вас статьи о том, что читает и говорит Лев Николаевич о текущих событиях, о жизни. Мне бы очень не хотелось, чтоб об этом ⟨нашем договоре⟩ было написано в „Новом времени“ (Лев Николаевич не желает, чтобы кто-либо писал про него записки, и я это все же делаю — пишу обстоятельно Дневник, не сообщая ему это). Вы мне можете возразить так: почему просто не посылать вам статьи (хоть в мою газету) и таким образом доставать нужную сумму. Мой ответ: я не умею писать статьи (а если и какую-нибудь напишу, то для этого понадобится мне много времени, еще ей не дам надлежащую форму), а заметки ⟨писать⟩ совестно...» (Прага).

Мечта Маковицкого о публикации своих записок, однако, не сбылась. Накануне мировой войны, когда была закончена первая машинописная редакция записок, Маковицкий решил приступить к их печатанию. Издатели разных стран хотели выпустить эти записки на русском, английском, немецком, французском, чешском и других языках. Маковицкий принял решение вернуться после публикации записок в Словакию и на полученные средства вновь открыть там свое издательство «Посредник». Главным препятствием для издания «Яснополянских записок» были критические замечания, сделанные близкими Толстому лицами, особенно В. Г. Чертковым. В отличие от Шкарвана, Маковицкий в течение многих лет относился к Черткову вполне по-дружески. Но и у него со временем возникло недовольство деспотическим отношением Черткова к другим последователям Толстого, в том числе и к самому Маковицкому. Эту перемену заметил и Чертков, особенно после смерти Толстого. «Прежнее слепое преклонение перешло в некоторое недоброжелательство. Вы его раньше, когда его не было, предполагали во мне, а теперь, с 1910 года, оно действительно есть»,— писал Маковицкий 6 октября 1912 г. А. К. Чертковой (*АТ*).

Напряженность усилилась особенно после того, как Маковицкий окончил первый вариант своих записок.

Прочитав копию записок Маковицкого, А. К. Черткова написала ему два возмущенных письма. В одном из них (от 18 ноября 1913 г.) она писала: «... к моему великому огорчению ⟨...⟩, вы, Д. П., ужасно недоброжелательно говорите о Вл. Гр.— человеке, который так дружески доверчиво и любовно относился к вам ⟨...⟩ Как вам, Д. П., не жаль, не совестно присоединяться к клике врагов, травящих человека — искреннего друга Л. Н—ча и вашего!!!» (*АТ*).

Маковицкий несколько раз пытался отвечать на это обвинение. В его архиве (*АТ*) мы находим три варианта ответа и отдельные записи. «В. Г. считает, что все, кто с ним не во всем согласны, ему враги, зла хотят, недоброжелательны к нему»,— писал он в одном из вариантов письма. Об Ольге Константиновне, сестре А. К. Чертковой, Маковицкий писал: «Напрасно обвиняет меня, что я вкладываю в уста Л. Н.—ча: „Боюсь писем Ч⟨ертко⟩ва“». И дальше: «Читали части ⟨записок⟩ С⟨офья⟩ А⟨ндреевна⟩, А⟨лександра⟩ Л⟨ьвовна⟩, Т⟨атьяна⟩ Л⟨ьвовна⟩, А⟨ндрей⟩ Л⟨ьвович⟩, Н. Н. ⟨Гусев⟩, С⟨ергей⟩ Л⟨ьвович⟩, никто из них не обиделся на слова Л. Н⟨иколаеви⟩ча... Я ничего не вкладывал в уста Л. Н. Я как умел, так добросовестно записывал». И, наконец, обещал: «В чем (только) буду мочь, буду пропускать отзывы ⟨Толстого⟩, которые могли бы быть неприятные людям». Приняв все замечания, Маковицкий приступил к исправлению и сокращению «Записок», к созданию второй машинописной редакции, над которой работал все годы первой мировой войны — вплоть до возвращения на родину в 1920 г. По этой второй машинописной редакции и печатаются все до сих пор изданные части «Яснополянских записок». Довести до конца полное издание своего труда Маковицкому не удалось. Он умер в 1921 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ ИЗДАННЫХ ЧАСТЕЙ «ЯСНОПОЛЯНСКИХ ЗАПИСОК» Д. П. МАКОВИЦКОГО

1. «Яснополянские записки». Вып. I. М., 1922, стр. 1—102.
2. «Яснополянские записки». Вып. II. М., 1923.
3. «1905—1906 гг. в Ясной Поляне» (из записок Д. П. Маковицкого). — «Голос минувшего», 1923, № 3, стр. 3—18.
4. «Толстой в жизни» (наблюдения и записки). — «Л. Н. Толстой. Юбилейный сборник». М., 1928, стр. 241—255.
5. «Уход Л. Н. Толстого». — «Летописи Гос. Литературного музея», кн. 2. М., 1938, стр. 446—462.
6. «Уход Льва Николаевича». — Сб. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1955, стр. 319—332.
7. «Яснополянские записки» (1904—1905 гг.). — Сб. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1955, стр. 171—196.
8. «Толстой в жизни». — Сб. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1955, стр. 356—368.
9. «Яснополянские записки» (март 1905 г.). — «Яснополянский сборник». Вып. I. Тула, 1955, стр. 293—320.
10. «Яснополянские записки» (март 1905 г.). — «Яснополянский сборник». «Лев Толстой». Вып. II. Тула, 1958, стр. 177—200.
11. «Яснополянские записки» (апрель 1905 г.).— «Яснополянский сборник». Вып. III. Тула, 1960, стр. 164—183.

ТОЛСТОЙ И ЛИНКОЛЬН

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫМЫШЛЕННОГО ИНТЕРВЬЮ

Сообщение Е. М. Двойченко-Марковой

7 февраля 1909 г., когда праздновалось столетие со дня рождения Линкольна, американская газета «New York World» опубликовала интервью Толстого, будто бы данное им корреспонденту этой газеты, С. Штакельбергу. В этом интервью Толстому был приписан следующий рассказ:

«Во время моего путешествия на Кавказ мне случилось однажды быть гостем у предводителя черкесов, который, живя в горах вдали от цивилизации, имел отрывочное и детское представление об окружающем мире и его истории. Цивилизация никогда не касалась ни его, ни его племени, и жизнь вне его родных долин представлялась ему преисполненной загадочной тайны. Будучи мусульманином, он, естественно, был противником всяких прогрессивных идей и образования.

Я был принят с обычным восточным гостеприимством. После угощения, хозяин попросил меня сообщить что-нибудь о своей жизни. Уступая его просьбе, я стал рассказывать ему о своей профессии, о развитии нашей индустрии, об изобретениях, о школах. Он слушал меня невозмутимо, но когда я стал говорить о великих государственных мужах и полководцах, он сразу оживился. „Подожди немного,— прервал он мой рассказ,— я хочу, чтобы тебя послушали мои сыновья и соседи. Я их сейчас приведу".

Он тотчас же вернулся в сопровождении дикого вида наездников и заставил меня продолжать. Это был воистину торжественный момент, когда дети пустынных гор уселись вокруг меня на полу и уставили на меня глаза с жадным любопытством. Я начал с наших царей и их побед. Затем перешел к чужеземным правителям и великим полководцам мира. Мой рассказ, казалось, произвел на них глубокое впечатление. Наполеон их так заинтересовал, что они заставили меня сообщить мельчайшие подробности, например, какие были у него руки, какого он был роста, кто изготовлял ему пушки и пистолеты и какой масти был его конь. Было очень трудно удовлетворить их любопытство и приспособиться к их точке зрения, но я старался изо всех сил. Когда я, наконец, объявил им, что рассказал все, что́ знал, хозяин сакли, высокий седобородый наездник, поднялся, простер руки и торжественно произнес:

„Но ты не сказал нам ни слова о самом великом на свете полководце и правителе. Мы хотим знать о нем. Он был герой. Его голос был подобен грому, его улыбка — солнечному лучу, а дела его были то тверды, как скала, то нежны, как лепестки роз. Ангелы явились его матери и предсказали, что сын, которого она родит, будет таким великим, какого еще не видели звезды. Он был так великодушен, что прощал своих злейших врагов и братски жал руку тем, кто покушался на его жизнь. Имя ему было Линкольн, а страна, в которой он жил, зовется Америкой. Она



ТОЛСТОЙ И НИКОЛАЙ II

Карикатура художника В. В. Карика (тушь)

Воспроизведена в английской газете «Manchester Guardian» от 5 сентября 1908 г.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

так далеко отсюда, что юноша, пустившийся в путь от нас, достигнет этой страны только к старости. Расскажи нам об этом человеке".

„Расскажи, расскажи, и мы подарим тебе лучшего коня",— закричали остальные.

Я смотрел на них: их лица сияли, глаза горели. Я видел, что этих суровых горцев действительно интересовал человек, чье имя и дела уже стали легендой. Я рассказал им о Линкольне, о его мудрости, жизни, юности. Они задавали вопросы, но на бóльшую часть из них я не был в состоянии ответить. Они хотели знать мельчайшие подробности о привычках Линкольна, о его влиянии на людей, о его физической силе, но были неприятно поражены, узнав, что Линкольн плохо держался на коне и что он вел простой образ жизни.

„Расскажи нам, почему его убили?"— спросил один из них.

Я должен был рассказать все, что знал о гибели Линкольна. Я истощил весь запас своих знаний о нем, но зато я видел, что они остались довольны. Никогда не забуду, с каким энтузиазмом они меня благодарили и как горячо просили достать им портрет великого американского героя. Я сказал, что, быть может, найду портрет у моего друга в ближайшем городе. Это привело их в восторг.

На другое утро, когда я оставлял своего гостеприимного хозяина, мне привели превосходного арабского скакуна в дар за мою чудесную историю, и мы трогательно распрощались. Один из наездников взялся сопровождать меня в город, чтобы взять обещанный портрет, который я теперь должен был раздобыть во что бы то ни стало. Мне посчастливилось найти большую фотографию Линкольна у моего друга. Я вручил ее горцу с просьбой передать оставшимся вместе с моим приветом. С интересом заметил я, каким торжественным стало его лицо и как задрожали его руки, когда он принял мой подарок. Несколько мгновений он молча и благоговейно рассматривал портрет, и вдруг глаза его наполнились слезами. Он казался тронутым до глубины души. Я спросил его о причинах его внезапной грусти. После некоторого размышления он ответил: „Я грущу, потому что ему пришлось погибнуть от руки злодея. Разве ты не видишь, что на этой картине глаза его полны слез, а в губах таится скрытая печаль?“ Как все восточные люди, он говорил цветисто и, прощаясь, долго низко кланялся.

Этот маленький инцидент доказывает, как широко во всем мире распространилось поклонение Линкольну и каким легендарным стало его имя».

Затем в «интервью» приводились соображения Толстого о том, почему именно слава Линкольна превзошла славу всех остальных национальных героев мира. При этом русский писатель будто бы сравнил Линкольна с Христом и Буддой и назвал его «святым всего человечества, чье имя будет жить тысячелетия в легендах будущих поколений».

Нет необходимости доказывать фантастичность этого рассказа, вложенного американским журналистом в уста Толстого, в биографии которого он был, по-видимому, вовсе не осведомлен. Достаточно напомнить о том, что после 1865 г.— года гибели Линкольна — Толстой ни разу не был на Кавказе.

Не замеченное в России, интервью это было принято за чистую монету в США и вошло как неоспоримый исторический факт в одну из самых распространенных биографий Линкольна, написанную К. Сэндбергом (Carl S a n d b u r g. Abraham Lincoln. The War Years. New York, 1939). А десятилетием позже было включено в другой труд о Линкольне как составная часть главы, названной «Дань русских Линкольну» (Albert A. W o l d m a n. Lincoln and the Russians. Cleveland and New York, 1952).

Легенде о Толстом и Линкольне, конечно, не место среди серьезных исторических трудов. Она могла бы, пожалуй, войти в известный американский сборник мифов о Линкольне (Lloyd L e w i s. The Myths after Lincoln. New York, 1941), да и то как миф, созданный не воображением народа, а предприимчивым журналистом (хотя и в расчете на определенную духовную потребность рядовых американцев услышать слово великого Толстого об их национальном герое).

КИТАЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ТОЛСТОМ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ АЙ У, БА ЦЗИНЯ, БЯНЬ ЧЖИ-ЛИНЯ, ГАО ЧЖИ, ЛАО ШЭ, ЛИ ЦЗИ-Е, ЛЮЙ ИНА, ЦАЙ И и ЧЖАН БИ-ЛАЯ

Сообщение А. И. Шифмана

«Каково значение художественного опыта Толстого для современной китайской литературы?

Оказывает ли на нее воздействие реализм автора „Войны и мира"?

Какие произведения Толстого наиболее известны в Китае? Как оценивают их китайские писатели? Чему они учатся у Толстого?»

С этими вопросами Государственный музей Толстого в Москве обратился в 1958 г., в связи со стотридцатилетием со дня рождения Толстого, к группе писателей, литературоведов и переводчиков Китайской Народной Республики.

Ответить на эти вопросы было нелегко, если учесть специфические особенности и многовековые традиции китайской литературы. Становление китайского реализма, как известно, шло своими особыми, отличными от западных литератур, путями. И тем не менее китайские литераторы охотно откликнулись на анкету Музея. Некоторые из них прислали обширные статьи и даже целые исследования о влиянии Толстого на китайскую литературу. Не имея возможности опубликовать полностью эти материалы ввиду их большого объема, приводим здесь лишь отдельные высказывания китайских писателей*.

* * *

Выдающийся романист и драматург *Лао Шэ*, создатель серии романов «Четыре поколения одной семьи» и многочисленных пьес («Фан Чженьчжу», «Колодец у ив» и др.), автор превосходных повестей и рассказов, собранных в книгах «На ярмарку», «Вишневое море», «Устрицы» и других, так оценивает Л. Н. Толстого:

«Если Шекспир — величайшая из вершин драматургии, то Толстой — самое глубокое и самое необъятное море в океане художественной прозы. Да, из всех писателей-романистов мира прошлого и настоящего, пожалуй, только он один заслуживает этого образного сравнения. Его сердце вмещало целую эпоху, и в этом несравненное достоинство писателя. Слабость его заключалась в противоречиях сознания, однако это говорит лишь о том, что даже сознание такого человека, как Толстой, испытывало воздействие эпохи.

Его произведения уже пустили корни в Китае. Он оказал влияние на всех представителей новой литературы, появившейся после „движения

---

* Они даются в переводе И. К. Глаголевой.

4 мая". Все хотят овладеть его ширью и глубиной, однако пока это еще никому не удается. Лично я больше всего люблю его „Анну Каренину".

Молодые писатели любой страны должны учиться у него, учиться пропаганде правды в художественных произведениях».

Один из крупнейших прозаиков современного Китая, автор трилогии «Стремительное течение» и редактор китайского перевода романа «Анна Каренина» *Ба Цзинь* в своем ответе пишет:

«Я очень люблю прозу Толстого и собираю его сочинения на русском, китайском, английском, французском, немецком и японском языках. С большим интересом читаю я также биографические книги о Толстом. Строгое отношение Толстого к литературе и к жизни в свое время оказало на меня немалое влияние. Я впервые прочел „Войну и мир", „Воскресение" и некоторые повести Толстого, когда мне было девятнадцать лет. Теперь я вижу, что мое последующее развитие как писателя-романиста в известной мере связано с этим первым чтением Толстого. Тогда я увидел в его творчестве, прежде всего, путь к правде и, следуя ему, взялся за перо. До сих пор меня волнует сложная духовная жизнь многих героев Толстого. Когда я читаю его произведения, мне кажется, что я знаком с его героями, и, хотя они иностранцы и люди другой эпохи,— они, словно живые, стоят передо мной, говорят со мной на понятном мне языке...»

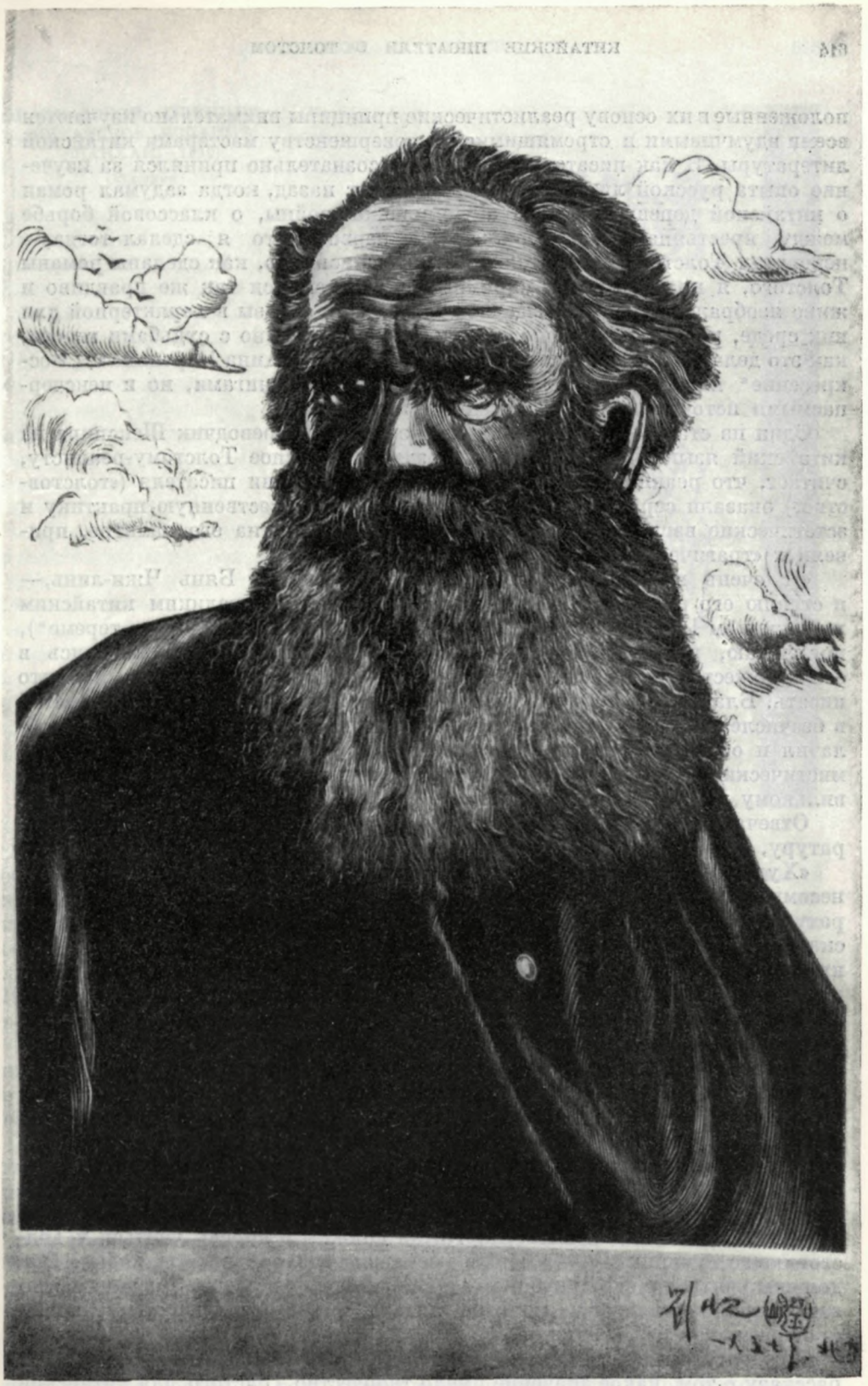
«Когда я пишу свои романы,— продолжает Ба Цзинь,— я стремлюсь установить соответствие между внешним обликом героя, его одеждой, манерами и его духовной жизнью. Если мне удалось чего-нибудь достичь в этой области, то здесь, несомненно, сказалось влияние творческого опыта Льва Толстого. Этому мы должны учиться у него. Что касается широты и глубины взгляда Толстого на жизнь, остроты его наблюдательности, его художественного дара, то рядовому писателю очень трудно овладеть этими качествами. Единственное, с чем я не могу согласиться в наследии Толстого,— это с его христианскими нравоучениями, но они отнюдь не заслоняют для меня величия его художественных творений. Толстой — мой самый любимый и почитаемый писатель».

О своем преклонении перед художественным гением Толстого, о желании научиться у него мастерству говорит и другой китайский прозаик, *Ай У*, автор романов «Родные места», «В горах», «В огне рождается сталь» и многих рассказов и повестей.

«Произведения Толстого я постоянно держу под рукой; при первой возможности я вновь перечитываю их. Вы спрашиваете, какие из его произведений произвели на меня самое глубокое впечатление? Ими являются „Война и мир", „Анна Каренина", „Казаки" и „Смерть Ивана Ильича". Толстой глубоко и образно описывал жизнь современного ему общества; его язык увлекает своим богатством и красотой. Выведенные им герои настолько реальны, что воспринимаются чуть ли не более зримо и осязаемо, чем люди современного нам общества; мы не только видим их облик, слышим их голоса, но и проникаем в их сознательный и подсознательный духовный мир. И этому непревзойденному искусству мы должны всемерно у него учиться».

Каждый писатель изучает опыт другого по-своему. Порою достижения родственного по духу писателя усваиваются не непосредственно, а через представляемую им литературу в целом. Так, в частности, было в Китае, где художественный метод Толстого часто воспринимался в единстве с творческими принципами Гоголя, Тургенева, Горького и Чехова, т. е. с эстетическими основами всего русского реализма. Об этом, а также о своем собственном «романе» с Толстым рассказывает видный китайский прозаик *Люй Ин*.

«Влияние произведений Толстого на китайскую литературу и театр, — пишет он,— огромно. Эпические творения русской литературы,



ТОЛСТОЙ

Рисунок (тушь) китайского художника Лю-чуй, 1950-е годы
Музей Толстого, Москва

положенные в их основу реалистические принципы внимательно изучаются всеми вдумчивыми и стремящимися к совершенству мастерами китайской литературы. Я как писатель совершенно сознательно принялся за изучение опыта русской литературы двадцать лет назад, когда задумал роман о китайской деревне периода антияпонской войны, о классовой борьбе между крестьянами и помещиками. И первое, что я сделал тогда,— перечитал Толстого. Внимательно вглядевшись в то, как сделаны романы Толстого, я по мере своих скромных сил стремился так же правдиво и живо изображать людей, создавать типические образы в характерной для них среде, рисовать картины сельской жизни воедино с судьбами героев, как это делает Толстой. С тех пор „Война и мир", „Анна Каренина", „Воскресение" являются не только моими любимыми книгами, но и неисчерпаемыми источниками писательского мастерства».

Один из старейших поэтов Китая, известный переводчик Шекспира на китайский язык *Бянь Чжи-линь*, воздавая должное Толстому-реалисту, считает, что реакционные элементы в мировоззрении писателя («толстовство») оказали серьезное воздействие на его художественную практику и эстетические взгляды, приглушили многие краски на его палитре, привели к «трагической недооценке Шекспира».

«Я очень высоко ценю Льва Толстого,— пишет Вянь Чжи-линь,— и ставлю его рядом с моим любимым Шекспиром и великим китайским художником Цаю Сюе-цинем (автором романа „Сон в красном тереме"), но считаю, что противоречия в мировоззрении Толстого сказались в его художественном творчестве значительно сильнее, чем об этом принято писать. Благодаря своему глубокому знанию русского общества, Толстой в бесчисленных неповторимых образах запечатлел русскую жизнь, разоблачил и обвинил общественный строй старой России. В то же время его мистические взгляды привели к искажению некоторых образов, к неправильному пониманию истории».

Отвечая на вопрос о влиянии толстовского реализма на китайскую литературу, Вянь Чжи-линь продолжает:

«Художественное творчество Толстого и в первую очередь его романы, несомненно, оказали плодотворное воздействие на развитие китайской литературы, хотя трудно определить, в каких именно произведениях и как оно сказалось. Помню, с каким восторгом они при появлении читались широкими кругами нашей интеллигенции, какие споры они вызывали в среде молодых писателей. Я тоже был тогда молодым поэтом. Впервые я прочитал „Войну и мир" зимой 1932 г. Я тогда приехал из Пекина в деревню, расположенную близ устья реки Янцзы, и как раз попал туда в период японского нападения на Шанхай. Я прочел в английском переводе этот потрясающий роман, будучи не в силах оторваться от него, и совершенно отчетливо помню, как сильно билось сердце, когда я дочитывал последние страницы. В это время я писал свою первую книгу стихов, и если в них чувствуется влияние Толстого, то оно только в гуманистическом мировосприятии, в стремлении к единению с людьми. Но в произведениях молодых прозаиков того времени это воздействие ощущается более явственно. Я считаю, что молодые писатели Китая должны и впредь учиться у Толстого его гуманизму — умению ненавидеть зло и любить добро. Они должны учиться у него глубокому проникновению в жизнь, умению создавать широкие жизненные полотна, литературному стилю, языку, полнокровному, как река Янцзы».

Литературовед и теоретик литературы *Цай И* посвятил свой ответ рассказу о том, какое значение имело творчество Толстого для китайской интеллигенции на разных этапах национально-освободительной борьбы.

«Романы Толстого,— пишет он,— стали широко известны китайскому читателю в период старой демократической революции, реформ ста дней и



«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК». КИТАЙСКОЕ ИЗДАНИЕ (ШАНХАЙ, 1950)
Обложка

особенно революции 1925 года. И хотя переводы были тогда неполны, а иногда представляли собой лишь изложение сюжета, тем не менее социальный смысл и мастерство великого художника-реалиста дошли до сердца китайских читателей. Сколько китайских юношей и девушек проливали слезы над судьбами Анны и Катюши, сочувствовали Николеньке Иртеньеву и Нехлюдову! Наши читатели находили в творениях Толстого родственные себе черты.

После „движения 4 мая" издание классических произведений зарубежных литератур пошло в Китае быстро вперед. К этому времени относятся и новые переводы „Анны Карениной" и „Воскресения", которыми зачитывалась интеллигенция.

Особенное значение для демократических читателей Китая в годы антияпонской войны имел перевод „Войны и мира", поскольку горячий патриотизм и оптимизм, заложенные в этом произведении, служили им поддержкой в борьбе против интервентов.

В Народном Китае Толстой — один из любимых писателей. Сейчас читают его уже миллионы людей. Они черпают в его книгах любовь к своей родине, сочувствие ко всем людям труда, ненависть к врагам человечества. Сочинения Толстого укрепляют нашу дружбу с русским народом, умножают наши силы в борьбе за новую жизнь».

В Китае, как и в других странах, вокруг творчества Толстого разгоралась идейная борьба. В годы становления новой литературы находились люди, которые пытались противопоставить произведения русского писателя молодой революционной литературе Китая. О том, как Лу Синь отбивал эти атаки и боролся за правильное понимание творчества Толстого,

рассказывает известный литературовед, автор капитального труда «История новой литературы» *Чжан Би-лай*:

«В период возникновения „Левой лиги китайских писателей" Лу Синь дал бой так называемым „людям третьего сорта" — мелкобуржуазной эстетствующей группе интеллигенции. В целях приближения литературы к народу, Левая лига предприняла тогда издание рассказов и стихов в виде небольших книжек-картинок, книжек-песенок, наподобие тех, которые в свое время Толстой издавал в „Посреднике". Так называемые „люди третьего сорта" подняли это предприятие на смех. Они едко иронизировали: „Жиденькая литература!", „В книжке-картинке Толстые и Флоберы не родятся".

На первый взгляд могло показаться, что эти эстеты отстаивали вечные ценности искусства, на самом же деле они совершенно его не понимали. Противопоставляя монументальные произведения Толстого небольшим по объему, но проникнутым народностью сочинениям молодых китайских писателей, они изображали русского художника человеком, оторванным от своей современности, стоящим над ней. Это была большая ложь. И непримиримый Лу Синь дал им резкую отповедь. „Левой лиге,— писал он,— тоже нужны Толстой и Флобер. Но мы не считаем, что они писали только в расчете на будущие времена и не интересовались своей эпохой. Оба они творили для современности. Будущее вырастает в настоящем; то, что прогрессивно для настоящего, будет иметь значение и в будущем. Если же говорить о Толстом, то следует напомнить, что никто не писал с таким энтузиазмом небольшие рассказы для крестьян на понятном для них языке, как он. Толстого тоже в свое время преследовали „ценители изящного", однако ничто не могло его заставить отложить перо. Левая лига верит, что в благородном труде на благо народа китайский народ родит своих Микеланджело и Леонардо да Винчи, своего Толстого и своего Флобера"».

Приводя далее примеры воздействия творческого опыта Толстого на лучших китайских писателей, Чжан Би-лай сближает известный роман Мао Дуня «Перед рассветом» с «Войной и миром». Подобно Толстому, собравшему в гостиной Анны Павловны Шерер основных героев романа и уже в первой главе завязавшему все его узлы, Мао Дунь собирает в гостиной дома У Сунь-фу своих будущих героев и тем вводит читателя в атмосферу своей эпопеи. Это сходство Чжан Би-лай считает не случайным. Мао Дунь учился у Толстого композиции своих романов, и это отчетливо прослеживается в его творчестве.

Литературовед и публицист *Ли Цзи-е*, много лет работавший над переводом «Войны и мира», рассказывает:

«Еще в средней школе я познакомился в английском переводе с рассказами Толстого. Написанные с кристальной ясностью рассказы „Много ли человеку земли нужно" и „Где любовь, там и бог" произвели на меня огромное впечатление. Я и сейчас считаю народные рассказы Толстого великолепными. Позже мне довелось посмотреть экранизацию „Воскресения" и прочесть этот роман. Образ главной героини вызвал мое горячее сочувствие, а сила разоблачения и критики старого общества ошеломила меня. Потом я прочитал „Детство", „Отрочество", „Казаки", и эти произведения также показались мне освежающим ветром. Тогда же я задумал перевести их на китайский язык.

В период войны против японского империализма я взялся за перевод „Войны и мира". Живя в Тяньцзине и Пекине, я более четырех с половиной лет работал над текстом романа, одновременно нанимаясь на тяжелую физическую работу, чтобы прокормиться. Но перевод никогда не обременял меня. Воспроизводя главу за главой, я все время жил в светлой атмосфере романа, дышал его воздухом. Вместе с тем героическая борьба

русского народа с агрессором, его патриотизм, описанные в „Войне и мире", были для меня огромным моральным подспорьем. Меня не покидало ощущение, что у наших народов одна историческая судьба. Переводить Толстого нелегко, но это — большая радость».

Крупнейший переводчик Толстого *Гао Чжи*, уже переведший все его крупнейшие произведения и ныне работающий над переводами всех остальных сочинений русского писателя для издания полного собрания их на китайском языке, воссоздает историю знакомства китайских читателей с наследием Толстого.

Первыми в Китае появились в 1907 г. толстовские «народные рассказы», переведенные с немецкого языка миссионером Е Дао-шэнем. За ними вскоре последовали (в переводах с английского и японского языков) «Кавказский пленник» (1910), «Дьявол» (под заголовком «Грань человека и дьявола», 1911), «Крейцерова соната» (под названием «Страсть и ненависть», 1911) и другие повести и рассказы. В 1914 г. под названием «Сердце в плену» появился первый перевод «Воскресения», а в 1917 г.— «Анна Каренина» (оба в сокращенных и весьма несовершенных переводах).

В годы «движения 4 мая» над изданиями сочинений русских писателей в Китае работали Лу Синь и Цюй Цю-бо. Позднее, в 1931 г., за перевод «Войны и мира» (с японского языка) взялся Го Мо-жо, однако ему удалось издать только первые два тома романа.

С победой народно-демократического строя в Китае переводы произведений русской литературы, в том числе Толстого, возросли во много раз. Лишь за первое десятилетие существования Китайской Народной Республики было переведено и издано около пятидесяти произведений Толстого, в том числе и все его романы, повести и пьесы.

Касаясь качества переводов Толстого на китайский язык, Гао Чжи отмечает, что многие из них еще не вполне совершенны.

«И несмотря на это,— завершает Гао Чжи свой рассказ,— китайский читатель уже сейчас имеет превосходные переводы Толстого, которые и по своему духу и по близости к подлиннику являются большим достижением китайской культуры».

* * *

Как известно, воздействие одного писателя на другого и тем более одной литературы на другую — процесс чрезвычайно сложный, нелегко прослеживаемый. С реализмом Толстого связывают в Китае и обличительный пафос Лу Синя, и эпическое искусство Мао Дуня, и глубокий психологизм Ба Цзиня и Лао Шэ. Делается — в том числе и самими китайскими писателями — множество других сближений, касающихся отдельных тем, проблем, образов и приемов. Вероятно, не все эти сближения обоснованы и правомерны, поскольку китайская литература опирается прежде всего на свои богатейшие традиции; к тому же в Китае имеются большие самобытные художники, вносящие свой собственный вклад в художественную сокровищницу мировой литературы.

Однако то, что художественное наследие автора «Войны и мира» воспринимается в Китае как живое явление, активно воздействующее на современную жизнь,— факт несомненный. И это в полной мере подтвердили китайские писатели в своих ответах на анкету Музея Толстого.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ КНИГИ

ОТ РЕДАКЦИИ 4

ВСЕМИРНЫЙ АВТОРИТЕТ

Статья К. Н. Ломунова 7

Введение.— Толстой вчера и сегодня — Поборник мира и справедливости.— «Гражданин Вселенной». — Борец с самодержавием, капиталистическим строем, колониализмом и милитаризмом.— Эпопея народного героизма и гуманизма.—«Теперешняя революция много духовно подвинет человечество».— Освобождение трудового народа от «рабства нашего времени».— Толстой и прогресс.— «Высшая мудрость человечества не за тысячи лет до нас, а теперь, сейчас».— «Загадка» Толстого.— Толстой-мыслитель.— Теория «раздвоенности» великого писателя.— Ромен Роллан и Толстой.— Ленин о Толстом.— Заключение

СТАТЬИ И РЕЧИ

СЛОВО ПИСАТЕЛЕЙ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ТОЛСТОМ Ж. Р. БЛОКА, К. ВАРНАЛИСА, Х. ГАРЛЕНДА, Г. ГАУПТМАНА, ДЖ. ГОЛСУОРСИ, Г. ДЕЛЕДДА, Т. ДРАЙЗЕРА, М. ДРЮОНА, А. ЗЕГЕРС, Я. ИВАШКЕВИЧА, А. МАЛЬЦА, Р. МАРТЕН ДЮ ГАРА, А. МОРАВИА, А. МОРУА, Э. ОЖЕШКО, Ч. ПЕТРЕСКУ, Б. ПРУСА, Г. ПЬОВЕНЕ, Р. РОЛЛАНА, М. САДОВЯНУ, Г. СЕНКЕВИЧА, Л. СТОЯНОВА, А. СТРИНДБЕРГА, Д. ТАЛЕВА, Г. УЭЛЛСА, Л. ФЕЙХТВАНГЕРА, Ж. М. ФЕРРЕЙРА ДЕ КАСТРО, А. ФРАНСА, Т. ДЕ ФРИСА, Э. ХЕМИНГУЭЯ, У. Д. ХОУЭЛСА, А. ЦВЕЙГА и Б. ШОУ

Вступительная статья Т. Л. Мотылевой

Комментарии М. Н. Ваксмахера, В. Велчева (София), И. В. Волевич, Б. А. Гиленсона, З. Т. Гражданской, В. Н. Злыднева, Л. А. Зониной, Ю. И. Кагарлицкого, И. А. Кашкина, Ю. А. Кожевникова, М. Д. Моричевой, Л. Л. Николаева, И. Б. Овчинниковой, Р. Д. Орловой, З. М. Потаповой, С. А. Розановой, Д. С. Спатиса и Е. З. Цыбенко 43

ТОЛСТОВСКИЕ ДНИ 1960 ГОДА В МОСКВЕ

I ГОЛОСА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ

1. Речи на научной сессии Отделения литературы и языка АН СССР и Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР 14—15 ноября 1960 г.
Выступления А. Викстена, Я. Дрда, Г. Караславова, А. Кеттла, К. Крипалани, Э. Ло Гатто, Накамура Хакуё, М. Сабольчи, Ч. П. Сноу, В. Херцфельде, Ш. С. Чаухана и Ч. Чимида 231
2. Речи на заседании в Доме дружбы народов Д. Богза, А. Вучо, Нгуен Конг Хоана и Х. Л. Эпсена 254
3. Речь на заседании в Большом театре 19 ноября 1960 г. Р. Кента . . 259

II. ВЫСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Статьи и высказывания А. Викстена, П. Гаскара, У. Дюбуа (Дю Бойса), Я. Ивашкевича, А. Карпентьера, Ш. О'Кейси, У. К. Кекконена, В. Кеппена, А. Кеттла, К. Крипалани, К. Леви, Э. Ло Гатто, А. Н. Лундквиста, Ф. Мориака, Накамура Хакуё, З. Неедлы, Л. Немета, Дж. Неру, А. Омре, У. Сарояна, Э. Синклера, Ч. П. Сноу, Л. Стоянова, Л. Франка, Хо Ши Мина, Б. Чатурведи, Ш. С. Чаухана, А. Л. Ф. Швейцера 261

ПИСЬМА

ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО

Очерки Э. Г. Бабаева
Подготовка текстов писем и переводы Т. Н. Волковой
При участии М. И. Беляевой, Б. А. Гиленсона, Н. И. Горбунковой, М. Е. Михелевич, М. Д. Моричевой, И. Д. Очака, М. И. Перпер, Т. П. Поповой, З. М. Потаповой и В. К. Тарасовой

От редакции.— Предисловие. I. Первое знакомство: 1. Уильям Ролстон. 2. Анджело де Губернатис. 3. Петер Эмануэль Ганзен. II. «Уроки ваших книг»: 1. Продолжение разговора. 2. «Война и мир». 3. «Анна Каренина». 4. «Воскресение». 5. «Одна из ваших учениц...» III. В поисках нового театра: 1. Андре Антуан. 2. Эрмете Цаккони. 3. Гордон Крег. 4. «Рабочая сцена». 5. «Театр в полях». IV. Воспитание и образование: 1. Реформа обучения. 2. Русский язык. 3. Поль Буайе. 4. Эрнест Кросби. V. Встречи: 1. Изабелла Хэггуд. 2. Джордж Кеннан. 3. Ионас Стадлинг. 4. Джемс Крилмен. VI. В споре с автором: 1. Об искусстве. 2. Поль Гиацинт Луазон. 3. Против непротивления. VII. «К рабочему народу»: 1. Генри Джордж. 2. Аллен Кларк. 3. «Горячий отклик рабочих». 4. «Основы революции несомненно верны». VIII. Три войны: 1. На Филиппинских островах. 2. В Трансваале. 3. На Дальнем Востоке. IX. В ответ на требования века: 1. «Должны ли мы иметь колонии?» 2. «Рабство негров». 3. Аннексия. 4. Суд в Милане. Конгресс мира 299

ПРИЛОЖЕНИЕ. Письма иностранцев к Толстому

Обзор Т. Н. Волковой 525

СООБЩЕНИЯ

ИЗ БЕСЕД ТОЛСТОГО С ПОЛЕМ ДЕРУЛЕДОМ
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАПИСИ Е. Ф. ЮНГЕ
Сообщение Л. Р. Ланского 535

РУССКИЙ ПРОПАГАНДИСТ ТОЛСТОГО
ДВЕ СТАТЬИ С. М. СТЕПНЯКА-КРАВЧИНСКОГО
Сообщение М. И. Перпер 542

ЯПОНСКИЙ СОЦИАЛИСТ О СТАТЬЕ «ОДУМАЙТЕСЬ!»
СТАТЬЯ КОТОКУ СЮСУЯ ИЗ «ХЕЙМИН СИМБУН»
Сообщение Г. Д. Ивановой 561

ГЕОРГ БРАНДЕС О ТОЛСТОМ
ЗАБЫТАЯ СТАТЬЯ В РУССКОЙ ГАЗЕТЕ
Сообщение М. Д. Моричевой 565

ЖАН ЖОРЕС О ТОЛСТОМ
ДОКЛАД В ТУЛУЗЕ
Сообщение Н. Д. Эфрос 569
Приложение: Толстой на страницах «Humanité»

ФРАНЦУЗСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ТОЛСТОГО
ИЗ ПИСЕМ ШАРЛЯ САЛОМОНА
Сообщение Андре Мазона (Париж) 588
МАТЕРИАЛЫ О ТОЛСТОМ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАЖСКИЙ АРХИВ Д. П. МАКОВИЦКОГО
Сообщение Стефана Колафы (Прага) 593
ТОЛСТОЙ И ЛИНКОЛЬН
ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫМЫШЛЕННОГО ИНТЕРВЬЮ
Сообщение Е. М. Двойченко-Марковой 608
КИТАЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ТОЛСТОМ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ АЙ У, БА ЦЗИНЯ, БЯНЬ ЧЖИ-ЛИНЯ, ГАО ЧЖИ, ЛАО ШЭ, ЛИ ЦЗИ-Е, ЛЮЙ ИНА, ЦАЙ И и ЧЖАН БИ-ЛАЯ
Сообщение А. И. Шифмана 611

В КНИГЕ 164 ИЛЛЮСТРАЦИИ и 1 ВКЛЕЙКА

«Литературное наследство»,
Том 75, книга первая

Утверждено к печати
Ученым советом
Института мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редактор издательства *А. Т. Лифшиц*
Технический редактор *И. Н. Дорохина*

Сдано в набор 25/II-1965 г. Подп. в печать 4/IX 1965 г.
Формат 70×108¹/₁₆. Печ. л. 39+1 вкл.=53,43 усл. печ. л. + 1 вкл.
Уч.-изд. л. 51,8(51,7+1 вкл.). Тираж 7.000 экз. А-05194
Изд. № 4813/04. Тип. зак. 2084

Цена одной книги 3 р.

Издательство «Наука»
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука»
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ КНИГИ, ОДНОВРЕМЕННО ВЫХОДЯЩЕЙ В СВЕТ

ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ФРАНЦУЗСКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ ТОЛСТОГО
Из воспоминаний Т. Бензон, Жоржа Анри Бурдона, Анри Лапоза, Жюля Легра, Мориса Дени Роша и Рене Маршана
Публикация и перевод Л. Р. Ланского

ВБЛИЗИ ТОЛСТОГО»
Корреспонденции Андре Бонье в «Темпс»
Публикация В. Я. Лакшина

ДВА АНГЛИЙСКИХ СОБЕСЕДНИКА
Воспоминания Уильяма Томаса Стэда и Роберта Эдварда Крезьера Лонга
Публикация и перевод Б. А. Гиленсона

ГЛАЗАМИ СЛОВАЦКОГО ДРУГА
Дневники и воспоминания Альберта Шкарвана
Публикация и перевод П. Г. Богатырева

ЯПОНСКИЙ ПАЛОМНИК
Воспоминания Токутоми Рока
Публикация А. И. Шифмана

ОБЗОРЫ

ТОЛСТОЙ В ГЕРМАНИИ (1856—1910)
Обзор Христианы Штульц (Берлин)

ТОЛСТОЙ В ПОЛЬШЕ (1858—1962)
Обзор Базиля Бялокозовича (Варшава)

ТОЛСТОЙ В РУМЫНИИ (1885—1960)
Обзор Татьяны Николеску (Бухарест)

ТОЛСТОЙ В БОЛГАРИИ
Обзор В. Велчева (София)

ТОЛСТОЙ В КИТАЕ
Обзор Мао Дуня (Пекин)

ТОЛСТОЙ В ЯПОНИИ
Обзор Н. И. Конрада

УХОД И СМЕРТЬ ТОЛСТОГО В ОТКЛИКАХ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
Обзор Л. Р. Ланского

МИР ОТМЕЧАЕТ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ТОЛСТОГО
Обзор В. З. Горкой
при участии Ж. Бланкова (Брюссель), Б. Бялокозовича (Варшава), Д. Гришина (Мельбурн), Т. С. Карловой, С. Колафы (Прага), Г. Л. Маньковской, М. Д. Моричевой, Т. Николеску (Бухарест), И. Д. Очака, М. И. Перпер, М. Реа (Будапешт), А. Тобиаша (Будапешт), О. К. Шимко и А. И. Шифмана

«ИЗ ПАРИЖСКОГО АРХИВА И. С. ТУРГЕНЕВА» —

так называется вышедший в свет 73-й том «Литературного наследства».

Основное содержание тома (в двух книгах) составляют неизданные произведения Тургенева и материалы его переписки, сохранившиеся в разных частях некогда единого парижского архива писателя (некоторые из публикуемых материалов ныне являются собственностью потомков Полины Виардо и также хранятся во Франции). В том включены и неизвестные до сих пор рукописи Тургенева, отысканные в различных архивах Москвы и Ленинграда, Лондона, Веймара, Баден-Бадена и др.

Этот первый за все время существования «Литературного наследства» тургеневский том создавался при участии не только советских ученых, изучающих жизнь и творческое наследие великого русского писателя, но и ряда зарубежных исследователей — французских, немецких, английских.

«Литературное наследство» предлагает вниманию читателей и специалистов неизвестные произведения Тургенева, рукописи которых сохранились в его архиве. Среди впервые публикуемых художественных произведений:

рассказ «Русский немец и реформатор», предназначавшийся автором для «Записок охотника», но не завершенный им по цензурным причинам;

начало рассказа «Степан Семенович Дубков и мои с ним разговоры», над которым писатель работал в молодые годы;

материалы к повести «Наталья Карповна» — последний творческий замысел Тургенева, записанный под его диктовку Полиной Виардо во время предсмертной болезни писателя.

Большое место в томе занимают драматические произведения Тургенева, созданные им в 1860-х годах и до сих пор известные только по кратким упоминаниям в переписке писателя и в воспоминаниях о нем. «Литературное наследство» публикует сохранившиеся в законченном виде либретто трех комических оперетт — «Слишком много жен», «Последний колдун» и «Зеркало». В сопровождающих публикацию статьях дана сводка материалов о постановках оперетт Тургенева — Виардо (ею написана музыка ко всем названным опереттам).

Драматургия Тургенева этого времени представлена в томе еще одним новонайденным произведением — комедией-фарсом «Ночь в гостинице Большого Кабана».

Кроме художественных произведений, в томе печатаются:

неизвестные статьи Тургенева — о Пушкине, Лермонтове и Гоголе, о художнике Верещагине, а также считавшееся утраченным авторское предисловие к роману «Отцы и дети»;

последний дневник Тургенева (конец 1882 — начало 1883 г.). Этот дневник является единственным, уцелевшим из тургеневских дневников, которые он вел на протяжении последних трех десятилетий жизни;

письма Тургенева — в том числе 79 писем к виднейшему деятелю народничества П. Л. Лаврову и переписка с крупным государственным деятелем А. В. Головниным. В круг корреспондентов Тургенева впервые вводятся Н. В. Чайковский (участник народнического движения 1870—1800 х годов) и Чарла Дилк (прогрессивный английский публицист и общественный деятель);

письма к Тургеневу И. И. Панаева, А. Ф. Писемского, М. А. Маркович (Марка Вовчка), Я. П. Полонского — всего 130 писем, представляющих большой историко-литературный интерес.

Особый раздел тома отведен материалам «Игры в портреты», которая занимала Тургенева и его друзей в течение более двадцати лет (1856—1877). Это творческая игра, изобретенная Тургеневым, представленная в публикации «Литературного наследства» двумя сотнями его рисунков и сопровождающими их словесными очерками-характеристиками, принадлежащими перу Тургенева и Полины Виардо. Двести тургеневских записей к «Игре в портреты»—это по существу двести впервые публикуемых небольших новелл, замечательных по остроумию и изяществу стиля,— они обогащают наше представление о великолепном мастерстве писателя.

Том богато иллюстрирован — в нем свыше 400 иллюстраций, в большинстве своем редких или совершенно неизвестных.

Обе книги 73-го тома «Литературного наследства» являются ценным дополнением к выпускаемому академическому собранию сочинений Тургенева.

Цена 73-го тома «Литературного наследства» (в двух книгах) 5 руб. 50 коп.

Книгу можно приобрести в магазинах «Академкнига»:

Москва, ул. Горького, 8; ул. Вавилова, 55/5.

Ленинград, Литейный проспект, 57.

Для получения книги почтой заказы направлять по адресу: Москва, Центр, Б. Черкасский пер., 2/10, контора «Академкнига», или в ближайший магазин «Академкнига».

«Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В РАБОТЕ НАД РОМАНОМ «ПОДРОСТОК». ТВОРЧЕСКИЕ РУКОПИСИ» —

так называется вскоре выходящий в свет 77-й том «Литературного наследства».

Для изучения художественного наследия великого писателя, его мировоззрения и творческой лаборатории эти впервые публикуемые материалы имеют исключительное значение.

Творческие записи Достоевского, которые делались им в процессе создания романов, содержат, как правило, множество сюжетов и образов, не вошедших в окончательный текст, но сохраняющих большой самостоятельный интерес, так же, как многочисленные эстетические суждения писателя, его размышления над важнейшими проблемами литературного мастерства.

Судьба рукописного наследия Достоевского сложилась таким образом, что из всех творческих записей к его романам только материалы к «Подростку» дошли до нас с наибольшей полнотой. Эти материалы отражают все этапы сложной и многогранной работы Достоевского-романиста. Рукопись дает возможность проследить, как постепенно, исходя из широких замыслов неосуществленных произведений «Атеизм» и «Житие великого грешника», писатель намечает основные образы будущего романа, как он не только обогащает, но коренным образом видоизменяет сюжет, привлекая все новые и новые факты действительности, используя при этом газетные сообщения о политических процессах, различных событиях общественной жизни, об уголовных преступлениях.

Записи Достоевского обнаруживают глубокие связи «Подростка» как с предшествующими произведениями, так и с последним его романом — «Братья Карамазовы».

Обширный комментарий к публикации вводит читателя в круг тех жизненных событий, идейных споров, литературных интересов, которые нашли отражение в записях к роману «Подросток».

Вступительная статья к тому посвящена характеристике особенностей творческой работы Достоевского-романиста.

Цена 77-го тома «Литературного наследства» 2 руб.

Книгу можно приобрести в магазинах «Академкнига»:

Москва, ул. Горького, 8; ул. Вавилова, 55/5.

Ленинград, Литейный проспект, 57.

Для получения книги почтой заказы направлять по адресу: Москва, Центр, Б. Черкасский пер., 2/10, контора «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига».

3 руб.

Книга первая настоящего тома состоит из трех разделов.

В разделе Статьи и речи публикуются выступления о Толстом тридцати трех выдающихся писателей Запада: Ромена Роллана, Жана Ришара Блока, Анатоля Франса, Андре Моруа, Герхарта Гауптмана, Арнольда Цвейга, Лиона Фейхтвангера, Анны Зегерс, Бернарда Шоу, Герберта Уэлса, Джона Голсуорси, Альберто Моравиа, Гвидо Пьовене, Теодора Драйзера, Эрнеста Хемингуэя, Августа Стриндберга, Генрика Сенкевича, Элизы Ожешко, Ярослава Ивашкевича, Людмила Стоянова, Михаила Садовяну и др. В этом же разделе печатаются речи и высказывания многих иностранных писателей, общественных и государственных деятелей, принявших, в той или иной форме, участие в «толстовских днях» 1960 г. в Москве, когда отмечалось полвека со дня смерти Толстого.

Раздел Письма занят обширной публикацией «Иностранная почта Толстого». Здесь печатается сто двадцать писем иностранцев к Толстому из двадцати пяти стран и шестидесяти семи городов и селений земного шара. Это уникальные документы, дающие живое представление о характере непосредственного общения Толстого с современными ему людьми западного мира.

В разделе Сообщения среди других материалов помещены: речь Жана Жореса о Толстом, две английские статьи о нем С. М. Степняка-Кравчинского, очерк Георга Брандеса и др.

В книге 164 иллюстрации и одна вклейка.



ИЗДАТЕЛЬСТВО · НАУКА ·